



ФРАНСУА РАБЛЕ

Гаргантюа и Пантагрюэль



Annotation

Роман великого французского писателя Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» – крупнейший памятник эпохи французского Ренессанса. Книга построена на широкой фольклорной основе, в ней содержится сатира на фантастику и авантурную героику старых рыцарских романов.

- [Франсуа Рабле](#)
 - [«Гаргантюа и Пантагрюэль»: хроника, роман, книга?](#)
 - [Гаргантюа и Пантагрюэль](#)
 - [Повесть о преужасной жизни великого Гаргантюа, отца Пантагрюэля, некогда сочиненная магистром Алькофрибасом Назье, извлекателем квинтэссенции](#)
 - [К читателям](#)
 - [От автора](#)
 - [Глава I](#)
 - [Глава II](#)
 - [Глава III](#)
 - [Глава IV](#)
 - [Глава V](#)
 - [Глава VI](#)
 - [Глава VII](#)
 - [Глава VIII](#)
 - [Глава IX](#)
 - [Глава X](#)
 - [Глава XI](#)
 - [Глава XII](#)
 - [Глава XIII](#)
 - [Глава XIV](#)
 - [Глава XV](#)
 - [Глава XVI](#)
 - [Глава XVII](#)
 - [Глава XVIII](#)
 - [Глава XIX](#)

- [Глава XX](#)
- [Глава XXI](#)
- [Глава XXII](#)
- [Глава XXIII](#)
- [Глава XXIV](#)
- [Глава XXV](#)
- [Глава XXVI](#)
- [Глава XXVII](#)
- [Глава XXVIII](#)
- [Глава XXIX](#)
- [Глава XXX](#)
- [Глава XXXI](#)
- [Глава XXXII](#)
- [Глава XXXIII](#)
- [Глава XXXIV](#)
- [Глава XXXV](#)
- [Глава XXXVI](#)
- [Глава XXXVII](#)
- [Глава XXXVIII](#)
- [Глава XXXIX](#)
- [Глава XL](#)
- [Глава XLI](#)
- [Глава XLII](#)
- [Глава XLIII](#)
- [Глава XLIV](#)
- [Глава XLV](#)
- [Глава XLVI](#)
- [Глава XLVII](#)
- [Глава XLVIII](#)
- [Глава XLIX](#)
- [Глава L](#)
- [Глава LI](#)
- [Глава LII](#)
- [Глава LIII](#)
- [Глава LIV](#)
- [Глава LV](#)
- [Глава LVI](#)

- [Глава LVII](#)
- [Глава LVIII](#)
- [Пантагрюэль, король дипсодов, показанный в его доподлинном виде со всеми его ужасающими деяниями и подвигами](#)
 - [Десятистишие мэтра Гюга Салея\[259\],](#)
 - [От автора](#)
 - [Глава I](#)
 - [Глава II](#)
 - [Глава III](#)
 - [Глава IV](#)
 - [Глава V](#)
 - [Глава VI](#)
 - [Глава VII](#)
 - [Глава VIII](#)
 - [Глава IX](#)
 - [Глава X](#)
 - [Глава XI](#)
 - [Глава XII](#)
 - [Глава XIII](#)
 - [Глава XIV](#)
 - [Глава XV](#)
 - [Глава XVI](#)
 - [Глава XVII](#)
 - [Глава XVIII](#)
 - [Глава XIX](#)
 - [Глава XX](#)
 - [Глава XXI](#)
 - [Глава XXII](#)
 - [Глава XXIII](#)
 - [Глава XXIV](#)
 - [Глава XXV](#)
 - [Глава XXVI](#)
 - [Глава XXVII](#)
 - [Глава XXVIII](#)
 - [Глава XXIX](#)
 - [Глава XXX,](#)

- [Глава XXXI](#)
- [Глава XXXII](#)
- [Глава XXXIII](#)
- [Глава XXXIV](#)
- [Третья книга героических деяний и речений доброго Пантагрюэля](#)
 - [Франсуа Рабле духу королевы Наваррской](#)
 - [Предисловие автора, мэтра Франсуа Рабле, к третьей книге героических деяний и речений доброго Пантагрюэля](#)
 - [Глава I](#)
 - [Глава II](#)
 - [Глава III](#)
 - [Глава IV](#)
 - [Глава V](#)
 - [Глава VI](#)
 - [Глава VII](#)
 - [Глава VIII](#)
 - [Глава IX\[499\]](#)
 - [Глава X](#)
 - [Глава XI](#)
 - [Глава XII](#)
 - [Глава XIII](#)
 - [Глава XIV](#)
 - [Глава XV](#)
 - [Глава XVI](#)
 - [Глава XVII](#)
 - [Глава XVIII](#)
 - [Глава XIX](#)
 - [Глава XX](#)
 - [Глава XXI](#)
 - [Глава XXII](#)
 - [Глава XXIII](#)
 - [Глава XXIV](#)
 - [Глава XXV](#)
 - [Глава XXVI](#)
 - [Глава XXVII](#)

- [Глава XXVIII](#)
- [Глава XXIX](#)
- [Глава XXX](#)
- [Глава XXXI](#)
- [Глава XXXII](#)
- [Глава XXXIII](#)
- [Глава XXXIV](#)
- [Глава XXXV](#)
- [Глава XXXVI](#)
- [Глава XXXVII](#)
- [Глава XXXVIII](#)
- [Глава XXXIX](#)
- [Глава XL](#)
- [Глава XLI](#)
- [Глава XLII](#)
- [Глава XLIII](#)
- [Глава XLIV](#)
- [Глава XLV](#)
- [Глава XLVI](#)
- [Глава XLVII](#)
- [Глава XLVIII](#)
- [Глава XLIX](#)
- [Глава L](#)
- [Глава LI](#)
- [Глава LII](#)
- [Четвертая книга героических деяний и речений доблестного Пантагрюэля](#)
 - [Достопавному князю и высокопочтительному монсеньору Оде, кардиналу Шатильонскому\[697\]](#)
 - [Предисловие автора, мэтра Франсуа Рабле, к четвертой книге героических деяний и речений Пантагрюэля](#)
 - [Глава I](#)
 - [Глава II](#)
 - [Глава III](#)
 - [Глава IV](#)
 - [Глава V](#)

- [Глава VI](#)
- [Глава VII](#)
- [Глава VIII](#)
- [Глава IX](#)
- [Глава X](#)
- [Глава XI](#)
- [Глава XII](#)
- [Глава XIII](#)
- [Глава XIV](#)
- [Глава XV](#)
- [Глава XVI](#)
- [Глава XVII](#)
- [Глава XVIII](#)
- [Глава XIX](#)
- [Глава XX](#)
- [Глава XXI](#)
- [Глава XXII](#)
- [Глава XXIII](#)
- [Глава XXIV](#)
- [Глава XXV](#)
- [Глава XXVI](#)
- [Глава XXVII](#)
- [Глава XXVIII](#)
- [Глава XXIX](#)
- [Глава XXX](#)
- [Глава XXXI](#)
- [Глава XXXII](#)
- [Глава XXXIII](#)
- [Глава XXXIV](#)
- [Глава XXXV](#)
- [Глава XXXVI](#)
- [Глава XXXVII](#)
- [Глава XXXVIII](#)
- [Глава XXXIX](#)
- [Глава XL](#)
- [Глава XLI](#)
- [Глава XLII](#)

- [Глава XLIII](#)
- [Глава XLIV](#)
- [Глава XLV](#)
- [Глава XLVI](#)
- [Глава XLVII](#)
- [Глава XLVIII](#)
- [Глава XLIX](#)
- [Глава L](#)
- [Глава LI](#)
- [Глава LII](#)
- [Глава LIII](#)
- [Глава LIV](#)
- [Глава LV](#)
- [Глава LVI](#)
- [Глава LVII](#)
- [Глава LVIII](#)
- [Глава LIX](#)
- [Глава LX](#)
- [Глава LXI](#)
- [Глава LXII](#)
- [Глава LXIII](#)
- [Глава LXIV](#)
- [Глава LXV](#)
- [Глава LXVI](#)
- [Глава LXVII](#)
- [Пятая, и последняя, книга героических деяний и речений доброго Пантагрюэля](#)
 - [Предисловие мэтра Франсуа Рабле к пятой книге героических деяний и речений Пантагрюэля](#)
 - [Глава I](#)
 - [Глава II](#)
 - [Глава III](#)
 - [Глава IV](#)
 - [Глава V](#)
 - [Глава VI](#)
 - [Глава VII](#)
 - [Глава VIII](#)

- [Глава IX](#)
- [Глава X](#)
- [Глава XI](#)
- [Глава XII](#)
- [Глава XIII](#)
- [Глава XIV](#)
- [Глава XV](#)
- [Глава XVI](#)
- [Глава XVII](#)
- [Глава XVIII](#)
- [Глава XIX](#)
- [Глава XX](#)
- [Глава XXI](#)
- [Глава XXII](#)
- [Глава XXIII](#)
- [Глава XXIV](#)
- [Глава XXV](#)
- [Глава XXVI](#)
- [Глава XXVII](#)
- [Глава XXVIII](#)
- [Глава XXIX](#)
- [Глава XXX](#)
- [Глава XXXI](#)
- [Глава XXXII](#)
- [Глава XXXIII](#)
- [Глава XXXIV](#)
- [Глава XXXV](#)
- [Глава XXXVI](#)
- [Глава XXXVII](#)
- [Глава XXXVIII](#)
- [Глава XXXIX](#)
- [Глава XL](#)
- [Глава XLI](#)
- [Глава XLII](#)
- [Глава XLIII](#)
- [Глава XLIV](#)
- [Глава XLV](#)

- [Глава XLVI](#)
- [Глава XLVII](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)

- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)

- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)

- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)

- [146](#)
- [147](#)
- [148](#)
- [149](#)
- [150](#)
- [151](#)
- [152](#)
- [153](#)
- [154](#)
- [155](#)
- [156](#)
- [157](#)
- [158](#)
- [159](#)
- [160](#)
- [161](#)
- [162](#)
- [163](#)
- [164](#)
- [165](#)
- [166](#)
- [167](#)
- [168](#)
- [169](#)
- [170](#)
- [171](#)
- [172](#)
- [173](#)
- [174](#)
- [175](#)
- [176](#)
- [177](#)
- [178](#)
- [179](#)
- [180](#)
- [181](#)
- [182](#)

- [183](#)
- [184](#)
- [185](#)
- [186](#)
- [187](#)
- [188](#)
- [189](#)
- [190](#)
- [191](#)
- [192](#)
- [193](#)
- [194](#)
- [195](#)
- [196](#)
- [197](#)
- [198](#)
- [199](#)
- [200](#)
- [201](#)
- [202](#)
- [203](#)
- [204](#)
- [205](#)
- [206](#)
- [207](#)
- [208](#)
- [209](#)
- [210](#)
- [211](#)
- [212](#)
- [213](#)
- [214](#)
- [215](#)
- [216](#)
- [217](#)
- [218](#)
- [219](#)

- [220](#)
- [221](#)
- [222](#)
- [223](#)
- [224](#)
- [225](#)
- [226](#)
- [227](#)
- [228](#)
- [229](#)
- [230](#)
- [231](#)
- [232](#)
- [233](#)
- [234](#)
- [235](#)
- [236](#)
- [237](#)
- [238](#)
- [239](#)
- [240](#)
- [241](#)
- [242](#)
- [243](#)
- [244](#)
- [245](#)
- [246](#)
- [247](#)
- [248](#)
- [249](#)
- [250](#)
- [251](#)
- [252](#)
- [253](#)
- [254](#)
- [255](#)
- [256](#)

- [257](#)
- [258](#)
- [259](#)
- [260](#)
- [261](#)
- [262](#)
- [263](#)
- [264](#)
- [265](#)
- [266](#)
- [267](#)
- [268](#)
- [269](#)
- [270](#)
- [271](#)
- [272](#)
- [273](#)
- [274](#)
- [275](#)
- [276](#)
- [277](#)
- [278](#)
- [279](#)
- [280](#)
- [281](#)
- [282](#)
- [283](#)
- [284](#)
- [285](#)
- [286](#)
- [287](#)
- [288](#)
- [289](#)
- [290](#)
- [291](#)
- [292](#)
- [293](#)

- [294](#)
- [295](#)
- [296](#)
- [297](#)
- [298](#)
- [299](#)
- [300](#)
- [301](#)
- [302](#)
- [303](#)
- [304](#)
- [305](#)
- [306](#)
- [307](#)
- [308](#)
- [309](#)
- [310](#)
- [311](#)
- [312](#)
- [313](#)
- [314](#)
- [315](#)
- [316](#)
- [317](#)
- [318](#)
- [319](#)
- [320](#)
- [321](#)
- [322](#)
- [323](#)
- [324](#)
- [325](#)
- [326](#)
- [327](#)
- [328](#)
- [329](#)
- [330](#)

- [331](#)
- [332](#)
- [333](#)
- [334](#)
- [335](#)
- [336](#)
- [337](#)
- [338](#)
- [339](#)
- [340](#)
- [341](#)
- [342](#)
- [343](#)
- [344](#)
- [345](#)
- [346](#)
- [347](#)
- [348](#)
- [349](#)
- [350](#)
- [351](#)
- [352](#)
- [353](#)
- [354](#)
- [355](#)
- [356](#)
- [357](#)
- [358](#)
- [359](#)
- [360](#)
- [361](#)
- [362](#)
- [363](#)
- [364](#)
- [365](#)
- [366](#)
- [367](#)

- [368](#)
- [369](#)
- [370](#)
- [371](#)
- [372](#)
- [373](#)
- [374](#)
- [375](#)
- [376](#)
- [377](#)
- [378](#)
- [379](#)
- [380](#)
- [381](#)
- [382](#)
- [383](#)
- [384](#)
- [385](#)
- [386](#)
- [387](#)
- [388](#)
- [389](#)
- [390](#)
- [391](#)
- [392](#)
- [393](#)
- [394](#)
- [395](#)
- [396](#)
- [397](#)
- [398](#)
- [399](#)
- [400](#)
- [401](#)
- [402](#)
- [403](#)
- [404](#)

- [405](#)
- [406](#)
- [407](#)
- [408](#)
- [409](#)
- [410](#)
- [411](#)
- [412](#)
- [413](#)
- [414](#)
- [415](#)
- [416](#)
- [417](#)
- [418](#)
- [419](#)
- [420](#)
- [421](#)
- [422](#)
- [423](#)
- [424](#)
- [425](#)
- [426](#)
- [427](#)
- [428](#)
- [429](#)
- [430](#)
- [431](#)
- [432](#)
- [433](#)
- [434](#)
- [435](#)
- [436](#)
- [437](#)
- [438](#)
- [439](#)
- [440](#)
- [441](#)

- [442](#)
- [443](#)
- [444](#)
- [445](#)
- [446](#)
- [447](#)
- [448](#)
- [449](#)
- [450](#)
- [451](#)
- [452](#)
- [453](#)
- [454](#)
- [455](#)
- [456](#)
- [457](#)
- [458](#)
- [459](#)
- [460](#)
- [461](#)
- [462](#)
- [463](#)
- [464](#)
- [465](#)
- [466](#)
- [467](#)
- [468](#)
- [469](#)
- [470](#)
- [471](#)
- [472](#)
- [473](#)
- [474](#)
- [475](#)
- [476](#)
- [477](#)
- [478](#)

- [479](#)
- [480](#)
- [481](#)
- [482](#)
- [483](#)
- [484](#)
- [485](#)
- [486](#)
- [487](#)
- [488](#)
- [489](#)
- [490](#)
- [491](#)
- [492](#)
- [493](#)
- [494](#)
- [495](#)
- [496](#)
- [497](#)
- [498](#)
- [499](#)
- [500](#)
- [501](#)
- [502](#)
- [503](#)
- [504](#)
- [505](#)
- [506](#)
- [507](#)
- [508](#)
- [509](#)
- [510](#)
- [511](#)
- [512](#)
- [513](#)
- [514](#)
- [515](#)

- [516](#)
- [517](#)
- [518](#)
- [519](#)
- [520](#)
- [521](#)
- [522](#)
- [523](#)
- [524](#)
- [525](#)
- [526](#)
- [527](#)
- [528](#)
- [529](#)
- [530](#)
- [531](#)
- [532](#)
- [533](#)
- [534](#)
- [535](#)
- [536](#)
- [537](#)
- [538](#)
- [539](#)
- [540](#)
- [541](#)
- [542](#)
- [543](#)
- [544](#)
- [545](#)
- [546](#)
- [547](#)
- [548](#)
- [549](#)
- [550](#)
- [551](#)
- [552](#)

- [553](#)
- [554](#)
- [555](#)
- [556](#)
- [557](#)
- [558](#)
- [559](#)
- [560](#)
- [561](#)
- [562](#)
- [563](#)
- [564](#)
- [565](#)
- [566](#)
- [567](#)
- [568](#)
- [569](#)
- [570](#)
- [571](#)
- [572](#)
- [573](#)
- [574](#)
- [575](#)
- [576](#)
- [577](#)
- [578](#)
- [579](#)
- [580](#)
- [581](#)
- [582](#)
- [583](#)
- [584](#)
- [585](#)
- [586](#)
- [587](#)
- [588](#)
- [589](#)

- [590](#)
- [591](#)
- [592](#)
- [593](#)
- [594](#)
- [595](#)
- [596](#)
- [597](#)
- [598](#)
- [599](#)
- [600](#)
- [601](#)
- [602](#)
- [603](#)
- [604](#)
- [605](#)
- [606](#)
- [607](#)
- [608](#)
- [609](#)
- [610](#)
- [611](#)
- [612](#)
- [613](#)
- [614](#)
- [615](#)
- [616](#)
- [617](#)
- [618](#)
- [619](#)
- [620](#)
- [621](#)
- [622](#)
- [623](#)
- [624](#)
- [625](#)
- [626](#)

- [627](#)
- [628](#)
- [629](#)
- [630](#)
- [631](#)
- [632](#)
- [633](#)
- [634](#)
- [635](#)
- [636](#)
- [637](#)
- [638](#)
- [639](#)
- [640](#)
- [641](#)
- [642](#)
- [643](#)
- [644](#)
- [645](#)
- [646](#)
- [647](#)
- [648](#)
- [649](#)
- [650](#)
- [651](#)
- [652](#)
- [653](#)
- [654](#)
- [655](#)
- [656](#)
- [657](#)
- [658](#)
- [659](#)
- [660](#)
- [661](#)
- [662](#)
- [663](#)

- [664](#)
- [665](#)
- [666](#)
- [667](#)
- [668](#)
- [669](#)
- [670](#)
- [671](#)
- [672](#)
- [673](#)
- [674](#)
- [675](#)
- [676](#)
- [677](#)
- [678](#)
- [679](#)
- [680](#)
- [681](#)
- [682](#)
- [683](#)
- [684](#)
- [685](#)
- [686](#)
- [687](#)
- [688](#)
- [689](#)
- [690](#)
- [691](#)
- [692](#)
- [693](#)
- [694](#)
- [695](#)
- [696](#)
- [697](#)
- [698](#)
- [699](#)
- [700](#)

- [701](#)
- [702](#)
- [703](#)
- [704](#)
- [705](#)
- [706](#)
- [707](#)
- [708](#)
- [709](#)
- [710](#)
- [711](#)
- [712](#)
- [713](#)
- [714](#)
- [715](#)
- [716](#)
- [717](#)
- [718](#)
- [719](#)
- [720](#)
- [721](#)
- [722](#)
- [723](#)
- [724](#)
- [725](#)
- [726](#)
- [727](#)
- [728](#)
- [729](#)
- [730](#)
- [731](#)
- [732](#)
- [733](#)
- [734](#)
- [735](#)
- [736](#)
- [737](#)

- [738](#)
- [739](#)
- [740](#)
- [741](#)
- [742](#)
- [743](#)
- [744](#)
- [745](#)
- [746](#)
- [747](#)
- [748](#)
- [749](#)
- [750](#)
- [751](#)
- [752](#)
- [753](#)
- [754](#)
- [755](#)
- [756](#)
- [757](#)
- [758](#)
- [759](#)
- [760](#)
- [761](#)
- [762](#)
- [763](#)
- [764](#)
- [765](#)
- [766](#)
- [767](#)
- [768](#)
- [769](#)
- [770](#)
- [771](#)
- [772](#)
- [773](#)
- [774](#)

- [775](#)
- [776](#)
- [777](#)
- [778](#)
- [779](#)
- [780](#)
- [781](#)
- [782](#)
- [783](#)
- [784](#)
- [785](#)
- [786](#)
- [787](#)
- [788](#)
- [789](#)
- [790](#)
- [791](#)
- [792](#)
- [793](#)
- [794](#)
- [795](#)
- [796](#)
- [797](#)
- [798](#)
- [799](#)
- [800](#)
- [801](#)
- [802](#)
- [803](#)
- [804](#)
- [805](#)
- [806](#)
- [807](#)
- [808](#)
- [809](#)
- [810](#)
- [811](#)

- [812](#)
- [813](#)
- [814](#)
- [815](#)
- [816](#)
- [817](#)
- [818](#)
- [819](#)
- [820](#)
- [821](#)
- [822](#)
- [823](#)
- [824](#)
- [825](#)
- [826](#)
- [827](#)
- [828](#)
- [829](#)
- [830](#)
- [831](#)
- [832](#)
- [833](#)
- [834](#)
- [835](#)
- [836](#)
- [837](#)
- [838](#)
- [839](#)
- [840](#)
- [841](#)
- [842](#)
- [843](#)
- [844](#)
- [845](#)
- [846](#)
- [847](#)
- [848](#)

- [849](#)
- [850](#)
- [851](#)
- [852](#)
- [853](#)
- [854](#)
- [855](#)
- [856](#)
- [857](#)
- [858](#)
- [859](#)
- [860](#)
- [861](#)
- [862](#)
- [863](#)
- [864](#)
- [865](#)
- [866](#)
- [867](#)
- [868](#)
- [869](#)
- [870](#)
- [871](#)
- [872](#)
- [873](#)
- [874](#)
- [875](#)
- [876](#)
- [877](#)
- [878](#)
- [879](#)
- [880](#)
- [881](#)
- [882](#)
- [883](#)
- [884](#)
- [885](#)

- [886](#)
- [887](#)
- [888](#)
- [889](#)
- [890](#)
- [891](#)
- [892](#)
- [893](#)
- [894](#)
- [895](#)
- [896](#)
- [897](#)
- [898](#)
- [899](#)
- [900](#)
- [901](#)
- [902](#)
- [903](#)
- [904](#)
- [905](#)
- [906](#)
- [907](#)
- [908](#)
- [909](#)
- [910](#)
- [911](#)
- [912](#)
- [913](#)
- [914](#)
- [915](#)
- [916](#)
- [917](#)
- [918](#)
- [919](#)
- [920](#)
- [921](#)
- [922](#)

- [923](#)
- [924](#)
- [925](#)
- [926](#)
- [927](#)
- [928](#)
- [929](#)
- [930](#)
- [931](#)
- [932](#)
- [933](#)
- [934](#)
- [935](#)
- [936](#)
- [937](#)
- [938](#)
- [939](#)
- [940](#)
- [941](#)
- [942](#)
- [943](#)
- [944](#)
- [945](#)
- [946](#)
- [947](#)
- [948](#)
- [949](#)
- [950](#)
- [951](#)
- [952](#)
- [953](#)
- [954](#)
- [955](#)
- [956](#)
- [957](#)
- [958](#)
- [959](#)

- [960](#)
 - [961](#)
 - [962](#)
 - [963](#)
 - [964](#)
 - [965](#)
 - [966](#)
 - [967](#)
 - [968](#)
 - [969](#)
 - [970](#)
 - [971](#)
 - [972](#)
 - [973](#)
 - [974](#)
 - [975](#)
 - [976](#)
 - [977](#)
 - [978](#)
 - [979](#)
 - [980](#)
 - [981](#)
 - [982](#)
 - [983](#)
 - [984](#)
 - [985](#)
-

Франсуа Рабле
Гаргантюа и Пантагрюэль

«Гаргантюа и Пантагрюэль»: хроника, роман, книга?

«С великою досадою принужден я поместить в сию Библиотеку многих сочинителей, из коих одни писали скверно, иные бесстыдно и без всякого приличия, другие как еретики, и всех хуже некий, именуемый Франсуа Рабле, насмешник над Богом и миром...» Так извинялся перед ценителями словесности Антуан Дювердье, автор «Библиотеки» (1585), одного из первых во Франции каталогов печатных книг. В 1623 году ревностный поборник католицизма иезуит Франсуа Гарасс (или, в латинском варианте, Гарассус), обрушиваясь на щеголей-либертенов в памфлете «Занятное учение нынешних остроумцев, либо себя таковыми полагающих», не находит более убедительного доказательства их нравственного падения, нежели описание их идеальной библиотеки, где, наряду с творениями Помпонаци, Парацельса, Макиавелли, выделяется главная книга – «анти-Библия»: «...У либертенов всегда в руках книга Рабле, наставление в разврате».

Слава Рабле на протяжении столетий была неотделима от яростных нападок на него. Но уже в XVI веке произведения этого писателя стали почти обязательной принадлежностью библиотек. Примерно в каждой третьей личной библиотеке во Франции на излете Возрождения имелись издания «мэтра Франсуа» (Библия была в каждой второй) – при том, что «Гаргантюа и Пантагрюэль» регулярно вносился во все Индексы запрещенных книг. Читать Рабле и владеть его книгой считалось грехом. Но – не согрешишь, не покаешься: вот, например, что писал другу в начале XVII века один образованный человек: «У меня долго находилась книга Рабле, но не моя: мне дал ее прочесть г-н Гийе. Каждый год он каялся на исповеди, что имеет книгу Рабле, но не в доме, а я – что у меня она есть, но чужая...»

В отличие от подавляющего числа своих современников, Рабле не переживал периодов забвения и, более того, не превратился в «музейного» классика, интересного лишь историкам литературы. До сих пор споры вокруг его романа и во Франции, и за ее пределами нередко выходят за рамки чистой науки. Достаточно вспомнить, какой

эффект произвела и у нас в стране, и за рубежом знаменитая книга М. М. Бахтина^[1], или какую откровенную неприязнь питал к создателю «Пантагрюэля» А.Ф. Лосев. Мировая известность врача из Шинона привела к не вполне адекватному его восприятию. Уже либертены, почитавшие Рабле, видели в его сочинении своего рода «энциклопедию французской жизни» Возрождения, исчерпывающее воплощение его духа и культуры. Подход этот, во многом справедливый, привел тем не менее к смещению исторической перспективы: громадная фигура Рабле, разрастаясь до размеров всей ренессансной культуры Франции, заслонила собой подавляющее большинство современников. «Мэтр Франсуа», наподобие своих великанов, одиноко вознесся над толпой безликих, полузабытых теней и над бесцветным морем книжной продукции XVI века. Поэтому до сих пор не утратили актуальности слова, написанные четыре столетия назад врачом Жаном Беркье: «Имя Рабле всем известно, всяк о нем говорит, но по большей части не вполне понимая, что это такое». Смысл же «Гаргантюа и Пантагрюэля» невозможно понять, изолировав его от самого широкого исторического и литературного контекста его эпохи.

Маленький томик ин-кварто под названием «Ужасные и устрашающие деяния и подвиги знаменитейшего Пантагрюэля, короля дипсодов, сына громадного великана Гаргантюа, написанные недавно мэтром Алькофрибасом Назье» появился в ноябре 1532 году, накануне традиционной лионской ярмарки. Выпустивший его печатник Клод Нурри специализировался на рыцарских романах, «пастушеских календарях» и прочих сочинениях того рода, который впоследствии получил название «ярмарочной» литературы. И рассказчик его новой книжки, «мэтр Алькофрибас», обращался к читателям в точности как ярмарочный зазывала, нахваливая свой товар со всеми проклятиями и божбой, предусмотренными средневековым жанром «крика разносчика». Что заставило Рабле, чье имя скрывалось за прозрачной анаграммой, создать подобную книгу? Ведь шинонский врач, в отличие, скажем, от Клемана Маро, дурно знавшего латынь и вовсе не знавшего греческий, обладал обширной гуманистической образованностью. Монах-францисканец, он принадлежал в юности в Пуату к кружку эллинистов; затем, перейдя на службу к епископу Жоффруа д'Эстиссаку, увлекся медициной, оставил орден (подобные

штудии были запрещены уставом францисканцев) и снискал успех своими лекциями в Монпелье, где получил в 1530 году звание бакалавра медицины; в 1532-м он практиковал в Лионе. В том же году у одного из крупнейших лионских либраниеров и печатников, Себастьяна Грифиуса, вышли подготовленные Рабле издания «Афоризмов» Гиппократов и латинских посланий итальянского врача Манарди, в посвящении которых, обращаясь к своему другу, юристу из Пуату Андре Тирако, ученый-гуманист негодовал на людей, «что не могут и не хотят избавиться от плотного и едва ли не киммерийского тумана готической эпохи и обратить взоры к сияющему светочу солнца» – знания.

Конечно, отчасти обращение Рабле к народной традиции объясняется самим характером французского гуманизма, который в значительно большей мере, нежели итальянский, проявлял интерес к национальной литературе и проблемам национального языка. Становление абсолютизма стало одним из важных факторов, повышающих статус народного наречия: «королевское знание» было знанием французским *par excellence*. Кроме того, соперничество с Италией, обострившееся на рубеже XV—XVI веков, заставляло искать в средневековом наследии образцы, доказывающие превосходство французской культуры над заальпийской. Возник целый пантеон средневековых авторов – «аналогов» великих писателей древнего Рима и Италии: считалось, например, что Кретьен де Труа или Гильом де Лоррис и Жан де Мен, создатели «Романа о Розе», прославили национальный язык и словесность не менее, нежели Овидий или Вергилий словесность латинскую, а Данте, Петрарка и Боккаччо итальянскую. Однако «ярмарочная» литература отнюдь не принадлежала к этому пантеону. Обращение к ней Рабле стало блестящим экспериментом – возможно, навеянными аналогичными опытами современных итальянских писателей, в частности Боярдо и Ариосто, однако совершенно новым по духу: его роман стал гигантским тиглем, где сплелись воедино едва ли не все средневековые жанры, приемы, стили и типы персонажей.

Каждая из четырех первых книг романа (атрибуция пятой книги, изданной в окончательном виде лишь в 1564 году, спустя 11 лет после смерти Рабле, во многом проблематична) в самом общем виде ориентируется на определенный жанр, а нормы ее восприятия

сформулированы Рабле в его знаменитых прологах. В «Пантагрюэле», обращаясь к читателю, мэтр Алькофрибас называет своим источником и образцом «Великие и бесподобные хроники об огромном великане Гаргантюа», «книгу в своем роде единственную, равных себе не имеющую и беспримерную». Первая (хронологически) книга подчиняется канонам хроники – жанра, который еще в конце XV века был одним из ведущих в национальной словесности: недаром свод «Великих французских хроник» стал первым сочинением на народном языке, отпечатанным французскими типографами. Вершины своего развития хроника достигла при дворе герцогов Бургундских, хронистами которых были такие крупные поэты «осени средневековья», как Жорж Шатлен, Жан Молине или Жан Лемер де Бельж. Должность придворного хрониста, или, как его называли в Бургундии, инцидиария, означала не только приближенность к государю, но и высочайшее признание литературных заслуг.

Свой рассказ хронист мыслил как часть общей истории христианского мира, отрывок из бесконечной «книги» божеских и человеческих дел, а потому непременно обозначал, хотя бы кратко, предшествующие события начиная с библейских времен, а также историю династии, на службе которой он состоял. В полном соответствии с канонами Алькофрибас помещает в первой главе книги обстоятельную генеалогию Пантагрюэля и описание чудес, предшествующих его рождению. «...Ибо, – пишет он, – ведомо мне, что все добрые историографы так именно и составляли свои хроники». В прологе он не забывает уточнить, что состоял при Пантагрюэле и «у него прослужил от молодых ногтей до самых последних дней», иными словами, оговаривает свою роль придворного хрониста. И наконец, он истово клянется, что его творение отвечает главному принципу хроникальной поэтики – правдивости, исторической достоверности: «Готов прозаложить всем чертям на свете тело свое и душу, всего себя со всеми потрохами, если на протяжении этой истории хоть раз прилгну», а заодно призывает на головы читателей все возможные напасти, если им вдруг вздумается усомниться в правдивости его рассказа, то есть нарушить законы восприятия жанра.

Итак, «Пантагрюэль» задуман в продолжение «Великих хроник», назван автором «хроникой» и ориентирован, пусть и пародийно, на

поэтику этого жанра. Однако его, как и последующие книги, принято называть «романом». Не ошибка ли это?

Безусловно, произведение Рабле обладает всеми внешними признаками романа в современном понимании, от объема до единства героя. Его принадлежность к романному жанру доказывается и в известных работах М.М. Бахтина. Однако современники также считали «Пантагрюэля» романом – вкладывая в это обозначение несколько иной смысл. Так, в 1533 году некий парижанин по имени Жак Легро составил для себя список книг, который собирался в ближайшее время прочесть. В этом своеобразном каталоге (известном как «опись Жака Легро») содержится более 30 рыцарских романов – и среди них «Пантагрюэль», который в глазах горожанина, по-видимому, ничем принципиально не отличался от «Роберта Дьявола», «Фьерабраса» и «Гюона Бордоского», в свою очередь, упомянутых в «хроникальном» прологе мэтра Алькофрибаса. В один ряд с «Ланселотом» и «Ожье Датчанином» ставит книги Рабле и автор написанного 15 лет спустя трактата «Теотим» – доктор богословия и «гроза еретиков» Габриель де Пюи-Эрбо (в латинском варианте Путербий), тот самый «бесноватый путербей», которого за его нападки походя, в числе других порождений Антифизис, уничтожил Рабле в «Четвертой книге». В 1552 году протестант Пьер Дюваль издает стихотворный трактат «Триумф правды», в котором, помимо прочего, содержится перечень «пустых и никчемных» книг, выпускаемых французскими печатниками; среди них – те же «Фьерабрас» и «Ожье Датчанин», «Амадис Галльский», «Рено де Монтобан», а также, выделенный особо, «Пантагрюэль, что превзошел их всех».

Таким образом, «Пантагрюэль» воспринимался во времена своего создания как рыцарский роман. Этот средневековый жанр в эпоху Возрождения не только превратился в одну из самых популярных разновидностей «народных» книг, но и послужил материалом для целого ряда шедевров, от «Неистового Роланда» Ариосто до «Дон Кихота» Сервантеса. Однако в период позднего средневековья законы романа совпадали с канонами хроники: уже в XIII веке, когда появились первые прозаические обработки старинного эпоса и рыцарского романа, принцип исторической достоверности распространился практически на всю сферу повествовательной прозы: «истории» для того и перелагались прозой, чтобы их «правдивость» не

искажалась более в угоду стихотворному метру и рифме. И к началу XVI века, когда и хроника, и рыцарский роман утратили свои высокие позиции в культуре, перешли в сферу «народной» литературы, риторика исторической достоверности пышным цветом расцвела в различных смеховых жанрах, оформляя рассказы о невероятных приключениях либо волшебников и великанов, либо плутов типа Тиля Уленшпигеля – рассказы, которые в народной среде, впрочем, нередко воспринимались всерьез.

«Гаргантюа», вышедший два года спустя (1534) и ставший в последующих изданиях первой книгой романа, внешне развивает успех «Пантагрюэля»: он остается в русле народных хроник, причем Рабле использует «родственный» принцип циклизации, который был характерен для позднесредневековых романских сводов, – история сына дополняется историей отца. Но поэтические установки, изложенные в его прологе, меняются: если в «Пантагрюэле» рассказчик клянется, что его история в высшей степени правдива, то в «Гаргантюа» мэтр Алькофрибас настаивает на том, что его творение имеет не только буквальный смысл. Силены, Сократ, откупоренная бутылка, мозговая кость – все это изобилие метафор предостерегает читателя от «скороспелого вывода», что книга содержит одни лишь «нелепости, дурачества и разные уморительные небывальщины». Под их оболочкой скрывается ценнейшая «мозговая субстанция», которую можно извлечь «после прилежного чтения и долгих размышлений». «Пантагрюэль» требует веры, «Гаргантюа» – истолкования: поэтика хроники сменяется поэтикой *аллегории*.

Аллегорическая интерпретация в культуре средних веков и раннего Возрождения была неотъемлемой принадлежностью «поэзии» в широком смысле – тех «басен поэтов», которые еще Боккаччо в трактате «Генеалогия языческих богов», популярном и во Франции, защищал от невежественных нападок. Такой подход к литературе, в том числе и античной (здесь пальма первенства по праву принадлежит «Метаморфозам» Овидия – «Библии поэтов», как они были названы в одном из изданий XV века), стал необходимым связующим звеном между средневековой дидактикой и современным пониманием литературы как художественного вымысла. Еще в 1526 году Клеман Маро, подготовивший для печати «Роман о Розе», снабдил его «Моральным толкованием», в котором писал: «Если мы в понимании

своим продвинемся не далее оболочки буквального смысла, то лишь получим удовольствие от вымыслов и историй, не постигнув особенной пользы, которую в моральном разумении приносит сердцевина духовная, то есть происходящая из внушения Святого Духа». Если вынести за скобки разницу интонаций, то «серцевина духовная», которую обнаруживает Маро в романе Гильома де Лорриса и Жана де Мена, – это та же «мозговая субстанция», которую призывает «высосать» из своей книги Алькофрибас.

Таким образом, призывая читателей последовать примеру собаки, «самого философского животного в мире», и насладиться «высоким» смыслом, заложенным в его произведении, Рабле определяет его уже не как историю, но как вымысел: две части и два пролога одного и того же повествования включаются в разные и отчасти даже противоположные поэтические системы.

Однако эти системы обладали, бесспорно, одной общей чертой. Обе они получили развитие в эпоху «осени средневековья» и к 30-м годам XVI века во многом устарели. Алькофрибасовы прологи – это смеховая игра с канонами и приемами средневековой словесности. И если Рабле поминает скрытые в его книге «величайшие таинства и страшные тайны, касающиеся нашей религии, равно как политики и домоводства», то лишь затем, чтобы обозначить один из прежних принципов восприятия литературы, немедленно оставляя его на долю «дураков» и «межеумков» (в число которых, между прочим, попадают у него Плутарх и Полициано). Автор стремится как можно точнее указать предмет своей пародии – сугубо *средневековое* понимание словесности и книги. В прологе «Пантагрюэля» Алькофрибас расхваливает читателям не только содержание своей истории, но и «целебные» свойства собственной книги и ее образца – народных хроник, чтение которых помогает подагрикам и венерикам, подобно тому как житие св. Маргариты помогает роженицам. Но восприятие книги (в первую очередь, конечно, Библии) как сакрального предмета, обладающего магической силой и способного избавлять от хворей, – характерная черта народной, по преимуществу бесписьменной культуры средних веков. Заявляя, что и его творение того же сорта, Алькофрибас пародийно задает для нее средневековые правила восприятия.

Во многом поэтому Рабле в дальнейшем объединял «Гаргантюа и Пантагрюэля» – отчасти в противовес паре Третья – Четвертая книга. Больше того, он самым внимательным образом следил, чтобы две первые части романа имели одинаковый внешний вид. После смерти Клода Нурри, последовавшей в 1533 году, шинонский врач сотрудничал с лионским печатником Франсуа Жюстом, одним из крупнейших издателей литературы на народном языке, близким к протестантским кругам, другом Маро, Мориса Сэва и многих других современных авторов. Все издания «Пантагрюэля» (1532, 1533, 1534, 1537 и 1542) и «Гаргантюа» (1534, 1535, 1537 и 1542), подготовленные самим Рабле, сошли именно с его печатного станка. И все они имели две внешние особенности – формат ин-октаво и готический шрифт, использовавшийся к тому времени только для печатания «народных» книг.

Насколько важны были эти внешние признаки для шинонского гуманиста, показывает скандал, разгоревшийся в 1542 году, когда гуманист Этьен Доле, выхлопотавший себе в 1537 году у короля привилегию издателя (а в 1546-м сожженный как еретик по доносу своих коллег), выпустил обе книги без ведома автора. Реакция Рабле была немедленной и необычайно резкой. Сам по себе факт пиратства в эпоху, когда система привилегий на печатание книг была крайне запутанной и несовершенной, вряд ли мог побудить создателя «Гаргантюа и Пантагрюэля» назвать бывшего друга «плагиатором и человеком, склонным ко всяческому злу». Негодование автора вызвало в первую очередь то, что Доле отпечатал «Забавную и веселую историю огромного великана Гаргантюа» и «Пантагрюэля, короля Дипсодов, восстановленного в его первоначальном виде» не готикой, а гуманистической антиквой. Смена шрифта автоматически лишала книги Рабле их «низкого» статуса, неотделимого от налета старины.

Культурную границу между готикой и антиквой недвусмысленно обозначил сам Рабле, описывая в «Гаргантюа» процесс воспитания юного великана. Пока Гаргантюа обучался премудрости у «великого богослова, магистра Тубала Олоферна», тот, среди прочего, учил его «писать готическими буквами»; когда же юноша попал к Понократу (доказав своими успехами преимущества гуманистической системы обучения перед схоластической), он постиг науку «красиво и правильно писать буквы античные и новые римские». Две первые свои

книги Рабле явно числил по ведомству Тубала Олоферна. К концу того же 1542 года он выпустил у преемника Жюста Пьера де Тура свое издание, объединяющее «Гаргантюа» и «Пантагрюэля», – готическое.

Роман Рабле точно вписан в традицию «народных» книг; если сам он заимствует ряд мотивов из «Великих хроник» (например, историю о колоколах собора Парижской Богоматери или подробный реестр тканей, что пошли на одеяние Гаргантюа, с их цветовой символикой), то и некоторые его эпизоды – такие, например, как знаменитый каталог книг аббатства Св. Виктора, – в свою очередь, переходят в последующие их издания. Еще в конце XIX века историки считали шинонского врача если не автором «Хроник», то по крайней мере «редактором», подготовившим их к печати. С другой стороны, сразу после появления «Пантагрюэля» этот персонаж приобрел невиданную популярность: имя его, прежде встречавшееся в мистериях (так звали бесенка, насылающего жажду), замелькало на обложках самых разных по жанру произведений для привлечения читателей. Более того, персонаж Пантагрюэль подвергся своего рода «вторичной мифологизации», превратившись в элемент карнавалов и иных празднеств. Сохранились, например, свидетельства о празднестве «дурацкого аббатства», организованном в Руане в 1541 году и содержащем многочисленные отсылки к «Пантагрюэлю». Для французской культуры середины XVI века Пантагрюэль стал во многом фигурой эмблематической – чему способствовал и сам Рабле, выпустивший в 1533-м у Жюста пародийный астрологический прогноз, озаглавленный «Пантагрюэлево предсказание, верное, истинное и непреложное на всякий год, сочиненное недавно на пользу и употребление природным сумасбродам и бездельникам мэтром Алькофрибасом, главным стольником сказанного Пантагрюэля».

Но в сферу игры у Рабле попадают не только средневековые жанровые каноны и персонажи. Прежде всего игровым объектом у шинонского врача оказывается сам национальный язык, его законы и культурная стратификация. Языковую игру традиционно принято считать проявлением духа ренессансной свободы, отличающей «Гаргантюа и Пантагрюэля». Однако Рабле и здесь сохраняет (пародийную) верность традиции. Вот только один пример. В главе VI «Пантагрюэля» Рабле вкладывает в уста лимузенского школяра почти дословную цитату из трактата печатника-гуманиста Жоффруа Тори

«Цветущий луг», вышедшего в 1529 году. Тори придумал этот образчик «неестественного» французского наречия, дабы высмеять тех, кого он называл «грабителями» (или «обдирателями», как именуется школяра Пантагрюэль) латыни, – одну из разновидностей людей, калечащих национальный язык. Но наряду с «грабителями» он называет и других: «шутников» (между прочим, эпитет *Plaisantin*, «шутник», впоследствии прочно пристал к самому Рабле), «жаргонеров» и, что особенно интересно, «изобретателей новых слов», «каковые после выпивки говорят, что голова у них совсем замудрявая и переконфуженная и полна всякой куролесины и обалдистики, всякой мусорени и рассупотины...».

Сходство с языком Рабле (включая мотив выпивки) настолько разительно, что некоторые историки даже полагали, будто именно из трактата Тори шинонский врач почерпнул общий принцип своей стилистики. Но смысл отсылки у Рабле явно сложнее. Его книга пропитана атмосферой той полемики о народном языке, самым знаменитым памятником которой станет «Защита и прославление французского языка» Жоашена Дю Белле, но чьи истоки восходят еще по крайней мере к XV веку. Многие неологизмы, традиционно считающиеся «раблезианскими», изобретены на самом деле французскими поэтами рубежа XV—XVI веков, известными как «великие риторики» и прославившимися своим языковым новаторством, – Жаном Молине, Жаном Лемером де Бельж и их современниками. С некоторыми из них (например, с Жаном Буше) Рабле состоял в дружеских отношениях. Крупнейшие поэты этой школы в свое время, как мы уже говорили, состояли хронистами при дворе герцогов Бургундских. И именно для творчества «риториков» была в высшей степени характерна та идея «скрытого», аллегорического смысла поэзии, на которой строится пролог к «Гаргантюа». Рабле четко обозначает традицию, в рамках которой следует читать его творение. Но эта традиция, определяющая для французской словесности начала XVI века, в 30-х годах постепенно стала сменяться новыми поэтическими установками, которые получают законченное воплощение полтора десятилетия спустя в творчестве «Плеяды». Вполне вероятно, что неологизмы у Рабле, наряду с оформлением двух его первых книг, служат своего рода знаком уходящей эпохи, архаизирующим стилистическим приемом.

Жизнь Гаргантюа и Пантагрюэля протекает в определенный историко-культурный период: это «осень средневековья», время становления гуманизма во Франции, долгое время считавшейся на родине Ренессанса, в Италии, страной неотесанных рыцарей, превыше всего почитающих ратное искусство и доблесть. Дистанция между юностью отца и юностью сына подчеркнута симметрией родительских писем, которые оба они получают, обучаясь в Париже. Грангузье пишет Гаргантюа, дабы, хоть и не без сожаления, вывести его из состояния «философического покоя» и призвать на войну с Пикрохолом. Впоследствии сам Гаргантюа в своем знаменитом послании скажет: «То было темное время, тогда еще чувствовалось пагубное и зловерное влияние готов, истреблявших всю изящную словесность», – и повелит Пантагрюэлю «употребить свою молодость на усовершенствование в науках и добродетелях», лично определив круг дисциплин, которые тому следует превзойти. Лишь позднее, когда юноша превратится в зрелого мужа, ему предстоит научиться владеть оружием, дабы защищать себя и друзей от происков неприятеля. Послание Гаргантюа – программа гуманистического воспитания молодого короля, написанная по всем правилам риторики и с использованием топики, восходящей еще к Петрарке. Однако было бы неосторожно считать этот набор общих мест гуманистического эпистолярного жанра (очень напоминающий послания французских гуманистов XV века – Фише или Гагена) изложением взглядов самого Рабле. Ибо уже в следующей главе романа эта программа обретает воплощение: Пантагрюэль встречает Панурга.

Центральный персонаж повествования о Пантагрюэле возникает в нем как антипод лимузенского школяра: в отличие от незадачливого студюзуса, он отвечает на вопрос великана не на исковерканном французском, а на доброй дюжине различных языков (как реальных, так и вымышленных). Рабле не скрывает своего источника – Панург изъясняется на манер адвоката Патлена, героя знаменитого цикла фарсов. Гуманизм сталкивается со стихией балагана, образуя с нею «такую же неразлучную пару, как Эней и Ахат». Результат следует незамедлительно: Пантагрюэль триумфально разрешает тяжбу между сеньорами Лижизад и Пейвино, прибегнув к «кок-а-ляну», излюбленному приему ярмарочного театра (и реализуя тем самым наказ отца изучить «прекрасные тексты гражданского права»), а чуть

позднее Панург от его лица посрамляет ученого англичанина Таумаста с помощью жестикологии, не оставляющей сомнений в своем театрально-площадном происхождении. Истинная мудрость в романе Рабле имеет мало общего с гуманистической образованностью. Ее средоточием оказываются не книги (перед диспутом Панург решительно советует своему господину выкинуть их из головы), но стихия ярмарочной игры, вовлекающей в себя все области знания, жанры и стили современной культуры.

Именно книжная наука выступает в «Гаргантюа и Пантагрюэле» излюбленным предметом пародии. Любопытно, что в знаменитом Телемском аббатстве (устройство которого обычно считают воплощением гуманистических идеалов Рабле) библиотека хотя и присутствует, но упомянута мимоходом, лишь как элемент архитектуры здания, но не уклада жизни телемитов. Автор не упоминает ни одного заглавия содержащихся в ней книг – в отличие от библиотеки аббатства Св. Виктора, каталог которой занимает несколько страниц.

Хотя телемиты и говорят на пяти-шести языках и на каждом из них умеют сочинять стихи и прозу, этот «культурный пласт» никак не отражается на их существовании. Совершенные кавалеры и прелестные дамы охотятся, играют, пьют вино; одним их модам посвящена целая глава, подобно тому как целая глава (текстуально близкая народным хроникам) отведена одеянию Гаргантюа. Жизнь телемитов, исполненных столь обширных познаний, протекает между «ристалищем, ипподромом, театром, бассейном для плавания и изумительными трехъярусными банями»; чтение среди их занятий не фигурирует ни разу. Аббатство напоминает одновременно как стихотворные «Храмы» (Любви, Чести, Добродетели, Купидона и пр.), создававшиеся «риториками», так и топику «просвещенного кружка», на которой строилось еще обрамление «Декамерона» Боккаччо и которая активно разрабатывалась в итальянской новеллистике и трактатах-диалогах начала века (у Бембо, Кастильоне, Фиренцуолы). Однако у Рабле отсутствует главная составляющая этой топики – идеализация определенного типа красноречия и социального поведения. Его юноши и девушки не проводят время в рассуждениях, не обмениваются новеллами и даже шутками. Вряд ли случайно «пророческая загадка», завершающая рассказ о Телеме, согласно

истолкованию брата Жана, включает в себе всего лишь описание игры в мяч. Социальная же функция новой обители сводится, судя по всему, к устройству семейной жизни «монахов» – каждый из них, покидая «монастырь», увозит с собой любимую девушку, с которой затем живет долго и счастливо. Смеховая игра, «пантагрюэлизм», которым, по утверждению Рабле, полна его книга, не признает позитивного, то есть «серьезного», идеала.

В «Третьей книге героических деяний и речений доброго Пантагрюэля», вышедшей в 1546 году у парижского издателя Кретьена Вешеля, игра, не меняя своей сути, получает иную направленность. Если в первых двух частях «Гаргантюа и Пантагрюэля» Рабле ориентировался на нормы изживающей себя культуры, то новое его творение вписывается в контекст современных поэтических дебатов. В 40-х годах XVI века во Франции разгорелся так называемый «спор о возлюбленных», первоотолчком к которому послужил перевод трактата Бальдассаре Кастильоне «Придворный». Содержавшаяся в трактате проповедь возвышенной любви в духе платонизма Фичино породила целую волну произведений разных жанров, обострив не утихавшую с начала прошлого столетия дискуссию о природе женщины (кто она: сосуд греха или средоточие божественной красоты и добродетели?) и любовного чувства. В «споре» приняли участие практически все крупные поэты эпохи: Маро, Сен-Желе, Доле, Коррозе, Маргарита Наваррская. Своеобразным отражением его стала и «Третья книга» Рабле: намерение Панурга (придворного!) вступить в брак служит поводом для бесконечных дебатов – остающихся, в соответствии с логикой смеховой игры, без какого-либо положительного разрешения. Фарсово сниженная (до проблемы рогов), проблематика «спора» обретает поистине вселенский масштаб: Панург обращается за советом не только к своему господину и к его окружению (брату Жану, Эпистемону), но и к богослову, поэту, лекарю, законоведу, философу и даже к панзуйской сивилле, испробует всевозможные виды гадания. Матримониальный вопрос постепенно превращается в поиски некоей единой, непреложной – и недостижимой – истины.

Стихия игры в «Третьей книге» абсолютна: девиз телемитов «Делай что хочешь» словно распространяется на весь романский мир, придавая ему качественно иной по сравнению с предыдущими книгами смысл. Именно в этой части романа получает законченное

выражение та философия ничем не ограниченной (а потому и трагической) свободы человека, которая вызвала столь яростное неприятие со стороны Церкви и которая была столь характерна для эпохи позднего Возрождения. Главным героем Рабле становится Слово, самодостаточное, не нуждающееся в оправдании какой-либо внешней, высшей истиной; его эмблемой выступают гомерические глагольные перечни из «Предисловия автора». Уподобляя себя Диогену, «безумствующему» с бочкой, автор погружает персонажей в бесконечный поток словесных форм и знаков, обнимающий все сферы знания и деятельности. В «Четвертой книге» (1547), где Рабле, используя сюжетную схему средневековых видений (вроде «Плавания святого Брендана»), отправляет Пантагрюэля с друзьями искать истину в далеких странах, поток этот захватывает уже всю землю, порождает причудливые, фантастические создания, словно сошедшие с полотен Босха, и создает ту не столько веселую, сколько жутковатую картину мира, которую по традиции принято считать сатирической и которая отчасти предвосхищает мизантропический шедевр Свифта. Слово в буквальном смысле становится стихией, оно звучит даже в открытом море – как в знаменитом эпизоде с оттаявшими словами, почерпнутом Рабле у того же Кастильоне. Именно оно превращается в «мозговую субстанцию» романа, обретая плотность материального объекта, наподобие того, как «пантагрюэлизм» двух первых книг романа претворяется в волшебное растение пантагрюэлион, которым нагружены трюмы кораблей Пантагрюэля.

Средоточием и пространством подобного Слова служит книга – Книга как таковая, утрачивающая свою роль носительницы законченной истины и не требующая больше особых жанровых обозначений и вымышленной фигуры рассказчика. Получив в 1545 году привилегию на издание всех своих произведений, Рабле выпустил третью и четвертую книги под собственным именем (и уже не прибегая к готическому шрифту). Если «Пантагрюэль» и «Гаргантюа» – это смеховое прощание с культурой уходящей эпохи, книги, отрицающие сами себя в своей средневековой ипостаси, то в их продолжении воплотилось новое, подлинно ренессансное в своем величии и трагической противоречивости понимание книги как «утопии языка». Не нужно забывать, что Пантагрюэль, помимо прочего, был королем Утопии...

Роман шинонского врача, созданный в один из переломных периодов французской культуры, также переходен. Меняясь вместе с современностью, он намечает пути развития литературы – и ни на одном не останавливается окончательно. Поэтому каждое столетие стремилось (и будет стремиться впредь) разрешить для себя загадку Рабле, прочесть его по-своему.

И.К. Стаф

Гаргантюа и Пантагрюэль

**Повесть о преужасной жизни великого
Гаргантюа, отца Пантагрюэля, некогда
сочиненная магистром Алькофрибасом Назье,
извлекателем квинтэссенции
*Книга, полная пантагрюэлизма***

К читателям

Читатель, друг! За эту книгу сев,
Пристрастия свои преодолей.
Да не введет она тебя во гнев;
В ней нет ни злобы, ни пустых затей.
Пусть далеко до совершенства ей,
Но посмешит она тебя с успехом.
Раз ты тоскуешь, раз ты чужд утехам,
Я за иной предмет не в силах взяться:
Милей писать не с плачем, а со смехом, —
Ведь человеку свойственно смеяться.^[2]

От автора

Достославные пьяницы и вы, досточтимые венерики (ибо вам, а не кому другому, посвящены мои писания)! В диалоге Платона под названием *Пир* Алкивиад, восхваляя своего наставника Сократа, поистине всем философам философа, сравнил его, между прочим, с силенами^[3]. Силенами прежде назывались ларчики вроде тех, какие бывают теперь у аптекарей; сверху на них нарисованы смешные и забавные фигурки, как, например, гарпии, сатиры, взнузданные гуси, рогатые зайцы, утки под выючным седлом, крылатые козлы, олени в упряжке и разные другие занятные картинки, вызывающие у людей смех, — этим именно свойством и обладал Силен, учитель доброго Бахуса, — а внутри хранились редкостные снадобья, как-то: меккский

бальзам, амбра, амом, мускус, цибет, порошки из драгоценных камней и прочее тому подобное. Таков, по словам Алкивиада, и был Сократ: если бы вы обратили внимание только на его наружность и стали судить о нем по внешнему виду, вы не дали бы за него и ломаного гроша – до того он был некрасив и до того смешная была у него повадка: нос у него был курносый, глядел он исподлобья, выражение лица у него было тупое, нрав простой, одежда грубая, жил он в бедности, на женщин ему не везло, не был он способен ни к какому роду государственной службы, любил посмеяться, не дурак был выпить, любил подтрунить, скрывая за этим божественную свою мудрость. Но откройте этот ларец – и вы найдете внутри дивное, бесценное снадобье: живость мысли сверхъестественную, добродетель изумительную, мужество неодолимое, трезвость беспримерную, жизнерадостность неизменную, твердость духа несокрушимую и презрение необычайное ко всему, из-за чего смертные так много хлопочут, суетятся, трудятся, путешествуют и воюют.

К чему же, вы думаете, клонится это мое предисловие и предуведомление? А вот к чему, добрые мои ученики и прочие шалопаи. Читая потешные заглавия некоторых книг моего сочинения^[4], как, например, *Гаргантюа, Пантагрюэль, Феспент, О достоинствах гульфигов, Горох в сале cum commento*^[5] и т. п., вы делаете слишком скороспелый вывод, будто в этих книгах речь идет только о нелепостях, дурачествах и разных уморительных небывальщинах; иными словами, вы, обратив внимание только на внешний признак (то есть на заглавие) и не вникнув в суть дела, обыкновенно уже начинаете смеяться и веселиться. Но к творениям рук человеческих так легкомысленно относиться нельзя. Вы же сами говорите, что монаха узнают не по одежде, что иной, мол, и одет монахом, а сам-то он совсем не монах, и что на ином хоть и испанский плащ, а храбрости испанской в нем вот настолько нет. А посему раскройте мою книгу и вдумайтесь хорошенько, о чем в ней говорится. Тогда вы уразумеваете, что снадобье, в ней заключенное, совсем не похоже на то, какое сулил ларец; я хочу сказать, что предметы, о которых она толкует, вовсе не так нелепы, как можно было подумать, прочитав заглавие.

Положим даже, вы там найдете вещи довольно забавные, если понимать их буквально, вещи, вполне соответствующие заглавию, и

все же не заслушивайтесь вы пеняя сирен, а лучше истолкуйте в более высоком смысле все то, что, как вам могло случайно показаться, автор сказал спроста.

Вам когда-нибудь приходилось откупоривать бутылку? Дьявольщина! Вспомните, как это было приятно. А случалось ли вам видеть собаку, нашедшую мозговую кость^[6]? (Платон во II кн. *De rep.*^[7] утверждает, что собака – самое философское животное в мире.) Если видели, то могли заметить, с каким благоговением она сторожит эту кость, как ревниво ее охраняет, как крепко держит, как осторожно берет в рот, с каким смаком разгрызает, как старательно высасывает. Что ее к этому понуждает? На что она надеется? Каких благ себе ожидает? Решительно никаких, кроме капельки мозгу. Правда, эта «капелька» слаще многого другого, ибо, как говорит Гален в III кн. *Facu. natural.*^[8] и в XI *De usu parti.*^[9], мозг – это совершеннейший род пищи, какую нас наделяет природа.

По примеру вышеупомянутой собаки вам надлежит быть мудрыми, дабы унюхать, почуять и оценить эти превосходные, эти лакомые книги, быть стремительными в гоне и бесстрашными в хватке. Затем, после прилежного чтения и долгих размышлений, вам надлежит разгрызть кость и высосать оттуда мозговую субстанцию, то есть то, что я разумею под этим пифагорейским символом, и вы можете быть совершенно уверены, что станете от этого чтения и отважнее и умнее, ибо в книге моей вы обнаружите совсем особый дух и некое, доступное лишь избранным, учение, которое откроет вам величайшие таинства и страшные тайны, касающиеся нашей религии, равно как политики и домоводства.

Неужто вы в самом деле придерживаетесь того мнения, что Гомер, когда писал *Илиаду* и *Одиссею*, помышлял о тех аллегориях, которые ему приписали Плутарх, Гераклид Понтийский, Евстафий^[10], Корнут^[11] и которые впоследствии у них же выкрал Полициано^[12]? Если вы придерживаетесь этого мнения, значит, мне с вами не по пути, ибо я полагаю, что Гомер так же мало думал об этих аллегориях, как Овидий в своих *Метаморфозах*^[13] о христианских святынях, а между тем один пустоголовый монах, подхалим, каких мало, тщился доказать обратное, однако ж другого такого дурака, который был бы ему, как говорится, под стать, не нашлось.

Если же вы смотрите иначе, то все-таки отчего бы вам и почему бы вам не сделать того же с моими занятыми и необыкновенными повестями, хотя, когда я их сочинял, я думал о таких вещах столько же, сколько вы, а ведь вы, уж верно, насчет того, чтобы выпить, от меня не отстанете? Должно заметить, что на сочинение этой бесподобной книги я потратил и употребил как раз то время, которое я себе отвел для поддержания телесных сил, а именно – для еды и питья. Время это самое подходящее для того, чтобы писать о таких высоких материях и о таких важных предметах, что уже прекрасно понимали Гомер, образец для всех филологов, и отец поэтов латинских Энний^[14], о чем у нас есть свидетельство Горация, хотя какой-то межеумок и объявил, что от его стихов пахнет не столько елеем, сколько вином.

То же самое один паршивец сказал и о моих книгах, – а, да ну его в задницу! Насколько же запах вина соблазнительнее, пленительнее, восхитительнее, животворнее и тоньше, чем запах елея! И если про меня станут говорить, что на вино я трачу больше, чем на масло, я возгоржусь так же, как Демосфен, когда про него говорили, что на масло он тратит больше, чем на вино. Когда обо мне толкуют и говорят, что я выпить горазд и бутылке не враг, – это для меня наивысшая похвала; благодаря этой славе я желанный гость в любой приятной компании пантагрюэлистов. Демосфена один брюзга упрекнул в том, что от его речей пахнет, как от фартука грязного и замызганного маслобойщика. Ну, а уж вы толкуйте мои слова и поступки в самую что ни на есть лучшую сторону, относитесь с уважением к моему творогообразному мозгу, забавляющему вас этими рассказями, и по мере сил ваших поддерживайте во мне веселое расположение духа.

Итак, мои милые, развлекайтесь и – телу во здравие, почкам на пользу – веселитесь, читая мою книгу. Только вот что, балбесы, чума вас возьми: смотрите не забудьте за меня выпить, а уж за мной дело не станет!

Глава I

О генеалогии и древности рода Гаргантюа

Желающих установить генеалогию Гаргантюа и древность его рода я отсылаю к великой Пантагрюэльской хронике^[15]. Она более

обстоятельно расскажет вам о том, как появились на свете первые великаны и как по прямой линии произошел от них Гаргантюа, отец Пантагрюэля. И вы уж на меня не пеняйте за то, что сейчас я не буду на этом останавливаться, хотя история эта сама по себе такова, что чем чаще о ней вспоминать, тем больше бы она пришлась вашим милостям по вкусу, и в доказательство я сошлюсь на *Филеба* и *Горгия* Платона, а также на Флакка^[16], который утверждает, что чем чаще повторять иные речи (а мои речи, разумеется, именно таковы), тем они приятнее.

Дай Бог, чтоб каждому была столь же доподлинно известна его родословная от Ноева ковчега и до наших дней! Я полагаю, что многие из нынешних императоров, королей, герцогов, князей и пап произошли от каких-нибудь мелких торговцев реликвиями или же корзинщиков и, наоборот, немало жалких и убогих побирušек из богаделен являются прямыми потомками великих королей и императоров, – достаточно вспомнить, как поразительно быстро сменили ассириян – мидяне,

мидян – персы,
персов – македоняне,
македонян – римляне,
римлян – греки,
греков – французы.

Что касается меня, то я, уж верно, происхожу от какого-нибудь богатого короля или владетельного князя, жившего в незапамятные времена, ибо не родился еще на свет такой человек, который сильнее меня желал бы стать королем и разбогатеть, – для того чтобы пировать, ничего не делать, ни о чем не заботиться и щедрой рукой одарять своих приятелей и всех порядочных и просвещенных людей. Однако ж я себя утешаю, что в ином мире я непременно буду королем, да еще столь великим, что сейчас и помыслить о том не смею. Придумайте же и вы себе такое или даже еще лучшее утешение в несчастье и пейте на здоровье, коли есть охота.

Возвращаясь к нашим баранам, я должен сказать, что по великой милости Божьей родословная Гаргантюа с древнейших времен дошла до нас в более полном виде, чем какая-либо еще, не считая родословной Мессии, но о ней я говорить не намерен, ибо это меня не касается, тем более что этому противятся черти (то есть, я хотел сказать, клеветники и лицемеры). Сия родословная была найдена Жаном Одо на его собственном лугу близ Голо, пониже Олив, в той

стороне, где Нарсе, при следующих обстоятельствах. Землекопы, которым он велел выгрести ил из канав, обнаружили, что их заступы упираются в огромный бронзовый склеп длины невероятной, ибо конца его так и не нашли, – склеп уходил куда-то далеко за вьенские шлюзы. В том самом месте, над которым был изображен кубок, а вокруг кубка этрусскими буквами написано: *Nic bibitur*^[17], склеп решились вскрыть и обнаружили девять фляг в таком порядке, в каком гасконцы расставляют кегли, а под средней флягой оказалась громадная, громоздкая, грязная, грузная, красивая, малюсенькая, заплесневелая книжица, пахнувшая сильнее, но, увы, не слаще роз.

Вот эта книжица и заключала в себе вышеупомянутую родословную, всю целиком написанную курсивным письмом, но не на пергаменте, не на воощенной табличке, а на коре вяза, столь, однако, обветшавшей, что на ней почти ничего нельзя было разобрать.

Аз многогрешный был туда зван и, прибегнув к помощи очков, применив тот способ чтения стершихся букв, коему нас научил Аристотель^[18], разобрал их все, в чем вы и удостоверитесь, как скоро начнете пантагрюэльствовать, то есть потягивать из бутылочки, потягивать да почитывать о престрашных деяниях Пантагрюэля.

В конце книги был обнаружен небольшой трактат под названием *Целительные безделки*^[19]. Начало этой истории погрызли крысы, тараканы и, чтобы сказать – не соврать, другие вредные твари. Остальное я из уважения к древности найденного творения при сем прилагаю.

Глава II

Целительные безделки, отысканные в древних развалинах

Вон тот герой, кем были кимвры биты,
боясь росы, по воздуху летит.
зрев его, народ во все корыта
В ть бочки масла свежего спешит.
дна лишь старушонка голосит:
«Ох, судари мои, его ловите, —
Ведь он до самых пят дерьмом покрыт, —
Иль лесенку ему сюда несите».

Иной предполагал, что, лобызая
Его туфлю, спасти он душу мог.
Но тут явился некий плут из края,
Где ловят в озере плотву, и рек:

«От этого да сохранит вас Бог!
В сей лавочке нечистое творится.
Не худо б вам заметить, что порок
Под клобуком приказчика гнездится».

Тогда прочли главу, но смысла было
В ней столько ж, сколько у овцы рогов.
А он сказал: «Тиара так застыла,
Что мозг во мне закоченеть готов».
Но у плиты, где пахло из котлов
Душистой брюквой, он согрелся скоро,
Возликовав, что вновь на дураков
И полоумных надевают шоры.

Речь шла о щели Патрика Святого,
О Гибралтаре и щелях иных.
Когда б они зарубцевались снова,
Умолк бы кашель в толще недр земных.
Зиянье этих дыр для глаз людских
Всегда казалось наглостью безбожной.
Вот если б удалось захлопнуть их,
То и в аренду сдать их было б можно.
Затем пришел и ощипал ворону
Геракл, забыв ливийские края.
«Увы! – Минос воскликнул разъяренно. —
Всех пригласили, обойден лишь я!
Они еще хотят, чтоб длань моя
Лягушками их не снабжала боле!
Пусть дьявола возьму я в кумовья,
Коль пряжею им торговать позволю».

Хромой К. Б. пришел и усмирил их.
Он пропуск от скворцов принес с собой.
Свояк Циклопа, гнев сдержать не в силах,
Убил их. Каждый вытер нос рукой.
Бывал осмеян содомит любой
В дубильне, что стоит на поле этом.
Тревогу поднимайте всей толпой:
Там будет больше их, чем прошлым летом.

Затем орел Юпитера решился
Побиться об заклад и сверху – шась,
Но, видя их досаду, устранился,
Что рай от их бесчинства может пасть,
И предпочел огонь небес украсть
Из рощи, где торговцы сельдью жили,
И захватить над всей лазурью власть,
Как масореты в старину учили.

Все подписали сделку, не робея
Пред Атою, бросавшей злобный взгляд,
И показалась им Пенфесилея
Старухой, продающей кресс-салат.
Кричал ей каждый: «Уходи назад,
Уродина, чье тело тоще тени!
Тобой обманно был у римлян взят
Их стяг великолепный из веленя!»

Одна Юнона с манною совою
Из туч на птиц стремил алчный взор.
С ней пошутили шуткою такою,
Что был совсем изъят ее убор.
Она могла – таков был уговор —
Лишь два яйца отнять у Прозерпины,
Не то ее привяжут к гребню гор,
Подсунув ей боярышник под спину.

Через пятнадцать месяцев тот воин,

Кем был когда-то Карфаген снесен,
Вошел в их круг, где, вежлив и спокоен,
Потребовал вернуть наследство он
Иль разделить, как требует закон,
Ровнее, чем стежки во шву сапожном,
Чем суп, который в полдень разделен
У грузчиков по котелкам порожним.

Но самострелом, дном котла пустого
И прялками отмечен будет год,
Когда все тело короля дурного
Под горностаем люэс изгрызет.
Ужель из-за одной ханжи пойдет
Такое множество арпанов прахом?
Оставьте! Маска вам не пристает,
От брата змей бегите прочь со страхом.

Когда сей год свершит свое течение,
На землю снидут мир и тишина.
Исчезнут грубость, злость и оскорбленья,
А честность будет вознаграждена,
И радость, что была возвещена
Насельникам небес, взойдет на башню,
И волей царственного скакуна
Восторжествует мученик вчерашний.

И будет продолжаться это время,
Покуда Марс останется в цепях.
Затем придет прекраснейший меж всеми
Великий муж с веселием в очах.
Друзья мои, ликуйте на пирах,
Раз человек, отдавший душу Богу,
Как ни жалеет он о прошлых днях,
Назад не может отыскать дорогу.

В конце концов того, кто был из воска,
Удастся к жакемару приковать,

И государем даже подголоски
Не станут звонаря с кастрюлей звать.
Эх, если б саблю у него отнять,
Не нужны б стали хитрость и уловки
И можно было б накрепко связать
Все горести концом одной веревки*.

Глава III

О том, как Гаргантюа одиннадцать месяцев пребывал во чреве матери

Грангузье^[20] был в свое время большой шутник, по тогдашнему обычаю пил непременно до дна и любил закусить соленьким. На сей предмет он постоянно держал основательный запас майнцской и байоннской ветчины, немало копченых бычьих языков, в зимнее время уйму колбас, изрядное количество солонины с горчицей, на крайний же случай у него была еще икра и сосиски, но не болонские^[21] (он боялся ломбардской отравы), а бигоррские, лонгонейские, бреннские и руаргские.

Уже в зрелом возрасте он женился на Гаргамелле^[22], дочери короля мотылькотов, девице из себя видной и пригожей, и частенько составляли они вместе животное о двух спинах и весело терлись друг о друга своими телесами, вследствие чего Гаргамелла зачала хорошего сына и проносила его одиннадцать месяцев.

Должно заметить, что женщины вполне могут столько носить, и даже еще больше, особливо если это кто-нибудь из ряда вон выходящий, кому назначены в удел великие подвиги. Так, Гомер говорит, что младенец, коего нимфа понесла от Нептуна, родился через год, то есть спустя двенадцать месяцев. Между тем, как указывает в книге III Авл Геллий^[23], длительный этот срок в точности соответствовал величию Нептуна, ибо Нептунов младенец только за такой промежуток времени и мог окончательно сформироваться. По той же причине Юпитер продлил ночь, проведенную им с Алкменой, до сорока восьми часов, а ведь в меньший срок ему бы не удалось выковать Геркулеса, избавившего мир от чудищ и тиранов.

Господа древние пантагрюэлисты подтверждают сказанное мною и объявляют, что ребенок вполне может родиться от женщины спустя одиннадцать месяцев после смерти своего отца и что его, разумеется, должно признать законнорожденным:

Гиппократ, *De alimento*^[24],

Плиний, кн. VII, гл. V,

Плавт, *Cistellaria*^[25],

Марк Варрон в сатире *Завещание* с соответствующей ссылкой на Аристотеля,

Цензорин, *De die natali*^[26],

Аристотель, *Da nat. animalium*^[27],

Гелий, кн. III, гл. XVI,

Сервий в *Комментариях* к *Экл.*, толкуя стих Вергилия:

Matri longa decem^[28] и т. д. —

и многие другие безумцы, число коих умножится, если мы к ним присовокупим еще и законоведов: ff. *De suis et legit., l. Intestato*^[29], §13, а также: *Autent., De restitut. et ea que parit in undecimo mense*^[30]. Наконец был состряпан по этому поводу крючкотворительный закон: *Gallus ff. De lib. et posthu. et l. septimo ff. De stat. homin.*^[31], и еще я мог бы сослаться на некоторые законы, да только пока не решаюсь. Благодаря таким законам вдовы смело могут пускаться во все тяжкие целых два месяца после кончины супруга.

Милые вы мои сукины дети, покорнейше вас прошу: ежели попадутся вам такие вдовушки, с которыми приятно было бы иметь дело, то валяйте-ка сами, а потом приводите их ко мне. Ведь если они и забеременеют на третий месяц, то ребенок все равно будет признан наследником покойного, а как скоро они забеременеют, то уж потом действуют без всякой опаски: пузо нагуляла – поехали дальше! Вот, например, Юлия, дочь императора Октавиана: она отдавалась своим любезникам, только когда чувствовала себя непорожней, подобно тому как судну требуется лоцман не прежде, чем оно проконопачено и нагружено. Если же кто-нибудь осудит их за то, что они дают себя латать во время беременности, и укажет им, что брюхатые самки животных ни за что не подпустят к себе самцов, они могут ответить,

что одно дело – самки, а другое, мол, женщины, которые отлично знают, что суперфетация таит в себе особую прелесть, а ведь именно в этом роде и ответила некогда Популия во II кн. Макробиевых *Сатурналий*.

Если же диавол так подстроит, что нарвешься не на беременную, то надобно только поглубже ввинтить затычку – и никому ни гугу!

Глава IV

О том, как Гаргамелла, носившая в своем чреве Гаргантюа, объелась требухой

Вот при каких обстоятельствах и каким образом родила Гаргамелла; если же вы этому не поверите, то пусть у вас выпадет кишка!

А у Гаргамеллы кишка выпала третьего февраля^[32], после обеда, оттого что она съела слишком много *годбийо*. *Годбийо* – это внутренности жирных *куаро*. *Куаро* – это волы, которых откармливают в хлеву и на *гимо*. *Гимо* – это луга, которые косят два раза в лето. Так вот, зарезали триста шестьдесят семь тысяч четырнадцать таких жирных волов, и решено было на масляной их засолить – с таким расчетом, чтобы к весеннему сезону мяса оказалось вдоволь и чтобы перед обедом всегда можно было приложиться к соленью, а как приложишься, то уж тут вина только подавай.

Требухи, сами понимаете, получилось предостаточно, да еще такой вкусной, что все ели и пальчики облизывали. Но вот в чем закорючка: ее нельзя долго хранить, она начала портиться, а уж это на что же хуже! Ну и решили все сразу слопать, чтобы ничего зря не пропадало. Того ради созвали всех обитателей Сине, Сейи, Ларош-Клермо, Вогодри, Кудре-Монпансье, Ведского брода^[33], а равно и других соседей, и все они, как на подбор, были славные кутилы, славные ребята и женскому полу спуску не давали.

Добряк Грангузье разыграл духом и распорядился, чтобы угощение было на славу. Жене он все-таки сказал, чтобы она не очень налегала, потому что она уже на сносях, а потроха – пища тяжелая. «Кишок без дерьма не бывает», – примолвил он. Однако ж, невзирая на предостережения, Гаргамелла съела этих самых кишок шестнадцать

бочек, два бочонка и шесть горшков. Ну и раздуло же ее от аппетитного содержимого этих кишок!

После обеда все повалили гурьбой в Сосе и там, на густой траве, под звуки разымчивых флажолетов и нежных волынок пустились в пляс, и такое пошло у них веселье, что любо-дорого было смотреть.

Глава V

Беседа во хмелю

Потом рассудили за благо подзакусить прямо на свежем воздухе. Тут бутылочки взад-вперед заходили, окорока заплясали, стаканчики запорхали, кувшинчики зазвенели.

- Наливай!
- Подавай!
- Не зевай!
- Разбавляй!
- Э, нет, мне без воды! Спасибо, приятель!
- А ну-ка, единым духом!
- Сообрази-ка мне стаканчик кларету, да гляди, чтобы с верхом!
- Зальем жажду!
- Теперь ты от меня отстанешь, лихоманка проклятая!
- Поверите ли, душенька, что-то мне нынче не пьется!
- Вам, верно, нездоровится, милочка?
- Да, нехорошо что-то мне.
- Трах-тарарах-тарарах, поговорим о вине!
- Я, как папский мул, пью в определенные часы.
- А я, как монах, на все руки мастер: и пить, и гулять, и часы читать.
- Что раньше появилось: жажда или напитки?
- Жажда, ибо кому бы пришло в голову ни с того ни с сего начать пить, когда люди были еще невинны, как дети?
- Напитки, ибо *privatio presupponit habitum*^[34]. Я – духовная особа.

Focundi calices quem non fecere disertum.^[35]

- Мы, невинные детки, и без жажды пьем лихо.
- А я хоть и грешник, да без жажды не пью. Когда я, Господи благослови, начинаю, ее еще может и не быть, но потом она приходит сама, – я ее только опережаю, понятно? Я пью под будущую жажду. Вот почему я пью вечно. Вечная жизнь для меня в вине, вино – вот моя вечная жизнь.
- Давайте пить! Давайте петь! Псалмы тянуть!
- А кто это у меня стакан стянул?
- А мне без всякого законного основания не подливают!
- Вы промачиваете горло для того, чтобы оно потом пересохло, или, наоборот, сперва сушите, чтобы потом промочить?
- Я в теориях не разбираюсь, вот насчет практики – это еще туда-сюда.
- Живей, живей!
- Я промачиваю, я спрыскиваю, я пью – и все оттого, что боюсь умереть.
- Пейте всегда – и вы никогда не умрете.
- Если я перестану пить, я весь высохну и умру. Моя душа улетит от меня туда, где посуше. В сухом месте душа не живет.
- А ну-ка, виночерпии, создатели новых форм, сотворите из непьющего пьющего!
- Надо хорошенько полить эти жесткие, сухие внутренности!
- Кто пьет без всякого удовольствия, тому вино – не в коня корм.
- Вино все в кровь поступает – нужнику ничего не достается.
- Я себе нынче утром кишочки очистил, теперь нужно их сполоснуть.
- Уж я себе пузо набил!
- Если бы бумага, на которой я пишу векселя, пила так же, как я, то, когда бы их подали ко взысканию, оказалось бы, что все буквы пьяным-пьяны, все – в лежку, и суд, ничего не разобрав, не мог бы начать разбирательство.
- Смотрите за своей рукой: ее так и тянет к вину, оттого у вас нос краснеет.
- Пока это вино выйдет, сколько еще успеет войти!
- Пить такими наперсточками – это все равно что воробья причащать.
- Это называется охота с бутылочками.

- Есть разница между бутылочкой и милочкой?
- Разница большая: бутылочку затыкают пробочкой, а милочку живчиком.
- Здорово сказано!
- А предки наши вмиг выцеживали бочку.
- Славные певуны-п...уны! Выпьем!
- Зачем ходить на реку? Это лучше кишки промывает.
- Я пью, как губка.
- А я – как тамплиер.
- А я – *tanquam sponsus*.^[36]
- А я – *sicut terra sine aqua*.^[37]
- Что такое ветчина?
- Требование на попойку, лесенка вроде той, по которой бочки с вином спускают в погребок; ну, а по этой – вино спускают в желудок.
- А посему выпьем, а посему выпьем! Я еще не нагрузился. *Respice personam; pone pro duos; bus non est in usu*.^[38]
- Если б я так же умел ржать, как жрать, из меня вышел бы славный жеребчик.
- Богач Жак Кёр пивал не раз.
- Вот так поили бы и нас.
- Вакх под хмельком дошел до Инда.
- В подпитии взята Мелинда.^[39]
- От мелкого дождя прекращается сильный ветер. От долгих возлияний стихает гром.
- Эй, паж, налей-ка мне еще! Теперь и я вчиню тебе иск!
- Всем хватит вина, лишь бы пили до дна!
- Я подаю жалобу на свою жажду. Паж, дай законный ход моей жалобе!
- Мне бы остаточки вон с того блюда!
- Прежде я имел обыкновение пить до дна, а теперь я пью все до капельки.
- Нам спешить некуда, давайте все подьемим!
- Уж и кишки у этого бычка, рыжего с черными полосками, – все отдай, да мало! А ну, давайте мы их подчистую!
- Пейте, иначе я...
- Нет, нет!
- Пейте, я вас прошу!

– Птицы начинают есть только после того, как их по хвосту легонечко хлопнут, а я начинаю пить только после того, как меня хорошенько попросят.

– *Lagona edatera*^[40]. Во всем моем теле норки такой не сыщешь, где бы жажда могла укрыться от вина.

– У меня от этого вина жажда только сильнее.

– А мою жажду это вино прогонит.

– Объявим во всеуслышание под звон бутылок и фляг: коли ты потерял свою жажду, то уж внутри себя ее не ищи, – частые винные клистиры ее извергли.

– Господь Бог сотворил твердь, а вот мы уже на ногах не тверды.

– У меня на устах слово Господа: *Sitio*.^[41]

– Не столь несокрушим камень, асбестом именуемый, сколь неутолима жажда, которую сейчас испытывает мое высокопреподобие.

– «Аппетит приходит во время еды», сказал Анже Манский^[42]; жажда проходит во время питания.

– Есть средство от жажды?

– Есть, но только противоположное тому, какое помогает от укуса собаки: если вы будете бежать позади собаки, она вас никогда не укусит; если вы будете пить до жажды, она у вас никогда не появится.

– Ловлю тебя на слове, виночерпий! Будь же неисчерпаем! Еще черепушечку! Проворней, не будь черепахой! Аргусу, чтобы видеть, нужно было сто глаз, а виночерпию, как Бриарею, нужно сто рук, чтобы все подливать да подливать.

– Чем лучше вымокнем, тем лучше подсохнем!

– Мне белого! Лей все, сколько там есть, лей, черт побери! Полней, полней, у меня все горит!

– Хлопнем, служивый?

– Давай, давай! За твое здоровье, дружище!

– Ну и ну! Столько слопали, что чуть не лопнули!

– О, *lacrima Christi*!^[43]

– Это из Девиньеры, это пино!

– Славное белое винцо!

– Бархат, да и только, честное слово!

– Ах, что за вино! Карнаухое, чисто сработанное, из лучшей шерсти!

– А ну-ка, с новыми силами, приятель!

- Нам только выставь – мы все ставки уьем.
- *Ex hoc in hoc!*^[44] И никакого мошенничества. Все тому были свидетели. Я всех нынче перепил.
- Ты перепил, а я перепел.
- О пьянствующие! О жаждущие!
- Паж, дружочек, пополний, чтоб сверху коронка была!
- Красная, как кардинальская мантия!
- *Natura abhorret vacuum.*^[45]
- После меня будет тут чем мухе напиться?
- Будем пить по-бретонски!^[46]
- Залпом, залпом!
- Пейте, пейте этот целебный бальзам!

Глава VI

О том, каким весьма странным образом появился на свет Гаргантюа

Пьяная болтовня все еще продолжалась, как вдруг Гаргамелла почувствовала резь в животе. Тогда Грангузье поднялся и, полагая, что это предродовые схватки, в самых учтивых выражениях начал ее успокаивать; он посоветовал ей прилечь на травку под ивами, – у нее, мол, отрастут вскорости новые ножки, только для этого перед появлением новорожденной малютки ей нужен новый запас душевных сил; правда, боль ей предстоит довольно мучительная, но она скоро пройдет, зато радость, которая за этим последует, все искупит, и о былых страданиях Гаргамелла и думать позабудет.

– Я тебе это докажу, – объявил он. – В Евангелии от Иоанна, глава шестнадцатая, наш Спаситель говорит: «Женщина, когда рождает, терпит скорбь, но когда родит младенца, уже не помнит скорби».

– Ишь как это у тебя складно выходит, – заметила она. – Я больше люблю слушать Евангелие, чем житие святой Маргариты или что-нибудь еще в таком же ханжеском роде, да и пользы мне от него больше.

– Ты ведь у меня храбрая, как овечка, – сказал он, – вот и разрешайся скорее, а там, глядишь, мы с тобой и другого сделаем.

– Ну, ну! Вам, мужчинам, легко говорить! – сказала она. – Уж я с Божьей помощью для тебя постараюсь. А все-таки лучше, если б тебе его отрезали!

– Что отрезали? – спросил Грангузье.

– Ну, ну, полно дурака валять! – сказала она. – Сам знаешь что.

– Ах, это! – сказал он. – Да пес с ним совсем! Коли уж он так тебе досадил, вели хоть сейчас принести нож.

– Э, нет, избави Бог! – сказала она. – Прости, Господи, мое согрешение! Я так просто сболтнула, не обращай на меня внимания. Это я только к тому, что, если Господь не поможет, мне нынче придется здорово помучиться, и все из-за него, из-за того, что уж очень ты его балуешь.

– Ничего, ничего! – сказал он. – Об остальном не беспокойся, самое главное позади. Пойду-ка я пропущу еще стаканчик. Если тебе станет худо, я буду поблизости. Крикни что есть мочи, и я прибегу.

Малое время спустя она начала вздыхать, стонать и кричать. Тотчас отовсюду набежали повитухи, стали ее щупать внизу и наткнулись на какие-то обрывки кожи, весьма дурно пахнущие; они было подумали, что это и есть младенец, но это оказалась прямая кишка: она выпала у роженицы вследствие ослабления сфинктера, или, по-вашему, заднего прохода, оттого что роженица, как было сказано выше, объелась требухой.

Тогда одна мерзкая старушонка, лет за шестьдесят до того переселившаяся сюда из Бризпайля, что возле Сен-Жну, и слышавшая за великую лекарку, дала Гаргамелле какого-то ужасного вяжущего средства, от которого у нее так сжались и стянулись кольцевидные мышцы, что – страшно подумать! – вы бы их и зубами, пожалуй, не растянули. Одним словом, получилось как у черта^[47], который во время молебна св. Мартину записывал на пергаменте, о чем судачили две податливые бабенки, а потом так и не сумел растянуть пергамент зубами.

Из-за этого несчастного случая вены устья маточных артерий у роженицы расширились, и ребенок проскочил прямо в полую вену, а затем, взобравшись по диафрагме на высоту плеч, где вышеуказанная вена раздваивается, повернул налево и вылез в левое ухо. Едва появившись на свет, он не закричал, как другие младенцы: «И-и-и! И-и-и!», – нет, он зычным голосом заорал: «Лакать! Лакать! Лакать!» –

словно всем предлагал лакать, и крик его был слышен от Бюссы до Виваре.

Я подозреваю, что такие необычные роды представляются вам не вполне вероятными. Что ж, не верите – не надо, но только помните, что люди порядочные, люди здравомыслящие верят всему, что услышат или прочтут. Не сам ли Соломон в *Притчах*, глава XIV, сказал: *Innocens credit omni verbo*^[48], и т. д.? И не апостол ли Павел в *Первом послании к Коринфянам*, глава XIII, сказал: *Charitas omnia credit*^[49]? Почему бы и вам не поверить? Потому, скажете вы, что здесь отсутствует даже видимость правды? Я же вам скажу, что по этой-то самой причине вы и должны мне верить, верить слепо, ибо сорбоннисты прямо утверждают, что вера и есть обличение вещей невидимых. Разве тут что-нибудь находится в противоречии с нашими законами, с нашей верой, со здравым смыслом, со Священным писанием? Я, по крайней мере, держусь того мнения, что это ни в чем не противоречит Библии. Ведь, если была на то Божья воля, вы же не станете утверждать, что Господь не мог так сделать? Нет уж, пожалуйста, не обморочивайте себя праздными мыслями. Ведь для Бога нет ничего невозможного, и если бы Он только захотел, то все женщины производили бы на свет детей через уши.

Разве Вакх не вышел из бедра Юпитера?

Роктальяд – из пятки своей матери?

Крокмуш – из туфли кормилицы?

Разве Минерва не родилась в мозгу у Юпитера и не вышла через его ухо?

Разве Адонис не вышел из-под коры миррового дерева?

А Кастор и Поллукс – из яйца, высиженного и снесенного Ледой?

А как бы вы были удивлены и ошеломлены, если б я вам сейчас прочел целиком ту главу из Плиния, где говорится о необычных и противоестественных родах! А ведь я не такой самонадеянный враль, как он. Прочтите III главу VII книги его *Естественной истории* — и не задуривайте мне голову.

Глава VII

О том, как Гаргантюа было дано имя и как он стал посасывать вино

Добряк Грангузье, выпивая и веселясь с гостями, услышал страшный крик, который испустил его сын, появившись на свет. «Лакать! Лакать! Лакать!» – взывал ревущий младенец. Тогда Грангузье воскликнул: «Ке гран тю а!..» – что означало: «Ну и здоровенная же она у тебя!..» Он имел в виду глотку. Присутствовавшие не преминули заметить, что по образцу и примеру древних евреев младенца, конечно, нужно назвать *Гаргантюа*, раз именно таково было первое слово, произнесенное отцом при его рождении. Отец изъявил свое согласие, матери это имя тоже очень понравилось. А чтобы унять ребенка, ему дали тяпнуть винца, затем окунули в купель и по доброму христианскому обычаю окрестили.

Между тем из Понтиля и Бреемона было доставлено семнадцать тысяч девятьсот тринадцать коров, каковые должны были поить его молоком, ибо во всей стране не нашлось ни одной подходящей кормилицы – так много молока требовалось для его кормления. Впрочем, иные ученые скоттисты^[50] утверждали, что его выкормила мать и что она могла нацедить из своих сосцов тысячу четыреста две бочки и девять горшков молока зараз, однако это неправдоподобно. Сорбонна сочла такое мнение предосудительным, благочестивый слух оскорбляющим и припахивающим ересью.

Так прошел год и десять месяцев, и с этого времени по совету врачей ребенка начали вывозить, для чего некий Жан Денио смастерил прелестную колясочку, в которую впрягали волов. В этой самой колясочке младенец лихо раскатывал взад и вперед, и все с удовольствием на него смотрели: мордашка у него была славная, число подбородков доходило едва ли не до восемнадцати, и кричал он очень редко, зато марался каждый час, так как задняя часть была у него на редкость слизокровна, что объяснялось как свойствами его организма, так и случайными обстоятельствами, то есть особым его пристрастием к возлияниям. Впрочем, без причины он капли в рот не брал. Когда же он бывал раздосадован, разгневан, раздражен или удручен, когда он топал ногами, плакал, кричал, ему давали выпить, и он тут же утихомиривался и опять становился спокойным и веселым мальчиком.

Одна из его нянек честью клялась мне, что он к этому до того приохотился, что, бывало, чуть только услышит, как звенят кружки и фляги, и уже впадает в экстаз, словно предвкушая райское блаженство. По сему обстоятельству все няньки из уважения к этому

божественному его свойству развлекали его по утрам тем, что стучали ножами по стаканам, стеклянными пробками по бутылкам или, наконец, крышками по кружкам, при каковых звуках он весь дрожал от радости и сам начинал раскачивать люльку, мерно покачивая головой, тренькая пальцами, а задницей выводя рулады.

Глава VIII

О том, как Гаргантюа был одет

Еще когда Гаргантюа находился в младенческом возрасте, отец заказал для него одежду фамильного цвета: белого с голубым. На нее положили немало труда, и была она изготовлена, скроена и сшита по тогдашней моде. На основании старинных актов, сохранившихся в счетной палате города Монсоро, я утверждаю, что Гаргантюа был одет следующим образом.

На его рубашку пошло девятьсот локтей шательродского полотна и еще двести на квадратные ластовицы под мышками. Рубашка у него была без сборок, оттого что рубашки со сборками были изобретены лишь после того, как белошвейки, сломав кончики иглоков, наловчились работать задним концом.

На его куртку пошло восемьсот тринадцать локтей белого атласа, а на шнуровку – тысяча пятьсот девять с половиной собачьих шкурок. Тогда как раз начали пристегивать штаны к куртке, а не куртку к штанам, что, как убедительно доказал Оккам^[51] в комментариях к *Exponibilia*^[52] магистра Шаровара, противоестественно.

На штаны пошло тысяча сто пять с третью локтей белой шерстяной материи. И скроены они были в виде колонн, с желобками и прорезами сзади, чтобы почкам было не слишком жарко. И в каждом прорезе пузырились голубого дамасского шелка буфы надлежащих размеров. Должно заметить, что ляжки у Гаргантюа были очень красивые и всему его сложению соразмерные.

На гульфик пошло шестнадцать с четвертью локтей той же шерстяной материи, и сшит он был в виде дуги, изящно скрепленной двумя красивыми золотыми пряжками с эмалевыми крючками, в каждый из которых был вставлен изумруд величиною с апельсин. А ведь этот камень, как утверждают Орфей в своей книге *De lapidibus*^[53]

и Плиний, *libro ultimo*^[54], обладает способностью возбуждать и укреплять детородный член^[55]. Выступ на гульфике выдавался на полтора локтя, на самом гульфике были такие же прорезы, как на штанах, а равно и пышные буфы такого же голубого дамасского шелку. Глядя на искусное золотое шитье, на затейливое, ювелирной работы, плетенье, украшенное настоящими брильянтами, рубинами, бирюзой, изумрудами и персидским жемчугом, вы, уж верно, сравнили бы гульфик с прелестным рогом изобилия, который вам приходилось видеть на древних изображениях и который подарила Рея двум нимфам, Адрастее и Иде, вскормившим Юпитера. Вечно влекущий, вечно цветущий, юностью дышащий, свежестью пышущий, влагу источающий, соками набухающий, оплодотворяющий, полный цветов, полный плодов, полный всякого рода утех, – вот как перед Богом говорю, до чего же приятно было на него смотреть! Более подробно, однако ж, я остановлюсь на этом в своей книге *О достоинствах гульфиков*. Полагаю, впрочем, нелишним заметить, что гульфик был не только длинен и широк, – внутри там тоже всего было вдоволь и в изобилии, так что он нимало не походил на лицемерные гульфики многих франтов, к великому прискорбию для женского сословия наполненные одним лишь ветром.

На башмаки Гаргантюа пошло четыреста шесть локтей ярко-голубого бархата. Бархат был аккуратно разрезан пополам, и две эти полосы сшиты в виде двух одинаковых цилиндров. На подошвы употребили тысячу сто коровьих шкур бурого цвета, а носки у башмаков были сделаны острые.

На камзол пошло тысяча восемьсот локтей ярко-синего бархата с вышитыми кругом прелестными веточками винограда, посередине же на нем красовались оплетенные золотыми кольцами и множеством жемчужин кружки из серебряной канители; в этом таился намек, что со временем из Гаргантюа выйдет изрядный пьянчуга.

Пояс ему сшили из трехсот с половиной локтей шелковистой саржи, наполовину белой, а наполовину, если не ошибаюсь, голубой.

Шпага у него была не валенсийская, а кинжал – не сарагосский^[56], потому что его отец ненавидел всех этих пьяных идальго, эту помесь испанцев с окаянными нехристями; у него была отличная деревянная шпага и смазной кожи кинжал, раскрашенные и позолоченные, – словом, одно загляденье.

Кошелек его был сделан из слоновой мошонки, которую ему подарил гер Праконталь, ливийский проконсул.

На его плащ пошло девять тысяч пятьсот девяносто девять и две трети локтей синего бархата, на котором по диагонали были вытканы золотые фигурки, так что стоило только выбрать надлежащий угол зрения – и получался непередаваемый перелив красок^[57], как на шее у горлинки, и это необычайно радовало глаз.

На его шляпу пошло триста два с четвертью локтя белого бархата, и была она широкая и круглая, соответственно форме головы. Что касается тех напоминающих высокие хлебцы головных уборов, какие носит всякий омавританившийся сброд, то его отец говорил, что они приносят несчастье своим бритолобым владельцам.

Плюмажем ему служило большое красивое голубое перо пеликана той породы, какая водится в диких местах Гиркании; перо это очень мило свешивалось у него над правым ухом.

Его кокарда представляла собой золотую пластинку весом в шестьдесят восемь марок, а к дощечке была приделана эмалевая фигурка, изображавшая человека с двумя головами^[58], повернутыми друг к другу, с четырьмя руками, четырьмя ногами и двумя задами, ибо, как говорит Платон в *Пире*, такова человеческая природа в ее изначальной мистической сущности. Вокруг этой фигуры было написано ионическими буквами:

H AGAPH Og ZHTEI TA EAgrTHS^[59]

На шее он носил золотую цепь весом в двадцать пять тысяч шестьдесят три золотые марки^[60], причем ее звенья были сделаны в виде крупных ягод; между ними висели большие драконы из зеленой яшмы, а вокруг них всё лучи и блески, лучи и блески, – такие драконы были когда-то у царя Нехепса^[61]; спускалась же эта цепь до самой подложечки, и пользу от сего, о которой осведомлены греческие врачи, Гаргантюа ощущал всю свою жизнь.

Для его перчаток были употреблены в дело шестнадцать кож, снятых с упырей, а для опушки – три кожи, снятые с вурдалаков. Таково на сей предмет было предписание сенлуанских каббалистов.^[62]

Перстни у него были такие (отец хотел, чтобы он их носил ради восстановления этого старинного отличия знатных особ): на

указательном пальце левой руки – карбункул величиною со страусово яйцо в весьма изящной оправе из чистого золота; на безымянном пальце той же руки – перстень из необыкновенного, дотоле не виданного сплава четырех металлов, в котором сталь не портила золота, а серебро не затмевало меди: то была работа капитана Шапюи и его почтенного поверенного Алькофрибаса^[63]. На безымянном пальце правой руки Гаргантюа носил перстень в виде спирали, и в него были вделаны превосходный бледно-красный рубин, остроконечный брильянт и физонский изумруд, коим не было цены. Ганс Карвель, великий ювелир царя Мелиндского, ценил их в шестьдесят девять миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи восемнадцать «длинношерстных баранов», во столько же оценивали их и аугсбургские Фуггеры.^[64]

Глава IX

Цвета одежды Гаргантюа

Цвета Гаргантюа, как вы знаете, были белый и голубой, – этим его отец хотел дать понять, что сын для него – радость, посланная с неба; надобно заметить, что белый цвет означал для него радость, удовольствие, усладу и веселье, голубой же – все, что имеет отношение к небу.

Я уверен, что, прочтя это место, вы посмеетесь над старым пьяницей и признаете подобное толкование цветов слишком плоским и вздорным; вы скажете, что белый цвет означает веру, а голубой – стойкость^[65]. Ну так возразите же мне, если хотите, но только спокойно, без раздражения, не волнуясь и не горячась (время-то у нас теперь уж больно опасное!). Ни вас, ни кого бы то ни было еще я уламывать не намерен; я хочу только, чтобы вы не забыли про бутылочку.

Чего вы волнуетесь? Чего вы на стену лезете? Кто вам внушил, что белый цвет означает веру, а голубой – стойкость? «Одна никем не читаемая и не почитаемая книга под названием *Геральдика цветов*^[66], которую можно купить у офеней и книгонош», – скажете вы. А кто ее сочинил? Кто бы он ни был, он поступил благоразумно, не указав своего имени. Впрочем, не знаю, что в нем более достойно удивления

– самомнение или глупость: может статься, самомнение, ибо он, не приводя никаких оснований, доводов и причин, опираясь только на свои собственные домыслы, осмелился предписать, как именно надлежит толковать цвета, – таков обычай тиранов, которые в противоположность людям мудрым и ученым, почитающим за нужное приводить веские доводы, стремятся к тому, чтобы здравый смысл уступил место их произволу; а может статься, глупость, ибо он воображает, что, не имея доказательств и достаточных оснований, а лишь следуя его ни с чем не сообразным догадкам, люди станут сочинять себе девизы.

И точно (видно, правду говорит пословица: было бы корыто, а свиньи найдутся): он нашел каких-то допотопных простофиль, и вот эти-то простофили и поверили его писаниям; накроив по ним изречений и поучений, они разукрасили ими упряжь своих мулов и одежду слуг, разрисовали ими свои штаны, вышили их на перчатках, выткали на пологах, намалевали на гербах, вставили в песни и, что хуже всего, запятнали и бросили тень на доброе имя некоторых целомудренных матрон^[67], а те об этом и не подозревали.

Вот до чего дошли эти придворные щеголи и суесловы! Если они избирают своим девизом *веселье*, то велят изобразить *весло*; если *кротость*, то – *крота*; если *печаль*, то – *печать*; если *рок*, то – *бараний рог*; если *лопнувший банк*, то – *лопнувшую банку*; если *балкон*, то – *коней на балу*; если *восторг*, то – *воз* и *торг*. Все это такие нелепые, такие пошлые, такие вымученные и грубые омонимы, что всякому, кто теперь, после того как изящная словесность во Франции возродилась, станет их употреблять, следовало бы пришить к воротнику лисий хвост, а рожу вымазать коровьим калом.

Исходя из тех же самых домыслов (хотя, собственно, мысли-то никакой в этих домыслах и нет), я мог бы велеть нарисовать *горчилицу* в знак того, что я *огорчен*, *розмарин* – в знак того, что меня *разморило*, сказать, что *ночной фиал* — это все равно что *официал*, что *задок моих штанов* — это *пук цветов*, что мой *гашник* — это *набалдашник*, а что *котяшок* — это тот самый *петушок*, по которому вздыхает моя милашка.

Совершенно иначе в былые времена поступали египетские мудрецы, пользовавшиеся письменами, которые они называли иероглифами. В письменах этих никто ничего не понимал, понимали

только те, которые понимали свойства, особенности и природу вещей, коих знаки они собой представляли. Гор-Аполлон^[68] написал о них по-гречески две книги, а еще подробнее на них остановился в *Любовных сновидениях* Полифил^[69]. Во Франции нечто подобное вы найдете в девизе г-на Адмирала, который, в свою очередь, позаимствовал его у Октавиана Августа.

Однако плыть далее среди подобных пучин и мелей небезопасно – я возвращаюсь в ту гавань, откуда я вышел. Надеюсь когда-нибудь изложить все это обстоятельно и доказать как с помощью философских умозаключений, так и путем ссылок на признанные авторитеты древнего мира, сколь многочисленны и каковы суть цвета в природе и что каждым из них можно обозначить. Дай только Бог, чтобы с плеч моих не свалилась подставка для колпака или же, как говаривала моя бабушка, кувшин для вина.

Глава X

О том, что означают белый и голубой цвета

Итак, белый цвет означает радость, усладу и веселье, и это не натяжка, это в точности соответствует действительности, в чем вы можете удостовериться, как скоро пожелаете, отрешившись от предубеждений, выслушать то, что я вам сейчас изложу.

Аристотель утверждает, что если мы возьмем понятия противоположные, как, например, добро и зло, добродетель и порок, холодное и горячее, белое и черное, блаженство и страдание, радость и горе и тому подобные, и будем соединять их попарно так, чтобы одно из противоположных понятий одной пары соответствовало по смыслу одному из противоположных понятий другой пары, то мы придем к заключению, что другое противоположное понятие первой пары согласуется с другим понятием смежной пары. Пример: добродетель и порок в пределах данной пары представляют собой понятия противоположные; таковы же суть добро и зло; если же первое понятие верхней пары соответствует первому понятию смежной пары, как, например, добродетель и добро, ибо само собою разумеется, что добродетель хороша, так же точно будут соотноситься между собой и два других понятия, то есть зло и порок, ибо порок дурен.

Если вам этот логический вывод ясен, то возьмите два противоположных понятия: радость и печаль, затем еще два: белое и черное, ибо они противоположны по своим физическим свойствам; так вот, если черное означает горе, то белое на том же самом основании означает радость.

Значения эти основаны не на произвольных толкованиях, принадлежащих отдельным лицам, – нет, таково общее мнение, именуемое на языке философов *jus gentium*^[70], всеобщим законом, действующим повсеместно.

Вы отлично знаете, что все народы, все страны (за исключением древних сиракузцев и некоторых аргивян, страдавших извращенностью ума) и все языки, желая каким-либо внешним образом выразить свою печаль, носят черные одежды, ибо черный цвет есть цвет траурный. Этот обычай мог утвердиться повсеместно только потому, что сама природа дает ему объяснение и обоснование, которое каждый из нас может постигнуть самостоятельно, без посторонней помощи, и это мы и называем естественным правом.

По тому же внушению природы все условились считать белый цвет знаком радости, веселья, удовольствия, наслаждения и блаженства.

В былые времена фракийцы и критяне отмечали счастливые и радостные дни белым камнем, печальные и несчастные – черным.

Разве ночь не зловеща, не печальна и не уныла? А ведь она темна и мрачна. Разве вся природа не радуется свету? А ведь ничего нет белее его. В доказательство я мог бы сослаться на книгу Лоренцо Валлы^[71], которую он написал против Бартола, но полагаю, что вас вполне удовлетворит свидетельство евангелиста: в гл. XVII от *Матфея*, где говорится о Преображении Господнем, мы читаем: *Vestimenta ejus facta sunt alba sicut lux*, одежды его сделались белыми, как свет, по каковой ослепительной белизне три апостола составили себе понятие и представление о вечном блаженстве. Свету радуется всякое живое существо; вы, верно, помните эту старуху, – у нее не осталось во рту ни единого зуба^[72], а она все твердила: *Bona lux!*^[73] А ослепший Товит (гл. V), отвечая на приветствие Рафаила, воскликнул: «Как могу я радоваться, если не вижу света небесного?» И тем же цветом ангелы выразили радость всей вселенной в день воскресения Христова (от *Иоанна*, гл. XX) и в день вознесения (*Деяния*, гл. I). В

таких же одеждах увидел всех верных в небесном, блаженном граде Иерусалиме св. Иоанн Богослов (*Апокалипсис*, гл. IV и VII).

Прочтите древнюю историю, историю Греции, историю Рима. Вы узнаете, что город Альба-Лонга, прапращур Рима, был обязан своим происхождением белой свинье.^[74]

Вы узнаете, что у древних римлян был заведен такой порядок: победитель, коему предстояло с триумфом въехать в Рим, должен был воссесть на колеснице, запряженной белыми конями; то же самое полагалось и при более скромном чествовании, ибо никакой другой знак или же цвет не мог ярче выразить радость по случаю прибытия триумфаторов, нежели белизна.

Вы узнаете, что Перикл, правитель Афинский, отдал такое распоряжение: чтобы та часть его войска, коей по жребию достались белые бобы, целый день радовалась, веселилась и отдыхала, а другая часть сражалась. Количество примеров и ссылок я мог бы умножить, но здесь для этого не место.

Благодаря таковым познаниям вы сумеете разрешить проблему, которую Александр Афродисийский считал неразрешимой: «Почему лев, одним своим рыканием наводящий страх на всех животных, боится и чтит только белого петуха?» Оттого, как говорит Прокл в книге *De sacrificio et magia*^[75], что свойство солнца, источника и вместилища всего земного и небесного света, более подходит и подобает белому петуху, если принять в соображение его цвет, его особенности и повадки, чем льву. Еще он говорит, что бесы часто принимают обличье льва, меж тем как при виде белого петуха они внезапно исчезают. Вот почему *Galli*^[76] (то есть французы, названные так потому, что они от рождения белы, как молоко, а молоко по-гречески *gala*) любят носить на шляпах белые перья, ибо по природе своей они жизнерадостны, простодушны, приветливы и всеми любимы, и гербом и эмблемой служит им белейший из всех цветов, а именно – лилия.

Если же вы спросите, каким образом природа дает нам понять, что белый цвет означает радость и веселье, то я вам отвечу, что аналогия и соответствие здесь таковы. Подобно тому как при взгляде на белое в глазах у человека все мелькает и ходит ходуном, оттого что белый цвет разлагает зрительные токи, о чем говорит в своих *Проблемах* Аристотель, и притупляет различительную способность (если вам

случалось ходить по снежным горам, то вы должны были испытать это на себе, – вы начинали плохо видеть; Ксенофонт пишет, что так случилось с его воинами, об этом же подробно говорит Гален в кн. X, *De usu partium*^[77]) – так же точно сердце под влиянием радостного волнения ходит ходуном, вследствие чего начинается распад питающих его жизненных токов, и распад этот бывает иногда столь бурным, что сердце остается без всякой поддержки; таким образом, сильная радость может пресечь самую жизнь, на что указывает Гален в *Metho.*^[78], книга XII, в *De locis affectis*^[79] и в *De symptomaton causis*^[80], кн. II; а что такие случаи действительно имели место в древности, в этом нас убеждают Марк Туллий (см. *Quaestio Tuscul*^[81], кн. 1), Веррий, Аристотель, Тит Ливий (после битвы при Каннах), Плиний (кн. VII, гл. XXXII и LIII), А. Геллий (кн. III, XV и др.), а также Диагор Родосский, Хилон, Софокл, Дионисий, тиран Сицилийский, Филиппид, Филемон, Поликрат, Филистион, М. Ювенций и многие другие, умершие от радости, или же, как указывает Авиценна во II трактате Канона и в книге *De viribus cordis*^[82], от шафрана, сильная доза которого так возбуждает человека, что он умирает от расширения и разрыва сердца. Об этом вы можете прочитать у Александра Афродисийского в его *Problematum*^[83] (кн. 1, гл. XIX). Что и требовалось доказать.

Впрочем, я увлекся и наговорил по этому поводу больше, чем предполагал вначале. Итак, я убираю паруса, dokonчу же я свое рассуждение в особой книге и докажу в немногих словах, что голубой цвет означает небо и все к нему относящееся и что связь символическая здесь та же, что и между белым цветом, с одной стороны, и радостью и наслаждением – с другой.

Глава XI

О детстве Гаргантюа

В возрасте от трех до пяти лет Гаргантюа растили и воспитывали по всем правилам, ибо такова была воля его отца, и время он проводил, как все дети в том краю, а именно: пил, ел и спал; ел, спал и пил; спал, пил и ел.

Вечно валялся в грязи, пачкал нос, мазал лицо, стаптывал башмаки, ловил частенько мух и с увлечением гонялся за мотыльками, подвластными его отцу. Писал себе на башмаки, какал в штаны, утирал рукавом нос, сморкался в суп, шлепал по всем лужам, пил из туфли и имел обыкновение тереть себе живот корзинкой. Точил зубы о колодку, мыл руки похлебкой, расчесывал волосы стаканом, садился между двух стульев, укрывался мокрым мешком, запивал суп водой, как ему аукали, так он и откликался, кусался, когда смеялся, смеялся, когда кусался, частенько плевал в колодец, лопался от жира, нападал на своих, от дождя прятался в воде, ковал, когда остывало, ловил в небе журавля, прикидывался тихоней, драл козла, имел привычку бормотать себе под нос, возвращался к своим баранам, перескакивал из пятого в десятое, бил собаку в назидание льву, начинал не с того конца, обжегшись на молоке, дул на воду, выводывал всю подноготную, гонялся за двумя зайцами, любил, чтоб нынче было у него густо, а завтра хоть бы и пусто, толоч воду в ступе, сам себя щекотал под мышками, уплетал за обе щеки, жертвовал Богу, что не годилось ему самому, в будний день ударял в большой колокол и находил, что так и надо, целился в ворону, а попадал в корову, не плутал только в трех соснах, переливал из пустого в порожнее, скоблил бумагу, марал пергамент, задавал стрекача, куликал, не спросясь броду, совался в воду, оставался на бобах, полагал, что облака из молока, а луна из чугуна, с одного вола драл две шкуры, дурачком прикидывался, а в дураках оставлял других, прыгал выше носа, черпал воду решетом, клевал по зернышку, даровому коню неукоснительно смотрел в зубы, начинал за здоровье, а кончал за упокой, в бочку дегтя подливал ложку меду, хвост вытаскивал, а нос у него завязал в грязи, охранял луну от волков, считал, что если бы да кабы у него во рту росли бобы, то был бы не рот, а целый огород, по одежке протягивал ножки, всегда платил той же монетой, на все чихал с высокого дерева, каждое утро драл козла. Отцовы щенки лакали из его миски, а он ел с ними. Он кусал их за уши, а они ему царапали нос, он им дул в зад, а они его лизали в губы.

И знаете что, дети мои, чтоб вам допитья до белой горячки? Этот маленький потаскун щупал своих нянек почем зря и вверху и внизу, и спереди и сзади и стал уже задавать работу своему гульфику. А няньки ежедневно украшали его гульфик пышными букетами, пышными

лентами, пышными цветами, пышными кистями и развлекались тем, что мяли его в руках, точно пластырь, свернутый в трубочку; когда же у гульфика ушки становились на макушке, няньки покатывались со смеху – видно было, что эта игра доставляла им немалое удовольствие.

Одна из них называла его втулочкой, другая – булавочкой, третья – коралловой веточкой, четвертая – пробочкой, пятая – затычеккой, коловоротиком, сверльшком, буравчиком, подвесочком, резвунчиком-попрыгунчиком, стоячком, красненькой колбаской, яичком-невеличком.

– Он мой, – говорила одна.

– Нет, мой, – говорила другая.

– А мне ничего? – говорила третья. – Ну так я его отрежу, ей-ей отрежу!

– Еще чего, отрезать! – говорила четвертая. – Да ведь ему больно будет! Кто же, сударыня, эти штуки детям отрезает? Хочешь, чтобы он бесхвостый вырос?

Сверстники Гаргантюа в тех краях играли в вертушки, и ему тоже смастерили для игры отличную вертушку из крыльев мирбалейской ветряной мельницы. ^[84]

Глава XII

Об игрушечных лошадках Гаргантюа

Потом, чтобы из него на всю жизнь вышел хороший наездник, ему сделали красивую большую деревянную лошадь, и он заставлял ее гарцевать, скакать, круто поворачивать, брыкаться, танцевать, и все это одновременно; ходить шагом, бегать рысью, сбитой рысью, галопом, иноходью, полугалопом, тропотом, по-верблюжьему и по-ослиному. Он заставлял ее менять масть, как иеродиаконы меняют в соответствии с праздниками стихари, и она у него была то гнедой, то рыжей, то серой в яблоках, то мышинной, то саврасой, то чалой, то соловой, то игреневой, то пегой, то буланой, то белой.

Сам Гаргантюа своими руками сделал себе из толстого бревна на колесах охотничью лошадь, из балки от давильного чана – коня на каждый день, а из цельного вяза – мула с попоной, для комнатных игр. Еще было у него около десятка лошадей для подставки и семь почтовых. И всех он укладывал с собой спать.

Однажды, в тот самый день, когда отца Гаргантюа посетили герцог де Лизоблюд и граф де Приживаль, в сопровождении пышной и блестящей свиты к нему приехал сеньор де Скупердьяй. Откровенно говоря, помещение оказалось тесновато для такого множества гостей, а уж про конюшни и говорить нечего. По сему обстоятельству дворецкий и конюший вышеупомянутого сеньора де Скупердьяй, желая узнать, нет ли где тут свободных стойл, обратились к маленькому Гаргантюа и спросили его украдкой, куда бы поставить строевых коней, ибо они были уверены, что уж ребенок-то им все выложит. Гаргантюа повел их по главной лестнице замка, а затем через вторую залу и широкую галерею они проникли в большую башню; когда же они стали подниматься еще выше, конюший сказал дворецкому:

– Обманул нас мальчонка: наверху конюшен не бывает.

– Ты ошибаешься, – возразил дворецкий, – мне точно известно, что в Лионе, Бамете^[85], Шиноне и в других местах есть такие дома, где конюшни на самом верху. Наверно, где-нибудь сзади устроен особый выход для посадки. Впрочем, я его еще раз спрошу для верности.

И он обратился к Гаргантюа:

– Куда ты ведешь нас, малыш?

– В стойло, где мои строевые кони, – отвечал тот. – Это совсем близко отсюда: еще несколько ступенек, и все.

И тут он, пройдя еще одну большую залу, подвел их к своей комнате и, распахнув дверь, сказал:

– Вот она, конюшня. Это мой испанский жеребец, это мерин, это лаведанский жеребец, а это иноходец. – С этими словами он протянул им здоровенную балку. – Дарю вам этого фризского скакуна, – объявил он. – Мне его пригнали из Франкфурта, но теперь он ваш. Это добрая лошадка, очень выносливая. Заведите себе еще кречета, пяток испанских легавых да пару борзых, и вы будете грозой всех зайцев и куропаatok.

– Святые угодники! – воскликнули те двое. – Вот тебе раз! Что ж ты, милый, дурака валял?

– Да разве я кого-нибудь из вас валял? – спросил Гаргантюа.

Посудите сами, как в сем случае надлежало поступить дворецкому и конюшему: сквозь землю провалиться от стыда или

посмеяться над этим приключением? Когда же они в великом смущении стали спускаться с лестницы, Гаргантюа сказал:

– На приступочке песочек.

– Что такое? – спросили они.

– Откусите дерьма кусочек, – отвечал он.

– Если нынче нас кто-нибудь захочет вздуть, то это будет напрасный труд, – нас и без того порядком надули, – заметил дворецкий. – Ах, малыш, малыш, славно провел ты нас за нос! Быть тебе когда-нибудь святейшим владыкою папой!

– Я сам так думаю, – заметил Гаргантюа. – Я буду святейшеством, а ты пустосвятом, а вот из этого свища тоже выйдет изрядный святоша.

– Все может быть, – заметил конюший.

– А вот теперь скажите, – продолжал Гаргантюа, – какого цвета хвост платья у моей матери?

– Про хвост я ничего не могу сказать, – отвечал конюший.

– Сам признался, что ты прохвост, – подхватил Гаргантюа.

– Как так? – спросил конюший.

– Так ли, не так ли, сунь себе в нос пакли, – отвечал Гаргантюа. – Кто слишком много такает, тому птичка в ротик какает.

– Господи помилуй, ну и собеседник нам попался! – воскликнул дворецкий. – Много лет тебе здравствовать, балагур ты этакий, – уж больно ты речист!

Спускаясь второпях с лестницы, дворецкий с конюшим уронили здоровенную балку, которой их нагрузил Гаргантюа.

– Какие же вы после этого наездники, черт бы вас побрал! – воскликнул Гаргантюа. – Вам только на клячах и ездить. Если бы вам предстояло путешествие в Каюзак, что бы вы предпочли: ехать верхом на гусенке или же свинью вести на веревочке?

– Я предпочитаю выпить, – сказал конюший.

Тут они вошли в одну из нижних зал и, застав там остальную компанию, рассказали ей об этом происшествии и чуть не уморили всех со смеху.

Глава XIII

О том, как Грангузье распознал необыкновенный ум Гаргантюа, когда тот изобрел подтирку

К концу пятого года Грангузье, возвратившись после поражения канарийцев^[86], навестил своего сына Гаргантюа. Обрадовался он ему, как только мог обрадоваться такой отец при виде такого сына: он целовал его, обнимал и расспрашивал о всяких его ребячьих делах. Тут же он не упустил случая выпить с ним и с его няньками, поговорил с ними о том о сем, а затем стал подробно расспрашивать, соблюдают ли они в уходе за ребенком чистоту и опрятность. На это ему ответил Гаргантюа, что он сам завел такой порядок, благодаря которому он теперь самый чистый мальчик во всей стране.

– Как так? – спросил Грангузье.

– После долговременных и любопытных опытов я изобрел особый способ подтираться, – отвечал Гаргантюа, – самый, можно сказать, королевский, самый благородный, самый лучший и самый удобный из всех, какие я знаю.

– Что же это за способ? – осведомился Грангузье.

– Сейчас я вам расскажу, – отвечал Гаргантюа. – Как-то раз я подтерся бархатной полумаской одной из ваших притворных, то бишь придворных, дам и нашел, что это недурно, – прикосновение мягкой материи к заднепроходному отверстию доставило мне наслаждение неизъяснимое. В другой раз – шапочкой одной из помянутых дам, – ощущение было то же самое. Затем шейным платком. Затем атласными наушниками, но к ним, оказывается, была прицеплена уйма этих поганых золотых шариков, и они мне все седалище ободрали. Антонов огонь ему в зад, этому ювелиру, который их сделал, а заодно и придворной даме, которая их носила! Боль прошла только после того, как я подтерся шляпой пажа, украшенной перьями на швейцарский манер.

Затем как-то раз я присел под кустик и подтерся мартовской кошкой, попавшейся мне под руку, но она мне расцарапала своими когтями всю промежность.

Оправился я от этого только на другой день, после того как подтерся перчатками моей матери, надушенными этим несносным, то бишь росным, ладаном.

Подтирался я еще шалфеем, укропом, анисом, майораном, розами, тыквенной ботвой, свекольной ботвой, капустными и виноградными листьями, проскурняком, диванкой, от которой краснеет зад, латуком, листьями шпината, – пользы мне от всего этого было, как от козла

молока, – затем пролеской, бурьяном, крапивой, живокостью, но от этого у меня началось кровотечение, тогда я подтерся гильфиком, и это мне помогло.

Затем я подтирался простынями, одеялами, занавесками, подушками, скатертями, дорожками, тряпочками для пыли, салфетками, носовыми платками, пеньюарами. Все это доставляло мне больше удовольствия, нежели получает чесоточный, когда его скребут.

– Так, так, – сказал Грангузье, – какая, однако ж, подтирка, по-твоему, самая лучшая?

– Вот к этому-то я и веду, – отвечал Гаргантюа, – сейчас вы узнаете все досконально. Я подтирался сеном, соломой, паклей, волосом, шерстью, бумагой, но —

Кто подтирает зад бумагой,
Тот весь обрызган желтой влагой*.

– Что я слышу? – воскликнул Грангузье. – Ах, озорник ты этакий! Тишком, тишком уже и до стишков добрался?

– А как же, ваше величество! – отвечал Гаргантюа. – Понемножку кропаю, но только от стихоплетства у меня язык иной раз заплетается. Вот, не угодно ли послушать, какая надпись висит у нас в нужнике:

Харкун,
Писун,
Пачкун!
Не раз
Ты клал,
А кал
Стекал
На нас.
Валяй,
Воняй,
Но знай:
В антоновом огне сгорает,
Кто жир
Из дыр

В сортир,
Не подтираясь, низвергает*.

Хотите еще?

– Очень даже хочу, – сказал Грангузье.

– Так вот, – продолжал Гаргантюа:

РОНДО

Мой зад свой голос подает,
На зов природы отвечая.
Вокруг клубится вонь такая,
Что я зажал и нос и рот.
О, пусть в сей нужник та придет,
Кого я жду, опорожня
Мой зад!

Тогда я мочевого проход
Прочищу ей, от счастья тая;
Она ж, рукой меня лаская,
Перстом умелым подотрет
Мой зад*.

Попробуйте теперь сказать, что я ничего не знаю! Клянусь раками, это не я сочинил стихи, – я слышал, как их читали одной важной даме, и они удержались в охотничьей сумке моей памяти.

– Обратимся к предмету нашего разговора, – сказал Грангузье.

– К какому? – спросил Гаргантюа. – К испражнениям?

– Нет, к подтирке, – отвечал Грангузье.

– А как вы насчет того, чтобы выставить бочонок бретонского, если я вас положу на обе лопатки?

– Выставлю, выставлю, – обещал Грангузье.

– Незачем подтираться, коли нет дерьма, – продолжал Гаргантюа. – А дерьма не бывает, если не покакаешь. Следственно, прежде надобно покакать, а потом уж подтереться.

– Ах, как ты здраво рассуждаешь, мой мальчик! – воскликнул Грангузье. – Ей-богу, ты у меня в ближайшее же время выступишь на диспуте в Сорбонне, и тебе присудят докторскую степень – ты умен не по летам! Сделай милость, однако ж, продолжай подтиральное свое рассуждение. Клянусь бородой, я тебе выставлю не бочонок, а целых шестьдесят бочек доброго бретонского вина, каковое выделяется отнюдь не в Бретани, а в славном Верроне.

– Потом я еще подтирался, – продолжал Гаргантюа, – головной повязкой, думкой, туфлей, охотничьей сумкой, корзинкой, но все это была, доложу я вам, прескверная подтирка! Наконец шляпами. Надобно вам знать, что есть шляпы гладкие, есть шерстистые, есть ворсистые, есть шелковистые, есть атласистые. Лучше других шерстистые – кишечные извержения отлично ими отчищаются.

Подтирался я еще курицей, петухом, цыпленком, телячьей шкурой, зайцем, голубем, бакланом, адвокатским мешком, капюшоном, чепцом, чучелом птицы.

В заключение, однако ж, я должен сказать следующее: лучшая в мире подтирка – это пушистый гусенок, уверяю вас, – только когда вы просовываете его себе между ног, то держите его за голову. Вашему отверстию в это время бывает необыкновенно приятно, во-первых, потому, что пух у гусенка нежный, а во-вторых, потому, что сам гусенок тепленький, и это тепло через задний проход и кишечник без труда проникает в область сердца и мозга. И напрасно вы думаете, будто всем своим блаженством в Елисейских полях герои и полубоги обязаны асфоделям, амброзии и нектару, как тут у нас болтают старухи. По-моему, все дело в том, что они подтираются гусятами, и таково мнение ученейшего Иоанна Скотта.

Глава XIV

О том, как некий богослов обучал Гаргантюа латыни

Послушав такие речи и удостоверившись, что Гаргантюа отличается возвышенным складом ума и необычайной сметливостью, добряк Грангузье пришел в совершенный восторг. Он сказал его нянькам:

– Филипп, царь македонский, понял, насколько умен его сын Александр, по тому, как ловко он правил конем. А ведь конь этот был

лихой, с норовом, так что никто не решался на него сесть, – он сбрасывал всех: одному всаднику шею сломает, другому – ноги, этому голову проломит, тому челюсть вывихнет. Александр наблюдал за всем этим на ипподроме (так называлось то место, где вольтижировали и объезжали лошадей) и наконец пришел к заключению, что лошадь бесится от страха, а боится она своей же собственной тени. Тогда, вскочив на коня, он погнал его против солнца, так что тень падала сзади, и таким способом его приручил. И тут отец удостоверился, что у его сына воистину божественный разум, и взял ему в учителя не кого другого, как Аристотеля, которого тогда признавали за лучшего греческого философа. Я же скажу вам, что один этот разговор, который я сейчас вел в вашем присутствии с сыном моим Гаргантюа, убеждает меня в том, что ум его заключает в себе нечто божественное, до того он остер, тонок, глубок и ясен; его надобно только обучить всем наукам, и он достигнет высшей степени мудрости. Того ради я намерен приставить к нему какого-нибудь ученого, и пусть ученый преподаст ему все, что только мой сын способен усвоить, а уж я ничего для этого не пожалею.

И точно: мальчику взяли в наставники великого богослова, магистра Тубала Олоферна^[87], и магистр так хорошо сумел преподавать ему азбуку, что тот выучил ее наизусть в обратном порядке, для чего потребовалось пять лет и три месяца. Затем учитель прочел с ним *Доната*, *Фацет*, *Теодоле* и *Параболы* Алана^[88], для чего потребовалось тринадцать лет, шесть месяцев и две недели.

Должно при этом заметить, что одновременно он учил Гаргантюа писать готическими буквами, и тот переписывал все свои учебники, ибо искусство книгопечатания тогда еще не было изобретено.

Большой письменный прибор, который обыкновенно приносил на уроки Гаргантюа, весил более семи тысяч квинталов, его пенал равнялся по величине и объему колоннам аббатства Эне, а чернильница висела на толстых железных цепях, вместимость же ее равнялась вместимости бочки.

Далее Тубал Олоферн прочел с ним *De modis significandi*^[89] с комментариями Пустомелиуса, Оболтуса, Прудпруды, Галео, Жана Теленка, Грошемуцена и пропасть других, для чего потребовалось восемнадцать лет и одиннадцать с лишним месяцев. И все это Гаргантюа так хорошо усвоил, что на экзамене сумел ответить все

наизусть в обратном порядке и доказал матери как дважды два, что *De modis significandi non erat scientia*.^[90]

Далее Тубал Олоферн прочел с ним *Календарь*, для чего потребовалось верных шестнадцать лет и два месяца, и тут означенный наставник скончался:

В год тысяча четыреста двадцатый
От люэса, что он поймал когда-то*.

Его сменил еще один старый хрен, магистр Дурако Простофиль, и тот прочел с ним Гугуция, *Греческий язык Эберара*, *Доктринал*, *Часту речи*, *Quid est, Supplementum*, *Бестолкования*, *De moribus in mensa servandis*, *De quatuor virtutibus cardinalibus* Сенеки, Пассаванти *cum commento*, в праздничные дни *Dormi secure* и еще кое-что в этом же роде, отчего Гаргантюа так поумнел, что уж нам с вами никак бы за ним не угнаться.^[91]

Глава XV

О том, как Гаргантюа был поручен заботам других воспитателей

Между тем отец стал замечать, что сын его, точно, оказывает большие успехи, что от книг его не оторвешь, но что впрок это ему не идет и что к довершению всего он глупеет, тупеет и час от часу становится рассеянее и бестолковее.

Грангузье пожаловался на это дону Филиппу де Маре, вице-королю Папелигосскому, и услышал в ответ, что лучше совсем ничему не учиться, чем учиться по таким книгам под руководством таких наставников, ибо их наука – бредни, а их мудрость – напыщенный вздор, сбивающий с толку лучшие, благороднейшие умы и губящий цвет юношества.

– Коли на то пошло, – сказал вице-король, – пригласите к себе кого-нибудь из нынешних молодых людей, проучившихся года два, не больше. И вот если он уступит вашему сыну по части здравомыслия, красноречия, находчивости, обходительности и благовоспитанности, можете считать меня последним вралем.

Грангузье эта мысль привела в восхищение, и он изъявил свое согласие.

Вечером, явившись к ужину, вышеназванный де Маре привел с собой одного из юных своих пажей, Эвдемона^[92] из Вильгонжи, аккуратно причесанного, нарядного, чистенького, вежливого, скорее похожего на ангелочка, чем на мальчика, и, обратясь к Грангузье, сказал:

– Посмотрите на этого отрока. Ему еще нет двенадцати. Давайте удостоверимся, кто больше знает: старые празднословы или же современные молодые люди.

Грангузье согласился произвести этот опыт и велел пажу начинать. Тогда Эвдемон испросил дозволения у своего господина, вице-короля, встал и, держа шляпу в руках, устремив на Гаргантюа свой честный и уверенный взгляд и раскрыв румяные уста, с юношескою скромностью принялся славить его и превозносить: во-первых, за его добродетели и благонравие, во-вторых, за ученость, в-третьих, за благородство, в-четвертых, за телесную красоту, а засим стал в самых мягких выражениях убеждать его относиться к отцу с особым почтением за то, что отец, мол, сделал все от себя зависящее, чтобы дать сыну наилучшее образование. Под конец он обратился к Гаргантюа с просьбой считать его своим преданнейшим слугою, ибо сейчас он, Эвдемон, просит Небо только об одной, дескать, милости: с Божьей помощью чем-либо угодить Гаргантюа и оказать ему какую-либо важную услугу. Вся эта речь была произнесена внятно и громогласно на прекрасном латинском языке, весьма изысканным слогом, скорее напоминавшим слог доброго старого Гракха, Цицерона или же Эмилия^[93], чем современного юнца, и сопровождалась подобающими движениями.

Гаргантюа же вместо ответа заревел как корова и уткнулся носом в шляпу, и в эту минуту он был так же способен произнести речь, как дохлый осел – пукнуть.

Грангузье до того взбеленился, что чуть было не убил на месте магистра Дурако. Однако вышеупомянутый де Маре обратился к нему с красноречивым увещанием, и гнев Грангузье утих. Он велел уплатить наставнику жалованье, напоить его по-богословски, а затем отправить ко всем чертям.

– Эх, хоть бы он нынче нализался, как англичанин^[94], и окошел, – примолвил Грангузье, – тогда бы уж нам ничего не нужно было ему платить!

Когда магистр Дурако удалился, Грангузье спросил у вице-короля, кого бы он посоветовал взять в наставники Гаргантюа, и тут между ними было условлено, что эти обязанности примет на себя Понократ, воспитатель Эвдемона, и что они все вместе отправятся в Париж, дабы ознакомиться с тем, как там теперь поставлено обучение французских юношей.

Глава XVI

О том, как Гаргантюа был отправлен в Париж, на какой громадной кобыле он ехал и как она уничтожила босских оводов

В это самое время Файоль, четвертый царь Нумидийский, прислал Грангузье из Африки самую огромную и высоченную кобылу, какую когда-либо видел свет, поистине чудо из чудес (вы же знаете, что в Африке все – необыкновенное): величиною она была с шесть слонов, на ногах у нее были пальцы, как у лошади Юлия Цезаря^[95], уши длинные, как у лангедокских коз, а на заду торчал маленький рог. Масти она была рыжей с подпалинами и в серых яблоках. Но особенно страшен был у нее хвост: он был точь-в-точь такой толщины, как столп св. Марса^[96], близ Ланже, и такой же четырехугольный, с пучками волос, торчавшими во все стороны, ни дать ни взять как хлебные колосья.

Если вас это удивляет, то еще более удивительными вам должны были бы показаться хвосты скифских баранов, весившие более тридцати фунтов, или же баранов сирийских, к крупу которых (если верить Тено^[97]) приходится прилаживать особые тележки для хвоста, – до того он у них длинный и тяжелый. А вот у вас, потаскуны несчастные, таких хвостов нет!

Итак, кобыла была доставлена морем, на трех карраках и одной бригаantine, в гавань Олонн, что в Тальмондуа.

При виде ее Грангузье воскликнул:

– Вот и хорошо! На ней мой сын отправится в Париж. Все пойдет как по маслу, ей-богу! Со временем из него выйдет знаменитый ученый. Ученье, как говорится, – тьма, а неученье – свет.

На другой день Гаргантюа, его наставник Понократ^[98] со своими слугами, а также юный паж Эвдемон выпили на дорожку как полагается и тронулись в путь. День выдался солнечный и погожий, а потому Грангузье распорядился, чтобы Гаргантюа надели желтые сапоги, – Бабен именует их полусапожками.^[99]

Во все продолжение пути они нимало не скучали и до самого Орлеана все подкреплялись и подкреплялись. Далее путь их лежал через дремучий лес в тридцать пять миль длиной и семнадцать шириной или около того. В этом лесу была тьма-тьмущая оводов и слепней, представлявших собой истинный бич для несчастных кобылиц, ослов и коней. Но кобыла Гаргантюа честно отомстила за зло, причиненное всей ее родне, применив для этого способ, дотоле никому не приходивший в голову. Как скоро они въехали в указанный лес и на них напали слепни, кобыла привела в действие свой хвост и, начав им размахивать, смахнула не только слепней, но вместе с ними и весь лес. Вдоль, поперек, там, сям, с той стороны, с этой, в длину, в ширину, снизу вверх, сверху вниз она косила деревья, как косарь траву. Словом, не осталось ни леса, ни слепней, – одно ровное поле, и ничего больше.

Гаргантюа это доставило видимое удовольствие, однако ж он не возгордился, – он только сказал своим спутникам:

– Ну, теперь здесь всякому гнусу – тубо-с!

И с той поры край этот стал называться Бос.

Что же касается закусочки, то путники блохой закусили и больше не просили. И в память этого босские дворяне до сего времени закусывают блохой, да еще и похваляют, да еще и облизываются.

Наконец путники прибыли в Париж, и денька два после этого Гаргантюа отдыхал, пировал со своими друзьями-приятелями и всех расспрашивал, какие тут есть ученые и какому вину в этом городе отдают предпочтенье.

Глава XVII

О том, как Гаргантюа оплатил парижанам за оказанный

ему прием и как он унес большие колокола с Собора Богоматери

Отдохнув несколько дней, Гаргантюа пошел осматривать город, и все глазели на него с великим изумлением: должно заметить, что в Париже живут такие олухи, тупицы и зеваки, что любой фигляр, торговец реликвиями, мул с бубенцами или же уличный музыкант соберут здесь больше народа, нежели хороший проповедник. ^[100]

И так неотступно они его преследовали, что он вынужден был усесться на башни Собора Богоматери. Посиживая на башнях и видя, сколько внизу собралось народа, он объявил во всеуслышание:

– Должно полагать, эти протобестии ждут, чтобы я уплатил им за въезд и за прием. Добро! С кем угодно готов держать пари, что я их сейчас попотчую вином, но только для смеха.

С этими словами он, посмеиваясь, отстегнул свой несравненный гульфик, извлек оттуда нечто и столь обильно оросил собравшихся, что двести шестьдесят тысяч четыреста восемнадцать человек утонули, не считая женщин и детей.

Лишь немногим благодаря проворству ног удалось спастись от наводнения; когда же они очутились в верхней части Университетского квартала, то, обливаясь потом, откашливаясь, отплевываясь, отдуваясь, начали клясться и божиться, иные – в гневе, иные – со смехом:

– Клянусь язвами исподними, истинный рог, отсохни у меня что хочешь, клянусь раками, *po cab de bious, das dich Gots leiden shend, pote de Christo* ^[101], клянусь чревом святого Кене, ей-же-ей, клянусь святым Фиакром Брийским, святым Треньяном, свидетель мне – святой Тибо, клянусь Господней Пасхой, клянусь Рождеством, пусть меня черт возьмет, клянусь святой Сосиской, святым Хродегангом, которого побили печеными яблоками, святым апостолом Препохабием, святым Удом, святой угодницей Милашкой, ну и окатил же он нас, ну и пари ж он придумал для смеха!

Так с тех пор и назвали этот город – Париж, а прежде, как утверждает в кн. IV Страбон, он назывался Левкецией, что по-гречески означает *Белянка*, по причине особой белизны бедер у местных дам. А так как все, кто присутствовал при переименовании города, не оставили в покое святых своего прихода, ибо парижане, народ разношерстный и разнокалиберный, по природе своей не только

отменные законники, но и отменные похабники, отличающиеся к тому же некоторой заносчивостью, то это дало основание Иоаннинусу де Барранко в книге *De copiositate reverentiarum*^[102] утверждать, что слово *парижане* происходит от греческого *паррезиане*, то есть *невоздержные на язык*.

Засим Гаргантюа осмотрел большие колокола, висевшие на соборных башнях, и весьма мелодично в них зазвонил. Тут ему пришло в голову, что они с успехом могли бы заменить бубенцы на шее у его кобылы, каковую он собирался отправить к отцу с немалым грузом сыра бри и свежих сельдей, а посему он унес колокола к себе.

Тем временем в Париж прибыл на предмет сбора свинины ветчинный командор ордена св. Антония^[103]. Он тоже намеревался потихоньку унести колокола, чтобы издали было слышно, что едет командор, и чтобы свиное сало в кладовых заранее дрожало от страха, что его заберут; но, будучи человеком честным, он все же их не похитил, и не потому, чтобы они жгли ему руки, а потому, что они были слегка тяжеловаты.

Не следует, однако, смешивать этого командора с командором бургским, близким моим другом.

Весь город пришел в волнение, а ведь вам известно, какие здесь живут смутьяны: недаром иностранцы удивляются долготерпению, а вернее сказать, тупоумию французских королей, которые, видя, что каждый день от этого происходят беспорядки, не прибегают к крайним мерам для того, чтобы их прекратить. Эх, если б я только знал, где находится гнездо этих еретиков и заговорщиков, я бы их обличил перед лицом всех братств моего прихода!

Так вот, изволите ли видеть, толпа, ошалев и всполошившись, бросилась к Сорбонне, где находился в то время (теперь его уже нет) оракул Левкеции. Ему изложили суть дела и перечислили проистекающие из похищения колоколов неудобства. После того, как были взвешены все *pro* и *contra*^[104] по фигуре *Baralipton*, было решено послать к Гаргантюа старейшего и достойнейшего представителя богословского факультета, дабы указать ему на крайние неудобства, сопряженные с потерей колоколов. И, несмотря на возражения со стороны некоторых деятелей университета, доказывавших, что подобное поручение более приличествует ритору, нежели богослову, выбор пал на высокочтимого магистра Ианотуса де Брагмардо.

Глава XVIII

О том, как Ианотус де Брагмардо был послан к Гаргантюа, чтобы получить у него обратно большие колокола

Магистр Ианотус, причесавшись под Юлия Цезаря^[105], надев на голову богословскую шапочку, вволю накушавшись пирожков с вареньем и запив святой водицей из погреба^[106], отправился к Гаргантюа, причем впереди выступали три краснорожих пристава, которые если уж пристанут, так от них не отвяжешься, а замыкали шествие человек пять не весьма казистых магистров наук, все до одного грязнее грязи.

У входа их встретил Понократ, и вид этих людей привел его в ужас; наконец он решил, что это ряженые, и обратился к одному из вышеупомянутых неказистых магистров с вопросом, что сей маскарад означает. Тот ответил, что они просят вернуть колокола.

Услышав такие речи, Понократ поспешил предупредить Гаргантюа, чтобы он знал, что ему отвечать, и чтобы он незамедлительно принял решение. Получив таковые сведения, Гаргантюа отозвал в сторону Понократа, своего наставника, Филотомия^[107], своего дворецкого, Гимнаста, своего конюшего, и, наконец, Эвдемона и попросил у них у всех совета, что ему делать и что отвечать. Все сошлись на том, что гостей должно препроводить в буфетную и напоить их по-богословски; а дабы старый хрен не кичился тем, что колокола возвращены благодаря его настояниям, решили послать, пока он будет тут бражничать, за префектом города, ректором факультета и викарным епископом и передать им колокола прежде, нежели богослов успеет изложить свою просьбу. Далее решено было предоставить ученому мужу возможность произнести в присутствии вышеуказанных лиц его блестящую речь.

И точно: когда все собрались, богослова ввели в переполненную залу, и он, откашлявшись, начал так.

Глава XIX

Речь магистра Ианотуса де Брагмардо, в которой он обращается к Гаргантюа с просьбой вернуть колокола

– Ках, ках, кха! *Mna dies*^[108], милостивый государь, *mna dies, et vobis*^[109], милостивые государи! Как бы это было хорошо, если б вы вернули нам колокола, ибо мы испытываем в них крайнюю необходимость! Кхе, кхе, кха! Много лет тому назад мы не отдали их за большие деньги кагорским лондонцам, равно как и брийским бордосцам^[110], коих пленили субстанциональные достоинства их элементарной комплекции, укореневающиеся в земнородности их квиддитативной натуры и порождающие способность разгонять лунный гало и предохранять от стихийных бедствий наши виноградники, то есть, собственно говоря, не наши, но окрестные, а ведь если мы лишимся крепких напитков, то мы утратим и все наше имение и все наше разумение.

Если вы исполните мою просьбу, то я заработаю десять пядей сосисок и отличные штаны, в которых будет очень удобно моим ногам, в противном же случае пославшие меня окажутся обманщиками. А ей-богу, *domine*^[111], хорошая вещь – штаны, *et vir sapiens non abhorrebit eam!*^[112] Ах! Ах! Не у всякого есть штаны, это я хорошо знаю по себе! Примите в соображение, *domine*, что я восемнадцать дней испальцовывал эту блестящую мухоморительную речь. *Reddite que sunt Cesaris Cesari, et que sunt Dei Deo. Ibi jacet lepus.*^[113]

По чести, *domine*, если вы желаете отужинать со мной *in camera*, черт побери, *charitatis, nos faciemus bonum cherubin. Ego occidi unum porcum, et ego habet bon vino*^[114]. А из доброго *vini* не сделать дурной латыни.

Итак, *de parte Dei, date nobis clochas nostras*^[115]. Послушайте, я вам подарю на память от всего нашего факультета *sermones de Utino, utinam*^[116] вы нам отдали наши колокола. *Vultis etiam pardonos? Per Diem, vos habebitis et nihil poyabitis.*^[117]

О милостивый государь, *o domine, clochidonnaminor nobis!*^[118] Ведь это *est bonum urbis*^[119]. В них нуждаются все поголовно. Если вашей кобыле от них польза, следственно, и нашему факультету, *que comparata est jumentis insipientibus et similis facta est eis psalmo nescio quo*^[120], – это у меня где-то записано на клочке, – *et est unum bonum Achilles*^[121]. Кихи, каха, кха!

Вот я вам сейчас докажу, что вы должны мне вернуть их! *Ego sic argumentor:*

Omnis clocha clochabilis, in clocherio clochando, clochans clochativo clochare facit clochabiliter clochantes. Parisius habet clochas. Ergo plus. [122]

Ха-ха-ха! Недурно сказано! Точь-в-точь *in tertio prime* [123], по *Darii* [124] или какому-то еще. Истинный Бог, когда-то я мастер был рассуждать, а теперь вот могу только дичь пороть, и ничего мне больше не нужно, кроме доброго вина и мягкой постели. Спину поближе к огню, брюхо поближе к столу, да чтобы миска была до краев!

Ах, *domine*, прошу вас *in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti amen* [125], верните нам колокола, и да хранят вас от всех болезней и здравия да ниспошлют вам Господь Бог и Царица Небесная, *qui vivit et regnat per omnia secula seculorum, amen!* [126] Кихи, каха, кихи, каха, кххха!

Verum enim vero, quando quidem, dubio procul, edepol, quoniam, ita certe, meus Deus fidus [127], город без колоколов – все равно что слепец без клюки, осел без пахвей, корова без бубенчиков. Пока вы нам их не вернете, мы будем взывать к вам, как слепец, потерявший клюку, верещать, как осел без пахвей, и реветь, как корова без бубенчиков.

Некий латинист, проживающий недалеко от больницы, однажды, процитировав светского поэта Балдануса, – то есть, виноват, Понтануса [128], – изъявил желание, чтобы самые колокола были сделаны из перьев, а языки – из лисьих хвостов, иначе, мол, у него от них мозговая колика начинается, когда он плетет свои стихообразные вирши. Но за это самое, туки-тук, туки-тук, лясь, хрясь, вверх тормашки, кувырком, его у нас объявили еретиком, – ведь мы еретиков, как блины, печем. А засим, как говорится: «Свидетель, вы свободны!» *Valete et plaudite. Calepinus recensui.* [129]

Глава XX

О том, как богослов унес свое сукно и как у него началась тяжба с другими сорбоннистами

Когда богослов окончил свою речь, Понократ и Эвдемон залились таким неудержимым хохотом, что чуть было не отдали Богу душу, – точь-в-точь как Красс при виде осла, глотавшего репейники, или

Филемон, который умер от смеха при виде осла, пожиравшего фиги, приготовленные к обеду. Глядя на них, захохотал и магистр Ианотус, – причем неизвестно, кто смеялся громче, – так что в конце концов на глазах у всех выступили слезы, ибо от сильного сотрясения мозговое вещество отжало слезную жидкость, и она притекла к глазным нервам. Таким образом, они изобразили собой гераклитствующего Демокрита и демокритствующего Гераклита.

Когда же все вволю насмеялись, Гаргантюа обратился за советом к своим приближенным, как ему поступить. Понократ высказал мнение, что блестящего оратора следует еще раз напоить и, ввиду того что он их развлекал и насмешил почище самого Сонжекре, выдать ему десять пядей сосисок, упомянутых в его игривой речи, штаны, триста больших поленьев, двадцать пять бочек вина, постель с тремя перинами гусяного пера и весьма объемистую и глубокую миску, – словом, все, в чем, по его словам, он на старости лет нуждался.

Все это и было ему выдано, за исключением штанов, ибо Гаргантюа усомнился, чтобы так, сразу, можно было найти оратору подходящего размера штаны; к тому же Гаргантюа не знал, какой фасон приличествует магистру: с форточкой ли наподобие подъемного и опускаемого моста^[130], которая упрощает задней части отправление естественной потребности, морской ли фасон, упрощающий мочеиспускание, швейцарский ли^[131], чтобы пузу было теплее, или же с прорезами, чтобы не жарко было пояснице; а потому он велел вместо штанов выдать оратору семь локтей черного сукна и три локтя белой материи на подкладку. Дрова отнесли ему на дом носильщики; сосиски и миску понесли магистры наук; сукно пожелал нести сам магистр Ианотус. Один из упомянутых магистров, по имени Жус Бандуй, заметил, что богослову это не пристало и не подобает, а посему пусть, мол, он передаст сукно кому-нибудь из них.

– Ах ты, ослина, ослина! – воскликнул Ианотус. – Не умеешь ты выводить заключения *in modo et figura*^[132]. Не пошли тебе, видно, впрок *Предположения* и *Parva logicalia! Panus pro quo supponit?*

– *Confuse et distributive*^[133], – отвечал Бандуй.

– Я тебя не спрашиваю, ослина, *quo modo supponit*, но *pro quo*^[134]. Ясно, ослина, что *pro tibiis meis*^[135]. Следственно, сукно понесу я, *egomet, sicut suppositum portat adpositum.*^[136]

И он понес его крадучись, как Патлен.

Однако на этом дело не кончилось: старый хрен еще раз торжественно потребовал штаны и сосиски на пленарном заседании в Сорбонне, но ему было в этом решительно отказано на том основании, что, по имеющимся сведениям, он уже все получил от Гаргантюа. Магистр Ианотус возразил, что то было сделано *gratis*^[137] благодаря щедрости Гаргантюа, каковая-де не освобождает сорбонников от исполнения данных обещаний. Со всем тем ему было сказано, что с ним рассчитались по справедливости и больше он ни шиша не получит.

– По справедливости? – возопил Ианотус. – Да у вас тут ею и не пахнет. Ах, подлецы вы этакие, дрянь паршивая! Свет еще не видел таких мерзавцев, как вы. Уж я-то знаю вас как свои пять пальцев, – чего же вы припадаете на ногу перед хромым? Ведь я делал всякие пакости вместе с вами. Вот, отсохни у меня селезенка, донесу я уже королю о тех страшных беззакониях, которые вы здесь замышляете и творите, и пусть на меня нападет проказа, если он не велит всех вас сжечь живьем, как мужеложцев, злодеев, еретиков и соблазнительей, отверженных самим Богом и добродетелью!

За эти слова его привлекли к суду, но он добился отсрочки судебного разбирательства. В общем, тяжба затянулась и тянется донныне. По сему случаю сорбонники дали обет не мыться, а Ианотус и иже с ним дали обет не утирать носа до тех пор, пока не будет вынесен окончательный приговор.

Во исполнение данных обетов они и до сей поры пребывают грязными и сопливыми, ибо суд еще не раскумекал это дело до тонкости. Приговор последует в ближайшие греческие календы, иными словами, никогда не последует, – вы же знаете, что судьи сильнее самой природы и даже своих собственных законов. Так, например, согласно парижским кодексам един Бог властен продолжать что-либо до бесконечности. Природа сама по себе не создает ничего бессмертного, ибо всему произведенному ею на свет она же сама полагает предел и конец: *omnia orta cadunt*^[138] и т. д. Но усилиями этих крючкотворов разбираемые ими тяжбы становятся бесконечными и бессмертными. Таким образом, они подтверждают справедливость изречения, принадлежащего Хилону Лакедемонянину и вошедшего в поговорку у дельфийцев: нищета – подруга тяжбы^[139], а все

тяжущиеся – нищие, ибо скорее настанет конец их жизни, нежели конец тому делу, которое они возбудили.

Глава XXI

О том, чем занимался Гаргантюа по расписанию, составленному его учителями-сорбонниками

Спустя несколько дней по прибытии Гаргантюа в Париж колокола были водворены на место, и парижане в знак благодарности за этот великодушный поступок обратились к нему с предложением кормить и содержать его кобылицу, сколько он пожелает, к каковому предложению Гаргантюа отнесся весьма благосклонно, вследствие чего кобылицу отправили в Бьерский лес^[140]. Полагаю, впрочем, что теперь ее уже там нет.

После этого Гаргантюа возымел охоту со всем возможным прилежанием начать заниматься под руководством Понократа, но тот для начала велел ему следовать прежней методе: Понократу нужно было уяснить себе, каким способом за столь долгий срок бывшие наставники Гаргантюа ничего не сумели добиться и он вышел у них таким олухом, глупцом и неучем.

Время Гаргантюа было распределено таким образом, что просыпался он обыкновенно между восемью и девятью часами утра, независимо от того, светло на дворе или нет, – так ему предписали наставники-богословы, ссылавшиеся на слова Давида: *Vanum est vobis ante lucem surgere.*^[141]

Некоторое время он для прилива животных токов болтал ногами, прыгал и валялся в постели, затем одевался глядя по времени года, причем особенной его любовью пользовался широкий и длинный плащ из плотной фризской ткани, подбитый лисьим мехом; потом причесывался альменовским гребнем^[142], сиречь пятерней, ибо наставники твердили ему, что причесываться иначе, чиститься и мыться – это значит даром терять время, отведенное для земной жизни.

Засим он испражнялся, мочился, харкал, рыгал, пукал, зевал, плевал, кашлял, икал, чихал, сморкался, как архидьякон, и, наконец, завтракал, а на завтрак, чтобы ему не повредили ни сырость, ни

сквозняк, подавались превосходные вареные потроха, жареное мясо, отменная ветчина, чудесная жареная козлятина и в большом количестве ломтики хлеба, смоченные в супе.

Понократ заметил, что, встав с постели, нужно сейчас же проделать некоторые упражнения, а не набрасываться на еду. Но Гаргантюа возразил:

– Как? Разве я недостаточно упражняюсь? Прежде чем встать, я раз семь перевернусь с боку на бок. Неужели этого мало? Папа Александр по совету врача-еврея^[143] делал то же самое и назло завистникам дожил до самой своей смерти. Меня к этому приучили мои бывшие учителя, – они говорили, что завтрак хорошо действует на память, и по этой причине за завтраком, никого не дожидаясь, выпивали. Я от этого чувствую себя прекрасно и только с большим аппетитом ем. Магистр Тубал говорил мне, – а он здесь, в Париже, лучше всех сдал на лиценциата: дело, мол, не в том, чтобы быстро бегать, а в том, чтобы выбежать пораньше; так же точно, если человек хочет быть в добром здоровье, то не следует пить, и пить, и пить бесперечь, как утка, – достаточно выпить с утра. *Unde versus*:^[144]

Беда с утра чуть свет вставать —
С утра полезней выпивать*.

Плотно позавтракав, Гаргантюа шел в церковь, а за ним в огромной корзине несли толстый, засаленный, завернутый в мешок служебник, весивший вместе с салом, застежками и пергаментом не более и не менее как одиннадцать квинталов шесть фунтов. В церкви Гаргантюа выстаивал от двадцати шести до тридцати месс. Тем временем подходил и его домашний священник, весь закутанный, похожий на хохлатую птицу, отлично умеющий очищать свое дыхание изрядным количеством виноградного соку. Вместе с Гаргантюа он проборматывал все ектеньи и так старательно их вышелушивал, что зря не пропадало ни одного зерна.

Когда Гаргантюа выходил из церкви, ему подвозили на телеге, запряженной волами, груды четок св. Клавдия^[145], причем каждая бусинка была величиною с человеческую голову, и, гуляя по монастырскому дворику, по галереям и по саду, Гаргантюа прочитывал

столько молитв, сколько не могли бы прочитать шестнадцать отшельников.

Потом на какие-нибудь несчастные полчаса он утыкался в книгу, но, по выражению одного комика^[146], «душа его была на кухне».

Далее, напрудив полный горшок, он садился обедать, а так как был он от природы флегматиком, то и начинал с нескольких десятков окороков, с копченых бычьих языков, икры, колбасы и других навинопозывающих закусок.

Тем временем четверо слуг один за другим непрерывно кидали ему в рот полные лопаты горчицы; затем он, чтобы предотвратить раздражение почек, единым духом выпивал невесть сколько белого вина. После этого он ел мясо – какое именно, это зависело от времени года, ел сколько влезет и прекращал еду не прежде, чем у него начинало пучить живот.

Зато для питья никаких пределов и никаких правил не существовало, ибо он держался мнения, что границей и рубежом для пьющего является тот миг, когда пробковые стельки его туфель разбухнут на полфута.

Глава XXII

Игры Гаргантюа^[147]

Затем Гаргантюа, еле ворочая языком, бормотал самый кончик благодарственной молитвы, выпивал разгонную и ковырял в зубах кабаньей костью, после чего начинал оживленно болтать со слугами. Слуги расстилали зеленое сукно и раскладывали видимо-невидимо карт, видимо-невидимо костей и пропасть шашечных досок. Гаргантюа играл:

в свои козыри,
в четыре карты,
в большой шлем,
в триумф,
в пикардийку,
в сто,
в несчастную,
в плутни,

в кто больше десяти,
в тридцать одно,
в триста,
в несчастного,
в перевернутую карту,
в недовольного,
в ландскнехта,
в кукушку,
в пий-над-жок-фор,
в марьяж,
в две карты,
в тарок,
в кто взял, тот проиграл,
в глик,
в онеры,
в мурр,
в шахматы,
в лису,
в фишки,
в коровы,
в белую дамку,
в шашки,
в бабу,
в *primus, secundus*^[148],
в ножик,
в ключи,
в чет и нечет,
в решетку,
в камушки,
в шары,
в башмак,
в сову,
в зайчонка,
в тирлитантэн,
в поросенок, вперед,
в сороку,
в р о жки, р о жки,

в бычка,
в совушку-сову,
в засмейся, не хочу,
в курочка, клюнь, клюнь,
в расковать осла,
в но, пошел,
в но, но,
в сажусь,
в жмурки,
в дичка,
в догонялки,
в куманечек, дай мне твой
мешочек,
в три кости,
в ник-нок,
в триктрак,
в марсельские фиги,
в ищи вора,
в драть козла,
в продаем овес,
в раздувай уголек,
в прятки,
в судью живого и
судью мертвого,
в таскай утюги из
печки,
в перепелов,
в щипки,
в грушу,
в пимпомпэ,
в триори,
в круг,
в свинью,
в живот на живот,
в кубики,
в палочки,
в кружок,

в я здесь,
в фук,
в кегли,
в вертуна,
в колачик,
в *тронь навоз*,
в Анженар,
в шарик,
в волан,
в *разбей горшок*,
в *будь по-моему*,
в палочку,
в булавку,
в хорька,
в бабки,
в замок,
в лунки,
в кожаный мяч,
в пятнашки,
в *где ветка?*
в *сегодня пост*,
в развилину дуба,
в чехарду,
в волчью стаю,
в *пукни в нос*,
в *Гильмен, подай копье*,
в качели,
в тринадцатого,
в березку,
в муху,
в *му-му, мой бычок*,
в мнения,
в девять рук,
в шапифу,
в мосты,
в Колен бриде,
в ворона,

в кокантен,
в Колен майяр,
в мирлимофль,
в сыщика,
в жабу,
в костыль,
в бильбоке,
в ремесла,
в булавочки,
в косточки,
в буку,
в щелчки,
в решето,
в сеем овес,
в обжору,
в мельницу,
в чур меня,
в прыжки,
в *под зад коленкой*,
в храпуна,
в волчок,
в монаха,
в волка,
в челнок,
в *величаем тебя, святой Косма*,
в соленый зад,
в голубка,
в *прыг через вязанку*,
в *прыг через кустик*,
в фигу,
в пахаря,
в филина,
в *стук, стук лбами*,
в мертвого зверя,
в *выше, выше*,
лесенка,
в дохлого поросенка,

в растирай горчицу,
в пикандо,
в ворона,
в жаворонков,
в журавля.

Вволю наигравшись, просеяв, провеяв и проведя свое время сквозь решето, Гаргантюа почитал за нужное немножко выпить, – не больше одиннадцати кувшинов зараз, – а потом сейчас же вытянуться на доброй скамейке или же на доброй мягкой постели да часика два поспать сном праведника.

Пробудившись, он некоторое время протирали глаза. Тут ему приносили холодного вина; пил он его с особым вкусом.

Понократ пытался внушить ему, что пить прямо со сна вредно для здоровья.

– Но ведь так жили святые отцы, – возражал Гаргантюа. – Тем более сон у меня от природы какой-то соленый: во сне я словно все время ем ветчину.

Затем он нехотя принимался за уроки и прежде всего – за молитвы; запасшись четками, чтобы все было чин чинном, он садился на старого мула, служившего уже девяти королям, и, бормоча себе под нос и покачивая головой, отправлялся вынуть из западни кролика.

По возвращении он заходил на кухню узнать, что жарится на вертеле.

И ужинал он, – скажу вам по чистой совести, – отлично и часто приглашал к себе кое-кого из своих соседей, любителей выпить; и он от них не отставал, а они ему рассказывали небывальщины, и старые и новые. Домочадцами его были, между прочим, сеньоры дю Фу^[149], де Гурвиль, де Гриньо и де Мариньи.

После ужина снова появлялись в большом количестве прекрасные деревянные евангелия^[150], то есть шашечные доски; или дулись в свои козыри, перед тем же как разойтись – в банк, а не то так шли к девицам и по дороге туда и по дороге обратно выпивали и закусывали, выпивали и закусывали. Затем Гаргантюа спал восемь часов кряду.

Глава XXIII

О мет о де, применявшейся Понократом, благодаря

которой у Гаргантюа не пропадало зря ни одного часа

Увидев, какой неправильный образ жизни ведет Гаргантюа, Понократ решился обучить его наукам иначе, однако ж на первых порах не нарушил заведенного порядка, ибо он полагал, что без сильного потрясения природа не терпит внезапных перемен. Чтобы у него лучше пошло дело, Понократ обратился к одному сведущему врачу того времени, магистру Теодору, с просьбой, не может ли он наставить Гаргантюа на путь истинный; магистр по всем правилам медицины дал Гаргантюа антикирской чемерицы и с помощью этого снадобья излечил его больной мозг и очистил от всякой скверны. Тем же самым способом Понократ заставил Гаргантюа забыть все, чему его научили прежние воспитатели, – так же точно поступал Тимофей с теми из своих учеников, которые прежде брали уроки у других музыкантов.

Чтобы вернее достигнуть своей цели, Понократ ввел Гаргантюа в общество местных ученых, соревнование с коими должно было поднять его дух и усилить в нем желание заниматься по-иному и отличиться.

Затем он составил план занятий таким образом, что Гаргантюа не терял зря ни часу: все его время уходило на приобретение полезных знаний.

Итак, вставал Гаргантюа около четырех часов утра. В то время как его растирали, он должен был прослушать несколько страниц из Священного писания, которое ему читали громко и внятно, с особым выражением, для каковой цели был нанят юный паж по имени Анагност^[151], родом из Баше. Содержание читаемых отрывков часто оказывало на Гаргантюа такое действие, что он проникался особым благоговением и любовью к Богу, славил Его и молился Ему, ибо Священное писание открывало перед ним Его величие и мудрость неизреченную.

Затем Гаргантюа отправлялся в одно место, дабы извергнуть из себя экскременты. Там наставник повторял с ним прочитанное и разъяснял все, что было ему непонятно и трудно.^[152]

На возвратном пути они наблюдали, в каком состоянии находится небесная сфера, такая ли она, как была вчера вечером, и определяли, под каким знаком зодиака восходит сегодня солнце и под каким луна.

После этого Гаргантюа одевали, причесывали, завивали, наряжали, опрыскивали духами и в течение всего этого времени повторяли с ним заданные накануне уроки. Он отвечал их наизусть и тут же старался применить к каким-либо случаям из жизни; продолжалось это часа два-три и обыкновенно кончалось к тому времени, когда он был совсем одет.

Затем три часа он слушал чтение.

После этого выходили на воздух и, по дороге обсуждая содержание прочитанного, отправлялись ради гимнастических упражнений в Брак или же шли в луга и там играли в мяч, в лапту, в пиль тригон, столь же искусно развивая телесные силы, как только что развивали силы духовные.

В играх этих не было ничего принудительного: они бросали партию когда хотели и обыкновенно прекращали игру чуть только, бывало, вспотеют или же утомятся. Сухо-насухо обтерев все тело, они меняли сорочки и гуляющей походкой шли узнать, не готов ли обед. В ожидании обеда они внятно и с выражением читали наизусть изречения, запомнившиеся им из сегодняшнего урока.

Наконец появлялся и господин Аппетит, и все во благовремении садились за стол.

В начале обеда читалась вслух какая-нибудь занимательная повесть о славных делах старины, – читалась до тех пор, пока Гаргантюа не принимался за вино. Потом, если была охота, чтение продолжалось, а не то так завязывался веселый общий разговор; при этом в первые месяцы речь шла о свойствах, особенностях, полезности и происхождении всего, что подавалось на стол: хлеба, вина, воды, соли, мяса, рыбы, плодов, трав, корнеплодов, а равно и о том, как из них приготовляются кушанья. Попутно Гаргантюа выучил в короткий срок соответствующие места из Плиния, Афиней, Диоскорида, Юлия Поллукса, Галена, Порфирия, Оппиана, Полибия, Гелиодора, Аристотеля, Элиана и других. Чтобы себя проверить, сотрапезники часто во время таких бесед клали перед собой на стол книги вышепоименованных авторов. И все это с такой силой врезалось в память Гаргантюа и запечатлевалось в ней, что не было в то время врача, который знал хотя бы половину того, что знал он.

Далее разговор возвращался к утреннему уроку, а потом, закусив вареньем из айвы, Гаргантюа чистил себе зубы стволем мастикового

дерева, ополаскивал руки и глаза холодной водой, после чего благодарил Бога в прекрасных песнопениях, прославлявших благоутробие его и милосердие. Затем приносились карты, но не для игры, а для всякого рода остроумных забав, основанных всецело на арифметике.

Благодаря этому Гаргантюа возымел особое пристрастие к числам, и каждый день после обеда и после ужина он с таким увлечением занимался арифметикой, с каким прежде играл в кости или же в карты. В конце концов он так хорошо усвоил ее теоретически и практически, что даже английский ученый Тунстал^[153], коему принадлежит обширный труд, посвященный арифметике, принужден был сознаться, что по сравнению с Гаргантюа он, право, смыслит в ней столько же, сколько в верхненемецком языке.

И не только в арифметике, – Гаргантюа оказывал успехи и в других математических науках, как-то: в геометрии, астрономии и музыке. В то время как их желудки усваивали и переваривали пищу, они чертили множество забавных геометрических фигур, а заодно изучали астрономические законы.

Потом они пели, разбившись на четыре или пять голосов, или же это было что-нибудь сольное, приятное для исполнения.

Что касается музыкальных инструментов, то Гаргантюа выучился играть на лютне, на спинете, на арфе, на флейте немецкой о девяти клапанах, на виоле и на тромбоне.

На подобные упражнения тратили около часа; за это время процесс пищеварения подходил к концу, и Гаргантюа шел облегчить желудок, а затем часа на три, если не больше, садился за главные свои занятия, то есть повторял утренний урок чтения, читал дальше и учился красиво и правильно писать буквы античные и новые римские.

По окончании занятий они выходили из дому вместе с конюшим Гимнастом, молодым туреньским дворянином, который давал Гаргантюа уроки верховой езды.

Сменив одежду, Гаргантюа садился на строевого коня, на тяжеловоза, на испанского или же на арабского скакуна, на быстроходную лошадь и то пускал коня во весь опор, то занимался вольтижировкой, заставлял коня перескакивать через канавы, брать барьеры или, круто поворачивая его то вправо, то влево, бегать по кругу.

При этом он ломал, – но только не копья (что может быть глупее такого хвастовства: «Я сломал десять копий на турнире или же в бою», – да это сумеет сделать любой плотник!), – нет, честь и слава тому, кто одним копьем сломит десятерых врагов. Гаргантюа же своим копьем, крепким, негнущимся, со стальным наконечником, ломал ворота, пробивал панцири, валил деревья, поддевал на лету кольца, подхватывал седло, кольчугу, латную рукавицу. Все это он проделывал в полном вооружении.

Насчет того, чтобы погарцевать и, сидя верхом, показать разные фокусы, то тут ему не было равных. Сам феррарский вольтижер по сравнению с ним просто-напросто обезьяна. Особенно ловко перескакивал он с коня на коня – в мгновение ока и не касаясь земли (такие лошади назывались дезультуарными), в любую сторону, держа в руке копье; при этом в стремя он не ступал и, не прибегая к поводьям, направлял коня, куда ему только хотелось, что в военном искусстве имеет значение немаловажное.

В иные дни он упражнялся с алебардой: размахивал ею с такой силой и так стремительно, круговым движением, ее опускал, что все его стали почитать за настоящего рыцаря, рыцаря-воина и рыцаря турнирного.

Кроме того, он владел пикой, эспадроном для обеих рук, длинной шпагой, испанской шпагой, кинжалом широким и кинжалом узким; бился в кольчуге и без кольчуги, со щитом обыкновенным, со щитом круглым, завертывая руку в плащ.

Охотился он, верхом на коне, на оленей, козуль, медведей, серн, кабанов, зайцев, куропаток, фазанов, дроф. Играл в большой мяч, подкидывая его ногой или же кулаком. Боролся, бегал, прыгал, но не с разбегу, не на одной ноге и не по-немецки, ибо Гимнаст находил, что эти виды прыжков бесполезны и не нужны на войне, – он перепрыгивал через канавы, перемахивал через изгороди, взбегал на шесть шагов вверх по стене и таким образом достигал окна, находившегося на высоте копья.

Плавал в глубоких местах на груди, на спине, на боку, двигая всеми членами или же одними ногами; с книгой в руке переплывал Сену, не замочив ни одной страницы, да еще, как Юлий Цезарь, держа в зубах плащ^[154]. С помощью одной руки, ценою огромных усилий взбирался на корабль, а оттуда снова вниз головой бросался в воду,

доставал дно, заплывал в расселины подводных скал, нырял в пучины и водовороты. Поворачивал судно, управлял им, вел его то быстро, то медленно, по течению, против течения, останавливал судно посреди шлюза, одной рукой вел корабль, а другой орудовал длинным веслом, ставил паруса, влезал по вантам на мачты, бегал по реям, устанавливал буссоль, поворачивал булинь против ветра, руль держал твердо.

Мгновенно выскочив из воды, взбегал на гору и потом так же легко сбегал, лазил по деревьям, как кошка, прыгал с одного на другое, как белка, ломал толстые сучья, как второй Милон. С помощью двух отточенных кинжалов и двух прочных шильев проворно, как крыса, взбирался на кровлю дома, а спускаясь, принимал такое положение, при котором падение не представляло для него опасности.

Метал дротик, железный брус, камень, копье, рогатину, алебарду; натягивал лук; один, без посторонней помощи, заводил осадный арбалет; прицеливался из пицали; ставил на лафет пушку; стрелял на стрельбище в картонную птицу, стрелял снизу вверх, сверху вниз, вперед, вбок и назад, как парфяне.

К высокой башне привязывался канат, спускавшийся до самой земли, и Гаргантюа взбирался по этому канату на руках, а затем спускался с такой быстротою и ловкостью, что вам так не проползти и по ровному лугу.

Между двумя деревьями клали толстую перекладину, и он, держась за нее руками, передвигался взад и вперед, – ноги на весу, – да так быстро, что его и бегом невозможно было догнать.

Чтобы развить грудную клетку и легкие, он кричал, как сто чертей. Однажды я сам был свидетелем, как он, находясь у ворот св. Виктора, звал Эвдемона, и голос его был слышен на Монмартре. Даже голос Стентора^[155] во время битвы под Троей не достигал такой мощи.

Для того чтобы Гаргантюа укрепил себе сухожилия, ему отлили из свинца две громадные болванки в восемь тысяч семьсот квинталов весом каждая, – он их называл гирями; он поднимал их с полу и неподвижно держал над головою, по одной в каждой руке, три четверти часа, а то и больше, что обличало в нем силу непомерную.

В брусья он играл с первыми силачами; когда наступал его черед, он держался на ногах необычайно твердо и, как некогда Милон, уступал только наиболее отважным, кому удавалось сдвинуть его с

места. В подражание тому же Милону он брал в руку гранат и вызывал желающих отнять у него этот плод.

После подобных занятий его растирали, чистили, меняли на нем одежду, и он не спеша возвращался домой; если же он шел по лугу или по какому-либо обильному травую месту, то рассматривал деревья и растения и сравнивал их с тем, что о них писали древние ученые, как, например, Теофраст, Диоскорид, Марин, Плиний, Никандр, Макр и Гален, и когда он и его спутники приходили домой, то руки у них были полны трав, поступавших затем в распоряжение юного пажа по имени Ризотом, ведавшего также полостью тляками, мотыгами, заступами, лопатами, ножами и другими инструментами, необходимыми для правильной гербаризации.

Придя домой, они, пока готовился ужин, повторяли некоторые места из прочитанного, а затем садились за стол.

Надобно заметить, что за обедом, неизменно простым и скромным, Гаргантюа ел, только чтобы заморить червячка, зато ужин бывал обилен и продолжителен, и уж тут он принимал пищу в таком количестве, которое было ему необходимо, дабы подкрепить силы и насытиться, а в этом-то и состоит правильный режим питания, предписываемый истинной и разумной медициной, меж тем как орава тупоголовых докторишек, у коих от софистической выучки мозги стали набекрень, советует нечто прямо противоположное.

За ужином возобновлялся обеденный урок, и длился он, пока не надоедало; остальное время посвящалось ученой беседе, приятной и полезной.

Прочтя благодарственную молитву, пели, играли на музыкальных инструментах, принимали участие во всякого рода забавах, вроде карт или же костей, так что иной раз обильная трапеза и увеселения длились до тех пор, когда уже надо было идти спать, а иной раз Гаргантюа и его приближенные посещали общество ученых или путешественников, коим довелось побывать в чужих странах.

Темной ночью, перед сном, выходили на самое открытое место во всем доме, смотрели на небо, наблюдали кометы, если таковые были, или положение, расположение, противостояние и совпадение светил.

Затем Гаргантюа в кратких словах рассказывал по способу пифагорейцев наставнику все, что он прочитал, увидел, узнал, сделал и услышал за нынешний день.

Засим молились Господу Творцу, выражали Ему свою любовь, укреплялись в вере, славили Его бесконечную благость и, возблагодарив Его за минувшее, предавали себя Его милосердию на будущее.

После этого ложились спать.

Глава XXIV

О том, как Гаргантюа проводил время в дождливую погоду

Если выпадали дождливые и ненастные дни, то все время до обеда проводили как обыкновенно, с тою, однако же, разницей, что, дабы перебороть непогоду, разводили веселый и яркий огонь. Но после обеда гимнастика отменялась, все оставались дома и в апотерапевтических целях убирали сено, кололи и пилили дрова, молотили хлеб в риге; потом занимались живописью и скульптурой или же возрождали старинную игру в кости, руководствуясь тем, как ее описал Леоник^[156] и как играет в нее добрый наш друг Ласкарис^[157]. Во время игры вызывали в памяти те места из древних авторов, где есть о ней упоминание или же связанное с нею уподобление.

А то ходили смотреть, как плавят металлы, как отливают артиллерийские орудия, ходили к гранильщикам, ювелирам, шлифовальщикам драгоценных камней, к алхимикам и монетчикам, в ковровые, ткацкие и шелкопрядильные мастерские, к часовщикам, зеркальщикам, печатникам, органщикам, красильщикам и разным другим мастерам и, всем давая на выпивку, получали возможность изучить ремесла и ознакомиться со всякого рода изобретениями в этой области.

Ходили на публичные лекции, на торжественные акты, на состязания в искусстве риторики, ходили слушать речи, ходили слушать знаменитых адвокатов и проповедников.

Посещали залы и помещения для фехтования, и там Гаргантюа состязался с мастерами и доказывал им на деле, что он владеет любым родом оружия несколько не хуже, а, пожалуй, даже и лучше, чем они.

Вместо того чтобы составлять гербарий, они посещали лавки москательщиков, продавцов трав, аптекарей, внимательнейшим образом рассматривали плоды, корни, листья, смолу, семена, чужеземные мази и тут же изучали способы их подделки.

Ходили смотреть акробатов, жонглеров, фокусников, причем Гаргантюа следил за их движениями, уловками, прыжками и прислушивался к их краснобайству, особое внимание уделяя шонийцам пикардийским, ибо то были прирожденные балагуры и великие мастера по части втирания очков.

Вернувшись домой, они ели за ужином меньше, чем в другие дни, и выбирали пищу сухую и не жирную, дабы тем самым обезвредить влияние сырого воздуха, коим дышит тело, и дабы на их здоровье не сказались отсутствие обычных упражнений.

Так воспитывался Гаргантюа, с каждым днем оказывая все большие успехи и, понятное дело, извлекая из постоянных упражнений всю ту пользу, какую может извлечь юноша, в меру своего возраста сметливый; упражнения же эти хоть и показались ему на первых порах трудными, однако с течением времени сделались такими приятными, легкими и желанными, что скорее походили на развлечения короля, нежели на занятия школьника.

Со всем тем Понократ, чтобы дать Гаргантюа отдохнуть от сильного умственного напряжения, раз в месяц выбирал ясный и погожий день, и они с утра отправлялись за город: в Шантильи, в Булонь, в Монруж, в Пон-Шарантон, в Ванв или же в Сен-Клу. Там они проводили целый день, веселясь напропалую: шутили, дурачились, в питье друг от дружки не отставали, играли, пели, танцевали, валялись на зеленой травке, разоряли птичьи гнезда, ловили лягушек, раков, перепелов.

И хотя этот день проходил без чтения книг, но и он проходил не без пользы, ибо на зеленом лугу они читали на память какие-нибудь занятные стихи из *Георгик* Вергилия, из Гесиода, из *Рустика*^[158] Полициано, писали на латинском языке шуточные эпиграммы, а затем переводили их на французский язык в форме рондо или же баллады.

Во время пиршества они, следуя указаниям Катона в *De re rust.*^[159] и Плиния, с помощью трубочки, сделанной из плюща, выцеживали из разбавленного вина воду, промывали вино в чане с водой, а затем пропускали его через воронку, перегоняли воду из одного сосуда в другой или же изобретали маленькие автоматические приспособления, то есть такие, которые двигаются сами собой.

Глава XXV

О том, как между лернейскими пекарями и подданными Гаргантюа возгорелся великий спор, положивший начало кровопролитным войнам

В эту пору, а именно в начале осени, когда на родине Гаргантюа идет сбор винограда, местные пастухи сторожили виноградники и смотрели, чтобы скворцы не клевали ягод.

В это самое время по большой дороге не то на десяти, не то на двенадцати подводах лернейские пекари везли в город лепешки.

Помянутые пастухи вежливо попросили пекарей продать им по рыночной цене лепешек. А ведь надобно вам знать, что для людей, страдающих запором, виноград со свежими лепешками – это воистину пища богов, особливо «пино», «фьер», «мюскадо», «бикан» или же «фуарар»; от этого кушанья их так несет, что они иной раз не успевают донести до отхожего места, – вот почему их зовут недоносками.

Просьбу пастухов пекари не соизволили удовлетворить, – более того, они начали изрыгать на них самую зазорную брань: обозвали их беззубыми поганцами, рыжими-красными – людьми опасными, ёрниками, за...рями, прощельгами, пролазами, лежебоками, сластенами, пентюхами, бахвалами, негодяями, дубинами, выжигами, побирушками, задирами, франтами – коровьи ножки, шутами гороховыми, байбаками, ублюдками, балбесами, оболдуями, обормотами, пересмешниками, спесивцами, голодранцами, с...ными пастухами, г...ными сторожами, присовокупив к этому и другие оскорбительные названия и прибавив, что они, мол, хороши с отрубями да с мякиной, а такие вкусные лепешки не про них писаны.

В ответ на подобные оскорбления один из пастухов, по имени Фрожье, юноша именитый и достойный, кротко заметил:

– С чего это вы стали так нос задирать? Скажите пожалуйста! Бывало, раньше сколько угодно продавали, а нынче не желаете? Это не по-добрсоседски, мы с вами так не поступаем, когда вы приезжаете покупать нашу отборную пшеницу, из которой вы печете пирожки и лепешки. А мы еще хотели дать вам за них винограду в придачу! Нет, клянусь раками, вы потом пожалеете. Не зарекайтесь, вам еще

придется с нами дело иметь, а мы вот так же с вами обойдемся, – тогда вы меня вспомните.

На это Марке^[160], великий жезлоносец братства пекарей, ему сказал:

– Что это ты нынче уж больно распетушился? Видно, проса на ночь наелся. А ну, поди сюда, я тебе дам лепешку!

Тут Фрожье, ничего не подозревая, приблизился к нему и достал из-за пояса монету, ибо он был уверен, что Марке продаст ему лепешек; однако вместо лепешек он получил кнутом по ногам, да так, что на них тотчас же выступили рубцы. Засим Марке попытался улепетнуть, но в эту минуту Фрожье, истошным голосом завопив: «Караул!» – запустил в него здоровенной дубиной, которая была у него под мышкой, и угодил прямо в шов лобной кости, над правой височной артерией, так что Марке замертво свалился с кобылы.

Тем временем сбежались хуторяне, сбивавшие поблизости длинными шестами орехи, и начали молотить пекарей, как недоспелую рожь. Заслышав крики Фрожье, налетели со своими пращами другие пастухи и пастушки и принялись осыпать пекарей градом камней. В конце концов они догнали пекарей и отняли у них штук шестьдесят лепешек, заплатив им, однако ж, по обычной цене и надавав им в придачу орехов и три корзины белого винограду. Пекари помогли тяжело раненному Марке сесть верхом, а затем двинулись, но уже не в Парелье, а обратно в Лерне, и тут с языка у них сорвались мрачные и недвусмысленные угрозы сейийским и синейским хуторянам и пастухам.

А пастухи и пастушки досыта наелись лепешек и отменного винограду, потом заиграла приятная для слуха волынка, и они начали веселиться, со смехом вспоминая заносчивых пекарей, которым так не повезло, очевидно, потому, что они нынче не с той ноги встали, а что касается Фрожье, то ему с крайним тщанием промыли раны на ногах соком простого винограда, и он тут же выздоровел.

Глава XXVI

О том, как жители Лерне под предводительством короля Пикрохола^[161] без объявления войны напали на пастухов Гаргантюа

Пекари, как скоро возвратились в Лерне, так прямо, не пивши, не евши, отправились в Капитолий^[162], принесли жалобу своему королю Пикрохолу Третьему, показали ему сломанные корзины, измятые шляпы, разорванные плащи, раздавленные лепешки, а главное, тяжелораненого Марке, и объявили, что это дело рук пастухов и хуторян Грангузье, которые-де учинили побоище на большой дороге, за Сейи.

Все это привело короля в совершенное неистовство, и, даже не потрудившись доискаться причины, он велел кликнуть по всей стране клич, чтобы в полдень все под страхом смертной казни через повешение явились в полном вооружении на главную площадь, что возле королевского замка. В подтверждение сего приказа он велел бить в барабаны по всем улицам города, а сам в это время, пока ему готовили обед, пошел распорядиться, чтобы все орудия были поставлены на лафеты, чтобы знамя его и орифламма были развернуты и чтобы всего было запасено вдоволь: как военного снаряжения, так и провианта.

За обедом король подписал назначения. Согласно его указу сеньор Плюгав должен был принять командование авангардом, насчитывавшим шестнадцать тысяч четырнадцать пицальников и тридцать пять тысяч одиннадцать добровольцев. Обер-шталмейстеру Фанфарону было поручено командовать артиллерией, располагавшей девятьюстами четырнадцатью тяжелых медных орудий, пушек, двойных пушек, василисков, серпантин, кулеврин, бомбард, фальконетов, пасволанов, спиролей и других орудий. Арьергард был отдан под начало герцогу Грабежи. Над главными силами приняли командование сам король и принцы королевской крови.

Когда же войско было более или менее приведено в боевой порядок, то, прежде чем выступить в поход, решено было выслать отряд легкой кавалерии численностью в триста всадников под командой военачальника Жру, с целью обследовать местность и удостовериться, нет ли где-нибудь засады. Однако ж тщательная разведка показала, что кругом царят тишина и спокойствие, и никаких воинских частей она не обнаружила.

Получив таковые сведения, Пикрохол приказал всем сей же час становиться под знамена.

И тут сразу все смешалось: Пикрохолово воинство в беспорядке и впопыхах устремилось вперед, все на своем пути ломая и круша и не щадя ни бедного, ни богатого, ни храмов, ни жилищ. Угоняли быков, коров, волов, бычков, телок, овец, баранов, козлов и коз, кур, каплунов, цыплят, гусят, гусаков, гусынь, хряков, свиней, подсвинков, сбивали орехи, обрывали виноград, уносили с собой целые лозы, отрясали плодовые деревья. Бог знает что они творили, и никто не оказывал им ни малейшего сопротивления; все сдавались на милость победителей и молили только о том, чтобы победители обходились с ними по-человечески, приняв в соображение, что подданные Грангузье исстари были для них добрыми и дружественными соседями и никогда не чинили им ни обид, ни оскорблений, те же, мол, здорово живешь, так их утесняют, а ведь Бог-то за такие дела наказывает неукоснительно. В ответ на эти предостережения враги твердили одно: они, мол, хотят научить их, как нужно есть лепешки.

Глава XXVII

О том, как некий монах из Сейи спас от неприятеля монастырский фруктовый сад

Так, буйствуя и бесчинствуя, промышляя разбоем и грабежом, дошли они наконец до Сейи и принялись обирать до нитки мужчин и женщин и хватать все, что попадалось под руку: ничем они не брезгали и ничем не гнушались. Почти во всех домах свирепствовала чума, однако ж они врывались всюду, все решительно отбирали, и при этом никто из них не заразился, а это случай исключительный, ибо священники, викарии, проповедники, лекари, хирурги и аптекари, навещавшие, лечившие, пользовавшие, исповедовавшие и увещевавшие больных, все до одного заразились и умерли, а к этим чертовым грабителям и убийцам никакая зараза не приставала. Что это за притча, господа? Право, тут есть над чем призадуматься.

Разграбив селение, они с шумом и грохотом двинулись к аббатству, однако же аббатство оказалось на запоре: по сему обстоятельству главные силы двинулись дальше, к Ведскому броду, а семь отрядов пехоты и две сотни копейщиков остались для того, чтобы, сломав садовую ограду, произвести полное опустошение на виноградниках.

Бедняги монахи не знали, какому святому молиться. На всякий случай они стали звонить *ad capitulum capitulantes*^[163]. На этом совете было решено устроить торжественную процессию, а также молебствие с чтением особых молитв *contra hostium insidias*^[164] и с прекрасными песнопениями *pro pace*.^[165]

В то время в аббатстве находился монах по прозвищу брат Жан Зубодробитель, человек молодой, прыткий, щеголеватый, жизнерадостный, разбитной, храбрый, отважный, решительный, высокий, худощавый, горластый, носатый, мастак отбарабанить часы, отжарить мессу и отвалить вечерню, – одним словом, самый настоящий монах из всех, какими монашество когда-либо монашественнейше омонашивалось. Помимо всего прочего, по части служебника он собаку съел.

Вот этот-то самый монах, услышав шум, производимый неприятелем на виноградниках, вышел узнать, в чем дело; когда же он обнаружил, что враги обрывают виноград и что, таким образом, монастырь лишится годового запаса вина, то побежал на клирос, где в это время монахи с видом литейщиков, у которых от колокола остались одни черепки, тянули:

– *I-im-re-e-e-e-e-tu-um i-ini-i-imi-co-o-o-o-o-o-ru-um...*^[166]

– Славные вы певуны-п...уны, накажи меня Бог! – молвил он. – Только не лучше ли вам спеть:

Прощай, корзины, кончен сбор?

Пусть меня черт возьмет, если они уже не в нашем саду, и так они здорово режут лозы вместе с кистями, что – вот как Бог свят! – нам еще несколько лет придется одни хвостики подбирать. Ах ты, Господи, что же мы теперь, горемычные, пить-то будем? Боже милостивый, *da mihi potum!*^[167]

Тут заговорил настоятель:

– Что здесь нужно этому пьянчуге? Отведите его в темницу! Как он смеет мешать нам воспевать Богу?

– Не должно мешать ни воспеванию, ни воспиванию, – возразил монах. – Ведь вы сами, отец настоятель, любите хорошее вино, как и всякий порядочный человек. Ни один благородный человек не станет

хулить вино, – такая у нас, у монахов, существует апофтегма^[168]. А эти ваши песнопения, ей-богу, сейчас не ко времени! Почему же тогда в пору жатвы и сбора винограда у нас читаются краткие часы, а в течение всей зимы – длинные? Блаженной памяти покойный брат наш Маса Пелос, истинный ревнитель благочестия (пусть меня черт унесет, если я вру!), объяснял мне это, сколько я помню, так: летом и осенью мы-де отжимаем виноград и делаем вино, зимой же мы его потребляем. Слушайте меня, все любители хмельного: с нами Бог, за мной! Пусть меня спалит антонов огонь, если я хоть разок дозволю хлебнуть тем из вас, которые не помогут мне отбить виноградник! Мать честная, да ведь это же церковное достояние! Но только вот что: святой Фома Английский^[169] решился умереть за церковное достояние. Дьявольщина! Стало быть, если и я за него умру, меня тоже причислят к лику святых? Нет уж, я умирать не стану, пусть лучше по моей милости будут помирать другие.

С этими словами он скинул рясу и схватил перекладину от ясеневоего креста: перекладина была длинная, как копьё, и толстая, как здоровенный кулак; в некоторых местах на ней были нарисованы лилии, ныне почти уже стершиеся. Итак, сделав из своей рясы перевязь, он вышел в одном подряснике и, взмахнув перекладину от креста, внезапно ринулся на врагов, а враги между тем, нарушив боевой порядок, без знамен, без трубача и барабанщика обирали в саду виноград, ибо знаменщики прислонили знамена и стяги к стене, барабанщики продырявили с одного боку барабаны, чтобы было куда сыпать виноград, в трубы тоже понапихали гроздий, – словом, все разбрелись кто куда, и вот брат Жан, не говоря худого слова, обрушился на них со страшною силой и, по старинке колотя их по чему ни попало, стал расшвыривать, как котят. Одних он дубасил по черепу, другим ломал руки и ноги, третьим сворачивал шейные позвонки, четвертым отшибал поясницу, кому разбивал нос, кому ставил фонари под глазами, кому заезжал по скуле, кому пересчитывал зубы, кому выворачивал лопатки, иным сокрушал голени, иным вывихивал бедра, иным расплющивал локтевые кости.

Кто пытался укрыться среди густолиственных лоз, тому он, как собаке, перебивал спинной хребет и переламывал крестец.

Кто пытался спастись бегством, тому он ударом по ламбдовидному шву раскалывал на куски черепную коробку.

Кто лез на дерево, полагая, что там безопаснее, тому он загонял перекладину в прямую кишку.

Если кто-нибудь из его старых знакомцев кричал: «Эй, брат Жан, брат Жан, друг мой милый, я сдаюсь!» – то он говорил: «Да у тебя другого выхода нет. Сдавай заодно и свою душу чертовой матери!» И тут же его ухлопывал.

Смельчаку, который решался с ним переведаться, он охотно показывал силу мышц своих, а именно пробивал ему средогрудную перегородку и сердце. Кого ему не удавалось поддеть под ребро, тому он выворачивал желудок, и смерть наступала мгновенно. Иных он со всего размаху бил по пупку, и у них вываливались кишки. Иным протыкал мошонку и задний проход. Свет еще не видел столь ужасного зрелища, можете мне поверить!

Одни взывали: «Святая Варвара^[170]!»

Другие: «Святой Георгий!»

Третьи: «Святая Недотрога!»

Четвертые: «Кюноская Божья Мать! Лоретская! Благовестница! Ленуйская! Ривьерская!»

Одни поручали себя св. Иакову.

Другие прибегали под покров шамберийской плащаницы, которая, кстати сказать, три месяца спустя сгорела дотла, так что от нее ровно ничего не осталось.

Третьи – под покров плащаницы кадуинской.^[171]

Четвертые поручали себя Иоанну Предтече Анжелийскому.

Пятые – св. Евтропию Сентскому, св. Месму Шинонскому, св. Мартину Кандскому, св. Клавдию Синейскому, жаварзейским святыням и разным другим святым, помельче.

Одни умирали, ничего не говоря, другие говорили, но не умирали. Одни умирали говоря, другие, умирая, говорили.

Иные громко кричали: «Исповедника! Исповедника! *Confiteor! Miserere! In manus!*»^[172]

Услышав громкие стоны поверженных, настоятель со всею братией направился в сад; когда же они увидели этих несчастных, смертельно раненных, распростертых среди виноградных лоз, то поспешили некоторых из них исповедать. А пока иеромонахи возились с исповедью, молодые послушники побежали к брату Жану спросить, не могут ли они чем-либо ему помочь. Он же на это ответил, что

нужно дорезать тех, кто валяется на земле. Тогда послушники, развесив долгополые свои подрясники на изгороди, принялись дорезывать и приканчивать тех, кого он уходил насмерть. И знаете, каким оружием? Просто-напросто резачками, маленькими ножичками, которыми дети в наших краях шелушат зеленые орехи.

Затем брат Жан стал со своею перекладиною у стены, возле самого того места, где она была проломлена неприятелем. Кое-кто из послушников уже успел растащить по своим кельям знамена и стяги себе на подвязки. Когда же те, кто исповедался, попытались юркнуть в пролом, брат Жан стал их приканчивать одного за другим, да еще приговаривал:

– Кто исповедался, покался и получил отпущение грехов, те – прямым путем в рай, прямым, как серп, как спина у горбуна!

Так благодаря его отваге были перебиты враги, проникшие в монастырский сад, перебиты все до одного, а их тут было тринадцать тысяч шестьсот двадцать два человека, не считая, как водится, женщин и детей.

Даже отшельник Можис, о котором говорится в *Деяниях четырех сыновей Эмона*, и тот, пойдя со своим посохом на сарацин, не выказал такой доблести, как наш монах, с перекладиною от креста вышедший на врагов.

Глава XXVIII

О том, как Пикрохол взял приступом Ларош-Клермо, а равно и о том, как тяжело и прискорбно было Грангузье начинать войну

Как уже было сказано, монах продолжал справляться с теми, кто ворвался в монастырский сад; Пикрохол между тем, с великою поспешностью пройдя со своими войсками Ведский брод, вступил в Ларош-Клермо, и там ему не оказали никакого сопротивления, а так как дело было ночью, то он порешил расположиться здесь со своими войсками на ночлег, дабы зуд его гнева на время утих.

Поутру Пикрохол взял приступом городской вал и замок, а затем отлично укрепил этот замок и снабдил его боевыми припасами, ибо он полагал, что в случае, если на него нападут, лучше всего ему

отсидеться именно здесь, так как благодаря своему расположению и местоположению замок обладал не только искусственными, но и естественными укреплениями.

И тут мы его и оставим и обратимся к доброму нашему Гаргантюа, который усердно изучает полезные науки, чередуя занятия с атлетическими упражнениями, и к его отцу, доброму старику Грангузье, а старик между тем только сейчас поужинал и греется у весело и ярко пылающего огня, чертит на стенках очага обгоревшим концом палки, коей размещивают угли, и, пока жарятся каштаны, рассказывает жене и всем домочадцам про доброе старое время.

В эту самую пору к нему прибежал один из пастухов, стороживших виноградники, по имени Пило, и подробно рассказал о том, что в его землях и владениях бесчинствует и разбойничает король Лернейский Пикрохол и что он разграбил, разорил, опустошил всю страну, за исключением Сейийского сада, который брат Жан Зубодробитель сумел отстоять только благодаря своей храбрости; ныне же упомянутый король обретается-де в Ларош-Клермо и вместе со своими воинами тщится елико возможно укрепить его.

– Увы! увy! – воскликнул Грангузье. – Что же это такое, добрые люди? Сон это или явь? Пикрохол, мой старый и неизменный друг, связанный со мною узами родства и свойства, напал на меня! Кто подвигнул его на это? Кто его подстрекнул? Кто его подбил? Кто ему подал такой совет? Ох, ох, ох, ох, ох! Боже, Спаситель мой, помоги мне, просвети меня, научи! Клятвенно уверяю Тебя, под страхом лишиться Твоего заступления, что никогда я никаких огорчений ему не доставлял, подданным его не досаждал, земель его не грабил. Напротив того, я никогда не отказывал ему ни в войске, ни в деньгах, ни в поддержке, ни в совете; во всех случаях жизни я старался быть ему полезен. Нет, верно, лукавый его попутал, коли мог он так меня избидеть. Господи Боже мой, Ты знаешь мои помыслы, зане от Тебя ничто не утаится! В случае если он повредился в уме и Ты назначил мне в удел образумить его, то подай мне сил и уменья мирным путем вновь привести его под начало святой Твоей воли. Ох, ох, ох! Добрые люди, друзья мои и верные слуги! Ужели я вынужден буду докучать вам просьбами о помощи? Увы мне! На старости лет я только покоя и жаждал, всю жизнь я только к миру и стремился. Но, видно, придется и мне облечь панцирем мои несчастные плечи, слабые и усталые, и

взять в дрожащие руки булаву и копье, дабы защитить и оградить несчастных моих подданных. Так мне подсказывает здравый смысл, ибо их трудом я живу, их потом кормлюсь я сам, мои дети и вся моя семья. И все же я не пойду на Пикрохола войной до тех пор, пока не испробую всех мирных способов и средств. Таково мое решение.

Затем он созвал совет, рассказал, как обстоит дело, и решено было на этом совете послать к Пикрохолу какого-нибудь толкового человека, чтобы тот дознался, с чего это он вдруг распалился гневом и вторгся в земли, на которые у него нет решительно никаких прав; кроме того, было решено послать за Гаргантюа и его приближенными, дабы они выступили на защиту своего отечества и отвели от него беду. Грангузье со всем согласился и отдал надлежащие распоряжения. В частности, он тут же велел своему лакею-баску^[173] как можно скорее ехать к Гаргантюа и написал сыну следующее послание.

Глава XXIX

О чем Грангузье писал к Гаргантюа

«Ты столь прилежно учишься^[174], что я долго еще не выводил бы тебя из состояния философического покоя, но вот горе: бывшие мои друзья и союзники не пожалели моей старости и обманули мое доверие. А уж если таково предопределение судьбы, что мне изменили именно те, в ком я особенно был уверен, то и нет у меня иного выхода, как призвать тебя на защиту подданных твоих и по естественному праву принадлежащего тебе достояния. Ибо подобно тому как любое оружие, находящееся вне дома, бессильно, коли и в самом доме некому подать совет, так же точно бесплодно учение и бесполезны советы, ежели они не будут вовремя претворены в жизнь и благой цели своей не достигнут.

Я же не разжигать намерен, но умиротворять, не нападать, но обороняться, не завоевывать, но защищать моих верных подданных и наследственные мои владения от Пикрохола, который ныне, без всякого повода и основания ко мне вторгшись, пошел на меня войной и, неуклонно

продолжая злое свое дело, чинит вольным людям обиды нестерпимые.

Я почитаю своим долгом утишить гнев сего тирана, удовольствовав его как могу, и уже не один раз я с дружественными намерениями посылал к нему моих людей, дабы узнать, кто, чем и как его оскорбил, он же отвечает мне тем, что упорно отвергает мирные мои предложения и, кроме собственных своих выгод, знать ничего не хочет. Отсюда следствие, что Вечный Судия оставил ему как единственное кормило собственный его рассудок и волю, – воля же его не может не быть злой, коль скоро он всечасно не руководим божественною благодатью, – и, дабы вернуть ему сознание долга и дабы пробудить в нем совесть, наслал его на меня.

По сему обстоятельству, возлюбленный сын мой, прочитав мое письмо, ты как можно скорее возвращайся и поспеши на помощь не мне (хотя и мне ты должен был бы помочь из естественного чувства сострадания), но твоим подданным, коих ты обязан оградить и спасти. Подвиг сей тебе надлежит свершить ценою возможно меньшего кровопролития, и, таким образом, благодаря наиболее разумным средствам, мерам предосторожности и военным хитростям мы, быть может, сумеем спасти всех наших подданных, и, возвеселившись духом, они возвратятся в свои жилища.

Да будет с тобою, дражайший сын мой, благословение Господа нашего Иисуса Христа.

Поклонись от меня Понократу, Гимнасту и Эвдемону.

Твой отец

Грангузье».

20 сентября.

Глава XXX

О том, как к Пикрохолу был послан Ульрих Галле

Продиктовав и подписав письма, Грангузье приказал правителю своей канцелярии Ульриху Галле^[175], человеку неглупому и здравомыслящему, выказавшему свои способности и тонкость

суждений при разборе многих запутанных дел, ехать к Пикрохолу и изложить ему все, о чем говорилось на совете.

Добрый Галле тот же час отбыл и, миновав брод, спросил мельника, где обретается Пикрохол; мельник на это ответил, что враги дочиста его обобрали, а что потом они засели в Ларош-Клермо и что он, мельник, не советует ему следовать далее, а то как бы не наткнуться на дозор, свирепость же врагов безгранична. Ульрих Галле легко этому поверил и заночевал у мельника.

Наутро он был уже у ворот замка и, трубным звуком возвестив о своем прибытии, потребовал, чтобы часовые пропустили его к королю, в интересах коего, дескать, выслушать его речь.

Королю о нем доложили, но король велел ни под каким видом его не пускать, – он вышел сам на крепостной вал и, обратясь к послу, молвил:

– Ну, что там еще? Что ты хочешь сказать?

Тогда посол произнес нижеследующую речь.

Глава XXXI

Речь Галле, обращенная к Пикрохолу

– Из всех поводов к огорчению наиболее важным следует признать тот, когда человеку, который по праву рассчитывал на милость и благорасположение, чинят ущерб и досаду. И не без основания (хотя его и нельзя считать достаточно разумным) многие при таких обстоятельствах, рассудив, что лучше умереть, нежели терпеть подобную низость, и уверившись, что здесь ни силой, ни какими-либо ухищрениями ничего поделать нельзя, добровольно накладывали на себя руки.

Неудивительно поэтому, что твое вторжение, свидетельствующее о том, что ты преисполнен к моему повелителю, королю Грангузье, вражды и злобы, отягчило его печалью и в крайнее привело замешательство. Удивительно было бы, если б его не взволновали чудовищные беззакония, чинимые тобою и твоими людьми в его владениях над его подданными, беззакония, неслыханные по своей бесчеловечности, которые он принимает особенно близко к сердцу потому, что подданных своих он любит такую нежною любовью, какой ни один смертный от века еще не любил. Однако ж, говоря по чистой

совести, еще тяжелее ему сознавать, что все эти злодеяния и утеснения чинятся именно тобою и твоими людьми, ибо и ты и твои деды и прадеды испокон веков водили дружбу с ним самим и с предками его, и дружбу эту, до сего времени нерушимую, вы поддерживали, хранили и берегли, как святыню, так что не только он и его подданные, но и народы чужеземные, как, например, пуатевинцы, бретонцы, мансонцы, а равно и живущие за Канарскими островами и городом Изабеллою^[176], полагали, что легче обрушить небосвод, а преисподнюю вознести до самых хлябей небесных, нежели расторгнуть союз ваш, столь грозный для всех их враждебных замыслов, что никто не решался озлобить кого-нибудь одного из вас, бросить ему вызов или же нанести урон из страха навлечь на себя гнев другого.

Более того. Слухом об этой священной дружбе полнится вся поднебесная, вследствие чего среди народов, ныне населяющих материк и острова океана, немного найдется таких, которые не почли бы за честь вступить в ваш союз на условиях, вами самими указанных, и которые бы не уважали неприкосновенность ваших объединенных держав в той же мере, как неприкосновенность собственных земель и владений; коротко говоря, никто не запомнит государя или же союз государей, который в свирепости своей и заносчивости осмелился бы посягнуть – я уж не говорю: на ваши земли, но хотя бы на земли союзников ваших, а если, послушавшись необдуманного совета, кто-нибудь и вознамеривался совершить нападение, то при одном имени и названии вашего союза тотчас же от своего замысла отказывался.

Что же ныне привело тебя в такое неистовство и заставило, расторгнув союз, поправ дружбу, преступив права, с враждебными намерениями вторгнуться в его владения, несмотря на то что ни он сам, ни его подданные ничем перед тобой не провинились, ничем тебе не досадили и гнева твоего не навлекли? Где же верность? Где закон? Где разум? Где человечность? Где страх Господень? Уж не надеялся ли ты скрыть свои злодеяния от горних духов и от Всевышнего, который воздаст всякому по делам его? Если ты таковые надежды питаешь, то ты заблуждаешься, ибо от Его суда ничто не утаится. Быть может, таково предопределение судьбы или же таково влияние небесных светил, позавидовавших благополучию твоему и покою? То правда, всему на свете положен конец и предел, и когда что-либо достигает

наивысшей точки, сейчас же и низвергается, ибо долго продержаться в этом положении не может. Таков конец всех, кто, благоденствуя и преуспевая, забывает о благоразумной умеренности.

Но если даже это и было предустановлено и счастьем твоим и покою пришел конец, то неужели же это должно было обнаружиться в том, чтобы ты причинил зло моему королю, а ведь он-то и возвел тебя на престол? Если дому твоему суждено рухнуть, то неужели же необходимо, чтобы, рушась, он упал на очаг того, кто дом твой украсил? Все это так явно выходит за пределы человеческого понимания и так противно здравому смыслу, что разум едва в состоянии это постигнуть, иноземцы же будут отказываться этому верить до тех пор, пока подтвержденные и засвидетельствованные последствия не убедят их, что нет ничего святого и священного для того, кто отошел от Бога и от разума и отдался на волю дурных страстей.

Если бы мы причинили какой-либо ущерб твоим подданным или же твоим владениям; если бы мы оказали покровительство твоим недругам; если бы мы не помогли тебе в твоих начинаниях; если бы мы затронули твою честь и доброе имя; вернее сказать, если бы лукавый, стараясь подбить тебя на злое дело и являя твоему взору всякие обманчивые подобия и призрачные видения, оклеветал нас и вселил в тебя подозрение, что мы совершили по отношению к тебе нечто недостойное нашей старинной дружбы, – то прежде всего тебе надлежало бы узнать всю правду, а потом объявить о своем неудовольствии нам, и мы постарались бы убоготворить тебя таким образом, что тебе нечего было бы больше желать. Но, Боже правый, как же ты поступил? Ужели ты и впрямь задумал, по примеру всех вероломных тиранов, разграбить и разорить королевство моего повелителя? Ужели ты почитал его за такого труса и глупца, ужели ты полагал, что он так беден людьми, деньгами, мудрыми советчиками и искусными военачальниками, что не захочет и не сможет дать отпор беззаконному твоему нашествию?

Сей же час уходи отсель, уходи навсегда, и чтобы завтра ты уже вступил в пределы своей державы, дорогою же никаких беспорядков не производи и насилий не чини, да уплати тысячу золотых безантов за убытки, которые мы через тебя понесли. Половину указанной суммы пришли нам завтра; половину – к ближайшим майским идам, а в

качестве заложников оставь нам на это время герцогов де Пустомель, де Карапуз и де Шваль, а также принца де Парша и виконта де Вши.

Глава XXXII

О том, как Грангузье для достижения мира велел вернуть лепешки

На этом кончил свою речь Галле, но Пикрохол на все его доводы ответил так:

– *Придите и возьмите, придите и возьмите!* Они у меня молодцы ребята. Они вам наделают лепешек.

Тогда Галле возвратился к Грангузье и увидел, что тот с непокрытой головой стоит на коленях в углу своей комнаты и молит Бога укротить гнев Пикрохола и образумить его, чтобы не нужно было применять насилие. Заметив вошедшего Галле, добряк Грангузье сказал:

– А, это ты, друг мой? Ну, что нового, что нового?

– Все вверх дном, – отвечал Галле. – У этого человека ум за разум зашел, сам Господь от него отступился.

– Так, друг мой, – сказал Грангузье, – но как же он объясняет свои бесчинства?

– Он и не дал мне никаких объяснений, – отвечал Галле, – он только проворчал что-то насчет лепешек. Кто их там знает, – чего доброго, его пекарям досталось от наших пастухов?

– Прежде чем вынести окончательное решение, я должен в этом разобраться, – объявил Грангузье.

Он тут же приказал расследовать это дело и установил, что его подданные отняли у пекарей некоторое количество лепешек и что Марке хватили дубиной по голове, но что расплатились они с пекарями по-честному и что упомянутый Марке первый хлестнул Фрожье кнутом по ногам. Грангузье созвал совет, и все в один голос объявили, что нужно грудью встать на врага. Тем не менее Грангузье сказал:

– Коли все дело в нескольких лепешках, я постараюсь удовлетворить Пикрохола, – уж очень мне не по душе начинать войну.

Затем он осведомился, сколько было взято лепешек, и, узнав, что всего штук шестьдесят, велел напечь их за ночь пять возов и на один из

них положить лепешки, приготовленные на лучшем масле, на самых свежих желтках, с наилучшим шафраном и другими пряностями, каковые лепешки предназначались им для Марке, а еще он жаловал Марке семьсот тысяч три филиппа^[177] на расплату с лечившими его цирюльниками и сверх того передавал в вечное и безвозмездное владение ему и его наследникам мызу Помардьеру. Отвезти и доставить дары было поручено Ульриху Галле, и по дороге, близ Соле, он велел нарвать как можно больше тростника и камыша, украсить стеблями повозки и каждому вознице дать в руки по стеблю; сам он тоже взял в руки стебель, – этим он желал показать, что они хотят мира и прибыли затем, чтобы его достигнуть.

Подъехав к воротам, они объявили, что их уполномочил Грангузье вести переговоры с Пикрохолом. Пикрохол не велел впускать их и не пожелал сам выйти к ним для переговоров, а велел сказать, что ему недосуг и что если им уж так нужно, пусть потолкуют с военачальником Фанфароном, который в это время устанавливал на крепостной стене орудие. Добрый Галле обратился к нему с такими словами:

– Сеньор! Дабы прекратить междоусобицу и устранить препону, мешающую вам вновь вступить с нами в союз, мы возвращаем вам лепешки, послужившие причиной раздоров. Наши взяли у вас шестьдесят штук, они дали вам за них хорошую цену, но мы из чистого миролюбия возвращаем вам целых пять возов, из коих один поступает в распоряжение Марке, как наиболее пострадавшего. Кроме того, для полного его удовлетворения я ему вручу семьсот тысяч три филиппа, а в возмещение убытков, коего он имеет право с нас требовать, я передам в вечное и безвозмездное владение ему и наследникам его мызу Помардьеру: дарственная – вот она. Итак, ради Создателя, давайте отныне жить в мире, идите себе бодрым шагом домой, верните нам эту крепость, притязать на которую у вас, как вы сами отлично знаете, нет ни малейшего основания, и будем-те снова друзьями!

Фанфарон передал все до последнего слова Пикрохолу и, еще пуще раззадоривая его, повел с ним такую речь:

– Нагнали мы на мужичье страху! Несчастный пьянчужка Грангузье поди в штаны наложил! Это ему не из бутылочки тянуть, тут надо показать военное искусство. Я так полагаю: лепешки и деньги мы

у них возьмем, а сами в кратчайший срок здесь укрепимся и будем продолжать успешно начатое дело. Что они, правда, за дурачка вас принимают? Надеются задобрить своими лепешками? А все оттого, что вы милостиво с ними обходились и держали себя запросто, вот они вас теперь ни во что и не ставят: посади свинью за стол – она и ноги на стол.

– Верно, верно! – сказал Пикрохол. – Ну да я им покажу, истинный Бог, покажу! Как ты сказал, так и поступай.

– Только вот насчет чего я должен вас предупредить, – заметил Фанфарон. – У нас здесь с припасами обстоит неважно, съестного маловато. Ежели Грангузье предпримет осаду, я все зубы себе повырву, оставлю штуки три, не больше, и пусть другие последуют моему примеру, а то мы враз всё подберем.

– Нет, – возразил Пикрохол, – еды у нас предостаточно. Зачем мы сюда пришли: нажираться или сражаться?

– Конечно, сражаться, – отвечал Фанфарон, – но только ведь на голодный желудок много не наговоришь прибауток, и где царствует голод, там сила в опале.

– Ну, довольно, довольно! – сказал Пикрохол. – Тащите все, что они привезли.

В ту же минуту у послов были отобраны деньги, лепешки, волы и повозки, а самих послов отослали обратно, не дав им никакого ответа, – им только сказали, чтобы они не подходили близко к крепости, а почему – это, мол, они завтра узнают. Так послы и вернулись, ничего не добившись, и, рассказав Грангузье обо всем, прибавили от себя, что склонить врагов к миру нет никакой надежды и что нужно немедленно объявлять войну не на жизнь, а на смерть.

Глава XXXIII

О том, как некоторые учителя Пикрохола своими необдуманнами советами толкнули его на чрезвычайно опасный путь

Как скоро лепешки были отобраны, к Пикрохолу явились герцог де Шваль, граф Буян, военачальник Молокосос и сказали ему:

– Ваше величество! Сегодня вы у нас будете самым счастливым, самым непобедимым государем после Александра Македонского.

– Наденьте шляпы, наденьте шляпы! – сказал Пикрохол.

– Весьма признательны, ваше величество, – сказали они, – мы знаем свое место. Вот наш совет: оставьте здесь небольшой отряд во главе с каким-нибудь военачальником, – этот гарнизон будет охранять крепость, которая, впрочем, представляется нам и так достаточно защищенной благодаря естественным укреплениям, а также благодаря крепостным стенам, возведенным по вашему почину. Армию свою разделите на две части как вам заблагорассудится. Одна часть обрушится на Грангузье с его войском. В первом же бою она без труда разобьет его наголову. Там вы сможете огрести кучу денег, – у этого мужлана денег уйма. У мужлана, говорим мы, ибо у благородного государя гроша за душой никогда не бывает. Копить – это мужицкое дело. Тем временем другая часть двинется на Они, Сентонж, Ангума и Гасконь, а также на Перигор, Медок и Ланды и, не встречая сопротивления, займет города, замки и крепости. В Байонне, в Сен-Жан-де-Люс и в Фуэнтеррабии вы захватите все суда и, держась берегов Галисии и Португалии, разграбите все побережье до самого Лиссабона, а там вы запасетесь всем, что необходимо завоевателю. Испанцы, черт их дери, сдадутся, – это известные ротозеи! Вы переплывете Сивиллин пролив^[178] и там на вечную о себе память воздвигнете два столпа, еще более величественных, чем Геркулесовы, и пролив этот будет впредь именоваться Пикрохоловым морем. А как пройдете Пикро-холово море, тут вам и Барбаросса^[179] покорится...

– Я его помилую, – сказал Пикрохол.

– Пожалуй, – согласились они, – но только он должен креститься. Вы не преминете захватить королевства Тунисское, Гиппское, Алжирское, Бону, Кирену, всю Барбарю. Далее вы приберете к рукам Майорку, Менорку, Сардинию, Корсику и другие острова морей Лигурийского и Балеарского. Держась левого берега, вы завладеете всей Нарбоннской Галлией, Провансом, землей аллоброгов, Генуей, Флоренцией, Луккой, а там уж и до Рима рукой подать. Бедный господин папа умрет от страха.

– Клянусь честью, я не стану целовать ему туфлю, – сказал Пикрохол.

– Завоевав Италию, вы предаете разграблению Неаполь, Калабрию, Апулию, Сицилию, а заодно и Мальту. Желал бы я видеть, как эти несчастные рыцаришки, бывшие родосцы^[180], станут с вами сражаться, посмотрел бы я, из какого они теста сделаны!

– Я бы с удовольствием проехал оттуда в Лорето^[181], – сказал Пикрохол.

– Нет, нет, – сказали они, – это на обратном пути. Мы лучше возьмем Крит, Кипр, Родос, Кикладские острова и ударим на Морею. Вот мы ее уже, слава Тебе, Господи, заняли. И тогда берегись, Иерусалим, ибо могуществу султана далеко до вашего!

– Я тогда вновь построю храм Соломона, – сказал Пикрохол.

– Нет, погодите немного, – возразили они. – Не будьте столь поспешны в своих решениях. Знаете, что говорил Октавиан Август? *Festina lente*^[182]. Вам предстоит сперва занять Малую Азию, Карию, Ликию, Памфилию, Киликию, Дидию, Фригию, Мизию, Вифинию, Сарды, Адалию, Самагерию, Кастамун, Лугу, Себасту – до самого Евфрата.

– А Вавилон и гору Синай мы увидим? – спросил Пикрохол.

– Пока не для чего, – отвечали они. – Мало вам разве переплыть Гирканское море и промчаться по двум Армениям и трем Аравиям?

– Честное слово, мы спятили! – воскликнул Пикрохол. – Горе нам, горе!

– Что такое? – спросили они.

– А что мы будем пить в этих пустынях? Говорят, Юлиан Август умер там от жажды со всем своим воинством.

– Мы все предусмотрели, – сказали они. – На Сирийском море у вас девять тысяч четырнадцать больших кораблей с грузом лучшего в мире вина. Все они приплывают в Яффу. Туда же согнано два миллиона двести тысяч верблюдов и тысяча шестьсот слонов, которых вы захватите на охоте в окрестностях Сиджильмассы, как скоро войдете в Ливию, а кроме того, все караваны, идущие в Мекку, будут ваши. Неужели они не снабдят вас вином в достаточном количестве?

– Пожалуй, – сказал Пикрохол, – но только у нас не будет холодного вина.

– Тьфу, пропасть! – вскричали они. – Герой, завоеватель, претендент и кандидат на мировое владычество не может постоянно

пользоваться всеми удобствами. Скажите спасибо, что вы и ваши солдаты целыми и невредимыми добрались до Тигра!

– А что делает в это время та наша армия, которая разбила этого поганого забулдыгу Грангузье?

– Она тоже не дремлет, – отвечали они, – сейчас мы ее догоним. Она завоевала для вас Бретань, Нормандию, Фландрию, Эно, Брабант, Артуа, Голландию и Зеландию. Она перешла Рейн по трупам швейцарцев и ландскнехтов, а часть ее покорила Люксембург, Лотарингию, Шампань и Савойю – вплоть до Лиона, и здесь она встретила с вашими легионами, возвращавшимися домой после побед на Средиземном море. Обе армии воссоединились в Богемии, опустошив предварительно Швабию, Вюртемберг, Баварию, Австрию, Моравию и Штирию. Затем они сообща нанесли сокрушительный удар Любеку, Норвегии, Швеции, Дании, Готланду, Гренландии, Исландии – до самого Ледовитого моря. Вслед за тем они заняли Оркадские острова и подчинили себе Шотландию, Англию и Ирландию. Далее, переплыв Песчаное море^[183] и пройдя Сарматия, они разгромили и покорили Пруссию, Польшу, Литву, Россию, Валахию, Трансильванию, Венгрию, Болгарию, Турцию и теперь находятся в Константинополе.

– Скорей и мы туда! – воскликнул Пикрохол. – Я хочу быть также императором Трапезундским. И не перебить ли нам всех этих собак – турок и магометан?

– А почему бы, черт возьми, нам этого не сделать? – сказали они. – Имущество же их и земли вы раздадите тем, кто вам честно служил.

– Так подсказывает здравый смысл и так должно быть по справедливости, – заметил Пикрохол. – Жалую вам Карманию, Сирию и всю Палестину.

– Ах, ваше величество, как вы щедры! – сказали они. – Премного вам благодарны! Дай Бог вам благоденствовать вечно!

На этом совете присутствовал старый дворянин, по имени Эхефрон, человек многоопытный, закаленный в боях; послушав такие речи, он сказал:

– Я очень боюсь, что все это предприятие кончится так же, как известный рассказ о кувшине с молоком, при помощи которого один сапожник мечтал разбогатеть. Кувшин разбился, и он остался

голодным. Чего вы добьетесь этими славными победами? Каков будет конец ваших трудов и походов?

– Конец будет таков, – отвечал Пикрохол, – что по возвращении мы как следует отдохнем.

Эхефрон же ему на это сказал:

– Ну, а если почему-нибудь не вернетесь? Ведь путь опасен и долог. Не лучше ли нам отдохнуть теперь же, отказавшись от всех этих походов?

– Вот уж, ей-богу, чудак! – воскликнул Буян. – Давайте в таком случае забьемся в уголок, поближе к камину, будем весь свой век вместе с женами низать жемчуг или же пряхать, как Сарданапал. «Кто не подвергает себя опасности, тот ни коня, ни осла не добудет», – сказал Соломон.

– А Морольф^[184] ему на это ответил: «Кто подвергает себя слишком большой опасности, тот и коня и осла потеряет», – возразил Эхефрон.

– Довольно, пойдем дальше, – сказал Пикрохол. – Я боюсь только этих чертовых легионов Грангузье. Что, если, пока мы будем в Месопотамии, они ударят нам в тыл? Что нам тогда делать?

– Очень просто, – отвечал Молокосос. – Вам стоит только послать московитам краткий, но грозный указ – и в тот же миг под ваши знамена станет четыреста пятьдесят тысяч отборных бойцов. Эх, назначили бы туда меня вашим наместником, – у них бы лоб на глаза вылез! Растопчу, растреплю, разгромлю, растрясу, разнесу, расшибу!

– Полно, полно! – сказал Пикрохол. – Время не ждет! Все, кто мне предан, за мной!

Глава XXXIV

О том, как Гаргантюа оставил Париж, чтобы защищать свое отечество, и как Гимнаст встретился с неприятелем

В эту самую пору Гаргантюа, тотчас по прочтении отцовского письма выехавший из Парижа на своей громадной кобыле, миновал уже мост Нонен, а вместе с Гаргантюа и Понократ, Гимнаст и Эвдемон, которые, чтобы не отставать от него, взяли себе почтовых

лошадей^[185]. Обоз с его книгами и философическими приборами двигался со скоростью обыкновенной.

Прибыв в Парилье, Гаргантюа узнал от хуторянина Гуге, что Пикрохол, укрепившись в Ларош-Клермо, выслал многочисленное войско под предводительством военачальника Трипе захватить леса Вед и Вогодри, что войско это обобрало до нитки всех и вся – вплоть до самой давальни Бильяр – и что совершаемые им злодеяния представляют собой нечто невиданное и неслыханное. Гаргантюа был всем этим так напуган, что не знал, как быть и что придумать. Понократ, однако ж, посоветовал ему направить путь к сеньору де Лавогюйону, старинному их другу и союзнику, который-де может дать более точные сведения, и они, нимало не медля, к нему и отправились; он же выразил полную готовность прийти им на помощь и высказал мнение, что прежде надобно послать кого-нибудь на разведки, дабы тот обследовал местность и установил, где именно находится неприятель, а затем уже, глядя по обстоятельствам, начать действовать. Отправиться в разведку вызвался Гимнаст, и тут же было решено, что для пользы дела он возьмет с собой человека, который хорошо знает здесь все дороги, тропинки и речки.

Итак, Гимнаст выехал вместе с Вертопрахом, Лавогюйоновым конюшим, и они, оставшись незамеченными, произвели разведку во всех направлениях. Гаргантюа тем временем отдохнул, малость подкрепился вместе со своими спутниками и велел дать своей кобыле меру овса, что составило семьдесят четыре мюида и три буасо^[186]. А Гимнаст со своим товарищем ехали-ехали и наконец наткнулись на врагов, – рассыпавшись в беспорядке, они грабили и тащили все, что попадалось под руку. Гимнаста они завидели издалека, и вскоре на него налетела целая орава, явно намеревавшаяся его обобрать. Он же сказал им:

– Господа, я беден как черт знает что. Прошу вас, пощадите меня! У меня еще осталось несколько экю, вот мы на них и выпьем, ведь это *aurum potabile*^[187], а чтобы уплатить вам за проезд, я продам свою лошадь. Вы вполне можете считать меня своим, ибо нет человека, который лучше, чем я, умеет сцапать, обчистить, ободрать, ощипать, выпотрошить, а потом и полакомиться. По случаю моего благополучного прибытия пью здоровье всех добрых собутыльников!

С этими словами Гимнаст откупорил свою флягу и, накренив ее, отпил на совесть. Разбойники разинули пасти и высунули языки, точно борзые собаки, в чаянии допить после него, но как раз в это время сюда подоспел узнать, в чем дело, военачальник Трипе. Гимнаст протянул ему флягу и сказал:

– Пейте, ваше высокоблагородие, пейте, не бойтесь, я его уже пробовал, – это из Лафе-Монжо.^[188]

– Что такое? – воскликнул Трипе. – Ты смеешь, невежа, издеваться над нами? Кто ты таков?

– Я человек бедный, – отвечал Гимнаст, – бедный как черт знает что.

– А-а, ну если черт тебя знает, тогда я тебя пропущу, – рассудил Трипе, – потому черти и все их знакомые и родные ни податей, ни пошлин не платят. Только я еще никогда не видал, чтобы бедные родственники разъезжали на таких добрых конях. Вот что, господин черт, слезайте-ка, – на вашем коне поеду я, и если он не понесет меня стрелой, то понесете меня вы, господин черт, потому уж очень я люблю, когда меня черт несет!

Глава XXXV

О том, как Гимнаст ловко убил военачальника Трипе и других Пикрохоловых воинов

Слова Гимнаста кое-кого напугали, и, вообразив, что это переодетый черт, убоявшиеся начали обеими руками креститься. Один же из них, по прозванию Жан Добрый, предводитель сельского ополчения^[189], достал из своего гульфика молитвенник и довольно зычным голосом крикнул:

– *Agios ho Theos!*^[190] Если ты послан Богом, тогда говори! Если же ты послан кем-то другим, тогда уходи!

Но Гимнаст и не думал уходить; многие после этого стали разбредаться, а Гимнаст все примечал и мотал себе на ус.

Он сделал вид, что намерен спешиться, и, наклонившись влево, со шпагой на боку ловко перевернулся в стремени, затем пролез под конским брюхом, подпрыгнул и обеими ногами, но только задом наперед, стал на седло.

– Надо б сделать мне по-другому! – сказал он.

С этими словами он, подскочив на одной ноге, сделал поворот налево, и расчет его оказался до того точен, что он снова занял исходное положение, решительно ни в чем его не нарушив. Тогда Трипе сказал:

– Гм! Я сейчас этого проделывать не стану, у меня есть на то причины.

– Ах ты, пакость какая! – воскликнул Гимнаст. – Промазал я! Придется еще раз.

Тут он, выказав изрядную силу и ловкость, сделал совершенно такой же прыжок, но только с наклоном вправо. Затем, ухватившись большим пальцем правой руки за седельную луку, подтянулся всем корпусом, причем вся его сила сосредоточилась теперь в мускулах и сухожилиях большого пальца, и три раза перевернулся. На четвертый раз, ни за что уже не держась, он перекувырнулся и очутился между ушей коня; затем, опираясь всей тяжестью на большой палец левой руки, сделал мулинет и наконец, хлопнув ладонью правой руки по середине седла и одним броском очутившись на крупе, сел на дамский манер.

Потом он без малейших усилий занес правую ногу поверх седла и принял положение всадника, едущего на крупе.

– Нет, – сказал он, – сяду-ка я между двумя луками!

Тут он уперся в круп коня большими пальцами обеих рук, перекувырнулся и принял правильное положение между луками; потом одним рывком вскочил, стал, сдвинув ноги, между луками и, скрестив руки на груди, раз сто подряд перевернулся, громко при этом крича:

– Черти, я беснуюсь, беснуюсь, беснуюсь! Держите меня, черти, держите, держите!

Меж тем как он вольтижировал, разбойники в полном недоумении переговаривались:

– Клянусь раками, это перевертень, не то переодетый черт! *Ab hoste, maligno libera nos, Domine!*^[191]

В конце концов они бросились врассыпную и долго еще потом оглядывались, точно собака, ухватившая гусиное крылышко.

Тут Гимнаст, оценив всю выгодность своего положения, сошел с коня, обнажил шпагу и стал наносить страшные удары тем, кто был

понаряднее, громоздя целые горы изувеченных, раненых, убитых, причем никто из них даже и не помышлял о сопротивлении, – все были уверены, что это сам черт, да еще изголодавшийся, непреложное чему доказательство они усматривали как в изумительной его вольтижировке, так и в том, что Трипе, ведя с ним беседу, именовал его чертовым родственником; впрочем, Трипе предательским ударом своей ландскнехтской шпаги чуть было не раскрыл ему череп, но Гимнаст был хорошо защищен и восчувствовал лишь тяжесть этого удара, – он живо обернулся, всадил, не сходя с места, острие своей шпаги в помянутого Трипе, который в это время тщательно прикрывал грудь, и одним махом проколол ему желудок, ободочную кишку и половину печени, вследствие чего Трипе свалился с ног, и, валясь, он испустил из себя более четырех горшков супу, а вместе с супом и дух.

А Гимнаст тот же час удалился, ибо он полагал, что в случаях счастливых не следует перегибать палку, а то счастье может и изменить, и что рыцарю подобает ко всякой своей удаче относиться бережно, не надоедать ей и не докучать; и с этой мыслью он вскочил на коня, дал ему шпоры и двинулся прямым путем к Лавогюйону, а за ним последовал и Вертопрах.

Глава XXXVI

О том, как Гаргантюа разрушил замок при Ведском броде, и о том, как воины его перешли брод

Возвратившись из разведки, Гимнаст доложил, что собой представляет неприятель, рассказал о той хитрости, благодаря которой он один справился с целой воинской частью, и в заключение объявил, что все они каналы, грабители и разбойники, в военной науке ничего не смыслящие, и что Гаргантюа со своими спутниками может безбоязненно выступить в поход, – они-де без труда перебьют пикрохоловцев, перебьют как скотину.

Выслушав эти донесения, Гаргантюа сел на свою громадную кобылу и вместе с вышперечисленными сподвижниками тронулся в путь, а по дороге ему попало высокое и раскидистое дерево (которое прежде обыкновенно называли деревом св. Мартина, потому что оно выросло из посоха, некогда воткнутого в землю св. Мартином), и при виде его он сказал:

– Это-то мне и нужно. Из этого дерева я сделаю себе и посох и копье.

Затем он без всяких усилий вырвал дерево с корнем, обломал ветки и по своему благоусмотрению обчистил его.

Кобыле между тем припала охота помочиться, и столь обильным оказалось это мочеиспускание, что вскоре на семь миль кругом все было затоплено, моча же ее стекла к Ведскому броду и так подняла в нем уровень воды, что вся шайка врагов, охваченная ужасом, потонула, за исключением очень немногих – тех, кто взял левей, по направлению к холмам.

Когда Гаргантюа приблизился к Ведскому лесу, Эвдемон довел до его сведения, что остатки вражеских полчищ укрылись в замке. Тогда Гаргантюа, дабы в том удостовериться, закричал во всю глотку:

– Вы – там, или же вас там нет? Если вы там, то больше вы там не будете; если же вас там нет, то мне вам сказать нечего.

Но тут негодяй-пушкарь, стоявший у бойницы, выстрелил в Гаргантюа, и ядро с разлета угодило ему в правый висок; однако Гаргантюа ощутил при этом такую же точно боль, как если бы в него запустили косточкой от сливы.

– Это еще что? – воскликнул он. – Виноградом кидаться? Ну так мы заставим вас подобрать!

Он и в самом деле подумал, что это виноградина.

Разбойники в это время были заняты дележом добычи, однако ж, заслышав шум, они поднялись на бастионы и башни и дали по Гаргантюа более девяти тысяч двадцати пяти бомбардных и пицальных выстрелов, причем всякий раз целились ему прямо в голову, и столь частой была эта стрельба, что Гаргантюа в конце концов закричал:

– Понократ, друг мой! От этих мух у меня рябит в глазах! Сломайте мне ивовую ветку, я буду ею отмахиваться.

Он вообразил, что свинцовые и каменные ядра – это всего-навсего слепни. Понократ же ему объяснил, что это вовсе не мухи, а орудийные выстрелы и что ядра летят из замка. Тогда Гаргантюа принялся колотить по замку громадным своим деревом, и от его мощных ударов все бастионы и башни разлетелись и рухнули. Тех же, кто находился внутри, так расплющило, что и костей их нельзя было собрать.

Покончив с замком, Гаргантюа и его приближенные подъехали к мельничной запруде и увидели, что весь брод завален мертвыми телами, загородившими водоспуск: это и были те, что погибли от кобыльего мочепотопа. Стали они тут думать да гадать, как бы им преодолеть препятствие, которое представляли собою трупы, и перебраться на ту сторону. Наконец Гимнаст объявил:

– Если тут перешли черти, так и я отлично перейду.

– Черти здесь переходили, – заметил Эвдемон, – им нужно было унести души осужденных на вечную муку.

– Отсюда прямой вывод, – подхватил Понократ, – что Гимнаст тоже перейдет, да будет мне свидетелем святой Треньян!

– А как же иначе? – отозвался Гимнаст. – Что же мне, так тут и оставаться?

Дав шпоры коню, он свободно перебрался на тот берег, и конь его не испугался мертвецов: воспользовавшись указанием Элиана^[192], Гимнаст приучил его не бояться ни мертвых душ, ни мертвых тел, но для этой цели он не убивал людей, как это делал Диомед, убивавший фракийцев, или же Одиссей, о котором повествует Гомер, что он клал тела убитых врагов под ноги своему коню, – нет, он зарывал в сено чучело и заставлял коня переступать через него, маня его овсом.

Трое спутников следом за ним перебрались благополучно, застрял только Эвдемон, и вот почему: правая нога его коня по колено увязла в брюхе одного дюжего и ражего поганца, навзничь лежавшего в воде, и конь никак не мог ее вытащить; и до той поры он тут бился, пока Гаргантюа концом своего посоха не погрузил остатки требухи этого мерзавца в воду; тогда конь высвободил ногу, и – редчайший случаи в гиппиатрии! – от прикосновения к внутренностям этого жирного негодяя нарост на ноге коня сам собой отвалился.

Глава XXXVII

О том, как Гаргантюа вычесывал из волос ядра

Оттуда они двинулись берегом речки Вед и немного погодя приблизились к замку Грангузье, а Грангузье в это время с великим нетерпением их ожидал. Как скоро они прибыли, пошел пир горой; никто еще так не веселился, как они, – автор *Supplementum Supplementi Chronicorum*^[193] утверждает, что Гаргамелла от радости даже умерла.

Мне ничего об этом не известно – я так же мало думаю о ней, как и о всякой другой.

Достоверно одно: переодеваясь и проводя по волосам гребнем длиною в сто канн^[194], с зубьями из цельных слоновых клыков, Гаргантюа всякий раз вычесывал не менее семи ядер, которые у него там застряли во время битвы в Ведском лесу. Грангузье, глядя на него, подумал, что это вши, и сказал:

– Сынок! Ты что же это, занес к нам сюда ястребов из Монтегю? Разве ты там находился?

Понократ же ему на это ответил так:

– Ваше величество! Пожалуйста, не думайте, что я его поместил в этот вшивый коллеж, именуемый Монтегю^[195]. Скорее я отдал бы его нищей братии Невинноубиенных младенцев^[196], – такие чудовищные творятся в Монтегю жестокости и безобразия. Мавры и татары лучше обращаются с каторжниками, в уголовной тюрьме лучше обращаются с убийцами, и, уж верно, в вашем доме лучше обращаются с собаками, чем с этими горемыками в коллеже Монтегю. Черт возьми, будь я королем в Париже, я бы сжег коллеж, а с ним и его начальника и всех его надзирателей, коль скоро они допускают такое зверское обращение! – Тут он поднял одно из ядер и сказал: – Это пушечные ядра, коими коварный враг стрелял в вашего сына Гаргантюа, когда он совершал переход через Ведский лес. Враги, однако ж, за это поплатились: они все погибли под развалинами замка, так же точно, как филистимляне, коих погубило хитроумие Самсона, или как те люди, на которых упала башня Силоамская, о чем говорится в *Евангелии от Луки*, в главе тринадцатой. И вот я полагаю, что, пока счастье нам улыбается, мы должны устремиться в погоню, ибо волосы у случая на лбу растут. А то если он от вас уплывет, вам потом не за что будет его ухватить: сзади он совершенно лыс, а лицом к вам он уже не повернется.

– Нет уж, только не сейчас, – сказал Грангузье, – нынче вечером я намерен вас чествовать. Милости просим!

Тут подали ужин, для которого, помимо всего прочего, было зажарено шестнадцать быков, три телки, тридцать два бычка, шестьдесят три молочных козленка, девяносто пять баранов, триста молочных поросят под превосходным соусом, двести двадцать куропаток, семьсот бекасов, четыреста луденских и корнуальских

каплунов, шесть тысяч цыплят и столько же голубей, шестьсот рябчиков, тысяча четыреста зайцев, триста три дрофы и тысяча семьсот каплунят. Дичины сразу не удалось достать сколько требовалось; впрочем, настоятель Тюрпенейского аббатства^[197] прислал одиннадцать кабанов; сеньор де Гранмон прислал в дар восемнадцать туш красного зверя; сеньор Дезессар прислал сто сорок фазанов, да еще набралось несколько десятков диких голубей, а также речной птицы, чирков, выпей, кроншнепов, ржанок, лесных куропаток, казарок, сукальней, чибисят, турпанов, колпиц, цапель, молодых цаплят, водяных курочек, белых хохлатых цапель, аистов, стрепетов, красноперых фламинго (так называемых феникоптеров), индеек; сверх того, было подано изрядное количество супов и рагу.

Все это многое множество кушаний мастерски приготовили повара Грангузье: Оближи, Обглодай и Обсоси.

Жано, Микель и Вернет то и дело подливали вина.

Глава XXXVIII

О том, как Гаргантюа вместе с салатом проглотил шестерых паломников

Здесь кстати будет рассказать о том, что случилось с шестью паломниками, которые пришли из Сен-Себастьяна^[198], что близ Нанта, и, убоявшись неприятеля, расположились на ночлег в огороде, под стеблями гороха, между капустой и латуком. Гаргантюа, почувствовав жажду, спросил, нет ли латука и нельзя ли сделать салат; когда же ему сказали, что латук здесь самый лучший и самый крупный во всей стране, величиною со сливовое или же с ореховое дерево, он пошел за латуком сам и нарвал сколько ему заблагорассудилось. Вместе с латуком он прихватил и шестерых паломников, паломники же от страха пикнуть не смели.

Латук прежде всего промыли в источнике, и вот тут-то паломники зашептались:

– Как нам быть? Потонем мы в этом латуке. Разве заговорить? А заговоришь – он еще, пожалуй, убьет нас как лазутчиков.

Пока они рассуждали, Гаргантюа положил их вместе с латуком в салатник величиною с ситойскую бочку^[199], полил маслом и уксусом,

посолил, а затем, чтобы подзаправиться перед ужином, принялся все это уписывать и переправил уже себе в рот пятерых паломников. Шестой паломник забился под лист латука, но кончик его посоха все же торчал. Заметив это, Грангузье сказал Гаргантюа:

– По-моему, это рожок улитки. Не ешь ее.

– Почему? – возразил Гаргантюа. – Улитки в это время года особенно вкусны.

Тут он подцепил посох, поднял вместе с ним паломника и скушал его за мое почтение; потом запил это чудовищным глотком пино и вместе со всеми стал ждать ужина.

Будучи препровождены таким порядком в рот, паломники приложили все усилия, чтобы не попасть под жернова его зубов, и уже начали думать, что их заточили в какое-то глубокое подземелье; когда же Гаргантюа как следует отхлебнул, им показалось, что они сейчас утонут у него во рту, и точно: поток вина чуть было не унес их в пучину его желудка; однако, опираясь на посохи и перепрыгивая с места на место, ни дать ни взять – паломники, идущие на поклонение св. Михаилу, они наконец выбрались из подземелья и уже достигли зубов. К несчастью, один из них, на всякий случай ощупывая посохом дорогу, ткнул им в дупло одного зуба и, задев челюстной нерв, причинил Гаргантюа столь сильную боль, что тот, невзвидев света, завопил. Чтобы успокоить боль, Гаргантюа велел подать ему зубочистку и, приблизившись к ореховому дереву, мигом выковырял господ паломников. Одного вытащил за ноги, другого за плечи, третьего за суму, четвертого за кошель, пятого за перевязь, а того беднягу, которого угораздило долбануть его посохом, зацепил за гульфик; как бы там ни было, для Гаргантюа это вышло к лучшему, ибо паломник проткнул ему гнойный мешочек, мучивший его с той самой поры, как они миновали Ансени.

Выковырянные паломники что было духу пустились бежать через виноградник, а боль у Гаргантюа мгновенно утихла.

В это самое время Эвдемон позвал его ужинать, так как все было готово.

– Дай сначала помочиться, авось легче будет, – отозвался Гаргантюа.

И тут он пустил такую струю, что она преградила паломникам путь, и пришлось им перебираться через многоводный поток. После

этого, идя по краю перелеска, все они, за исключением Фурнилье, угодили в капкан, поставленный на волков, выбрались же они оттуда единственно благодаря находчивости помянутого Фурнилье, который порвал все шнуры и веревки. Остаток ночи они провели в лачужке близ Кудре, и тут один из их компании, по имени Неспеша, утешил их в несчастье добрым словом, доказав им, что это их приключение предсказано в одном из псалмов Давида:^[200]

– *Cum exurgerent homines in nos, forte vivos deglutissent nos*^[201], — когда нас съели вместе с присоленным салатом; *cum irasceretur furor eorum in nos, forsitan aqua absorbuisset nos*^[202], — когда он как следует хлебнул; *torrentem pertransivit anima nostra*^[203], — когда мы перебирались через многоводный поток; *forsitan pertransivit anima nostra aquam intolerabilem*^[204] его мочи, которая нам отрезала путь. *Benedictus Dominus, qui non dedit nos in captionem dentibus eorum. Anima nostra sicut passer erepta est de laqueo venantium*^[205], — тут подразумевается капкан; *laqueus contritus est*^[206] рукою Фурнилье, *et nos liberati sumus. Adjutorium nostrum...*^[207] и так далее.

Глава XXXIX

О том, как Гаргантюа чествовал монаха и как прекрасно говорил монах за ужином

Как скоро Гаргантюа сел за стол и первые куски были проглочены, Грангузье повел рассказ о начале и причине войны между ним и Пикрохолом и, доведя свое повествование до того момента, когда брат Жан Зубодробитель одержал победу при защите монастырского виноградника, превознес его подвиг выше деяний Камилла, Сципиона, Помпея, Цезаря и Фемистокла. Тут Гаргантюа попросил сей же час послать за монахом, — он хотел посоветоваться с ним касательно того, как действовать дальше. Во исполнение его желания за монахом отправился дворецкий и немного погодя в веселом расположении духа с ним возвратился, причем брат Жан восседал на муле Грангузье, держа в руках перекладину от креста.

Брат Жан был встречен нескончаемыми кликами восторга, объятиями, приветствиями.

– А, брат Жан, дружище! Брат Жан, приятель! Брат Жан, черт тебя возьми, дай я тебя поцелую, дружок!

– Дай я тебя обниму!

– Поди сюда, блудодей, вот я тебя сейчас задую!

А брат Жан знай посмеивался. Такого милого и обходительного человека прямо поискать!

– Ну-ка, ну-ка, – сказал Гаргантюа, – поставьте ему скамейку вот тут, подле меня!

– Пожалуйста, куда прикажете, – сказал монах. – Паж, водички! Лей, дитя мое, лей! Это мне освежит печенку. Дай-ка сюда, я пополощу себе горло!

– *Deposita carpa*, — сказал Гимнаст, – рясу долой!

– Боже сохрани! – воскликнул монах. – Нет, милостивый государь, это нам не положено, – *in statutis Ordinis*^[208] есть насчет этого особый раздел.

– В задницу, в задницу ваш раздел! – заметил Гимнаст. – Ряса давит вам плечи, снимите ее!

– Друг мой, – сказал монах, – пусть она останется на мне, – ей-богу, мне в ней лучше пьется, от нее телу веселей. Ежели я ее скину, господа пажи наделают себе из нее подвязок, как это уже однажды со мной случилось в Кулене. Вдобавок у меня пропадет весь аппетит. А ежели я сяду за стол в этом самом одеянии, – вот тебе крест, я с легкой душой не только что за тебя, а и за твоего коня выпью! Мир честной компании! Я, правда, поужинал, но это мне не мешает есть за обе щеки, – желудок у меня луженый, он пуст внутри, как монашеский посошок, и всегда открыт, как мешок адвоката. Из всех рыб, не считая линя, говорит пословица, лучше всего крылышко куропатки или же окорочок монашки. Наш настоятель страсть как любит белое каплунье мясо.

– Этим он отличается от лисы, – заметил Гимнаст. – Лиса ни у каплунов, ни у кур, ни у цыплят ни за что не станет есть белое мясо.

– Почему? – спросил монах.

– Потому что у нее нет поваров, чтобы его варить, – отвечал Гимнаст, – а если мясо надлежащим образом не проварено, оно все будет красным, а не белым. Краснота мяса есть признак того, что оно не проварено, – исключение составляет лишь мясо омаров и раков: их посвящают в кардиналы, когда варят.

– Свят, свят, свят! – воскликнул монах. – Стало быть, у нашего монастырского лекаря плохо проварена голова, – глаза у него красные, как миски из ольхи... Вот это заячье бедро полезно было бы подагрику. Кстати, отчего это бедра у девушек всегда бывают прохладные?

– Этим вопросом не занимались ни Аристотель, ни Александр Афродисийский, ни Плутарх, – отвечал Гаргантюа.

– Существует три причины, в силу которых то или иное место естественным образом охлаждается, – продолжал монах. – *Primo*^[209], когда берега его омываются водой; *secundo*^[210], если это место тенистое, темное, сумрачное, куда не проникает солнечный свет, и, в-третьих, если оно беспрестанно овеивается ветрами, дующими из теснины, а также производимыми колыханием сорочки и в особенности колыханием гюльфика... А ну, веселей! Паж, плесни нам еще!.. Чок, чок, чок!.. Надо Бога благодарить за такое славное вино!.. Живи я во времена Иисуса Христа, – вот как Бог свят, я бы не дал евреям схватить его в Гефсиманском саду! Черт побери, да я бы господам апостолам поджилки перерезал за то, что они испугались и убежали после сытного ужина, а доброго своего учителя покинули в беде! Хуже всякой отравы для меня те люди, которые удирают, когда нужно взяться за ножи. Эх, побыть бы мне французским королем лет этак восемьдесят или сто! Ей-богу, я бы выхолостил всех, кто бежал из-под Павии^[211]! Лихорадка им в бок! Почему они, вместо того чтоб погибнуть, бросили доброго своего государя на произвол судьбы? Разве не лучше, разве не почетнее – умереть, доблестно сражаясь, чем остаться жить, позорно бежав?.. В нынешнем году нам уж гусями не полакомиться. Эй, будь другом, отрежь-ка мне свининки!.. А то ведь уж давно стоит, – стаканчик-то давно передо мной стоит! *Germinavit radix Jesse*^[212]. Дьявольщина, я умираю от жажды!.. А вино-то ведь неплохое! Вы что пили в Париже? Мой дом в Париже более полугода был открыт для всех, ей-ей, не вру!.. Вы знакомы с братом Клавдием из Верхнего Баруа? То-то добрый собутыльник! Какая, однако ж, муха его укусила? С некоторых пор он все только учится да учится. А вот я ничему не учусь. Мы в нашем аббатстве ничему не учимся – боимся свинкой заболеть. Наш покойный аббат говорил, что ученый монах – это чудовище. Ей-богу, любезный друг, *magis magnos clericos non sunt magis magnos sapientes...*^[213] Если бы вы знали, какая в этом году

гибель зайцев! Жаль, нигде я не мог раздобыть ни ястреба, ни кречета. Господин де ла Беллоньер пообещал мне сапсана, а на днях прислал письмо: птица-де стала задыхаться. От куропаток в этом году отбою не будет. Ну да я не любитель расставлять силки, – как раз простуду схватишь. Если я не бегаю туда-сюда, не мечусь, мне все как-то не по себе. Вот только начнешь махать через изгороди да кусты – сейчас же ряса в клочья. Славной борзой я обзавелся. Уж она зайца не упустит, черта с два! Лакей вел ее к господину де Молеврие, ну, а я ее отнял. Дурно я поступил?

– Нисколько, брат Жан, – отвечал Гимнаст, – нисколько, клянусь тебе всеми чертями, нисколько!

– Ну так за чертей, пока они существуют! – подхватил монах. – Бог ты мой, на что этому хромцу борзая! Подарить бы ему пару волов, – истинный Бог, это бы его куда больше порадовало!

– Отчего это вы, брат Жан, все время божитесь? – спросил Понократ.

– Это только для красоты слога, – отвечал монах. – Это цветы Цицероновой риторики.

Глава XL

Отчего миряне избегают монахов и отчего у одних носы длиннее, чем у других

– Клянусь христианской верой, – воскликнул Эвдемон, – благовоспитанность этого монаха наводит меня на глубокие размышления! Он нас тут всех распотешил, а почему же тогда монахов называют бичами веселья и изгоняют из всякой славной компании, подобно тому как пчелы гонят из ульев трутней?

Ignavum fucos pecus a presepiibus arcent^[214], —

говорит Марон.

На это ему Гаргантюа ответил так:

– Не подлежит сомнению, что ряса и клобук навлекают на себя со всех сторон поношения, брань и проклятия, так же точно, как ветер, Цециасом называемый, нагоняет тучи. Основная причина этого

заключается в том, что монахи пожирают людские отбросы, то есть грехи, и, как дерьмоедам, им отводят места уединенные, а именно монастыри и аббатства, так же обособленные от внешнего мира, как отхожие места от жилых помещений. Далее, если вам понятно, отчего все в доме смеются над обезьяной и дразнят ее, то вам легко будет понять и другое: отчего все, и старые и молодые, чуждаются монахов. Обезьяна не сторожит дома в отличие от собаки, не тащит плуга в отличие от вола, не дает ни молока, ни шерсти в отличие от овцы, не возит тяжестей в отличие от коня. Она только всюду гадит и все портит, за что и получает от всех насмешки да колотушки. Равным образом монах (я разумею монахов-тунеядцев) не пашет землю в отличие от крестьянина, не охраняет отечество в отличие от воина, не лечит больных в отличие от врача, не проповедует и не просвещает народ в отличие от хорошего проповедника и наставника, не доставляет полезных и необходимых государству предметов в отличие от купца. Вот почему все над монахами глумятся и все их презирают.

– Да, но они молятся за нас, – вставил Грангузье.

– Какое там! – молвил Гаргантюа. – Они только терзают слух окрестных жителей дилиньбомканьем своих колоколов.

– Да, – сказал монах, – хорошенько отзвонить к обедне, к утрени или же к вечерне – это все равно что наполовину их отслужить.

– Они вам без всякого смысла и толка пробормочут уйму житий и псалмов, прочтут бесчисленное множество раз «Pater noster»^[215] вперемежку с бесконечными «Ave Maria»^[216], и при этом сами не понимают, что такое они читают, – по-моему, это насмешка над Богом, а не молитва. Дай Бог, если они молятся в это время за нас, а не думают о своих хлебцах да жирных супах. Всякий истинный христианин, кто бы он ни был и где бы ни находился, молится во всякое время, а Дух Святой молится и предстательствует за него, и Господь ниспосылает ему свои милости. Так поступает и наш добрый брат Жан. Вот почему все жаждут его общества. Он не святоша, не голодранец, он благовоспитан, жизнерадостен, смел, он добрый собутыльник. Он трудится, пашет землю, заступает за утесненных, утешает скорбящих, оказывает помощь страждущим, охраняет сады аббатства.

– Я еще и не то делаю, – сказал монах. – За панихидой или же утреней я стою на клиросе и пою, а сам в это время мастерю тетиву

для арбалета, оттачиваю стрелы, плету сети и силки для кроликов. Я никогда без дела не сижу. А теперь, дети, выпьем! Выпьем теперь, дети! Подай-ка мне каштанов! Это каштаны из Этросского леса^[217], – вот я сейчас и выпью под них доброго холодного винца. Что же это вы так медленно раскачиваетесь? Я, как лошадь сборщика, пью из каждого ручейка, ей-богу!

Гимнаст ему сказал:

– Брат Жан, у вас на носу капля.

– Ха-ха! – засмеялся монах. – Вы думаете, что если я в воде по самый нос, стало быть, сейчас утону? Не бойтесь, не утону. *Quare? Quia*^[218] выйти она из носу выйдет, а обратно не войдет: мой нос весь внутри зарос. Ах, друг мой, если б кто-нибудь сшил себе на зиму сапоги из такой кожи, как моя, он бы в них смело мог ловить устриц – нипочем бы эти сапоги не промокли!

– Отчего это у брата Жана такой красивый нос? – спросил Гаргантюа.

– Оттого что так Богу было угодно, – отвечал Грангузье. – Каждому носу Господь придает особую форму и назначает особое употребление, – он так же властен над носами, как горшечник над своими сосудами.

– Оттого что брат Жан одним из первых пришел на ярмарку носов, – сказал Понократ, – вот он и выбрал себе какой покрасивее да покрупнее.

– Ну, ну, скажут тоже! – заговорил монах. – Согласно нашей истинной монастырской философии это оттого, что у моей кормилицы груди были мягкие. Когда я их сосал, мой нос уходил в них, как в масло, а там уж он рос и поднимался, словно тесто в квашне. От тугих грудей дети выходят курносые. А ну, гляди весело! *Ad formam nasi cognoscitur ad Te levavi...*^[219] Варенья я не ем. Плесни-ка нам, паж! *Item*^[220] гренков.

Глава XLI

О том, как монах усыпил Гаргантюа, о служебнике его и о том, как он читал часы

После ужина стали совещаться о неотложных делах, и решено было около полуночи отправиться в разведку, дабы испытать бдительность и проворство врага, а пока что решили слегка подкрепить свои силы сном. Гаргантюа, однако ж, никак не мог уснуть. Наконец монах ему сказал:

– Я никогда так хорошо не сплю, как во время проповеди или же на молитве. Я вас прошу: давайте вместе начнем семипсалмие, и вы сей же час заснете, уверяю вас!

Гаргантюа весьма охотно принял это предложение, и в самом начале первого псалма, на словах *Beati quorum*^[221] они оба заснули. Монах, однако ж, проснулся как раз около полуночи – в монастыре он привык в это время вставать к утрени. Проснувшись, он тут же разбудил всех, ибо запел во все горло песню:

Эй, Реньо, очнись, проснись,
Эй, Реньо, да ну, вставай же!*

Когда все проснулись, он сказал:

– Господа! Говорят, что утрениа начинается с откашливания, а ужин с возлияния. А мы давайте наоборот: утрениу начнем с возлияния, а вечером, перед ужином, прокашлиаемся всласть.

Тут Гаргантюа сказал:

– Пить спозаранку, тотчас же после сна, – это против правил медицины. Прежде надлежит очистить желудок от излишков и экскрементов.

– Нет, это очень даже по-медицински! – возразил монах. – Сто чертей мне в глотку, если старых пьяниц на свете не больше, чем старых докторов! Я с моим аппетитом заключил договор, по которому он обязуется ложиться спать вместе со мной, и целый день я за ним слежу, а просыпаемся мы с ним тоже одновременно. Вы себе сколько душе угодно принимайте ваши слабительные, а я прибегну к моему рвотному.^[222]

– Какое рвотное вы имеете в виду? – спросил Гаргантюа.

– Мой служебник, – отвечал монах. – Сокольничие, перед тем как дать своим птицам корму, заставляют их грызть куриную ножку, – это очищает их мозг от слизи и возбуждает аппетит. Так же точно и я беру

по утрам веселенький мой служебничек, прочищаю себе легкие, а после этого мне только лей – не жалей.

– Какого чина придерживаетесь вы, когда читаете часы? – спросил Гаргантюа.

– Как придется – вот чего я придерживаюсь, – отвечал монах. – Иной раз читаю по три псалма и по три отрывочка из Священного писания, а нет охоты, так и совсем ничего. Я себя часами не утруждаю – не человек для часов, а часы для человека. Словом сказать, я поступаю с ними, как все равно со стременными ремнями – укорачиваю и растягиваю, как мне вздумается: *brevis oratio penetrat celos, longa potatio evacuat cyphos*^[223]. Кто это сказал?

– Честное слово, блудодейчик, не знаю, – молвил Понократ. – Однако ж ты молодчина!

– Весь в вас пошел, – отвечал монах. – А теперь *venite apotemus*.^[224]

Тут принесли невесть сколько жаркого, а к нему ломтики хлеба, смоченные в супе, и монах начал пить в свое удовольствие. Некоторые составили ему компанию, прочие отказались. Затем все начали собираться в поход и надевать бранные доспехи, при этом брата Жана облекли в доспехи против его желания, ибо он сначала и слышать ни о чем не хотел, кроме как о том, чтобы прикрыть живот рясой, а в руку взять перекладину от креста. Однако, не желая огорчать соратников, он все же вооружился до зубов и, привесив сбоку булатный меч, воссел на доброго неаполитанского скакуна, и вместе с ним выступили в поход Гаргантюа, Гимнаст, Эвдемон и еще двадцать пять самых храбрых слуг Грангузье, все в полном вооружении, все на конях и с копьями, как святой Георгий, а позади каждого воина на крупе коня сидел стрелок.

Глава XLII

О том, как монах ободрял соратников и как он повис на дереве

Итак, доблестные воины отправляются на поиски приключений, точно условившись перед отбытием, в каких случаях, если пробьет час великого и страшного сражения, должно давать бой, в каких – уклоняться. А монах знай подбадривает их:

– Дети мои, не бойтесь и не пугайтесь! Я поведу вас верным путем. С нами Бог и святой Бенедикт! Будь я так же силен, как и удал, я бы всех наших супостатов, пропади они пропадом, ощипал, как уток! Я не боюсь ничего, кроме артиллерии. Впрочем, подпономарь нашего аббатства дал мне одну молитву, – она охраняет человека от всякого огнестрельного оружия, только мне-то она ни к чему, потому как я в нее вот настолько не верю. А уж этой самой перекладиной я наделаю дел! Клянусь Богом, задай кто из вас стрекача, так пусть меня черт возьмет, ежели я не сделаю его вместо себя монахом и не наряжу в свою рясу, – ряса ведь помогает от трусости. Слыхали вы когда-нибудь про борзого кобеля господина де Мерля? Как охотничья собака, он сплеховал, а хозяин накинул на него рясу. Клянусь телом Христовым, с тех пор он уж не упустил ни лисы, ни зайца, и это еще что: он покрыл всех сучек в околотке, а ведь прежде он был по этой части слаб, *de frigidis et maleficiatis*.^[225]

Брат Жан в сердцах произносил эти слова, как раз когда он, держа путь к Соле, проезжал под ореховым деревом, и тут забрало его шлема зацепилось за обломленный край толстого сука. Невзирая на это обстоятельство, монах изо всех сил пришпорил коня, конь же его не выносил шпор: он скакнул вперед, монах, силясь отцепить забрало, выпустил поводья и ухватился рукой за сук, а в это время конь из-под него вырвался. Монах вследствие этого повис на дереве и стал звать на помощь, кричать «караул» и всех обвинять в измене.

Эвдемон заметил его первый и обратился к Гаргантюа:

– Государь, посмотрите поближе на этого висящего Авессалома!^[226]

Гаргантюа подъехал и, увидев, какое положение принял монах и как именно он повис, сказал Эвдемону:

– Сравнив его с Авессаломом, вы отступили от истины. Авессалом запутался волосами, а у монаха голова бритая, и его держат уши.

– Помогите же мне, черт бы вас всех побрал! – кричал монах. – Нашли время лясы точить! Вы вроде проповедников-декреталистов, которые говорят, что ежели нашему ближнему грозит смертельная опасность, то мы под страхом троекратного отлучения должны прежде убедить его исповедаться и воспринять благодать, а потом уже оказывать ему помощь. Ну так когда кто-нибудь из этих проповедников

упадет на моих глазах в воду и станет тонуть, я, вместо того чтобы броситься к нему и протянуть руку, прочту ему длинную проповедь *de contemptu mundi et fuga seculi*^[227], а когда уж он совсем застынет, тут только я его вытащу.

– Не дрыгай ногами, душенька, – сказал Гимнаст, – я тебя сейчас сниму, уж очень ты милый *monachus*:

Monachus in claustro
Non valet ova duo;
Sed quando est extra,
Bene valet triginta.^[228]

Я видел на своем веку более пятисот повешенных, но никто еще не болтался на дереве с таким изяществом, как ты. Будь я столь же изящен, я бы согласился провисеть так всю жизнь.

– Да перестанете вы проповедовать? – возопил монах. – Помогите мне ради Господа Бога, если не хотите помочь во имя кого-то другого! Клянусь моей рясой, вы об этом еще пожалеете *tempore et loco prelibatis*.^[229]

Тут Гимнаст соскочил с коня, вскарабкался на дерево и одной рукой подхватил монаха под мышки, другой же отцепил его забрало от сука, по каковой причине монах повалился на землю, а следом за ним спрыгнул Гимнаст.

Сверзившись, монах тотчас же сбросил с себя все свое вооружение и доспех за доспехом расшвырял его по полю, засим схватил перекладину от креста и вскочил на своего коня, которого на бегу перехватил Эвдемон.

После этого ратники в веселом расположении духа поехали дальше, по направлению к Соле.

Глава XLIII

О том, как Пикрохолова разведка наткнулась на Гаргантюа, и о том, как монах убил военачальника Улепета, а затем попал к неприятелю в плен

Уцелевшие от разгрома, во время которого был растрепан Трипе, донесли Пикрохолу, что на его людей совершили нападение черти, и весть эта привела Пикрохола в совершенное неистовство; всю ночь он держал совет, на котором Бедокур и Фанфарон утверждали, что могущество его таково, что он разобьет всех чертей ада, если только они на него ополчатся, чему сам Пикрохол и верил и не верил.

Как бы то ни было, он выслал в разведывательных целях отряд легкой кавалерии под командой графа Улепета численностью в тысячу шестьсот всадников, причем все они были тщательно окроплены святой водой и у каждого из них вместо знака отличия красовалась в виде перевязи епитрахиль на тот случай, если они столкнутся с чертями, которые от григорианской воды^[230] и от епитрахилей должны были неминуемо исчезнуть и расточиться. Так они доехали почти до самого Лавогюйна и Маландри, но, ни от кого не получив нужных сведений, повернули обратно и, поехав верхней дорогой, неподалеку от Кудре обнаружили в пастушеской то ли хижине, то ли лачужке пятерых паломников, коих они тут же связали веревкой и, невзирая на их вопли, заклинания и мольбы, как лазутчиков увели с собой. Когда же они спускались к Сейи, их заметил Гаргантюа.

– Братцы, – сказал он своим людям, – вон неприятельский разъезд, вдсятеро превосходящий нас числом. Как вы полагаете, ударить нам на них?

– А почему бы нет, черт возьми? – молвил монах. – Неужто вы судите о людях по их численности, а не по их доблести и отваге? – И, не долго думая, он крикнул: – Ударим, черти, ударим!

Когда до врагов донеслись эти крики, они, разумеется, подумали, что это самые настоящие черти, и, бросив поводья, обратились в бегство, за исключением Улепета, – он взял копьё наперевес и со всего размаху ударил монаха в грудь, однако железный наконечник его копья мгновенно притупился о грозную рясу монаха: это было все равно, как если бы вы тоненькой свечечкой ударили по наковальне. Вслед за тем монах так хватил его перекладной между шеей и воротником, прямо по кости, именуемой «акромион», что тот обмер, лишился чувств и как подкошенный свалился к ногам коня. Тут только заметил монах, что перевязью служила ему епитрахиль.

– Стало быть, он всего-навсего священник, – сказал он Гаргантюа, – а ведь это лишь малая толика монаха. Я же, клянусь

святым Иоанном, я – монах заправский, и я вам их всех перебью как мух.

Тут он вскачь понесся за ними, нагнал тех, что ехали сзади, и, нанося удары направо и налево, перемолотил их, как пшеницу.

Гимнаст немедленно обратился к Гаргантюа с вопросом, должны ли они преследовать отступающих.

– Ни в коем случае, – отвечал Гаргантюа. – Согласно истинной военной науке никогда не следует доводить врага до крайности: если он удручен и изнеможен, то отчаяние придает ему сил и вселяет в него бодрость, ибо отнять у людей растерявшихся и измученных всякую надежду на спасение – значит наделять их спасительнейшим средством. Сколько побед было вырвано побежденными из рук победителей единственно потому, что победители наперекор здравому смыслу стремились к полному и окончательному уничтожению и истреблению врага, не думая о том, что следует хоть кого-нибудь оставить в живых, чтобы было кому явиться вестником их победы! Всегда оставляйте неприятелю все ворота и дороги открытыми, сооружайте ему серебряный мост, чтобы облегчить отступление.

– Так-то оно так, – заметил Гимнаст, – да ведь наш добрый монах бросился в погоню.

– Наш добрый монах? – спросил Гаргантюа. – Ну так им несдобровать, клянусь честью! На всякий случай, однако ж, подождем немного, побудем пока здесь, в сторонке. По-моему, я достаточно хорошо изучил повадку наших врагов, – они полагаются на судьбу, а не на здравый смысл.

Меж тем как они стояли в орешнике, монах все еще гнал врага, разя всех, кого встречал на своем пути, и никому не давая пощады, и наконец увидел всадника, везшего на крупе одного из несчастных паломников. И как скоро брат Жан замахнулся, паломник возопил:

– Господин настоятель, милый! Господин настоятель! Спасите меня, умоляю вас!

При этих словах враги обернулись и, удостоверившись, что свирепствует тут один только монах, принялись колотить его кто во что горазд, но ему совсем не было больно, даже когда удары приходились по рясе, – такая у него оказалась толстая кожа. Затем враги приставили к нему двух лучников и, поворотив коней, удостоверившись, что никого больше не видно, из чего они сделали

вывод, что Гаргантюа со всем своим отрядом бежал. Тогда они стремглав помчались по направлению к Нуарет, дабы настигнуть Гаргантюа, монаха же оставили под охраной двух лучников.

Заслышав конское ржание и топот копыт, Гаргантюа обратился к своим людям:

– Братцы! Я слышу, как скачут наши враги, и уже различаю отдельных всадников из этого полчища, что мчится на нас. Сомкнем же наши ряды, выстроимся по всем правилам на дороге, и предстоящее сражение послужит нам к чести, а им принесет гибель!

Глава XLIV

О том, как монах избавился от своей охраны и как была разбита Пикрохолова разведка

Итак, враги впопыхах умчались, и это навело монаха на мысль, что они устремились в погоню за Гаргантюа и его людьми, каковая мысль глубоко огорчила его, ибо он не в состоянии был помочь соратникам. Понаблюдав за двумя лучниками, он убедился, что их так и подмывает броситься вслед за однополчанами, чтобы и на их долю хоть что-нибудь да перепало, – они всё поглядывали в сторону долины, куда спускались их товарищи. В конце концов он рассудил так:

«Сейчас видно, что мои часовые в ратном искусстве не искушены, – они даже не взяли с меня клятвы, что я не убегу, и не отобрали меча».

Затем он неожиданно выхватил этот самый меч и, ударив лучника, находившегося справа от него, перерезал ему шейные вены и сфенитидные артерии, а заодно и язычок, вплоть до миндалин, вторым же ударом обнажил спинной мозг между вторым и третьим позвонками, после чего лучник приказал долго жить.

Тогда монах, поворотив коня налево, наехал на другого лучника, а тот, видя, что его товарищ мертв, монах же на него наседает, заорал во всю мочь:

– Ай, ай, ай, господин настоятель, я сдаюсь! Господин настоятель, родной мой, господин настоятель!

А монах свое:

– Не просите меня столь настоятельно, все равно я вам, мой дорогой, накладу по-настоящему!

– Ай, ай, ай! – стонал лучник. – Господин настоятель, голубчик вы мой, помогите вам Бог стать аббатом!

– Клянусь моей рясой, я вас посвящу в кардиналы! – объявил монах. – Вы с духовных особ берете выкуп? Ну так я вам сейчас вручу кардинальскую красную шапку.

А лучник свое:

– Господин настоятель, господин настоятель, господин будущий аббат, господин кардинал, господин все что хотите! Ах! Ох! Ах! Не надо, господин настоятель, миленький мой, господин настоятель, я вам сдаюсь!

– А я тебя сдам всем чертям, – объявил монах.

И тут он одним ударом рассек ему голову – он пробил ему черепную коробку над самой височной костью, разворотил обе теменные кости, вместе со стреловидным мостом и большею частью лобной кости, а заодно проткнул обе мозговые оболочки и глубоко проник в боковые желудочки, так что затылок, держась на одном только кожном покрове черепной надкостницы, повис над плечами наподобие докторской шапочки, черной снаружи и красной внутри. Вслед за тем лучник неподвижно распростерся на земле.

Покончив с лучниками, монах дал шпоры коню и устремился по пути следования врагов, враги же схватились с Гаргантюа и его отрядом на большой дороге, и число их к этому времени значительно поубавилось, ибо Гаргантюа при помощи своего огромного дерева и при содействии Гимнаста, Понократа, Эвдемона и других учинил им столь великое побоище, что от ужаса у них расстроились чувства и помрачился разум, как если бы перед ними предстала смерть в подлинном своем образе и обличье, и они поспешно начали отступать.

Подобно тому как осел, под хвостом у которого овод Юноны^[231] или же муха, мчится, не разбирая дороги, сбрасывая наземь поклажу, обрывая недоуздок и поводья, ни разу не передохнув и не остановившись, причем со стороны невозможно понять, чего это он так припустился, оттого что вам не видно, что именно его беспокоит, – так же точно бежали обезумевшие эти люди, сами не зная, почему они бегут: их подгонял панический страх, вселившийся в их души.

Тогда монах, видя, что все их помыслы направлены к тому, чтобы как можно скорее утечь, соскочил с коня, взобрался на большой придорожный камень и, не жалея и не щадя собственных сил, стал

поражать беглецов смертоносными ударами грозного своего меча. И столько он умертвил и уложил на месте, что в конце концов меч его разломился на две части. Тут он рассудил, что резню и избиение нужно приостановить, – уцелевшие пусть себе бегут и разносят весть о случившемся.

Все же он поднял секиру одного из убитых, снова взобрался на камень и, следя за тем, как враги бегут и как они натываются на мертвые тела, принуждал их бросать пики, шпаги, копья и пищали; тех же, кто вез с собою связанных паломников, он вышиб из седел, а коней отдал вышеупомянутым паломникам, и велел он им стать неподалеку от него, на опушке леса, рядом с Фанфароном, которого он взял в плен.

Глава XLV

О том, как монах доставил паломников и какое прекрасное слово сказал им Грангузье

Как скоро сшибка кончилась, Гаргантюа со всем своим отрядом, за исключением монаха, поехал обратно, и к вечеру он уже был у Грангузье, а Грангузье в это время, лежа в постели, молил Бога сохранить их и даровать им победу; когда же он увидел, что все они целы и невредимы, то расцеловал их от полноты чувств и спросил про монаха. Гаргантюа же ему на это ответил, что монах, вне всякого сомнения, у врагов.

– Ну так они сами не рады будут, – заметил Грангузье.

И он был прав. Недаром у нас до сих пор существует поговорка: *подпустить кому-нибудь монаха*.

Затем, рассудив, что им необходимо подкрепиться, он велел слугам накормить их, да посытнее. Когда же все было подано, позвали Гаргантюа, однако ж он был так огорчен исчезновением монаха, что не мог ни пить, ни есть.

Но тут нежданно-негаданно появился монах и, еще стоя в воротах, крикнул:

– Гимнаст, братец, холоденького винца мне, холоденького винца!

Выйдя во двор, Гимнаст удостоверился, что это точно брат Жан, а с ним пять паломников и пленный Фанфарон. Потом навстречу ему вышел Гаргантюа и, оказав ему чрезвычайно радушный прием, повел

прямо к Грангузье, и тот стал его расспрашивать, что с ним приключилось. Монах рассказал ему обо всем: как его взяли в плен, как он избавился от лучников, какую резню учинил он на большой дороге, как он отбил паломников и угнал в плен военачальника Фанфарона. После этого начался у них веселый пир.

За столом Грангузье, обратясь к паломникам, любопытствовал, из какого они края и откуда и куда путь держат.

Неспеша ответил за всех:

– Государь! Я – из Сен-Жну, что в Берри, вот он – из Паллюо, этот – из Онзе, вот тот – из Аржи, тот – из Вильбернена. Ходили мы в Сен-Себастьян, что близ Нанта, а теперь, то там, то здесь устраивая привалы, идем восвояси.

– Так, так, – молвил Грангузье. – А зачем вы ходили в Сен-Себастьян?

– Мы ходили помолиться святому, чтобы он чуму от нас отвел, – отвечал Неспеша.

– Да вы что, с ума сошли? – воскликнул Грангузье. – Неужели вы думаете, что святой Севастьян насылает чуму?

– Еще как насылает! – подтвердил Неспеша. – Это мы знаем от нашего проповедника.

– Что? – воскликнул Грангузье. – Эти лжепророки распространяют подобные суеверия? Клеветают на святых угодников Божиих, уподобляют их бесам, которые только и делают, что сеют в мире зло? Это все равно как у Гомера на греческое войско насылает чуму Аполлон, а другие поэты навывдумывали целое сонмище разных Вейовисов^[232] и злых богов. Так же вот в Сине некий ханжа проповедник поучал, что святой Антоний палит огнем ноги, святой Евтропий насылает водянку, святой Гильда – сумасшествие, а святой Жну – подагру. Я его примерно наказал, и хотя он обозвал меня еретиком, однако с того времени ни один ханжа не посмел сунуть нос в мои владения. Так вот, я диву даюсь, как это ваш король не возбранит им проповедовать в его королевстве этакую дичь, – их должно еще строже наказывать, нежели тех, кто насылает чуму при помощи магии и всякого иного колдовства. Чума убивает тело, а эти чертовы обманщики отравляют души бедных простых людей.

В то время как он держал эту речь, с самым решительным видом вошел монах и спросил:

– Вы откуда, горемыки?

– Из Сен-Жну, – отвечали паломники.

– А как там поживает добрый кутила аббат Траншлион^[233]? – спросил монах. – А что у вас едят монахи? Вот как Бог свят, пока вы тут паломничаете, присоседаются они к вашим женам!

– Гм! Гм! За свою-то я не боюсь, – признался Неспеша, – кто ее увидит днем, тот не станет ломать себе шею ради того, чтобы навестить ее ночью.

– Ну, это еще бабушка надвое сказала! – заметил монах. – Твоя жена может быть так же уродлива, как Прозерпина, но если только где-нибудь поблизости завелись монахи, они уж ей проходу не дадут, и то сказать: хороший мастер для всякой вещи найдет применение. Пусть я заболел дурной болезнью, ежели по возвращении вы не найдете, что женки ваши растолстели, потому как даже в тени от монастырской колокольни есть нечто оплодотворяющее.

– Это вроде нильской воды в Египте, если только верить Страбону, – вставил Гаргантюа. – А Плиний в книге седьмой, главе третьей утверждает, что на плодovitость влияют также одежды, телосложение и питание.

Тут Грангузье сказал:

– Идите себе с Богом, бедные люди, да будет вечным вашим вожатаем сам Творец, и впредь не пускайтесь вы в столь бесцельные и беспрокие странствия. Заботьтесь о семьях ваших, трудитесь всяк на своем поприще, наставляйте ваших детей, – словом, живите, как учит вас святой апостол Павел. И тогда вы будете Богом хранимы, ангелы и святые от вас не отступятся и не страшны вам будут ни чума, ни какая-либо иная болезнь.

Затем Гаргантюа провел их в столовую на предмет принятия пищи, однако ж паломники всё только вздыхали и твердили Гаргантюа:

– Блажен тот край, где царствует такой человек! Его слова сильнее укрепили нас в вере и просветили, нежели все проповеди, какие нам довелось слышать в нашем городе.

– Вот об этом-то и говорит Платон в пятой книге *De rep.*, – заметил Гаргантюа, – государства только тогда будут счастливы, когда цари станут философами или же философы – царями.

Затем он велел наполнить их сумы съестными припасами, а фляги – вином и, дабы облегчить им остаток пути, каждому из них дал по коню и денег на харчи.

Глава XLVI

О том, как великодушно поступил Грангузье с пленным Фанфароном

Фанфарона привели к Грангузье, и тот его спросил, что замышляет и затевает Пикрохол и какую цель преследует он внезапным этим переполохом. Фанфарон же ему на это ответил, что намерение и цель Пикрохола – завоевать, буде окажется возможным, всю страну в отместку за обиду, причиненную пекарям.

– Это он уж очень размахнулся, – заметил Грангузье, – на чужой каравай рта не разевай. Времена нынче не те, чтобы завоевывать королевства в ущерб ближнему своему, брату во Христе. Он берет пример с древних, со всех этих Геркулесов, Александров Македонских, Ганнибалов, Сципионов, Цезарей и прочих, но ведь это противоречит евангельскому учению, а по евангельскому учению нам надлежит охранять и оборонять собственные наши земли, владеть ими и править, а не вторгаться с враждебными целями в чужие, и что в былые времена у сарацин и варваров именовалось подвигами, то ныне мы зовем злодейством и разбоем. Сидеть бы ему у себя дома и блюсти в нем порядок, как подобает королю, а не осквернять мой дом и не грабить его дотла, ибо, блюдя надлежащий порядок, он приумножил бы свое достояние, обирая же меня, он сам разорится.

Идите с Богом, живите по правде, указывайте вашему королю на его оплошности и ни в коем случае не давайте ему советов, исходя только из собственной выгоды, ибо вместе с общим достоянием всегда гибнет и частное. Что же касается причитающегося с вас выкупа, то я с вас его не возьму, а кроме того, велю возвратить вам коня и оружие.

Вот как должны поступать соседи и старинные друзья, тем более что распря наша не есть еще настоящая война, – вспомним, что Платон в книге пятой *De rep.*, говоря о вооруженных столкновениях греков между собой, вместо слова «война» употребляет слово «смута» и советует, если уж случится такая напасть, соблюдать величайшую умеренность. Если вы, однако, называете это войной, то все же это

война поверхностная, она не проникла в тайники наших душ, ибо честь ни у кого из нас не была задета, и в общем речь идет лишь о том, чтобы исправить ошибку, допущенную нашими людьми, то есть и вашими и нашими, на какую ошибку вам следовало посмотреть сквозь пальцы, даже если б она была вам доподлинно известна, так как повздорившие скорее заслуживали презрения, а не внимания, и по отношению к ним можно было ограничиться возмещением убытков, что я, со своей стороны, и предложил. Пусть нас рассудит всеправедный Господь, а я готов молить Его о том, чтобы Он послал мне смерть и на моих глазах уничтожил все мое достояние, только бы ни мне, ни людям моим ни в чем его не прогневить.

Сказавши это, Грангузье подозвал монаха и при всех у него спросил:

– Брат Жан, любезный мой друг, это вы взяли в плен присутствующего здесь военачальника Фанфарона?

– Ваше величество, – отвечал монах, – он перед вами, он совершеннолетний, в здравом уме, пусть он сам и расскажет.

Тогда Фанфарон сказал:

– Так, государь, это он взял меня в плен, я открыто признаю себя его пленником.

– Вы с него требуете выкупа? – спросил монаха Грангузье.

– Нет, – отвечал монах. – Я об этом и не помышлял.

– А сколько бы вы желали получить за его пленение? – спросил Грангузье.

– Ничего, ничего, – отвечал монах. – Мне не нужно выкупа.

Тогда Грангузье велел отсчитать монаху в присутствии Фанфарона шестьдесят две тысячи золотых^[234] за его пленение, а тем временем вышеозначенному Фанфарону устроили угощение, и пока он угощался, Грангузье задал ему вопрос, желает ли он остаться у него или же намерен возвратиться к своему королю.

Фанфарон ответил, что он поступит, как Грангузье посоветует.

– В таком случае, – молвил Грангузье, – возвращайтесь к своему королю, и да хранит вас Господь!

Засим он пожаловал ему отличную вьеннскую шпагу^[235] в золотых ножнах с украшениями в виде веточек винограда, ожерелье из драгоценных камней стоимостью в сто шестьдесят тысяч дукатов, каковые драгоценные камни были оправлены в золото, весившее

семьсот две тысячи марок^[236], и сверх того, в знак особой милости, десять тысяч экю наличными^[237]. После беседы с королем Фанфарон сел на своего коня. Гаргантюа дал ему охрану, состоявшую из тридцати латников и ста двадцати лучников под командой Гимнаста, и велел проводить его в случае надобности до самых ворот Ларош-Клермо.

Когда пленник отбыл, монах возвратил Грангузье пожалованные ему шестьдесят две тысячи золотых и сказал:

– Ваше величество, сейчас не время для таких подарков. Подождем, пока война кончится, ведь еще неизвестно, как все обернется, а если война ведется без большого денежного запаса, то, кроме воинской доблести, у нее, значит, никакой другой опоры нет. Звонкие монеты – вот мышцы сражения.

– Ин ладно, – сказал Грангузье, – когда война кончится, я у вас в долгу не останусь, а равно и у всех моих верных слуг.

Глава XLVII

О том, как Грангузье собрал свои легионы, и о том, как Фанфарон убил Бедокура, а затем и сам был убит по приказу Пикрохола

В эти дни из Бесе, Марше-Вье, селения Сен-Жак, из Рено, Парилье, Ривьеры, Рош-Сен-Поля, Вобретона, Потия, Бреемона, Понде-Клана, Кравана, Гранмона, Бурда, Вилломера, Юима, Серже, Юсе, Сен-Луана, Панзу, Кольдро, Верона, Кулена, Шозе, Варена, Бургейля, Иль-Бушара, Круле, Нарси, Канда, Монсоро и прочих смежных владений^[238] к Грангузье явились послы и сказали, что они осведомлены о том, какой ущерб причинил ему Пикрохол, и что издавна существующий между ними союз обязывает их предоставить в его распоряжение все, чем они богаты, – от людей и денег до боевых припасов.

Всего по договорам было прислано денег на сумму сто тридцать четыре миллиона два с половиной золотых экю. Людской состав исчислялся в пятнадцать тысяч латников, тридцать две тысячи всадников легкой кавалерии, восемьдесят девять тысяч пищальников, сто сорок тысяч добровольцев, а к ним было придано одиннадцать

тысяч двести пушек, обыкновенных и двойных, василисков и спиролей, да еще выставлено было сорок семь тысяч землекопов; жалованьем и провиантом все это войско было обеспечено на шесть месяцев и четыре дня. В ответ на это предложение Грангузье не сказал ни «да», ни «нет», – он изъявил послам свою глубокую признательность и объявил, что поведет войну таким образом, что ему не придется губить столько нужных людей. Он ограничился тем, что велел привести в боевую готовность легионы, которые он постоянно держал в Девиньере, Шавиньи, Граво и Кенкене и которые располагали двумя тысячами пятьюстами латников, шестьюдесятью шестью тысячами пехотинцев, двадцатью шестью тысячами пиццальников, двумястами тяжелых орудий, двадцатью двумя тысячами землекопов и шестью тысячами всадников легкой кавалерии, причем ни один из отрядов не испытывал нужды ни в казначеях, ни в маркитантах, ни в кузнецах, ни в оружейниках, ни в других мастерах, без которых в походной жизни не обойдешься, воины же, все до одного, так понаторели в военном искусстве, так хорошо были вооружены, так хорошо умели различать знамена своих отрядов, так хорошо соображали, чего от них требуют начальники, и так беспрекословно им повиновались, так легки были в беге, так тяжелы на руку, так осмотрительны во всех своих действиях, что скорей походили на гармонично звучащий орган или же на слаженный часовой механизм, нежели на армию и ополчение.

Фанфарон по приезде явился к Пикрохолу и во всех подробностях рассказал, что с ним произошло, как он действовал и что довелось ему видеть. В заключение он, употребляя наикрасноречивейшие выражения, стал склонять Пикрохола на мир с Грангузье, которого он теперь признавал за самого порядочного человека на свете, и попытался внушить ему, что стыдно зря обижать соседей, от которых они ничего, кроме хорошего, не видели, а главное-де, вся эта затея кончится весьма убыточно и весьма плачевно для них же самих, ибо силы Пикрохола таковы, что Грангузье легко с ними справится.

Не успел Фанфарон окончить свою речь, как возвысил голос Бедокур:

– Горе владыке, окружившему себя людьми, которых легко подкупить, а таков, я вижу, Фанфарон, ибо мужество столь явно ему изменило, что он, уж верно, готов был предать нас, перейти в стан

врагов и начать сражаться против нас, если б только враги пожелали оставить его у себя; однако ж, подобно тому как людей доблестных прославляют и ценят все, и друзья и недруги, так же точно подлецы всем ясны и никому доверия не внушают, и пусть даже враги и воспользуются ими в корыстных целях, все же они не могут не презирать подлость и предательство.

Слова эти привели Фанфарона в негодование, он выхватил шпагу и проткнул Бедокура чуть повыше левого соска, после чего Бедокур не замедлил отправиться на тот свет, а Фанфарон извлек из его тела шпагу и во всеуслышание объявил:

– Так погибнет всякий, кто будет клеветать на преданного слугу!

Пикрохол при виде окровавленной шпаги и ножен внезапно пришел в ярость.

– Так тебе дали эту шпажонку, – воскликнул он, – чтобы ты у меня на глазах вероломно убил доброго моего друга Бедокура?

Тут он приказал своим лучникам разорвать Фанфарона на части, каковой его приказ был исполнен без промедления и с такою жестокостью, что вся комната была залита кровью; после этого тело Бедокура было похоронено с почестями, а труп Фанфарона был сброшен с крепостной стены в ров.

Весть об этом зверстве разнеслась по всему войску, и многие начали уже роптать на Пикрохола, так что Цапцарап принужден был ему сказать:

– Государь! Мне неизвестно, каков будет исход всего этого предприятия. Одно могу сказать: люди ваши пали духом. Они находят, что довольствия у нас здесь недостаточно, к тому же после двух не то трех вылазок ряды наши сильно поредели. А к неприятелю между тем должны подойти мощные подкрепления. Если нам придется выдерживать осаду, то, на мой взгляд, дело неминуемо кончится для нас полным разгромом.

– Ни черта, ни черта! – сказал Пикрохол. – Вы похожи на мелюнского угря – начинаете кричать еще до того, как с вас сдерут кожу. Пусть только они попробуют!

Глава XLVIII

О том, как Гаргантюа осадил Пикрохола в Ларош-Клермо и как он разбил армию означенного Пикрохола

Гаргантюа принял на себя верховное командование. Отец его остался в крепости и, добрым словом подняв дух войска, посулил великие награды тем, кто совершит какой-либо подвиг. Некоторое время спустя войско достигло Ведского брода и на лодках и по мостам, наведенным на скорую руку, все сразу переправилось на другую сторону. Затем, изучив местоположение города, стоявшего на высоком месте, выгодном для обороны, Гаргантюа порешил обдумать за ночь, как быть далее. Гимнаст, однако ж, ему сказал:

– Государь! Природа и нрав французов таковы, что они молодцы только на первых порах. Тут они бывают злее чертей, а чуть застоятся, так и бабы с ними сладят ^[239]. Я того мнения, что как скоро люди ваши отдохнут и соберутся с силами, тотчас же отдайте приказ идти на приступ.

Мнение Гимнаста признано было разумным. Гаргантюа, развернув свое войско на равнине, оставил за косогором засаду. Монах, взяв с собою шесть отрядов пехоты и двести латников, с великою поспешностью миновал болота и выехал на Луденскую большую дорогу, а Пьюи остался у него внизу.

Приступ между тем продолжался. Люди Пикрохола колебались: то ли им предпринять вылазку и встретиться с неприятелем лицом к лицу, то ли защищать город, не двигаясь с места. Наконец Пикрохол, освирепев, вышел с отрядом латников из замка, и тут его встретили и угостили столь сильной орудийной пальбой, что, дабы не мешать своей артиллерии, непрерывно бившей по холмам, гаргантюисты рассудили за благо отступить к долине. Те, что предприняли вылазку, дрались упорно, но их стрелы летели слишком высоко и никому не причиняли вреда. Часть отряда, выйдя из огня, с остервенением кинулась на наших, но ее постигла неудача: вся она была окружена и смята. Прочие решились отступить, но в это время монах обошел их с тыла, и тут началось беспорядочное и неудержимое бегство. Некоторые из наших готовы были броситься за беглецами, однако ж монах удержал их, – он боялся, что, увлекшись преследованием, они оторвутся от своего отряда, а защищающие город, воспользовавшись этим, ударят на них. Выждав некоторое время и удостоверившись, что вылазок пока не предвидится, монах послал герцога Фронтиста ^[240] сказать Гаргантюа, чтобы тот занял левый холм и, таким образом, не

дал Пикрохолу уйти через левые ворота. Гаргантюа, нимало не медля, послал туда четыре легиона из тех, что находились под командой Себаста^[241], но, еще не достигнув высоты, они сшиблись грудью с Пикрохолом и его рассеявшимся было отрядом. Наши стремительно ринулись на врага – и понесли немалый урон, оттого что с городских стен их осыпали ядрами и стрелами. Увидевши это, Гаргантюа почел за нужное оказать им мощную поддержку, и тут его артиллерия столь яростно начала обстреливать эту часть городской стены, что неприятелю пришлось бросить сюда все свои силы.

Как скоро монах удостоверился, что с той стороны, где он стоит со своими людьми, город никем больше не охраняется, он, движимый беззаветною храбростью, вместе с частью своего отряда бросился к городской стене и взобрался наверх, – он полагал, что неприятеля повергают в страх и трепет не столько те, что с ним бьются, сколько те, что внезапно ударят на него из засады. Все же он не производил ни малейшего шума до тех пор, пока на городскую стену не взобрались все его воины, все, за исключением двухсот латников, которых он оставил на всякий случай. Потом он вдруг заорал диким голосом, его люди подхватили этот крик и, перебив стоявшую у ворот стражу, которая не оказала им никакого сопротивления, распахнули ворота, впустили оставшихся снаружи двести латников, а затем с великим проворством помчались вместе с ними к восточным воротам, где кипел жаркий бой, и, обрушившись на врагов с тыла, опрокинули всю их рать. Видя, что они окружены со всех сторон и что гаргантюисты уже в городе, люди Пикрохола сдались на милость победителя. По приказу монаха враги сложили оружие, как холодное, так и огнестрельное, затем монах распорядился загнать их всех в церкви и запереть, а чтобы они не ушли, приставил к церковным вратам своих ратников и отовсюду набрал перекладин от крестов; затем, отперев восточные ворота, поспешил на помощь к Гаргантюа.

Но тут самонадеянный Пикрохол, вообразив, что это к нему подходит из города подмога, усилил натиск до такой степени, что Гаргантюа крикнул:

– Брат Жан, брат Жан, как же ты, дружище, вовремя!

Тут только Пикрохол и его люди поняли, что все погибло, и бросились кто куда. Гаргантюа преследовал их до самого Вогодри и истреблял нещадно, а затем велел бить отбой.

Глава XLIX

О том, как с Пикрохолом стряслась по дороге беда и как повел себя Гаргантюа после сражения

Пикрохол в отчаянии бросился бежать по направлению к Иль-Бушару, но на Ривьерской дороге конь его споткнулся и упал, и это его так обозлило, что он в исступлении заколол коня мечом. Предложить Пикрохолу другого коня было некому, и он совсем уже подобрался к мельникову ослу, – мельница была тут рядом, – но мукомолы задали Пикрохолу трепку и раздели его догола, а взамен дали какую-то ветошь.

В таком виде поганый злюка зашагал дальше: когда же он перебрался через реку у Пор-Юо, то повстречал старую колдунью и поведал ей свои зловещие предсказания, она же в ответ прорекла, что королевство будет ему возвращено, когда рак свистнет. С тех пор о Пикрохолом ни слуху ни духу. Слышал я, однако ж, что он теперь в Лионе, простым поденщиком, и все такой же злюка, и кто ни приедет в Лион, он сейчас же с вопросом: не слышать ли, чтоб где-нибудь свистнул рак? – видно, не забыл, что нагадала ему старуха, и все надеется вернуть свое королевство.

После того как неприятель отступил, Гаргантюа прежде всего сосчитал своих людей и удостоверился, что пали в бою лишь немногие, а именно несколько пехотинцев из отряда военачальника Тольмера^[242], да еще выстрелом из пищали ранило в грудь Понократа. Затем Гаргантюа отдал приказ отдохнуть и подкрепиться, не покидая, однако ж, своих отрядов, причем казначеи должны были уплатить жителям за съестное, воспретил чинить населению какие бы то ни было обиды, раз этот город снова отошел к Грангузье, а кроме того, приказал всем своим ратникам явиться после обеда на площадь перед замком, – там-де они получают жалованье за полгода вперед, что и было исполнено. После этого он велел оставшимся в живых людям Пикрохола собраться на указанной площади и в присутствии владетельных князей и военачальников обратился к ним с такими словами.

Глава L

Речь, с которой Гаргантюа обратился к побежденным^[243]

– Приснопамятные отцы наши, деды и прадеды по своей природе и духу были таковы, что при благоприятном для них исходе битв они в честь торжества своего и победы предпочитали одним своим человеколюбием возводить трофеи и монументы в сердцах у побежденных, нежели на землях, ими завоеванных, памятники архитектурные, ибо живые человеческие предания об их незлобivosti значили для них больше, нежели мертвый язык колонн, арок и пирамид, коих к тому же может и не пощадить непогода, а равно и людская зависть.

Достаточно вам напомнить, какое мягкосердечие выказали они к бретонцам в день битвы при Сент-Обен-дю-Кормье^[244] и при разрушении Партене^[245]. Вас приводили в восхищение рассказы о том, как милостиво обошлись они с эспаньольскими варварами, разграбившими, опустошившими, разорившими гавань Олонн и весь Тальмондский приморский край.^[246]

Хвалы и приветственные клики, излетавшие из ваших уст и из уст отцов ваших, достигали неба в тот самый час, когда Альфарбал, царь Канарийский, который в жажде все новых и новых завоеваний совершил разбойничье нападение на страну Они и своими пиратскими набегами держал в страхе Арморикские острова и все пограничные области, в конце концов в честном морском бою был разбит и захвачен в плен моим отцом, коему сам Господь оказывал помощь и покровительство. И что же вы думаете? В отличие от других королей и императоров, которые именуют себя католиками^[247], что не мешает им поступать с пленниками жестоко, заточать их в темницы и требовать с них непомерного выкупа, отец мой обошелся с Альфарбалом учтиво и дружелюбно, поместил его в своем дворце, а затем по несказанной доброте своей осыпал его дарами, щедротами, всякого рода дружескими услугами и отпустил на свободу. Что же было потом с Альфарбалом? Возвратившись на родину, он созвал всех владетельных князей и выборных от городов своего королевства, рассказал о том, как великодушно у нас с ним обращались, и попросил незамедлительно вынести решение, которое могло бы послужить примером для всех, –

решение касательно того, как им ответить на нашу учтивую любезность столь же любезною учтивостью. Тогда же было единогласно решено предоставить в полное наше распоряжение все их земли, поместья и все их королевство. После этого Альфарбал сам, своею собственной персоной, вновь прибыл к нам и привел с собой девять тысяч тридцать восемь больших кораблей, нагруженных сокровищами, не только принадлежавшими ему лично и всему его королевскому роду, но и собранными чуть ли не со всех концов страны, ибо, когда его корабли в ожидании ветра вест-норд-ост приставали к берегу, жители, теснясь, бросали туда золото, серебро, кольца, драгоценности, лакомства, снадобья, душистые вещества, циветт, попугаев, пеликанов, мартышек, генетт, дикобразов. Все, кто только дорожил своим добрым именем, почитали за должное принести в дар что-нибудь редкостное. По прибытии Альфарбал вознамерился облобызать моему отцу ноги, – отец почел это неприличным и не допустил до этого: он дружески обнял Альфарбала. Альфарбал заговорил о дарах, – отец мой их отверг, ибо они показались ему слишком богатыми. Альфарбал объявил себя и потомков своих добровольными его рабами и слугами, – отец мой от этого отказался, ибо почел это несправедливым. Альфарбал уступал моему отцу на основании решения выборных все свои земли и все свое королевство и передавал ему указную крепость, подписанную, скрепленную и утвержденную всеми, кому это надлежало, – отец мой и от этого решительно отказался, а грамоты бросил в печь. Кончилось дело тем, что, оценив по достоинству свободное волеизъявление простосердечных канарийцев, отец мой растрогался и от жалости к ним залился слезами, а потом в самых изысканных выражениях, приводя подобающие случаю изречения, постарался преуменьшить благодеяние, которое он оказал канарийцам; такому благодеянию грош, мол, цена, никакой особой любезности он по отношению к ним не выказал, – он просто обязан был это сделать. Но тем более превозносил его Альфарбал. На чем же, однако, порешили? Приняв в соображение, что мы могли бы тиранически потребовать за Альфарбала наивысшую сумму выкупа, то есть два миллиона экю, да еще оставить у себя в качестве заложников старших его сыновей, канарийцы объявили себя вечными нашими данниками и обязались выплачивать нам ежегодно два миллиона золотых монет весом каждая

в двадцать четыре карата. В первый год они нам столько и уплатили, на второй год они по доброй воле уплатили нам два миллиона триста тысяч экю, на третий – два миллиона шестьсот тысяч, на четвертый – ровно три миллиона, и так они по собственному желанию все увеличивали и увеличивали сумму выкупа, пока наконец мы вовсе не отказались от дани. Таково свойство признательности, ибо если время все на свете разрушает и умаляет, то добрые дела оно возвеличивает и приумножает, оттого что благодеяние, щедрою рукою оказанное человеку справедливому, беспрерывно возрастает усилиями благородного его ума и памяти.

Я же, со своей стороны, ни под каким видом не собираюсь изменять нашей фамильной черте, то есть добросердечию, и вот теперь я вас освобождаю и отпускаю, – отныне вы такие же вольные и свободные люди, какими были прежде. Сверх того, при выходе из города вы получите каждый такую сумму, которой вам хватит с семьей на три месяца, а чтобы по дороге на вас не напали мои крестьяне, я дам вам охрану, состоящую из шестисот латников и восьми тысяч пехотинцев под командой моего конюшего Александра, и с этой охраной вы благополучно доберетесь до дому. Храни вас Господь!

Мне очень жаль, что здесь нет Пикрохола, – я бы ему объяснил, что война началась помимо моего желания и что у меня и в мыслях не было таким путем разбогатеть и прославиться. Но раз он исчез с лица земли и никто не знает, куда он пропал, я принужден передать все его королевство сыну его; однако ж сын его слишком мал (он еще не достиг пятилетнего возраста), а потому для руководства и воспитания к нему будут приставлены почтенные по возрасту владетельные князья и ученые люди его королевства. Приняв же в рассуждение, что столь сильно обедневшее королевство легко может быть разорено, если не положить предел алчности и скупости правителей, я поставлю над ними Понократа и облеку его надлежащими полномочиями, и будет он находиться при наследнике до тех пор, пока не признает его способным самостоятельно управлять и вершить дела.

Со всем тем мне ведомо, что порочная и тлетворная склонность попустительствовать злодеям и прощать их ведет к тому, что они, пользуясь этой пагубной страстью миловать всех подряд, безбоязненно совершают новые злодеяния.

Мне ведомо, что Моисей, кротчайший из всех людей, живших тогда на земле, нещадно карал смутьянов, бунтовавших народ израильский.

Мне ведомо, что даже Юлий Цезарь, полководец, давший Цицерону повод сказать о нем, что судьба ничего не могла прибавить к тому, чем он уже владел, и что наивысшая его добродетель заключалась в том, что он только и думал, как бы кого-то спасти или помиловать, и тот в иных случаях строго наказывал зачинщиков мятежей.

По их примеру я требую, чтобы, прежде чем разойтись, вы мне выдали, во-первых, милейшего вашего Марке, чья безрассудная заносчивость явилась предлогом и первопричиною этой войны, во-вторых, его товарищей – пекарей, которые не потрудились тут же загладить его сумасбродство, и, наконец, всех советников, полководцев, военачальников и приближенных Пикрохола, которые ему кадили, которые ему советовали, которые его подбивали нарушить границы и натворить нам таких бед.

Глава LI

О том, как победители-гаргантюисты были награждены после сражения

Как скоро Гаргантюа окончил речь, ему были выданы зачинщики, коих он требовал, за исключением Буяна, Молокососа и де Шваль, ибо они бежали за шесть часов до начала битвы, – один в Аньельское ущелье, другой в Вирскую долину, а третий в Логроньо^[248], бежали без оглядки и без остановки, – и за исключением двух пекарей, павших на поле брани. Гаргантюа не сделал зачинщикам ничего дурного, он только велел им стать к станкам во вновь открытой им книгопечатне.

Затем он приказал всех убитых похоронить с почестями в Нуаретской долине и на Брюльвьеиском поле. Раненых он велел отправить на излечение в свой главный госпиталь. Далее, осведомившись о размерах убытков, причиненных городу и его жителям, он распорядился полностью возместить их на основании тех показаний, которые жители дадут под присягой, а также велел заложить в городе крепость и разместить в ней постоянный гарнизон и

караул, чтобы на будущее время город лучше был защищен от внезапных нападений.

Перед отбытием Гаргантюа соизволил объявить благодарность легионерам, участвовавшим в деле, а затем приказал им стать на зимние квартиры – всем, кроме десятого, отборного, легиона, особенно в этом бою отличившегося, и некоторых военачальников, коих он почел за нужное повезти с собой к Грангузье.

Наконец, к неопишуемой радости доброго короля, воины прибыли во дворец. Король тотчас же задал им пир, да такой великолепный, богатый и роскошный, какого не видывал свет со времен царя Артаксеркса^[249]. Выйдя из-за стола, он распределил между ними всю посуду из своего буфета, общий вес которой достигал веса восемнадцати миллионов четырнадцати золотых безантов и которая состояла из больших античных ваз, больших кувшинов, больших мис, больших чаш, кубков, кувшинчиков, канделябров, чашек, ладьеобразных ваз для цветов, ваз для сластей и прочего тому подобного, причем все это было сделано из чистого золота и украшено камнями, эмалью и резьбой, каковые, по общему мнению, стоили еще дороже золота. Этого мало, – Грангузье велел выдать из своих сундуков по миллиону двести тысяч экю на брата, а еще каждый получил в вечное владение (вечное – при условии, если у него останутся наследники) замок и близлежащие угодья, какие он пожелал. Понократу Грангузье подарил Ларош-Клермо, Гимнасту – Кудре, Эвдемону – Монпансье, Риво – Тольмеру, Итиболу – Монсоро, Акамасу – Канд, Варен – Хиронакту, Граво – Себасту, Кенкене – Александру, Лигре – Софрону и так далее.

Глава LII

О том, как Гаргантюа велел построить для монаха Телемскую обитель^[250]

Оставалось только одарить монаха. Гаргантюа хотел было сделать его аббатом в Сейи, но тот отказался. Тогда Гаргантюа предложил ему на выбор Бургейльское и Сен-Флорентийское аббатства^[251], а была бы, мол, охота, так и то и другое, но монах ответил напрямик, что не желает принимать на себя обязанности по управлению монахами.

– Как я буду управлять другими, раз я не умею управлять самим собой? – сказал он. – Если вы полагаете, что я вам оказал и могу и впредь оказать важные услуги, дозвоьте мне построить аббатство, какое я хочу.

Гаргантюа такая затея понравилась, и он отвел для этой цели всю Телемскую область до самой Луары, находящуюся в двух милях от большого леса Пор-Юо, монах же обратился к нему с просьбой основать на этом месте обитель, не похожую ни на какую другую.

– В таком случае, – сказал Гаргантюа, – прежде всего вокруг нее не должно быть стены, ибо все прочие аббатства обнесены высоченной стеной.

– А как же, – сказал монах, – и ведь это неспроста: за стеной не лучше, чем в застенке, – там и наушничанье, и зависть, и подсиживанье.

– И вот еще что, – продолжал Гаргантюа. – В некоторых монастырях существует обычай: если туда войдет женщина (я разумею женщину добродетельную и целомудренную), то в местах, через которые она проходила, полагается после производить уборку, ну, а там будет заведен такой порядок: тщательно убирать все те помещения, в коих побывают инок или инокиня, которые случайно туда забредут. В монастырях все размерено, рассчитано и расписано по часам, именно поэтому мы постановим, чтобы там не было ни часов, ни циферблатов, – все дела будут делаться по мере надобности и когда удобнее, ибо считать часы – это самая настоящая потеря времени. Какой от этого прок? Глупее глупого сообразовываться со звоном колокола, а не с велениями здравого смысла и разума. *Item*^[252], в наше время идут в монастырь из женщин одни только кривоглазые, хромые, горбатые, уродливые, нескладные, помешанные, слабоумные, порченые и поврежденные, а из мужчин – сопливые, худородные, придурковатые, лишние рты...

– Кстати, – прервал его монах, – куда девать женщин некрасивых и настырных?

– Настырных – в монастырь, – отвечал Гаргантюа.

– Верно, – согласился монах.

– Следственно, туда будут принимать таких мужчин и женщин, которые отличаются красотой, статностью и обходительностью. *Item*, в женские обители мужчины проникают не иначе как тайком и

украдкой, – следственно, вам надлежит ввести правило, воспреещающее женщинам избегать мужского общества, а мужчинам – общества женского. *Item*, как мужчины, так и женщины, поступив в монастырь, после годовичного послушнического искуса должны и обязаны остаться в монастыре на всю жизнь, – следственно, по вашему уставу, как мужчины, так и женщины, поступившие к вам, вольны будут уйти от вас, когда захотят, беспрепятственно и безвозбранно. *Item*, обыкновенно монахи дают три обета, а именно: целомудрия, бедности и послушания, – вот почему вам надлежит провозгласить, что каждый вправе сочетаться законным браком, быть богатым и пользоваться полной свободой. Что касается возрастного ценза, то при поступлении для женщин должен быть установлен предел – от десяти до пятнадцати лет, а для мужчин – от двенадцати до восемнадцати.

Глава LIII

О том, как и на какие деньги была построена Телемская обитель

На построение и устройство обители Гаргантюа отпустил наличными два миллиона семьсот тысяч восемьсот тридцать один «длинношерстый баран» и впредь до окончания всех работ обещал выдавать ежегодно под доходы с реки Дивы один миллион шестьсот шестьдесят девять тысяч эку с изображением солнца и столько же с изображением Плеяд. На содержание обители Гаргантюа определил в год два миллиона триста шестьдесят девять тысяч пятьсот четырнадцать нобилей с изображением розы, каковую сумму монастырская казна должна была получать в виде гарантированной земельной ренты, в подтверждение чего Гаргантюа выдал особые грамоты.

Само здание было построено в виде шестиугольника, с высокими круглыми башнями по углам, диаметром в шестьдесят шагов каждая; все башни были одинаковой величины и одинаковой формы. На севере протекала река Луара. На берегу реки стояла башня, которая называлась Арктика; с восточной стороны высилась другая башня, под названием Калаэра, следующая башня называлась Анатолия, за нею – Мессембрина, затем – Гесперия и, наконец, последняя – Криэра. Пространство между башнями равнялось тремстам двенадцати шагам.

Здание было семиэтажное, если подвальный этаж считать за первый. Своды второго этажа напоминали ручки от корзины. Верхние этажи были оштукатурены фландрским гипсом, замки сводов имели форму лампад. Крыша из лучшего шифера была украшена свинцовыми поделками в виде маленьких человечков и зверьков, искусно сработанных и позолоченных; с крыши, между окнами, на некотором расстоянии от стен, спускались водосточные трубы, расписанные крест-накрест золотом и лазурью; внизу они переходили в широкие желобы, из которых вода стекала под здание, а оттуда в реку.

Здание это было стократ пышнее Бониве, Шамбора и Шантильи^[253]; в нем насчитывалось девять тысяч триста тридцать две жилые комнаты, при каждой из которых была своя уборная, кабинет, гардеробная и молельня и каждая из которых имела выход в большой зал. Башни сообщались между собой изнутри и через жилой корпус при помощи винтовых лестниц, ступени которых были сделаны частью из порфира, частью из нумидийского камня, частью из мрамора-змеевика; длина каждой ступени равнялась двадцати двум футам, высота – трем пальцам, от площадки к площадке вели двенадцать таких ступеней. На каждой площадке были две прекрасные античные арки, откуда шел свет и которые вели в ажурные лоджии, по ширине равные лестнице, а лестница поднималась до самой кровли и увенчивалась павильоном. По таким же точно лестницам можно было с любой стороны пройти в большой зал, а из зала в жилые помещения.

Между башнями Арктикой и Криэрой находились превосходные обширные книгохранилища, в которых были собраны книги на греческом, латинском, еврейском, французском, тосканском и испанском языках, причем на каждом этаже хранились книги только на одном каком-нибудь языке.

Посредине была устроена прекрасная лестница, вход на которую был сделан снаружи и представлял собой арку шириною в шесть туаэ^[254]. Лестница эта была столь соразмерна и широка, что по ней могли одновременно подниматься на самый верх шестеро латников с копьями у бедер.

Между башнями Анатолией и Мессембриной были расположены прекрасные просторные галереи, расписанные по стенам фресками, которые изображали подвиги древних героев, события исторические и виды различных местностей. Между этими башнями были такие же

точно лестница и вход, как и со стороны реки. А над входом крупными античными буквами была выведена следующая надпись.

Глава LIV

Надпись на главных воротах Телемской обители

Идите мимо, лицемер, юрод^[255],
Глупец, урод, святоша-обезьяна,
Монах-лентяй, готовый, словно гот
Иль острогот, не мыться целый год,
Все вы, кто бьет поклоны неустанно,
Вы, интриганы, продавцы обмана,
Болваны, рьяно злобные ханжи, —
Тут не потерпят вас и вашей лжи.

Ваша ложь опять
Стала б распалять
Наши души гневом,
И могла б напевам
Нашим помешать
Ваша ложь опять.

Идите мимо, стряпчий-лиходей,
Клерк, фарисей, палач, мздоимец хваткий,
Писцы, официалы всех мастей,
Синклит судей, который, волка злей,
Рвет у людей последние достатки.
Сдирать вы падки с беззащитных взятки,
Но нас нападки ваши не страшат:
Сюда не вхожи крючкодел и кат.
Кат и крючкодел
Были б не у дел
В этих вольных стенах;
Обижать смиренных —
Вот для вас удел,
Кат и крючкодел.

Идите мимо, скряга-ростовщик,
Пред кем должник трепещет разоренный,
Скупец иссохший, кто стяжать привык,
Кто весь приник к страницам счетных книг,
В кого проник бесовский дух маммоны,
Кто исступленно копит миллионы.
Пусть в раскаленный ад вас ввергнет черт!
Здесь места нет для скотских ваших морд.

Ваши морды тут
Сразу же сочтут
Обликами гадин:
Здесь не любят жадин,
И не подойдут
Ваши морды тут.

Идите мимо, сплетник, грубиян,
Супруг-тиран, угрюмый и ревнивый,
Драчун, задира, скандалист, буян,
Кто вечно пьян и злостью обуян,
И вы, мужлан, от люэса паршивый,
Кастрат пискливый, старец похотливый.
Чтоб не могли вы к нам заразу внести,
Сей вход закрыт для вас, забывших честь.

Честь, хвала, привет
Тем, кто в цвете лет
Предан негам мирным
В зданье сем обширном;
Всем, в ком хвори нет,
Честь, хвала, привет.

Входите к нам с открытою душой,
Как в дом родной, пажи и паладины.
Здесь обеспечен всем доход такой,
Чтоб за едой, забавами, игрой
Ваш шумный рой, веселый и единый,

Не находил причины для кручины.
Приют невинный тут устроен вам,
Учтивым, щедрым, знатным господам.

Господам честным,
Рыцарям лихим
Низость неизвестна;
Здесь не будет тесно
Стройным, удалым
Господам честным.

Входите к нам вы, кем завет Христов
От лжи веков очищен был впервые.
Да защитит вас наш надежный кров
От злых попов, кто яд фальшивых слов
Всегда готов вливать в сердца людские.
В умы живые истины святые
Роняйте, выи яростно круша
Всем, у кого глуха к добру душа!

Душ, к добру глухих,
Книжников пустых,
Нету в этом зданье.
Здесь, где чтут Писанье,
Не найти таких
Душ, к добру глухих.

Входите к нам, изящества цветы,
Чьей красоты не описать словами.
Тут днем и ночью двери отперты
Вам, чьи черты небесные чисты,
Сердца – просты, а очи – словно пламя.
Чтоб знатной даме можно было с нами
Здесь жить годами без забот и свар,
Наш основатель дал нам злата в дар.

В дар золотой металл

Наш король нам дал,
Чтоб от бед сберечь нас;
Тот не канет в вечность,
Кто нам завещал
В дар золотой металл*.

Глава LV

О том, как было устроено жилище телемитов

Посреди внутреннего двора был дивный алебастровый фонтан, увенчанный изображением трех граций, причем каждая грация держала в руках рог изобилия, а вода лилась у них из сосков, рта, ушей, глаз и прочих отверстий.

Стены, выходившие во двор, поддерживались массивными колоннами из халцедона и порфира, которые соединялись прекрасными античными арками, а под этими арками были устроены прелестные галереи, длинные и широкие, украшенные живописью, а также рогами оленей, единорогов, носорогов, клыками гиппопотамов и слонов и другими достопримечательностями.

Помещения для женщин были расположены между башнями Арктикой и Мессембриной. Мужчины занимали все остальные. Напротив женской половины, между двумя первыми башнями, были устроены для развлечения ристалище, ипподром, театр, бассейн для плавания и изумительные трехъярусные бани, где ни в чем не было недостатка, между прочим и в благовонной смолистой воде.

У реки был разбит для прогулок красивый парк с чудным лабиринтом посредине. Между двумя другими башнями помещались манежи для игры в маленький и в большой мяч. Возле башни Криэры был сад, где росли всевозможные плодовые деревья, посаженные по косым линиям. Сад переходил потом в большой парк, где была пропасть всяких зверей.

Между двумя следующими башнями помещалось стрельбище, где стреляли из лука, пищали и арбалета; за башней Гесперией находились одноэтажные службы, за ними – конюшня, а перед службами – соколий двор, коим ведали испытанные сокольничие; туда ежегодно поступали с Крита, из Венеции и Сарматии лучшие образцы разных

птичьих пород: орлы, кречеты, ястребы, балабаны, сапсаны, соколы, ястребы-перепелятники, дербники и другие, которых так искусно приручали и обучали, что, вылетев из замка порезвиться в поле, они ловили все, что придется. Псарня помещалась поодаль, ближе к парку.

Все залы, покои и кабинеты были убраны коврами, менявшимися в зависимости от времени года. Полы были застелены зеленым сукном. Кровати – вышитыми покрывалами. В каждой уборной стояло хрустальное зеркало в усыпанной жемчугом раме из чистого золота, и такой величины оно достигало, что человек виден был в нем во весь рост. Перед залами женской половины находились помещения для парфюмеров и цирюльников, через руки которых непременно должны были пройти мужчины, навещавшие женщин. Парфюмеры каждое утро доставляли в женские покои розовую, апельсиновую и миртовую воду и вносили туда драгоценные курильницы, от коих исходил дым всяческих благоуханий.

Глава LVI

О том, как были одеты монахи и монахини Телемской обители

Первое время после основания обители женщины одевались сообразно своему вкусу и желанию. Впоследствии же они по своей доброй воле ввели следующую реформу.

Они стали носить темно-красные или же розовые чулки ровно на три пальца выше колена. Кайма на чулках была из вышивок и прошивок. Подвязки были круглые, под цвет рукавчиков. Башмачки, туфельки и домашние туфли делались из алого, красного или же лилового бархата, с бахромчатыми прорезами.

Поверх сорочки надевался лиф из шелкового сукна и кринолинчик из тафты, белой, красной, коричневой, серой и т. д. На кринолинчик надевалась юбка из серебряной тафты с прошивками из чистого золота, напоминавшими желобки на колоннах, или же, в зависимости от погоды и по желанию, из атласа, из шелка, из бархата, оранжевая, коричневая, зеленая, пепельная, голубая, светло-желтая, красная, алая, белая, а по праздникам – юбка из золотой парчи, из серебряной ткани, отделанная у кого канителью, у кого вышивками.

Плащи надевались глядя по времени года: из золотой ткани с серебряным шитьем, из красного атласа, отделанного золотой канителью, из белой, голубой, черной, коричневой тафты, шелковой саржи, бархата, серебряной парчи, серебряной ткани, золотых нитей, атласа или же бархата, расшитого всеми возможными золотыми узорами.

Летом вместо плащей носили иногда прелестные марлоты из таких же материй или мавританские накидки из лилового бархата с серебряной канителью, прошитые золотыми нитями, а то – с золотыми шнурами, украшенными по швам мелким индийским жемчугом. А на шляпах неизменно красовался султан под цвет обшлагов, со множеством золотых подвесков. Зимой – плащи из тафты вышеперечисленных цветов, подбитые мехом рыси, черной генетты, калабрийской куницы, соболя и прочими дорогими мехами.

Четки, запястья, цепочки, ожерелья – все это было из драгоценных камней, а именно: карбункулов, рубинов, рубинов-баласов, брильянтов, сапфиров, изумрудов, бирюзы, гранатов, агатов, бериллов и отборного жемчуга, как мелкого, так равно и крупного.

Головные уборы соответствовали времени года: зимой носили французские шляпы, весной – испанские, летом – тосканские, по праздничным же и воскресным дням непременно надевали французские головные уборы, ибо они скромнее и солиднее всех прочих.

У мужчин были свои моды: чулки, шерстяные или же суконные, темно-красные, розовые, белые, черные; бархатные панталоны таких же или приближающихся к этим цветов, с вышивками и прорезами по вкусу каждого; куртки из парчи золотой, парчи серебряной, бархата, атласа, шелка, тафты, таких же цветов, с прорезами, прошивкой и отделкой – всем на загляденье; шнуры – шелковые, таких же цветов, пряжки – золотые, с эмалью; камзолы и кафтаны – из золотой парчи, золотой ткани, серебряной парчи, бархата, расшитые, как кому нравилось; плащи – такие же роскошные, как и у дам; пояса – шелковые, под цвет куртки; у каждого на боку шпага с золоченым эфесом, с золотым острием филигранной работы, в бархатных ножнах одного цвета с панталонами; такие же были и кинжалы; шляпы – из черного бархата, украшенные множеством золотых ягодок и пуговок;

на шляпах красовались усыпанные золотыми блестками белые перья, с которых свешивались рубины, изумруды и т. д.

Впрочем, между мужчинами и женщинами царило такое согласие, что и те и другие ходили в одеждах одной и той же ткани, одинаковой расцветки, а чтобы не вышло ошибки, несколько молодых людей должны были ежеутренне оповещать мужчин, что сегодня собираются надеть дамы, ибо все в обители подчинялось желаниям дам.

Не думайте, однако ж, что мужчины и женщины тратили много времени на то, чтобы с таким вкусом и так пышно наряжаться, – там были особые гардеробщики, каждое утро державшие наготове любую одежду, а также горничные, умевшие в мгновение ока одеть и убрать даму с ног до головы. А чтобы телемиты никогда не ощущали недостатка в одежде, возле Телемского леса было построено огромное светлое здание в полмили длиною и со всеми возможными приспособлениями, – там жили ювелиры, гранильщики, вышивальщики, портные, золотошвеи, бархатники, ковровщики, ткачи, и каждый занимался своим делом и работал на телемских монахов и монахинь. Материи и ткани поставлял им сеньор Навсиклет, и он же каждый год отправлял в обитель с Жемчужных и Каннибальских островов семь кораблей с грузом слитков золота, шелка-сырца, жемчуга и драгоценных камней. Если жемчужины теряли от времени природную свою белизну^[256], их скармливали петухам, на которых это действовало, как слабительное на соколов, и благодаря этому восстанавливали первоначальный их цвет.

Глава LVII

О том, какой у телемитов был уклад жизни

Вся их жизнь была подчинена не законам, не уставам и не правилам, а их собственной доброй воле и хотению. Вставали они когда вздумается, пили, ели, трудились, спали когда заблагорассудится; никто не будил их, никто не неволил их пить, есть или еще что-либо делать. Такой порядок завел Гаргантюа. Их устав состоял только из одного правила:

ДЕЛАЙ ЧТО ХОЧЕШЬ,

ибо людей свободных, происходящих от добрых родителей, просвещенных, вращающихся в порядочном обществе, сама природа наделяет инстинктом и побудительною силой, которые постоянно наставляют их на добрые дела и отвлекают от порока, и сила эта зовется у них честью. Но когда тех же самых людей давят и гнетут подлое насилие и принуждение, они обращают благородный свой пыл, с которым они добровольно устремлялись к добродетели, на то, чтобы сбросить с себя и свергнуть ярмо рабства, ибо нас искони влечет к запретному и мы жаждем того, в чем нам отказано.

Благодаря свободе у телемитов возникло похвальное стремление делать всем то, чего, по-видимому, хотелось кому-нибудь одному. Если кто-нибудь из мужчин или женщин предлагал: «Выпьем!» – то выпивали все; если кто-нибудь предлагал: «Сыграем!» – то играли все; если кто-нибудь предлагал: «Пойдемте порезвимся в поле» – то шли все. Если кто-нибудь заговаривал о соколиной или же другой охоте, женщины тотчас садились на добрых иноходцев, на парадных верховых коней и сажали ястреба-перепелятника, сапсана или же дербника себе на руку, которую плотно облегал перчатка; мужчины брали с собой других птиц.

Все это были люди весьма сведущие, среди них не оказалось ни одного мужчины и ни одной женщины, которые не умели бы читать, писать, играть на музыкальных инструментах, говорить на пяти или шести языках и на каждом из них сочинять и стихи и прозу. Нигде, кроме Телемской обители, не было столь отважных и учтивых кавалеров, столь неутомимых в ходьбе и искусных в верховой езде, столь сильных, подвижных, столь искусно владевших любым родом оружия; нигде, кроме Телемской обители, не было столь нарядных и столь изящных, всегда веселых дам, отменных рукодельниц, отменных мастериц по части шитья, охотниц до всяких почтенных и неподневольных женских занятий.

Вот почему, когда кто-нибудь из мужчин бывал вынужден покинуть обитель, то ли по желанию родителей, то ли по какой-либо другой причине, он увозил с собою одну из женщин, именно ту, которая благосклонно принимала его ухаживания, и они вступали в брак; они и в Телеме жили в мире и согласии, а уж поженившись, еще того лучше; до конца дней своих они любили друг друга так же, как в день свадьбы.

Да, чтобы не забыть: приведу вам загадку, высеченную на медной доске, которая была обнаружена в фундаменте обители. Гласит она буквально следующее.

Глава LVIII

Пророческая загадка [\[257\]](#)

Мечтающий о счастье сын земли,
Душой воспрям, моим речам внемли!
Коль веришь ты, что может человек
Истолковать светил небесных бег
И силой прозорливости своей
Предугадать дела грядущих дней
И что божественное Провиденье
Ему порой дарует позволение, —
Как утверждают книги мудрецов, —
Проникнуть в судьбы будущих веков,
Прислушайся, и я тебе открою,
Что этой осенью или зимою
Откуда-то придут в наш край родимый
Такие люди, коим нестерпимы
Ни отдых, ни веселие, ни смех
И кои, не считая то за грех,
Людей любого званья совратят,
Повсюду сея распрю и разлад.
И если кто-нибудь любой ценой
Решит пойти дорогою такой,
Того слова прельстительные их
Натравят на друзей и на родных.
Не будет стыдно дерзостному сыну
Вонзить кинжал отцу родному в спину,
И даже на носителей корон
Меч подданными будет занесен,
Ибо они себе составят мненье,
Забыв о долге и повиновенье,
Что всем поочередно суждено

То вверх всплывать, то вновь идти на дно.
И это породит так много споров,
Так много перебранок и раздоров,
Что худшего история не знала,
Хотя известно ей чудес немало.
В ту пору многих доблестных людей,
Кого толкнет в водоворот страстей
Их молодой и легковёрный пыл,
Постигнет смерть в расцвете лет и сил.
И кто борьбою этой увлечется,
Тот больше от нее не оторвется,
Пока небесный и земной простор
Не преисполнит шумом свар и ссор.
Повсюду станут воздавать почет
Не тем, кто справедлив, а тем, кто лжет,
Ибо рассудок подчинится слепо
Сужденьям черни, темной и свирепой,
К соблазну жадной, подлой, суеверной.
О, сей потоп, прискорбный и безмерный!
Потопом смуту вправо я назвать:
Она не станет времени терять,
И всю страну охватит, и не минет,
Пока бог весть откуда не нахлынет
Поток воды, скрывая с головою
Всех тех, кто, увлеченный пылом боя,
Свой дух в сраженьях так ожесточит,
Что и скотам безвинным не простит,
Зачем покорно целыми стадами
Они идут со всеми потрохами
Не идолам на жертвоприношенье,
А смертным на обычное съеденье.
Теперь и вы поймете без труда,
Что эта неизбывная вражда
В изрядное расстройство и кручину
Введет шарообразную махину!
И даже те, кому она мила,
Кто ей не хочет гибели и зла,

Попробуют, усилий не жалея,
Закрепостить ее и править ею
Так мудро, что останется несчастной
Лишь вопиять к создателю всечасно.
И в довершение бед наступит день,
Когда весь небосвод обложит тень,
Светило дня плотнее закрывая,
Чем мрак затмения или тьма ночная,
И встанет между солнцем и землей
Глухой, непроницаемой стеной,
И в мире запустенье воцарится.
Но раньше, чем все это совершится,
Подземными толчками будет он
Сильнее и внезапней потрясен,
Чем Этна в час, когда рука Кронида
Низринула ее на титанида,
И чем громады энарийских скал
В тот страшный день, когда Тифон восстал
И принялся, гордыней обуян,
Швырять мятежно горы в океан.
Итак, земля за краткие мгновенья
Претерпит столь большие разрушенья,
Что те, кто смог ее поработить,
Не станут больше властью дорожить.
Тогда сердца исполнятся желаньем
Покончить с этим долгим состязаньем,
Поскольку вышесказанный поток
Заставит всех пуститься наутек.
Однако до того, как убежать,
Еще успеет каждый увидеть
Огонь, разлившийся по небосводу,
Чтоб высушить нахлынувшую воду.
Когда ж пройдут событий этих дни,
Да будут с ликованием одни
Богатствами и манною небесной
Награждены обильно и чудесно,
Другие ж превратятся в бедняков.

Итак, теперь, когда в конце концов
Грядущее я вам истолковал,
Любой из вас свою судьбу узнал.
Сдержал я слово. О, сколь счастлив тот,
Кто до конца такого доживет!*

Как скоро чтение этого документа окончилось, Гаргантюа глубоко вздохнул и сказал присутствующим:

– Люди, преданные евангельскому учению, подвергаются гонениям с давних пор, однако ж счастлив тот, кто, не смущаясь этими гонениями и не соблазняясь и не обольщаясь влечениями плоти, напрямик идет к цели, которую преуказал нам Господь устами возлюбленного своего Сына.

– А как вы полагаете, – спросил монах, – что заключает в себе и что означает эта загадка?

– Что? – переспросил Гаргантюа. – Раскрытие и утверждение божественной истины.

– Клянусь святым Годераном, я эту загадку совсем по-другому толкую! – воскликнул монах. – Это же слог пророка Мерлина^[258]! Вычитывайте в ней любые иносказания, придавайте ей самый глубокий смысл, выдумывайте сколько вашей душе угодно – и вы и все прочие. А я вижу здесь только один смысл, то есть описание игры в мяч, впрочем довольно туманное. Совратители людей – это игроки в мяч, обыкновенно состоящие между собой в дружеских отношениях. После двух подач мяча один из них выходит из игры, а другой начинает. Верят первому, кто крикнет, как пролетит мяч: над или под веревкой. Поток воды – это пот; плетенка ракетки – из бараньих или же козьих кишок; шарообразная махина – это мяч. После игры обычай таков: обсушиться возле яркого огня, переменить сорочку, а потом с удовольствием сесть за стол, при этом особенно весело пируют те, кто выиграл. И – гуляй, душа!

Конец

**Пантагрюэль, король дипсодов, показанный в
его доподлинном виде со всеми его
ужасающими деяниями и подвигами
Сочинение покойного магистра
Алькофрибаса, извлекателя квинтэссенции**

Десятистишие мэтра Гюга Салеля [\[259\]](#),

Коль автор вправе похвалу снискать,
Приятное с полезным сочетав,
Тебя читатель должен прославлять
Затем, что, шуточный предмет избрав,
Сумел ты эту повесть написать,
Где столько истин, всем полезных, скрыто.
Мне кажется, я слышу Демокрита,
Чей смех бичует глупости людские.
Пусть книга будет в наши дни забыта, —
Пиши: ее поймут века другие*.

От автора

Славнейшие и доблестнейшие воители, люди знатные и простые, любители чтения увлекательного и благопристойного! Вы не так давно видели, читали и изучали *Великие и бесподобные хроники об огромном великане Гаргантюа* и отнеслись к этой книге с таким же доверием, с каким люди истинно верующие относятся к Библии или же к Святому евангелию, и не раз при встрече с почтенными дамами и благородными девицами вместо любовных речей вы услаждали их слух извлеченными из этой книги забавными и длинными рассказами, за что вам честь и хвала и вечная память!

Будь моя воля, я бы всем и каждому велел позабыть о своих обязанностях, пренебречь своими занятиями и бросить свои дела, дабы

все свое время посвятить этим рассказам, так чтобы никакие посторонние предметы не отвлекали рассказчиков и мыслей их не занимали, – таким путем все в конце концов выучили бы эти рассказы наизусть, и, в случае если бы книгопечатание прекратилось или если бы все книги почему-либо погибли, каждый мог бы слово в слово пересказать сию повесть своим детям и передать ее наследникам своим и потомкам как бы из рук в руки, точно некую религиозную каббалу, ибо пользы от нее больше, чем, вероятно, полагает шайка покрытых болячками самохвалов, еще меньше понимающих в забавных этих приключениях, нежели Ракле в *Институциях*.^[260]

Многие из моих знакомых высокопоставленных сеньоров, отправившись на охоту по крупному зверю или же на охоту соколиную и не найдя зверя в том месте, которое указал ловчий, или же если сокол упустил добычу, бывали, как вы сами понимаете, сильно огорчены, и всякий раз поднимали их дух и разгоняли их тоску бесподобные деяния упомянутого Гаргантюа.

Бывают и такие случаи, и это совсем не враки: у человека адски болят зубы, просадит он на лекарей все свое достояние, а толку никакого, и вот оказывается, что самое действительное средство – это обернуть вышеназванные *Хроники* в добротное полотно, предварительно хорошенько его прогрев, сверху посыпать порошком из сухих кашек и приложить к больному месту.

А уж про бедных венериков и подагриков говорить нечего! Сколько раз приходилось нам видеть их после длительных втираний и смазываний! Лица у них блестят, как замки на дверях кладовой, где хранится сало, зубы стучат, точно клавиши органа или же спинета, а изо рта брызжет пена, точно у кабана, которого загнали собаки! Чем же они тогда занимаются? Единственное их утешение – послушать несколько страниц из вышеуказанной книги, и как же они чертыхаются, если в то время, пока их держат в парильне, чтение не приносит им существенного облегчения, – точь-в-точь как роженицы, когда им читают житие св. Маргариты!^[261]

Что ж, по-вашему, это безделица? Найдите мне на любом языке и в любой отрасли знания книжку, которая обладала бы такими же свойствами, особенностями и преимуществами, и я куплю вам полпинты требухи. Не найдете, милостивые государи, не найдете! Это книга в своем роде единственная, равных себе не имеющая и

беспримерная. Я готов утверждать это под страхом любой кары, вплоть до костра, но только не включительно, а *исключительно*. Те же, кто будет утверждать обратное, суть предопределенцы, отщепенцы, совратители и соблазнитель.

Правда, такие выдающиеся произведения, как *Феспент*, *Неистовый Роланд*, *Роберт-Дьявол*, *Фьерабрас*, *Гийом Бесстрашный*, *Гюон Бордоский*, *Мандевиль* и *Матабрюна*^[262], обладают некими таинственными свойствами, но с той книгой, о которой здесь идет речь, они сравнения не выдерживают. Громадная выгода и польза от вышеупомянутой гаргантюинской хроники общеизвестна, непреложное чему доказательство состоит в том, что у книгопродавцев она разошлась за два года в таком количестве, в каком Библия не расходилась в течение девяти лет.

А чтобы вам было чем развлекаться и впредь, я, покорнейший слуга ваш, ныне предлагаю вашему вниманию другую книгу в таком же духе, впрочем несколько более достоверную и правдоподобную, нежели та. Можете мне поверить (если только у вас нет против меня какого-либо предубеждения), что я толкую в ней обо всем не так, как евреи толкуют закон Божий. Я не так воспитан, мне еще не случалось лгать или же передавать за верное то, чего на самом деле не было. Я пишу, как те протобести, то бишь протонотарии, которые, вместо того чтобы составлять жития святых мучеников и угодников, сочиняют любовные историйки про угодников дамских. *Quod vidimus testamur*^[263]. Я веду рассказ о страшных деяниях и подвигах Пантагрюэля, а я у него прослужил от молодых ногтей и до самых последних дней, на днях же я получил у него позволение^[264] посетить те края, где я жил, когда у меня еще молоко на губах не обсохло, и узнать, кто еще из моей родни существует на свете.

Итак, заканчивая этот пролог, я долгом своим почитаю сказать, что готов прозаложить всем чертям на свете тело свое и душу, всего себя со всеми потрохами, если на протяжении этой истории хоть раз прилгну. Но уж и вас чтоб спалил антонов огонь, чтоб падучая вас била, чтоб молния вас убила, чтоб от язв на ногах вам охрометь, чтоб от поноса вам отощать, чтоб во всем теле у вас приключилось трясение, а в заднем проходе воспаление, чтоб вас, как Содом и Гоморру, поглотили сера, огонь и пучина морская, если вы не будете

твердо верить всему, о чем я поведаю вам в предлагаемой мною хронике!

Глава I

О происхождении и древности рода великого Пантагрюэля

Я почитаю не излишним и не бесполезным, раз у нас есть досуг, напомнить вам, откуда ведет начало свое и происхождение добрый Пантагрюэль, ибо ведомо мне, что все добрые историографы так именно и составляли свои хроники, и не только греки, арабы и язычники, но и авторы Священного писания, как, например, высокочтимый евангелист Лука и евангелист Матфей.

Надобно вам знать, что в начале мира (я веду рассказ свой издавна, – если считать по способу древних друидов^[265], то это было более сорока сороков ночей тому назад), вскоре после того как Авель пал от руки своего брата Каина, земля, впитав в себя кровь праведника, уродила множество всяких плодов, какие только в ее лоне произрастают, в особенности же так много кизилия, что приснопамятный этот год был назван годом крупного кизилия, ибо три его ягоды составляли целый буасо.

В тот год греки стали считать время на календы, в марте не было Великого поста, а первая половина августа была в мае. Кажется, на октябрь этого года или, если только не ошибаюсь, на сентябрь, – а я страх как боюсь ошибиться, – пришла неделя, известная нам по летописям под названием семипятничной, ибо на этой неделе бывает семь пятниц по причине високосной нерегулярности, в связи с чем солнце, точно хронец, слегка пошатнулось влево, луна отклонилась от своей орбиты более чем на пять туаз, и было ясно видно сотрясение так называемого неподвижного небосвода, столь сильное, что средняя Плеяда, покинув спутников своих, отклонилась в сторону линии равноденствия, а звезда, именуемая Колосом, покинула созвездие Девы и двинулась по направлению к Весам, – все это были явления столь грозные и столь трудные и недоступные для понимания, что астрологи обломали об них все зубы, а зубы-то у них, должно полагать, были ох какие длинные, коли могли они так далеко доставать!

Да будет вам известно, что все ели помянутый кизиль с удовольствием, ибо он был хорош на взгляд и приятен на вкус, но подобно тому как Ной, этот святой человек, которому мы так обязаны и признательны за то, что он взрастил для нас виноград, из коего мы добываем нектароподобный, восхитительный, упоительный, веселящий, удивительный, божественный напиток, именуемый *хмельным*, – подобно тому как Ной, вкушая его, перехватил, ибо не подозревал о силе его действия и о его крепости, так же точно мужчины и женщины, жившие в те времена, накнулись на прекрасные крупные ягоды кизиля. И от сего с ними произошли всякие несчастья, ибо у всех у них появились ужасные опухоли, но только в разных местах.

У иных пухнул живот, да так, что это уж был не живот, а здоровенная бочка; на них было написано: *Ventrem omnipotentem*^[266], и все это были люди порядочные и изрядные шутники, от коих впоследствии произошли святой Пузан и Канунпоста.

У иных росли плечи, да так, что этих горбунов стали называть *монтиферами*, то есть горноносцами, – подобных им вы и сейчас еще можете наблюдать среди лиц обоего пола и разных состояний, и от них произошел Эзоп^[267], о поучительных деяниях и изречениях коего вы имеете возможность прочитать в книге.

У иных вытягивался в длину орган, именуемый *пахарем*, – он становился на диво длинным, дюжим, ражим, пригожим, цветущим, торчащим вверх на античный манер, и люди пользовались им как поясом и раз пять или шесть обматывали его вокруг туловища. Когда же он находился в стоячем положении, а ветер дул людям в спину, то в эту минуту при взгляде на них можно было подумать, что это играющие в кентен выставили пики. Порода этих людей исчезла, по крайней мере так утверждают женщины, ибо они постоянно плачутся, что

Нет больше этих толстячков и т. д., —

конец песенки вам известен.

У иных отрастали яички и принимали такие чудовищные размеры, что в мюид могло поместиться штуки три, не больше.

Отсюда ведут свое происхождение лотарингские яички, которых гульфик не вмещает, так что они обретаются в глубине штанов.

У иных росли ноги, росли стопы, и при взгляде на таких людей можно было подумать, что перед вами не то журавли, не то фламинго или же что это люди на ходулях, которых школяры называют на своем языке *двустопными*.

У иных увеличивался в размерах нос до такой степени, что становился похож на трубку от перегонного куба, и был он весь испещрен жилками, усеян пупырышками, весь опухший, сизо-багровый, угреватый, покрытый бутончиками бутонов, прошитый красными нитями, – такой нос вы могли видеть у каноника по имени не то Панзу, не то Пузу, да еще у анжерского лекаря по имени Культяп. Некоторые из тех, кто произошел от этой породы людей, возымели пристрастие к ячменному отвару, большинство же пристрастилось к виноградному соку. От них ведут свое происхождение Назон и Овидий^[268], а равно и все те, о коих сказано: *Ne reminiscaris*.^[269]

У иных росли уши, и такие они становились большие, что из одного уха люди делали себе и куртку, и штаны, и камзол, а другим накрывались, как испанским плащом, и говорят, что в Бурбонне доньне сохранилась порода людей, благодаря которой бурбоннезские уши вошли в поговорку.

Иные же росли и вдоль и поперек. От них-то и произошли великаны.

А от них – Пантагрюэль;^[270]
И первым был Шальброт,
Шальброт родил Сараброта,
Сараброт родил Фариброта,
Фариброт родил Хуртали, великого охотника до супов,
царствовавшего во времена потопа,
Хуртали родил Немврода,
Немврод родил Атласа, подпиравшего плечами небо, чтобы оно не упало,
Атлас родил Голиафа,
Голиаф родил Эрикса, первого фокусника,
Эрикс родил Тита,
Тит родил Эриона,
Эрион родил Полифема,

Полифем родил Кака,
Как родил Этиона, первого подхватившего дурную болезнь,
оттого что не пил летом холодного вина, о чем у нас есть
свидетельство Бертакино,
Этион родил Энкелада,
Энкелад родил Кея,
Кей родил Тифона,
Тифон родил Алоея,
Алоей родил Ота,
От родил Эгеона,
Эгеон родил сторукого Бриарей,
Бриарей родил Порфириона,
Порфирион родил Адамастора,
Адамастор родил Антея,
Антея родил Агафона,
Агафон родил Пора, с которым воевал Александр Великий,
Пор родил Аранфа,
Аранф родил Габбару, установившего обычай выпивать за чье-
либо здоровье,
Габбара родил Голиафа Секундильского,
Голиаф родил Оффота, которому благодаря его длинному носу
было очень удобно пить из отверстия в бочке,
Оффот родил Артахей,
Артахей родил Оромедона,
Оромедон родил Геммагога, изобретателя башмаков с загнутыми
вверх острыми носками,
Геммагог родил Сизифа,
Сизиф родил Титанов, от коих произошел Геркулес,
Геркулес родил Енака, великого искусника по части снятия с рук
клещей,
Енак родил Фьерабраса, побежденного пэром Франции Оливье,
другом Роланда,
Фьерабрас родил Морганта^[271], первого человека на свете,
который играл в кости, надев очки,
Моргант родил Фракасса, о котором написал Мерлин Коккай^[272],
Фракасс родил Феррагуса,

Феррагус родил Мухолова, первого, кто начал коптить бычьи языки на дымовой трубе, а прежде их солили, как ветчину,
Мухолов родил Боливоракса,
Боливоракс родил Копуна,
Копун родил Гайоффа, у которого яички были сделаны из тополя,
а детородный член из рябины,
Гайофф родил Живоглота,
Живоглот родил Брюльфера,
Брюльфер родил Жру,
Жру родил Галаада, изобретателя винных бутылок,
Галаад родил Мирланго,
Мирланго родил Галаффра,
Галаффр родил Тяжеловеса,
Тяжеловес родил Робоастра,
Робоастр родил Сортибранта Конимбрского,
Сортибрант родил Брюланта Монмирейского,
Брюлант родил Брюйе, побежденного Ожье Датчанином, пэром Франции,
Брюйе родил Мобрена,
Мобрен родил Немогу,
Немогу родил Аклебака,
Аклебак родил Нестоита,
Нестоит родил Грангузье,
Грангузье родил Гаргантюа,
Гаргантюа родил доблестного Пантагрюэля, моего господина.

Я предвижу, что, когда вы прочтете это место, у вас возникнет вполне законное недоумение, и вы спросите: «Как же это так? Ведь во время потопа погибли все, за исключением Ноя и еще семи человек, которых он взял с собою в ковчег, однако ж в их число упомянутый Хуртали не попал?»

Вопрос, по правде говоря, разумный и сам собою напрашивающийся, но мой ответ, я думаю, вас удовлетворит, или у меня плохо проконопачена голова. На свете меня в то время не было, брат же с потолка я не намерен, и я сошлюсь на масоретов, еврейских истолкователей Священного писания: масореты положительно утверждают, что вышеназванного Хуртали в Ноевом ковчеге не было, оттого что не мог он туда войти, – слишком он был велик, – он сидел

на ковчеге верхом и болтал ногами, как мальчишки на деревянных конях или же как впоследствии убитый при Мариньяно громадный Бернский бык^[273], восседавший на тяжелом орудии, а у этого верхового животного, бесспорно, изящная и легкая иноходь. Благодаря этому Хуртали оказался вторым после Бога спасителем помянутого ковчега, ибо он предотвратил кораблекрушение: он с помощью ног приводил ковчег в движение и поворачивал его в любую сторону, так что его ноги служили ковчегу как бы рулем. Находившиеся в ковчеге передавали ему по трубе достаточное количество съестного, ибо почитали Хуртали за своего благодетеля, и время от времени переговаривались с ним, как Икароменипп с Юпитером^[274], о чем поведал нам Лукиан.

Ну как, вы все поняли? В таком случае хлопните винца, только не разбавляйте водой. Не верится вам, что ли? «Ну и мне тоже не верится», – сказала кума.

Глава II

О рождении грозного Пантагрюэля

В пятисотдвадцатичетырехлетнем возрасте Гаргантюа прижил сына Пантагрюэля со своей женой Бадбек, дочерью короля амавров^[275], населяющих Утопию. Бадбек умерла от родов, так как ребенок оказался необыкновенно большим и тяжелым и мог появиться на свет лишь ценою жизни матери.

Дабы вполне уяснить себе, какие причины и основания были для того, чтобы дать младенцу при крещении такое имя, примите в рассуждение, что в тот год во всей Африке стояла великая сушь: дождя не было тридцать шесть месяцев, три недели, четыре дня и тринадцать с лишком часов, солнце же так немилосердно пекло, что вся земля высохла, – даже во времена Илии не было такой жары, как тогда, ибо на всей земле не осталось ни единого деревца, на котором сохранился хотя бы один-единственный листик или цветок. Трава пожелтела, реки обезводели, источники иссякли; несчастные рыбы, коих покинула родная стихия, бились на земле и страшно кричали; из-за отсутствия росы птицы падали наземь; волки, лисицы, олени, кабаны, лани, зайцы, кролики, ласки, куницы-белодушки, барсуки и другие

животные валялись на полях мертвые, с разинутыми пастьями. На людей жалко было смотреть. Они бродили, высунув язык, точно борзые после шестичасовой охоты; иные бросались в колодцы, иные в поисках тени залезали в брюхо коровы, – Гомер называет таких людей *алибантами*. Все кругом как вымерло. Нельзя было без жалости смотреть на тщетные усилия людей, пытавшихся принять меры против этой ужасающей жажды. Больших трудов стоило, например, уберечь в церквах святуую воду, чтобы ее всю сразу не извели. На совете, который господа кардиналы держали со святейшим отцом, было постановлено, чтобы больше одного раза никому святой воды не давать. В церкви, однако ж, всегда можно было видеть несколько десятков несчастных жаждущих, обступивших того, кто раздавал воду, и раскрывавших рты в надежде, что им, как злому богачу из притчи о Лазаре, достанется хоть капелька, иначе, мол, эта капелька пропадет зря. Блажен был тот, кто обладал тогда холодным погребом с изрядным запасом воды!

Один философ, поставив перед собой вопрос, отчего морская вода солонa, замечает, что когда Феб дал править светозарною своею колесницею своему сыну Фаэтону, упомянутый Фаэтон, новичок в этом деле, заблудился и, вместо того чтобы держаться эклиптики, проходящей между тропиками солнечной сферы, оказался так близко от земли, что все находившиеся под ним страны высохли, а значительная часть неба сгорела, – именно та, которую философы называют *via lactea*^[276], неучи же – *дорогою святого Иакова*, хотя славнейшие из поэтов уверяют, что это именно то место, куда пролилось молоко Юноны, когда она кормила грудью Геркулеса. Одним словом, земля от страшной жары покрылась невероятно обильным потом и насытила им море, вот отчего море и стало соленым, так как всякий пот солон. Вы в этом легко можете убедиться, стоит вам только попробовать либо ваш собственный пот, либо пот венериков, которых врачи заставляют потеть, – разницы тут нет никакой.

Нечто подобное произошло и в тот год, о котором здесь идет речь, ибо в одну из пятниц, когда все, преисполнившись особого благоговения, принимали участие в торжественном служении с чтением множества молитв и пением прекрасных песнопений и молили всемогущего Бога призреть благосердием своим на таковое ужасное бедствие, вдруг стало явственно видно, что из земли

проступают крупные капли влаги, как у человека во время сильной испарины. Бедный народ обрадовался – он вообразил, что это ему будет на пользу, ибо иные утверждали, что в воздухе не осталось ни капли влаги, дождя, следственно, ожидать не приходится, и земля-де восполняет этот недостаток. Люди ученые уверяли, что это у антиподов прошел дождь, о каковом дожде Сенека, толкуя о происхождении и истоках реки Нила, упоминает в четвертой книге *Questionum naturalium*^[277]^[278]. Все они, однако, ошибались, ибо как скоро молебствие окончилось и каждому захотелось напиться этой росы вволю, оказалось, что это рассол, и притом еще хуже и солонее морской воды.

И вот именно потому, что Пантагрюэль родился в этот самый день, отец и дал ему такое имя, ибо *панта* по-гречески означает «все», а *грюэль* на языке агарян означает «жаждущий», и понимать это надо было, во-первых, так, что в день его рождения весь мир испытывал жажду, а во-вторых, что отец в пророческом озарении уже провидел тот день, когда сын его станет владыкою жаждущих, чему он незамедлительно нашел подтверждение в другом, еще более явном знаке.

Дело в том, что когда жена его Бадбек производила на свет и повивальные бабки у нее принимали, то сначала из ее утробы вышло шестьдесят восемь погонщиков мулов, причем каждый вел под уздцы мула, навьюченного солью, потом вышло девять дромадеров, тащивших ветчину и копченые бычьи языки, потом семь верблюдов с грузом угрей, потом, наконец, двадцать пять возов с луком-пореем, чесноком и зеленым луком, и обоз этот навел на помянутых бабок страх. Впрочем, некоторые из них заметили:

– Ох, сколько вкусных вещей! Это потому, надо быть, что мы пьем порциями детскими, а не немецкими. Нет, это добрый знак, от такой пищи позывает на вино.

А пока они судачили, появился на свет и сам Пантагрюэль, лохматый, как медведь, и при виде его одна из повитух прорекла:

– Родился он весь в волосах, стало быть, натворит чудес, и если только будет жить, то уж поживет!

Глава III

О том, как скорбел Гаргантюа по случаю смерти своей

жены Бадбек

Когда Пантагрюэль родился, кто всех более был ошеломлен и растерян? Его отец Гаргантюа. Ибо, видя, что его жена Бадбек скончалась, и в то же самое время видя, что новорожденный сын его Пантагрюэль так прекрасен и так громаден, он не знал, что ему делать и что говорить; сомнение же, обуревавшее его, заключалось в следующем: он колебался, то ли ему плакать от горя, что у него умерла жена, то ли смеяться от радости, что у него родился сын. Он нашел логические доводы в пользу и того и другого, и это-то как раз его и удручало, ибо хотя он отлично умел рассуждать *in modo et figura*, однако разрешить свое недоумение никак не мог и, запутываясь все больше и больше, метался, как мышь в мышеловке, бился, как коршун в тенетах.

– Что же мне, плакать? – рассуждал он сам с собой. – Да. А почему? Скончалась моя милая женушка, такая, сякая, этакая, разэтакая. Никогда уж больше я ее не увижу, другой такой никогда не найду, – это для меня потеря невознаградимая. Господи Боже, чем я Тебя прогневил, за что Ты меня наказуешь? Зачем не послал Ты мне смерть раньше, чем ей? Все равно без нее мне и жизнь не в жизнь. Ах, Бадбек, светик мой, малышечка, крошечка, крохотулечка, никогда-то я тебя больше не увижу! О бедный Пантагрюэль! Нет у тебя милой мамы, ласковой кормилицы, дорогой наставницы! О коварная смерть! Как безжалостно, как жестоко ты со мной поступила, похитив у меня ту, которая имела все права на бессмертие!

Произнося эти слова, он ревел коровой, но потом вдруг, вспомнив о Пантагрюэле, ржал, как жеребец.

– Ах ты, мой сыночек! – продолжал он. – Шалунишка ты мой, плутишка ты мой, да какой же ты у меня хорошенький! Благодарю тебя, Боже, за то, что Ты даровал мне такого чудного сына, такого жизнерадостного, такого веселого, такого красивого! Ах, как я рад, ох, как я рад, ух, как я рад! Хо-хо, уж и выпьем же мы! Прочь, тоска-злодейка! А ну, принесите вина получше, сполосните стаканы, постелите скатерть, прогоните собак, раздуйте огонь, зажгите свечи, затворите двери, нарежьте хлеба, раздайте милостыню нищим, и пусть убираются! Снимите с меня плащ, я надену камзол, – крестины нужно отпраздновать торжественно.

В это мгновение до него донеслись зауспокойные молитвы, читавшиеся священниками, которые отпевали его жену, и тут он прервал свою пышную речь и неожиданно в исступлении крикнул:

– Господи! До каких же мне пор сокрушаться? Это меня приводит в отчаяние. Я уже не молод, я старею, погода ненадежная, я могу схватить лихорадку, сойду с ума. Клянусь честью, надо поменьше плакать и побольше пить! Моя жена умерла? Ну что ж, ей-богу (*da jurandi!*^[279]), слезами горю не поможешь. Ей теперь хорошо, она, уж верно, попала в рай, а то и еще куда-нибудь получше, она молит за нас Бога, она блаженствует, она далека от наших горестей и невзгод. Все там будем, а живой о живом думает! Пора мне приискать себе другую. Вот что, добрые женщины, – обратился он к повитухам (а бывают ли на свете добрые женщины? Что-то я их не вижу), – вы идите на похороны, а я уж тут понянчу сына, – я очень огорчен и могу простудиться. Но только сначала пропустите по стаканчику, это вам не повредит, можете мне поверить, честное даю вам слово.

Они послушались его и отправились на похороны и погребение, бедный же Гаргантюа остался дома. И тут он сочинил для памятника нижеследующую эпитафию:

От родов умерла моя Бадбек,
А я считал их столь нетрудным делом!
Лицом она была – резной ребек,
Швейцарка – животом, испанка – телом.
Да будет рай теперь ее уделом,
Раз на земле она чуждалась зла!
Под этот камень трупом охладелым
Легла она, когда к ней смерть пришла*.

Глава IV

О детстве Пантагрюэля

У древних историографов и поэтов я вычитал, что многие в этом мире появляются на свет престранным образом, но об этом долго рассказывать. Коли есть у вас досуг, прочтите VII книгу Плиния. Однако ничего похожего на необычайное детство Пантагрюэля вам, уж

верно, никогда еще не приходилось слышать, ибо трудно поверить, чтобы в столь краткий срок можно было вырасти и окрепнуть настолько, что даже Геркулес не идет с ним ни в какое сравнение, несмотря на то что он еще в колыбели убил двух змей, да ведь змеи-то эти были маленькие и слабенькие, а вот Пантагрюэль, еще будучи в колыбели, совершил подвиги поистине ужасающие.

Я не стану говорить здесь о том, что за каждой трапезой он высасывал молоко из четырех тысяч шестисот коров и что печку, в которой можно было варить ему кашку, складывали все печники из Сомюра, что в Анжу, из Вильдьё, что в Нормандии, и из Фрамона, что в Лотарингии, кашицу же эту ему подавали в огромной каменной водопойной колоде, до сих пор еще существующей в Бурже, возле дворца, однако зубы у Пантагрюэля были до того острые и крепкие, что он отгрыз от указанной колоды немалый кусок, и это явственно видно.

Однажды утром захотелось ему пососать одну из своих коров (а это были, гласит история, единственные его кормилицы), руки же у него были привязаны к колыбельке, так он одну руку, изволите ли видеть, высвободил, схватил эту самую корову за ноги и отъел у нее половину вымени и полживота вместе с печенью и почками; и он сожрал бы ее всю целиком, да она заревела так, словно на нее волки напали, на каковой ее рев сбежались люди и помянутую корову у Пантагрюэля отняли; однако ж они не весьма ловко это сделали, так что нога коровья осталась в руках у Пантагрюэля, и он отлично с нею справился, как вы бы справились с сосиской; когда же у него попытались отнять кость, он проглотил ее, как баклан рыбешку, да еще начал потом приговаривать: «Кус! Кус! Кус!» – говорить-то он как следует еще не умел, а хотел сказать, что это очень вкусно и что он сыт вполне. После этого происшествия те, кто ему прислуживал, привязали его к колыбели толстыми канатами вроде тех, какие делают в Тене для перевозки соли в Лион^[280], или же тех, какими привязан в нормандской гавани Грас большущий корабль «Франсуаза».^[281]

Со всем тем, когда громадный медведь, которого выкормил отец Пантагрюэля, вырвался на волю и начал лизать ребенку личико, ибо кормилицы не потрудились вытереть ему как следует губенки, мальчик освободился от этих самых канатов так же легко, как Самсон от тетив, коими опутали его филистимляне, схватил его медвежье высокородие

и разорвал на части, как цыпленка, а затем, после такой удачной охоты, устроил себе превосходный завтрак.

Гаргантюа, полагая, что так недолго и до беды, велел привязать младенца четырьмя толстыми железными цепями, а над колыбелью устроить надежный свод. Одну из этих цепей и сейчас еще можно видеть в Ла-Рошели, – по вечерам ее поднимают в гавани между двумя большими башнями, – другую в Лионе, третью в Анжере, а четвертую унесли черти, чтобы связать Люцифера, который порвал на себе цепи в то время, когда у него схватило живот, оттого что Люцифер съел за завтраком фрикасе из души какого-то судейского. После этого кажется вполне правдоподобным то, что пишет Николай Лира^[282] по поводу одного места в Псалтири: *Et Og regem Basan*^[283] – де, мол, названный Ог сызмала был таким сильным и крепким, что его в колыбели пришлось сковать железными цепями. С тех пор Пантагрюэль вел себя тихо и смиренно, так как одолеть железные цепи ему уж было не под силу, да и колыбель стесняла движения его рук.

Но вот однажды его отец Гаргантюа по случаю какого-то большого праздника задал роскошный пир владетельным князьям, состоявшим при его дворе. Слуги, по-видимому, сбились с ног и совсем позабыли про бедного Пантагрюэля, никто на него и внимания не обращал. Как же он поступил?

Как поступил? А вот послушайте, мои милые.

Он попытался разорвать цепи руками, но так и не сумел, слишком они были крепкие. Тогда он так наподдал ногами, что передняя стенка колыбели обрушилась, – а ведь она была из толстого бревна в семь квадратных ампанов^[284], – сколько мог, вытянул ноги, спустил их и достал до земли; затем принатужился, выпрямился и так, связанный, и понес на хребте колыбель, точь-в-точь как черепаха, карабкающаяся вверх по стене; глядя на него, можно было подумать, что это целый корабль водоизмещением в пятьсот тонн поднялся на гребень волны. Так он предстал перед пирующими, и вид у него при этом был столь решительный, что гостей взяла оторопь; руки у него, однако ж, были связаны, и оттого он ничего не мог взять себе из еды, – он лишь с великим трудом нагибался и нет-нет да и слизывал что-нибудь языком. Тогда отец догадался, что ребенка позабыли накормить, и велел снять с него цепи, предварительно посоветовавшись с пировавшими князьями и сеньорами, к мнению которых присоединились и придворные

лекари, полагавшие, что если ребенка долго держать в колыбели, то у него образуются камни в почках.

Итак, с ребенка сняли цепи, усадили за стол и вдоволь накормили, а он после этого с досады так трахнул кулаком по самой середине своей колыбельки, что она разлетелась более чем на пятьсот тысяч кусков, да еще потом объявил, что больше ни за что туда не вернется.

Глава V

Подвиги, совершенные доблестным Пантагрюэлем в юном возрасте

Итак, Пантагрюэль рос с каждым днем и заметно входил в тело, чему отец в силу естественных чувств своих к сыну не мог не радоваться, и велел он смастерить для него, когда тот был еще маленький, арбалет, чтобы бить пташек, – теперь этот арбалет известен под названием большого шантельского арбалета; затем он отправил его в школу, дабы тот юные свои годы посвятил ученью.

И точно: Пантагрюэль поехал учиться в Пуатье^[285] и оказал большие успехи; вскоре, однако ж, он заметил, что когда у школяров выпадают свободные часы, то они не знают, чем себя занять, и ему стало их жалко, и вот как-то раз отломил он от громадной скалы, которая называется Паслурден, огромный камень длиною приблизительно в двенадцать квадратных туаз и в четырнадцать ампанов толщиной и без труда установил его среди поля на четырех столбах, дабы школяры, когда им нечего делать, забирались туда с изрядным количеством бутылок, ветчины и пирожков, устраивали себе пир и ножичком вырезали на камне свои имена, а камень так с той поры и зовется Поднятым камнем. И в память этого события вас не внесут теперь в матрикулы Пуатьерского университета, прежде чем вы не напьетесь из Конского источника в Крутелль, не пройдетесь по Паслурдену и не взберетесь на Поднятый камень.

Немного спустя Пантагрюэль, вычитав в прекрасных сказаниях о своих предках, что Жофруа де Люзиньян^[286], по прозвищу Жофруа Большой Зуб, дедушка троюродного брата старшей сестры тетки зятя дяди невестки его тещи, был погребен в Майезе, взял отпуск, чтобы, как подобает порядочному человеку, посетить могилу усопшего

родича. Он взял с собой кое-кого из своих товарищей, и, пройдя Лигюже и навестив там глубокочтимого аббата Ардийона, затем – Люзиньян, Сансе, Сель, Колонж, Фонтене-ле-Конт, где они приветствовали ученого Тирако^[287], они прибыли наконец в Майезе^[288] и посетили гробницу означенного Жофруа Большой Зуб, и тут при взгляде на его изображение Пантагрюэль струхнул, ибо Жофруа был изображен человеком свирепого вида, наполовину вынувшим свой меч из ножен, и сейчас же осведомился о причине этого. Местные каноники ему ответили, что причина тут одна:

Pictoribus atque poetis^[289] и т. д.,

то есть художники и поэты вольны изображать что хотят и как им вздумается. Однако Пантагрюэль, не удовлетворившись их ответом, сказал:

– Он изображен так не без причины. Я подозреваю, что перед смертью ему нанесли оскорбление и он требует, чтобы родичи за него отомстили. Я этого так не оставлю и поступлю, как велит мне долг.

В Пуатье Пантагрюэль не вернулся, а почел за нужное побывать в других французских университетах; того ради, проехав Ла-Рошель, он сел на корабль и, прибыв в Бордо, обнаружил, что там не весьма усердно занимаются физическими упражнениями; одни лишь грузчики на песчаном берегу играли в лунки.

Оттуда он проследовал в Тулузу и там отлично выучился танцевать, выучился фехтовать обеими руками, как то принято у местных студентов, но едва он увидел, что эти самые студенты живьем поджаривают своих профессоров^[290], точно это копченые сельди, то не стал там долее задерживаться и, отбывая, воскликнул:

– Не дай мне Бог умереть такой смертью! Я от природы человек пылкий, куда мне еще подогреться на костре!

Затем он отправился в Монпелье, обнаружил там отменные мирвоссские вина и веселую компанию и подумал было, не остаться ли ему изучать медицину, но потом решил, что это занятие крайне беспокойное и безотрадное и что от лекарей пахнет промывательным, как от старых чертей.

Пришло было ему в голову изучать законы, да как увидел он, что законников в том городе всего-навсего трое паршивых да один

плешивый, так, нимало не медля, и отбыл и расстояние от Моста стражей до Нимского амфитеатра прошел меньше чем за три часа, а это уже представляется чем-то сверхъестественным. В Авиньоне^[291] он не успел пробыть и трех дней, как уже влюбился, и немудрено: Авиньон – владение папское, а потому женщины охотно играют здесь в подхвостник.

Видя, что дело плохо, наставник Пантагрюэля Эпистемон увез его в Валанс, что в Дофине, но и тут было незаметно, чтобы студенты усиленно упражнялись, притом городские озорники имели обыкновение лупить студентов, на Пантагрюэля же это не произвело приятного впечатления, и в один из воскресных дней, когда все танцевали на улицах и кому-то из студентов тоже захотелось потанцевать, а озорники ему не дали, Пантагрюэль на них напал, погнав их прямо к Роне и чуть было не утопил, но они, как кроты, ушли под землю и укрылись под Роной, в доброй полумиле от берега. Этот подземный ход сохранился донныне.

Затем Пантагрюэль покинул Валанс и, трижды шагнув и единожды прыгнув, очутился в Анжере, и там ему очень понравилось, и он погостил бы там подольше, но его прогнала оттуда чума.

Он проследовал в Бурж, долго учился там на юридическом факультете и оказал большие успехи; потом он не раз говорил, что книги по юриспруденции напоминают ему чудо какой красивый и нарядный плащ, расшитый золотом и драгоценными камнями, а по краям отделанный дерьмом.

– На всем свете не сыщешь такой прекрасной, такой цветистой и такой изящной книги, как тексты *Пандектов*^[292], — говаривал он, — а вот отделка их, то бишь глоссы Аккурсия, до того грязная, противная и вонючая, точно это отбросы и нечистоты.

Из Буржа Пантагрюэль отправился в Орлеан, и там ватага проказливых студентов угостила его на славу, в короткий срок обучила играть в мяч, ибо местные студенты по этой части молодцы, — так хорошо научила, что он достиг в этом совершенства, — и несколько раз возила на острова, где было принято играть в круглячки. А чтобы ломать себе голову над книгами — от этого Пантагрюэль всячески себя оберегал, так как боялся испортить зрение, тем паче что один из профессоров твердил на лекциях, что нет ничего опаснее для зрения, чем болезнь глаз.

Спустя несколько дней, после того как Пантагрюэль получил степень лиценциата прав, один из его знакомых студентов (в науках он был не силен, зато превосходно танцевал и играл в мяч) сочинил в стихах девиз лиценциатов местного университета:

Сунув в гульфик мячик меткий,
Познакомившись с ракеткой,
Скрыв под шапкой волос редкий,
В хоровод веселый встав,
Будешь тотчас доктор прав*.

Глава VI

О том, как Пантагрюэль встретил лимузинца, коверкавшего французский язык

Как-то раз, не сумею сказать – когда именно, Пантагрюэль после ужина прогуливался со своими приятелями у городских ворот, где берет начало дорога в Париж. Здесь он повстречал весьма милovidного студента, шедшего по этой дороге, и, поздоровавшись с ним, спросил:

– Откуда это ты, братец, в такой час?

Студент же ему на это ответил:

– Из альмаматеринской, достославной и достохвальной академии города, нарицаемого Лютецией. [\[293\]](#)

– Что это значит? – обратился к одному из своих спутников Пантагрюэль.

– То есть из Парижа, – отвечал тот.

– Так ты из Парижа? – спросил студента Пантагрюэль. – Ну, как же вы, господа студенты, проводите время в этом самом Париже?

Студент ему на это ответил так:

– Мы трансфретируем Секвану поутру и ввечеру, деамбулируем по урбаническим перекресткусам, упражняемся во многолатиноречии и, как истинные женолюбусы, тщимся снискать благоволение всесудящего, всеобличьяприемлющего и всеродящего женского пола. Через некоторые интервалы мы совершаем визитации лупанариев и в венерном экстазе инкультируем наши веретры в пенитиссимные

рецессы пуденд этих амикабилиссимных меретрикулий, а затем располагаемся в тавернах «Еловая шишка», «Замок», «Магдалина» и «Мул», уплетандо отменные баранусовые лопаткусы, поджарентум кум петруцка. В тех же случаях, когда карманари ностри тощают и пребывают эксгаустными от звонкой монеты, мы расставамус с нашими либрисами и с лучшими нашими орнаментациями и ожидамус посланца из отеческих ларов и пенатов.

Тут Пантагрюэль воскликнул:

– На каком это чертовом языке ты изъясняешься? Ей-богу, ты еретик!

– Сениор, нет, – возразил студент, – ибо едва лишь возблещет первый луч Авроры, я охотнissime отправляюсь во един из велелепейших храмов, и там, окропившись люстральной аквой, пробурчав какую-нибудь стихиру и отжарив часы, я очищаю и избавляю свою аниму от ночной скверны. Я ублажаю олимпиколов, величаю верховного Светоподателя, сострадаю ближнему моему и воздаю ему любовью за любовь, соблюдаю десять заповедей и по мере сил моих не отступаю от них ни на шаг. Однакорум поеликве мамона не пополнирует ни на йоту моего кошелькабуса, я редко и нерадиво вспомоществую той голытьбарии, что ходит под окнами, молендо подаяния.

– А, да пошел он в задницу! – воскликнул Пантагрюэль. – Что этот сумасшедший городит? Мне сдается, что он нарочно придумал какой-то дьявольский язык и хочет нас обморочить.

На это один из спутников ему сказал:

– Сеньор! Этот молодец пытается обезьянничать с парижан, на самом же деле он обдирает с латыни кожу, хотя ему кажется, что он подражает Пиндару^[294]; он совершенно уверен, что говорит на прекрасном французском языке – именно потому, что говорит не по-людски.

– Это правда? – спросил Пантагрюэль.

Студент же ему на это ответил:

– Сениор миссер! Гению моему несродно обдираре, как выражается этот гнуснissime сквернословус, эпидермный покров с нашего галликского вернакула, – вицеверсотив, я оперирую в той дирекции, чтобы и такум и сякум его обогатаре, дабы стал он латинокудрым.

– Клянусь Богом, я научу тебя говорить по-человечески! – вскричал Пантагрюэль. – Только прежде скажи мне, откуда ты родом.

На это ему студент ответил так:

– Отцы и праотцы мои генеалогиируют из регионов Лимузинских, идеже упокоется прах святителя Марциала.

– Понимаю, – сказал Пантагрюэль, – ты всего-навсего лимузинец, а туда же суешься перенимать у парижан. Поди-ка сюда, я тебе дам хорошую выволочку!

Тут он схватил его за горло и сказал:

– Ты обдираешь латынь, ну, а я, клянусь Иоанном Крестителем, заставлю тебя драть козла. Я с тебя с живого шкуру сейчас сдеру!

Тут бедный лимузинец завопил:

– Эй, барчук, слышь! Ой, святой Марциал, помоги! Ох, да отступись ты от меня за ради Бога, не трожь!

– Вот сейчас ты заговорил по-настоящему, – заметил Пантагрюэль.

И с этими словами он его отпустил, ибо бедняга лимузинец в это самое мгновение наложил полные штаны, задник же на штанах у него был с прорезами.

– Святой Алипентин, ну и аромат! – воскликнул Пантагрюэль. – Фу, вот навонял репоед проклятый!

Итак, Пантагрюэль отпустил его. Однако ж воспоминание об этом происшествии преследовало лимузинца всю жизнь, и до того он был этим потрясен, что все ему чудилось, будто Пантагрюэль хватает его за горло, а несколько лет спустя он умер Роландовой смертью^[295], в чем явственно виден гнев Божий, и пример этого лимузинца подтверждает правоту одного философа у Авла Геллия, утверждавшего, что нам надлежит говорить языком общепринятым и, по выражению Октавиана Августа, избегать непонятных слов так же старательно, как кораблеводитель избегает подводных скал.

Глава VII

О том, как Пантагрюэль прибыл в Париж, и о прекрасных книгах, находящихся в библиотеке монастыря св. Виктора

Получив в Орлеане отличное образование, Пантагрюэль задумал посетить еще великий университет Парижский. Однако ж перед самым отъездом он получил сведения, что назад тому двести четырнадцать лет с колокольни орлеанской церкви во имя св. Агниана упал громадный и огромный колокол и никакие приспособления не могли сдвинуть его с места, – такой он был тяжелый, – хотя для этого применялись все средства, какие указывают Витрувий в *De architectura*^[296], Альберти в *De re aedificatoria*^[297], Эвклид, Феон, Архимед и Герон в *De ingeniis*^[298]; все было напрасно. Пантагрюэль милостиво согласился исполнить смиренную просьбу граждан и жителей означенного города и порешил поднять колокол на колокольню.

И точно: он приблизился к лежавшему на земле колоколу и с такою легкостью поднял его мизинцем, с какою вы бы подняли бубенчик. Однако ж, прежде чем поднять его на колокольню, Пантагрюэль вздумал задать утреннюю серенаду и, позванивая в колокол, пронес его по всем улицам, отчего сердца горожан преисполнились бурного веселья; кончилось же это весьма скверно, ибо, пока он нес на руке колокол и звонил, доброе орлеанское вино все как есть испортилось и скисло. Народ понял это только вечером, ибо от прокисшего вина орлеанцам стало дурно и всех их выворотило наизнанку.

– Это все от Пантагрюэля, – говорили они. – У нас во рту соленый вкус.

Вскоре после этого Пантагрюэль со своими спутниками прибыл в Париж, и навстречу ему выбежал весь народ, – вы же знаете, что парижане глупы от природы, глупы во всех ключах и во всех тональностях, и они смотрели на Пантагрюэля в великом смущении и отнюдь не без страха: они опасались, как бы он не уволок здание суда в какое-нибудь захолустье, – утащил же его отец колокола с Собора Богоматери и повесил же он их на шею своей кобыле!

Пробыв здесь некоторое время и оказав изрядные успехи во всех семи свободных науках^[299], Пантагрюэль утверждал, что в этом городе хорошо жить, а умирать плохо, оттого что бродяги на кладбище Невинноубиенных младенцев^[300] греют себе зад костями мертвецов. О библиотеке же св. Виктора^[301] он был чрезвычайно высокого мнения, в частности о книгах, список коих мы прилагаем^[302], и *primo*:

Bigua salutis,
Bragueta juris,
Pantofla Decretorum,
Malogranatum vitiorum^[303],
Клубок теологии,
Метелка проповедника, сочинение Дармоеда,
Слоновьи яички для отважных,
Отрава для епископов,
Marmotretus, De baboinis et cingis, cum commento
Dorbellis,
Decretum universitatis Parisiensis super gorgiasitate
muliercularum ad placitum^[304],
Явление святой Гертруды инокине Пуассийского
монастыря, в то время как та производила на свет,
Ars honeste pettandi in societate, per M. Ortuinum^[305],
Горчичник покаяния,
Гамаша, *alias*^[306] Башмаки терпения,
Formicarium artium,
De brodiorum usu et honestate chopinandi, per Silvestrem
Prieratem, Jacospinum^[307],
Судейское головокрученье,
Корзинка нотариусов,
Звено, связующее состоящих в браке,
Гнездо созерцания,
Пустозвонство законников,
Побудительная сила вина,
Сила, притягивающая к сыру,
Decrotatorium scholarium,
Tartaretus, De modo cacandi^[308],
Римские парады,
Брико, *De differentiis soupparum*^[309],
Хлестание по заднику,
Шлепание подошвою по ягодицам смиренных,
Треножник благомыслия,
Чан великодушия,
Крючки на удочках духовников,

Щелкание приходскими священниками друг друга по носу,

Reverendi Patris Fratris Lubini, Provincialis Bavardiae, De croquendis lardonibus libri ires,

Pasquili, Doctoris marmorei, De capreolis cum chardoneta comedendis, tempore Papali ab Ecclesia interdicto^[310],

Обретение креста Господня, на шесть действующих лиц, разыгранное продувными бестиями,

Окуляры поримупаломничающих,

Majoris, De modo faciendi boudinos^[311],

Прелатская волынка,

Беда, *De optimitate triparum*^[312],

Жалоба адвокатов на реформы в области подношений,

Бумагомаранье поверенных,

Горох в сале, cum commento,

Доходец от индульгенций,

Praeclarissimi juris utriusque Doctoris Maistre Pilloti Raquedenari, De bobelinandis glosse Accursiane baguenaudis, Repetitio enucidiluculidissima,

Stratagemata Francarchieri^[313] Баньоле,

Franctopinus, De re militari, cum figuris Tevoti,

De usu et utilitate escorchandi equos et equas, authore M.

nostro de Quebecu^[314],

Неотесанность попиков,

M. n. Rostocostojambedanese, De moustarda post prandium servienda, lib. quatuordecim, apostilati per M. Vaurillonis^[315],

Мзда брачащихся поповским сожительницам,

Quaestio subtilissima, utrum Chimera in vacuo bombinans possit comedere secundas intentiones, et fuit debatuta per decem hebdomadas in concilio Constantiensi^[316],

Адвокатская алчность,

Barbouilamenta Scoti^[317],

О летучемъшеподобных париках у кардиналов,

De calcaribus removendis decades undecim, per M. Albericum de Rosata,

Ejusdem, De castrametandis crinibus, lib. tres^[318],
Вторжение Антонио де Лейвы в земли Бразильские,
Marforii bacalarii cubantis Rome, De pelendis
mascarendisque Cardinalium mulis^[319],

Ответ тем, кто утверждает, что папский мул питается в
строго определенные часы,

Предсказание, *que incipit Silvi Triquebille, balata per M. n.*
Songescuuson,

Boudarini episcopi, De emulgentiarum profectibus enneades
novem, cum privilegio papali ad triennium, et postea non^[320],

Шашни девиц,

Облысение зада у вдовиц,

Монашеский капюшон,

Особый способ бормотания молитв у братьев
целестинцев,

Перевозная пошлина, вымогаемая, то бишь взимаемая,
нищенствующими монашескими орденами,

Зубостучание у гольтьбы,

Богословская мышеловка,

Узость некоего отверстия у магистров наук,

Оккамовы поварята с малой тонзурой,

Magistri n. Fripesaulcetus, De grabellationibus horarum
canonicarum, lib. quadraginta,

Cullebutatorium confratriarum, incerto auctore^[321],

Шляпы братьев прожорливцев,

Испанский Пропотелио, запоясзаткнутый братом
Иньиго,

Глистогонное средство для кухонных мужиков,

Poiltronismus rerum Italicarum, auctore, magistro^[322]
Брюльфера,

R. Lullius, De batisfolagiis Principium,

Callibistratorium caffardiae, auctore M. Jacobo
Ночстратем, hereticometra^[323],

Ерник, *De magistro nostrandorum magistro*
nostratorumque beuветis lib. octo galantissimi^[324],

Испускание ветров буллистами, копиистами, скрипторами, аббревиаторами, референдариями и датариями в описании Региса,

Постоянный альманах для подагриков и венериков,
Maneries ramonandiournellos, per M. Eccium. ^[325]

Плутни купцов,

Удобства монашеской жизни,

Рагу из святош,

История злых духов,

Побирушничанье отставных служивых,

Неуклюжие увертки официалов,

Золотые россыпи казначеев,

Badinatorium sophistarum,

*Antipericatametaparbeugedamphicibrationes
merdicantium* ^[326],

Улитка рифмачей,

Опыты алхимиков,

Проделки сборщиков лепты на монастыри,
покрохамсобранные братом Серратисом,

Оковы религии,

Раскачивание звонарями собственных бил,

Подлокотник старости,

Намордник для дворянства,

Бормотание молитв себе под нос,

Цепи набожности,

Котелок для всех четырех времен года,

Ступка политической жизни,

Опахало затворников,

Капюшон исповедников,

Триктрак братьев распутников,

Lourdaudus, De vita et honestate braguardorum,

Lyripii Sorbonici moralisationes, per M. Lupoldum ^[327],

Объедки – пища странников,

Винные пластыри для жаждущих архипастырей,

*Tarraballationes Doctorum Coloniensium adversus
Reuchlin* ^[328],

Погремушечки для дам,

Мартингал для страдающих поносом,
Virevoustatorum nasquettorum, per F. Pedebilletis^[329],
Подожвы чистосердечия,
Маскарад чертенят и бесенят,
Жерсон, *De auferibilitate papae ab Ecclesia*^[330],
Санки для получивших ученую степень,
Jo. Dytebrodii, De terribilitate excommunicationum,
libellus acephalos,
Ingeniositas invocandi diabolos et diabolos, per M.
Guingolfum^[331],
Месиво для особо усердных молитвенников,
Мавританский танец для еретиков,
Кайетановы костыли,
Свинорыл, *Doctoris cherubici, De origine patepelutarum et*
torticollorum ritibus lib. septem^[332],
Шестьдесят девять расперепросаленных служебников,
Толстопузие пяти нищенствующих орденов,
Сдирание кожи с еретиков, извлеченное из «Рыжего
сапога», втиснутого в *Summa angelica*^[333],
Гадания о трудных случаях вопросов совести,
Толстобрюшество председателей судов,
Ослоумие аббатов,
Sutoris, Adversus quemdam, qui vocaverat eum
fripponatorem et quod fripponatores nonsunt damnati ab
Ecclesia,
Cacatorium medicorum^[334],
Астрологическое слабительное,
Campi clysteriorum, per S. C.^[335],
Ветроизгнание по способу фармацевтов,
Взадукопание по способу хирургов,
Justinianus, De cagotis tollendis,
Antidotarium animae,
Merlinus Coccaius, De patria diabolorum.^[336]

Некоторые из этих книг уже отпечатаны, а некоторые еще печатаются в славном городе Тюбингене.

Глава VIII

О том, как Пантагрюэль, будучи в Париже, получил от своего отца Гаргантюа письмо, копия коего ниже приводится

Пантагрюэль занимался, как вы знаете, весьма прилежно и отлично успевал, ибо ум его был как бы с двойным дном, вместимость же его памяти равнялась двенадцати бочкам из-под оливкового масла. И вот, находясь в Париже, получил он однажды нижеследующее письмо от своего отца:

«Возлюбленный сын мой!

Среди тех даров, щедрот и преимуществ, коими зиждитель мира, всемогущий Господь изначала наделил и украсил природу человеческую, высшим и самым редкостным свойством представляется мне то, благодаря которому природа наша в смертном своем состоянии может достигнуть своего рода бессмертия^[337] и в преходящей жизни увековечить имя свое и семя, и совершается это через потомство, рождаемое нами в законном браке. Правда, то, чего лишил нас грех прародителей наших, утрачено безвозвратно, ибо им было сказано, что за неповиновение заповедям Господа Творца они умрут и что смерть уничтожит ту прекрасную форму, которую человек получил при своем появлении на свет. Однако ж вследствие того, что семя распространяется, в детях оживает то, что утрачено родителями, а во внуках то, что погибло в детях, и так будет продолжаться до самого Страшного суда, когда Иисус Христос возвратит свое царство Отцу, – царство, уже вкушающее мир, избавленное от каких бы то ни было опасностей и греховных соблазнов, ибо тогда уже прекратится деторождение^[338], прекратится повреждение нравов, прекратится непрерывное превращение элементов, настанет долгожданный и нерушимый мир, все придет к своему концу и пределу.

Следственно, благодарность моя Господу, промыслителю моему, имеет под собою достаточно твердое основание, ибо Он дал мне возможность увидеть, как моя убеленная сединами старость расцветает в твоей младости, и когда по Его произволению, которое всем в мире управляет и все умеряет, душа моя покинет человеческий свой сосуд, я умру не всецело^[339], – я лишь перейду из одного

обиталища в другое, коль скоро в тебе и благодаря тебе видимый образ мой пребудет в сем мире, продолжая жить, продолжая все видеть, продолжая оставаться в привычном кругу моих друзей, людей добропорядочных; теперь же я веду жизнь, пусть, должен сознаться, и не безгрешную, ибо все мы грешники и все мы неустанно молим Бога простить нам наши грехи, но, с помощью Божией и по милости Божией, безукоризненную.

Со всем тем, хотя в тебе и пребудет телесный мой образ, но если твои собственные душевные качества не проявятся во всем своем блеске, то тебя не станут почитать стражем и хранителем бессмертия нашего рода, и радость моя тогда омрачится, ибо худшая моя часть, а именно плоть, в тебе останется, лучшая же, а именно душа, благодаря которой люди могли бы благословлять наш род, измельчает и впадет в ничтожество. Все это я говорю не потому, чтобы я не верил в твою добродетель, – я в ней уже убедился воочию, – я хочу лишь тебя вдохновить на то, чтобы ты совершенствовался беспрестанно. И эти строки мои имеют целью не столько наставить тебя на путь добродетели, сколько вызвать в тебе удовлетворение при мысли, что ты жил и живешь как должно, и придать тебе бодрости на будущее время.

К сказанному я могу лишь прибавить и напомнить тебе, что я ничего для тебя не жалел, – я растил тебя так, словно у меня одна-единственная радость – еще при жизни убедиться, что ты достиг наивысшего совершенства не только в добродетели, благонравии и мудрости, но и во всех областях вольного и благородного знания, и быть спокойным, что ты и после моей смерти останешься как бы зеркалом, в коем отражается лик твоего отца, – отражается если и не так безупречно и не так полно, как бы мне хотелось, то, во всяком случае, насколько это от тебя зависит.

Но хотя блаженной памяти мой покойный отец Грангузье приложил все старания, чтобы я усовершенствовался во всех государственных науках, и хотя мое прилежание и успехи не только не обманули, а, пожалуй, даже и превзошли его ожидания, все же, как ты сам отлично понимаешь, время тогда было не такое благоприятное для процветания наук, как ныне, и не мог я похвастать таким обилием мудрых наставников, как ты. То было темное время, тогда еще

чувствовалось пагубное и зловредное влияние готов, истреблявших всю изящную словесность.

Однако, по милости Божией, с наук на моих глазах сняли запрет, они окружены почетом, и произошли столь благодетельные перемены, что теперь я едва ли годился бы в младший класс, тогда как в зрелом возрасте я не без основания считался ученейшим из людей своего времени. Говорю я это не из пустого тщеславия, хотя в письме к тебе я имею полное право себя хвалить, примером чему служат нам Марк Туллий в своей книге *О старости* и Плутарх в книге под заглавием *Как можно себя хвалить, не вызывая зависти*, а единственно для того, чтобы выразить всю мою нежную к тебе любовь.

Ныне науки восстановлены, возрождены языки: греческий, не зная которого человек не имеет права считать себя ученым, еврейский, халдейский, латинский. Ныне в ходу изящное и исправное тиснение, изобретенное в мое время по внушению Бога, тогда как пушки были выдуманы по наущению дьявола. Всюду мы видим ученых людей, образованнейших наставников, обширнейшие книгохранилища, так что, на мой взгляд, даже во времена Платона, Цицерона и Папиниана было труднее учиться, нежели теперь, и скоро для тех, кто не понаторел в Минервиной школе мудрости, все дороги будут закрыты. Ныне разбойники, палачи, проходимцы и конюхи более образованны, нежели в мое время доктора наук и проповедники. Да что говорить! Женщины и девушки – и те стремятся к знанию, этому источнику славы, этой манне небесной. Даже я на старости лет принужден заниматься греческим языком, – в отличие от Катона я и прежде отнюдь не презирал его, но в юные годы я не располагал временем для его изучения, и вот теперь, ожидая того часа, когда Господу будет угодно, чтобы я покинул землю и предстал перед Ним, я с наслаждением читаю *Moralia*^[340] Плутарха, прекрасные *Диалоги* Платона, Павсаниевы *Описания* и Афинеевы *Древности*.

Вот почему, сын мой, я заклинаю тебя употребить свою молодость на усовершенствование в науках и добродетелях. Ты – в Париже, с тобою наставник твой Эпистемон; Эпистемон просветит тебя при помощи устных и живых поучений. Париж послужит тебе достойным примером.

Моя цель и желание, чтобы ты превосходно знал языки: во-первых, греческий, как то заповедал Квинтилиан, во-вторых,

латинский, затем еврейский, ради Священного писания, и, наконец, халдейский и арабский, и чтобы в греческих своих сочинениях ты подражал слогу Платона, а в латинских – слогу Цицерона. Ни одно историческое событие да не изгладится из твоей памяти, – тут тебе пригодится любая космография.

К свободным наукам, как-то: геометрии, арифметике и музыке, я привил тебе некоторую склонность, когда ты был еще маленький, когда тебе было лет пять-шесть, – развивай ее в себе, а также изучи все законы астрономии; астрологические же гадания и искусство Луллия пусть тебя не занимают, ибо все это вздор и обман.

Затверди на память прекрасные тексты гражданского права и изложи мне их с толкованиями.

Что касается явлений природы, то я хочу, чтобы ты выказал к ним должную любознательность; чтобы ты мог перечислить, в каких морях, реках и источниках какие водятся рыбы; чтобы все птицы небесные, чтобы все деревья, кусты и кустики, какие можно встретить в лесах, все травы, растущие на земле, все металлы, сокрытые в ее недрах, и все драгоценные камни Востока и Юга были тебе известны.

Затем внимательно перечти книги греческих, арабских и латинских медиков, не пренебрегай и талмудистами и каббалистами и с помощью постоянно производимых вскрытий приобрети совершенное познание мира, именуемого микрокосмом, то есть человека. Несколько часов в день отводи для чтения Священного писания: сперва прочти на греческом языке *Новый завет* и *Послания апостолов*, потом, на еврейском, *Ветхий*.

Словом, тебя ожидает бездна премудрости. Впоследствии же, когда ты станешь зрелым мужем, тебе придется прервать свои спокойные и мирные занятия и научиться ездить верхом и владеть оружием, дабы защищать мой дом и оказывать всемерную помощь нашим друзьям, в случае если на них нападут злодеи.

Я хочу, чтобы ты в ближайшее время испытал себя, насколько ты преуспел в науках, а для этого лучший способ – публичные диспуты со всеми и по всем вопросам, а также беседы с учеными людьми, которых в Париже больше, чем где бы то ни было.

Но, как сказал премудрый Соломон, мудрость в порочную душу не входит, знание, если не иметь совести, способно лишь погубить душу, а потому ты должен почитать, любить и бояться Бога,

устремлять к Нему все свои помыслы и надежды и, памятуя о том, что вера без добрых дел мертва, прилепиться к Нему и жить так, чтобы грех никогда не разъединял тебя с Ним. Беги от соблазнов мира сего. Не дай проникнуть в сердце свое суете, ибо земная наша жизнь преходяща, а слово Божие пребывает вовек. Помогай ближним своим и возлюби их, как самого себя. Почитай наставников своих. Избегай общества людей, на которых ты не желал бы походить, и не зарывай в землю талантов, коими одарил тебя Господь. Когда же ты убедишься, что извлек все, что только можно было извлечь из пребывания в тех краях, то возвращайся сюда, дабы мне увидеть тебя перед смертью и благословить. Аминь.

Твой отец *Гаргантюа*.

Утопия, марта семнадцатого дня».

Получив и прочитав это письмо, Пантагрюэль взыграл духом и загорелся желанием учиться еще лучше, и, видя, как он занимается и успевает, вы бы сказали, что ум его пожирает книги, как огонь пожирает сухой вереск, – до того Пантагрюэль был въедлив и неутомим.

Глава IX

О том, как Пантагрюэль встретил Панурга ^[341] и полюбил его на всю жизнь

Однажды Пантагрюэль, прогуливаясь за городом близ аббатства св. Антония, рассуждая и философствуя со своими друзьями и несколькими студентами, встретил человека, бросавшегося в глаза хорошим ростом и изящным телосложением, избитого до синяков и такого ободранного, что можно было подумать, будто его собаки рвали или же что он собирал яблоки в Першском округе.

Пантагрюэль, завидев его издалека, обратился к своим приятелям:
– Видите, по Шарантонскому мосту шагает человек? Клянусь честью, он обойден лишь Фортуной. Если судить по его физиономии, то, уверяю вас, Натура ведет его происхождение от рода знатного и богатого, впал же он в нищету и дошел до крайности из-за приключений, к коим влечет людей любознательных.

Как скоро путник с ним поравнялся, Пантагрюэль его окликнул:

– Друг мой! Можно вас попросить остановиться на минутку и ответить мне на один вопрос? Вы об этом не пожалеете, ибо я горю желанием приложить все усилия и выручить вас из беды, – мне вас искренне жаль. Итак, скажите, друг мой, кто вы такой, откуда и куда идете, куда путь держите и как вас зовут?

Путник ответил ему по-немецки:

– *Юнкер! Готт геб эйх глюк унд хейль. Цуфор, либер юнкер, их ласс эйх виссен, дас да ир мих фон фрагт, ист эйн арм унд эрбармлих динг, унд вер филь дарфон цу заген, вильхес эйх фердруслих цу херен, унд мир цу эрцелен вер, виволь ди поэтен унд ораторс форцейтен хабен гезагт ин ирен шпрухен унд зентенцен, дас ди гедехтнис дес элендс унд армутс форлангст эрлиттен ист эйн гроссер луст.* [342]

Пантагрюэль же ему на это сказал:

– Друг мой! Я этой тарабарщины не понимаю. Если вы хотите, чтобы вас поняли, говорите на другом языке.

Тогда путник заговорил так:

– *Аль барильдим готфано деш мин брин алабо бордин фальброт рингуам альбарас. Нин порт задикин альмукатин милько прин аль эльмин энтоот даль хебен энзуим; кутхим аль дум алькатим ним брот декот порт мин микайс им эндот, прух даль майзулюм холь мот дансрильрим лупальдас им вольдемот. Нин хур дьявост мнарботим даль гуш пальфрапин дух им скот прух галет даль Шинон мин фильхрих аль конин бутатен дот даль прим.* [343]

– Вы хоть что-нибудь понимаете? – обратился к своим спутникам Пантагрюэль.

Эпистемон на это заметил:

– По-моему, это язык антиподов. В нем сам черт ногу сломит.

Пантагрюэль же сказал:

– Приятель! Может быть, вот эти стены вас и поймут, мы же все, сколько нас ни есть, ровно ничего не понимаем.

Тут снова заговорил встречный:

– *Синьор мио! Вой видите пер эсемпьо ке ла корнамуза нон суона май, с'эла нон аильвентрепьено; кози ио парименте нон ви сапрей контаре ле мие фортуне, се прима иль трибулато ventre нон а ла солита рефекционе, аль куале э адвизо, ке ле мани э ли денти аббиано персо иль лоро ордине натурале э дель тутто анникиллати.* [344]

Эпистемон на это заметил:

– Одно другого стоит.

Тогда Панург заговорил так:

– *Лард! Гест толб би суа верчусс би интеллидженс эсс йи боди шал бис би начурэл реливд, толб шуд оф ми пети хэв, фор нэчур хэсс эс эквали мэд; бат форчун сам эксалтит хэсс, эн ойс депревт. Нон ю лесс вьюс му верчусс депревт энд верчусс мен дискривис, фор, энен ю лед энд, исс нон гуд.* ^[345]

– Еще того чище, – заметил Пантагрюэль.

Тогда Панург заговорил так:

– *Йона андие, гуауса гусветан бегар да эрремедио, бегарде, верзела иссер лан да. Анбатес, отойес наузу, эйн эссасу гурр ай пропозиан ордине ден. Нон иссвна байта фашерия эгабе, генгерасси бадиа садассу, нура ассия. Аран гондован гуальде эйдассу най дассуна. Эсту уссик эгуинан сури гин, эр дарстура эгуи гарм, Геникоа плазар ваду.* ^[346]

– Смилуйся над нами, Геникоа! – воскликнул Эвдемон.

Карпалим же сказал:

– Святой Треньян! Бьюсь об заклад, вы, уж верно, шотландец!

Тут Панург заговорил так:

– *Пруг фрест стринст соргдманд строхдт дрдс пагг брледанд Граво Шавиньи Помардьер руст пкальдраг Девиньер близ Нэ, Бкуй кальмух монах друпп дельмейпплистринг дльрнд додельб уп брент лох минк стзринквальд де винс дерс корделис хур джокстстзампенардс.*

Эпистемон же ему сказал:

– Друг мой! Вы говорите на языке человеческого или же на языке Патлена? Впрочем, нет, это язык фонарный.

Тогда Панург заговорил так:

– *Герре, ий эн спреке андерс геен тэле дан керстен тэле; ми донкт нохтан, аль эн сег ий в нийт эен вордт, миуэн ноот в клэрт генох ват ий беглере; геест ми онит бермхертлихейт йет вэр он ий гефут мах цунах.* ^[347]

Пантагрюэль же ему сказал:

– Яснее не стало.

Тогда Панург заговорил так:

– *Сеньор! Де танто аблар йо сой кансадо. Пор ке суплико а вуэса реверенсия ке мире а лос пресептос эванхеликос, пара ке эльос муэван вуэса реверенсия а ло ке эс де консьенсия, и, си эльос но бастаран пара*

мовер вуэса реверенсия а пьедад, суплико ке мире а ла пьедад натураль, ла куаль йо крео ке ле мовра, комо эс де расон, и кон эсто но диго мас. [\[348\]](#)

Пантагрюэль же на это заметил:

– Полно, друг мой! Я не сомневаюсь, что вы свободно изъясняетесь на разных языках. Скажите, однако ж, нам, что вам угодно, на таком языке, который мы в состоянии были бы понять.

Тогда путник заговорил так:

– *Мин герре, эндог йег мед инхен тунге таледе, люгесом буэн, ок ускулиг креатуер, мине клеибон, ок мине легомс магерхед удвисер аллиге кладиг хувад тюнг мег меест бехоф гиререб, сам эр сандерлих мад ок брюкке: хварфор форбарме тег омсудер овермег, ок беф эль ат гюффук мег ногет, аф хвилькет йег кан стюре мине грёндес махе, люгерус сон манд Церберо ен соппо форсеттр, Соо шаль тус лёве ленг ок люксалихт.* [\[349\]](#)

– Я полагаю, – вмешался Эвсфен, – что так говорили готы, и, буде на то Господня воля, научимся говорить и мы, но только задом.

Тогда путник заговорил так:

– *Адони, шолом леха. Им ишар хароб халь хабдеха, бемехера титен ли кикар лехем, какатуб: «Лаах аль Адонай хоненраль».* [\[350\]](#)

Эпистемон же на это заметил:

– Вот сейчас я понял, – это язык еврейский, и когда он на нем говорит, он произносит слова, как ритор.

Тогда путник заговорил так:

– *Деспота тинин панагате, диати си ми ук артодотис? Горас гар лимо анализкоменон эме атлиос, ке эн то метакси ме ук элейс удамос; дзетис де пар эму га у хре. Ке гомос филологи пантес гомологуси тоте логус те ке ремата перрита гипархин, гопоте прагма афто паси делон эсти. Энта гар ананкей монон логи исин, гина прагмата, гон пери амфисбетумен, ме просфорос эпифенете.* [\[351\]](#)

– А, понимаю! – воскликнул лакей Пантагрюэля Карпалим. – Это по-гречески! Как, разве ты жил в Греции?

Путник же заговорил так:

– *Агону донт уссис ву денегез альгару, ну день фару замист вус маристон ульбру, фускез ву броль, там бредагез мупретон ден гуль густ, дагездагез ну круписфост бардунофлист ну гру. Агу пастон*

толь нальприссис гурту лос экбатанус пру букви броль панигу ден баскру нудус кагуонс гуль уст тропассу.^[352]

– Я как будто бы понял, – сказал Пантагрюэль. – Должно полагать, это язык моей родной страны Утопии, – во всяком случае, он напоминает его своим звучанием.

Он хотел было еще что-то сказать, но путник его прервал:

– Ям тотиес вос пер сакра перкве деос деаскве омнис обтестатус сум ут, си ква вос пиетас пермовет, эгестатем меам соларемини, нек гилум профицио кламанс эт эйюланс. Сините, квезо, сините, вири импии,

Кво ме фата вокант

абире, некультра ванис вестрис интерпеллационибус обтундатис, меморес велтерис илиус адагии, кво вентер фамеликус аурикулис карере дицитур.^[353]

– Полно, дружище! – сказал Пантагрюэль. – А вы по-французски-то говорить умеете?

– Еще как, сеньор, умею! – отвечал путник. – Слава Богу, это мой родной язык, я родился и вырос в зеленом саду Франции, то есть в Турени.

– Ну так скажите же нам, как вас зовут и откуда вы сюда прибыли! – молвил Пантагрюэль. – Честное слово, вы мне так полюбились, что, если вы ничего не имеете против, я не отпущу вас от себя ни на шаг, и отныне мы с вами составим такую же неразлучную пару, как Эней и Ахат.^[354]

– Сеньор! – сказал путник. – Мое подлинное и настоящее имя, данное мне при крещении, Панург, а прибыл я из Турции, где находился в плену со времени злополучного похода на Митилену^[355]. Я охотно поведал бы вам свои приключения, ибо они еще необычайнее приключений Одиссеевых, но коль скоро вам благоугодно взять меня к себе – а я охотно принимаю ваше предложение и обещаю не покинуть вас даже в том случае, если вы отправитесь ко всем чертям, – у нас еще будет время потолковать об этом на досуге, в настоящую же минуту я испытываю острую потребность в пище: зубы у меня щелкают, в животе пусто, в горле пересохло, аппетит зверский, – одним словом, все наготове. Если вы желаете привести меня в годное состояние,

благоволите отдать надлежащие распоряжения. Вы потешите свой взор, глядя, как я стану уписывать за обе щеки.

Тут Пантагрюэль отвел Панурга к себе и велел принести как можно больше съестного, что и было исполнено; Панург славно в тот вечер поужинал, лег спать с петухами, а на другой день проснулся перед самым обедом, и не успели другие оглянуться, как он уже сидел за столом.

Глава X

О том, как Пантагрюэль правильно разрешил один удивительно неясный и трудный вопрос – разрешил столь мудро, что его решение было признано поистине чудесным

Крепко запомнив наставления, заключающиеся в письме отца, Пантагрюэль порешил в один из ближайших дней проверить свои познания.

И точно: он велел вывесить на всех перекрестках девять тысяч семьсот шестьдесят четыре тезиса, касавшиеся всех отраслей знания и затрагивавшие наиболее спорные вопросы в любой из наук.

Прежде всего он выступил на улице Фуарр против всех магистров наук, студентов и ораторов – и всех посадил в лужу. Затем он выступил в Сорбонне против всех богословов, – это продолжалось полтора месяца, с четырех часов утра до шести вечера, с двухчасовым перерывом, чтобы закусить и подкрепиться, каковой диспут не мешал сорбоннским богословам, по обыкновению, клюкать и пропускать для бодрости.

При сем присутствовали многочисленные судейские сановники, докладчики, председатели судов, советники, члены счетной палаты, секретари, адвокаты и прочие, а также городские старшины и лекторы медицинского и юридического факультетов. И вот что любопытно: большинство тотчас же закусило удила, однако, несмотря на их выверты и петли, он всех их посрамил и доказал на деле, что они перед ним не более как телята в мантиях.

Тут все зашумели и заговорили в один голос о его изумительных познаниях, – все, даже простолюдинки: прачки, сводни, кухарки, торговки и прочие, и уж потом, когда ему случалось проходить по

улицам, они всякий раз говорили: «Это он!» Пантагрюэлю это было приятно, так же точно, как лучшему греческому оратору Демосфену^[356], когда одна сгорбленная старушонка, указав на него пальцем, изрекла: «Это он самый».

В ту пору, надобно вам знать, в суде шла тяжба между двумя вельможами, одного из которых, а именно истца, звали господином Лижизад, а другого, то есть ответчика, господином Пейвино, и дело это было до того темное и с юридической точки зрения трудное, что парламентский суд так же свободно в нем разбирался, как в древневерхненемецком языке. Наконец по повелению короля были созваны на совещание четыре самых ученых и самых жирных члена разных французских парламентов, созван Высший совет, а равно и все наиболее видные профессора не только французских, но и английских и итальянских университетов, как, например, Ясон^[357], Филипп Деций, Петрус де Петронибус, и целая шатия старых раввинистов. Все это заседало сорок шесть недель, но так и не раскусило орешка и не могло подвести дело ни под какую статью, и это обстоятельство так обозлило заседавших, что они от стыда самым позорным образом обкакались.

Впрочем, один из них, по имени Дю Дуэ^[358], более образованный, искусный и благоразумный, нежели прочие, как-то раз, когда у всех у них мозги уже набекренились, объявил:

– Господа! Мы здесь давно и только зря расходуем деньги, а в деле нашем все еще не видим ни дна, ни берега, и чем больше мы его изучаем, тем меньше понимаем, – от этого нам становится весьма стыдно и совестно, и, на мой взгляд, нам с честью из этого положения не выйти, ибо все наши речи – это несусветная дичь. Вот, однако ж, что я надумал. Вы, конечно, слышали об одном великом человеке, о магистре Пантагрюэле, которого после великих публичных диспутов, в коих он принимал участие, признали свехученейшим человеком нашего времени? Я предлагаю пригласить его сюда и побеседовать с ним об этом деле. Если уж Пантагрюэль его не решит, значит, его решить нельзя.

Все советники и доктора охотно на это пошли.

И точно: за Пантагрюэлем немедленно послали и обратились к нему с просьбой распутать и раскумекать это дело и по всей форме вывести заключение, какое ему покажется правильным, для чего

Пантагрюэлю тут же были вручены все бумаги и акты, составившие такой воз, который могла бы сдвинуть с места разве лишь четверка здоровенных ослов. Пантагрюэль же спросил:

– А что, господа, тяжущиеся сеньоры еще живы?

Ему ответили утвердительно.

– Какого же черта вы мне суετε весь этот ворох бумаг и копий? – спросил он. – Не лучше ли послушать, как спорят между собой живые человеческие голоса, нежели читать все это дуракавалянье, представляющее собой сплошные каверзы, цеполловы дьявольские каутелы, прямые нарушения права? Я убежден, что и вы и все, кто к этому делу руку приложил, навывдумывали невесть сколько всяких там *pro* и *contra*, что дело само по себе ясное и легкое, а вы нарочно напустили туману: привели всякие нелепые и безрассудные доводы да разные благоглупости Аккурсия, Бальда, Бартола, Кастро, Имолы, Ипполита, Панормы, Бертакино, Александра, Курция и прочих старых пентюхов, которые так и не удосужились прочесть ни одного закона из *Пандектов*, — ведь по части знания законов это же были настоящие бревна, сущие неучи. Доподлинно известно, что они не знали ни греческого языка, ни латинского, а только готский и варварский. А между тем законы были первоначально заимствованы у греков, о чем у нас есть свидетельство Ульпиана в *De origine juris*^[359] (книга последняя), — вот почему все законы полны греческих слов и выражений. Потом законы были составлены на самой изящной и изысканной латыни, с которой не выдерживает сравнения даже язык Саллюстия, Варрона, Цицерона, Сенеки, Тита Ливия и Квинтилиана. Как же могли понять тексты законов эти старые сумасброды, которые никогда в глаза не видели хорошей книги на латинском языке, непреложное чему доказательство представляет собой их собственный слог, слог печников, поваров и кухонных мужиков, а не законоведов? Да и потом, коль скоро законы пересажены с почвы нравственной и натуральной философии, то как бы эти олухи могли их понять, раз они сами, ей-богу, меньше смыслят в философии, нежели мой мул? Что же касается знания гуманитарных наук, древностей и истории, то они могут им похвастать так же, как жаба — перьями, и прибегают они к нему так же часто, как пьяницы к крестному знамени, а ведь любое право этим полно и без такого рода познаний понято быть не может, что я когда-нибудь более обстоятельно и докажу в особом сочинении.

Итак, если вы намерены ознакомить меня с этой тяжбой, то, во-первых, сожгите все эти бумаги, а во-вторых, вызовите ко мне сюда обоих тяжущихся дворян, и вот когда я их выслушаю, я вам изложу свое мнение без околичностей и уверток.

Некоторые начали было ему возражать, – вы же знаете, что во всяком обществе больше глупых людей, нежели умных, и большая часть всегда берет верх над лучшей, как сказал по поводу карфагенян Тит Ливий. Однако вышеупомянутый Дю Дуэ мужественно стоял на своем и доказывал, что Пантагрюэль прав, что все эти реестры, опросные листы, первичные и вторичные объяснения сторон, заявления об отводе свидетелей, возражения против отвода свидетелей и прочая тому подобная чертовщина суть не что иное, как прямое нарушение права и умышленное затягивание процесса, и что пусть их всех черт возьмет, если они не поведут дело иначе, соответственно истине евангельской и философской.

Коротко говоря, все бумаги были сожжены, и оба дворянина были вызваны в суд. Пантагрюэль тотчас же обратился к ним:

– Это между вами идет великий спор?

– Да, милостивый государь, – отвечали они.

– Кто же из вас истец?

– Я, – отвечал сеньор Лижизад.

– В таком случае, друг мой, изложите мне по пунктам ваше дело в полном согласии с истиной, ибо, клянусь телом Господним, если вы хотя в едином слове солжете, я сниму вам голову с плеч и тем самым докажу вам, что на суде и перед лицом правосудия должно говорить только правду, Итак, воздержитесь от недомолвок и прикрас. Прошу вас!

Глава XI

О том, как сеньоры Лижизад и Пейвино в присутствии Пантагрюэля тягались без адвокатов

И вот Лижизад начал следующим образом:

– Милостивый государь! Что одна из моих служанок отправилась на рынок продавать яйца – это суцкая правда...

– Наденьте шляпу, Лижизад, – сказал Пантагрюэль.

– Покорно благодарю, милостивый государь, – сказал сеньор Лижизад. – Так вот, она должна была пройти расстояние между тропиками до зенита в шесть серебряных монет и несколько медяков, поелику Рифейские горы обнаружили в текущем году полнейшее бесплодие и не дали ни одного фальшивого камня по причине возмущения балагуров из-за распри между ахинейянами и мукомолами по поводу бунта швейцарцев, тьма-тьмущая которых собралась встречать Новый год, с тем чтобы после встречи, днем, накормить быков супом, ключи же от кладовых отдать девкам-судомойкам, – пусть, мол, те засыпят собакам овса.

Всю ночь, не отнимая руки от ночного сосуда, они только и делали, что рассылали пешие и конные эстафеты, дабы задержать корабли, ибо портные намеревались из краденых кусочков соорудить трубу и покрыть ею Океаническое море, коего пучина в ту пору, по мнению сеноуборщиков, была как раз вспучена, ибо в ней находился горшок щей, однако ж медики уверяли, что по морской моче с такою же определенностью можно судить о том, что море наелось топоров с горчицей, с какою распознают дрофу по ее шагу, если только господа судьи бемольным указом не воспретят дурной болезни обирать шелковичных червей и разгуливать во время церковных служб, оттого что оборванцы уже начали откалывать веселый танец, как говаривал добрый Раго:

Ноги – ходуном,
А в голове – содом*.

Ах, милостивые государи, пути Господни неисповедимы, а обух расщелкивается кнутом погонщика! Это было в день возвращения из-под Бикокки, и тогда же еще на магистра Антитуса^[360] де Кресоньера был возложен наигрузнейший груз степени лиценциата, – как говорят знатоки церковного права: *Beati lourdes, quoniam ipsi trebuchaverunt.*^[361]

Однако ж, клянусь святым Фиахрием Брийским, Великий пост оттого у нас так строго соблюдают, что

Никто не скроет,
Что Троица деньжонок стоит;
Дождь невелик,
Да прекращает ветер вмиг*.

Если же мы условимся, что судебный пристав не будет так высоко ставить мишень на стрельбище, а секретарь перестанет кругообразно обгрызать себе ногти на пальцах, равно как и гусиные перья, то мы ясно увидим, что каждый виновный берет себя за нос, дабы разглядеть в перспективе при помощи органов зрения то место у камина, где вешают питейный флаг с сорока кушаками, потребными для двадцати оснований к отсрочке. Как бы то ни было, сперва надо снять голову, а потом уж поплакать по волосам, ибо кто штаны задом наперед надевает, у того память отшибает. А посему избави, Господи, от всякого зла Тибо Митена!

Тут Пантагрюэль сказал:

– Полно, друг мой, полно, говорите медленно и не волнуйтесь. Мне все ясно. Продолжайте!

– Так вот, милостивый государь, – снова заговорил Лижизад, – упомянутая мною служанка, исправно читающая *Gaude* и *Audi nos*^[362], не может укрыться ловким фехтовальным приемом с помощью матери честной университетскими привилегиями, разве только по-ангельски погрузившись в воду, накрывшись семеркою бубен и сделав стремительный выпад рапирой возле самого того места, где продаются старые знамена, коими пользуются фламандской школы живописцы, когда им нужно из пустого перелить в порожнее, и я просто диву даюсь, как это род людской не несет яиц, раз он так славно их высиживает.

Тут хотел было вмешаться и что-то сказать сеньор Пейвино, однако ж Пантагрюэль его осадил:

– Клянусь чревом святого Антония, кто тебе разрешал перебивать? У меня и так глаза на лоб лезут от речи твоего противника, и ты туда же? Молчать, черт побери, молчать! Кончит он – тогда я дам слово тебе. Продолжайте, – молвил Пантагрюэль, обратясь к Лижизаду, – можете не торопиться.

– Итак, – снова заговорил Лижизад, – принимая в рассуждение, что в прагматической санкции не содержится на сей предмет никаких указаний и что папа всем предоставил полную свободу пукать сколько угодно, то, если не исцарапать холста, – как бы ни бедствовали люди на свете, – лишь бы никто не подписывался под похабством, а уж радуга, только что отточенная в Милане для того, чтобы выводить жаворонков, со своей стороны изъявила согласие, чтобы служанка вывихнула себе бедра по требованию маленьких икросных рыбок, которые именно с тех пор и были признаны необходимыми для понимания конструкции старых башмаков.

Однако Жан Теленок, двоюродный ее брат, оттолкнувшись от поленницы дров, посоветовал ей не вмешиваться в это дело, а лучше брызгилетательно отстирать белье, не натирая, однако ж, бумаги квасцами до степени пий-над-жок-фор, ибо

Non de ponte vadit, qui cum sapientia cadit^[363],

принимая в соображение, что господа члены счетной палаты не последуют призыву немецких флейт, из которых были сооружены Очки для принцев, недавно изданные в Антверпене.

Вот, милостивые государи, что значит запущенная отчетность, а противная сторона этим пользуется *in sacer verbo dotis*, ибо, исполняя желание короля, я вооружился с ног до головы набрюшником и отправился поглядеть, как мои сборщики винограда подрезают свои высокие шапки, чтоб им удобнее было играть на духовых инструментах, а когда собирают виноград, стоит самая что ни на есть ветреная погода, так что многие вольные стрелки уклонились от состязания, и не потому, чтобы трубы у них были недостаточно громки, а из-за подседов и мокрецов у нашего друга Бодишона.

Благодаря этому во всем Артуа был большой урожай на раковины, что, по-видимому, явилось немаловажным подкреплением для господ плетушечников, коль скоро все тогда, расстегнув пуговицы на животе и уже без всякого удовольствия, пили птичье молоко. Мне бы, однако ж, хотелось, чтобы у каждого человека был красивый голос, – тогда игра в мяч тотчас пошла бы на лад, и те едва уловимые тонкости, которые способствуют этимологизированию ботинок на высоких каблуках, легче будет спускать в Сену как постоянную замену Моста мельников,

касательно чего давно уже есть указ Канарийского короля, но только он залежался в канцелярии.

На основании всего мною изложенного, милостивый государь, я настаиваю на том, чтобы ваше превосходительство высказало по этому поводу, как полагается, свое мнение с оплатой судебных издержек и возмещением проторей и убытков.

Тут Пантагрюэль его спросил:

– Вы ничего больше не имеете сказать, друг мой?

– Ничего, милостивый государь, – отвечал Лижизад, – я вам изложил все, вплоть до *tu autem*^[364], ничего не изменив, – клянусь честью.

– Ну, а теперь вы, господин Пейвино, – сказал Пантагрюэль, – говорите все, что имеете сказать, – можете покороче, только не опускайте ничего такого, что могло бы послужить основанием для приговора.

Глава XII

О том, как сеньор Пейвино тягался в присутствии Пантагрюэля

Тут сеньор Пейвино начал следующим образом:

– Милостивый государь и милостивые государи! Если бы неправду можно было так же легко различить и вынести о ней суждение категорическое, как легко заметить в молоке мух, то мир – четыре быка! – не был бы до такой степени изъеден крысами, как в наше время, и всякий приложил бы свое коварнейшим образом обглоданное ухо к земле, ибо хотя все, что противная сторона говорит по поводу формы и содержания *factum*'а^[365], имеет оперение правды, со всем тем, милостивые государи, под горшком с розами таятся хитрость, плутовство, подвохи.

Должен ли я терпеть, чтобы, в то время когда я ем себе суп по номинальной цене, не замышляя и не говоря ничего худого, в мой дом являлись морочить и забивать мне голову всякими соблазнительными танцами-плясами да еще приговаривали:

Кто суп кларетом запивает,
Тот слеп и глух, как труп, бывает*.

А между тем, Пресвятая Дева, сколько мы знаем именитых полководцев, которым прямо на поле битвы раздавали тумачки благословенного хлеба, чтобы они более благопристойным образом качались на качелях, играли на лютне, играли за дам, играли задом и производили всякие другие вольные движения!

Ныне, однако ж, род людской сбили с толку лестерские сукна: кто загулял, кто – пять, четыре и два, и если только суд не вынесет надлежащего решения, придется ему и в этом году зубами щелкать, так что он вынужден будет пуститься, – а может, уже и пустился, – во все тяжкие. Если какой-нибудь несчастный человек идет в парильню натереть себе рожу коровьим калом или же смазать на зиму свой сапожок, а полицейские и дозорные получают питательный отвар из клистирной трубки или же кишечные извержения из судна, подставляемого к их музыкальным инструментам, то значит ли это, что дозволяется обрезать края у серебряных монет и поджаривать деревянные?

Мы иной раз предполагаем так, а Бог располагает иначе, и когда солнце зашло, скотинка уже вся под кровом. И в том я смело могу сослаться на людей всем известных.

В тридцать шестом году я купил себе немецкого жеребчика побежечки рысистой, шерстей довольно-таки приличных, масти ярко-красной, как уверяли ювелиры, однако ж со всем тем нотариус не преминул поставить свое *cetera*^[366]. Я человек не ученый, хватать зубами луну не умею, однако в горшке с маслом, в котором были закупорены Вулкановы орудия, прошел слух, будто бы соленый бык заставлял находить вино и без свечки, хранился же он в мешке из-под угля, и на нем были налобник и набедренник, необходимые для того, чтобы хорошенько поджарить грубую пищу, то есть баранью голову. Видно, правду говорит пословица: вороные кони в горелом лесу видны как на ладони, когда ждешь свою возлюбленную на свидание. Я спрашивал по этому поводу совета у господ ученых, и они вынесли решение по *frisesomorum*: единственно, что, дескать, нужно, это косить летом в погребе, снабженном достаточным количеством бумаги,

чернил, перьев, ножичков перочинных и прочего тому подобного, ибо, как скоро запряженная лошадь начинает пахнуть чесноком, ржавчина разъедает ей печень, и тогда уже остается только, предвкушая послеобеденный сон, как следует дать по шее. Вот отчего так дорога соль!

Не думайте, милостивые государи, что упомянутая служанка в самом деле проглотила колпицу, чтобы, как показывает судебный пристав, увеличить тем свое приданое, и что колбаса прошла через ростовщичьи кошельки, а кто желает отомстить людоедам, то нет ничего лучше, как взять связку луку, да триста головок репы, да немножко телячьей брыжейки, да лучшего золота, какое только есть у алхимиков, все это смешать, размешать, промешать и перемешать, подлить туда грабельного соуса, а засим намазать и натереть этим составом людоедские туфли и спрятать их в какой-нибудь кротовьей норке, сало же беречь пуще глаза.

И ежели вам не повезет в шашки, то положите дамку на кроватку, порезвитесь с нею и – турлура-на-на – пейте до дна, *depiscando grenoillibus*^[367] во всех прекрасных котурнообразных гамашах, – это для гусят, тех, что прямо из гнезда и которые с увлечением играют в фук, пока железо куется и пока растапливается сургуч для любителей пива.

У четырех быков, о которых здесь идет речь, память оказалась коротковатой, – что верно, то верно. Как бы то ни было, им так хотелось разучить гаммы, что они не побоялись ни баклана, ни савойской утки, и добрые мои земляки возлагали на них большие надежды. «Из этих ребят выйдут молодцы по части арифметики, – говорили они. – Это будет для нас статья устава». Мы не должны упускать волка, когда ставим изгородь над той ветряной мельницей, о которой здесь упоминала противная сторона. Однако ж нечистый дух позавидовал этому и ухватил немцев за зад, а ведь их сам черт не перепьет: «*Her, tringue, tringue!*»^[368] и – размен фигурами, как на шахматном поле, ибо у нас нет никаких оснований утверждать, что в Париже на Малом мосту продаются деревенские куры, и пусть даже эти курочки хохлаты, как болотные дурочки, то есть удоды, пусть даже все пожертвуют свои бородавки чернилам, заново отточенным буквами прописными и обыкновенными, – по мне все едино, лишь бы под переплетом не завелись черви.

Положим даже, что в то время, как ловят и связывают парами бродячих собак, обезьянки раструбят поимку, прежде чем нотариус с помощью каббалистического искусства сумеет вручить свою бумагу, но это еще не значит (да простят мне почтенные судьи!), что шесть арпанов луга с широким полотнищем равняются трем бочкам наилучших чернил, так, чтобы не дуть в миску, и приняв в соображение, что на похоронах короля Карла шерсти было сколько угодно, по два с половиной очка, то есть, разумею, в день *Магдалины за руно*.

Мне приходится наблюдать во всех приличных домах такой обычай, что когда идут ловить птиц, предварительно разика два пройдясь метлой по дымовой трубе и выставив свою кандидатуру, то из кожи лезут вон, да еще дуют в зад, чтоб поскорее остыл, только и всего, и – шариком по кегелькам —

Едва лишь на письмо взглянули,
Как тут же ей коров вернули*.

И такое же точно решение было вынесено в Сен-Мартене по делу одного повесы из Лож-Фужр  з, на что я почитаю своим долгом обратить внимание господ судей.

Я совсем не хочу сказать, чтобы по справедливости и на законном основании нельзя было лишиться имущества тех, кто пьет святую воду, как поступают с алебардой ткача, на которую сажают непокорных: по заслугам, дескать, и честь.

Tunc, милостивые государи, *quid juris pro minoribus?*^[369] Ведь обычай подобен салическому закону: кто первый отважится обломать корове рога, кто станет сморкаться, когда другие или выпевают, или выпивают, тот должен, набивая себе брюхо, вместе с тем постараться скрыть мужскую свою слабость при помощи моха, сорванного в то время, когда люди зевают за полунощницей, чтобы вздернуть на дыбу белые анжуйские вина, которые дают тем, кто их пьет, под зад коленом, как бретонцы друг дружке в драке.

На этом я заканчиваю и прошу, как и противная сторона, оплатить мне судебные издержки и возместить протори и убытки.

Как скоро сеньор Пейвино умолк, Пантагрюэль сказал сеньору Лижизад:

– Что вы имеете на это возразить, друг мой?

Тот же ему ответил так:

– Ничего, милостивый государь, не имею. Я сообщил суду истинную правду, а теперь давайте, ради Бога, покончим с нашей тяжбой, – ведь мы оба основательно поиздержались.

Глава XIII

О том, как Пантагрюэль решил тяжбу двух вельмож

Тут Пантагрюэль встал и объявил всем присутствующим председателям судов, советникам и докторам:

– Итак, милостивые государи, вы услышали доводы тяжущихся *vive vocis oraculo*^[370]. Что вы на это скажете?

Ему ответили так:

– Слышать-то мы, точно, слышали, да только ни черта не поняли. По сему обстоятельству мы просим вас *una voce*^[371] и умоляем: будьте добры, вынесите приговор, какой вам только заблагорассудится, и *ex nunc prout ex tunc*^[372], мы единогласно его одобрим и утвердим.

– В таком случае, милостивые государи, – продолжал Пантагрюэль, – я исполню вашу просьбу. Впрочем, мне лично это дело не представляется таким трудным, как вам. Ваш параграф *Caton*, закон *Frater*, закон *Gallus*, закон *Quinque pedum*, закон *Vinum*, закон *Si Dominus*, закон *Mater*, закон *Mulier bona*, закон *Si quis*, закон *Pomponius*, закон *Fundi*, закон *Emptor*, закон *Pretor*, закон *Venditor*^[373] и многие другие, на мой взгляд, значительно труднее.

Сказавши это, он несколько раз прошелся по зале, будучи погружен в глубокое раздумье, о чем можно было судить по тому, что он время от времени тихонько верещал, будто осел, которому слишком туго затянули подпруги; думал же он о том, как бы удовлетворить обе стороны, ни одной из них в то же время не оказав предпочтения; затем он снова уселся и объявил нижеследующий приговор:

– Имея в виду, приняв в соображение и всесторонне рассмотрев тяжбу между сеньорами Лижизад и Пейвино, суд постановляет:

Учитывая мелкую дрожь летучей мыши, храбро отклонившейся от летнего солнцестояния, дабы поухаживать за небылицами, коим с помощью пешки удалось сделать шах и мат благодаря злым обидам светобоящихся ночных птиц, обитающих в римском климате с распятым на коне, самостоятельно натягивая арбалет, истец имел полное право проконопатить галион, который надувала служанка, – одна нога здесь, другая там, – выдавая ему, отличающемуся совестью неподкупною, в виде возмещения столько же чечевичных семечек, сколько шерстинок у восемнадцати коров, и такое же точно количество – мастеру хитрого плетенья.

Равным образом суд не находит достаточных оснований для того, чтобы предъявить ему обвинение в кусочках кала, – обвинение, которое он навлек на себя тем, что якобы не смог полностью опорожнить свой кишечник, ибо таково решение пары перчаток, надушенных ветрами при свече из орехового масла, вроде тех, какими пользуются в Мирбале, ослабив булинь с помощью медных ядер, из которых конюхи обершталмейстерно выпекают овощи, оседлываемые чучелами птиц с соколиными бубенчиками, расшитыми кружевами, которые его шурин, ступая нога в ногу, мемориально нес в корзинке, расшитой красными нитями в виде трех изогнутых полосок, по угловому воровскому притону, где стреляют метелками в картонного червеобразного попугая.

Что же касается обвинений, взведенных им на ответчика, будто бы тот занимался починкой обуви, сыроедством, а также смолением мумий, то они с колебательной точки зрения неправдоподобны, что убедительно доказал упомянутый ответчик, на основании чего суд приговаривает истца к трем полным стаканам творогу, приправленного, разбавленного, трампампавленного, как велит местный обычай, каковы стаканы он обязуется уплатить упомянутому истцу в майской половине августа.

Упомянутый же ответчик обязуется доставить сена и пакли на предмет затыкания гортанных прорех, перекрученных устрицами, пропущенными через решето на колесиках.

Будьте же снова друзьями, без оплаты издержек, и на этом судебное заседание закрывается.

После объявления приговора и истец и ответчик удалились, причем оба они были вполне удовлетворены состоявшимся решением,

а ведь это было нечто неслыханное: со времен потопа такого еще не случалось, и еще тринадцать юбилейных годов не случится^[374], чтобы тяжущиеся стороны были одинаково довольны окончательным приговором.

Что же касается при сем присутствовавших советников и докторов, то они в продолжение по крайней мере трех часов пребывали в экстазе и в полном восхищении от сверхчеловеческой мудрости Пантагрюэля, наглядно сказавшейся в том, как он решил это трудное и щекотливое дело, и восторженное их состояние длилось бы еще дольше, но тут принесли изрядное количество уксуса и розовой воды, каковые средства подействовали на них так, что они, слава Богу, опомнились и пришли в себя.

Глава XIV

Панург рассказывает о том, как ему удалось вырваться из рук турок

О приговоре Пантагрюэля все тот же час слышали и узнали, отпечатан он был во множестве экземпляров, передан в судебные архивы, и отзываться о Пантагрюэле все с тех пор начали так:

– Соломон отдал матери ребенка на основании простой догадки, он никогда не обнаруживал такой дивной мудрости, как Пантагрюэль. Мы счастливы, что Пантагрюэль находится в нашей стране.

Его даже хотели сделать докладчиком и председателем суда, но он, вежливо поблагодарив, решительно отказался.

– Подобного рода должности, – пояснил он, – требуют от человека слишком много раболепства, и если принять в рассуждение испорченность человеческой природы, то лица, вступающие в такие должности, лишь с величайшим трудом могут спасти свою душу. И сдается мне, что если пустота, образовавшаяся после отпадения некоторых ангелов, будет заполняться только этого звания людьми, то Страшный суд не наступит и через тридцать семь юбилейных годов^[375], предсказания же Николая Кузанского окажутся ложными^[376]. Мое дело предупредить вас об этом заранее. А вот если у вас найдется несколько бочек доброго вина, то я охотно приму их в подарок.

И они охотно так именно и сделали: послали ему лучшего вина, какое только было в городе, и Пантагрюэль выпил в меру. Зато бедняга Панург хватил лишнего, ибо сух был, как копченая сельдь. Вино ударило ему в ноги, и они стали у него подгибаться, словно у отощавшего кота. Когда он единым духом осушил большой кубок красного вина, кто-то ему заметил:

– Эй, эй! Что-то вы, милый мой, уж очень усердствуете!

– К черту! – отрезал Панург. – Тут тебе не парижские, с позволения сказать, пьянчуги, которые пьют, как зяблики, и начинают клевать корм не прежде, чем их, словно воробьев, похлопают по хвосту. Эх, приятель! Если б я так же быстро умел подниматься, как спускать вино к себе в утробу, я бы уж вместе с Эмпедоклом вознесся превыше лунной сферы^[377]! Однако что за черт? Никак не возьму в толк: вино превосходное, превкусное, а чем больше его пью, тем сильнее у меня жажда. Видно, тень монсеньора Пантагрюэля так же легко вызывает жажду, как луна – простуду.

Присутствующие покатались со смеху. Заметив это, Пантагрюэль спросил:

– Чего вы там смеетесь, Панург?

– Сеньор! – отвечал Панург. – Я им рассказывал, как эти черти турки несчастны оттого, что им нельзя пить вино. Если б все зло Магометова Корана заключалось лишь в этом, и тогда ни за что не перешел бы я в их закон.

– А скажите на милость, как вам удалось вырваться? – спросил Пантагрюэль.

– Расскажу все как было, сеньор, – сказал Панург, – вот настолечко не прилгну.

Турки, сукины дети, посадили меня на вертел, предварительно наштиговав салом, как кролика: ведь я был до того худ, что иначе им бы меня не угрызть. И начали они меня живьем поджаривать. Вот, стало быть, поджаривают они меня, а я мысленно поручил себя божественному милосердию, помолился святому Лаврентию, и все не покидала меня надежда на Бога, что Он избавит меня от этой муки, и избавление наконец совершилось воистину чудесное. Итак, я всецело поручил себя воле Божией и только вопию: «Господи, помоги мне! Господи, спаси меня! Господи, спаси меня от мучений, которым меня подвергают эти собаки, эти злодеи за то, что я от закона Твоего не

отрекся!» А мой поджариватель возьми да и засни в это время – не то по воле Божьей, не то по воле какого-нибудь доброго Меркурия, ловко усыпившего моего стоглавого Аргуса.

Почувствовал я, что он больше не поворачивает вертела, гляжу, а он себе спит. Тут я схватил зубами головешку за необгорелый конец и швырнул ее турку прямо в пах, а другую постарался зашвырнуть под походную кровать, на которой валялся соломенный тюфяк моего высокочтимого поджаривателя, кровать же стояла возле самой печки.

Солома мигом загорелась, потом огонь перекинулся на кровать, с кровати на сводчатый потолок, сбитый из сосновых досок. Но это еще что! Головешка, которой я угодил в пах моему подлому истязателю, прожгла ему весь лобок, и у него уже занялись яички. Если б это место не было у него таким вонючим, он бы и до утра не спохватился, а тут он вскочил, словно бешеный козел, высунулся в окно и давай кричать во всю мочь: «Даль барот! Даль барот!» — что значит: «Пожар! Пожар!» Затем подбежал ко мне, разрезал веревки, которыми были связаны мои руки, и уже начал резать на ногах, – он собирался швырнуть меня в огонь.

Но тут хозяин дома, заслышав крики и почувствовав запах дыма на той улице, где он в это время прогуливался с целой компанией пашей и муфтиев, опрометью бросился тушить пожар и спасать свои пожитки.

Не успел он прибежать, как сей же час схватил вертел, на который я был насажен, и уложил им на месте моего поджаривателя, и то ли из-за отсутствия медицинской помощи, то ли по какой другой причине, но только поджариватель скоростижно скончался, – хозяин всадил ему вертел чуть повыше пупка, ближе к правому боку, и пропорол третью долю печени, а затем острие пошло вверх и проткнуло диафрагму, вышло же оно через сердечную сумку в плечевом поясе, между позвоночником и левой лопаткой.

Когда хозяин вытащил из меня вертел, я, правда, упал подле жаровни, но ушибся слегка, совсем слегка, – силу удара ослабило сало.

А мой паша, видя, что дело плохо, что дом его не отстоять и что все пропало, стал призывать на помощь всех чертей и, между прочим, Грильгота, Астарота, Раппала и Грибуйля, каждого по девяти раз.

Тут я струхнул не на шутку. «Черти сию минуту явятся сюда за этим безумцем, – подумал я. – Может, они будут настолько любезны,

что и меня заодно прихватят? Ведь я наполовину изжарен, так что сальце может оказаться причиной моего несчастья, ибо черти большие любители сала, – об этом прямо говорит философ Ямвлих^[378], а также Мюрмо в своей апологии *De bossutis et contrefactis pro Magistros nostros*^[379]. Все же я осенил себя крестным знаменем, воскликнул: «*Agyos athanatos, ho Theos!*»^[380] – и никто из чертей не явился.

Тогда поганый мой паша задумал покончить с собой: он попытался пронзить себе сердце моим вертелом. И точно, он уже приставил его к груди, но вертел оказался недостаточно острым и дальше не пошел: как турок ни нажимал, ничего у него не вышло. Тогда я приблизился к нему и сказал: «Миссер мужлан! Ты попусту тратишь время, – так ты себя никогда не убьешь, а только поранишь, и потом тебя до самой смерти будут терзать лекари. Если хочешь, я убью тебя наповал, так что ты и не охнешь. Я уж многих этаким манером на тот свет отправил, можешь мне поверить, и ничего: остались довольны». – «Ах, мой друг, умоляю тебя! – сказал паша. – Я подарю тебе за это мой кошелек. На, бери! В нем шестьсот серафов и, сверх того, несколько брильянтов и рубинов чистой воды».

– Где же они? – спросил Эпистемон.

– Клянусь Иоанном Предтечей, – отвечал Панург, – весьма далеко отсюда, если только они еще существуют.

Но где же прошлогодний снег?^[381]

Это больше всего волновало парижского поэта Виллона.

– Будь добр, кончай свой рассказ, – молвил Пантагрюэль, – нам любопытно знать, как ты разделался со своим пашой.

– Честное слово порядочного человека, все это истинная правда, – продолжал Панург. – Я стянул ему горло полуобгоревшей обтрепанной штаниной, крепко-накрепко связал руки и ноги, чтобы он не ворохнулся, потом засунул ему вертел в глотку и, зацепив вертел за два толстых крюка, на которых висели алебарды, подвесил таким образом пашу. А внизу, прямо под ним, я развел славный костер, и тут мой милорд прокоптился, как сельдь в копильне. Ну, а я схватил его кошелек да еще копыце, что висело на крюке, и дал стрекача. Одному Богу известно, как от меня тогда несло козлом!

Вышел я на улицу, смотрю: все сбежались на пожар и таскают воду. Видя, что я наполовину обгорел, турки прониклись ко мне естественным чувством жалости и вылили на меня всю воду, – это меня здорово освежило и пошло на пользу. Потом турки дали мне кое-чего подзакусить, но я почти ни к чему не притронулся: они ведь, по своему обыкновению, принесли одной только воды, чтобы запивать.

Больше они мне ничего худого не сделали, не считая разве того, что один паршивый маленький турок с горбом спереди попытался стащить у меня под шумок сало, – ну да я так хватил его копыцем по пальцам, что в другой раз он уже не отважился. А одна гулящая девица, которая принесла мне ихнего любимого варенья из индейских орехов, все глазела на моего беднягу, – уж очень он был тогда жалкий, весь съежился от огня, так что, стань он на ноги, он доходил бы мне только до колен. Но вот что удивительно: у меня окончательно прошла боль в том самом боку, который жарился, пока мой мучитель спал, а до этого я целых семь лет страдал от прострела.

Ну так вот, пока турки со мной возились, пожар распространился (не спрашивайте меня, каким образом) и истребил более двух тысяч домов, так что в конце концов один из турок, заметив это, вскричал: «Клянусь Магометовым чревом, весь город в огне, а мы тут затеяли возню!» При этих словах все разбежались по своим домам.

А я – я пошел по направлению к городским воротам. Когда же я поднялся на пригорок, прямо сейчас же за воротами, то обернулся, как жена Лота, и увидел, что весь город полыхает, как Содом и Гоморра, и такое я в эту минуту почувствовал удовлетворение, что чуть было в штаны не наложил от радости. Но Бог меня наказал.

– Каким образом? – спросил Пантагрюэль.

– А вот как, – отвечал Панург. – Смотрю это я в восторге на яркое пламя, да еще и насмехаюсь. «Ах, говорю, бедные блошки! Ах, бедные мышки! Суровая зима вам предстоит, – огонь забрался к вам в норки». В это самое время из города, спасаясь от огня, выбежали шестьсот – да нет, какое там шестьсот! – более тысячи трехсот одиннадцати псов, больших и малых. Они сразу почуяли запах моей грешной, наполовину изжаренной плоти, и прямо на меня, и, конечно, разорвали бы в одну минуту, если бы мой ангел-хранитель не внушил мне, что есть прекрасное средство от зубной боли.

– А какие у тебя были основания бояться зубной боли? – спросил Пантагрюэль. – Ведь от ревматизма ты же вылечился.

– А, идите вы к Богу в рай! – воскликнул Панург. – Это ли не отчаянная зубная боль, когда собаки хватают вас за ноги? Но тут я вспомнил о сале – и ну швырять его собакам, а те сейчас же из-за него передрались. Благодаря этому они от меня отстали, а я отстал от них. Они себе знай грызутся, а я, радостный и счастливый, от них ускользнул, и да здравствует вертел!

Глава XV

О том, как Панург учил самоновейшему способу строить стены вокруг Парижа

Как-то раз Пантагрюэль, желая отдохнуть от занятий, отправился на прогулку в предместье Сен-Марсо, с тем чтобы непременно побывать в Фоли-Гобелен^[382]. Его сопровождал Панург, под плащом у которого всегда была фляжка и кусок ветчины, – он с ними никогда не расставался и называл их своими телохранителями. Зато никаких шпаг он не признавал, и когда Пантагрюэль обещал подарить ему шпагу, он ответил, что она будет перегревать ему селезенку.

– Ну, а если все-таки на тебя нападут, как же ты будешь защищаться? – спросил Эпистемон.

– Здоровенными пинками, – отвечал Панург, – лишь бы только колющее оружие было воспрещено.

На возвратном пути Панург, обозрев стены вокруг Парижа, насмешливым тоном заговорил:

– Посмотрите, какие прекрасные стены. Очень крепкие стены, – для защиты только что вылупившихся гусят лучше не придумаешь! Но, клянусь бородой, такому городу, как этот, они могут сослужить плохую службу. Корове пукнуть стоит – и более шести брасов такой стены тотчас же рухнет наземь.

– Друг мой! – возразил Пантагрюэль. – Знаешь ли ты, что ответил Агесилай, когда его спросили, почему великий лакедемонский город не обнесен стеною? Указав на его жителей и граждан, искушенных в ратном искусстве, сильных и хорошо вооруженных, он воскликнул: «Вот стены города!» Этим он хотел сказать, что самая крепкая стена –

это костяк война и что нет у городов более надежного и крепкого оплота, чем доблесть их обитателей и граждан. Так же точно и этот город силен своим многочисленным и воинственным населением и в ином оплоте не нуждается. К тому же если б кто и захотел обнести его стеной наподобие Страсбурга, Орлеана или же Феррары, то все равно не смог бы этого сделать, – так велики были бы издержки и расходы.

– Пожалуй, – согласился Панург, – а все-таки, когда враг подступает, не вредно надеть на себя этакую каменную личину, хотя бы для того, чтобы успеть спросить: «Кто там?» А насчет того, что вы говорите, будто постройка стен должна обойтись слишком дорого, то пусть только отцы города выставят мне вина, а уж я научу их самоновейшему и весьма дешевому способу воздвигать стены.

– Какому же это? – спросил Пантагрюэль.

– Вам я его открою, – сказал Панург, – только никому про это ни слова. По моим наблюдениям, главные женские приманки здесь дешевле камней^[383]. Вот из них-то и надобно строить стены: сперва расставить эти приманки по всем правилам архитектурной симметрии, – какие побольше, те в самый низ, потом, слегка наклонно, средние, сверху самые маленькие, а затем прошпиговать все это наподобие остроконечных кнопок, как на большой башне в Бурже, теми затвердевшими шпажонками, что обретаются в монастырских гульфиках. Какой же черт разрушит такие стены? Они крепче любого металла, им никакие удары не страшны. И если даже передки орудий станут об них тереться, – вот увидите (клянусь Богом), из этих благословенных плодов дурной болезни тут же потечет сок, напоминающий мелкий, да зато спорый дождь. Вот черт их дери! И молния-то в них никогда не ударит. А почему? А потому что они священны и благословенны. Тут есть только одно неудобство.

– Хо-хо! Ха-ха-ха! Какое же? – спросил Пантагрюэль.

– Дело в том, что мухи страсть как любят эти плоды. В одну минуту налетят, нагадят, – горе нам, горе, папа римский опозорен! Впрочем, и от этого найдется средство: нужно покрыть плоды лисьими хвостами или же большущими причиндалами провансальских ослов. Мы скоро будем ужинать, так вот я вам кстати расскажу занятную историйку, которую *frater Lubinus*^[384] приводит в своей книге *De comotationibus mendicantium*.^[385]

Однажды, в те времена, когда животные еще умели говорить (то есть дня три тому назад), какой-то злосчастный лев гулял по Бьеврскому лесу и бормотал себе под нос молитвы, а на одном из деревьев, под которыми случилось ему проходить, сидел злой угольщик и обрубал сучья; и вот, увидев льва, угольщик запустил в него топором и сильно ранил в бедро. Лев на трех ногах бросился в чащу леса в надежде, что кто-нибудь ему поможет, и вскоре повстречал плотника; плотник охотно согласился осмотреть его рану, постарался как можно лучше обмыть ее, наложил туда мху, наказал льву, чтобы тот не давал мухам садиться и гадить на рану, а сам пошел за тысячелистником.

Лев выздоровел, и вот однажды, гуляя в том же самом лесу, увидел он, что какая-то древняя старуха рубит и собирает хворост. При виде льва старушонка со страху грохнулась навзничь, да так, что и платье и сорочка задрались у нее до плеч. Движимый состраданием, лев бросился к ней узнать, не ушиблась ли она, и, узрев непоказанное место, вскричал: «О бедная женщина! Кто тебя так поранил?»

Затем он окликнул и позвал бежавшего мимо лиса: «Лис, куманек! Поди-ка сюда, ты мне нужен по важному делу!» Как скоро лис подошел, лев ему сказал: «Куманек, дружок! Эту бедную женщину опасно ранили между ног, отчего произошел явный перерыв в ее земном бытии. Посмотри, как велика рана, – от заднего прохода до пупа. Ампана четыре будет, – нет, пожалуй, все пять с половиной наберутся. Это ее кто-нибудь пестом так хватил. Рана, по-моему, свежая. Так вот я тебя о чем попрошу: чтобы на нее не надели мухи, обмахивай ее получше хвостом и внутри и снаружи. Хвост у тебя хороший, длинный. Махай, голубчик, пожалуйста, махай, а я пойду наберу мху, чтобы заткнуть рану, – все мы должны помогать друг другу, так нам Господь заповедал. Махай сильнее! Так, так, дружок, махай лучше, такую рану должно почаще обмахивать, иначе бедной женщине невмоготу придется. Махай, куманечек, знай себе махай! Господь недаром дал тебе такой хвост, – он у тебя большой, с толстым концом. Помахивай и не скучай. Добрый мухоотмахиватель, который, беспрестанно отмахивая мух, махает своим махалом, никогда не будет мухами отмахнут. Махай же, проказник, махай, мой дьячок! Я не стану тебе мешать». Затем он пошел за мхом и, немного отойдя, крикнул: «Махай, махай, куманек! Махай, куманечек, и не сердись, что

приходится махать много. Я тебя сделаю платным махателем, хочешь – при королеве Марии, хочешь – при доне Педро Кастильском. Только смотри махай! Махай, и все!» Бедный лис усердно махал и так и сяк, и внутри и снаружи, а в это время старая притворщица издавала звуки и смердела, как сто чертей. Несчастный лис находился в весьма затруднительном положении, ибо не знал, как ему повернуться, чтобы благоуханные старухины ветры не дули прямо на него. Когда же он зашел с другой стороны, то увидел, что на заду у нее тоже дыра, не такая, впрочем, большая, как та, которую он обмахивал, и вот из нее-то и исходило это зловонное и отвратительное дуновение.

Наконец лев возвратился, принес мху столько, сколько едва поместилось в восемнадцати вязанках, и начал пропихивать мох палкой; когда же он засунул добрых шестнадцать с половиной вязанок, то пришел в изумление: «Что за черт! Какая глубокая рана! Да туда войдет мху больше двух тележек». Лис, однако ж, остановил его: «Лев, дружище! Будь добр, не запикивай туда весь мох, оставь немножко, – там, сзади, есть еще одна дырка: вонь оттуда идет, как от сотни чертей. Я задыхаюсь от этого мерзкого запаха».

Так вот почему должно охранять эти стены от мух и иметь платных мухоотмахивателей.

Тут Пантагрюэль обратился к Панургу с вопросом:

– Откуда ты выдумал, будто женские срамные части здесь так дешевы? В этом городе много женщин недоступных, целомудренных, а равно и девственниц.

– *Et ubi prenus?*^[386] – спросил Панург. – Я вам сейчас выскажу не мое личное мнение, – таково действительное положение вещей. Скажу, не хвастаясь: я успел поддеть на удочку четыреста семнадцать с тех пор, как я в этом городе, а я и всего-то здесь девять дней, и вот только нынче утром встретился мне один добрый человек, который нес в переметной суме, вроде Эзоповой, двух девочек по третьему, от силы – по четвертому годичку, одну – впереди, другую – сзади. Он попросил у меня милостыню, я же ему на это ответил, что у меня куда больше яичек, чем денег, а потом спросил: «Добрый человек! Что, эти две девочки – девственницы?» – «Братец! – отвечал он. – Я вот уже два года как их ношу, и если говорить о той, которая впереди, потому как она всегда у меня перед глазами, то она вроде как будто

девственница, – впрочем, руку на отсечение я за это не дам. А насчет той, которая сзади, ничего определенного сказать не могу».

– Какой же ты славный малый! – воскликнул Пантагрюэль. – Я велю одеть тебя в ливрею моих фамильных цветов.

И он, точно, вырядил Панурга по последней моде; Панург только пожелал, чтобы гульфик на его штанах был в три фута длиною, и притом не круглый, а четырехугольный, что и было исполнено, и на Панурга после этого было одно удовольствие смотреть. И сам Панург часто говаривал, что род человеческий еще не знает всех преимуществ и всей пользы длинного гульфика, но со временем он-де это поймет, ибо все полезные вещи изобретаются в свое время.

– Да хранит Господь того, кому длинный гульфик спас жизнь! – твердил он. – Да хранит Господь того, кому длинный гульфик принес в один день сто шестьдесят девять тысяч эю! Да хранит Господь того, кто благодаря своему длинному гульфику спас целый город от голодной смерти! Нет, ей-богу, когда у меня будет больше свободного времени, я непременно напишу книгу *Об удобствах длинных гульфиков!*

И точно: он написал большую прекрасную книгу с картинками, однако, сколько мне известно, в свет она еще не вышла.

Глава XVI

О нраве и обычае Панурга

Панург был мужчина лет тридцати пяти, среднего роста, не высокий, не низенький, с крючковатым, напоминавшим ручку от бритвы, носом, любивший оставлять с носом других, в высшей степени обходительный, впрочем слегка распутный и от рождения подверженный особой болезнью, о которой в те времена говорили так:

Безденежье – недуг невыносимый.

Со всем тем он знал шестьдесят три способа добывания денег, из которых самым честным и самым обычным являлась незаметная кража, и был он озорник, шулер, кутила, гуляка и жулик, каких и в Париже немного.

А в сущности, чудеснейший из смертных. [\[387\]](#)

И вечно он строил каверзы полицейским и ночному дозору. Соберет иной раз трех-четырех парней, напоит их к вечеру, как тамплиеров, отведет на улицу св. Женевьевы или к Наваррскому коллежу, и как раз перед тем, как здесь пройти ночному дозору, – о чем Панург догадывался, положив сначала шпагу на мостовую, а потом приложив ухо к земле: если шпага звенела, то это было непреложным знаком, что дозор близко, – Панург и его товарищи брали какую-нибудь тележку, раскачивали ее изо всех сил и пускали с горы прямо под ноги ночному дозору, отчего бедные дозорные валились наземь, как свиньи, а в это время Панург с товарищами убегали в противоположную сторону: должно заметить, что и двух дней не прошло, а Панург уже знал все парижские улицы и закоулки, как *Deus det*. [\[388\]](#)

Иной раз в таком месте, которого ночному дозору никак нельзя было миновать, он насыпал пороху, потом, завидев дозор, поджигал, а потом с удовлетворением смотрел, какую легкость движений выказывают караульные, вообразившие, что ноги им жжет антонов огонь.

Особенно доставалось от него несчастным магистрам наук и богословам. Встретит, бывало, кого-нибудь из них на улице – и не преминет сделать гадость: одному насыплет навозу в шляпу, другому привесит сзади лисий хвост или заячьи уши, а не то придумает еще какую-нибудь пакость.

В тот день, когда всем богословам было велено явиться в Сорбонну на предмет раскумекивания догматов, он приготовил так называемую бурбонскую смесь – смесь чеснока, гальбанума, асафетиды, кастореума и теплого навоза, подлил туда гною из злокачественных нарывов и рано утром густо намазал этой смесью всю мостовую – так, чтобы самому черту стало невмочь. И уж как начали эти добрые люди драть при всех козла, так все нутро свое здесь и оставили. Человек десять – двенадцать умерли потом от чумы, четырнадцать заболели проказой, восемнадцать покрылись паршой, а более двадцати семи подхватили дурную болезнь.

Панург, однако ж, и в ус себе не дул. Он имел обыкновение носить под плащом хлыст и этим хлыстом немилосердно стегал молодых слуг,

чтобы они попроворней несли вино своим хозяевам.

В его куртке насчитывалось более двадцати шести карманчиков и карманов, и все они у него были набиты:

в одном из них хранились свинцовая игральная кость и острый, как у скорняка, ножичек, которым он срезал кошельки;

в другом – сосуд с виноградным соком, которым он прыскал в глаза прохожим;

в третьем – головки репейника с воткнутыми в них гусиными и петушьими перышками, – он сажал их добрым людям на плащ или же на шляпу, а еще он любил приделывать людям рожки, с которыми они потом так и ходили по всему городу, а иногда и всю жизнь; дамам он тоже прицеплял их к головному убору, сзади, – в виде мужской принадлежности;

в четвертом – уйма пакетиков со вшами и блохами, – он собирал их у нищей братии на кладбище Невинноубиенных младенцев, а затем при помощи тростинок или перьев, которыми пишут, стряхивал на воротнички наиболее жеманным девицам, преимущественно в церкви; к слову сказать, в церкви он никогда не поднимался на хоры, – он предпочитал и за обедней, и за вечерней, и во время проповеди быть внизу, среди женщин;

в пятом – множество крючков и крючочков, которыми он любил сцеплять мужчин и женщин, стоявших тесной толпой, главным образом тех женщин, которые носили платья из тонкой тафты, – стоило им дернуться, и платье – в клочья;

в шестом – коробочка с трутом, огнивом, кремнем и тому подобными приспособлениями;

в седьмом – два-три зажигательных стекла, которыми он иной раз доводил до бешенства мужчин и женщин и заставлял их забывать, что они находятся в храме; недаром Панург говорил, что женщина, которая не умеет обиды *терпеть*, в гневе способна *и за обедней п...ть*, — разница, мол, только в нескольких буквах;

в восьмом – запас ниток и иголок, с помощью которых он черт знает чего только не вытворял.

Однажды, заметив, что в Большом зале суда^[389] монах-францисканец собирается служить мессу, Панург вызвался помочь ему одеться и облачиться, но, снаряжая его, он ухитрился пришить его ризу к рясе и к сорочке, а как скоро члены суда расселись по местам в

ожидании службы, он поспешил удалиться. И вот когда бедный *frater*^[390], произнеся *Ite, missa est*^[391], стал снимать с себя ризу, то с нею вместе совлек и рясу и сорочку, так как все это было одно к другому накрепко пришито, и, оголившись до плеч, обнаружил перед всеми свои украшения, должно полагать, внушительных размеров. И чем решительнее *frater* все это с себя стаскивал, тем больше обнажался, пока наконец один из членов суда не возопил: «Что же это такое? Уж не думает ли честной отец, что мы станем прикладываться к его заду? Нет, пусть антонов огонь его в зад поцелует!» С тех пор бедным честным отцам велено было разоблачаться только у себя в ризнице, но ни в коем случае не при всех, особливо не при женщинах, дабы не вводить их в соблазн. Когда же кто-нибудь спрашивал, отчего это у фратеров такие длинные уды, Панург всякий раз отлично разрешал проблему.

– У ослов оттого длинные уши, – пояснял он, – что их матки, как утверждает *De Alliaco*^[392] в своих *Suppositiones*^[393], не надевают им на голову чепчика. На том же самом основании причинное место у святых отцов оттого такое длинное, что они не носят подштанников, – бедному монашескому уду предоставлена полная свобода, вот он и болтается как неприкаянный у них на коленях, ни дать ни взять четки у женщин. А большой он у них оттого, что благодаря этому болтанию к нему притекают все телесные соки, ибо, как утверждают законоведы, волнение и движение вызывают притяжение.

Item еще один карман у Панурга был набит квасцами, – эти квасцы он сыпал самым чопорным женщинам за воротник, отчего некоторые из них вынуждены были при всех раздеваться, другие плясали, как петух на угольях, третьи катались, как бильярдный шар по барабану, четвертые бегали по улицам, Панург же устремлялся за ними, и тем из них, которые раздевались, он, как учтивый и любезный кавалер, набрасывал на спину плащ.

Item еще в одном кармане у него была склянка с деревянным маслом, и когда он встречался с нарядно одетой дамой или же мужчиной, то, делая вид, будто пробует ткань на ощупь, замасливал и портил самые видные места на платье, да еще приговаривал: «Ах, какое хорошее сукно, какой хороший атлас, какая хорошая тафта, сударыня! Пошли вам Бог все, что вашей душеньке угодно, – новое платье, нового дружка! Храни вас Господь!» С этими словами он клал

даме руку на воротник. И несмываемое сальное пятно, остававшееся на платье, так прочно потом въедалось в душу, в тело и в доброе имя, что сам черт его бы не свел. А Панург говорил на прощанье: «Смотрите, сударыня, не упадите, тут впереди большая грязная лужа».

Еще в одном кармане хранился у него растертый в порошок молочай, и в тот же карман он клал изящной работы хорошенький носовой платочек, который он в рядах Сент-Шанель стянул у одной пригожей торговки, когда снимал у нее с груди вошь, – вошь эту он, кстати сказать, сам же ей и посадил. Находясь в обществе порядочных женщин, Панург всякий раз заговаривал о рукоделье, клал руку даме на грудь и спрашивал: «Это фламандские вышивки или же из Эно^[394]?» Затем он доставал свой носовой платок. «Полюбуйтесь, полюбуйтесь, вот это работа! – говорил он. – Не то из Пипиньяна, не то из Какассоны!» Тут он изо всех сил встряхивал платок перед самым носом у дам, отчего те чихали четыре часа без передышки. Сам же он в это время пукал, как жеребец, а дамы со смехом спрашивали:

– Панург! Да вы что это, пукаете?

– Помилуйте, сударыня, – отвечал он, – я подбираю аккомпанемент к песенке, которую вы выводите носом.

Еще в одном кармане находились у него отвертки, отмычки, клещи и прочие тому подобные орудия, против которых ни одна дверь и ни один сундук устоять не могли.

Еще один карман был у него набит бирюльками, играл же он в них мастерски, ибо пальцы у него были гибкие, как у Минервы или же у Арахны^[395], и в былые времена он даже показывал на улицах фокусы, а когда он менял тестон или же какую-нибудь другую монету, то, будь меняла проворнее самого Муша, все равно у него каждый раз бесследно исчезали пять-шесть бланков, так что он ощущал лишь дуновение ветра, поднимавшегося при их исчезновении, – а всё быстрота и ловкость Панурговых рук, и притом никакого мошенничества!

Глава XVII

О том, как Панург приобретал индульгенции, как он выдавал замуж старух и какие процессы вел он в Париже

Однажды, заметив, что Панург чем-то слегка озабочен и не склонен поддерживать разговор, я решил, что причиной тому безденежье, и обратился к нему с такими словами:

– Судя по выражению вашего лица, Панург, вы больны, и я догадываюсь, чем именно: ваша болезнь называется истощением кошелька. Но вы не беспокойтесь: у меня есть приبلудные шесть с половиной су, – полагаю, они для вас будут нелишними.

Панург же мне на это ответил так:

– Э, что деньги? Прах! В один прекрасный день мне их девать некуда будет, – ведь у меня есть философский камень, он притягивает к себе деньги из чужих кошельков, как магнит – железо. А может быть, вы желаете приобрести индульгенцию? – спросил он.

– Даю вам слово, я не очень-то гонюсь за отпущением грехов на этом свете, – отвечал я, – посмотрим, что будет на том. Впрочем, пожалуй, но только, по чести, я готов затратить на индульгенцию один денье, ни больше ни меньше.

– Ссудите и мне один денье под проценты, – сказал он.

– Нет, нет, – сказал я, – я просто даю вам его взаймы, от чистого сердца.

– *Grates vobis, Dominos*^[396], – сказал он.

Мы начали с церкви св. Гервасия, и там я купил только одну индульгенцию, ибо по части индульгенций я довольствуюсь малым, и прочитал несколько кратких молитв св. Бригитте, меж тем как Панург покупал индульгенции у всех продавцов и с каждым из них неукоснительно расплачивался.

Затем мы побывали в Соборе Богоматери, у св. Иоанна, у св. Антония и во всех других церквях, где только продавались индульгенции. Я больше не купил ни одной, а он прикладывался ко всем мощам и везде платил. На возвратном пути мы с ним зашли в кабачок «Замок», и он показал мне не то десять, не то двенадцать своих карманов: они были полны денег. Тут я перекрестился и спросил:

– Как это вам удалось в такое короткое время набрать столько денег?

Он же мне ответил, что понатаскал их с блюд, на которых лежат индульгенции.

– Когда я клал на блюдо первый денье, – пояснил он, – у меня это так ловко вышло, что сборщику показалось, будто я положил крупную монету. Потом я одной рукой захватил десяток денье, – а может, и десяток лиаров, а уж за десяток дублей-то я ручаюсь, – другой же рукой – целых три или даже четыре десятка, и так во всех церквах, в которых мы с вами побывали.

– Да, но вы обрекаете себя на вечные муки, как змей-искуситель, – заметил я. – Вы – вор и святотатец.

– По-вашему так, а по-моему не так, – возразил он. – Ведь продавцы индульгенций сами мне дают эти деньги, – они предлагают мне приложиться к мощам и говорят при этом: «*Centuplum accipies*»^[397]. Это значит, что за один денье я имею право взять сто, ибо слово *accipies* здесь следует понимать так, как его толкуют евреи, которые вместо повелительного наклонения употребляют будущее время. Могу вам привести пример из закона: *Diliges Dominum* и *Dilige*^[398]. Поэтому, когда индульгенщик мне говорит: «*Centuplum accipies*», то он хочет этим сказать: «*Centuplum accipe*»^[399], и в таком именно духе толкуют эти слова раввины Кимхи, Абен Эзра, разные там масореты и рассуждает *ibi*^[400] Бартол. Да и потом сам папа Сикст пожаловал мне ренту в полторы тысячи франков из церковных доходов за то, что я вылечил его от злокачественной опухоли, которая так его мучила, что он боялся остаться хромым на всю жизнь. Вот я сам себе, своими руками, и выплачиваю эту ренту из церковных доходов. Ах, мой друг! – продолжал он. – Если б вы знали, как я нагрел руки на крестовом походе, вы бы ахнули от изумления! Я заработал на нем более шести тысяч флоринов.

– Куда же они девались, черт побери? – вскричал я. – Ведь у вас ничего не осталось.

– Девались туда, откуда явились, – сказал он, – переменяли хозяина, только и всего. Самое меньшее три тысячи из этих денег я израсходовал на бракосочетания, но только не юных девиц, – у этих от женихов отбою нет, – а древних, беззубых старух, ибо я рассуждал так: «Эти почтенные женщины в молодости даром времени не теряли, рады были угодить первому встречному, пока уж сами мужчины не стали ими брезговать, так пускай же, черт побери, перед смертью они еще разок побарахтаются». На сей предмет я одной давал сто флоринов, другой сто двадцать, третьей триста, смотря по тому, насколько они

были гнусны, отвратительны и омерзительны, ибо чем они были ужаснее и противнее, тем больше приходилось им давать денег, иначе сам черт бы на них не польстился. Затем я шел к какому-нибудь дюжему и ражему носильщику и заключал брачную сделку; однако ж, прежде чем показать старуху, я показывал ему экую и говорил: «Послушай, братец, если ты согласишься хорошенько нынче поерзгать, то все это будет твое». Потом я выставял хорошее угощение, лучшие вина и как можно больше пряностей, чтобы раззадорить и разгорячить старух. Благодаря этому они трудились не хуже других, только по моему распоряжению самым из них уродливым и безобразным закрывали лицо мешком. Помимо всего прочего, я много издержал на судебные процессы.

– Какие еще процессы? – спросил я. – Ведь у вас же ни кола ни двора.

– Друг мой, – отвечал он, – местные девицы по наущению дьявола изобрели высокие воротники, закрывающие даже шею, так что руку некуда просунуть, – сзади застежка, а спереди все закрыто, – разумеется, бедным любовникам, вздыхателям и созерцателям это не понравилось. В один прекрасный вторник я подал в суд на этих девиц, и в своем прошении я указал, какой громадный ущерб наносит это моим интересам, и предупреждал, что если суд не примет надлежащих мер, то я на том же самом основании пришью себе гюльфик сзади. Коротко говоря, девицы объединились, выставили свои причины и поручили ведение дела своему поверенному. Однако ж я за себя постоял, и в конце концов суд разрешил девицам носить высокие воротники, но с условием, что они будут оставлять спереди небольшой вырез.

Еще у меня был весьма грязный и дурно пахнущий процесс с магистром Фи-фи и его единомышленниками: я предъявил требование, чтобы они не читали украдкой по ночам *Бочку с золотом* и отхожие, то бишь отдельные, места из *Сентенций*^[401], — пусть, мол, читают их белым днем, в Сорбонне, в присутствии всех богословов, – а суд приговорил меня к уплате издержек за то, что я не соблюл какой-то формальности по отношению к приставу.

В другой раз я подал в суд на мулов председателей, советников и других лиц и потребовал, чтобы советницы сшили им слюнявки, а то они запаковали своей слюной двор при суде, куда их ставят грызть

удила, и из-за этого слуги судейских лишены возможности располагаться со всеми удобствами на мощеном дворе и играть в кости или же в чертыхалки, не боясь запачкать колени. Я это дело выиграл, но стоило оно мне немало. А затем прикиньте-ка, во что мне обходятся ежедневные угощения этих самых слуг.

– А зачем вы это делаете? – спросил я.

– Друг мой! – сказал Панург. – У вас нет никаких развлечений, а у меня их больше, чем у самого короля. Давайте объединимся, – вот уж тогда мы наделаем дел!

– Нет, нет, – сказал я, – клянусь святым Петлионом, когда-нибудь вас повесят!

– А вас когда-нибудь похоронят, – заметил Панург. – Что же, по-вашему, почетнее: воздух или земля? Эх вы, шляпа! Сам Христос висел в воздухе. Пока слуги пируют, я сторожу их мулов и некоторым подрезаю стременные ремни так, чтобы они держались на ниточке. Потом какой-нибудь разжиревший советник или кто-нибудь еще в этом роде вспрыгнет на мула – ан, глядь, уж и валяется, как свинья, все на него смотрят, и смеху тут бывает побольше, чем на сто франков. А я смеюсь больше всех, потому что, когда советник вернется домой, он велит измолотить верного своего слугу, как недоспелую пшеницу. Вот почему я никогда не жалею, что потратился на угощение.

Одним словом, Панург знал не только, как уже было сказано, шестьдесят три способа добывать деньги, но и целых двести четырнадцать способов их тратить, не считая расходов на замаривание червячка.

Глава XVIII

О том, как один великий английский ученый пожелал диспутировать с Пантагрюэлем и был побежден Панургом

На этих же днях один ученый муж по имени Таумаст^[402], до которого докатилась молва и слава о беспримерной Пантагрюэлевой учености, прибыл из Англии единственно для того, чтобы повидать Пантагрюэля, подвергнуть испытанию его ученость и удостовериться, такова ли она на самом деле, как о ней толкуют. И вот по приезде в Париж он тотчас же отправился к Пантагрюэлю, проживавшему в

подворье Сен-Дени, а Пантагрюэль в это время гулял с Панургом в саду и философствовал по способу перипатетиков. В первое мгновение, увидев, что Пантагрюэль такой огромный и высоченный, англичанин задрожал от страха; затем, как полагается, поздоровался с ним и повел такую учтивую речь:

– Известно, что Платон, царь философов, заметил, что когда бы мудрость и наука приняли телесные, зримые очертания, то весь мир был бы повергнут в полное смятение, ибо достаточно слуху об этом распространиться и дойти до тех пытливых и любознательных умов, которые именуются философами, чтобы они мгновенно лишились сна и покоя, – так неодолимо влечет и тянет их к человеку, в коем наука воздвигла свой храм и чьими устами она глаголет. И наглядный пример тому являет нам, во-первых, царица Савская, приходившая от пределов Востока и моря Персидского увидеть дом Соломона и послушать мудрости его; во-вторых, Анахарсис, пришедший из Скифии в Афины, чтобы увидеть Солона; затем Пифагор, посетивший прорицателей мемфисских; затем Платон, посетивший магов египетских и Архита Тарентского; затем Аполлоний Тианский, достигший гор Кавказа, прошедший Скифию, землю массагетов, Индию и проплывший великую реку Фисон до брахманов, чтобы увидеть Гиарха, и прошедший Вавилонию, Халдею, Мизию, Ассирию, землю парфян, Сирию, Финикию, Аравию, Палестину, Александрию, вплоть до Эфиопии, чтобы увидеть гимнософистов. Так же точно из сопредельных держав – Франции и Испании – стекались ученые люди в Рим, чтобы повидать и послушать Тита Ливия. Себя я не смею отнести к числу и разряду людей столь совершенных, – я лишь хочу прослыть человеком любознательным, поклонником не только науки, но и ученых. И вот, как скоро до меня долетел слух о бесценных твоих познаниях, я оставил отечество, родных и дом свой и, невзирая на дальность расстояния и утомительность морского путешествия в страну, мне к тому же неведомую, устремился сюда единственно для того, чтобы повидать тебя и побеседовать с тобою о некоторых вопросах философии, геомантии и каббалы, кои мне не ясны и пред коими мой разум бессилен; если же ты сумеешь их разрешить, то я и все мое потомство будем с той минуты твоими рабами, ибо ничем иным я не смогу тебя как должно отблагодарить. Вопросы эти я изложу в письменной форме и завтра же оповещу всех здешних

ученых, дабы мы могли диспутировать публично, в их присутствии. Диспутировать же я предлагаю таким образом. Я не хочу диспутировать *pro* и *contra*, как диспутируют глупые софисты здесь, у вас, и в других местах. Так же точно я не хочу диспутировать ни в декламационной манере академиков, ни посредством чисел, как диспутировал Пифагор и как намеревался диспутировать в Риме Пико делла Мирандола^[403], – я хочу диспутировать только знаками, молча, ибо все эти предметы до того трудны, что слова человеческие не выразят их так, как бы мне хотелось. Того ради пусть твое величие соизволит явиться на диспут. Он будет происходить в Большом зале Наваррского коллежа в семь часов утра.

Когда он кончил свою речь, Пантагрюэль с большим достоинством ему ответил:

– Милостивый государь! Я охотно делюсь с каждым теми дарами, коими меня наделил Господь, так как всякое благо исходит от него и так как ему угодно, чтобы оно приумножалось среди людей, достойных и способных воспринять небесную манну благородных знаний, ты же, по моим сведениям, в настоящее время занимаешь среди них первое место, а потому я тебе объявляю, что я когда угодно готов, сколько мне позволят мои скромные силы, ответить на любой из твоих вопросов, хотя, впрочем, не ты у меня должен учиться, а я у тебя, но уж раз ты сам предложил, то мы с тобой побеседуем о неясных для тебя вопросах и постараемся найти решение на дне того неисчерпаемого кладезя, в котором, как сказал Гераклит, таится истина. Я вполне одобряю предложенный тобою способ диспутировать молча, посредством знаков, ибо мы и так друг друга поймем, и у нас не будет рукоплесканий, к коим прибегают во время диспутов бездельники софисты, когда им нравится аргументация. Итак, завтра я не премину явиться в указанный час куда ты мне назначил, но только уговоримся заранее, что мы с тобой не поссоримся и не повздорим, ибо не почестей и не рукоплесканий ищем мы, а только истины.

Таумаст же ему на это ответил так:

– Милостивый государь! Господь да не оставит тебя своими щедротами и воздаст тебе за то, что твое величие соблаговолило снизойти к моему ничтожеству. Итак, прощай, до завтра!

– Прощай! – сказал Пантагрюэль.

Любезные мои читатели! Вы не можете себе представить, какие высокие и возвышенные мысли посещали всю ночь и Таумаста и Пантагрюэля. В конце концов помянутый Таумастан, остановившийся в подворье Клюни^[404], сказал привратнику, что никогда еще его так не томила жажда.

– У меня такое чувство, точно Пантагрюэль хватает меня за горло, – признался он. – Сделайте милость, прикажите подать вина и, чтобы пополоскать горло, холодной воды.

Пантагрюэль был крайне возбужден и всю ночь просидел над:^[405]

Книгой Беды *De numeris et signis*^[406],

Книгой Плотина *De inenarrabilibus*^[407],

Книгой Прокла *De magia*^[408],

Книгами Артемидора *Peri onirocraticon*^[409],

Анаксагора *Peri semion*^[410],

Инария *Peri aphata*^[411],

Книгами Филистимона,

Гиппонакта *Peri anecphoneton*^[412]

и множеством других, пока наконец Панург не сказал:

– Сеньор! Выкиньте вы все это из головы и ложитесь спать. Вы чересчур возбуждены, – боюсь, как бы у вас от переутомления мозга не сделалась горячка. Прежде, однако ж, хлебните разиков двадцать пять – тридцать, да и спите себе сколько влезет, а утром на диспуте с господином англичанином вместо вас выступлю я, и если я не доведу его *ad metam non loqui*^[413], можете меня обругать.

– Панург, друг мой! – возразил Пантагрюэль. – Но ведь он же человек на редкость образованный. Под силу ли будет тебе с ним тягаться?

– Еще как под силу! – молвил Панург. – Кончен разговор, – предоставьте все мне. Кто образованнее чертей?

– Разумеется, никто, кроме тех, кого коснулась божественная благодать, – отвечал Пантагрюэль.

– Со всем тем, – продолжал Панург, – я много раз выступал против чертей – и всех их положил на обе лопатки и посадил в лужу. Так что можете быть уверены: завтра у меня этот знаменитый англичанин публично обкакается.

Панург всю ночь пьянствовал со слугами и играл с ними в *primus et secundus* и в палочки, а расплачивался застежками от штанов. Когда же условленный час настал, он пошел со своим господином в указанное место, а там уже собрались все парижане, и стар и млад, – можете мне поверить.

«Хоть этот чертов Пантагрюэль и одолел всех болтунов и желторотых сорбоннашек, – думали они, – но уж на сей раз ему достанется на орехи: ведь англичанин-то сущий черт из Вовера^[414]. Посмотрим, кто кого».

Итак, все были в сборе, Таумаст их ждал, и когда Пантагрюэль с Панургом вошли в залу, все школяры, и младшие и старшие, по своей дурацкой привычке захлопали в ладоши. Пантагрюэль, однако ж, на них гаркнул, да так, что голос его был подобен выстрелу из двойной пушки:

– Тише, черт побери, тише! Клянусь Богом, мерзавцы, если вы будете меня раздражать, я вам всем отсеку головы.

При этих словах собравшиеся обмерли и больше уж кашлянуть не смели, словно каждый из них проглотил пятнадцать фунтов перьев, и хотя они успели крикнуть всего один раз, но пить всем захотелось отчаянно, и от жажды все высунули языки на полфута, как будто Пантагрюэль насыпал им в рот соли.

Тут Панург обратился к англичанину:

– Милостивый государь! Ты прибыл сюда для того, чтобы заводить перебранку по поводу поставленных тобою вопросов, или же для того, чтобы поучиться и познать истину?

Таумаст же ему на это ответил:

– Милостивый государь! Меня привело сюда бескорыстное желание поучиться и познать то, в чем я всю жизнь сомневался, ибо до сих пор ни одна книга и ни один человек не смогли разрешить мои сомнения. Заводить же из-за чего-либо перебранку я не намерен, – это ниже моего достоинства, – пусть этим занимаются каналы софисты, сорбоннии, сорбоннолухи, сорбоннщики, сорбонники, сорбоннилы, сорбоннавцы, сорбнобники, бросонники, росбонники, ищущие на диспутах не истины, но противоречий и разногласий.

– Итак, – продолжал Панург, – я, скромный ученик моего наставника, господина Пантагрюэля, попытаюсь убогочинить тебя и удовлетворить всем и во всем, а потому нам незачем беспокоить его

самого. Пусть лучше он возьмет на себя обязанности председателя, рассудит нас и окончательно рассеет твои сомнения, если ты найдешь, что я не удовлетворил твоей любознательности.

– Отлично придумано, – заметил Таумаст. – Начинай же!

Надобно вам знать, что у Панурга на конце длинного гульфика красовалась кисточка из красных, белых, зеленых и синих шелковых нитей, а в самый гульфик он положил большущий апельсин. [\[415\]](#)

Глава XIX

О том, как Панург положил на обе лопатки англичанина, диспутировавшего знаками

Тут собравшиеся приготовились внимательно слушать, англичанин же высоко поднял сперва одну руку, потом другую, сложил кончики пальцев в виде куриной ж...ки, как выражаются в Шиноне, и четыре раза подряд провел ногтями то по одной руке, то по другой, затем разжал пальцы и ладонью одной руки оглушительно хлопнул по другой. Потом опять соединил руки, потом дважды хлопнул в ладоши и четыре раза сжал и разжал пальцы; затем опять сложил руки и, словно взывая к Богу, воздел их.

Вдруг Панург поднял правую руку, засунул большой ее палец в правую же ноздрю, а остальные четыре пальца сжал и вытянул на уровне кончика носа, левый глаз совершенно закрыл, а правый прищурил, низко опустив и бровь и веко; затем высоко поднял левую руку, плотно сжал и вытянул четыре пальца, а большой палец поднял, после чего левая его рука приняла такое же точно положение, как и правая, отделяло же их одну от другой расстояние в полтора локтя. Потом он опустил обе руки, а затем поднял до уровня плеч и как бы нацелился в нос англичанину.

– Но если Меркурий... – начал было англичанин.

Однако ж Панург перебил его:

– Маска, вы заговорили!

Тогда англичанин сделал вот какой знак: он высоко поднял раскрытую левую руку, сжал в кулак четыре пальца, а большой палец вытянул и приставил к кончику носа. Потом быстрым движением поднял раскрытую правую руку и, не сжимая, опустил, приставил

большой палец к мизинцу левой, а другими четырьмя пальцами левой руки начал медленно двигать, потом наоборот: правой сделал то, что раньше проделывал левой, а левой – то, что раньше проделывал правой.

Панург не растерялся: левой рукой он приподнял свой преогромный гульфик, а правой вынул оттуда кусок бычьего ребра и две одинаковой формы палочки, одну – черного дерева, другую – красного бразильского дерева, симметрично расположил их между пальцами и, ударя одну о другую, стал издавать звук, напоминающий погремушки бретонских прокаженных, более, однако же, сильный и приятный для слуха, и при этом он еще, не спуская глаз с англичанина, весело прищелкивал языком.

По мнению богословов, врачей и хирургов, этот знак указывал, что англичанин болен проказой.

По мнению же советников, законоведов и знатоков канонического права, этим он хотел сказать, что и прокаженный может быть по-своему счастлив, как то некогда открыл нам Господь.

Англичанин этим не смутился: он поднял обе руки, три главных пальца сжал, затем пропустил большие пальцы между указательными и средними, мизинцы же вытянул во всю длину и поднес к лицу Панурга, а потом соединил руки так, что большой палец правой касался большого пальца левой, а мизинец левой – мизинца правой.

Панург, не долго думая, поднял руки и сделал вот какой знак: он приставил ноготь указательного пальца левой руки к ногтю большого пальца той же руки, так что внутри образовалось как бы колечко^[416], а все пальцы правой, за исключением указательного, сжал в кулак, указательный же он то совал в это колечко, то вынимал. Потом вытянул указательный и средний пальцы левой руки, раздвинул их сколько мог и протянул Таумасту. Затем, вытянув левую руку наподобие птичьего крыла или же рыбьего плавника и приставив большой палец этой руки к углу левого глаза, стал тихонечко двигать левой рукой то туда, то сюда; потом то же самое проделал он правой рукой, приставив палец к углу правого глаза.

Таумаст побледнел, задрожал и сделал вот какой знак: средним пальцем правой руки ударил по тому месту, откуда растет большой палец, а затем указательный палец правой руки всунул в кольцо,

которое он по примеру Панурга образовал на левой руке, но только в верхнюю часть кольца, а не в нижнюю, как это делал Панург.

Тут Панург хлопнул в ладоши, свистнул в кулак, потом опять всунул указательный палец правой руки в кольцо левой и быстро-быстро начал шевелить им. После этого он выставил вперед подбородок и пристально посмотрел на Таумаста.

Зрители до сих пор ничего не понимали в этих знаках, но тут они отлично поняли, что Панург обратился к Таумасту с безмолвным вопросом:

– Что вы на это скажете?

Таумаст же сильно вспотел и имел теперь вид человека, погружившегося в созерцание. Потом его вдруг осенило, и он приложил ногти левой руки к ногтям правой, затем расставил пальцы полукругом, а затем постарался как можно выше поднять обе руки.

В ответ на это Панург подпер челюсть большим пальцем правой руки, а мизинец той же руки вставил в кольцо левой и при этом весьма мелодично начал стучать нижними зубами о верхние.

Таумаст от великого напряжения вскочил, но, вскочив, трахнул так, что стены задрожали, обмочился и испортил воздух, как все черти, вместе взятые. Собравшиеся стали зажимать носы, оттого что он еще и обделался от волнения. Затем он поднял правую руку и сложил вместе кончики пальцев, а левую приложил к груди.

В ответ на это Панург потянул за свой длинный гульфик с кисточкой, растянул его на полтора локтя и левой рукой подержал некоторое время на весу, правой же рукою достал апельсин и, семь раз подбросив его, на восьмом разе зажал в кулак правой руки, а самую руку поднял, и некоторое время она у него оставалась неподвижной; затем начал трясти прекрасным своим гульфиком, привлекая к нему внимание Таумаста.

Тогда Таумаст надул щеки, точно волынщик, и столь шумно принялся выпускать воздух, словно он надувал свиной пузырь.

В ответ на это Панург вставил один из пальцев левой руки себе в зад, а ртом втянул воздух с таким присвистом, как будто бы высасывал устрицу из раковины или же ел суп; затем чуть приоткрыл рот и ладонью правой руки хлопнул себя по губам, глубоко и шумно вздохнув, как если бы этот вздох с поверхности диафрагмы прошел через его трахею, и повторил он это шестнадцать раз подряд.

А Таумаст между тем дышал, как гусь.

Тогда Панург засунул указательный палец правой руки себе в рот и, напрягши мускулы рта, крепко его зажал, а затем вытащил с громким звуком, напоминающим выстрел из игрушечной пушечки, из которой мальчишки стреляют редиской, и проделал он это девять раз подряд.

Вдруг Таумаст воскликнул:

– А-а, милостивые государи, я понял, в чем тут секрет! Это самоуглубление!

С последним словом англичанин выхватил свой кинжал и некоторое время держал его острием вниз.

В ответ на это Панург уцепился за край своего длинного гульфика и изо всех сил стал трясти им на уровне бедер, затем, сцепив пальцы обеих рук наподобие гребня, положил руки на голову, язык же при этом высунул сколько мог, а глаза закатил, точно околевающая коза.

– А, понимаю! – сказал Таумаст. – Ну, а это?

И он приставил рукоять кинжала к груди, а к острию поднес ладонь, пальцы же слегка согнул.

В ответ на это Панург склонил голову влево, приставил средний палец к правому уху, а большой палец поднял вверх. Затем скрестил руки на груди, пять раз кашлянул, а на пятом разе топнул ногой. Затем поднял левую руку и, сжав пальцы в кулак, приставил костяшку большого пальца ко лбу, а правой рукой шесть раз ударил себя в грудь.

Таумаст, по-видимому не удовлетворенный, приставил большой палец левой руки к кончику носа, а другие пальцы той же руки сжал в кулак.

Тогда Панург приставил два главных пальца к углам рта, растянул его сколько мог и оскалил зубы, а затем большими пальцами сильно надавил на веки и скорчил, как показалось собравшимся, довольно неприятную рожу.

Глава XX

О том, как Таумаст расхваливал Панурговы добродетели и ученость

После этого Таумаст встал и, сняв шапочку, вполголоса выразил Панургу благодарность, а затем, обратясь ко всему собранию,

заговорил громко:

– Милостивые государи! Сейчас вполне уместно будет привести слова Евангелия: *Et ecce plus quam Salomon hic*^[417]. Здесь перед вами сокровище бесценное: я имею в виду монсеньора Пантагрюэля, слава которого привлекла меня сюда из глубины Англии, ибо я жаждал побеседовать с ним о занимавших мое воображение неразрешимых вопросах магии, алхимии, каббалы, геомантии, астрологии, а равно и философии.

В настоящее время, однако ж, я досаую на его славу, – мне кажется, она завидует ему, ибо она не соответствует и тысячной доле того, что есть в действительности.

На ваших глазах даже не он сам, а его ученик удовлетворил меня вполне, сообщил мне больше, чем я у него спрашивал, и, сверх того, вызвал во мне и тут же разрешил новые глубокие сомнения. Смею вас уверить, что он открыл предо мной истинный кладезь и бездну энциклопедических знаний, открыл таким способом, элементарного представления о котором, казалось мне, никто на свете еще не имеет, – я говорю о нашем диспуте, который мы вели посредством знаков, не сказав ни полслова друг другу. В недалеком будущем, чтобы люди не думали, будто все это одна насмешка, я изложу в письменной форме то, о чем мы беседовали и что мы установили, а затем напечатаю, дабы каждый, подобно мне, извлек для себя из этого пользу, вы же теперь можете судить, как бы говорил учитель, если даже ученик его оказался способным на такой подвиг, ибо *non est discipulus super magistrum*.^[418]

Итак, прославим Бога, я же, со своей стороны, покорно благодарю вас за оказанную мне честь. Да не оставит вас Господь своими милостями в жизни вечной!

Пантагрюэль в подобных же выражениях поблагодарил собравшихся и увел Таумаста к себе обедать, и можете мне поверить, что пили они, как пьют все добрые люди в день поминовения усопших – до расстегивания пуговиц на животе (тогда на животе полагалось быть пуговицам, как в наши дни на воротниках), до того, что друг друга узнать не могли.

Пресвятая Дева, как же они куликали, как же у них бутылки вперед ходили и как же они сами горло драли:

– Наливай!

– Подавай!

- Паж, еще вина!
- Подливай, черт побори, подливай!

На долю каждого пришлось не менее двадцати пяти – тридцати бочек, и знаете, как они пили? *Sicut terra sine aqua*^[419], оттого что было жарко и вдобавок их донимала жажда.

Что касается положений, выдвинутых Таумастом, а также знаков, коими пользовались диспутанты, то я мог бы вам все это изложить и объяснить на основании их собственных рассказов, но до меня дошел слух, будто Таумаст написал об этом большую книгу и издал ее в Лондоне и будто он все там осветил, ничего решительно не упустив. Поэтому до времени я воздерживаюсь.

Глава XXI

О том, как Панург влюбился в даму из высшего парижского общества

Победа на диспуте с англичанином создала Панургу имя в Париже, после чего он оценил по достоинству свой гульфик и велел вышить его на римский манер. Панургу открыто воздавали хвалу, о нем сложили песню, которую распевали даже мальчишки, когда шли покупать горчицу, он стал желанным гостем в обществе дам и девиц, и этот успех до такой степени вскружил ему голову, что он задумал взять верх над одной знатной дамой.

И точно: отказавшись от длинных предисловий и подходов, к коим обыкновенно прибегают довольствующиеся созерцанием вздыхатели, заядлые постники, не притрагивающиеся к мясу, в один прекрасный день он прямо ей объявил:

– Сударыня! Было бы в высшей степени полезно для государства, приятно для вас, почетно для всего вашего рода, а мне так просто необходимо ваше согласие от меня зачать. А что за мной дело не станет – в этом вы убедитесь на опыте.

При этих словах дама отскочила от него на сто миль и сказала:

– Наглец! Как вы смеее обращаться ко мне с подобными предложениями? Да знаете ли вы, с кем разговариваете? Убирайтесь вон! Чтоб духу вашего здесь не было! Если б я вас так не презирала, я бы велела отрубить вам руки и ноги.

– Я бы ничего не имел против, чтобы мне отрубили руки и ноги, – заметил Панург, – при условии, если мы с вами малость повеселимся и поиграем в иголочку с ниточкой. Вот господин Жан Жеди, – он показал на свой длинный гульфик, – от его веселого пляса вас самое в жар бросит. Он – кавалер любезный, научит вас всяким фокусам и премудростям, только уж после его ухода вам придется произвести уборку.

На это дама ему сказала:

– Прочь, наглец, прочь! Еще одно слово – и я позову слуг и велю избить вас до полусмерти.

– О нет! – возразил Панург. – Это вы на словах такая сердитая, или меня обманывает ваше лицо. Скорее земля вознесется на небо, а небо низринется в преисподнюю и во всей природе произойдет полный переворот, чем в такой красивой и изящной женщине, как вы, найдется хоть капля желчи или же коварства... Впрочем, недаром говорится, что чрезвычайно трудно

Отыскать таких красоток,
Нрав которых был бы кроток*.

Но ведь здесь имеется в виду красота грубая. Вы же так ослепительно, так необыкновенно, так божественно красивы, что природа, должно думать, одарила вас подобною красотой как некий образец, желая показать нам, на что она способна, когда захочет обнаружить все свое могущество и уменье. Вы – мед, вы – сахар, вы – манна небесная. Это вам должен был присудить Парис золотое яблоко, а не Венере, не Юноне и не Минерве, ибо Юнона никогда не была столь величественна, Минерва – благоразумна, а Венера – столь изящна, как вы. О небесные боги и богини! Блажен тот, кому вы позволите обнять эту женщину, поцеловать ее и потереться об нее! И, клянусь Богом, это буду я: я вижу, что она от меня без ума. Мне так наворожили феи, – я это знаю и следую их предуказанию. Не будем же терять время, – мой ключик, ваш замочек.

И он хотел было ее облапить, но она сделала вид, что бросается к окну звать соседей на помощь.

Тогда Панург поспешил удалиться и, убегая, крикнул:

– Сударыня! Подождите, не трудитесь звать, я сам за ними сбегаю!

Так он и ушел, не слишком огорченный отказом, и выпил в тот день не меньше обыкновенного.

Наутро, когда знатная дама собиралась к обедне, он был уже в церкви.

Отвесив низкий поклон, он подал ей святой воды, как ни в чем не бывало опустился рядом с ней на колени и сказал:

– Сударыня! Да будет вам известно, что от любви к вам я потерял способность мочиться и испражняться. Вы не можете себе представить, как это ужасно. Если со мной приключится что-нибудь худое, кто будет виноват?

– Уходите, уходите, – сказала дама, – какое мне до вас дело? Не мешайте мне молиться.

– Сначала подберите рифму к слову *кочет*. *Напрасно надеяться: кочет...* Дальше?

– Не стану, – сказала она.

– *На красную девицу вскочит*, — заключил Панург. – А теперь помолитесь Богу, чтобы Он послал мне то, чего жаждет возвышенная душа ваша, и дайте мне, пожалуйста, ваши четки.

– Натe, – сказала она, – только отвяжитесь.

И она уже готова была снять свои цестриновые четки с крупными золотыми шариками, но в это время Панург проворно выхватил один из своих ножичков и ловко срезал четки, дабы отнести их потом в лавчонку для скупки краденого.

– Хотите ножичек? – спросил он.

– Нет, нет, – отвечала она.

– А ведь он, было бы вам известно, – сказал Панург, – в полном вашем распоряжении, со всеми своими принадлежностями, со всеми своими кишками и потрохами.

Дама, однако ж, беспокоилась за свои четки, тем более что в церкви она чувствовала себя без них как без рук. «У этого пустомели, как видно, ветер в голове, – думала она. – К тому же еще он чужестранец. Не видать мне больше моих четок. А что скажет муж? Он на меня рассердится. Ну да я ему скажу, что у меня их срезал вор в церкви, и он легко этому поверит, как скоро увидит на поясе обрывок ленты».

После обеда Панург, засунув в рукав большой кошелек с жетонами, отправился к даме и начал прямо с вопроса:

– Кто из нас двоих сильнее любит: вы меня или я вас?

Она же ему на это ответила:

– О себе могу сказать, что я к вам ненависти не питаю. Я всех людей люблю, – так нас учит Господь.

– А может, вы все-таки в меня влюблены? – спросил он.

– Я вам тысячу раз говорила, чтобы вы не смели обращаться ко мне с подобными речами, – объявила она. – Если вы еще со мной об этом заговорите, я вам покажу, что значит вести со мной нескромные речи. Подите прочь, но только прежде верните мне четки, а то муж может спросить, где они.

– Как, сударыня? Вернуть четки? – воскликнул Панург. – Я вам их не верну, ей-ей не верну, я вам с удовольствием предложу другие взамен. Какие вам больше нравятся? Золотые с эмалью, в виде крупных шаров или же любовных сетей^[420], или массивные, как слитки? Может быть, вам хочется из черного дерева, или же из крупных гиацинтов, из крупных, прекрасно отшлифованных гранатов с шариками чистой бирюзы, или же из прекрасных топазов вперемежку с шариками чистой воды сапфиров, или же из прекрасных рубинов-баласов с крупными бриллиантовыми шариками в двадцать восемь каратов каждый? Нет, нет, это все не то. Я могу вам предложить прекрасные четки из чистой воды изумрудов с шариками из серого янтаря и с крупной персидской жемчужиной величиною с апельсин в виде застежки. Стоят они всего-навсего двадцать пять тысяч дукатов. Я хочу вам их подарить, – денег у меня хватит.

Все это он говорил, позвякивая жетонами, точно это были эку.

– А то, может, хотите бархату лилового, атласу вышитого, атласу алого? Не нужно ли вам цепочек, золотых вещей, головных повязок, колец? Вам стоит только сказать. Пятьдесят тысяч дукатов – это для меня не деньги.

При этих словах у дамы потекли слюнки, но все же она сказала:

– Нет, благодарю, от вас я ничего не хочу.

– Ну, а я от вас хочу, истинный Господь, – сказал он. – И вам это обойдется бесплатно, вас от этого не убудет. Позвольте вас познакомить, – он показал на свой длинный гульфик, – это господин Жан Шуар, ему требуется помещение.

Тут он попытался обнять ее, но она закричала, – впрочем, не слишком громко.

Тогда Панург с хитрым видом сказал ей:

– Значит, вы мне так ничего и не дадите? Ну ладно, шут с вами. Только ни почестей, ни прибыли вы от этого себе не ждите. А что я заставлю вас снюхаться с кобельками – это уж как Бог свят.

И с этими словами он из боязни побоев, опасаться каковых у него были все основания, пустился бежать без оглядки.

Глава XXII

О том, как Панург сыграл с парижанкой шутку, отнюдь не послужившую ей к украшению

Надобно вам знать, что на следующий день приходился великий праздник Тела Господня, праздник, когда все женщины наряжаются особенно пышно, и в этот-то самый день наша дама надела прелестное платье из алого атласа и мантилью из очень дорогого белого бархата.

Накануне Панург искал, искал, и, наконец, нашел суку в течке, привязал ее к своему поясу, привел к себе в комнату и весь день и всю ночь отлично кормил. Наутро он ее убил, засим извлек из нее то, о чем толкуют греческие геоманты, разрезал на мельчайшие частицы и, спрятав это снадобье в один из самых глубоких своих карманов, отправился в церковь и стал там, где должна была пройти дама с процессией, положенной в этот день по уставу; как же скоро дама вошла в церковь, Панург предложил ей святой воды и весьма любезно с ней поздоровался, а немного погодя, после того как она прочла краткие молитвы, опустился рядом с ней на скамью и вручил ей написанное на бумаге рондо, ниже воспроизводимое:

РОНДО

На этот раз надеюсь я, что снова
Меня вы не прогоните сурово,
Как в день, когда, не вняв моим мольбам,
Хоть ни делами, ни речами вам
Не причинил я ничего дурного,
Вы не нашли приветливого слова,

Чтоб, облегчая боль отказа злого,
Шепнуть мне: «Друг, нельзя быть вместе нам
На этот раз».

Не скрою я из-за стыда пустого,
Что сердце от тоски сгореть готово
По той, кто краше всех прекрасных дам,
Что хоронить меня придется вам,
Коль не дадите мне вскочить в седло вы
На этот раз*.

А пока она раскрывала и читала бумажку, Панург проворно насыпал ей в разные места своего снадобья, преимущественно в складки платья и в сборки на рукавах, и, насыпав, сказал:

– Сударыня! Бедные влюбленные не всегда бывают счастливы. Что касается меня, то я все же надеюсь, что мои бессонные ночи, когда я проплакал все очи от любви к вам, будут мне зачтены за муки в чистилище. Во всяком случае, молитесь Бога, чтобы Он послал мне терпение.

Не успел Панург договорить, как псы, почуяв запах снадобья, которым он обсыпал даму, отовсюду набежали в церковь и бросились прямо к ней. Маленькие и большие, гладкие и худые – все оказались тут и, выставив свои причиндалы, принялись обнюхивать даму и с разных сторон на нее мочиться. Свет не запомнит такого безобразия!

Панург сперва отгонял их, затем, отвесив даме поклон, прошел в дальний придел и стал наблюдать за этой забавой, а мерзкие псы между тем обсикали даму все платье, один здоровенный борзой кобель ухитрился даже написать ей на голову, другие – на рукава, третьи – на спину, четвертые – на башмаки, дамы же, находившиеся рядом, делали отчаянные усилия, чтобы ее спасти.

Панург, обратясь к одному из знатных парижан, со смехом сказал:

– Должно быть, у этой дамы течка, а может статься, ее только что покрыл борзой кобель.

Удостоверившись, что псы грызутся из-за дамы, словно из-за суки в течке, Панург пошел за Пантагрюэлем.

Каждому псу, который попадался ему на дороге, он неукоснительно давал пинка и приговаривал:

– Что ж ты не идешь на свадьбу? Твои товарищи все уже давно там. Скорей, скорей, черт побери, скорей!

Придя домой, он сказал Пантагрюэлю:

– Государь! К одной даме, первой красавице города, со всех концов набегали кобели и хотят ее потыкать, – пойдете посмотрим.

Пантагрюэль охотно согласился и, посмотрев, нашел, что это зрелище очаровательное и доселе не виданное.

Но на этом дело не кончилось: во время процессии даму сопровождало более шестисот тысяч четырнадцати псов, доставлявших ей тьму неприятностей, и, куда бы она ни направлялась, всякий раз набегали еще псы и, следуя за ней по пятам, сикали на то место, которого она касалась своим платьем.

Представление это привлекло множество зрителей, и они не спускали глаз с собак, прыгавших даме на шею и портивших ей роскошный убор, дама же в конце концов порешила спастись бегством и побежала домой, но – она от собак, а собаки за ней, а слуги давай гоготать!

А когда она вбежала к себе в дом и захлопнула дверь, все собаки, налетевшие сюда издалека, так отделали ее дверь, что из их мочи образовался целый ручей, в котором свободно могли плавать утки, и это и есть тот самый ручей, что и сейчас еще протекает недалеко от Св. Виктора и где Гобелен^[421], пользуясь особыми свойствами собачьей мочи, о коих некогда поставил нас в известность мэтр Орибус, красит материи в пунцовый цвет.

На таком ручье с Божьей помощью можно было бы и мельницу поставить, но, конечно, не такую, как Базакльская мельница в Тулузе.

Глава XXIII

О том, как Пантагрюэль, получив известие, что дипсоды вторглись в страну амавротов, выехал из Парижа, и о причине того, почему во Франции такие короткие мили

Малое время спустя Пантагрюэль получил известие, что отец его Гаргантюа унесен феей Морганой в Страну фей, как некогда были

унесены Енох и Илия^[422], и что, прослышав об этом, дипсоды перешли границу, опустошили великую страну Утопию и осадили столицу амавротов, вследствие чего Пантагрюэль, ни с кем не попрощавшись, покинул Париж, так как дело было срочное, и прибыл в Руан.

Дорогою Пантагрюэль, обратив внимание на то, что во Франции мили гораздо короче, нежели в других странах, спросил Панурга, что служит тому причиной и основанием, Панург же рассказал ему историю, которую приводит Маротус дю Лак, *monachus*, в *Деяниях королей Канарийских*, а именно:

В древности земли не мерились ни милями, ни милиариями, ни стадиями, ни парасангами^[423], пока наконец король Фарамонд не ввел этого разделения, и вот каким образом: он отобрал в Париже сто красивых и статных молодых людей, неробкого притом десятка, и сто красивых девушек-пикардиек, целую неделю держал их в неге и холе, а затем призвал к себе, каждому из молодых людей дал по девушке, дал денег на расходы и велел идти в разные стороны и там, где они пощекочут своих девиц, класть камень, – это, мол, и будет миля.

И вот молодые люди и их спутницы начали веселое свое путешествие, а так как делать им было нечего, силы же у них были свежие, то и баловались они на каждой меже, – вот почему французские мили такие короткие.

Но потом, когда они много прошли и устали как собаки, а масла в лампах поубавилось, они уже не резвились так часто и довольствовались (я говорю о мужчинах) жалким и несчастным разочком в день. Вот откуда в Бретани, в Ландах, в Германии и других более отдаленных странах такие длинные мили.^[424]

Существуют и другие предположения, но это мне представляется наиболее правдоподобным.

Пантагрюэль был с этим вполне согласен.

Из Руана они проследовали в Онфлер, и там Пантагрюэль, Панург, Эпистемон, Эвсфен и Карпалим сели на корабль.

И пока в ожидании попутного ветра они конопатили судно, Пантагрюэль получил от одной парижанки, которую он довольно долго содержал, письмо с таким адресом:

«Имеющему наибольший успех у красавиц и наименее верному из всех отважных П. Н. Т. Г. Р. Л.».

Глава XXIV

Письмо, которое привез Пантагрюэлю посланец одной парижанки, и объяснение слов, начертанных на золотом кольце

Этот адрес привел Пантагрюэля в крайнее изумление; спросив у посланца, как зовут отправительницу, он распечатал письмо, и единственно, что он там обнаружил, это золотое кольцо с брильянтом. Тогда Пантагрюэль позвал Панурга и показал письмо.

Панург высказал предположение, что на листе бумаги что-то написано, но только весьма хитроумным способом, и слова-де разобрать невозможно.

Дабы узнать, что же это за слова, он поднес лист бумаги к огню на тот случай, если письмо написано раствором нашатыря.^[425]

Затем он опустил лист бумаги в воду на тот случай, если письмо написано соком молочая.

Затем он поднес его к свече на тот случай, если письмо написано луковым соком.

Затем он натер его ореховым маслом на тот случай, если письмо написано соком фигового дерева.

Затем он натер его молоком женщины, кормившей свою перворожденную дочь, – на тот случай, если письмо написано кровью жабы.

Затем он натер один уголок письма пеплом от гнезда ласточки на тот случай, если оно написано соком иудейской вишни.

Затем он натер другой уголок серой из уха на тот случай, если письмо написано желчью ворона.

Затем он вымочил письмо в уксусе на тот случай, если оно написано касторовым маслом.

Затем он смазал его жиром летучей мыши на тот случай, если оно написано китовой спермой, так называемой серой амброй.

Затем он осторожно окунул его в таз с холодной водой и сейчас же вынул – на тот случай, если оно написано квасцами.

Наконец, так и не добившись толку, он подозвал посланца и спросил:

– А что, братец, не дала ли тебе дама, которая тебя сюда послала, какой-нибудь палки?

Панург полагал, что здесь кроется та самая хитрость, о которой говорится у Авла Геллия.^[426]

– Нет, сударь, – отвечал посланец.

Панург хотел было обрить его, чтобы удостовериться, не написала ли дама свое послание особыми чернилами на его выбритой голове, но, увидев, что волосы у посланца предлинные, отказался от этой мысли, решив, что за столь короткий срок они не могли так отрасти.

Тогда он обратился к Пантагрюэлю:

– Клянусь Богом, государь, я не знаю, как тут быть и что мне вам сказать. Дабы увериться, написано что-нибудь на этом листе или нет, я применил некоторые приемы мессера Франческо ди Ньянто, тосканца, у которого есть описание способов чтения тайнописи, я воспользовался тем, что писал по этому поводу Зороастр в *Peri grammaton acriton*^[427] и Кальфурний Басе в *De literis illegibilibus*^[428], но ровным счетом ничего не обнаружил и полагаю, что все дело в кольце. Давайте посмотрим.

Рассмотрев кольцо, они обнаружили на внутренней его стороне надпись на еврейском языке:

ЛАМА САВАХФАНИ

Тогда они позвали Эпистемона и спросили, что это значит.

Эпистемон им ответил, что это слова еврейские и означают-де они: «Для чего Ты меня оставил^[429]?»

Панург живо смекнул:

– Я понимаю, в чем дело. Видите этот брильянт? Он фальшивый. Вот вам и объяснение того, что хочет сказать дама:

Неверный! Для чего меня оставил ты?

Пантагрюэль тотчас догадался, – он вспомнил, что перед отъездом не успел попрощаться со своей дамой, и это его опечалило; он готов был вернуться в Париж единственно для того, чтобы с ней помириться.

Эпистемон, однако ж, напомнил ему прощание Энея с Дидоной, а также совет Гераклида Тарентского: когда корабль стоит на якоре, а мешкать с отплытием нельзя, то лучше перерезать канат, нежели тратить время на то, чтобы его развязывать, а потому Пантагрюэлю надлежит-де выбросить это из головы и поспешить в родной город, коему угрожает опасность.

И точно: по прошествии часа подул ветер, именуемый норд-норд-вест, корабль на всех парусах вышел в открытое море и несколько дней спустя, миновав Порто-Санто и Мадейру, пристал к Канарским островам.

Выйдя из гавани, наши путешественники прошли мимо Капо-Бланко, Сенегала, Зеленого мыса, Гамбрии, Сагреса, Мелли и мыса Доброй Надежды и остановились в королевстве Мелиндском.^[430]

Выйдя оттуда, они уже при северном ветре прошли мимо Медена, Ути, Удема, Геласима, Острова фей и королевства Ахории^[431]; в конце концов они прибыли в гавань Утопии, находившуюся на расстоянии трех миль с небольшим от столицы амавротов.

Немного отдохнув на суше, Пантагрюэль сказал:

– Друзья! Город отсюда недалеко. Однако ж, прежде чем идти дальше, давайте обсудим, что нам делать, дабы не уподобиться афинянам, которые сперва действовали, а потом уже совещались. Согласны ли вы жить и умереть со мной?

– Да, сеньор, – сказали все, – можете быть в нас уверены, как в своих собственных пальцах.

– В таком случае, – продолжал Пантагрюэль, – остается только одно обстоятельство, которое смущает меня и тревожит: я не знаю ни расположения, ни численности неприятельских войск, осадивших город. Вот если б я это знал, я бы чувствовал себя увереннее. Давайте же вместе подумаем, как бы нам это узнать.

Все ему дружно ответили:

– Пошлите нас в разведку, а сами подождите здесь. Мы вам сегодня же доставим точные сведения.

– Я берусь проникнуть в лагерь врагов, минуя часовых и караулы, – объявил Панург, – да еще и попирую и подерусь с ними, так и оставшись неузнанным, осмотрю орудия, палатки военачальников, пушу пыль в глаза солдатам, и никто не догадается, с кем имеет дело.

Меня сам черт в дураках не оставит, потому что я веду свое происхождение от Зопира.

– Я знаю все уловки и все подвиги отважных полководцев и воителей былых времен, все хитрости и тонкости военной науки, – объявил Эпистемон. – Я пойду к врагам и если даже буду открыт и разоблачен, то все же сумею от них ускользнуть, да еще нараскажу им про вас все что угодно, и они мне поверят, потому что я веду свое происхождение от Синона. [\[432\]](#)

– Я перелезу через их окопы, невзирая на караулы и часовых, – объявил Эвсфен, – будь они сильны как черт, я все равно переломаю им руки и ноги и пройду по их животам, потому что я веду свое происхождение от Геркулеса.

– Я проберусь туда, куда одни только птицы залетают, – объявил Карпалим. – Тело у меня до того гибкое, что они оглянуться не успеют, а уж я перескочу через окопы и пройду весь их лагерь; я не боюсь ни копья, ни стрелы, ни самого быстрого коня, будь то Персеев Пегас или лошадка Паколе, – я уйду от них цел и невредим. Я берусь пройти по лугу и по полю, не примяв ни цветка, ни колоска, потому что я веду свое происхождение от амазонки Камиллы. [\[433\]](#)

Глава XXV

О том, как Панург, Карпалим, Эвсфен и Эпистемон, сподвижники Пантагрюэля, пустившись на хитрости, уничтожили шестьсот шестьдесят рыцарей

Не успел Карпалим это вымолвить, как показалось шестьсот шестьдесят рыцарей, летевших сюда во весь опор на быстрых конях, – мчались же они так для того, чтобы поскорее узнать, какой это корабль только что вошел в гавань, и чтобы при благоприятных обстоятельствах захватить всю команду.

Тут Пантагрюэль сказал:

– Друзья, спрячьтесь на корабле! Смотрите: вон мчатся наши враги, но я перебью их всех, как скотину, даже если б их было вдесятеро больше. А вы тем временем прячьтесь и постарайтесь приятно провести время.

Панург же ему на это возразил:

– Нет, государь, так не годится. Как раз наоборот: идите на корабль вы и возьмите с собой всех остальных, – я один справлюсь с врагами, только не мешкайте. Идите, идите!

Другие на это сказали:

– Он прав, государь. Спрячьтесь, а мы поможем Панургу. Вы сейчас увидите, на что мы способны.

Тогда Пантагрюэль сказал:

– Ну что ж, я согласен, но только если неприятель осилит вас, я приду на выручку.

Панург между тем снял с корабля два длинных каната и, прикрепив их к палубному кабестану, бросил концы на землю, а из концов сделал два круга: один побольше, другой, внутри первого, поменьше.

– Ступайте на корабль, – сказал он Эпистемону, – а когда я подам знак, вы как можно быстрее вертите кабестан и тащите к себе оба каната.

Затем он обратился к Эвсфену и Карпалиму:

– А вы, друзья, оставайтесь здесь, встретьте неприятеля лицом к лицу, окажите ему беспрекословное повиновение и сделайте вид, что сдаетесь. Смотрите только не заходите в канатные круги, держитесь от них подальше.

Не долго думая, он сбегал на корабль и, схватив пук соломы и бочонок с пушечным порохом, насыпал пороху в канатные круги, а сам с фитилем в руке стал подле них.

Рыцари домчались духом, передние прискакали к самому кораблю, однако ж берег был скользкий, и сорок четыре всадника вместе с конями грянулись оземь. Другие всадники, полагая, что передовые встретили сопротивление, подтянулись. Но тут Панург повел с ними такую речь:

– Милостивые государи! Вы, как видно, ушиблись. Вы уж нас извините, хотя мы и не виноваты, – виновата маслянистость морской воды, ведь морская вода всегда бывает жирная. Мы сдаемся на милость победителей.

Последние слова повторили за ним два его товарища и Эпистемон, стоявший на палубе.

Панург между тем отошел и, увидев, что враги находятся внутри канатных кругов, а его товарищи, давая дорогу рыцарям, толпой

нахлынувшим, чтобы посмотреть на корабль и на мореходов, отошли в сторону, внезапно крикнул Эпистемону:

– Тяни! Тяни!

В ту же минуту Эпистемон начал вертеть кабестан, вследствие чего оба каната обмотались вокруг коней и легко опрокинули их вместе со всадниками; всадники взялись за мечи и хотели было разрубить канаты, но в это время Панург поджег фитиль, и все они вдруг оказались в огне, словно души, осужденные на вечную муку. Никто не уцелел, ни люди, ни кони, за исключением одного только рыцаря, которого помчал арабский скакун. Карпалим, однако ж, это заметил и с такой быстротою и легкостью пустился за ним в погоню, что тот не успел отъехать на сто шагов, как уже был настигнут; тут Карпалим вскочил на круп его коня, обхватил рыцаря сзади и погнал коня по направлению к кораблю.

Удостоверившись, что неприятель потерпел полное поражение, Пантагрюэль возликовал; он не мог надивиться ловкости своих товарищей, расхвалил их и велел им отдохнуть на бережку, славно закутить на вольном воздухе и в мире и согласии хорошенько выпить вместе с пленником, однако ж бедняга пленник был не вполне уверен, что Пантагрюэль не проглотит его целиком, и точно: глотка у Пантагрюэля была до того широкая, что он проглотил бы его так же легко, как вы – дробинку, и во рту у него пленник занял бы не больше места, чем зерно проса в пасти осла.

Глава XXVI

О том, как Пантагрюэлю и его товарищам опротивела солонина и как Карпалим отправился на охоту за дичью

В то время как они угощались, Карпалим сказал:

– Клянусь чревом святого Обжория, неужто мы так и не отведаем дичинки? От солонины страшно пить хочется. Я вам сейчас принесу окорочок одной из тех лошадок, которых мы сожгли, – это будет довольно вкусное жаркое.

Только было он приподнялся, как из чащи леса выбежала на опушку большая красивая козуля, по-видимому привлеченная огнем, который здесь развел Панург.

Карпалим, не долго думая, пустился за ней с быстротою арбалетной стрелы и в одну минуту схватил ее; догоняя же козулю, он одновременно поймал на лету руками:

Четырех крупных дроф,
Семь стрепетов,
Двадцать шесть серых куропаток,
Тридцать две красных,
Шестнадцать фазанов,
Девять бекасов,
Девятнадцать цапель,
Тридцать два диких голубя,
а ногами убил:
Штук десять – двенадцать то ли зайчиков, то ли кроликов, выскочивших из нор,
Восемнадцать «пастушков», ходивших парочками,
Пятнадцать вепрят,
Двух барсуков,
Трех крупных лисиц.

Хватив козулю кривой саблей по голове, он убил ее, взвалил себе на плечи, подобрал зайцев, «пастушков» и вепрят и, приблизившись на такое расстояние, откуда его можно было услышать, крикнул:

– Панург, дружище! Уксусу, уксусу!

Добрый Пантагрюэль при этом подумал, что Карпалима тошнит, и велел налить ему уксусу. Панург, однако, живо смекнул, что тут пахнет зайчатинной, и точно: мгновение спустя он уже показывал доблестному Пантагрюэлю на отличную козулю, которую Карпалим нес на плечах, и на зайцев, которыми был увешан весь его пояс.

Эпистемон нимало не медля смастерил во имя девяти муз девять деревянных вертелов античного образца, Эвсфен занялся сдиранием шкур, Панург поставил два седла, которые прежде принадлежали рыцарям, таким образом, что из них получилось нечто вроде жаровни, обязанности повара были возложены на пленника, и он изжарил дичь на том же самом огне, в котором сгорели рыцари.

И пошел у них пир горой. Все ели до отвала. Любо-дорого было смотреть, как они лопали.

Наконец Пантагрюэль сказал:

– Подвязать бы каждому из вас к подбородку по две пары бубенчиков, а мне колокола с пуатьерской, реннской, турецкой и камбрейской звонниц, – то-то славный концерт закатали бы мы, работая челюстями!

– Давайте лучше поговорим о деле, – вмешался Панург, – о том, как бы нам одолеть врагов.

– И то правда, – молвил Пантагрюэль. Тут он обратился к пленнику: – Друг мой! Скажи нам всю правду, не лги ни в чем, если не хочешь, чтобы мы с тебя с живого содрали шкуру, ибо знай: я глотаю живых детей. Расскажи нам все, что тебе известно о расположении, численности и силах вашего войска.

На это ему пленник ответил так:

– Узнайте же, государь, всю правду. В нашем войске числится триста на диво громадных великанов в каменных латах, – впрочем, за вами им все же не угнаться, кроме разве одного, который ими командует, по имени Вурдалак, и которому служат доспехами наковальни циклопов; сто шестьдесят три тысячи пехотинцев, облаченных в панцири из кожи упырей, – всё люди сильные и храбрые; одиннадцать тысяч четыреста латников, три тысячи шестьсот двойных пушек, осадным же нашим орудиям и счету нет; затем девяносто четыре тысячи подкопщиков и сто пятьдесят тысяч шлюх, красивых, как богини...

– Вот это я люблю! – ввернул Панург.

– Среди них есть амазонки, уроженки Лиона, парижанки, есть из Турени, Анжу, Пуату, есть нормандки, немки, – коротко говоря, представительницы всех стран и всех наречий.

– Так, так, – сказал Пантагрюэль, – ну, а король тут, с войском?

– Как же, государь, – отвечал пленник, – он сам, своею собственной персоной, находится здесь, и величаем мы его Анархом, королем дипсодов, что значит *жаждущие*, ибо вам еще не приходилось видеть людей, так сильно жаждущих и так охотно пьющих, как мы, а его палатку охраняют великаны.

– Довольно, – сказал Пантагрюэль. – Ну как, друзья мои, пойдете вы со мною на них?

Панург же ему ответил так:

– Разрази Господь того, кто вас бросит! Я надумал, как мне перебить их всех, ровно свиней. А чтобы кто-нибудь из них ушел от меня целехонек – это уж черта с два! Одно меня только смущает...

– Что же именно? – осведомился Пантагрюэль.

– Как бы мне ухитриться за один день перепробовать всех девок и чтобы ни одна не ускользнула, пока я не натешусь ею всласть?

– Ха-ха-ха! – рассмеялся Пантагрюэль.

А Карпалим сказал:

– Ишь ты, черт! Я тоже себе парочку облюбую, ей-ей облюбую!

– А я хуже вас, что ли? – заговорил Эвсфен. – Я с самого Руана пощусь, а ведь стрелка-то у меня подскакивала и до десяти и до одиннадцати, и сейчас она еще тугая и твердая, как сто чертей.

– Вот мы тебе и дадим самых дородных и жирных, – рассудил Панург.

– Что такое? – воскликнул Эпистемон. – Все будут кататься, а я буду осла водить? Какого дурака нашли! Мы будем действовать по закону военного времени: *Qui potest capere capiat*.^[434]

– Да нет, зачем же, – возразил Панург, – осла привяжи, а сам катайся, как все.

Добрый Пантагрюэль засмеялся и сказал:

– Вы делите шкуру неубитого медведя. Боюсь, что еще и стемнеть не успеет, а у вас уже пропадет охота строгать, и что на вас самих покатаются пики и копья.

– Баста! – воскликнул Эпистемон. – Я вам их пригоню, а вы уж их жарьте, парьте, делайте из них фрикасе, кладите в начинку. Их меньше, чем было у Ксеркса, ибо его войско насчитывало триста тысяч воинов, если верить Геродоту и Помпею Трогу, а между тем Фемистокл с горсточкой бойцов разгромил Ксеркса. Так не предавайтесь же, Бога ради, унынию!

– Начхать нам на них! – сказал Панург. – Я один своим гульфиком смету с лица земли всех мужчин, а святой Дыркитру, который обитает у меня в гульфике, поскоблит всех женщин.

– Ну, друзья мои, в поход! – молвил Пантагрюэль.

Глава XXVII

О том, как Пантагрюэль воздвиг трофейный столп в

память их подвига, а Панург – другой, в память зайцев, как из ветров Пантагрюэля родились маленькие мужчины, а из его газов – маленькие женщины, и как Панург сломал на двух стаканах толстую палку

– Прежде чем мы отсюда уйдем, – объявил Пантагрюэль, – я хочу в память подвига, ныне совершенного нами, воздвигнуть здесь изрядный трофейный столп.

Тут все они, выиграв духом, с пением деревенских песен поставили высокий столп и к нему привесили седло, конский налобник с плюмажем, стремяна, шпоры, кольчугу, полный набор стальных доспехов, топор, рапиру, железную перчатку, булаву, кольчужные ластовицы, наколенники, ожерелье, – словом, все приспособления, необходимые для того, чтобы воздвигнуть триумфальную арку или же трофейный столп.

Затем, дабы увековечить сей подвиг, Пантагрюэль начертал следующую победную песнь:

Здесь храбрецы сражались вчетвером
И, словно Фабий или Сципион,
Смекалкой победив, а не мечом,
Сумели взять противника в полон,
Хоть в налетевший вражий эскадрон
Шестьсот и шестьдесят рубак входило
Ферзи, туры и пешки всех времен!
Запомните, что ум грозней, чем сила,
Ибо повсеместно
Каждому известно,
Что к победе рать
Лишь Творец небесный
Мудро и чудесно
Властен направлять,
Что верх в бою нам может дать
Лишь Вседержитель бестелесный
И что на Бога уповать

Всегда обязан воин честный*.

Пока Пантагрюэль сочинял вышеприведенные стихи, Панург насадил на высокий столп сперва рога, шкуру и переднюю правую ногу козули, потом уши трех зайчат, спинку кролика, челюсти матерого зайца, крылья пары дроф, лапки четырех голубей, склянку с уксусом, рожок, куда они клали соль, деревянный вертел, шпиговальную иглу, старый дырявый котел, соусник, глиняную солонку и бовезский стаканчик.

И в подражание стихотворной надписи на Пантагрюэлевом трофейном столпе он написал следующее:

Здесь четверо пьянчужек, сев кружком,
Сумели нанести такой урон
Бутылкам, флягам, бурдюкам с вином,
Что даже Бахус был бы изумлен;
Был ими жирный заяц поглощен,
Чья плоть им брюхо доверху набила.
Так сильно сдобрен уксусом был он,
Что от восторга рожи им скривило,
Ибо интересно,
Важно и уместно
Объедалам знать,
Что в желудке тесно
От дичины пресной
Тотчас может стать,
Что без вина обед жевать —
Страшней и горше муки крестной,
Что к зайцу уксус не подать —
Всегда для повара нелестно*.

Наконец Пантагрюэль сказал:

— Пора, друзья мои! Загуляли мы с вами, а между тем вряд ли великие чревоугодники способны на ратные подвиги. Нет лучше тени,

чем тень от знамени, лучше пара, чем пар от коня, лучше звона, чем звон доспехов.

При этих словах Эпистемон усмехнулся и сказал:

– Нет лучше тени, чем тень от кухни, лучше пара, чем пар от пирога, и лучше звона, чем звон чаш.

Панург же на это сказал:

– Нет лучше тени, чем тень от полога, лучше пара, чем пар от женских грудей, и лучше звона, чем звон мужских доспехов.

С этими словами он встал, пукнул, подпрыгнул, присвистнул, а затем весело и громко крикнул:

– Да здравствует Пантагрюэль!

Пантагрюэль последовал примеру Панурга, но от звука, который он издал, земля задрожала на девять миль в окружности, и вместе с испорченным воздухом из него вышло более пятидесяти трех тысяч маленьких человечков – карликов и уродцев, а из выпущенных им газов народилось столько же маленьких горбатеньких женщин, каких вы можете встретить всюду: ростом они бывают не выше коровьего хвоста, а в ширину не больше лимузинской репы.

– Что такое? – воскликнул Панург. – Неужто ваши ветры столь плодovиты? Истинный Бог, премилые вышли уродцы и премилые пер..., то бишь горбуны! Надо бы их поженить – они наплодят слепней.

Пантагрюэль так и сделал: он назвал их пигмеями^[435] и отослал жить на ближний остров, и там они с тех пор сильно размножились, однако журавли ведут с ними непрерывную войну, а те храбро защищаются, ибо эти человеческие огрызки (в Шотландии их называют «ручками от скребков») чрезвычайно вспыльчивы. Физическую причину этого должно искать в том, что сердце у них находится около самого заднего прохода.

Тем временем Панург взял два стакана одинаковой величины, доверху наполнил их водой, один стакан поставил на одну скамью, другой, на расстоянии пяти футов, на другую, потом взял копьцо в пять с половиной футов длиной и положил его на стаканы так, чтобы концы копья касались только самых краев.

Затем он взял здоровенный кол и, обратясь к Пантагрюэлю и его сподвижникам, молвил:

– Посмотрите, господа, как легко достанется нам победа над врагом. Подобно тому как я сломаю копьецо прямо на стаканах, не расколотив их при этом и не разбив, более того: не пролив ни капли воды, так же точно мы проломим головы дипсодам, не будучи сами ранены и вообще без всяких с нашей стороны потерь. А чтобы никто не подумал, что здесь какое-нибудь колдовство, я попрошу вас, – примолвил он, обратясь к Эвсфену, – ударить что есть мочи вот этим колом в самую середину.

Эвсфен ударил и расколол копьецо на две совершенно равные части, причем из обоих стаканов не пролилось ни капли воды. Панург же сказал:

– Я еще и не то умею! Вперед! Нам бояться нечего!

Глава XXVIII

О том, каким необыкновенным способом Пантагрюэль одержал победу над дипсодами и великанами

После всех этих разговоров Пантагрюэль позвал пленника и тут же отпустил его.

– Иди в свой лагерь, к своему королю, – сказал он, – расскажи обо всем, что ты здесь видел, и предупреди, что завтра в полдень я буду у него пировать, ибо как скоро придут мои галеры, – а это будет, самое позднее, завтра утром, – я с помощью миллиона восьмисот тысяч воинов и семи тысяч великанов, – великаны же эти, все как на подбор, ростом еще выше меня, – докажу твоему королю, как безрассудно и неразумно он поступил, напав на мою державу.

Что к нему идет морем войско, это он все выдумал.

Пленник же ему сказал, что отныне он его верный раб, что он был бы счастлив никогда не возвращаться в свой лагерь и предпочел бы сражаться на стороне Пантагрюэля против своих, если б только Пантагрюэль это ему позволил.

Пантагрюэль, однако ж, не согласился; он велел пленнику немедленно отправляться и идти туда, куда ему было приказано, дал ему баночку с молочаем и зернами красного перца, вымоченными в водке, и велел отнести это королю и сказать, что если король способен съесть хотя бы унцию этого компота, ничем не запивая, значит, он смело может вступить с Пантагрюэлем в единоборство.

Тут пленник, простирая к Пантагрюэлю руки, стал молить, чтобы он пощадил его во время битвы. Пантагрюэль же ему сказал:

– Передай своему королю то, что я тебе велел, а затем возложи все надежды на Бога, и Он тебя не оставит. Уж на что я могуч, – сам видишь, – и рать у меня неисчислимая, а все же я не надеюсь ни на силу, ни на ловкость свою; все мое упование – на Бога, заступника моего, ибо Он никогда не оставит тех, кто все надежды свои и помыслы возносит к Нему.

Услышав такие речи, пленник стал просить Пантагрюэля взять с него умеренный выкуп. Пантагрюэль же на это ответил, что его цель не грабить и не обирать людей, но, напротив, обогащать их и отпускать на свободу.

– Ступай себе с Богом, – сказал Пантагрюэль, – и избегай дурного общества, а то недолго и до беды.

Когда пленник ушел, Пантагрюэль обратился к своим соратникам:

– Друзья мои! Я наговорил пленнику, что к нам морем движется войско, и дал понять, что нападём мы на них не раньше завтрашнего полудня, – это я для того, чтобы они, убоявшись великого нашествия, порешили укрепиться и привести весь лагерь в боевую готовность к завтрашнему утру. Между тем истинное мое намерение заключается в том, чтобы напасть на них примерно в первосонье.

Но оставим Пантагрюэля с его апостолами и поговорим о короле Анархе и его войске.

Пленник, прибыв к месту своего назначения, явился к королю и рассказал ему о том, как пришел огромный великан по имени Пантагрюэль, как он разгромил и сжег шестьсот пятьдесят девять рыцарей, и только он один, мол, спасся, дабы уведомить обо всем короля, помянутый же великан приказал передать королю, чтобы завтра в полдень тот ждал его к обеду, ибо великан как раз в это время собирается на него напасть.

Затем пленник вручил королю баночку с вареньем. Но едва король проглотил одну ложечку, в ту же секунду горло ему словно огнем обожгло: на язычке образовался нарыв, а язык облупился, и каких-каких средств ему ни давали, ничто не помогало, он все только пил без конца, а чуть отведет стакан от губ – язык у него опять горит. Пришлось беспрестанно вливать ему в глотку вино через воронку.

Глядя на него, военачальники, паши и телохранители также решились отвесть этого снадобья, – они желали удостовериться, подлинно ль оно возбуждает такую жажду, но и с ними произошло то же, что с королем. И все они так лихо натянулись, что по всему лагерю прошел слух: кто-то, дескать, возвратился из плена и сказал, что завтра утром надобно ожидать нападения, а по сему, дескать, случаю король и его военачальники готовятся к бою и то и знай опрокидывают да опрокидывают. А за ними и все войско насосалось, нализалось и нарезалось. Словом, перепились до того, что прямо посреди лагеря повалились спать как свиньи.

А теперь возвратимся к доброму Пантагрюэлю и расскажем о том, как он повел себя при сложившихся обстоятельствах.

Покинув то место, где был воздвигнут трофейный столп, Пантагрюэль вместо посоха взял в руку мачту со своего корабля, нагрузил на марс двести тридцать семь бочонков анжуйского белого вина, вывезенного из Руана, привязал к поясу чан с солью, который ему было так же легко нести, как женам ландскнехтов корзиночки с провизией, и вместе со своими сподвижниками тронулся в путь.

Когда они были уже недалеко от вражьего стана, Панург сказал Пантагрюэлю:

– Хотите, государь, сделать доброе дело? Снимите с марса анжуйское белое и давайте разопьем его по-бретонски.

Пантагрюэль охотно согласился, и они так славно выпили, что во всех двухстах тридцати семи бочонках не осталось ни единой капли, – только Панург успел наполнить про запас фляжку из турецкой вываренной кожи (он называл эту фляжку своим *vade tecum*^[436]), да еще осталось на доньшке винной гущи для уксуса.

Когда же все они как следует наклюкались, Панург дал Пантагрюэлю какого-то чертова снадобья, составленного из литонтрипона, нефрокатартикона, айвового варенья со шпанскими мушками и прочих мочегонных средств. Наконец Пантагрюэль сказал Карпалиму:

– Идите в город, взберитесь, как крыса, по стене, – это вы отлично умеете, – и скажите горожанам, чтобы они сей же час выступили и как можно скорее ринулись на врага, а затем спуститесь, возьмите горящий факел и подожгите все вражеские палатки и шатры. Затем крикните во весь свой громоподобный голос и пускайтесь наутек.

– Так, – заметил Карпалим, – а что, если я вдобавок заклепаю все их орудия?

– Нет, нет, – возразил Пантагрюэль, – лучше подожгите их пороховые склады.

Карпалим повиновался, немедленно отбыл и в точности исполнил все, что ему приказал Пантагрюэль, после чего из города выступили находившиеся там воины.

Поджигая палатки и шатры, Карпалим до того осторожно шагал по телам спящих, что никто из них не проснулся, – все по-прежнему храпели и спали крепким сном. Пробравшись к тому месту, где находилась вражеская артиллерия, он поджег все боевые припасы, и это могло для него кончиться дурно. Пламя занялось так быстро, что бедный Карпалим чуть было не сторел, и, если б не поразительное его проворство, он бы изжарился, как поросенок; все его спасение было в том, что он помчался легче стрелы, пущенной из арбалета.

Миновав окопы, Карпалим так дико закричал, что можно было подумать, будто все черти сорвались с цепи. От его крика проснулись враги, но знаете ли как? Они проснулись такие очумелые, словно их разбудил звон к утрене, – в Люссонском краю этот звон называют *почеши себе промеж ног*.

Тем временем Пантагрюэль стал сыпать из чана соль, а так как враги спали с раскрытыми и разинутыми ртами, то он забил им солью глотки, отчего бедняги заперхали, как бараны, и завопили:

– Ах, Пантагрюэль, из-за тебя все у нас внутри горит!

Тут Пантагрюэлю неожиданно захотелось помочиться, ибо на него оказало действие Панургово снадобье, и он так обильно оросил и полил лагерь противника, что находившиеся здесь люди все до одного утонули, – это был самый настоящий потоп, распространившийся на десять миль в окружности, и в истории говорится, что если б тут была еще огромная кобыла Пантагрюэлева отца и столько же напрудила, то потоп был бы еще страшнее, чем при Дев-калионе, ибо всякий раз, как она мочилась, появлялась река побольше Роны и Дуная.

Увидев это, вышедшие из города сказали:

– Они умерли лютой смертью. Смотрите, сколько крови!

Однако они ошибались – при свете пылающих шатров и бледном сиянии луны они приняли мочу Пантагрюэля за кровь врагов.

Враги же, пробудившись и увидев с одной стороны пожар, а с другой наводнение и мочепотоп, не знали, что сказать и на что подумать. Одни говорили, что настал конец света и Страшный суд и что теперь все сгорит, другие – что их преследуют Нептун, Протей, Тритон и прочие морские божества и что это в самом деле соленая морская вода.

О, кто бы мог теперь рассказать, как Пантагрюэль обошелся с тремястами великанами! О моя Муза, о Каллиопа, о Талия! Вдохнови меня, укрепи мой дух, ибо где мне взять слов для описания этой грозной битвы? Вот он, камень преткновения для логически мыслящего человека, вот она, настоящая-то ловушка, вот она, трудность непреодолимая!

Мне бы теперь бокал лучшего вина, какое когда-либо пили те, что будут читать правдивую эту историю!

Глава XXIX

О том, как Пантагрюэль сокрушил триста великанов, закованных в каменные латы, и предводителя их Вурдалака

Великаны, видя, что их лагерь затоплен, со всеми предосторожностями вынесли короля Анарха из крепости на своих плечах, подобно тому как Эней вынес отца своего Анхиза из пылающей Трои.^[437]

Панург, завидев их, сказал Пантагрюэлю:

– Смотрите, государь, – великаны идут. Огрейте-ка вы их по старинке, со всего размаху, своею мачтой, – сейчас самое время выказать доблесть, а мы тоже от вас не отстанем: ручаюсь вам, что я перебую их немало. В самом деле, Давид без особых усилий убил Голиафа, ну, а я-то справился бы с дюжиной таких, как Давид: ведь он тогда еще был маленький за...нец, так неужели же я не разделался бы с дюжиной Давидов? И потом еще этот жирный блудник Эвсфен, – силы у него, как у четырех быков, он тоже не будет из себя неженку строить. Смелее, бейте их чем ни попадя!

Пантагрюэль же ему сказал:

– Смелости-то у меня больше, чем на пятьдесят франков, да это еще не все. Сам Геркулес не решался идти против двоих.

– Изволили в кувшин пукнуть, – заметил Панург. – Сравнить себя с Геркулесом! Да у вас в зубах больше силы, а в заднице больше ума, нежели у Геркулеса во всем теле и в душе, ей-богу! Человек стоит столько, во сколько он сам себя ценит.

Меж тем как они вели этот разговор, приблизился Вурдалак со всеми своими великанами, и как скоро он увидел, что Пантагрюэль один, тот же час возымел дерзновенное и безрассудное намерение убить этого человечешку и сказал своим соратникам-великанам:

– Эй, вы, потаскуны несчастные! Клянусь Магометом, если кто-нибудь из вас вздумает схватиться вот с этим, вы у меня умрете лихою смертью. Дайте мне сразиться с ним одному, а вам зато любопытно будет на нас посмотреть.

Тут все великаны вместе с королем отошли поближе к бутылкам, а Панург и его товарищи последовали их примеру; при этом Панург сделал вид, что болен дурной болезнью; шея и пальцы у него будто бы задергались, и он хриплым голосом заговорил:

– Мы больше не воюем с вами, друзья, ей-же-ей, не воюем! Позвольте нам подкрепиться вместе с вами, пока будут мериться силами наши главари.

Король и великаны охотно разделили с ними трапезу. За едой Панург стал рассказывать им предания Турпина, сказания о чудесах святителя Николая и сказки Аиста.^[438]

Вурдалак между тем вышел на Пантагрюэля с палицей из халибской стали; весила эта стальная палица девять тысяч семьсот квинталов два четвертона и оканчивалась тринадцатю алмазными остриями, из коих самое маленькое равнялось по величине самому большому колоколу Собора Парижской Богоматери^[439], а если и было немножко поуже, то разве на ноготок или в крайнем случае, чтоб вам сказать – не соврать, на спинку того ножичка, который называется ухорезом, но уж больше – ни-ни! И была эта палица заколдована, так что ее никоим образом нельзя было сломать, – напротив: она сама ломала все, к чему бы ни притронулась.

И вот когда Вурдалак, расвирепев, стал наступать, Пантагрюэль, возведя очи горе, всецело поручил себя воле Божией и дал следующий обет:

– Господи Боже, избавитель мой и спаситель! Ты видишь мою беду. Меня привело сюда свойственное всем людям рвение, ибо Ты сам заповедал нам охранять и защищать себя, своих жен, детей, отчизну и семью – все, кроме того, что является Твоим личным делом, дело же это есть вера, ибо в такого рода деле Ты не желаешь иметь никаких других помощников, кроме католического исповедания и верности Твоему учению, и Ты воспретил нам применять в сем случае какое бы то ни было оружие и какие бы то ни было средства обороны, понеже Ты всемогущ, и когда речь идет о Твоем деле, когда посягают на Твое право, Ты сам себя защищаешь так, что лучше и желать невозможно, – Ты, кому подвластны тысячи тысяч сотен миллионов ангельских сил, а ведь наименьший из ангелов Твоих способен истребить весь род человеческий и подвигнуть небо и землю по Твоему произволению, каковую Твою кару испытал на себе стан Сеннахериба^[440]! Если же Тебе будет угодно прийти мне сейчас на помощь, ибо на Тебя одного возлагаю я все упование мое и все надежды, то обещаю Тебе, что во всех землях, как в Утопии, так и в других странах, коими я буду владеть и править, я велю проповедовать Твое святое Евангелие так, чтобы оно доходило во всей своей чистоте, простоте и подлинности, ересь же кучки папистов и лжепророков, отравивших весь мир своими чисто человеческими нововведениями и извращенными вымыслами, будет у меня искоренена.

Тогда с неба раздался голос: *Нос fac et vinces*, то есть: «Делай так – и победишь».

Тут Пантагрюэль, видя, что Вурдалак с разинутой пастью идет на него, бесстрашно ринулся ему навстречу и, полагая, что диким криком он нагонит на него страху, как учили лакедемоняне, заорал во всю мочь:

– Смерть тебе, паскуднику, смерть!

Вслед за тем из чана, что висел у него за поясом, он высыпал на Вурдалака восемнадцать с лишним бочонков и одну кадку соли, и соль набилась Вурдалаку в рот, в гортань, в нос и в глаза.

Вурдалак, озверев, взмахнул палицей, собираясь раскроить Пантагрюэлю череп. Пантагрюэль, однако ж, был увертлив, глаза его отличались зоркостью, а ноги быстротой. Левою ногою он сделал шаг назад, и удар пришелся не по нему, а по чану, который и раскололся на

четыре тысячи восемьдесят шесть кусков, а остаток соли высыпался прямо на землю.

Тут Пантагрюэль, орудуя своей мачтой, как секирой, толстым ее концом кольнул Вурдалака повыше соска и, отведя мачту влево, нанес ему еще режущий удар между шеей и панцирем. Затем, сделав выпад правой ногой, он другим концом мачты ткнул ему в пах; при этом он сломал марс, и из трех, не то из четырех бочек, которые там еще оставались, вылилось вино, при виде коего Вурдалак заключил, что Пантагрюэль проткнул ему мочевого пузырь, ибо вытекшее вино Вурдалак принял за собственную мочу.

Пантагрюэль, однако ж, этим не удовольствовался, – он хотел было отвести мачту и еще раз ударить, но в это время Вурдалак, подняв палицу, выступил вперед с намерением обрушить ее на Пантагрюэля. И точно: он нанес такой сокрушительный удар, что если б сам Господь не помог доброму Пантагрюэлю, Вурдалак рассек бы его от макушки до селезенки, однако Пантагрюэль успел увернуться: удар пришелся правее, и Вурдалакова палица, врезавшись в высокую скалу, на шестьдесят три с лишним фута ушла в землю, а из скалы поднялся к небу столб пламени, обхватом своим равный девяти тысячам шести бочкам.

Видя, что Вурдалак возится со своею палицею и никак не может вытащить ее из утеса, Пантагрюэль налетел на него и чуть было не снес ему голову напрочь, но, на беду, мачта его дотронулась до рукояти Вурдалаковой палицы, а палица, как известно, была заколдована.

Вследствие этого мачта Пантагрюэля переломилась на расстоянии трех пальцев от того места, за которое он ее держал, Пантагрюэль же с видом литейщика, у которого от колокола остались одни черепки, крикнул:

– Эй, Панург, где ты?

Услышав крик, Панург обратился к королю и его великанам:

– Если их не разнять, – ей-богу, они друг дружку насмерть уходят!

Великаны, однако ж, веселились, как на свадьбе. Тут Карпалим двинулся было на выручку своему господину, но один из великанов остановил его:

– Клянусь Гольфаринном, Магометовым племянником: если ты сделаешь еще один шаг, я суну тебя в задник моих штанов вместо

свечки. Кстати, у меня запор, и испражняюсь я не иначе, как со скрежетом зубовным.

Пантагрюэль между тем, лишившись своего оружия, схватил обломок мачты и давай охаживать великана, но великану было так же больно, как наковальне, если вы дадите ей щелчка.

Наконец Вурдалак тащил, тащил, да и вытащил палицу и стал замахиваться ею на Пантагрюэля, а Пантагрюэль не стоял на месте – он ловко увертывался от его ударов; когда же Вурдалак пригрозил ему: «Погоди, злодей, сейчас я из тебя начинку сделаю! Полно тебе насыпать жажду на бедных людей!» – Пантагрюэль с такой силой пхнул его ногой в живот, что Вурдалак грохнулся вверх тормашками, а Пантагрюэль проволоком его еще по земле такое расстояние, какое может пролететь пущенная из лука стрела.

У Вурдалака пошла горлом кровь.

– Магомет! Магомет! Магомет! – вопил он.

Услышав его крик, все великаны вскочили, однако Панург остановил их:

– Не ходите, господа! Поверьте мне: наш предводитель сошел с ума и бьет не глядя, куда попало. Вам от него не поздоровится.

Но великаны, видя, что у Пантагрюэля нет больше мачты, не послушались Панурга.

Завидев великанов, Пантагрюэль схватил Вурдалака за ноги и поднял его над головой, словно пику, а так как доспехами Вурдалаку служили наковальни, то, начав им колошматить великанов, одетых в каменные латы, он расколотил их всех, будто каменщик, которому нужно набить побольше щебня, так что ни один из них перед ним не устоял, – каменные их доспехи ломались с таким ужасающим грохотом, что мне невольно вспомнилось, как в Бурже растаяла на солнце большая Масляная башня св. Стефана.^[441]

Панург, Карпалим и Эвсфен тем временем прирезывали валявшихся на земле. Ручаюсь вам, что не уцелел никто. При взгляде на Пантагрюэля можно было подумать, что это косец, который своею косою (сиречь Вурдалаком) косит траву на лугу (сиречь великанов). От такого фехтования Вурдалак приказал долго жить. Произошло это, когда Пантагрюэль хватил им великана по имени Рифландуй, закованного в броню из песчаника, осколок же этой брони начисто снес голову Эпистемону; надобно заметить, что большинство

великанов носило более легкие доспехи: кто – из туфа, кто – из шифера.

Наконец, видя, что все враги перебиты, Пантагрюэль размахнулся что было силы и зашвырнул труп Вурдалака прямо в город, и упал Вурдалак на главную площадь, шлепнулся животом, как лягушка, и придавил обгорелого кота, мокрую кошку, оципанную утку и взнузданного гуся.

**Глава XXX,
повествующая о том, как Панург искусно вылечил
Эпистемона, не сносившего своей головы, а равно и о бесах
и о душах, осужденных на вечную муку**

После окончательного разгрома великанов Пантагрюэль приблизился к тому месту, где стояли бутылки, кликнул Панурга и других, и все предстали перед ним целыми и невредимыми, за исключением Эвсфена, которому один из великанов слегка поцарапал лицо в то время, как Эвсфен перерезал ему горло, и Эпистемона, который вовсе не явился, чем Пантагрюэль был так опечален, что хотел даже наложить на себя руки. Панург, однако ж, ему сказал:

– Полно, государь, обождите немного, мы поищем его среди мертвецов и посмотрим, как обстоит дело.

Стали искать и наконец нашли: Эпистемон, мертвый, держал в руках свою окровавленную голову. При виде этого Эвсфен воскликнул:

– О злая смерть! Ты похитила у нас лучшего из людей!

При этих словах Пантагрюэль, загрустив так, как не грустил еще ни один человек на свете, встал и сказал Панургу:

– Ах, мой друг! Пророчество ваших двух стаканов и копья обмануло нас!

Панург же на это сказал:

– Не плачьте, друзья! Он еще теплый. Я его вылечу, и он у меня будет таким здоровым, каким никогда не был прежде.

С этими словами Панург взял в руки Эпистемонову голову и, чтобы она не остыла, положил ее себе прямо на гульфик. Эвсфен и Карпалим, не обольщая себя надеждой, что Эпистемон оживет, а

единственно для того, чтобы Пантагрюэль на него посмотрел, отнесли его тело туда, где они бражничали. Панург, однако ж, их одобрил:

– Даю голову на отсечение, что я его вылечу. (Обычный заклад всех сумасбродов!) Довольно слезы лить, лучше помогите-ка мне!

Он тщательно обмыл отличным белым вином сначала шею, потом голову убитого, присыпал их диадермическим порошком, который всюду носил с собой в одном из карманчиков, затем смазал какой-то мазью и, дабы Эпистемон, избави Бог, не стал вертишейкой, – а таких людей Панург ненавидел смертельной ненавистью, – приладил голову к туловищу так, что вена пришлась к вене, сухожилие к сухожилию, позвонок к позвонку. Чтобы голова не отвалилась, он сделал стежков пятнадцать-шестнадцать по всей шее и слегка смазал по шву мазью, которую он называл воскресительной.

Вдруг Эпистемон вздохнул, потом открыл глаза, потом зевнул, потом чихнул, потом изо всех сил трахнул.

– Вот теперь я могу сказать наверное, что он здоров, – объявил Панург и дал Эпистемону стакан забористого белого вина со сладким сухарем.

Так искусно был вылечен Эпистемон; он только хрипел после этого недели три с лишним, да еще привязался к нему сухой кашель, но и кашель в конце концов прошел благодаря возлияниям.

Эпистемон сейчас же заговорил и, сообщив, что видел чертей, запросто беседовал с Люцифером и хорошенько подзакусил в аду, а также в Елисейских полях, решительно объявил, что черти – славные ребята. Перейдя же к рассказу о грешниках, он выразил сожаление, что Панург слишком рано вернул его к жизни.

– Мне было весьма любопытно на них поглядеть, – признался он.

– Да что ты говоришь! – воскликнул Пантагрюэль.

– Обходятся с ними совсем не так плохо, как вы думаете, – продолжал Эпистемон, – но только в их положении произошла странная перемена: я видел, как Александр Великий чинил старые штаны, – этим он кое-как зарабатывал себе на хлеб.

Ксеркс торгует на улице горчицей^[442],

Ромул – солью,

Нума – гвоздями,

Тарквиний сквалыжничает,

Пизон крестьянствует,

Сулла – паромщик,
Кир – скотник,
Фемистокл – стекольщик,
Эпаминонд – зеркальщик,
Брут и Кассий – землемеры,
Демосфен – винодел,
Цицерон – истопник,
Фабий нанизывает бусы,
Артаксеркс – веревочник,
Эней – мельник,
Ахилл захирел,
Агамемнон стал блюдолизом,
Одиссей – косец,
Нестор – рудокоп,
Дарий – золотарь,
Анк Марций – конопатчик,
Камилл тачает башмаки на деревянной подошве,
Марцелл шелушит бобы,
Друз щелкает миндальные орехи,
Сципион Африканский, в одном сапоге, торгует на улице винной
гущей,
Газдрубал – фонарями,
Ганнибал – яйцами,
Приам – тряпичник,
Ланселот, Рыцарь Озера, сдирает шкуры с павших лошадей,
Все рыцари Круглого стола – жалкие поденщики, служат
гребцами на переправах через Коцит, Флегетон, Стикс, Ахерон и Лету
и катают господ чертей: словом, они вроде лионских лодочников или
же венецианских гондольеров, с той только разницей, что за перевоз
они получают щелчок по носу, а вечером – заплесневелую краюху
хлеба,
Траян ловит лягушек,
Антонин – лакей,
Коммод мастерит разные вещицы из гагата,
Пертинакс щелкает лесные орехи,
Лукулл – повар,
Юстиниан – игрушечник,

Гектор – кухонный мужик,
Парис – голодранец,
Ахилл убирает сено,
Камбиз – погонщик мулов,
Артаксеркс – лудильщик,
Нерон – скрипач, а Фьерабрас у него слугой и всячески ему
досаждают: кормит плохим хлебом, поит прокисшим вином, а себе
забирает все самое лучшее,
Юлий Цезарь и Помпей смеются суда,
Валентин и Орсон служат при адских банях и накладывают дамам
на лицо маски,
Гинглен и Говен ходят за свиньями,
Жофруа Большой Зуб торгует огнивами,
Готфрид Бульонский – резчик по дереву,
Ясон – звонарь,
Дон Педро Кастильский торгует мелкими реликвиями,
Моргант – пивовар,
Гюон Бордоский – бочар,
Пирр – судомой,
Антиох – трубочист,
Ромул чинит дешевую обувь,
Октавиан скоблит пергамент,
Нерва – конюх,
Папа Юлий торгует с лотка пирожками и уже не носит своей
длинной бородищи,
Жан Парижский чистит башмачки,
Артур Бретонский выводит пятна на шляпах,
Персфоре – носильщик,
Папа Бонифаций Восьмой торгует тесьмой,
Папа Николай Третий продает бумагу,
Папа Александр – крысолов,
Папа Сикст лечит от дурной болезни.
– Что такое? – спросил Пантагрюэль. – Там тоже болеют дурной
болезнью?
– Разумеется, – отвечал Эпистемон. – Такой массы венериков я
еще нигде не видал. Их там сто с лишним миллионов, потому, видите

ли, что у кого не было дурной болезни на этом свете, тот должен переболеть ею в мире ином.

– Стало быть, меня это, слава Богу, не касается, – вставил Панург, – я уж через все стадии прошел.

– Ожье Датчанин торгует сбруей,
Царь Тигран – кровельщик,
Гальен Восстановитель – кротолов,
Четверо сыновей Эмона – зубодеры,
Папа Каликст бреет непотребные места,
Папа Урбин – приживал,
Мелюзина – судомойка,
Матабрюна – прачка,
Клеопатра торгует луком,
Елена пристраивает горничных,
Семирамида ловит вшей у бродяг,
Дидона торгует ивишнями,
Пенфесилея – кресс-салатом,
Лукреция – хозяйка постоянного двора,
Гортензия – пряха,
Ливия изготавливает ярь-медянку.

Таким образом, те, что были важными господами на этом свете, терпят нужду и влачат жалкое и унижительное существование на том. И наоборот: философы и все те, кто на этом свете бедствовал, стали на том свете важными господами.

Я видел, как Диоген, в пурпуровой тоге и со скипетром в правой руке, своим великолепием пускал пыль в глаза Александру Великому и колотил его палкой за то, что тот плохо вычинил ему штаны.

Я видел Эпиктета, одетого со вкусом, по французской моде: под купой дерев он развлекался с компанией девиц – пил, танцевал, закатывал пиры по всякому поводу, а возле него лежала груда экю с изображением солнца. Над виноградной беседкой были написаны в качестве его девиза следующие стихи:

Плясать, смеяться и шутить,
Винцо блаженно попивая,
И дни в безделье проводить,

Экю на солнышке считая*.

Увидев меня, он любезно предложил мне выпить, я охотно согласился, и мы с ним хлопнули по-богословски. Тут к нему подошел Кир и попросил, ради Меркурия, один денье на покупку лука, а то, мол, ему нечем поужинать.

«Нет, нет, я денье не подаю, – сказал Эпиктет. – На вот тебе, мошенник, экю и стань наконец порядочным человеком».

Обрадовался Кир такому богатому улову, однако ж всякое прочее жулье, которое там околачивается, как, например, Александр Великий, Дарий и другие, ночью обчистили его.

Я видел, как Патлен, казначей Радаманта, приценивался к пирожкам, которыми торговал папа Юлий.

«Почем десяток?» – спросил Патлен.

«Три бланка», – отвечал папа.

«Не хочешь ли три удара палкой? – сказал Патлен. – Давай сюда пирожки, негодяй, а сам ступай за другими».

Бедный папа заплакал и пошел. Он сказал своему хозяину-пирожнику, что у него отняли пирожки, а тот отхлестал его так, что кожа его не годилась потом даже на вольтку.

Я видел, как мэтр Жан Лемер, изображая папу, заставлял всех бывших королей и пап целовать ему ногу, затем, важно, по-кошачьи выгибая спину, благословлял их и приговаривал:

«Покупайте индульгенции, бестии вы этакие, покупайте, благо дешевы! Разрешаю вас от вин и гренов, то бишь от вин и грехов, и позволяю вам оставаться никчемными людьми до конца дней».

Затем он подозвал Кайета с Трибуле^[443] и сказал:

«Господа кардиналы! Дайте им скорей по булле, – каждому стукните разочек колом по задней части!»

Что и было исполнено незамедлительно.

Я слышал, как мэтр Франсуа Виллон спрашивал Ксеркса:

«Почем горчица?»

«Один денье», – отвечал Ксеркс.

Виллон же ему на это сказал:

«Лихорадка тебе в бок, негодяй! Здесь таких цен нет. Ты нам тут вздуваешь цены на продовольствие».

И с этими словами он пустил струю ему в кадку, как это делают торговцы горчицей в Париже.

Я видел вольного стрелка из Баньоле – он инквизитор по делам еретиков. Однажды он застал Персфоре за таким занятием: Персфоре мочился у стены, на которой был намалеван антонов огонь^[444]. Стрелок объявил его еретиком и совсем уже было собрался сжечь его, однако Моргант вместо полагавшегося стрелку *proficiat'a* и прочих мелких доходов подарил ему девять бочек пива.

Тут вмешался Пантагрюэль:

– Ну, все эти забавные истории ты расскажешь в другой раз. А теперь нам вот что любопытно знать: как там обходятся с ростовщиками?

– Я видел, как все они копались в грязи и собирали ржавые булавки и старые гвозди, – отвечал Эпистемон, – точь-в-точь как здесь у нас, на земле, разные оборванцы, но за квинтал этой дребедени дают не больше ломтя хлеба, да и вообще там торговля плохая. Оттого у них, у горемык, иной раз по три недели, а то и больше, крошки хлеба во рту не бывает, а работают они с утра до ночи и все надеются, что будет и на их улице праздник. И неутомимы же они, окаянные: с затратой сил не считаются, о своем бедственном положении забывают, только бы им заработать к концу года несколько несчастных денье.

– Ну, а теперь давайте есть и пить, – сказал Пантагрюэль. – Прошу вас, друзья мои, – нам предстоит кутить весь этот месяц.

Тут они выставили целый строй бутылок и из походных запасов устроили пир, однако ж бедный король Анарх так и не повеселел, по поводу чего Панург заметил:

– А какому ремеслу обучим мы господина короля здесь?

К тому времени, когда ему нужно будет отправиться на тот свет, ко всем чертям, он уж должен хорошенько набить руку.

– Твоя правда, – рассудил Пантагрюэль. – Делай с ним что хочешь, дарю его тебе.

– Покорно благодарю, – молвил Панург. – Я ни от каких подарков не отказываюсь, а уж от ваших и говорить нечего.

Глава XXXI

О том, как Пантагрюэль вступил в столицу амавров, как

Панург женил короля Анарха и сделал его продавцом зеленого соуса

После этой чудесной победы Пантагрюэль послал Карпалима в столицу амавратов оповестить жителей о том, что король Анарх попал в плен и что все враги разбиты. Получив это известие, все жители в совершенном восторге, соблюдая строжайший порядок и с приличествующей такому триумфу торжественностью, вышли навстречу Пантагрюэлю и ввели его в город, а в городе по случаю радостного события всюду были зажжены огни и расставлены на улицах круглые столы, ломившиеся от яств. Казалось, что вернулись времена Сатурна^[445], – такое было устроено великое торжество.

Пантагрюэль, однако ж, объявил собравшимся:

– Господа! Нужно ковать железо, пока горячо. Поэтому, пока нас еще не развезло, я хочу взять с налета все королевство дипсодов. Выступить в поход я намерен завтра после попойки, так вот пусть все желающие идти со мной к этому времени будут готовы. Для того чтобы завоевать страну, мне больше людей не требуется, я вполне обойдусь своими силами, но я вижу, что город ваш переполнен, на улицах повернуться негде. Вот я и хочу переселить желающих в качестве колонистов в Дипсодию и подарить им всю эту страну, а земля там плодородная, воздух целебный, местность красивая: другого такого благодатного края на всем свете не сыщешь, – кто из вас там был, тот может подтвердить.

Слух об этом волеизъявлении и решении облетел весь город, и на другое утро на дворцовой площади собрались миллион восемьсот пятьдесят шесть тысяч одиннадцать человек, не считая женщин и детей. И все двинулись прямо на Дипсодию в таком отменном порядке, что их можно было сравнить с сынами Израилевыми, когда те, выйдя из Египта, переходили через Чермное море.^[446]

Однако, прежде чем описать этот поход, я хочу рассказать вам о том, как Панург обошелся со своим пленником, королем Анархом. Панург вспомнил, что сообщил Эпистемон касательно того, как в Елисейских полях обходятся с бывшими царями и богачами и как бывшие цари и богачи зарабатывают себе на кусок хлеба каким-нибудь низким и постыдным ремеслом.

На этом основании Панург в один прекрасный день надел на короля полотняный голубой камзол в знак того, что король *ой как глуп и зол!* и морского фасона штаны, обуви же ему не дал, чтобы не портить, как он сказал, вида, а еще он надел на короля синюю шапочку с большим каплуньим пером, – нет, виноват: сколько я помню, не с одним, а с двумя перьями, – и синий, с зелеными полосками, пояс.

Вырядив короля таким образом, Панург привел его к Пантагрюэлю и спросил:

– Знаком вам этот пентюх?

– Вовсе не знаком, – отвечал Пантагрюэль.

– Перед вами первостатейный король. Я хочу сделать из него порядочного человека. Эти чертовы короли здесь у нас, на земле, – сущие ослы: ничего-то они не знают, ни на что не годны, только и умеют, что причинять зло несчастным подданным да ради своей незаконной и мерзкой прихоти будоражить весь мир войнами. Я хочу приспособить его к делу – научу его торговать зеленым соусом. А ну, кричи: «Кому соусу зеленого?»

Бедняга прокричал.

– Низко взял, – заметил Панург и, схватив короля за ухо, принялся наставлять его: – Бери выше: соль-ре-до! Так, так! Недурная, черт побери, глотка! Право, только теперь, когда ты перестал быть королем, для тебя начнется счастливая жизнь.

Пантагрюэлю это доставило большое удовольствие, ибо, смею вас уверить, он был добрейшей души человек. Так вышел из Анарха хороший продавец зеленого соуса.

Два дня спустя Панург женил его на старой шлюхе и принял на себя свадебные расходы, а угощение свадебное состояло из бараньих голов, жареной свинины с горчицей и потрохов с чесноком, причем пять возов этой снеди Панург послал Пантагрюэлю, и тот съел все, – так это ему понравилось, а из вин там были грушевая и рябиновая наливки; танцевали же на свадьбе под скрипку, на которой играл нанятый Панургом слепой музыкант.

После обеда Панург привел молодоженов во дворец, представил их Пантагрюэлю и, указывая на новобрачную, объявил:

– Вот эта уже не будет трещать.

– Отчего? – осведомился Пантагрюэль.

– Потому что она славно наколота, – отвечал Панург.

– Что это значит? – спросил Пантагрюэль.

– Разве вы не знаете, – продолжал Панург, – что если каштаны – цельные, то, когда их жарят, они трещат как сумасшедшие, а чтобы они не трещали, их накалывают? Наша новобрачная тоже славно наколота снизу, вот почему она никогда уже не будет трещать.

Пантагрюэль подарил молодоженам домишко в глухом переулке да еще каменную ступку для приготовления соуса. И зажили они своим домком, а из Анарха получился один из самых бойких продавцов зеленого соуса, каких только знала Утопия. Впрочем, впоследствии до меня дошел слух, что жена колотит его смертным боем, а бедный муж до того глуп, что даже постоять за себя не умеет.

Глава XXXII

О том, как Пантагрюэль накрыл языком целое войско, и о том, что автор увидел у него во рту

Когда Пантагрюэль со своей ратью вступил в землю дипсодскую, дипсоды обрадовались и поспешили сдаться; они добровольно передавали ему ключи от всех городов, к которым он подступал. Одни лишь альмироды^[447] заупрямились и ответили Пантагрюэлевым герольдам, что они сдадутся только на самых выгодных для них условиях.

– Каких им еще условий нужно? – воскликнул Пантагрюэль. – Ведь нам оставалось только распить мировую. Вперед! Разорить их, когда так!

Был отдан приказ наступать, и войско построилось. По дороге в открытом поле их, однако ж, застал проливной дождь, и тут все затряслось от холода и стали жаться друг к другу. Тогда Пантагрюэль велел объявить через военачальников, что это пустыки: ему видно, дескать, что происходит над облаками, и он утверждает, что выпадет всего лишь роса, да и то не обильная, на всякий же, мол, случай пусть войско выстроится, и он его накроет. Тут все построились сомкнутыми колоннами, Пантагрюэль высунул язык только наполовину и накрыл всех, как насадка цыплят.

Тем временем я, рассказчик правдивых этих историй, укрылся под листом лопуха, не менее широким, чем арка Мантрибльского моста.

Когда же я увидел, как хорошо они защищены, я было направился к ним под прикрытие, но их там набилось, как сельдей в бочке, и втиснуться мне не удалось. Тогда я постарался залезть как можно выше и, пройдя добрых две мили по языку, в конце концов забрался в рот.

Но, боги и богини, что я там увидел! Да поразит меня Юпитер громовержущим своим трезубцем, если я вру! Я ходил там, как по св. Софии в Константинополе, и видел скалы, высокие, как горы в Дании, – по-видимому, это зубы, – обширные луга, дремучие леса и большие укрепленные города, вроде нашего Лиона или Пуатье.

Первый, кого я там встретил, был один добрый человек, сажавший капусту. Я очень удивился и спросил:

– Что ты, братец, делаешь?

– Сажаю капусту, – отвечал он.

– Чего ради? – спросил я.

– Ах, сударь! – отвечал он. – Не всем же быть богатыми, – всем сытым быть, так и хлеба не станет. Это мой заработок, я ношу капусту на рынок вон в тот город, что сзади.

– Господи Иисусе! – воскликнул я. – Да здесь целый новый свет!

– Нисколько он не новый, – возразил он, – а вот говорят, что где-то неподалеку есть новая земля, с солнцем и с луной, и что на ней творятся славные дела, однако наш свет древнее.

– Отлично, братец, – сказал я, – а как же называется город, куда ты носишь продавать капусту?

– Город называется Асфараг^[448], – отвечал он, – живут там христиане, люди хорошие, они вас накормят и напоят.

Коротко говоря, я порешил туда сходить.

Дорогой я повстречал малого, ловившего голубей, и спросил его:

– Откуда здесь голуби, братец?

– С другого света, сударь, – отвечал он.

Тут я себе представил, что, когда Пантагрюэль зеваает, голуби, приняв его глотку за голубятню, тучами влетают туда.

Затем я вошел в город, и он показался мне красивым и хорошо укрепленным, а местность – здоровой, но, к великому моему удивлению, стража у ворот потребовала у меня свидетельство о состоянии здоровья.

– Да что у вас тут, чума свирепствует, господа? – спросил я.

– Ах, сеньор! – отвечали они. – В наших краях умирает столько народа, что телеги не успевают свозить мертвые тела.

– Боже правый! – воскликнул я. – Да где же это?

Оказалось, что это в Ларинге и в Фаринге, двух больших богатых торговых городах вроде Руана и Нанта, рассадником же чумы являются зловонные и заразные испарения, кои с некоторых пор стали подниматься из пропастей, отчего за одну неделю умерли два миллиона двести шестьдесят тысяч шестнадцать с чем-то человек.

Я призадумался, пораскинул умом и догадался, что зловоние это исходит из Пантагрюэлева желудка, оттого что он, как было сказано выше, наелся мяса с чесноком.

Далее путь мой лежал среди скалистых гор, и на одну из них я взобрался и нашел, что это самое красивое место в мире: я увидел прекрасные манежи для игры в мяч, галереи, луга, обширные виноградники и множество домиков в итальянском вкусе, раскиданных среди прелестных полей, и тут я провел месяца четыре, и нигде еще не ел я так сытно, как здесь.

Затем, пробираясь к нижней губе, я стал спускаться по коренным зубам, но по дороге в большом лесу, тянувшемся до самых ушей, меня ограбили разбойники.

Далее я набрел на село, прилепившееся к горному склону, – вот только я забыл его название; нигде я так хорошо не питался, как здесь, да еще и денег немного заработал. И знаете чем? Спать. Здесь нанимают людей спать, платят им поденно, и заработать этим можно не меньше пяти-шести су в день, те же, кто особенно громко храпит, зарабатывают до семи с половиной су. Я рассказал сенаторам, как меня обчистили, и они мне сказали, что по ту сторону в самом деле живут разбойники и лиходеи, из чего я вывел заключение, что как у нас говорят: «по эту сторону гор», «по ту сторону гор», так здесь существует «эта» и «та» сторона зубов, и на «этой» стороне гораздо привольнее, и воздух здесь лучше.

Тут я понял, сколь правы те, которые говорят, что одна половина человеческого рода не знает, как живет другая: ведь никто еще не описал этих краев, а между тем здесь более двадцати пяти населенных королевств, не считая пустынь и большого пролива; впоследствии я все-таки написал объемистую книгу под заглавием *История горланов*,

назвал же я местных жителей так потому, что живут они в горле у моего повелителя Пантагрюэля.

В конце концов мне захотелось обратно, и, спустившись по его бороде, я спрыгнул к нему на плечи, оттуда скатился наземь и упал к его ногам.

– Откуда ты, Алькофрибас? – заметив меня, спросил он.

– Из вашей глотки, государь, – отвечал я.

– Сколько же времени ты там пробыл? – спросил он.

– Я находился там с того времени, как вы пошли на альмиродов, – отвечал я.

– Значит, больше полугода, – сказал он. – Что же ты пил? Чем питался?

– Тем же, что и вы, государь, – отвечал я. – Я брал пошлину с самых лакомых кусков, проходивших через вашу глотку.

– Ну, а куда же девалось твое г...? – спросил он.

– В глотку к вам, государь, поступало оно, – отвечал я.

– Ха-ха-ха! Шутник же ты, я вижу! – молвил Пантагрюэль. – А мы тут с Божьей помощью завоевали всю землю дипсодскую. Тебе я жалуя кастелянство Рагу.

– Весьма признателен, государь, – сказал я. – Я ничем не заслужил такой милости.

Глава XXXIII

О том, как Пантагрюэль занемог и как он излечился

Малое время спустя добрый Пантагрюэль заболел: у него схватило живот, и он не мог ни пить, ни есть, а так как беда не приходит одна, то у него еще появилась горячая моча, и вы себе не представляете, что это была за мука, однако всевозможные слабительные и мочегонные, которые применялись врачами, очень ему помогли: он помочился, и боль отпустила.

Моча у него была такая горячая, что и по сию пору еще не остыла, и там, где она протекала, в разных местах образовались так называемые горячие источники, а именно:

Во Франции:

В Котре, В Лимонсе^[449],

В Даксе, В Баларюке,
В Нери, В Бурбон-Ланси и др.
В Италии:
В Монте-Гротто, В Абано,
В Сан-Пьетро-ди-Падуа, В Сант-Элена,
В Казанова, В Сан-Бартоломео.
В графстве Болонском:
В Порреттеи во многих других местах.

К великому моему изумлению, множество шальных философов и лекарей тратит время на споры, что придает вышперечисленным источникам теплоту: бура, или же сера, или же квасцы, или же рудниковая селитра, и городят при этом всякий вздор, а между тем уж лучше бы они зады себе чесали, а не языки, и не теряли попусту время на споры о том, происхождение чего им неведомо, тогда как дело объясняется весьма просто, и раздумывать тут нечего: вышеназванные источники горячи оттого, что своим возникновением они обязаны горячей моче доброго Пантагрюэля.

Итак, да будет вам известно, что от основной своей болезни он излечился вот каким образом. Для того только, чтобы очистить желудок, он принял:

четыре квинтала колофонской скаммонии,
сто тридцать восемь возов кассии,
одиннадцать тысяч девятьсот фунтов ревеня,
не считая всяких прочих снадобий.

Надобно вам знать, что, по совету врачей, решено было очистить ему желудок от всего, что причиняло боль. Того ради было изготовлено шестнадцать больших медных шаров, побольше того, что украшает памятник Вергилию в Риме, с дверцами на пружине, которые открывались и закрывались изнутри.

В один из этих шаров вошел человек с фонарем и горящим факелом, и Пантагрюэль проглотил его, как пилюльку.

В пять других шаров вошли, неся на плечах заступы, пять молодцов.

В три других шара вошли, неся на плечах лопаты, три мужика.

В семь остальных шаров вошли, неся на плечах кошелки, корзинщики, и все они были проглочены, как пилюли.

Очувившись в желудке, они открыли дверцы и вышли из своих клетушек: сначала человек с фонарем, потом все остальные; оказалось, что они находятся на глубине страшной полуторамильной пропасти, еще более зловонной и заразной, чем Мефита^[450], болота Камарины^[451] и зловонное Сорбоннское озеро^[452], которое описывает Страбон, так что если б они перед спуском не приняли средств, укрепляющих сердце, желудок и кувшин для вина (как обыкновенно называют башку), то непременно задохнулись бы и умерли от этих ужасных испарений. Вот бы такими ароматами и благовониями осмердить полумаски юных наших прелестниц!

Бредя ощупью и пригнувшись, путники приблизились к калу и разложившимся мокротам: то была целая гора нечистот. Золотари принялись подрывать ее, а другие лопатами накладывали нечистоты в плетушки; когда же все было вычищено, путники разошлись по своим шарам. Вслед за тем Пантагрюэль постарался отдать назад и без труда извергнул их, ибо в его глотке они занимали не больше места, чем в вашей – легонькая отрыжка, и они весело вышли вон, что напомнило мне, как греки вышли из троянского коня. И вот благодаря этому Пантагрюэль излечился и поправился.

А одну из этих медных пилюль вы и сейчас еще можете видеть в Орлеане на колокольне церкви Креста Господня.^[453]

Глава XXXIV

Заключение с извинениями автора

Итак, господа, вы прослушали начало ужасающей истории моего государя и повелителя Пантагрюэля. На сем я оканчиваю эту первую о нем книгу, – у меня немножко голова болит, от винного сока клапаны в мозгу плоховато действуют.

Конец истории вы получите к ближайшей Франкфуртской ярмарке и тогда узнаете, как Панург женился и как ему в первый же месяц после свадьбы наставили рога; как Пантагрюэль открыл философский камень и каким образом следует его находить и как им пользоваться; как Пантагрюэль перевалил горы Каспийские; как он плавал в Атлантическом море, как одолел каннибалов и завоевал Жемчужные острова; как он женился на дочери царя индийского, именуемого

пресвитером Иоанном; как он воевал с бесами, спалил пять палат адских, разграбил главную адскую палату, бросил Прозерпину в огонь, выбил Люциферу четыре зуба и сломал рог у него на задку; как он совершил путешествие на луну, дабы удостовериться, подлинно ли луна ущербна и правда ли, что три ее четверти находятся в голове у женщин, а также вашему вниманию будет предложено множество других вполне правдоподобных и веселых приключений. Это прекрасные евангельские тексты на французском языке.

До свиданья, милостивые государи, *pardonnante* *tu*^[454] и не придавайте особого значения моим промахам, ибо, уж верно, вы не придаете значения своим собственным.

Если вы мне скажете: «Почтеннейший автор! Должно полагать, вы не весьма умный человек, коль скоро предлагаете нашему вниманию потешные эти враки и нелепицы», то я вам отвечу, что вы умны как раз настолько, чтобы получать от них удовольствие.

Как бы то ни было, вы, читающие их ради приятного времяпрепровождения, и я, для препровождения времени их писавший, мы в большей мере заслуживаем снисхождения, нежели орава фарисеев, ханжей, притворщиков, лицемеров, святош – пьяных рож, тайных бабников и похабников, а равно и представителей всех прочих сект, надевающих на себя всевозможные личины, чтобы обманывать людей.

Уверяя народ, что они всё только, мол, созерцают да молятся, постятся да умерщвляют плоть, а ежели что и вкушают, так единственно для того, чтобы поддержать бранный свой состав, – на самом деле они бог знает как обжираются,

Et Curios simulant, sed bacchanalia vivunt.^[455]

Все это крупными и четкими буквами написано на их красных мордах и толстенных брюхах, как бы они там ни окуривались серой.

Умственные же их занятия состоят лишь из чтения пантагрюэлических книг, однако читают они их не столько для того, чтобы весело провести время, сколько для того, чтобы кому-нибудь напакостить исподтишка; все они – вертишейки, подслушейки, подгладуны, бл. уны, беспослушники, сиречь наушники, вот она, их ученость. Этим они напоминают тех голодранцев, которые в пору

созревания вишен роятся и копаются в детском дерьме и найденные косточки продают аптекарям, изготавливающим махалебовое масло.

Бегите от них, относитесь к ним с презрением и омерзением, как отношусь к ним я, и если желаете быть добрыми пантагрюэлистами, то есть жить в мире, в радости, в добром здравии, пить да гулять, то соглядатаям не доверяйте.

Конец хроники Пантагрюэля, короля дипсодов, показанного в его настоящем виде, со всеми его ужасающими деяниями и подвигами, сочиненными покойным магистром Алькофрибасом, извлекателем квинтэссенции

**Третья книга героических деяний и речений
доброто Пантагрюэля
Сочинение мэтра Франсуа Рабле, доктора
медицины
*Автор просит благосклонных читателей
подождать смеяться до семьдесят восьмой
книги***

Франсуа Рабле духу королевы Наваррской

О дух высокий, чистый и благой!
Паря в родной тебе лазури рая,
Ты позабыл уют телесный свой —
Свою красу, сурово плоть лишая
Всего, чем нам мила юдоль земная,
И лишь уныло здешней жизни миги.
Стряхни хоть раз своей тоски вериги,
Для помыслов избрав иную цель,
И прочитай о том, что в третьей книге
Свершит, смеясь, добряк Пантагрюэль*.

**Предисловие автора, мэтра Франсуа Рабле, к третьей
книге героических деяний и речений доброт Пантагрюэля**

Добрые люди, достославные пьяницы и вы, досточтимые подагрики! Вы когда-нибудь видели Диогена, философа-циника? Если видели, то виденья, надеюсь, не утратили, или я лишился рассудка и способности логически мыслить. Это же такое счастье – видеть, как искрится на солнце вино... то есть я хотел сказать: как сверкают на солнце груды золота... опять не то: как сияет само солнце! Сошлюсь в том на слепорожденногo, о котором так много говорится в Священном

писании: когда велением Всевышнего, свое обещание мгновенно исполнившего, слепорожденному было дано право испросить себе все, чего он хочет, он пожелал только одного: видеть.

Притом вы уже не молоды, а это как раз и есть необходимое условие для того, чтобы под хмельком не зря болтать языком, а на сверхфизические философствовать темы, служить Бахусу, все до крошки подьедать и рассуждать о живительности, цвете, букете, прельстительности, восхитительности, целебных, волшебных и великолепных свойствах благословенного и вожделенного хмельного.

Если же вы Диогена не видели (чему мне нетрудно будет поверить), то, уж во всяком случае, о нем слышали, ибо молва и слава о нем облетели вселенную и он доньше еще всем памятен и знаменит. А кроме того, у всех у вас течет в жилах, если не ошибаюсь, фригийская кровь, и хотя у вас нет столько экю, сколько их было у Мидаса^[456], однако ж в наследство от него вам досталось нечто такое, за что еще в давно прошедшие времена персы особенно ценили своих отакустов, о чем так мечтал император Антонин^[457] и чем впоследствии обладала та самая Роганова змея, которую звали Красивые Уши.

Если же вы ничего не слыхали о Диогене, то я вам сейчас расскажу про него одну историю, чтобы было за кого выпить для начала (а ну-ка, налейте!) и чтобы завязать разговор (а ну-ка, послушайте!), и прежде всего надобно вам знать (чтобы вы потом по простоте душевной не дались в обман, как попадают на удочку люди неверующие), что это был превосходнейший и жизнерадостнейший философ своего времени. Если и были у него недостатки, то ведь есть они и у вас, есть они и у нас. Один Бог без греха. Сам Александр Великий, несмотря на то, что домашним наставником его был Аристотель, необыкновенно высоко ставил синопского философа и признавался, что, не будь он Александром, он бы желал быть Диогеном.

Когда Филипп, царь Македонский, задумал осадить и разорить Коринф^[458], на коринфян, узнавших от своих лазутчиков, что он со многочисленную ратью идет на них, это навело вполне понятный страх, и нимало не медля они, каждый на своем посту, ревностно взялись за дело, дабы оказать враждебным его действиям сопротивление и город свой защитить.

Одни подвозили в крепость утварь, скот, зерно, вина, фрукты, продовольствие и военное снаряжение.

Другие укрепляли стены,
строили бастионы,
возводили исходящие углы рavelинов,
копали рвы,
вновь подводили контрмины,
прикрывали укрепления турами,
приводили в порядок орудийные площадки,
расчищали старые рвы,
укрепляли брустверы перед ходами сообщения,
сооружали кавальеры,
восстанавливали контрэскарпы,
заливали известью куртины,
сколачивали вышки,
скашивали края парапетов,
забивали амбразуры,
укрепляли бойницы,
поправляли сарацинские подъемные решетки и катаракты,
ставили часовых,
разводили караулы.

Все были начеку, каждый делал свое дело.

Одни полировали легкие нагрудные латы, лакировали кирасы, чистили конские латы, конские налобники, кольчуги, панцири, шлемы, забрала, каски, копья, легкие шлемы, шишаки, брони, наручни, набедренники, кольчужные ластовицы, ожерелья, нагрудные щиты, пластинки для нагрудных щитов, большие щиты, калиги, наколенники, поножи, шпоры.

Другие готовили луки, пращи, арбалеты, пули, катапульты, зажигательные стрелы, бомбы, зажигательные и метательные снаряды, балисты, скорпионы и прочие орудия, отражающие и разрушающие осадные башни.

Точили рогатины, пики, крючья, алебарды, кривые резакы, копья, ассагаи, вилы, секиры, палицы, топоры, полупики, дротики, копьеца.

Острили ятаганы, мечи, сабли, лезвия, шпаги, рапиры, пистойские кинжалы, кинжалы со спиральными лезвиями, кинжалы с

трехгранными клинками, мандузианы, кинжалы простые, ножи, клинки, арбалетные стрелы.

Каждый брался за тесак, каждый чистил свой резак. Женщины самых строгих правил и преклонного возраста и те начищали до блеска свои принадлежности, – как известно, древние коринфянки отличались беззаветной храбростью в битвах.

Диогену городские власти ничего не поручили, и в течение нескольких дней он только молча наблюдал, как его сограждане все у себя поднимали вверх дном. Затем боевой пыл передался и ему: он подпоясался, нацепил на себя какую-то ветошь, закатал рукава до локтей, отдал старому своему приятелю суму, книги и навощенные дощечки, выбрал за городом по направлению к Кранию (так называется холм близ Коринфа) открытое место, выкатил туда бочку, в которой он укрывался от непогоды, и, обуреваемый жаждой деятельности, стал проворно двигать руками: уж он эту свою бочку поворачивал, переворачивал, чинил, грязнил,

наливал, выливал, забивал,

скоблил, смолил, белил,

катал, шатал, мотал, метал, латал, хомутал,

толкал, затыкал, кувырчал, полоскал,

конопатил, колошматил, баламутил,

пинал, приминал, уминал,

зарифлял, закреплял, заправлял,

сотрясал, потрясал, отрясал, вязал, подрезал, терзал,

продвигал, выдвигал, запрягал,

тузил, возил, пазил,

снаряжал, заряжал,

клепал, поднимал, обнимал,

выпаривал, выжаривал, обшаривал,

встряхивал, потряхивал, обмахивал,

строгал, тесал, бросал,

протищал, оснащал, улещал,

супонил, попонил, помпонил,

скатывал и сбрасывал с вершины Крания, потом снова вкатывал наверх, точь-в-точь как Сизиф орудовал со своим камнем, и в конце концов едва не выбил у нее днище.

Тогда один из его друзей спросил, что побуждает его тело и дух так мучить эту бочку. Философ же ему ответил, что хотя республика никаких обязанностей на него не возложила, однако он не желает оставаться в одиночестве и быть бездеятельным и праздным, в то время как весь народ занят делом и трудится не покладая рук, – потому-то он, мол, и безумствует со своею бочкой.

И мне тоже негоже бездействовать: хотя от бранных тревог и в стороне я, однако, духом пламенея, желал бы и я свершить что-либо достойное, особливо теперь, когда видишь, как граждане славного королевства французского, и по ту и по эту сторону гор, неутомимо трудятся и работают, – одним поручено возводить укрепления и оборонять отечество, другие готовятся отразить и разбить врага, и все это делается так дружно, в таком образцовом порядке и столь явно в интересах будущего (ибо как скоро Франция наилучшим образом укрепит свои границы, для французов тотчас же настанет спокойная жизнь), что я начинаю склоняться к мнению доброго Гераклита, уверявшего, что война – не враг, но источник всех благ; и думается мне, вопреки утверждению жевателей старой латинской жвачки, которым с хорошей своей стороны война не видна, что по-латыни войну называют красивой не иронически, а в самом положительном и прямом смысле, ибо во время войны все прекрасное и благородное выступает вперед, а все дурное и уродливое срывает с себя маску. Оттого-то мудрый и миролюбивый царь Соломон, дабы мы возможно яснее представили себе неизреченное величие божественной мудрости, почел за нужное сравнить ее с боевым порядком ратного стана.

Словом, я не был призван и зачислен в ряды наших наступательных войск, ибо нашли, что я совершенно к тому не способен и хил, ни к какому делу, сопряженному с обороной отечества, меня также не приспособили, а между тем я бы ни от чего не отказался: кидал бы сено на воз, чистил бы навоз, позабывая про свою хворость, таскал бы хворост, ибо совестно мне оставаться праздным наблюдателем отважных, красноречивых и самоотверженных людей, которые на глазах и на виду у всей Европы разыгрывают славное действие и трагическую комедию, совестно мне не напрягать последних усилий и не жертвовать тем немногим, что у меня еще осталось. Я полагаю, что не слишком это большая честь – увеличивать собою

число тех, которые напрягают только свое зрение, щадят и берегут свои силы, набивают мощну, прячут деньгу, чешут голову одним пальцем, как скучающие лежебоки, ловят мух, как самые жирные и неповоротливые воны, ставят уши торчком, точно аркадские ослы при звуках песни, и молча, взглядом дают понять, что они согласны играть подобную роль.

Придя к этой мысли и к этому убеждению, я решил, что если б я начал двигать свою Диогенову бочку, – а ведь у меня только она одна и уцелела после кораблекрушения, которое я потерпел в бедственном моем плавании, – то это было бы занятие не бесцельное и не бесплодное. Как вы думаете, что у меня выйдет из этого бочковерчения? Клянусь девой, задирающей подол, этого я еще не знаю. Погодите, дайте мне хлебнуть из бутылочки, – это мой подлинный и единственный Геликон, моя Гиппокрена, незаменимый источник вдохновения. Только испив из него, я могу размышлять, рассуждать, решать и заключать. Затем я хохочу, пишу, сочиняю, кучу. Эний выпивая творил, творя выпивал. Эсхил (если верить Плутарховым *Symposiaca*^[459]) выпивал сочиняя, выпивая сочинял. Гомер никогда не писал натоцк. Катон писал только после возлияния. Попробуйте мне теперь сказать, что я не руководствуюсь примером людей высокочтимых и глубокоуважаемых. Слава Богу, Господу Богу Саваофу (то есть Господу ангельских сил) во веки веков, вино у меня вкусное и довольно холодное: как говорится, *в начале второй степени свежести*. Если же и вы разочка два под шумок приложите, а то и осушите единым духом, я ничего в том предосудительного не усмотрю, только не забывайте по чуточке благодарить Бога.

И вот если уж таков мой удел и мой жребий (ибо не каждому дано достигнуть Коринфа и там поселиться), то я почитаю за должное служить и тем и другим, но только не оставаться бездеятельным и бесполезным. Я буду состоять при землекопах, каменобойцах и каменотесах, стану заниматься тем же, чем при Лаомедонте занимались в Трое Нептун и Аполлон, чем занимался в старости Рено де Монтобан: я буду прислуживать каменщикам, я буду стряпать на каменщиков, а когда они насытятся, то звуки моей не знающей соперниц сопелочки сопение сопунов заглушат. Так Амфион, бряцая на лире, заложил, построил и воздвиг великий и славный город Фивы. Для воинов же я открою свою бочку. И из отверстия этой бочки,

которая вам уже знакома по первым двум томам (вот только я боюсь, как бы книгоиздатели умышленно чего-нибудь там не исказили и не напутали), я отцежу им возникшую из наших послеобеденных вольных забав изысканную третью книгу, а за третьей последует и развеселая четвертая книга сентенций пантагрюэлических^[460], – я разрешаю вам называть их диогеническими. Товарищем по оружию я этим людям быть не могу, так буду же я им верным архитриклином, по мере скромных сил своих spryskivajushim их возвращение из походов, и неустанным песнословцем их славных деяний и ратных подвигов! Клянусь страстями Христовыми, уж я в грязь лицом не ударю, скорее в марте не будет поста, а ведь этот пакостник ни за что своей очереди не пропустит.

Впрочем, помнится мне, я читал, что Птолемей, сын Лага, как-то раз среди прочих трофеев своих побед показал египтянам, при великом стечении народа, черного двугорбого верблюда^[461] и пестрого раба, у которого одна половина тела была черная, а другая белая, причем разделительная черта проходила не по диафрагме, как у посвященной Венере индийской женщины, которую тианский философ встретил между рекою Гидаспом и Кавказским хребтом, но вертикально, каковых редкостей египтянам никогда прежде видеть не доводилось; показал же он эти диковины в надежде, что благодаря им любовь народа к нему возрастет. Чего же, однако, он этим достигнул? При появлении верблюда все пришли в ужас и в негодование; при виде пестрого человека иные отпускали шуточки, иные громко выражали свое отвращение: это-де мерзкое чудище, появившееся на свет только в силу случайной игры природы. Коротко говоря, Птолемей надеялся, что он угодит египтянам и что их естественная преданность ему от этого только усилится, однако надежда обманула его. Только тут уразумел он, что гораздо больше удовольствия и наслаждения получили бы они от чего-либо красивого, изящного и совершенного, нежели от смешного и безобразного. С тех пор и человек и верблюд были у него в загоне, а вскорости, по небрежению и отсутствию надлежащего ухода, и тот и другой приказали долго жить.

Пример Птолемея заставляет меня колебаться меж страхом и надеждой, боюсь же я вот чего: а вдруг чаемое наслаждение обернется чувством гадливости, сокровища мои превратятся в угли, вместо туза я вытяну двойку, вместо того чтобы угодить своим читателям, я их

прогневаю, вместо того чтобы повеселить, оскорблю, вместо того чтобы понравиться, разонравлюсь, и кончится дело тем же, чем кончилось оно у Эвклионова петуха, воспетого Плавтом в *Горшке* и Авзонием в *Грифоне* и других сочинениях: этот самый петух открыл клад, за что его башке дали по шапке. А уж если что-нибудь подобное случится, то пеняй на себя! А коли случилось когда-нибудь прежде, то ведь может и еще раз случиться. Но не бывать этому, клянусь Геркулесом! Я убежден, что все мои читатели обладают неким родовым свойством и лично им присущей особенностью, которую предки наши именовали пантагрюэлизмом; в силу этой особенности они никогда не истолкуют в дурную сторону того, что вылилось из души чистой, бесхитростной и прямой. Я знаю множество случаев, когда они, видя, что автору уплатить нечем, принимали в уплату доброе намерение и тем довольствовались.

А теперь я возвращаюсь к моей бочке. А ну-ка, братцы, выпьем! Полней стаканы, друзья! Не нравится – не пейте. Я не из тех назойливых пьянчуг, которые принуждают, приневоливают и силком заставляют собутыльников и сотрапезников своих хлестать и хлестать – и непременно залпом, и непременно до чертиков, а это уж безобразие. Все честные пьяницы, все честные подагрики, все жаждущие, к бочке моей притекающие, если не хотят, пусть не пьют, если же хотят и если вино по вкусу их превосходительному превосходительству, то пусть пьют открыто, свободно, смело, пусть ничего не платят и вина не жалеют. Такой уж у меня порядок. И не бойтесь, что вина не хватит, как это случилось на браке в Кане Галилейской. Вы будете выливать, а я – все подливать да подливать. Таким образом, бочка моя пребудет неисчерпаемой. В ней бьет живой источник, вечный родник. Таков был напиток в чаше Тантала^[462], изображение которого почиталось мудрыми брахманами; такова была в Иберии соляная гора, прославленная Катонем; такова была золотая ветвь, посвященная богине подземного царства и воспетая Вергилием. Это подлинный рог изобилия, изобилия веселий и шалостей. И пусть иной раз вам покажется, что в бочке осталась одна лишь гуца, а все же дно ее никогда не будет сухо. На дне ее, как в бутылке Пандоры^[463], живет надежда, а не безнадежность, как в бочке Данаид.

Запомните же хорошенько все, что я вам сказал, запомните, кого именно я к себе приглашаю, чтобы после не вышло недоразумений! По

примеру Луцилия, который прямо объявил, что пишет только для тарентцев и консентинцев^[464], я открываю бочку только для вас, добрые люди, пьяницы первого сорта и наследственные подагрики. А законники-мздоимцы, крючкотворы, коим несут подношения и через парадный и через задний проход, пусть побродят вокруг да около, если желают, – все равно им нечем тут поживиться.

Не говорите мне также, во имя и ради тех четырех ягодиц, благодаря которым вы произошли на свет, и того животворного болта, который их скреплял, – не говорите мне об ученых буквоедах и крохоборах. И не заикайтесь мне о ханжах, несмотря на то, что они, все до одного, забулдыги, все до одного изъедены дурной болезнью, и несмотря на то, что жажда их неутолима, утроба же их ненасытима. Почему про них не заикаться? А потому, что люди они не добрые, а злые, и грешат как раз тем, от чего мы с вами неустанно молим Бога нас избавить, хотя в иных случаях они и притворяются нищими. Ну да старой обезьяне приятной гримасы не соорудить. Вон отсюда, собаки! Пошли прочь, не мозольте мне глаза, капюшонники чертовы! Зачем вас сюда принесло, нюхозады? Обвинять вино мое во всех грехах, писать на мою бочку? А знаете ли вы, что Диоген завещал после его смерти положить его палку подле него, чтобы он мог отгонять и лупить выходцев с того света, цербероподобных псов? А ну, проваливайте, святоши! Я вам задам, собаки! Убирайтесь, ханжи, ну вас ко всем чертям! Вы все еще здесь? Я готов отказаться от места в Папомании, только бы мне вас поймать. Я вас, вот я вас, вот я вас сейчас! Ну, пошли, ну, пошли! Да уйдете вы наконец? Чтоб вам не испражняться без порки, чтоб вам мочиться только на дыбе, чтоб возбуждаться вам только под ударами палок!

Глава I

О том, как Пантагрюэль переселил в Дипсодию колонию утопийцев

Когда Пантагрюэль окончательно покорил Дипсодию, он, задавшись целью возродить, заселить и украсить этот малолюдный и в большей своей части пустынный край, переправил туда колонию утопийцев численностью в 9 876 543 210 человек, не считая женщин и

детей, – всякого рода ремесленников и преподавателей всех вольных наук. И вывел он их туда не только из-за того, что Утопия была перенаселена и мужчинами и женщинами, которые плодились, как саранча: вы сами хорошо знаете, и мне нет нужды говорить вам о том, что детородные органы утопийцев обладали особой оплодотворяющей способностью, матки же утопиек были всегда расширены и отличались прожорливостью, цепкостью, а также удобным устройством своих ячеек, вследствие чего каждые девять месяцев в каждой утопийской семье рождалось не менее семи младенцев мужского и женского пола зараз, так же как у иудеев в Египте, если только не подвирает де Лира^[465]. Равным образом Пантагрюэль переселил их не столько ради плодородной почвы, здорового климата и прочих преимуществ Дипсодии, сколько для того, чтобы привить дипсодам чувство долга и привычку к послушанию, в чем и должны были показать им пример новоприбывшие старые и верные его подданные, которые на протяжении всей своей жизни не знали, знать не хотели, не признавали и не почитали иного государя, кроме него, которые, едва родившись и появившись на свет, с молоком матери всосали мягкость и кротость его образа правления, в этом духе были воспитаны и в этом соку варились, каковое обстоятельство служило Пантагрюэлю порукой, что, куда бы ни были они заброшены и переселены, они скорее откажутся от земной жизни, нежели от полного и безраздельного повиновения природному их господину, и что таковыми пребудут не только они сами и рождающиеся у них дети, от самого старшего и до самого младшего, но что эту верность и послушание воспримут от них народы, вновь присоединенные к его державе. Так оно и случилось, и в ожиданиях своих он не обманулся. Если утопийцы еще до переселения выказывали преданность и чувство признательности, то дипсоды за несколько дней общения с ними превзошли их, ибо всем людям свойственно с особым усердием приниматься за дело, которое им по душе. Они сетовали только, что ничего не слышали прежде о добром Пантагрюэле, – то был единственный их укор небесам и небесным силам.

Да будет вам известно, гуляки, что для того, чтобы держать в повиновении и удержать вновь завоеванную страну, вовсе не следует (как ошибочно полагали иные тиранического склада умы, этим только навредив себе и себя же опозорив) грабить народ, давить, душить,

разорять, притеснять и управлять им с помощью железных палок; одним словом, не нужно есть и пожирать народ, вроде того царя, которого Гомер называет несправедливым демоном, то есть пожирателем народа. Я не стану приводить здесь примеры из древней истории, я только напомню вам о том, чему были свидетелями ваши отцы, а может статься, и вы сами, если только вам не помешало ваше малолетство. Словно новорожденного младенца, народ должно поить молоком, нянчить, занимать. Словно вновь посаженное деревцо, его должно подпирать, укреплять, охранять от всяких бурь, напастей и повреждений. Словно человека, оправившегося от продолжительной и тяжелой болезни и постепенно выздоравливающего, его должно лелеять, беречь, подкреплять, дабы он пришел к убеждению, что во всем мире нет короля и властителя, чьей вражды он больше бы боялся и чьей дружбы он сильнее бы желал. И точно: Озирис, великий царь египетский^[466], покорил всю страну не столько силой оружия, сколько облегчая бремя повинностей, научая вести жизнь праведную и здоровую, издавая законы разумные, осыпая народ милостями и щедротами. И по повелению Юпитера, которое получила некая Памила, народ прозвал его великим царем Эвергетом (что значит «благодетель»).

И еще: Гесиод в своей *Иерархии*^[467] помещает добрых демонов (назовите их, если хотите, ангелами или же гениями), на том основании, что они являются посредниками и связующими звеньями между богами и людьми, выше людей, но ниже богов. И так как небесные блага и сокровища мы получаем через них, так как они всегда к нам доброжелательны и постоянно оберегают нас от всякого зла, то Гесиод приравнивает их к царям, ибо всем творить благо и никому не причинять зла есть удел истинно царский. Так поступал владыка вселенной Александр Македонский. Таков был Геркулес: владея всем материком, он подданных своих от чудовищ, от утеснений, поборов и злодейств ограждал, человеколюбиво ими управлял, на страже правосудия и справедливости стоял, правопорядок охранял, законы сообразно с условиями той или иной местности издавал, нехватки восполнял, излишеств не допускал, прошлое прощал, все прежние обиды неизменно предавал забвению. И тем же самым духом была проникнута афинская амнистия, дарованная после того, как благодаря храбрости и хитроумию Фрасибула^[468] тираны были

низложены; о ней поведал римлянам Цицерон, а затем она была дана в Риме при императоре Аврелиане.

Вот каковы волшебные чары, ворожба и приворотные зелья, посредством коих можно мирным путем удержать то, что с таким трудом было завоевано. Завоеватель, будь то король, владетельный князь или же философ, лишь в том случае будет царствовать благополучно, если справедливость он поставит выше воинской доблести. Воинскую свою доблесть он выказал, побеждая и завоеывая, справедливость же его означится в том, что он издаст закон, сообразующийся с волей и склонностями народа, объявит указы, установит вероисповедание и даст права каждому, подобно Октавиану Августу, о котором знаменитый поэт Марон сказал так:

Он, победив, любовь к своим законам
Умел внушать народам побежденным*.

Вот почему Гомер в своей *Илиаде* называет добрых государей и великих царей *goomhtorax lawn*, то есть устроителями народов. Теми же соображениями руководствовался Нума Помпилий, второй царь римлян, справедливый, осмотрительный и мудрый, когда, устанавливая праздник в честь бога Термина, названный Терминалиями, он повелел не приносить в этот день кровавых жертв, тем самым давая нам понять, что термины, границы и аннексы надлежит блюсти и охранять, опираясь на мир, дружбу и кротость, не обагривая рук в крови и не пятная их грабежом. А кто поступает иначе, тот не только утратит приобретенное, но еще и опорочит себя и опозорит, ибо все осудят его и станут говорить, что достоянием этим он завладел незаконно, – станут говорить именно потому, что оно от него уплыло. Нечисто нажитое впрок не идет. И если даже человек до самой смерти ухитрится не выпустить из рук добычи, то ее растеряют наследники, а вина все равно будет на умершем, и вспоминать о нем станут с проклятиями как о бесчестном завоевателе. Вы же знаете пословицу: «Нечисто нажитое третьему наследнику не достается».

Здесь кстати будет довести до вашего сведения, закоренелые подагрики, что таким способом Пантагрюэль из одного ангела сотворил двух – в отличие от Карла Великого, который из одного беса

сотворил двух, переселив саксонцев во Фландрию, а фламандцев в Саксонию. Держать в повиновении саксонцев, которых он присоединил к своей империи, ему было не под силу, ибо они бунтовали всякий раз, когда он отлучался в Испанию или же в какую-либо другую дальнюю страну, и он переселил их в край, искони ему преданный, а именно во Фландрию; будучи же убежден, что жители Геннегау и фламандцы и в чужой стране останутся ему верны, он переселил их в Саксонию. А вышло как раз наоборот: саксонцы по-прежнему бунтовали и не подчинялись, фламандцы же, обосновавшись в Саксонии, переняли нравы саксонцев и заразились от них духом противоречия. ^[469]

Глава II

О том, как Панург вступил во владение замком Рагу в Дипсодии и как он поедал свой хлеб на корню

Особым указом правительству всей Дипсодии Пантагрюэль назначил Панургу во владение замок Рагу, дававший верных 6 789 106 789 реалов ежегодного дохода, не считая неопределенной суммы прибыли от майских жуков и улиток, каковая в зависимости от урожайного или неурожайного года колебалась между 2 435 768 и 2 435 769 «длинношерстных баранов». Когда бывал урожай на улиток и майских жуков, прибыль иной раз достигала 1 234 554 321 серафа. Но это случалось далеко не каждый год. И так хорошо и так разумно вел хозяйство новый владелец замка, что менее чем в две недели он растранижил постоянный и непостоянный доход от своего имени на три года вперед. Не думайте, что суммы эти он растранижил на странноприимные дома и школы или на построение храмов и монастырей; так же точно не думайте, что он сорил деньгами зря, – нет, он израсходовал их на бесконечные попойки и веселые пирушки, причем двери его дома были открыты для всех, главным же образом для добрых собутыльников, сударушек и милашек, на каковой предмет вырубались леса, сжигались толстенные деревья только для того, чтобы продать золу, деньги забирались вперед, все покупалось втридорога, спускалось по дешевке, – одним словом, хлеб съедался на корню.

Пантагрюэль обо всем этом знал, но нимало не сердился, не гневался и не огорчался. Я уже вам говорил и еще раз повторяю: то был лучший из всех великих и малых людей, какие когда-либо опоясывались мечом. Во всем он видел только одно хорошее, любой поступок истолковывал в хорошую сторону. Ничто не удручало его, ничто не возмущало. Потому-то он и являл собой сосуд божественного разума, что никогда не расстраивался и не волновался. Ибо все сокровища, над коими раскинулся небесный свод и которые таит в себе земля, в каком бы измерении ее ни взять: в высоту, в глубину, в ширину или же в длину, не стоят того, чтобы из-за них волновалось наше сердце, приходили в смятение наши чувства и разум.

Пантагрюэль ограничился тем, что отозвал Панурга в сторону и в мягкой форме заметил, что если он намерен жить по-прежнему и не станет хозяйственнее, то его совершенно невозможно или, во всяком случае, очень трудно будет сделать богатым.

– Богатым? – переспросил Панург. – И вы это твердо решили? Вы берете на себя такую обузу – сделать меня в этом мире богатым? Клянусь праведным Богом и праведными людьми, лучше подумайте о том, как бы веселее прожить! Никакой другой помысел и никакая другая забота не должны проникать в святая святых небесного вашего ума. Ясность его не должны омрачать облачка мелких неурядиц и незадач и всякая такая безделица. Будьте жизнерадостны, веселы, довольны – иного богатства мне не надобно. Нынче только и слышишь: «Хозяйство! Хозяйство!» Да толкуют-то о хозяйстве как раз те, кто ни черта в нем не смыслит. Посоветовались бы со мной! Что касается моего способа вести хозяйство, то я должен вам сказать следующее: мне ставят в вину как раз то, в чем я подражал Парижскому университету и парламенту, а ведь это два истинных и живых источника пантеологической мысли, равно как и идеи всяческой справедливости. А кто в этом сомневается, кто недостаточно твердо в это верит, тот еретик. И что же вы думаете? Там в один день съедают целого епископа, то есть, я хотел сказать, доход с епископства (впрочем, это одно и то же) за год, а иной раз и за целых два года вперед: это бывает в день, когда вновь назначенный епископ вступает на кафедру. Изменить этот обычай епископ не в состоянии, иначе его тут же побьют камнями.

Притом мой образ жизни соответствует духу четырех основных добродетелей. Во-первых, духу благоразумия, ибо я беру деньги вперед, а ведь неизвестно, кто из нас еще немного протянет, а кто протянет ноги. Кому дано знать, простоит свет еще хотя бы три года или нет? А если даже свет простоит и дольше, то найдется ли такой безумец, который поручится, что тоже проживет три года?

Не открывали боги никому,
Придется ль завтра быть живым ему*.

Во-вторых, духу коммутативной справедливости, ибо покупаю я дорого (то есть в кредит), а продаю дешево (то есть за наличные). Что говорит по поводу ведения хозяйства Катон? Главе семьи, говорит он, надлежит быть вечным продавцом. Так он в конце концов непременно разбогатеет, если только у него достанет товару.

В-третьих, духу справедливости дистрибутивной, ибо я подкармливаю добрых (заметьте: добрых!) и любезных приятелей, которых, словно Одиссея, судьба забросила на скалу хорошего аппетита^[470], поесть же ничего не дала, и милых (заметьте: милых!) и юных девиц (заметьте: юных! ибо, по Гиппократу, юность с трудом переносит голод, в особенности если это юность пылкая, живая, бедовая, резвая, непоседливая). Эти самые девицы охотно и с большой готовностью доставляют удовольствие порядочным людям, ибо они являются последовательницами Платона и Цицерона: по их мнению, они должны жить не только для себя самих, – частично они принадлежат отечеству, частично – друзьям.

В-четвертых, духу силы: я, как второй Милон^[471], валю толстые деревья, свожу дремучие леса – убежище волков, вепрей и лисиц, приют разбойников и злодеев, гнездилище убийц, мастерскую фальшивомонетчиков, пристанище еретиков, превращаю их в светлые поляны, поросшие вереском, с немалой для себя выгодой играю на деревянных инструментах, а пни оставляю до Страшного суда, – это будут судебные кресла.

Наконец, духу воздержания: съедая хлеб на корню, я, словно пустынный, питающийся кореньями и салатом, убиваю в себе чувственные влечения, а кроме того, выгадываю на этом в пользу

калек и неимущих. Ведь я не трачусь на полольщиков, – а полольщики берут дорого; на жнецов, – а жнецам вина только подавай, и притом неразбавленного; на тех, кто подбирает за жнецами колосья, – этих потчуй лепешками; на молотильщиков – эти, по словам Вергилиевой Тестиллиды, подчистую обрывают на огородах лук, чеснок и шалот; на мельников, – а мельники чаще всего плуты; и, наконец, на булочников, – а булочники от мельников недалеко ушли. Разве на всем этом мало можно выгадать? А ведь сюда еще не входят убытки от мышей, от усушки, от разных долгоносиков. Между тем из хлеба на корню вы можете готовить превосходный зеленый соус: он быстро усваивается, легко переваривается, оживляет деятельность мозга, разгоняет по телу животные токи, улучшает зрение, возбуждает аппетит, приятен на вкус, благотворно действует на сердце, щекочет язык, оздоравливает цвет лица, укрепляет мускулы, способствует кровообращению, ослабляет давление на диафрагму, освежает печень, уменьшает селезенку, облегчает почки, влияет на гибкость поясницы и позвоночника, опорожняет мочевой канал, освобождает семяпровод, сокращает кремастеры, очищает мочевой пузырь, увеличивает яички, умягчает крайнюю плоть, делает более твердой головку, выпрямляет детородный член; благодаря этому соусу у вас исправно работает желудок, вы отлично рыгаете, выпускаете ветры, газы, испражняетесь, мочитесь, чихаете, икаете, кашляете, плюете, срыгиваете, зеваете, сморкаетесь, дышите, вдыхаете, выдыхаете, храпите, потеете, буравите, и еще с ним сопряжен ряд других ценных преимуществ.

– Я понимаю вас, – заметил Пантагрюэль. – Вы хотите сказать, что люди недалекие не умеют в короткий срок много истратить. Не вы первый впали в эту ересь. Приверженцем ее был Нерон: ни перед кем из смертных он так не преклонялся, как перед своим дядей Гаем Калигулой, который благодаря уму непостижимой своей изобретательности ухитрился в несколько дней промотать наследство, оставленное ему Тиберием. Итак, вместо того чтобы поступать и действовать по законам против чревоугодия и роскоши, законам римским, – я имею в виду Орхиев, Фанниев, Дидиев, Лициниев, Корнелиев, Лепидов, Антиев, – и коринфским, согласно которым ни один гражданин не имеет права тратить в год сумму, превышающую его доход, вы принесли проптервию: так римляне называли жертву, напоминающую пасхального агнца у евреев. Состояла эта жертва в

том, что все съестное нужно было съесть, остатки бросать в огонь и ничего не беречь на завтра. Я с полным правом могу это сказать о вас, так же точно, как Катон сказал то же самое про Альбидия, который тратил без счета и в конце концов проел все свое состояние; когда же у него остался только дом, он его поджег, чтобы иметь возможность сказать: *Consummatum est*, – слова, которые впоследствии произнес Фома Аквинский, съев целую морскую миногу. Но к делу.

Глава III

О том, как Панург восхваляет должников и займодавцев

– Когда же вы освободитесь от долгов? – спросил Пантагрюэль.

– К греческим календам, – отвечал Панург, – то есть когда все люди будут всем довольны, а вы сами себе оставите наследство. Чтобы я стал освобождаться от долгов? Сохрани меня Бог! Да мне тогда одного денье никто не даст в займы. Кто с вечера не припасет дрожжей, у того к утру тесто не поднимется. Будьте всегда кому-нибудь должны. Ваш займодавец денно и нощно будет молиться о том, чтобы Господь ниспослал вам мирную, долгую и счастливую жизнь. Из боязни, что он не получит с вас долга, он в любом обществе будет говорить о вас только хорошее, будет подыскивать для вас новых кредиторов, чтобы вы могли обернуться и чужой землей засыпать ему яму. Во времена давнопрошедшие в Галлии по обычаю, установленному друидами, на похоронах и погребении хозяев и господ сжигали живьем их рабов, слуг и прислужников^[472], – так что ж, разве они не тряслись за жизнь своих хозяев и господ? Ведь умирать-то им предстояло вместе. Разве они не молились с утра до ночи своему главному богу Меркурию и отцу золота Диту о здравии своих господ^[473]? Разве они не старались как можно лучше ухаживать за ними и служить им? А все потому, что с ними вместе они могли прожить, уж во всяком случае, до самой своей смерти. Можете быть уверены, что кредиторы ваши будут воссылать Богу жаркие молитвы о том, чтобы вы жили подольше, и будут бояться, как бы вы не умерли, оттого что подношение им дороже руки подносящего, а деньги дороже жизни. Примером могут служить ландерусские ростовщики, которые чуть не удавились с горя, когда узнали, что цены на хлеб и вино падают и что вслед за ненастьем настало ведро.

Видя, что Пантагрюэль хранит молчание, Панург продолжал:

– Если вдуматься хорошенько, то, попрекая меня долгами и кредиторами, вы, клянусь потрохами, портите мне все дело. Именно как должник я достигнул величия, всем внушаю почтение и страх и, вопреки мнению философов (которые утверждают, что из ничего ничего и не сделаешь), ничего не имея, без всякого сырого материала, стал делателем и создателем.

Кого же я создал? Уйму прекрасных и добрых кредиторов. Я готов утверждать под страхом любой кары вплоть до костра (только не включительно, а *исключительно*), что кредиторы – создания прекрасные и добрые. Не дающие в долг суть создания уродливые и злые, исчадья ада, сатанинские отродья. Чего же я наделал? Долгов. Какая это редкость, какая диковина! Общая сумма моих долгов превышает число слогов, получающееся от сочетания всех согласных со всеми гласными, а число это было найдено и высчитано славным Ксенократом. Вы не погрешите против практической арифметики, если станете судить о достоинствах должника по количеству его кредиторов.

Вы не можете себе представить, как приятно каждое утро быть окруженным толпою смиренных, угодливых, почтительных кредиторов! Как приятно бывает заметить, что чуть только ты поласковее на кого-нибудь взглянешь или получше угостишь, и вот уж этот поганец возмечтал, что сперва я удовлетворю именно его, что его очередь первая, и мою улыбку он принимает за чистую монету. В такие минуты мне представляется, что я играю роль Бога в сомюрской мистерии Страстей Христовых^[474], что меня окружает сонм ангелов и херувимов. Кредиторы – это мои льстецы, мои прихлебатели, мои поздравители, мои ранние посетители, усердные мои молитвенники.

Глядя, как все в наше время горят желанием и охвачены неудержимым стремлением наделать долгов и наплодить кредиторов, невольно начинаешь думать, что описанная Гесиодом гора героических добродетелей^[475], которая была моей первой темой для получения диплома, сплошь состоит из долгов, – недаром к ней так тянет и влечет всех смертных, хотя из-за трудностей пути мало кто на нее взбирается.

Не всякий, однако ж, способен стать должником, не всякий способен наплодить кредиторов. И вы хотите меня лишить

неизреченного этого блаженства? Вы еще спрашиваете меня, когда я освобожусь от долгов?

Я вам больше скажу: клянусь святым угодником Баболеном, всю свою жизнь я смотрел на долги как на связующее звено, как на связующую нить между небесами и землей^[476], как на единственную опору человеческого рода, без которой люди давно бы погибли. Быть может, это и есть та великая мировая душа, которая, согласно учению академиков, все на свете оживляет.

Чтобы вам это стало ясно, вообразите себе идею и форму какого-нибудь мира, – возьмите хотя бы тридцатый мир, описанный философом Метродором, или же семьдесят восьмой мир Петрона^[477], но только лишенный должников и кредиторов. Мир без долгов! В подобном мире тотчас нарушится правильное течение небесных светил. Вместо этого полнейший беспорядок. Юпитер, не считая себя более должником Сатурна, лишит его орбиты и своею гомерическою цепью опутает все умы, всех богов, небеса, демонов, гениев, героев, бесов, землю, море, все стихии. Сатурн объединится с Марсом, и они перевернут весь мир. Меркурий не захочет больше услужать другим, перестанет быть их Камиллом, как его называли этруски: ведь он никому не должен. Венеру все перестанут чтить, оттого что она никому не дает займы. Луна нальется кровью и потемнеет. С какой радости солнце будет делиться с ней своим светом? Оно же ей ничем теперь не обязано. Солнце перестанет освещать землю. Светила перестанут оказывать на нее благотворное влияние, оттого что она не будет больше насыщать их своими испарениями и выделениями, которыми, как говорил Гераклит, как доказывали стоики и как утверждал Цицерон, питаются звезды. Между стихиями прекратится всякое общение, прекратится их чередование и превращение^[478], оттого что ни одна из них не будет считать себя в долгу у другой, – ведь та ничего ей не ссудила. Земля не будет производить воду, вода не будет превращаться в воздух, воздух – в огонь, огонь перестанет греть землю. Земля ничего не будет рождать, кроме чудовищ: титанов, алоадов, гигантов. Дождь перестанет дождить, свет светить, ветер веть, не будет ни лета, ни осени. Люцифер порвет на себе оковы и, вместе с фуриями, эриниями и рогатыми бесами выйдя из преисподней, постарается прогнать с неба богов всех великих и малых народов.

Из этого ничего не ссужающего мира получится одно безобразие, клубок интриг, еще более запутанный, чем на выборах ректора Парижского университета, такая чертовщина, какой не увидишь и на представлениях в Дуэ. Люди перестанут спасать друг друга. Каждый волен будет кричать во всю мочь: «Пожар!», «Тону!», «Караул!» – никто не придет на помощь. Отчего? Оттого что он никому не дал займы, никто ему не должен. Никому нет дела, что дом его горит, что корабль его идет ко дну, что он разорился, что он умирает. Раз он сам никого не ссужал, то, наверно, и его никто не ссудит.

Коротко говоря, из такого мира будут изгнаны Вера, Надежда, Любовь, а ведь люди рождены, чтобы содействовать и помогать другим. Их место заступят Недоверие, Презрение, Злопамятство с целой когортой всех прочих зол, бедствий и проклятий. Вы невольно подумаете, что Пандора вылила на землю свою бутылку. Люди станут волками в образе человеческом^[479], оборотнями и бесами вроде Ликаона^[480], Беллерофонта и Навуходоносора, они превратятся в разбойников, убийц, отравителей, злодеев, злоумышленников, злопыхателей, ненавистников, каждый ополчится на всех, подобно Измаилу, Метабу, Тимону Афинскому, прозванному по этой причине мизантропом. Так что природе легче было бы питать рыб в воздухе и пасти оленей на дне океана, чем терпеть этот скаредный мир, где никто не дает в долг. Честное слово, я таких людей ненавижу.

Если же вы по образцу этого постылого и горестного мира представите себе малый мир, то есть человека, то вы и там найдете страшнейшую неразбериху. Голова не захочет ссужать нам зрение, управляющее ногами и руками. Ноги откажутся носить голову. Руки перестанут на нее работать. Сердцу надоеет столько биться ради пульса других органов, и оно перестанет их ссужать. Легкие перестанут ссужать ему воздух. Печень не будет больше ему посылать питающую его кровь. Мочевой пузырь откажется быть должником почек, мочеиспускание прекратится. Мозг при виде столь неестественного устройства вещей свихнется и перестанет сообщать нервам чувствительность и приводить мускулы в движение. Словом, в таком выбитом из колеи мире, где ничего не должны, ничего не ссужают и ничего не дают займы, вы явитесь свидетелем более опасного бунта, нежели изображенный Эзопом в его притче. И мир этот, разумеется, погибнет, и не когда-нибудь вообще, а очень даже

скоро, пусть это был бы сам Эскулап. Тело его сгниет немедленно, а возмущенная душа отправится ко всем чертям, следом за моими деньгами.

Глава IV

Продолжение похвального слова Панурга заимодавцам и должникам

– И наоборот: вообразите мир, где каждый дает займы, каждый берет в долг, где все – должники и все – заимодавцы.

Какая гармония воцарится в стройном движении небесных сфер! Я словно бы отсюда слышу их музыку, столь же явственно, как некогда Платон^[481]. Какое согласие установится между стихиями! Как усладится природа всем, что она создала и взрастила! Церера предстанет отягченной хлебными злаками, Бахус – вином, Флора – цветами, Помона – плодами, Юнона, царица эфира, предстанет пред нами светлой, животворящей, всех радующей.

Взор мой теряется в этих красотах. Среди смертных – мир, любовь, благоволение, взаимная преданность, отдых, пиры, празднества, радость, веселье, золото, серебро, мелкая монета, цепочки, кольца, всевозможные товары – и все это будет переходить из рук в руки. Ни тяжб, ни раздоров, ни войн; ни ростовщиков, ни скряг, ни сквалыг, ни отказывающих. Господи Боже, да ведь это будет золотой век, царство Сатурна, точный слепок с Олимпийских селений, где нет иных добродетелей, кроме любви к ближнему, которая царит надо всем, властвует, повелевает, владычествует, торжествует. Все будут добры, все будут прекрасны, все будут справедливы. О счастливый мир! О жители счастливого этого мира! Вы трижды, вы четырежды блаженны!

Мне уже кажется, что и я нахожусь в этом мире. А, чтоб! Если б в этот мир, блаженный, всем ссужающий и нивчемнеотказывающий мир, пустить папу со всем скопом кардиналов и со всей его священной коллегией, то не в долгом времени там развелось бы столько святых первого разбора, столько чудотворцев, столько тропарей, столько обетов, столько хоругвей и столько свечей, сколько их теперь не

наберется во всех девяти епископатах Бретани. Единственно, кто бы с ними потягался, это святой Ив.

Вспомните, пожалуйста, что доблестный Патлен, желая возвеличить отца Гийома Жосома и наивысшими похвалами превознести его до третьего неба, отозвался о нем так:

Тем он знаменит,
Что отпускал товар в кредит*.

Золотые слова!

Теперь по этому же образцу представьте себе микрокосм, *id est*^[482] малый мир, иными словами – человека, все члены которого ссужают, занимают, должны, то есть находятся в естественном своем состоянии. Ведь природа создала человека ни для чего другого, как для того, чтобы он ссужал и занимал. Даже гармония небесная и та, пожалуй, уступает слаженности всех частей человеческого тела. Цель создателя микрокосма заключалась в том, чтобы поддерживать душу, которую он поселил там как гостью, и жизнь. Жизнь пребывает в крови. Кровь – обителище души^[483]. Таким образом, у этого мира только одна забота – беспрестанно ковать кровь. В этой кузнице все органы несут определенные обязанности, их иерархия такова, что один у другого постоянно занимает, один другого ссужает, один другому должен. Вещество и металл, годные для претворения в кровь, даны нам природой, а именно хлеб и вино. В них заключены все виды пищи. Отсюда и ведет свое происхождение лангедокское слово *companatge*^[484]. Чтобы найти, приготовить и сварить пищу, работают руки,

ходят ноги и носят на себе все наше тело,
глаза всем управляют,
сосание в шейке желудка, вызываемое небольшим количеством кисловатой желчи, которая попадает туда из селезенки, напоминает о том, что пора заморить червячка,
язык пробует пищу,
зубы жуют,
желудок принимает, переваривает и превращает в млечный сок,

брыжеечные вены всасывают все, что есть в ней хорошего и полезного, и отделяют экскременты, которые потом выталкивающая сила удаляет через особые проходы, а все годное по тем же брыжеечным венам поступает в печень, печень же снова преобразует пищу и превращает ее в кровь.

Теперь вообразите радость подсобных органов при виде этого золотого ручья, который является их единственным укрепляющим средством. Даже радость алхимиков, которые после долгих усилий, больших хлопот и больших затрат видят наконец, что металлы в их печах претворяются, нельзя сравнить с этой.

Итак, каждый орган готовится и прилагает усилия к тому, чтобы заново очистить и выделить это сокровище. Почки с помощью своих вен извлекают из него жидкость, которую вы называете мочой, и по каналам отводят вниз. Внизу находится особый приемник, а именно мочевого пузыря, который в нужный момент изгоняет ее вон. Селезенка извлекает из крови землистые вещества и тот осадок, который вы называете черной желчью. Желчный пузырь освобождает кровь от излишка желчи. После этого кровь поступает в другую мастерскую, где она особенно хорошо очищается, то есть в сердце. Сердце своими диастолическими и систолическими движениями разжижает ее и воспламеняет, в правом желудочке она еще улучшается^[485], и тогда сердце через вены разгоняет ее по всем членам. Каждый член притягивает ее к себе и по-своему питается ею, – ноги, руки, глаза, решительно все, и теперь уже должники – они, меж тем как прежде они были кредиторами. В левом желудочке кровь делается такой жидкой, что ее даже считают одухотворенной, и сердце через артерии разгоняет ее по всем членам для того, чтобы согреть и проветрить другую, венозную кровь. Легкие все время освежают ее своими лопастями и мехами. Благодарное сердце через посредство легочной артерии снабжает их за это самой лучшей кровью. Наконец, в чудесной сети кровь очищается до такой степени, что в ней образуются духовные силы, благодаря которым человек получает способность воображать, размышлять, судить, решать, обсуждать, умозаключать и памятовать.

Ей-же-ей, я тону, я теряюсь, у меня глаза разбегаются в бездонной пучине этого ссужающего и должающего мира! Смею вас уверить, что ссужать – дело Божье, должать – геройская доблесть.

Слушайте дальше. Этот ссужающий, должающий и занимающий мир настолько добр, что, завершив свое питание, он уже начинает думать о том, как бы ссудить тех, кто еще не родился, и с помощью такой ссуды, буде окажется возможным, обессмертить себя и размножиться в таких же точно существах, то есть в детях. С этой целью каждый орган почитает за нужное выделить некоторую часть наиболее ценной пищи и послать ее вниз, а там природа уже приготовила удобные сосуды и приемники, через которые эта пища окольными и извилистыми путями спускается в детородные органы, принимает надлежащую форму и, как у мужчин, так и у женщин, отыскивает подходящие места, служащие для сохранения и продления человеческого рода. И все это совершается через посредство взаимных ссуд и долгов, – отсюда ведь и пошло выражение: брачный долг.

Отказывающего природа карает сильным раздражением во всех членах и расстройством чувств, ссужающему же дарует наслаждение, радость и негу.

Глава V

О том, как Пантагрюэль порицает должников и заимодавцев

– Я понял вашу мысль, – заметил Пантагрюэль, – вы, я вижу, отлично умеете рассуждать и говорите с жаром. Однако ж если бы вы проповедовали и разглагольствовали до самого Троицына дня, все равно вы, к своему изумлению, ни в чем бы меня не убедили. Вы зря тратите свое красноречие: я никогда не залезу в долги. В апостольском послании прямо говорится: «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви».

Вы пользуетесь прекрасными графидами и диатипозами, и они мне очень понравились, но вот что я вам на это скажу: представьте себе, что некий продувной надувала и неумный заемщик опять явится в город, где все уже знают его повадку, – его появление повергло бы жителей в такой же точно страх и трепет, словно к ним явилась чума в том самом обличье, в каком она предстала в Эфесе перед философом тианским^[486]. По-моему, персы были правы, утверждая, что второй

порок – лгать, а первый – быть должным. Ведь обыкновенно долги и ложь тесно между собою связаны.

Я не хочу, однако ж, сказать, что никогда не следует брать в долг, что никогда не следует давать займы. Нет такого богача, который никогда не был бы должен. Нет такого бедняка, у которого никогда нельзя было бы занять.

Подобные случаи предусматривает в своих законах Платон: он разрешает брать воду из соседнего колодца, только после того как вы изрыли и перекопали свой собственный участок и поискали у себя слоя земли, именуемого глиноземом (то есть горшечной глины), а в нем – источника или же родника. Надобно заметить, что благодаря своему составу эта жирная, крепкая, гладкая и плотная земля долго держит влагу, утечка же и испарения при таких условиях затруднены.

Итак, это очень стыдно – везде и всюду, направо и налево занимать, вместо того чтобы трудиться и зарабатывать. Давать займы, по моему разумению, следует только тогда, когда труженику не хватает на жизнь его заработка или же когда он нечаянно и внезапно теряет свое достояние.

Оставим, однако ж, этот разговор. Вперед с кредиторами не связывайтесь, а от того, что было в прошлом, я вас избавляю.

– Мне остается только поблагодарить вас, – молвил Панург. – И если наша благодарность должна равняться тому расположению, какое к нам выказывают наши благодетели, то моя благодарность вам безгранична и беспредельна, ибо той любви, которую вы по доброте своей мне выказываете, цены нет, – она превосходит любой вес, число и меру, она безгранична и беспредельна. А вот если размеры благодарности должны соответствовать размерам благодеяния и той радости, которую испытывают благодетельствованные, тут уж мне за вами не угнаться. Вы делаете мне много добра, больше, чем следует, больше, чем я заслужил, больше, чем я, откровенно говоря, того стою. Впрочем, не так много, как вам, вероятно, кажется.

Не это, однако ж, меня гнетет, не это меня точит и гложет. Когда расплачусь с долгами, в каком я окажусь положении? Первые месяцы мне придется несладко, уверяю вас: ведь я не так воспитан и к этому не привык. Очень я этого боюсь.

Ко всему прочему, теперь кто только в Рагу ни пукнет, так уж непременно мне в нос. Все п...ны на свете, когда пукают,

обыкновенно приговаривают: «Получай, кто расквитался!» Дни мои сочтены, это уж я чувствую. Сочинить эпитафию поручаю вам. И умру я весь как есть запуканный. Если какой-нибудь женщине, которая мучается от рези в животе, обычные ветрогонные средства не принесут пользы, то ей наверняка поможет порошок из моей непотребной и запуканной мумии^[487]. Какую бы слабую дозу ни назначил ей лекарь, она от нее так начнет пукать, что сама удивится.

Вот почему я покорнейше вас прошу: оставьте за мной сотенки две-три долгов по примеру короля Людовика Одиннадцатого, который хотел было избавить от судебной ответственности Миля д'Илье, епископа Шартрского, но потом, уступив настойчивой его просьбе, оставил ему несколько тяжб – для упражнения. Уж лучше я откажусь в пользу кредиторов от доходов с моей улитки, да еще и с жукильни на придачу.

– Давайте прекратим этот разговор, – заметил Пантагрюэль, – я уже вам сказал.

Глава VI

Почему молодожены освобождаются от воинской повинности

– А каким это законом заведено и установлено, – осведомился Панург, – что насадившие виноградник, построившие новый дом и молодожены получают отсрочку на год по призыву на военную службу?

– Законом Моисея, – отвечал Пантагрюэль.

– Но почему же именно молодожены? – спросил Панург. – До виноградарей мне нужды нет, – слишком я для этого стар: пусть лучше позаботятся о тех, кто снимает урожай. И новостроители из мертвого камня также не занесены в книгу живота моего. Я созидаю живые камни, то есть людей.

– По моему разумению, – сказал Пантагрюэль, – цель здесь была такова: пусть-де молодожены первый год вдоволь насладятся любовью, займутся производением на свет потомства и обзаведутся наследниками. Таким образом, если даже на второй год их убивали на войне, имя их и герб переходили к детям. А заодно удостоверяться,

бесплодна новобрачная или плодовита (годовой опыт считался достаточным ввиду зрелого возраста, в каком тогда вступали в брак), с тем чтобы в случае смерти первого мужа как можно лучше пристроить ее вторично: плодовитую выдавали за того, кто мечтал о приращении своего рода, бесплодную же за того, кто не жаждал иметь детей, а брал жену за ее добродетели, сметку, привлекательность, – только ради домашнего уюта и ведения хозяйства.

– А варенские проповедники порицают второй брак, – сказал Панург, – они говорят, что это безумие и позор.

– Для них это все равно что перемежающаяся лихорадка, – подтвердил Пантагрюэль.

– Да и для отца Скоблисия тоже, – продолжал Панург. – Когда он проповедовал в Парилье и громил второй брак, то прямо так и объявил: он, дескать, клянется, пусть, дескать, его сейчас черт схватит, но только он предпочитает лишиться невинности сотню девиц, нежели вложить шпагу в ножны хотя бы одной вдовушке.

Мне ваш довод кажется разумным и веским. Ну, а что вы скажете, если я вам предложу такое объяснение: молодоженам давали отсрочку на год по призыву на том основании, что в течение всего первого года они наиграются вдоволь со своими дражайшими половинами (а ведь это их право и их долг), опустошат свои сперматические сосуды и по этой причине бывают такие заморенные, истощенные, изнуренные и чахлые, что, когда настает день сражения, они предпочитают нырнуть, как утки, в обоз, но только не быть вместе с воинами и отважными ратоборцами там, где воинствует Энио и где сыплются удары, ибо под знаменами Марса никто из них не способен нанести настоящий удар? И то сказать: все лихие удары они уже нанесли под пологом своей подруги – Венеры.

И вот вам доказательство – мы и сейчас еще среди прочих сохранившихся у нас древних обычаев и обрядов наблюдаем во всех порядочных домах такое обыкновение: молодожена по прошествии стольких-то дней посылают проведать дядюшку, чтобы временно разлучить мужа с молодой женой, чтобы он отдохнул немного, окреп, а затем, по возвращении, со свежими силами снова ринулся в бой, хотя у большинства нет ни дяди, ни тети. Да вот, недалеко ходить: после сражения под Рогоносом король Пук, собственно говоря, не уволил нас в чистую, меня и Цып-цыпа, а просто отпустил домой на поправку.

Между прочим, Цып-цып все еще ищет свой дом. Когда я был маленький, крестная мать моего дедушки говорила мне:

Молитвы только тот твердит,
В чью душу их слова запали.
Один флейтист сильнее дудит.
Чем два, которые устали*.

Укрепляет меня в моем мнении то обстоятельство, что виноградари первый год почти никогда не едят своего винограда и не пьют вина собственного разлива, а равно и строители не живут в своих новых жилищах, оттого что боятся задохнуться из-за недостатка воздуха, о чем с таким знанием дела толкует Гален в книге второй *О затруднительности дыхания*.

Задал же я вам этот вопрос не без основательного основания и не без резонного резона. Не сердитесь.

Глава VII

О том, как Панург, едва у него в ухе появилась блоха, перестал носить свой великолепный гульфик

На другой день Панург велел, по еврейскому обычаю, проткнуть себе правое ухо^[488] и подвесить к нему золотое с инкрустацией колечко, в которое была вправлена блоха. Чтобы у вас не оставалось никаких неясностей (право же, это так приятно – быть обо всем осведомленным!), я вам сообщаю, что блоха была черная, содержание же ее обходилось, по самому точному подсчету, во всяком случае, не больше, чем стоила свадьба одной гирканской тигрицы^[489], то есть примерно около шестисот тысяч мараведи в три месяца. Теперь, когда долги Панурга были покрыты, такие громадные расходы пришлось ему не по нраву, и он порешил кормить ее тем же, чем кормятся тираны и адвокаты, то есть потом и кровью подвластных.

Затем он взял четыре локтя грубого сукна, сшил себе длинный, простого покроя плащ, штаны снял, а очки прицепил к шляпе.

В таком виде предстал он перед Пантагрюэлем, и тот подивился этому маскараду, главным образом потому, что не узрел прекрасного и

великолепного гульфика, на котором Панург, как на якорю спасения, основывал последнее свое убежище от крушений и бедствий.

Не в силах будучи разгадать тайну Панурга, добрый Пантагрюэль обратился к нему с вопросом, что означает необычайный этот маскарад.

– У меня блоха в ухе, – объявил Панург. – Я хочу жениться.

– В добрый час, – молвил Пантагрюэль, – вы меня этим очень обрадовали. Верю вам на слово. Но только влюбленные так себя не ведут: не ходят со спущенными штанами, а то и вовсе без оных, не прикрывают голые колени сорочкой, не щеголяют в грубом плаще до пят, да еще какого-то невероятного цвета, – никто из людей порядочных и добродетельных не носит таких плащей. Если же какие-нибудь еретики или сектанты так и одевались, то это считалось ханжеством, фальшью, желанием завладеть умами простонародья. Впрочем, я лично не собираюсь осуждать их за это и выносить им суровый приговор. Каждый поступает, как ему подсказывает здравый смысл^[490], особенно в делах несущественных, неважных, безразличных, ни добрых, ни злых, не исходящих ни из нашего сердца, ни из разума, каковые представляют собой мастерские всяческого добра и всяческого зла: добра – в том случае, если чувство доброе и если им руководит чистый дух; зла – в том случае, если чувство коварно извратил дух лукавый. Мне только не по душе любовь к новшествам и презрение к обычаям.

– Вы говорите – цвет, – возразил Панург. – Цвет – ничего, мочевой, как раз подходящий, в сукнах я толк понимаю, – это моя материя, и вообще я решил перемениться и больше следить за собой. От долгов я свободен, – значит, я теперь с Божьей помощью стану таким мрачным человеком, что вы диву дадитесь.

Посмотрите на мои очки. Издали вы вполне можете меня принять за брата Жана Буржуа^[491]. Я уверен, что в новом году я опять начну проповедовать крестовый поход. Были бы только целы наши ядра и пики.

Взгляните на это сукно. Я вас уверяю, что оно имеет особое таинственное свойство, мало кому известное. Надел я его нынче утром, а уже беснуюсь, корчусь, горю желанием как можно скорее жениться и до седьмого пота потрудиться над женой, хотя бы меня колотили в это время палкой. А какой из меня выйдет отличный

хозяин! Когда я умру, тело мое сожгут на почетном костре, а пепел сохранят на память о рачительнейшем хозяине. Будь я сукин сын, коли сукно мое плохое! На таком сукне только в карты играть да монетки менять. За таким сукнецом – кое-кого об стол стук лицом!

Оглядите меня спереди и сзади. Да ведь это же тога, одеяние древних римлян в мирное время! Покрой я выбрал такой же точно, как на Трояновой колонне в Риме и как на триумфальной арке Септимия Севера. Надоело мне воевать, надоели мне сагумы и полукафтання пехотинцев. От брони плечам больно. Долой оружие, да здравствует тога! По крайней мере – на весь будущий год, если только я женюсь, а ведь вы не далее как вчера разъяснили мне по этому поводу Моисеев закон.

Что же касается штанов, то в давнопрошедшие времена я слышал от моей двоюродной бабушки Лорансы, что они существуют для гюльфика.

Я понимаю это в том смысле, в каком милый чудак Гален, рассуждая в книге девятой о *Назначении частей нашего тела*, сказал, что голова существует для глаз^[492]. Природа могла бы вздеть голову на коленки или же на локти, однако, сотворив глаза, дабы мы различали предметы вдали, она их вставила в голову, а голову, точно древко, воткнула в самую верхнюю часть тела, подобно тому как маяки и высокие башни строятся всегда на возвышенном месте, дабы свет был виден издали.

А так как я хочу некоторое время, – по крайней мере с годик, – отдохнуть от военной службы и жениться, то я уже не ношу гюльфика, а следственно, и штанов, ибо гюльфик есть самый главный доспех ратника. И теперь я готов утверждать под страхом любой кары вплоть до костра (только не включительно, а *исключительно*), что турки недостаточно хорошо вооружены, оттого что ношение гюльфиков воспрещено у них законом.

Глава VIII

Почему гюльфик есть самый главный доспех ратника

– Итак, вы утверждаете, – сказал Пантагрюэль, – что самый главный воинский доспех – это гюльфик^[493]? Учение новое и в высшей

степени парадоксальное. Принято думать, что вооружение начинается со шпор.

– Да, я это утверждаю, – объявил Панург, – и утверждаю не без основания.

Взгляните, как заботливо вооружила природа завязь и семя созданных ею растений, деревьев, кустов, трав и зоофитов, которые она пожелала утвердить и сохранить так, чтобы виды выживали, хотя бы отдельные особи и вымирали, а ведь в завязях и семенах как раз и заключена эта самая их долговечность: природа их снабдила и необычайно искусно прикрыла стручками, оболочкой, пленкой, скорлупой, чашечками, шелухой, шипами, пушком, корой и колючими иглами, которые представляют собой прекрасные, прочные, естественные гильфики. Примером могут служить горох, бобы, фасоль, орехи, персики, хлопок, колоквинт, хлебные злаки, мак, лимоны, каштаны – вообще все растения, ибо мы ясно видим, что завязь и семя у них прикрыты, защищены и вооружены лучше, чем что-либо другое. О продолжении человеческого рода природа так не позаботилась. Наоборот, она создала человека голым, нежным, хрупким и не наделила его ни оружием, ни доспехами, создала его в пору невинности, еще в золотом веке, создала существом одушевленным, но не растением, Существом одушевленным, говорю я, созданным для мира, а не для войны, существом одушевленным, созданным для того, чтобы наслаждаться всеми дивными плодами и произрастающими на земле растениями, существом одушевленным, созданным для того, чтобы мирно повелевать всеми животными.

В железном веке, в царствование Юпитера, среди людей расплодилось зло, и тогда земля начала родить крапиву, чертополох, терновник и прочее тому подобное, – так растительный мир бунтовал против человека. Этого мало, велением судьбы почти все животные вышли из-под власти человека и молча сговорились не только не работать на него больше и не подчиняться ему, но, напротив, оказывать ему самое решительное сопротивление и по мере сил и возможности вредить.

Тогда человек, желая по-прежнему наслаждаться и по-прежнему властвовать и сознавая, что без услуг многих животных ему не обойтись, принужден был вооружиться.

– Клянусь святым Гусем, – воскликнул Пантагрюэль, – после того как прошли дожди, ты сделался не только изрядным кутилой, но еще и философом!

– А теперь обратите внимание на то, как природа подала человеку мысль вооружиться и с какой части тела начал он свое вооружение, – продолжал Панург. – Начал он, клянусь всеми святыми, с яичек.

И сам Приап, привесив их,
Не стал просить себе других*.

Прямое на это указание мы находим у еврейского вождя и философа Моисея, который утверждает, что человек вооружился нарядным и изящным гульфиком, весьма искусно сделанным из фиговых листочков, самой природой к этому приспособленных и благодаря своей твердости, зубчатости, гибкости, гладкости, величине, цвету, запаху, равно как и прочим свойствам и особенностям, вполне удобных для прикрытия и защиты яичек.

Я оставляю в стороне ужасающих размеров лотарингские яички: они гнушаются тем просторным помещением, которое им предоставляют гульфики, и летят стрелой в глубь штанов, – для них закон не писан. Сошлюсь в том на Виардьера, славного волокиту, которого я встретил первого мая в Нанси; чтобы быть пощеголеватее, он чистил себе яички, разложив их для этой цели на столе, словно испанский плащ.

Отсюда следствие: кто говорит ратнику сельского ополчения, когда его отправляют на войну:

Эй, береги, Тево, кувшин! —

иными словами – башку, тот выражается неточно. Надо говорить:

Эй, береги, Тево, горшок!* —

то есть, клянусь всеми чертями ада, яички.

Коли потеряна голова, то погиб только ее обладатель, а уж коли потеряны яички, то гибнет весь род человеческий.

Вот почему галантный Гален в книге первой *De spermate*^[494] пришел к смелому заключению, что лучше (вернее сказать, было бы наименьшим злом) не иметь сердца, чем не иметь детородных органов. Ибо они содержат в себе, словно в некоем ковчеге завета, залог долголетия человеческой породы. И я готов спорить на сто франков, что это и есть те самые камни, благодаря которым Девкалион и Пирра восстановили род человеческий^[495], погибший во время потопа, о коем так много писали поэты.

Вот почему доблестный Юстиниан в книге четвертой *De sagotis tollendis*^[496] полагал *summum bonum in braguibus et braguetis*.^[497]

По этой же, а равно и по другим причинам, когда сеньор де Мервиль, готовясь выступить в поход вместе со своим королем, примерял новые доспехи (старые, заржавленные его доспехи уже не годились, оттого что за последние годы ободок его живота сильно отошел от почек), его супруга, поразмыслив, пришла к выводу, что он совсем не бережет брачного звена и жезла, ибо эти вещи у него ничем не защищены, кроме кольчуги, и посоветовала ему как можно лучше предохранить их и оградить с помощью большого шлема, который неизвестно для чего висел у него в чулане.

Об этой самой женщине говорится в третьей книге *Шашней девиц*:

Узрев, что муж ее собрался в бой^[498]
Идти с незащищенной мотнею,
Жена сказала: «Друг, прикрой броней
Свой бедный гульфик, столь любимый мной».
Считаю мудрым я совет такой,
Хотя он был подсказан ей испугом:
Вдруг будет отнят у нее войной
Кусок, который лаком всем супругам*.

После всего сказанного вас уже не должно удивлять мое новое снаряжение.

Глава IX^[499]

О том, как Панург советуется с Пантагрюэлем, стоит ли ему жениться

Видя, что Пантагрюэль ничего на это не отвечает, Панург с глубоким вздохом продолжал свою речь:

– Вы знаете, государь, что я решил жениться, если только, на мою беду, все щели не будут заткнуты, забиты и заделаны. Во имя вашей давней любви ко мне скажите, какого вы на сей предмет мнения?

– Раз уж вы бросили жребий, – сказал Пантагрюэль, – поставили это своей задачей и приняли твердое решение, то разговор кончен, остается только привести намерение в исполнение.

– Да, но мне не хотелось бы приводить его в исполнение без вашего совета и согласия, – возразил Панург.

– Согласие я свое даю и советую вам жениться, – сказал Пантагрюэль.

– Да, но если вы считаете, – возразил Панург, – что мне лучше остаться на прежнем положении и перемен не искать, то я предпочел бы не вступать в брак.

– Коли так – не женитесь, – сказал Пантагрюэль.

– Да, но разве вы хотите, чтобы я влачил свои дни одинешенек, без подруги жизни? – возразил Панург. – Вы же знаете, что сказано в Писании: *Veh soli*^[500]. У холостяка нет той отрады, как у человека, нашедшего себе жену.

– Ну, ну, женитесь с Богом! – сказал Пантагрюэль.

– Но если жена наставит мне рога, – а вы сами знаете: нынче год урожайный, – я же тогда из себя вон выйду, – возразил Панург. – Я люблю рогоносцев, почитаю их за людей порядочных, вожу с ними дружбу, но я скорее соглашусь умереть, чем попасть в их число. Вот что у меня из головы не выходит.

– Выходит, не женитесь, – сказал Пантагрюэль, – ибо изречение Сенеки справедливо и исключений не допускает: как сам ты поступал с другими, так, будь уверен, поступят и с тобой.

– Так вы говорите, – спросил Панург, – исключений не бывает?

– Исключений Сенека не допускает, – отвечал Пантагрюэль.

– Ах, шут бы его взял! – воскликнул Панург. – Не поймешь, какой же свет он имеет в виду: этот или тот. Да, но если я все-таки не могу обойтись без жены, как слепой без палки (буравчик должен действовать, а иначе что же это за жизнь?), то не лучше ли мне связать свою судьбу с какой-нибудь честной и скромной женщиной, чем менять каждый день и все бояться, как бы тебя не вздули, или, еще того хуже, как бы не подцепить дурную болезнь? С порядочными женщинами я, да простят мне их мужья, пока еще не знался.

– Значит, женитесь себе с Богом, – сказал Пантагрюэль.

– Но если попущением Божиим случится так, что я женюсь на порядочной женщине, а она станет меня колотить, то ведь мне придется быть смиреннее самого Иова, разве только я тут же взбешусь от злости. Я слышал, что женщины порядочные сварливы, что в семейной жизни они – сущий перец. А уж я ее перецеголяю, уж я ей закачу выволочку: и по рукам, и по ногам, и по голове, и в легкие, и в печенку, и в селезенку, все, что на ней, изорву в клочья, – нечистый дух будет стеречь ее грешную душу прямо у порога. Хоть бы годик прожить без этаких раздоров, а еще лучше не знать их совсем.

– Со всем тем не женитесь, – сказал Пантагрюэль.

– Да, но если, – возразил Панург, – я останусь в том же состоянии, без долгов и без жены (имейте в виду, что я расквитался себе же на горе, ибо кредиторы мои не успокоились бы до тех пор, пока у меня не появилось бы потомство), если у меня не будет ни долгов, ни жены, то никто обо мне не позаботится и не создаст мне так называемого домашнего уюта. А случись заболеть, так мне все станут делать шиворот-навыворот. Мудрец сказал: «Где нет женщины, – я разумею мать семейства, законную супругу, – там больной находится в весьма затруднительном положении»^[501]. В этом я убедился на примере пап, легатов, кардиналов, епископов, аббатов, настоятелей, священников и монахов. Нет, уж я...

– В мужья записывайтесь с Богом, в мужья! – сказал Пантагрюэль.

– Да, но если я заболею и не смогу исполнять супружеские обязанности, – возразил Панург, – а жена, возмущенная моим бессилием, спутается с кем-нибудь еще и не только не будет за мной ухаживать, но еще и посмеется над моей бедой и, что хуже всего, оберет меня, как это мне не раз приходилось наблюдать, то уж пиши пропало, беги из дому в чем мать родила.

– Ну и дела! Уж лучше не женитесь, – сказал Пантагрюэль.

– Да, но в таком случае, – возразил Панург, – у меня никогда не будет законных сыновей и дочерей, которым я имел бы возможность передать мое имя и герб, которым я мог бы завещать свое состояние, и наследственное и благоприобретенное (а что я в один прекрасный день его приобрету, за это я вам ручаюсь, да еще и немалую ренту буду получать), и с которыми я мог бы развлечься, если я чем-нибудь озабочен, как ежедневно на моих глазах развлекается с вами ваш милый, добрый отец и как развлекаются все порядочные люди в семейном кругу. И вот если я, будучи свободен от долгов и не будучи женат, буду чем-либо удручен, то, вместо того чтобы меня утешить, вы же еще станете трунить над моим злополучием.

– В таком случае женитесь себе с Богом! – сказал Пантагрюэль.

Глава X

О том, как Пантагрюэль доказывает Панургу, что советовать в вопросах брака – дело трудное, а равно и о гаданиях по Гомеру и Вергилию^[502]

– Вы меня извините, но советы ваши напоминают песенку о Рикошете, – заметил Панург. – Сплошь одни сарказмы, насмешки и бесконечные противоречия. Одно исключает другое. Не знаешь, чего держаться.

– Равным образом и вопросы ваши содержат в себе столько «если» и столько «но», что ничего нельзя обосновать, нельзя прийти ни к какому определенному решению, – возразил Пантагрюэль. – Ведь намерение ваше остается непоколебимым? А это же и есть самое важное, остальное зависит от стечения обстоятельств и от того, как судило Небо.

Мы знаем немало людей, коих это событие сделало такими счастливыми, как будто в их браке отражается идея и образ райского блаженства. Другие же до того несчастливы в семейной жизни, что их состояние можно сравнить разве лишь с состоянием бесов, которые искушают отшельников в пустынях Фиваиды и Монсеррата^[503]. Уж раз вы решились попытать счастья, так идите наудачу, завязавши глаза,

преклонивши главу, облобызавши землю и положившись на Бога. Никаких ручательств вы от меня не ждите.

Впрочем, если хотите, давайте попробуем вот что. Принесите творения Вергилия, трижды раскройте книгу ногтем, и из стиха, по счету такого-то (об этом мы с вами условимся заранее), нам станет ясно, каков будет ваш брак.

Что гадания по Гомеру многим верно предсказывали судьбу, тому примером служит Сократ; когда ему в темнице прочли стих из речи Ахилла (*Илиада*, песнь девятая):

”Hmati géu tritatj Fuihu eribwlou ífoimhu
Я послезавтра, коль не задержусь,
Во Фтии плодородной окажусь^[504]*, —

он догадался, что умрет через три дня, и уверил в том Эсхина, как об этом повествуют Платон в *Критоне*, Цицерон в книге первой *De divinatione*^[505] и Диоген Лаэртский.

Тому примером служит Опилий Макрин; он страстно желал узнать, будет ли он римским императором, и ему вышло следующее изречение (*Илиада*, песнь восьмая):

W nerou h mala dh se ueoi teirousi machtai,
Sh de bih lelutai, calepou de se ghrazopaxeí...
О старче! Ты со всех сторон зажат
В толпе здоровых молодых солдат;
Хилеешь ты, и, жалости не зная,
Тебя теснит к могиле старость злая*.

И точно: Макрин был уже стар, и правил он империей всего лишь год и два месяца, а затем юный и могучий Элагабал низвергнул его и умертвил.

Тому примером служит Брут^[506]; он пожелал узнать, каков будет исход Фарсальской битвы, в которой он пал, и ему вышел стих из речи Патрокла (*Илиада*, песнь шестнадцатая):

Alla me moir' oloh íai Lhtouz eítaueu uioz
Коварно парка дни мои прервала,
И Фебова стрела в меня попала*.

Боевым кличем в той битве было имя Феба.

Также и гадания по Вергилию пользовались известностью еще в древние времена и предсказывали из ряда вон выходящие случаи и крупнейшие события вплоть до восшествия на престол Римской империи, как это произошло с Александром Севером, которому открыл его судьбу следующий стих (*Энеида*, песнь шестая):

Tu regere imperio populos, Romane, memento...
О римлянин! Став властелином мира,
Не нарушай без надобности мира*.

В самом деле, несколько лет спустя он и правда стал римским императором.

Сошлюсь на римского императора Адриана: мучимый сомнением, что о нем думает и какие чувства питает к нему Траян, он прибегнул к гаданиям по Вергилию и напал на следующие строки (*Энеида*, песнь шестая):

Quis procul ille autem, ramis insignis olivae
Sacra ferens? Nosco crines incanaque menta
Regis Romani...
Кто, ветвь оливы в руку взяв свою,
Величественно шествует ко мне?
По одеянью и по седине
Я римского царя опознаю*.

Некоторое время спустя он был усыновлен Траяном, а по смерти его стал императором.

Сошлюсь на достославного Клавдия Второго, императора римского, который прочел следующий стих (*Энеида*, песнь шестая):

Tertia dum Latio rognantem viderit aestas.
Ты в Риме воцарился, но другой
Придет на третье лето за тобой...*

И точно: он царствовал только два года.

Тому же Клавдию, когда он пожелал узнать судьбу своего брата Квинтила, которому он намеревался передать бразды правления, вышло (*Энеида*, песнь шестая):

Ostendent terris hunc tantum fata.
Судьба на миг его стране покажет*.

Так оно и случилось, ибо Квинтил был убит через семнадцать дней после того, как стал править империей.

Та же участь постигла императора Гордиана Младшего. [\[507\]](#)

Клавдию Альбину, пытавшему свою судьбу, вышло следующее (*Энеида*, песнь шестая):

His rem Romanam magno turbante tumultu
Sistet eques, etc.
Сей всадник в беспокойный, смутный год
Порядок в римском царстве наведет,
Принудит карфагенян к отступленью
И в Галлии подавит возмущенье*.

Сошлюсь на императора Д. Клавдия, предшественника Аврелиана; он допытывался, будут ли у него потомки, и ему вышло (*Энеида*, песнь первая):

His ego nec metas rerum, nec tempora pono.
Имению и жизни этих лиц
Не положу пределов и границ*.

И точно: он оказался предком длинного ряда поколений.

Сошлюсь на господина Пьера Ами^[508]; он пытал судьбу, удастся ли ему спастись от козней нечистой силы, и напал на следующий стих (*Энеида*, песнь третья):

Neul fuge crudeles terras, fuge littus avarum.
Покинь владенья дикого народа,
Покинь страну, где так скупа природа*.

Ушел он от нечистой силы цел и невредим.

И еще можно было бы привести множество случаев, когда сбывалось все, что пророчил стих, таким путем найденный, но об этом долго рассказывать.

Однако ж, дабы вы потом не разуверились, я не стану вас обнадеживать, что этот способ гадания непогрешим.

Глава XI

О том, как Пантагрюэль доказывает предосудительность гадания на костях

– Погадать бы на трех косточках – верней бы и скорей бы дело было, – предложил Панург.

– Нет, – возразил Пантагрюэль, – это гадание противозаконное, предосудительное и весьма зазорное. Никогда им не занимайтесь. Богомерзкую книгу^[509] *О том, как забавляются гаданием на костях* в давние времена сочинил сам враг человеческого рода в Ахайе, близ Буры^[510], и с ее помощью перед статуей Геркулеса Бурского многих легковерных людей вводил в заблуждение, – как и теперь еще вводит в различных местах, – и улавливал в свои сети. Вам известно, что мой отец Гаргантюа запретил эту книгу во всем своем королевстве, сжег ее вместе со всеми гравировальными досками и рисунками, истребил и вырвал с корнем как наиопаснейшую заразу.

Все, что я сейчас сказал по поводу костей, в равной мере относится к бабкам. И то и другое – обман. Пожалуйста, не ссылайтесь на Тиберию, удачно бросившего бабку в Апонский источник Герионова

оракула^[511]. На эти удочки поддевает злой дух доверчивые души и готовит им вечную муку.

Но чтобы вы после не жалели, я все же ничего не буду иметь против, если вы сейчас на этом самом столе бросите три кости. Какую сумму очков наберете, такой же точно по счету стих возьмем мы с вами на странице, которую вы раскроете. Есть при вас кости?

– Полный кошель, – отвечал Панург. – Это же чертов листок, согласно толкованию, которое дает Мерлин Коккай во второй книге *De patria diabolorum*. Если черт увидит, что у меня нет с собой костей, так это все равно как если бы у меня не оказалось с собой зеленого листка.

Панург достал и бросил кости, и ему выпало пять, шесть, пять.

– Итого шестнадцать, – объявил он. – Возьмем на раскрывшейся странице стих шестнадцатый. Число мне нравится^[512], я уверен, что мне выйдет что-нибудь приятное. Пусть я врежусь в сомкнутый строй бесов, как врезается шар в ряды кегель или снаряд в пехотный батальон, пусть черти сграбастают мою душу, если в первую брачную ночь я столько же раз не тряхну мою будущую жену.

– Да я и не сомневаюсь, – заметил Пантагрюэль, – незачем давать такие страшные клятвы. Первый раз вы промахнетесь, и это вам будет зачтено за пятнадцать, зато поутру как раз попадете в цель, – вот и выйдет шестнадцать.^[513]

– Вы так думаете? – спросил Панург. – Ну уж нет, за тем отважным бойцом, который стоит у меня на часах пониже пупа, упущений не числится. Вы когда-нибудь видели, чтоб я давал осечку? Никогда, никогда сроду таких вещей со мной не бывало. Спросите у всех святых и честных отцов, я бью без промаха. Призовите в свидетели всех игроков.

Засим была принесена книга Вергилия.

Прежде чем ее раскрыть, Панург обратился к Пантагрюэлю:

– Сердце трепещет у меня в груди, словно флаг на ветру. Пощупайте-ка пульс, вот здесь, на левой руке^[514]. Судя по его частоте и наполнению, вы можете подумать, что меня тузят во время диспута в Сорбонне. Как вы скажете: прежде чем приступить к гаданию, может быть, мы все-таки вызовем Геркулеса и богинь Тенит, которые, как я слышал, председательствовали в гадальной палате?

– Никого вызывать не нужно, – возразил Пантагрюэль. – Раскройте-ка лучше книгу.

Глава XII

О том, как Пантагрюэль, гадая по Вергилию, определяет, каков будет брак Панурга

И вот когда Панург раскрыл книгу, то оказалось, что на этой странице шестнадцатый по счету стих гласил следующее:

Nec Deus hunc mensa, Dea nec dignata cubili est.

Он недостойн с богом пировать^[515]

И разделять с богинею кровать*.

– Плохо ваше дело, – заключил Пантагрюэль. – Стих указывает, что жена у вас будет потаскушка, а вы, следственно, будете рогоносцем.

Богиня, которая к вам не благоволит, – это Минерва, грозная девственница, богиня всемогущая, громовержущая, ненавидящая и рогоносцев и ветреников, преследующая измены, ненавидящая развратных женщин, которые не держат слова, данного мужу, и сходятся с другими. Бог – это Юпитер-громовержец.

Надобно вам знать, что, согласно учению древних этрусков, манубии (так назывались у них вулканические молнии) исходят только от Минервы (доказательством может служить пожар на кораблях Аякса Оилида^[516]) и от головного ее отца Юпитера. Другим же богам Олимпа метать громы и молнии не подобает. Оттого они и не так страшны людям.

Слушайте дальше, и пусть это будет для вас экстракт древней мифологии. Когда титаны восстали на богов, боги сперва посмеивались над своими врагами и говорили, что с такими-то и слугам их пустое дело управиться. Однако ж когда боги увидели, что титанам удалось взгромоздить гору Оссу на гору Пелион, а гору Олимп раскачать, чтобы водрузить ее на самый верх, то на них напал страх. Тогда Юпитер созвал совет.

На совете было решено, что боги, все как один, смело ринутся в бой. А так как им неоднократно приходилось видеть, что битвы проигрывались из-за присутствия в ратном стане женщин, то было постановлено временно удалить с небес и сослать к истокам Нила всех

срамниц-богинь, предварительно превратив их в ласок, куниц, летучих мышей, лягушек и так далее. Оставили одну только Минерву, дабы она метала грома и молнии совместно с Юпитером, ибо она почиталась богиней наук и войны, богиней совета и исполнения, богиней, которая появилась на свет вооруженною, богиней, наводящей страх на небе, в воздухе, в море и на суше.

– Ах, нелегкая! – воскликнул Панург. – Выходит, я и есть Вулкан, о котором говорит поэт? Шалишь! Я не хром, я не фальшивомонетчик и не кузнец. А коли так, то и жена может мне попасться не менее красивая и не менее приятная, чем его Венера, но только не такая шлюха, а я не буду рогоносцем. Ведь этот хромоногий мерзавец потребовал, чтобы его признали рогоносцем по повелению свыше и в присутствии всех богов. А посему следует понимать это предсказание в обратном смысле.

Открывшийся нам стих указывает, что жена моя будет скромной, целомудренной и верной, но не вооруженной, не норовистой, не исшедшей из отцовского мозга безмозглой Палладой, смазливому же вашему юбочнику Юпитеру соперником моим не быть, и не макать ему свой хлеб в мой суп, когда мы с ним будем сидеть за одним столом.

Обратите внимание на его подвиги и славные похождения. Такого мерзкого блудника, такого пакостного корд... то есть, я хотел сказать, бордельера свет не производил. Похотлив, как боров. Недаром его на острове Кандии, на горе Дикте, выкормила свинья, если только не врет Агафокл Вавилонянин. Он козлее любого козла. Недаром идет молва, что его поила молоком коза Амалфея^[517]. Клянусь Ахеронтом, в один прекрасный день он полез на третью часть света со всеми ее животными и людьми, реками и горами, то есть на Европу. За это козление поклонявшиеся Аммону велели изобразить Юпитера в виде козлящего козла, козла с рогами.

Ну да я-то знаю, как уберечься от этого потаскуна. Я ему не простофиля Амфитрион^[518], не дурачок Аргус со всей его сотней очков, не трусишка Акрисий, не какой-то неведомый фивянин Лик, не разиня Агенор, не размазня Асоп, не мохноногий Ликаон, не неповоротливый тосканец Корит, не долговязый Атлант. Пусть себе хоть сотни раз превращается в лебедя, в быка, в сатира, в золото, в кукушку, – именно в этом обличье лишил он невинности сестру свою

Юнону, – в орла, в барана, в голубя, – в этом образе он влюбился в деву Фтию, жившую в Эгионе, – в огонь, в змея, это еще что – в блоху, в эпикуреические атомы или, магистронострально выражаясь, во вторичные интенции. Я его утихомирю. Знаете, что я с ним сделаю? Черт побери, то самое, что Сатурн со своим отцом Ураном, – Сенека мне это предрек, а Лактанций подтвердил, – то же, что Рея с Аттисом: я ему напроочь оттяпаю яички. Так что и звания не останется. И уж папой ему тогда не быть, ибо *testiculos non habet*.

– Полно, полно, мой мальчик, – сказал Пантагрюэль. – Откройте еще раз.

Панургу вышел следующий стих:

Membra quatit, gelidusque coit formidine sanguis.

Ему ломает спину, члены, кости,

И стынет он от ужаса и злости*.

– Стих указывает на то, что жена будет колотить вас и спереди и сзади, – заметил Пантагрюэль.

– Наоборот, – возразил Панург, – смысл его в том, что если жена выведет меня из себя, то я ей все бока обломаю. Уж погуляет по ней палочка! А не окажется под рукой палки, то пусть меня черт сожрет, если я не сожру ее живьем, как сожрал свою жену Камблет, царь лидийский.

– Какой вы храбрый! – заметил Пантагрюэль. – Сам Геркулес не решился бы с вами переведаться, когда вы в гневе. Как говорится: Жан стоит двух, а Геркулес выходить один против двоих не решался.

– А разве я Жан? – спросил Панург.

– Да нет, – отвечал Пантагрюэль. – Я имел в виду игру в триктрак.

В третий раз Панургу вышел следующий стих:

Faemineo praedae et spoliogum ardebat amore.

И силилась – таков у жен обычай —

Успеть побольше нахватать добычи*.

– Этот стих указывает на то, что жена вас оберет, – заметил Пантагрюэль. – Теперь, после трех гаданий, мне ваша участь ясна. Быть вам рогатому, быть вам битому, быть вам обобранному.

– Наоборот, – возразил Панург, – стих указывает на то, что жена будет любить меня любовью совершенною. Сатирик вполне прав^[519], когда говорит, что женщине, пылающей возвышенною любовью, иной раз доставляет удовольствие что-либо утащить у своего возлюбленного. Что именно? Перчатку, поясок, – пусть, мол, поищет. Пустяк, безделицу.

Равным образом небольшие размолвки и ссоры, вспыхивающие по временам между любовниками, лишь оживляют и возбуждают любовь. Так же точно, к примеру сказать, точильщик бьет иной раз молотком по брусу, чтобы лучше точилось железо.

Вот почему я склонен думать, что все эти три предсказания чрезвычайно для меня благоприятны. Иначе я бы их обжаловал.

– Приговоры Судьбы и Фортуны обжалованию не подлежат, – возразил Пантагрюэль, – так утверждают древние законоведы и знаменитый Бальд (*L. ult. C. de leg.*^[520]).

Дело состоит в том, что Фортуна не признает над собой высшей инстанции, куда бы можно было обратиться с жалобой на нее самое и на ее прорицания. Поэтому все, кто ей подвластен, не могут восстановить положение, существовавшее до ее приговора, о чем Бальд прямо говорит в *L. Ait praetor. § ult ff. de minor.*^[521]

Глава XIII

О том, как Пантагрюэль советует Панургу предугадать через посредство снов, счастлив или же несчастлив будет его брак

– Ну, раз мы не сходимся во мнениях касательно гаданий по Вергилию, давайте попробуем другой способ предугадывания.

– Какой? – спросил Панург.

– Хороший, – отвечал Пантагрюэль, – античный и аутентичный, а именно сны^[522]. Ибо, отойдя ко сну при условиях, которые нам описывают Гиппократ, в книге *peri enupuiwn*^[523], Платон, Плотин, Ямвлих, Синесий^[524], Аристотель, Ксенофонт, Гален, Плутарх,

Артемидор Дальдийский, Герофил^[525], Кв. Калабрийский^[526], Феокрит, Плиний Афиней и другие, душа часто предугадывает будущее.

Мне нет необходимости доказывать вам это подробно. Возьмем самый простой пример: вам, верно, приходилось видеть, что когда дети вымыты, накормлены и напоены, то они спят крепким сном, и кормилицы со спокойной совестью идут веселиться: они вольны делать все, что им заблагорассудится, ибо их присутствие у колыбели в это время не нужно. Так же точно, пока наше тело спит и до пробуждения ни в чем нужды не испытывает, а пищеварение всюду приостановлено, душа наша преисполняется веселия и устремляется к своей отчизне, то есть на небо. Там душа вновь обретает отличительный знак своего первоначального божественного происхождения и, приобщившись к созерцанию бесконечной духовной сферы, центр которой находится в любой точке вселенной, а окружность нигде (согласно учению Гермеса Трисмегиста^[527], это и есть Бог), сферы, где ничто не случается, ничто не проходит, ничто не гибнет, где все времена суть настоящие, отмечает не только те события, которые уже произошли в дольном мире, но и события грядущие, и, принеся о них весть своему телу и через посредство чувств и телесных органов поведав о них тем, к кому она благосклонна, душа становится вещей и пророческой.

Правда, весть, которую она приносит, не полностью совпадает с тем, что ей довелось видеть, и объясняется это несовершенством и хрупкостью телесных чувств: так луна, заимствуя свет у солнца, отдает его нам не таким ярким, чистым, сильным и ослепительным, каким она его получила.

Вот почему сонные видения требуют искусных, мудрых, сообразительных, опытных, разумных и безупречных толкователей, или же, как их называли греки, онейрокритов и онейрополов.

По той же самой причине Гераклит утверждал, что сны сами по себе ничего нам не открывают, равно как ничего и не утаивают; они посылаются нам лишь как знамение и прообраз тех радостей и печалей, которые ожидают нас самих или же кого-либо еще. Об этом свидетельствует Священное писание, это же утверждают и светские истории, в коих приводятся тысячи случаев, происшедших именно так, как они пригрезились сновидцу или же другому лицу.

Жители Атлантиды и Фасоса, одного из островов Цикладских, лишены этого удобства: там никто никогда не видит снов. Так же обстояло дело с Клеоном Давлийским и с Фрасимедом, а в наши дни – с ученым французом Вилланованусом^[528]: им никогда ничего не снилось.

Итак, завтра, в час, когда ликующая розовоперстая Аврора разгонит ночной мрак, постарайтесь как можно крепче заснуть. На это время вы должны будете отрешиться от всех земных страстей: от любви, ненависти, надежды и страха.

Как некогда великий прорицатель Протей, обратившись и преобразившись в огонь, в воду, в тигра, в дракона или же надев на себя другие диковинные личины, не мог предсказывать будущее и принужден был для этой цели восстанавливать настоящее свое и простейшее обличье, так и человек сможет принять в себя божество и исполниться пророческого духа, только если самая божественная его часть (то есть *Nodz*^[529] и *Mens*^[530]) окажется мирной, спокойной и безмятежной, не волнуемой и не отвлекаемой страстями и суетой мирскою.

– Я согласен, – объявил Панург. – Но как же мне полагается сегодня ужинать: плотно или не плотно? Это вопрос не праздный. Если я поужинаю несытно и невкусно, я ничего путного во сне не увижу, – одни лишь пустые мечтания, такие же точно пустые, как мой желудок в ту пору.

– Самое лучшее было бы совсем не ужинать, – заметил Пантагрюэль, – особенно если принять в рассуждение вашу упитанность и ваши привычки. Древний прорицатель Амфиарай требовал, чтобы люди, которым его предсказания должны были открыться во сне, в тот день ровно ничего не ели и в течение трех предшествующих дней не пили вина. Мы с вами, однако ж, не станем прибегать к такой чрезмерно строгой диете.

Правда, я убежден, что обжоре и пьянице трудно воспринять весть о вещах духовных, однако ж со всем тем я не разделяю мнения людей, думающих, что длительный и упорный пост скорее, чем что-либо другое, приводит к созерцанию горних обителей.

Вспомните хотя бы моего отца Гаргантюа, имя которого я произношу с благоговением: он любил повторять, что писания отшельников и постников – такие же дряблые, худосочные и полные

ядовитой слюны, как и их тело, да ведь и трудно сохранить здоровый и спокойный дух, когда тело истощено, а между тем философы и медики утверждают, что животные токи возникают, зарождаются и действуют благодаря артериальной крови, которая наилучшим образом очищается в чудесной сети, под желудочками мозга. Мой отец приводил в пример одного философа, – философ этот полагал, что в уединении, вдали от толпы, ему легче будет комментировать, размышлять и сочинять, а вышло иначе: вокруг него лаяли псы, завывали волки, рычали львы, ржали кони, ревели слоны, шипели змеи, верещали ослы, трещали цикады, ворковали голуби, – словом, это больше ему мешало, чем шум Фонтенейской или же Ниортской ярмарки, ибо тело его ощущало голод, и желудок, требуя утолить голод, выл, в глазах темнело, вены же, высасывая субстанцию из мясистых частей, оттягивали книзу неприкаянный дух, пренебрегший своим кормильцем и дарованным ему самою природой гостеприимным хозяином, то есть телом. Так птица на руке у сокольничего хочет взлететь, а ремешок все тянет ее книзу.

Могу еще сослаться на авторитет Гомера, отца всех наук: он свидетельствует, что греки прервали плач о Патрокле, верном друге Ахилла, не прежде чем дал о себе знать голод и желудки отказались снабжать их слезами, ибо телу, изнуренному долгим постом, нечем бывает плакать и нечего источать.

Золотая середина всегда похвальна, придерживайтесь ее и в этом. Не ешьте за ужином бобов, зайчатины, вообще ничего мясного^[531], моллюсков (их еще называют полипами), капусты и всякой другой пищи, которая может возбудить и замутить ваши животные токи. Подобно тому как зеркало не может отразить находящиеся против него предметы, если поверхность его замутнена дыханием или туманом, так же точно дух лишается способности прозревать во сне, когда тело возбуждают и беспокоят испарения, исходящие от незадолго перед тем съеденных кушаний, ибо между телом и духом существует согласие нерушимое.

Скушайте несколько отменных груш, крустуменских и бергамотов, яблоко «карпендю», турецких слив, вишен из моего сада. И, пожалуйста, не бойтесь, что сны у вас из-за этого будут смутные, обманчивые, не внушающие доверия, каковыми почитали иные перипатетики осенние сны на том основании, что осенью люди

больше, чем в другое время года, потребляют плодов. Косвенное тому подтверждение мы находим и у древних пророков и поэтов: они говорят, что сны пустые и обманчивые таятся под покровом опавших листьев, а ведь листопад бывает осенью. Однако то естественное брожение, которое так сильно в свежих плодах и которое через пары, вызванные этим бурлением, легко передается животным частям (так именно образуется сусло), теперь давно уже замерло и прекратилось. Ну, а затем выпейте чудесной воды из моего источника.

– Ваши условия для меня трудноваты, – признался Панург. – Все же я на них иду – овчинка стоит выделки, но только вот что: пусть мне принесут как можно раньше позавтракать – прямо после моего сновидства, это уж непременно. В остальном же я поручу себя обоим Гомеровым вратам, Морфею, Икелу, Фантасу и Фобетору. Если они мне помогут, я им воздвигну веселый алтарь из тонкого пуха. Окажись я в лаконском храме Ино^[532], что между Этилом и Таламом, недоумение мое, уж верно, с помощью богини разрешилось бы прекрасными и радостными сновидениями.

Затем он обратился к Пантагрюэлю с вопросом:

– А не положить ли мне под подушку лавровых ветвей?

– Не стоит, – отвечал Пантагрюэль. – Это чистое суеверие, а все, что по сему поводу писали Серапион Аскалонский, Антифон, Филохор, Артемон и Фульгенций Планциад^[533], – сплошное заблуждение. Сюда же относятся, не в обиду будь сказано старику Демокриту, левое плечо крокодила и хамелеона, и бактрийский камень под названием эвметрид, и Аммонов рог: так называют эфиопы золотистого цвета драгоценный камень в виде бараньего рога, похожий на рог Юпитера-Аммона. Кстати сказать, эфиопы уверяют, будто сны людей, носящих этот камень, так же истинны и непреложны, как оракулы.

А вот что пишут Гомер и Вергилий о двух вратах сна, которым вы намерены себя поручить.

Одни врата – из слоновой кости, и из них выходят сны загадочные, обманчивые и неверные, так как через слоновую кость, что вы с ней только ни делаете, ничего нельзя разглядеть: плотность ее и непроницаемость препятствуют проникновению зрительных токов и восприятию видимых подобий.

Другие врата – роговые, и из них выходят сны верные, истинные и непреложные, так как через рог благодаря его блеску и прозрачности все подобия явственно и отчетливо различимы.

– По-видимому, вы хотите сказать, – вмешался брат Жан, – что сны рогоносцев, каковым с Божьей помощью, а равно и с помощью его супруги, не преминет стать Панург, всегда истинны и непреложны.

Глава XIV

Сон Панурга и его толкование

Около семи часов утра Панург явился к Пантагрюэлю, у которого уже собрались Эпистемон, брат Жан Зубодробитель, Понократ, Эвдемон, Карпалим и другие, и при виде Панурга Пантагрюэль, обратясь к ним, сказал:

– Вот идет сновидец.

– Эти слова когда-то дорого обошлись сыновьям Иакова^[534], – заметил Эпистемон, – они жестоко за них поплатились.

Тут заговорил сам Панург:

– Я, ни дать ни взять, сновидец Гийо. Мне что-то много чего снилось, да только я ровным счетом ничего не понял. Запомнил я лишь, что привиделось мне, будто у меня есть жена, молодая, статная, красавица писаная, и будто обходится и забавляется она со мной как с малым ребенком.

Так я был рад-доволен, что и сказать нельзя. Уж она меня и ласкала, и щекотала, и цапала, и лапала, и целовала, и обнимала, и для потехи приставляла к моему лбу пару хорошеньких маленьких рожек. Я в шутку стал уговаривать ее приставить мне рожки под глаза, чтобы лучше видеть, куда мне ее бодать, и чтобы Мом не признал то место, которое выбрала она, неудачным и неподходящим, каковым он в свое время нашел положение бычьих рогов. Сумасбродка моя, однако ж, не сдавалась на уговоры и приставляла мне рожки все выше и выше. При этом – удивительное дело! – мне совсем не было больно.

Немного погодя мне почудилось, будто я неизвестно каким образом превратился в барабан, а она в сову.

Тут мой сон был прерван, и я, недовольный, недоумевающий и разгневанный, внезапно пробудился.

Вот вам целое блюдо снов. Кушайте на здоровье и рассказывайте, как вы их понимаете. Пойдем завтракать, Карпалим!

– Я понимаю так, если только я хоть что-нибудь смыслю в разгадывании снов, – начал Пантагрюэль, – жена ваша не наставит вам рогов в прямом смысле, зримых рогов, какие бывают у сатиров, но она не соблюдет супружеской верности, станет изменять вам с другими и сделает вас рогатым. Этот вопрос с исчерпывающей полнотой освещен у Артемидора. Равным образом вы не превратитесь в барабан на самом деле, но жена будет вас бить, как бьют на свадьбах в барабан. Она также не превратится в сову, но она вас оберет, а это как раз в свиных нравах. Итак, сны ваши лишь подтверждают гадания по Вергилию: быть вам рогатым, быть вам битым, быть вам обобренным.

Тут вмешался брат Жан.

– А ведь и правда! – воскликнул он. – Быть тебе, милый человек, рогатым, можешь мне поверить, – чудные рожки у тебя вырастут. Хо-хо-хо! Храни тебя Господь, господин Роголюб! Скажи-ка нам сейчас краткую проповедь, а я пойду с кружкой по приходу.

– Как раз наоборот, – возразил Панург, – сон мой предвещает, что когда я буду состоять в браке, то на меня посыплются все блага, как из рога изобилия.

Вы говорите, что рога эти будут, как у сатира. *Amen, amen, fiat, fiat ad differentiam papae*^[535]. Значит, буравчик мой всегда будет стоять на страже и, как у сатиров, никогда не устанет. Все этого хотят, да немногим удастся вымолить это у Неба. Следственно, рогоносцем мне не быть вовек, ибо недостаток этот и есть непосредственная и притом единственная причина рогов у мужей.

Что заставляет попрошайек клянчить милостыню? То, что дома им нечем набить суму. Что заставляет волка выходить из лесу? Недостаток убоины. Что заставляет женщин блудить? Сами понимаете. Сошлюсь в том на господ судейских: на господ председателей, советников, адвокатов, прокураторов и прочих толкователей почтенного раздела *de frigidis et maleficiatis*.

Быть может, это с моей стороны слишком смело, но мне кажется, что, понимая *рога*, как *положение рогоносца*, вы допускаете явную ошибку.

Диана носит на голове рога в виде красивого полумесяца, – что ж, по-вашему, она рогата? Как же, черт подери, может она быть рогата,

коли она и замужем-то никогда не была? Будьте любезны, выражайте свою мысль точнее, а не то Диана сделает с вами то же, что сделала она с Актеоном.

Добрый Вакх также носит рога, и Пан, и Юпитер-Аммон, и многие другие. Ну так разве они рогаты? Разве же Юнона шлюха? А ведь по фигуре *metalepsis*^[536] выходит так. Если при наличии отца и матери вы назовете ребенка подкидышем и приبلудным, это значит, что вы в вежливой форме и обиняками дали понять, что отца вы почитаете за рогача, а мать за потаскушку.

Нет, я ближе к истине. Рога, которые мне приставляла жена, суть рога изобилия – изобилия всех благ земных. Это уж вы мне поверьте. Одним словом, я все время буду веселиться, как барабан на свадьбе, буду звенеть, буду греметь, буду гудеть, буду п...ть! Для меня настанет счастливое время, уверяю вас. Жена моя будет мила и пригожа, как совушка. А кто не верит, тому скатертью дорожка к чертям в пекло.

– Я беру конец вашего сна и сравниваю с началом, – сказал Пантагрюэль. – Сперва вы были наверху блаженства. Пробудились же вы внезапно, недовольный, недоумевающий и разгневанный.

– Да ведь я же ничего не ел! – вставил Панург.

– У меня предчувствие, что все это – дурной знак. Да будет вам известно, что сон, внезапно прерывающийся и оставляющий человека недовольным и разгневанным, или означает худо, или же предвещает худо.

Когда мы говорим: *означает худо*, то под этим должно разуместь злокачественную болезнь, коварную, заразную, скрытую, гнездящуюся внутри, и во время сна, который, как учит медицина, всегда усиливает пищеварительную способность, болезнь эта дает о себе знать и устремляется к поверхности. От этого тревожного толчка ваш покой нарушается, а чувствительный нерв на это отзывается и настораживается. Это все равно что, по пословице, раздражить ос, всколыхнуть болота Камарины или разбудить кошку.

Когда же мы, говоря о сонном видении, явившемся душе, употребляем выражение: *предвещает худо*, то под этим должно разуместь, что какое-то несчастье суждено судьбою, что оно надвигается и вот-вот обрушится.

В качестве примера сошлюсь на сон и тревожное пробуждение Гекубы, а также на сон Эвридики, супруги Орфея. Обе они, как рассказывает Энний, пробудились внезапно и с ужасным чувством. И что же! Спустя некоторое время на глазах у Гекубы погибли ее супруг Приам, ее дети, ее отчизна. А Эвридика вскоре после своего сна умерла мучительной смертью.

Сошлюсь на Энея: увидев во сне, что он беседует с умершим Гектором, Эней внезапно с трепетом пробудился. И что же? В ту самую ночь была разграблена и сожжена Троя. В другой раз, увидев во сне своих домашних богов и пенатов, он в ужасе пробудился – и в тот же день выдержал на море страшную бурю.

Сошлюсь на Турна^[537]: фантастическое видение адской фурии подстрекало его во сне начать войну с Энеем, и он, разгневанный, внезапно пробудился; впоследствии, после долгих злключений, он был умерщвлен тем же Энеем. Примеров тьма.

Кстати, об Энее: по словам Фабия Пиктора^[538], что бы Эней ни делал и ни предпринимал и что бы с ним самим ни происходило, все это предварительно открывалось и являлось ему во сне.

Приведенные примеры не противоречат здравому смыслу. Ведь если сон и покой – это дар и особая милость богов, как утверждают философы и как свидетельствует поэт:

Был час, когда, слетев с небес благих,
Коснулся сон усталых глаз людских*, —

то подобный дар может вызвать недовольство и гнев только в том случае, если вскоре должно разразиться великое бедствие. Иначе покой не был бы покоем, дар – даром, и посылался бы он не дружественными божествами, а враждебными демонами, согласно ходячей поговорке: *escqrwn adwra dwra*.^[539]

Представьте себе, что за столом, уставленным яствами, сидит глава семьи и с большим аппетитом ест, и вдруг в начале трапезы он в ужасе вскакивает. Тех, кто не знает причины, это приводит в изумление. Что же бы это значило? А вот что: до него донесся крик его людей: «Горим!», или крик его служанок: «Грабят!», или крик его

детей: «Убивают!» И главе семьи надлежит бросить еду, бежать на помощь и принимать меры.

Да и потом, я припоминаю, что каббалисты и масореты, толкователи Священного писания, указывая, как вернее всего определить, ангел явился вам или же дух зла, – ибо и ангелы Сатаны принимают вид ангелов света, – усматривают различие между первыми и вторыми в том, что добрый ангел, ангел-утешитель, являясь человеку, сперва вселяет в него страх, а под конец утешает и оставляет его радостным и счастливым, меж тем как злой ангел, ангел-соблазнитель, сперва радуется человеку, а под конец оставляет его расстроенным, недовольным и недоумевающим.

Глава XV

О том, как Панург изворачивается, а равно и о том, что гласит монастырская каббала по поводу солонины

– Господь да хранит от зла того, кто хорошо видит, но ничего не слышит! – сказал Панург. – Вижу я вас прекрасно, а вот слышать не слышу совсем. Ничего не понимаю, что вы говорите. У голодного желудка ушей не бывает. Ей-богу, я сейчас волком завою от голода! Ведь я из сил выбился после этаких трудов. Сам мэтр Муш^[540] не заставит меня повторить в этом году подобное сновидство.

Не ужинать, черт побери? Шиш! Брат Жан, идем завтракать! Если я вовремя позавтракаю и желудок мой набит и сеном и овсом, то без обеда я в крайнем случае и в силу необходимости как-нибудь проживу. Но не ужинать? Шиш! Это заблуждение. Это против законов природы.

Природа сотворила день, чтобы мы развивали свои силы, трудились и чтобы каждый занимался своим делом. А чтобы нам было удобнее, она снабдила нас свечой, то есть ясным и радостным солнечным светом. Вечером она постепенно его у нас забирает и как бы говорит нам: «Дети! Вы народ славный. Довольно трудиться! Скоро ночь. Пора кончать работу, пора подкрепить свои силы добрым хлебом, добрым вином, вкусными кушаньями, а потом, немного порезвившись, ложитесь и спите, с тем чтобы наутро веселыми и отдохнувшими снова приняться за работу».

Так поступают сокольничие. Они не выпускают птиц сразу после кормежки, – пока пища переваривается, птицы смиренно сидят на жердочках.

Это же отлично понимал тот добрый папа, который ввел посты. Он установил пост до трех часов пополудни – остальное время питайся как хочешь. Прежде редко кто обедал. О монахах и канониках я не говорю. Да ведь им только и дела. Что ни день, то праздник. Они строго блюдут монастырское правило: *de missa ad mensam*^[541]. Они садятся за стол, даже не дождавшись настоятеля. За столом, уписывая за обе щеки, они готовы ждать его сколько угодно, а иначе – ни под каким видом. А вот ужинали все, за исключением разве каких-нибудь сонных тетерь, – недаром по-латыни ужин – *coena*, то есть общее дело.

Тебе это известно, милый мой брат Жан. Ну, идем же, черт тебя дери, идем! Желудок мой воет от голода, как пес. Набьем же его доверху хлебом по примеру Сивиллы, накормившей Цербера^[542], – авось присмирееет. Ты любитель ломтиков хлеба, смоченных в супе, я же охотник до зайчатинки, а закусить можно соленым хлебопашцем на девять часов.

– Понимаю, – сказал брат Жан. – Ты извлек эту метафору из монастырского котла. «Хлебопашец» – это бык, который пашет, или, вернее, который пахал. «На девять часов» – это значит хорошо уварившийся.

В мое время духовные отцы, держась старинного каббалистического установления, не писаного, а изустного, тотчас по пробуждении, перед тем как идти к утрени, занимались важными приготовлениями: дабы не принести с собой на богослужение чего-либо нечистого, они какали в какальницы, сикали в сикальницы, плевали в плевальницы, мелодично харкали в харкальницы, зевали в зевальницы. После этого они благочестиво шествовали в святую часовню (так на ихнем жаргоне именовалась монастырская кухня) и благочестиво заботились о том, чтобы солонина на завтрак братьям во Христе нимало не медля была поставлена на огонь. Частенько они даже сами его разводили.

И вот если утрени состояла из девяти часов, то они пораньше утром вставали, ибо после такого долгого псалмопения у них должны были сильнее разыгрываться аппетит и жажда, чем после вытья двух– или же трехчасовой утрени. А чем раньше, руководствуясь помянутой

мною каббалой, они вставали, тем раньше солонина ставилась на огонь, а чем дольше она стояла, тем больше уваривалась, а чем больше уваривалась, тем лучше становилась: для зубов мягче, для нёба слаще, для желудка все менее отягощающей, иноков честных вдоволь насыщающей. Но ведь это же и есть единственная цель и главное побуждение основателей монастырей, ибо должно знать, что монахи едят не для того, чтобы жить, – они живут для того, чтобы есть: в этом для них весь смысл земной жизни. Идем, Панург!

– Теперь я тебя понял, блудодей ты мой заправский, блудодей монастырский и каббалистический! – вскричал Панург. – Как видно, для монахов эта каббала – совсем даже не кабала. И я рад был бы скормить тебе целого кабана за то, что ты так красноречиво изложил нам этот особый раздел монастырско-кулинарной каббалы. Идем, Карпалим! Брат Жан, закадычный друг мой, идем! Честь имею кланяться, господа! Сновидений было у меня предовольно, теперь не грех и выпить. Идем!

Не успел Панург договорить, как Эпистемон громко воскликнул:

– Уразуметь, предвидеть, распознать и предсказать чужую беду – это у людей обычное и простое дело! Но предсказать, распознать, предвидеть и уразуметь свою собственную беду – это большая редкость. Эзоп в своих *Притчах*^[543] нашел для этого весьма удачный образ: человек появляется на свет с переметной сумой; в передней торбе у нас лежат оплошности и беды чужие, и они всегда у нас на виду, и знаем мы их наперечет, а в задней торбе лежат наши собственные оплошности и беды, и видят их и разумеют лишь те из нас, к кому Небо особенно милостиво.

Глава XVI

О том, как Пантагрюэль советует Панургу обратиться к панзуйской сивилле

Малое время спустя Пантагрюэль призвал к себе Панурга и сказал:

– Моя любовь к вам, с годами усилившаяся, понуждает меня заботиться о вашем благе и о вашей выгоде. Вот что я надумал. Говорят, в Панзу, близ Круле, проживает знаменитая сивилла, которая

безошибочно предсказывает будущее. Возьмите с собой Эпистемона, отправляйтесь к ней и послушайте, что она вам скажет.

– Уж верно, это какая-нибудь Канидия или Сагана^[544], прорицательница, восседающая на треножнике, – заметил Эпистемон. – Я потому так думаю, что о тех местах идет дурная слава: будто колдуний там пропасть, куда больше, чем в Фессалии^[545]. Обращаться к ним нельзя – Моисеев закон это запрещает.

– Мы с вами не евреи, – возразил Пантагрюэль, – а что она колдунья – это еще не установлено и не доказано. Как же скоро вы возвратитесь, мы постараемся все это раскумекать и как-нибудь доберемся до смысла.

Почем мы знаем, а вдруг это одиннадцатая сивилла или вторая Кассандра? Положим даже, она совсем не сивилла и названия сивиллы не заслуживает, так что же, вас убудет, что ли, если вы попросите ее разрешить ваше сомнение? Тем паче что о ней такая молва, будто она знает и понимает больше всех в том краю и больше всех женщин на свете. Что плохого в том, чтобы всегда учиться и всегда набираться знаний, хотя бы от дурака, от печного горшка, от пузырька, от чулка, от башмака?

Вы, верно, помните, что Александр Великий после победы над царем Дарием под Арбелами несколько раз в присутствии его сатрапов отказывался принять одного человека, впоследствии же много-много раз в том раскаивался, да уж было поздно. В Персии Александр одержал победу, но он находился очень далеко от Македонии, своего наследственного государства, и его крайне огорчало, что он лишен возможности получать оттуда вести как из-за чрезвычайной дальности расстояния, так и из-за преград и препятствий, эти две страны разделяющих, а именно: больших рек, гор и пустынь. И вот когда Александр находился по сему обстоятельству в затруднительном положении и в состоянии озабоченности, и озабоченности немалой, ибо, пока-то он получил бы уведомление и попытался что-либо предпринять, царство его и государство давно бы успели покорить, посадить там нового царя и создать новую державу, к нему явился из Сидона купец, человек сообразительный и здравомыслящий, – впрочем, довольно бедно одетый и из себя не видный; прибыл же он объявить и поведать царю, что он открыл особый способ и путь и что благодаря его открытию царь может меньше чем в пять дней известить

свою страну о своих победах в Индии и сам получить сведения о положении в Македонии и Египте. Александру его предложение показалось вздорным и неосуществимым, и он даже не пожелал выслушать купца и отказался с ним разговаривать.

А между тем что стоило Александру потолковать с ним и удостовериться, что, собственно, он открыл? Велик ли ущерб и убыток был бы царю от того, что он узнал бы, какой такой путь отыскал купец?

Природа, думается мне, не напрасно наделила нас ушами открытыми, без всякой дверцы или же заслона, каковые имеются у глаз, у рта и других отверстий. Устроила она так, по моему разумению, для того, чтобы мы всегда, даже ночью, непрерывно могли слушать и через слух беспрестанно пополнять свои знания, ибо из всех чувств слух наиболее восприимчив. И, может статься, человек тот был ангел, то есть посланник Бога, как, например, Рафаил, которого Бог послал Товиту. Слишком скоро царь его отверг, слишком поздно после раскаялся.

– Ваша правда, – молвил Эпистемон, – и все же вы меня не убедили, что может быть большой прок от предостережения и совета женщины, да еще такой женщины, да еще из такого края.

– А мне так советы женщин, и в особенности старых, всегда идут на пользу, – возразил Панург. – От их советов у меня отлично действует желудок, иногда даже два раза в день. Друг мой! Это же настоящие легавые собаки, это указующие персты. Неспроста их зовут ведуньями. Мне же больше нравится называть их предведуньями, ибо им ведомо все, что ожидает нас впереди, и они верно это предсказывают. Иной раз я даже называю их не сопливыми, а прозорливыми, предостерегающими, как величали римляне Юнону, ибо от них нам всякий день исходят предостережения спасительные и полезные. Вспомните Пифагора, Сократа, Эмпедокла и нашего ученого Ортуина.

Добавлю, что я превозношу до небес древний обычай германцев, которые приравнивали советы старух к *священному сиклю*^[546] и свято чтили эти советы. Руководясь их предостережениями и ответами, германцы жили столь же счастливо, сколь мудры были полученные ими советы. Вот вам пример: старушка Аурина и мамаша Велледа^[547], жившие во времена Веспасиановы.

В женской старости, к вашему сведению, есть нечто умильное, то есть, я хотел сказать, сивильное. Ну, пошли с Богом! Пошли, чтоб тебя! Прощай, брат Жан! Отдаю тебе на хранение мой гульфик.

– Ладно, я с вами пойду, – сказал Эпистемон, – но с условием: если только она начнет гадать и ворожить, я вас брошу там одного, и только вы меня и видели.

Глава XVII

О чем беседует Панург с панзуйской сивиллой

На дорогу ушло три дня. На третий день им указали дом прорицательницы: он стоял на горе, под большим раскидистым каштаном. Путники без труда проникли в хижину, крытую соломой, покосившуюся, закопченную, полупустую.

– Вот мы и пришли! – сказал Эпистемон. – Гераклит, великий скоттист и туманный философ^[548], не выразил удивления, зайдя в подобное жилище, – он объяснил своим ученикам и последователям, что боги приживаются в таких местах нисколько не хуже, чем во дворцах, где полно всяческих услад. Я склонен думать, что именно такова была хижина достославной Гекалы, где она чествовала юного Тесея; такою была и хижина Гирея, или Энопиона, куда не побрезгали зайти перекусить и переночевать Юпитер, Нептун и Меркурий и где они в благодарность за гостеприимство, трудясь изо всей мочи, создали Ориона.

Возле очага они увидели старуху.

– Да это настоящая сивилла, – воскликнул Эпистемон, – точь-в-точь такая же, как та старуха, которую столь правдиво изобразил Гомер: *th íaminoi*.^[549]

Старушонка, жалкая, бедно одетая, изможденная, беззубая, с гноющимися глазами, сгорбленная, сопливая, на ладан дышавшая, варила суп из недозрелой капусты, положив в него ошметок пожелтевшего сала и старую говяжью кость.

– Ах ты, вот незадача! – воскликнул Эпистемон. – Опростоволосились мы с вами. Никакого ответа мы от нее не добьемся – мы же не взяли с собой золотого прута.

– Я кое-что захватил, – молвил Панург. – В сумке у меня лежит такой пруттик в виде золотого колечка и несколько хорошеньких,

веселеньких монеток.

С этими словами Панург низко поклонился старухе, преподнес ей шесть копченых бычьих языков, полный горшок кускуса, флягу с питьем и кошелек из бараньей мошонки, набитый новенькими монетками, снова отвесил низкий поклон, а затем надел ей на безымянный палец чудное золотое колечко, в которое был изящнейшим образом вправлен бесский жабий камень^[550]. После этого он вкратце объяснил ей, зачем пришел, и обратился с покорной просьбой погадать ему и сказать, каков будет его брак.

Старуха некоторое время хранила молчание, задумчиво жуя беззубым ртом, наконец уселась на опрокинутую вверх дном кадку, взяла три старых веретена и принялась вертеть и вращать их то так, то этак; затем она пощупала верхние их края, выбрала какое поострее, а два других положила под ступку для проса.

Потом взяла прялку и девять раз повернула ее, а начиная с десятого круга, стала следить за ее движением, уже не прикасаясь к ней, и так до тех пор, пока прялка не пришла в состояние полного покоя.

Далее я увидел, что старуха сняла один башмак (такие башмаки называются у нас сабо), накрыла голову передником, словно священник, надевающий, перед тем как служить мессу, нарамник, и подвязала его у самой шеи ветхим пестрым полосатым лоскутом. Вырядившись таким образом, она основательно приложилась к фляге, достала из бараньей мошонки три монетки, засунула их в три ореховые скорлупки, а скорлупки положила на опрокинутый вверх дном горшок из-под птичьих перьев и трижды провела метлой по очагу, после чего бросила в огонь полвязанки вереску и сухую лавровую ветку. Затем она молча стала смотреть, как все это полыхает, и вскоре удостоверилась, что горение совершается бесшумно, не производя ни малейшего треска.

Тогда она дурным голосом завопила, выкрикивая какие-то варварские слова с нелепыми окончаниями, что заставило Панурга обратиться к Эпистемону:

– Меня бросило в дрожь, клянусь Богом! Я боюсь, что она меня заколдовала. Она говорит не по-христиански. Поглядите: по-моему, она выросла на четыре ампана, после того как накрылась передником. Что это она так двигает челюстями? Зачем поводит плечами? Для чего

шлепает губами, словно обезьяна, грызущая раков? У меня в ушах звенит. Кажется, будто это воет Прозерпина. Того и гляди, нагрянут бесы. У, мерзкие твари! Бежим! Дьявольщина, я умираю от страха! Я не люблю чертей. Они меня раздражают, они мне противны. Бежим! Прощайте, сударыня, очень вам благодарен! Я не женюсь! Нет, нет, слуга покорный!

Тут Панург направился к выходу, однако ж старуха опередила его: с веретеном в руке она вышла в палисадник. Там росла старая смоковница. Старуха три раза подряд трянула ее, а затем на восьми упавших листьях начертала веретеном несколько коротких стихов. Потом пустила листья по ветру и сказала:

– Коль хотите, так ищите, коли сможете, найдите: там написано, какую семейную жизнь уготовала вам судьба.

С этими словами она двинулась к своей норе и, остановившись на пороге, задрала платье, нижнюю юбку и сорочку по самые подмышки и показала зад.

Увидевши это, Панург сказал Эпистемону:

– Мать честная, курица лесная! Вот она, сивиллина пещера!^[551]

Старуха внезапно захлопнула за собой дверь и больше уже не показывалась.

Тут все бросились искать листья и отыскиали их с превеликим трудом, оттого что ветер разбросал их по кустам. Разложив листья по порядку, они прочли следующее изречение в стихах:

Жена шелуху сорвет
С чести твоей.

Набит не тобою живот
Будет у ней.

Сосать из тебя начнет
Соки она.

И шкуру с тебя сдерет,
Но не сполна*.

Глава XVIII

О том, как Пантагрюэль и Панург по-разному толкуют стихи панзуйской сивиллы

Подобрав листья, Эпистемон и Панург возвратились ко двору Пантагрюэля отчасти довольные, отчасти раздраженные. Довольны они были тем, что возвратились домой, а раздражены трудностями пути, ибо путь оказался неровным, каменистым и неудобным. Они подробно рассказали Пантагрюэлю о своем путешествии и о том, что собой представляет сивилла. В заключение они передали ему листья смоковницы и показали надпись, состоявшую из коротких стихотворных строк.

Ознакомившись с приговором сивиллы, Пантагрюэль вздохнул и сказал Панургу:

– Ну, теперь все ясно. Пророчество сивиллы недвусмысленно возвещает то самое, что нам уже открыли гадания по Вергилию, равно как и собственные ваши сны, а именно: что жена вас обесчестит, что она наставит вам рога, ибо сойдется с другим и от него забеременеет, что она вас лихо обворует, что она будет вас бить и обдерет и повредит какой-нибудь из ваших органов.

– Вы смыслите в полученных нами предсказаниях, как свинья в сластях, – заметил Панург. – Извините, что я так выразился, но я слегка раздражен. Все это следует понимать в обратном смысле. Выслушайте меня со вниманием.

Старуха говорит: подобно тому как боб не виден до тех пор, пока его не вылуцишь, так же точно добродетели мои и совершенства останутся втуне до тех пор, пока я не женюсь. Сами же вы сколько раз мне говорили, что видные посты и должности срывают с человека все покровы, раскрывают всю его подноготную. Иными словами, вы можете узнать наверняка, что это за человек и чего он стоит, только после того как он начнет вершить делами. До тех пор пока он не выйдет за пределы частной жизни, он является для нас такою же точно загадкою, как боб в кожуре. Вот что означает первое двустипшие. Ведь вы же не станете утверждать, что честь и доброе имя порядочного человека висят у шлюхи на хвосте?

Второе двестишие гласит: жена моя будет беременна (а ведь это и есть высшее блаженство семейной жизни), но не мной. Черт побери, я думаю! Она будет беременна хорошеньким маленьким детеночком. Я уже сейчас люблю его всем сердцем, я от него без ума. У, ты мой поросенок! Я позабуду все самые большие и самые горькие обиды, едва лишь увижу его и услышу младенческий его лепет. Спасибо этой старухе! Честное слово, я назначу ей из моих рагуанских доходов хороший пенсион, но только не в виде временного вспомоществования, как у немощных умом бакалавров, но постоянный, как у почтенных профессоров. А по-вашему выходит, что жена моя будет носить меня во чреве, что она меня зачнет и родит и что про меня станут говорить: «Панург – второй Вакх. Он дважды родился. Он возродился, как Ипполит, как Протей, который в первый раз родился от Фетиды, а во второй – от матери философа Аполлония, как оба Палики, родившиеся в Сицилии, у берегов Симета. Его жена была им беременна. Он восстановил древнюю мегарскую палинтокию и Демокритов палингенез»^[552]? Вздор! И слушать не хочу!

Третье двестишие гласит: жена высосет у меня немало соков. На здоровье! Вы, конечно, догадываетесь, что речь идет о той палочке с одним концом, что подвешена у меня внизу. Клятвенно обещаю вам позаботиться о том, чтобы палочка у меня всегда была сочная и ни в чем недостатка не ощущала. Словом, моя жена внакладе не будет. Она свое получит. Между тем вы усматриваете в этом двестишии аллегорию и толкуете его как хищение и кражу. Я согласен с вашим толкованием, аллегория мне нравится, но только я понимаю ее иначе. По-видимому, из доброжелательности ко мне вы все толкуете так, как мне невыгодно, и притягиваете свои объяснения за волосы: недаром люди ученые говорят, что любовь необычайно пуглива и что истинная любовь непременно должна испытывать страх. А по-моему, – да вы и сами прекрасно это понимаете, – воровство здесь, как и у многих древних латинских писателей, означает сладкий плод любовных утех, который должен быть сорван тайком и украдкой, ибо так угодно Венере. Вы спросите, почему? Потому, что кипрская богиня предпочитает, чтобы любовными шалостями занимались крадучись, где-нибудь меж дверей, на ступеньках лестницы, на рассыпавшейся вязанке хвороста, прячась за ковры, чтобы все было шито-крыто (и тут мне нечего ей возразить), но только не при солнечном свете, как учат

циники, не под балдахином, не за пологом златотканым, не с роздыхом и со всеми удобствами: с алым шелковым опахалом, с султаном из индюшиных перьев для отгона мух, и чтобы подружка при этом не ковыряла у себя в зубах соломинкой, выдернутой из тюфяка. А вы, значит, склоняетесь к мысли, что она меня оберет и высосет, как высасывают устриц из раковин и как киликийские женщины (свидетель – Диоскорид) собирают чернильные орешки? Ошибаетесь. Кто обирает, тот не сосет, а хапает, не в рот сует, а в мешок, тащит да подтибривает.

Четвертое двустипшие гласит: моя жена обдерет меня, но не всего. Прекрасно сказано! Вы же толкуете это как побои и членовредительство. Попали пальцем в небо. Умоляю вас, отрешитесь вы от земных помыслов, возвысьте взор ваш до созерцания чудес природы, и вы сами осудите свои ошибки и признаете, что предсказания божественной сивиллы вы понимали превратно. Положим (но только ни в коем случае не допустим и не доведем до этого), моя жена по наущению нечистого духа пожелает и вознамерится сыграть со мною злую шутку, обесславить меня, наставить мне пару длиннющих рог – до самых ног, обобрать меня и обидеть; со всем тем желание ее и намерение в жизнь не претворятся.

Довод, который утверждает меня в сей мысли, зиждется на твердом основании и почерпнут мною из глубин монастырской пантеологии. Сообщил же мне его брат Артурий Ньюхозад, дай Бог ему здоровья: было это в понедельник утром, когда мы с ним вдвоем съели целый четверик свиных колбасок, и еще в это время, как сейчас помню, поливал дождь.

При сотворении мира или же чуть-чуть позднее женщины сговорились между собой сдирать с живых мужчин кожу, ибо мужчины намеревались всюду забрать над ними власть. И в подтверждение сего участницы заговора дали торжественное обещание и поклялись святой кровью. Но – о тщета начинаний, предпринимаемых женщинами, о слабость женского пола! Прошло более шести тысяч лет с тех пор, как они принялись обдирать или, по выражению Катулла, облуплять мужчин с самого приятного для них органа, жилистого и пещеристого, и пока только успели ободрать одну головку. Евреи с досады сами ввели обрезание и обрезают себе его и загибают крайнюю плоть: они предпочитают, чтобы их называли

обрезанцами и подстриженными марранами, лишь бы только их не подрезали женщины, как это бывает у всех других народов. Моя жена не пойдет против течения и, если потребуется, обдерет меня, я же охотно ей это позволю, только не дам ободрать всего. Можете быть уверены, добрый мой король.

– Вы, однако ж, не объяснили, – вмешался Эпистемон, – отчего старуха долго глядела на огонь, а потом дико и страшно закричала, лавровая же ветвь сторела бесшумно, не издав ни малейшего треска. Вам известно, что это – печальное предзнаменование и весьма недобрый знак, как о том свидетельствуют Проперций, Тибулл, хитроумный философ Порфирий, Евстафий в своих комментариях к Гомерово*й Илиаде* и другие. [\[553\]](#)

– Тоже нашли на кого сослаться! – воскликнул Панург. – Все поэты – безумцы, а все философы – выдумщики, такие же полоумные, как и все их суемудрие, то бишь любомудрие!

Глава XIX

О том, как Пантагрюэль восхваляет советы немых

При этих словах Пантагрюэль погрузился в глубокое раздумье и долго потом хранил молчание. Затем обратился к Панургу:

– Вас смущает лукавый, однако ж послушайте, что я вам скажу. Я читал, что в старину предсказания письменные и устные не почитались самыми верными и самыми точными. Многие из тех, что вначале были признаны тонкими и хитроумными, впоследствии оказывались неверными, как по причине двусмысленности, двоякозначимости и неясности слов, так и по причине краткости изречений. Вот почему Аполлон, бог прорицания, именовался *Loxiaz*. Самыми верными и непререкаемыми предсказаниями почитались те, что выражались движениями и знаками. Такого мнения придерживался Гераклит. И так именно предсказывал Юпитер-Аммон, так пророчествовал у ассирийцев Аполлон. Поэтому-то они и изображали его бородатым, в одежде умудренного годами старца, а не нагим, безбородым юнцом, как это делали греки. Давайте применим этот самый способ: попросите какого-нибудь немого, чтобы он молча, знаками, дал вам совет.

– Согласен, – объявил Панург.

– Но только этому немому надлежит быть глухим от рождения и именно вследствие этого немым, – прибавил Пантагрюэль. – Ведь самый доподлинный немой – это тот, который не слышит от рождения.

– Что вы этим хотите сказать? – спросил Панург. – Если верно, что человек, никогда не слышавший, как говорят другие, сам тоже не говорит, то я логическим путем привел бы вас к чудовищному и парадоксальному заключению. Ну да уж ладно. Вы, стало быть, не верите рассказу Геродота про двух детей, которых Псамметих, царь египетский, велел держать и воспитывать в хижине, храня совершенное молчание, и которые через известный срок произнесли слово «бек», что по-фригийски означает *хлеб*?

– Нисколько не верю, – отвечал Пантагрюэль. – Это неправда, что у нас будто бы есть какой-то данный нам от природы язык. Все языки суть произвольные и условные создания различных народов. Слова, утверждают диалектики, сами по себе ничего не значат, им можно придать какой угодно смысл. Все это я вам говорю не зря. Бартол (*L. prima de verb. oblig.*^[554]) рассказывает, что в его времена жил в Губбио некто мессер Нелло де Габриэлис. Случилось так, что человек этот оглох, но со всем тем он понимал любого итальянца, как бы тихо тот ни говорил, единственно по его жестам и движениям губ. Потом у одного сведущего и изящного писателя я вычитал^[555], что армянский царь Тиридат во времена Нерона прибыл в Рим и приняли его там чрезвычайно торжественно и с подобающими почестями, дабы связать его узами вечной дружбы с сенатом и народом римским. Во всем городе не осталось такой достопримечательности, которую бы ему не предложили осмотреть и не показали. Перед его отъездом император поднес ему великие и необычайные дары, а затем предложил выбрать, что ему особенно в Риме понравилось, клятвенно обещав при этом не отказать ни в чем, чего бы гость ни потребовал. Гость, однако ж, попросил себе только одного комедианта, – он видел его в театре и, хотя не понимал, что именно комедиант говорил, понимал все, что тот выражал знаками и телодвижениями; ссылаясь же гость на то обстоятельство, что под его скипетром находятся народы, говорящие на разных языках, и, чтобы отвечать им и говорить с ними, ему требуется множество толмачей, а этот, мол, один заменит всех, ибо он так прекрасно умеет изъясняться жестами, что кажется, будто пальцы его говорят. Вам же следует выбрать глухонемого от природы, дабы

движения его и знаки были подлинно пророческими, но не придуманными, не приукрашенными и не поддельными. Остается только узнать, к кому бы вы хотели обратиться за советом: к мужчине или к женщине.

– Я бы с удовольствием обратился к женщине, – сказал Панург, – но я опасаясь двух вещей.

Во-первых, что бы женщины ни увидели, они непременно представят себе, подумают и вообразят, что это имеет касательство к священному фаллосу. Какие бы движения и знаки ни делались и какие бы положения ни принимались в их присутствии, все это они толкуют в одном направлении и все подводят к потрясающему акту трясения. Следственно, мы будем введены в обман, так как женщины вообразят, что все наши знаки – амурного характера. Позвольте вам напомнить один случай, который произошел в Риме двести шестьдесят лет спустя после основания города. Один юный патриций встретил на холме Целии римскую матрону по имени Верона, глухонемую от рождения, но так как юноша и не подозревал, что имеет дело с глухонемой, то, сопровождая свою речь свойственными италийцам жестами, он обратился к ней с вопросом, кого из сенаторов встретила она, поднимаясь на гору. Слов его она не разобрала и решила, что речь идет о том, что всегда было у нее на уме и с чем молодой человек, естественно, мог обратиться к женщине. Тогда она знаками, – а в сердечных обстоятельствах знаки неизмеримо более пленительны, действительны и выразительны, нежели слова, – завлекла его к себе в дом и знаками же дала понять, что эта игра ей по вкусу. В конце концов они, не говоря ни слова, вволю набарахтались.

А еще я боюсь, что глухонемая женщина вовсе ничего не ответит на наши знаки, а сей же час упадет на спину: она, дескать, согласна удовлетворить молчаливую нашу просьбу. Если же она ответит нам какими-либо знаками, то знаки эти будут столь игривы и столь потешны, что мы сами истолкуем ее помыслы в амурном смысле. Вы, конечно, помните, что в Крокиньюльской обители монашка сестра Толстопопия забеременела от молодого послушника Ейвставия, и как скоро аббатиса о том проведала, то призвала ее к себе и при всем капитуле обвинила в кровосмешении, монашка же привела в свое оправдание тот довод, что это, мол, совершилось против ее воли, что брат Ейвставий овладел ею насильно. Аббатиса возразила:

«Негодница! Ведь это было в dormitorio, почему же ты не закричала? Мы бы все поспешили тебе на помощь». Провинившаяся ей, однако, на это ответила, что она не посмела кричать, так как в dormitorio вечно должна царить тишина. «А почему, негодница ты этакая, – спросила аббатиса, – почему ты не подала знака своим соседкам по комнате?» – «Я и так изо всех сил подавала им знаки задом, – отвечала Толстопопия, – да никто мне не помог». – «Но отчего же ты, негодница, немедленно не прибежала ко мне и не рассказала, – допытывалась аббатиса, – чтобы мы могли по всей форме притянуть его к ответу? Доведись до меня, я бы так и сделала и тем доказала свою невиновность». – «Я вот чего боялась, – молвила Толстопопия: – Ну как я умру внезапно и свой грех и окаянство унесу с собой на тот свет? Того ради, прежде чем он ушел из комнаты, я у него исповедалась, и он наложил на меня такую епитимью: никому ничего не разглашать и не рассказывать. Уж больно великий это грех – открыть тайну исповеди, Бог и ангелы Его такому греху не потерпят. Не ровен час, огонь сошел бы с небеси и спалил все наше аббатство, а мы бы все низринулись в преисподнюю, как это случилось с Дафаном и Авироном».^[556]

– Меня вы этим не удивили, – заметил Пантагрюэль. – Я хорошо знаю, что монахи не так боятся нарушить заповеди Божьи, как боятся не соблюсти свой монастырский устав. Что ж, обратитесь к мужчине. По-моему, вам подойдет Козлонос. Он глухонемой от рождения.

Глава XX

О том, как Козлонос отвечает Панургу знаками

Послали за Козлоносом, и на другой же день он явился. Как скоро он прибыл, Панург пожаловал ему жирного теленка, половину свиной туши, два бочонка вина, меру зерна и тридцать франков мелочью; затем Панург привел его к Пантагрюэлю и в присутствии придворных сделал Козлоносу такой знак: он довольно долго зевал и, зевая, водил у самого рта большим пальцем правой руки, изображая греческую букву *tau*, каковой знак он повторил несколько раз. Засим, подняв глаза к небу, стал вращать ими, словно коза во время выкидыша, и между тем кашлял и глубоко вздыхал. После этого он показал, что гультфик у него отсутствует, затем вытащил из-под сорочки свой кинжал и, зажав его в

кулак, принялся мелодично постукивать им о ляжки; наконец стал на левое колено и скрестил руки на груди.

Козлонос с любопытством смотрел на него, затем поднял левую руку и пальцы ее сжал в кулак, за исключением большого и указательного: их он приставил один к другому так, что они едва касались ногтями.

– Я догадался, что он хочет сказать этим знаком, – объявил Пантагрюэль. – Во-первых, это означает женитьбу, а во-вторых, как учат пифагорейцы, число тридцать. Вы женитесь.

– Очень вам благодарен, – обратясь к Козлоносу, молвил Панург, – архитриклиничик вы мой, конвоирчик вы мой, альгвазильчик вы мой, сбирчик вы мой, надзирательчик вы мой!

При этих словах Козлонос, еще выше задрал левую руку, вытянул и, сколько мог, растопырил все пять ее пальцев.

– Сейчас он с помощью пятерки более обстоятельно дает нам понять, что вы женитесь, – пояснил Пантагрюэль. – И, мало того что вы будете женихом, супругом и мужем, – вы будете счастливы в семейной жизни. Видите ли, согласно Пифагору, число пять есть число брачное, указывающее на то, что брак и свадьба – дело уже решенное, ибо число это состоит из тройки, первого нечетного числа, и двойки, первого четного числа, то есть как бы из мужского и женского начал, вступивших в соединение. И точно: некогда в Риме зажигали в день свадьбы пять факелов, и нельзя было зажечь ни больше, ни меньше, хотя бы это была самая богатая или же, напротив, самая бедная свадьба. Кроме того, во времена стародавние язычники молились за новобрачных пяти богам (или же одному божеству в его пяти благодетельных свойствах): Юпитеру – бракоустроителю, Юноне – председательнице свадебных пиршеств, Венере прекрасной, Пейто – богине убеждения и красноречия и Диане, вспомоществующей при родах.

– Ах, мой милый Козлонос! – вскричал Панург. – Я ему подарю мызу близ Сине и ветряную мельницу в Мирбале.

Тут немой оглушительно чихнул, вздрогнул всем телом и повернулся налево.

– Ах ты, бык его забодай, это еще что такое? – воскликнул Пантагрюэль. – Не к добру, ой, не к добру! Он намекает на то, что брак ваш будет неблагополучным и несчастным. По словам Терпсиона, хоч

– это один из сократических демонов. Чох направо означает, что можно уверенно и смело идти избранным путем к намеченной цели и что начало, дальнейшее развитие и окончание будут удачны и успешны, в то время как чох налево означает противоположное.

– Вы имеете обыкновение, – заметил Панург, – все истолковывать в худшую сторону и при этом шиворот-навыворот, – прямой Дав, вот вы кто. А я ничему этому не верю. Этот ваш бумагомарака Терпсион – не кто иной, как записной враль.

– Но и Цицерон что-то такое говорит о чихании во второй книге *De divinatione*, — возразил Пантагрюэль.

Тут Панург повернулся к Козлоносу и сделал такой знак: вывернул веки, задвигал челюстями справа налево и высунул наполовину язык. Затем раскрыл левую руку, но так, что средний ее палец по отношению к ладони занял положение перпендикулярное, и приставил ее к штанам вместо гульфика; правую же руку он сжал в кулак, за исключением большого пальца, каковой палец он, просунув под правую подмышку, приставил к спине выше ягодиц – к тому месту, которое у арабов называется *альхатим*. Потом сейчас же переменял руки: правой руке придал положение левой и приставил к тому месту, где надлежало быть гульфику, а левой придал положение правой и приставил к альхатиму. Эту перемену рук он повторил девять раз. После девятого раза он привел веки в естественное их состояние, равно как челюсти и язык; затем искоса взглянул на Козлоноса и зажевал губами, как обезьяна или же как кролики, когда едят овес на корню.

В ответ на это Козлонос поднял совершенно раскрытую правую руку, затем вставил большой палец, до первого сустава, между третьими суставами среднего и безымянного пальцев и крепко его там зажал, прочие суставы помянутых пальцев согнул, указательный же и мизинец вытянул. Расставив таким образом пальцы, он положил руку Панургу на пупок, а засим, опираясь на мизинец и указательный, как на ножки, стал двигать большим пальцем. Мало-помалу рука его поднималась все выше и выше, касаясь Панургова живота, области желудка, груди, шеи и, наконец, подбородка, после чего он сунулдвигающийся большой палец ему в рот, затем почесал ему нос, а дойдя до глаз, сделал такое движение, будто собирался выдавить их. Тут Панург рассердился и предпринял попытку вырваться и убежать от

немого. Козлонос, однако, продолжал тереть ему большим пальцем то глаза, то лоб, то поля шляпы. В конце концов Панург возопил:

– Эй вы, умалишенный! Оставьте меня в покое, а то я вас изобью! Если вы не перестанете меня злить, я из вашей поганой физиономии сделаю маску.

– Он же глухой, – вмешался брат Жан. – Он не слышит, что ты ему говоришь, чудила ты этакий! Набей ему харю – вот этот знак он поймет.

– Какого черта нужно от меня этому шарлатану? – кричал Панург. – Мои глаза ему не яички, чтобы их так давить. Яичницы из них все равно не выйдет. Ей-богу, *da jurandi*, я вас сейчас досыта накормлю щелчками впрослоечку с оплеухами!

И тут он, подавшись назад, стрельнул в сторону Козлоноса губами.

Немой, видя, что Панург от него пятится, забежал вперед, вцепился в него и сделал такой знак: опустил правую руку во всю ее длину, до самого колена, и, сложив пальцы в кулак, просунул большой палец между средним и указательным; затем левой рукой начал тереть себе правую руку выше локтя и одновременно то медленно поднимал эту руку на высоту локтя и выше, то внезапно ее опускал; и так он попеременно то поднимал руку, то опускал и показывал ее Панургу.

Панург, озлившись, замахнулся на него кулаком, однако из уважения к Пантагрюэлю сдержался.

Тут Пантагрюэль сказал:

– Уж если вас возмущают самые знаки, то как же вы будете возмущены, когда узнаете, какой заключен в них смысл! Всякая истина находит себе отклик в другой истине. Немой утверждает и указывает, что вы будете женаты, рогаты, биты и обворованы.

– Что я женюсь – это я вполне допускаю, – объявил Панург, – все же остальное отрицаю начисто. И уж вы, будьте настолько любезны, поверьте мне, что еще ни одному человеку в мире так не везло на женщин и на лошадей, как мне.

Глава XXI

О том, как Панург советуется с одним престарелым французским поэтом по имени Котанмордан

– Никогда еще не видел я человека, столь закоснелого в своих представлениях, как вы, – молвил Пантагрюэль. – Однако ж, дабы рассеять ваши сомнения, я готов сдвинуть гору. Вот к какому решению я пришел. Лебеди – птицы, посвященные Аполлону, – поют, только когда чувствуют приближение смерти, поют по крайней мере те из них, что водятся на реке Меандр во Фригии (я потому оговариваю это особо, что Элиан и Александр Миндский пишут, будто в других местах они видели много умирающих лебедей, но никто из них не пел). Итак, пение лебедя есть верная примета близкой его смерти, и он не умрет до тех пор, пока не споет. Равным образом поэты, находящиеся под покровительством Аполлона, перед смертью обыкновенно становятся пророками и по внушению Аполлона предсказывают в своих песнопениях будущее.

Более того, я слышал от многих, что всякий дряхлый старик, стоящий одной ногой в гробу, без труда угадывает, что с нами будет. Сколько я помню, Аристофан в одной из своих комедий называет стариков сивиллами: *ϋΟ de nerwn dibullia*^[557]

Когда мы, стоя на молу, издали завидим в открытом море корабль с моряками и путешественниками, мы только молча за ними следим и молим Бога, чтобы они благополучно причалили, но едва лишь они приблизятся к гавани, как мы уже и словами и движениями приветствуем их и поздравляем с тем, что они достигли пристани, укрытой от бурь, и теперь снова с нами; так же точно, согласно учению платоников, ангелы, герои и добрые демоны, завидев людей, приближающихся к смерти, как к некоей надежной и спасительной гавани, гавани отдохновения и покоя, отрешившихся от земных тревог и волнений, приветствуют их, утешают, беседуют с ними и тут же начинают обучать искусству прорицания.

Я не стану ссылаться на примеры, какие являет нам древность: на Исаака, Иакова, Патрокла, на пророчившего Гектору, Гектора, на пророчившего Ахиллу, Полиместора, на пророчившего Агамемнону и Гекубе, некоего родосца, восславленного Посидонием, Калана – индийца, на пророчившего Александру Великому, Орода, на пророчившего Мезенцию, и других; я хочу лишь привести вам на память просвещенного и отважного рыцаря Гийома дю Белле^[558], покойного сеньора де Ланже, который скончался на горе Тарар десятого января в преклонном возрасте, по нашему исчислению – в

тысяча пятьсот сорок третьем году, если исходить из римского календаря. Часа за три – за четыре до его кончины мы еще слушали его бодрые, спокойные, вразумительные речи, в коих он предсказывал то, что частично потом сбылось и чему еще суждено сбыться, хотя в то время его пророчества казались нам странными и совершенно невероятными, ибо тогда ничто еще не подтверждало правильности его предсказаний. Недалеко отсюда, под Вилломером, проживает один престарелый поэт, некто Котанмордан, тот самый, который женился вторым браком на достойной Сифилитии, от какового брака родилась у них красавица дочь по имени Базош. Я слышал, что он при смерти, при последнем издыхании. Ступайте к нему и послушайте его лебединую песнь. Может статься, вы получите от него желанный ответ и его устами Аполлон разрешит ваши сомнения.

– Ладно, – сказал Панург. – Но только, Эпистемон, идем не мешкая, а то как бы смерть нас не опередила. А ты, брат Жан, пойдешь с нами?

– Ладно, – сказал брат Жан. – Из любви к тебе, блудодейчик, пойду с удовольствием. Ведь я тебя всей печенкой люблю.

Нимало не медля они тронулись в путь и, войдя в жилище поэта, застали доброго старикана уже в агонии, хотя вид у него был жизнерадостный и смотрел он на вошедших открытым и ясным взором. Поздоровавшись с ним, Панург надел ему на безымянный палец левой руки, в виде дара от чистого сердца, золотой перстень с чудным крупным восточным сапфиром; затем в подражание Сократу он подарил ему красивого белого петуха; петух тотчас же вскочил к больному на постель, поднял голову, превесело встрепенулся и весьма громко запел. После этого Панург в наиучтивейших выражениях попросил поэта высказать и изложить свое суждение касательно тех сомнений, какие вызывает его, Панурга, намерение жениться. Добрый старик велел принести чернила, перо и бумагу. Все было тот же час принесено. Тогда старик написал следующее стихотворение:

Женись, вступать не вздумай в брак,
Женившись, угадаешь в рай.
А коль не женишься, то знай,
Что был ты вовсе не дурак.

Не торопись, но поспешай.
Беги стремглав, замедли шаг.
Женись иль нет.
Постись, двойной обед съедай.

То, что починено, ломай.
Разломанное починяй.
Балуй ее, бей за пустяк.
Женись иль нет*.

Стихи эти старик передал посетителям и сказал:

– Ступайте, детки, храни вас Царь Небесный, и не приставайте ко мне больше ни с какими делами. Сегодня, в этот последний мой и последний майский день, я уж потратил немало трудов и усилий, чтобы выгнать отсюда целое стадо гнусных, поганых и зловонных тварей, черных, пестрых, бурых, белых, серых и пегих, не дававших мне спокойно умереть, наносивших мне исподтишка уколы, царапавших меня гарпийными своими когтями, досаждавших мне шмелиной своей назойливостью, ненасытной своей алчностью и отвлекавших меня от сладких дум, в какие я был погружен, созерцая, видя, уже осязая и предвкушая счастье и блаженство, уготованное Господом Богом для избранных и верных ему в иной, вечной жизни. Не идите по их стопам, не уподобляйтесь им, не докучайте мне больше! Молю вас: пусть вокруг меня вновь воцарится тишина!

Глава XXII

О том, как Панург заступается за орден нищенствующих братьев

Выйдя из Котанмордановой комнаты, Панург в испуге сказал:

– Сдается мне, он еретик, ей-ей, – пусть меня черт возьмет, ежели я вру! Он бранит честных отцов – нищенствующих кордельеров и иаковитов, а ведь это же два полушария христианского мира: благодаря гирогномонической циркумбиливагинации этих снебесисшедших противовесов, всякое перифрастическое умопомрачение римской церкви в том случае, когда ей отшибает памороки какое-нибудь

ахинейно-белибердистое заблуждение или же ересь, гомоцентрикально сотрясается. Что же, однако, сделали капуцины и минориты этому старику, черти бы его взяли? Уж они ли, черти, не бедные? Уж они ли, черти, не обездолены? Уж кто, как не эти несчастные ханжители Ихтиофагии^[559], вдосталь хлебнули горя и знают, почем фунт лиха? Брат Жан, скажи мне по совести: спасет он свою душу? Клянусь тебе Богом, этот проклятый змий угодит прямо к чертям в пекло. Так костить славных и неутомимых грабителей, то бишь рачителей церкви! Вы скажете, что он в состоянии поэтического исступления^[560]? Это не оправдание! Он – окаянный грешник. Он глумится над религией. Я глубоко возмущен.

– А мне начхать, – заметил брат Жан. – Монахи сами всех ругают, так если все ругают их, меня это ничуть не беспокоит. Посмотрим, что он написал.

Панург, прочтя со вниманием письменный ответ доброго старика, сказал:

– Несчастный пьянчужка бредит. Впрочем, я его прощаю. Видно, скоро ему конец. Давайте сочиним ему эпитафию. От его ответа я так поумнел, что теперь меня никто за пояс не заткнет. Эпистемон, толстопузик, послушай! Как ты находишь, есть в его ответах что-нибудь положительное? Клянусь Богом, это крючкотворный, вздорный, самый настоящий софист. Бьюсь об заклад, что это омавританившийся вероотступник. А, едят его мухи, как он осторожен в выражениях! Пользуется одними противоречениями. Так в конце концов нельзя не сказать верно, ибо для их достоверности довольно, если окажется верной та или другая часть. Вот так хитрюга! Сант-Яго Бресюирский, есть же на свете такие мастаки!

– Подобным образом изъяснялся великий прорицатель Тиресий, – заметил Эпистемон. – В начале каждого своего пророчества он прямо говорил просившим у него совета: «То, что я вам скажу, или сбудется, или же не сбудется». Так обыкновенно выражаются все благоразумные предсказатели.

– А все-таки Юнона выколола ему оба глаза, – сказал Панург.

– То правда, – подтвердил Эпистемон, – с досады, что он лучше ее разрешил вопрос, предложенный Юпитером.

– Да, но какой же черт вселился в мэтра Котанмордана, коли он ни с того ни с сего поносит святых отцов, всех этих несчастных

иаковитов, францисканцев и меньших братьев? Я возмущен до глубины души, уверяю вас, и не могу молчать. Он совершил тяжкий грех. Он пустит дух прямо в кромешный ад.

– Я отказываюсь вас понимать, – заметил Эпистемон. – Меня до глубины души возмущаете вы, оттого что клеплете на славного поэта, будто он под черными, бурными и всякими другими тварями разумел нищенствующих братьев.

Сколько я понимаю, он и не думал прибегать к такой софистической и фантастической аллегории. Он говорит прямо и определенно о блохах, клопах, клещах, мухах, комарах и всяком прочем гнусе, а насекомые эти бывают и черные, и красные, и серые, и бурые, и коричневые, и все они неотвязны, надоедливы и несносны – несносны не только больным, но и людям здоровым и сильным. Может стать, у него глисты, солитеры и черви. Может стать, руки и ноги у него искусаны подкожными червями, коих арабы называют *риштой*, – в Египте и на побережье Красного моря это явление обычное и распространенное.

Дурно вы делаете, что искажаете смысл его слов. Вы ни за что ни про что хулите славного поэта и подкладываете свинью упомянутым братьям. Когда речь идет о нашем ближнем, должно обелять его, а не чернить.

– Да что вы из меня дурака-то строите? – вскричал Панург. – Вот как перед Богом говорю, он еретик. И не просто еретик, а еретик законченный и цельный, еретик клавельный^[561], еретик, в такой же степени подлежащий сожжению, как хорошенькие башенные часики. Он пустит дух прямо в кромешный ад. И знаете, куда именно? Клянусь боком, прямехонько под дырявое судно Прозерпины, в самый адский нужник, куда она ходит облегчать свой кишечник после клистиров, влево от большого котла, всего в трех туазах от Люциферовых когтей, рядом с черной камерой Демигоргона. У, мерзавец!

Глава XXIII

О том, как Панург разглагольствует, вернуться ему или не вернуться к Котанмордану

– Вернемтесь обратно и предложим ему подумать о своем спасении, – продолжал Панург. – Идем, так вашу, идем, вашу разэтак! Мы сделаем доброе дело: ежели погибнут плоть его и жизнь, так уж по крайности дух-то он хоть и пустит, но зато не погубит.

Мы заставим его раскаяться в его прегрешении и попросить прощения у святых отцов, как у отсутствующих, так равно и у присутствующих (и мы это засвидетельствуем, дабы после его кончины они не объявили его еретиком и не предали проклятию, как это сделали борд... то бишь кордельеры с орлеанской судейшей), а чтобы иноки честные получили удовлетворение за обиду, им причиненную, пусть-ка он распорядится раздать по всем монастырям как можно больше кусочков хлеба и закажет по себе как можно больше заупокойных обеден и панихид. И пусть в годовщину его смерти дневное пропитание неизменно выдается чернецам в пятикратном размере, большущая бутылка с наилучшим вином пусть переходит у них со стола на стол и пусть из нее пьют все: как бормотунь-клирошане и обжоры-послушники, так равно иеромонахи и настоятели, как новички, так равно и манатейные. Так он сможет вымолить себе у Бога прощение.

Ой-ой-ой, да что ж это я плету, что ж это я горожу? Пусть меня черт возьмет, ежели я к нему пойду. Комната его уж теперь полна чертей, вот как Бог свят. Я отсюда вижу, что за чертова тяжба и потасовка у них идет из-за того, кому первому сцапать Котанморданову душу и, не долго думая, переправить к мессеру Люциферу. Подальше оттуда! Я к нему не ходок. Пусть меня черт возьмет, ежели я к нему пойду. Почем я знаю, может выйти недоразумение, и вместо Котанмордана они сграбастают беднягу Панурга, раз он теперь никому не должен. Вот когда я был в долгу как в шелку, они сколько раз оставались с носом. Подальше оттуда! Я к нему не ходок. Ей-богу, я умру от ужаса. Очутиться среди голодных чертей, среди чертей, вышедших на промысел, среди чертей, занятых делом? Подальше оттуда! Бьюсь об заклад, что из-за того же самого на похороны к нему не придут ни иаковиты, ни кордельеры, ни кармелиты, ни капуцины, ни театинцы^[562], ни минориты. И будут правы. Притом он же ничего не оставил им по завещанию. Пусть меня черт возьмет, ежели я к нему пойду. Ежели ему дорога в пекло, так скатертью же ему туда дорога! Зачем было порочить честных монахов?

Зачем было гнать их из комнаты, когда он особенно нуждался в их помощи, в их святых молитвах, в их благочестивых наставлениях? Ну что бы завещать им хоть какие-нибудь крохи, чем можно подзаправиться, чем можно напихать утробу бедным людям, у которых на этом свете нет никаких благ, кроме жизни!

Пусть к нему идет кто хочет. А меня пусть черт возьмет, ежели я к нему пойду. Ежели я к нему пойду, черт меня всенепременно возьмет. Нет, шалишь! Подальше оттуда!

Брат Жан! Ты хочешь, чтобы черти прямым ходом доставили тебя в ад? Ну так, во-первых, отдай мне свой кошелек. Крест, вычеканенный на монетах, расстраивает козни лукавого. Иначе с тобой может произойти то же, что не так давно произошло с кудрейским сборщиком податей Жаном Доденом у Ведского брода, мост через который разобрали ратники. Этот сукин кот встретил на берегу брата Адама Кускойля, францисканца из монастыря Мирбо, и пообещал ему рясю, если тот перенесет его через реку на закорках. Монах-то был здоровяк. Ударили по рукам. Брат Кускойль задирает рясю по самые яички и сажает себе на спину, как какой-нибудь святой Христофор, только в маленьком виде, взмолившегося к нему упомянутого Додена. Нес он его весело, как Эней отца своего Анхиза из горящей Трои, и распевал *Ave maris stella*^[563] Когда же они добрались до самого глубокого места, выше мельничного колеса, монах спросил сборщика, нет ли случайно при нем денег. Доден ответил, что денег у него полная сума и что касательно новой рясы монах может не беспокоиться. «Как! – воскликнул брат Кускойль. – Ты же знаешь, что особый параграф нашего устава строго воспрещает нам носить с собой деньги. Несчастный ты человек, из-за тебя я нарушил в этом пункте устав! Почему ты не оставил кошелек мельнику? Наказание за это воспоследует неукоснительно и сей же час. Если же ты когда-нибудь появишься у нас в Мирбо, то тебе придется себя стегать, покуда мы пропоем весь псалом – от *Miserere do vitulos*^[564] Тут монах скинул с себя свою ношу и бултыхнул Додена вниз головой в воду. А посему, брат Жан, друг ты мой сердечный, дабы чертям удобнее было тебя волочить, дай-ка мне свой кошелек, а то носить с собой кресты не годится. Тебе грозит явная опасность. Если ты возьмешь с собой деньги, если ты будешь носить с собой кресты, черти кокнут тебя о скалу, как орлы – черепаху, чтобы она разбилась, чему пример – лысая

голова Эсхила, и тебе будет больно, друг мой, а я буду по тебе тужить, или же они сбросят тебя в какое-нибудь дальнее море, неведомо где, и разделишь ты судьбу Икара. И море то будет впредь именоваться Зубодробительным. Во-вторых, расплатись с долгами. Черти очень любят тех, кто никому не должен. Я это хорошо знаю по себе. Эта сволочь теперь все время лебезит и заигрывает со мной, а когда долгов у меня было выше головы, они и не думали ко мне подмазываться. Душа человека, увязшего в долгах, бывает дряблая и худосочная. Для чертей это не пожива.

В-третьих, к Котанмордану иди прямо так, в рясе с капюшоном на кошачьем меху. Если тебя в таком виде черти не утащат в самое-рассамое пекло, то я обязуюсь выставить тебе вино и закуску. Если же ты для пущей безопасности станешь подыскивать себе спутника, то на меня не рассчитывай, нет, – заранее тебя упреждаю. Подальше, подальше оттуда! Я туда не ходок. Пусть меня черт возьмет, ежели я туда пойду.

– С мечом в руке мне бояться нечего, – возразил брат Жан.

– Хорошо делаешь, что берешь его с собой, – заметил Панург, – сейчас видно ученого сквернослова, то бишь богослова. Когда я учился в толедской школе, его преподобие, брат во чертях Пикатрис^[565], декан дьявологического факультета, говорил нам, что бесы по природе своей боятся блеска мечей, равно как и солнечного света. И точно: Геркулес, сойдя в львиной шкуре и с палицей к чертям в ад, не так напугал их, как Эней в сверкающих доспехах и с мечом, который он, по совету кумской сивиллы, начистил до блеска. Может статья, именно поэтому синьор Джованни Джакомо Тривульци^[566] перед своей кончиной, последовавшей в Шартре, потребовал себе меч и так и умер с обнаженным мечом в руках, размахивая им вокруг своего ложа, как приличествует отважному рыцарю, и этими взмахами обращая в бегство вражью силу, сторожившую его у смертного одра. Когда у масоретов и каббалистов спрашивают, отчего бесы не осмеливаются подойти к вратам земного рая, они объясняют это лишь тем, что у врат стоит херувим с пламенным мечом. Рассуждая, как истый толедский дьяволог, я должен признать, что бесы на самом деле не умирают от ударов меча, но, опираясь на ту же самую дьявологию, я утверждаю, что удары эти способны производить в их бытии разрывы, подобные тем, которые образуются, когда ты рассекаешь мечом столб пламени

или же густое и темное облако дыма. И, восчувствовав этот разрыв, они начинают кричать как черти, оттого что это чертовски мучительно.

Неужели ты, блудодеище, воображаешь, что когда сшибаются два войска, то невероятный и ужасный шум, разносящийся далеко окрест, производят гул голосов, звон доспехов, звяканье конских лат, удары палиц, скрежет скрестившихся пик, стук ломающихся копий, стоны раненых, барабанный бой, трубный звук, ржанье коней, треск ружейной пальбы и грохот орудий? Должно признаться, это и в самом деле нечто внушительное. Однако же особый страх вселяют и особенно сильный шум производят своими стенаньями и завываньями черти: они там и сям караулят души несчастных раненых, мечи нет-нет да и рубнут чертей, отчего в их сотканных из воздуха и невидимых телах образуются разрывы, ощущение же разрывов можно сравнить с болью от ударов палкой по пальцам, каковые удары наносил поварятам, воровавшим с вертела сало, повар Грязнуиль. Орут они тогда и воют как черти, как Марс, когда его под Троей ранил Диомед, – Гомер утверждает, что он кричал на крик, и таким истошным и диким голосом, что его и десяти тысячам человек было бы не переорать. Да, но что же это я? Мы тут растабарываем о начищенных доспехах и о сверкающих мечах, а ведь твой-то меч не таков. Скажу по чести: оттого что над ним давно не было начальника и оттого что он долго пребывал в бездействии, он покрылся ржавчиной сильнее, нежели замок на двери кладовой. Словом, что-нибудь одно: или отчисти его на совесть, чтоб он блестел, или же оставь как есть, но уж тогда не показывай носа к Котанмордану. А я к нему не ходок. Пусть черт меня возьмет, ежели я к нему пойду!

Глава XXIV

О том, как Панург обращается за советом к Эпистемону

Покинув Вилломер и возвращаясь к Пантагрюэлю, Панург дорогой обратился к Эпистемону и сказал:

– Родной мой, друг вы мой старинный, вы видите, как мятется мой дух. Вам известно столько хороших средств! Не поможете ли вы мне?

Эпистемон взял слово и, поставив на вид Панургу, что честной народ животики надорвал, хохоча над его ряженьем, посоветовал ему

принять небольшую дозу чемерицы на предмет изгнания из организма вредных соков и облачиться в обыкновенный наряд.

– Эпистемон, родной мой, мне приспичило жениться, – объявил Панург. – Вот только я боюсь, что мне наставят рога и что я буду несчастлив в семейной жизни. Между тем я дал обет святому Франциску Младшему, особо чтимому всеми жителями Плеси-ле-Тур за то, что он основал орден женолюбивых, то бишь боголюбивых, братьев миноритов, к которым они испытывают естественное влечение, носить очки на шляпе и не носить гульфика, пока я окончательно не разрешу обуревающие мой дух сомнения.

– Ну и обет, умнее не придумаешь! – заметил Эпистемон. – Дивлюсь я вам, как это вы до сих пор не образумитесь и свои до ужаса расстроенные чувства не приведете в привычное состояние спокойствия. Слушая вас, я невольно вспоминаю длинноволосых аргивян, которые, проиграв лакедемонянам битву за Тирею, после всех своих бед дали обет не носить волос на голове, пока не добудут в бою свою утраченную честь и не отвоюют землю, отданную врагу, а также забавный обет испанца Мигеля де Ориса^[567], который так все и носил обломок наколенника.

Я не знаю, кто больше заслуживает и кто более достоин желто-зеленого колпака с заячьими ушами – этот ли отважный воитель, или же Ангеран, длинно, обстоятельно и нудно о нем повествующий, пренебрегая искусством и способом писания истории, которые нам заповедал самосатский философ. Когда читаешь длинное это повествование, кажется, что это только начало и завязка кровопролитной войны, что за этим последует смена царств, а под конец оказываются в смешном положении и дурашливый воин, и англичанин, вызвавший его на поединок, и самый их летописец Ангеран, надоевший своим читателям хуже горькой редьки. Это такая же забавная штука, как Горациева гора, которая вопила и кричала не своим голосом, ни дать ни взять роженица. На ее крики и вопли сбежалась вся округа посмотреть на необычайные и дотоле не виданные роды, а родила гора всего-навсего мышку.

– Кошке игрушки, а мышке слезки, – подхватил Панург. – Как бы вам самому потом не заплакать! Нет, я пребуду верен своему обету. Послушайте, мы с вами с давних пор доверяем друг другу и водим

дружбу, коей покровительствует сам Юпитер. Скажите же мне свое мнение: стоит мне жениться или нет?

– Шаг в самом деле рискованный, – заметил Эпистемон. – Я чувствую, что мне не под силу решить этот вопрос, и если слова старого Гиппократы Косского: *решение затруднительно* имеют какое-нибудь значение для медицины, то в настоящем случае они справедливы в высшей степени. У меня есть кое-что на уме, такое, что могло бы, пожалуй, вывести вас из затруднения, но все же меня это не вполне удовлетворяет.

Кое-кто из платоников утверждает, что кому удастся увидеть своего гения, тот сможет узнать свою судьбу. Я недостаточно хорошо разбираюсь в их учении и не стремлюсь к тому, чтобы вы стали их последователем, – там много ложного. Меня в том уверил пример одного любознательного и пытливого дворянина из Эстрангуры. Это первое.

Теперь второе. Если бы и в наше время царили оракулы Юпитера-Аммона, Аполлона в Ливадии, Дельфах, Делосе, Кирре, Патаре, Тегире, Пренесте, Ликии, Колофоне, у Кастальского ключа, близ Антиохии в Сирии, у Бранхидов, Вакха в Додоне, Меркурия в Фарах близ Патр, Аписа в Египте, Сераписа в Канобе, Фавна в Менальских горах и в Альбунее близ Тиволи, Тиресия в Орхомене, Мопса в Киликии, Орфея на острове Лесбос и Трофония на острове Левкадии, я бы склонен был (а может быть, и нет) пойти к ним и послушать, что они скажут о вашем начинании.

Вы знаете, однако ж, что все они стали немые как рыбы с той поры, как пришел Царь-Спаситель, в коем потонули все оракулы и все пророчества, – так при ярком свете солнца исчезают домовые, ламии^[568], лемуры, оборотни, всякая нечисть и нежить. Впрочем, если бы даже они и царствовали, я бы вас все равно убедил не придавать веры их ответам. Слишком уж много народа они погубили. Так, например, я припоминаю, что Агриппина упрекала прекрасную Лоллию, зачем та обратилась к оракулу светлейшего Аполлона с вопросом, выйдет ли она замуж за императора Клавдия; за это Лоллия была сначала изгнана, а потом подвергнута позорной казни.

– Мы сделаем лучше, – решил Панург. – Недалеко от гавани Сен-Мало расположены Огигийские острова. Мы отпросимся у нашего государя и двинемся туда. Я читал у славных древних авторов, что на

одном из четырех этих островов живут предсказатели, прорицатели и пророки, а в глубине золотой скалы возлежит окованный золотыми цепями Сатурн, питающийся амброзией и божественным нектаром, которые ему ежедневно в изобилии доставляют с неба какие-то неведомые птицы (быть может, это те самые вороны, что питали в пустыне первого отшельника, святого Павла), и точно предсказывает желающим их судьбу, их жребий и что ожидает их впереди. Что бы ни соткали Парки, что бы ни замыслил и ни предпринял Юпитер, все это добрый отец богов узнаёт во сне. Послушаем, что он нам скажет касательно моего затруднительного положения, – это нас избавит от лишних хлопот.

– Это слишком явный обман и слишком баснословная басня, – заметил Эпистемон. – Я туда не пойду.

Глава XXV

О том, как Панург советуется с гер Триппой^[569]

– Если вы мне доверяете, – продолжал Эпистемон, – то, прежде чем возвращаться к нашему государю, давайте сделаем вот что. Тут, недалеко от Иль-Бушара, живет гер Триппа. Вам известно, что при помощи астрологии, геомантии, хиромантии, метопомантии и других такого же сорта искусств он предсказывает будущее. Поговорим о вашем деле с ним.

– Не знаю, что вам на это сказать, – заметил Панург. – Знаю только, что однажды, пока он вел беседу с великим королем о небесном и сверхчувственном, придворные лакеи на ступеньках между дверьми вдоволь надергали его жену, а она была собой недурна. И вот он, видевший без очков все, что совершалось и в эфире и на земле, имевший свое суждение обо всех событиях, как минувших, так равно и текущих, и предсказывавший будущее, он не видел, как раскачивали его супругу, и так никогда про это и не узнал. Ну да ладно, пойдёмте, если хотите. Учиться уму-разуму всегда полезно.

На другой день приблизились они к обители гер Триппы. Панург преподнес ему плащ, подбитый волчьим мехом, огромных размеров золоченый двуострый меч в бархатных ножнах и полсотни

ангелотиков чистоганом; потом он запросто заговорил с ним о своем деле.

Гер Триппа, взглянув на него в упор, без дальних размышлений объявил:

– У тебя метопоскопия и физиономия рогоносца, и не просто рогоносца, но рогоносца ославленного и опозоренного.

Тут он со всех сторон осмотрел Панургову правую ладонь и сказал:

– Вот эта прерывистая линия над холмами Юпитера бывает только у рогоносцев.

После этого он быстро поставил пером несколько точек, соединил их, как того требует геомантия, и сказал:

– Воистину и вправду ты станешь рогоносцем вскоре после женитьбы.

Затем он спросил Панурга, какой гороскоп был составлен при его появлении на свет. Панург ответил ему на этот вопрос, тогда гер Триппа нимало не медля построил его небесную камеру со всеми соответствующими отделениями и, изучив ее расположение и треугольные ее аспекты, испустил глубокий вздох и молвил:

– Я сразу же ясно тебе сказал, что ты будешь рогат, – это неизбежно. Теперь у меня есть новое тому доказательство, и я тебя уверяю, что ты будешь рогат. Притом жена будет тебя бить и будет тебя обирать. Аспекты седьмого отделения камеры все до одного зловещи: здесь смешались в кучу все рогоносные знаки Зодиака, как-то: Овен, Телец, Козерог и прочие. В четвертом же отделении камеры Юпитер – на ущербе, а четырехугольный аспект Сатурна примыкает к Меркурию. Ты подцепишь дурную болезнь, дорогой мой.

– А я к тебе прицеплю лихоманку, старый дурак, болван, противная твоя рожа, – подхватил Панург. – Когда все рогоносцы построятся, ты понесешь знамя. Скажи-ка лучше, что это у меня за чесоточный клещ между пальцев?

С этими словами он протянул гер Триппе два пальца в виде рогов, все же остальные загнул. Затем обратился к Эпистемону:

– Перед вами настоящий Ол из Марциаловой эпиграммы^[570], который все силы своего ума потратил на то, чтобы наблюдать и изучать чужие беды и напасти. А жена его между тем весело проводила время. Наш советчик беднее самого Ира, а до чего же он

важен, спесив и несносен при этом, как семнадцать чертей, одним словом – *ptwcala xwn*^[571] как совершенно справедливо называли древние этакую сволочь и мразь.

Уйдемте от этого обалдуя, от этого сумасброда, от этого буйнопомешанного, пусть слушают этот пьяный бред его друзья дома – черти. Такому прохвосту черти рады услужить, – я в этом нимало не сомневаюсь. Он не знает основы основ всей философии, а именно: *познай самого себя*, он воображает, будто видит сучок в глазу ближнего своего, и при этом не замечает, что у него у самого торчит в каждом глазу по толстому бревну. Это прямой Полипрагмон^[572], описанный Плутархом. Это вторая Ламия, которая в чужих домах, на людях, при всех, видела зорче рыси, а в своем собственном была слепа, как крот: у себя она ничего не видела, оттого что, возвращаясь откуда-нибудь восвояси, снимала глаза, как очки, и прятала их в башмак, подвешенный у входа.

При этих словах гер Триппа взял ветку тамариска.

– Он берет то, что нужно, – заметил Эпистемон. – Никандр называет это дерево вещим.

– Как тебе угодно более подробно узнать правду? – спросил гер Триппа. – С помощью ли пиромантии, аэромантии, которую Аристофан прославляет в *Облаках*, гидромантии или же леканомантии, которая была так широко распространена среди ассирийцев и которую подверг испытанию Гермодай Варвар^[573]? Я покажу тебе в тазу с водой, как твою жену будут раскачивать двое ражких детин.

– Когда ты сунешь свой нос в мой зад, то не забудь снять очки, – предупредил Панург.

– Или, быть может, с помощью катоптромантии, – продолжал гер Триппа, – благодаря которой Дидий Юлиан, император римский, предугадал все, что с ним долженствовало произойти? Очки тебе для этого не понадобятся. Ты увидишь в зеркале, как почесывают твою жену, до того ясно, словно я тебе ее показал в источнике храма Минервы, близ Патр. Или, быть может, с помощью коскиномантии, к которой некогда с таким благоговением относились римляне, совершая свои обряды? Возьми решето, клещи – и ты увидишь чертей. Быть может, с помощью альфитомантии, которую упоминает Феокрит в своей *Чародейке*, или же алевромантии, смешав зерно с мукой? С помощью астрагаломантии? Костяшки у меня найдутся. С помощью

тиромантии? Кстати, у меня есть бреемонтский сыр. С помощью гиромантии? Ты у меня будешь вертеть круги, и все они упадут в левую сторону, можешь мне поверить. С помощью стерномантии? По чести скажу, уж больно ты тщедушен. С помощью либаномантии? Для этого нужно лишь малую толику ладана. С помощью гастромантии, которую долгое время применяла в Ферраре одна дама, чрево вещательница Якоба Родиджина? С помощью кафалеономантии, коей обыкновенно пользуются германцы, жарящие ослиную голову на горящих углях? С помощью керомантии? Тогда лей расплавленный воск в воду – и ты увидишь свою жену и ее игрунов. С помощью капномантии? Положи на горящие угли зерна мака и сезама – просто один восторг! С помощью аксиномантии? Запасись только пестом и гагатом, который ты бросишь потом в жаровню. До чего же ловко все узнал этим способом про женихов Пенелопы Гомер! С помощью онимантии? Возьмем прованского масла и воску. С помощью тефрамантии? Ты увидишь, как из пепла образуется в воздухе фигура твоей жены, принявшей весьма занятную позу. С помощью ботаномантии? У меня как раз есть для этого листья шалфея. С помощью сикомантии? О божественное искусство гадания на фиговых листочках! С помощью ихтиомантии, которую некогда так чтили и к которой столь часто обращались Тиресий и Полидамант и которая применялась также во рву Дина в роце, посвященной Аполлону, в стране ликийцев? С помощью хэромантии? Тогда надобно заготовить побольше поросят и вырезать у них мочевого пузырь. С помощью клеромантии, для чего требуется в крещенский вечер запечь в пирог боб? С помощью антропомантии, коей не гнушался император римский Элагабал? Способ довольно неприятный, но ты его вытерпишь: ведь тебя же сама судьба обрекла быть роконосцем. С помощью сивиллиной стихомантии? С помощью ономомантии^[574]? Как твое имя?

– Дерьможуй, – отвечал Панург.

– Или же алектриомантии? Я искусно начерчу здесь круг и разделю его при тебе и на твоих глазах на двадцать четыре равные части. В каждой части я напишу какую-нибудь букву алфавита, на каждую букву положу пшеничное зерно, а затем впущу в круг молодого, еще не спарившегося петушка. Вот увидите, – могу ручаться, – что он склюет зерна, которые я положу на буквы: Б. У. Д. Е.

Ш. Ы. Р. О. Г. А. Т. Ы. М., и, следственно, окажется не менее проницательным, чем тот прозорливый и алектриомантический петел, который при императоре Валенте, жаждавшем знать имя своего преемника, склевал зерна на буквах: Ф. Е. О. Д.

А быть может, ты больше доверяешь приметам, связанным с полетом птиц, с пением птиц вещей, с кормлением священных утиц? Или вы желаете прибегнуть к гаруспициям? Или же к экстиспициям?

– К какаписпициям, – отвечал Панург.

– Или же к некромантии? Я бы вам сей же час кого-нибудь воскресил из недавно умерших, подобно Аполлонию Тианскому, воскресившему Ахилла, или же той волшебнице, что волхвовала в присутствии Саула, и восставший выложил бы нам все – ничуть не хуже, чем усопший, которого вызвала Эрихто, предсказал Помпею течение и исход Фарсальской битвы. Если же вы страшитесь мертвецов, каковой страх присущ всем рогоносцам на свете, то я прибегну только к скиомантии.

– Пошел ты к черту, дурак, сумасброд, ступай перепортить всех албанцев – получишь за это остроконечную шляпу! – вскричал Панург. – С таким же успехом ты, черт бы тебя подрал, мог бы мне посоветовать подложить под язык изумруд или же камень гиены, запастись язычками удонов или же сердцами зеленых лягушек, съесть сердце и печень дракона, чтобы обрести способность угадать свою судьбу по ячанию и пению лебедей и других птиц, как дельвали это в старину месопотамские арабы.

Пошел ты ко всем чертям, рогоносец, рогач, выкрест, чертов колдун, антихристов ведун!

Идемте к нашему государю! Я уверен, что он не погладит нас по головке, когда узнает, что мы побывали в берлоге у долгополого этого черта. Я жалею, что к нему пошел, и тому человеку, который когда-нибудь дул мне в зад, я с удовольствием заплатил бы сто нобилей и четырнадцать кобелей только за то, чтобы он сейчас своей харкотинной разукрасил ему усы. Боже правый, мне дышать нечем от его болтовни, чертовни, чародейства и ворожейства! Черт бы его взял! Говорите аминь – и пойдемте выпьем. А всякую охоту к веселью он мне отбил дня на два, а то и на четыре.

Глава XXVI

О том, как Панург обращается за советом к брату Жану Зубодробителю

Речи гер Триппы обозлили Панурга, и, пройдя сельцо Юим, он, запинаясь и почесывая себе левое ухо, обратился к брату Жану:

– Развесели меня, толстопузик! Совсем заморочил мне голову бесноватый этот дурак.

Послушай, блудодей-лиходедей,
блудодей-чародей, блудодей-чудодей, блудодей плодовитый,
блудодей знаменитый, блудодей мастеровитый, блудодей
вздохмаченный,

блудодей истый, блудодей проконопаченный, блудодей
шерстистый,

блудодей узорчатый, блудодей оштукатуренный, блудодей
створчатый,

блудодей сборчатый, блудодей зернистый, блудодей отточенный,
блудодей с арабесками, блудодей промоченный, блудодей с
фресками,

блудодей пролощенный, блудодей прожженный, блудодей
навощенный,

блудодей луженый, блудодей клейменный, блудодей
нашпигованный,

блудодей фаршированный, блудодей антикварный, блудодей
прирожденный,

блудодей грешный, блудодей бешеный, блудодей просмоленный,
блудодей кафтанный, блудодей непостоянный, блудодей
капюшонный,

блудодей желанный, блудодей лакированный, блудодей
крапчатый,

блудодей чернодеревчатый, блудодей краснодеревчатый, блудодей
буксовый,

блудодей латинский, блудодей пищальный, блудодей арбалетный,
блудодей пистолетный, блудодей неистовый, блудодей
батистовый,

блудодей неумный, блудодей огромный, блудодей скромный,

блудодей ретивый, блудодей спесивый, блудодей учтивый,
блудодей красивый, блудодей прыткий, блудодей юркий,
блудодей винительный, блудодей творительный, блудодей
родительный,
блудодей живительный, блудодей гигантальный, блудодей
витальный,
блудодей овальный, блудодей магистральный, блудодей
клаустральный,
блудодей монахальный, блудодей мощный, блудодей прочный,
блудодей бесспорный, блудодей проворный, блудодей почтенный,
блудодей отважный, блудодей егозливый, блудодей похотливый,
блудодей объемистый, блудодей напористый, блудодей
забористый,
блудодей туговатый, блудодей молодцеватый, блудодей
шишковатый,
блудодей решительный, блудодей обходительный, блудодей
предупредительный,
блудодей оплодотворяющий, блудодей блестящий, блудодей
свистящий,
блудодей визжащий, блудодей всемилюбимый, блудодей
необходимый,
блудодей общепольный, блудодей благопристойный, блудодей
жестокосердный,
блудодей усердный, блудодей удалец, блудодей счастливец,
блудодей таран, блудодей жирный баран, блудодей насущный,
блудодей сдобный, блудодей высокопробный, блудодей
бесподобный,
блудодей грузный, блудодей толстогузный, блудодей пикой
вверхторчащий,
блудодей рафский, блудодей гвельфский, блудодей орсинский,
блудодей сеятельный, блудодей вейтельный, блудодей
жизнедеятельный,
блудодей родоначальствующий, блудодей румяный, блудодей
рьяный,
блудодей алидадический, блудодей альгамалический, блудодей
алгебраический,

блудодей здоровенный, блудодей отменный, блудодей
прожорливый,
блудодей неукротимый, блудодей неутомимый, блудодей
неодолимый,
блудодей непоколебимый, блудодей неумолимый, блудодей
неотвратимый,
блудодей привлекательный, блудодей очаровательный, блудодей
достопримечательный,
блудодей осязательный, блудодей мускулистый, блудодей
питательный,
блудодей вспомогательный, блудодей трагический, блудодей
сатирический,
блудодей заморский, блудодей щекотательный, блудодей
пищеварительный,
блудодей удовлетворительный, блудодей воплотительный,
блудодей укрепительный,
блудодей печатьюскрепительный, блудодей мужеложный,
блудодей скотоложный,
блудодей наложный, блудодей неслезаящий, блудодей
полыхающий,
блудодей громыхающий, блудодей вправляющий, блудодей
вставляющий,
блудодей пробивающий, блудодей скрипучий, блудодей пахучий,
блудодей громозвучный, блудодей сперматозальный, блудодей
тучный,
блудодей сопящий, блудодей охальный, блудодей нахальный,
блудодей сальный, блудодей прорывающий, блудодей втыкающий,
блудодей протыкающий, блудодей въедливый, блудодей
непоседливый,
блудодей проходунедающий, блудодей доднадостающий,
блудодей какрешетотрясущий,
блудодей-попрыгун, блудодей-поскакун, блудодей-кувыркун, брат
Жан, друг мой, я к тебе питаю особое уважение, а потому приберег
тебя на закуску. Будь добр, скажи мне свое мнение: стоит мне
жениться или нет?

Брат Жан, возвеселившись духом, ответил ему так:

– Женись, черт побери, женись, но уж потом не ленись. Словом сказать, ты этого дела не откладывай. Нынче же вечером должно совершиться ваше сношение, то бишь оглашение. Бог мой, чего ты тянешь? Разве ты не знаешь, что близится конец света? Нынче мы стали на два трабюта и полтуазы ближе к нему, чем были позавчера. Я слышал, антихрист уже родился. Правда, пока он только царапает кормилицу и нянек и до времени не обнаруживает своих сокровищ: он еще мал. *Crescite, nos qui vivimus, multiplicamini*^[575] так сказано в служебнике, а ведь мешок зерна стоит у нас от силы три патака^[576], а бочонок вина шесть бланков. Ты что же это, хочешь и на Страшный суд, *dum venerit judicare*^[577] явиться с полными яичками?

– У тебя светлый и ясный ум, брат Жан, блудодей ты мой столичный, и говоришь ты дело, – заметил Панург. – Леандр Абидосский, плывя через Геллеспонт из Азии в Европу, в Сест, к своей подружке Геро, именно об этом молил Нептуна и прочих морских богов:

Коль скоро вы в пути меня хранили,
То хоть бы уж теперь не потопили!

Он не желал отправляться на тот свет с полными яичками.

И я вот на чем порешил: отныне во всем моем Рагу каждому преступнику, приговоренному судом к смертной казни, будет предоставлен день или два покра-лям-соваться, так чтобы в семяпроводе у него нечем было изобразить букву игрек. Такая драгоценная вещь непременно должна быть употреблена в дело. Глядишь, от него кто-нибудь и родится. Тогда он умрет со спокойной совестью, ибо вместо себя оставит другого человека.

Глава XXVII

О том, какие веселые советы дает Панургу брат Жан

– Клянусь святым Ригоме, – сказал брат Жан, – я, друг ты мой сердечный, не посоветую тебе ничего такого, чего сам бы не сделал на

твоим месте. Только прими в рассуждение и в соображение, что удары твои должны быть безостановочны и беспрестанны. Если допустишь перерыв, то ты, бедняга, погиб. С тобой случится то же, что с кормилицами: как скоро они перестают кормить, они теряют молоко. Если ты не будешь постоянно упражнять свой живчик, он также потеряет молоко, и будет он тебе служить только мочепроводом. Равным образом яички у тебя будут попусту болтаться в мошонке.

Почитаю за должное тебя о том предупредить, друг мой. Я знаю многих, которые уже не могли, когда хотели, оттого что не делали, когда еще могли. По той же самой причине, говорят ученые, теряются все привилегии, если ими не пользуются. А посему, сынок, заставляй своих нижних, маленьких, всем известных троглодитов вечно трудиться. Воспрети им следовать примеру дворян, то есть жить на доходы и ничего не делать.

– Добро, брат Жан, блудодей ты мой драгоценный, я тебе верю, – отозвался Панург. – Ты приступаешь прямо к делу. Без подходов и обиняков ты мгновенно рассеял всякий страх, какой только мог закрасться ко мне в душу. За это да поможет тебе Небо всегда бить без промаха. Итак, по твоему совету, я женюсь, и женюсь удачно, а как скоро у меня появятся хорошенькие горничные, то ты меня наведишь и сделаешься покровителем сестринской общины. Вот все, что я мог тебе сказать касательно первой части твоей проповеди.

– Послушай-ка оракула варенских колоколов, – сказал брат Жан. – Что они говорят?

– Я понял, – отвечал Панург. – Ей-бочку, их звон представляется мне более вещим, нежели звон котлов Юпитера Додонского^[578]. Слушай:

Быть тебе муженьком, быть тебе муженьком,
муженьком, муженьком!
Коли станешь муженьком, муженьком, муженьком,
света с радости невзвидишь, там увидишь, видишь, видишь.
Муженьком, муженьком!

Головой тебе ручаюсь, что я женюсь, – все стихии меня к тому призывают. Да будет слово мое крепче медной стены!

Переходя же ко второму пункту твоей проповеди, я должен признаться, что, по-моему, ты сомневаешься, ты не веришь в мою способность быть отцом, ты, как видно, полагаешь, что тугой бог садов ко мне не очень благоволит. Сделай милость, поверь мне, пожалуйста, что он у меня по струнке ходит: покорен, благожелателен, покладист и услужлив всегда и во всем. Стоит только отвязать ремешок, то бишь шнурок, показать ему добычу и сказать: «Пиль, дружок!»

И если даже будущая моя супруга окажется такою же точно жадной на приятности любви, как некогда Мессалина или английская маркиза Винчестерская^[579], то – можешь мне поверить, – удовлетворяя ее, я стану только еще более обильным. Мне известно, что сказал Соломон, а ведь он был по этой части человек сведущий и опытный. После него Аристотель заметил, что женский пол по природе своей ненасытен, я же, со своей стороны, объявляю во всеобщее сведение, что обладаю орудием того же калибра, и притом безотказным.

Только, пожалуйста, не приводи мне в пример таких баснословных потаскунов, каковы Геркулес, Прокул, Цезарь и Магомет, который в Алькоране похваляется, что по своей мужской силе равен шестидесяти конопатчикам. Врет, подлец!

Не приводите мне также в пример индийца, о котором раззвонили Теофраст, Плиний и Афиней, будто бы он с помощью какой-то там травы выдерживал более семидесяти раз в день. Я этому не верю. Цифра взята наобум. И тебя прошу не верить. Но я прошу тебя верить и почитать за истину, что мой детородный, мой священный Итифалл, мессер Котале Альбинга – первый в мире.

Слушай, блудодеюшка! Ты когда-нибудь видел рясу кастрского монаха? Когда ее вносили в чей-нибудь дом – открыто или же украдкой, – внезапно, в силу ужасающих ее особенностей, все обитатели и домочадцы, животные и люди, мужчины и женщины, все, вплоть до кошек и крыс, приходили в исступление. Клянусь, мне неоднократно приходилось удостоверяться, что в гульфике моем заключена энергия еще более сверхъестественная.

Я не собираюсь тары да бары с тобой разводить, но когда однажды я попал на действо о Страстях Господних в Сен-Максен, то благодаря особенности и таинственному свойству моего гульфика неожиданно все, и лицедеи и зрители, впали в такое страшное

искушение, что не осталось ни одного ангела, человека, дьявола или же дьяволицы, кому бы не захотелось попрыгать. Суфлер бросил свою тетрадку, лицедей, изображавший архангела Михаила, спустился с небес по блокам на сцену, черти повыскочили из ада и утащили к себе всех несчастных бабенок, сам Люцифер сорвался с цепи.

Словом сказать, при виде этой кутерьмы я дал тягу из театра, в чем примером служил мне цензор Катон^[580], который, видя, что его присутствие вносит смятение в ряды участников Флоралий, рассудил за благо покинуть празднества.

Глава XXVIII

О том, как брат Жан убеждает Панурга, что рогиношение ему не опасно

– Твоя правда, – заметил брат Жан, – однако ж от времени все на свете ветшает. Нет такого мрамора и такого порфира, который бы не старился и не разрушался. Сейчас ты еще не стар, но несколько лет спустя я неминуемо услышу от тебя признание, что причиндалы твои тебя подводят. Вон, я вижу, у тебя уже седина в волосах. В бороде переплетаются и серые, и белые, и бурые, и черные нити – это придает ей сходство с картой мира. Гляди: вот Азия – это Тигр и Евфрат; вот Африка – это Лунная гора. Видишь Нильские болота? Вон там Европа. Видишь Телем? Вот та прядь, вся белая, – это Гиперборейские горы.

Ей-божечку, друг мой, когда на горах снег, – я разумею голову и подбородок, – то в гольфовых долинах особой жары быть не может.

– А, гвоздь тебе в подошву! – воскликнул Панург. – Ты не знаешь топики. Когда на горах снег, то в долинах зарницы, молнии, громовые стрелы, вздутие, покраснение, гром, буря и все черти. Желаете увериться в том на опыте? Поезжай в Швейцарию и осмотри озеро Вундерберлих, в четырех милях от Берна по направлению к Сиону. Меня-то вот ты сединой попрекаешь, а вспомнил бы лучше про лукпорей; природа устроила его так, что головка у него белая, а хвост зеленый, прямой и крепкий.

Правда, я сам в себе замечаю некоторые отличительные признаки старости, я бы сказал – бодрой старости, но об этом ты никому не говори, пусть это останется между нами. Дело состоит в том, что

теперь я особое питаю пристрастие к хорошему вину, чего прежде за мной не замечалось; теперь я, как никогда прежде, боюсь нарваться на скверное вино. В этом есть что-то уже предзакатное – это значит, что полдень миновал.

Ну да не беда! Событыльник я такой же приятный, даже еще приятнее, чем раньше. Я старости не боюсь, черт побери! Не это меня заботит. Я боюсь, как бы во время длительных отлучек нашего государя Пантагрюэля, которого я обязан сопровождать всюду, хотя бы он предпринял путешествие ко всем чертям, моя жена не сделала меня рогатым. Вот оно, грозное слово! Все, с кем я только про это ни говорил, стращают меня и стоят на том, что так-де, мол, мне судили Небеса.

– Не всякий желающий может быть рогоносцем, – возразил брат Жан. – Если ты окажешься рогоносцем, *ergo*^[581] жена твоя будет красива; *ergo* она будет с тобой хорошо обходиться; *ergo* у тебя будет много друзей; *ergo* ты спасешь свою душу.

Такова монашеская топка. Ведь это для тебя же к лучшему, греховодник! Это будет для тебя верх блаженства. Убытка ты не потерпишь ни малейшего. Зато достояние твое приумножится.

И если тебе это предуказано, то в твоей ли власти этому воспрепятствовать? Скажи, блудодей вялый,

блудодей обветшалый, блудодей замшелый, блудодей охладелый,
блудодей усохлый, блудодей тухлый, блудодей дохлый, блудодей
жухлый, блудодей ржавый, блудодей трухлявый, блудодей
изнуренный, блудодей изможденный, блудодей опустошенный,
блудодей незадачливый, блудодей слабосильный, блудодей
артачливый,

блудодей полый, блудодей голый, блудодей кволый,
блудодей сонный, блудодей устраненный, блудодей
упраздненный,

блудодей г...нный, блудодей негустой, блудодей снятой,
блудодей показной, блудодей напускной, блудодей наносной,
блудодей ленивый, блудодей червивый, блудодей нерадивый,
блудодей развращенный, блудодей истощенный, блудодей
непопадающий,

блудодей нескладный, блудодей прохладный, блудодей
безотрадный,

блудодей невесомый, блудодей скудный, блудодей паскудный,
блудодей отжатый, блудодей сжатый, блудодей прижатый,
блудодей пресыщенный, блудодей нечищенный, блудодей
напыщенный,
блудодей митрофорный, блудодей запорный, блудодей вздорный,
блудодей притворный, блудодей щуплый, блудодей утлый,
блудодей криводушный, блудодей тщедушный, блудодей
маслобойный,
блудодей застойный, блудодей унылый, блудодей хилый,
блудодей развинченный, блудодей остылый, блудодей конченный,
блудодей плакучий, блудодей вонючий, блудодей хитрючий,
блудодей изъязвленный, блудодей оскорбленный, блудодей
оскопленный,
блудодей кастрированный, блудодей евнухоподобный, блудодей
оперированный,
блудодей культяпный, блудодей сапный, блудодей дряблый,
блудодей зяблый, блудодей пахово-грыжный, блудодей
сквалыжный,
блудодей варикозный, блудодей гангренозный, блудодей
паршивый,
блудодей червивый, блудодей искалеченный, блудодей
изувеченный,
блудодей обесцвеченный, блудодей отсеченный, блудодей
мишурный,
блудодей самодурный, блудодей сумбурный, блудодей захирелый,
блудодей загрубелый, блудодей закоптелый, блудодей задубелый,
блудодей запаленный, блудодей охлажденный, блудодей
протяженный,
блудодей маринованный, блудодей меринированный, блудодей
удаленный,
блудодей разворошенный, блудодей выпотрошенный, блудодей
сошедший на нет,
блудодей-пустоцвет, блудодей-дармоед, блудодей бесцельный,
блудодей затхлый, блудодей поддельный, блудодей чахлый,
блудодей дряхлый, блудодей худощавый, блудодей ветряной,
блудодей надувной, блудодей прыщавый, блудодей набивной,
блудодей бесплодный, блудодей неспособный, блудодей зобный,

блудодей негодный, блудодей перегарный, блудодей угарный,
блудодей прогорклый, блудодей жидкий, блудодей хлипкий,
блудодей липкий, блудодей зыбкий, блудодей чесоточный,
блудодей чахоточный, блудодей порченый, блудодей
подточенный,
блудодей уменьшительный, блудодей изношенный, блудодей
отброшенный,
блудодей устыженный, блудодей отцеженный, блудодей
взъерошенный,
блудодей заржавленный, блудодей расплавленный, блудодей
подавленный,
блудодей отставленный, блудодей обалделый, блудодей очумелый,
блудодей неумелый, блудодей невладеющий, блудодей
коченеющий,
блудодей ворчливый, блудодей пугливый, блудодей пукливый,
блудодей параличный, блудодей потасканный, блудодей
затасканный,
блудодей легченный, блудодей удрученный, блудодей
ошеломленный,
блудодей ветшающий, блудодей вносподпускающий, блудодей
непопадающий,
блудодей изнывающий, блудодей измельчавший, блудодей
отживший,
блудодей прогнивший, блудодей потрепанный, блудодей
заштопанный,
блудодей оцепенелый, блудодей одеревенелый, блудодей
вничтожествовпавший,
блудодей всепотерявший, блудодей несъедобный, блудодей
нулевой,
блудодей ротозей, блудодей промотавшийся, блудодей нисчем-
оставшийся,
блудодей дрожмя-дрожащий,
блудодейный ты черт, Панург, друг мой, коль скоро тебе это
предуказано, неужто ты почтешь за нужное обратить вспять планеты,
перепутать все небесные сферы, искать ошибку в движущих силах
рока, затупить веретена, оболгать катушки, оговорить мотовила, охаять
нитки, распустить клубки Парок? Лихорадка тебе в бок, блудодюша, –

это же еще почище гигантов! Послушай, блудодеец, что бы ты предпочел: быть ревнивым без причины или же быть рогатым, сам того не подозревая?

– Я бы не хотел ни того, ни другого, – отвечал Панург. – Но уж если я хоть что-нибудь замечу, то наведу порядок, были бы только палки на свете.

По чести, брат Жан, лучше бы мне не жениться. Сейчас мы ближе к колоколам, так вот послушай, что они мне говорят:

В брак не вступай, в брак не вступай,
ай-ай-ай-ай.
Если ж вступишь, – нет, не вступай,
ай-ай-ай-ай, —
уподобишься рогатому козлу:
будет то ко злу.

Господи Твоя воля, меня это начинает злить! Неужто вы, мозги постриженные, не знаете, как помочь моему горю? Неужто природа так устроила, что женатый человек не может прожить на свете без того, чтобы не свергнуться в рога носную пучину и пропасть?

– Сейчас ты от меня узнаешь о таком средстве, – сказал брат Жан, – благодаря которому жена без твоего ведома и согласия не в состоянии будет наставить тебе рога.

– Скажи, будь добр, блудодей ты мой долгогривый, – сказал Панург. – Я слушаю тебя, друг мой.

– Носи кольцо Ганса Карвеля, великого ювелира царя Мелиндского^[582], – объявил брат Жан. – Ганс Карвель был человек ученый, сведущий, любознательный, порядочный, рассудительный, здравомыслящий, добросердечный, отзывчивый, щедрый, был он философ, притом же еще и весельчак, собутыльник и балагур, какого другого на всем свете не сыщешь, с круглым животиком и трясущейся головой, впрочем наружности отнюдь не отталкивающей. На старости лет он женился на дочери судьи Конкордата, молодой, красивой щеголихе, любезной, учливой, но только уж чересчур благосклонной к

соседям своим и слугам. По сему обстоятельству в самом непродолжительном времени он стал ревнив, как тигр, и заподозрил, что жена его полеживает еще кое под кем. Дабы с этим покончить, он рассказывал ей одну за другой поучительные истории, в коих шла речь о бедствиях, сопряженных с изменой, постоянно читал ей сказания о женщинах добродетельных, проповедовал целомудрие, составил для нее книгу, в коей прославлялась супружеская верность, а над беспутными женами чинился суд неумолимый и беспощадный, и, наконец, подарил ей дивное ожерелье из восточных сапфиров. Со всем тем она позволяла себе с соседями такие вольности и так радушно их принимала, что он час от часу становился ревнивее.

Как-то раз ночью, когда он лежал со своей супругой и страдал, ему пригрезилось, будто он беседует с чертом и жалуется на горькую свою судьбину. Черт утешал его, потом надел ему на указательный палец кольцо и сказал:

– Дарю тебе это кольцо. Пока оно будет у тебя на пальце, жена без ведома твоего и согласия не сможет совокупиться с кем-либо другим.

– Весьма признателен, господин черт, – сказал Ганс Карвель. – Я скорей отрекись от Магомета, но уж кольца с пальца ни за что не сниму.

Черт исчез. Ганс Карвель, обрадованный, проснулся и обнаружил, что палец его находится в непоказанном месте у его жены.

Я забыл сказать, что жена, почувствовав это, повернулась к мужу задом, как бы говоря: «Ну, ну, это еще что такое?» А Гансу Карвелю при этом показалось, что кольцо у него отнимают.

Так вот, разве это не действительное средство? Следуй сему примеру и будь уверен, что кольцо твоей жены всегда будет у тебя на пальце.

Тут окончилась их беседа и окончилось их странствие.

Глава XXIX

О том, как Пантагрюэль, дабы вывести Панурга из затруднения, позвал на совет богослова, лекаря, законоведа и философа

Явившись во дворец, они доложили Пантагрюэлю о том, как они путешествовали, и показали ему стихотворение Котанмордана. Прочитав его и перечитав, Пантагрюэль молвил:

– Этот ответ мне нравится больше всех остальных. Смысл его таков, что всякому вступающему в брак надлежит быть судьей собственных своих намерений и советоваться только с самим собой. Я всегда был того же мнения и высказал вам его с самого начала, едва лишь вы со мной об этом заговорили, однако ж, как мне тогда показалось, в глубине души вы надо мной посмеялись, самоуверенность же ваша и самонадеянность содеяла вам много бед. Как бы то ни было, мы поступим иначе.

Вот как обстоит дело. Все, что мы собою представляем и что мы имеем, состоит из трех вещей: из души, тела и нашего достояния. Соответственно и надзор за всем этим поручен в настоящее время трем сортам людей: богословы пекутся о душе нашей, лекари – о теле, юристы – о достоянии. Поэтому я предлагаю позвать к нам в воскресенье на обед богослова, лекаря и юриста. Вместе мы и обсудим ваше затруднительное положение.

– Клянусь святым Пико, – объявил Панург, – ничего путного из этого не получится, можно сказать заранее. Подумайте, как в этом мире все устроено шиворот-навыворот: охрану наших душ мы доверяем богословам, а между тем большинство из них еретики, охрану тел – медикам, а между тем сами они ненавидят медикаменты и ни к каким медицинским средствам не прибегают, охрану же достояния нашего – адвокатам, а ведь между собой адвокаты никогда тяжб не заводят.

– Вы рассуждаете, как настоящий придворный, – заметил Пантагрюэль. – Однако первый ваш пункт я отвожу, ибо основное, вернее сказать – единственное и всеобъемлющее занятие добрых богословов заключается именно в том, что они словами, делами и писаниями своими искореняют чужие заблуждения и ереси (а чтобы самим впасть в ересь – им просто не до того) и глубоко внедряют в сердца человеческие истинную и живую католическую веру.

Второй ваш пункт я одобряю: хорошие лекари, когда дело касается собственного здоровья, придают огромное значение мерам профилактическим и предупредительным, в терапии же и в медикаментах они благодаря этому необходимости не испытывают.

В третьем пункте мы с вами сходимся: хорошие адвокаты так поглощены защитой и обоснованием чужих прав, что у них не остается времени и досуга, дабы позаботиться о своих собственных правах. И все же в будущее воскресенье мы позовем от богословов отца Гиппофадея^[583], от врачей – магистра Рондибилиса, от юристов же – нашего друга Бридуа.

Кроме того, я полагаю, что нам надлежит придерживаться пифагорейской тетрады^[584], а потому в качестве четвертого собеседника я предлагаю позвать нашего верноподданного, философа Труйогана^[585], ибо такой выдающийся философ, как Труйоган, способен разрешить любые спорные вопросы. Карпалим! Пригласите их всех в следующее воскресенье обедать.

– По моему мнению, вы выбрали самых подходящих людей во всей нашей стране, – заметил Эпистемон. – Дело не только в том, что каждый из них является знатоком в своей области, – это никакому сомнению не подлежит, – но еще и в том, что Рондибилис теперь женат, а прежде не был, Гиппофадей никогда не был женат, ни прежде, ни теперь, Бридуа когда-то был женат, а теперь нет, а Труйоган всегда был женат: и прежде и теперь. От одной обязанности я Карпалима освобождаю: если вы ничего не имеете против, я сам берусь пригласить Бридуа, – это мой старый знакомый, и я как раз собирался с ним поговорить о том, как успевает и продвигается его степенный и ученый сын, который слушает в Тулузе лекции ученейшего и почтенного Буасоне.

– Поступайте по вашему благоусмотрению, – заключил Пантагрюэль, – и кстати подумайте, не могу ли я быть чем-нибудь полезным его сыну и достойнейшему господину Буасоне, которого я люблю и уважаю как одного из крупнейших в своей области ученых. Я с радостью сделаю для них все, что могу.

Глава XXX

О том, как богослов Гиппофадей дает Панургу советы касательно вступления в брак

Обед в следующее воскресенье был еще не готов, а гости уже явились, все, кроме фонбетонского судьи Бридуа. Когда подали вторую

перемену кушаний, Панург, отвесив почтительный поклон, заговорил:

– Господа! Речь идет только об одном: стоит мне жениться или нет. Если вы не рассеете моих сомнений, то я сочту их такими же неразрешимыми, как Аллиаковы *Insolubilia*^[586], ибо вы, каждый в своей области, люди избранные, отобранные и сквозь решето пропущенные.

В ответ на вопрос Панурга и на поклоны всех присутствующих отец Гиппофадей с необычайной скромностью заметил:

– Друг мой! Вы спрашиваете совета у нас, однако ж прежде надобно посоветоваться с самим собою. Сколь сильно беспокоит вас плотская похоть?

– Прошу прощения, отец мой, – отвечал Панург, – чрезвычайно сильно.

– Дело житейское, друг мой, – молвил Гиппофадей. – Однако, видя затруднительность вашего положения, Господь, уж верно, посылает вам дар и благодать воздержания?

– По чести, нет, – отвечал Панург.

– В таком случае женитесь, друг мой, – заключил Гиппофадей, – лучше жениться, нежели гореть в огне любострастия.

– Ах, как вы умно рассудили, – воскликнул Панург, – и при этом нимало не циркумбиливагинируя вокруг горшка! Чувствительно вам благодарен, ваше высокопреподобие. Теперь уж я твердо решил жениться, в самом скором времени. Приходите ко мне на свадьбу. Ах, шут возьми, ну и погуляем же мы с вами! Вы получите свадебную ленту, как полагается гостю, и, ей-же-ей, мы *отведаем гуська, которого жена нам не зажарит*. И вот еще о чем я вас попрошу: сделайте мне такое великое одолжение и окажите мне такую великую честь – откройте бал и пройдите в первой паре с какой-нибудь из девиц. Остается еще одна маленькая загвоздочка, совсем маленькая, малюсенькая: буду ли я рогат?

– Если Бог захочет, отнюдь нет, друг мой, – отвечал Гиппофадей.

– Силы небесные! – возопил Панург. – Куда вы меня отсылаете, добрые люди? К условным предложениям, которые порождают в диалектике всякого рода противоречия и бессмыслицу. Если бы мой заальпийский лошак летал, то у моего заальпийского лошака были бы крылья. Если Бог захочет, я не буду рогат, и я же буду рогат, если Бог того захочет.

Вот тебе раз! Если б еще это было такое условие, которое можно преодолеть, я бы не отчаивался, но вы меня отсылаете в тайный совет Господа Бога, в палату частных его определений. А как нам, французам, найти туда дорогу? Ваше высокопреподобие! По-моему, вам нет расчета ехать ко мне на свадьбу. От свадебного гама и суматохи вы с ума свихнетесь. Вы же любите покой, безмолвие, уединение. Я думаю, вы не приедете. Вдобавок и танцуете вы неважно и, открывая бал, чего доброго, осрамитесь. Лучше я вам пришлю на дом шкварочек и свадебную ленту. У себя дома вы и за здоровье молодых выпьете, коли придет охота.

– Друг мой, – возразил Гиппофадей, – прошу вас, поймите меня правильно. Когда я вам сказал: «Если Бог захочет», то разве же я вас этим обидел? Разве это плохо сказано? Разве это условие кощунственное или же оскорбительное? Ведь я этим прославил Бога как нашего сотворителя, спасителя и промыслителя. Ведь я этим только хотел сказать, что Он – единственный податель всякого блага. Ведь я этим только хотел выразить ту мысль, что мы всецело зависим от Его благодати, а без Него мы ничто, ничего не стоим и ни на что не способны – до тех пор, пока на нас не снизойдет Его святая благодать. Ведь я этим только хотел сказать, что все начинания наши должны сообразоваться с установлениями каноническими и что на какой бы то ни было шаг нам надлежит решаться с мыслью о том, что на все Его святая воля – как на земле, так и на небе. Ведь я же только чистым сердцем восхвалил благословенное имя Его.

Друг мой, если Бог захочет, вы не будете рогаты. Не отчаивайтесь, полагая, будто узнать, что именно восхотел Господь, невозможно, ибо воля Его от нас, мол, сокрыта и, дабы постигнуть ее, должно-де обратиться в Его тайный совет и скитаться по палате священных Его определений. Господь явил нам особую милость: Он нам их открыл, возвестил, объявил и явно для всех начертал в Священном писании.

Из него-то вы и вычитаете, что никогда не будете рогаты, то есть что жена ваша никогда не будет развратничать, при том условии, если вы возьмете ее из хорошей семьи, если она будет воспитана в духе строгой добродетели и непорочности, если она будет возвращаться и находиться в обществе людей добронравных, будет любить и бояться Бога, будет стараться угодить Ему своею верою и соблюдением святых Его заповедей, будет бояться прогневить Его и лишиться Его благодати

из-за своего маловерия или же вследствие нарушения божественного Его закона, который строго воспрещает прелюбодеяние и повелевает прилепиться к мужу своему, его единого ублажать, ему единому служить и, после Бога, его единого любить.

Дабы она твердо сии правила усвоила, вы, со своей стороны, обязуйтесь обходиться с нею дружески, быть во всех отношениях безукоризненным, подавать ей благой пример и вести скромный, целомудренный, добродетельный образ жизни, какой, по вашему разумению, надлежит вести ей самой, ибо не то зеркало почитается прекрасным и безупречным, которое щедрее других украшено позолотою и самоцветными камнями, а то, которое верно отражает предметы, – равным образом не та женщина вящим пользуется уважением, которая отличается богатством, красотой, статностью или же благородством происхождения, а та, которая наипаче стремится с помощью Божией во благочестии себя соблюсти и себя вести так же точно, как ее супруг.

Обратите внимание, что луна заимствует свет не от Меркурия, не от Юпитера, не от Марса и не от какой-либо другой планеты или же звезды небесной; она получает свет не от кого другого, как от своего супруга – солнца, и получает ровно столько, сколько солнце способно излучить, и в зависимости от того, в каком оно аспекте. Будьте же и вы для своей супруги покровителем, образцом добродетели и чистоты душевной и непрестанно молитесь Богу, чтобы Он по милосердию своему вас не оставил.

– Стало быть, вы хотите, – покручивая усы, заключил Панург, – чтобы я вступил в брак с той мудрой женой, которая описана у Соломона^[587]? Да ведь ее давно нет в живых, можете мне поверить. Сколько мне известно, я и в глаза-то ее никогда не видел, прости, Господи, мое согрешение! Во всяком случае, я вам очень признателен, отец мой. Скушайте вот этот марципанчик – он способствует пищеварению, и запейте сладким вином с корицей – это полезно для желудка. А мы пойдем дальше.

Глава XXXI

О том, какие советы дает Панургу лекарь РондIBILIS

Продолжая свою речь, Панург объявил:

– Первое, что сказал человек, кастрировавший сосиньякских черноризцев, как скоро он выхолостил брата Обобратия, было: «Следующий!» И я тоже скажу: «Следующий!» Так вот, господин магистр Рондибилис, без дальних слов: жениться мне или нет?

– Клянусь иноходью моего лошака, не знаю, что вам на этот вопрос ответить, – молвил Рондибилис. – Вы сами говорите, что плоть ваша бунтует. На медицинском факультете меня учили (а восприняли мы это от древних платоников), что подобного рода возбуждение можно успокоить пятью способами. Во-первых, вином.

– Вот это верно, – вставил брат Жан. – Когда я пьян, мне бы только спать да спать.

– Я понимаю, – продолжал Рондибилис, – неумеренное потребление вина, ибо пьянство производит в человеческом теле охлаждение крови, истощение нервов, непроизводительное растворение семени, притупление чувств и беспорядочность движений, а все это служит препоной для акта оплодотворения. В самом деле, вам известно, что Бахуса, бога пьяниц, изображают без бороды, в женском одеянии, существом женоподобным, евнухом и кастратом. Иное дело – умеренное потребление вина. На это нам указывает древнее изречение, гласящее, что в отсутствие Цереры и Бахуса Венера места себе не находит от скуки. По мнению древних, как оно изложено у Диодора Сицилийского, а равно и по мнению лампсакийцев^[588], как утверждает Павсаний, мессер Приап был сыном Бахуса и Венеры.

Во-вторых, я имел в виду некоторые снадобья и растения, которые охлаждают человека, вредно действуют на его здоровье и делают его неспособным к деторождению. Опыт показал, что таковы суть *пупһаеа һераclia*^[589], америна, ива, конопля, жимолость, тамаринд, витекс, мандрагора, цикута, ятрышник, кожа гиппопотама и другие, которые, попадая в тело человека, как в силу своих элементарных свойств, так и в силу своих специфических особенностей, замораживают и убивают животворное семя и рассеивают те токи, что призваны доставлять его в места, указанные природой, или же закупоривают пути и выходы, через которые оно может истечь. И наоборот, мы располагаем такими средствами, которые разжигают и возбуждают человека и влекут его к соитию.

– Я-то в них, слава Тебе, Господи, не нуждаюсь, – объявил Панург. – А вот как вы, досточтимый магистр? Только вы не обижайтесь, ведь это я не со зла.

– В-третьих, упорный труд, – продолжал Рондибилис, – ибо когда человек работает, во внутренних его органах жизненные процессы замедляются настолько, что кровь, растекающаяся по телу, дабы питать его, не имеет ни времени, ни досуга, ни возможности способствовать выделению семени и отдавать излишки, остающиеся после третичного претворения пищи в кровь. Природа бережет излишки для своих особых целей: они ей нужны главным образом для поддержания сил в данной особи, а не для размножения и расположения человеческого рода. Вот отчего Диане, которая вечно охотится, чужда всяческая похоть. Вот отчего в старину лагеря именовались *castra* – от латинского слова *casta*^[590], ибо там без устали трудились воины и атлеты. Вот отчего Гиппократ (в книге *De aere, aqua et locis*^[591]) пишет, что некоторые скифские племена в любовных битвах оказывались слабее евнухов, ибо они всегда были на конях и всегда заняты делом, меж тем как, по мнению философов, мать сладострастия – это праздность.

Когда Овидию задали вопрос, отчего Эгист стал прелюбодеем, он ответил, что только по причине праздности и что если, мол, праздность искоренить, то искусство Купидона погибнет. Лук, колчан и стрелы станут для него обузой; он никого не сможет поранить, оттого что вовсе не такой уж он меткий стрелок, чтобы подстрелить летящего в небе журавля или же оленя, спугнутого в лесу, чем славились парфяне, народ неутомимый и неутомимый. А Купидону требуются люди степенные, сидячие, лежащие, отдыхающие.

Недаром Теофраст, когда его однажды спросили, что это за зверь, что это за штука – сердечное влечение, ответил, что это страсть умов праздных. Так же точно Диоген сказал, что блуд есть занятие людей, ничем другим не занятых. По той же самой причине Канах, ваятель сикионский, желая показать, что праздность, леность и беспечность являются пособницами разврата, изобразил Венеру сидящей, а не стоящей, как ее изображали все его предшественники.

В-четвертых, усердные умственные занятия, ибо во время таковых токи до невероятия истощаются и иссякает сила, проталкивающая в надлежащие места плодоносные выделения и

наполняющая ими полый внутри орган, назначение которого в том, чтобы исторгать их для продолжения человеческого рода.

В самом деле, взгляните на человека, прилежно что-либо изучающего: вы увидите, что все артерии его мозга натянуты, как тетива, для того чтобы возможно скорее снабжать его токами, потребными для наполнения желудочков, ведающих здравым смыслом, воображением и постижением, суждением и решением, памятью и воспоминанием, а равно и для того, чтобы токи эти стремительно притекали от одного желудочка к другому по каналам, ясно обозначенным у самого края чудесной сети, где кончаются артерии; начало же свое артерии берут в левом сердечном ящичке, и жизненные токи, прежде чем стать токами животными, долго блуждают по артериям и постепенно очищаются. Между тем все естественные отправления у такого любознательного человека приостанавливаются, все внешние ощущения притупляются, словом, у вас создается впечатление, что жизнь в нем замерла, что он находится в состоянии экстаза, и вам уже не покажутся преувеличением слова Сократа, что философия есть не что иное, как размышление о смерти.

Должно думать, именно поэтому Демокрит себя ослепил: он полагал, что потеря зрения не так опасна, как недостаточное самоуглубление, самоуглублению же мешает, как ему казалось, рассеянный взор.

Оттого-то хранит свою девственность Паллада, богиня мудрости и покровительница ученых. Оттого девственны Музы, оттого же вечно невинны Хариты. И, помнится мне, я читал, что мать Купидона, Венера, допытывалась у него, отчего он не трогает Муз, и он ей ответил, что они до того прекрасны, до того чисты, до того честны, до того целомудренны и так всегда заняты: одна – над небесными светилами наблюдениями, другая – всевозможными вычислениями, третья – геометрических тел измерениями, четвертая – риторическими украшениями, пятая – поэтическими своими творениями, шестая – музыкальными упражнениями, что когда он к ним приближается, то, стыдясь и боясь их обидеть, он опускает свой лук, закрывает колчан и гасит факел, а потом снимает с глаз повязку, чтобы лучше рассмотреть их лица, и слушает их приятное пение и стихи. И получает он от этого величайшее наслаждение и так бывает порой

очарован их красотой и прелестью, что засыпает под музыку, а не то чтобы на них нападать или же отвлекать от занятий.

В этой связи мне становится ясно, почему Гиппократ в упомянутой мною книге, говоря о скифах, а также в книге под заглавием *De genitura*^[592], утверждает, что если человеку перерезать околоушные артерии, то он теряет способность к деторождению по причине, которую я выставил, когда говорил вам об истощении токов и одухотворенной крови, вместилищем для которой являются артерии; кроме того, он считает, что способность к деторождению во многом зависит от головного мозга и от позвоночного столба.

В-пятых, акт плотской любви.

– Вот этого только я и ждал, – сказал Панург. – Этим средством буду пользоваться я. А другими пусть пользуется кто хочет.

– Брат Росцеллин, настоятель марсельского монастыря святого Виктора, называет это средство изнурением плоти, – заметил брат Жан. – Я же склоняюсь к мнению отшельника из монастыря святой Радегунды, что над Шиноном, каковой отшельник утверждал, что фиваидские пустынники лучше всего изнурили бы свою плоть, побороли нечистые желания и усмирили похоть, если бы применяли это средство двадцать пять, а то и тридцать раз в день.

– На мой взгляд, – объявил РондIBILИС, – Панург хорошо сложен, уравновешенного нрава, наделен достаточным количеством соков, возраст его подходящий, он в самой поре, так что его желание жениться вполне законно. Если только он встретит женщину соответственного темперамента, то они произведут потомство, которому смело можно будет вверить любую заморскую монархию. И чем скорей, тем лучше, если он хочет, чтобы дети его были обеспечены.

– Можете не сомневаться, досточтимый магистр, это будет очень скоро, – молвил Панург. – Блоха, что сидит у меня в ухе, никогда еще так меня не щекотала, как во время вашей ученой речи. Приглашаю вас ко мне на свадьбу. Мы с вами так кутнем, что чертям тошно станет, уверяю вас. Пожалуйста, не забудьте привести с собой вашу жену и, само собой разумеется, ее соседок. У нас все будет чинно, благородно.

Глава XXXII

О том, как РондIBILИС объявляет рога естественным

приложением к браку

– Остается покончить еще с одним маленьким пунктиком, – продолжал Панург. – Вы когда-нибудь видели надпись на римском знамени: СИНР? Так это означает не «сенат и народ римский», а «самомалейшее и ничтожное раздумье». Буду ли я рогат?

– Ах, мой Создатель! – воскликнул Рондибилис. – Нашли о чем спрашивать! Будете ли вы рогаты! Друг мой! Я женат, и вам это предстоит в скором времени. Так вот, запишите в своем мозгу железным стилем: всякому женатому человеку грозит опасность носить рога. Рога – естественное приложение к браку. Не так неотступно следует за телом его тень, как рога за женатым. Если вы услышите, что про кого-нибудь говорят: «Он женат», и при этом подумаете: «Значит, у него есть, или были, или будут, или могут быть рога», – вас никто не сможет обвинить, что вы не умеете делать логические выводы.

– Ах вы, ипохондрик окаянный! – вскричал Панург. – Что вы только говорите!

– Друг мой! – продолжал Рондибилис. – Гиппократ, отправляясь из Коса в Абдеру навестить философа Демокрита, написал письмо своему старинному другу Дионису и попросил на это время отвезти его жену к ее родителям, людям почтенным и всеми уважаемым: ему не хотелось, чтобы она оставалась в доме одна, да еще наказывал установить за ней неусыпный надзор и следить, куда она ходит с матерью и кто бывает у ее родителей. «Не то чтобы я сомневался в целомудрии ее и скромности, – писал он, – я познал и уверился на опыте, что таковые добродетели ей присущи. Но она – женщина. А этим сказано все».

Друг мой! Женскую природу олицетворяет собою луна – и во всем прочем и, в частности, в том отношении, что женщины таятся, смущаются и притворяются на глазах и на виду у мужей. А чуть мужья за дверь – пускаются во все тяжкие: веселятся, гуляют, резвятся, сбрасывают с себя личины и обнаруживают подлинное свое лицо. Так же точно и луна: в период совпадения ее с солнцем она не показывается ни на небе, ни на земле, в период же своего противостояния, когда она особенно далеко находится от солнца, она выступает во всем своем блеске и являет полный свой лик, –

разумеется, в ночное время. Таковы и все женщины. Одно слово – женщины.

Под словом *женщина* я понимаю в высшей степени слабый, изменчивый, ветреный, непостоянный и несовершенный пол, и мне невольно кажется, будто природа, не во гнев и не в обиду ей будь сказано, создавая женщину, утратила тот здравый смысл, коим отмечено все ею сотворенное и устроенное. Я сотни раз ломал себе над этим голову и так ни к чему и не пришел; полагаю, однако ж, что природа, изобретая женщину, думала больше об удовлетворении потребности мужчины в общении и о продолжении человеческого рода, нежели о совершенстве женской натуры. Сам Платон не знал, куда отнести женщин: к разумным существам или же к скотам, ибо природа вставила им внутрь, в одно укромное место, нечто одушевленное, некий орган, которого нет у мужчины и который иногда выделяет какие-то особые соки: соленые, селитренные, борнокислые, терпкие, едкие, жгучие, неприятно щекочущие, и от этого жжения, от этого мучительного для женщины брожения упомянутых соков (а ведь орган этот весьма чувствителен и легко раздражается) по всему телу женщины пробегает дрожь, все ее чувства возбуждаются, все ощущения обостряются, все мысли мешаются. Таким образом, если бы природа до некоторой степени не облагородила женщин чувством стыда, они как сумасшедшие гонялись бы за первыми попавшимися штанами в таком исступлении, какого претиды, мималлониды и вакхические фиады ^[593] не обнаруживали даже в дни вакханалий, ибо этот ужасный одушевленный орган связан со всеми основными частями тела, что наглядно доказывает нам анатомия.

Я называю его одушевленным вслед за академиками и перипатетиками, ибо если самопроизвольное движение, как учит Аристотель, есть верный признак живого существа и все, что самопроизвольно движется, именуется одушевленным, то в таком случае у Платона есть все основания именовать одушевленным и этот орган, коль скоро Платон замечает за ним способность самопроизвольно двигаться, а именно: сокращаться, выдвигаться, сморщиваться, раздражаться, причем движения эти бывают столь резкими, что из-за них у женщин нередко замирают все прочие чувства и движения, как при сердечном припадке, дурноте, эпилепсии, апоплексии и обмороке. Более того: для нас очевидно, что орган этот

умеет различать запахи, – вот почему женщины избегают зловония и тянутся к благовониям.

Мне известно, что Гален тщился доказать, будто это движения не самопроизвольные и не самостоятельные, а чисто случайные, некоторые же из его последователей пытались установить, что помянутый орган не обладает свойством различать запахи, а что он наделен некоей по-разному проявляющей себя способностью, зависящей от разнообразия пахучих субстанций. Однако ж если вы тщательно изучите и взвесите на весах Критолая их доводы и основания, то придете к заключению, что в сем случае, как и во многих других, они решали дело с кондачка и что ими руководило не столько стремление добраться до истины, сколько желание во что бы то ни стало заткнуть за пояс своих предшественников.

Я не собираюсь заходить слишком далеко в этом споре; скажу только, что женщины добродетельные, прожившие свою жизнь скромно и беспорочно и сумевшие подчинить рассудку дикое это животное, немалой заслуживают похвалы. В заключение я хочу еще добавить, что как скоро животное это насыщается (если только его можно насытить) тою пищею, какую природа приготовила для него в организме мужчины, все его своеобразные движения сей же час прекращаются, все желания его утоляются, все страсти его успокаиваются. Так не удивляйтесь же, что нам вечно грозит опасность стать рогоносцами: ведь мы не всегда имеем возможность убогаторить женщину, удовлетворить ее вполне.

– Ах ты, чтоб его намочило, да не высушило! – воскликнул Панург. – Неужто ваша медицина не знает никакого средства?

– Как же, друг мой, знает, и очень хорошее, – отвечал Рондибилис, – я сам к нему прибегаю; оно описано у одного известного автора^[594], жившего восемнадцать столетий тому назад. Сейчас я вам скажу.

– Клянусь Богом, вы превосходный человек, – заметил Панург, – я надыхаться на вас не могу. Скушайте пирожок с айвой: благодаря своим вяжущим свойствам айва плотно закупоривает шейку желудка и содействует первой стадии пищеварения. А впрочем, что же это я? Нет уж, яйца кур не учат. Погодите, я вам сейчас поднесу вот этот Несторов кубок. А может, вы хотите еще хлебнуть белого душистого? Не бойтесь, воспаления желез от него быть не может. В нем нет ни

сквинанти, ни имбиря, ни гвинейского перца. Это смесь отборной корицы, самолучшего сахару и славного белого девиньерского вина, из того винограда, что растет возле высокой рябины, чуть выше Грачиного орешника.

Глава XXXIII

О том, какое средство от рогов прописывает лекарь Рондibiliс

– В то время, – сказал Рондibiliс, – когда Юпитер наводил порядок в своем олимпийском доме^[595] и когда он составил календарь для всех богов и богинь, установив для каждого особое время года и особый праздничный день, распределив места для оракулов и места для паломничества, определив, какие кому надлежит приносить жертвы...

– Может, он действовал, как Дентевиль^[596], епископ Осерский? – спросил Панург. – Доблестный сей святитель любил хорошее вино, как и всякий порядочный человек, поэтому он особенно заботился о виноградной лозе, прародительнице Бахуса, и особенно за нею ухаживал. И вот, к великому его прискорбию, несколько лет кряду виноград у него погибал – то от заморозков, то от дождей, то от туманов, то от гололедицы, то от утренников, то от града и от всяких прочих стихийных бедствий, совпадавших с днями святого Георгия, Марка, Виталия, Евтропия, Филиппа, с праздниками Креста Господня, Вознесения и так далее, каковые приходятся на то время, когда солнце вступает в знак Тельца, и отсюда преосвященный владыка вывел заключение, что перечисленные мною святые суть святые – градопобиватели, мразонасылатели и виноградогубители. Тогда он решился перенести их праздники на зиму, между Рождеством и Богоявлением, почтительно и благоговейно предоставив им посылать в это время град и мороз сколько ихней душе угодно, ибо в это время года мороз не только не вреден для винограда, но, напротив, явно полезен. А вместо них он велел праздновать дни святого Христофора, Иоанна Предтечи, святой Магдалины, Анны, Доминика, Лаврентия, то есть перенес середину августа на май, ибо в это время года мороз не

страшен, и все прохладительных напитков изготовители, сливочного сыра варители, беседкостроители и вина охладители тогда нарасхват.

– Юпитер, – продолжал Рондibiliс, – позабыл про беднягу Рогача, который был тогда в отсутствии. Рогач на ту пору находился в Париже и вел в суде кляузный процесс одного из арендаторов своих и вассалов. Не могу вам сказать, когда именно он узнал, что его обошли, но только он прекратил хлопоты в суде, как скоро на него свалилась новая забота: а вдруг его отчислят за опоздание, и, собственной персоной представ перед великим Юпитером, он распространился о прежних своих заслугах, об одолжениях и любезностях, которые он в свое время ему делал, и убедительно попросил Юпитера не оставить его без праздника, без жертвоприношений и чествования. Юпитер оправдывался и доказывал, что все бенефиции уже розданы и штат заполнен; со всем тем мессер Рогач выказал такую назойливость, что в конце концов Юпитер принял его в штат, занес в список и установил для него на земле праздник, чествование и жертвоприношения.

Так как во всем календаре не осталось больше пустых и вакантных мест, то день его праздновался одновременно с днем богини Ревности. Ведению его подлежали люди женатые, особливо женатые на красавицах; жертвы ему были назначены такие: подозрение, недоверие, свара, надзор, подглядыванье и слежка за женами, при этом каждому женатому был дан строгий наказ бояться и чтить своего бога, праздновать его день с особой торжественностью и приносить ему все названные жертвы под страхом и под угрозой навлечь на себя его немилость; а кто достождных почестей ему не воздаст, тех-де мессер Рогач лишит помощи своей и заступления: перестанет их призывать, перестанет бывать у них в доме, будет чуждаться их общества, как бы они его ни зазывали, предоставит им вариться в собственном соку вместе с их женами, не послав им ни единого соперника, и вечно будет их сторониться как еретиков и святотатцев, по примеру других богов, которые поступают так с теми, кто их недостаточно чтит, а именно: Бахус – с непочтительными виноградарями, Церера – с хлебопашцами, Помона – с садовниками, Нептун – с мореходами, Вулкан – с кузнецами, и так далее. Напротив, тем, кто с надлежащею торжественностью будет праздновать его день, кто устранился от всяких занятий и забросит все свои дела ради того, чтобы следить за женой, утеснять ее и из ревности дурно с нею обходиться согласно

положению о жертвоприношениях, было дано твердое обещание, что мессер Рогач взыщет их своими милостями, будет вечно к ним благосклонен, будет их посещать, дневать и ночевать у них в доме и не оставит их ни на мгновение. Вот и все.

– Ха-ха-ха! – засмеялся Карпалим. – Это средство еще проще, чем кольцо Ганса Карвеля. Черт возьми, как же не поверить в это такое средство! Женская натура именно такова. Молния разрушает и сжигает только твердые, прочные и устойчивые тела, предметов же мягких, полых внутри и податливых она не трогает: она вам сожжет стальную шпагу, а бархатных ножен не повредит, превратит в пепел кости, а покрывающего их мяса не заденет, – так же точно и женщины выворачиваются наизнанку, пускаются на хитрости и обнаруживают дух противоречия во всех тех случаях, когда им что-либо не дозволяется и воспрещается.

– Некоторые наши ученые богословы, – вставил Гиппофадей, – справедливо замечают, что первая женщина на земле, та самая, которую евреи называли Евой, вряд ли соблазнилась бы плодом познания, когда бы плод сей не был запретным. И точно, вспомните, что коварный искуситель, заговорив с нею, начал прямо с его запретности, и тайный смысл его речей был, думается, таков: «Именно потому, что тебе это воспрещено, ты и должна от него вкусить, иначе ты не женщина».

Глава XXXIV

О том, что женщины обыкновенно влекутся ко всему запретному

– Когда я проказил в Орлеане, – сказал Карпалим, – то самым блестящим риторическим украшением и самым убедительным аргументом, которым я располагал для того, чтобы заманить дамочек в свои тенета и вовлечь их в любовную игру, являлось живое, явное и возмутительное доказательство, что мужья их ревнуют. Выдумал это не я. Об этом написано в книгах, это подтверждают законы, всевозможные примеры и доводы, наконец, повседневный опыт. Как скоро такая мысль втемяшится женам, они не успокоятся, пока не наставят мужьям рогов, – клясться не стану, а вот, ей-богу, не вру, – даже если бы им пришлось для этого последовать примеру

Семирамиды, Пасифаи, Эгесты, жительниц острова Мандеса в Египте, которых превознесли Геродот и Страбон, и прочих им подобных сучек.

– То правда, – молвил Понократ, – я слышал, что однажды к папе Иоанну Двадцать Второму, посетившему обитель Куаньюфон, настоятельница и старейшие инокини обратились с просьбой – в виде особого исключения разрешить им исповедоваться друг у друга, ибо, по их словам, нестерпимый стыд мешает им признаваться в кое-каких тайных своих пороках исповеднику-мужчине, а друг с другом они будут, мол, чувствовать себя на исповеди свободнее и проще. «Я охотно исполнил бы вашу просьбу, – отвечал папа, – но я предвижу одно неудобство. Видите ли, тайна исповеди не должна быть разглашаема, а вам, женщинам, весьма трудно будет ее хранить». – «Отлично сохраним, – объявили монахини, – еще лучше мужчин». В тот же день святейший владыка передал им на хранение ларчик, в который он посадил маленькую коноплянку, и попросил спрятать его в надежном и укромном месте, заверив их своим папским словом, что если они сберегут ларчик, то он исполнит их просьбу, и в то же время строго-настрого, под страхом того, что они будут осуждены церковью и навеки отлучены от нее, воспретив его открывать. Едва папа произнес этот запрет, как монахини уже загорелись желанием посмотреть, что там такое, – они только и ждали, чтобы папа поскорей ушел и чтобы можно было заняться ларчиком. Благословив их, святейший владыка отправился восвояси. Не успел он и на три шага удалиться от обители, как добрые инокини всем скопом бросились открывать запретный ларчик и рассматривать, что там внутри. На другой день папа вновь пожаловал к ним, и они понадеялись, что прибыл он нарочно для того, чтобы выдать им письменное разрешение исповедоваться друг у друга. Папа велел, однако ж, принести сперва ларчик. Ларчик принесли, но птички там не оказалось. Тогда папа заметил, что монахиням не под силу будет хранить тайну исповеди, коль скоро они так недолго хранили тайну ларчика, по поводу которой им было сделано особое наставление.

– Уважаемый учитель, как же я рад вас видеть! Я слушал вас с великим удовольствием и за все благодарю Бога. Мы с вами не встречались с тех самых пор, как вы вместе с нашими старинными друзьями, Антуаном Сапорта, Ги Бугье, Балтазаром Нуайе, Толе, Жаном Кентеном, Франсуа Робине, Жаном Пердрие и Франсуа

Рабле^[597], разыгрывали в Монпелье нравоучительную комедию о человеке, который женился на немой.

– Я был на этом представлении, – сказал Эпистемон. – Любящему супругу хотелось, чтобы жена заговорила. Она и точно заговорила благодаря искусству лекаря и хирурга, которые подрезали ей подъязычную связку. Но, едва обретя дар речи, она принялась болтать без умолку, так что муж опять побежал к лекарю просить средства, которое заставило бы ее замолчать. Лекарь ему сказал, что в его распоряжении имеется немало средств, которые могут заставить женщину заговорить, и нет ни одного, которое заставило бы ее замолчать; единственное, дескать, средство от непрерывной женской болтовни – это глухота мужа. Врачи как-то там поворожили, и этот сукин сын оглох. Жена, обнаружив, что он ничего не слышит и что из-за его глухоты она только бросает слова на ветер, пришла в ярость. Лекарь потребовал вознаграждения, а муж сказал, что он и правда оглох и не слышит, о чем тот просит. Тогда лекарь незаметно подсыпал мужу какой-то порошок, от которого муж сошел с ума. Сумасшедший муж и разъяренная жена дружно бросились с кулаками на хирурга и лекаря и избili их до полусмерти. Я никогда в жизни так не смеялся, как над этими дурачествами во вкусе Патлена.

– Возвратимся к нашим баранам, – сказал Панург. – Ваши слова в переводе с тарабарского на французский означают, что я смело могу жениться, а о рогах не думать. Ну да это вилами на воде писано. Уважаемый учитель! Я очень боюсь, что из-за множества пациентов вам не удастся погулять у меня на свадьбе. Но я на вас не обижусь.

Stercus et urina medici sunt prandia prima:

Ex aliis paleas, ex istis coliige grana.^[598]

– Вы неверно цитируете, – заметил Рондибилис, – второй стих читается так:

Nobis sunt signa, vobis sunt prandia digna.^[599]

Если у меня вдруг заболевает жена, я первым делом, как нам предписывает Гиппократ (*Афоризмы*, II, XXXV), посмотрю ее мочу, пощупаю пульс, а также нижнюю часть живота и пупочную область.

– Нет, нет, – возразил Панург, – это ни к чему. Раздел *De ventre inspiciendo*^[600] относится только к нам, законооведам. Я бы ей закатил хорошую клизму. Словом, у вас дела найдутся поважней, чем моя свадьба. Уж лучше я вам на дом пришлю жареной свининки, и вы будете вечным нашим другом.

Тут Панург приблизился к Рондibiliсу и молча сунул ему в руку четыре нобилия с изображением розы.

Рондibiliс взял их, не моргнув глазом, а затем сделал вид, что озадачен и возмущен.

– Э, э, э, сударь, это вы зря! – сказал он. – А впрочем, большое вам спасибо. С дурных людей я ничего не беру, зато хорошим ни в чем не отказываю. Всегда к вашим услугам.

– За плату, – вставил Панург.

– Ну, конечно, – подтвердил Рондibiliс.

Глава XXXV

О том, как смотрит на трудности брачной жизни философ Труйоган

Засим Пантагрюэль обратился к философу Труйогану:

– Ныне, о верный наш подданный, факел вручается вам. Настал ваш черед ответить на вопрос: жениться Панургу или нет.

– И то и другое, – отвечал Труйоган.

– Что вы говорите? – спросил Панург.

– То, что вы слышите, – отвечал Труйоган.

– А что же я слышал? – спросил Панург.

– То, что я сказал, – отвечал Труйоган.

– Ха-ха! – засмеялся Панург. – Трюх, трюх – все на одном месте.

Ну как же все-таки: жениться мне или нет?

– Ни то ни другое, – отвечал Труйоган.

– Пусть меня черт возьмет, если у меня не зашел ум за разум, – заметил Панург, – и он имеет полное право меня взять, оттого что я

ничего не понимаю. Погодите, дайте мне надеть очки на левое ухо, – так мне будет лучше вас слышно.

В это самое время Пантагрюэль заметил, что к дверям залы подбежала маленькая собачка Гаргантюа, которую тот назвал Кин, оттого что такова была кличка собаки Товита.

Тогда он объявил во всеуслышание:

– Наш государь идет. Встанемте!

Не успел Пантагрюэль это вымолвить, как в пиршественную залу вошел Гаргантюа; все встали и поклонились ему.

Приветливо со всеми поздоровавшись, Гаргантюа сказал:

– Милые друзья, прошу вас, доставьте мне удовольствие: не покидайте своих мест и не прерывайте беседы. Придвиньте мне кресло вот к этому краю стола. Мне хочется выпить за всех присутствующих. Ваше здоровье! А теперь скажите, о чем вы меж собой говорили.

Пантагрюэль ему ответил, что за второй переменной блюд Панург предложил разрешить проблему, следует ему жениться или не следует, что отец Гиппофадей и магистр Рондibiliс уже дали ответы, а что перед тем, как королю сюда войти, держал ответ его верноподданный Труйоган, причем сперва, когда Панург задал ему вопрос: «Жениться мне или нет?» – он ответил: «И то и другое одновременно», во второй же раз изрек: «Ни то ни другое».

Панург принес королю жалобу на бессмысленность и противоречивость этих ответов и объявил, что отказывается понимать философа.

– А мне думается, я его понял, – сказал Гаргантюа. – Это мне приводит на память ответ одного древнего философа на вопрос о том, имел ли он одну женщину, о которой шла речь: «Я ее – да, – отвечал философ, – а она меня – никогда, я ею обладал, не будучи обладаем ею».

– Так же ответила одна служанка в Спарте, – сказал Пантагрюэль. – Ее спросили, приходилось ли ей иметь дело с мужчиной. Она ответила, что ей самой – никогда, но что мужчинам иной раз приходилось иметь с нею дело.

– В таком случае, – сказал Рондibiliс, – будем нейтральны в медицине и пойдем средним путем в философии, сочетая и ту и другую крайность, отрицая и ту и другую крайность и поровну распределяя время между тою и другою крайностью.

– По моему разумению, – сказал Гиппофадей, – все это гораздо яснее выражено в послании апостола Павла: «Женатые должны быть, как не женатые; имеющие жен должны быть, как не имеющие». [\[601\]](#)

– Я толкую эти слова в таком смысле, – сказал Пантагрюэль: – иметь и не иметь жену, значит, иметь жену, памятуя о том, к чему она предназначена самою природою, а именно быть помощницею мужчины, радостью его жизни и спутницею его; не иметь жены – это значит не бабиться с нею, не осквернять ради нее той истинной и высшей любви, которую человек должен питать к Богу, не забывать своего долга перед отчизной, перед государством, перед друзьями и не запускать дел своих и занятий ради прихотей жены. Вот если мы так пойдем выражение: «Иметь и не иметь жену», то оно уже не покажется нам бессмысленным и противоречивым.

Глава XXXVI

Продолжение ответов Труйогана, философа эффектического и пирронического [\[602\]](#)

– На словах-то вы, как на органе, – заметил Панург, – и все же у меня такое чувство, будто я очутился на дне того самого темного колодца, где, по словам Гераклита, сокрыта истина. Ни черта не вижу, ничего не слышу, ощущаю оупение всех своих ощущений, – чего доброго, меня околдовали. Попробую, однако ж, заговорить по-иному. Верный наш подданный, не вставайте с места и подождите прятать деньги в кошелек! Давайте переиграем и не будем употреблять противоречений, – сколько я понимаю, разобщенные эти члены вас раздражают.

Итак, ради Бога, нужно ли мне жениться?

Труйоган. По-видимому.

Панург. А если я не женюсь?

Труйоган. Никакой беды в том не вижу.

Панург. Не видите?

Труйоган. Нет, или меня обманывает зрение.

Панург. А я вижу более пятисот.

Труйоган. Перечислите.

Панург. Говоря приблизительно, заменяя известное число неизвестным, определенное – неопределенным... в общем, изрядно.

Труйоган. Я вас слушаю.

Панург. Я не могу обойтись без жены, черти бы меня подрали!

Труйоган. Не поминайте мерзких этих тварей.

Панург. Извольте, клянусь вам Богом. Жители моего Рагу уверяют, что спать одному, без жены, совсем не сладко, и о том же самом говорила в своих жалобах Дидона. [\[603\]](#)

Труйоган. На ваше благоусмотрение.

Панург. Клянусь всеми моими потрохами, за мной дело не станет. Ну как, жениться мне?

Труйоган. Пожалуй.

Панург. И мне будет хорошо?

Труйоган. На какую нападете.

Панург. А если, Бог даст, нападут на хорошую, буду ли я счастлив?

Труйоган. В известной мере.

Панург. Подойдем с другого конца. А если на плохую?

Труйоган. Я за это не отвечаю.

Панург. Но посоветуйте же мне, умоляю вас. Что мне делать?

Труйоган. Все, что хотите.

Панург. А, вражья сила!

Труйоган. Не вызывайте злого духа, прошу вас.

Панург. Извольте, – ради Бога! Я поступлю только так, как вы мне посоветуете. Что же именно вы мне посоветуете?

Труйоган. Ничего.

Панург. Жениться мне?

Труйоган. Я тут ни при чем.

Панург. В таком случае я не женюсь.

Труйоган. Я умываю руки.

Панург. Если я не женюсь, то, значит, я никогда не буду рогат?

Труйоган. Выходит, так.

Панург. Положим, все-таки я женат.

Труйоган. Куда положим?

Панург. Я хочу сказать: предположите такой случай, что я женат.

Труйоган. Предположить все можно.

Панург. Вот вляпался-то я! Эх, кабы выругаться сейчас втихомолку, все бы легче на душе стало! Ну, ничего, запасемся

терпением. Стало быть, если я женюсь, то буду рогат?

Труйоган. Говорят, случается.

Панург. Ну, а если моя жена окажется скромной и целомудренной, то я не буду рогат?

Труйоган. Как будто бы так.

Панург. Послушайте!

Труйоган. Слушаю, слушаю.

Панург. Но будет ли она скромной и целомудренной? Вот в чем вопрос.

Труйоган. Сомневаюсь.

Панург. Но ведь вы ее никогда не видели?

Труйоган. Сколько мне известно.

Панург. Как же вы можете сомневаться в том, чего не знаете?

Труйоган. Имею основания.

Панург. А если б вы ее знали?

Труйоган. Я бы еще больше сомневался.

Панург. Эй, паж, золотце мое, на, держи, – я дарю тебе мою шляпу, только без очков, а ты пойдти на задворки и поругайся там с полчаса за меня! Я тоже за тебя когда-нибудь поругаюсь... Да, но кто именно наставит мне рога?

Труйоган. Кто-нибудь.

Панург. А, чтоб вам пусто было! Вот я вас сейчас вздую, господин «кто-нибудь»!

Труйоган. Дело ваше.

Панург. Пусть меня утащит огнеглазый враг рода человеческого, если я не буду надевать жене бергамский пояс перед тем, как отлучиться из дому.

Труйоган. Выражайтесь учтивее.

Панург. Довольно испражняться в красноречии! Надо же наконец на что-нибудь решиться.

Труйоган. Я не возражаю.

Панург. Погодите. Так как отсюда мне вам кровопускание не устроить, то я вам пуцу кровь из другой жилы. Сами-то вы женаты или нет?

Труйоган. Ни то ни другое и все, вместе взятое.

Панург. Господи помилуй! Даже в пот ударило, накажи меня бык, и пищеварение сразу нарушилось! Все мои френы^[604], метафрены и

диафрагмы натянуты и растянуты на предмет сквозьрешетонивания всех ваших ответов и изречений в суму моего разумения.

Труйоган. Я этому не препятствую.

Панург. Поехали дальше! Что же, верный наш подданный, вы женаты?

Труйоган. Мне так представляется.

Панург. Вы женаты вторым браком?

Труйоган. Возможно, что и так.

Панург. А в первый раз вы были счастливы?

Труйоган. Ничего невозможного в этом нет.

Панург. А во второй раз как у вас идет дело?

Труйоган. Идет волею судеб.

Панург. Но как же именно? Скажите мне по чистой совести: вы счастливы?

Труйоган. Вероятно.

Панург. Ах ты, Господи! Клянусь ношей святого Христофора, легче дохлому ослу пукнуть, нежели мне добиться от вас чего-нибудь определенного. Ну да я за себя постою. Итак, верный наш подданный, посраммим же князя тьмы и будем говорить только правду. Вам случалось носить рога? Когда я говорю – вам, я разумею вас, здесь присутствующего, а не вас, там, в преисподней, играющего в мяч.

Труйоган. Если не было на то предопределения свыше, то не случалось.

Панург. Клянусь плотью, я отступаюсь, клянусь кровью, я зарекаюсь, клянусь телом, я сдаюсь. Он неуловим.

При этих словах Гаргантюа встал и сказал:

– Благословенны все дела Господни! Я вижу, мир возмужал с тех пор, как я узнал его впервые. Подумать только, в какое время мы с вами живем! Значит, самые ученые и мудрые философы принадлежат ныне к фронтистерии^[605] и школе пирронистов, апорретиков, скептиков и эффектиков? Ну, слава Тебе, Господи! Право, теперь легче будет схватить льва за гриву, коня за холку, быка за рога, буйвола за морду, волка за хвост, козла за бороду, птицу за лапки, а уж вот такого философа на слове никто не словит. Прощайте, милые друзья!

Сказавши это, он направился к выходу. Пантагрюэль и другие хотели было его проводить, но он воспротивился.

Когда Гаргантюа покинул залу, Пантагрюэль обратился к гостям:

– У Платона в *Тимее* считали приглашенных, как скоро начиналось собрание, мы же, наоборот, сосчитаем в конце. Раз, два, три... А где же четвертый? Где же наш друг Бридуа?

Эпистемон сказал, что он был у него, но не застал дома. За ним приехал пристав Мирленгского парламента и объявил, что сенаторы срочно требуют его для личных объяснений по поводу одного вынесенного им приговора. В связи с этим обстоятельством он выехал накануне, дабы явиться в указанный срок и не подвергнуться взысканию за неявку.

– Любопытно мне знать, в чем состоит дело, – сказал Пантагрюэль. – Бридуа отправляет должность судьи в Фонбетоне вот уже более сорока лет. За это время он вынес более четырех тысяч окончательных приговоров. Две тысячи триста девять вынесенных им приговоров были обжалованы проигравшими дело в верховный суд Мирленгского парламента. Все его решения были признаны в высшей инстанции правильными, утверждены и оставлены в силе, апелляции же отклонены и оставлены без последствий. И вот если теперь его, на старости лет, вызывают лично, его, который всю жизнь свято исполнял свои обязанности, значит, с ним стряслась беда. Во имя торжества справедливости я хочу всемерную оказать ему помощь. Мне ведомо, что зло в мире все растет и растет, ныне законные права нуждаются в особой защите, а посему, во избежание могущих быть неожиданностей, я намерен обратить на это дело сугубое внимание.

Тут все встали из-за стола. Пантагрюэль поднес гостям дорогие и почетные дары, как-то: перстни, разные драгоценные вещи, посуду золотую и серебряную, и, горячо поблагодарив их, удалился в свои покои.

Глава XXXVII

О том, как Пантагрюэль уговаривает Панурга посоветоваться с дурачком

Идя к себе, Пантагрюэль заметил, что в галерее стоит с мечтательным видом Панург и задумчиво покачивает головой.

– Вы мне напоминаете мышь, попавшую в смолу, – сказал Пантагрюэль. – Чем больше усилий тратит она, чтобы выбраться, тем глубже увязает. Так и вы: чем больше видимых усилий прилагаете вы к

тому, чтобы выпутаться из сети сомнений, тем хуже запутываетесь. Я знаю только одно средство. Слушайте. Мне часто приходилось слышать народное выражение: иной дурак и умного научит. Так как ответы людей умных вас не совсем удовлетворили, посоветуйтесь с каким-нибудь дурачком. Может статья, беседа с ним даст вам более полное удовлетворение. Вы же знаете, что мнения, советы и предсказания дурачков многожды спасали владетельных князей, королей и даже целые государства, помогали выигрывать сражения, выводили из затруднительных положений.

Приводить примеры, по-моему, нет надобности. Я думаю, вы проникнетесь моим доводом: кто усердно занимается своими частными и домашними делами, кто зорко смотрит за своим домом, кто выказывает осмотрительность, кто не упускает случая к приобретению и накоплению земных благ и богатств, кто заранее принимает меры, чтобы не обеднеть, того вы называете житейски мудрым человеком, хотя бы в очах божественного разума он и казался глупцом, ибо для того, чтобы божественный разум признал человека мудрым, то есть мудрым и прозорливым по внушению свыше и готовым к восприятию благодати откровения, должно позабыть о себе, должно выйти из себя, освободить свои чувства от всех земных привязанностей, очистить свой разум от всех мирских треволнений и ни о чем не заботиться, что для людей невежественных является признаком безумия.

На этом основании непросвещенная чернь называла Фатуальным^[606] великого прорицателя Фавна, сына Пика, царя латинов. Потому-то когда комедианты распределяют между собою роли, то роли простака и шута неизменно поручаются наиболее искусственным и наиболее даровитым. На том же основании астрологи утверждают, что у царей и у безумных одинаковый гороскоп, и обыкновенно приводят в пример Энея и Кореба, которого Эвфорион почитал за дурачка: и у того и у другого гороскоп был одинаковый.

Кстати, позвольте вам напомнить, что Джованни Андреа в своем толковании папского послания мэру и жителям Ла-Рошели, а после него Панормита в своем толковании, Барбаций в комментарии к *Пандектам* и совсем недавно Ясон в своих *Советах*^[607] рассказывали о сеньоре Жоане, знаменитом парижском шуте, прадеде Кайета.

Дело было так. Однажды в Париже, близ Пти Шатле, некий грузчик ел в харчевне хлеб перед самым вертелом, – он находил, что хлеб, пропитанный запахом жареного, не в пример вкуснее обычного. Хозяин его не трогал. Когда же грузчик умял весь свой хлеб, хозяин схватил его за шиворот и потребовал с него платы за запах жаркого. Грузчик доказывал, что он никакого ущерба его мясу не причинил, ничего у него не брал и ничего ему не должен. Запах, из-за которого загорелся спор, все равно, мол, выходит наружу и мало-помалу разносится в воздухе, а это, мол, неслыханное дело, чтобы в Париже брали деньги за то, что на улице пахнет жареным. Хозяин харчевни твердил, что он не обязан кормить грузчиков запахом своего жаркого, и побожился, что отнимет у него крюки, коли тот не заплатит. Грузчик схватил палку и изготавился к обороне. Завязалась жестокая потасовка. Отовсюду набежали парижские зеваки. В их толпу замешался и шут сеньор Жоан, житель города Парижа. Заметив его, хозяин сказал грузчику: «Давай спросим славного сеньора Жоана, кто из нас прав». – «Давай спросим, расперетак твою так», – сказал грузчик.

Узнав, из-за чего они повздорили, сеньор Жоан велел грузчику достать из-за пояса серебряную монету. Грузчик дал ему турецкий филипп. Сеньор Жоан взял монету и положил ее себе на левое плечо, как бы для того, чтобы взвесить; затем подбросил ее на левой ладони, как бы желая увериться, не фальшивая ли она; затем поднес ее к самому зрачку правого глаза, как бы для того, чтобы получше рассмотреть ее чеканку. Все зеваки хранили в это время совершенное молчание, хозяин терпеливо ждал, а грузчик был в отчаянии. Наконец сеньор Жоан несколько раз подряд стукнул монетой о вертел. Засим он, держа в руке погремушку так, словно это был скипетр, с величием заправского председателя суда надвинул на лоб свой колпак, отороченный мехом под куницу, с ушками из бумажного кружева, разика два-три откашлялся и во всеуслышание объявил: «Суд признал, что грузчик, вместе с хлебом проглотивший запах жареного, уплатил сполна хозяину звоном монеты. На основании этого суд постановляет отпустить истца и ответчика восвояси, освободив их от уплаты судебных издержек, и дело на том прекратить».

Этот приговор парижского шута показался названным мною ученым удивительно и поразительно справедливым, и они даже

высказались в том смысле, что если бы дело грузчика слушалось в парижском парламенте, или же в римской курии, или же, наконец, в ареопаге, то вряд ли какое-либо из сих трех судилищ вынесло бы юридически более правильное решение. Вот вы теперь и скажите, не испытываете ли вы желание посоветоваться с кем-нибудь из шутов.

Глава XXXVIII

О том, как Пантагрюэль и Панург расхваливали Трибуле

– Клянусь моей душой, желаю, – сказал Панург. – Я испытываю такое чувство, будто задний проход у меня расширился, а ведь еще совсем недавно он был у меня сжат и плотно заперт. И уж раз мы порешили обратиться за советом к столпам учености, то мне бы хотелось, чтобы главным советчиком нашим был не просто сумасброд, а сумасброд в высшей степени.

– Мне кажется, что Трибуле – это сумасброд несомненный, – сказал Пантагрюэль.

А Панург подхватил:

– Сумасброд неизменный и отменный.

Пантагрюэль

Сумасброд фатальный,

сумасброд от природы,

сумасброд небесный,

Панург

Сумасброд на высокой ноте,

сумасброд бекарный и бемольный,

сумасброд земной,

сумасброд жизнерадостный и шаловливый,

сумасброд проказливый и красивый,

сумасброд с помпончиками,

сумасброд с фестончиками,

сумасброд с бубенчиками,

сумасброд улыбочивый и венеропослушный,

сумасброд отстоявшийся,

сумасброд прямо из-под давилни,

сумасброд первочанный,

сумасброд бродильный,
сумасброд двужильный,
сумасброд папский,
сумасброд консисторский,
сумасброд конклавистский,
сумасброд буллистский,
сумасброд синодальный,
сумасброд епископальный,
сумасброд докторальный,
сумасброд монахальный,
сумасброд фискальный,
сумасброд экстравагантный,
сумасброд в докторской шапочке,
сумасброд детородный,
сумасброд отонзуренный,
сумасброд, в науке сумасбродства преуспевший,
сумасброд трезвонный,
сумасброд, среди ученых сума —
сбродов наипервейший,
сумасброд манатейный,
сумасброд первоприсутствующий,
сумасброд владычный,
сумасброд первоверховный,
сумасброд духовный-греховный,
сумасброд, только-только из гнезда взятый,
сумасброд перелетный,
сумасброд желторотый,
сумасброд отлинявший,
сумасброд высокого полета,
сумасброд хищный,
сумасброд хвостотрастивший,
сумасброд дикий,
сумасброд пустопорожний,
сумасброд недоуздовый,
сумасброд высокопарный,
сумасброд, всех шутов перешутовавший,
сумасброд цветочновенчиковый,

сумасброд восточный,
сумасброд возвышенный,
сумасброд алый,
сумасброд пунцовый,
сумасброд городской,
сумасброд метелочный,
сумасброд в клеткесидящий,
сумасброд модальный,
сумасброд вторичной интенции,
сумасброд-альманашник,
сумасброд гетероклитический,
сумасброд соммистский,
сумасброд-сократитель,
сумасброд морискный,
сумасброд распробуллированный,
сумасброд мандатарный,
сумасброд капюшонарный,
сумасброд титулярный,
сумасброд баловной,
сумасброд боевой,
сумасброд, на передок сильный,
сумасброд, на ноги слабый,
сумасброд блудливый,
сумасброд угрюмый,
сумасброд проветренный,
сумасброд кулинарный,
сумасброд ражий,
сумасброд шпиговальный,
сумасброд котелковый,
сумасброд катаральный,
сумасброд статный,
сумасброд двадцатичетырехкаратный,
сумасброд чудной,
сумасброд – мозги набекрень,
сумасброд с мартингалом,
сумасброд с палочками,
сумасброд с погремушечкой,

сумасброд увертливый,
сумасброд непомерный,
сумасброд спотыкливый,
сумасброд престарелый,
сумасброд-деревенщина,
сумасброд толстопузый,
сумасброд разряженный,
сумасброд расфуфыренный,
сумасброд-здоровяк сумасброд загадочный,
сумасброд наилучшего покроя,
сумасброд, увеличенный втрое,
сумасброд в шляпе с загнутыми полями,
сумасброд замаскированный,
сумасброд инкрустированный,
сумасброд персидской работы,
сумасброд, рулады выводящий,
сумасброд крапчатый,
сумасброд без сучка без задоринки.

Пантагрюэль. У древних римлян были основания, чтобы назвать Квириналии праздником дураков, – с таким же успехом можно установить во Франции Трибулетиналии.

Панург. Если б все дурачки носили подхвостники, то ему здорово натирало бы ягодицы.

Пантагрюэль. Если б он был тем Фатуальным богом, о котором мы с вами говорили, мужем божественной Фатуи, то отцом его был бы Бонадиес^[608], а бабушкой Бонадеа.

Панург. Если б все дурачки бежали иноходью, то, хотя у него и кривые ноги, он бы летал, как птица. Отправимся к нему немедленно. Я уверен, что он даст самое верное заключение.

– Я хочу присутствовать при разборе дела Бридуа, – объявил Пантагрюэль. – Я отправлюсь в Мирленг, на тот берег Луары, а Карпалима пошлю в Блуа за Трибуле.

Карпалим тот же час тронулся в путь. Пантагрюэль же со слугами, Панург, Эпистемон, Понократ, брат Жан, Гимнаст, Ризотом и другие двинулись по дороге в Мирленг.

Глава XXXIX

О том, как Пантагрюэль присутствует при разборе дела судьи Бридуа, выносившего приговоры с помощью игральные кости

На следующий день Пантагрюэль прибыл в Мирленг как раз к началу суда. Председатель, сенаторы и советники предложили ему войти в залу вместе с ними и послушать, какие объяснения даст Бридуа по поводу обвинительного приговора, который он вынес Тушронду, каковой его приговор представляется-де настоящему центумвиральному суду не вполне справедливым.

Пантагрюэль не преминул войти и увидел Бридуа, – тот сидел в зале и в качестве единственного оправдания и единственного объяснения ссылался на то, что он уже стар, что зрение у него с годами притупилось, что старость влечет за собою много бед и невзгод, каковые *not per Archid. D. LXXXVI, C. tanta*^[609]; вот почему он-де не так ясно различает число очков на костях, как прежде, и вполне могло статься, что, подобно тому как старый и полуслепой Исаак принял Иакова за Исава, он при вынесении помянутого приговора мог принять четыре за пять, тем более что в тот день он пользовался маленькими костями, по закону же природные недостатки в вину не вменяются, о чем прямо говорится^[610] в *ff. de re milit., l. qui cum uno; ff. de reg. jur., l. fere; ff. de edil. ed. per totum; ff. de term, mo., l. Divus Adrianus; resolu. per Lud. Rom. in l. si vero; ff. solu. matri*^[611]; буде же кто рассудит иначе, тот не человека обвинит, но самую природу, как это явствует из *l. maximum vitium, C. de lib. praeter*.^[612]

– О каких костях вы говорите, друг мой? – спросил старший председатель суда Суеслов.

– О костях судебных, – отвечал Бридуа, – *alea judicierum*^[613], кои описаны *doct. 26 q. II c. Sors, l. nec emptio; ff. de contrah. empt., l. quod debetur; ff. de pecul. et ibi Barthol.* и коими вы, господа, обыкновенно пользуетесь в вашем верховном суде, равно как и все прочие судьи пользуются ими при решении дел, следуя указанию доктора Генриха Феранда, а также *no. gl. in c. fin. de sortil*, и *l. sed cum ambo, ff. de judi.; ubi doct.* доказывают, что метание жребия есть занятие весьма похвальное, благородное, полезное и необходимое, чтобы поскорее

сбывать с рук дела и тяжбы. Еще более недвусмысленно толкуют об этом Бальд, Бартол и Александр, *C. communia, de l. si duo*.

– Как же вы действуете, друг мой? – спросил Суеслов.

– Я вам отвечу на это кратко, – отвечал Бридуа, – руководствуясь *l. ampliolem, § in refutatoriis, C. de apella.*, а равно и *gl. l I ff. quod met. cau. Gaudent brevitare moderni*^[614]. Я действую так же, как и вы, господа, по всем правилам судопроизводства, каковых правил наши законы велят неукоснительно придерживаться, *ut no. extra. de consuet., c. ex literis, et ibi Innoc.* Со вниманием рассмотрев, пересмотрев, прочитав, перечитав, перерыв и перелистав просьбы, повестки, доверенности, судебные распоряжения, свидетельские показания, основания для отсрочки, доказательства по обоснованию иска и возражения противной стороны, справки, интендикции, контрдикции, прошения, отношения, первичные, вторичные и третичные объяснения сторон, добавления к обоснованию иска, заявления об отводе свидетелей, жалобы, возражения против отвода свидетелей, списки свидетелей, записи очных ставок, записи очных ставок главного обвиняемого с его соучастниками, либеллии, апостолии, королевские грамоты, распоряжения нотариусам, заявления сторон о подсудности дел, встречные претензии, требования о передаче дел в другую инстанцию, сопроводительные, препроводительные, судебные заключения, дополнительные протесты, предписания суда тяжущимся изложить претензии и контрпретензии в назначенный срок, апелляции, признания ответчика, судебные решения и прочие тому подобные прелести, я, как полагается доброму судье и как нам предписывают *Spec, de ofdinario, § III, et tit. de offi. omn. ju., § fi, et de rescriptis praesenta., § 1*, сидя у себя в кабинете, откладывая на край стола все мешки ответчика и первым делом мечу жребий, так же как и вы, господа, *et est not. l. Favorabiliores, ff. de reg. jur., et in c. cum sunt, eod., tit. lib. VI*, где сказано: *Cum sunt partium jura obscura, reo favendum est potius quam actori.*^[615]

Засим я, так же как и вы, господа, откладывая на другой край стола мешки истца, *visum visu*^[616], ибо *opposita, juxta se posita, magis elucescunt*^[617], *ut not. in l I, § videamus, ff. de his qui sunt sui vel alie. fur., et in l munerum I mixta ff. de munez. et honor., a* сам в это время снова мечу жребий.

– Ну, а как же вы, друг мой, угадываете, какое дело более сложное, а какое – менее? – спросил Суеслов.

– Так же, как и вы, господа, – отвечал Бридуа, – чем сложнее дело, тем больше у той и у другой стороны мешков. Тогда я прибегаю к маленьким костям, так же как и вы, господа, согласно закону: *Semper in stipulationibus, ff. de reg. jur.*, а также основному закону, облеченному в стихотворную форму, *q. eod. tit.*:

Semper in obscuris quod minimum est sequimur,^[618]

включенному в действующее каноническое право *in c. in obscuris, eod. tit. lib. VI*. К большим же костям, красивым и увеселяющим слух, я, так же как и вы, господа, прибегаю, когда дело полегче, то есть когда меньше мешков.

– Как же вы, друг мой, выносите приговоры? – спросил Суеслов.

– Так же, как и вы, господа, – отвечал Бридуа. – Я наудачу бросаю кости и решаю дело в пользу того, кому на счастье выпадет больше очков, и этот способ решения есть способ истинно юридический, способ, достойный трибуна и претора. Так нам предписывают законы: *ff. qui po. in pig., l potior. leg. creditor., C. de consul, l I, et de reg. jur., in VI: Qui prior est tempore potior est jure.*^[619]

Глава XL

О том, как Бридуа объяснял, почему, однако ж, почитает он за должное прежде изучить дело, а потом уже решить его с помощью костей

– Так, друг мой, – сказал Суеслов, – но коль скоро вы решаете дела метанием жребия, бросанием костей, то почему же вы не прибегаете к подобному способу в тот самый день и час, когда тяжущиеся стороны предстают перед вами, без лишней проволоочки? Для чего вам нужны все эти бумаги и вся эта переписка, содержащаяся в мешках?

– Для того же, для чего и вам, господа, – отвечал Бридуа. – Все это служит мне для целей благих, многообразных и законосообразных.

Во-первых, для проформы; без соблюдения же проформы приговор не может быть признан действительным, что прекрасно доказывают *Spec. tit. de instr. edi. et tit. de rescrip. praesent.* Притом вы и сами отлично знаете, что в судебном процессе формальности часто убивают содержание и существо дела, ибо *forma mutata mutatur substantia*^[620], *ff. ad exhib., l. Julianus; ff. ad leg. falcid., l. Si is qui quadringenta, et extra., de deci., c. ad audientiam, et de celebra. miss., c. in quadam.*

Во-вторых, так же как и вам, господа, они служат мне почтенным и полезным упражнением. Покойный господин Отоман Вадар, великий медик, с чем вы, верно, согласитесь, *C. de comit. et archiatr., lib. XII*, не раз говорил мне, что отсутствие физических упражнений есть единственная причина нашей с вами, господа, болезненности и недолговечности, что относится решительно ко всем судебским и что еще до Вадара блестяще доказал Бартол *in l. I C. de senten. quae pro eo quod.* А посему, господа, вы и себе и нам, *quia accessorium naturam sequitur principalis*^[621], *de leg. jur. lib. VI, et l. cum principalis, et l. nihil dolo., ff. eod. titu.; ff. de fidejusso. l. fidejussor, et extra, de offic. de leg., c. I*, дозвольте некоторые полезные, благопристойные и веселые забавы, *ff. de al. lus. et aleat., l. solent, et autent. ut omnes obediant, in princ., coll. VII, et ff. de praescript. verb., l. si gratuitam, et l. I C. de spect. lib. XI*, и таково мнение доктора Фомы, *in secunda secundae, quaest. CLXVIII*, весьма кстати приведенное доктором Альбериком де Розата, который *fuit magnus practicus*^[622] и бесподобным ученым, как отзывается о нем Барбацій *in prin. consi l;* обоснование же этому дано *per gl. in prooemio ff. § ne autem tertii:*

Interpone tuis interdum gaudia curis.^[623]

И точно: в 1489 году у меня были денежные дела с высшим податным судом, и вот однажды, получив от привратника платное позволение туда войти, – ибо вам, господа, как и всем нам, известно, что *pecuniae obediunt omnia*^[624], и то же самое говорит Бальд *in l. Singularia, ff. si certum pet.* и Салицет *in l. recepticia, C. de constit. pecun., et Card, in cle. I, de baptis.,* — я увидел, что члены суда, все до одного, играют в «муху», понеже «муха» есть упражнение, для

здоровья полезное, вот только не знаю, когда именно они играли: до или после завтрака; впрочем, сие несущественно – *hic no.*^[625], что игра в «муху» есть игра благопристойная, полезная, старинная и дозволенная, *a Musco inventore de quo C., de petit haered., I. si post motam.* и *Muscarii id est* игра в «муху» законом не воспрещается, *l. I C. de excus. artif., lib. X.*

И, сколько я помню, «мухой» был тогда господин Тильман Пике^[626], и он посмеивался над уважаемыми членами помянутого мною суда: они, мол, об его спину обтрепали себе все шляпы, и предупреждал их, что когда они придут домой, то оправдаться в этом перед женами им не удастся, согласно *c. I., extra, de preasump., et ibi gl.* Словом, *resolutorie loquendo*^[627], я скажу, так же как и вы, господа, что в нашем судейском мире нет занятия более ласкающего обоняние, чем опоражнивать мешки, листать бумаги, нумеровать папки, наполнять корзины и изучать дела, *ex Bart. et Jo. de Pro., in l. falsa, de condit. et demon. ff.*

В-третьих, я, так же как и вы, господа, нахожу, что время всему дает возможность созреть, с течением времени все проясняется, время – отец истины, *gl. in l. I, C. de servit., Autent., de restit. et ea quae pa., et Spec. tit. de requis. cons.* Вот почему я, так же как и вы, господа, отдаляю, отсрочиваю и откладываю суд до тех пор, пока дело, тщательно проветренное, раскумеканное и разобранное, по прошествии долгого времени не достигнет зрелости, и тогда жребий, который потом выпадает на долю проигравшего, принимается им гораздо спокойнее, как *no. gl. ff. de excu. tut., l. Tria onera:*

Portatur leviter, quod portat quisque libenter.^[628]

Суд незрелый, зеленый суд, суд в первоначальной своей поре, таит в себе ту же самую опасность, которая, как уверяют медики, грозит человеку, если ему вскрыть несозревший нарыв или же если изгнать из тела какие-нибудь вредные соки, прежде чем они успеют перевариться, ибо, как сказано *in Autent., haec constit. in inno. const. prin.,* и ту же мысль заключает в себе *gl. in. c. Caeterum, extra de jura, calum.: Quod medicamenta morbis exhibent, hoc jura negotiis*^[629]. К тому же сама природа учит нас срывать и вкушать только зрелые плоды,

Instit. de re. di., § is ad quem, et ff. de acti. empt., l Julianus, выдавать замуж только зрелых девиц, ff. de donat. int. vir. et uxo., l cum hie status, § si quia sponsa., et XXVII, q., I c. sicut гласит gl.:

Jam matura thoris plenis adoleverat annis
Virginitas^[630],

и во всех случаях жизни следует дожидаться совершенной зрелости: *XXIII, q. II, § ult. et XXXIII d. c. ult.*

Глава XLI

О том, как Бридуа рассказывает историю про одного мирового посредника

– Кстати, мне вспомнилось вот что, – продолжал Бридуа. – В те времена, когда я учился на юридическом факультете в Пуатье, у *Brocadium juris*^[631], в Смарве жил некто Перен Бальбес, человек почтенный, добрый хлебопашец, славно певший в церкви, пользовавшийся всеобщим доверием, и был он старше вас всех, господа: он говорил, что видел своими глазами простоватого верзилу по имени Латеранский Собор^[632] в красной широкополой шляпе и его достойную супругу Прагматическую Санкцию^[633] в длинном, персидского атласа, платье и с крупными гагатовыми четками.

Вот этот-то добропорядочный человек кончил полубовно больше тяжб, нежели Пуатьерская судебная палата, Монморийонский окружной суд и сельский суд в Партене-Ле-Вье, чем стяжал себе славу во всем околотке. Все споры, тяжбы и распри, возникавшие в Шовиньи, Нуайе, Крутеле, Эне, Лигюже, Ла-Моте, Люзиньяне, Вивоне, Мезо, Этабле и окрестных селениях, он прекращал не хуже верховного судьи словом убеждения, хотя никаким судьей он никогда не был, а был просто-напросто хорошим человеком, *Arg. in l. sed si unius, ff. de jureju., et de verb, oblig., l. continuus*. Где ни заколют свинью, сейчас ему тащат жареной свининки и колбас. Чуть не каждый день кто-нибудь да звал его на пирушку, на свадьбу, на посиделки, на крестины или же в таверну, чтобы уладить ссору, он же, прежде чем

склонить тяжущихся на мировую, непременно заставлял их выпить в знак примирения, полного согласия и радостного этого события, *ut no. per doct., ff. de peri, et comm. rei vend. l I.*

У него был сын, Тено Бальбес, малый здоровенный, дай Бог всякому такое здоровье, малый честный, и по примеру отца он тоже пожелал заняться посредничеством, – вы же знаете, что

Saepe solet similis filius esse patri
Et sequitur leviter filia matris iter^[634],

ut ait gl., VI q., I, c. Si quis; g. de const., d. V, c. I fi; et est no. per doct. C. de impu. et aliis subst., l. ult. et I. legitimae, ff. de stat. hom., gl. in l. quod si nolit, ff. de edil. ed., l quis, C. ad le. Jul. majest. Excipio filias a moniali susceptos ex monacho^[635], per gl. in c. Impudicas, XXVII q. I. И в своих бумагах он так и именовал себя: мировой посредник.

И тут он выказывал чрезвычайную ретивость и бдительность, ибо *vigilantibus jure subveniunt^[636] ex l. pupillos, ff. quae in fraud. cred., et ibid. l non enim, et Instit, in prooemio*, и только, бывало, зачуёт, *ut ff. si quad. paup. fec. l. Agaso. gl. in verbo olfecit, i. nasum ad culum posuit^[637]*, и заслышит, что где-нибудь начинается тяжба или спор, он уже тут как тут: спешит кончить дело миром.

Сказано: *Qui non laborat, non manige ducat*, и то же самое говорит *gl., ff. de dam. infect., l. quamvis, et currere^[638]* быстрее, чем шагом.

Vetulam compellit egestas;^[639]

gl. ff. de lib. agnos., l Si quis pro qua facit; l. Si plures, C. de cond. incer. Однако же ему так с этим не везло, что он не мог уладить самое пустяковое дело; вместо того чтобы примирить тяжущихся, он только еще сильнее раздражал и ожесточал их. Вы же знаете, господа, что

Sermo datur cunctis, animi sapientia paucis^[640],

gl., ff. de alie. ju. tu. caus. fa. l II. А хозяева смарвских таверн говорили, что при нем они и за целый год не продают столько «мирового» вина (так называли они доброе лигюжейское вино), сколько продавали в полчаса при его отце. Как-то раз он пожаловался отцу на свою незадачливость, причины же таковой он усматривал в повреждении нравов своих современников, и он прямо сказал отцу, что если бы, мол, и в прежнее время люди были такими же испорченными, такими же сутягами, такими же разнузданными и озлобленными, как сейчас, то почетное звание мирового посредника могло бы быть у него оспорено. Должно заметить, что в сем случае Тено нарушил закон, воспрещающий детям порицать своих родителей, *per gl et Bar., l III, § Si quis, ff. de condit. ob caus., et Autent., de nup., § Sed quod sancitum, coll. IV.*

«Тут надлежит поступать по-иному, сын мой Бальбес, – возразил Перен. – Ведь

Коль oportet^[641] пущен в ход,
Всё как надлежит пойдет*,

gl. C. de appell., l. eos etiam. Не здесь зарыта собака. Тебе никогда не удастся покончить дело миром. Почему? Потому что ты приступаешь к делу в первоначальную пору, когда оно еще зелено и незрело. Я улаживаю любое. Почему? Потому что я приступаю к нему под самый конец, когда оно уже как следует созрело и переварилось; так гласит *gl.:*

Dulcior est fructus post multa pericula ductus^[642],

l. non moriturus, C. de contrahend. et comit. stip.

Разве ты не слыхал известной поговорки: счастлив тот врач, которого зовут к больному, когда дело идет на поправку? Врач еще не успел явиться, а болезнь после кризиса сама собой пошла на убыль. Так же точно и мои тяжёбщики: их тяжба сама собой шла на убыль, оттого что их кошельки тощали; они сами по себе переставали тягаться

и таскаться по судам; у них не было больше звяк-звяков в кладилках, чтобы таскаться по судам и тягаться:

Deficiente pecu, deficit omne, nia. [\[643\]](#)

И тут им не доставало только паранимфа и посредника, который первым заговорил бы о примирении и тем самым избавил и ту и другую сторону от унижительных пересудов: «Этот первый сдался; он первый предложил помириться; он первый не выдержал; чувствовал, что правда не на его стороне; знал, что все равно ему не выиграть». Тут-то я им и подвертываюсь как раз вовремя, – на ловца и зверь бежит: это мой час, моя удача, мое счастье. Уверяю тебя, сын мой пригожий Бальбес, что таким способом я мог бы достигнуть мира, или уж по крайности перемирия, между великим королем и венецианцами, между императором и швейцарцами, между англичанами и шотландцами, между папой и феррарцами. Да что я говорю? С Божьей помощью я бы замирил султана турецкого с шахом персидским, татар с московитами.

Я бы, понимаешь, взялся за них в ту самую пору, когда они уже устали воевать, когда сундуки у них у самих опустели, а из кошельков у своих подданных они все уже повытянули, когда они уже пораспродали свои имения, заложили земли, а довольствие и съестные припасы у них на исходе. Вот тогда-то, клянусь Богом и Божьей Матерью, им волей-неволей пришлось бы передохнуть и вероломство свое умерить. Есть такое положение *in gl. XXXVII d. c. Si quando*:

Odero si potero; si non, invitus amabo. [\[644\]](#)

Глава XLII

О том, как рождаются судебные дела и как они созревают

– Вот почему, – продолжал Бридуа, – я, так же как и вы, господа, оттягиваю время и выжидаю, пока дело достигнет зрелости и совершенства во всех своих членах, как-то: в актах и в сумках. *Arg. in l. Si major., C. commu. divi. et de cons. d. I, c. Solennitates, et ibi gl.*

При своем зарождении судебное дело представляется мне, так же как и вам, господа, бесформенным и несовершенным. Оно подобно новорожденному медвежонку: у такого медвежонка не разберешь ни ног, ни рук, ни шкуры, ни шерсти, ни головы, – это грубый и бесформенный кусок мяса, но как скоро медведица его оближет, отдельные его органы становятся различимы, *ut no. doct., ff. ad leg. Aquil, l. II, in fi.*

Подобным образом мне, так же как и вам, господа, зарождающиеся судебные дела на первых порах представляются бесформенными и органов лишенными. Они тогда еще располагают всего лишь одной или же двумя бумагами: это животные-уродцы. Но когда вы ими доверху набьете сумки, всюду их навалите, все ими завалите, вот уж тут можно будет сказать положа руку на сердце, что дела возмужали и обрели форму, ибо *forma dat esse rei*^[645], *l. Si is qui, ff. ad leg. Falci. in c. cum dilecta extra de rescrip.; Barbatia, consil. 12, lib. 2*, а еще раньше *Valb. in c. ulti extra de consue., et l. Julianus, ff. ad exhib., et l. Quaestium, ff. de leg. III.* Отсылаю вас к *gl. p. q. I c. Paulus:*

Debile principium melior fortuna sequetur.^[646]

Так же как и вы, господа, таким же точно образом, судебные исполнители, судебные приставы, сторожа, ходатаи по делам, прокуроры, комиссары, адвокаты, судебные следователи, письмоводители, нотариусы, писцы и местные судьи, *de quibus tit. est lib. III Cod.*, неустанно и непрерывно высасывают кошельки тяжущихся сторон, по каковой причине у тяжб с течением времени появляются головы, ноги, когти, клювы, зубы, руки, вены, артерии, нервы, мускулы, соки. Это и есть сумки; *gl. de Cons. d. IV c. Accepisti.*

Qualis vestis erit, talia corda gerit.^[647]

Hic no.^[648], что в этом смысле тяжущиеся счастливее министров юстиции, ибо *beatius est dare quam accipere*^[649], *ff. commun., I. III et extra de celebra. miss., c. cum Marthae, et 24 q., I c., Odi. gl.:*

Affectum dantis pensat censura tonantis.^[650]

Так судебные процессы достигают совершенства, достигают стройности и красоты форм, что именно и утверждает *gl. can.*:

Accipe, sume, cape sunt verba placentia papae^[651]

и что еще определеннее выражено Альбериком де Розата *in verb. Roma*:

Roma manus rodit; quas rodere non valet, odit;
Dantes custodit, non dantes spernit et odit.^[652]

Вопрос: почему?

Ad praesens ova cras pullis sunt meliora^[653],

ut est glo., in l. Quum hi, ff. de transact. Невыгоды противоположного способа изложены *in gl. C. de allu. l. F.*:

Cum labor in damno est, crescit mortalis, egestas.^[654]

Само слово *процесс* происходит от глагола *процеживать*. И наша задача – без конца процеживать дела и выцеживать из кошельков. Позволю себе напомнить вам прелестные эти шутки:

Litigando jura crescunt;
Litigando jus acquiritur.^[655]

Item gl. in c. Illud, ext. de Praesumpt., et C. de prob., l Instrumenta, l Non epistolis, l. Non nudis:

Et cum non prosunt singula, multa juvant. ^[656]

– Так, друг мой, – молвил Суеслов, – а как же вы рассматриваете уголовные дела, когда обвиняемые захвачены *flagrante crimine*? ^[657]

– Так же как и вы, господа, – отвечал Бридуа, – я позволяю и предоставляю право истцу хорошенько выспаться перед процессом, а затем явиться ко мне и представить подробный и юридически обоснованный отчет обо всем, что он видел во сне, согласно *gl. 32, q. VII c. Si quis cum*,

Quandoque bonus dormitat Homerus. ^[658]

Этот акт порождает какой-нибудь другой орган процесса, от того родится третий, с миру по нитке – голому рубашка. В конце концов я прихожу к заключению, что процесс благодаря всем информациям достаточно хорошо сформирован и что все члены его достигли совершенства. Только после этого я обращаюсь к костям, и надобно вам знать, что не я первый прибегнул к подобного рода необоснованной оттяжке и произвел знаменитый опыт со сном.

Я припоминаю такой случай: один гасконец по имени Грасьяно, родом из Сен-Севера, принимавший участие в осаде Стокгольма, проиграл все свои деньги и был этим обстоятельством весьма раздосадован, – вы же знаете, что *pecunia est alter sanguis* ^[659], *ut ait Antonio da Butrio in c. accedens., II, extra., ut lit. non contest., et Bald, in l. Si tuis., C. de op. li. per no., et l advocati, C. de advo. diu. jud.: Pecunia est vita hominis et optimus fidejussor in necessitatibus* ^[660]; и вот, когда игра кончилась, он громко сказал, обращаясь к своим товарищам: «*Pao cap de bious, hillotz, que mau de pippe bous tresbyre; ares que pergudes sont les mies bingt et quouatte bageuttas, ta pla donnerien picz, trucz et patacz. Sey degun de bous aulx qui boille truquar ambe iou a belz embiz?*» ^[661]

Охотников не нашлось; тогда он отправился в лагерь «стопудовых» и обратился к ним с такою же точно речью. Ландскнехты, однако ж, ему сказали: «*Der guascongner thut schich usz mitt eim jedem ze schlagen, aber er is geneigter zu staelen; darumb, lieben*

frauen, hend serg zu inuerm hausraut»^[662]. И никто из них на бой не вышел.

Тогда гасконец отправился в лагерь французских наемников, обратился к ним с такими же точно словами и смело вызвал их на бой, сопроводив свою речь всякими гасконскими выходками; никто, однако ж, ему не ответил.

После этого гасконец лег на краю поля, возле палаток толстяка Кристиана, рыцаря де Крисе, и уснул.

На ту пору один из наемников, также проигравший все свои деньги, вышел со шпагой из лагеря, имея твердое намерение сразиться с гасконцем, коль скоро и тот все проиграл:

Ploratur lachrymis amissa pecunia veris^[663], —

говорит *gl. de poenitent. dist. 3, c. Sunt plures*. Поискал, поискал он его в поле и наконец нашел спящим. Тогда он ему сказал: «Эй ты, малый, черт бы твою душу взял, вставай! Мы с тобой оба продулись. Давай драться, не щадя живота, давай отходим друг друга как следует быть! Гляди-ка: и шпаги у нас с тобой одинаковые».

А гасконец, ошалев спросонья, ему отвечает: «*Cap de saint Arnault, quau seys tu, qui me rebellez? Que mau de taoverne te gyre. Ho, saint Siobe, cap de Guascoigne, ta pla dormie iou, quand aquoest taquain me bingut est e e*».^[664]

Доброволец снова вызвал его на бой; гасконец, однако ж, ему сказал: «*H e, paouret, iou te esquinerie, ares que son pla reposat. Vayne un pauc qui te posar comme iou; puesse truqueren*».^[665]

Позабыв о своей утрате, гасконец утратил охоту драться. Коротко говоря, вместо того чтобы сражаться и – долго ли до греха? – ухлопать друг друга, они порешили заложить свои шпаги и вместе выпить. Доброе это дело сделал сон – это он утишил ярый гнев обоих славных воителей.

К этому случаю как раз подходят золотые слова Джованни Андреа^[666] *in c. ult. de sent. et re judic., libro sexto: Sedendo et quiescendo fit anima prudens*.^[667]

Глава XLIII

Как Пантагрюэль оправдывает Бридуа в том, что он выносил приговоры с помощью игральных костей

На этом Бридуа кончил. Суеслов велел ему покинуть залу суда, что тот и сделал. Тогда Суеслов обратился к Пантагрюэлю:

– Августейший принц! Не только в знак признательности за неисчислимыя благодеяния, коими вы осыпали наш парламент, а равно и весь Мирленгский маркизат, но, принимая также в соображение те качества, коими наделил вас всемогущий Господь, всякого блага податель, а именно: ваш светлый ум, рассудительность и беспримерную ученость, мы по праву предоставляем вам решить необыкновенное, из ряду вон выходящее, небывалое дело Бридуа, которого вы видели своими глазами, слышали своими ушами и который в вашем присутствии признался, что судит с помощью игральных костей. Мы просим вас решить его дело по справедливости и по закону.

Пантагрюэль же на это ответил так:

– Господа! Как вы знаете, по своему положению я не обязан решать судебные дела, но коль скоро вы мне оказываете такую честь, то я приму на себя обязанности не судьи, но защитника. Я нахожу у Бридуа такие качества, которые, как мне кажется, могут в сем случае послужить ему к оправданию. Я разумею, во-первых, его старость, во-вторых, его простоту, а вы знаете лучше меня, что по нашим правам и законам проступок человека престарелого и простоватого извиняется и прощается; в-третьих, опираясь на наши законы, я усматриваю еще одно обстоятельство, говорящее в пользу Бридуа, а именно: эта единственная его оплошность должна быть прощена и похерена, она должна раствориться в безбрежном море тех справедливых приговоров, которые он вынес за свою сорокалетнюю беспорочную службу, – ведь если я пущу в реку Луару каплю морской воды, то этой одной капли никто не почувствует, от этого вода в Луаре не станет соленой.

Я полагаю, что не без воли Божией все прежние его решения, выносившиеся также с помощью игральных костей, ваш уважаемый верховный суд признал правильными, слава же Господня, как вам

известно, нередко означается в посрамлении мудрых, низложении сильных и вознесении простых и смиренных. Я не собираюсь злоупотреблять долее вашим вниманием; я только прошу вас на сей раз, не из благодарности к нашему дому, – ни о какой благодарности не может быть и речи, – но во имя того душевного расположения, которое мы, и по сю и по ту сторону Луары уважающие ваше звание и достоинство, исстари питаем к вам, вынести по делу Бридуа оправдательный приговор вот на каких, однако ж, условиях: во-первых, возьмите с него торжественное обещание, что он удовлетворит тех, по чьему делу он вынес неправильное решение (на это я охотно даю свое соизволение и согласие); во-вторых, в помощь ему назначьте какого-нибудь молодого, сведущего, осмотрительного, искусного и добродетельного советника, с тем чтобы впредь во всем, что касается судопроизводства, Бридуа сообразовывался с его мнением.

Буде же вы почтете за нужное вовсе от должности его отрешить, то я покорнейше вас прошу предоставить его в полное мое распоряжение. В моих владениях найдется немало мест и должностей, где он может мне пригодиться и принести пользу. Засим молю Господа Бога, нашего сотворителя, промыслителя и всякого блага подателя, дабы Его святая благодать неизменно почивала на вас.

С этими словами Пантагрюэль, поклонившись суду, вышел из залы. У дверей его ожидали Панург, Эпистемон, брат Жан и другие. Все они сели на коней и поехали к Гаргантюа.

Дорогою Пантагрюэль рассказал во всех подробностях, как происходил суд над Бридуа.

Брат Жан припомнил, что знал Перена Бальбеса, когда тот жил в Фонтене-ле-Конт, во времена глубокочтимого аббата Ардийона.

Гимнаст сказал, что когда гасконец препирался с французом, он находился в палатке толстяка Кристиана, рыцаря де Крисе.

Панург усомнился в возможности решать дела наугад, да еще в течение долгого времени.

А Эпистемон сказал Пантагрюэлю:

– Что-то в этом роде говорят и про монлерийского судью. Но ведь кости – это чистая случайность, как же это могло столько лет сходиться судьбе с рук? Раз, ну два решить дело наудалую – это я еще понимаю, да и то если дело сложное, запутанное, трудное и темное.

Глава XLIV

О том, как Пантагрюэль рассказывает необыкновенную историю, свидетельствующую о шаткости человеческих суждений

– Как-то раз Гнею Долабелле, проконсулу Азии, пришлось решать одно дело, – сказал Пантагрюэль. – Суть его заключалась в следующем.

У одной женщины в Смирне был от первого мужа ребенок по имени Абева. Некоторое время спустя после смерти первого мужа она вышла замуж вторично, и от второго мужа у нее родился сын по имени Геде. Случилось так (а вы знаете, как редко отчимы, свекры, свекрови и мачехи любят детей от первых отцов и матерей), что второй ее муж и сын его Геде тайно, предательски, из-за угла убили Абева. Жена, узнав об их вероломстве и злодействе, порешила не оставлять этого преступления безнаказанным и, в отместку за убийство своего первенца, умертвила и мужа и сына. Ее взяли под стражу и привели к Гнею Долабелле. Ему она во всем чистосердечно повинулась; она лишь настаивала на том, что имела право и имела основания убить мужа и сына. Таковы обстоятельства дела.

Долабелла не знал, чью сторону принять в этом обоюдоостром деле. Преступление женщины было велико: она умертвила своего второго мужа и сына. С другой стороны, Долабелла нашел повод к убийству естественным, как бы вытекающим из права народов: ведь муж и сын убили ее первенца, убили по тайному сговору, из-за угла, не будучи ни оскорблены, ни обижены им, единственно из жадности, оттого что им хотелось завладеть его наследством, и Долабелла перенес это дело в афинский ареопаг, дабы узнать, как ареопаг на него взглянет и как он его решит. Ареопаг вынес постановление вызвать в суд тяжущихся по прошествии ста лет и тогда задать им некоторые вопросы, в протоколе не значащиеся. Следственно, ареопаг находился в полном недоумении, и дело представлялось ему до того темным, что он не знал, какое можно вынести по нему решение. А между тем, прибегни он к игральным костям, он бы в любом случае не попал впросак. Осуди он женщину, она бы понесла наказание заслуженное, ибо она сама за себя отомстила, тогда как это обязанность правосудия.

Для оправдательного приговора у ареопага также было достаточно веское основание: тяжкое горе этой женщины.

Но как мог Бридуа метать кости на протяжении стольких лет – все-таки это для меня непостижимо.

– По правде сказать, я не берусь ответить вам на этот вопрос с полной определенностью, – молвил Эпистемон. – Я могу только высказать следующую догадку: везенье с приговорами объясняется, быть может, тем, что судья Бридуа пользуется особым благоволением Небес и находится под особым покровительством высших движущих сил, и силы эти, видя его простоту и бесхитрость, видя, что он, не полагаясь на свои знания и способности, убедившись в антиномичности и противоречивости законов, эдиктов, установлений и указов, зная коварство адского клеветника, нередко приемлющего вид ангела света, с помощью приспешников своих, как-то: подкупленных адвокатов, советников, прокуроров и прочих им подобных прислужников – черное превращающего в белое и волшебством внушающего и той и другой стороне, что она права, – а вам хорошо известно, что даже для заведомо неправого дела защитники найдутся всегда, иначе не было бы на свете судебных дел, – смиренно поручает себя праведному судье – Богу, призывает на помощь божественную благодать, сознавая всю случайность и шаткость окончательных приговоров, уповает на Духа Святого и, меча жребий, угадывает Его веление и волеизъявление, именуемое нами судебным решением, – силы эти, говорю я, двигали кости и поворачивали их таким образом, что, падая, они принимали положение, благоприятное для того, кто, подав справедливую жалобу, добивался, чтобы законные его права были ограждены правосудием, а ведь мы же знаем мнение талмудистов, что в метании жребия нет ничего дурного и что когда люди полны тревоги и сомнений, воля Божья обнаруживается именно в жребии.

Я бы не сказал, я не склонен думать и отнюдь не считаю, что решать дело метанием костей наудачу, при невероятном криводушии и явной подкупности тех, кто чинит суд в Мирленгском парламенте, хуже, чем отдавать его в обгаренные кровью и пристрастные руки этих людей. Особливо если принять в рассуждение, что все их судопроизводство пошло от некоего Трибониана^[668], человека бесчестного, вероломного, грубого, зловредного, растленного, алчного

и криводушного: он торговал законами, эдиктами, рескриптами, уложениями и указами, – кто больше даст, – и для того нарезал их на кусочки, и это и есть те клочки и образчики законов, коими ныне пользуемся мы, все же остальное, придававшее закону цельность, он уничтожил и истребил из боязни, что если закон, книги древних юристов, а также двенадцать таблиц и эдикты преторов полностью сохранятся, то вся его низость выйдет наружу.

Вот почему для тяжущихся в большинстве случаев было бы лучше угодить в капкан (вернее сказать, это причинило бы им меньше зла), чем согласиться на то, чтобы их права были погребены под ворохом судебных заключений и решений, – недаром Катон высказал в свое время пожелание и подал совет мостить капканами судебный двор. ^[669]

Глава XLV

О том, как Панург советуется с Трибуле

На шестой день после этого Панург возвратился домой в то самое время, когда к нему из Блуа прибыл водным путем Трибуле.

Панург подарил ему хорошо надутый свиной пузырь, внутри которого звенели горошины, искусно вызолоченную деревянную шпагу, черепаховую охотничью сумочку, оплетенную фляжку с бретонским вином и квартерон бландюроских яблок.

– А что, он правда глуп, как пробка в этой фляжке? – спросил Карпалим.

Трибуле повесил через плечо шпагу и сумку, взял пузырь, съел часть яблок и выпил все вино.

Панург все это время не сводил с него глаз.

– Никогда еще не видел я такого дурака, – а повидал я их более чем на десять тысяч франков, – который пил бы неохотно и не до дна, – сказал он наконец.

Засим он изложил ему суть своего дела в выражениях изысканных и пышных.

Не успел он, однако ж, договорить, как Трибуле вместо ответа со всего размаху огрел его между лопаток, сунул ему в руку флягу, хлопнул по носу пузырем и, покрутив головой, пробормотал:

– Чур меня, чур, дурак помешанный! Берегись монашка, волынка ты бюзансейская с рожками!

Сказавши это, Трибуле отбежал в сторону и стал махать пузырем, увеселяя свой слух приятным звоном горошин. Больше из него нельзя было вытянуть ни единого слова; Панург хотел было задать ему еще несколько вопросов, но тот угрожающе взмахнул своей деревянной шпагой.

– Поздравляю вас! – воскликнул Панург. – Нечего сказать, умно мы придумали! Что он дурак, это никакому сомнению не подлежит, но кто его сюда привел, тот еще дурее, а уж я всем дуракам дурак, коли пустился с ним в откровенности.

– Камешек в мой огород, – заметил Карпалим.

– Давайте хладнокровно обсудим его телодвижения и слова, – предложил Пантагрюэль. – Мне открылись в них глубокие тайны, и теперь меня уже не удивляет, что турки чтут дурачков наравне с мусафи^[670] и пророками. Вы обратили внимание, как он, прежде чем заговорить, мотал и тряс головой? Учение древних философов, обряды магов и наблюдения юристов доказывают нам, что движение это вызывается наитием и внушением пророческого духа, каковой, внезапно войдя в слабую и малую субстанцию, – а вы знаете, что большой мозг в маленькой голове не вмещается, – столь сильно ее сотрясает, что, по словам медиков, все члены человеческого тела начинают дрожать, и происходит это как вследствие тяжести бремени и той бурной стремительности, с какою оно упадает, так и вследствие неспособности органа носить это бремя. Вот вам наглядный пример: когда нам приходится натошак поднимать кубок с вином, то руки у многих трясутся.

Прообраз этого мы находим еще в глубокой древности, у прорицательницы Пифии: прежде чем начать предсказывать, она всякий раз трясла свой лавр.

Еще пример: Лампридий утверждает, что император Элагабал, дабы заслужить славу пророка, на празднествах в честь главного своего идола, окруженный фанатиками-скопцами, у всех на виду тряс головой.

Еще пример: Плавт в своих *Ослах* сообщает, что Саврий, когда шел, мотал головой, как сумасшедший, как невменяемый, наводя страх

на прохожих, а в другом месте Плавт, говоря о том, почему тряс головой Хармид, объяснял это состоянием экстаза.

Еще пример: у Катулла в *Берекинтии* и *Аттисе* менады, вакханки, Вакховы жрицы, с ветками плюща в руках, трясут в пророческом исступлении головами; так же точно трясли головами и оскопленные жрецы Кибелы, когда совершали свои обряды, откуда, как уверяют древние богословы, и происходит ее имя, ибо *tribidtan* означает вертеть, крутить, трясти головой, свертывать шею.

Еще пример: Тит Ливий пишет, что в Риме во время вакханалий, глядя на мужчин и женщин, можно было подумать, что они обрели пророческий дар, ибо все тело у них сотрясалось и корчилось, а ведь таков общий голос философов и таково мнение народа, что пророческий дар, ниспосылаемый Небом, неизбежно вызывает исступление и сотрясение всего тела, которое сотрясается и вздрагивает не только тогда, когда оно этот дар приемлет, но и тогда, когда оно его выказывает и обнаруживает. Вот почему Вивиан, выдающийся законовед, утвердительно отвечал на вопрос, считать ли здоровым раба, который, находясь среди исступленных фанатиков, вдруг заговорил бы и, тряся головой, стал бы прорицать.

И еще: мы знаем, что в наше время наставники и педагоги, дергая и деря своих учеников за уши, трясут их головы, словно горшок за ручки, – ведь, согласно учению египетских мудрецов, уши есть орган памяти, – с целью вновь вперить их разум, который случайно был отвлечен посторонними мыслями и как бы ошеломлен не идущими к делу тревожностями, в благую науку – философию, чему пример мы находим еще у Вергилия, сообщающего о том, что Аполлон Кинфий ущипнул его за ухо. [\[671\]](#)

Глава XLVI

О том, как Пантагрюэль и Панург по-разному толкуют слова Трибуле

– Трибуле говорит, что вы дурак. Но какой дурак? Дурак помешанный, который на старости лет хочет связать и поработить себя брачными узами. Он говорит вам: «Берегись монашка!» Честью клянусь, что вам приделает рога именно кто-нибудь из монахов. Вы

видите: я ставлю на карту свою честь, а я не больше бы дорожил ею, будь я единоподержавным и миролюбивым владыкой Азии, Африки и Европы.

Наш морософ^[672] Трибуле внушает мне глубокое уважение, уверяю вас. Все прочие оракулы и советчики вполне примирились с тем, что вам суждено быть рогоносцем, однако ж ни один из них точно не указал, кто соблазнит вашу жену и наставит вам рога. Доблестный же Трибуле это вам открыл. Позорные то будут рога, постыдные в высшей степени! Вам нужно, чтобы какой-нибудь клобук осквернил и опоганил ваше брачное ложе?

Еще он сказал, что вы станете похожи на бюзансейскую волынку с рожками, а это значит, что из вас выйдет славный рогач, роговид, рогообраз. И, подобно тому как он сам, намереваясь выпросить у короля Людовика Двенадцатого соляные откупа в Бюзансе для своего брата, выпросил волынку, вы, собираясь жениться на женщине порядочной и честной, непременно женитесь на распутной, сварливой и крикливой бабе, докучной, как звук волынки.

Вспомните также, что он хлопнул вас пузырем по носу и хватил кулаком по загорбку. Это знак того, что жена будет вас бить, водить за нос и обирать так же точно, как вы ограбили вобретонскую детвору, отняв у нее свиной пузырь.

– Как раз наоборот, – возразил Панург. – У меня не хватит совести отрицать, что я веду свое происхождение от глупцов, – я признаю, что я и сам дурак и родом так. Все люди глупцы, и все на свете глупо. Соломон сказал, что число глупцов бесконечно, а от бесконечности, как то доказал Аристотель, ничего не отбавишь и ничего к ней не прибавишь, помешанным же дураком я был бы как раз в том случае, если бы, будучи дураком, я бы себя за такового не признавал. Число маньяков и помешанных в самом деле бесконечно. Авиценна утверждает, что виды мании бесконечно разнообразны. Что же касается всех прочих изречений и телодвижений Трибуле, то все они имеют смысл, для меня благоприятный.

Он сказал не «берегись монашка», а «береги малышку», и это он имел в виду мою жену: пусть, мол, она лелеет свое дитя.

Далее он сказал, что я женюсь на поселянке, такой же прелестной, как звук сольейской или бюзансейской волынки. Правдивый Трибуле знает мою натуру и тайные мои склонности. Смею вас уверить, что

мне больше нравятся веселые простоволосые пастушки, от которых пахнет богородицыной травой, нежели разряженные придворные дамы, от которых воняет этим несносным, то бишь росным, ладаном, звуки же деревенской волынки доставляют мне больше удовольствия, нежели музыка, принятая во дворцах, – все эти лютни, ребеки и придворные скрипки.

Он хватил меня кулаком по бедному моему хребту. Это только показывает, что он человек богобоязненный: этим он уменьшил муки, которые мне предстоят в чистилище. Право, это он не со зла, – он принял меня за пажа. Нет, он добрый дурак, простодушный, можете мне поверить, – грех думать о нем дурно. Я прощаю ему от всего сердца.

Он шлепнул меня по носу, но это же прообраз тех милых шуток, которые мы с моей женой будем себе позволять после свадьбы, – таков обычай у всех молодоженов.

Глава XLVII

О том, как Пантагрюэль и Панург задумали посетить оракул Божественной Бутылки

– Есть еще одно обстоятельство, на которое вы не обратили внимания, а в нем-то все и дело. Трибуле сунул мне в руку бутылку. Что бы это значило? Что он хотел этим сказать?

– Должно полагать, это значит, что жена ваша будет пьяницей, – отвечал Пантагрюэль.

– Ан нет, – возразил Панург, – бутылка-то была пустая. Клянусь спинным хребтом святого Фиакрия Брийского, наш морософ, многодумный и ничуть не слабоумный Трибуле отсылает меня к бутылке, и я еще раз повторяю давний мой обет и клянусь в вашем присутствии Стиксом и Ахеронтом, что буду носить на шляпе очки, а гульфика на штанах носить не буду, пока не получу ответа касательно задуманного мною предприятия от Божественной Бутылки.

Один почтенный человек, мой приятель, знает тот край, область и местность, где находится ее храм и оракул. Он, вне всякого сомнения, проведет нас туда. Отправимтесь вместе! Умоляю вас, не отказывайтесь! Я буду вашим Ахатом, Дамидом^[673], неизменным

вашим спутником. Мне давно известно, что вы страстный путешественник, жаждущий все видеть и все знать. А мы увидим много чудесного, – это уж вы мне поверьте.

– Добро, – молвил Пантагрюэль, – однако ж, прежде чем пускаться в дальние странствия, полные всяких неожиданностей, полные явных опасностей...

– Каких опасностей? – прервал его Панург. – Где бы я ни был, опасности убегают от меня за семь миль, подобно тому как с появлением государя кончаются полномочия судьи, при появлении солнца исчезают тени, а прибытие в Канд мощей святого Мартина разогнало болезни.

– Только вот что, – заметил Пантагрюэль, – трогаться в путь еще рано, – у нас есть кое-какие дела. Во-первых, давайте отправим Трибуле обратно в Блуа (что и было исполнено тотчас же, причем Пантагрюэль подарил ему златотканую одежду). Во-вторых, мы должны испросить дозволение и согласие у моего отца-короля, а затем необходимо найти какую-нибудь сивиллу, которая исполняла бы обязанности и проводника и толмача.

Панург на это возразил, что для таковой цели вполне пригоден друг его Ксеноман^[674], а кроме того, он-де намерен посетить по дороге страну Фонарию^[675] и там обзавестись каким-нибудь ученым и полезным фонарем, который во время путешествия окажет им такие же услуги, какие Сивилла оказала Энею, когда тот сошел в Елисейские поля.^[676]

– У меня такое предчувствие, что дорогой мы не соскучимся, ручаюсь вам, – объявил Пантагрюэль. – Жаль только, что я дурно изъясняюсь на фонарном языке.

– Я буду говорить за всех, – молвил Панург. – Для меня этот язык – все равно что родной, я на нем болтаю свободно.

Брисзмарк д'альготбрик нубстзн зос
Исквебфз пруск; альборльз кринкс закбак.
Мисб дильбарлькз морп нипп станкз бос.
Стромбтз Панрг вальмап квост груфз бак.

Ну-ка, Эпистемон, что я сказал?

– Это имена чертей бродячих, чертей ходячих и чертей ползучих, – отвечал Эпистемон.

– Твоя правда, мой милый, – сказал Панург, – это придворный фонарный язык. Дорогой я составлю для тебя словарик, и он будет служить тебе до тех пор, пока ты не истреплешь новых башмаков; пользоваться же им ты научишься, прежде чем успеет взойти солнце. В переводе с фонарного на наш обиходный язык эти стихи звучат так:

Мне чашу горестей испить
Пришлось, когда я был влюблен.
В том, что женатым лучше быть,
Панург глубоко убежден*.

– Ну что ж, – молвил Пантагрюэль, – нам остается лишь узнать волю моего отца-короля и отпроситься у него.

Глава XLVIII

О том, как Гаргантюа доказывал, что не должно детям вступать в брак без ведома и согласия родителей

Встретившись с добрым Гаргантюа при входе в главную дворцовую залу, где только что происходило заседание совета, Пантагрюэль в общих чертах рассказал об их похождениях, изложил суть задуманного ими предприятия и попросил у отца соизволения и разрешения его осуществить.

В руках у доброго Гаргантюа были два толстых пакета с прошениями, на которые он уже ответил и на которые еще предстояло ответить; пакеты эти он передал своему несменяемому правителю канцелярии Ульриху Галле, затем отозвал Пантагрюэля в сторону и с еще более веселым, чем обыкновенно, лицом сказал:

– Я благодарю Бога, дражайший сын мой, за то, что Он столь благие внушает вам начинания. Я вас благословляю на это путешествие, но мне бы хотелось также, чтобы у вас явилось намерение и желание самому вступить в брак. Возраст у вас, по моему разумению, вполне для этого подходящий. Панург довольно

потрудился, дабы устранить со своего пути все возможные препятствия, – теперь настал ваш черед.

– Добрейший отец, – молвил Пантагрюэль, – я еще об этом не думал. Я всецело отдаюсь на вашу волю и подчинюсь вашей отцовской власти. Лучше мне огорчить вас невольно, отдав Богу душу у ваших ног, чем против вашей воли вступить в брак. Сколько мне известно, ни церковные, ни светские, ни варварские законы не позволяют детям жениться без воли, согласия и одобрения их отцов, матерей и ближайших родственников. Законодатели, все как один, лишают детей этого права и передают это на усмотрение родителей.

– Дражайший сын мой, – снова заговорил Гаргантюа, – я вам верю и благодарю Бога за то, что слуха вашего достигает одно лишь доброе и похвальное и что через окна чувств ваших в обителище разума ничего, кроме свободной истины, не проникает. В мое время была на материке такая страна, где кротоподобные пастофоры^[677], питавшие такое же точно отвращение к браку, как жрецы фригийской Кибелы, которые, должно думать, были вовсе не любострастными и плотоядными жрецами, но великопостниками и скопцами, установили свои законы для брачащихся касательно вступления в брак. Право, не знаю, что омерзительнее: тираническое самовластие страшных этих кротищ, коим не сидится в ограде их таинственных храмов, и они суются в дела сугубо мирские, что их сану отнюдь не приличествует, или же глупое суеверие брачащихся, такие пагубные и варварские законы признавших, им покорившихся и не видящих, хотя это яснее утренней звезды, сколь их покорность выгодна мистам и сколь она убийственна и вредоносна для самих брачащихся, а это уже достаточно веская причина, чтобы навлечь на эти законы подозрение в несправедливости и мошенничестве.

Отвечая самоуправством на самоуправство, брачащиеся, в свою очередь, могли бы установить законы для мистов касательно обрядов и таинств, тем более что мисты отхватывают от их достояния десятину и урезают то, что они заработали своим трудом, в поте лица, – урезают, чтобы слаще кушать и ни в чем себе не отказывать, и, по моему разумению, законы эти были бы все же не столь противоестественны и не столь бесстыдны, сколь противоестественны и бесстыдны законы, установленные мистами.

Вы совершенно верно заметили, что искони не существовало такого закона, который предоставлял бы детям право вступать в брак без ведома, согласия и соизволения родителей. Благодаря же тем законам, о которых я веду речь, всякий распутник, злодей, негодяй, висельник, прокаженный, вонючий, зловонный, разбойник, мошенник, подлец может умыкнуть из отчего дома, из рук матери, против воли всей родни любую девушку, самую знатную, красивую, богатую, честную, скромную, какую только можно себе представить, если этот распутник стакнулся с кем-либо из мистов и обеспечил ему участие в барышах. Можно ли с этим сравнить те жестокости и злодеяния, что совершались готами, скифами, массагетами во вражеском городе, который они после долговременной осады, ценою громадных жертв брали приступом?

На глазах у несчастных родителей какой-нибудь чужой, неизвестный, грубый, наглый, поганый, заживо сгнивший получеловек-полутруп, на струпе струп, весь покрытый паршой, без гроша за душой вырывает из родного гнезда красавицу дочь, балованную, богатую, здоровую, а они так заботливо следили за ее благонравием и воспитывали в строгих правилах, надеясь со временем выдать ее замуж за сына своих соседей и старинных друзей, получившего такое же прекрасное воспитание и образование, и дожидаться высшего счастья, какое сулит брачный союз, – счастья увидеть их потомство, которое унаследует и приумножит движимое и недвижимое имущество своих родителей, а вместе с ним унаследует их нрав и обычай! Как вы полагаете, легко это родительскому сердцу?

Не думайте, что отчаяние, овладевшее народом римским и его союзниками при известии о кончине Германика Друза, было сильнее.

Не думайте, что уныние, охватившее лакедемонян, когда троянский прелюбодей выкрал гречанку Елену, было безотраднее. Не думайте, что люди, о которых идет речь, горюют и стенают меньше, чем Церера, у которой похитили дочь Прозерпину, чем Изида, потерявшая Озириса, чем Венера, когда умер Адонис, чем Геркулес после исчезновения Гила, чем Гекуба, когда узнала о похищении Поликсены.

Но они так боятся черта и до того суеверны, что когда к ним является кротище, дабы присутствовать при подписании брачного договора, то язык у них прилипает к гортани и они остаются одни в

опустевших домах, где нет уже больше любимых их дочерей, и вот отцы проклинаят тот день и час, когда они женились, а матери, оплакивая несчастные и злополучные свои роды, жалеют, что у них не было выкидыша, и так, в слезах и пенях, кончают они свою жизнь, а ведь они заслуживали иного: они могли бы окончить ее в радости, окруженные заботами своих дочерей.

Некоторые из них теряют рассудок, впадают в буйство и, не вынеся этой подлости, с тоски да с горя топятся, вешаются, накладывают на себя руки.

Другие, более стойкие, – по примеру сыновей Иакова, отомстивших за похищение сестры их Дины, – захватив распутника и его сообщника – кротищу, которые тайком подговорили и сманили их дочь, чинят над ними скорую и жестокую расправу: рубят их на куски и трупы оставляют в поле, на съедение волкам и воронам; мужественный же и благородный этот поступок повергает кротоподобных симмистов^[678] в трепет, и они поднимают гнусный вой, стряпают мерзейшие жалобы, с полным бесстыдством обращаются и взывают к светской власти и к гражданскому правосудию, требуют примерного наказания виновных и упорно на том настаивают.

Но ведь ни в естественном, ни в международном праве, ни в каких-либо имперских законах нет такой рубрики, параграфа, пункта или же раздела, который предусматривал бы за подобный поступок определенное наказание или пытку, – этому противится разум, тут восстает сама природа, ибо человек добродетельный так устроен, что при вести о похищении, бесчестии и позоре его дочери чувства его приходят в более сильное расстройство, нежели при вести о ее кончине. Всякий, кто застанет на месте преступления убийцу, вероломно, из-за угла напавшего на его дочь, может, ибо так подсказывает разум, и даже должен, ибо так велит природа, убить его сей же час, и по суду он за то не ответит. Отсюда прямое следствие, что отец, отыскавший распутника, при кротовьем пособничестве сманившего и увозом взявшего его дочь, хотя бы и с ее согласия, может и даже должен предать и распутника и сообщника позорной казни, тела же их, недостойные принять сладостное, вожделенное лобзание великой кормилицы нашей – земли, которое зовется у нас погребением, бросить на растерзание диким зверям.

Дражайший сын мой! Следите за тем, чтобы после моей кончины у нас в королевстве подобных законов никто не вводил, а пока я жив и еще дышу, я с Божьей помощью издам на сей предмет достаточно грозный указ. Что касается вашей женитьбы, то раз вы всецело предоставляете это мне, – пусть будет так, беру это на себя.

Готовьтесь к путешествию с Панургом. Возьмите с собой Эпистемона, брата Жана и других, кого почтете за нужное. Казною моей распоряжайтесь по своему благоусмотрению; все ваши действия я заранее одобряю. В Таласской моей гавани запаситесь каким хотите снаряжением, возьмите с собой сколько угодно лоцманов, кормчих и толмачей и, поручив себя Господу, покровителю нашему, при попутном ветре поднимайте с Богом паруса.

Во время вашего отсутствия я постараюсь сыскать вам невесту и приготовить все для свадебного пира, а уж пир я задам такой, какого еще не видывал свет.

Глава XLIX

О том, как Пантагрюэль готовится к морскому путешествию, а равно и о траве, именуемой пантагрюэлион

Несколько дней спустя Пантагрюэль, простившись с добрым Гаргантюа, который все молился о том, чтобы путешествие его сына окончилось благополучно, прибыл в гавань Талассу, близ Сен-Мало, спутниками же его были Панург, Эпистемон, брат Жан Зубодробитель, аббат Телемский и другие друзья почтенного сего дома, в частности Ксеноман, великий следопыт и любитель опасных путешествий, явившийся по приказу Панурга, ибо он находился в какой-то вассальной зависимости от кастелянства Рагу.

Прибыв в Талассу, Пантагрюэль собрал флотилию из стольких же судов, сколько некогда вывел из Саламина Аякс^[679] во время похода греков на Трою. Лоцманов, кормчих, гребцов, толмачей, мастеров, воинов, довольствия, артиллерии, боевых припасов, амуниции, денег и всякого скарба он взял и погрузил ровно столько, сколько было нужно для долговременного и рискованного путешествия. Между прочим, я видел, как по его распоряжению грузили изрядное количество травы

пантагрюэлион^[680], не только зеленой и необработанной, но и засушенной и должным образом обработанной.

Корень у травы пантагрюэлион маленький, крепенький, кругленький, с тупым концом, белого цвета, не очень узловатый, уходящий в землю не более чем на локоть. От корня идет один-единственный стебель, круглый, похожий на стебель вонючки, зеленый снаружи, беловатый внутри, полый, как стебель *smyrnium olusatrum*, бобов и гентианы, деревянистый, прямой, крошащийся, с выемками, отчасти напоминающими желобки на колонне, изобилующий волокнами, – что как раз и составляет ценность этого растения, – главным образом в части, именуемой *mesa*, то есть в средней части, а равно и в так называемой *mylasea*.

Высота пантагрюэлиона колеблется обыкновенно от пяти до шести футов; в отдельных случаях она превышает высоту копья (при том условии, если пантагрюэлион произрастает на почве мягкой, болотистой, рыхлой, влажной, но не холодной, как, например, в Олоне или же в Розее, близ Пренесты, в Сабинии, и если до самых праздников рыбаков и до летнего солнцестояния выпадают обильные осадки) и превосходит высоту дерева, почему мы вслед за Теофрастом и называем его *дендромалах*, но только трава с каждым годом мельчает, меж тем как у дерева долговечны и корень, и ствол, и стержень, и ветки, и оно дает все новые и новые крупные и могучие побеги.

Листья у пантагрюэлиона в три раза больше в длину, нежели в ширину, всегда зеленые, шершавые, как у червленого корня, твердоватые, с зубчатыми серповидными краями, как у буквицы; кончики их напоминают македонское копье или же ланцет хирурга.

По своему строению листья пантагрюэлиона мало чем отличаются от листьев ясеня и репейника, очень похожи на листья водяного посконника, – так что некоторые собиратели растений, назвавшие пантагрюэлион растением домашним, назвали посконник диким пантагрюэлионом, – и расположены рядами на некотором расстоянии один от другого вокруг стебля; при этом каждый такой ряд насчитывает от пяти до семи листьев. В том, что природа наделила пантагрюэлион нечетным числом листьев, числом божественным и таинственным, сказывается ее особая к нему любовь. Пахнут его листья сильно и для тонкого обоняния не весьма приятно.

Семена сосредоточены у него преимущественно в верхней части стебля и лишь в небольшом количестве – в нижней. Пантагрюэлион изобилует ими, как и всякая другая трава; семена эти, одни – шарообразные, другие – продолговатые, третьи – ромбоидальные, коричневатого, скорее даже бурого цвета, твердоватые, наделенные легким покровом, служат лакомым блюдом для всех певчих птиц, как-то: для коноплянок, щеглов, жаворонков, чижей и т. д., но если человек будет потреблять их по часту и помногу, то он утратит способность к деторождению; правда, в былое время греки делали из него разные фрикасе, пирожки и лепешки, ели их после ужина, как некое лакомство, и считали это лучшей закуской к вину, но, как бы то ни было, семена пантагрюэлиона трудно усваиваются, портят желудок, портят кровь, необычайно горячат мозг и наполняют голову парами, которые вызывают мучительную, нестерпимую боль.

Подобно другим двуполым растениям, обладающим и мужским и женским цветком, как, например, лавр, пальма, дуб, каменный дуб, асфodelь, мандрагора, папоротник, гриб, аристолохия, кипарис, терпентинное дерево, мята, пион и др., у пантагрюэлиона также есть цветок мужской, который никогда не цветет, но зато обилен семенами, и женский, который сплошь покрывается мелким беловатым цветом, пустым и совершенно бесплодным; как и у других сходных с ним растений, женский цветок пантагрюэлиона имеет ту особенность, что его листья шире и мягче, чем листья цветка мужского, но зато он не такой высокий.

Сеют пантагрюэлион, когда прилетают ласточки, а урожай снимают, когда перестают трещать цикады.

Глава L

О том, как должно препарировать и употреблять знаменитый пантагрюэлион

Обрабатывается пантагрюэлион в пору осеннего равноденствия различными способами – в зависимости от фантазии того или иного народа и от особенностей той или иной страны.

Первичная обработка пантагрюэлиона состоит в том, что стебель его очищается от листьев и семян, а затем вымачивается в стоячей, непроточной воде: если погода сухая и если вода теплая, то – пять

дней, а если погода пасмурная и вода холодная, то – от девяти до двенадцати; потом он сушится на солнце, потом с него снимается кожура, а волокна, в которых, как мы уже сказали, заключается вся ценность и главная польза пантагрюэлиона, отделяются от деревянистой части, которая идет лишь на изготовление светильников, на топливо да на забаву детям, надувающим с ее помощью свиные пузыри. Иные тайные любители хмельного пользуются ею как сифоном и через него сосут молодое вино, своим дыханием притягивая его к отверстию в бочке.

Некоторые современные пантагрюэлисты заменяют ручной труд при отделении волокон особым резальным инструментом, напоминающим сложенные пальцы разгневанной Юноны, когда она хотела помешать Алкмене произвести на свет Геркулеса, – этот инструмент расплющивает, отрезает и отбрасывает, как ненужную, деревянистую часть, волокна же высвобождает.

Такой первичной обработкой ограничиваются лишь те, кто, в противоположность всем прочим смертным и наперекор всем философам, добывает себе кусок хлеба, идя вспять.

Другие, к явной своей выгоде желающие повысить ценность пантагрюэлиона, занимаются тем же, чем, сколько нам известно, заполняли свой досуг три Парки, чем развлекалась по ночам славная Цирцея и чем занималась Пенелопа в разлуке со своим супругом Одиссеем, когда ей пришлось в течение долгого времени уклоняться от прямого ответа поклонникам.

Только после всего этого пантагрюэлион приобретает неоценимые свои достоинства, часть которых я вам сейчас и перечислю (перечислять их все я просто не имею возможности), но только прежде объясню его название.

Я нахожу, что происхождение названий растений далеко не одинаково. Некоторые названы по имени тех, кто открыл их, изучил, указал на них, кто их взрастил, развел, насадил, – так, например, меркуриал происходит от Меркурия, панакея от Панакеи, дочери Эскулапа, артемизия от Артемиды, то есть от Дианы, евпаторий от царя Евпатора, телефий от Телефа, евфорбий от Евфорба, врача царя Юбы, климен от Климена, алкивиадий от Алкивиада, гентиана от Гентия, царя славонского. И столь высоко ценилось в старину это право давать свое имя открытому тобою растению, что подобно тому,

как Нептун и Паллада спорили о том, по имени кого должна быть названа земля, которую открыли они оба и которая впоследствии стала называться Афинами от Афины, то есть от Минервы, так же точно Линк, царь скифский, предательски умертвил юного Триптолема, посланного Церерой показать людям пшеницу, тогда еще никому не ведомую, – умертвил для того, чтобы получить возможность дать ей свое имя и присвоить себе честь и бессмертную славу открытия столь полезного и необходимого для жизни человеческой хлебного злака, Церера же за такое предательство превратила Линка в рысь. Равным образом кровопролитные и длительные войны вели между собой каппадокийские цари из-за того только, по имени кого из них должно быть названо некое растение, которое в конце концов по причине вызванной им распри было названо полемония, то есть воинственная.

Другие растения получили названия от местностей, откуда они были завезены: мидийские яблоки – это лимоны, потому что они были найдены впервые именно в Мидии; пунические яблоки – это гранаты, привезенные из Пунической земли, то есть из Карфагена; лигустик – это любисток, вывезенный из Лигурии, с генуэзского побережья; рабарб, как удостоверяет Аммиан, назван так по имени варварской реки Ра; примером могут служить также сантоник, греческое сено, каштаны, персики, сабина, стехад, названный так по имени моих Гиерских островов^[681], которые в давно прошедшие времена назывались Стехадами, кельтский нард и т. д.

Иные получили название по контрасту и от противоположного, как, например, абсинтий – по контрасту с пинтием^[682], ибо это отвратительный на вкус напиток; голостеон означает *весь из костей*, а между тем во всем растительном мире нет более ломкой и нежной травы, чем носящая это название.

Иные названы по их свойствам и по их действию: таковы аристолохия, помогающая при родах; лишайник, излечивающий болезни, носящие то же название; мальва – оттого что она моллифицирует; каллитрихум, способствующийращению волос; алиссум, эфемерум, бекиум, настурциум, или кресс-салат, гиоскиам, ганебан и т. д.

Иные получили название в соответствии с теми изумительными качествами, которые были за ними замечены: таковы гелиотроп, то есть следующий за солнцем, ибо, когда солнце встает, он распускается;

когда солнце восходит, то и он тянется кверху; когда солнце склоняется к закату, он опускает головку; когда солнце прячется, то закрывается и он; адиантум, ибо он, хотя и растет у воды, не способен задерживать влагу, даже если его надолго опустить в воду; гиеракия, эрингий и т. д.

Иные названы по имени мужчин и женщин, которые были в них превращены, например: дафна, то есть лавр, – от Дафны; мирт – от Мирсины; питис^[683] – от Питии; кинара, то есть артишок; нарцисс, шафран, смилака и т. д.

Иные – по подобию, например: гиппурид (то есть хвощ), оттого что он похож на конский хвост; алопекур, похожий на лисий хвост; псиллий, похожий на блоху; дельфиниум – на дельфина; буглосс – на бычий язык; ирис – своей многоцветностью – на радугу; миосота – на мышьеное ушко; коронопус – на воронью лапу и т. д.

Названия растений повлияли, в свою очередь, на образование некоторых фамилий: так, Фабий произошел от боба, Пизон – от гороха, Лентул – от чечевицы, Цицерон – от бараньего гороха.

По сходству более поэтическому названы венерин пуп, венерины волосы, венерин чан, юпитерова борода, юпитеров глаз, марсова кровь, меркуриевы пальцы – гермодактил и т. д.

Иные – по их форме, как, например: трилистник, имеющий три листа, пентафиллон, имеющий пять листьев, серпиллум, ползущий по земле, гельксин, петасит и миробалан, который у арабов называется беен, ибо он напоминает желудь и отличается маслянистостью.

Глава LI

Почему это растение называется пантагрюэлион и о необыкновенных его свойствах

По тем же самым причинам (за исключением баснословной, ибо Господу не угодно, чтобы мы вплетали басню в эту столь правдивую историю) помянутое растение называется пантагрюэлион, ибо открыл его Пантагрюэль, – открыл не самое растение, но особое его применение, из-за которого оно сделалось для разбойников еще более отвратительным и ненавистным, еще более вредоносным и губительным, чем мошкара и повилика для льна, чем тростник для папоротника, чем хвощ для косцов, чем дикий боб для бараньего

гороха, живой овес для ячменя, секуридака для чечевицы, антраний для бобов, плевелы для пшеницы, плющ для стен, неньюфар, или *пυτθραεα heraclia*, для блудливых монахов, вонючка и береза для наваррских школяров, капуста для винограда, чеснок для магнита^[684], лук для зрения, семена папоротника для беременных женщин, семена ивы для распутных монашек, сень тиса для спящих под нею^[685], аконит для барсов и волков, запах смоковницы для раздраженных быков, цикута для гусят, портулак для зубов, а растительное масло для деревьев, ибо, сколько нам известно, многие из тех, кому пришлось спознаться с пантагрюэлионом, кончили свою жизнь на виселице, как, например, Филлида, царица фракийская, Боноз, император римский, Амата, жена царя Латина, Ифис, Автолика, Ликамб, Арахна, Федра, Леда, Ахей, царь лидийский, и прочие, – никакой другой болезни у них не было, они погибли только оттого, что пантагрюэлион похуже всякой ангины и жабы заткнул им проход, откуда выходят острые словца и куда поступают лакомые кусочки.

Нам приходилось также слышать, что некоторые в то самое мгновение, когда Атропос обрезала нить их жизни, горько жаловались и сетовали, что Пантагрюэль держит их за горло, но то был вовсе не Пантагрюэль – Пантагрюэль никогда не был палачом: это пантагрюэлион заменял им удавочку и захлестывал их петлей; слово *Пантагрюэль* они употребили неправильно и допустили солецизм, если только, впрочем, это не синекдоха, когда имя изобретателя берется вместо изобретенного им предмета: так Церера иногда упоминается вместо хлеба, Бахус – вместо вина. Клянусь вам всеми острыми словечками, находящимися внутри бутылки, которая охлаждается вон в том чану, что доблестный Пантагрюэль берет за горло лишь тех, кто пренебрегает утолением жажды.

Еще это растение было названо пантагрюэлионом по сходству, ибо Пантагрюэль появился на свет таким же точно высоким, как растение, о котором у нас с вами идет разговор, снять же с него мерку не составляло труда, ибо он родился в пору жажды, как раз когда эту траву косят и когда Икаров пес^[686], лая на солнце, всех превращает в троглодитов и загоняет в подземелья и в погреба.

Еще это растение было названо пантагрюэлионом за свои целебные свойства и особенности, ибо если сам Пантагрюэль представляет собой идею и образец наивысшей жизнерадостности (я

полагаю, что никто из вас, пьянчуг, в этом не сомневается), то и в пантагрюэлионе я усматриваю столько животворных сил, столько энергии, столько совершенств, столько чудесных свойств, что если бы его качества были известны в те времена, когда деревья, как о том повествует пророк, выбирали себе царя, дабы он повелевал и правил ими, пантагрюэлион, несомненно, получил бы подавляющее большинство голосов.

Более того: если бы трава пантагрюэлион произошла от Ориева сына Оксила и его сестры Гамадрии^[687], то своими качествами она порадовала бы Оксила больше, чем все его восемь детей, коих так прославили мифологи и коих имена они сохранили на веки вечные. Старшее его дитя получило имя Лоза, потом идут Смоковница, Орешник, Дуб, Рябина, Каркас, Тополь и, наконец, последний – Вяз, лекарь, пользовавшийся в свое время известностью.

Я не стану вам подробно объяснять, каким образом сок пантагрюэлиона, отжатый и влитый в ухо, убивает всех паразитов, которые завелись там от загрязнения, и вообще всякое живое существо, какое бы туда ни заползло.

Если вы подольете этого соку в ведро с водой, то у вас на глазах вода тотчас как бы створожится – столь сильное оказывает он действие; такая створоженная вода полезна для лошадей, которые страдают коликами и вздутием.

Корень пантагрюэлиона, сваренный в воде, умягчает стянутые сухожилия и делает подвижными плохо сгибающиеся суставы, помогает от застарелой подагры и уродующего ревматизма.

Если вам нужно как можно скорее залечить ожог – все равно: от кипятка или же от пламени, – то не прибегайте ни к каким инструментам и ни к каким лекарственным составам, а возьмите сырого пантагрюэлиона, прямо с поля, да почаще его меняйте, чтобы он не присыхал к ране.

Без него всякая кухня покажется невкусной, всякий стол – не стоящим внимания, хотя бы он был уставлен всеми возможными изысканными блюдами, всякое ложе – верхом убожества, хотя бы оно сверкало золотом, серебром, янтарем, слоновою костью и порфиром.

Без него не в чем было бы возить на мельницу зерно, а оттуда привозить муку. Без него в чем бы адвокаты доставляли дела в суд? Как бы доставлялся гипс в мастерские? Без него как бы доставалась

вода из колодцев? Без него что бы делали письмоводители, переписчики, секретари и протоколисты? Разве без него не исчезли бы налоговые списки и записи ренты? Разве без него не прекратилось бы благородное искусство книгопечатания? Из чего бы делались подрамники? Как бы звонили колокола? В него облакаются изиаки^[688], в него наряжаются пасторы, весь род людской прежде всего прикрывается им. Все шерстоносные деревья серов, хлопчатники острова Тилоса в Персидском море, арабская кина, мальтийская лоза не одели столько народу, сколько одно это растение. Оно лучше всякой кожи защищает войска от холода и от дождя, прикрывает театры и амфитеатры от жары, опоясывает леса и перелески на радость охотникам, окунается в воду, и в пресную и в морскую, на пользу рыбакам. Благодаря ему вошли в употребление различные фасоны сапожков, полусапожек, сапог, гамаш, ботинок, туфель, туфелек, шлепанцев, башмаков. Благодаря ему натягиваются луки и арбалеты, благодаря ему изготавливаются пращи. И, как если б то было растение священное, вербеновое, чтимое манами и лемурами, без него тела умерших не предаются земле.

Я вам больше скажу. При помощи этого растения существа невидимые видимо улавливаются, задерживаются, захватываются и как бы в темницу заключаются; как скоро их улавливают и задерживают, тот же час огромные и тяжелые жернова начинают легко вращаться к явной выгоде для рода человеческого. Меня удивляет одно: как это древние философы на протяжении стольких веков не додумались до такого чрезвычайно выгодного способа, меж тем как на тогдашних мукомольнях приходилось затрачивать усилия сверхъестественные.

При помощи того же растения, задерживающего воздушные волны, громадные оркады, просторные таламеги, могучие галлионы, хилиандры и мириандры снимаются с якоря и движутся по воле кормчих.^[689]

Благодаря тому же растению неведомые нам прежде народы, с которыми мы в силу природных условий, казалось, вечно будем разобщены и разъединены, ныне прибывают к нам, а мы к ним, а ведь это не под силу даже птицам, несмотря на всю легкость их оперения и несмотря на их способность плавать в воздухе, дарованную им самую природою. Тапробана^[690] увидела Лапландию; Ява увидела горы

Рифейские; Фебол^[691] увидит Телем; исландцы и гренландцы изопьют вод Евфратовых; благодаря ему Борей видел обиталище Австра, Эвв посетил Зефира. Силы небесные, божества земные и морские – все ужаснулись при виде того, как с помощью благословенного пантагрюэлиона арктические народы на глазах у антарктических прошли Атлантическое море, перевалили через оба тропика, обогнули жаркий пояс, измерили весь Зодиак и пересекли экватор, видя перед собой на горизонте оба полюса.

Боги Олимпа воскликнули в ужасе: «Благодаря действию и свойствам своей травы Пантагрюэль погружает нас в столь тягостное раздумье, в какое не погружали нас даже алоады. Он скоро женится, у него народятся дети. Изменить его судьбу мы не в состоянии, ибо она прошла через руки и веретена роковых сестер, дочерей Необходимости. Может статься, его дети откроют другое растение, обладающее такою же точно силой, и с его помощью люди доберутся до источников града, до дождевых водоспусков и до кузницы молний, вторгнутся в области Луны, вступят на территорию небесных светил и там обоснуются: кто – на Золотом Орле, кто – на Овне, кто – на Короне, кто – на Лире, кто – на Льве, разделят с нами трапезу, женятся на наших богинях и таким путем сами станут как боги».

Тогда боги порешили созвать совет и обдумать, как бы это предотвратить.

Глава LII

О том, что одна из пород пантагрюэлиона в огне не сгорает

Я рассказал вам о вещах необыкновенных и поразительных; если же вы решитесь поверить еще одному божественному свойству священного пантагрюэлиона, я вам расскажу и о нем. Впрочем, поверите вы или нет – это мне безразлично; мне важно поведать вам истину. Истину я вам и поведаю. Однако ж, прежде чем до нее добраться, а путь к ней довольно опасен и труден, я задам вам один вопрос: если я налью в бутылку две котилы вина и одну котилу воды и все это хорошенько смешаю, сумеете ли вы потом отделить их? Сумеете ли вы разъединить их так, чтобы в воде не оказалось вина, а в вине воды и чтобы сохранилось прежнее количество и того и другого? Или так: если возчики и корабельщики, доставляющие вам такое-то

количество бочек, пип и бюссаров гравского, орлеанского, боннского и мирвосского вина, дорогой их откупорят, половину выпьют и дольют водой по примеру лимузинцев, которые возят аржентонское и санготьерское вина, то удастся ли вам потом отцедить всю воду? Удастся ли вам очистить вино?

Я знаю, вы мне укажете на воронку из плюща. Ваша правда, об этом уже писали, это подтверждается многочисленными опытами. Вам это известно. Но кто ничего про воронку не слышал и никогда ее не видел, тому это покажется невероятным. Пойдем дальше.

Живи мы с вами во времена Суллы, Мария, Цезаря и прочих императоров римских или же во времена древних друидов, сжигавших трупы родичей своих и вельмож, и захоти вы хлебнуть доброго белого вина, настоящего на пепле ваших жен и родителей, как это сделала Артемизия с прахом своего супруга Мавзола^[692], или же сохранить пепел в целостности в урне или в ковчежце, то как бы вы отделили пепел мертвеца от пепла костра? Отвечайте! Клянусь жезью, вы бы попали в затруднительное положение. Я вас из него выведу. Я вам вот что скажу: возьмите-ка вы дивного пантагрюэлиона – столько, сколько нужно для того, чтобы покрыть тело умершего, как можно лучше заверните в него это тело, как можно крепче обвяжите и зашейте и бросьте в самый сильный, в самый жаркий огонь. Огонь сквозь пантагрюэлион сожжет и испепелит тело и кости, а сам пантагрюэлион не истлеет, не сгорит, не потеряет ни единого атома из пепла, находящегося внутри него, и не пропустит ни единого атома из пепла костерного, и выйдет он в конце концов из огня еще прекраснее, еще белее, еще чище, чем когда вы его бросали в костер. Потому-то и называли его асбестом^[693]. Его сколько угодно в Карпазии и под Диасиеной, и он там очень дешев. Неслыханное дело, удивительное дело! Всепожирающее, всеистребляющее и всесжигающее пламя очищает и белит только карпазийский асбест-пантагрюэлион. Если вы мне не поверите и, подобно иудеям и прочим маловерам, потребуете подтверждений и наглядных доказательств, то возьмите сырое яйцо и оберните его в божественный пантагрюэлион. Обернув, положите его в какой угодно сильный и жаркий огонь. Продержите его там сколько угодно. В конце концов яйцо сварится, испечется и сгорит, а священный пантагрюэлион останется цел и невредим и даже не нагреется. На этот опыт вы израсходуете меньше пятидесяти тысяч

бордоских эку, без одной двенадцатой части питы. Не сравнивайте пантагрюэлион с саламандрой – это ошибка. Я допускаю, что горящий пучок соломы ее живит и веселит. Но поверьте, что в большой печи она, как и всякое другое животное, задохнется и сгорит. Это мы знаем по опыту. Гален давным-давно доказал это и обосновал в кн. III *De temperamentis*^[694], и такого же мнения придерживается Диоскорид (кн. II).

Не ссылайтесь на квасцы и на пирейскую деревянную башню, которую Луций Сулла никак не мог сжечь, оттого что Архелай, наместник царя Митридата, велел всю ее натереть квасцами.

Не сопоставляйте его и с тем деревом, которое Александр Корнелий назвал эном и в котором он обнаружил сходство с обвитым омелою дубом, ибо оно, мол, и в воде не тонет и в огне не горит, точь-в-точь как омела на дубе, и из него-де был построен и сооружен знаменитый корабль Арго. Рассказывайте это кому-нибудь еще, а меня увольте.

Не сравнивайте его также с чудодейственным деревом, что растет в горах Бриансона и Амбрена; из корня этого дерева получается отличная губка, из ствола – превосходная смола, которую Гален решается приравнять к скипидару; на изящных его листьях скопляется нежный мед, поистине манна небесная, камедистая и масленистая, но в огне не сгорающая. По-гречески и по-латыни дерево это называется *larryx*^[695]; у альпийских жителей оно называется мельзой; у антеноридов и венецианцев – ларегом, откуда произошло название пьемонтской крепости – Ларигнум, обманувшей Юлия Цезаря, когда он шел войной на галлов.

Юлий Цезарь отдал приказ всем жителям и обитателям Альп и Пьемонта подвезти довольствие и съестные припасы к стоянкам, расположенным на военной дороге, по которой шло его войско. Этому его приказу подчинились все, за исключением тех, кто находился в Ларигнуме, – понадеявшись на выгодность своего местоположения, они отказали Цезарю в контрибуции. Чтобы наказать их за отказ, император двинул свое войско прямо на крепость. Перед ее воротами стояла башня, построенная из толстых лариковых бревен, сложенных клетками, как дрова в поленнице, и такая высокая, что из бойниц весьма удобно было сбрасывать балки и камни на наступающих. Узнав, что осажденные не располагают другими средствами обороны,

кроме балок и камней, и что они могут их добросить не дальше апрошей, Цезарь приказал солдатам навалить вокруг башни побольше хворосту и поджечь. Приказ был немедленно приведен в исполнение. Хворост загорелся, вымахнуло необъятное пламя и закрыло всю крепость. Все решили, что башня скоро сгорит и обрушится. Когда же весь хворост спалили и пламя утихло, башня оказалась целехонькой, без малейшего повреждения. Тогда Цезарь распорядился провести вокруг крепости линию рвов и окопов на таком расстоянии, куда камни долететь не могли. После этого ларигнийцы пошли на капитуляцию. И из их рассказов Цезарь узнал о чудесных свойствах дерева, которое не горит, не пылает и не обугливается.

За такое качество его следовало бы поставить рядом с настоящим пантагрюэлионом, тем более что Пантагрюэль велел сделать из этого дерева все калитки, двери, рамы, водосточные трубы, желоба и обшивку для Телема; он еще велел было обшить им нос, корму, камбуз, верхнюю палубу, продольный проход и башни своих больших карак^[696], кораблей, галер, галлионов, бригантин, шхун и прочих судов, стоявших в Таласской гавани, но потом обнаружилось, что ларик, гораздо более огнеупорный, нежели прочие древесные породы, в конце концов все же от огня портится и рассыпается, подобно камням в печи для обжигания извести. Один лишь асбест-пантагрюэлион не столько изменяется и портится, сколько обновляется и очищается. Итак,

Хвалить свой ладан, мирру и алой,

Индийцы и арабы, прекратите!
Придите к нам за нашею травой
И семена ее с собой возьмите.
Когда же вы их у себя взрастите,
То к Богу славословий миллион
В честь Франции счастливой вознесите:
Там найден был пантагрюэлион*.

Конец третьей книги героических деяний и речений доброго Пантагрюэля

Четвертая книга героических деяний и речений доблестного Пантагрюэля Сочинение мэтра Франсуа Рабле, доктора медицины

**Достославному князю и высокочтимому монсеньору Оде,
кардиналу Шатильонскому**^[697]

Вам хорошо известно, достославный князь, как много знатных особ до сих пор еще постоянно уламывают меня, уговаривают и упрашивают продолжить сказание о Пантагрюэле и ссылаются на то, что люди, впавшие в уныние, больные или же еще чем-либо озабоченные и удрученные, читая мою книгу, разгоняют тоску, весело проводят время, обретают в ней источник радости и утешения. На это я обыкновенно им отвечаю, что, сочиняя ее для забавы, я ни за славой, ни за похвалой не гнался; единственно, о чем я мечтал и к чему стремился, это чтобы писания мои хотя немного помогли неведомым мне страждущим и болящим, подобно тому как я охотно оказываю помощь нуждающимся во врачебном моем искусстве и лекарских услугах.

Я им иногда подробно рассказываю о том, что Гиппократ, во многих трудах, и, в частности, в шестой книге *Об эпидемиях*, описывавший облик врача – своего последователя, а также Соран Эфесский, Орибазий, Кл. Гален, Али-Аббас и другие авторы установили, какие у врача должны быть движения, осанка, взгляд, наружность, манера держать себя, обхождение, приличия, светлость лица, одежда, борода, прическа, руки, рот, – словом, расписали все вплоть до ногтей, точно врачу предстоит то ли играть роль влюбленного или поклонника в какой-нибудь знаменитой комедии, то ли выйти на единоборство с каким-либо мощным противником. И правда, у Гиппократа мы находим чрезвычайно меткое сравнение врачебной практики с битвой и с фарсом, в коих принимают участие три действующих лица: больной, врач и болезнь.

Как-то раз, перечитывая его творение, я вспомнил, что сказала Юлия своему отцу Октавиану Августу. Однажды она перед ним предстала в одеждах пышных, вольных и нескромных, чем сильное вызвала в нем возмущение, хотя он ей не сказал ни слова. На другой день она свой наряд переменяла и оделась скромно, как в те времена подобало целомудренным римлянкам. В таком наряде она вновь явилась перед отцом. Он же, накануне не выразивший своего недовольствия, когда она показалась ему в одеждах неблагопристойных, не мог теперь скрыть своего удовольствия при виде такой перемены и сказал ей: «Насколько же эта одежда похвальнее и приличнее для дочери Августа!» Она быстро нашлась и ответила ему так: «Сегодня я нарядилась, чтобы порадовать взор моего отца. Вчера же я нарядилась, чтобы угодить моему супругу».

С таким же успехом врач, вылощенный и разряженный, одетый в роскошное, затейливого покроя, платье с четырьмя рукавами, как носили тогда (оно называлось *philonium*, о чем свидетельствует Петр Александрийский *in VI, Epid*^[698]), мог бы ответить тем, кому казался странным такой маскарад: «Я вырядился так не для красоты и не для щегольства, а чтобы развлечь больного, которого я навещаю, ибо я хочу во всех отношениях быть ему приятным, ничем его не раздражать и ничем ему не досаждать».

Более того. Мы корпим над отрывком из вышеуказанной книги старика Гиппократ и все еще судим и рядим, подлинно ли врач с физиономией мрачной, угрюмой, отталкивающей, катоновской^[699], неприветливой, недовольной, сердитой, хмурой огорчает больного, врач же с лицом веселым, безмятежным, приветливым, открытым, улыбающимся радуется ему. Все это, однако ж, вполне доказано и совершенно бесспорно. Вопрос в том, зависят ли огорченность и обрадованность от восприятия больного, который всматривается в выражение лица своего врача и по нему угадывает, каков будет конец и исход болезни: если радостное, то и конец будет радостный и желанный, если же мрачное, то и конец будет мрачный и устрашающий; или же они зависят от того, какие от врача к больному идут токи: чистые или мутные, воздушные или землистые, веселые или меланхолические. Второго мнения держатся Платон и Аверроэс.

Как бы то ни было, вышеназванные авторы дали врачам особые указания по поводу того, какого свойства должны быть их слова,

речи, переговоры и собеседования у постели больного, к которому их позвали, а именно: все они должны быть направлены к единой цели и к единой цели устремлены, то есть радовать больного, не гневя, однако ж, Бога, и никоим образом не огорчать. Герофил, например, резко осуждает врача Каллианакса за то, что тот на вопрос, поставленный и заданный пациентом: «Умру ли я?» – нагло ответил:

И сам Патрокл со смертью пал в борьбе,
А был мужчина – не чета тебе*.

Другому больному, который, желая осведомиться, как протекает его болезнь, спросил на манер доблестного Патлена:

Не смерть ли предвещает
Мне, доктор, цвет моей мочи?* —

он ответил совсем уж по-дурацки: «Не предвещает в том случае, если ты произошел от Латоны, матери двух прекрасных детей, Феба и Дианы». Равным образом Кл. Гален (*lib. IV, Comment. in VI, Epidemi.* [700]) решительно порицает Квинта, своего наставника в медицине, за то, что тот некоему больному, почтенному римлянину, позволившему себе заметить: «Вы только что позавтракали, доктор, – от вас пахнет вином», – грубо ответил: «А от тебя – лихорадкой. Ну так чем же лучше разит и несет: от тебя – лихорадкой или от меня – вином?»

Однако ж клевета, которую обо мне распространяли иные каннибалы, мизантропы и агеласты [701], была столь омерзительна и ни с чем не сообразна, что в конце концов я потерял терпение и порешил не писать более ни строчки. Одно из наименее тяжких обвинений, которые они мне предъявили, сводилось к тому, что книги мои полны всяческой ереси (впрочем, ни одного примера они так и не смогли привести) и смехотворных дурачеств. Дурачеств в них, и правда, немало, – это же их единственный сюжет и единственная тема, – но отнюдь не богопротивных и королевскую особу не задевающих; ереси же в них и вовсе нет, если только, вопреки здравому смыслу и общепринятому словоупотреблению, не приписывать мне того, о чем я

и не помышлял бы даже под страхом тысячу раз умереть, буде такое возможно: это все равно что под словом «хлеб» понимать камень, под словом «рыба» – змею, под словом «яйцо» – скорпиона. Я Вам как-то на это пожаловался и прямо сказал, что когда бы я сам почитал себя не за истинного христианина, а за такого, каким они меня в извете своем выставляют, и когда бы я в своей жизни, в своих писаниях, речах, даже в мыслях обнаружил хотя бы искру ереси, они бы так постыдно не попались в сети духа клеветы, сиречь Diaboloz'a, который при их содействии возводит на меня такой поклеп, я бы тогда сам, по примеру Феникса, натаскал сухих дров и развел костер, дабы на нем себя сжечь.

Вы мне тогда сказали, что покойный король Франциск, вечная ему память, был об их наветах поставлен в известность и, со вниманием прослушав мои книги (я упираю на слово *мои*, оттого что мне по злобе приписывали чьи-то чужие, нечестивые), которые ему внятно и отчетливо прочитал вслух наиболее сведущий и добросовестный чтец во всем нашем королевстве^[702], ничего предосудительного в них не нашел, а какой-то змееглотатель, который ослабил меня чудовищным еретиком только на том основании, что по недосмотру и небрежению книгоиздателей туда вкралась грубая опечатка, привел его в негодование.

Сын же его, добрейший и добродетельнейший, благословенный король Генрих (да сохранит его Господь на многие лета) поручил Вам и предоставил исключительное право быть моим защитником от клеветников. Сию благовую весть о Вашем ко мне доброжелательстве я вновь услышал из Ваших уст в Париже, а затем – когда Вы посетили монсеньора кардинала дю Белле, который после долгой и мучительной болезни удалился для поправления своего здоровья в Сен-Мор – в край, или, вернее и точнее сказать, в райский уголок, сулящий исцеление, отдохновение, успокоение, наслаждение, негу и все благопристойные утехи хлебопашества и жизни деревенской.

Вот почему я сейчас, монсеньор, отринув всякую робость, иду напролом в надежде, что Вы, благосклонный мой покровитель, будете мне от клеветников как бы вторым Геркулесом Галльским, просвещенным, благоразумным и красноречивым, вторым *Alexicacos'om*^[703], добродетельным, могучим и власть имущим, я же полагаю руку на сердце могу сказать о Вас то самое, что о Моисее, великом пророке и вожде израильском, изрек мудрый царь Соломон

(*Ecclesiasticl*, 45): человек богобоязненный и боголюбивый, всему роду людскому приятный, Богом и людьми любимый, память о коем светла есть. Господь в похвалу ему уподобил его сильным, возвеличил его на страх врагам. Ради него свершил Он дела дивные и страшные, пред лицом царей прославил его; устами его возвещал Он народу волю свою и чрез него показал свет свой. По вере его и милосердию Господь избрал его и ото всех людей отличил. Устами его Господь возжелал вещать, пребывающим же во мраке закон животворящего знания преподавать.

Сверх того, даю Вам слово: кто бы при мне ни одобрил потешные мои писания, я всех буду призывать к тому, чтобы они прославляли не кого другого, как только Вас, за все благодарили только Вас и молили Бога сохранить и приумножить Ваше величие, мне же ничего не вменяли в достоинство, кроме беспрекословного подчинения и добровольного послушания мудрым Вашим распоряжениям, ибо благородными своими увещаниями Вы меня ободрили и вдохновили, а без Вас я бы пал духом и иссякнул бы источник животных моих токов. Да почиет же над Вами благодать Господня!

Ваш преданный и покорный слуга, врач
Франсуа Рабле.

Писано в Париже, 1552 года января 28 дня.

**Предисловие автора, мэтра Франсуа Рабле, к четвертой
книге героических деяний и речений Пантагрюэля
К благосклонным читателям**

Сохрани вас Господи и помилуй, добрые люди! Где вы? Я вас не вижу. Дайте-ка я нос оседлаю очками.

А-а! Наше вам! Теперь я вас вижу. Ну, как дела? Сколько мне известно, насвистывались вы изрядно. Но я вас не корю. Вы сыскали вернейшее средство от всяческой жажды. Это большое дело. Всё ли в добром здоровье – вы сами, ваши супруги, ваши детки, ваши родственники и домочадцы? Хорошо, отлично, рад за вас. Слава Богу, Господу Богу во веки веков, и, буде на то Его святая воля, да пошлет Он вам здоровья на долгие годы!

Ну, а я, милостью Божией, здесь, перед вами, и свидетельствую вам свое почтение. Благодаря малой толике пантагрюэлизма, – а вы знаете, что это глубокая и несокрушимая жизнерадостность, пред которой все преходящее бессильно, – я здоров и весел, не прочь выпить, если хотите. Вы спросите, добрые люди, почему я здоров? Вот вам исчерпывающий ответ: таково произволение всемилостивого и всемогущего Бога, которому я покорен, которому я послушен и чье святое благовествование, то есть Евангелие, я чту, а в нем (*от Луки, IV*) с едкой саркастичностью и язвительной насмешливостью говорится о враче, который не бережет собственного здоровья: «Врачу! исцелися сам!»

Клавдий Гален следил за своим здоровьем не из особого к нему почтения, хотя какое-то понятие о Священном писании он имел, хотя он знал и посещал благочестивых христиан того времени, как показывают *lib. II, De usu partium, lib. II, De differentiis pulsuum, cap. III, et ibidem, lib. III, cap. II, et lib. De rerum affectibus*^[704] (если только она точно принадлежит Галену), а из боязни подвергнуться грубым и колким насмешкам, как, например,

'Iatboz allwn, autoz el'fedi bruwn
Ты врачевать желаешь род людской,
А сам покрыт вонючею паршой*.

Он хвалится и смело ставит себе в заслугу, что с двадцативосьмилетнего возраста и до глубокой старости пребывал в добром здравии, если не считать нескольких кратковременных, однодневных лихорадок, хотя на самом-то деле он не отличался особо крепким здоровьем и желудок у него был, по всей вероятности, неважный. «Трудно допустить, – говорит Гален в кн. *V De sanit. tuenda*^[705], – чтобы врач был внимателен к здоровью других, коль скоро он не заботится о своем собственном».

Еще дальше идет в своей похвальбе врач Асклепиад: он будто бы заключил договор с Фортуной, который гласил, что не быть ему знаменитым врачом, если с того времени, как он начнет практиковать, и до самых преклонных лет своих он заболит хоть раз, до каковых лет он точно дожил невредим и бодр и над Фортуной восторжествовал. В

конце концов переход его от жизни к смерти совершился внезапно, так как до этого он ничем решительно не болел: по собственной неосторожности он упал с лестницы, коей ступеньки прогнили и расшатались.

Если, на беду, здоровье ваших превосходительств куда-нибудь от вас ушло: вверх, вниз, вперед, назад, вправо, влево, наружу, внутрь, далеко или же близко от вашего местонахождения, вы сей же час с помощью благословенного Спасителя нашего можете его встретить. Вовремя встретив, вы его во мгновение ока изловите, вновь закрепостите, схватите и вновь вступите им во владение. Законы вам это позволяют, король этому не препятствует, я вам это советую. Не кто иной, как древние законники предоставляли рабовладельцу право вновь закрепостить беглого своего раба, где бы он его ни изловил. Милосердный Боже и вы, добрые люди! Разве не было это начертано и разве не было это в старинных обычаях нашего доблестного, древнего, прекрасного, цветущего и богатого французского королевства, что *мертвый хватает живого*? Полюбопытствуйте, какое объяснение дал этому недавно добрый, просвещенный, мудрый, в высшей степени человеколюбивый, мягкий и справедливый Андре Тирако, советник великого, победоносного и непобедимого короля Генриха II, в грозном судилище Парижского парламента. Здоровье – это наша жизнь, – прекрасно сказал Арифрон Сикионский. Без здоровья жизнь не есть жизнь, не есть жизнь живая: *abioz bioz, bioz abioz*. Без здоровья жизнь есть лишь томление духа, есть лишь подобие смерти. Так вот, когда вы свое здоровье утратите, иными словами – будете мертвы, хватайте живое, хватайте жизнь, то есть здоровье.

Я надеюсь, что Господь, видя, с какой глубокой верой мы к Нему прибегаем, услышит наши молитвы и желание наше исполнит, тем паче что желание это умеренное. Умеренность древними мудрецами была названа златою, то есть драгоценною, всехвальною, везде одинаково отрадною. Обратитесь к Священному писанию: вы удостоверитесь, что молитвы тех, кто в чаяниях своих соблюдал умеренность, отвергнуты не бывали. Примером может служить малорослый Закхей (мусафи из Сент-И, что близ Орлеана, хвалятся, что мощи его и останки покоятся у них, и называют его святым Сильвеном). Единственно, чего желал Закхей, это увидеть благословенного Спасителя нашего при входе Его в Иерусалим.

Желание умеренное, оно могло бы явиться у каждого. Но он был слишком мал и за народом ничего не видел. Уж он и с ноги на ногу переступает, и на цыпочки становится, и изо всех сил тянется, забегает вперед и взбирается на смоковницу. Всеблагий Господь угадал искреннее его и умеренное желание. Он открылся его взору, предоставил ему возможность не только видеть, но и слышать Себя, посетил дом его и благословил его семью.

Один из сынов пророков израильских^[706] рубил дрова на берегу реки Иордан, и случилось так, что топор соскочил у него с топорища (как о том повествуется в IV Книге Царств, гл. VI) и упал в воду. Он помолился Богу о том, чтобы топор нашелся. Желание то было умеренное. И вот с глубокой верой и упованием он не *махнул рукой*, как, возмутительно искажая смысл, толкуют чертовы цензоры, а *взмахнул рукой*, как совершенно правильно читаете вы, и бросил в воду топорище. Тогда произошло два чуда сразу. Топор всплыл со дна на поверхность и сам себя насадил на топорище. А вот если бы этот человек пожелал вознестись на небо на огненной колеснице по примеру Илии, пожелал, чтобы потомство его так же умножилось, как потомство Авраама, пожелал быть сильным, как Самсон, красивым, как Авессалом, – вымолил бы он это? Неизвестно.

По поводу умеренных желаний, сопряженных с топорами (скажите, когда вам захочется выпить), я вам расскажу один из апологов мудрого Эзопа Французского, сиречь Фригийского и Троянского, как утверждает Максим Плануд, от какового народа, согласно летописцам, наибольшего доверия заслуживающим, и произошли доблестные французы. Элиан полагает, что Эзоп был фракиец, Агафий вслед за Геродотом утверждает, что он был с острова Самоса, мне же это совершенно безразлично.

В его времена жил-был один бедный поселянин родом из Граво, по имени Шулятрис, дровосек и дровокол, и в этой своей низкой доле едва-едва сводил концы с концами. Как-то раз потерял он где-то на просеке свой топор. Кто же из-за этого досадовал и тужил? Кто же, как не он сам, ибо от топора зависело его благосостояние и вся его жизнь, благодаря топору его ценили и уважали все богатые дровяники, а без топора ему оставалось только умереть с голоду. И вот шесть дней спустя, повстречав его без топора, смерть чуть было не срезала его своею косою и не выкосила из этого мира.

В подобной крайности он, возведя очи к небу, преклонив колена, обнажив голову, воздев руки и расставив пальцы, стал кричать, просить, молить, взывать к Юпитеру и обратился к нему с весьма складною речью (вы же знаете, что красноречие изобрела нужда), в виде припева после каждого прошения велегласно и неустанно возглашая: «Топор! Топор! Ничего мне не надо, Юпитер, только топор, который я потерял на просеке, или же несколько денье на покупку другого! Увы! Бедный мой топор!» Юпитер в это время держал совет по поводу каких-то срочных дел и как раз в эту минуту излагал свое мнение не то старухе Кибеле, не то юному лучезарному Фебу. Громкие пени Шулятриса, к великому ужасу богов, собравшихся на совещание, достигли их слуха.

– Что за черт! – воскликнул Юпитер. – Кто это так дико вопит там, внизу? Клянусь Стиксом, ведь мы все время были заняты и в настоящую минуту тоже заняты сложными и важными делами! Мы прекратили распрю между пресвитером Иоанном, царем персидским, и султаном Сулейманом, императором константинопольским. Мы утишили брань меж татарами и москвитами. Мы удовлетворили прошение шерифа мароккского^[707]. Мы снизошли к верноподданническим чувствам Голгота Раи. Мы рассмотрели дело Пармы^[708], равно как и Магдебурга, Мирандолы и Африки (так этот город на Средиземном море называют смертные, мы же называем его *Афродисий*). Триполис по собственной оплошности перешел в другие руки. Участь его решена. А тут еще блудные сыны – гасконцы просят возвратить им колокола. А там саксонцы, ганзейцы, остготы и германцы – народ, некогда непобедимый, а теперь *aberkeids*^[709], поработенный маленьким скрюченным человечком^[710]. Они взывают к нам об отмщении, о помощи и о восстановлении прежнего их благоденствия и старинных свобод^[711]. Но вот что нам делать с Галаном и Рамусом^[712], которые при поддержке своих подручных, единомышленников и присных сбивают с панталыку всю Парижскую академию? Я нахожусь в крайнем замешательстве. До сих пор еще не решил, на чью сторону стать. Оба представляются мне добрыми собутыльниками и добрыми блудниками. У одного из них есть экю с изображением солнца, блестящие и полновесные, другой только хотел бы их иметь. Один из них кое-что знает, и другой не совсем невежда. Один любит состоятельных людей, другой состоятельными людьми

любим. Один из них – хитрая и пронырливая лиса, другой черт знает что говорит и пишет про древних философов и риторов и лает на них аки пес. Какого ты на сей предмет мнения, удлиновенноудый Приап? Я много раз убеждался, что советы твои и суждения мудры и здравы *et habet tua mentula mentem*.

– Царь Юпитер! – совлекши с себя капюшон, подняв кверху красное, пышущее здоровьем лицо и вперив в Юпитера самоуверенный взгляд, молвил Приап. – Коль скоро вы одного сравниваете с лающим псом, а другого – с хитрющей лисой, то я прихожу к заключению, что, дабы вам более не гневаться и не сокрушаться, с ними надлежит поступить так же точно, как некогда поступлено было со псом и с лисой.

– Как? Когда? – спросил Юпитер. – Кто они такие были? Где это происходило?

– Эх, и память же у меня! – воскликнул Приап. – Досточтимый отец Бахус, – вон он, багроволицый, – чтобы отомстить фивянам, сотворил волшебную лису, и как она только ни шкодила и ни бедокурила, а животные ее все-таки не трогали и не обижали. Доблестный же Вулкан соорудил из монезийской меди пса, и выдул он его живого и одушевленного. Отдал он его вам; вы его отдали вашей милашке – Европе. Европа отдала его Миносу, Минос – Прокриде^[713]; наконец, Прокрида отдала его Кефалу. Пес также был волшебный и, подобно теперешним судейским, хватал всех живых без разбору, никто от него не ускользал. Случилось, однако ж, так, что лиса и пес встретились. Что им было делать? Пес, по предопределению судьбы, должен был схватить лису; лиса, по предопределению ее судьбы, не должна была быть схвачена.

Сей случай был представлен на ваше благоусмотрение. Вы объявили, что не желаете противостоять судьбам. Судьбы же были противоречивы. Истинное разрешение этих двух противоречий, не разрешимых по существу своему, не могло быть найдено и достигнуто. Вас даже в пот ударило. Из вашего пота, капавшего на землю, выросла капуста. Почтенное собрание, не придя ни к какому определенному решению, находилось в крайнем волнении, и по сему обстоятельству на этом совещании было выпито семьдесят восемь с лишним бюссаров нектара. В конце концов, по моему предложению, вы обратили и пса и лису в камни, и тут-то вы воспрянули духом, и тут-то весь великий

Олимп объявил, что не хочет больше пить. Случилось же это в год дряблых яичек, близ Тевмесса, между Фивами и Халкидой.

На основании этого я предлагаю обратить в камень и этих пса и лису. Такая метаморфоза вполне подходит к случаю. И того и другого зовут Петр. И вот по лимузинской пословице: для печного устья три камня нужно, присоедините-ка вы их к Петру Краеугольному, которого сами же вы и по той же причине обратили в камень. Велите поставить эти три мертвых камня в виде равностороннего треугольника в главном парижском соборе или же в ограде перед порталом и дать им такую работу: пусть-ка они, словно в игре в «фук», тушат носом зажженные сальные и восковые, большие и малые свечи, факелы и светильники, а то при жизни они, пакостники, разжигали огонь смуты, коварства, всяких поганых сект, разжигали зависть среди бездельников-школяров. Вы этих мелких, паршивых себялюбцев не казните, а лучше на веки вечные осрамите. Я кончил.

– Я вижу, милый мессер Приап, вы им покровительствуете, – сказал Юпитер. – Вы далеко не ко всем столь снисходительны. Раз они так стремились увековечить имена свои и память, то, разумеется, для них гораздо лучше быть обращенными в твердомраморные камни, нежели в прах и тлен. А теперь оглянитесь и окиньте взором Тирренское море и окрестности Апеннин, – видите, какие трагедии разыгрались там по вине пастофоров? Буря эта еще некоторое время продлится, потом утихнет, но не так скоро. Развлечений там для нас будет довольно. Да только вот беда: молний-то у нас с вами кот наплакал, оттого что вы, мои собоги, пожалованный мною запас израсходовали на Новую Антиохию для пустой забавы. Затем, на вас глядя, сорванцы, которые вызвались защищать крепость Динденарию, растранижили боевые припасы на стрельбу по воробьям; враг подступил, а защищаться-то и нечем, и они не нашли ничего лучшего, как сдать крепость и самим сдаться неприятелю, меж тем как неприятель в бессильной ярости чуть было с позором не снял осаду, и помышлял он в ту пору лишь о том, как бы унести ноги. Распорядитесь же, сын мой Вулкан, разбудите спящих ваших циклопов: Астеропа, Бронта, Арга, Полифема, Стеропа и Пиракмона, засадите их за работу и дайте им кутнуть хорошенько. Бомбардирам вина не жалеть. Ну, а сейчас займемся этим крикуном, что орет внизу. Меркурий! Спросите, кто это, и узнайте, что ему нужно.

Меркурий приотворил небесную опускающую дверцу, через которую боги обыкновенно слушают, о чем говорят на земле, и которая очень напоминает корабельный люк (Икаромениппу, впрочем, она казалась похожей на отверстие колодца), и, удостоверившись, что это Шулятрис просит найти топор, потерянный им на просеке, доложил о том совету богов.

– Этого еще не доставало! – вскричал Юпитер. – Только нам и дела, что разыскивать потерянные топоры! А все-таки топор-то ему найти нужно. Это начертано в книге судеб – понимаете? – так же как predetermined участь герцогства Миланского. В самом деле, топор для дровосека – такое же сокровище и такая же ценность, как для короля его королевство. Так, так, найти ему топор! Без всяких разговоров. А теперь решим тяжбу ландерусского духовенства с кротовней. На чем бишь мы остановились?

Приап в это время грелся у камина. Выслушав донесение Меркурия, он с превеликою учтивостью и похвальной благопристойностью заговорил:

– Царь Юпитер! В бытность мою, по вашему именному указу, хранителем садов на земле, которые вы отвели мне в удел, я обнаружил, что слово *просека* имеет двойной смысл. Оно означает прорубленную в лесной чащобе узкую делянку. Еще оно означает (по крайности означало в былые времена) бабеночку в соку, на которую частенько гоппрыгскокают. Можете себе представить: все ребята называли своих милок – *моя пр о сечка*. Ибо этим самым топором (тут Приап выставил свой девятипядевый топорнице) они столь свирепо и столь отважно врубались бабенкам в их прогалины, что те впоследствии отрешились от страха, свойственного женскому полу: топоры уж потом ничто не задерживало, и они из подчревной области бултых прямо в самые пятки. И помнится мне (а ведь воспоминаний у меня полна мошонка, то бишь полон мешок), в день Тубилустрия, на майских празднествах в честь доброго нашего Вулкана, я слышал, как, рассевшись на клумбе, Жокин де Пре, Оккегем, Гобрехт, Агрикола, Брюмель, Камлен, Вигорис, де ла Фаж, Брюйе, Приори, Сеген де ла Рю, Миди, Мулю, Мутон, Гасконь, Луазе, Компер, Пене, Февен, Рузе, Ришарфор, Росселло, Консильон, Констанцио Фести и Жаке Берхем^[714] стройно распевали:

Когда Тибо ложился спать,
Перевенчавшись с молодою,
Он молот прихватил в кровать,
Но тут же спрошен был женою:
– Зачем вы встали предо мною,
Кувалдой этой потрясая?
– Чтоб расклинить вас, просекая.
– Мой друг, не нужен ваш припас.
Не им, а задом ударяя,
Вгоняет Жан свой шип в мой паз*.

Девять олимпиад и один високосный год спустя (воспоминаний у меня хватит на целую мошонку, то бишь на целый мешок, – вечно я путаю и перевираю эти два слова) я слышал, как Адриан Вилларт, Гомберт, Жанкен, Аркадельт, Клоден, Сертон, Маншикур, Оксерр, Вилье, Сандрен, Сойе, Эден, Моралес, Пасеро, Май, Майар, Жакотен, Эртер, Верделот, Карпентра, Леритье, Кадеак, Дубле, Вермон, Бутелье, Люпи, Панье, Мийе, дю Молен, Алер, Маро, Морпен, Жандр и другие веселые музыканты в укромном садике, под густолиственной сенью, за крепостным валом из фляг, окороков, пирогов и перепелок, вымоченных в вине, премило пели:

Раз топору потребно топорище,
Как пьянице нужна бутылъ большая,
Как животу необходима пища, —
Встань топором, и расклиню тебя я*.

Так вот, не худо бы дознаться, на какой именно просеке потерял свой топор крикун Шулятрис.

При этих словах почтенные боги и богини покатались со смеху, только гул пошел по всему небосводу. Даже хромоногий Вулкан и тот, чтобы позабавить свою подружку, несколько раз ловко подпрыгнул.

– Вот что, – обратился Юпитер к Меркурию, – спуститесь немедленно вниз и бросьте к ногам Шулятриса три топора: один – его собственный, другой – чистого золота, а третий – чистого серебра, все

три – величины одинаковой. Предложите их ему на выбор, и если он возьмет свой и тем удовольствуется, дайте ему и другие два. Буде же он возьмет не свой топор, отсекайте ему голову его собственным. И впредь поступайте так со всеми терятелями топоров.

Тут Юпитер повертел головой, как обезьяна, глотающая пилюли, а затем скорчил такую страшную рожу, что весь великий Олимп содрогнулся.

Меркурий как был, в остроконечной шапочке, в шлеме, с крылышками на пятках и с кадуцеем, через небесную опускную дверцу проник в воздушное пространство, пересек его, легко опустился на землю, бросил к ногам Шулятриса три топора и сказал:

– Ну, довольно тебе кричать! Юпитер внял твоим мольбам. Погляди, какой из этих трех топоров твой, и бери его себе.

Шулятрис поднял золотой топор, осмотрел его, удостоверился, какой он тяжелый, и сказал Меркурию:

– Чтоб мне пусто было, топор не мой! Не надо мне его.

То же самое проделал он со вторым топором и сказал:

– И это не мой. Получайте обратно.

Потом взял топор с деревянным топорищем, нашел на самом кончике свою метку, весь задрожал от радости, точно лиса, которой попались заблудившиеся куры, и, ухмыльнувшись, сказал:

– Пропади я пропадом, если это не мой топор! Коли вы мне его отдадите, я вам в иды мая (то есть пятнадцатого числа) принесу большущий горшок земляники.

– Добрый человек! – сказал Меркурий. – Вот тебе твой топор, бери его. А за то, что ты, выбирая топор, выказал умеренность желаний, я тебе, во исполнение воли Юпитера, отдаю и два других топора. Это целое богатство. Смотри только, оставайся честным человеком.

Шулятрис вежливо поблагодарил Меркурия, попросил передать поклон великому Юпитеру, привязал старый свой топор к ремню сзади, как у дозорного на вышке, а два других, потяжелее, взвалил на плечо. И тут он с самым независимым видом зашагал по родным местам, весело подмигивая землякам своим и соседям и обращаясь к ним с присловьем Патлена: «А ну, что это у меня?» На другой день он надел белую холщовую рубаху, взвалил на спину два драгоценных топора и отправился в Шинон, город знаменитый, город достославный,

город старинный, одним словом – первый в мире, по заключению и уверению ученейших из масоретов. В Шиноне ему уплатили за серебряный топор новенькими тестонами и другой серебряной монетой, а за топор золотой – новенькими салю, новенькими «длинношерстыми баранами», новенькими риддами, новенькими руайо и новенькими экю с солнцем. На вырученные деньги он накупил мыз, имений, хуторов, деревенских домиков и домишек, усадеб, лугов, виноградников, лесов, пахотной земли, пастбищ, прудов, мельниц, садов, ивняку, быков, коров, овец, баранов, коз, свиней, хряков, ослов, лошадей, кур, петухов, каплунов, цыплят, гусынь, гусаков, уток, селезней и прочей домашней птицы. И в короткий срок сделался первым богачом во всей округе, еще богаче хромого Молеврие.

Односельчане, всякие там лесовики и Жаки Простаки, узнав о Шулятрисовой счастливой находке, пришли в изумление, и жалость и сочувствие, которые вызывал у них прежде бедняга Шулятрис, сменились в их душе завистью к великому его и неслыханному богатству. Забегали они тут, зашмыгали, стали выведывать да выпытывать, каким способом, в каком месте, в какой день, в какой час, как именно и по какому поводу досталось ему такое огромное богатство. Им объяснили, что досталось оно Шулятрису того ради, что потерял он свой топор.

– Эге-ге! – сказали они. – Выходит, и мы как потеряем топор, так и разбогатеем? Средство простое, да и дешевое. Стало быть, таково сейчас произволение Небес, расположение светил и аспект планет, что стоит кому-нибудь потерять топор – и он уже богач? Хе-хе-хе! Воля ваша, топорики, а мы уж вас потеряем, вот как Бог свят!

И тут все они порастеряли свои топоры. Ни одного человека с топором! Кто сбережет свой топор, тот, черт его побери, человек недобрый! По случаю пропажи топоров во всем околотке не было больше срублено и расколото ни единого дерева.

Далее в Эзоповой притче говорится, что иные мелкотравчатые дворянчики, продавшие Шулятрису лужок и мельничку, чтобы было на что покрасоваться на смотрах, узнав, каким путем и способом досталось ему богатство, продали шпаги, с тем чтобы купить топоры, а потом потерять их, как потеряли крестьяне, и через эту потерю приобрести горы золота и серебра. Можно было подумать, что это бедные паломники здесь что-то продают, там у кого-то перехватывают

– лишь бы купить как можно больше индульгенций у новоиспеченного папы. А что крику, что жалоб, что просьб, и все взывают к Юпитеру:

– Юпитер! Мой топор, мой топор! Где ж мой топор? Да где ж он, мой топор? Ах, ах! Ох, ох! Юпитер! Топор мой, топор!

Воздух кругом дрожал от стонов и воплей терятелей топоров.

Меркурий не замедлил принести им топоры и каждому предложил на выбор: один – его собственный, другой – золотой, а третий – серебряный. Все выбирали золотой и воссылали благодарения всемилостивейшему Юпитеру, но в это самое мгновение, когда они наклонялись и нагибались, чтобы поднять его, Меркурий, согласно указу Юпитера, сек им головы. Таким образом, количество отсеченных голов равнялось и соответствовало количеству потерянных топоров. Вот как обстояло дело. Вот как бывают вознаграждены те, что и в желаниях своих и в выборе выказывают умеренность.

Берите пример с этого дровосека, вы, захолустные оборванцы, уверяющие, что и за десять тысяч франков ренты вы не расстанетесь со своими желаниями, и чтоб я больше не слыхал от вас таких наглых речей: «Эх, послал бы мне сейчас Господь сто семьдесят восемь миллионов золотом! То-то бы я обрадовался!» А, чтоб вам отморозить пятки! Что же тогда остается желать королю, императору, папе?

Вы по собственному опыту должны бы, кажется, знать, что за такого рода желания вам ниспосылается лишь короста да оспа, в кошелек же – ни ломаного гроша. И такое же точно воздаяние получили те два проходимца, что размечтались на парижский лад: один из них выразил желание, чтобы у него было столько полновесных экю с изображением солнца, сколько в Париже было всего израсходовано, продано и куплено с той самой поры, когда город только-только еще закладывался, и по сей день, да чтоб непременно по самому высокому курсу и номиналу, какой только был за все эти годы. Придет же в голову ни с того ни с сего этакая блажь! Ишь как занесся, эх куда хватил! Можно подумать, что с жиру бесится. Другой пожелал завалить весь Собор Парижской Богоматери, от плит и до самого верхнего свода, острыми иголками, а чтоб у него было столько экю с солнцем, сколько могло бы поместиться в стольких мешках, сколько можно было бы нашить всеми этими иголками, пока они не придут в негодность и не затупятся. Ну и желание! Как вам это понравится? Что

же из всего этого вышло? Вечером того же дня у обоих открылись язвы на ногах,

лихорадки на губах,

нарывчики на руках,

ломота в грудях,

зады – все в чирьях, и хоть бы маковая росинка во рту!

Итак, да будут желания ваши умеренны, и умеренность вас отблагодарит, особливо ежели будете не ленивы, а трудолюбивы. «То правда, – скажете вы, – но Богу так же просто было бы послать мне семьдесят восемь тысяч, как и тринадцатую часть полушки. Ведь Он же всемогущ! Для Него что миллион золотом, что обол – все едино». Ай-ай-ай! Кто же это вас, бедные люди, научил так рассуждать и толковать о могуществе Бога и о Его предопределении? Тише! Тсс! Тсс! Тсс! Смиритесь пред Его священным ликом и сознайте свое несовершенство.

На этом-то, подагрики, и основываются мои надежды, и я твердо верю, что, если Господь Бог захочет, Он пошлет вам здоровья, но только, кроме здоровья, вы у Него ничего сейчас не просите. Подождите еще немного, еще только на пол-унции терпения! Вы не смотрите на гемуэзцев, которые прямо с утра, у себя в кабинетах, в конторах, все заранее обсудив, обдумав и решив касательно того или тех, кого они сегодня собираются одурачить, околпачить, провести и оплести, выходят потом из дому и, здороваясь друг с другом, говорят: «*Sanita et guadain, messer!*» Им мало только здоровья, они еще желают друг другу наживы, богатств Гаденя. И частенько при этом теряют и то и другое. Итак, на доброе здоровье, откашляйтесь хорошенько, выпейте за троих, насторожите, коли есть охота, уши, и вы услышите чудеса о доблестном и добром Пантагрюэле.

Глава I

О том, как Пантагрюэль вышел в море, дабы посетить оракул Божественной Бакбук

В июне месяце, в праздник Весталок, в тот самый день, когда Брут завоевал Испанию и покорил испанцев и когда скупец Красс был побежден и разгромлен парфянами, Пантагрюэль, простившись с дорогим отцом своим Гаргантюа, который, следуя похвальному

обычаю первых веков христианства, помолился о благополучном путешествии сына со всею его свитою, вышел из Таласской гавани в сопровождении Панурга, брата Жана Зубодробителя, Эпистемона, Гимнаста, Эвсфена, Ризотома, Карпалима и других своих слуг и домочадцев, а равно и Ксеномана, великого следопыта и любителя опасных путешествий, явившегося по распоряжению Панурга за несколько дней до отплытия. Ксеноман, движимый вполне понятными и благородными побуждениями, начертил на морской карте мира, которая была у Гаргантюа, тот путь, коим они намеревались следовать к оракулу Божественной Бутылки Бакбук.

Число кораблей я вам уже приводил в третьей книге; их сопровождало равное число трирем, раубардж, галлионов и либурн, хорошо оснащенных, проконопаченных и снабженных всем необходимым, – в частности, пантагрюэлиона они взяли с собой предостаточно. Все офицеры, толмачи, лоцманы, капитаны, кормчие, юнги, гребцы и матросы собрались на борту «Таламеги». Так назывался самый большой и самый главный Пантагрюэлева корабль, на корме которого вместо флага красовалась большая и вместительная бутылка наполовину из гладкого полированного серебра, наполовину из золота с алого цвета эмалью, из чего должно было явствовать, что сочетание белого цвета с алым – это эмблема наших благородных путешественников^[715] и что направляются они к Бутылке послушать ее прорицание.

На корме второго судна был поднят старинный фонарь, искусно сделанный из прозрачного камня и указывавший на то, что им надлежит пройти Фонарию.

На корме третьего был выставлен красивый и емкий фарфоровый кубок.

На корме четвертого – золотой кувшин с двумя ручками, похожий на античную урну.

На корме пятого – великолепный жбан, усыпанный маленькими изумрудами.

На корме шестого – кружка, из каких пьют монахи; сделана она была из сплава четырех металлов.

На корме седьмого – воронка черного дерева с золотой инкрустацией.

На корме восьмого – драгоценный золотой бокал дамасской чеканки.

На корме девятого – ваза высокопробного золота, прокаленного на огне.

На корме десятого – чаша из душистого райского дерева, иначе называемого «алое», в персидской работы оправе из кипрского золота.

На корме одиннадцатого – золотая, с мозаикой, корзина для винограда.

На корме двенадцатого – бочонок матового золота с украшениями из крупного индийского жемчуга.

Таким образом, всякий, как бы он ни был печален, разгневан, озабочен, уныл, будь то сам плаксивый Гераклит, не мог бы не возликовать, не улыбнуться широкой улыбкой при виде доблестной флотилии с такими отличительными знаками, не сказать, что мореходы – все до одного – бражники и люди добропорядочные, и не предречь с полной уверенностью, что их путешествие в оба конца будет веселое и вполне благополучное.

Итак, на «Таламеге» собрались все. Пантагрюэль произнес краткое, исполненное благочестия наставление, подкрепленное ссылками на Священное писание, имеющими касательство к мореплаванию, после чего была громко и внятно прочтена молитва, слова которой слышали и уловили все жители Талассы, высыпавшие на мол посмотреть, как будет происходить посадка.

После молитвы все стройно пропели псалом царя Давида, начинающийся так: *Когда вышел Израиль из Египта...*^[716] Затем на палубе были расставлены столы и незамедлительно принесена еда. Таласцы подпевали отъезжающим, когда те пели псалом, а теперь они велели принести из дому как можно больше съестного и напитков. Все они выпили за мореходов. Мореходы выпили за них. Вот почему никто из всей флотилии во все продолжение пути не болел морской болезнью, не маялся желудком и не жаловался на головную боль, а между тем им бы так легко не избежать этих неприятностей, если бы они перед отплытием несколько дней подряд пили морскую воду, все равно – чистую или же смешанную с вином, ели бы айву, сосали лимонную корку, потягивали кисло-сладкий гранатовый сок, соблюдали долгую диету, обложили себе живот бумагой или

выполнили еще какой-нибудь из тех советов, которые обыкновенно даются глупыми лекарями всем пускающимся в плавание.

После многократных возлияний все наконец разошлись по своим кораблям и в добрый час подставили паруса восточному греческому ветру, по которому старший лоцман Жаме Брейе наметил путь и поставил стрелки всех буссолей. Он и Ксеноман сошлись на том, что коль скоро оракул Божественной Бакбук находится близ Катая, в Верхней Индии, то им не годится обычный путь португальцев, которые, пройдя жаркий пояс, мыс Доброй Надежды и южную оконечность Африки за экватором, теряют из виду Северный полюс и делают огромный крюк; лучше-де возможно ближе держаться параллели Индии и обогнуть Северный полюс с запада – с тем чтобы, описывая дугу вокруг означенного полюса, находиться на высоте Олонской гавани, но ближе ни в коем случае не подходить, чтобы не очутиться в Ледовитом море и там не застрять. И вот если они будут, мол, строго придерживаться этого обходного пути вдоль одной и той же параллели, то полюс окажется у них с правой руки, к востоку, меж тем как при выходе в море он был у них с левой. Надобно заметить, что путь был выбран на редкость счастливо.

В самом деле, не потерпев крушений, не испытав бедствий и без всяких потерь, при безоблачном небе, за исключением одного дня, когда они стояли у Острова макреонов, они прибыли в Верхнюю Индию через три с лишним месяца, португальцы же совершают этот путь в три года и терпят притом бедствия неисчислимыя и подвергаются испытаниям бесконечным. Я осмеливаюсь утверждать, что именно этим удачным путем следовали индийцы, которые направлялись в Германию и были потом с честью приняты королем шведским, – еще тогда проконсулом в Галлии был Квинт Метелл Целер, как о том свидетельствуют Корнелий Непот и Помпоний Мела, а вслед за ними и Плиний.

Глава II

О том, как Пантагрюэль накупил на острове

Медамоти [\[717\]](#) множество превосходных вещей

Ни в тот день, ни на другой, ни на третий они не видели суши и не заметили ничего нового, ибо этот путь был им уже знаком. На четвертый день глазам их открылся остров под названием Медамоти, коему придавало особую привлекательность и живописность великое множество маяков и высоких мраморных башен, украшавших всю его береговую линию, такую же протяженную, как береговая линия Канады.

Пантагрюэль осведомился, кто же этим островом правит, и ему ответили, что правит им король Филофан^[718], на ту пору бывший в отсутствии по случаю бракосочетания своего брата Филотеамона^[719] с инфантою королевства Энгис. Тогда Пантагрюэль сошел на пристань и, меж тем как шлюпки грузились пресной водой, занялся рассматриванием картин, зверей, рыб, птиц и всяких экзотических и чужеземных товаров, коими торговали на набережной и на пристани. Это был третий день шумной и многолюдной местной ярмарки, на которую ежегодно съезжались все самые богатые и именитые купцы Африки и Азии.

Брат Жан приобрел на этой ярмарке две редкостные и дорогие картины: на одной из них был весьма живо изображен человек, проигравший дело в суде, а другая представляла собой портрет слуги, который ищет хозяина, причем и проигравший и слуга были изображены во всем их своеобразии, резко означавшемся в их движениях, манере держать себя, наружности, ухватках, чертах и выражении лица, – задумал же и написал эти две картины мэтр Шарль Шармуа, придворный живописец короля Мегиста^[720]; брат Жан, однако ж, заговорил продавцам зубы и так ничего и не заплатил.

Панург купил большое полотно: то была копия с вышивки, на которой в давнопрошедшие времена Филомела изобразила и представила сестре своей Прокне, как зять Терей лишил ее невинности и, дабы преступление его не раскрылось, отрезал ей язык. Клянусь концом этого негодяя, работа была на диво тонкая. Пожалуйста, не думайте, что это изображение мужчины, насилующего девушку. Это было бы очень неумно и очень грубо. Картина была совсем иного толка и далеко не так прямолинейна. Вы можете видеть ее в Телеме, – как войдешь в верхнюю галерею, сейчас же налево.

Эпистемон также купил картину – на ней были весьма живо представлены идеи Платона и атомы Эпикура. Ризотом купил еще

одну, на которой была написана нимфа Эхо в подлинном ее виде.

Пантагрюэль попросил Гимнаста купить жизнь и подвиги Ахилла, изображенные на семидесяти восьми коврах, длиною каждый в четыре туазы, а шириной в три, вытканых из фригийского шелка и расшитых золотом и серебром. Первоначально шло бракосочетание Пелея и Фетиды, затем рождение Ахилла, его юность, как ее описал Стаций Папиний, деяния его и ратные подвиги, воспетые Гомером, его смерть и погребение, как их описали Овидий и Квинт Калабрийский, кончалось же все появлением его тени и заклятием Поликсены, как это описано у Еврипида.

Сверх того, Гимнаст купил для Пантагрюэля трех красивых молодых единорогов: темно-рыжего самца и двух серых в яблоках самок. И еще он купил у скифа из области гелонов^[721] одного таранда.^[722]

Таранд – животное величиной с молодого быка; голова у него напоминает оленю, разве лишь немножко больше, с великолепными ветвистыми рогами, копыта раздвоенные, шерсть длинная, как у большого медведя, кожа чуть мягче той, что идет на панцири. Гелонец уверял, что поймать таранда не так-то просто, ибо он меняет окраску в зависимости от местности, где он живет и пасется: он принимает окраску травы, деревьев, кустарника, цветов, пастбищ, скал, вообще всего, к чему бы он ни приблизился. Это придает ему сходство с морским полипом, с тоями^[723], индийскими ликаонами^[724], с хамелеоном, который представляет собой настолько любопытный вид ящерицы, что Демокрит посвятил ему целую книгу, где описал его наружный вид, устройство внутренних органов, а также чудодейственные свойства его и особенности. Да я и сам видел, как таранд меняет цвет, не только приближаясь к окрашенным предметам, но и самопроизвольно, под действием страха и других сильных чувств. Я видел, как он приметно для глаза зеленел на зеленом ковре, как потом, некоторое время на нем посидев, становился то желтым, то голубым, то бурым, то лиловым – точь-в-точь как гребень индюка, меняющий свой цвет в зависимости от того, что индюк ощущает. Особенно поразило нас в таранде, что не только морда его и кожа, но и вся его шерсть принимала окраску ближайших к нему предметов. Возле Панурга в серой тоге и он становился серым; возле Пантагрюэля в алой мантии шерсть и кожа у него краснели; возле лоцмана, который

был одет, как жрецы Анубиса в Египте, шерсть его казалась белоснежной, – должно заметить, что два последних цвета хамелеону не сродны. Когда таранд не испытывает страха и ничем не встревожен, он сохраняет естественную свою окраску и цветом шерсти напоминает менских ослов.

Глава III

О том, как Пантагрюэлю доставили письмо от его отца Гаргантюа, и о необычайном способе получать скорые вести из чужедальних стран

Пантагрюэль был все еще занят покупкою диковинных зверей, когда на молу грянуло шесть пушечных выстрелов, после чего со всех кораблей послышались громкие, восторженные крики. Повернувшись лицом к гавани, он увидел быстроходное судно отца своего Гаргантюа, которое было названо «Хелидон», оттого что на его корме находилась «морская ласточка», изваянная из коринфской бронзы. «Морская ласточка» – это рыба величиной с луарского кармуса, очень мясистая, лишенная чешуи, наделенная длинными и широкими перепончатými, как у летучих мышей, крыльями, благодаря которым она быстрее стрелы пролетает над водой расстояние в одну туазу, чему я сам неоднократно бывал свидетелем. В Марселе ее называют «ландоль». Так вот, корабль этот был легок, как ласточка, и при взгляде на него казалось, будто он не плывет, а летит над морем. На борту его находился стольник Гаргантюа Маликорн, которого тот послал нарочным узнать о течении дел и состоянии здоровья своего сына, доброго Пантагрюэля, и отвезти ему письмо.

Отвечив на поклон Маликорна и ласково его обняв, Пантагрюэль, прежде чем вскрыть письмо, первым делом спросил:

– С вами ли небесный вестник «гозал»?^[725]

– Да, – отвечал Маликорн^[726], – вот тут, в этой корзиночке.

То была голубка из голубятни Гаргантюа, – ее отняли от птенцов в последнюю минуту, когда быстроходное судно должно было отчалить. Если бы с Пантагрюэлем случилось несчастье, пришлось бы к ее лапкам привязать черную ленту, но так как все складывалось для него удачно и благоприятно, то он вынул ее из корзины, привязал к ее

лапкам белую шелковую ленточку и, даром времени не теряя, тот же час пустил на волю. Голубка, с невиданной быстротой рассекая воздух, мгновенно скрылась из виду, – вы же знаете, что никто так быстро не летает, как голубка, когда она должна высидывать яйца или же когда у нее птенцы, вследствие заложенного в ней самую природою упорного стремления беречь и стеречь своих голубят. И вот, меньше чем за два часа, она пересекла по воздуху огромное пространство, меж тем как быстроходное судно, двигаясь с наивысшею скоростью, при попутном ветре и с помощью весел и парусов, преодолело то же самое расстояние за три дня и три ночи. Люди видели, как она влетела в голубятню, к своим птенчикам, и славный Гаргантюа, узнав, что на ней белая лента и что сын его, следственно, в добром здоровье, успокоился и повеселел.

Этим средством доблестные Гаргантюа и Пантагрюэль пользовались всякий раз, когда им не терпелось узнать о чем-либо сильно их волнующем или всюю душою чаемом, будь то исход сражения, морского или же сухопутного, взятие или оборона какой-либо крепости, умиротворение каких-либо чреватых важными последствиями распрей, благополучные или неблагополучные роды у какой-нибудь королевы или же знатной дамы, кончина или выздоровление занемогших друзей и союзников и тому подобное. Они брали гозала и отдавали распоряжение гонцам передавать его из рук в руки до того самого места, откуда они ожидали вестей. Гозал, пролетев за один час большее расстояние, нежели тридцать гонцов, сменяющих друг друга, за один день, возвращался, в зависимости от события и происшествия, с черной или же с белой лентой и выводил их из неведения. Так выгадывалось и выигрывалось время. И вы можете мне поверить: на их деревенских голубятнях голубки высидывали яйца и выращивали птенцов во всякую пору, чего, впрочем, на птичнике с помощью селитры и священного растения вербены достигнуть легко.

Выпустив гозала, Пантагрюэль прочитал послание отца своего Гаргантюа, заключало же оно в себе следующее:

«Дражайший сын! Естественная привязанность отца к любимому сыну чрезвычайно во мне усилилась, чем ты обязан особым качествам, которые в тебе заложил Божественный промысл, и теперь, после твоего отъезда,

одна-единственная дума не оставляет меня, и в сердце моем гнездится одна лишь порожденная страхом забота: уж не стряслось ли с вами при выходе в море какой беды или напасти, – ты же знаешь, что к любви глубокой и искренней всегда примешивается опасение. А так как, по Гесиоду, начало чего-либо – это уже половина всего, и, по известной пословице, что посеешь, то и пожнешь, я, чтобы отделаться от мрачных мыслей, отправил нарочным Маликорна с целью получить от него достоверные сведения о том, как прошли для тебя первые дни твоего путешествия, ибо если оно началось благополучно, именно так, как я тебе желал, то мне легко будет предугадать, предсказать и решить, как пойдет дело дальше.

Я раздобыл несколько веселых книг – пересылаю их тебе с подателем сего письма. Прочти их, когда тебе захочется отдохнуть от усердных твоих занятий. Податель сего подробно расскажет тебе все новости нашего двора. Благословение Предвечного да будет над тобой. Поклонись Панургу, брату Жану, Эпистемону, Ксеноману, Гимнасту и другим твоим слугам, а моим добрым друзьям.

Твой отец и друг

Гаргантюа.

Писано в отчете твоём доме, июня 13 дня».

Глава IV

О том, как Пантагрюэль написал отцу своему Гаргантюа и послал ему множество красивых и редкостных вещей

Прочитав вышеприведенное письмо, Пантагрюэль о многом побеседовал со стольником Маликорном и пробыл с ним так долго, что Панург наконец прервал его:

– Когда же вы выпьете? Когда же выпьем мы? Когда же выпьет господин стольник? Не довольно ли разговоров и не пора ли выпить?

– Справедливо, – заметил Пантагрюэль. – Велите накрыть на стол в ближайшем кабаке – вон в том, где вместо вывески над входом нарисован сатир на коне.

Затем Пантагрюэль написал Гаргантюа письмо, которое должно было послужить стольнику как бы оправдательным документом:

«Добрейший отец! Любые случайности сей временной жизни, коих мы не предугадываем и не опасаемся, вызывают более тяжкие и губительные потрясения животных наших сил (так что даже в иных случаях душа расстается с телом, хотя бы внезапно полученные вести были благоприятны и желанны), чем если бы мы их заранее предусмотрели и предвидели, а потому нежданный приезд стольника Вашего Маликорна взволновал меня и потряс, ибо не чаял я увидеть кого-либо из Ваших слуг и иметь о Вас весточку до самого конца нашего путешествия. И утешался я единственно тем, что светлые воспоминания об августейшем Вашем величестве, начертанные, вернее сказать, высеченные и выгравированные в заднем желудочке моего мозга, во мне свежи, и я живо себе представляю своеобразный Ваш и простодушия исполненный облик.

Однако же, раз Вы меня своим благодеянием опередили, столь ласковое письмо мне послав и силы мои обновив новостями, сообщенными мне стольником Вашим, касательно здоровья Вашего и благополучия, а равно и всего Вашего королевского дома, я теперь уже вынужден к тому, что до сей поры исполнял доброхотно, а именно: во-первых, прославлять благословенного Спасителя нашего, бесконечному милосердию которого мы обязаны тем, что столь долгий срок Вы проводите в добром здоровье; во-вторых, вечно благодарить Вас за ту горячую и нерушимую любовь, которую питаете Вы к своему послушному сыну и нерадивому слуге. В древние времена некий римлянин по имени Фурний сказал Цезарю Августу, который помиловал и простил его отца, участвовавшего в заговоре Антония: «Оказав мне это благодеяние, ты покрыл меня ныне позором, ибо я бессилен тебе за него отплатить, и суждено мне жить и умереть с клеймом неблагодарного». Вслед за ним и я могу сказать, что необычайная отеческая нежность Ваша ставит меня в печальную необходимость жить и умереть, так и не

отблагодарив Вас. В оправдание себе я могу лишь сослаться на стоиков, которые усматривали в благодеянии три стороны: даяние, получение и вознаграждение; при этом они считали, что получивший отменно вознаградил давшего, если он охотно его благодеяние принял и память о нем сохранил на всю жизнь, и наоборот: тот получивший, который оказанное ему благодеяние презрел и забыл, есть самый неблагодарный человек на свете.

Итак, подавленный неисчислимыми обязательствами, проистекающими из безграничной доброты Вашей, и не в состоянии будучи хотя чем-либо Вас отблагодарить, я по крайней мере хочу заранее отвести от себя ложное обвинение в том, что память о Вас когда-либо у меня изгладится; напротив, язык мой не устанет признаваться и возвещать, что равновеликим благом воздать Вам – это мне не по силам и не в моих то возможностях.

Впрочем, я уповаю на милосердие и помощь Создателя и надеюсь, что конец нашего странствия будет соответствовать началу и все мы возвратимся вспять в радости и в добром здравии. Я не стану посылать Вам с дороги комментарии и эфемериды; когда же мы свидимся, Вы получите обо всем нашем плавании правдивый отчет.

Я здесь нашел скифского таранда, каковой являет собою животное необыкновенное, удивительное: он меняет окраску кожи своей и шерсти в зависимости от соседствующих с ним предметов. Вам он доставит удовольствие. Он смиренный и неприхотливый, как барашек. Еще я Вам посылаю трех молодых единорогов, более ручных и домашних, чем котят. Я объяснил и рассказал стольнику, как с ними должно обходиться. Щипать траву на лугах они не могут – им мешает длинный на лбу рог. Они сами срывают с деревьев плоды, или же можно насыпать им плодов в особые кормушки, можно также кормить их из рук травой, колосьями, яблоками, грушами, ячменем, рожью, вообще всеми видами плодов и овощей. Я удивляюсь, почему древние писатели почитали их такими дикими, свирепыми, опасными и уверяли, что живыми никто их никогда не видал.

Если угодно, подвергните их испытанию – и Вы удостоверитесь в обратном: таких добрых животных на всем свете не сыщешь, не должно лишь обманывать их и обижать.

Еще я Вам посылаю жизнь и деяния Ахилла, изображенные на превосходных, затейливо расшитых коврах. Обещаю Вам привезти все диковины, какие мне только встретятся и попадутся в мире животных, растений, птиц и камней во все продолжение нашего странствия, в чем также надеюсь на помощь Господа Бога, которому я непрестанно за Вас молюсь.

Писано на острове Медамоти, июня 15 дня. Панург, брат Жан, Эпистемон, Ксеноман, Гимнаст, Эвсфен, Ризотом и Карпалим почтительно целуют Вам руки и тысячу раз Вам кланяются.

Ваш покорный сын и слуга
Пантагрюэль».

Меж тем как Пантагрюэль писал вышеприведенное письмо, Маликорна чествовали, приветствовали и обнимали без конца. Невозможно описать, какой поднялся тут шум и как все наперебой стремились хоть чем-нибудь да его почтить. Написав письмо, Пантагрюэль попиrowал со стольником и подарил ему массивную золотую цепь стоимостью в восемьсот экую, в каждое седьмое звено которой были вделаны крупные брильянты, рубины, изумруды, жемчужины, всем же его морякам роздал по пятисот экую с изображением солнца. Отцу своему Гаргантюа он послал таранда под атласным, шитым золотом чепраком, ковры, на которых были вышиты жизнь и деяния Ахилла, и трех единорогов под попонами из золотой парчи. Наконец Маликорн отчалил от острова Медамоти, дабы возвратиться к Гаргантюа, Пантагрюэль же – дабы продолжать свой путь, и в открытом море он попросил Эпистемона почитать вслух привезенные стольником книги, каковые оказались столь веселыми и занимательными, что, если вы как следует попросите, я с удовольствием подарю вам с них списки.

Глава V

О том, как Пантагрюэль встретил корабль с путешественниками, возвращавшимися из страны Фонарии

На пятый день, уже начав мало-помалу огибать полюс и удаляться от линии равноденствия, мы завидели торговое судно: развернув паруса, оно шло к нам навстречу левым галсом. Все возвеселились духом, и мы и купцы: мы – оттого что жаждали вестей о море, они – оттого что жаждали вестей о суше. Сойдясь, мы узнали, что это французы, сентонжцы. Пантагрюэль с ними разговорился: оказалось, что идут они из Фонарии. Тут он и все его спутники еще пуще возликовали, стали расспрашивать, каков в Фонарии образ правления, каковы нравы тамошнего народа, и получили такие сведения, что в конце июля сего года там надлежит быть собору всех фонарей^[727], что если мы придем вовремя (а для нас это труда не составляло), то увидим прекрасное, почтенное и веселое общество фонарей, и что приготовления там идут самые широкие: видно, мол, там хотят всю пофонарствовать. Еще нас предупредили, что когда мы будем проходить мимо великого королевства Гиборим^[728], то король Охабе^[729], того края правитель, встретит и примет нас с честью; и он и его подданные говорят по-французски, на туреньском наречии.

Пока нам выкладывали все эти новости, Панург успел повздорить с тайбургским купцом по прозвищу Индюшонок. Поссорились же они вот из-за чего. Индюшонок, заметив, что Панург не носит гульфика, а что на шляпе у него очки, сказал своим спутникам:

– Вылитый рогоносец!

Панург благодаря очкам слышал еще лучше, чем прежде. Как скоро его слуха достигли эти слова, он живо обратился к купцу:

– Какой же я, к черту, рогоносец, когда я еще и не женат? А вот ты, смею думать, женат, судя по твоей не слишком располагающей физи.

– То правда, я женат, – подтвердил купец, – и не променяю свою жену на все очки Европы и на все окуляры Африки. Моя жена – самая пригожая, самая обходительная, самая честная и самая целомудренная женщина во всем Сентонже, не в обиду будь сказано другим. Я везу ей

подарок: красивую, в одиннадцать дюймов длиной, веточку красного коралла. А тебе что от меня нужно? Чего ты ко мне лезешь? Кто ты таков? Откуда ты взялся? Отвечай, очкастый антихрист, отвечай, коли в Бога веруешь!

– А я тебя спрашиваю, – молвил Панург, – что, если я, с согласия и соизволения всех стихий, уже распрынтрындрыкал эту твою распригожую, разобходительную, расчестную и расцеломудренную жену? А что, если тугой бог садов Приап, которого я держу на свободе, коль скоро он наотрез отказался от гульфаика, как заскочит в нее, так уж потом, избави Бог, и не выйдет и застрянет там навсегда, хоть зубами вытаскивай? Что ты тогда будешь делать? Так там и оставишь? Или зубками будешь тащить? Отвечай, Магомет бараний, черт бы тебя подрал!

– Вот я сейчас хвачу тебя шпагой по очкастым твоим ушам и заколю, как барана! – вскричал купец и с последним словом схватился за шпагу.

Шпагу, однако, немислимо было вытащить из ножен, – как вы знаете, в море всякое оружие легко покрывается ржавчиной вследствие влажности воздуха и насыщенности его азотом. Панург призвал на помощь Пантагрюэля. Брат Жан схватил свой недавно отточенный меч, и умереть бы тут купцу лютою смертью, когда бы судовладелец и все пассажиры не взмолились к Пантагрюэлю, чтобы он не допустил побоища. Итак, все раздоры были прекращены: Панург и купец протянули друг другу руки и в знак полного примирения с отменным удовольствием хлопнули винца.

Глава VI

О том, как Панург после примирения стал торговать у Индюшонка одного из его баранов

После окончательного примирения Панург шепнул Эпистемону и брату Жану:

– Отойдите в сторонку: вас ожидает презабавное зрелище. Славно покачаемся на качелях, если только веревка не оборвется.

Затем он повернулся в купцу и снова осушил за его здоровье полный кубок доброго фонарского вина. Купец, отвечая любезностью на любезность, не преминул выпить за него. После этого Панург

обратился к нему с покорной просьбой сделать такое одолжение – продать ему одного барана. Купец же на это ответил так:

– Те-те-те, дружок, соседюшка, ловко же вы поддеваете на удочку бедных людей! Какой, подумаешь, покупатель нашелся! Гуртовщик хоть куда! Право слово, вы больше смахиваете на карманника, нежели на гуртовщика. Клянусь Николаем Угодником, приятель, кто с туго набитым кошельком стоит подле вас, тому не дай Бог зазеваться! Эге-ге, с вами держи ухо востро, а то вы живо на бобах оставите. Поглядите, добрые люди, ну чем не историограф?

– Погодите! – сказал Панург. – Прошу как об особой милости: продайте мне одного барана. Сколько вам за него?

– А как вы сами полагаете, дружок, соседюшка? – молвил купец. – Мои бараны длинношерстые. Ведь это с них Ясон снимал золотое руно. От них ведет свое происхождение Орден бургундского дома. Это бараны восточные, рослые, упитанные.

– Все может быть, – сказал Панург, – так вот, будьте любезны, продайте мне одного, и дело с концом. Я вам тут же уплачу новенькой монетой, монетой западной, низкорослой и жиром не пропитанной. Сколько вы хотите?

– Соседюшка, дружок! Послушайте еще немножко другим ухом, – сказал купец.

Панург. К вашим услугам.

Купец. Вы направляетесь в Фонарию?

Панург. Так точно.

Купец. Повидать свет?

Панург. Так точно.

Купец. И повеселиться?

Панург. Так точно.

Купец. А зовут вас не Робен-Баран?

Панург. Если вам угодно.

Купец. Вы только не обижайтесь.

Панург. Да я и не обижаюсь.

Купец. Вы, уж верно, королевский шут.

Панург. Так точно.

Купец. Ну так по рукам! Ха-ха-ха! Стало быть, вы едете повидать свет, вы – королевский шут, и зовут вас Робен-Баран? Посмотрите в

таком разе вон на того барана – его тоже зовут Робен. Робен, Робен, Робен! Бе-е-е-е! Какой хороший голос!

Панург. Очень хороший, такой приятный!

Купец. Давайте же заключим условие, соседушка, дружочек. Вы, Робен-Баран, станете на одну чашу весов, а мой баран Робен – на другую. Готов спорить на сотню бюшских устриц, что по своему весу, качествам и цене он внесет вас так же высоко и мгновенно, как в тот день, когда вы будете подвешены и повешены.

– Погодите! – сказал Панург. – Но ведь вы же осчастливите и меня и свое собственное потомство, коли продадите мне этого барана, – впрочем, можно и другого, не столь высокой пробы. Будьте так добры, милостивый государь!

– Дружочек, соседушка! – молвил купец. – Да ведь из шерсти моих баранов выйдет добротное руанское сукно, перед коим лейстерские сукна – не более как волос для набивки. Из их кожи будет выделан отменный сафьян, и он легко сойдет за турецкий, за монтелимарский или уж, на худой конец, за испанский. Кишки пойдут на струны для скрипок и арф, и цена им будет такая же высокая, как мюнхенским или же аквилейским. Что вы на это скажете?

– Продайте мне одного, – сказал Панург. – Ну пожалуйста, а уж я вам удружу, можете быть спокойны! Сколько прикажете?

С этими словами он показал купцу кошелек, набитый новенькими генрихами.

Глава VII

Продолжение торга между Панургом и Индюшонком

– Дружочек, соседушка! – молвил купец. – Да ведь это пища королей и принцев. Мясо у них нежное, сочное, вкусное – просто объедение. Я везу их из такой страны, где даже хряков, прости Господи, откармливают одними сливами. А супоросым свиньям, извините за выражение, дают один апельсинный цвет.

– Ну так продайте же мне одного барана, – сказал Панург. – Я заплачу вам по-царски, клянусь честью бродяги. Сколько?

– Дружочек, соседушка! – молвил купец. – Да ведь мои бараны происходят от того, который перенес Фрикса и Геллу через море, именуемое Геллеспонт.^[730]

– Дьявольщина! – воскликнул Панург. – Да вы кто такой: *clericus vel addiscens*?^[731]

– *Ita* — это капуста, *vere*^[732] – порей, – отвечал купец. – Нет, лучше так: кть, кть, кть, кть! Робен, Робен, кть, кть, кть! Ну да вы этого языка не понимаете. Кстати: где только мои бараны помочатся, на тех полях такой урожай, словно сам Господь Бог там помочился. Никакого мергеля, никакого навоза не надо. Это еще что! Из их мочи квинтэссенцики получают наилучшую селитру^[733]. Их – простите за грубое выражение – пометом наши врачи излечивают семьдесят восемь разных болезней, из коих самая легкая – болезнь святого Евтропия Сентского^[734], сохрани нас, Господи, и помилуй! Что вы на это скажете, соседушка, дружочек? Оттого-то и цена им изрядная.

– Я за ценой не постою, – сказал Панург. – Продайте же мне одного – внакладе не будете.

– Дружочек, соседушка! – молвил купец. – Подумайте о том, какие чудеса природы таятся в этих вот баранах, – вы ни одного бесполезного органа у них не найдете. Возьмите хотя бы рога, истолките их железным, а не то так деревянным пестом, – это не имеет значения, – заройте где хотите, а затем только поливайте почаше: спустя несколько месяцев вы увидите, что из них вырастет самая лучшая спаржа. С ней я мог бы сравнить одну лишь равенскую. Хотел бы я знать, господа рогоносцы, обладают ли ваши рога такими же точно достоинствами и отличаются ли они такими же точно чудесными свойствами?

– Ладно, ладно! – сказал Панург.

– Не знаю, ученый ли вы человек, – продолжал купец. – Я много ученых людей видел, наиученейших, рогоносных. Истинный Господь! Так вот, ежели вы человек ученый, то должны знать, что в нижних конечностях этих божественных животных, сиречь в ногах, есть такая косточка: иначе говоря – пятка, астрагал, если хотите, и вот этой самой косточкой – именно от барана, да разве еще от индийского осла и ливийской газели, – в древние времена играли в царскую игру «талы»: в эту именно игру император Октавиан Август за один вечер выиграл более пятидесяти тысяч экю. Ну-тка, вы, рогоносцы, попробуйте столько выиграть!

– Ладно, ладно! – сказал Панург. – Ближе к делу!

– А где мне взять слова, дружок, соседка, – продолжал купец, – чтобы воздать достождную хвалу внутренним их органам, лопаткам, седловине, задним ножкам, окорокам, грудинке, печенке, селезенке, кишкам, требухе, пузырю, которым играют, как все равно мячом, ребрам, из которых в Пигмейской земле делают хорошенские самострельчики, чтобы стрелять вишневыми косточками в журавлей, голове, которую варят вместе с щепоткой серы, каковой чудодейственный отвар дают собакам от запора?

– Ну тебя в задницу, – сказал тут купцу судовладелец, – полно выхвалять! Хочешь – продай, а коли не хочешь, так не води его за нос.

– Хочу, – молвил купец, – но только из уважения к вам. Пусть заплатит три турецких ливра и выбирает любого.

– Дорого, – заметил Панург. – В наших краях мне бы за эти деньги наверняка продали пять, а то и шесть баранов. Смотрите, как бы вам не зарваться. На моих глазах такие же, как вы, скороспелки ни о чем, кроме поживы да наживы, не думали, ан, глядь, разорились, да еще и шею себе сломали.

– Привяжись к тебе трясушка, дурак набитый! – воскликнул купец. – Клянусь святыней Шару, самый мелкий из этих баранов стоит вчетверо дороже самого лучшего из тех, которых кораксийцы в испанской провинции Турдетании^[735] продавали в старину по золотому таланту за штуку. Как ты думаешь, круглый дурак, сколько тогда стоил золотой талант?

– Милостивый государь! – сказал Панург. – Я вижу, вы хватили через край. Ну да уж куда ни шло, вот вам три ливра.

Расплатившись с купцом и выбрав красивого и крупного барана, Панург схватил его и понес, как он ни кричал и ни блял, все же остальные бараны, услышав это, тоже забляли и стали смотреть в ту сторону, куда потащили их товарища. Купец между тем говорил своим гуртовщикам:

– А ведь этот покупатель сумел-таки выбрать! Стало быть, смекает, паскудник! Ей-ей, ну ей-же-ей, я приберегал этого барана для сеньора Канкальского, потому как нрав его мне очень даже хорошо известен, а нрав у него таков: сунь ты ему в левую руку баранью лопатку, аккуратную и приятную, как ракетка для волана, – и уж он

себя не помнит от радости: знай орудует острым ножом, что твой фехтовальщик!

Глава VIII

О том, как Панург утопил в море купца и баранов

Вдруг – сам не знаю, как именно это случилось: от неожиданности я не уследил – Панург, не говоря худого слова, швырнул кричавшего и бляевшего барана прямо в море. Вслед за тем и другие бараны, кричавшие и бляевшие ему в лад, начали по одному скакать и прыгать за борт. Началась толкотня – всякий норовил первым прыгнуть вслед за товарищем. Удержать их не было никакой возможности, – вы же знаете баранью повадку: куда один, туда и все. Недаром Аристотель в IX кн. *De Histo. animal*^[736] называет барана самым глупым и бестолковым животным.

Купец, в ужасе, что бараны гибнут и тонут у него на глазах, всеми силами старался остановить их и не пустить. Все было напрасно. Бараны друг за дружкой прыгали в море и гибли. Наконец он ухватил за шерсть крупного, жирного барана и втащил его на палубу, – он надеялся таким образом не только удержать его самого, но и спасти всех остальных. Баран, однако ж, оказался до того сильным, что увлек за собою в море купца, и купец утонул, – так некогда бараны одноглазого циклопа Полифема вынесли из пещеры Одиссея и его спутников. Пастухи и гуртовщики тоже начали было действовать: они хватили баранов кто за рога, кто за ноги, кто за шерсть, но и эти бараны очутились в море и так же бесславно погибли.

Панург с веслом в руках стоял подле камбуза, но не для того, чтобы помочь гуртовщикам, а чтобы не дать им взобраться на корабль и спастись от гибели в морской пучине, и, точно какой-нибудь там брат Оливье Майар^[737] или брат Жан Буржуа, говорил прекрасную проповедь: рассыпая цветы красноречия, он описывал им печали мира сего, радость и блаженство жизни вечной, доказывал, что отошедшие в мир иной счастливее живущих в сей юдоли скорби, и обещал по возвращении из Фонарии в знак особого почета построить каждому из них на самой вершине горы Сени кенотаф^[738] и усыпальницу, тем же, кому еще, дескать, не надоело жить с людьми и идти ко дну не очень

хочется, он желал, чтобы им посчастливилось встретиться с китом, который на третий день, как Иону, извергнул бы их целыми и невредимыми где-нибудь в Атласной стране.

Когда же на корабле не оказалось ни купца, ни баранов, Панург вскричал:

– Хоть одна живая баранья душа здесь осталась? Где теперь стадо Тибо Ягненка? Или же стадо Реньо Барашка, любившее поспать, в то время как другие стада паслись? Не знаю. Старая военная хитрость. Что ты на это скажешь, брат Жан?

– Ловко это у тебя вышло, – отвечал брат Жан. – Я ничего в том дурного не вижу, скажу лишь, что в прежнее время на войне перед сражением или же приступом солдатам обыкновенно обещали за этот день двойную плату; если они сражение выигрывали, то на расплату с ними денег хватало с избытком; если ж проигрывали, то им стыдно было требовать плату, как постеснялись беглецы-грюйерцы после сражения при Серизоле^[739], – вот бы и тебе подождать расплачиваться, тогда денежки остались бы у тебя в кошельке.

– Плевать мне на деньги! – сказал Панург. – Я доставил себе удовольствие более чем на пятьдесят тысяч франков, клянусь Богом! А теперь, благо ветер попутный, можно и двинуться. Слушай, брат Жан: нет человека, сделавшего мне что-нибудь приятное, которого бы я не отблагодарил или, во всяком случае, не поблагодарил. Я добро помнил, помню и буду помнить. Но нет также человека, сделавшего мне что-нибудь неприятное, который бы впоследствии не раскаялся – не на этом, так на том свете. Со мной шутки плохи.

– Погубишь ты свою душу, черт окаянный, – молвил брат Жан. – Сказано у нас в служебнике: *Mihi vindictam*^[740] и так далее.

Глава IX

О том, как Пантагрюэль прибыл на остров Энназин, и о том, какие там странные родственные отношения

Дул легкий юго-западный ветерок, и в течение целого дня мы не видели суши. На третий день путешествия, тотчас после полудня, глазам нашим открылся треугольный остров, формой своей и местоположением очень похожий на Сицилию. Назывался он Остров

родственных отношений. Местные жители походили на красных пуатевинцев^[741], с тою, однако же, разницей, что у всех у них, мужчин, женщин, детей, нос был в виде трефового туза. Вот почему в древности остров тот назывался Энназин^[742]. И все там были друг с другом в родстве и свойстве и гордились этим, а местный правитель так прямо и сказал нам:

– Вы, люди из другого света, диву даетесь, как это из одного римского рода (то были Фабии), в один и тот же день (это было тринадцатого февраля), из одних и тех же городских ворот (то были Карментальские ворота, у подножья Капитолия, между Тарпейской скалой и Тибром, позднее переименованные в Ворота Злодеев), против врагов Рима (то были этруски) вышло триста шесть воинов, все между собою в родстве, и с ними еще пять тысяч ратников, их вассалов, и все они были убиты (произошло это у реки Кремеры, берущей начало в Бакканском озере). А из нашей страны в случае надобности выступит одновременно более трехсот тысяч, и все они будут родственники и из одной семьи.

Это их родство и свойство было весьма странное: мы обнаружили, что хотя все они были между собой родственники и свойственники, однако ж никто из них никому не приходился ни отцом, ни матерью, ни братом, ни сестрой, ни дядей, ни теткой, ни двоюродным братом, ни племянником, ни зятем, ни невесткой, ни крестным отцом, ни крестной матерью, – нет, я сам был свидетелем, как один безносый старец называл девочку лет трех-четырёх «папаша», а она его – «дочка».

Родство их и свойство выражалось, например, в том, что один мужчина называл какую-то женщину «моя сциеночка», а та его – «мой дельфинчик».

– Можно себе представить, какая поднимается зыбь, когда эти две рыбки плещутся одна на другой! – заметил брат Жан.

Кто-то, подмигнув какой-то щеголихе, сказал: «Здорово дневала, горошек мой!» А она, ответив ему на поклон, молвила: «Еще веселей ночевала, чертополошек мой!»

– Ха-ха-ха! – рассмеялся Панург. – Посмотрите на этот горошек и на этот чертополошек, черти бы его положили почаще! Как посеяли горохом пополам с чертополохом – так уж они с тех пор неврасцеп.

Третий раскланялся со своей милкой и сказал: «Прощай, мой ящичек!» А она ему: «Прощай, мой документик!»

– Клянусь святым Треньяном, – сказал Гимнаст, – этот документик, уж верно, не вылезает из этого ящичка.

Еще кто-то называл какую-то женщину «мой огородик», а она его – «мой козлик».

– Да уж, этого козлика только пусти в этот огородик! – заметил Эвсфен.

Еще кто-то, здороваясь со своей родственницей, сказал: «Здравствуй, мое маслице!» А она ему: «Здравствуй, мой сырочек!»

– А, прах вас побери! – вскричал Карпалим. – Стало быть, этот сыр катается в этом маслице? Стало быть, там все идет как по маслу? И то правда: такого маслица кому хочешь подлей – всяк вспыхнет.

Я пошел дальше и услышал, как один потаскун, здороваясь со своей родственницей, назвал ее «мой матрасик», а она его – «мое одеяльце». В самом деле: чем-то он напоминал тяжеленное одеяло. Кто-то называл свою подружку «моя крошечка», а она его – «моя корочка». Кто-то свою называл «мой замочек», а она его – «мой ключик». Кто-то свою называл «моя туфелька», а она его – «мой сапожок». Кто-то к своей обращался: «Моя шлепанка!» А она к нему: «Мой башмачок!» Кто-то к своей обращался: «Моя митеночка!» А она к нему: «Моя перчаточка!» Кто-то к своей обращался: «Свиная кожа!» А она к нему: «Сальце!» И были между ними такие же точно родственные отношения, как между кожей и салом.

По тому же праву родства один называл свою подружку «моя яичница», а та величала его «мое яичко», и были они меж собою связаны такими же точно узами, как яйцо с яичницей. На том же основании еще кто-то называл свою подружку «моя веревочка», она же его – «моя вязаночка». И так мы и не постигли, в каком же они, переводя на наши понятия, между собою свойстве или родстве, близком ли, далеком ли, по прямой линии, по боковой ли, – нам твердили одно: «Она-де этой вязанке веревка». Кто-то, приветствуя свою подружку, сказал: «Доброго здоровья, моя раковинка!» А она ему: «Доброго здоровья, моя устрица!»

– Они между собой как устрица в раковине, – пояснил Карпалим.

Кто-то, приветствуя таким же образом свою подружку, сказал: «Желаю здравствовать, мой стручок!» А она ему: «И тебе тоже, моя

горошина!»

– Они между собой как горошина в стручке, – пояснил Гимнаст.

Какой-то гнусного вида оборванец, обутый в высокие деревянные башмаки, повстречав приземистую, пышнотелую, дебелую девку, крикнул ей: «День добрый, шарик мой, кубарик мой, волчок!» А она ему преважно ответила: «Добрый день, мой заводик!»

– Ах ты, едят его мухи! – вскричал Ксеноман. – Да хватит ли у него завода на такой волчок?

Какой-то ученый муж, гладко причесанный и прилизанный, побеседовав с одной важной девицей, попрощался с ней и сказал: «Очень вам благодарен, хорошая мина!» – «А я – вам, плохая игра!» – отвечала она.

– Союз хорошей мины с плохой игрой вполне возможен, – заметил Пантагрюэль.

Заматерелый бакалавр, проходя мимо, сказал одной юной красотке: «Ба, ба, ба! Давно я не видел вас, Лира!» – «Вас мне всегда приятно видеть, Хвост!» – отвечала она.

– Случите эту лиру с этим хвостом и дуйте им в зад, – посоветовал Панург, – вот вам и певчая птичка лирохвост.

Кто-то называл свою подружку «моя иголочка», а она его «моя ниточка». Тут я невольно подумал, что эта ниточка с этой иголочкой неразлучны. Неподалеку от нас какой-то хлыщеватый горбун поклонился своей родственнице и сказал: «Мое почтение, шпенек!» По сему поводу брат Жан заметил:

– Шпенек-то скорее всего он, а она – скважина. Вот только сумеет ли такой шпенек заткнуть такую скважину – это еще вопрос.

Кто-то раскланялся со своей подружкой и сказал: «Будь здорова, мое оконце!» А она ему: «Счастливо, мое солнце!»

– Должно полагать, это солнце частенько заглядывает в это оконце, – заметил Понократ.

Какой-то потаскун, беседа с молодой шлюхой, сказал: «Смотри не забудь, фунька!» – «Не беспокойся, пшик!» – отвечала она.

– И они у вас считаются родственниками? – спросил правителя Пантагрюэль. – Я, напротив, полагаю, что они отнюдь не союзники, а враги, раз он назвал ее фунькой. В наших краях это самое оскорбительное, что только можно сказать женщине.

– Добрые люди из другого света! – отвечал правитель. – Нет более близких родственников, чем этот пшик и эта фунька. Они незримо выходят из одного и того же отверстия и в один и тот же миг.

– Это, стало быть, ихнюю мамашу буйным ветром надуло, – вставил Панург.

– О какой матери вы говорите? – спросил правитель. – Эта родственная связь существует у вас. А у них нет ни отца, ни матери. Отцы и матери водятся за морем, у людей побогаче нас.

Добрый Пантагрюэль с любопытством на все смотрел и всех слушал, однако ж подобные речи привели его под конец в смущение.

Со вниманием осмотрев местоположение острова и ознакомившись с нравами безносых, мы зашли в кабачок пропустить для бодрости. В кабачке в это время справляли по тамошнему обряду свадьбу. Словом сказать, пир шел горой. При нас играли веселую свадебку: выдавали грушу, девицу из себя видную (впрочем, те, кто ее пробовал, говорили, что она мягковата), за молодой сыр с рыжеватой бороденкой. Про такие свадьбы я и прежде слыхивал, справляются они и в других местах. Недаром у нас в деревне говорят, что поженить грушу и сыр – разлюбезное дело. В другой комнате играли свадьбу старого сапога и молоденькой ладной ботиночки. Пантагрюэлю объяснили, что молоденькая ботиночка оттого пошла за старый сапог, что он удобен, прочен и ей в самый раз, как на нее сшит. Внизу справляли свадьбу большого башмачка и старой туфли. И нам объяснили, что взял он ее не за красоту и не за благонравие, а из-за жадности своей и алчности, оттого что она вся расшита золотом.

Глава X

**О том, как Пантагрюэль высадился на острове Шели ^[743],
коим правил король св. Каравай**

Юго-восточный ветер дул нам прямо в корму, когда, покинув этих не весьма привлекательных словосочетающихся, мы вышли в открытое море. На закате солнца пристали мы к острову Шели, обширному, плодородному, богатому и многолюдному острову, коим правил король – св. Каравай; и вот этот самый король со своими сыновьями и придворными выехал встречать Пантагрюэля на пристань

и отвез его в свой замок. У входа в башню замка их встретила королева с дочерьми и придворными дамами. Каравай выразил желание, чтобы и она, и вся ее свита расцеловали Пантагрюэля и его спутников. Таковы были в этой стране правила вежливости. Все и расцеловались, за исключением брата Жана, который скрылся и замешался в толпу королевских чиновников. Каравай стал уговаривать Пантагрюэля пробыть здесь этот и следующий день. Пантагрюэль отговорился тем, что сейчас, мол, ясная погода и попутный ветер, коего путешественники чают по большей части напрасно: им должно-де пользоваться, пока он дует, оттого что дует он далеко не всякий и не каждый раз, когда его ожидают. После того как Пантагрюэль привел этот довод и после того как все выпили друг за друга раз двадцать пять, а то и тридцать, Каравай наконец отпустил нас.

Возвратившись в гавань и не обнаружив брата Жана, Пантагрюэль осведомился, где он может быть и почему он отделился от всей компании. Панург не знал, что сказать, и совсем уж было собрался бежать обратно во дворец за братом Жаном, но в эту самую минуту появился ликующий брат Жан и в наивеселейшем расположении духа воскликнул:

– Да здравствует доблестный Каравай! Клянусь смертью дикого быка, он всем нос утрет своей кухней. Я прямо оттуда, – там стены ломаются от снеди. Я себе по монастырскому чину и уставу полное пузо набил.

– Ты, мой друг, из кухонь так-таки и не вылезает! – заметил Пантагрюэль.

– Клянусь требухой, – продолжал брат Жан, – в кухонных обычаях и церемониях я лучше толк понимаю, нежели в ухаживании за женщинами, во всех этих шурах-мурах, курах, амурах, во всех этих поклонах, ответных поклонах, повторных поклонах, объятиях, лапаньях, «целую ручку вашей милости, вашему величеству, ах, какая вы, тра-та-ти, тра-та-та!». Телячьей нежности! Какать и сикать я на них хотел! Дьявольщина, я не отказываюсь: я тоже вдосталь и безо всяких кривляний хлебнул этого напитка, я тоже вчинять иск не ленился. Но все эти г...нные поклоны – это мне, бедному иноку, так же тошно, как великий, то бишь высокий, пост. У святого Бенедикта на этот счет строго. Вы говорите: целовать девиц. Клянусь моим почтенным и

священным саном, я от этого стараюсь уклоняться, – боюсь, как бы со мной не случилось того же, что с сеньором Гершаруа.

– А что такое? – спросил Пантагрюэль. – Я его знаю, это один из самых близких моих друзей.

– Он был зван вместе с другими тамошними дворянами, их женами и дочками на роскошное и великолепное пиршество к одному своему родственнику и соседу, – продолжал брат Жан. – Пока он еще не прибыл, дамы вырядили своих пажей расфранченными, в пух и прах разодетыми девицами. Одевиченные эти пажи вышли ему навстречу к подъемному мосту. Он, наивысшую блюдя учтивость, всех их перецеловал и всем им отвесил изящные поклоны. В конце концов дамы, ожидавшие его в галерее, расхохотались и дали пажам знак, что они могут разоблачиться, но тут добрый сеньор со стыда и с досады отказался целоваться с настоящими дамами и девицами: только что он, мол, напоролся на переодетых пажей, так почему же он, пес возьми, знает – а вдруг сейчас перед ним лакеи, только еще более хитроумно выряженные?

Господи Боже мой, *da jurandi*, скорей бы наши бранные тела перенеслись в какую-нибудь расчудесную кухню! Посмотреть бы, как вращаются вертелы, послушать, как приятно потрескивают дрова, поглядеть, как шпигуют, поглядеть, как заправляют супы, как готовят десерт, в каком порядке подают вина! Сказано у нас в служебнике: *Beati immaculati in via.*^[744]

Глава XI

Отчего монахи любят торчать на кухне

– Вот это сказано истинно по-монашески, – заметил Эпистемон. – Я понимаю монаха монашествующего, а не монаха омонашенного. В самом деле, вы мне напомнили то, что мне довелось видеть и слышать во Флоренции около двадцати лет тому назад. У нас тогда составила премилая компания: всё люди любознательные, страстные путешественники, постоянные посетители людей ученых, любители древностей и достопримечательностей Италии. И мы с любопытством осматривали местоположение Флоренции, любовались ее красотами, архитектурой ее собора, величественными ее храмами и пышными дворцами и даже вступили друг с другом в соревнование, кто из нас

найдет наиболее подходящие слова, дабы воздать всему этому должную хвалу, как вдруг один амьенский монах по имени Бернард Обжор в запальчивости и раздражении воскликнул: «Не понимаю, какого дьявола вы всё здесь так хвалите! Я осмотрел город с не меньшим вниманием, чем вы, да и зрение у меня не хуже вашего. И что же? Красивые дома, только и всего! Но, да будут мне свидетелями сам Бог и святой Бернард, мой покровитель, я еще не видел ни одной харчевни, а ведь я, словно сыщик, все как есть тут высмотрел и выглядел: мне все хотелось вычислить и высчитать, сколько здесь таких харчащих харчевен справа и сколько слева и на какой стороне больше. Ходим, ходим мы тут с вами, осматриваем, осматриваем, а в Амьене мы прошли бы втрое, вчетверо меньше, и я бы уже вам показал около пятнадцати старых, аппетитно пахнущих харчевен. Не понимаю, что за удовольствие глазеть возле башни на львов и африканов (так, по-моему, вы их называете, а здесь их зовут тиграми) или на дикобразов и страусов во дворце синьора Филиппо Строцци^[745]. Честное слово, други мои, я предпочел бы увидеть славного, жирного гусенка на вертеле. Вы говорите, этот порфир и мрамор прекрасны? Не спорю, но, на мой вкус, амьенские пирожки лучше. Вы говорите, эти античные статуи изваяны превосходно? Верю вам на слово, но, клянусь святым Фереолем Аббевильским, наши девчонки в тысячу раз милее».

– Отчего это и чем это объяснить, – заговорил брат Жан, – что монахов вы всегда найдете на кухне, а королей, пап, императоров – никогда?

– Нет ли в самых этих котлах и вертелах, – молвил Ризотом, – каких-либо скрытых свойств и специфических особенностей, которые притягивают монахов, как магнит притягивает железо, но не притягивают ни императоров, ни пап, ни королей? Или это естественное влечение и естественная склонность, присущие клобукам и рясам, и они сами собой подводят и подталкивают честных иноков к кухне, хотя бы те вовсе не собирались и не думали туда идти?

– Иными словами, форма следует за материей, – пояснил Эпистемон. – Об этом говорится у Аверроэса.

– Вот, вот, – молвил брат Жан.

– Не будем решать этот вопрос, – вмешался Пантагрюэль, – он отчасти щекотлив, об него легко уколоться, а я вам лучше вот что

расскажу. Помнится мне, я читал, что царь македонский Антигон, заглянув однажды в походную свою палатку и увидев, что поэт Антагор жарит там угря и сам топит печь, превесело спросил его: «Когда Гомер описывал подвиги Агамемнона, он тоже жарил угрей?» – «А как ты полагаешь, – сказал Антагор царю, – когда Агамемнон совершал свои подвиги, он тоже подглядывал, кто в его стане жарит угрей?» Царь счел неприличным, что поэт сам готовит жаркое у него на кухне. Поэт же ему намекнул, что королю заглядывать на кухню и вовсе не пристало.

– Это что! – сказал Панург. – А вот я вам расскажу, что ответил однажды Бретон Вилландри^[746] его светлости герцогу де Гизу. Речь у них шла о том, что во время боя, который был дан королем Франциском императору Карлу Пятому, этот самый Бретон, вооруженный на диво, вплоть до стальных наколенников и поножей, и восседавший на знатном коне, как сквозь землю провалился. «Честью клянусь, я там был, и доказать это очень просто, – объявил Бретон, – но только я находился в таком месте, где бы вы не отважились меня искать». Герцогу эта речь не понравилась: она показалась ему слишком дерзкой и слишком заносчивой, и он уж было осердился на Бретона, но тот мгновенно его умиловил и чуть не уморил со смеху. «Я был при обозе, – сказал он, – а ваша светлость не стала бы там прятаться».

Разговаривая о всяких таких пустяках, приблизились они к своим судам и, не мешкая долее, покинули остров Шели.

Глава XII

О том, как Пантагрюэль побывал в Прокурации, и о необычайном образе жизни ябедников

Продолжая свой путь, мы на другой день достигли Прокурации, земли, сплошь перепачканной и перемаранной. Прежде я о ней ничего не слышал. Там мы увидели прокуроров и ябедников всякого разбора. Они не предложили нам ни поесть, ни попить. Они только, без конца отвешивая замысловатые поклоны, объявили, что они всецело к нашим услугам – за вознаграждение. Один из наших толмачей рассказал Пантагрюэлю, каким необычайным способом эти люди добывают себе пропитание – способом, диаметрально противоположным тому, каким

пользуются римляне. В Риме громадное большинство живет тем, что отравляет, колотит и убивает других; ябедники живут тем, что позволяют бить самих себя, и если бы они подолгу не получали таски, то непременно подошли бы с голоду вместе с женами и детьми.

– Они напоминают мне тех людей, – сказал Панург, – у которых, как утверждает Гален, стрелка не подскакивает, если их не посечь хорошенько. Ну, а уж если бы меня высекли, – клянусь святым Тибо, я бы, черт побери, как раз наоборот, дал осечку.

– Способ у них такой, – продолжал толмач. – Если монах, священник, ростовщик или же адвокат таит злобу на дворянина, то он натравливает на него кого-нибудь из этих ябедников. Ябедник затевает против дворянина дело, тащит его в суд, нагло поносит и оскорбляет, согласно полученным наставлениям и указаниям, пока наконец дворянин, если только он не расслабленный и не глупее головастика, не хватит его то ли палкой, то ли шпагой по голове, или не перебьет ему голеней, или не вышвырнет в окно или же в одну из бойниц крепостной стены своего замка.

Теперь ябедник несколько месяцев может жить припеваючи: палочные удары – это для него самый богатый урожай, ибо он с монаха, с ростовщика, с адвоката сдерет немалую мзду, и дворянин, со своей стороны, выдаст ему вознаграждение, иной раз столь великое и непомерное, что сам остается ни при чем, да еще боится, как бы не сгнить в тюрьме, словно он избил самого короля.

– Я знаю прекрасное средство от этого бедствия, – сказал Панург, – им воспользовался сеньор де Баше.

– Какое средство? – спросил Пантагрюэль.

– Сеньор де Баше, – сказал Панург, – был человек отважный, добродетельный, великодушный, рыцарственный. Когда он возвратился домой после той длительной войны, во время которой герцог Феррарский при поддержке французов храбро защищался^[747], отбивая яростные атаки папы Юлия Второго, жирный настоятель Сен-Луанского монастыря начал для собственного удовольствия и развлечения строчить на него ябеды и таскать по судам.

Однажды Баше, завтракая вместе со своими слугами (человек он был добрый и простой), велел послать за своим пекарем по имени Луар и за его женой, а также за своим приходским священником по имени Удар, который по тогдашнему французскому обычаю служил у

него ключником, и в присутствии дворян и слуг сказал им: «Дети мои! Вы видите, сколько обид чинят мне ежедневно подлые эти ябедники. Так вот, если вы мне не поможете, то я принужден буду покинуть родимый край и отправиться к паше египетскому, ко всем чертям, куда угодно. А посему, как скоро ябедники сюда явятся, вы, Луар, вместе с вашей женой в пышных свадебных нарядах нисколько не медля выходите в большой зал, как будто бы вам только сейчас предстоит повенчаться. Вот вам сто эку золотом – даю их вам для того, чтобы вы могли обновить свои уборы. Вы, мессир Удар, не замедлите прийти туда в новой ризе и епитрахили и со святой водой, как будто вы собираетесь их венчать. Вы, Трюдон (так звали его барабанщика), тоже приходите туда с флейтой и барабаном. Как скоро новобрачные дадут согласие и жених под стук барабана поцелует свою невесту, вы все как бы на память о свадьбе начинайте потчевать друг друга легкими тумачками. После этого вы только с большим аппетитом поужинаете. Когда же вам подвернется ябедник, то молотите его без всякой пощады, как недоспелую рожь. Прошу вас, колотите его, лупите, тузите! Вот вам новые железные перчатки, обшитые козьим мехом. Бейте ябедника и в хвост и в гриву, не жалея сил. Кто всех лучше его вздрючит, того я почту за самого преданного мне человека. Не бойтесь попасть под суд. Я всех вас выгорожу. Били, мол, в шутку, – так уж полагается на свадьбе». – «Да, но как мы отличим ябедников? – спросил Удар. – Ведь к вам что ни день отовсюду съезжается уйма народу». – «Я это предусмотрел, – отвечал Баше. – Если к воротам приблизится человек, пеший или же верхом на плохоньком коне, и на большом пальце у него будет тяжелое и широкое серебряное кольцо, значит, это ябедник. Привратник встретит его любезно и позвонит в колокольчик. А вы будьте наготове и сию же минуту идите в зал разыгрывать трагикомедию, о которой я вас предупредил».

Видно, так было угодно Богу, чтобы в тот же день к Баше явился старый, толстый, краснорожий ябедник. Он позвонил, и привратник тотчас узнал его по грубым сапогам, по скверной кляче, по холщовому мешку, привязанному к поясу и набитому судебными повестками, а главное, по тяжелому серебряному кольцу на большом пальце левой руки. Привратник встретил его любезно, гостеприимно распахнул перед ним дверь и с веселым видом позвонил в колокольчик. По этому знаку Луар и его супруга надели на себя лучшие наряды и

величественно проследовали в зал. Удар тем временем облачился в ризу и епитрахиль; при выходе из ризницы он встретил ябедника, повел его к себе и, пока бойцы надевали перчатки, долго его там поил. «Как удачно вы попали! – сказал он ему. – У нашего господина сегодня веселье. Попируем мы с вами на славу – столы ломаются: ведь у нас нынче свадьба. Пейте и веселитесь!»

Ябедник все опрокидывал да опрокидывал; наконец Баше, удостоверившись, что все люди в сборе и в полном боевом снаряжении, послал за Ударом. Тот пришел и принес святую воду. Вслед за ним явился ябедник. Войдя в зал, он не преминул отвесить несколько нижайших поклонов, а затем вызвал Баше в суд. Баше принял его необычайно радушно, подарил ему ангелот и попросил присутствовать при подписании свадебного договора. Договор подписали. Под конец заработали кулаки. Когда же дело дошло до ябедника, то его так славно угостили перчатками, что он своих не узнал: под глазом ему засветили фонарь, восемь ребер сломали, грудную клетку вдавили, лопатки разбили на четыре части, нижнюю челюсть – на три, и всё в шутку. Как орудовал Удар, прикрывший своим облачением огромную стальную перчатку, подбитую горностаем, – а он был здоровяк, – про то один Бог ведает. Возвратился ябедник в Иль-Бушар в таком виде, точно он вырвался из лап тигриных, вполне, однако ж, удовлетворенный и убоготворенный сеньором де Баше, и благодаря добрым местным хирургам еще долго потом жил да поживал. Происшествие это замолчали. Память же о нем улетучилась только вместе со звоном колоколов, звонивших на погребении ябедника.

Глава XIII

О том, как сеньор де Баше по примеру мэтра Франсуа Виллона хвалит своих людей

Как скоро ябедник покинул замок и воссел на свою изъяснистую кобылицу (так называл он одноглазую свою лошадь), Баше удалился в уединенный садик, под сень беседки, послал за женой, дочерьми и всеми домочадцами, велел подать лучшего вина, как можно больше пирожков, ветчины, фруктов, сыру и, с отменным удовольствием выпив с ними, повел такую речь:

– Мэтр Франсуа Виллон на склоне лет удалился в пуатевинскую обитель Сен-Максен, под крылышко к ее настоятелю, человеку добропорядочному. Чтобы развлечь окрестный люд, Виллон задумал разыграть на пуатевинском наречии мистерию Страстей Господних. Набрав актеров, распределив роли и подыскав помещение, он уведомил мэра и городских старшин, что мистерия будет готова к концу Ниорской ярмарки; осталось-де только подобрать для действующих лиц подходящие костюмы. Мэр и старшины отдали надлежащие распоряжения. Сам Виллон, собираясь нарядить одного старого крестьянина Богом-Отцом, попросил брата Этьена Пошеям, ризничего францисканского монастыря, выдать ему ризу и епитрахиль. Пошеям отказал на том основании, что местный монастырский устав строжайше воспрещает что-либо выдавать или же предоставлять лицедеям. Виллон возразил, что устав имеет в виду лишь фарсы, пантомимы и всякого рода непристойные увеселения и что именно так толкуют его в Брюсселе и в других городах. Пошеям, однако ж, сказал напрямик: пусть Виллон соблаговолит-де обратиться еще куда-нибудь, а на его ризницу не рассчитывает, ибо здесь он все равно, мол, ничего не добьется. Виллон, возмущенный до глубины души, сообщил об этом разговоре актерам, присовокупив, что Бог воздаст Пошеям и в самом непродолжительном времени накажет его.

В субботу Виллон получил сведения, что Пошеям отправился на монастырской кобыле в Сен-Лигер собирать подаяние и что возвратится он часам к двум пополудни. Тогда Виллон устроил своей бесовщине смотр на городских улицах и на рынке. Черти вырядились в волчьи, телячьи и ягнячьи шкуры, напялили бараньи головы, нацепили на себя кто – бычьи рога, кто – здоровенные рогатки от ухвата и подпоясались толстыми ремнями, на которых висели огромные, снятые с коровьих ошейников бубенцы и снятые с мулов колокольчики, – звон стоял от них нестерпимый. У иных в руках были черные палки, набитые порохом, иные несли длинные горящие головешки и на каждом перекрестке целыми пригоршнями сыпали на них толченую смолу, отчего в тот же миг поднимался столб пламени и валил страшный дым. Проведя чертей по всему городу, на потеху толпе и к великому ужасу малых ребят, Виллон под конец пригласил их закусить в харчевню, стоявшую за городской стеной, при дороге в Сен-Лигер. Подойдя к харчевне, Виллон издали увидел Пошеям,

возвращавшегося со сбора подаяния, и, обратясь к чертям, заговорил макароническими стихами:

Се землякус ностер, родом из дьячкорум,
Любит он таскаре плесневентас коркас.

– Ах он, такой-сякой! – воскликнули черти. – Не захотел дать на время Богу-Отцу какую-то несчастную ризу! Ну, мы его сейчас пугнем!

– Отлично придумано, – заметил Виллон. – А пока что давайте спрячемся, шутихи же и головешки держите наготове.

Только Пошеям подъехал, как все эти страшилища выскочили на дорогу и принялись со всех сторон осыпать его и кобылу искрами, звенеть бубенцами и завывать, будто настоящие черти:

– Го-го-го-го! Улюлю, улюлю, улюлю! У-у-у! Го-го-го! Что, брат Этьен, хорошо мы играем чертей?

Кобыла в ужасе припустилась рысью, затрещала, заскакала, понеслась галопом, начала брыкаться, на дыбы взвиваться, из стороны в сторону метаться, взрывать и, наконец, как ни цеплялся Пошеям за луку седла, сбросила его наземь. Стремена у него были веревочные; правую его сандалию так прочно опутали эти веревки, что он никак не мог ее высвободить. Кобыла поволокла его задом по земле, продолжая взбрыкивать всеми четырьмя ногами и со страху перемахивая через изгороди, кусты и канавы. Дело кончилось тем, что она размозжила ему голову, и у осанного креста^[748] из головы вывалился мозг; потом оторвала ему руки, и они разлетелись одна туда, другая сюда, потом оторвала ноги, потом выпустила ему кишки, и когда она примчалась в монастырь, то на ней висела лишь его правая нога в запутавшейся сандали.

Виллон, убедившись, что его пророчество сбылось, сказал чертям:

– Славно вы сыграете, господа черти, славно сыграете, уверяю вас! О, как славно вы сыграете! Бьюсь об заклад, что вы заткнете за пояс сомюрских, дуэйских, монморийонских, ланжейских, сент-эспенских, анжерских и даже – вот как Бог свят! – пуатьерских чертей с их залом заседаний. О, как славно вы сыграете!

– Так-то вот и я, – заключил Баше, – могу теперь поручиться, милые друзья мои, что с этих пор вы тоже славно будете играть трагический этот фарс, ибо при первой же попытке и пробе сил вы изрядно взлупили, отколотили и взбодрили ябедника. С этого дня я всем вам стану платить двойное жалованье. Вы, душенька моя, – обратился он к своей супруге, – вольны одарить их чем только вам заблагорассудится. Все мои сокровища у вас в руках и в вашем распоряжении. Ну, а я прежде всего выпью за вас, милые мои друзья. Ух ты! Доброе винцо, холодное! Во-вторых, вы, дворецкий, возьмите себе этот серебряный таз, – я вам его дарю. Вы, оруженосцы, возьмите две серебряные золоченые чаши. Вас, пажей, в течение трех месяцев не будут сечь. Душенька! Отдайте им мои белые, с золотыми блестками султаны. Вам, мессир Удар, я дарю серебряную флягу. Вот эту я дарю поварам; камердинерам дарю серебряную корзину; конюхам дарю вот эту, в виде ладьи, серебряную с позолотой; привратникам я дарю две тарелки; погонщикам мулов – десять суповых ложек. Трюдон! Возьмите себе серебряные ложки и эту вазочку. Вы, лакеи, возьмите себе большую солонку. Служите мне верно, друзья мои, а уж я в долгу не останусь, и запомните раз навсегда: клянусь Богом, я предпочитаю получить на войне, служа доброму нашему государю, сто ударов палицей по шлему, нежели хотя единый раз явиться в суд по вызову наглых ябедников, на радость вот такому вот жирному настоятелю.

Глава XIV

Избиение ябедников в доме де Баше продолжается

Несколько дней спустя другой ябедник, на сей раз – молодой, долговязый и тощий, явился звать Баше в суд по делу жирного настоятеля. Привратник в последнюю секунду догадался, что перед ним ябедник, и позвонил в колокольчик. Колокольчик возвестил о приходе ябедника всем обитателям замка. Луар в это время месил тесто. Жена его просеивала муку. Удар что-то подсчитывал. Придворные играли в мяч. Сам сеньор де Баше играл со своей женой в триста три. Дочки играли в кости. Прислужники – в империял. Пажи играли в мурр на щелчки. И вот все вдруг смекнули, что ябедник у ворот. Тут мессир Удар скорей облачатся, Луар и его супруга скорей

наряжаться, Трюдон скорей играть на флейте, бить в барабан, все захохотали, засуетились и – гурьбой к перчаткам!

Баше вышел во двор. При виде его ябедник опустился на колени, попросил на него не гневаться, ибо он-де вызывает его в суд не по своему делу, а по делу жирного настоятеля, и в изысканных выражениях дал понять, что он, важная персона, состоящая при монастыре, хранитель аббатской митры, готов сделать не только самому де Баше, но и ничтожнейшему из его челядинцев все, что только сеньор соблаговолит ему повелеть и препоручить.

– Нет уж, – сказал сеньор, – вы не вызовете меня в суд, пока не отведаете доброго кенкенейского вина и не погуляете на свадьбе, которую мы сегодня справляем. Мессир Удар! Дайте ему пропустить для бодрости, а затем приведите в зал. Милости просим!

Славно подкрепившись и нагрузившись, ябедник вместе с Ударом проследовал в зал, а там уже, в полном боевом порядке и с самым решительным видом, собрались все участники фарса. При появлении ябедника они заулыбались. Глядя на них, засмеялся и ябедник, мессир же Удар прочитал молитву, соединил руки брачащихся, велел жениху поцеловать невесту и всех окропил святой водой. Пока подавали вино и сласти, все начали помаленьку награждать друг дружку тумачками. Ябедник дал несколько тумачков мессиру Удару. Удар скрывал под облачением железную перчатку, облегающую его руку, словно митенка. И вот как стал он ябеднику вlepлять туза, как стал он ябеднику давать тычка, так уж тут со всех сторон градом посыпались на ябедника удары перчаточек. «Свадьба, свадьба, свадьба, памятный обычай!» – кричали все. И так славно ябедника отходили, что кровь текла у него изо рта, из носа, из ушей, из глаз. Коротко говоря, ему сломали, раскроили, проломили голову, затылок, спину, грудь, руки, все как есть. Смею вас уверить, что в Авиньоне во время карнавала бакалавры никогда так весело не играли в рафу, как потешились над этим ябедником. В конце концов он грохнулся на пол. Тут его хорошенько sprыснули вином, привязали к рукавам его куртки желтые и зеленые ленты и усадили на его одра. Ябедник возвратился в Иль-Бушар, а уж как там его пользовали местные костоправы и как за ним ухаживала его супруга – про то я не ведаю. Больше о нем не было ни слуху ни духу.

Так или иначе, тощий ябедник цели своей не достигнул и вернулся ни с чем, а потому на другой же день все повторилось сызнова. Жирный настоятель отрядил еще одного ябедника вызвать в суд сеньора де Баше и для охраны послал с ним двух свидетелей. Звонок привратника обрадовал весь дом, и все с нетерпением стали поджидать ябедника. Баше, его жена и его приближенные в это время обедали. Он велел позвать ябедника, усадил его рядом с собой, свидетелей – рядом с дочками, и все весело принялись за еду. За десертом ябедник встал из-за стола и при свидетелях во всеуслышание вызвал Баше в суд. Баше вежливо попросил у него официальный документ. Документ был при ябеднике. Сеньору де Баше была тут же вручена повестка. Ябедник и свидетели получили от него по четыре экю с солнцем.

Затем участники фарса разошлись готовиться к представлению. Трюдон стал бить в барабан. Баше обратился к ябеднику с просьбой присутствовать при бракосочетании одного из его прислужников и составить брачный договор, за что-де он будет хорошо вознагражден и вполне убогатворен. Ябедник был человек любезный. Он, ни слова не говоря, достал письменные принадлежности и бумагу, свидетели же от него не отходили. Луар вошел в залу в одну дверь, его жена с дочками в другую, оба в брачных одеяниях. Удар в облачении священнослужителя взял их за руки, спросил их согласия, благословил их и не пожалел святой воды. Договор скрепили подписями. В одну дверь внесли вина и сладости, в другую – ворох белых и коричневых лент, через третью же были тайно доставлены перчатки.

Глава XV

О том, как ябедник восстановил старинный свадебный обычай

Опрокинув громадную чашу бретонского, ябедник обратился к сеньору:

– Милостивый государь! Что же это такое? У вас больше не подсыпают друг дружке на свадьбе? Ах, распротак твою, все добрые обычаи исчезают! Теперь и зайцев не найдешь больше в лежках. Не стало больше друзей. Вы только подумайте: многие церкви отменили попойки, коими исстари сопровождалось пение рождественских

ирмосов. Весь мир спятил. Пришли последние времена. Нет уж, свадьба, свадьба, свадьба!

И с этими словами он принялся тузить Баше и его супругу, потом его дочек и Удара.

Тут вступили в бой железные перчатки, и голова ябедника треснула в девяти местах, одному из свидетелей сломали правую руку, а другому вывихнули верхнюю челюсть, вследствие чего она наполовину закрыла ему подбородок, язычок же у него вывалился наружу, а сверх того он недосчитался многих коренных зубов, равно как резцов и клыков. Потом барабанщики переменили темп, и по этому знаку перчатки неприметно для постороннего глаза были убраны, сластей же еще поднесли, и опять пошло веселье. Добрые собутыльники пили друг за друга, все пили за ябедника и за обоих свидетелей, Удар же проклинал и поносил свадьбу, уверяя, что один из свидетелей будто бы все плечо ему растулумбасил. Выпили, однако ж, с великим удовольствием и за свидетеля. Обесчелюстевший свидетель складывал руки и молча просил прощения, ибо говорить он не мог. Луар жаловался, что свидетель обезручевший так хватил его кулаком по локтю, что он у него теперь весь расхлобытрулуплющенный.

– Нет, правда, что я им сделал? – заговорил Трюдон, прикрывая левый глаз носовым платком и показывая свой с одного края прорванный барабан. – Мало того что они мне изо всех сил раскошпоктребеньхлебеньтреньгрохали бедный мой глаз, еще и барабан мой прорвали. В барабан на свадьбах всегда бьют, барабанщика же чествуют, но не бьют никогда. Черт знает что такое!

– Братец! – сказал ему ябедник-одноручка. – У меня тут есть старая большая королевская грамота, на вот, возьми ее, заткни свой барабан и прости меня ради Бога. Да будет мне свидетельницей ривьерская Божья Матерь, я не желал тебе зла.

Один из оруженосцев, в подражание доброму и доблестному сеньору де ла Рош-Розе^[749] прихрамывавший и на одну ногу припадавший, сказал свидетелю с нахлобученной на подбородок челюстью:

– Кто вы такие: борцы, бойцы или же убийцы? Мало вам, что вы искалечковерувечкровомякровоавколупкрошкромскорежили верхние наши челюсти, вам еще надо было пинками

бацбуцзвезданхрясгрюктрюкбабахчебурахать нас по ногам? Это потешный, по-вашему, бой? Убой это, а не бой потешный.

Свидетель, сложив руки и, по-видимому, моля о прощении, шлепал языком, как обезьяна:

– Мой... не мой... немой...

Новобрачная плакала смеясь и смеялась сквозь слезы, оттого что ябедники, не удовольствовавшись битьем куда ни попало и куда придется и задав ей славную выволочку, сверх того предательски тыкципщуплазлапцапцарапали ей места неудобьсказуемые.

– Это все козни злого духа! – воскликнул Баше. – Господин король (так зовут ябедников) ни с того ни с сего, здорово живешь, взбутетенил добрую мою женушку. Ну да я на него не в обиде. Это так, милые свадебные ласки. Но только мне теперь ясно, что явился-то он ко мне с повесткой как ангел-вестник, а колошматит он как черт. Он такой любитель потаскивать за волосы, что, уж верно, он брат потаскун. Я охотно пью за него, а также за вас, господа свидетели.

– Да, но из-за чего и по какому поводу он меня и этак и разэтак потчевал колотушками? – заговорила супруга де Баше. – Впрочем, пусть черт его возьмет, если я на него сержусь. Нет, видит Бог, не сержусь! Я скажу одно: плечи мои никогда еще не ощущали на себе таких сильных пальцев.

Дворецкий держал левую руку на перевязи, точно она была у него раздроблосвихнута.

– Нечистый меня угораздил пойти на эту свадьбу, – ворчал он. – Истинный Бог, у меня все руки изуродмочалмолочены. Плевать бы на такие свадьбы! Ей-богу, это ни дать ни взять пир лапифов, описанный самосатским философом. [\[750\]](#)

Ябедник больше уж ничего не говорил. Свидетели же извинились, сказали, что они это не нарочно, и просили ради Бога простить их.

С тем они и уехали. В полумиле от замка Баше ябеднику стало не по себе. Свидетели же, прибыв в Иль-Бушар, объявили во всеуслышание, что такого порядочного человека, каков сеньор де Баше, и такого почтенного дома, как у него, они отроду не видывали, что никогда еще не гуляли они на такой веселой свадьбе, а что вся вина на них, так как они первые пошли на кулачки; вот только не знаю, сколько они еще потом прожили.

Тогда же было признано, что деньги де Баше еще более пагубны, вредоносны и губительны для ябедников и свидетелей, нежели встарь тулузское золото или же Сеев конь ^[751] для их обладателей. Сеньора де Баше с тех пор оставили в покое, свадьбы же его вошли в поговорку.

Глава XVI

О том, как брат Жан испытывает натуру сутяг

– Рассказ этот сам по себе занятен, – заметил Пантагрюэль, – однако страх Божий вечно должен быть перед глазами нашими.

– Мне бы он еще больше понравился, – сказал Эпистемон, – когда бы град железных перчаток обрушился на жирного настоятеля. Он тратил деньги для собственного удовольствия: для того, чтобы досадить Баше, отчасти же для того, чтобы и ябедникам досталось. Тумаки созданы для его бритой головы, особенно ежели принять в рассуждение чудовищное лихоимство тех бродячих судей, что чинят суд под сенью вяза. А чем же несчастные ябедники виноваты?

– Мне пришел на память, – заговорил тут Пантагрюэль, – один благородный житель древнего Рима по имени Луций Нератий. Происходил он из знатной и по тому времени богатой семьи. Самодур он был, однако ж, изрядный: отправляясь куда-нибудь, он приказывал своим слугам набить сумки золотом и серебром, и если на улице ему попадался какой-нибудь вертопрах, он без всякого повода, просто так, шутки ради, наотмашь бил его кулаком по лицу, а чтобы умаслить потом вертопраха и чтобы тот не подал в суд, он давал ему денег. Вознаграждая же и удовлетворяя его таким образом, он действовал в согласии с законами Двенадцати таблиц. Так он расточал свое достояние и за свои собственные деньги избивал людей.

– Клянусь священной сандалией святого Бенедикта, я сейчас допытаюсь, где правда! – воскликнул брат Жан.

С этими словами он ступил на сушу, достал кошелек, вынул оттуда двадцать экю с солнцем, а затем громогласно и во всеуслышание объявил великому стечению ябеднического народа:

– Кто хочет получить двадцать золотых экю за то, чтобы его дьявольски избивали?

– Я! Я! Я! – завопили все. – Изобьете вы нас до бесчувствия, милостивый государь, мы в том уверены, зато и заработок недурен.

И тут все наперегонки бросились к брату Жану: каждому хотелось, чтобы его вздули за столь высокую плату. Брат Жан, оглядев все скопище, выбрал одного краснорожего ябедника, у которого на большом пальце правой руки красовался тяжелый и широкий серебряный перстень с весьма крупным жабьим камнем.

Как скоро выбор был сделан, слуха моего достигнул дружный ропот толпы, а один молодой, высокий и сухопарый ябедник, малый дошлый, сведущий и, по общему мнению, пользовавшийся весом в церковном суде, стал жаловаться и ворчать, что краснорожий отбивает у них у всех практику и что если бы в их местности можно было заработать только лишь на тридцати палочных ударах, то двадцать восемь с половиной он оттягивал бы себе. Все эти жалобы и сетования были, однако ж, вызваны не чем иным, как завистью.

Брат Жан в полное свое удовольствие накомтылял краснорожему спину и живот, руки и ноги, голову и все прочее, так накомтылял, что мне даже показалось, будто он уходил его насмерть. Засим он протянул ему двадцать экю. И тут мой поганец вскочил с таким счастливым видом, как будто он король или даже два короля, вместе взятые.

Другие ябедники меж тем взмолились к брату Жану:

– Отец дьявол! Ежели вам благоугодно еще кого-нибудь поколотить, то мы, отец дьявол, возьмем с вас подешевле. Мы к вашим услугам, со всеми нашими мешками, бумагами, перьями, со всем, что ни есть!

Краснорожий на них напустился и гаркнул:

– Ах, чтоб вас всех, голь перекатная, вы что же это, на мой рынок лезете? Хотите переманить и отбить у меня покупателей? Вызываю вас после дождичка в четверг в церковный суд, пусть вас бесы унесут! Я вас засужу, вы у меня к самому воверскому черту отправитесь!

Затем он повернулся к брату Жану и с веселым, сияющим лицом заговорил:

– Преподобный отец дьявол! Ежели, государь мой, я вам подхожу и ежели вам угодно еще немножко позабавиться и меня взгреть, то я готов и за полцены, лишнего не возьму. А уж вы меня не щадите. Я весь как есть к вашим услугам, господин дьявол, – с головой, с легкими, со всеми потрохами. Положа руку на сердце вам говорю!

Брат Жан прервал его излияния и удалился. Прочие ябедники ринулись к Панургу, Эпистемону, Гимнасту и другим и обратились с

покорной просьбой побить их за самое скромное вознаграждение, а то, мол, придется им, ябедникам, невесть сколько сидеть не евши. Никто, однако ж, не стал их слушать.

Далее, раздобывая пресную воду для судовой команды, мы повстречали двух старых ябедниц, горько плакавших и сетовавших. Пантагрюэль оставался на корабле и как раз в это время подал знак к отплытию. Мы было подумали, что это родственницы того ябедника, которого отдубасил брат Жан, и спросили, чего они так убиваются. Они ответили, что как же, мол, им не плакать, когда только что двум наипочтеннейшим гражданам Ябедарии на виселице обмотали вокруг шеи монаха.

– Мои слуги потехи ради обматывают монаха, сиречь веревку, спящим своим товарищам вокруг ног, – заметил Гимнаст. – А обмотать монаха вокруг шеи – это значит кого-нибудь повесить и удавить.

– Вот, вот, – подтвердил брат Жан. – Вы рассуждаете совсем как святой Жан де ла Палис.

Мы спросили, за что их вздернули, и нам ответили, что они стащили сбрую мессы (понимай – облачение) и спрятали ее под рукавом церковного прихода (понимай – под колокольной).

– Экие туманные аллегии! – заметил Эпистемон.

Глава XVII

О том, как Пантагрюэль прошел остров Тоху, остров Боху^[752], а также о необычайной кончине Бренгнарийля^[753], ветряных мельниц глотателя

В тот же день Пантагрюэль прошел остров Тоху, а также Боху, где ничего нельзя было зажарить: громадный великан Бренгнарийль за неимением ветряных мельниц, коими он обыкновенно питался, слопал все сковороды, сковородки, горшки, кастрюли и чугунки, какие там только были. И вот случилось так, что под утро, в час пищеварения, он опасно заболел несварением желудка, вызванным, как уверяли медики, тем, что врожденная пищеварительная способность его желудка, благодаря которой он переваривал целые ветряные мельницы, не вполне справлялась со сковородами и горшками; котлы же и чугунки

он переваривал недурно, о чем свидетельствовали осадок и слизь в тех четырех бюссарах мочи, которые он в два приема испустил поутру.

К нему были применены различные медицинские средства. Болезнь, однако ж, оказалась сильнее лекарств. И доблестный Бренгнарийль в то же утро преставился, и кончина его была столь необычайна, что после этого вас бы не удивила даже Эсхилова смерть; Эсхил же, которому прорицатели роковым образом предрекли, что в определенный день он будет погребен под каким-то предметом, долженствующим на него обрушиться, в предроканый ему день, выйдя из города, старательно обходил всякого рода строения, деревья, скалы и все то, что могло бы на него свалиться и падением своим сокрушить его. Остановился он посреди широкого луга, поручил себя вольному и открытому небу и решил, что здесь ему совершенная обеспечена безопасность, разве только на него обрушится небесный свод, а это казалось ему невозможным. Между тем я слышал, что жаворонки очень боятся падения небесного свода – боятся, что если свод в самом деле рухнет, то их всех переловят.

Того же самого опасались некогда и прирейнские кельты: то были доблестные, храбрые, рыцарственные, воинственные и победоносные французы, и вот, когда Александр Великий спросил их, чего они боятся больше всего на свете, – а он был совершенно уверен, что, приняв в рассуждение великие его подвиги, победы, завоевания и триумфы, они назовут именно его, – они ответили, что не боятся ничего, кроме падения небесного свода, но это, однако ж, не помешало им, если верить Страбону (кн. VII) и Арриану (кн. I), вступить в дружественное объединение и союз с отважным и великодушным этим царем.

Плутарх в своей книге *О лице, появляющемся на поверхности луны*, рассказывает, что некто Фенак боялся, как бы на землю не упала луна, и испытывал жалость и сострадание к тем, кто под нею живет, то есть к эфиопам и тапробанцам: а ну как свалится на них этакая громада! Боялся он еще за небо и землю, так как, по его мнению, они недостаточно прочно зиждутся и держатся на Атлантовых столпах, в существование которых, по свидетельству Аристотеля (*Meta ta phys*^[754], кн. V), верили древние.

Эсхил, несмотря на все предосторожности, погиб от того, что на него свалилась и упала черепаха: она выскользнула из когтей орла,

ширявшего в поднебесье, упала прямо ему на голову и панцирем своим раскроила ему череп.

Еще пример: поэт Анакреон умер, подавившись косточкой от винограда. Еще пример: римский претор Фабий умер, поперхнувшись козьим волосом, попавшим в чашку с молоком. Еще пример: один человек, сдерживая ветры и стесняясь как следует трахнуть в присутствии римского императора Клавдия, скоропостижно скончался. Еще пример: некий римлянин, погребенный при Фламиниевой дороге, жалуется в своей эпитафии: умер-де он от того, что кошка укусила ему мизинец. Еще пример: Кв. Леканий Басс скоропостижно скончался от того, что уколол себе иголкой большой палец левой руки, хотя этот укол был почти незаметен. Еще пример: нормандский медик Кенло скоропостижно скончался в Монпелье от того, что перочинным ножом неудачно вырезал впившегося ему в руку клеща.

Еще пример: слуга Филемона, чтобы его господин побольше выпил за обедом, принес фиги, а сам пошел за вином, но в это самое время в помещение забрался приبلудный осел и с блаженством принялся уничтожать разложенные фиги. Явился Филемон и, с любопытством понаблюдав за тем, как мило осел уплетает фиги, сказал своему возвратившемуся слуге: «Коль скоро осел перестал наслаждаться фигами, дай ему запить добрым вином, которое ты сейчас принес». Тут Филемон пришел в необычайно веселое расположение духа и разразился диким хохотом, и так долго он хохотал, что вследствие крайнего напряжения селезенки дыхание у него пресеклось, и он скоропостижно скончался.

Еще пример: Спурий Сауфей умер от того, что, придя из бани, съел яйцо всмятку. Еще пример: Боккаччо рассказывает об одном человеке, который скоропостижно скончался от того, что поковырял в зубах стебельком шалфея^[755]. Еще пример: Филиппо Плакут, будучи до этого свеж и бодр, предварительно ничем не боля, скоропостижно скончался, уплатив старый долг. Живописец Зевксис скоропостижно скончался от смеха при взгляде на портрет старухи, им же самим написанный. Тысячи подобных случаев вы найдете у Веррия, у Плиния, у Валерия, у Бапטיста Фульгозе, у Бакабери-старшего.

Добрый же Бренгнарийль – увы! – подавился куском свежего масла, который он по совету врачей ел возле самого устья жарко пылавшей печки.

Еще мы узнали, что куланский король на острове Боху разгромил сатрапов царя Мехлота^[756] и сровнял с землей твердыни Белимы^[757]. Затем мы прошли острова Наплевать и Начихать, далее острова Телениабин и Генелиабин, очень красивые и обильные клистирами, и, наконец, острова Эвиг и Эниг, из-за которых некогда вышла ошибка с ландграфом Гессенским.^[758]

Глава XVIII

О том, как Пантагрюэля застигла в море сильная буря

На другой день мы заметили с правой стороны девять судов, груженных монахами^[759]: иаковитами, иезуитами, капуцинами, эрмитами, августинцами, бернардинцами, целестинцами, театинцами, эгнатинцами, амедейцами, кордельерами, кармелитами, францисканцами и прочими святыми отцами, ехавшими на Кесильский собор^[760], дабы защитить догматы истинной веры от новоявленных еретиков. При виде их Панург возвеселился духом: он полагал, что такая встреча предвещает удачу не только на этот день, но и на длинный ряд последующих, а посему, вежливо с честными отцами поздоровавшись и поручив спасение своей души их святым молитвам, он велел сбросить на их суда семьдесят восемь дюжин окороков, изрядное количество икры, несколько десятков кругов колбасы, несколько сотен барбунов и две тысячи ангелотиков^[761] на помин души усопших.

Пантагрюэль между тем пребывал в задумчивости и унынии. Понаблюдав за ним, брат Жан наконец осведомился, чем вызвано столь не свойственное ему дурное расположение духа, но в эту самую минуту лоцман, заметив, что флюгер на корме завертелся, и поняв, что надвигается страшнейшая буря и шторм, отдал приказ всем быть наготове – не только кормчим, младшим матросам и юнгам, но и нам, пассажирам, велел убрать паруса на фок– и грот-мачте, убрать марсель, главный парус, парус на бизань-мачте и на бушприте, спустить булины, большую и малую стеньгу, равно как и бизань-мачту, а на реях оставить только выбленки и ванты.

Внезапно море вздулось и всколебалось до самой пучины; громады волн с размаху ударялись о борта; мистраль, сопровождаемый

бешеным ураганом, неистовыми порывами, ужасными вихрями и смертоносными шквалами, засвистал в реях; небесный свод загремел, заблестал, засверкал, хлынул дождь, посыпался град; воздух утратил прозрачность, сделался непроницаемым, темным и мрачным, и только зарницы, вспышки молний и прозоры меж огнедышащих туч озаряли тьму; категиды, тизеллы, лелапы и престеры^[762] беспрерывно проносились над нами; по временам все вокруг нас вспыхивало при свете псолоентов, аргов, элик и прочих истечений эфира; рассеянным и блуждающим взором следили мы за тем, как чудовищные смерчи вздымали крутые валы. Поверите ли, у нас было такое чувство, словно это древний хаос, в коем все стихии – огонь, воздух, море, земля – слились воедино.

Панург пребывал на палубе; досыта напивав дерьмоядных рыб содержимым своего желудка, удрученный, пришибленный, полумертвый, он призывал на помощь всех угодников и угодниц, давал обещание как-нибудь поисповедаться и наконец в великом ужасе воскликнул:

– Эй, кок, дружок, папаша, дяденька, дай мне чего-нибудь соленького! Я вижу, нам скоро предстоит как следует наглотаться водички. Чуть-чуть еды и вдосталь питья – это будет отныне моим девизом. Дал бы Господь и пресвятая, пречистая, преблагословенная наша Богородица, очутился бы я теперь, да не теперь, а сию минуту, на твердой земле, – как бы мне было хорошо!

О, трижды, четырежды блаженны те, кто разводит капусту! О Парки, зачем вы не выпряли из меня капустника! О, как ничтожно число тех, кому Юпитер уготовал счастливый удел разводить капусту! У них всегда одна нога на земле и другая тут же рядом. Пусть кто угодно ведет споры о счастье и высшем благе, – по моему разумению, за наивысших счастливых должно почитать сейчас тех, кто разводит капусту, и я более прав, чем Пиррон, который, в минуту подобной опасности увидев на берегу хряка, подбиравшего рассыпанный ячмень, почел его за наивысшего счастливого, во-первых, потому, что у него вдоволь ячменя, а во-вторых, потому, что он – на земле.

Эх, по мне суша лучше самой сладкой водицы! Боже, Спасителю мой, эта волна нас снесет! Друзья, дайте капельку уксусу! Я весь мокрый от страха. Горе нам! Фалы оборваны, от носового каната одни обрывки остались, коуши сломаны, брам-стенга плавает в море,

подводная часть смотрит прямо на солнце, якорные канаты почти все оборваны. Увы, увy, где наши булины? Амба нам, амба! Фок-мачта упала в воду. Увы, кому достанутся эти обломки? Друзья, позвольте мне укрыться за парашютом! Эй, ребята, фонарь упал! Ах, Боже мой, не выпускайте из рук ни румпеля, ни талей! Я слышу, как скрипит руль. Он не сломался? Бога ради, спасите брюк, на бейфут не обращайтесь внимания! Бе-бе-бе, бу-бу! Господин звездочет! Будьте добры, взгляните на стрелку компаса, откуда идет шторм? Я с ума схожу от страха, честное слово! Бу-бу-бу-бу-бу! Пришел мой конец. Я даже в штаны наложил от ужаса! Бу-бу-бу-бу! Брррррр! Брррррр! Бу-бу-бу! У-у-у! Бу-бу-бу-бу! Тону, тону, тону, помираю! Добрые люди, тону!

Глава XIX

О том, как вели себя во время бури Панург и брат Жан

Пантагрюэль призвал на помощь Спасителя и вслух горячо и усердно помолился, а затем по указанию лоцмана обеими руками стал поддерживать мачту. Брат Жан, оставшись в одной куртке, поспешил на подмогу кормовым матросам. Эпистемон, Понократ и прочие последовали его примеру. Один лишь Панург прилип к палубе и все только плакал да сетовал. Брат Жан, проходя между скамьями для гребцов, увидел его.

– Эй ты, теленок, плакса, хныкало! – крикнул он. – Лучше бы помог нам, чем сидеть на собственных яичках, как мартышка, и реветь коровой, – ей-богу, право!

– Бе-бе-бе, бу-бу-бу! – отвечал Панург. – Брат Жан, друг мой, отец мой родной, я тону, тону, друг мой, тону! Погиб я, отец мой духовный, друг мой, погиб! Ваш меч меня не спасет. Горе нам, горе! Мы уже прошли всю гамму, перевалили за верхнее «до». Бе-бе-бе, бу-бу! Горе нам! А сейчас мы уже за нижним «до». Тону! Папаша, дядюшка, драгоценный вы мой! Вода просочилась через воротник в туфли. Бу-бу-бу, гу-гу-гу, га-га-га-га-га, тону! Увы нам, увy, гу-гу-гу-гу-гу-гу! Бе-бе, бу-бу, бо-бу, бо-бу, го-го-го-го-го! Увы, увy! Сейчас я – точь-в-точь раздвоенное дерево: ноги вверху, голова внизу. Эх, кабы дал мне Бог перенестись на корабль к тем преподобным и блаженным соборничающим отцам, с которыми мы нынче утром встретились, – они такие набожные, такие откормленные, такие веселые, такие

ласковые, такие приветливые! Горе, горе, горе, увы, увы! Эта чертова волна (*mea culpa, Deus!*^[763]), то бишь эта Божья волна, захлестнет наше судно! Увы! Брат Жан, отец мой, друг мой, исповедуйте меня! Вы видите, я на коленях! *Confiteor!*^[764] Благословите меня!

– Эй, чертов висельник! Иди помогать, иди, тридцать легионов чертей!.. – крикнул брат Жан. – Пойдешь ты или нет?

– Отец мой, друг мой, в такой час грешно ругаться! – молвил Панург. – Вот завтра – сколько вам будет угодно. Горе нам, горе, увы! Вода заливает наш корабль. Тону! Увы, увы! Бе-бе-бе-бе-бе, бу-бу-бу-бу! Мы уже на дне! Горе нам, горе! Я обеспечу миллион восемьсот тысяч годового дохода тому, кто перенесет меня, всего как есть в дерьме и г... на сушу, если только найдется такой человек в моей г... нной стране. *Confiteor!* Увы! Позвольте мне составить самое краткое завещание, хотя бы один параграф!

– Тысячу чертей в утробу этому рогоносцу! – вскричал брат Жан. – Господи, помилуй! Мы на краю гибели, мы должны наизнанку вывернуться, иначе нам всем конец, а ты о завещании? Идешь ты или нет, черт бы тебя побрал? Начальник галер, голубчик мой, помощник начальника, душа моя, сюда! Гимнаст, сюда, на эстантероль! Крест истинный, мы пропали! Вон уж фонарь потух. Сейчас все полетит к чертовой матери.

– Горе нам, горе, горе! – вопил Панург. – Бу-бу-бу-бу-бу! Горе, горе! Неужто нам всем грозит неминуемая гибель? Увы мне, добрые люди, тону, умираю! *Consummatum est.* Конец мой пришел!

– Му-му-му! – сказал брат Жан. – Фу, до чего ж ты мне противен, с...ая плакса! Эй, юнга, береги, черт возьми, насос! Тебя что, зашибло? Ах ты, Господи! Привяжи его к якорному битенгу! Туда его, туда, черт побери! Так, так, мальчик, так!

– Ах, брат Жан, отец мой духовный, друг мой, не ругайтесь! – возопил Панург. – Вы грешите. Горе мне, горе. Бе-бе-бе, бу-бу-бу! Друзья мои, тону, умираю! Прощаю всем. Счастливо оставаться! *In manus...* Бу-бу-бу-у-у-у! Святой Михаил Орский и святитель Николай! В последний раз взываю к вам! Обещаю вам и Господу Богу нашему: если вы мне поможете, то есть если вы меня избавите от этой напасти и вынесете на сушу, я вам построю хорошенькую большую-пребольшую малюсенькую капеллу, а то и две,

Между Канд и Монсоро,
Где не пасет пастух коров*.

Горе мне, горе! В меня влилось восемнадцать с лишним ведер воды. Бу-бу-бу-бу! Какая же она горькая, соленая!

– Клянусь кровью, плотью, чревом и головой, – сказал брат Жан, – если ты не перестанешь ныть, я угощу тобой морского волка. Какого дьявола мы до сих пор не выкинули его за борт? А ну-ка, гребец, приналяг, славный парень! Так, так, дружище! Эй вы, там, наверху, держитесь! Ого! Вот так полыхнуло, вот так гроыхнуло! Не то все черти сорвались нынче с цепи, не то Прозерпина^[765] рожает. Весь ад танцует с погремушками.

Глава XX

О том, как кормовые матросы поручают корабли воле зыбей

– Ах, – воскликнул Панург, – вы грешите, брат Жан, бывший мой друг! Я говорю «бывший», ибо в настоящее время и я ничто, и вы ничто. Мне неприятно вас останавливать: сдается мне, что ругань приносит большую пользу вашей селезенке, – так же точно дровосек чувствует огромное облегчение, если кто-нибудь при каждом ударе громко кричит возле него: «Хек!», и так же точно играющему в кегли становится необыкновенно легко на душе, если какой-нибудь сообразительный человек, видя, что шар его катится не туда, клонит голову и поворачивается всем корпусом в ту сторону, где бы метко пущенный шар неминуемо сбил кегли. Как бы то ни было, вы грешите, милый мой друг. А что, если мы сейчас съедим что-нибудь этакое кабирное, – может статься, это нас спасет от грозы? Я читал, что в море во время бури никогда не испытывали страха и находились в безопасности жрецы кабиров^[766], столь прославленных Орфеем, Аполлоном, Ферекидом, Страбоном, Павсанием и Геродотом.

– Э, что там! Чушь он городит, черт его дери! – сказал брат Жан. – Ну его к тысячам, к миллионам, к сотням миллионов чертей, этого чертова рога носного рогача! Эй ты, тигр полосатый, помоги нам! Ты

будешь помогать или нет? Всем на бакборт! Клянусь священной главой Господа Бога, что это за обезьяньи молитвы бормочешь ты себе под нос? Ведь этот самый чертов горе-морьяк и накликнул бурю, и сейчас только он один на всем судне не помогает команде. Если вы так и будете там сидеть, я с вами расправлюсь, как сам демон бури. Сюда, юнга, сюда, душенька, держи крепче, сейчас я завяжу греческий узел! Ах, какой ты милый! Дай Бог тебе стать аббатом в Талемузе, а того, кто сейчас там настоятелем, перевести бы в Круле! Понократ, братец! Смотрите, как бы вас там не ушибло! Эпистемон! Отойдите от борта, – я видел, как туда ударила молния.

– Гребите веселей!

– Отлично сказано! Веселей, веселей, веселей! Шлюпки готовы! Веселей! Боже милосердный, это еще что? Нос – в щепы! Ну что ж, гремите, черти, п...те, с. те! Чихал я на эту волну! Слава Богу, она меня не слизнула. Кажется, будто миллионы чертей со всей округи собрались на капитул или же галдят на выборах нового ректора.

– На бакборт!

– Отлично сказано! Эй, юнга! Ну-ка, черт возьми, подтяни повыше блок! На бакборт, на бакборт!

– Бе-бе-бе, бу-бу-бу! – бормотал Панург. – Бу-бу, бе-бе-бе, бу-бу-бу, тону! Не видать ни неба, ни земли. Горе нам, горе! Из четырех стихий здесь остались только две: огонь и вода. Бу-бу-бу, бу-бу! Эх, кабы Господь по великой милости своей перенес меня сейчас в Сейи, на виноградник, или же в Шинон, к пирожнику Иннокентию, поближе к расписанному погребку, – я бы даже согласился, засучив рукава, печь пирожки! Помощник галерного начальника! Вы не могли бы выбросить меня на сушу? Мне про вас столько хорошего говорили! Я отдам вам все мое Рагу и всю мою огромную улитню^[767], если благодаря вашему хитроумию я ступлю на твердую землю. Горе мне, горе, тону! Послушайте, друзья мои! Коль скоро к тихой пристани нам все равно не причалить, давайте станем на рейде где попало. Бросьте якоря. Избежим этой опасности, умоляю вас! Господин начальник! Будьте любезны, опустите веревку и лот! Вымерим глубину! Господин начальник, друг мой! Ради Создателя, давайте сделаем промер! Давайте узнаем, можно ли тут пить стоя, не нагибаясь. У меня на сей предмет особые соображения.

– Реи долой, эй! Реи долой! – крикнул лоцман. – Руку на фал! Реи спусти! Фаль, реи спусти, береги паруса! Галсы ниже, ниже, эй! Реи спусти, эй, режь носом волну! Вынь румпель! Ложись в дрейф!

– Где мы? – спросил Пантагрюэль. – Боже, Спасителю наш, помощи!

– Ложись в дрейф, эй! – скомандовал старший лоцман Жаме Брайе. – Ложись в дрейф! Думай каждый о своей душе, молись, надейся только на чудо!

– Дадимте какой-нибудь хороший торжественный обет! – предложил Панург. – Горе нам, горе нам, горе нам, бу-бу, бе-бе-бе, бу-бу-бу! Горе нам, горе! Пошлем кого-нибудь за нас паломничать! Ну да, ну да, сложимся по несколько лиаров, ну да!

– Эй, туда, туда, черт бы вашу душу взял! – вскричал брат Жан. – На штирборт! Ради всего святого, ложись в дрейф! Вынь румпель, эй! Ложись в дрейф, ложись в дрейф! Эй, давайте-ка выпьем! Только самого лучшего, самого что ни есть полезного для желудка. Эй, кок, слышите? Сообразите, спроворьте! Все равно полетит оно у вас к чертовой матери. Эй, паж! Тащи сюда мое рвотное! (Так он называл свой служебник.) Погодите! Пробки долой, друг мой, вот так! Господи, Твоя воля! Ну и град, ну и молния! Эй вы, там, наверху! Пожалуйста, держитесь! Когда у нас праздник всех святых? По-моему, нынче у нас не праздник, а безобразник, и не всех святых, а всех чертей.

– Ай-ай-ай! – воскликнул Панург. – Брат Жан зря губит свою душу! Какого верного друга я в нем теряю! Горе нам, горе, час от часу не легче! От Сциллы мы идем к Харибде. Увы мне, я тону! *Confiteor!* Брат Жан, отец мой! Одно только слово вместо завещания! Господин извлекатель квинтэссенции, друг мой, Ахат мой! Ксеноман, драгоценный мой! Ай-ай, я тону, два слова вместо завещания! Вот здесь, на этой циновке!

Глава XXI

Продолжение бури и краткое собеседование о завещаниях, составленных на море

– Составлять завещание в такой час, – сказал Эпистемон, – когда нам надлежит напрячь все свои силы, чтобы помочь команде предотвратить кораблекрушение, представляется мне делом

неуместным и несвоевременным, и напоминает это мне легионеров и любимцев Цезаря, которые, вступив вместе с ним в Галлию, занимались тем, что составляли завещания со всякими приписками, жаловались на судьбу и оплакивали разлуку с женами и римскими друзьями, а между тем им необходимо было взяться за оружие и во что бы то ни стало разбить своего противника Ариовиста^[768]. Это глупость, достойная того пахаря, который опрокинул на пашне телегу и, вместо того чтобы подстегнуть волов и собственными руками вытащить колеса, стал призывать на помощь Геркулеса. К чему послужит вам здесь завещание? Ведь мы или избежем этой опасности, или потонем. Если избежем, оно вам не пригодится. Завещание действительно и вступает в силу только в том случае, если завещатель умер. Если же мы потонем, то ведь и его постигнет подобная участь. Кто тогда доставит завещание душеприказчикам?

– Какая-нибудь добрая волна выбросит его на берег, как Одиссея, – отвечал Панург, – а царская дочь, выйдя в тихую погоду прогуляться, найдет его, свято исполнит мою последнюю волю и воздвигнет мне на берегу памятник, великолепием своим не уступающий тому, который Дидона поставила супругу своему Сихею^[769]; Эней – Деифобу, на Троянском берегу, близ Реты; Андромаха – Гектору, в городе Бутроте; Аристотель – Гермению и Эвбулу; афиняне – поэту Еврипиду; римляне – Друзу в Германии и Александру Северу, своему императору, в Галлии; Ариуропластис – Каллакохросу; Ксенокрит – Лисидике; Тимар – сыну своему Телевтагору; Эвполид и Аристоклика – сыну своему Теотиму; Онест – Тимоклу; Каллимах – Сопolidу, сыну Диоклида; Катулл – своему брату; Статий – своему отцу, а Жермен де Бри^[770] – Эрве, бретонскому кормчему.

– Что ты мелешь? – вскричал брат Жан. – Помогай нам, пятьсот миллионов чертей бы тебя унесло, помогай, язва тебе в усы, полтора локтя злокачественных нарывов тебе на штаны и на новый гульфик! Ведь судно-то наше терпит крушение! Бог ты мой, разве мы сможем спасти его? Здесь все морские черти собрались! Нет, пусть меня черти возьмут, но только нам не выкарабкаться!

Тут послышался жалобный голос Пантагрюэля:

– Господи, спаси нас! Погибаем! Впрочем, да не будет по желанию нашему, но да исполнится Твоя святая воля.

– С нами Бог и Пречистая Дева! – воскликнул Панург. – Горе мне, горе, тону! Бе-бе-бе, бу-бе-бе, бу-бу! *In manus!* Боже правый! Пошли мне какого-нибудь дельфина, чтобы он перенес меня на сушу, как малыша Ариона^[771]! Я прекрасно сыграю на арфе, если только она цела.

– Черт меня побери, – молвил брат Жан («С нами Бог!» – пробормотал Панург), – если я сейчас не спущусь и не докажу тебе наглядно, что твои яички привешены к задку орогаченного, рога носного, обезроженного теленка! Му-у, му-у, му-у! Иди к нам сюда помогать, ревучий бычище, тридцать миллионов чертей тебе в глотку! Идешь ты или нет, тюлень? Фу, какой мерзкий плакса!

– От вас только это и слышишь.

– А ну, подайте сюда мое милое рвотное – сейчас я поглажу его против шерсти, почитаю с конца. *Beatus vir qui non abiit...*^[772] Я знаю это наизусть. Обратимся к житию святителя Николая.

Horrida tempestas montem turbavit acutum.^[773]

«Грозой» звали в коллеже Монтегю одного великого секателя школяров. Если педагоги, секущие бедных детей, невинных школяров, осуждены на вечную муку, то, клянусь честью, он, уж верно, висит сейчас на колесе Иксиона и хлещет розгой куцую собачонку, чтобы она быстрее его вертела; если же за сечение невинных детей наставникам уготовано вечное блаженство, то, должно полагать, он сейчас превыше...

Глава XXII

Конец бури

– Земля, земля! – воскликнул Пантагрюэль. – Я вижу землю! Не унывай, ребята! Мы недалеко от гавани. Я вижу, на севере небо прояснело. Чувствуете сирокко?

– Не вешать голову, ребята, ветер упал! – крикнул лоцман. – К большой стеньге! Веселей, веселей! К булиням грот-мачты! Канат на кабан! Верти, верти, верти! Руку на фал! Веселей, веселей, веселей! Поверни румпель! Держи крепче лопарь! Готовь полозья! Готовь

шкоты! Готовь булини! Сади галсы на бакборте! Румпель под ветер!
Тяни шкот штирборта, сукин ты сын!

– Вот теперь, милый человек, ты по крайней мере знаешь, кто была твоя матушка, – обратясь к матросу, ввернул брат Жан.

– Идти бейдевинд! На всех парусах! Румпель кверху!

– Есть румпель кверху! – отвечали матросы.

– Сокращай путь! Носом к рейду! Эй, кренгельсы! Поставить лисели! Веселей, веселей!

– Отлично сказано и придумано, – заметил брат Жан. – А ну-ка, ну-ка, ну-ка, ребята, живо! Так! Веселей, веселей!

– На штирборт!

– Отлично сказано и придумано. По-моему, гроза вовремя разразилась и кончилась. Слава тебе, Господи! Черти от нас отстали.

– Трави!

– Сказано отлично, с полным знанием дела. Трави, трави! Милейший Понократ! Бога ради, сюда, неутомимый потаскун! Уж этот блудник наплодит одних мальчиков! Любезный Эвсфен! К малой стеньге!

– Веселей, веселей!

– Отлично сказано! Веселей, веселей! Бога ради, веселей!

– *Не боюсь я ничего: ведь сегодня Рождество, Рождество, Рождество!*

– Мне нравится этот келевм^[774], – заметил Эпистемон, – он сейчас как раз кстати, – ведь нынче в самом деле праздник.

– Веселей, веселей! Молодцы!

– Приказываю вам всем надеяться! – крикнул Эпистемон. – Направо показалась звезда Кастора.

– Бе-бе-бе, бу-бу, – забормотал Панург, – боюсь, что это не Кастор, а шлюха Елена.

– По-настоящему это Миксархагет, – аргивское ее наименование, я думаю, тебе больше понравится, – сказал Эпистемон. – Эй, эй, я вижу землю, я вижу гавань, я вижу толпу народа на пристани! Я вижу маячные огни!

– Эй, эй! – крикнул лоцман. – Обогнуть мол и отмели!

– Есть обогнуть! – отвечали матросы.

– Ну вот и все, – сказал лоцман, – сторожевые суда высланы нам навстречу. Помощь подоспела вовремя.

– Ах, мой Создатель, до чего же верно сказано! – воскликнул Панург. – Золотые слова.

– Му-му-му! – сказал брат Жан. – Если ты отведаешь хоть каплю моего вина, так пусть потом черт меня самого отведает. Слышишь ты, блудодейка чертова! Господин начальник! Пожалуйста, вот вам полный кубок наилучшего вина. Эй, Гимнаст! Принеси кувшины и вирелейный, то бишь филейный, кусочек мяса. Да смотри не споткнись.

– Держитесь, ребята, держитесь! – вскричал Пантагрюэль. – Подтянись! Смотрите: к нашему кораблю пристают две ладьи, три небольшие раубарджи, пять шипов, восемь каперов, четыре гондолы и шесть фрегатов, – добрые люди с ближайшего острова посылают их нам на помощь. Но кто этот Укалегон^[775], который все время вопит и предается отчаянию? Разве я один держу мачту не крепче и не прямее, нежели двести канатов?

– Это бедняга Панург, – отвечал брат Жан, – у него телячья лихорадка. Во хмелю он вечно дрожит от страха.

– Коль скоро он во всех случаях жизни держится молодцом, а страх на него напал только во время этой страшной бури и грозного урагана, я уважаю его ни на волос меньше, чем прежде, – объявил Пантагрюэль. – Подобно тому как всечасная боязнь есть отличительная черта людей грубых и малодушных, – а таков был, к примеру, Агамемнон, что и дало основание Ахиллу осрамить его и сказать, что у него собачий глаз и оленьё сердце, – так же точно бесстрашие в минуту явной опасности есть знак тупоумия, а то и вовсе бестолковости. Я не склонен думать, что после богохульства самое страшное – это смерть. И я не собираюсь оспаривать мнение Сократа и академиков: смерть-де сама по себе не есть зло, смерти как таковой бояться нечего. Но смерть во время кораблекрушения – это все-таки страшно, и еще как страшно! Недаром Гомер утверждал, что гибель на море тягостна, отвратительна и противоестественна^[776]. Пифагорейцы придерживались того мнения, что душа представляет собою огонь и что она огненного происхождения; таким образом, если человек гибнет в воде (стихии, враждебной огню), то – заключали пифагорейцы (хотя истина не на их стороне) – вся душа его гаснет. Эней во время бури, застигнутой караван его судов близ Сицилии, пожалел, что не пал от руки силача Диомеда, и сказал, что трижды,

четырежды блаженны те, кто погиб во время пожара Трои. А ведь из нас никто не погиб. Слава тебе, Спасителю наш, во веки веков! Вот только корабли наши потрепало изрядно. Ну ничего, починим! Смотрите не сядьте на мель!

Глава XXIII

О том, как после бури Панург опять стал славным малым

– Хо, хо! – вскричал Панург. – Все прекрасно. Гроза прошла. Будьте любезны, позвольте мне сойти первым. У меня очень важные дела. Нельзя ли вам еще чем-нибудь помочь? Дайте, я скручу вам эту веревку. Чего-чего, а храбрости мне не занимать. Страх мне почти незнаком. Давайте, давайте, мой друг! Нет, нет, я не робкого десятка. Хотя, признаюсь, когда девятый вал прокатился от носа до кормы, то меня это несколько встревожило.

– Парус убрать!

– Правильно! Как, брат Жан, вы бездействуете? Разве сейчас время пить? Почему мы знаем, – может статься, мучитель святого Мартина налетит на нас новую бурю? Не могу ли я вам еще чем-нибудь помочь? Ах, чтоб меня! Я уж теперь каюсь, да поздно: зачем я не следовал учению тех добрых философов, которые утверждают, что гулять по берегу моря и плыть возле самой суши – это так же спокойно и так же приятно, как идти пешком, когда вашу лошадь ведут под уздцы! Хо, хо, хо! Ей-богу, все прекрасно. Не помочь ли вам еще чем-нибудь? Давайте, давайте! Если только черт не встрянет, я отлично справлюсь.

Эпистемон между тем всеми силами старался не упустить канат и до крови натер себе руку; послушав речи Пантагрюэля, он сказал:

– По чести, государь, буря повергла в страх и трепет не только Панурга, а и меня. Ну и что ж? Я из кожи вон лез. Я полагаю, что смерть есть роковая и неизбежная необходимость, но что рано ли, поздно ли умереть, тою или же другою смертью, – это зависит отчасти от сил небесных, отчасти же и от нас самих. Нужно неустанно к ним обращаться, взывать к ним, призывать их, просить, молить. Но этим ограничиваться и на этом успокаиваться нельзя: нам также надлежит прилагать усилия и всеми способами и всеми средствами им содействовать. Да простят мне пустословы, то бишь богословы, что я

не придерживаюсь их установлений, – я основываюсь непосредственно на Священном писании^[777]. А знаете, что сказал консул Гай Фламиний, когда он попал в ловушку, приготовленную ему Ганнибалом, и его окружили в Перуджии, у Тразименского озера^[778]? «Дети мои! – сказал он. – Не надейтесь вырваться отсюда ценою молений и обетов богам. Нас может выволить наша сила и доблесть, нам должно мечом проложить себе дорогу среди врагов». Так же точно Саллюстий приводит слова Марка Порция Катона^[779] о том, что помощи богов добиваются не праздными обетами и не бабьими причитаниями. Бдением, трудами, напряжением всех сил – вот чем достигается желанный и благополучный исход в любом деле. Если в нужде и в опасности человек выказывает нерадивость, слабость и леность, вотще воззовет он к богам: он их ожесточил и прогневал.

– Пусть черт меня возьмет... – начал брат Жан.

– Меня уж он наполовину взял, – ввернул Панург.

– ...но только сейийский виноград был бы обобран и уничтожен, когда бы я с молитвенником в руках распевал *Contra hostium insidias* вместе со всеми прочими чертями монахами, а не вышел с перекладиной защищать виноградник от лернейских грабителей.

– Все прекрасно, поехали дальше, – сказал Панург. – Вот только брат Жан бездействует. Его надо звать «брат Жан бездельник», – он смотрит, как я в поте лица тружусь и помогаю этому почтенному человеку. Господин первый матрос! Господин начальник! Простите за беспокойство! Только два слова! Какой толщины половицы на нашем корабле?

– Не бойтесь, – отвечал лоцман, – в два добрых пальца.

– Ах ты, Господи! – воскликнул Панург. – Значит, мы все время были на два пальца от смерти! Так это что же, одна из девяти радостей брачной жизни? Да, господин начальник, вы правильно делаете, что измеряете опасность локтями страха. А вот я страха совсем не испытываю, – я зовусь Гильом Бесстрашный^[780]. Храбрости во мне хоть отбавляй, да не петушиного задора, а львиной отваги, неустрашимости убийцы. Я не боюсь ничего... кроме напастей.

Глава XXIV

О том, как брат Жан объявляет, что Панург понапрасну

трусил во время бури

– Доброго здоровья, господа! – сказал Панург. – Добрейшего всем вам здоровья! Как вы себя чувствуете? Слава Богу. А вы? Милости просим, добро пожаловать! Сойдемте на берег. Эй, гребцы, давайте сходни! Шлюпку поближе! Не могу ли я еще чем-нибудь вам помочь? Я честно потрудился, работал как четыре вола, и аппетит у меня теперь волчий. А ведь места здесь красивые и люди славные. Ребята! Вам моя помощь еще нужна? Не жалеете вы, ради Бога, моего пота. Адам (то есть человек) был создан для того, чтобы возделывать землю и трудиться, как была создана птица для того, чтобы летать. Господу угодно, – вы слышите, что я говорю? – чтобы мы ели хлеб в поте лица, а не бездельничая, как вот это монашеское отродье, брат Жан, который прикладывается к кувшинчику и умирает от страха. Погода чудная. Теперь только я уразумел, насколько правилен и как глубоко продуман был ответ благородного философа Анахарсиса, который, когда его спросили, какое судно представляется ему самым надежным, ответил: «То, которое стоит в гавани».

– Это что! – сказал Пантагрюэль. – А вот когда ему задали вопрос, кого больше: мертвых или живых, он, в свою очередь, спросил: «А куда вы относите плавающих в море?» Это был тонкий намек на то, что плавающих в море на каждом шагу подстерегает смертельная опасность и они все время находятся между жизнью и смертью. Равным образом Порций Катон говаривал, что он стал бы раскаиваться только в трех вещах, а именно: если бы он когда-нибудь поверил тайну женщине; если бы он хотя бы один день провел в бездействии и если бы он поехал морем в такое место, куда можно было бы добраться сушей.

– Клянусь моей почтенной рясой, – обратился к Панургу брат Жан, – ты, мой друг блудодей, перепугался во время бури напрасно и зря, ибо утонуть тебе не суждено. Тебя, уж верно, высоко вздернут на воздух или за милую душу поджарят, как святого великомученика. Государь! Вам нужен плащ от дождя? Ни волчий, ни барсучий мех вам не потребуется. Велите содрать с Панурга шкуру и ею накрывайтесь. Только, ради Бога, не приближайтесь к огню и не ходите мимо кузниц: она у вас мигом истлеет, зато дождя не побоится, и снега, и града тоже. Нет, в самом деле, бросьтесь в таком плаще в воду – вы не промокнете. Сделайте себе из Панурговой шкуры зимние сапоги – в них вы ног не

промочите. Сделайте из нее пузыри, чтобы мальчики учились плавать, – способ вполне безопасный.

– Значит, – заключил Пантагрюэль, – она вроде так называемого венерина волоса: это растение никогда не мокнет и не влажнеет; сколько угодно держите его в воде – оно все останется сухим. Недаром оно носит название *adiantos*.^[781]

– Панург, друг мой, – сказал брат Жан, – пожалуйста, не бойся воды! Твое существование прекратит иная стихия.

– Так-то оно так, – возразил Панург, – но только повара у чертей иной раз замечтаются и дают в своем деле промашку: частенько варят то, что предназначалось на жаркое, совсем как наши здешние повара, которые шпигуют куропаток, витютней и сизяков, собираясь, по-видимому, их жарить. Бывает, что они варят куропаток с капустой, витютней с пореем, а сизяков с репой. Послушайте, милые друзья: в присутствии всей честной компании я объявляю, что под капеллой в честь святителя Николая между Кандом и Монсоро я разумел капельницу, из которой будет капать розовая водичка, и там уж, правда, ни бычок, ни коровка не станут водиться – кругом сплошная водица.

– Вот это, я понимаю, жох! – вскричал Эвсфен. – Всем жохам жох! Недаром говорит ломбардская пословица: *Passato el pericolo, gabato el santo*.^[782]

Глава XXV

О том, как Пантагрюэль после бури высадился на Острове макреонов^[783]

Тот же час мы вошли в гавань острова, именовавшегося Островом макреонов. Добрые островитяне встретили нас с почетом. Старый макробий^[784] (так назывался у них мэр) хотел было отвести Пантагрюэля в городской совет, чтобы он там как следует отдохнул и подкрепился. Пантагрюэль, однако ж, не пожелал уйти с пристани, прежде чем все его спутники не сойдут на берег. Удостоверившись, что все наконец в сборе, он велел им переодеться, а затем перенести с кораблей на сушу все, что только они припасли из еды, чтобы кутнуть напропалую, что и было исполнено незамедлительно. Одному Богу известно, сколько тут было выпито и съедено. Местные жители также

натащили всякой всячины. Пантагрюэлисты перед ними в долгу не остались. Впрочем, их довольствие слегка пострадало от бури. По окончании трапезы Пантагрюэль ко всем обратился с просьбой приняться за дело и исправить повреждения, к каковой работе все тут же с великой охотой и приступили.

Починка судов не представляла трудностей, так как островитяне все до одного оказались плотниками и такими отличными мастерами, каких можно сыскать разве в венецианском арсенале. На всем этом обширном острове были населены три гавани и десять околотков, все же остальное пространство, покрытое строевым лесом, было безлюдно, как Арденны.

Старый макробий по нашей просьбе показал нам все достопримечательности острова. И вот в дремучем и безлюдном лесу открылось нашему взору множество старых, разрушенных храмов, обелисков, пирамид, древних памятников и гробниц с различными надписями и эпитафиями. Одни из них были написаны иероглифами, другие – на ионическом наречии, остальные – на языках арабском, агарянском, славянском и т. д., и Эпистемон по своей любознательности некоторые из них списал. Панург между тем сказал брату Жану:

– Это Остров макреонов. Макреон по-гречески значит «старик», человек, которому много лет.

– Что же я могу поделать? – сказал брат Жан. – Все как есть переделать? Я же не был здесь, когда этот остров так окрестили.

– Кстати, – продолжал Панург, – я полагаю, что отсюда происходит слово «макрель», которое, как известно, означает по-нашему не только рыбу «макрель», но и «сводню». В самом деле, сводить подобает старухам, молодым подобает блудить. По всей вероятности, это остров Макрель, оригинал и прототип парижского. Идем ловить устриц!

Старый макробий спросил Пантагрюэля на ионическом наречии, как им удалось и как они ухитрились войти в гавань именно сегодня, когда было такое сильное сотрясение воздуха, а на море такая страшная буря. Пантагрюэль же ему на это ответил, что Спаситель мира услышал простодушные и горячие мольбы моряков, которые путешествуют не для наживы и никаких товаров с собой не везут. Их-де заставило выйти в море не что иное, как любознательное желание

посетить, увидеть, послушать и постигнуть оракул Бакбук и получить от Бутылки ответ на недоуменные вопросы, возникшие у одного из Пантагрюэлевых спутников. Как бы то ни было, натерпелись-де они немало и чуть-чуть не потонули. Затем Пантагрюэль, в свою очередь, обратился к старому макробию с вопросом, чем объясняет он этот дикий ураган и не подвержены ли таким бурям близлежащие моря, как это наблюдается в Океаническом море: в проливе св. Матфея и в Момюсоне, и в море Средиземном: в Саталийской пучине, в Монтарджентано, Пьомбино, у мыса Малая в Лаконии, в Гибралтарском проливе, у Мессинского пролива и т. д.

Глава XXVI

О том, как добрый макробий рассказывает Пантагрюэлю о местопребывании и кончине героев

Добрый макробий сказал:

– Любезные путники! Это один из Спорадских островов, но не из тех Спорад, которые находятся в Карпатийском море, а из Спорад океанических. Прежде это был остров богатый, привлекавший чужеземцев, обильный, торговый, людный, подвластный Британии, ныне же, под действием времени и с приближением конца света, он, как видите, оскудел и опустел.

Вот в этом темном лесу, тянущемся и раскинувшемся на семьдесят восемь с лишним тысяч парасангов, обитают демоны и герои, теперь уже состарившиеся, и мы полагаем, что комета, которую мы наблюдали в течение трех последних дней, внезапно померкла оттого, что вчера один из них умер и что эту свирепую бурю, от которой вы пострадали, вызвала его кончина. Когда все они живы-здоровы, то здесь и на соседних островах все обстоит благополучно, на море царят тишина и спокойствие. Когда же кто-нибудь из них скончается, то из лесу к нам несутся громкие и жалобные вопли, на суше царят болезни, бедствия и печали, в воздухе – вихрь и мрак, на море – буря и ураган.

– В ваших словах есть доля истины, – заметил Пантагрюэль. – Это все равно что факел или же свеча: пока в них еще теплится жизнь, они озаряют всех, все вокруг освещают, каждому доставляют радость, каждому оказывают услугу своим светом, никому не причиняют зла,

ни в ком не вызывают недовольствия, но, потухнув, они заражают дымом и чадом воздух, всем и каждому причиняют вред и внушают отвращение. Так и эти чистые и великие души: пока они не расстались с телом, их соседство мирно, полезно, отрадно, почетно. В час же, когда они отлетают, на островах и материках обыкновенно наблюдаются сильные сотрясения воздуха, мрак, гром, град, подземные толчки, удары, землетрясения, на море – буря и ураган, и все это сопровождается стенаниями народов, сменой религий, крушением царств и падением республик.

– Мы недавно уверились в том воочию на примере кончины доблестного и просвещенного рыцаря Гийома дю Белле, – заговорил Эпистемон. – Пока он был жив, Франция благоденствовала, и все ей завидовали, все искали с ней союза, все ее опасались. А после его кончины в течение многих лет все смотрели на нее с презрением.

– Так же точно, когда умирал Анхиз в Дрепане Сицилийском, буря натворила бед Энею, – снова заговорил Пантагрюэль. – Видимо, по той же самой причине Ирод, жестокосердый тиран, царь иудейский, чувствуя приближение ужасной и омерзительной смерти (он умер от пифтириазиса, заживо съеденный червями и вшами, как до него умерли Луций Сулла, Ферекид Сирийский, наставник Пифагора, греческий поэт Алкман и другие) и предвидя, что после его смерти евреи зажгут на радостях потешные огни, заманил к себе во дворец из всех иудейских городов, селений и поместий именитых и облеченных властью людей – заманил хитростью, под тем предлогом, что ему будто бы необходимо сообщить им нечто важное касательно образа правления в провинции и ее охраны. Когда же те собрались и самолично явились, он велел их запереть в помещении придворного ипподрома, а затем обратился к свояченице своей Саломее и мужу ее Александру с такими словами: «Я уверен, что евреи обрадуются моей смерти, однако ж, если вы пожелаете выслушать и исполните то, что я вам скажу, похороны мои будут торжественные и весь народ будет плакать. Как скоро я умру, прикажите лучникам, моим телохранителям, коим я уже отдал на сей предмет надлежащие распоряжения, перебить всех именитых и облеченных властью людей, которые здесь у меня заперты. После этого вся Иудея невольно опечалится и возрыдает, а чужестранцы подумают, что причиною тому моя смерть, как если бы отлетела душа кого-нибудь из героев».

К тому же стремится всякий неистовый тиран. «После меня, – говорит он, – земля да смешается с огнем!», иными словами: «Да погибнет весь мир!» (А проходимец Нерон, по свидетельству Светония, внес поправку: он говорил не «после меня...», а «еще при мне...».) Эти мерзкие слова, о которых упоминают Цицерон в книге третьей *De finibus*^[785] и Сенека в книге второй *De clementia*^[786], Дион Никейский и Свиды приписывают императору Тиберию.

Глава XXVII

Рассуждения Пантагрюэля о том, как души героев переходят в мир иной, и о наводящих ужас знамениях, предшествовавших кончине сеньора де Ланже

– Хотя во время бури на море нам пришлось столько всего натерпеться и столько потрудиться, а все же я весьма рад, что она нас застигла, – продолжал Пантагрюэль, – ведь благодаря этому нам довелось услышать все, что сейчас поведал добрый макробий. Я совершенно согласен с тем, что он сказал касательно кометы, которую они увидели за несколько дней до кончины героя. Души таких людей столь возвышенны, столь прекрасны и героичны, что небеса за несколько дней извещают нас об их уходе из жизни и успении: подобно благоразумному врачу, который, удостоверившись, что по всем признакам конец больного близок, за несколько дней предупреждает жену, детей, друзей и близких о неизбежной кончине мужа, отца и родственника, чтобы в оставшийся срок они уговорили его отдать надлежащие распоряжения касательно имущества, побеседовать с детьми и благословить их, позаботиться о вдове, соблюсти все необходимые формальности для обеспечения сирот – одним словом, чтобы смерть не застигла его врасплох и чтобы он успел подумать о своей душе и распорядиться достоянием своим, благодетельные небеса, как бы радуясь новым блаженным душам, к ним возносящимся, зажигают потешные огни в виде комет и метеоров, и через их посредство небеса непреложно свидетельствуют людям и совершенно точно предсказывают, что скоро-скоро благородные эти души оставят свои тела и покинут землю.

Так некогда в Афинах судьи ареопага, вынося приговоры преступникам, пользовались особыми для каждого случая знаками: буква Q означала у них смертный приговор, T – оправдание, A – неясность, если дело еще не было решено. Знаки эти, выставленные на самом виду, утишали волнение и тревогу родственников, друзей и всех прочих, кому не терпелось узнать, какова же участь и каково решение суда по делу преступников, содержащихся под стражей. Так же и небеса при помощи комет как бы эфирными знаками молча говорят нам: «Смертные! Если вы желаете еще что-либо от этих счастливых душ узнать, чему-либо от них научиться, послушать их, познать их, получить от них предуказания, касающиеся общественного или же частного блага и пользы, то поспешите к ним за ответом, ибо конец и развязка комедии близятся. Будете после жалеть, да уж поздно».

И это еще не все. Дабы показать населяющим землю, что они недостойны жить вместе с такими необыкновенными душами, недостойны общаться с ними и пользоваться их благодеяниями, Небеса изумляют и пугают людей чудесами, дивными дивами, разными страшилищами и всякими иными сверхъестественными предзнаменованиями, что мы собственными глазами и видели незадолго до переселения в иной мир славной, возвышенной и героической души просвещенного и доблестного рыцаря де Ланже, о котором говорил Эпистемон.

– У меня до сих пор трепещет и бьется сердце при мысли о столь памятных мне многообразных и ужас наводящих чудесах, которые мы ясно видели дней за пять, за шесть до его ухода из жизни, – подхватил Эпистемон. – Сеньоры д’Асье, Шеман, одноглазый Майи, Сент-И, Вильнев-Ла-Гюйар, мэтр Габриэль, савианский врач, Рабле, Каюо, Масюо, Майоричи, Бюллу, Серкю, по прозвищу Бургомистр, Франсуа Пруст, Феррон, Шарль Жирар, Франсуа Бурре и многие другие приятели, домочадцы и слуги покойного в испуге молча переглядывались, не произносили ни слова и, в глубокое погруженные раздумье, мысленно себе представляли, что скоро Франция лишится безупречного рыцаря, столь прославившего ее и так стойко ее оборонявшего, и то же вещали небеса – вещали, как им свойственно и как им положено.

– Клянусь хохолком на капюшоне, – молвил брат Жан, – не желаю я до седых волос дожить неучем. Смекалка у меня, право, недурная.

Так вот,

Как говорил король князьям,
А королева – сыновьям*, —

эти самые герои и полубоги, о которых вы толкуете, что же они, так-таки и умирают? Царица Небесная! А я-то, прости Господи, был уверен-разуверен, что все они бессмертны. А теперь вот достопочтенный макробий говорит, что в конце концов и они умирают.

– Не все, – возразил Пантагрюэль. – Стоики уверяют, что смертны все, за исключением одного, и он есть бессмертен, свободен от страстей и невидим. Пиндар прямо говорит, что богиням гамадриадам отпущено не больше нити от кудели и прядева Судеб и неправедных Парок, сиречь не больше жизни, нежели деревьям, которые они охраняют, то есть дубам, а от дубов, как утверждают Каллимах и Павсаний в книге о Фокиде, дриады и произошли, и к этому мнению присоединяется Марциан Капелла^[787]. Что касается полубогов: панов, сатиров, сельванов, домовых, эгипанов, нимф, героев и демонов, то многие из них в общей сложности, исходя из различных сроков жизни, вычисленных Гесиодом, живут до девяти тысяч семисот двадцати лет, каковое число составлено следующим образом: единица прибавляется к учетверенной двадцатке, и сумма эта множится на три и на упятеренную двойку в третьей степени. Это вы найдете у Плутарха в его книге *Упадок оракулов*.

– В служебнике моем на сей предмет ничего не сказано, – объявил брат Жан. – Так и быть, поверю вам на слово.

– Я полагаю, – молвил Пантагрюэль, – что все разумные души неподвластны ножницам Атропос. Бессмертны все: ангелы, демоны, люди. Сейчас я вам расскажу по этому поводу странную историю, записанную и засвидетельствованную, однако ж, многими учеными и сведущими историографами.

Глава XXVIII

О том, как Пантагрюэль рассказывает печальную историю, коей предмет составляет кончина героев

– Эпитерс, отец Эмилиана-ритора, плыл вместе с другими путешественниками из Греции в Италию на корабле, груженном различными товарами, и вот однажды под вечер, около Эхинских островов, что между Мореей и Тунисом, ветер внезапно упал и корабль отнесло к острову Паксосу. Когда он причалил, некоторые из путешественников уснули, иные продолжали бодрствовать, а третьи принялись выпивать и закусывать, как вдруг на острове Паксосе чей-то голос громко произнес имя Тамус. От этого крика на всех нашла оторопь. Хотя египтянин Тамус был кормчим их корабля, но, за исключением нескольких путешественников, никто не знал его имени. Вторично раздался душераздирающий крик: кто-то снова взывал к Тамусу. Никто, однако ж, не отвечал, все хранили молчание, все пребывали в трепете, – тогда в третий раз послышался тот же, только еще более страшный голос. Наконец Тамус ответил: «Я здесь. Что ты от меня хочешь? Чего тебе от меня надобно?» Тогда тот же голос еще громче воззвал к нему и велел, по прибытии в Палоды, объявить и сказать, что Пан, великий бог, умер.^[788]

Эти слова, как рассказывал потом Эпитерс, повергли всех моряков и путешественников в великое изумление и ужас. И стали они между собой совещаться, что лучше: промолчать или же объявить то, что было велено, однако Тамус решил, что если будет дуть попутный ветер, то он пройдет мимо, ничего не сказав, если же море будет спокойно, то он огласит эту весть. И вот случилось так, что, когда они подплывали к Палодам, не было ни ветра, ни волн. Тогда Тамус, взойдя на нос корабля и повернувшись лицом к берегу, сказал, как ему было повелено, что умер великий Пан. Не успел он вымолвить последнее слово, как в ответ на суше послышались глубокие вздохи, громкие стенания и вопли ужаса, и то был не один голос, а многое множество.

Весть эта быстро распространилась в Риме, ибо ее слышали многие.

И вот цезарь Тиверий, бывший в ту пору императором римским, послал за Тамусом. И, выслушав, поверил его словам. Расспросив ученых людей, коих немало находилось тогда при дворе и в Риме, кто был этот Пан, он вывел заключение, что это сын Меркурия и Пенелопы. То же самое утверждал еще Геродот, а вслед за ним и Цицерон в третьей книге *О природе богов*. Я же склонен отнести эти

слова к великому Спасителю верных, которого из низких побуждений предали смерти завистливые и неправедные иудейские первосвященники, книжники, попы и монахи. Такое толкование отнюдь не кажется мне натянутым: ведь по-гречески Его вполне можно назвать *Пан*, ибо Он – наше Все: все, что мы собой представляем, чем мы живем, все, что имеем, все, на что надеемся, – это Он; все в Нем, от Него и через Него. Это добрый Пан, великий пастырь, который, по слову пылкого пастуха Коридона, всем сердцем возлюбил не только овец, но и пастухов, и в час Его смерти вздохи и пени, вопли ужаса и стенания огласили всю неизмеримость вселенной: небо, землю, море, преисподнюю. И по времени мое толкование подходит, ибо этот всеблагодный, всевеликий Пан, единственный наш Спаситель, скончался в Иерусалиме в царствование римского цезаря Тиверия.

Сказавши это, Пантагрюэль умолк и впал в глубокую задумчивость. Малое время спустя мы увидели, что из глаз его текут слезы величиной со страусово яйцо. Ну меня к Богу, если я тут хоть в одном слове прилгнул.

Глава XXIX

О том, как Пантагрюэль прошел мимо острова Жалкого, где царствовал Постник [\[789\]](#)

Корабли веселого нашего каравана были починены и исправлены, съестные припасы пополнены, макреоны остались более чем ублаготворены и удовлетворены тем, как Пантагрюэль за все расплатился, люди наши были веселее обычного, и на следующий день они с великой радостью подставили паруса дуновению тихого и приятного ветра. В середине дня Ксеноман издали показал нам остров Жалкий, где царствовал Постник; Пантагрюэль был о нем уже наслышан, и ему захотелось поглядеть на него, однако ж Ксеноман ему отсоветовал, сославшись на большой крюк, который пришлось бы для этого сделать, и предупредив, что на этом острове и при дворе государя живут бедно.

– Вы там только и увидите, – продолжал он, – что великого пожирателя гороха, великого охотника до сельдяных испражнений,

великого кротоеда, великого сеножевателя, плешивого полувеликана с двойной тонзурой по фонарской моде, великого фонарийца, знаменосца ихтиофагов, повелителя горчицеедов, секателя младенцев, обжигателя золы^[790], отца и благодетеля лекарей, щедрого на отпущения прегрешений, на индульгенции и разрешения от грехов, человека добропорядочного, ревностного католика и вельми благочестивого. Три четверти дня он плачет и никогда не бывает на свадьбах. Со всем тем в сорока королевствах не сыщешь такого искусника по части шпиговальных игол и вертелов. Назад тому лет шесть я побывал на острове Жалком, привез оттуда целый гросс иголок и роздал кандским мясникам. Они пришли в восторг, и было от чего. По приезде я вам покажу две такие иглы, – они торчат над порталом. Питается Постник солеными кольчугами, шлемами, касками и шишаками, отчего по временам страдает сильнейшим мочеизнурением. И покрой и цвет его одеяния увеселяют взор: оно у него серое и холодное, спереди ничего нет, и сзади ничего нет, и рукавов нет.

– Доставьте мне удовольствие, – сказал Пантагрюэль, – и, подобно тому как вы описали его одежду, питание, нрав и обычай, опишите его наружность, сложение и все его органы.

– Будь добр, блудодюша, – сказал брат Жан, – а то я нашел его у себя в служебнике: он стоит после подвижных праздников.

– Охотно, – сказал Ксеноман. – Думаю, что мы услышим о нем более обстоятельный рассказ на острове Диком, где правят жирные Колбасы, заклятые его враги, с которыми он вечно воюет. Когда бы не доблестный Канунпоста, защитник их и добрый сосед, великий фонариец Постник давно бы сжил их со свету.

– А что эти Колбасы – самцы или самки, ангелы или простые смертные, женщины или девушки? – осведомился брат Жан.

– Пола они женского, – отвечал Ксеноман, – по чину своему смертные, одни из них девственницы, другие нет.

– Пусть меня черт возьмет, если я не на их стороне, – объявил брат Жан. – Что это еще за безобразие – воевать с женщинами? Назад! Разнесем этого мерзавца!

– Сражаться с Постником? – вскричал Панург. – Да ну его ко всем чертям, я не такой дурак и не такой удалец. *Quid juris*^[791], если мы очутимся между Постником и Колбасами? Между молотом и

наковальной? А, чтоб их! Подальше отсюда! Скорей, скорей! Прощайте, господин Постник! Кушайте Колбасы, да не забывайте и о кровяных.

Глава XXX

О том, как Ксеноман анатомирует и описывает Постника

– Что касается внутренних органов Постника, – сказал Ксеноман, – то мозг его по величине, цвету, субстанции и силе напоминает (по крайней мере напоминал в мое время) левое яичко клеща.

Желудочки мозга у него что щипцы.

Червовидный отросток что молоток для отбивания шаров.

Перепонки что монашеские капюшоны.

Углубления в средней полости мозга что чаны для извести.

Черепной свод что сшитый из лоскутов чепчик.

Мозговая железка что дудка.

Чудесная сеть что налобник.

Сосцовые бугорки что башмачки.

Барабанные перепонки что турникеты.

Височные кости что султаны.

Затылок что уличный фонарь.

Жилы что краны.

Язычок что выдувная трубка.

Небо что муфельная печь.

Слюна что челнок.

Миндалины что очки об одно стекло.

Перемычка что кошелка из-под винограда.

Гортань что корзина из-под винограда.

Желудок что перевязь.

Нижнее отверстие желудка что копье с вилообразным наконечником.

Трахея что резачок.

Глотка что комок пакли.

Легкие что меховые плащи соборных священников.

Сердце что нарамник.

Средогрудная перегородка что водоотводная трубка.

Плевра что долото.
Артерии что грубошерстные накидки с капюшонами.
Диафрагма что мужская шапка на манер петушьего гребня.
Печень что секира о двух лезвиях.
Вены что оконные рамы.
Селезенка что дудка для приманки перепелов.
Кишки что тройные рыболовные сети.
Желчный пузырь что скобель кожевника.
Внутренности что железные перчатки.
Брыжейка что митра аббата.
Тонкая кишка что щипцы зубодера.
Слепая кишка что нагрудник.
Ободочная кишка что корзина из ивовых прутьев.
Прямая кишка что вываренной кожи бурдюк, из коего пьют монахи.
Почки что лопатки штукатуров.
Поясница что висячий замок.
Мочеточники что зубчатые пластинки в часах.
Почечные вены что две клистирные трубки.
Сперматические сосуды что слоенные пироги.
Предстательная железа что горшок с перьями.
Мочевой пузырь что арбалет.
Шейка пузыря что било.
Брюшная полость что албанская шапка.
Брюшина что наручень.
Мускулы что поддувальные меха.
Сухожилия что кожаные перчатки у сокольников.
Связки что кошельки.
Кости что плюшки.
Костный мозг что котомка.
Хрящи что заросли бурьяна.
Железы что косари.
Животные токи что мощные удары кулаком.
Жизненные токи что замедленные щелчки по лбу.
Горячая кровь что беспрестанные щелчки по носу.
Моча что папефига.

Детородные органы что сотня мелких гвоздей. Его кормилица уверяла меня, что от его брака с Серединой поста произойдет лишь множество наречий места и несколько двойных постов.

Память что повязка.

Здравый смысл что посох.

Воображение что перезвон колоколов.

Мысли что скворцы в полете.

Сознание что выпорхнувший впервые из гнезда цапленок.

Умозаключения что зерна ячменя в мешке.

Угрызения совести что составные части двойной пушки.

Замыслы что балласт галлиона.

Понятие что разорванный служебник.

Умственные способности что улитки.

Воля что три ореха на одной тарелке.

Желание что шесть охапок эспарцета.

Суждение что туфли.

Рассудительность что рукавичка.

Разум что барабанчик.

Глава XXXI

Анатомия внешних органов Постника

– Что касается внешних органов Постника, – продолжал Ксеноман, – то они у него несколько соразмернее, за исключением семи ребер, – ребра у него совсем не как у людей.

Большие пальцы на ногах у него что спинеты.

Ногти что буравчики.

Ступни что гитары.

Пятки что дубины.

Подошвы что плавильные тигли.

Ноги что птичьи чучела.

Колени что скамейки.

Ляжки что самострелы.

Бедрa что коловороты.

Живот что башмак с острым носком, застегнутый на античный манер; в верхней части перетянут поясом.

Пуп что губан.

Лобок что блин.
Детородный член что туфля.
Яички что бутылки.
Семенники что рубанки.
Промежность что флажолет.
Задний проход что чистое зеркало.
Ягодицы что бороны.
Крестец что горшок из-под масла.
Альхатим что бильярд.
Спина что арбалет.
Позвонки что волынки.
Ребра что прялки.
Грудная клетка что балдахин.
Лопатки что ступки.
Грудь что орган.
Соски что пастушьи рожки.
Подмышки что шахматные доски.
Плечи что носилки.
Руки что капюшоны.
Пальцы рук что таганы в каком-нибудь братстве.
Запястья что две ходули.
Локтевые кости что серпы.
Локти что крысоловки.
Кисти рук что скребницы.
Шея что миска.
Горло что цедилка для душистого вина.
Кадык что бочонок, к которому подвешены два медных зоба, очень красивых и соразмерных; формой своей напоминает песочные часы.
Борода что фонарь.
Подбородок что тыква.
Уши что две митенки.
Нос что полусапожек с узким и загнутым кверху носком.
Ноздри что чепцы у монахинь.
Брови что посуда для стекания сока из мяса, насаженного на вертел.
Под левой бровью у него отметина, формой и величиной напоминающая ночной горшок.

Ресницы что трехструнные скрипки.

Глаза что футляры для гребенок.

Глазные нервы что ружья.

Лоб что кубок.

Виски что цедильные воронки.

Щеки что деревянные башмаки.

Челюсти что стаканчики.

Зубы что рогатины. Один из его молочных зубов вы можете видеть в Колонж-де-Руайо, что в Пуату, а два – в Брос, что в Сентонже, на двери погребка.

Язык что арфа.

Рот что чепрак.

Безобразное его лицо что вьючное седло.

Уродливая его голова что шлем перегонного куба.

Череп что охотничья сумка.

Оспины что «кольцо рыбака».

Кожа что накидка.

Эпидерма что решето.

Волосы на лице что скребки.

Шерстинки на теле точно такие же.

Глава XXXII

Нрав и обычай Постника

– Постник – явление природы небывалое, – продолжал Ксеноман.

— Если он плюется, то это полные корзины артишоков.

Если сморкается, то это соленые угри.

Если плачет, то это утки под луковым соусом.

Если дрожит, то это огромные пироги с зайчатинной.

Если потеет, то это треска со свежим маслом.

Если рыгает, то это устрицы в скорлупе.

Если чихает, то это бочонки с горчицей.

Если кашляет, то это банки с вареньем из айвы.

Если рыдает, то это охапки кресса.

Если зевает, то это горшки с гороховым супом.

Если вздыхает, то это копченые говяжьи языки.

Если свищет, то это целые корзины втертых очков.

Если храпит, то это ведра вышелушенных бобов.

Если скрипит зубами, то это куски топленого свиного сала.

Если говорит, то это грубая овернская шерсть, а не тот алый шелк, из которого Парисатида изъявила в свое время желание выткать слова, обращенные к ее сыну, царю персидскому Киру.

Если дует, то это кружки, куда опускают деньги за индульгенции.

Если заглядывается на что-либо, то это вафли.

Если ворчит, то это мартовские кошки.

Если покачивает головой, то это туры на колесах.

Если гримасничает, то это сумбур.

Если цедит сквозь зубы, то это игра в базош.

Если топает ногой, то это отсрочки по платежам.

Если пятится, то это морские раковины.

Если выпускает слюну, то это общественные хлебопекарни.

Если хрипит, то это мавританские танцы.

Если портит воздух, то это кордовские башмаки.

Если чешется, то это новые королевские указы.

Если поет, то это горошины в стручках.

Если испражняется, то это тыквы и сморчки.

Если пыхтит, то это капуста в масле, иначе говоря *caules amb'olif*.

Если рассуждает, то это прошлогодний снег.

Если беспокоится, то это чох с высокого дерева.

Если с кем и расплачивается, то только на том свете горячими угольками.

Если спит, то снятся ему живчики, летающие и лезущие на стену.

Если мечтает, то о процентных бумагах.

Необыкновенный случай: трудится он, когда ничего не делает; ничего не делает, когда трудится. Бодрствует во сне, спит бодрствуя, с открытыми глазами, как шампанские зайцы, – опасаясь ночного нападения Колбас, исконных своих врагов. Смеется, когда кусается, когда кусается – смеется. Будто бы совсем ничего не ест, хотя всего только постничает, а считается, что совсем ничего не ест. Обсасывает кости только в мечтах, напивается только в собственном воображении. Купается на высоких колокольнях, сушится в прудах и реках. Ставит сети в воздухе и вылавливает раков непомерной величины. Охотится в морской пучине и находит там каменных козлов, горных козлов и серн.

Старых воробьев проводит на мякине. Боится только собственной тени да крика жирных козуль. Бьет кое-когда баклуши. Любит шутить над не *мощами* чрево *угодников*. Прыгает выше собственного носа. Толстым своим стилем пишет на гладком пергаменте предсказания и альманахи.

– Вот молодчина! – сказал брат Жан. – Это по-моему. Такого-то мне и надобно. Я вызову его на поединок.

– У этого человека в самом деле необыкновенное, чудовищное телосложение, если только его можно назвать человеком, – молвил Пантагрюэль. – Мне это напомнило наружность и повадки Недомерка и Несклады.

– А какова у них была наружность? – осведомился брат Жан. – Да простит меня Господь, я отродясь ничего про них не слыхал.

– Я вам сейчас расскажу то, что мне довелось вычитать в древних притчах^[792], – продолжал Пантагрюэль. – Физис (то есть Природа) прежде всего родила Красоту и Гармонию – родила без плотского совокупления, так как она сама по себе в высшей степени плодovита и плодоносна. Антифизис, извечная противница Природы, тотчас позавидовала такому прекрасному и благородному потомству и, совокупившись с Теллумоном, родила Недомерка и Нескладу. Голова у них была сферическая и совершенно круглая, как шар, а не слегка сплюснутая с двух сторон, как у всех людей. Уши у них были высоко подняты, длинные, как у осла; глаза – выпученные, державшиеся на косточках, похожих на птичьи шпоры, без ресниц, твердые, как у рака; ноги – круглые, как клубки; руки вывернуты. Ходили они всегда колесом: на голове, задом и ногами вверх. Вы знаете, что для обезьян-самок нет ничего прекраснее их детенышей, – так же точно и Антифизис восхищалась своими и тщиалась доказать, что ее дети красивее и приятнее детей Физис; она утверждала, что сферические ноги и голова – форма вполне законная, а хождение колесом – прекрасная походка, что во всем этом есть даже нечто божественное, коль скоро и твердь и все вечные явления мира видимого имеют круглую форму. Ходить вверх ногами и вниз головой значит-де подражать Творцу вселенной: волосы у человека подобны корням, ноги напоминают ветви, деревьям же удобнее, чтобы у них были воткнуты в землю корни, а не ветви. Таким путем Антифизис приходила к выводу, что дети ее, напоминающие дерево, растущее

прямо, красивее и складнее детей Физис, напоминающих дерево опрокинутое. Что касается рук, то Антифизис рассуждала следующим образом: вывернутые руки – это даже еще лучше, оттого что спина не должна оставаться беззащитной, между тем спереди человек предостаточно наделен зубами, коими он может не только жевать без помощи рук, но и защищаться от всего вредоносного. Так, опираясь на свидетельские показания и поддержку невежественных олухов, Антифизис в конце концов перетянула на свою сторону всех сумасбродов и полоумных и привела в восторг всех безмозглых, всех лишенных понятия и здравого смысла. Затем она произвела на свет изуверов, лицемеров и святош, никчемных маньяков, неумных кальвинистов, женевских обманщиков, бесноватых путербеев^[793], братьев-обжор, ханжей, пустосвятов, людоедов и прочих чудищ, уродливых, безобразных и противоестественных.

Глава XXXIII

О том, как Пантагрюэль близ острова Дикого заметил чудовищного физетера^[794]

В полдень в виду острова Дикого Пантагрюэль издали заметил громадного, чудовищного физетера: он шел прямо на нас, сопя и храпя, весь раздувшийся, возвышавшийся над марсами наших судов, выбрасывавший из пасти воду с таким шумом, как будто с горы низвергалась большая река. Пантагрюэль указал на него лоцману и Ксеноману. По совету лоцмана трубы на «Таламего» проиграли «идти сомкнутым строем».

По этому знаку, повинувшись морской дисциплине, все корабли, галлионы, раубарджи и либурны построились в боевом порядке, приняв форму греческого U – пифагорейской буквы, которую, сколько вам известно, изображают собою летящие журавли и которая есть не что иное, как острый угол, и вот вершину такого угла образовала «Таламега», а команда ее приготовилась биться не на жизнь, а на смерть. Брат Жан с веселым видом, смелою поступью вошел вместе с бомбардирами на мостик. А Панург завопил и запричитал дурным голосом.

– Бабиль-бабу! – кричал он. – Час от часу не легче! Бежим! Провалиться мне на сем месте, это Левиафан, которого доблестный пророк Моисей описал в житии святого человека Иова! Он проглотит нас всех – и людей и суда – как пилюли. В его огромной адовой пасти мы зайдем не больше места, чем зернышко перца в пасти осла. Смотрите, вон он! Скорей, скорей на сушу! Сдается мне, что это то самое чудо морское, коему некогда назначено было в удел поглотить Андромеду. Мы все погибли. О, если бы среди нас оказался отважный Персей и поразил его!

– Я тоже отважный, вот я его сейчас и уважу, – молвил Пантагрюэль. – Не поддавайтесь страху.

– Ах ты, Господи, – вскричал Панург, – уничтожьте сначала причину страха! Как же тут не утрашиться, когда мне грозит явная опасность?

– Если жребий ваш таков, как его недавно описал вам брат Жан, – возразил Пантагрюэль, – то вам следует опасаться Пироя, Эоя, Этона и Флегона, достославных огнедышащих коней Солнца, пышущих пламенем из ноздрей, физетеров же, извергающих из ушей и из пасти одну только воду, вам бояться совершенно нечего. Вода не представляет для вас смертельной опасности. Эта стихия скорее защитит и охранит вас, но, уж во всяком случае, не погубит.

– Ну, это еще бабушка надвое сказала, – заметил Панург. – А, чтоб вам пусто было, да разве я не излагал вам учения о превращении стихий и о том, что между жареным и вареным и между вареным и жареным расстояние невелико? Увы! Вот он! Пойду спрячусь внизу. Всем нам сейчас смерть. Я вижу на марсе коварную Атропос: только что наточенными ножницами она собирается перерезать нить нашей жизни. Берегитесь! Вот он. У, какой же ты мерзкий, какой же ты отвратительный! Скольких ты потопил, а они даже похвастать этим не успели! Вот если бы он выпускал доброе, вкусное, прелестное белое или же красное вино, а не эту горькую, вонючую, соленую воду, с этим еще можно было бы примириться, это еще можно было бы претерпеть – по примеру одного английского милорда, которому по вынесении смертного приговора за совершенные им преступления дозволили самому выбрать себе казнь и который выбрал смертную казнь через утопление в бочке с мальвазией. Вот он! Ой, ой, дьявол, сатана,

Левиафан! Видеть я тебя не могу – до того ты безобразен и омерзителен! Пошел ты в суд, пошел ты к ябедникам!

Глава XXXIV

О том, как Пантагрюэль сразил чудовищного физетера

Физетер вклинился между судами и, точно Нильский водопад в Эфиопии, окатил ближайшие к нему корабли и галлионы целыми бочками воды. Тут в него со всех сторон полетели копья, полупики, дротики, копьеца, секиры. Брат Жан не жалел своих сил. Панург умирал от страха. Судовая артиллерия подняла адский грохот, – она задалась целью во что бы то ни стало добить физетера. Выстрелы, однако ж, цели не достигали: издали казалось, будто огромных размеров железные и медные ядра, войдя в кожу физетера, плавятся там, как ювелирная матрица на солнце. Тогда Пантагрюэль, поняв всю затруднительность положения, размахнулся и показал всем, на что он способен.

Мы слышали, – да об этом и в книгах написано, – что проходимец Коммод, император римский, до того метко стрелял из лука, что стрелы его, пущенные издалека, пролетали между пальцами малых ребят, поднимавших руки кверху, и никого не задевали.

Наслышаны мы и об одном лучнике – индийце, который в то самое время, когда Александр Великий завоевывал Индию, так наловчился стрелять из лука, что стрелы его, пущенные издалека, пролетали сквозь перстень, хотя сами стрелы были длиною в три локтя, а железные их наконечники были до того велики и тяжелы, что он пробивал ими стальные мечи, массивные щиты, толстые кольчуги – словом, любой предмет, как бы ни был он крепок, неподатлив, прочен и тверд.

Рассказывали нам чудеса и о хитроумии древних французов, которые в искусстве метания стрел не знали себе равных; охотясь на черного и красного зверя, они, чтобы мясо битой дичи было нежнее, слаще, здоровее и вкуснее, натирали наконечники стрел чемерицей, а пораженное место и все вокруг него вырезали и удаляли. Слышали мы и о парфянах; они спиной к цели стреляли метче, нежели другие, стоя к ней лицом. Ловкость скифов также обыкновенно приводит всех в восхищение; некогда их посланец молча преподнес царю персидскому

Дарию птичку, лягушку, мышь и пять стрел. На вопрос, что означают эти дары и не поручено ли ему что-либо передать на словах, тот ответил, что нет, чем Дарий был весьма смущен и крайне озадачен, один же из тех семи его военачальников, что убили магов, некий Гобрива^[795], объяснил и истолковал ему это следующим образом: «Этими дарами и приношениями скифы как бы говорят вам: „Если персы не улетят, как птицы, в поднебесье, или же не укроются, как мыши, в земле, или же не уйдут на дно прудов и болот, как лягушки, то их всех погубит неотразимость скифских стрел“.

Доблестный Пантагрюэль в искусстве метания был, вне всякого сомнения, первым, ибо страшными своими дротиками и копьями, которые длиной, толщиной, весом и железной оковкой очень напоминали огромные балки, на коих держатся мосты в Нанте, Сомюре, Бержераке, а также Мост менял и Мост мельников в Париже, он на расстоянии в тысячу шагов раскрывал раковины с устрицами, не задевая створок, снимал со свечи нагар, не гася ее, попадал сороке в глаз, снимал с сапог подошвы, не портя самых сапог, снимал с шапки мех таким образом, что основа оставалась цела, переворачивал листы Братжанова служебника подряд один за другим, ни единого листка не порвав.

На корабле у него таких копий было предостаточно, и вот одним из них он с первого же удара раскроил физетеру лоб и пронзил ему обе челюсти и язык, так что тот уже не мог более ни разевать пасть, ни глотать, ни выпускать воду. Вторым ударом он выбил ему правый глаз, третьим – левый. И тут все, к великому своему восторгу, увидели, что на лбу у физетера три рога, чуть наклонившись вперед, образуют равносторонний треугольник, а сам физетер, оглушенный, ослепленный, раненный насмерть, барахтается, переворачивается с боку на бок и весь сотрясается.

Не довольствуясь этим, Пантагрюэль метнул ему копье в хвост, и оно отклонилось назад; затем он метнул ему еще три копья в спину так, что они заняли перпендикулярное к ней положение, на равном расстоянии одно от другого, и все пространство между его хвостом и мордой было таким образом поделено на четыре равные части. Наконец он всадил ему еще полсотни копий в один бок и полсотни в другой, так что туловище физетера стало похоже на киль трехмачтового галлиона, в пазы коего вставлено изрядное количество

этих балкоподобных стрел, – презабавное то было зрелище. Издыхая, физетер, как все дохлые рыбы, перевернулся брюхом кверху, и теперь, опрокинувшись, утыканный балками, ушедшими под воду, он походил на сколопендру, стоногую змею, как ее описывает древний мудрец Никандр.^[796]

Глава XXXV

О том, как Пантагрюэль высадился на острове Диком – исконном местопребывании Колбас^[797]

Гребцы фонарийского судна доставили связанного физетера на сушу, на ближайший остров, называемый Дикий, с тем чтобы выпотрошить его и добыть почечный жир, который считался чрезвычайно полезным и необходимым для лечения некоей болезни, известной под названием «безденежье». Пантагрюэль не обратил на физетера особого внимания, так как в Галльском океане ему довелось видеть физетеров и покрупнее. Он дал, однако же, согласие высадиться на острове Диком, чтобы те из его людей, коих поганый физетер обрызгал и запачкал, могли обсушиться и подзаправиться, и они пристали к небольшой безлюдной гавани, расположенной на южной оконечности острова у опушки высокоствольного красивого, уютного леса, откуда вытекал прелестный ручей, тихий, прозрачный, серебристый. Здесь они и разбили палатки с походными кухнями и принялись топить, не жалея дров. Когда все, кто во что, переоделись, брат Жан ударил в колокол. По данному знаку были расставлены и проворно накрыты столы.

Пантагрюэль, в веселом расположении духа обедавший со своими людьми, за вторым блюдом заметил, что несколько маленьких ручных Колбасок молча карабкаются и взбираются на высокое дерево, под которым хранились на деревянной колоде бутылки с вином и кубки, и спросил Ксеномана:

– Что это за зверьки?

Он полагал, что это белки, хорьки, куницы или же горностаи.

– Это Колбасы, – пояснил Ксеноман. – Мы находимся на острове Диком, о котором я с вами толковал нынче утром. Между ними и Постником, хитрым и давним врагом их, исстари идет война не на

жизнь, а на смерть. Мне думается, обстрел физетера напугал Колбас, и они вообразили, будто их противник явился сюда со своими войсками, чтобы захватить их врасплох или же разграбить остров, что он уже несколько раз пытался сделать, без особого, впрочем, успеха, ибо наталкивался на усердие и бдительность Колбас, которых, как говорила когда-то Дидона спутникам Энея, намеревавшимся без ведома ее и согласия войти в гавань Карфагена, вероломство неприятеля и смежность его владений принуждают быть вечно на страже и начеку.

– Послушайте, любезный друг, – сказал Пантагрюэль, – если вы знаете какой-нибудь почтенный способ прекратить эту войну и замирить врагов, то откройте его мне. Я с превеликой охотой за это примусь и не пожалею сил, только бы враждующие стороны утихомирить и устранить все, что их разделяет.

– В настоящее время это не представляется возможным, – заметил Ксеноман. – Назад тому лет около четырех я проездом через острова Дикий и Жалкий почел за должное установить мир между ними, или уж по крайности длительное перемирие, и быть бы им с тех пор добрыми друзьями и соседями, когда бы они достигли соглашения в одном пункте и отказались от своих притязаний. Постник не пожелал включить в мирный договор проживающих в лесу Кровяных Колбас и Горных Сосисок, старинных друзей и союзников этих Колбас. Колбасы же стояли на том, чтобы крепость Сельдекал, а равно и замок Насоли были отданы в полное их распоряжение и чтобы оттуда были изгнаны засевшие там подлые, мерзкие убийцы и разбойники, и так они ни к чему и не пришли, ибо условия мирного договора казались им несправедливыми. Договор подписан не был. Со всем тем Постник и Колбасы стали после этого менее ярыми врагами, чем прежде, несколько смягчились. Когда же Кесильский поместный собор обличил, заклеил и осудил Колбас, а Постнику пригрозил, что он отлучит его, ежели тот осрамит и осквернит себя каким бы то ни было союзом или же соглашением с Колбасами, то это страшнейшим образом обе стороны озлобило, ожесточило, возмутило и подняло их боевой пыл, и помочь этому теперь уже нельзя. Скорей вы помирите кошек и крыс, собак и зайцев, только не их.

Глава XXXVI

О том, как Дикие Колбасы устроили Пантагрюэлю засаду

Меж тем как Ксеноман держал эту речь, брат Жан заметил, что двадцать пять, не то тридцать молодых и статных Колбас быстрым шагом удаляются из гавани по направлению к их копченому городу, крепости, замку и башне, а заметив, сказал Пантагрюэлю:

– Ну, тепер пойдет потеха, вот увидите. Сии почтенные Колбасы, чего доброго, приняли вас за Постника, хотя вы ни капельки на него не похожи. Полно напихивать утробу – изготовимся лучше к обороне!

– Ты дело говоришь, – молвил Ксеноман. – Колбасы – всегда колбасы: они двуличны и коварны.

При этих словах Пантагрюэль встал из-за стола и пошел осматривать окрестности, но тут же возвратился и сообщил нам, что налево засели в засаду жирные Колбасы, а направо, в полумиле оттуда, многочисленный отряд могучих Колбас-великанов спускается с бугорка и под веселящие звуки волюнок и флажолетов, дудок и пузырей, флейт и барабанов, труб и рожков стремительно на нас надвигается.

Пантагрюэль насчитал всего семьдесят восемь знамен, на основании чего мы определили численность вражьего войска, самое меньшее, в сорок две тысячи. По тому, в каком образцовом порядке они двигались, по горделивой их поступи и уверенному виду можно было сейчас догадаться, что это не новобранцы, а ветераны. В первых шеренгах шли осененные стягами воины в полном боевом снаряжении, с маленькими, как по крайней мере нам показалось издали, но зато острыми, только что наточенными пиками. С обоих флангов их прикрывало изрядное количество Кровяных Колбас, обитательниц леса, толстых Телячьих Сосисок и Сосисок верхом на конях: то были рослые, воинственные, дикие островитяне.

Пантагрюэль сильно встревожился, да и было отчего, хотя Эпистемон доказывал ему, что, по-видимому, таков порядок и обычай в Колбасной стране – в боевых доспехах встречать чужестранных друзей и оказывать им гостеприимство, ибо так-де встречают и приветствуют доблестных французских королей при первом их появлении в им подвластных славных городах после коронавания и восшествия на престол.

– Может статься, – сказал Эпистемон, – это личная гвардия здешней королевы: те самые молодые дозорные Колбасы, которых вы обнаружили на дереве, оповестили ее о том, что в гавань к ним вошел величественный и пышный караван ваших судов, и вот она, вообразив, что это какой-нибудь богатый и могущественный государь, спешит вас встретить самолично.

Пантагрюэль с этим предположением не согласился и созвал совет, дабы решить сообща, как должно действовать в столь затруднительном положении, при столь шатких надеждах и столь явной опасности.

В кратких словах он попытался доказать своим советникам, что такой прием вооруженной встречи нередко скрывает под видом благоволения и дружбы смертельную угрозу.

– Так император Антонин Каракалла^[798] перебил однажды александрийцев, – пояснил он, – а еще как-то он же истребил свиту персидского царя Артабана, выйдя к ней навстречу под видом и под флагом жениха царской дочери. Злодеяние это не осталось, впрочем, безнаказанным: малое время спустя умертвили его самого. Так же точно сыны Иакова, мстившие за похищение сестры своей Дины, разграбили Сихем. Тем же вероломным способом Галиен, император римский, уничтожил воинов константинопольских. Так же точно, под личиной дружбы, Антоний заманил к себе армянского царя Артавазда, велел связать его и заковать в железо и в конце концов убил. В старинных летописях можно найти немало подобных случаев. И доньше еще вполне заслуженно превозносится осмотрительность французского короля Карла Шестого: когда он возвращался после победы над фламандцами и гентцами в славный свой город Париж, то в Бурже до него дошла весть, что парижане числом до двадцати тысяч, с молотами в руках (за что они и получили прозвище молотобойцев), в полном боевом порядке двинулись из города к нему навстречу, и тогда он объявил, что не вступит в город (хотя парижане уверяли его, что вооружились они единственно для того, чтобы оказать ему особый почет, и что они народ верный и нелицемерный), пока они не разойдутся по домам и не разоружатся.

Глава XXXVII

О том, как Пантагрюэль послал за полководцами

Колбасорезом и Сосисокромсом, с присовокуплением примечательной его речи касательно имен собственных

Совет постановил быть на всякий случай наготове. Пантагрюэль поручил Карпалиму и Гимнасту собрать воинов, находившихся на корабле с вазой (командовал ими Колбасорез), а равно и тех, что находились на корабле с корзиной из-под винограда (ими командовал юный Сосисокромс).

– Я за ними схожу вместо Гимнаста, – вызвался Панург. – Он вам здесь будет нужен.

– Клянусь моей рясой, – заговорил брат Жан, – ты уклоняешься от участия в битве, блудодюшка, – назад уж ты не вернешься, клянусь честью. Ну да потеря невелика. Ты бы тут начал реветь, причитать, вопить и только навел бы тоску на добрых солдат.

– Я непременно возвращусь, брат Жан, отец мой духовный, и притом скоро, – возразил Панург. – Только скажите паршивым этим Колбасам, чтобы они не смели взбираться на корабли. Во время сражения я по примеру неустрашимого военачальника Моисея, вождя народа израильского, помолюсь Богу о даровании вам победы.

– То, что вы на случай, если Колбасы вздумают с нами схватиться, назначили руководить сражением двух ваших полководцев Колбасореза и Сосисокромса, внушает нам бодрость и уверенность в победе, – обратился к Пантагрюэлю, заметил Эпистемон.

– Вы правильно толкуете мое распоряжение, – молвил Пантагрюэль. – Я одобряю ваше намерение по именам наших полководцев предугадать и предсказать нам победу. Такой способ предсказывать по значению имен не является достоянием нашего времени. Он имел большой успех еще у пифагорейцев, и они постоянно к нему прибегали. В старину им пользовались к явной для себя выгоде многие знатные люди и императоры. Октавиан Август, второй император римский, повстречал однажды крестьянина по имени Евтихий, что значит *счастливым*, а крестьянин вел осла по прозвищу Никон, что значит *побеждающий*; значение имен ослогона и осла поразило его, и он уверовал в свое счастье, в свою звезду, в свою победу. Император римский Веспасиан как-то раз в полном одиночестве молился в храме Сераписа; когда же перед ним предстал и взору его внезапно явился слуга его по имени Басилид, что значит –

царский, — а он оставил этого слугу больным, далеко оттуда, — то у него мгновенно появилась надежда и уверенность, что римская империя достанется ему. Регилиана воины избрали императором не почему-либо, а только основываясь на значении его имени^[799]. Отсылаю вас к *Кратилу* божественного Платона.

– Клянусь моей жаждой, вы так часто его упоминаете, что мне захотелось его прочесть, — сказал Ризотом.

– Вспомните, как пифагорейцы на основании имен и чисел пришли к заключению, что Патрокла умертвил Гектор, Гектора — Ахилл, Ахилла — Парис, Париса — Филоктет. Меня просто потрясает необычайная догадливость Пифагора: ведь он на основании того, четное или же нечетное число слогов заключает в себе имя человека, определял, на какую ногу он хромает, на какой глаз он крив, в какой стороне у него подагра, какая сторона у него парализована, в каком боку у него плеврит и прочие естественные заболевания: то есть четное число слогов указывало ему на поражение левой стороны тела, нечетное — на поражение правой.

– Поверьте, — сказал Эпистемон, — я сам был свидетелем подобного опыта во время торжественной процессии в Сенте, в коей принимал участие добрейший, доблестнейший, ученейший и справедливейший президент Бриен Вале, сеньор Дю Дуэ. Когда мимо него проходил хромой или же хромая, кривой или же кривая, горбун или же горбунья, ему говорили, как их зовут. Если слоги тех или иных имен составляли нечетное число, он не глядя определял, что люди эти кривы на правый глаз, хромают на правую ногу и горб у них справа. Если же четное, то поражена, мол, у них левая сторона. И всякий раз он угадывал, ошибки мы не обнаружили ни разу.

– На основании подобных же умозаключений, — снова заговорил Пантагрюэль, — ученые утверждали, что коленопреклоненный Ахиллес был ранен стрелой Париса в правую пятку, ибо в его имени нечетное число слогов (должно заметить, что древние становились на правое колено); Венера была ранена Диомедом под Троей в левую руку, ибо греческое ее имя состоит из четырех слогов; Вулкан по той же причине хромает на левую ногу; Филипп, царь македонский, и Ганнибал были кривы на правый глаз. Тем же самым пифагорейским способом мы можем определить, где у кого воспаление седалищного нерва, грыжа, мигрень.

Обратимся, однако ж, к именам: представьте себе, Александр Великий, сын царя Филиппа, о котором мы с вами уже говорили, добился своего только благодаря толкованию одного имени. Он окружил хорошо укрепленный город Тир и уже несколько недель подряд вел осаду, но безуспешно. Не достигали цели ни подрывные работы, ни стенобитные орудия. Тирийцы мгновенно все вновь сооружали и восстанавливали. Александр в глубокое впал уныние и, полагая, что эти военные обстоятельства могут только помрачить блеск его славы, порешил снять осаду. Растерянный и огорченный, он как-то раз уснул. И вот снится ему, что в палатке у него прыгает и пляшет козлоногий сатир. Александр – за ним, сатир – от него. В конце концов царь все же его поймал. Тут он пробудился и рассказал свой сон находившимся при нем философам и другим ученым, и все они сошлись на том, что боги предвозвещают ему победу и что Тир скоро будет взят, ибо если слово *Satyros* разделить на две части, то получится *Sa Tyros*, что значит: *Тир – твой*. И точно: при первом же приступе город сдался, и Александр, полную одержав победу, покорил мятежных его жителей.

Приведу вам обратный пример – пример того, как значение одного имени повергло Помпея в отчаяние. Цезарь нанес ему поражение в битве при Фарсале, и Помпей мог спасти только бегством. Он избрал морской путь и прибыл на остров Кипр. Близ города Пафоса на берегу моря глазам его открылся дивный, роскошный дворец. Он спросил кормчего, как этот дворец называется, – оказалось, он носит название *Kaḡobasileuz*, что значит *Злосчастный царь*. Название это повергло его в страх и трепет, и он в безысходное впал отчаяние: он был уверен, что ему грозит неминуемая гибель, и тогда все, кто при нем был, и все мореходы услышали его вздохи, вопли и стоны. И точно: не в долгом времени некий безвестный селянин по имени Ахилл отсек ему голову.

Здесь кстати будет вспомнить и то, что случилось с Луцием Павлом Эмилием: римский сенат избрал его полководцем, коему надлежало выступить против македонского царя Персея. В тот же день к вечеру он возвратился домой, чтобы собраться в поход, и, поцеловав малолетнюю свою дочку Трацию, заметил, что она чем-то опечалена. «Что с тобой, Трация? – спросил он. – Отчего ты так печальна и грустна?» – «Отец! – отвечала она. – Перса умерла». Так называла она

любимую свою собачку. При этих словах Павел проникся уверенностью, что он одержит победу над Персеем.

Будь у нас досуг, мы могли бы обратиться к Ветхому завету и там нашли бы множество изумительных примеров, ясно показывающих, какой священный ужас внушали евреям имена собственные и как они вникали в их смысл.

К концу речи Пантагрюэля подросли оба полководца во главе своих войск, хорошо вооруженных и полных решимости. Пантагрюэль обратился к ним с кратким наставлением, сказал, что если паче чаяния Колбасы двинут на них свою рать (ему все еще не верилось, чтобы Колбасы были столь вероломны), то им придется грудью отразить натиск, воспретил им нападать первыми и дал им пароль *Канунпоста*.

Глава XXXVIII

Почему людям не должно презирать Колбас

Вы поди хихикаете, пьянчуги, и не верите, что все и впрямь обстояло так, как я вам рассказываю. Хотите – верьте мне, а не хотите – пойдите поглядите сами. Но уж я-то хорошо знаю, что все это я видел воочию. Дело происходило на острове Диком. Нарочно сообщаю вам название острова. А вы вспомните, какую страшную силу выказали древние гиганты, вознамерившиеся высокую гору Пелион взгромоздить на Оссу и вместе с Оссой прихватить и тенистый Олимп, дабы вступить в бой с богами и выкурить их с неба. То была сила необыкновенная, из ряду вон выходящая. И со всем тем гиганты эти наполовину были Колбасами, или, верней, змеями.^[800]

Змий, искусивший Еву, был колбасовиден, и, однако ж, про него написано, что он был хитрее и коварнее всех других животных. Таковы Колбасы.

Еще и сейчас в иных академиях не отказались от мысли, что искуситель представлял собою Колбасу по имени Итифалл, в которую был когда-то превращен славный мессер Приап, великий соблазнитель, совращавший женщин в *парадизах*^[801], что в переводе с греческого на французский означает *сады*. Швейцария славится в наши дни храбростью своею и воинственностью, а почем знать – быть может, встарь она представляла собой всего лишь Сосиску. Не поручусь и палец свой в огонь за это не суну. Гимантоподы – примечательный

народ, населяющий Эфиопию, – суть, согласно Плиниеву описанию, не что иное, как Колбасы.

Если же, ваши превосходительства, эти мои речи вас не переубедили, то нимало не медля поезжайте (разумеется, после попойки) в Люзиньян, Партене, Вован, Мерван и в Пузож, что в Пуату. Там вы найдете старожилов, людей почтенных, на ветер слов не бросающих, и они вам поклонятся рукой святого Ригоме, что у Мелюзины^[802], воздвигшей все эти города, было тело женщины только до стыда, а ниже она представляла собой змеевидную Колбасу или же колбасовидную змею. Со всем тем она отличалась смелостью и изяществом движений, и ей до сих пор подражают в том бретонские плясуны, когда отплясывают под песню свои *триори*.

Почему Эрихтоний^[803] первый изобрел рыдваны, носилки и телеги? Потому, что его отец Вулкан наделил его колбасообразными ногами, и прятать их ему было удобнее на носилках, нежели верхом на коне, а уже в его времена о Колбасах шла недобрая слава. Скифская нимфа Гора также представляла собой полуженщину-полуколбасу. Юпитеру, однако ж, она так приглянулась, что он разделил с нею ложе и имел от нее красавца сына по имени Колакс.

Перестаньте же хихикать и помните, что правдивее Евангелия нет ничего на свете.

Глава XXXIX

О том, как брат Жан объединяется с поварами, чтобы совместными усилиями разгромить Колбас

Видя, что разъяренные Колбасы движутся бодрым шагом прямо на них, брат Жан сказал Пантагрюэлю:

– По видимости, нам предстоит потешный бой. Какой почет, какую славу стяжаем мы этой победой! Я бы, однако ж, предпочел, чтобы вы оставались на корабле и были всего только зрителем предстоящей схватки, а остальное поручили мне и моим людям.

– Каким людям? – осведомился Пантагрюэль.

– Сошлюсь на служебник, – продолжал брат Жан. – Почему Потифар, старший повар фараоновых кухонь, тот самый, который купил Иосифа и которому Иосиф, если б захотел, мог бы наставить

рога, был начальником конницы всего египетского царства? Почему для осады и разрушения Иерусалима из всех военачальников был выбран именно старший повар царя Навуходоносора Навузардан?^[804]

– Ну, ну, дальше! – сказал Пантагрюэль.

– Ах ты, поскобли ее! – воскликнул брат Жан. – Я готов поклясться, что им до этого приходилось воевать с Колбасами или с другим столь же неопасным противником, – бить, рубить, крушить и крошить Колбас в гораздо большей степени приличествует и подобает поварам, нежели всем кавалеристам, страдиотам, солдатам и пехотинцам, сколько их ни есть на свете.

– Вы мне напомнили одно место в забавных и шуточных ответах Цицерона, – сказал Пантагрюэль. – Во время гражданской войны в Риме – войны, которая шла между Цезарем и Помпеем, – Цицерон, разумеется, был скорее на стороне Помпея, но Цезарь все же заискивал в нем и оказывал ему знаки наивысшего благоволения. Однажды, узнав, что помпеянцы в одну из стычек понесли большие потери, Цицерон вознамерился посетить их лагерь. Там он пришел к заключению, что сил у них мало, бодрости духа еще меньше, а беспорядка много. Предчувствуя скорое их поражение и гибель, – и так оно впоследствии и случилось, – начал он подтрунивать и посмеиваться то над тем, то над другим и сыпать язвительными и острыми шуточками, на каковые был он великим мастером. Некоторые военачальники, желая показать, что все идет отлично, что в победе они не сомневаются и совершенно в ней уверены, обратились к нему с вопросом: «Видите, сколько у нас орлов?» То были знамена римлян во время войны. «Это было бы очень хорошо и очень кстати, если бы вы воевали с сороками», – отвечал Цицерон. Итак, приняв в рассуждение, что нам предстоит сразиться с Колбасами, вы умозаключаете, что это кулинарная сеча, и желаете объединиться с поварами. Что ж, поступайте как знаете. А я здесь буду ждать исхода молодецкой этой потехи.

Брат Жан, не долго думая, помчался к походным кухням и, возвеселившись душою, наиучтивейше обратился к поварам:

– Ребята! Я желаю, чтобы всем вам была нынче воздана великая честь и великая слава. Вам уготованы ратные подвиги, доселе еще не виданные. Ах ты, живот на живот, разве отважные повара когда-нибудь

лицом в грязь ударят? Пойдем бить пакостных этих Колбас! Я буду вашим начальником. Выпьем, друзья! А ну, веселей!

– Ваша правда, начальник! – подхватили повара. – Мы всецело веряемся вам. Под славным вашим предводительством мы готовы идти на жизнь и на смерть.

– На жизнь – пожалуйста, а на смерть – ни-ни: это уж пускай Колбасы, – объявил брат Жан. – Итак, стройся! Паролем вашим будет *Навузардан!*

Глава XL

О том, как брат Жан построил свинью и спрятал в нее отважных поваров

Тогда по приказанию брата Жана строители смастерили огромную свинью и поставили ее на корабль с кружкой. Сработали этого борова и правда здорово: тяжелые орудия, установленные на нем полукружиями, выбрасывали каменные ядра и четырехгранные стальные копья, площадь же его была такова, что под его прикрытием могли сражаться более двухсот человек, а сделана была эта свинка по образцу свиньи лариольской^[805], с помощью которой англичане в царствование юного французского короля Карла VI взяли Бержерак.

Приведу имена смелых и отважных поваров, вошедших в эту свинью, будто в троянского коня:

Соуспикан, Мэтр Грязнуйль,
Обмишуль, Кишки,
Труслив, Растолки,
Трусиш, Архижирей,
Филе, Винегрет,
Паскуд, Де Волай,
Мандрагор, Подавай,
Гренки, Подливай,
Неспеша, Жаркой,
Уполов, Тушонэ,
Фрикасе, Обормот,
Блинки, Антрекот.

На гербах у всех этих доблестных поваров по полю в виде разинутых пастей были изображены зеленого цвета шпиговальные иглы с посеребренными изогнутыми полосками с наклоном влево.

Жри-жри, Пожри,
Жри, Прожри,
Нажри, Сожри,
Обожри, Масложри,
Дождри, Свинейжри,
Недождри, Жирнейжри,
Саложри, Пейдаждри,
Салоешь, Салолиз,
Салорежь, Саложуй,
Салосвесь, Саломблюй,
Саломсмажь, Салояд,
Саломшпик, Саложрун,
Саломсморк, Саловар,
Салосмак, Салотоп.
Салолуб,

Салоп (сокращенно), уроженец Рамбуйе. Полное имя этого профессора кулинарии – Салолоп. Ведь вы же говорите *знаменосец* вместо *знаменоносец*.

У марранов и евреев имена эти не встречаются.

Блуди, Подлив,
Салатье, Котлолиз,
Крессалатьер, Доедай,
Скоблиреп, Доглодай,
Свинье, Уплетай,
Кролико, Уминай,
Приправ, Недрожжи,
Меситест, Прокопти,
Паштет, Котлет,
Жиго, Навар,
Присоли, Сардин,
Барбарис, Творог,
Суплакай, Кислуш,
Балагур, Макарон,
Простофиль, Гарнир.

Крошкочешь. Этого перевели из кухни в покой к доблестному кардиналу Венёру для услуг.

Пережар, Милаш,
Помело, Бабамгож,
Колпак, Барабош,
Помешай, Баловник,
Сбабойсмог, Сбабойнеслад,
Кбабескок, Бабамуслад,
Сбабойслаб, Растороп,
Небейваз, Габаонит,
Грудин, Неуклюж,
Прокис, Крокодиль,
Шаговит, Всажерож,
Дуйвкишку, Франтовит,
Скат, Мордобит.

Мондам, изобретатель соуса *Мадам*, за что и получил шотландско-французское это прозвище.

Зубощелк, Шафранье,
Губошлеп, Космат,
Мирлангуа, Антитус,
Клювбекас, Укроп,
Судомой, Редис,
Пипипспс, Сосис,
Соплив, Свинин.
Треска,

Робер. Этот изобрел весьма полезный соус *Робер*; его непременно надобно подавать к жареным кроликам, уткам, к жареной свинине, к яйцам «в мешочке», к соленой треске и множеству других кушаний.

Угри, Мясоруб,
Икра, Лежебок,
Дуралей, Калабрит,
Ошмет, Брюквожуй,
Ветрогон, Дристун,
Осетрин, Обмараль,
Рагу, Сплошьвдерьме,
Костляв, Прилип,
Сельдей, Свиноглот,

Пирожок, Сеймомент,
Длиннонос, Раксвистун,
Жуйвуснедуй, Вискаша,
Телуш, Ротозей,
Репей, Телок,
Мукосей, Смазлив.

Доблестные сии повара, brave, молодцеватые, закаленные, к бою готовые, вошли в свинью. Брат Жан, взяв с собой нож, вошел последним и изнутри запер двери, двери же там были сделаны на пружинах.

Глава XLI

О том, как Пантагрюэль колом бацал Колбас

Колбасы подошли до того близко, что Пантагрюэлю видно было, как они размахнулись и оцетинились целым лесом копий. Тогда он послал к ним Гимнаста спросить, чего им надобно и что могло их так разобидеть, коль скоро они решились без всякого предупреждения идти войной на старинных своих друзей, которые ничего дурного им не сделали и не сказали.

Гимнаст отвесил первым рядам почтительный, низкий поклон и вдруг закричал во всю мочь:

– Мы с вами заодно, заодно, заодно, мы все к вашим услугам! Все мы сторонники Канунпоста, старинного вашего союзника!

После мне передавали, что вместо «Канунпоста» он сказал «Капутпостам». Как бы то ни было, при этих словах некая толстая Мозговая Колбаса, дикая и упитанная, выскочила из строя и едва не схватила Гимнаста за горло.

– Клянусь Богом, – вскричал Гимнаст, – ты войдешь туда не иначе, как по кусочкам, – целиком все равно не удастся!

Тут он обеими руками поднял свой меч, который назывался «Поцелуй-меня-в-зад», и надвое разрубил Колбасу.

Бог ты мой, до чего ж она была жирна! Она мне напомнила огромного Бернского быка, убитого при Мариньяно во время разгрома швейцарцев. Вы не поверите: сало у нее на животе было не менее чем в четыре пальца толщиной.

Как скоро Гимнаст разможил Мозговую Колбасу, все прочие Колбасы на него накинлись и подлейшим образом сшибли с ног, но в эту самую минуту Пантагрюэль и его соратники устремились к нему на выручку. Вот тут-то и началась свалка. Колбасорез давай резать Колбас, Сосисокромс – кромсать Сосисок. Пантагрюэль колом бацал Колбас, брат Жан, сидя в свинье, молча за всем следил и наблюдал, как вдруг Телячьи Сосиски с превеликим шумом ударили из засады на Пантагрюэля.

Тогда брат Жан, узрев смятение и замешательство в Пантагрюэлевом стане, отворил двери свиньи и вышел оттуда в сопровождении бравых своих солдат, из коих одни вооружены были вертелами, другие – жаровнями, каминными решетками, сковородами, лопатками, противнями, рашперами, кочергами, щипцами, подвертельной посудой для стекания мясного сока, метлами, котлами, ступками, пестиками, и все это воинство, блюдя тот строй, какой обыкновенно держат пожарные, неистово завопило и закричало в один голос: «Навузардан! Навузардан! Навузардан!» С этими криками остервенелые повара ринулись на Телячьих Сосисок и врубались в строй Сосисок Свиных. Колбасы же, видя, что противник получил подмогу, бросились бежать что есть духу, словно все черти припустились за ними вдогонку. Брат Жан бил их, как мух, солдаты также даром времени не теряли. То было жалости достойное зрелище: все поле устилала мертвые и раненые Колбасы. И тут летопись гласит, что, когда бы не перст Божий, колбасное племя было бы этими воинами от кулинарии истреблено. Хотите верьте, хотите нет, а происшествие случилось и впрямь необыкновенное.

С севера налетел огромный, громадный, грязный, грузный, грозный, серый хряк на длинных и широких, как у ветряной мельницы, крыльях. Оперение было у него, как у феникоптера, на лангедокском наречии именуемого фламинго: глаза – красные и сверкающие, как пиропы; уши – зеленые, как празиновые изумруды; зубы – желтые, как топазы; хвост – длинный и черный, как лукуллов мрамор^[806]; ноги – белые, насквозь просвечивающие, прозрачные, точно алмазы, и были эти ноги лапчатые, как у гуся и как у тулузской королевы Гусиная Лапка^[807]. А на шее у него висело золотое ожерелье с ионической надписью, из коей я мог разобрать только два слова: US AQHNAN, то есть «Кабан, Минерву поучающий».

Погода стояла хорошая, ясная. Но как скоро это чудище появилось, слева раздался такой страшный удар грома, что все мы пришли в изумление. Колбасы, чуть только завидели кабана, тот же час побросали оружие, палки, молча попадали на колени и благоговейно воздели к нему сложенные длани.

Тем временем брат Жан и его сподвижники все еще избивали Колбас и сажали их на вертел, Пантагрюэль, однако ж, велел играть отбой, и на том сражение окончилось. Чудище, полетав взад и вперед между двух ратей, сбросило наземь двадцать семь с лишним бочек горчицы и наконец с неумолчным криком: «Канунпоста! Канунпоста! Канунпоста!» – исчезло вдали.

Глава XLII

О том, как Пантагрюэль вел переговоры с королевой

Колбас – Нифлесет [\[808\]](#)

Так как вышеописанное чудище более не появлялось, а обе рати безмолвствовали, Пантагрюэль решился испросить позволения вступить в переговоры с госпожою Нифлесет – так звали королеву Колбас, сидевшую в рыдване под сенью знамен, – и возможность эта была ему незамедлительно предоставлена.

Королева вышла из рыдвана, приветствовала Пантагрюэля изящным поклоном и устремила на него милостивый взор. Пантагрюэль изъявил ей свое неудовольствие по поводу начавшейся войны. Королева почтительно принесла ему свои извинения и сослалась на то, что недоразумение произошло вследствие полученных ею неверных сведений: лазутчики донесли ей, что Постник, заклятый ее враг, якобы сошел на берег и принялся исследовать мочу физетеров. Затем королева обратилась к нему с просьбой – в виде особой любезности, приняв в соображение, что в Колбасах содержится более дерьма, чем желчи, простить причиненную ему обиду и дала обещание, что отныне она сама и все ее престолонаследницы из династии Нифлесет будут владеть островом этим и страной как его и его преемников верноподданные, всюду и во всем будут ему покорны, друзьям его будут друзьями, а недругам его недругами, и в знак преданности своей ежегодно станут ему посылать семьдесят восемь

тысяч королевских Колбас, кои будут служить ему закуской на протяжении полугода.

Слово свое королева сдержала и на другой же день отправила доброму Гаргантюа на шести больших бригантинах означенное количество королевских Колбас, коих сопровождать было поручено юной Нифлесет, инфанте острова. Доблестный Гаргантюа, в свою очередь, отослал их в подарок великому королю парижскому. Но от перемены климата, а равно из-за отсутствия горчицы, этого естественного бальзама для Колбас и излюбленного ими укрепляющего средства, они почти все умерли. По распоряжению и желанию великого короля их похоронили, свалив в кучи, в Париже, в том месте, которое и донныне носит название Колбасной мостовой.

По ходатайству придворных дам юную Нифлесет спасли, и ей достождный был оказан почет. Впоследствии ее отдали замуж в благодатный и обильный край, и там она, благодарение Богу, нарожала славных ребят.

Пантагрюэль в учтивых выражениях изъясил королеве свою признательность, простил все обиды, от острова же отказался и подарил ей хорошенький першский ножичек. Засим он любопытствовал, что же означало появление вышеописанного чудища. Она ему ответила, что то была идея Канунпоста, их бога, покровительствующего им, когда они воюют, основоположника и родоначальника всего колбасного племени. На кабана же он, дескать, похож потому, что Колбасы выделяются из свиней. Пантагрюэль осведомился, на какой предмет и в каких лечебных целях чудище сбросило наземь столько горчицы. Королева ответила, что горчица – их священный Грааль и животворный бальзам и что если хотя бы слегка смазать ею раны поверженных Колбас, то в самом непродолжительном времени раненые выздоровеют, мертвые же воскреснут.

Больше ни о чем Пантагрюэль с королевой не беседовал и удалился на свой корабль.

Следом за ним, захватив с собой и свое вооружение и свинью, возвратились все его верные спутники.

Глава XLIII

О том, как Пантагрюэль высадился на острове Руах [\[809\]](#)

Два дня спустя пристали мы к острову Руах, и, клянусь вам созвездием Плеяд, более необычайного уклада и образа жизни, чем у местных жителей, я нигде еще не встречал. Живут они только ветром. Ничего не пьют, ничего не едят, кроме ветра. Вместо домов у них флюгера. В садах они разводят три сорта анемонов, и ничего более. Руту же, равно как и все прочие карминативные средства, выпалывают начисто. Простой народ, сообразно средствам своим и возможностям, пробавляется перьевыми, бумажными и полотняными веерами. Богачи живут ветряными мельницами. Когда у них какое-нибудь празднество или пиршество, столы расставляют под одною или под двумя ветряными мельницами, и там они едят до отвала, как на свадьбе. Во время трапезы толкуют о добротности, преимуществах, пользе, редкостности того или иного ветра, так же как вы, кутилы, за пиршественным столом рассуждаете о свойствах различных вин. Кто хвалит сирокко, кто – беш, кто – гарбин, кто – борей, кто – зефир, кто – норд-ост и так далее. А кто – колыхание сорочки, столь сильно действующее на любезников и влюбленных. Ветрогонам дают ветрогонные средства.

– Вот бы достать пузырь с добрым лангедокским ветром, так называемым цирциусом! – говорил мне один карапуз. – Славный лекарь Скуррон^[810] побывал у нас мимоездом и рассказывал, что это ветер силы небывалой: он целые возы опрокидывает. Моей эдиподической ноге от него тот же час стало бы легче. Не в толщине счастье.

– А что вы скажете о толстой бочке доброго лангедокского вина, того самого, что привозят из Мирво, Кантпердри и Фронтиньяна? – возразил Панург.

Я видел, как один человек приятной наружности, ходячая водянка, ярился на своего здорового, толстенного лакея и маленького пажа и изо всей силы-мочи пинал их ногами. Не будучи осведомлен об истинной причине гнева сего, я подумал, что человек тот просто-напросто исполняет предписание врачей и что хозяину полезно гневаться и колотить, слугам же – быть битыми. Однако я услышал, что он обвиняет их в краже полумеха гарбина, каковое лакомство он, словно зеницу ока, берег на зиму. На этом острове не испражняются, не мочатся, не плюют. Зато портят воздух, пукают и рыгают вовсю. Болеют всеми возможными и самыми разнообразными болезнями, ибо

всякая болезнь по Гиппократу (кн. *De flatibus*^[811]) рождается и происходит от скопления ветров. Наиболее же распространенное на этом острове заболевание – колики от ветров. Против колик применяют большие банки, дают сильнодействующие ветрогонные. Все здесь умирают от водянки и от тимпанита, мужчины – пукая, женщины – портя воздух. Следственно – дух они испускают через задний проход.

Гуляя по острову, мы встретили трех ветреных толстячков, – они вышли пройтись и поглядеть на ржанок, а ржанок тут видимо-невидимо, и пища у них та же самая. Я заметил, что, так же как вы, бражники, разгуливаете с фляжками, бурдючками и бутылочками, здесь каждый носит за поясом хорошенький маленький мех. В случае, если жителям понадобится ветер, они, пользуясь прелестными своими мехами, по закону взаимного притяжения и отталкивания накачают сколько угодно свежего ветру, – вы же знаете, что ветер, в сущности, есть не что иное, как колеблющийся и колышущийся воздух.

В это самое время мы получили от здешнего короля распоряжение в течение трех часов не пускать на наши суда никого из туземцев, ни мужчин ни женщин, ибо у него похитили сосуд с тем самым ветром, который когда-то подарил добрый хрипун Эол Одиссею, дабы тот мог вести корабль и при безветрии; король хранил эту святыню, как некий священный Грааль, и излечил с помощью сего ветра множество тяжких недугов, впуская и вводя его в организм больного ровно столько, сколько нужно, чтобы вызвать так называемый девичий пук, – инокини называют его *звоночком*.

Глава XLIV

О том, как сильные ветры стихают от мелких дождей

Пантагрюэль одобрил нрав и обычай жителей этого острова и, обратясь к их ветряному правителю, сказал:

– Если вы согласны с мнением Эпикура, наивысшее благо числившего в наслаждении (я разумею наслаждение, достигающееся не с трудом, но, напротив, легкодостижимое), то я почел бы вас за счастливец, ибо жизнь ваша, жизнь ветровая, вам ничего или почти ничего не стоит: вам надлежит дуть, и только.

– Так, – подтвердил правитель. – Однако ж в сей брэнной жизни полного счастья не бывает. Нередко случается, что, когда мы сидим за обедом и со вкусом, как святые отцы, вкушаем, точно манну небесную, добрый и сильный Божий ветер, тут-то и зарядит мелкий дождик, прервет его и унесет. И так, по недостатку съестного, у нас то и дело прекращаются трапезы.

– Это, значит, вроде Женена де Кенкене, – заметил Панург, – он пустил струю на задницу своей супруге Кело – и тем прекратил смрадный ветер, дувший оттуда, как из Эоловой двери. Я даже как-то сложил по этому поводу довольно удачное десятистишие:

Женен, отведав свежего вина,
Сказал Кело вечернею порою,
Чтоб репу приготовила она.
Поужинав столь сытною едою,
Немедля спать легли они с женою.
Но так как у Кело из части тыльной
Шел смрад струею жаркой и обильной,
Женена раздраженного будя,
Жену он обмочил, и ветер сильный
Утихнул после мелкого дождя*.

– И еще у нас одна большая и досадная неприятность, – продолжал правитель. – Дело состоит в том, что некий великан по имени Бренгнарийль, проживающий на острове Тоху, ежегодно, по совету врачей, приезжает сюда весной на предмет принятия слабительного и глотает, как пилюли, бесчисленное множество ветряных мельниц, а равно и мехов, до коих он великий охотник, а для нас это чистое разоренье, и мы принуждены поститься раза три-четыре в год, впрочем, без особых бдений и богослужений.

– И вы не знаете, как эту беду избыть? – спросил Пантагрюэль.

– По совету наших эскулапов, – отвечал правитель, – мы, всякий раз как ему сюда нагрязнуть, стали было подкладывать в мельницы изрядное количество петухов и кур. В первый раз он чуть-чуть не сдох: они там у него распелись, разлетались внутри живота, и от этого у него

сделались сердечная слабость, боли в сердце и такие страшные, мучительные корчи, словно в желудок к нему заползла через рот змея.

– Сравнение неудачное и неуместное, – заметил брат Жан. – Я от кого-то слышал, что змея, проникшая к человеку в желудок, не доставляет ни малейшей неприятности и тот же час вылезает обратно, если только пострадавшего подвесить за ноги, а ко рту поднести чашку с горячим молоком.

– Вы знаете об этом только по слухам, как и те, кто вам рассказывал, – возразил Пантагрюэль. – Никто никогда не был тому свидетелем и нигде про то не читал. Впрочем, Гиппократ в книге пятой, *Epid.*, описывает подобный случай, имевший место в его время, но пострадавший все-таки умер от спазм и конвульсий.

– Потом мы стали разводить внутри мельниц целые огороды, – продолжал правитель, – и в пасть к нему повадились козлы, так что он опять едва на тот свет не убрался, но тут один шутник-кудесник посоветовал ему, чуть только начнутся боли, начать драть какого-нибудь козла, каковое средство является средством рвотным и служит противоядием. Впоследствии ему указали на более действительное средство, и он им воспользовался: это – клистир из хлебных и просяных зерен, на зерна же эти накинута курица, за ними уйма гусят, а на них напустились лисицы. Тогда великан принял пилюли, составленные из борзых и гончих собак. Не везет нам, да и только.

– Не бойтесь, добрые люди, – сказал Пантагрюэль. – Великан Бренгнарыйль, ветряных мельниц глотатель, скончался, можете мне поверить. И умер он от того, что подавился и задохся, когда, по предписанию врачей, ел кусок свежего масла у самого устья жарко пылавшей печки.

Глава XLV

О том, как Пантагрюэль высадился на Острове папефигов [\[812\]](#)

На другое утро глазам нашим представился Остров папефигов, некогда богатых и свободных, прозывавшихся весельчаками. Ныне же то были люди бедные, несчастные, и подчинялись они папоманам. Вот как это случилось.

Однажды во время ежегодного праздника жезлов весельчаковые бургомистры, синдики и тучные раввины отправились на ближний остров Папоманию погулять и поглядеть на праздник. Один из них, увидев портрет папы (там был похвальный обычай выставлять его в праздничные дни на всеобщее погляденье, прикрепив на сей предмет к двум жезлам), показал ему фигу, а в Папомании знак тот почитался за прямое глумление и надругательство. Несколько дней спустя папоманы, пылая мщением, взяли за оружие, без всякого предупреждения вторглись на Остров весельчаков, разграбили его и разорили дотла и вырезали всех бородатых мужчин. Женщин и юнцов они, однако, пощадили – на тех же примерно условиях, какие император Фридрих Барбаросса некогда предъявил миланцам. ^[813]

Во время отсутствия императора миланцы взбунтовались, выгнали из города его жену, императрицу, и для вящего ее посрамления посадили ее задом наперед на старого мула, носившего кличку Такор, то есть спиной к морде мула, а лицом к крупу. По возвращении Фридрих усмирил и подавил мятеж, а благодаря его настойчивости и знаменитый мул Такор был вскоре разыскан. Тогда по повелению императора на торговой площади палач на виду и на глазах у бунтовщиков прикрепил к непотребному месту Такора фиговый листок и от имени императора провозгласил, что тем, кто желает избежать смертной казни, надлежит на виду у всех оторвать фиговый листок зубами, а потом без помощи рук водворить его на прежнее место. Бude же кто от сего уклонится, тех без промедления вешать и удавливать. Иным подобное искупление вины казалось постыдным и позорным, чувство стыда брало у них верх над страхом смерти, и таких вешали. У других страх смерти возобладал над стыдом. Эти, не моргнув глазом, отрывали фиговый листок, показывали его палачу (так что все это видели) да еще приговаривали: «*Ecco lo fico*». ^[814]

Ценою подобного же бесчестья остатки злосчастных, измученных весельчаков были избавлены и спасены от смерти. Но зато они сделались рабами и данниками врагов своих, и было им присвоено прозвание *панефиги* — за то, что они показали фигу папскому портрету. С тех пор бедняги не знали покоя. Что ни год, у них свирепствовали град, буря, чума, голод и всякие иные страсти, словно на них отяготело вечное проклятие за грехи предков и родителей.

При виде этой нищеты и народного бедствия мы порешили в глубь острова не заходить. Мы зашли только в часовенку возле самой гавани – взять святой воды и помолиться Богу, часовенку полуразрушенную, безлюдную, над которой, как над храмом св. Петра в Риме, не было даже кровли^[815]. Войдя в часовню и приблизившись к купели со святой водой, мы обнаружили там накрытого епитрахилью человека; человек тот весь ушел под воду, как нырнувшая утка, один лишь кончик носа торчал на поверхности, чтобы можно было дышать. Вокруг него стояли три священника, гладко выбритые, с тонзурами, и по черной книге заклинали бесов.

Пантагрюэль пришел в изумление и спросил, чем это они тут забавляются, и ему ответили, что последние три года на острове свирепствовала страшная чума^[816], от которой население едва ли не наполовину вымерло и земли лежали впусе. Когда же чума перестала косить людей, этот самый человек, что лежал сейчас в купели, вышел однажды на широкое и плодоносное поле, вспахал его и стал засеивать полбой, и в тот же день и час некий чертенок, еще не умевший громыхать и выбивать градом всходы, разве одну петрушку да капусту, и вдобавок не знавший грамоте, вымолил у Люцифера позволение повеселиться и порезвиться на Острове папефигов, – должно заметить, что с местными жителями, как с мужчинами, так равно и с женщинами, черти находились в наитеснейшей дружбе и частенько у них гащивали.

Вот этот-то самый чертенок, придя на поле, обратился к пахарю и спросил, что он здесь делает. Бедняк отвечал, что он сеет полбу, чтобы было чем кормиться зимой.

– Да ведь поле-то не твое, а мое, – возразил чертенок, – оно принадлежит мне: в то самое время и тот самый час, когда вы показали папе фигу, всю вашу землю присудили и отдали нам и за нами ее закрепили. Впрочем, сеять пшеницу – это не мое дело. Поэтому я не отнимаю у тебя поле, с условием, однако ж, что урожай мы с тобой поделим.

– Ладно, – молвил пахарь.

– Мы разделим будущий урожай на две части, – сказал чертенок. – Одна часть – это то, что вырастет сверху, а другая – то, что под землей. Выбираю я, потому что я черт, потомок знатного и древнего рода, а ты

всего-навсего смерд. Я возьму себе все, что под землей, а ты – все, что сверху. Когда начинается жатва?

– В середине июля, – отвечал пахарь.

– Ну, вот тогда я и приду, – сказал чертенок. – Делай свое дело, смерд, трудись, трудись! А я пойду искушать знатных монашек из Сухопукской обители, а также лицемеров и братьев-чревоугодников веселым грехом любострастия. В том, что они сами этого хотят, я больше чем уверен. До скорого свиданья!

Глава XLVI

О том, как пахарь с Острова папефигов обманул чертенка

В середине июля черт вышел в поле с целой гурьбой чертенят-клирошан. Приблизившись к пахарю, он сказал:

– Ну, смерд, как поживаешь? Пора делиться.

– И то правда, – молвил пахарь.

И вот пахарь со своими батраками начал жать рожь. Тем временем чертенята вырывали из земли солому. Пахарь обмолотил зерно, провеял, ссыпал в мешки и понес на базар продавать. Чертенята проделали то же самое и, придя на базар, уселись со своей соломой возле пахаря. Пахарь продал хлеб весьма выгодно и доверху набил деньгами старый полусапожек, что висел у него за поясом. Черти ничего не продали, да еще вдобавок крестьяне на виду у всего базара подняли их на смех.

Когда базар кончился, черт сказал пахарю:

– Надул ты меня, смерд, ну да в другой раз не надуешь.

– Как же это я вас надул, господин черт? Ведь выбирали-то вы, – возразил пахарь. – Уж если на то пошло, так это вы хотели меня надуть: вы понадеялись, что на мою долю не взойдет ничего, а все, что я посеял, достанется вам, а вы, мол, потом станете вводить в соблазн своим богатством несчастных людей – святош да скряг, и кипеть им, дескать, в смоле. Но вы еще в этом деле неопытны. Зерно под землей гниет и умирает, но на этом перегное вырастает новое, которое я и продал на ваших глазах. Итак, вы выбрали худшее, – недаром говорится, что иной раз и черти ломают ноги.

– Ну, полно, полно, – сказал черт. – Скажи-ка лучше, чем ты засеешь наше поле на будущий год?

– Как хороший хозяин, я должен посадить здесь репу, – отвечал пахарь.

– Да ты неглупый смерд, как я погляжу, – сказал черт. – Посади же как можно больше репы, а я буду охранять ее от бурь и не выбью градом. Но только помни: что сверху – то мне, а что внизу – то тебе. Трудись, смерд, трудись! А я пойду искушать еретиков; души у них превкусные, ежели их поджарить на угольках. У господина Люцифера сейчас живот болит, ему как раз неплохо горяченького.

Когда настало время снимать урожай, черт с гурьбой чертенят из епископского совета уже тут как тут. Увидев пахаря и его батраков, он принялся срезать и собирать ботву. А пахарь после него выкапывал и вытаскивал огромную репу и клал в мешок. Затем они все вместе отправились на базар. Пахарь весьма выгодно продал репу. Черт не продал ничего. Да еще все открыто над ним потешались.

– Видно, опять ты надул меня, смерд, – сказал черт. – Я хочу, чтобы у нас с тобой все счета по этому полю были покончены. Условимся: давай царапать друг друга, и кто первый сдастся, тот свою часть поля теряет. Все поле отойдет к победителю. Встретимся мы с тобой через неделю. Погоди ж ты у меня, смерд, я тебя всего к чертовой бабушке расцарапаю! Я ходил искушать грабителей-ябедников, строчащих ложные доносы, нотариусов, стряпающих фальшивые документы, и недобросовестных адвокатов, но они передали мне через толмача, что они и так мои. Притом Люцифер брезгует их душами. Если только они незасолены, он обыкновенно отправляет их на кухню. На завтрак нет ничего лучше школяров, на обед – адвокатов, чтобы перекусить – виноградарей, на ужин – купцов, перед самым сном – горничных девушек и на все без исключения трапезы – черноризной нечисти. Правда, правда, в самом деле: господин Люцифер за каждой трапезой для возбуждения аппетита закусывает черноризною нечистью. Прежде он любил, чтобы на завтрак ему подавали школяра. Да вот беда: уже несколько лет, как они изучают Библию. По этой причине мы не в состоянии ни одного из них утащить в ад. Я так полагаю, что если нам не придут на помощь их пустосвяты-наставники и, накидываясь на них с бранью, применяя к ним насилие, жестоко обходясь с ними и угрожая им всем, чем угодно, вплоть до сожжения на костре, не станут вырывать у них из рук апостола Павла, то нам уж ими не поживиться. На обед Люциферу

обыкновенно подают адвокатов, криво толкующих законы и грабящих бедных людей, – в них он недостатка не терпит. Да только однообразная пища хоть кому надоест. Недавно он объявил во всеуслышание, что не прочь был бы полакомиться душою ханжи, который позабыл во время молитвы воззвать к милосердию Божию. Он даже пообещал двойную плату и хорошее жалованье тому, кто мигом предоставит ему такую душу. Мы все отправились на охоту. Возвращались же мы ни с чем и то и знай попу кивали. Насчет того, чтобы перекусить, Люцифер теперь не великий охотник, чему причиною резь в животе, которая у него началась после того, как в северных областях прасолы, маркитанты, угольщики и колбасники горько его обидели. Он с удовольствием ужинает ростовщиками, аптекарями, поддельвателями документов, фальшивомонетчиками, торговцами недоброкачественным товаром. Если же он вполпьяна, то перед сном лакомится горничными девушками, которые, выпив хозяйское вино, пополняют бочки вонючей жидкостью. Трудись, смерд, трудись! А я пойду уговаривать трапезундских школяров бросить отца с матерью, никаким правилам приличия не подчиняться, на королевские указы не обращать внимания, жить хоть и за стеной, да зато в полное свое удовольствие, всех презирать, над всеми насмеяться и, надев на себя хорошенький и веселенький капюшончик, в коем есть нечто наивное и вместе с тем возвышенное, стать наконец отменною черноризною нечистью.

Глава XLVII

О том, как старуха с Острова папефигов обманула чертенка

Печальный и озабоченный возвратился пахарь домой. Взглянув на него, жена решила, что его обворовали на базаре. Однако ж, узнав причину его уныния и удостоверившись, что мошна его набита деньгами, она постаралась его успокоить и внушить ему, что из этого царапания ничего дурного для него выйти не может. Только пусть, мол, положится и уложится на нее. Она уж, дескать, смекнула, как тут быть.

– Да ведь мне довольно одной царапины, – возразил пахарь, – с первого же раза я сдамся и уступлю ему все поле.

– Ничего, ничего, – молвила старуха, – ложись и уложись на меня, а уж действовать буду я. Ты мне сказал, что это не черт, а еще только чертенок: я устрою так, что он скоро запросит пощады, и поле останется за нами. Вот со взрослым чертом пришлось бы, пожалуй, повозиться.

Мы прибыли на остров как раз в день их условленной встречи. Рано поутру пахарь как следует поисповедался, причастился, как полагается доброму католику, и, по совету священника, нырнул с головою в купель, где мы его и застали.

В то время как нам рассказывали эту историю, пришло известие, что старуха обманула чертенка и поле досталось ей. Дело было так. Чертенок приблизился к дому пахаря, постучался и крикнул:

– Эй ты, смерд! А ну-ка, выпускай коготки!

Затем он с воинственным и решительным видом вошел в дом, но пахаря там не обнаружил, а заметил лишь, что на полу лежит плачущая и стонущая женщина.

– Что это значит? – спросил чертенок. – Где смерд? Что он делает?

– Ох! Вы спрашиваете, где этот злодей, душегуб, разбойник? – в свою очередь, спросила старуха. – Да ведь он меня всю разодрал, пропала я, не жилища я на этом свете.

– Что такое? Что вы говорите? – спросил чертенок. – Ну, он у меня запляшет!

– Ох! – простонала старуха. – Он мне сказал, душегуб, мучитель, царапальщик чертов, что уговорился нынче с вами царапаться, так вот, чтобы попробовать свои когти, он царапнул меня мизинцем между ног – и всю как есть разодрал. Пропала я, мне уж не выздороветь, вот увидите. А теперь он пошел к кузнецу вострить и точить когти. Пропали вы, господин черт, пропали, мой голубчик. Уносите ноги, пока не поздно! Бегите, я вас прошу!

Тут она заголилась до самого подбородка, как некогда персиянки, представшие в таком виде перед своими детьми, бежавшими с поля сражения, и показала ему причину. Увидев чудовищные разрывы тканей во всех направлениях, чертенок воскликнул:

– Магомет, Демиургон, Мегера, Алектон, Персефона! Он меня еще не поймал! Я даю стрекача. Да, да! А поле пусть ему остается.

Дослушав конец и развязку истории, мы удалились на наш корабль. И больше мы уже здесь не задерживались. Пантагрюэль

положил в церковную кружку восемнадцать тысяч золотых во внимание к народной нищете и к оскудению этого края.

Глава XLVIII

О том, как Пантагрюэль высадился на Острове папоманов

Покинув злосчастный Остров папефигов, мы уже целый день шли при тихой погоде и во всяком удовольствии, когда взору нашему явился благословенный Остров папоманов. Только-только бросили мы якоря, не успели мы привязать канаты, а уж к нам подъехали в челне четверо по-разному одетых людей: один из них, грязнее грязи, был одет, как монах, и притом в сапогах; другой – как сокольничий, в ловчей перчатке и с чучелом птицы в руке; третий – как ходатай по делам, с большим мешком, набитым справками, повестками, кляузами и отсрочками; четвертый – как орлеанский виноградарь, в прекрасных полотняных гетрах, с кошелкой и с ножом за поясом.

Приблизившись к нашему кораблю, они громко крикнули все вдруг:

– Путешественники! Видели вы его? Видели вы его?

– Кого? – осведомился Пантагрюэль.

– Его, – отвечали те.

– Да кто он таков? – спросил брат Жан. – Клянусь бычьей смертью, я его уложу на месте! (Он полагал, что речь идет о каком-нибудь разбойнике, убийце или же святотатце.)

– Как же вы, странники, не знаете единственного? – спросили те.

– Господа! – заговорил Эпистемон. – Мы не понимаем ваших условных обозначений. Сделайте одолжение, объясните нам, кого вы имеете в виду, и мы ничего от вас не утаим.

– Мы говорили о сущем, – молвили те. – Вы его когда-нибудь видели?

– Сущий – это Бог, согласно учению наших богословов, – сказал Пантагрюэль. – Именно этим словом определил Он Сам Себя в беседе с Моисеем. Разумеется, Его мы не видели, да Его и невозможно увидеть очами телесными.

– Мы говорим не о всевышнем Боге, который на небесах, – объявили те. – Мы говорим о боге, который на земле. Его вы когда-нибудь видели?

– Клянусь честью, они имеют в виду папу, – сказал Карпалим.

– Как же, как же, господа, еще бы, – заговорил Панург, – я видел целых трех, но проку мне от того не было никакого.

– То есть как трех? – воскликнули те. – В священных Декреталиях, которые мы распеваем, говорится, что живой папа может быть только один.

– Я хочу сказать, что видел их последовательно, одного за другим, а не то чтобы всех троих сразу, – пояснил Панург.

– О трижды, о четырежды блаженные люди! – воскликнули те. – Вы наши дорогие-предорогие гости.

С последним словом они опустились перед нами на колени и хотели было облобызать стопы наши, но мы до этого не допустили, сославшись на то, что если, мол, на их счастье папа явится к ним самолично, то более высоких знаков уважения они уже не смогут ему оказать.

– Окажем! – возразили те. – Его мы поцелуем в зад, без всякого листка, а заодно и в яички, а что яички у святого отца есть, об этом прямо говорится в дивных наших Декреталиях, иначе он не был бы папой. Хитроумная декреталийная философия неизбежно приходит к такому выводу: он – папа, следовательно, яички у него есть, а если бы яички перевелись на свете, тогда свет лишился бы и папы.

Пантагрюэль между тем спросил их гребца, кто эти четверо. Гребец ему ответил, что это представители четырех сословий, населяющих остров, и еще прибавил, что нас хорошо примут и хорошо с нами обойдутся, так как мы видели папу, а Пантагрюэль сообщил об этом Панургу, Панург же сказал ему на ухо:

– Свидетель Бог, все прекрасно! Кто терпеливо ждет, тому всегда бывает награда. До сих пор мне не было никакого проку от того, что я видел папу, а сейчас, черт побери, я вижу, что прок будет!

Тут мы ступили на сушу, а навстречу нам целой процессией вышло все население острова: мужчины, женщины, дети. Четыре сословных представителя громко крикнули им:

– Они его видели! Они его видели! Они его видели!

При этом возгласе все пали пред нами на колени, сложили руки и, воздев их горе, воскликнули:

– О счастливые люди! О безмерно счастливые люди!

И длились эти восклицания более четверти часа. Затем примчался начальник местной школы со всеми наставниками и со всеми своими школьниками, как старшими, так равно и младшими, коим он тут же закатил основательную порку, подобно тому как у нас секут детей, когда вешают какого-нибудь злодея, – секут для того, чтобы событие это запечатлелось у них в памяти. Пантагрюэль, однако же, разгневался и сказал:

– Господа! Перестаньте сечь детей, иначе я от вас уеду!

Зычный его голос поверг народ в изумление; я слышал, как маленький длиннорукий горбун обратился к начальнику школы:

– С нами святые Экстраваганты^[817]! Неужто все, кто видел папу, становятся такими же высокими, как тот, который нам сейчас угрожает? Ах, какая досада, что я до сих пор не видел папу, – я бы вырос и стал таким же большим, как наш гость!

Клики были столь громки, что примчался наконец сам Гоменац^[818] (так звали их епископа) на невзнузданном муле под зеленой попоной, а с ним его подвассальные (как их тут называют) и прислужники с крестами, стягами, хоругвями, покровами, факелами и кропильницами.

И вот этот самый епископ также во что бы то ни стало пожелал облобызать нам стопы, – ни дать ни взять ревностный христианин Вальфинье, возжелавший облобызать их папе Клименту, – и объявил нам, что у одного из их гипофетов, разгрызателей и толкователей священных Декреталий, так прямо и написано, что Мессию ожидали иудеи с давних пор и наконец Он все же пришел; так точно и папа когда-нибудь на их остров пожелует. В ожидании же сего блаженного дня всех тех, кто видел его в Риме или где-нибудь еще, им надлежит, мол, угощать на славу и принимать с честью.

И все же мы под благовидным предлогом не дали ему облобызать наши стопы.

Глава XLIX

О том, как Гоменац, епископ папоманский, показал нам снебанисшедшие Декреталии

Засим Гоменац нам сказал:

– Священные наши Декреталии повелевают и приказывают нам посещать прежде храмы, а потом уже кабачки. Итак, дабы не уклониться от этого установления, пойдёмте прямо в церковь, а оттуда – пировать.

– Так идите же, достопочтеннейший, вперед, а мы за вами, – молвил брат Жан. – Ваши прекрасные речи обличают в вас истинного христианина. Давно уже мы не были в церкви. Я возвеселился духом, – должно полагать, аппетит у меня станет от этого еще лучше. До чего же приятно встретить хорошего человека!

Приблизившись к двери храма, мы увидели громадную позолоченную книгу, сплошь усеянную редкостными драгоценными камнями: рубинами, изумрудами, брильянтами и жемчугами, еще более или, во всяком случае, такими же роскошными, как те, что Октавиан Август пожертвовал в храм Юпитера Капитолийского. И висела та книга в воздухе на двух толстых золотых цепях, прикрепленных к фризу портала. Мы ею залюбовались. Пантагрюэлю ничего не стоило коснуться ее, и он трогал ее и поворачивал как хотел. При этом он уверял нас, что от прикосновения к ней он ощущает легкий зуд в ногтях и легкость в руках вместе с неодолимым желанием прибить одного или даже двух служителей, только не тех, что с тонзурой.

Тут Гоменац обратился к нам с такими словами:

– Некогда Моисей принес иудеям закон, начертанный перстами Божьими. В Дельфах на фасаде Аполлонова храма было найдено изречение, начертанное некоей божественною силою: GNWQI SEAUTON^[819]. А по прошествии некоторого времени на том же самом месте было обнаружено еще слово EI^[820], также исшедшее с небес и божественною силою начертанное. Статуя Кибелы сошла с неба во Фригию, на поле, именуемое Песинунт. Так же точно, если верить Еврипиду, снизошла статуя Дианы в Тавриду. С небес была ниспослана доблестным и христианнейшим королям Франции орифламма на одоление неверных. В царствование Нумы Помпилия, второго римского царя, с неба спустился щит с острыми краями, названный Анцил. В афинский акрополь некогда упала с эмпирея статуя Минервы. Наконец, священные Декреталии, которые вы видите перед собой, начертаны рукою херувима. Вам, прибывшим сюда из-за моря, быть может, это покажется невероятным.

– Да, что-то плоховато верится, – признался Панург.

– А ведь они чудом ниспосланы нам из горнего мира, подобно реке Нилу, которую Гомер, отец всяческой философии, за исключением, разумеется, божественных Декреталий, потому и назвал *от Юпитера исходящей*. Но так как вы видели папу, провозвестника Декреталий и неусыпного их хранителя, то мы вам позволим на них посмотреть, а буде пожелаете, то и приложиться к ним. Того ради, однако ж, вам надлежит три дня перед этим поститься и, согласно установленным правилам, исповедаться, тщательно отшелушив и инвентаризовав ваши согрешения, дабы не обронить ни одного обстоятельства дела, как учат нас дивные словеса вот этих самых божественных Декреталий. А для этого нужно время.

– Достопочтеннейший! – обратился к нему Панург. – Декретиналии ваши, то есть, я хотел сказать, Декреталии, мы уже видели и на бумаге, и на пергаменте, и на велене, и писанные от руки, и отпечатанные. Показывать нам их – излишний труд. С нас довольно вашей готовности, чувствительно вам благодарны.

– Да, но вот таких, начертанных самим ангелом, вам, ей-же-ей, никогда еще не приходилось видеть, – возразил Гоменац. – Те, что находятся у вас в стране, просто списаны с наших, об этом прямо говорит один из наших древних декреталийных толкователей. Коротко говоря, для вас я рад потрудиться. Вы только скажите, согласны ли вы поститься всего каких-нибудь три Божьих денечка и согласны ли вы на исповедь.

– Дев-испортить – это пожалуйста, с нашим удовольствием, – подхватил Панург. – А вот пост не ко двору нам сейчас: мы уж на море постились и перепостились, до того что пауки заткали нам зубы паутиной. Посмотрите на нашего славного брата Жана Зубодробителя (при этих словах Гоменац нежно облобызал его): у него мох во рту вырос, оттого что он не двигает и не шевелит ни губами, ни челюстями.

– То правда, – подтвердил брат Жан. – Я до того испостился, что меня всего скрючило.

– Ну так пойдемте в храм, – молвил Гоменац. – Вы уж нас извините за то, что мы сейчас не отслужим вам божественной литургии. Полдень уже миновал, а священные Декреталии

воспринимают нас служить после полудня: я имею в виду мессу с пением и с причастием. Я могу вам отслужить короткую и сухую.

– Я бы предпочел смоченную добрым анжуйским вином, – ввернул Панург. – Ну, помахивайте, помахивайте!

– А, чтоб тебе ни дна ни крыши! – воскликнул брат Жан. – Как это досадно, что у меня в животе сейчас пусто! Если бы я, по монашескому обычаю, успел хорошенько позавтракать и подвыпить, то, затяни он *Requiem*, у меня нашлись бы и хлеб, и вино для погребения усохших, то бишь усопших. Валяйте, махайте, пихайте, но только я вас прошу: отбарабаньте вы мессу поскорее, а то как бы меня с голодухи не вырвало или еще того хуже.

Глава L

О том, как Гоменац показал нам прообраз папы

По окончании мессы Гоменац, вынув из ларца возле главного алтаря большую связку ключей, отомкнул тридцать два засова и четырнадцать замков, на которые было заперто зарешеченное окно над помянутым алтарем; засим он с весьма таинственным видом накрылся мокрым мешком и, раздвинув пурпуровую атласную завесу и показав нам некое изображение, на мой взгляд, довольно плохое, дотронулся до него длинным жезлом, а потом дал нам всем приложиться к кончику этого жезла.

– Как по-вашему, чье это изображение? – спросил он.

– По-видимому, это папа, – отвечал Пантагрюэль. – Я узнал его по тиаре, по омофору, мантии и туфлям.

– Ваша правда, – молвил Гоменац. – Это идея того всеблагого Бога, который на земле и которого мы с трепетом ждем к себе. О счастливый, чаемый и долгожданный день! А вы, блаженные и преблаженные! Светила небесные были к вам так благосклонны, что вы удостоились воистину и вправду лицезреть этого всемилостивейшего земного Бога, одно изображение коего уже дарует нам полное отпущение всех памятных нам грехов вместе с одной третью и восемнадцатью сороковыми грехов позабытых! Вот почему мы осмеливаемся взирать на него только по большим праздникам.

Пантагрюэль заметил, что это изображение напоминает работы Дедала. Пусть даже это, мол, подделка, да еще топорная, а все же в ней

сокровенно и незримо должна присутствовать некая божественная сила, отпускающая грехи.

– Это как все равно у нас в Сейи, – подхватил брат Жан. – Сидели как-то за праздничным ужином в больнице разные побирušки и давай похваляться: один – тем, что выклянчил нынче шесть бланков, другой – два су, третий – семь каролусов, а какой-то толстый попрошайка будто бы набрал целых три тестона^[821]. «Стало быть, у тебя *Божья нога*», — сказали ему товарищи. Должно думать, они были уверены, что в его изъеденной коростой, гниющей ноге таится некое божество.

– Прежде чем угощать такими рассказами, потрудитесь в следующий раз подставить мне тазик, – молвил Пантагрюэль. – Меня чуть-чуть не стошнило. Как вы можете, говоря о таких отвратительных, мерзких вещах, произносить священное имя Господне? Фу, фу, как вам не стыдно! Там у себя, за монастырской стеной, вы, монахи, привыкли празднословить, но уж здесь вы это оставьте.

– Но ведь и врачи не отрицают, что божественная сила до известной степени причастна к некоторым заболеваниям, – возразил Эпистемон. – Так же точно Нерон хвалил грибы и называл их вслед за греками «пищей богов», потому что ими он отравил своего предшественника, римского императора Клавдия.

– По мне, – заговорил Панург, – это ваше изображение не имеет ничего общего с последними нашими папами, – я их видел без омофора, но зато в шлеме и в персидской тиаре, и меж тем как во всем христианском мире царили тогда тишина и спокойствие, они одни вели вероломную и ожесточенную войну.

– Но ведь они же воевали с бунтовщиками, еретиками, непокорными протестантами, не желавшими подчиняться святейшему владыке – всеблагому Богу, который на земле, – возразил Гоменац. – Такую войну священные Декреталии не только дозволяют и одобряют – они вменяют ее папе в обязанность, ему надлежит нимало не медля предавать огню и мечу императоров, королей, герцогов, князей и целые государства, буде они хотя на йоту уклонятся от его повелений; ему надлежит отбирать у них все достояние, отнимать королевства, отправлять их в изгнание, анафематствовать и не только умерщвлять их тела, а равно и тела их чад и домочадцев, но и души их ввергать в самое адово пекло.

– Да, черт побери! – воскликнул Панург. – У вас тут не сыщешь еретиков вроде Котанмордана или же тех, что водятся среди немцев и англичан! Вы все христиане отборные.

– Вот, вот, – подтвердил Гоменац, – а потому все мы будем спасены. Теперь пойдем за святой водой, засим попрошу вас у меня откушать.

Глава LI

Дружеская застольная беседа, коей предмет – восхваление Декреталий

Обратите внимание, кутилы, что пока Гоменац служил сухую мессу, три звонаря, держа в руках вместительные тарелки, обходили молящихся и громогласно зывали к ним:

– Пожертвуйте на счастливых, его лицезревших!

Когда же Гоменац выходил из храма, они поднесли ему эти тарелки, доверху наполненные папоманской монетой. Гоменац нам объяснил, что это пойдет на кутеж и что одна часть этой подати и побора будет истрачена на обильное возлияние, а другая – на сытную закуску, как того требует некая чудесная глосса, запрятанная где-то в священных Декреталиях.

И точно: пиршество состоялось, да еще в прелестном кабачке, напоминавшем Гийотов кабачок в Амьене^[822]. Яства были обильны и пития многочисленны, уверяю вас. Во время этого обеда мне врезались в память два любопытных обстоятельства: какое бы мясное блюдо ни подавалось, будь то козули, каплуны, свинина (а в Папомании разводят пропасть свиней), голуби, кролики, зайцы, индюки или же еще что-либо, – все было начинено изрядным количеством отменного фарша; и первая и вторая перемена блюд подавались девицами на выданье, местными уроженками, красотками (уж вы мне поверьте!), милашками, очаровательными куколками со светлыми букольками, в длинных легких белых туниках, дважды перетянутых поясом, с ленточками, шелковыми лиловыми бантиками, розами, гвоздикой, майораном, укропом, апельсинным цветом и другими душистыми цветами в ничем не прикрытых волосах, и при каждом своем появлении они с учтивыми и грациозными поклонами обносили гостей

вином, гости же любовались ими. Брат Жан поглядывал на них искоса, как пес, несущий во рту крылышко. Когда с первым блюдом было покончено, девушки стройно пропели эпод во славу пресвятых Декреталий.

Когда же внесли вторую перемену, Гоменац, пришедший в веселое и игривое расположение духа, обратился к одному из виночерпиев с такими словами:

– Служка, послужи!

При этих словах одна из девиц с великим проворством поднесла ему полный кубок экстравагантического вина.

Гоменац принял кубок из ее рук и, глубоко вздохнув, сказал Пантагрюэлю:

– Государь, а равно и вы, любезные друзья мои! Я пью за вас от всей души. Вы – мои дорогие-предорогие гости.

Тут он осушил кубок и, отдав его девице-чаровнице, возгремел:

– О божественные Декреталии! Сколь усладили вы сладкое сие вино!

– Да, винцо – ничего себе, – согласился Панург.

– Я бы предпочел, чтобы они из невкусного вина делали вкусное, – объявил Пантагрюэль.

– О серафическая Книга шестая, столь необходимая для спасения несчастных людей! – продолжал Гоменац. – О херувимические Климентины^[823]! Как полно в вас содержится и как точно описывается идеал истинного христианина! О ангелические Экстраваганты! Без вас погибли бы несчастные души, блуждающие здесь, в сей юдоли скорби, будучи заключены в тела смертные! Увы, когда же наконец ниспослана будет людям та особенная благодать, которая внушит им бросить все дела и занятия, дабы читать вас, постигать вас, познавать вас, применять вас, претворять в жизнь вас, всасывать, впитывать и вводить вас в самые глубокие желудочки головного мозга, в мозг костей, в запутанный лабиринт кровеносных сосудов! О, лишь тогда, но ни в коем случае не раньше и не иначе, жизнь на земле станет счастливой!

При этих словах Эпистемон встал из-за стола и так прямо и брякнул Панургу:

– За неимением стульчака придется выйти! От этого фарша у меня прямую кишку так распирает, что сил никаких нет.

– О, тогда, – продолжал Гоменац, – не будет больше града, мороза, изморози, бури! О, тогда наступит изобилие всех благ земных! О, тогда во всей вселенной воцарится постоянный, нерушимый мир: прекратятся войны, грабежи, лихоимство, разбой, убийства, – убивать можно будет только еретиков да окаянных смутьянов! О, тогда для всего человеческого рода воцарятся ликование, отрада, услада, нега, забавы, утехи, блаженство! О великое вероучение, неоцененная наука, божественные наставления, увековеченные в дивных разделах бессмертных сих Декреталий! О, кто из нас, читая хотя бы полканона, коротенький параграф или же одно-единственное поучение пресвятых Декреталий, не ощущал в себе, если только он не еретик, возжженного светильника божественной любви и сострадания к ближнему, неодолимого отвращения к тщете мирской, восторга души, восхищенной даже до третьего неба, и полного удовлетворения всех своих желаний!

Глава LII

Продолжение беседы о чудесах, сотворенных Декреталиями

– Вот это, я понимаю, златоуст, – заметил Панург, – да только я всему этому ни на волос не верю, потому как случилось мне однажды в Пуатье у шотландского ученого-декреталиевода^[824] прочитать один разделчик, и от этого чтения меня, черт побери, так заперло, что я потом дня четыре, а то и пять, ходил на двор совсем мало и притом очень круто. Знаете как? Клянусь вам, так же, как по словам Катутла, испражнялся его сосед Фурий:

В год десять раз ты какаешь – не чаще,
И кал твой тверд, как камень настоящий,
И ты, пытаясь сжать его перстами,
Их не измажешь желтыми следами*.

– Ха-ха! – рассмеялся Гоменац. – Клянусь Иоанном Предтечей, на душе у вас, друг мой, уж верно, был какой-нибудь смертный грех.

– Это тут ни при чем, – заметил Панург.

– Как-то раз, – заговорил брат Жан, – в бытность мою в Сейи угораздило меня подтереться листочком из этих паршивых Климентин, а надобно вам знать, что Жан Гимар, наш сборщик, выбросил их на монастырский двор, – так вот, пусть меня черт возьмет, если у меня потом не открылся почечуй с такими страшными кровотечениями, что бедный мой сад увял и заглох.

– Клянусь Иоанном Предтечей, – молвил Гоменац, – это вас, вне всякого сомнения, Господь наказал за то, что вы осквернили священные эти книги, а между тем вам надлежит лобызать их и чтить как самого Бога или уж, во всяком случае, как наиболее чтимых святых. Панормита уж никогда не солживит.

– Жан Шуар из Монпелье, – заговорил Понократ, – купил у монахов святого Олария несколько чудных Декреталий, написанных на превосходном, большого размера, ламбальском пергаменте, и начал делать из них велень для плющенья золота. И что ж бы вы думали: все листы получились с изъяном – драные да рваные.

– Кара, наказание Божие, – заметил Гоменац.

– Манский аптекарь Франсуа Корню наделал из смятых Экстравагант пакетов, – заговорил Эвдемон, – и пусть я перестану верить в черта, если все, что он туда положил, в тот же миг не загнило, не испортилось и не превратилось в отраву: ладан, перец, гвоздика, корица, шафран, воск, пряности, кассия, ревень, тамаринд, – словом сказать, дроги, гоги и сеноги.

– Возмездие, наказание Господне, – заметил Гоменац. – Употреблять священные письма на дела мирские!..

– Парижский портной Гронье употребил старые Климентины на мерки да на выкройки, – заговорил Карпалим. – Удивительное дело: все платье, сшитое по этим выкройкам, образчикам и меркам, никуда не годилось: мантии, плащи, епанчи, кафтаны, юбки, казакины, колеты, камзолы, балахоны, платье для верховой езды, фижмы. Гронье думает, что кроит плащ, – ан выходит гульффик. Вместо кафтана у него получается широкополая шляпа. Кроит казакин, а выходит омофор. По образчику камзола выкраивает нечто вроде балдахина. По той же выкройке взялись шить его подмастерья, спину разрезали – и получилось нечто похожее на сковороду для жаренья каштанов. Примется за колет – выходит сапог. По образчику фижм выкраивает капюшон. Думает, что шьет епанчу, а выходит у него швейцарский

тамбурин. В конце концов суд заставил беднягу уплатить всем заказчикам за испорченную материю, и теперь у него хоть шаром покати.

– Кара, воздаяние Божие, – заметил Гоменац.

– В Каюзаке сеньоры д’Этисак и виконт де Лозен вздумали пускать в цель стрелы, – заговорил Гимнаст. – Пероту разрезал полтома Декреталий, написанных на отличной бумаге для богослужебных книг, и наделал из них белых кругов для мишени. И что ж? Я отдам, я продам, я отдам свою душу всем чертям, если хоть кто-нибудь из тамошних арбалетчиков попал когда в эту цель, а ведь лучше их во всей Гиенни не сыщешь. Что ни стрела, то мимо. Пресвятая мишень так и осталась нетронутой, девственной и неповрежденной. А Сансорнен-старший, которому были отданы на хранение заклады, клялся нам потом *золотыми фигами* (самой страшной своей клятвой), что он ясно, явственно, отчетливо видел, как стрела Каркелена летела прямо в черную точку посреди белого круга и вдруг, чуть-чуть не достигнув ее и не вонзившись, отклонилась на целую туазу в сторону, к пекарне.

– Чудо, чудо, чудо! – вскричал Гоменац. – Служка, послужи! Пью за всех присутствующих. Я почитаю вас за истинных христиан.

При этих словах девицы фыркнули. Брат Жан чмыхнул носом, как бы намереваясь не то заржать, не то залезть на кобылу.

– Мне сдается, – сказал Пантагрюэль, – что стрелять в такую цель еще безопаснее, нежели в Диогена.

– Что такое? – спросил Гоменац. – Разве Диоген был декреталистом?

– Ну, это еще бабушка надвое сказала, – ввернул Эпистемон, который, как раз к этому времени, сделав свои дела, возвратился.

– Однажды, – продолжал Пантагрюэль, – Диоген вздумал развлечься и пошел посмотреть на лучников, стрелявших в цель. Один из них был крайне незадачлив, неумел и неловок, и, едва лишь подходила его очередь, зрители, боясь, как бы он не попал в них, разбегались кто куда. На глазах у Диогена лучник до того неточно прицелился, что стрела его отклонилась от мишени на целый трабют; перед тем же, как лучнику пустить вторую стрелу, Диоген, невзирая на то, что весь народ бросился врассыпную, подбежал и стал как раз возле мишени, ибо, по его словам, то было самое надежное место:

лучник, мол, попадает куда угодно, только не в цель, – ей одной не грозят его стрелы.

– Паж сеньора д’Этисака по имени Шамуйак смекнул, что тут не без наваждения, – продолжал Гимнаст. – Он посоветовал Пероту изготовить новую мишень и употребить на то бумаги из дела Пуйака. После этого соревнователи стали отлично попадать в цель.

– В Ландерусе по случаю свадьбы Жана Делифа, как того требует местный обычай, был устроен знатный и роскошный пир, – заговорил Ризотом. – После ужина играны были фарсы, комедии и разные занятные пустячки, танцевали мавританские танцы с бубнами и колокольчиками, явились ряженые в масках и шутовских нарядах. Я и мои школьные товарищи решили, что и мы должны, как сумеем, почтить новобрачных: того ради мы еще с утра запаслись белыми и лиловыми ливреями, а к самой свадьбе смастерили себе потешные бороды со множеством раковин святого Михаила и скорлупок от улиток. За неимением лапушника, репейника, лопуха и бумаги мы сделали себе личины с небольшими прорезами для глаз, носа и рта из старой, ненужной Книги шестой. И что за диво: как скоро окончились наши забавы и невинные шалости и мы сняли личины, в тот же миг обнаружилось, что мы страшнее и уродливее бесенят из Дуэйских Страстей Господних, – до того обезображены были наши лица в тех местах, где к ним прикасались листки Декреталий. У кого – оспины, у кого – короста, у кого – язвы, у кого – краснуха, у кого – огромные чирьи. Словом сказать, наименее из всех нас пострадавшим почитался тот, у кого выпали зубы.

– Чудо! Чудо! – вскричал Гоменац.

– Это еще что! – продолжал Ризотом. – Мои сестры, Катрин и Рене, положили в эту самую распрекрасную Книгу шестую, как под пресс, ибо она была покрыта толстыми планками и подбита основательными гвоздями, только что выстиранные, тщательно выбеленные и накрахмаленные чепчики, манжеты и воротнички. И вот клянусь Богом...

– Погодите, – прервал его Гоменац. – Какого бога вы имеете в виду?

– Бог один, – отвечал Ризотом.

– Так это на небесах, – сказал Гоменац. – А разве нет у нас бога на земле?

– А, пропади ты пропадом, о нем-то я, сказать по совести, и не подумал! – признался Ризотом. – Итак, клянусь богом земноводным – папой, их чепчики, воротнички, нагрудники, повязки и все белье стало чернее мешка из-под угля.

– Чудо! – вскричал Гоменац. – Служка, послужи, да запомни все эти прелестные историйки!

– Как это поется? – молвил брат Жан. —

С тех пор как сводом Декреталий
Дополнен был Декрет и стали
Монахи разъезжать верхом,
Мир преисполнен всяким злом*.

– Понимаю! – сказал Гоменац. – Это все непристойные шуточки новоявленных еретиков.

Глава LIII

О том, каким хитроумным способом Декреталии перекачивают золото из Франции в Рим

– Я бы охотно выставил целый горшок потрохов, – объявил Эпистемон, – только за то, чтобы прочитать в оригинале такие сногшибательные главы, как *Execrabilis, De multa, Si plures, De annatis per totum, Nisi essent, Cum ad monasterium, Quod dilectio, Mandatum*^[825] и некоторые другие, ежегодно перекачивающие из Франции в Рим четыреста тысяч дукатов, если не больше.

– Порядочно, – заметил Гоменац, – однако ж, приняв в соображение, что христианнейшая Франция является единственной кормилицей римской курии, я бы даже сказал, что этого еще мало. Со всем тем можете вы мне указать какую-нибудь книгу по философии, медицине, юриспруденции, математике, из области наук гуманитарных, наконец, прости Господи, какую-нибудь священную книгу, которая выкачивала бы столько же? Нет. И толковать нечего. Нигде вы не найдете такой золотоносной силы! А эти чертовы еретики не желают изучать и постигать Декреталии! Сжигайте же, щипцами ущемляйте, на куски разрезайте, топите, давите, на кол сажайте, кости

ломайте, четвертуйте, колесуйте, кишки выпускайте, распинайте, расчлняйте, кромсайте, жарьте, парьте, варите, кипятите, на дыбу вздымайте, печенку отбивайте, испепеляйте мерзопакостных этих еретиков, декреталиененавистников, декреталиеубийц, ибо они еще хуже человекоубийц, хуже отцеубийц, чертовы эти декреталиктоны!

Если вы, добрые люди, желаете почитаться и слыть истинными христианами, то я убедительнейше вас прошу ни о чем другом не думать и не толковать, ничего не делать и не предпринимать, кроме того, чему нас учат священные Декреталии и их королларии, а именно чудесная Книга шестая, чудесные Климентины и чудесные Экстраваганты! О божественные книги! Тогда, добрые люди, вы сподобитесь здесь, на земле, славы, почестей, возвеличения, богатства, высоких степеней и преимуществ. Все станут благоговеть перед вами, каждый станет трепетать перед вами, вас от всех отличать, выделять вас и всем предпочитать, ибо во всей подсолнечной не сыщете вы среди людей любого другого звания таких мастеров на все руки, как те, что по произволению и предопределению предвечного Бога посвятили себя изучению священных Декреталий.

Вам нужен доблестный император, славный военачальник, достойный глава и вождь армии, который в военное время умеет все препоны устранять, всех опасностей избегать, весело водить своих людей на приступ и в бой, ничем не рисковать, всегда без потерь побеждать и плоды побед пожинать? Так возьмите же декретиста... нет, нет, я не то сказал, – декреталиста.

– Ничего себе оговорка! – вставил Эпистемон.

– Вам нужен человек, пригодный и подходящий для того, чтобы в мирное время управлять республикой, королевством, империей или же монархией, дабы и церковь, и знать, и сенат, и народ пребывали в довольстве, дружбе, согласии, повиновении, добронравии и благочинии? Так возьмите же декреталиста.

Вам нужен человек, который примерно своею жизнью, красноречием, благочестивыми увещаниями в короткий срок, без кровопролития, сумел бы отвоевать Святую землю и обратить в святую веру безбожных турок, евреев, татар, московитов, мамелюков и саррабовитов^[826]? Так возьмите же декреталиста.

Отчего во многих странах народ непокорен и разнуздан, слуги обжираются и бездельничают, а школяры – лоботрясы и сущие ослы?

Оттого что их правители, дворецкие и наставники не были декреталистами.

А кто – скажите положа руку на сердце – учредил, укрепил и утвердил в правах славные монашеские ордены, коими христианский мир повсюду изукрашен, разубран и осиян, словно ясными звездами небесный свод? Божественные Декреталии.

Кто установил начала, заложил основы и воздвигнул устои жизни в обителях, монастырях и аббатствах и кто ныне поддерживает, кормит и питает иноков честных, их же неустанными денными и ночными молениями мир избавлен от грозившей ему опасности быть вновь погруженным в довременный хаос? Священные Декреталии.

Кто в изобилии производит и день ото дня приумножает все земные блага, предназначенные как для тела, так равно и для души, во всехвальной и достославной вотчине, апостолом Петром учрежденной? Святые Декреталии.

Кто наделил священный апостолический папский престол такую грозною силою, что во всей вселенной от века и до наших дней все короли, императоры, самодержцы и государи, хотят они или не хотят, зависят от него, им одним держатся, им коронуются, на него опираются, им облакаются властью и единственно для того, чтобы простереться ниц и чмокнуть чудодейственную туфлю, коей изображение вы только что созерцали, прибывают в Рим? Благодатные Декреталии Божьи.

Я намерен открыть вам великую тайну. На гербах и девизах ваших университетов обыкновенно изображается книга, иногда открытая, а иногда и закрытая. Как вы полагаете, что это за книга?

– Понятия не имею, – отвечал Пантагрюэль. – Я никогда ее не читал.

– Это Декреталии, без коих погибли бы все университетские привилегии, – пояснил Гоменац. – Сами-то вы нипочем бы не догадались! Ха-ха-ха-ха!

Тут Гоменац начал рыгать, ржать, плевать, потеть, п...ть, а затем протянул свою высокую засаленную шапочку с четырьмя гульфиками одной из девиц, и та, нежно поцеловав ее и возвеселившись духом, надела на прелестную свою головку – в знак и в залог того, что ее отдадут замуж прежде других.

– Виват! – вскричал Эпистемон. – Виват, фифат, пипат, бибат! Вот уж подлинно апокалиптическая тайна!

– Служка, служка! – возопил Гоменац. – А ну-ка послужи нам не в службу, а в дружбу. Девушки, подавайте десерт! Итак, повторяю: всецело посвятив себя изучению священных Декреталий, вы еще на этом свете удостоитесь почестей и богатств. К сказанному я должен прибавить, что на том свете вам уготовано спасение в блаженном небесном царстве, ключи от коего вверены декреталиарху, этому благому нашему Богу. О всеблагий Боже, ты, коему я поклоняюсь, ты, коего мне не довелось еще видеть! Яви нам особую милость и хотя бы в смертный наш час открой нам драгоценные сии сокровища святой нашей матери-церкви, коих ты еси блюститель, хранитель, смотритель, распорядитель и распределитель! И пусть по твоему повелению у нас всегда будут в изобилии сладчайшие сии плоды богомыслия, чудные сии индульгенции, дабы не за что было ухватить бесам несчастные наши души и дабы грозный зев преисподней не поглотил нас. Если же чистилища нам не миновать – пусть будет так! Однако ж в твоей власти и в твоей воле выручить нас, когда тебе только заблагорассудится.

Тут Гоменац, бия себя в грудь и целуя сложенные крестом большие пальцы рук, горькими слезами заплакал.

Глава LIV

О том, как Гоменац подарил Пантагрюэлю груши доброго христианина

Эпистемон, брат Жан и Панург, наблюдавшие трогательную эту развязку, неожиданно прикрылись салфетками и закричали: «Мяу, мяу, мяу!» – делая в то же время вид, что плачут и утирают слезы. Девушки, будучи хорошо вышколены, нимало не медля подали всем кубки с климентинским вином и к нему разных сортов варенье. Веселый пир возобновился.

В конце трапезы Гоменац оделил нас множеством крупных, отборных груш.

– Вот вам, друзья, – сказал он. – Это груши особенные^[827], таких вы нигде больше не найдете. Ни одна земля всего вам не уродит.

Черное дерево растет только в Индии. Из страны Сабее привозят хороший ладан. С острова Лемноса – аптечную глину. Только на нашем острове произрастают отменные эти груши. Если хотите, разведите их у себя.

– Как они у вас называются? – осведомился Пантагрюэль. – По-моему, это превкусные груши и очень сочные. Если их разрезать на четыре части, положить в кастрюлю, подбавить туда немножко сахару и вина и все это вместе сварить, то, уж верно, получится кушанье, очень полезное как для хворых, так равно и для здоровых.

– Еще бы! – подтвердил Гоменац. – Мы, слава тебе, Господи, люди простые: фиги зовем фигами, сливы – сливами, а груши – грушами.

– Честное слово, – сказал Пантагрюэль, – когда я возвращусь домой, – а это, Бог даст, будет скоро, – то непременно посажу и привью эти груши в моем туреньском саду на берегу Луары, и будут они называться *грушами доброго христианина*, ибо лучших христиан, чем эти добрые папоманы, мне еще никогда не приходилось видеть.

– По-моему, – сказал брат Жан, – не мешало бы ему еще подарить нам возика два-три своих девиц.

– Для чего? – осведомился Гоменац.

– Для того чтобы хорошо наточенными кинжалами пустить им кровь между большими пальцами на ногах, – отвечал брат Жан. – Приплод же, который они нам дадут, – это все будут добрые христиане, так что и у нас эта порода размножится, а то ведь наши христиане не больно хороши.

– Нет уж, мы вам их не дадим, ей-ей, не дадим, – сказал Гоменац, – я знаю, вы хотите, чтобы парни ими натешились, – я бы сейчас обо всем догадался по вашему носу, даже если бы никогда прежде вас не видел. Ай, ай-ай, вот так чадушко! Вы что же, душу свою погубить хотите? В наших Декреталиях насчет этого строго. Вы бы лучше почитали их повнимательнее.

– Как вам угодно, – заметил брат Жан, – но только *si tu non vis dare, praesta quaesumus*^[828]. Так по крайности сказано в служебнике. Стало быть, мне ни один мужчина не страшен, будь то сам кристаллический, то бишь декреталический ученый муж в своей треугольной шапочке.

Отобедав, мы простились с Гоменацем и со всем тамошним гостеприимным народом, изъявили им глубокую свою

признательность и пообещали в благодарность за чрезвычайное их радушие упросить, когда будем в Риме, святейшего владыку незамедлительно посетить их. Засим мы возвратились на корабль. Пантагрюэль, по обычной своей щедрости и желая отблагодарить Гоменаца за то, что он показал нам священное изображение папы, подарил ему девять кусков золотой фризовой парчи – на завесу для наделтарного окна и велел наполнить двойными экю с изображением башмака кружку для сбора лепты на обновление и нужды храма, девицам же, прислуживавшим за столом во время обеда, он велел выдать по девятьсот четырнадцать золотых монет с изображением Благовещенья – в знак того, что их всех пора выдать замуж.

Глава LV

О том, как Пантагрюэль в открытом море услышал разные оттаявшие слова [\[829\]](#)

В открытом море мы лопали да хлопали, калякали да клюкали, как вдруг Пантагрюэль встал из-за стола и огляделся по сторонам. Немного погодя он сказал нам:

– Слышите, друзья? Мне кажется, я слышу, как несколько человек разговаривают, а между тем никого не вижу. Прислушайтесь.

При этих его словах мы напрягли внимание и стали жадно, подобно тому как высасывают аппетитных устриц из раковин, всасывать ушами воздух, не раздастся ли чей-либо голос или же какой-нибудь звук, а чтобы ничего не пропустить, некоторые из нас, в подражание императору Антонину, даже приставили к ушам ладони. Со всем тем мы объявили, что никаких голосов не слышать.

Пантагрюэль продолжал настаивать, что до него доносится несколько голосов – и мужских и женских; в конце концов и нам почудилось, что мы также их слышим, если только это не звон в ушах. Чем сильнее напрягали мы слух, тем явственнее различали отдельные голоса и даже целые слова, и тут на нас напал необоримый страх, да и было отчего: видеть никого не видим, а слышим разные звуки и голоса, и мужские, и женские, и детские, и конское ржание, так что Панург наконец не вытерпел и крикнул:

– Черт подери, да что ж это за издевательство! Мы пропали. Бежим! Мы в ловушке! Брат Жан, друг мой, ты здесь? Будь добр, стань ко мне поближе! Меч твой с тобой? Гляди, как бы он не застрял в ножнах. Ты его только наполовину отчистил. Мы пропали. Послушайте, ей-богу, это палят из пушек. Бежим! Но только не на четвереньках, как предлагал Брут во время битвы при Фарсале^[830], я предлагаю – на парусах и на веслах. Бежим! На море мужество меня оставляет. Вот в погребке и прочих местах у меня его более чем достаточно. Бежим! Спасайся! Это во мне не страх говорит, – ведь я же ничего не боюсь, кроме напастей. Я всегда это утверждал. И то же самое утверждал вольный стрелок из Баньоле. Не будем все же особенно упорствовать, а то как бы в воду не ухнуть. Бежим! Эй, покажи им пятки! Да поверни же руль, сукин ты сын! Эх, кабы дал мне Бог очутиться сейчас в Кенкене, – я бы и жениться тогда не стал! Бежим, нам с ними все равно не справиться! Десять против одного, уверяю вас. К тому же они здесь у себя дома, а мы люди пришлые. Они нас всех перебьют. Бежим, в этом нет никакого стыда! Демосфен сказал, что бегущий вновь вступит в бой. Во всяком случае, удалимся. На бакборт, на штирборт, к фок-мачте, к булиям! Мы погибли. Бежим, черт бы вас всех побрал, бежим!

Услышав вопли Панурга, Пантагрюэль сказал:

– Какой это там беглец выискался? Прежде посмотрим, что за люди. А вдруг они наши? Я пока еще никого не видел, а вижу я на сто миль в окружности. Послушайте, что я вам скажу. Я читал, что философ Петроний^[831] держался того мнения, будто существует несколько миров, которые образуют равносторонний треугольник, центр коего, как он уверял, представляет собой обиталище Истины, и там сосредоточены слова, идеи, образы и прообразы всего, что было и будет, а вокруг них – наш мир. И вот в иные годы через долгие промежутки времени часть их падает на людей, как простуда, или же как пала роса на руно Гедеоново, а остальное дожидается будущего – и так до скончания века.

Еще я припоминаю: Аристотель считал, что слова Гомера летучи, бегучи, текучи и, следовательно, одушевлены.

Мало того: Антифан уподобил учение Платона словам, которые были где-то произнесены лютой зимой, тут же застыли и замерзли на

ходу, и так их никто и не услышал. В самом деле: то, чему Платон обучал малых детей, вряд ли постигали они даже в преклонных летах.

Так вот не мешало бы нам поразмыслить и разузнать, не здесь ли именно такие слова оттаивают. Мы, верно уж, были бы поражены, когда бы сыскали здесь голову и лиру Орфея, а между тем фракиянки, изрубив Орфея в куски, бросили голову его и лиру в реку Гебр, река же унесла их в море к самому острову Лесбосу, и так они все время вместе и плыли; при этом голова непрерывно пела унылую песнь, как бы плач по Орфею, струны же лиры, веющими ветрами колеблемые, звучали созвучно пенью. Поищем, нет ли их здесь.

Глава LVI

О том, как Пантагрюэль среди замерзших слов открыл непристойности

Лоцман ему на это ответил так:

– Государь! Вам бояться нечего. Вот граница Ледовитого моря, в начале минувшей зимы здесь произошло великое и кровопролитное сражение между аримаспами и нефелибатами^[832]. Тогда-то и замерзли в воздухе слова и крики мужчин и женщин, удары палиц, звон лат и сбруи, ржанье коней и все ужасы битвы. Теперь суровая зима прошла, ее сменила ясная и теплая погода, слова оттаивают и доходят до слуха.

– Ей-богу, я в это верю, – сказал Панург. – Нельзя ли нам, однако ж, увидеть эти слова? Помнится, я читал, что у подошвы горы, на которой Моисею был дан закон для евреев, народ явственно видел голоса.

– Держите, держите! – сказал Пантагрюэль. – Вот вам еще не оттаявшие.

И тут он бросил на палубу полные пригоршни замерзших слов, похожих на разноцветное драже. Слова эти, красные, зеленые, голубые, желтые и золотистые, отогревались у нас на ладонях и таяли, как снег, и мы их подлинно слышали, но не понимали, оттого что это был язык тарабарский, за исключением одного довольно крупного слова, которое, едва лишь брат Жан отогрел его на ладонях, издало звук, подобный тому, какой издают ненадрезанные каштаны, когда они лопаются на огне, и все мы при этом вздрогнули от испуга.

– Когда-то это был выстрел из фальконета, – заметил брат Жан.

Панург попросил у Пантагрюэля еще таких слов. Пантагрюэль же ему сказал, что давать слова – это дело влюбленных.

– Ну так продайте, – настаивал Панург.

– Продавать слова – это дело адвокатов, – возразил Пантагрюэль. – Я бы уж скорей продал вам молчание, только взял бы дороже, чем за слова, и тем уподобился бы Демосфену, который однажды через посредство *сребростуды* продал свое молчание.

Как бы то ни было, Пантагрюэль бросил на палубу еще три-четыре пригоршни. И тут я увидел слова колкие, слова окровавленные, которые, как пояснил лоцман, иной раз возвращаются туда, откуда исходят, то есть в перерезанное горло, слова, наводившие ужас, и другие, не весьма приятные с виду; как же скоро все они оттаяли, то мы услышали:

«Гин-гин-гин-гин, гис-тик-бей-кроши, бредеден, бредедак, фрр, фррр, фррр, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, тракк, тракк, трр, тррр, трррр, тррррр, трррррр, он-он-он, он-он, у-у-у-у-он, готмагот» и еще какие-то тарабарские слова, – лоцман пояснил, что все это воинственные кличи и ржанье боевых коней. Затем слуха нашего коснулись речения грубые, напоминавшие по звуку барабан, дудку, рог или трубу. Право же, это было презабавно. Мне пришло на ум положить несколько неприличных слов в масло, – так хранят снег и лед, – или же в очень чистую солому. Пантагрюэль, однако ж, не позволил, – он сказал, что глупо беречь то, в чем никогда не бывает недостатка и что всегда под рукой, ибо все добрые и жизнерадостные пантагрюэлисты в соленых словцах не нуждаются.

Тут Панург слегка рассердил брата Жана и заставил его пошевелить мозгами, а дело состояло вот в чем: совершенно для брата Жана неожиданно Панург поймал его на слове, а брат Жан предупредил Панурга, что тот еще об этом пожалеет, как пожалел Жосом, что продал сукно доблестному Патлену, поверив ему на слово; брат Жан пригрозил Панургу, что когда Панург женится, то он, брат Жан, поймает его, как быка, за рога, коль скоро тот словил его на слове, как человека. Вместо ответа Панург скроил ему потешную рожу, а затем воскликнул:

– Эх, кабы дал мне Господь прямо здесь, никуда дальше не двигаясь, услышать слово Божественной Бутылки!

Глава LVII

О том, как Пантагрюэль высадился в жилище мессера Гастера [\[833\]](#), первого в мире магистра наук и искусств [\[834\]](#)

В тот же день Пантагрюэль высадился на острове, наиболее любопытном из всех, славившемся как необычайным своим местоположением, так и необычайным своим правителем. Прибрежная его часть была со всех сторон скалиста, камениста, гориста, бесплодна, неприглядна, крайне тяжела для подъема и почти так же неприступна, как Неприступная гора в Дофине, имевшая форму тыквы и названная так потому, что испокон веков никто не мог на нее взобраться, за исключением Дуайака, начальника артиллерии при короле Карле VIII, – с помощью каких-то необыкновенных приспособлений он ухитрился на нее подняться и на вершине ее увидел старого барана. Как этот баран туда попал, остается загадкой. Говорили, что его еще молодым ягненком занес туда то ли орел, то ли сова, но что ему удалось скрыться от них в кустах.

Преодолев трудности крутого подъема и попотев изрядно, мы нашли, что вершина горы живописна, очаровательна, плодородна и целебна, – у меня даже было такое чувство, словно я в том самом земном раю, местонахождение коего – предмет жарких споров – все еще старательно ищут добрые богословы. Пантагрюэль, однако ж, высказал мнение, что это – обиталище Аретэ (то есть Добродетели), описанное Гесиодом, но с мнением его едва ли можно согласиться.

Правителем острова был мессер Гастер, первый в мире магистр наук и искусств. Если вы полагаете, что величайшим магистром наук и искусств был огонь, как о том сказано у Цицерона, то вы ошибаетесь и заблуждаетесь, ибо и сам Цицерон в это не верил. Если же вы полагаете, что первым изобретателем наук и искусств был Меркурий, как некогда полагали древние наши друиды, то вы ошибаетесь жестоко. Прав был сатирик, считавший, что магистром всех наук и искусств был мессер Гастер.

Именно с ним мирно уживалась добрая госпожа Нужда, иначе называемая Бедностью, мать девяти муз, у которой от бога изобилия Пора родился благородный отпрыск Амур, посредник между землей и небом, за какового его признает Платон в своем *Пире*.

У доблестного владыки Гастера мы должны находиться в совершенном повиновении, должны ублажать и почитать его, ибо он властен, суров, строг, жесток, неумолим, непреклонен. Его ни в чем не уверишь, ничего ему не втолкуешь, ничего ему не внушишь. Он ничего не желает слушать. И если египтяне свидетельствуют, что Гарпократ, бог молчания, по-гречески Сигалион, был безуст, то есть не имел рта, так же точно Гастер родился безухим, подобно безухой статуе Юпитера на Крите. Изъясняется он только знаками. Но знакам его все повинуются скорее, нежели преторским эдиктам и королевским указам. В исполнении требований своих он никаких отсрочек и промедлений не допускает. Вам, уж верно, известно, что львиный рык приводит в трепет всех зверей, до которых он долетает. Об этом написано в книгах. Это справедливо. Я сам был тому свидетелем. И все же я вам ручаюсь, что от повелений Гастера колеблется небо и трясется земля. Как скоро он изрек свою волю, ее надлежит в тот же миг исполнить или умереть.

Лоцман нам рассказал, что однажды, по примеру описанного у Эзопа восстания разных частей тела против желудка, целое государство соматов на Гастера поднялось и поклялось больше ему не подчиняться. Вскоре, однако ж, они в том раскаялись, бунтовать закаялись и всепокорнейше под его скипетр возвратились. А иначе они все до одного перемерли бы от голода.

В каком бы обществе он ни находился, никаких споров из-за мест при нем не полагается, – он неукоснительно проходит вперед, кто бы тут ни был: короли, императоры или даже сам папа. И на Базельском соборе^[835] он тоже шел первым, хотя собор этот был весьма бурный: на нем все не утихали споры и ссоры из-за того, кому с кем сидеть невместно, что, впрочем, вам хорошо известно. Все только и думают, как бы Гастеру угодить, все на него трудятся. Но и он в долгу у нас не остается: он облагодетельствовал нас тем, что изобрел все науки и искусства, все ремесла, все орудия, все хитроумные приспособления. Даже диких зверей он обучает искусствам, в коих им отказала природа. Воронов, попугаев, скворцов он превращает в поэтов, кукушки и сороки – в поэтесс, учит их говорить и петь на языке человеческом. И все это ради утробы!

Орлов, кречетов, соколов, балабанов, сапсанов, ястребов, коршунов, дербников, птиц, не из гнезда взятых, неприрученных,

вольных, хищных, диких он одомашнивает и приручает, и если даже он, когда ему вздумается, насколько ему заблагорассудится и так высоко, как ему желается, отпустит их полетать на вольном воздухе в поднебесье, и там он повелевает ими: по его манию они ширяют, летают, парят и даже за облаками убаготворяют и ублажают его, а затем он внезапно опускает их с небес на землю. И все это ради утробы!

Слонов, львов, носорогов, медведей, лошадей, собак он заставляет плясать, играть в мяч, ходить по канату, бороться, плавать, прятаться, приносить ему, что он прикажет, и брать, что он прикажет. И все это ради утробы!

Рыб, как морских, так равно и пресноводных, китов и разных других чудищ он поднимает со дна морского, волков выгоняет из леса, медведей – из расселин скал, лисиц – из нор, полчища змей – из впадин. И все это ради утробы!

Словом, он ненасытим и в гневе своем пожирает всех, и людей и животных: такая именно участь постигла васконов, когда во время серторианских войн их осадил Квинт Метелл, сагунтинцев, когда их осадил Ганнибал, иудеев, когда их осадили римляне, и еще шестьсот различных народов. И все это ради утробы!

Когда его наместница Нужда отправляется в путь, то, где только она ни пройдет, закрываются все суды, все эдикты идут насмарку, все распоряжения отдаются зря. Она не признает никаких законов, она им не подчиняется. Все бегут от нее без оглядки и предпочитают пройти сквозь огонь, сквозь горы и пропасти, только бы не попасться ей в лапы.

Глава LVIII

О том, как Пантагрюэль, находясь при дворе хитроумного магистра, возненавидел энгастримифов [\[836\]](#) и гастролатров

При дворе этого великого и хитроумного магистра Пантагрюэль заметил две породы людей, две породы докучных и что-то уж слишком подобострастных царедворцев, и возымел к ним великое отвращение. Одни звались энгастримифами, другие – гастролатрами.

Энгастримифы рассказывали про себя, что они ведут свое происхождение от древнего рода Эвриклова, – и ссылались в том на Аристофана, который удостоверяет это в своей комедии *Осы*, – и что в древние времена они звались *эвриклеянами*^[837], о чем упоминает Платон, а также Плутарх в книге *Упадок оракулов*, в священных же Декретах (26, вопрос 3) они именуются *чрево вещателями*, и так же точно называет их на ионическом языке Гиппократ (*Об эпидемиях*, кн. V), ибо говорят они чревом. Софокл называет их *стерномантами*. То были ведуны, колдуны и лгуны, обманывавшие простой народ, делавшие вид, что они говорят и отвечают на вопросы не ртом, а животом.

Такою именно чрево вещательницею была жившая около 1513 года после рождества благословенного нашего Спасителя итальянка Якоба Рододжине, женщина темного происхождения, и нам нередко приходилось слышать, и не только нам, но и бесчисленному множеству жителей Феррары и других городов, как богатые сеньоры и князья Цизальпинской Галлии из любопытства приглашали и вытребовали ее к себе; рассказывали, что из чрева ее исходил тогда голос нечистого духа, голос, разумеется, небольшой, слабый и тихий, однако ж слова она произносила вполне членораздельно, внятно и отчетливо, и, дабы не допустить никакого плутовства и мошенничества, ее заставляли раздеваться донага и затыкали ей нос и рот. Лукавый требовал, чтобы его величали *Курчавым* или же *Цинциннатулом*, и получал видимое удовольствие от того, что его так называли. Стоило его так назвать, и он сию же минуту начинал отвечать на вопросы. Если его спрашивали о настоящем или же о прошлом, то он попадал в точку и тем приводил слушателей в изумление. Если же о будущем, то он никогда не угадывал и всякий раз завирался. Частенько он даже сознавался в собственном невежестве и вместо ответа громко пукал или же бормотал нечто нечленораздельное на каком-то тарабарском наречии.

Что касается гастролатров, то они ходили скопом и целой оравой, и одни из них были резвы, игривы и жеманны, а другие печальны, важны, строги и угрюмы, и все до одного были тунеядцы, никто из них ничего не делал, никто из них не трудился, они только, по слову Гесиода, даром бременили землю^[838], и была у них, видно, одна забота: как бы это не похудеть и не обидеть чрево. Ходили они в масках и в таких затейливых уборах и нарядах – ну просто загляденье!

Вы могли бы мне возразить, – и об этом писали древние мудрецы и философы, – что изобретательность природы кажется нам прямо сверхъестественной при взгляде на морские раковины, поражающие своею причудливостью, – столько разнообразия вложила природа в их фигуры, расцветку, в очертания их и формы, искусству недоступные. Смею, однако же, вас уверить, что одеяние гастролатров, напяливавших на себя раковинообразные капюшоны, отличалось не меньшим разнообразием и изысканностью. Все они признавали Гастера за великого бога, поклонялись ему как богу, приносили ему жертвы как всемогущему богу, не знали иного бога, кроме него, служили ему, любили его превыше всего остального и чтили как бога. Можно подумать, что это их имел в виду святой апостол, когда писал (*Послание к Филиппийцам, 3*): «Многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги креста Христова; их конец – гибель, их бог – чрево».

Пантагрюэль же сравнил их с циклопом Полифемом, который у Еврипида говорит так: «Я приношу жертвы только самому себе (богам – никогда) и моему чреву, величайшему из всех богов».

Глава LIX

О потешной статуе Жруньи, а равно и о том, как и что именно приносят в жертву гастролатры чревомогущему своему богу^[839]

Мы все еще изучали наружность и ухватки большеротых этих трусишек гастролатров, как вдруг, к великому нашему изумлению, раздался мощный колокольный звон, и тут все построились в боевом порядке – по старшинству, чину и званию. Открывал это шествие, двигавшееся мимо Гастера, молодой, упитанный, ражий пузан, несший на длинном позолоченном шесте деревянную статую, скверно выточенную и грубо размалеванную, вроде той, которую описывают Плавт, Ювенал и Помпоний Фест. На Лионском карнавале она известна под названием Дерьмоедки; здесь ее называют Жруньей. То было настоящее чудище, потешное и отталкивающее, – им бы только малых ребят пугать: глаза у него были больше живота, голова – шире всего остального тела, челюсти – тяжелые, широкие, страшные, с

крепкими зубами, как верхними, так равно и нижними, и зубы эти при помощи веревочки, спрятанной внутри золоченого шеста, устрашающе щелкали друг о друга, как у дракона св. Климента в Меце. ^[840]

Как скоро гастролатры приблизились, я увидел, что за ними идет великое множество раздобревших слуг с корзинками, котомками, тюками, горшками, мешками и котлами. Все двигавшиеся вслед Жрунье пели какие-то дифирамбы, крепалоккомы и эпеноны и, открывая корзинки и котлы, приносили в жертву своему божеству белое вино, настоящее на корице, и к нему нежное жаркое без подливы,

хлеб белый,
хлеб сдобный,
хлеб из крупчатки,
хлеб простой,
шесть сортов мяса, жаренного на рашпере,
козлятину жареную,
холодное жаркое из поясничной части быка, присыпанное имбирем,
всевозможные супы,
потроха,
фрикасе девяти сортов,
пирожки,
бульон с гренками,
бульон из зайчатины,
бульон лионский,
капусту кочанную с бычьим костным мозгом,
меланж,
рагу.

В промежутках неизменные напитки, и прежде всего прекрасное, отменно вкусное белое вино, затем розовое и красное, холодное, как лед, приносимое и подаваемое в больших серебряных чанах. За этим следовали:

колбаса ливерная с острой горчицей,
сосиски,

телячьи языки копченые,
соленья,
свинина под горошком,
телятина шпигованная,
колбаса кровяная,
колбаса сервелатная,
колбаса свиная,
ветчина,
кабанья голова,
соленая крупная дичь с репой,
кусочки печенки с салом,
оливки в рассоле.

Все это неукоснительно запивалось вином.
Потом ей запихивали в пасть:

бараньи лопатки с чесночным соусом,
паштеты с горячей подливкой,
котлеты свиные с луковым соусом,
каплунов, жаренных в их собственном соку,
опять каплунов,
крохалей,
ланей,
оленят, оленей,
зайцев, зайчат,
куропатов, куропаточек,
фазанов, фазанчиков,
павлинов, павлинчиков,
аистов, аистят,
бекасов, бекасиков,
ортоланов,
индюков, индюшек и индюшат,
вахирей и вахирьков,
свинину с виноградным соком,
уток с луковой подливкой,
дроздов, пастушков,
курочек водяных,

турпанов,
цапель хохлаток,
чирков,
нырков,
выпей,
водных бегунов,
рябчиков лесных,
курочек водяных с луком-пореем,
реполовов, козуль,
бараньи лопатки с каперсами,
говядину по-королевски,
телячью грудинку,
вареных кур и жирных каплунов под бланманже,
рябчиков,
цыплят,
кроликов, крольчат,
перепелов, перепелят,
голубей, голубят,
цапель, цаплят,
дроф, дрофят,
жаворонков лесных,
цесарок,
ржанок,
гусей, гусят,
сизяков,
диких утят,
жаворонков полевых,
фламинго, лебедей,
колпиц,
дроздов певчих, журавлей,
сукальней,
кроншнепов,
куропатов лесных,
горлиц,
трусиков,
дикобразов,
пастушков водяных.

Затем снова вино в изрядном количестве.
Затем огромные

паштеты из крупной дичи,
паштеты из жаворонков,
паштеты из полчков,
паштеты из мяса дикого козла,
паштеты из мяса козули,
паштеты из голубей,
паштеты из мяса серны,
паштеты из каплунов,
паштеты со свиным салом,
свиные ножки с топленным салом,
поджаренные в масле корочки,
вороны холощенные,
сыры,
персики,
артишоки,
пирожки слоеные,
артишоки испанские,
пирожки с яйцами,
пышки,
пироги шестнадцати сортов вафли, хворост,
пирожки с айвой,
творог,
взбитые белки,
варенье из миробалана^[841],
желе,
розовое и красное вино, настоянное на корице,
булочки, макароны,
сладкие пироги двадцати сортов,
крем,
варенья сухие и жидкие семидесяти восьми сортов,
драже ста цветов,
простокваша,
трубочки с сахарным песком.

После всего этого – опять вино, чтобы не пересохло в горле.
Item^[842] жаркое.

Глава LX

О том, какие жертвы приносили своему богу гастролатры в дни постные

Как скоро Пантагрюэль увидел всю эту жертвоприносящую сволочь и многообразие жертвоприношений, то пришел в негодование и уже совсем было собрался уходить, да Эпистемон уговорил его подождать, чем кончится эта комедия.

– А какие жертвы приносит эта мразь чревомогущему своему богу в дни постные? – спросил Пантагрюэль.

– Сейчас вам скажу, – отвечал лоцман. – На закуску они ему предлагают:

икру,
масло сливочное,
пюре гороховое,
шпинат,
селедку малосольную,
селедку копченую,
сардин,
анчоусов,
тунцов соленых,
бобов вареных,
салаты ста сортов: кресс-салат, салат из хмеля,
из морской травы, из рапунцели,
из иудиных ушей (то есть из грибов, растущих подле старой
бузины), из спаржи,
из жимолости и множество других,
лососину соленую,
угорьков соленых,
устриц в раковинах.

После этого полагается тяпнуть винца, да как следует. Все у них чин чином, и вина – хоть залейся. Затем они ему предлагают:

миног в белом вине,
усачей,
усачей молодых,
голавлей,
голавликов,
скатов,
сепий,
осетров немецких,
китов,
макрелей,
камбал малых,
палтусов,
устриц печеных,
гребешков,
лангустов,
корюшку,
барбунов,
форелей,
сигов-песочников,
треску,
осьминогов,
лиманд,
плоскуш,
сциен,
пагелусов,
пескарей,
камбал,
снетков,
карпов,
щук,
бонит,
морских собак,
морских ежей,
морских карпов,

меч-рыбу,
морских ангелов,
миножек,
щучек,
карпищей,
карпичков,
лососину,
молодых лососиков,
дельфинов,
скатов белых,
солей,
полей,
мидий,
омаров,
креветок,
кармусов,
уклеек,
линей,
хариусов,
трески свежей,
карактиц,
колюшек,
тунцов,
бычков,
раков,
моллюсков разных,
угрей морских,
бешенок,
мурен,
умбрин,
кармусов маленьких,
угрей,
угорьков,
черепах,
змей, *id est* ^[843] лесных угрей,
макрелей золотых,
курочек морских,

окуней,
осетров,
гольцов,
крабов,
улиток,
лягушек.

После такой пищи непременно нужно выпить, иначе на тот свет недолго отправиться. За этим здесь очень следят.

Далее ему приносят в жертву:

треску соленую,
штокфиш,
яйца всмятку, яйца в мешочек, яйца крутые, яйца печеные,
яичницу-болтушку,
яичницу-глазунью и так далее,
треску обыкновенную,
бабочек,
лабарданов,

а чтобы все это легче переваривалось и усваивалось, возлияния умножаются.

Под конец ему предлагают:

риса,
проса,
каши,
миндального молока,
мороженого,
фисташек,
фистиков,
фиг,
винограду,
сладкого корня,
болтушки кукурузной,
болтушки пшеничной,
черносливу,

фиников,
орехов грецких,
орехов лесных,
пастернаку,
артишоков.

В промежутках опять разливанное море.

Они только и думают, как бы им дорогими и обильными жертвами ублажить своего бога Гастера, и вы можете мне поверить, что идола Элагабала^[844], да что там – даже идола Ваала в Вавилоне при царе Валтасаре так не умилостивляли, как его. А между тем сам-то Гастер почитает себя отнюдь не за бога, а за гнусную, жалкую тварь, и как некогда царь Антигон Первый ответил некоему Гермодоту, который величал его в своих стихах богом и сыном солнца: «Мой лазанофор иного мнения» (лазаном назывался сосуд или же горшок для испражнений), так же точно Гастер отсылал этих прихвостней к своему судну, дабы они поглядели, пораскинули умом и поразмыслили, какое такое божество находится в кишечных его извержениях.

Глава LXI

О том, как Гастер придумал способы добывать и хранить зерно

Как скоро чертовы эти гастролатры удалились, Пантагрюэль стал прилежно изучать Гастера, доблестного магистра наук и искусств. Природа, сколько вам известно, определила ему в пищу хлеб и хлебные изделия, а по милости Небес ничто не препятствует ему добывать и хранить хлеб.

Прежде всего он изобрел кузнечное искусство и земледелие, то есть искусство обрабатывать землю, дабы она производила зерно. Он изобрел военное искусство и оружие, дабы защищать зерно, изобрел медицину, астрологию и некоторые математические науки, дабы зерно могло сохраняться ряд столетий и дабы уберечь его от непогоды, от диких зверей и разбойников. Он изобрел водяные, ветряные и ручные мельницы со всеми возможными приспособлениями, дабы молоть зерно и превращать его в муку, дрожжи – дабы тесто всходило, соль –

дабы придавать ему вкус, ибо он знал, что нет ничего вреднее для здоровья, нежели хлеб не подошедший и пресный, огонь – дабы печь, часы и циферблаты – дабы знать время, в течение которого выпекается детище зерна – хлеб.

Когда в одном государстве не хватило зерна, он изобрел искусство и способ перевозить его из одной страны в другую. Ему пришла счастливая мысль скрестить две породы животных – осла и лошадь, дабы создать третью породу, то есть мулов, животных более сильных, менее нежных, более выносливых, чем другие. Он изобрел повозки и тележки, дабы удобнее было перевозить зерно. Если моря или реки препятствовали торговле, он изобретал, на удивление стихиям, баржи, галеры и корабли, дабы через моря, реки и речки поставлять и доставлять зерно диким, неведомым, далеким народам.

Выдавались такие годы, когда в самое нужное время совсем не было дождей и зерно из-за этого гибло и умирало в земле. В иной год дождь лил не переставая, и зерно гнивало. В иной год зерно выбивало градом, или же оно осыпалось от ветра, или же буря пригибала колосья к земле. Гастер задолго до нашего прибытия изобрел искусство и способ вызывать с неба дождь; для этого надобно было только нарезать луговой травы, травы обыкновенной, но мало кому известной, – должно полагать, что один лишь стебелек этой именно травы, некогда в засушливое лето брошенный аркадским жрецом Юпитера в источник Агно на горе Лике, вызывал пары, которые потом сгущались в тучи, из туч же шел дождь и обильно орошал всю окрестность. Гастер изобрел также искусство и способ задерживать дождь и останавливать его в воздухе или же отводить тучу в сторону, с тем чтобы она пролилась над морем. Он же изобрел искусство и способ прекращать град, усмирять ветер и укрощать бурю по примеру жителей Мефаны Трезенской.

Но тут подоспела новая напасть. Разбойники и грабители повадились воровать зерно и хлеб на поле. Тогда Гастер изобрел искусство строить города, крепости и замки, дабы держать зерно на запоре и в надежном месте. И теперь уже хлеб на полях не остается, а свозится в города, крепости и замки, и местные жители защищают его и стерегут лучше, нежели драконы стерегли яблоки в садах Гесперид. Он же изобрел искусство и способ разрушать и сносить крепости и замки посредством военных машин и орудий, а именно: таранов,

баллист и катапульта, коих чертежи он показал нам, – те самые чертежи, в которых худо разобрались хитроумные архитекторы, ученики Витрувия, как в том признался нам мессер Филиберт Делорм^[845], главный архитектор царя Мегиста; однако же орудия эти, столкнувшись с изобретательной коварностью и коварной изобретательностью фортификаторов, испытания не выдержали, а потому мессер Гастер недавно изобрел пушки, серпентины, кулеврины, бомбарды и василиски, стреляющие ядрами железными, свинцовыми и медными, превышающими вес тяжелых наковален, для какой цели он еще выдумал особый состав пороха, коего страшной взрывчатой силой изумилась сама природа, признавшая себя побежденною искусством, и, таким образом, оставил далеко позади оксидраков^[846], которые побеждали неприятеля тем, что насылали на него внезапную смерть от молнии, грома, града, бури, сполохов прямо на поле брани, ибо это еще более грозное, еще более ужасное, еще более сатанинское средство: оно уничтожает, сокрушает, поражает и умерщвляет еще больше человеческих жизней и еще сильнее действует на человеческое воображение, так что один выстрел из василиска снесет больше стен, нежели сто молнийных стрел.

Глава LXII

О том, как Гастер изобрел искусство и способ избегать ранения во время орудийной стрельбы

Случилось, однако ж, так, что Гастер, хранивший зерно в крепостях, в конце концов сам был осажден врагами, крепости его были разрушены треклятыми адскими машинами, обладавшими силою титаническою, зерно же его и хлеб расхищены и разграблены; тогда он изобрел искусство и способ уберечь от орудийных выстрелов крепостные валы, бастионы, стены и другие защитные укрепления, так что ядра совсем не задевали их и на лету замирали в воздухе, а если и задевали, то без всякого ущерба не только для защитных укреплений, но и для самих защитников. От таковой напасти он сыскал отличное средство и доказал это нам на опыте; средством его впоследствии воспользовался Фронтон^[847], ныне же оно служит телемитам одним из обычных благопристойных упражнений и развлечений. Заключается

оно в следующем. (Теперь вы уже с большим доверием отнесетесь к рассказу Плутарха об одном его опыте: если козье стадо удирает от вас со всех ног, то запихните репейник в пасть той, что бежит позади всех, и стадо сей же час остановится.)

Внутри фальконета Гастер насыпал особого состава порох, очищенный от серы и смешанный с потребным количеством камфоры, а сверху клал железный, тщательно калиброванный патрон с двадцатью четырьмя железными дробинками, из коих одни были круглые и сферические, другие же имели форму слезинок. Затем, наведя орудие на юного своего пажу, которого он ставил в шестидесяти шагах от дула, – наведя с таким расчетом, словно бы он хотел стрелнуть ему в живот, – Гастер как раз посредине между пажом и фальконетом отвесно привешивал к деревянному столбу на веревке громадный камень-сидерит, то есть железный шпат, или, еще иначе, геркулесов камень, некогда найденный, как уверяет Никандр, на Иде во Фригии неким Магном, в просторечии же мы называем этот камень магнитом. Затем он через отверстие в пороховой камере поджигал порох. А когда порох сгорал, то, чтобы не образовалось пустоты (а пустоты природа не терпит: скорей вся громада мироздания – небо, воздух, море, земля – возвратится в состояние древнего хаоса, чем где-либо в мире образуется пустота), патрон с дробью стремительно извергался из жерла фальконета, и в камеру проникал воздух, а иначе там образовалась бы пустота, так как порох сгорал мгновенно. Казалось бы, патрон с дробью, вытолкнутый с такой силой наружу, неминуемо должен ранить пажу, однако по мере того, как дробинки приближались к камню, скорость их полета все ослабевала, они кружились и вращались в воздухе вокруг камня, и ни одна из них, с какой быстротой она бы ни летела, так и не достигала пажу.

Этого мало: Гастер изобрел еще искусство и способ обращать пущенные врагами ядра на них же самих – с одинаковой разрушительной силой и как раз туда, откуда они вылетали. Особых трудностей это не представляло. Вспомним, что трава эфиопис отмыкает любые запоры, а такая глупая рыба, как эхенеис, останавливает все ветра и в бурю задерживает в открытом море самые крупные суда; если же эту рыбу посолить, то она притягивает к себе золото с любых глубин.

Вспомним то, о чем писал Демокрит и чему верил и что познал на опыте Теофраст: есть такая трава, от одного прикосновения которой железный клин, глубоко и с огромной силой вонзившийся в толстое и крепкое дерево, мгновенно выскакивает оттуда, и к которой прибегают зеленые дятлы, когда какой-нибудь мощный железный клин вбивается прямо в отверстие их гнезда, а гнезда свои они ухитряются строить и выдалбливать в стволах могучих деревьев.

Вспомним, что если оленям и ланям, опасно раненым копьями или же стрелами, попадетсЯ распространенная на Крите трава диктам, то они пощиплют ее немножко – и стрелы тут же выскакивают, не причинив ни малейшего вреда. Это та самая трава, какую Венера вылечила любимого своего сына Энея, раненного в правое бедро сестрою Турна – Ютурной.

Вспомним, что один запах лавров, смоковниц и тюленей предохраняет их самих от молнии, которая никогда в них не попадает.

Вспомним, что при одном виде барана бешеные слоны приходят к себя; разъяренные и остервенелые быки, подбежав к диким смоковницам, так называемым капрификам, мгновенно успокаиваются и останавливаются как вкопанные; ярость змей стихает от прикосновения к ветви бука.

Вспомним также свидетельство Эвфориона о том, что на острове Самосе, еще до того как там был воздвигнут храм Юноны, он видел животных, именуемых неадами, при звуке голоса коих в земле появлялись трещины и разверзались пропасти.

Вспомним еще, что где не слышно пения петухов, там бузина певучее и пригоднее для флейт, – по свидетельству Теофраста, древние мудрецы уверяли, что пение петухов отупляет, размягчает и оглушает древесное вещество бузины; равным образом такого сильного и бесстрашного зверя, как лев, пение петухов поражает и ошеломляет.

Сколько мне известно, некоторые понимают это так, что для флейт и других музыкальных инструментов бузина дикая, растущая в местах, удаленных от городов и селений, – там, где пения петухов не может быть слышно, – разумеется, предпочтительнее и пригоднее, нежели домашняя, растущая вокруг лачужек и сараев. Другие понимают это в более возвышенном смысле – не буквально, но аллегорически, в духе пифагорейцев: сказанное применительно к статуе Меркурия, что для нее-де не всякое дерево годится, они толкуют

так, что поклонение Богу не должно принимать пошлые формы, – оно всегда должно быть по-особенному благоговейным, – так же точно и пример с бузиной учит, мол, нас, что любомудрам не подобает увлекаться музыкою пошлой и обыденной, для них-де создана музыка небесная, божественная, ангельская, более сокровенная, из дальней дали исходящая, то есть музыка духовная, в которой пения петухов не услышишь. Недаром, когда мы хотим сказать, что это место уединенное и безлюдное, мы говорим, что там и петуха не слышать.

Глава LXIII

О том, как Пантагрюэль вздремнул близ острова

Ханефа [\[848\]](#), а равно и о вопросах, заданных ему после его пробуждения

На другой день, болтая по дороге о всяких пустяках, приблизились мы наконец к острову Ханефу, причалить к коему корабль Пантагрюэлев, однако же, не смог, оттого что ветер упал и на море заштилело. К парусам были приставлены еще и лисели, и все же мы покачивались на волнах, кренясь то на бакборт, то на штирборт. Озабоченные, огорошенные, спанталыченные, раздосадованные, мы ни единым словом не перекидывались друг с другом.

Пантагрюэль с греческим текстом Гелиодора в руках задремал на циновке, подле трапа. Это у него вошло в привычку: он гораздо скорее засыпал с книгой, нежели без нее.

Эпистемон с помощью астролябии высчитывал, насколько мы сейчас южнее полюса.

Брат Жан обосновался в камбузе и по точке восхода вертелов и по гороскопу фрикасе определял, который теперь час.

Панург, просунув язык в стебель пантагрюэлиона, пускал пузыри.

Гимнаст выдeldывал из мастикового дерева зубочистки.

Понократ бредил во сне, сам себя щекотал под мышками и расчесывал волосы пальцем.

Карпалим из грубой ореховой скорлупы мастерил прелестную маленькую, презабавную, приятно жужжавшую вертушечку, коей крылья были сбиты из четырех прелестных крошечных ольховых планочек.

Эвсфен, расположившись на длинной кулеврине, играл на собственных пальцах, как на монокордионе.

Ризотом из плодовых пленок бурьяна шил бархатный кошелек.

Ксеноман ремешками, которые обыкновенно привязываются к лапке дербника, чинил старый фонарь. Наш лоцман выводывал у моряков всю их подноготную, и вдруг брат Жан, возвратившись на ту пору из камбуза, заметил, что Пантагрюэль пробудился.

Тогда брат Жан в превеселом расположении духа нарушил упорное молчание, царившее на палубе, и, возвысив голос, спросил:

– Как можно в штиль *поднять погоду*?

Вторым неожиданно задал вопрос Панург:

– Есть ли средство от злости?

Третья очередь была Эпистемона, – смеясь от души, он спросил:

– Можно ли помочиться, когда нет охоты?

Гимнаст, встав на ноги, спросил:

– Есть ли средство от темноты в глазах?

Понократ, потеряв себе лоб и прянув ушами, спросил:

– Можно ли спать не по-собачьи?

– Погодите, – молвил Пантагрюэль. – Хитроумные философы-перипатетики учат нас, что все проблемы, вопросы и сомнения, которые предстоит разрешить, должны быть выражены в форме определенной, ясной и понятной. Что значит, по-вашему, спать по-собачьи?

– Это значит спать натошак и на солнцепеке, как обыкновенно спят собаки, – отвечал Понократ.

Ризотом сидел на корточках возле самого продольного прохода. При этих словах он вскинул голову, сладко зевнул и, заразив своей зевотой всех товарищей, из симпатии к нему последовавших его примеру, спросил:

– Есть ли средство от осцитаций и зевков?

Ксеноман, весь уфонарённый в починку своего фонаря, спросил:

– Можно ли держать в равновесии собственное пузо, чтобы оно не раскачивалось из стороны в сторону?

Карпалим, забавляясь со своей вертушкой, спросил:

– Что должно совершиться в естестве человека для того, чтобы его можно было признать голодным?

Эвсфен, услышав голоса, прибежал на палубу и, вспрыгнув на кабестан, громко спросил:

– Почему считается более опасным, если голодного человека ужалит голодная змея, чем если сытая змея укусит сытого человека? Почему слюна голодного человека – яд для всех ядовитых змей и животных?

– Друзья мои! – отвечал Пантагрюэль. – Все ваши сомнения и вопросы разрешаются одинаково, и от всех указанных вами симптомов и случаев имеется только одно средство. Ответ вам будет дан незамедлительно, без подходов и околичностей, – у голодного брюха ушей не бывает, оно – глухо. Я вас удовлетворю знаками, движениями и действиями, и решением моим вы останетесь довольны, – так некогда Тарквиний Гордый, последний римский царь (тут Пантагрюэль дернул колокол за веревку, а брат Жан стремглав помчался на кухню), знаками ответил сыну своему Сексту. Секст, находившийся в то время в городе Габиях, прислал гонца к Тарквинию за советом, – как ему всецело покорить габийцев и добиться от них повиновения беспрекословного. Царь, не веря в верность посланца, ничего ему не ответил. Вместо ответа он повел его в свой потаенный сад и на его глазах и в его присутствии срезал мечом головки самых высоких маков. Посланец возвратился без всякого ответа, но как скоро он рассказал Сексту, что сделал при нем Тарквиний, Секст по одному этому знаку без труда догадался, что отец советует ему отсечь головы градоправителям и тем самым окончательно поработить всех остальных и привести их в полное повиновение.

Глава LXIV

О том, как Пантагрюэль оставил без ответа заданные ему вопросы

Затем Пантагрюэль спросил:

– Что за люди живут на этом милом собачьем острове?

– Все сплошь буквоеды, дармоеды, пустосвяты, бездельники, ханжи, отшельники, – отвечал Ксеноман. – Все они – люди бедные и живут подаванием путешественников, как пустынный из Лормона, что между Бле и Бордо.

– Не пойду я к ним, можете мне поверить, – объявил Панург. – Пусть дьявол дунет мне в зад, если я к ним пойду! Эй, отшельники, бездельники, буквоеды, ханжи, дармоеды, убирайтесь вы ко всем чертям! Я еще не забыл этих жиром заплывших кесильских сборников, чтоб их Вельзевул и Астарта позвали на собор с Прозерпиной, – сколько мы после них натерпелись бурь и черт его знает чего! Послушай, Ксеноман, брюханчик мой, капральчик мой! Скажи ты мне на милость: здешние пустосвяты, вымогатели и прихлебатели – что же они, женаты или девственники? Есть среди них женский пол? Могут ли они пустосвятно произвести на свет пустосвятное потомство?

– Вот это вопрос остроумный и забавный, – заметил Пантагрюэль.

– Еще как могут! – отвечал Ксеноман. – Тут есть красивые и веселые пустосвятки, тунеядки, отшельницы, бездельницы, женщины очень богомольные, и видимо-невидимо пустосвятышей, тунеядышей, бездельничков, отшельничков...

– Знаем мы их, – прервал его брат Жан, – из молодых отшельников старые черти выходят. Запомните эту мудрую пословицу.

– ...а иначе, без продолжения рода, остров Ханеф давно бы уж опустел и обезлюдел.

Пантагрюэль пожертвовал островитянам семьдесят восемь тысяч новеньких полуэку с изображением фонаря и поручил Гимнасту переправить этот дар к ним в лодке.

– Который час? – отдав это распоряжение, осведомился он.

– Десятый, – отвечал Эпистемон.

– Самое время обедать, – заметил Пантагрюэль, – ибо приближается та священная линия, о которой так много говорит Аристофан в своей комедии *Законодательницы*: она ниспускается в тот час, когда тень десятифутна. В былые времена у персов вкушать пищу в определенный час полагалось только царям, – простым смертным служили часами их собственный желудок и аппетит. В самом деле, у Плавта некий паразит сетует и яростно нападает на изобретателей солнечных и всяких иных часов, ибо это, мол, общеизвестно, что желудок – самые верные часы. Диоген на вопрос о том, в котором часу надлежит человеку питаться, ответил так: «Богатому – когда хочется есть, бедному – когда у него есть что поесть». Более точно указывают часы для принятия пищи врачи:

Встать в пять, а пообедать в девять;
В пять ужин съесть, улечься в девять*.

Со всем тем у знаменитого царя Петозириса^[849] режим был иной.

Пантагрюэль не успел еще договорить, а слуги уже внесли столы и столики, накрыли их душистыми скатертями, положили салфетки, расставили тарелки и солонки, принесли чаны, жбаны, бутылки, чаши, кубки, фляги, кувшины. Брат Жан с помощью дворецких, распорядителей, судовых хлебопеков, виночерпиев, стольников, чашников и буфетчиков притащил четыре ужасающих размеров пирога с ветчиной, живо напомнивших мне четыре туринских бастиона.

Бог ты мой, сколько тут было выпито и съедено! Еще не подали десерта, а уже западо-северо-западный ветер стал надувать паруса на всех мачтах, и тут все запели священную песнь во славу Всевышнего.

За десертом Пантагрюэль спросил:

– Скажите, друзья мои, все ли ваши сомнения разрешены окончательно?

– Слава Богу, мне уж не хочется больше зевать, – сказал Ризотом.

– А я больше не сплю по-собачьи, – сказал Понократ.

– А у меня уже в глазах не темно, – молвил Гимнаст.

– А я уж теперь не натоцак, – сказал Эвсфен. – Следственно, моя слюна в течение сегодняшнего дня не представляет опасности для^[850]

анерудутов, гарменов,
абедиссимонов, гандионов,
алхатрафов, гемороидов,
аммобатов, гусениц,
апимаосов, двуглавых змей,
алхатрабанов, дипсадов,
арактов, домезов,
астерионов, драконов,
алхаратов, дриинад,
аргов, ехидн,
аскалабов, жаб,
аттелабов, желтобрюхов,

аскалаботов, зайцев морских,
бешеных собак, землероек,
боа, златок,
василисков, иклей,
гадюк, иллициний,
галеотов, ихневмонов,
кантарид, римуаров,
катоблепов, рагионов,
керастов, раганов,
крокодилов, саламандр,
кокемаров, скорпиончиков,
колотов, скорпионов,
кафезатов, сельзиров,
каухаров, скалавотин,
кихриодов, солофуйдаров,
кулефров, сальфугов,
кухарсов, солифугов,
крониоколаптов, сепий,
кенхринов, стинков,
кокатрисов, стуфов,
кезодуров, сабтинов,
ласок, сепедонов,
медянок, скиталов,
манतिकоров, стеллионов,
молуров, сколопендр,
миагров, тарантулов,
милиаров, тифолопов,
мегалаунов, тетрагнаций,
пауков, теристалей,
птиад, фаланг,
порфиоров, хельгидр,
пареад, херсидр,
пенфредонов, элопов,
питиокамптов, энгидридов,
питонов, ящериц сенегальских,
пиявок, ящериц халкедонских,
рутелей, яррари.

Глава LXV

О том, как Пантагрюэль со своими приближенными поднимает погоду

– А к какому виду этих ядовитых животных отнесете вы будущую жену Панурга? – любопытствовал брат Жан.

– С каких это пор ты, повеса, блудливый монах, стал женоненавистником? – спросил Панург.

– Клянусь всеми моими потрохами, – заговорил Эпистемон, – Еврипидова Андромаха утверждает, что благодаря человеческой изобретательности и откровениям божественным средство от всех ядовитых гадов найдено, но что до сих пор еще не найдено средство от злой жены.

– Этот вертопрах Еврипид вечно поносил женщин, – сказал Панург. – За это Небеса отомстили ему тем, что его разорвали псы, как уверяет его недоброжелатель – Аристофан^[851]. Ну, поехали дальше! Чья очередь? Говори!

– Сейчас я могу мочиться сколько угодно, – объявил Эпистемон.

– Теперь у меня, по счастью, живот с балластом, – объявил Ксеноман. – Теперь уж я крена давать не буду.

– Мне больше не требуется ни вина, ни хлеба, – объявил Карпалим. —

Конец посту и сухомытке*.

– Слава Богу и слава вам, – объявил Панург, – я уже ни на что больше не злюсь, – я веселюсь, я смеюсь, я резвлюсь. Хорошо говорит у вашего красавца Еврипида достопамятный пьянчуга Силен:

Не дали боги разума тому,
Кто пьет вино, не радуясь ему*.

Нам надлежит неустанно славить милостивого Бога, нашего сотворителя, спасителя и хранителя: мало того что вкусным этим хлебом, вкусным и холодным этим вином, сладкими этими яствами он

излечил нас от телесных и душевных потрясений – вкушая все это, мы еще вдобавок получали удовольствие и наслаждение. Вы, однако ж, так и не ответили на вопрос блаженнейшего и досточтимого брата Жана, как улучшить погоду.

– Раз вы сами удовлетворились таким простым решением заданных вами вопросов, то удовлетворяюсь и я, – объявил Пантагрюэль. – Впрочем, в другом месте и в другой раз мы, если угодно, к этому еще вернемся. Остается, таким образом, покончить с вопросом брата Жана: как *поднять погоду*? А разве мы ее уже не *подняли* по своему благоусмотрению? Взгляните на вымпел. Взгляните, как надулись паруса. Взгляните, как напряглись штаги, драйрепы и шкоты. Поднимая и осушая чаши, мы тем самым *подняли* и погоду, – тут есть некая тайная связь. Если верить мудрым мифологам, так же точно *поднимали погоду* Атлант и Геркулес^[852]. Впрочем, они *подняли* ее на полградуса выше, чем должно: Атлант – дабы веселее попить в честь Геркулеса, который был у него в гостях, Геркулес же – оттого что в пустыне Ливийской, откуда он прибыл, его истомила жажда.

– Ей-же-ей, – перебил его брат Жан, – я слышал от многих почтенных ученых, что Шалопай, ключник доброго вашего отца, ежегодно сберегает тысячу восемьсот с лишним бочек вина: он заставляет гостей и домочадцев пить до того, как они почувствуют жажду.

– Геркулес поступил, как поступают идущие караваном верблюды двугорбые и одногорбые, – продолжал Пантагрюэль, – они пьют от жажды прошлой, настоящей и в счет будущей. Следствием же этого небывалого *поднятия погоды* явились дотоле невиданные колебания и сотрясения небесного свода, из-за коих столько было споров и раздоров у сумасбродов-астрологов.

– Видно, недаром говорится пословица, – вставил Панург: —

О горестях позабывает тот,
Кто, ветчиной закусывая, пьет*.

– Закусывая и выпивая, мы не только *подняли погоду*, но и значительно разгрузили корабль, – заметил Пантагрюэль. – При этом

разгрузили мы его не только так, как была разгружена Эзопова корзинка^[853], то есть посредством уничтожения съестных припасов, – вдобавок мы еще сбросили с себя пост, ибо если мертвое тело тяжелее живого, то и голодный человек землистее и тяжелее выпившего и закусившего. Совсем не так глупы те, что во время долгого путешествия каждое утро, выпивая и завтракая, говорят: «От этого наши кони только резвее будут». Вы, верно, слышали, что древние амиклеяне никого из богов так не чтили и никому так не поклонялись, как честному отцу Бахусу, и дали они ему весьма подходящее и меткое название, а именно *Псила*. *Псила* на дорийском языке означает *крылья*, ибо, подобно тому как птицы с помощью крыльев легко взлетают ввысь, так же точно с помощью Бахуса, то есть доброго, приятного на вкус, упоительного вина, душа человека воспаряет, тело его приметно оживляется, все же, что было в нем землистого, умягчается.

Глава LXVI

О том, как Пантагрюэль в виду острова Ганабима^[854] приказал отсалютовать музам

Попутный ветер дул по-прежнему, и все еще не прекращалась шутливая беседа, когда Пантагрюэль издали заметил и завидел гребни гор; указав на них Ксеноману, он спросил:

– Вы видите вон там, налево, высокую двуххолмную гору, очень похожую на гору Парнас в Фокиде?

– Прекрасно вижу, – отвечал Ксеноман. – Это остров Ганабим. Вам угодно на нем высадиться?

– Нет, – объявил Пантагрюэль.

– Ну и отлично, – подхватил Ксеноман. – Там ничего любопытного нет. Живут там одни воры да разбойники. Впрочем, у подошвы правого холма протекает чудесный родник, а кругом дремучий лес. Ваша флотилия могла бы здесь запастись пресной водой и топливом.

– Сказано отлично, с полным знанием дела, – заметил Панург. – Еще бы! Разве можно высаживаться на земле воров и разбойников? Смею вас уверить, что эта страна ничем не отличается от островов Серка и Герма, что между Бретанью и Англией, – мне там бывать

приходилось, – или же от Понерополя^[855] Филиппийского во Фракии: все это острова лиходеев, грабителей, разбойников, убийц и душегубов, по которым плачут подземелья Консьержери^[856]. Не будем на нем высаживаться, умоляю вас! Если уж вы не верите мне, так послушайте совета доброго и мудрого Ксеномана. Клянусь бычьей смертью, они еще хуже каннибалов. Они нас живьем съедят. Пожалуйста, не высаживайтесь! Лучше высадиться в преисподней. Прислушайтесь! Может, это у меня в ушах звенит, но, ей-богу, мне чудится отчаянный набат, – так звонили гасконцы в Бордо, чуть, бывало, завидят сборщиков податей и приставов. Давайте-ка лучше своей дорогой! А ну, прибавим ходу!

– Высаживайтесь, высаживайтесь! – сказал брат Жан. – Пошли, пошли, пошли! Здесь за постой платить не придется. Пошли! Мы их всех по миру пустим. Высаживайся!

– Пусть туда черт причаливает, – отрезал Панург. – Этот черт в монахах, этот сумасшедший монах во чертях ничего не боится. Он, как все черти, сорвиголова и совсем не думает о других. Он воображает, что все на свете такие же монахи, как он.

– Пошел ты, прокаженный, ко всем чертям, – сказал брат Жан, – пусть они тебе все зубы раздробят! До чего ж этот чертов болван подл и труслив, – он поминутно в штаны кладет от безумного страха! Если уж тебя невесть из-за чего так обуял страх – не высаживайся, черт с тобой, оставайся здесь и стереги вещи, а не то так смело лезь к Прозерпине под ее гостеприимную юбку!

В ту же секунду Панург исчез – он юркнул в трюм, где валялись недоеденные куски хлеба, корки и крошки.

– Сердце у меня сжимается, – сказал Пантагрюэль, – и чей-то голос, доносящийся издалека, говорит мне, что высаживаться нам здесь не должно. А ведь всякий раз, как у меня являлось подобное движение чувства, я уклонялся и отдалялся от того, от чего этот голос меня предостерегал, и всегда это бывало к лучшему; так же точно выгадывал я, если шел туда, куда он меня посылал, – словом, не было случая, чтобы я потом каялся.

– Это вроде Сократова демона, о котором так много говорят академики, – заметил Эпистемон.

– Послушайте, что я вам скажу! – молвил брат Жан. – Пусть моряки запасаются пресной водой, Панург пусть себе прохлаждается,

а мы тем временем повеселимся, идет? Прикажите выпалить вон из того василиска, что подле кают-компаний. Так вы отсалютуете музам этого Антипарнаса. А то как бы порох не отсырел.

– Твоя правда, – заключил Пантагрюэль. – Позовите ко мне главного бомбардира.

Бомбардир не заставил себя долго ждать. Пантагрюэль приказал ему пальнуть из василиска, предварительно зарядив его на всякий случай свежим порохом, что и было исполнено незамедлительно. Бомбардиры других судов, раубардж, галлионов и сторожевых галеасов, едва заслышав выстрел из василиска с Пантагрюэлева корабля, также дали по одному выстрелу из тяжелых орудий. Можете себе представить, как они грохотали!

Глава LXVII

О том, как Панург обмарался от страха и принял огромного котищу Салоеда [\[857\]](#) за чертенка

Панург выскочил из трюма, как угорелый козел, в сорочке и в одном чулке, с хлебными крошками в бороде, и держал он за шиворот огромного пушистого кота, вцепившегося в другой его чулок. Шлепая губами, как обезьяна, ищущая вшей, дрожа и стуча зубами, он кинулся к брату Жану, сидевшему на штирборте, и стал Христом-Богом молить его сжалиться над ним и защитить своим мечом, – он божился и клялся всеми благами Папомании, что только сейчас своими глазами видел всех чертей, сорвавшихся с цепи.

– Эй, дружок, брат мой, отец мой духовный, у чертей нынче свадьба! – воскликнул он. – Какие приготовления идут к этому адову пиршеству, – ты отродясь ничего подобного не видывал! Видишь дым из адских кухонь? – Тут он показал ему на дым от выстрелов, поднимавшийся над кораблями. – Ты отроду не видел столько душ, осужденных на вечную муку. И знаешь, что я тебе скажу? Пст, дружок! Они такие белокуренькие, такие миленькие, такие сублильненькие – ну прямо амброзия адских богов. Я уж было подумал, прости Господи, что это английские души. Уж верно, нынче утром сеньоры де Терм и Десе разграбили и разгромили Конский

остров у берегов Шотландии^[858], а равно и англичан, которые его перед тем захватили.

Брат Жан, при появлении Панурга ощутивший некий запах, не похожий на запах пороха, вытащил Панурга на свет и тут только обнаружил, что Панургова сорочка запачкана свежим дерьмом. Сдерживающая сила нерва, которая стягивает сфинктер (то есть задний проход), ослабла у него под внезапным действием страха, вызванного фантастическими его видениями. Прибавьте к этому грохот канонады, внизу казавшийся несравненно страшнее, нежели на палубе, а ведь один из симптомов и признаков страха в том именно и состоит, что дверка, сдерживающая до поры до времени каловую массу, обыкновенно в таких случаях распаивается.

Примером может служить съенец мессер Пандольфо делла Кассина; проезжая на почтовых через Шамбери, он остановился у рачительного хозяина Вине, сбегал к нему в хлев за вилами и сказал: «*Da Roma in qua io non son andato del corpo. Di gratia, piglia in mano questa forcha et fa mi paura*»^[859]. Вине, как бы собираясь огреть его изо всей мочи, сделал несколько выпадов вилами. Съенец же ему сказал: «*Se tu non fai altramente, tu non fai nulla. Pero sforzati di adoperarli piu guagliardamente*»^[860]. Тогда Вине так хватил его между шеей и колетом, что съенец полетел вверх тормашками. А Вине, прыснув и залившись хохотом, сказал: «А, прах побери, это называется *datum Camberiaci*»^[861]!» Между тем съенец вовремя снял штаны, ибо он тут же наложил такую кучу, какой не наложить девяти быкам и четырнадцати архиепископам, вместе взятым. Затем съенец в изысканных выражениях поблагодарил Вине и сказал: «*Jo ti ringratio, bel messere. Così facendo tu m'hai esparmiata la speza d'un servitiale*».^[862]

Другой пример – английский король Эдуард V. Когда мэтр Франсуа Виллон подвергся изгнанию, он нашел прибежище у короля. Король оказывал ему полное доверие и не стыдился поверять ему любые тайны, даже самого низменного свойства. Однажды король, отправляя известную потребность, показал Виллону изображение французского герба и сказал: «Видишь, как я чту французских королей? Их герб находится у меня не где-нибудь, а только в отхожем месте, как раз напротив стульчака». – «Боже милостивый! – воскликнул Виллон. – Какой же вы мудрый, благоразумный и

рассудительный правитель, как заботитесь вы о собственном здоровье и как искусно лечит вас сведущий ваш доктор Томас Лайнекр! В предвидении того, что на старости лет желудок у вас будет крепкий и что вам ежедневно потребуется вставлять в зад *аптекаря*, то есть клистир, – а иначе вы за большой не сходите, – он благодаря своей редкостной, изумительной пронизательности счастливо придумал нарисовать здесь, а не где-нибудь еще, французский герб, ибо при одном взгляде на него на вас находит такой страх и такой неизъяснимый трепет, что в ту же минуту вы наваливаете столько, сколько восемнадцать пеонийских бычков, вместе взятых. А нарисовать вам его где-нибудь еще: в спальне, в гостиной, в капелле или же в галерее, вы бы, крест истинный, как увидели, тотчас бы и какали. А если вам здесь нарисовать еще и великую орифламму Франции, то стоило бы вам на нее взглянуть – и у вас бы кишки наружу полезли. А впрочем, молчу, молчу, *atque iterum*^[863] молчу!

Ведь я парижский шалопай!^[864]
И скоро, сдавленный петлею,
Сочту я тяжестью большою
Мой зад, повисший над землею*.

Еще раз говорю: шалопай я, неученый, бестолковый, безголовый, – ведь я всякий раз давался диву, отчего это вы расстегиваете штаны в спальне. Право, я был уверен, что стульчак у вас за ковром или же за кроватью. А идти с расстегнутыми штанами так далеко в кабинет задумчивости – это мне казалось неприличным. Ну не шалопай ли я после этого? Вы поступаете разумно. Разумнее поступить нельзя. Расстегивайте штаны заранее, как можно дольше, как можно лучше, ибо если вы сюда войдете с нерасстегнутыми штанами и воззритесь на герб, то – помните! – вот как Бог свят, задник ваших штанов мгновенно превратится в урыльник, в судно, в ночной горшок, в стульчак».

Брат Жан, левою рукою заткнув нос, указательным пальцем правой показал Пантагрюэлю на Панургову сорочку. Пантагрюэль, видя, что Панург оторопел, обомлел и неизвестно почему дрожит, что

он обделался и что его поцарапал пресловутый кот Салоед, не мог удержаться от смеха и сказал:

– Что вы намерены сделать с этим котом?

– С этим котом? – переспросил Панург. – Черт побери, ведь я был уверен, что это мохнатый чертенок и что я его незаметно, под шумок поддел на удочку моего чулка в адском закрое. К черту же этого черта! Он мне всю рожу изукрасил своими когтями.

И, сказавши это, Панург швырнул кота на палубу.

– Уйдите, Бога ради, уйдите! – сказал ему Пантагрюэль. – Вымойтесь горячей водой, почиститесь, приведите себя в порядок, наденьте чистую сорочку и вообще переоденьтесь.

– Вы думаете, я испугался? – спросил Панург. – Ничуть. Видит Бог, я такой молодец против овец, каких свет не производил! Ха-ха-ха! Ох-хо-хо! Дьявольщина, вы думаете, это что? По-вашему, это дрисня, дерьмо, кал, г... какашки, испражнения, кишечные извержения, экскременты, нечистоты, помет, гуано, навоз, котяхи, скибал или же спираф? А по-моему, это гибернийский шафран. Ха-ха, хи-хи! Да, да, гибернийский шафран! *Села!*^[865] Итак, по стаканчику!

Конец четвертой книги героических деяний и речений доблестного Пантагрюэля

**Пятая, и последняя, книга героических деяний
и речений доброго Пантагрюэля
Сочинение доктора медицины мэтра Франсуа
Рабле, каковая книга заключает в себе
посещение оракула божественной Бакбук, а
также самое слово бутылки, ради которого и
было предпринято долгое это путешествие**

**Предисловие мэтра Франсуа Рабле к пятой книге
героических деяний и речений Пантагрюэля
К благосклонным читателям**

Вы, пьющие без просыпу, и вы, драгоценнейшие венерики! Пока вы свободны и не заняты более важным делом, я позволю себе задать вам вопрос, почему в наши дни стало ходячей поговоркой: мир перестал быть глупым (*fat*)? *Fat* — слово лангедокское, и означает оно — *без соли, пресный, безвкусный, бесцветный*, а в переносном смысле — *глупый, тупой, бестолковый, безмозглый*. Вы, пожалуй, мне на это ответите, — да логический вывод отсюда и в самом деле таков, — что до сей поры мир был глуп, а теперь он поумнел? Да, но сколь многочисленны и каковы суть обстоятельства, в силу коих он был глуп? Сколь многочисленны и каковы суть обстоятельства, в силу коих он поумнел? Почему он был глуп? Почему он стал умен? В чем именно усматриваете вы былую его глупость? В чем именно усматриваете вы нынешнюю его мудрость? Кто повинен в том, что он был глуп? Кому он обязан тем, что поумнел? Кого больше: тех, что любили его за глупость, или же тех, что любят его за ум? Как долго он был глуп? Как долго будет он умен? Откуда проистекала прежняя его глупость? Откуда проистекает теперешняя его мудрость? Почему именно теперь, а не позднее, пришел конец былой его глупости? Почему именно теперь, а не раньше, началась нынешняя его мудрость? Какое зло сопряжено было с прежней его глупостью? Какое благо сулит нам

теперешняя его мудрость? Что станется с его былою низверженной глупостью? Что станется с его теперешнею возрожденной мудростью?

Ответьте, сделайте милость! Из боязни потревожить родичей ваших я иных заклинаний к вашим преподобиям не применю. Не смущайтесь, посрамите гера Тейфеля^[866], врага райского блаженства, врага истины. Смелее, дети мои! Если вы – люди Божьи, то вместо предисловия хлебните разиков этак пять, а затем исполните мою просьбу; если же вы – слуги не Бога, а *кого-то другого*, то – отвяжись, сатана! Клянусь великим юрлюберли^[867], если вы не поможете мне решить эту задачу, то я раскаюсь, да уже и сейчас начинаю раскаиваться, что вам ее предложил. А между тем решать ее самостоятельно – это для меня не менее тяжкий труд, чем держать волка за уши.

Ну так как же? Ага, понимаю: вы не отваживаетесь дать мне ответ. Клянусь бородой, я тоже уклонюсь от решения. Я только приведу вам, что в пророческом озарении изрек некий почтенный ученый, автор книги *Прелатская волынка*. Что же он, сукин сын, говорит? Послушайте, оболдуи, послушайте!

Тот юбилейный год, когда побриться
Решатся все, на единицу тридцать
Превысит. О какое непочтенье!
Казался глупым мир. Но по прочтенье
Трактатов тотчас поумнеет он
Так, как цветок, который устрашен
Был в дни весны, сумеет вновь раскрыться*.

Слышали? В толк взяли? Ученый – древний, слова его – лаконичны, изречения – скоттичны и туманны. Но хотя трактует он материю саму по себе важную и неудобопонятную, однако ж лучшие толкователи ученого сего мужа разъясняли это место так: коль скоро год юбилейный должен наступить непременно после тридцатого, то из всех лет, составляющих настоящий период времени, юбилейным годом вернее всего будет тысяча пятьсот пятидесятый. Цвету его ничто уже не будет угрожать. С наступлением весны мир никто уже глупым не назовет. Все глупцы, число коих, как уверяет Соломон, бесконечно,

перемрут от бессильной ярости, глупость во всех ее видах исчезнет, а между тем разновидности ее тоже, как утверждает Авиценна, неисчислимы: *maniae infinitae sunt species*^[868], и если в лютую зиму ее отбрасывало к центру, то затем она вновь появлялась на периферии и цвела, точно дерево в полном соку. Этому учит нас опыт, вы сами это знаете, вы сами это видели. И это же в былые времена доказал нам такой светоч ума, как Гиппократ, в своих *Афоризмах*: *Verae etenim maniae*^[869] и т. д. Когда же мир поумнеет, бобовому цветку нечего будет бояться весною, иначе говоря – постом (а вы, уж верно, со стаканом в руке и со слезами на глазах, заранее впадали в уныние), груды книг, с виду цветущих, цветоносных, цветистых, словно бабочки, на самом же деле невразумительных, утомительных, усыпительных, несносных и вредоносных, как творения Гераклита, и туманных, как числа Пифагора, который, по свидетельству Горация, являл собою царя бобов, – все эти книги погибнут, никто их и в руки не возьмет, никто не станет их ни листать, ни читать. Вот что судьба им определила, и предопределение это ныне исполнилось.

Их место заступили бобы в стручках, то есть веселые и плодоносные пантагрюэлические книги, на каковые нынче большой спрос, ибо в преддверии грядущего юбилейного года все стали ими зачитываться, – оттого-то и говорят, что мир поумнел. Ну, вот ваша проблема уже решена и разрешена, а по сему случаю действуйте, как подобает порядочным людям. Прокашляйтесь разика два и выпейте залпом девять стаканов, благо виноград уродился на славу, а ростовщики вешаются один за другим: ведь если хорошая погода еще постоит, то я получу с них изрядную сумму за веревки, – я же не настолько щедр, чтобы снабжать их ими бесплатно всякий и каждый раз, когда кому-нибудь из них придет охота повеситься самому во избежание расходов на палача.

А дабы и вы тоже приобщились к воцаряющейся ныне мудрости, с былою же глупостью разобцились, то прошу вас нимало не медля всюду стереть символ старого философа с золотой ляжкой^[870], через посредство какового символа он воспретил вам употреблять в пищу бобы, ибо все добрые собутыльники считают доказанным и установленным, что воспрещал он это в тех же целях, в каких горе-лекарь покойный Амер, сеньор де Камлотьер, племянник адвоката, воспрещал больным есть крылышко куропатки, гузку рябчика и шейку

голубя, говоря: *Ala mala, croppium dubium, collum bonum pelle remota*^[871], — он приберегал все это для себя, больным же предоставлял глотать одни косточки. Примеру философа последовали иные капюшонцы: они воспретили бобы, то есть пантагрюэлические книги, а еще они подражали в том Филоксену и Гнатону Сицилийскому: эти основоположники их монашеского чревоугодия, сидя за пиршественным столом, плевали на лакомые кусочки, чтобы, не дай Бог, кто-нибудь другой на них не польстился. Вот до какой степени эта паршивая, сопливая, червивая, слюнявая ханжата ненавидит лакомые эти книжки, ненавидит и явно и тайно, и в подлости своей доходит до того, что без зазрения совести на них плюет. И хотя мы теперь имеем возможность читать на нашем галльском языке, как в стихах, так и в прозе, множество превосходных творений и хотя от века лицемерия и готики уцелело не много святынь, однако ж они предпочитают, согласно пословице, среди лебедей гоготать и шипеть по-гусиному, нежели среди стольких изрядных поэтов и красноречивых ораторов сойти за немых, предпочитают играть роль мужлана среди стольких сладкогласных участников благородного этого действия, нежели, замешавшись в толпу лиц без речей, ловить мух, ставить уши торчком, как аркадский осел при звуках песни, и молча, знаками, давать понять, что такую роль они играть согласны.

Придя к этой мысли и к этому убеждению, я решил, что ничего предосудительного не будет в том, если я снова начну двигать мою Диогену бочку, чтобы после вы про меня не говорили, будто я ничьим примерам не следую.

Я гляжу на неисчислимое множество разных Колине, Маро, Друэ, Сен-Желе, Салелей, Массюэлей и на длинную вереницу других поэтов и ораторов галльских.

И вот я вижу, что, долгое время проучившись на горе Парнасе в школе Аполлона, когда им не возбранялось вместе с веселыми музами черпать из Конского источника целыми кубками, ныне они несут к вечно строящемуся зданию обиходного нашего языка только паросский мрамор, алебастр, порфир и добрый королевский цемент; они толкуют лишь о героических подвигах, великих деяниях, о материях важных, неудобопонятных и недоступных, и выражено все это у них витиевато и кудреват; их творения струят лишь нектар, дар

богов драгоценный, вино искристое, игристое, благодатное, благотворное, душистое. И честь эта принадлежит не одним мужчинам, ее заслужили и дамы, и среди них та, у коей в жилах течет кровь французской королевской семьи^[872], имя коей невозможно произнести, не воздав ей величайших почестей, изумляющая наш век своими писаниями, высокими своими помыслами, изящными оборотами речи и красотами дивного своего слога. Подражайте им, если сумеете, ну, а я подражать им не сумею – не каждому дано жить и пребывать в Коринфе. Не каждый был в состоянии пожертвовать от щедрот своих золотой сикль на построение храма Соломона. А так как в искусстве зодчества мне за ними все равно не угнаться, то и порешил я последовать примеру Рено де Монтабана: я стану прислуживать каменщикам, я стану стряпать на каменщиков, и хотя товарищем их мне не быть, зато они приобретут во мне неутомимого слушателя превыспренних своих творений.

Вы умираете от страха, вы, злопыхательствующие и завистливые зоилы; ну так ступайте вешаться, но только сами выбирайте себе дерево, веревочка же для вас найдется. Здесь, пред лицом моего Геликона, в присутствии божественных муз, я даю обещание, что если мне суждено целым и невредимым прожить век собачий, да еще и век трех воронов, так, как прожили свой век святой вождь иудеев, музыкант Ксенофил и философ Демонакс, то я, наперекор всем этим чужедумам, перетряхивающим то, что было уже сотни раз жевано и пережевано, штопальщикам латинского старья, перекупщикам старых латинских слов, заплесневелых и неточных, с помощью убедительных аргументов и неопровержимых доводов докажу, что обиходный наш язык вовсе не так низок, нелеп, беден и ничтожен, как они о том полагают. На этом основании я покорнейше буду просить вот о какой особой милости: подобно тому как во времена давно прошедшие, когда Феб распределял блага между великими поэтами, на долю Эзопа все же осталось место и должность баснописца, так же точно, видя, что я на более высокую степень и не притязаю, они, уж верно, не погнушаются мною в должности скромного репописца, ученика Пирейка; они мне не откажут, я в том уверен: ведь добрее, человеколюбивее, любезнее и мягкосерднее их на всем свете не сыщешь. Таким путем, пьянчуги, таким путем, забулдыги, они приберут к рукам весь урожай, ибо, пересказывая другим содержание

моих книг на тайных своих сборищах, сами вкушая же пищу, которую для них представляют глубокие тайны, заключенные в моих книгах, они присваивают себе их славу – так поступал Александр Великий с творениями непревзойденного философа Аристотеля.

Ах ты, живот на живот, экие пройдохвосты, экие сквернавцы!

Со всем тем, кутилы, я вам советую: в свободное время и в час досуга обойдите книжные лавки и, где только мои книги обнаружите, тотчас же запасайтесь ими; и не только шелушите их, но и поглощайте, вводите их как сердцеукрепляющее средство в свой организм, и вы узнаете, какую пользу приносят они всем бобошелушителям, столь милым моей душе. Сейчас я вам предложу хорошенькую, верхом полную корзиночку бобов, которую я, как и предыдущие, набрал у себя в огороде, и повергну к стопам вашим смиренную просьбу: кушайте их на здоровье, а к следующему прилету ласточек ожидайте чего-нибудь повкуснее.

Глава I

О том, как Пантагрюэль прибыл на остров Звонкий^[873], а равно и о том, какой мы там услышали шум

Ни в тот день, ни на другой, ни на третий мы не видели суши и не обнаружили ничего нового, ибо это побережье было нам уже знакомо. На четвертый день, начав огибать полюс и удаляться от экватора, мы наконец завидели сушу; лоцман же нам сказал, что это остров Трифы^[874], и тут мы услышали долетавший издали частый и беспорядочный звон, в котором мы различили большие, маленькие и средние колокола и который напомнил нам трезвон, какой бывает по большим праздникам в Париже, Туре, Жаржо, Медоне и других местах. По мере нашего приближения звон все усиливался.

Мы было подумали, что это додонские бубенцы, или же олимпийский портик Гептафон, или же постоянный звон, исходящий от колосса, воздвигнутого над гробницей Мемнона в египетских Фивах, или же, наконец, тот шум и гам, что раздавались в былые времена вокруг некоей усыпальницы на одном из Эолийских островов, а именно Липаре, но все это, однако ж, не подтверждалось местоположением.

– Сдается мне, – сказал Пантагрюэль, – что оттуда поднялся было пчелиный рой, и вот, дабы водворить его на прежнее место, все и начали бить в сковороды, в котлы, в тазы и в корибантские кимвалы Кибелы, праматери всех богов. Ну что ж, послушаем!

Подойдя еще ближе, мы установили, что к неумолчному звону колоколов примешивалось непрерывное пение людей – по-видимому, местных жителей. Вот почему Пантагрюэль, прежде чем пристать к острову Звонкому, порешил подплыть в челне к невысокой скале и у ее подошвы высадиться, ибо неподалеку от нее виднелась хижина с садиком.

Нас встретил низенький простоватый отшельник по имени Гульфигус, уроженец Глатиньи; он дал нам исчерпывающие объяснения касательно трезвона и весьма странно нас угостил. Он велел нам четыре дня подряд поститься, иначе, мол, нас не пустят на остров Звонкий, а там сейчас начался пост четырех времен года.

– Не понимаю, что это значит, – заговорил Панург, – скорей уж это время четырех ветров: ведь этот пост одним только ветром нас и начинит. Нет, правда, неужто вы, кроме поста, иного времяпрепровождения не знаете? Приятного мало, я вам доложу. Нам эти придворные церемонии, собственно, ни к чему.

– Мой Донат различает только три времени: прошедшее, настоящее и будущее, – заметил брат Жан, – а четвертое время – это уж у них так, сбоку припека.

– Это аорист^[875], превратившийся из прошедшего весьма совершенного греков и латинян в наше мутное и смутное время, – пояснил Эпистемон. – Ну что ж, слепой сказал: «Посмотрим».

– Время роковое, вот что я вам скажу, – объявил отшельник, – а кто пойдет мне наперекор, того еретика прямо на костер.

– Ну еще бы, отче! – подхватил Панург. – Вот только когда я на море, я гораздо больше боюсь промокнуть, нежели перегреться, и потонуть, нежели сгореть. Ладно уж, попостимся для Бога, но ведь я так долго постился, что посты подорвали мою плоть, и я очень опасаясь, что бастионы моего тела в конце концов рухнут. А еще я боюсь прогневать вас во время поста: я ведь в этом ничего не смыслю, и у меня это не особенно ловко получается, – так по крайности мне говорили многие, и я не имею оснований им не верить. Меня же лично пост не смущает – что может быть проще и сподручнее? Меня больше

смущает, как бы нам не пришлось поститься и впредь, а про черный день непременно нужно иметь какой-нибудь запас. Ну да уж попостимся для Бога, коль скоро мы попали в самые голодные праздники, – я их не праздновал с давних пор.

– Если уж не поститься нельзя, то лучше возможно скорее от этого отделаться, как от плохой дороги, – молвил Пантагрюэль. – Вот только я бы хотел просмотреть сперва свои бумаги и удостовериться, не хуже ли морская наука сухопутной: недаром Платон, описывая человека глупого, несовершенного и невежественного, сравнивает его с человеком, выросшим на корабле, а мы бы сравнили его с человеком, выросшим в бочке и глядевшим только в дыру.

Пост наш оказался страшным и ужасным: в первый день мы постились через пень-колоду; во второй – спустя рукава; в третий – во всю мочь; в четвертый – почем зря. Таково было веление фей.

Глава II

О том, как ситицины, населявшие остров Звонкий, превратились впоследствии в птиц

Когда наш пост окончился, отшельник дал нам письмо к некоему мэтру Эдитусу^[876], жителю острова Звонкого; Панург, однако ж, переименовал его в Антитуса. Это был славный старичок, лысый, румяный, багроволицый; благодаря рекомендации отшельника, который уведомил его, что мы постились, как о том было сказано выше, он встретил нас с распростертыми объятиями. Досыта накормив, он ознакомил нас со всеми особенностями этого острова и сообщил, что прежде остров был населен ситицинами^[877], которые впоследствии по велению природы (ведь все же на свете меняется) превратились в птиц.

Тут только я вполне уразумел, что Аттей Капитон, Поллукс, Марцелл, А. Геллий, Афиней, Свида, Аммоний и другие писали о ситицинах и сицинистах, и теперь нам уже не показалось маловероятным превращение в птиц Никтимены, Прокны, Итиса, Альционы, Антигоны, Терей и других. Равным образом мы уже почти перестали сомневаться в том, как могли Матабрюнины дети

превратиться в лебедят, а фракийские палленцы, девять раз искупавшиеся в Тритоновом болоте, – внезапно превратиться в птиц.

Затем старичок ни о чем другом уже с нами не говорил, кроме как о клетках да о птицах. Клетки были большие, дорогие, великолепные, сработанные на диво. Птицы были большие, красивые, приятные в обращении, живо напоминавшие моих соотечественников; пили и ели они, как люди, испражнялись, как люди, спали и совокуплялись, как люди; словом, с первого взгляда можно было подумать, что это люди; и все же, как пояснил нам мэтр Эдитус, это были не люди и, по его словам, не принадлежали ни к мирянам, ни к белому духовенству. Оперение их также заставило нас призадуматься: у одних оно было сплошь белое, у других – сплошь черное, у третьих – сплошь серое, у четвертых – наполовину белое, наполовину черное, у пятых – сплошь красное, у шестых – белое с голубым, так что любо-дорого было на них смотреть. Самцов старичок называл так: клирцы, инокцы, священцы, аббатцы, епископцы, кардинцы и, единственный в своем роде, папец. Самки назывались: клирицы, инокицы, священницы, аббатицы, епископицы, кардиницы и папицы. Далее старичок сообщил нам, что, подобно тому как к пчелам забираются трутни, которые ровным счетом ничего не делают и только все поедают и портят, так же точно и к этим веселым птицам вот уже триста лет каждую пятую луну неизвестно отчего налетает видимо-невидимо ханжецов, опозоривших и загадивших весь остров, до того безобразных и отталкивающих, что все от них – как от чумы: шея у них свернута, лапы – мохнатые, когти и живот, как у гарпий, зад, как у стимфалид^[878], истребить же их невозможно: одну убьешь – сей же час налетит еще двадцать четыре. Я невольно пожалел, что среди нас нет второго Геркулеса. А брат Жан с таким жадным вниманием все обзирал, что под конец совсем обалдел.

Глава III

Отчего на острове Звонком всего лишь один папец

Мы спросили у мэтра Эдитуса, отчего, несмотря на то что все разновидности почтенных этих птиц представлены здесь в изобилии, папец всего лишь один. На это он нам ответил, что таково было извечное установление и фатальное предопределение небесных

светил: от клирцов рождаются священцы и инокцы, однако ж, как это бывает у пчел, без плотского соития. От священцов рождаются епископцы, от епископцов – пригожие кардинцы; иной кардинец, если только дни его не прервет смерть, может превратиться в папца, папец же обыкновенно бывает только один, подобно тому как в пчелиных ульях бывает только одна матка, а в мире есть только одно солнце.

Как скоро папец преставится, на его место рождается кто-нибудь другой, из породы кардинцов, но только, разумеется, без плотского совокупления. Таким образом, у этой породы бывает только одна-единственная особь с непрерывною преемственностью – точь-в-точь как у аравийского феникса. Впрочем, около двух тысяч семисот шестидесяти лун тому назад природа произвела на свет двух папцов одновременно, но то было величайшее из всех бедствий^[879], когда-либо остров сей посещавших.

– Птицы в те поры принялись друг друга грабить, и все они передрались, – повествовал Эдитус, – так что острову грозила опасность остаться совсем без обитателей. Часть птиц примкнула к одному из папцов и оказала ему поддержку; другая – к другому и стала на его защиту; часть птиц молчала, как рыбы, они уже больше не пели, и колокола их, точно на них был наложен запрет, ни разу не зазвонили. В это смутное время на помощь к ним являлись императоры, короли, герцоги, маркизы, графы, бароны, а также представители всех общин мира, какие только существуют на материке, и ереси этой и расколу пришел конец не прежде, чем один из папцов приказал долго жить и множественность вновь свелась к единству.

Затем мы задали старцу вопрос, что побуждает этих птиц петь без умолку. Эдитус нам ответил, что причиной тому колокола, висящие над клетками.

– Хотите, я сейчас заставлю петь вот этих инокцов, у которых капюшоны – что мешочки для фильтрования красного вина или же хохолки у лесных жаворонков? – предложил он.

– Пожалуйста, – сказали мы.

Тут он ударил в колокол всего только шесть раз, и инокцы в тот же миг слетелись и запели.

– А если я зазвоню в другой колокол, вон те птички, у которых оперение цвета копченых сельдей^[880], тоже запоют? – любопытствовал Панург.

– Тоже, – отвечал старик.

Панург позвонил, и прокопченные птицы мгновенно слетелись и хором запели, но только голоса у них были хриплые и неприятные. Эдитус нам пояснил, что они питаются одною рыбой, словно цапли или же бакланы, и что это пятая разновидность новоиспеченных ханжецов. К сказанному он еще прибавил, что по имеющимся у него сведениям, полученным от Робера Вальбрэнга^[881], который был здесь проездом из Африки, сюда должна прилететь еще и шестая разновидность – так называемые капуцинцы, самые унылые, самые тощие и самые несносные из всех разновидностей, какие только на острове этом представлены.

– Это в обычаях Африки – производить на свет все новых и новых чудищ, – заметил Пантагрюэль.

Глава IV

Отчего птицы острова Звонкого – перелетные

– Вы нам объяснили, как от кардинцов рождается папец, кардинцы – от епископцов, епископцы – от священцов, священцы – от клирцов, – сказал Пантагрюэль, – а теперь я желал бы знать, откуда у вас берутся клирцы.

– Все они – птицы перелетные, и прибывают они к нам из дальних стран, – отвечал Эдитус, – одни – из чрезвычайно обширной страны под названием Голодный день, другие же – из страны западной под названием Насшлишкоммно. Оттуда клирцы ежегодно слетаются к нам целыми стаями, покидая отцов, матерей, друзей и родичей своих. Вот каков там обычай: когда в стране Насшлишкоммно в каком-нибудь знатном доме народится слишком много детей, все равно – мужеского или женского пола, то если бы каждый из них получил свою долю наследства, как того хочет разум, требует природа и велит Господь Бог, дом был бы разорен. Потому-то родители и сбывают их с рук на наш остров, даже если они обитатели острова Боссара.

– Уж верно, вы разумеете Бушар, что близ Шинона, – заметил Панург.

– Нет, Боссар, от слова *боссю*, то есть *горбатый*, — возразил Эдитус, – дети-то ведь у них почти что все горбатые, кривые, хромые, однорукие, подагрики, уроды и калеки, даром бременящие землю.

– Этот обычай, – молвил Пантагрюэль, – прямо противоположен соблюдавшимся в былое время правилам посвящения девушек в весталки, каковыя правила, по свидетельству Лабеоны Антистия^[882], воспрещали возводить в этот сан девушку с каким-либо душевным пороком, каким-либо изъяном в органах чувств или же каким-нибудь физическим недостатком, хотя бы даже крошечным и незаметным.

– Я поражаюсь, – продолжал Эдитус, – как это тамошние матери еще носят их девять месяцев во чреве: ведь в своем доме они не способны выносить их и терпеть дольше девяти, а чаще всего и семи лет, – они накидывают им поверх детского платья какую ни на есть рубашонку, срезают с их макушек, творя при этом заклинания и умиловительные молитвы, сколько-то там волосков, точь-в-точь как египтяне, которым, для того чтобы посвятить кого-нибудь в жрецы Изиды, также требовались льняная одежда и бритва, и открыто, явно, всенародно, путем пифагорейского метемпсихоза, не нанося им ни ран, ни повреждений, превращают их вот в этаких птиц. Одно только, друзья мои, мне неясно и непонятно: отчего это самки, будь то священницы, инокицы или же аббатицы, вместо приятных для слуха благодарственных песнопений, которые, как установил Зороастр, полагается петь в честь Ормузда, распевают богомерзкие мрачные гимны, подобающие демону Ариману. И все они – и старые и молодые – беспрестанно осыпают проклятиями родичей своих и друзей, которые превратили их в птиц.

Больше всего их летит к нам из страны Голодный день, коей нет конца-краю: когда населяющим сей остров *асафиям*^[883] грозит такое не слишком приятное удовольствие, как голодовка, то ли от нехватки пищи, то ли от неумения и нежелания хоть что-нибудь делать, заниматься каким-либо благородным искусством или почтенным ремеслом, верой и правдой служить честным людям; когда им не везет в любви; когда они, потерпев неудачу в своих предприятиях, впадают в отчаяние; когда они, совершив какое-нибудь гнусное преступление, скрываются от позорной казни, то все они слетаются сюда на готовенькое: прилетят тощие, как сороки, – глядь, уж разжирили, как сурки. Здесь они в полной безопасности, неприкосновенности и на полной свободе.

– А что, эти милые птички, прилетев сюда, возвращаются потом в тот край, где они были высижены? – осведомился Пантагрюэль.

– Лишь немногие, – отвечал Эдитус. – Прежде – совсем мало, долгое время спустя и неохотно. А вот после некоторых затмений, под влиянием небесных светил, снялась сразу целая стая. Мы, однако ж, на то не в обиде, – слава Богу, на наш век хватит. И перед тем как улететь, все они побросали свое оперение в крапиву и в терновник.

И точно, мы наткнулись на остатки этого оперения, а кроме того, случайно обнаружили раскрытую баночку из-под румян.

Глава V

О том, что на острове Звонком прожорливые птицы никогда не поют

Не успел он договорить, как возле нас опустилось двадцать пять, а то и тридцать птиц такого цвета и оперения, каких мы еще на острове не видывали. Оперение их меняло окраску час от часу, подобно коже хамелеона или же цветку триполия и тевкриона. И у всех под левым крылом был знак в виде двух диаметров, делящих пополам круг, или же линии, перпендикулярной к прямой. Знак этот был почти у всех одинаковой формы, но цвета разного^[884]: у одних – белого, у других – зеленого, у третьих – красного, у четвертых – фиолетового, у пятых – голубого.

– Кто они такие и как они у вас называются? – осведомился Панург.

– Это метисы, – отвечал Эдитус, – зовем же мы их командорами, то бишь обжорами, – у вас к их услугам многое множество ломящихся от снеди обжорок.

– Сделайте милость, заставьте их спеть, – сказал я, – нам бы хотелось послушать их голоса.

– Они никогда не поют, – отвечал старикан, – зато едят за двоих.

– А где же их самки? – спросил я.

– Самок у них нет, – отвечал тот.

– Почему же они в таком случае покрыты коростой и изъедены дурной болезнью? – ввернул Панург.

– Дурной болезнью эта порода птиц часто болеет, оттого что она общается с флотом, – отвечал старец. – К вам же они слетелись, – продолжал он, – дабы удостовериться, нет ли среди вас представителей

еще одной, будто бы встречающейся в ваших краях, великолепной породы *цов*, хищных и грозных птиц, не идущих на приманку и не признающих перчатки сокольников. А вот некоторые из этих носят на ногах вместо ремешков красивые и дорогие подвязки с надписью на колечке, но только слова *кто об этом дурно подумает* частенько бывают загажены. Другие поверх оперения носят знак победы над злым духом, третьи – баранью шкуру.

– Такая порода, может быть, и существует, мэтр Антитус, однако ж нам она неизвестна, – объявил Панург.

– Ну, довольно болтать, – заключил Эдитус, – пойдёмте выпьем.

– А как насчет закуски? – спросил Панург.

– Где жажду заливают, там и брюхо набивают, – отвечивал Эдитус. – Нет ничего дороже и драгоценнее времени, – так употребим же его на добрые дела.

Прежде всего он отвел нас в кардинцовые бани, отменные бани, где вы чувствуете себя наверху блаженства; когда же мы вышли из бань, он велел *алиптам*^[885] умастить нас дорогими благовонными мазями. Пантагрюэль, однако ж, ему сказал, что он и без того выпьет как должно. Тогда старик провел нас в большую, весьма заманчивую трапезную и сказал:

– Мне ведомо, что отшельник Гульфигус заставил вас поститься четыре дня подряд, ну, а здесь вы, напротив, четыре дня подряд будете есть и пить без передышки.

– А спать-то мы все-таки будем? – спросил Панург.

– Это уж как кому угодно, – заметил Эдитус, – кто спит, тот и пьёт.

Господи Боже мой, ну и пир же он нам закатил! То-то добрая душа!

Глава VI

Чем птицы острова Звонкого питались

Пантагрюэль приуныл; по-видимому, четырехдневный срок, который определил нам Эдитус, был ему не по душе, что не прошло незамеченным для самого Эдитуса, и он сказал Пантагрюэлю:

– Государь! Вам известно, что всю неделю перед зимним солнцестоянием и всю неделю после него на море не бывает бурь. Это зависит от того, что стихии благосклонны к алькионам^[886], птицам,

посвященным Фетиде, которые как раз в это время высиживают и выводят на берегу птенцов. У нас здесь море мстит за долгое спокойствие, и, когда к нам приезжают путешественники, четыре дня кряду грозно бушует. Все же, думается нам, это оно для того, чтобы вы по необходимости здесь задержались и в течение четырех дней угощались на доходы от колокольного звона. Не думайте, однако ж, что это для вас потерянное время. Вам волей-неволей придется у нас побыть, если только вы не хотите иметь дело с Юноной, Нептуном, Доридой, Эолом и всеми вейовисами. Но у вас теперь одна забота: попировать на славу.

Основательно подзакусив, брат Жан обратился к Эдитусу с такими словами:

– У вас на острове все только клетки да птицы. Птицы не обрабатывают и не возделывают землю. Они знай себе прыгают, щебечут да поют. Откуда же у вас этот рог изобилия, откуда же столько благ и столько лакомых кусочков?

– Со всего света, – отвечал Эдитус, – за исключением некоторых областей в царстве Аквилона^[887], из-за коих вот уже несколько лет волнуются болота Камарины.

– Ни черта, – сказал брат Жан. —

Их ждет раскаянье, дон-динь,
Их ждет раскаянье, динь-дон!*

Выпьем, друзья!

– А вы-то сами откуда? – спросил Эдитус.

– Из Турени, – отвечал Панург.

– Раз вы из благословенной Турени, стало быть, вы племя не злое, – заметил Эдитус. – Из Турени к нам ежегодно чего-чего только не доставляют, и даже как-то раз ваши соотчичи, заезжавшие к нам по пути, говорили, что герцог Туреньский подголаживает по причине чрезмерной щедрости его предшественников, которые закармливали высокопреосвященнейших наших птиц фазанами, куропатками, рябчиками, индейками, жирными лодюнскими каплунами и всякого рода крупной и мелкой дичью. Выпьем, друзья мои! Взгляните на этот насест с птицами: какие они откормленные, раздобревшие, – это все

благодаря пожертвованиям, и потому-то они так сладко поют. Лучшего пения вам не услышать, как ежели они увидят два золотых жезла...

– Это, уж верно, в праздник жезлов, – вставил брат Жан.

– ...или ежели я зазвоню в большие колокола, что вокруг ихних клеток. Выпьем, друзья! Сегодня хорошо пьется, как, впрочем, и в любой другой день. Выпьем! Пью за вас от всей души, будьте здоровы! Не бойтесь, что вина и закуски не хватит. Даже когда небеса сделаются медью, а земля – железом, все равно к тому времени наши запасы еще не подберутся, – с ними мы продержимся лет на семь – на восемь дольше, чем длился голод в Египте. А посему давайте в мире и согласии выпьем!

– Дьявольщина! – воскликнул Панург. – Славно же вам на этом свете живется!

– А на том еще лучше будет, – подхватил Эдитус. – Нас там ждут Елисейские поля, можете быть уверены. Выпьем, друзья! Пью за вас всех.

– Уж верно, по внушению божественного и совершенного духа первые ваши ситицины изобрели средство, благодаря которому у вас есть то, к чему все люди, естественно, стремятся и что мало кому, а вернее сказать, никому не бывает даровано, – заметил я: – рай не только на этом, но и на том свете.

О полубоги! О счастливцы!
Судьбы такой же я хочу!*

Глава VII

О том, как Панург рассказывает мэтру Эдитусу притчу о жеребце и осле

После того как мы славно угостились, Эдитус отвел нас в хорошо обставленную, увешанную коврами, вызолоченную комнату. Туда же он велел подать миробаланов, вареного зеленого имбирю, как можно больше вина, настоянного на корице, и еще другого вина с восхитительным букетом, и посоветовал нам принять эти противоядия как летейскую воду, дабы позабыть и махнуть рукой на тяготы, сопряженные с морским путешествием; кроме того, он распорядился

доставить изрядное количество съестных припасов на наши суда, уже вошедшие в гавань. Однако ночью нам не давал спать беспрерывный колокольный звон.

В полночь Эдитус поднял нас на предмет возлияния; он выпил первый и сказал:

– Вы, люди из другого мира, утверждаете, что невежество – мать всех пороков, и утверждение ваше справедливо, но со всем тем вы не изгоняете невежества из собственного своего разума, вы живете в нем, с ним и благодаря ему. Оттого-то вас повседневно осаждает столько зол! Вечно вы жалуетесь, вечно вы сетуете и никогда не бываете довольны. Сейчас я в том совершенно удостоверился: невежество приковало вас к постелям, как некогда бога войны приковал Вулкан^[888], – вы не догадываетесь, что долг ваш состоит в том, чтобы скупиться на сон, но никак не на блага достославного сего острова. Вам бы за это время следовало покушать не меньше трех раз, и уж вы поверьте моему опыту: чтобы поесть припасы острова Звонкого, надобно вставать спозаранку; если их потреблять, они увеличиваются; если же их беречь, они идут на убыль. Косите свой луг вовремя, и трава у вас вырастет еще гуще и еще питательнее, а не станете косить – через несколько лет он у вас зарастет мхом. Выпьем же, друзья, выпьем все вдруг! Даже самые тощие из наших птиц поют теперь для нас, – соблаговолите же выпить за них. Сделайте одолжение, выпейте, – от этого вы только лучше прокашляетесь! Выпьем раз, и другой, и третий, и так до девяти: *non zelus, sed charits!*^[889]

На рассвете он опять разбудил нас, чтобы угостить ломтиками хлеба, смоченными в супе. После этого мы только и делали, что ели, и так продолжалось весь день; мы уже не разбирали, что это: обед или ужин, закуска или завтрак. Единственно для того, чтобы хоть немного размяться, мы все же прошлись по острову и послушали пение прелестных этих пташек.

Вечером Панург сказал Эдитусу:

– Сударь! Дозвольте рассказать вам забавный случай, происшедший в Шательро назад тому двадцать три луны. Конюх одного дворянина апрельским утром выезжал на выгоне его боевых коней. И вот повстречалась ему там веселая пастушка: она

Одна в тени кустов густых
Овечек стерегла своих*,

а также осла и коз. Слово за слово, он уговорил ее сесть на круп его коня, посетить его конюшню и отведать деревенского его угощения. Пока они переговаривались, конь обратился к ослу и сказал ему на ухо (должно заметить, что весь тот год животные всюду разговаривали друг с дружкой):

– Бедный, горемычный ослик! Я испытываю к тебе жалость и сострадание, день-деньской ты трудишься без устали, – это видно по тому, как потерялся твой подхвостник. И так тому и быть надлежит, – ведь ты создан Богом для того, чтобы служить человеку. Ты славный ослик. Но я замечаю, что тебя плохо чистят, скребут, снаряжают и кормят, – мне это, откровенно говоря, представляется жестоким и несправедливым. Ты весь взъерошен, загнан, заморен, питаешься ты одним тростником, терновником да репейником. Так вот, ослик, потрусика ты следом за мной и погляди, как обходятся с нами, коих природа произвела на свет для войны, и как нас кормят. Ты, верно уж, позавидуешь моим порциям.

– Ладно, господин конь, с великим удовольствием, – отвечал осел.

– Я тебе, осел, не господин конь, а господин жеребец, – поправил его жеребец.

– Извините, господин жеребец, – молвил осел, – ведь мы – мужланы, деревенщина, народ темный, говорить правильно не умеем. Да, так вот, коль скоро вы мне оказали такое благодеяние и такую честь, я к вашим услугам, но только я буду следовать за вами на расстоянии: я боюсь побоев, у меня и так вся спина исхлестана.

Как скоро пастушка вспрыгнула на коня, осел, предвкушая обильное угощение, двинулся за ним. Когда они уже совсем приближались к месту своего назначения, конюх заметил осла и велел мальчишкам, состоявшим при конюшне, встретить его вилами и обломать ему бока палками. Услышав такие речи, осел поручил себя богу Нептуну и рассудил за благо как можно скорее унести ноги; удаляясь же, он размышлял и строил такого рода умозаключения: «Конь рассудил здраво, не пристало мне тянуться за вельможами; природа произвела меня на свет единственно для того, чтобы я

услужал людям бедным. Эзоп в одной из своих басен мне это ясно доказал. Я слишком высоко занесся; выход один – припуститься во весь мах, пока цел». И тут мой осел зарысил, затрепал, заскакал, припрыгивая, привзбрыкивая, припукивая.

Пастушка, видя, что осел удирает, сказала конюху, что это ее осел, и попросила не обижать его, а иначе, дескать, она сей же час повернет обратно. Тогда конюх рассудил так, что лучше, мол, целую неделю не давать овса лошадям, но уж ослу засыпать вдосталь. Однако приманить осла оказалось не так-то просто. Мальчишки его подзывали, подзывали: «Тпру, тпру, ослик, тпру!» А осел: «Не пойду, я стесняюсь!» Чем ласковее его называли, тем сильнее упорствовал он в брыкне своей и трескотне. Так бы оно и продолжалось, да вмешалась пастушка и посоветовала помахать ослу решетом, что и было исполнено. Осел в тот же миг повернул назад и сказал: «Коли овсецем – *грешнии, притецем*, но только не вилами. И не хотел бы я также остаться при своих». Итак, осел сдался и премило запел, а ведь вы же знаете, сколь приятны для слуха пение и музыка сих аркадских животных.

Как скоро он приблизился, его поставили в стойло рядом с боевым конем, и тут давай его отчищать, оттирать, отскребать, свежей подстилки ему по брюхо навалили, сена – вволю, овса – вдоволь; когда же мальчишки начали просеивать для него овес, ослик запрял ушами в знак того, что он хорош и с непросеянным овсом и что это-де слишком много чести.

По окончании обильной трапезы конь обратился к ослу с вопросом:

– Ну, бедный ослик, как дела? Хорошо ли тут за тобой ухаживают? А ты еще упрявился. Что, брат?

– Клянусь той самой фигой, которую ел один из моих предков, уморив со смеху Филемона, я здесь, у вас, господин жеребец, блаженствую, – отвечал осел. – Но только ведь это еще не все? Уж верно, вы, господа кони, тут осликаете?

– О каком таком осликанье ты толкуешь, осел? – спросил конь. – Ты что, рехнулся? По-твоему, я осел?

– Ах, ах! – всполошился осел. – Я осел неотесанный, придворного языка лошадей не разумею. Я спрашиваю: жеребцуете ли вы тут, господа жеребцы?

– Тише ты, осел! – сказал конь. – Услышат ребята – они тебя так попотчуют вилами, что ты забудешь, как это осликают. Мы здесь народ пуганый: мы отваживаемся только чуть-чуть выставить кончик, когда захочется помочиться. А во всем остальном у нас житье райское.

– Клянусь своей подпругой, я от такой жизни отказываюсь, – объявил осел, – не нужно мне твоей подстилки, твоего сена, твоего овса. Да здравствует репейник, растущий в поле, потому что там жеребцуй себе сколько хочешь! Меньше есть, да зато в любую минуту жеребнуть – вот мой девиз, и это наше сено и наш корм. Ах, господин жеребец, друг мой! Посмотрел бы ты на нас на ярмарке, когда весь наш провинциальный капитул в сборе, – то-то мы осликаем всласть, пока наши хозяйки торгуют гусятами да цыплятами!

На том они и расстались. Вот и все.

Тут Панург примолк и больше уже не проронил ни слова. Пантагрюэль стал его уговаривать окончить рассказ. Эдитус, однако же, возразил.

– Догадливому слушателю много слов не требуется, – молвил он. – Я отлично понял, что вы хотели сказать и на что вы намекаете эту притчею об осле и коне, бесстыдник вы этакий. Только здесь, было бы вам известно, поживы для вас не найдется, и больше про то ни гугу.

– Нет, найдется, – возразил Панург, – недавно я видел тут одну аббатицу с белыми перышками, – покататься на ней куда приятнее, чем просто подержать ее за руку. Другие мне показались стреляными птицами, ну, а та сейчас видно, что птица важная. Я хочу сказать, премиленькая, прехорошенькая, с такой нельзя разочка два не согрешить. Но только, видит Бог, ничего дурного у меня и в мыслях не было, а коли было, так пусть оно лучше приключится со мной.

Глава VIII

О том, как мы, преодолев препятствия, увидели наконец папца

Третий день, так же как и два предыдущие, проходил у нас в увеселениях и непрерывных пирушках. В этот именно день Пантагрюэль изъявил настойчивое желание увидеть папца; Эдитус, однако ж, сказал, что папеч не весьма охотно дает на себя посмотреть.

– А разве у него Плутонов шлем^[890] на голове, Гигесово кольцо на когтях^[891] или же хамелеон на груди^[892], что он может быть невидим? – спросил Пантагрюэль.

– Нет, – отвечал Эдитус, – но он по природе своей не весьма доступен для лицезрения. Все же я постараюсь устроить так, чтобы вы на него посмотрели, буде это окажется возможным.

С последним словом он удалился, а мы продолжали набивать брюхо. Четверть часа спустя он возвратился и сказал, что папеч видим; и вот повел он нас крадучись и молчком прямо к клетке, в которой, окруженный двумя маленькими кардинцами и шестью толстыми и жирными епископцами, распутивши крылья, сидел папеч. Наружность его, движения и осанка привлекли к себе пристальное внимание Панурга. Наконец Панург громко воскликнул:

– А, нелегкая его возьми! С этим своим хохлом он ни дать ни взять урод, то бишь урод!

– Ради Бога, тише! – сказал Эдитус. – У него есть уши, как это совершенно справедливо заметил Михаил Матисконский.

– А все-таки он урод, – молвил Панург.

– Если только он услышит, что вы кощунствуете, – вы погибли, добрые люди. Видите, у него в клетке водоем? Оттуда на вас посыплются громы, молнии, зарницы, черти, вихри, и вы в мгновение ока уйдете на сто футов под землю.

– Лучше бы нам бражничать да пировать, – молвил брат Жан.

Панург все с таким же неослабным вниманием продолжал рассматривать папца и его присных, но вдруг, обнаружив под клеткой казарку, возопил:

– Свидетель Бог, мы попались на манки и угодили в силки, – видят, что дурачки, ну и втерли нам очки! В этой стране сплошное плутовство, жульничество и мошенничество, – не приведи Господь. Глядите, вон казарка! Это нас Бог наказал.

– Ради Бога, тише! – сказал Эдитус. – Вовсе это не казарка – это самец, досточтимый отец казначей.

– А ну-ка, – сказал Пантагрюэль, – заставьте папца что-нибудь спеть, мы хотим послушать его напевы.

– Он поет лишь в положенные дни и ест лишь в положенные часы, – возразил Эдитус.

– А у меня не так, – молвил Панург, – у меня все часы – положенные. Так пойдем же кутнем напропалую!

– Вот сейчас вы рассудили здраво, – заметил Эдитус. – Рассуждая таким образом, вы никогда не станете еретиком. Я с вами согласен, идемте!

Идя обратной дорогой, мы заметили старого зеленоголового епископа^[893]: распутивши крылья, он сидел под сенью древа с епископом викарным и тремя веселыми птичками – онокроталиями^[894], то бишь протонотариями, и похрапывал. Возле него весело распевала премиленькая аббатица, и так нам это пение понравилось, что мы с удовольствием превратили бы все наши органы в уши, лишь бы ни единого звука из ее пения не упустить и, ничем посторонним не отвлекаясь, слушать ее да слушать.

– Прелестная аббатица из сил выбивается, а этот толстый мужлан епископец храпит себе вовсю, – сказал Панург. – Ну да он у меня запоет, черт его дерит!

С этими словами он позвонил в колокольчик, привешенный над клеткой; однако ж чем сильнее он звонил, тем громче храпел епископец и даже и не думал петь.

– А, старый дурак! – вскричал Панург. – Хорошо же, я тебя другим способом заставлю петь.

Тут он схватил здоровенный камень и нацелился прямо ему в митру. Эдитус, однако ж, воскликнул:

– Добрый человек! Бей, круши, убивай и умерщвляй всех королей и государей на свете, хочешь – ударом из-за угла, хочешь – ядом, ну, словом, как тебе вздумается, изгони ангелов с небес, – все эти грехи папек тебе отпустит. Но не трогай ты священных этих птиц, если только тебе дороги жизнь, благосостояние и благополучие как твои собственные, так и друзей и родичей твоих, живых и мертвых, а равно и далеких твоих потомков, коим также тогда придется худо. Приглядиись к этому водоему.

– Стало быть, лучше кутить напропалую и пировать, – заключил Панург.

– Он дело говорит, господин Антитус, – заметил брат Жан. – При виде чертовых этих птиц мы не можем удержаться от кощунственных слов; опустошая же бутылки ваши и кувшины, мы не можем не славить Бога. Ну так идем, кутнем напропалую! Здорово сказано!

На третий день, как вы сами понимаете – после попойки, Эдитус с нами распрощался. Мы ему подарили хорошенький першский ножичек, и подарку этому он обрадовался больше, нежели Артаксеркс ковшу холодной воды, который ему подал скифский крестьянин. Он вежливо поблагодарил нас, послал на наши суда всякого рода свежих припасов, пожелал нам счастливого пути, благополучного возвращения, успеха во всех наших начинаниях и взял с нас слово и заставил поклясться *Юнетром*, что на возвратном пути мы к нему заедем. На прощание же он нам сказал:

– Вот вы увидите, друзья мои, что на свете куда больше блудников, чем людей, – помяните мое слово.

Глава IX

О том, как мы высадились на Острове железных изделий

Нагрузив как должно наши желудки и приняв в рассуждение, что ветер – попутный, мы подняли бизань-мачту – и меньше чем через два дня причалили к Острову железных изделий, пустынному и необитаемому. И там мы увидели деревья, увешанные бесчисленным множеством заступов, мотыг, садовых кирок, кос, серпов, скребков, шпателей, топоров, косарей, пил, рубанков, садовых ножниц, ножниц обыкновенных, клещей, лопат, буравов, коловоротов.

На других росли кинжальчики, кинжалы, шпажонки, ножички, шильца, шпаги, пики, мечи, ятаганы, рапиры, арбалетные стрелы, ножи.

Кто хотел обзавестись чем-нибудь подобным, тому довольно было потрянуть дерево, и нужные предметы падали, как сливы; этого мало, под деревьями росла трава, получившая название *ножны*, и падавшие предметы сами в них вкладывались. Надобно было только поостеречься, как бы они не свалились вам на голову, на ноги или же на другие части тела, ибо падали они отвесно, чтобы прямо попасть в ножны, и могли зашибить. Под какими-то другими деревьями я обнаружил особые виды растений, формой своей напоминавшие древки пик, копий, копьецов, алебард, рогатин, дротиков, вил, дораставшие до самых ветвей и там находившие для себя наконечники и клинки, кому какой подходил. Деревья, как старшие, заранее все это им приготавливали, зная, что те подрастут и явятся к ним, – так заранее

готовите вы своим детям платье, зная, что им скоро предстоит выйти из пелен. Более того, дабы отныне вы уже не оспаривали мнение Платона, Анаксагора и Демокрита (а уж они ли не философы?), я вам скажу, что деревья эти похожи на животных, и не только в том смысле, что и у них есть кожный покров, жир, мясо, вены, артерии, сухожилия, нервы, хрящи, железы, кости, костный мозг, соки, матка, мозг и сочленения, – а что они у них есть, это убедительно доказал Теофраст, – похожи они еще тем, что и у них есть голова, но только внизу, то есть ствол, волосы, но только под землей, то есть корни, и ноги, но только вверху, то есть сучья; это как если бы человек вздумал изобразить развилстый дуб.

И, подобно тому как вы, подагрики, по боли в ногах и лопатках предугадываете дождь, ветер, похолодание, всякую вообще перемену погоды, так же точно любое из этих деревьев корнями, стеблями, камедью, сердцевиной своей ощущает, какое именно древко растет под ним, и соответственно подготавливает наконечник и клинок. Правда, все на свете, кроме Бога, иной раз ошибаются. Исключения не составляет и сама Натура, коль скоро она производит на свет чудищ и уродов. Равным образом я подметил ошибки и у этих деревьев: так, например, одна высоченная полупика, росшая под этими железоплодными деревьями, дотянувшись до ветвей, вместо наконечника обрела метлу, – ну что ж, пригодится для чистки дымоходов. Одно из копий вместо кинжалообразного наконечника обрело щипцы, – ничего, и это сойдет: будет чем снимать гусениц в саду. Древко алебарды обрело лезвие косы и стало похоже на гермафродита – не беда: косец и этому будет рад. Что Бог ни делает, все к лучшему. Когда же мы возвратились на корабли, я увидел, что за каким-то кустом какие-то люди чем-то и как-то занимались и как-то особенно усердно оттачивали какие-то орудия, которые где-то там у них торчали.

Глава X

О том, как Пантагрюэль прибыл на Остров плутней

Спустя три дня пристали мы к Острову плутней, точному слепку с Фонтенбло, ибо земля здесь такая тощая, что кости ее (то есть скалы) прорывают кожу; почва – песчаная, бесплодная, нездоровая и неприятная. Лоцман обратил наше внимание на два небольших утеса,

представлявших собою два правильных шестигранника, белизною же своею создававших впечатление, что они то ли из алебаstra, то ли опущены снегом; лоцман, однако ж, уверил нас, что они состоят из игральных костей. По его словам, внутри этих утесов находилось семиэтажное жилище двадцати бесов азартной игры, которых у нас так боятся и которые носят следующие названия: самые большие из двойчаток, из парных костей, называются *Шестериками*, самые маленькие – *Двухочковиками*, средние же – *Пятериками*, *Четвериками*, *Тройчатками*, *Двоешками*. А были еще и такие названия: *Шесть-и-пять*, *Шесть-и-четыре*, *Шесть-и-три*, *Шесть-и-два*, *Шесть-и-один*, *Пять-и-четыре*, *Пять-и-три* и так далее. Тут только мне пришло в голову, что большинство игроков вызывают злых духов, ибо, бросая две кости на стол, они как бы в молитвенном экстазе восклицают: «Шестерик, дружок мой, ко мне!» – это обращение к старшему черту; «Двухочковик, малыш, ко мне!» – это к младшему, «Четыре-и-два, детки мои, ко мне!» – и так они выкликают всех чертей по именам и прозвищам. И не только выкликают, но еще и стараются показать, что они с ними запанибрата. Справедливость требует отметить, что черти иногда мешкают явиться на зов, но у них есть на то свои причины. Как раз в это время они могут оказаться где-нибудь еще, в зависимости от того, кто прежде их вызвал. Это вовсе не значит, однако ж, что они лишены чутья и слуха. И слух и чутье у них превосходные, можете мне поверить.

Еще лоцман нам сказал, что вокруг и у самой подошвы шестигранных этих утесов произошло больше кораблекрушений и погибло больше человеческих жизней и ценного имущества, нежели вблизи всех Сиртов, Харибд, Сирен, Сцилл, Строфад^[895], вместе взятых, и во всех пучинах морских. Я охотно этому поверил, особенно когда вспомнил, что в былые времена у мудрецов египетских Нептун условно обозначался иероглифическим знаком первого куба, Аполлон – одним очком, Диана – двумя, Минерва – семью и т. п.

Еще он нам сообщил, что здесь находится склянка священного Грааля, вещь божественная и мало кому известная. Панург до того умильно просил местных синдиков показать ее, что они в конце концов дали согласие, но торжественных церемоний при этом было тут втрое больше, чем когда во Флоренции показывали Юстиниановы *Пандекты* или же в Риме – полотенце Вероники^[896]. Я отроду не видывал столько

покровов, светильников, факелов, плашек и святинь. Под самый конец нам показали нечто напоминающее мордочку жареного кролика. Самое достопримечательное, что мы там узрели, это Веселое Лицо, мужа Скверной Игры, а также скорлупку от некогда высиженных и снесенных Ледою^[897] двух яиц, откуда вылупились Кастор и Поллукс, братья Прекрасной Елены. Кусочек этой скорлупки мы выменяли у синдиков на хлеб. Перед отъездом мы купили у островитян кипу шляп и шапок, но только я не думаю, чтобы мы много выручили от их продажи. Впрочем, те, кто у нас их купит, прогадают еще больше.

Глава XI

О том, как мы прошли Застенок, где живет Цапцарап, эрцгерцог Пушистых Котов^[898]

В Прокурации мы уже побывали, а потому оставили ее в стороне, а также прошли мимо пустынного Острова осуждения; чуть было мы не прошли и мимо Застенка, так как Пантагрюэль не хотел там высаживаться, и хорошо сделал бы, если б не высадился, ибо нас там по приказу Цапцарапа, эрцгерцога Пушистых Котов, схватили и взяли под стражу единственно потому, что кто-то из наших поколотил в Прокурации некоего ябедника.

Пушистые Коты – животные преотвратительные и преужасные: они питаются маленькими детьми, а едят на мраморе. Сами посудите, пьянчуги, какие приплюснутые должны у них быть носы! Шерсть у них растет не наружу, а внутрь; в качестве символа и девиза все они носят раскрытую сумку, но только каждый по-своему: одни обматывают ее вокруг шеи вместо шарфа, у других она висит на заду, у третьих – на брюхе, у четвертых – на боку, и у всех свои тайные на то причины. Когти у них длинные, крепкие и острые, и если к ним в лапы что попадет, то уж не вырвется. Иные носят на голове колпаки с четырьмя бороздками или же с гульфиками, иные – колпаки с отворотами, иные – ступковидные шапки, иные – нечто вроде саванов.

Когда мы очутились в их берлоге, какой-то побирушка, которому мы дали полтестона, сказал нам:

– Помогите вам Господи, добрые люди, благополучно отсюда выбраться! Приглядитесь получше к лицам этих мощных столпов, на

коих зиждется правосудие Цапцарапово. Помяните мое слово – слово честного оборванца: ежели вам удастся прожить еще шесть олимпиад и два собачьих века, то вы увидите, что Пушистые Коты без кровопролития завладеют всей Европой и сделаются обладателями всех ценностей ее и богатств, – разве уж какое-нибудь их поколение внезапно лишится имущества и состояния, несправедливо ими нажитого. Среди них царствует секстэссенция^[899], с помощью которой они все хватают, все пожирают и все загаживают. Они вешают, жгут, четвертуют, обезглавливают, умерщвляют, бросают в тюрьмы, разоряют и губят все без разбора, и доброе и дурное. Порок у них именуется добродетелью, злоба переименована в доброту, измена зовется верностью, кража – щедростью. Девизом им служит грабеж, одобряемый всеми, за исключением еретиков, и во всех случаях жизни их не покидает сознание собственного величия и непогрешимости.

Дабы удостовериться в том, что я свидетельствую не ложно, обратите внимание на их ясли: они устроены ниже кормушек. Об этом вы когда-нибудь вспомните. И если на мир обрушатся чума, голод, война, ураган, землетрясение, пожары и другие бедствия, то не объясняйте их неблагоприятным совпадением планет, злоупотреблениями римской курии, тиранией царей и князей земных, лукавством святош, еретиков, лжепророков, плутнями ростовщиков и фальшивомонетчиков, невежеством и бесстыдством врачей, костоправов и аптекарей, распутством неверных жен – отравительниц и детоубийц, – нет, вы всё приписывайте той чудовищной, неизъяснимой, невероятной и безмерной злобе, которая непрерывно накаливается и изготавливается в горнах Пушистых Котов. Люди так же мало о ней знают, как о еврейской каббале, – вот почему Пушистых Котов ненавидят, борются с ними и карают их не так, как бы следовало. Но если их когда-нибудь выведут на чистую воду и изобличат перед всем светом, то не найдется такого красноречивого оратора, который бы силою своего искусства их защитил; не найдется такого сурового, драконовского закона, который бы, грозя всем послушникам карой, их охранил; не найдется такого правителя, который бы своею властью воспрепятствовал тем, кто, распалившись, вздумал бы загнать их всех в нору и сжечь живьем. Родные их дети, Пушистые Котята, и ближайшие их родственники не раз, бывало, в ужасе и с отвращением от них отшатывались. Вот почему, подобно Гамилькару,

который заставил сына своего Ганнибала присягнуть и торжественно обещать всю свою жизнь преследовать римлян, покойный отец мой взял с меня слово, что я не уйду отсюда до тех пор, пока на Пушистых Котов не упадет с неба молния и не испепелит их как вторых титанов, как святотатцев и богоборцев, раз уж у людей до того очерствели сердца, что если в мире народилось, нарождается или же вот-вот народится зло, то сами они о нем не вспоминают, не чувствуют его и не предвидят, а кто и чувствует, те все равно не смеют, не хотят или же не могут искоренить его.

– Вот оно что! – сказал Панург. – Э, нет, я туда не ходок, вот как Бог свят! Пойдемте назад! Бога ради, пойдемте назад!

Я побирушкой удивлен сильней,
Чем молнией в один из зимних дней*.

Когда же мы повернули назад, то оказалось, что дверь заперта, и тут нам сказали, что войти-то сюда легко, как в Аверн, а выйти трудно, и что без пропуска и разрешения нас не выпустят на том основании, что с ярмарки уходят не так скоро, как с базара, и что ноги у нас в пыли.

Совсем, однако ж, худо нам пришлось, когда мы попали в Застенок, ибо за пропуском и разрешением мы принуждены были обратиться к самому безобразному из всех кем-либо описанных чудищ. Звали его Цапцарап. Ни с кем не обнаруживал он такого разительного сходства, как с химерой, сфинксом, Цербером или же с Озирисом, как его изображали египтяне, а именно – с тремя сросшимися головами: головою рыкающего льва, лающего пса и воющего волка, причем все эти головы обвивал дракон, кусающий собственный хвост, а вокруг каждой из них сиял нимб. Руки у него были все в крови, когти, как у гарпии, клюв, как у ворона, зубы, как у четырехгодовалого кабана, глаза, как у исчадья ада, и все тело его покрывала ступковидная шапка с помпонами в виде пестиков, так что видны были только когти. Сиденьем для него самого и для его приспешников, Диких Котов, служили длинные, совсем новенькие ясли, над которыми, как нам рассказывал нищий, висели вверх дном весьма вместительные и красивые кормушки.

За сиденьем эрцгерцога красовалось изображение старухи в очках^[900], державшей в правой руке чехол от серпа, а в левой – весы. Чаши весов представляли собою две бархатные сумки, из коих одна, доверху набитая мелочью, опустилась, другая же, без всякого груза, высоко поднялась. Сколько я понимаю, то было олицетворение Цапцарапова правосудия, совершенно, молвить кстати, не соответствовавшее представлениям древних фиванцев, которые после смерти дикастов своих и судей ставили им статуи, глядя по заслугам, из золота, из серебра или же из мрамора, но непременно безрукие.

Как скоро мы явились пред очи Цапцарапа, какие-то люди, облаченные в сумки, в мешки и в большущие обрывки документов, велели нам сесть на скамью подсудимых.

– Друзья мои небокоптители! Я с таким же успехом могу и постоять, – сказал Панург, – а то для человека в новых штанах и коротком камзоле скамья ваша будет чересчур низка.^[901]

– Сядьте! Сколько раз вам повторять! – крикнули ему. – Коли не сумеете ответ держать, земля тот же час разверзнется и всех вас поглотит живьем.

Глава XII

О том, как Цапцарап загадал нам загадку

Как скоро мы сели, Цапцарап, окруженный Пушистыми Котами, злобно нам крикнул:

– А ну давай-ка, давай-ка!

– А ну давай-ка выпьем! – процедил сквозь зубы Панург.

– Какая-то блондинка, без мужчины^[902]

Зачав ребенка, родила без муки

Похожего на эфиопа сына,

Хоть, издавая яростные звуки,

Прогрыз он ей, как юные гадюки,

Весь правый бок пред тем, как в мир явился.

Затем он дерзко странствовать пустился —

Где по земле ползком, а где летя, —

Чему немало друг наук дивился,

Его к людскому роду сопричтя*.

– А ну давай-ка разгадай-ка мне эту загадку, – продолжал Цапцарап, – а ну сей же час давай-ка отвечай-ка, что это значит.

– Ну вот ей-богу, будь у меня дома сфинкс, вот как у Верреса^[903], который, ну вот ей-богу, является одним из ваших предшественников, – сказал я, – ну вот ей-богу, я разгадал бы загадку, ну вот ей-богу! Но только я при сем не присутствовал, ну вот ей-богу, я к этому делу не причастен!

– А ну давай-ка, давай-ка, – снова заговорил Цапцарап, – клянусь, не говоря худого слова, Стиксом, а ну давай-ка я тебе докажу, давай-ка, давай-ка докажу, что лучше было бы тебе попасться в когти к Люциферу, нежели к нам, – а ну давай-ка, давай-ка! Посмотри на наши когти, а ну давай-ка, давай-ка! Ты ссылаешься, дубина, на свою непричастность, как будто это может избавить тебя от пыток. А ну давай-ка, давай-ка, послушай, что я тебе скажу, давай-ка: законы наши – что паутина, в нее попадают мушки да бабочки, – а ну давайте-ка, давайте-ка! – меж тем как слепни прорывают ее насквозь. Мы тоже за крупными мошенниками и за тиранами не гонимся, – они плохо перевариваются, от них, кроме вреда, ничего бы нам не было. Вы же, ни в чем не повинные, давайте-ка, давайте-ка, мои милые, – сам старший черт сейчас отпоеет вас.

Брату Жану Виновкусителю наскучили речи Цапцарапа.

– Эй, господин черт в юбке! – сказал он. – Как он может объяснить тебе то, о чем он не имеет понятия? Ты хочешь, чтобы тебе ввали?

– А ну давай-ка, давай-ка прикуси язык! – сказал Цапцарап. – За все время моего царствования не было еще такого случая, чтобы кто-нибудь заговорил, не дожидаясь вопроса. Кто спустил с цепи сумасшедшего этого болвана?

– Ты врешь, – сказал брат Жан, не разжимая губ.

– А ну давай-ка, давай-ка! Настанет твой черед отвечать – вот тут-то ты и узнаешь, почем фунт лиха, подлец!

– Ты врешь, – беззвучно произнес брат Жан.

– А ну давай-ка, давай-ка! Ты думаешь, здесь тебе академический лес^[904], где бродят без всякого дела любители и искатели истины? Нет,

брат, давай-ка, давай-ка, – у нас совсем иные порядки: здесь у нас смело говорят о том, чего не знают. А ну давай-ка, давай-ка! Здесь у нас сознаются в том, чего и не думали делать. А ну давай-ка, давай-ка! Здесь у нас с видом знатоков рассуждают о том, чему никогда не учились. А ну давай-ка, давай-ка! Здесь у нас, когда бесят, велят запастись терпением, бьют, а плакать не дают. А ну давай-ка, давай-ка! Я вижу, ты никем не уполномочен, а ну давай-ка, давай-ка, трясучка тебе в бок, а ну давай-ка, давай-ка, женись-ка на лихоманке!

– Бес, архибес, пантобес! – вскричал брат Жан. – Ты что же это, вздумал женить монаха? Эге-ге! Ну так ты еретик!

Глава XIII

О том, как Панург разгадывает загадку Цапцарапа

Цапцарап, делая вид, что не слышит, обратился к Панургу:

– А ну давай-ка, давай-ка, давай-ка! Что ж ты молчишь, шут гороховый?

Панург же на это ему ответил:

– А, да ну его к черту! Видно уж, пришла наша погибель, ну ее к черту, коли невинность здесь не ограждена, а черт, ну его к черту, отпевает покойников! Ну его к черту, я согласен заплатить за всех, только отпустите нас. Я больше не могу, ну его к черту!

– Отпустить? А ну давай-ка, давай-ка! – воскликнул Цапцарап. – За триста лет никто еще отсюда не уходил, не оставив шерсти, а чаще всего и шкуры. А ну давай-ка, давай-ка! Подумай сам, давай-ка, давай-ка: выходит, стало быть, мы с тобой поступили несправедливо? Ты и так человек несчастный, но ты будешь еще несчастнее, ежели не разгадаешь загадки. А ну давай-ка, давай-ка, – что она означает?

– Вот что, – отвечал Панург: – черный долгоносик родился, ну его к черту, от белого боба, ну его к черту, благодаря дыре, которую он в нем прогрыз, ну ее к черту, и он то летает, то ползает по земле, ну его к черту. Пифагор же, старейший любитель мудрости, то есть по-гречески – философии, ну ее к черту, утверждал, что долгоносик через метемпсихоз, ну его к черту, получил на придачу еще и человеческую душу. Если б вы были люди, ну вас к черту, то, по мнению Пифагора, после вашей лихой смерти души ваши вошли бы в тела долгоносиков,

ну их к черту, ибо на этом свете вы все только грызете да жрете, а на том свете,

Осатанев от адской муки,
Вы грызть бы стали, как гадюки,
Бока своих же матерей*.

– Клянусь телом Господним, – молвил брат Жан, – я бы от всей души желал, чтобы дыра у меня в задку стала бобом и чтобы вокруг нее все было изгрызано вот этими вот долгоносиками.

При этих словах Панург швырнул на середину зала кошелек, туго набитый экю с изображением солнца. Услышав звон монет, Пушистые Коты, все как один, заиграли на своих собственных когтях, точно на скрипках без грифов, и заорали во все горло:

– Славная подмазка! Вот это дельце так дельце: смачное, лакомое, смазанное, как должно! Сейчас видно порядочных людей.

– А ну берите-ка, берите-ка, вот вам кошелек с золотыми экю! – молвил Панург.

– Суд понял вас правильно, – сказал Цапцарап. – А ну давайте-ка его сюда, давайте-ка, давайте-ка! А ну ступайте-ка, ребята, проходите, – не такие уж мы черти, хотя и черные, – а ну-ка, ну-ка, ну-ка!

Из Застенка в гавань нас проводили какие-то судейские крючки. Дорогою они предупредили нас, что, прежде чем сесть на корабль и пускаться в путь, нам надлежит щедро одарить госпожу Цапцарапку, а также и всех остальных Пушистых Кошек, в противном же случае нас-де снова отведут в Застенок.

– Шут с ними, – сказал брат Жан. – Посмотрим, какую сумму мы располагаем, и постараемся убогатворить всех.

– Не забудьте пожаловать на винишко нам, горемыкам, – напомнили судейские крючки.

– Горемыки никогда не забывают о вине, – молвил брат Жан, – они помнят о нем во всякое время и во всякую пору.

Глава XIV

О том, как Пушистые Коты живут взятками

Не dokonчив еще своей речи, брат Жан увидел, что в гавань прибыли шестьдесят восемь галер и фрегатов; тут он бросился узнавать новости, между прочим – какими товарами эти суда нагружены, и обнаружил, что нагружены они мясом: зайцами, каплунами, голубями, свиньями, козулями, цыплятами, утками, утятами, гусятами и всякой прочей дичью. Еще ему попало на глаза несколько штук бархата, атласа и камки. Тогда он обратился с вопросом к путешественникам, куда и кому везут они это добро. Они же отвечали, что все это для Пушистых Котов и Пушистых Кошек.

– А как бы вы назвали подобного рода всякую всячину? – спросил брат Жан.

– Взятками, – отвечали путешественники.

– Взавший взятку от взятки погибнет, и так оно всегда и бывает, – рассудил брат Жан. – Отцы нынешних Пушистых Котов сожрали тех добрых дворян, которые, как приличествовало их званию, посвящали свой досуг соколиной и псовой охоте, дабы этими упражнениями подготовить и закалить себя на случай войны, ибо охота есть не что иное, как прообраз сражения, и Ксенофонт недаром говорил, что из охоты, как из троянского коня, вышли все доблестные полководцы. Я человек неученый, но мне так говорили, и я этому верю. Души этих самых дворян, как уверяет Цапцарап, после их смерти переселились в кабанов, оленей, козуль, цапель, куропаток и других животных, коих они всю свою жизнь любили и искали. А Пушистые Коты не довольствуются тем, что разрушили и пожрали их замки, земли, владения, поместья, доходы и барыши, – они еще посягают на душу и кровь покойных дворян после их смерти! Этот наш оборванец – мальй не дурак: он не зря обращал наше внимание на то, что кормушки у них над яслями!

– Да, но ведь был же обнародован указ великого нашего короля, воспреещающий под страхом смертной казни через повешение охоту на оленей, ланей, кабанов и козуль, – напомнил путешественникам Панург.

– Так-то оно так, – отвечал один путешественник за всех, – однако ж великий король всемиловитив и долготерпелив. Между тем Пушистые Коты такие бешеные и так они жаждут христианской крови, что лучше уж мы послушаемся великого короля, но только не преминем задобрить взятками Пушистых Котов, тем более что завтра Цапцарап

выдает одну из своих Пушистых Кошек за разжиревшего и препушистого Котищу. В былые времена их называли сеноедами, но, увы, сена они уже больше не едят. Теперь мы их зовем зайцеедами, куропаткоедами, бекасоедами, фазаноедами, цыпляютоедами, козулеедами, кроликоедами, свиноедами, – иной пищи они не потребляют.

– А, чтоб их! – воскликнул брат Жан. – На будущий год их станут звать котяхоедами, дристнеедами, г...едами. Верно я говорю?

– Правда, правда! – единодушно подтвердили путешественники.

– Давайте сделаем два дела, – предложил брат Жан. – Во-первых, заберем себе все эти припасы. Сказать по совести, соленья мне опротивели, у меня от них селезенка болит, ну да ничего не поделаешь. Путешественникам мы, конечно, щедро за все заплатим. Во-вторых, давайте вернемся в Застенок и обчистим всех этих чертовых Пушистых Котов.

– Нет уж, я туда ни под каким видом не пойду, – объявил Панург, – ведь я от природы слегка трусоват.

Глава XV

О том, как брат Жан Зубодробитель собирается обчистить Пушистых Котов

– Клянусь своею рысой, что это у нас за путешествие? – воскликнул брат Жан. – Это путешествие дристунов – мы только и делаем, что портим воздух, пукаем, какаем, считаем ворон и ни черта не делаем. Клянусь главою Господней, это не по мне: если я не совершу какого-нибудь геройского поступка, я не могу заснуть. Стало быть, вы меня взяли с собой единственно для того, чтобы я служил мессы и исповедовал? Клянусь светлым праздником, кто сейчас со мной не пойдет, того подлеца и мерзавца я заместо чистилища и в виде епитимьи швырну в пучину морскую, да еще вниз головой. Отчего шум Геркулесовой славы не утихнет вовек? Не оттого ли, что, странствуя по свету, Геркулес избавлял народы от власти тиранов, от заблуждений, от бед и тягот? Он убивал разбойников, чудищ, ядовитых змей и вредных животных. Почему бы и нам не последовать его примеру и не поступать так же, как он, во всех тех краях, через которые лежит наш путь? Он поразил стимфалид, лернейскую гидру,

Кака, Антея, кентавров. Я-то сам человек неученый, но так говорят люди ученые. В подражание ему идем бить и грабить Пушистых Котов: ведь они хуже чертей – так избавим же эту страну от гнета тиранов! Я не верю в Магомета, однако будь я так же силен и могуч, то я бы у вас ни совета, ни помощи не попросил. А ну давайте-ка, давайте-ка! Пошли? Мы их перебьем без труда, уверяю вас, а они все терпеливо снесут, я в том не сомневаюсь нимало: ведь они терпеливо снесли от нас больше оскорблений, чем десять свиней в состоянии выпить помоев. Идем!

– Оскорбления и поношения мало их трогают, – заметил я, – им важно, чтобы в сумке у них были монеты, хотя бы даже за...ные. Может статься, мы и сокрушим их, как Геркулес, однако ж нам недостает повеления Эврисфеева. У меня сейчас одно желание: пусть бы Юпитер часика два провел у них так же, как некогда провел он время у Семелы, матери славного Бахуса.^[905]

– Господь по неизреченному своему милосердию избавил нас от их когтей, – молвил Панург. – Что касается меня, то я туда не возвращусь: я все еще не могу прийти в себя и успокоиться после всех треволнений, которые мне пришлось там испытать. А взбешен я был там по трем причинам: во-первых, потому что я был взбешен, во-вторых, потому что я был взбешен, а в-третьих, потому что я был взбешен. Слушай ухом, а не брюхом, брат Жан, блудодей ты мой неповоротливый: всякий и каждый раз, как ты захочешь пойти ко всем чертям, предстать пред судом Миноса, Эака, Радаманта и Дита, я готов быть неразлучным твоим товарищем, я готов пройти с тобой Ахерон, Стикс, Коцит, осушить полный кубок летейской воды, уплатить за нас обоим Харону, когда он перевезет нас в своей ладье, но если ты непременно хочешь вернуться в Застенок не один, а с кем-нибудь, то ищи себе другого спутника, а меня уволь, я туда не пойду, и слово мое крепко, аки стена медная. Если только меня туда не повлекут силой и по принуждению, то сам я, пока жив, не направлю туда пути своего ближе, чем Кальпа отстоит от Абилы.^[906] Разве Одиссей возвращался за мечом в пещеру Циклопа? Ручаюсь головой, что нет. В Застенке я ничего не забыл – и я туда не вернусь.

– О верный друг с душою неустрашимой и руками паралитика! – воскликнул брат Жан. – Попробую еще раз с вами переговорить, хотя не знаю, удастся ли мне переговорить такого хитроумного спорщика.

Чего ради и кто это вас дернул швырнуть им кошелек с деньгами? Разве у нас их девать некуда? Не лучше ли было швырнуть им несколько стертых тестонов?

– Швырнул я кошелек потому, – отвечал Панург, – что Цапцарап то и дело открывал бархатную свою сумку и приговаривал «А ну давай-ка, давай-ка, давай-ка!» Отсюда я заключил, что нас освободят и выпустят на волю, только если мы, ну их всех к Богу, а ну дадим-ка им, а ну дадим-ка им, а ну дадим-ка им, ну их ко всем чертям, и дадим не чего-нибудь, а золота, ибо бархатная сия сума – не ковчежец для тестонов и мелкой монеты, а вместилище для эку с солнцем, – понял, брат Жан, блудодейчик мой маленький? Побей-ка с мое да побейся-ка с мое, так и сам запоешь по-другому. Словом, согласно строжайшему их приказу нам надлежит следовать дальше.

Судейские крючки все еще ожидали от нас в гавани некоей суммы; увидев же, что мы собираемся отчаливать, они объявили брату Жану, что мы не последуем дальше, пока не вручим положенной судейским чинам благодарности.

– Клянусь днем святого Дыркитру, – вскричал брат Жан, – вы все еще здесь, чертовы крючокотворы? Я и так зол, а вы еще мне докучать? Клянусь телом Господним, будет вам от меня на вино, можете мне поверить!

Тут он выхватил из ножон свой меч и, сойдя с корабля, вознамерился самым безжалостным образом их умертвить, но они тотчас перешли в галоп и только мы их и видели.

Однако ж на том злоключения наши не кончились, ибо некоторые из наших матросов, коих Пантагрюэль отпустил до нашего возвращения от Цапцарапа, собрались в ближайшем к гавани кабачке слегка подзакусить и пропустить стаканчик-другой для бодрости. Не знаю, уплатили они что полагается или нет, но только старая кабатчица, увидев брата Жана, обратилась к нему при трех свидетелях, коими оказались судебный разоритель, то бишь исполнитель, друг-приятель одного из Пушистых Котов, и два помощника, с пространной жалобой. Брат Жан долго внимал их речам и намекам, наконец не вытерпел и спросил:

– Итак, друзья мои крючокотворы, вы хотите сказать, что наши матросы – люди бесчестные? Ну, а я иного мнения, и я вам сейчас приведу самый веский довод, ибо мой меч при мне.

С этими словами он взмахнул мечом. Туземцы припустились рысью; старуха, однако ж, с места не сдвинулась и вновь попыталась втолковать брату Жану, что она его матросов за людей бесчестных отнюдь не почитает, – она, мол, жалуется только на то, что они ничего не уплатили ей за постель, на которой отдыхали после обеда, и просит за постель всего-навсего пять турецких су.

– А ведь и правда недорого, – рассудил брат Жан. – Экий неблагодарный народ! Ну где еще найдут они за такие деньги постель? Я вам с удовольствием заплачу, только прежде надо бы посмотреть, что за постель.

Старуха привела его к себе, показала постель и, расхвалив все ее достоинства, объявила, что, назначив пять су, она, мол, лишнего не запрашивает. Брат Жан сперва уплатил ей пять су, затем рассек надвое перину и подушку, а перо пустил по ветру в окно. Старуха с криком: «Караул! На помощь!» – выбежала на улицу и занялась подборанием перьев. Брат Жан, не обращая ни малейшего внимания на ее вопли, незримо, ибо воздух потемнел от перьев, отнес одеяло, матрац и две простыни на корабль и все это отдал морякам. Засим он сообщил Пантагрюэлю, что постели здесь много дешевле, нежели в Шинонском округе, даром что Шинон славится потильскими гусьями, ибо за постель старуха спросила с него всего лишь пять дюжинников, а в Шиноне такая стоит не меньше двенадцати франков.

Как скоро брат Жан и все прочие взошли на корабль, Пантагрюэль велел отчаливать, но вскоре поднялся такой сильный сирокко, что мы сбились с пути и, чуть было вновь не попав к Пушистым Котам, оказались на крайне опасном месте, где море особенно глубоко и страшно и откуда юнге, с высоты фок-мачты, все еще было видно поганое жильё Цапцарапа, о чем он и объявил во всеуслышание; Панург же, ошалев от страха, крикнул:

– Хозяин, друг мой! Невзирая на вихри и волны, нельзя ли повернуть оглобли? О друг мой! К чему нам возвращаться в постылую эту страну, где я оставил свой кошелек?

В конце концов ветер пригнал их к другому острову, однако они, не решившись сразу подойти к пристани, остановились в доброй миле от гавани, как раз напротив отвесных скал.

Глава XVI

О том, как Пантагрюэль прибыл на Остров апедевтов^[907], длиннопалых и крючкоруких, а равно и об ужасах и чудовищах, которые явились там его взору

Как скоро якоря были брошены и корабль остановился, на воду спустили шлюпку. Помолившись Богу и возблагодарив Его за то, что Он спас их и избавил от великой и грозной напасти, добрый Пантагрюэль со всеми своими спутниками сел в шлюпку, дабы высадиться на сушу, высадка же особых трудностей не представляла: на море было тихо, ветер улегся, и не в долгом времени они подплыли к скалам.

Когда же они ступили на сушу, Эпистемон, любовавшийся местоположением острова и причудливыми очертаниями скал, заметил нескольких островитян. Первый человек, к которому он обратился, носил короткую, королевского цвета, мантию, саржевый камзол с наполовину атласными, наполовину замшевыми рукавами и шапку с кокардой; словом, вид у него был вполне приличный, звали же его, как мы узнали впоследствии, Загребай. Эпистемон задал ему вопрос: есть ли названия у этих долин и причудливых скал? Загребай же ему ответил, что скалистая эта местность представляет собою колонию Прокурации, что называется она Реестр, а что если двинуться по направлению к скалам и перейти небольшой брод, то мы попадем на Остров апедевтов.

– С нами сила Экстравагант! – воскликнул брат Жан. – Чем же вы, добрые люди, здесь живете? Что пьете и из чего пьете? Я не вижу у вас никакой посуды, кроме свитков пергамента, чернильниц да перьев.

– Мы только этим и живем, – отвечал Загребай, – все, у кого есть дела на нашем острове, непременно должны пройти через мои руки.

– Это почему же? – спросил Панург. – Разве вы цирюльник, чтобы у вас все стриглись?

– Да, – отвечал Загребай, – я стригу кошельки.

– Клянусь Богом, – сказал Панург, – от меня вы гроша медного не получите, а я вас, милостивый государь, вот о чем попрошу: сведите нас к апедевтам, а то ведь мы сами-то из страны ученых, хотя меня, по правде сказать, они так ничему и не выучили.

Разговаривая таким образом, они быстро перешли брод и прибыли на Остров апедевтов. Пантагрюэля чрезвычайно удивило устройство здешних жилищ и обиталищ: люди здесь живут в огромном давящем прессе, к которому надлежит подняться примерно на пятьдесят ступенек вверх, но, прежде чем проникнуть в главный пресс (надобно заметить, что там есть и малые, и большие, и потайные, и средние, и всякие другие прессы), вы должны пройти длинный перистиль, где взору вашему явлены чуть ли не все орудия пытки и казни: виселицы, щипцы, костыли, дыбы, наводящие невольный страх.

Заметив, что Пантагрюэль на все это загляделся, Загребай сказал:

– Пойдемте дальше, сударь, это все безделицы.

– Хороши безделицы! – воскликнул брат Жан. – Клянусь душой теплого моего гульфика, у нас с Панургом зуб на зуб не попадает от страха. Я бы предпочел выпить, чем смотреть на эти ужасы.

– Идемте, – сказал Загребай.

Затем он подвел нас к небольшому, уютившемуся сзади прессу, который на языке этого острова назывался Пифиас. Можете не спрашивать, как тут ублажали себя мэтр Жан и Панург, ибо к их услугам оказались мальвазия, миланские сосиски, индюки, каплуны, дрофы и другие вкусные вещи, должным образом приготовленные и приправленные. Служивший помощником буфетчика мальчик, заметив, что брат Жан бросает умильные взоры на бутылочку, стоявшую подле буфета, в стороне от шеренги бутылок, сказал Пантагрюэлю:

– Сударь! Я вижу, что один из ваших приближенных строит глазки вон той бутылочке. Умоляю вас не трогать ее – она для господ начальников.

– Как? – спросил Панург. – Разве у вас есть господа? А я думал, вы все тут на равной ноге занимаетесь выжимкой винного сока.

По маленькой потайной лесенке Загребай вскорости привел нас в некую комнату и оттуда показал заседавших в большом прессе господ начальников, предупредив, однако же, что доступ к ним без особого разрешения воспрещен, но что нам будет их отлично видно в окошечко, а они-де нас не увидят.

Приблизившись к окошку, мы обнаружили, что в большом прессе человек двадцать – двадцать пять заплочных, то бишь широкоплечих молодцов заседают за зеленым столом, заседают и все

переглядываются, а руки у них длиной с журавлиную ногу, ногти же фута в два, не меньше, так как стричь ногти им воспрещено, вот они у них и изогнулись, что ятаганы или же абордажные крючья; и тут им поднесли огромную виноградную кисть с *экстраординарного* саженца, который часто приводит людей на эшафот^[908]. Едва лишь кисть попала к ним в руки, они бросили ее под пресс, и вскоре на ней не осталось ни единой ягодки, из которой не был бы выдавлен золотой сок, так что, когда ее извлекли, она была до того суха и выжата, что соку или влаги в ней уже не было ни капли. По словам Загребая, такие пышные гроздья попадаются редко, однако ж пресс у них никогда не пустует.

– А много ли у вас, любезный друг, саженцев? – спросил Панург.

– Много, – отвечал Загребай. – Видите вон ту кисточку, что кладут сейчас под пресс? Это с *десятинного* саженца^[909]. Ее уже на днях клали под пресс, да только сок ее припахивал поповской кубышкой, и господам начальникам приварка тут было маловато.

– Зачем же они ее снова кладут под пресс?

– А чтобы удостовериться, не осталось ли в ней случайно какого-нибудь недозысканного соку, нельзя ли поднажиться хоть на мезге.

– Господи Твоя воля! – вскричал брат Жан. – И вы еще называете этих людей неучами? Какого черта! Да они вам из стены сок выжмут!

– Они так и делают, – подтвердил Загребай, – они частенько кладут под пресс замки, парки, леса и из всего извлекают питьевое золото.

– Может статья, вы хотите сказать – листовое, – поправил его Эпистемон.

– Нет, питьевое, – возразил Загребай, – здесь его пьют бутылками, в уму непостижимом количестве. Саженцев тут столько, что всех названий и не упомнишь. Пройдите сюда и взгляните вот на этот виноградник: здесь их более тысячи, и все они только и ждут, когда их гроздья наконец положат под пресс. Вот вам саженец *общий*, вот *частный*, вот *фортификационный*, вот *заемный*, вот *дарственный*, вот саженец *побочных доходов*, вот саженец *усадебный*, вот саженец *мелких расходов*, вот саженец *почтовый*, вот саженец *пожертвований*, вот саженец *дворцовый*.

– А что это за крупный саженец, вокруг которого столько маленьких?

– Это саженец *сбережений* — лучше его во всей нашей стране не сыщешь, – отвечал Загребай. – После того как его выжмут, от господ начальников, от всех поголовно, еще полгода разит этим запахом.

Как скоро господа начальники ушли, Пантагрюэль попросил Загребая провести нас в большой пресс, каковую просьбу тот весьма охотно исполнил. Когда мы туда вошли, Эпистемон, знавший все языки, начал объяснять Пантагрюэлю названия разных частей пресса, сам же пресс был большой, красивый, и сделан он был, по словам Загребая, из крестного древа, и над каждой его частью было написано на местном языке название. Винт пресса назывался *приход*; лохань – *расход*; гайка – *государство*; ствол – *недоимки*; барабан – *неоплаченные векселя*; поршни – *погашенные ссуды*; парные трубы – *взысканные суммы*; чаны – *сальдо*; рукоятки – *податные списки*; тиски – *квитанции*; плетушки – *утвержденные оценки*; корзинки – *приказы об уплате*; деревянные ведра – *доверенности*; воронка – *окончательный расчет*.

– Клянусь королевой Колбас, – сказал Панург, – египетским иероглифам далеко до этого жаргона. Черт побери, да ведь это полный ералаш, сапоги всмятку! А почему, собственно говоря, любезный мой дружочек, этих людей зовут здесь неучами?

– Потому, что они не ученые и ни в коем случае и не должны быть таковыми, – отвечал Загребай, – согласно распоряжению начальников, все здесь должно руководствоваться невежеством и не иметь под собой никаких оснований, кроме: *так сказали господа начальники; так угодно господам начальникам; так распорядились господа начальники*.

– Уж верно, они и на присаженных немало наживаются, – заметил Пантагрюэль.

– А вы думаете нет? – сказал Загребай. – У нас тут каждый месяц присягу снимают. Это не то что в ваших краях: раз в год снимут – и довольно.

Нам предстояло еще осмотреть множество маленьких прессов; когда же мы вышли из большого, то заметили столик, вокруг которого сидело человек пять неучей, грязных и сердитых, как ослы, коим прикрепили под хвостами хлопушки, и неучи эти пропускали через свой маленький пресс виноградную мезгу, оставшуюся после многократной выжимки; на местном языке они назывались *инспекторами*.

– Таких гнусных негодяев я отродясь не видал, – признался брат Жан.

После большого пресса мы осмотрели бесчисленное множество маленьких, битком набитых виноградарями, которые чистили ягоды особыми приспособлениями, так называемыми *счетными статьями*, и наконец вошли в комнату с низким потолком, где находился огромный двуглавый дог с брюхом, как у волка, и с когтями, как у ламбальского черта; его поили штрафным молоком, и по распоряжению господ начальников с ним здесь очень носились, потому что любой из них получал с него прибыли побольше, чем с иной богатой усадьбы, назывался же он на языке неучей *Штраф в двойном размере*. Отец его находился тут же; мастью и обличем он от сына не отличался, но у него было не две, а целых четыре головы, две мужские и две женские, и назывался он *Штраф в четырехкратном размере*; то был самый кровожадный и самый опасный из здешних зверей, если не считать сидевшего в клетке дедушки, который носил название *Просроченный вексель*.

У брата Жана всегда оставались свободными двадцать локтей кишок, на случай если ему подвернется солянка из адвокатов, и он начал злиться и приставать к Пантагрюэлю, чтобы тот подумал об обеде и пригласил к себе Загребая; выйдя же черным ходом из пресса, мы наткнулись на закованного в цепи старика, не то неуча, не то ученого, черт его знает, словом на какого-то гермафродита, которого за очками совсем не было видно, словно черепаху за панцирем, и никакой другой пищи старик этот не признавал, кроме той, что на местном наречии именуется *Проверкой*. Увидев его, Пантагрюэль спросил Загребая, откуда родом сей протонотарий и как его зовут. Загребай нам пояснил, что он искони пребывает здесь – к великому прискорбию господ начальников, которые заковали его в цепи и морят голодом, прозывается же он *Ревизор*.

– Клянусь священными яичками папы, это плясун под чужую дудку, – сказал брат Жан. – Не понимаю, чего господа неучи так боятся этого лицемера. Приглядишься к нему получше, друг мой Панург: по моему, он похож на Цапцарапа, ей-богу, и какие бы они ни были неучи, а уж это-то они понимают не хуже всякого другого. На их месте я бы его плеткой из угриной кожи прогнал туда, откуда он явился.

– Клянусь восточными моими очками, брат Жан, друг мой, ты прав, – молвил Панург, – по роже мерзкого этого лжеревизора сейчас видно, что он еще неученее и злее всех здешних бедных неучей, – те по крайности выжимают себе что под руку подвернется, без проволочки: раз-два, и виноградник обчищен, без всяких там судебных разбирательств и издевательств, – воображаю, как злы на них за это Пушистые Коты!

Глава XVII

О том, как мы прошли остров Раздутый, а равно и о том, как Панург едва не был убит

В ту же минуту мы на раздутых парусах двинулись к острову Раздутому и дорогой поведали наши приключения Пантагрюэлю. Пантагрюэля же рассказ наш в жестокое привел уныние, и, дабы развлечься, он даже сочинил на сей предмет несколько элегий. Прибыв к месту назначения, мы немного отдохнули и сделали запас пресной воды и дров; островитяне же с виду показались нам отнюдь не врагами бутылки и изрядными чревоугодниками. У всех были вздутые животы, и все лопались от жира; и еще мы здесь заметили то, чего нигде больше не наблюдалось, а именно: они распарывали себе кожу, чтобы выпустить жир, точь-в-точь как щеголи у нас в Турени разрезают верх штанов, чтобы выпустить тафту, и делали они это, по их словам, не из тщеславия или же кичливости, а просто потому, что иначе, мол, кожа не выдержит. Благодаря этому они внезапно становились выше ростом, – так садовники подрезают молоденькие деревца, чтобы они скорее росли.

Неподалеку от гавани стоял кабачок, по наружному виду весьма привлекательный и красивый, а возле него собралась толпа раздутого народа всякого пола, возраста и состояния, и это навело нас на мысль, что здесь готовится великое торжество и пиршество. Оказалось, однако ж, что все эти люди созданы на обжирание хозяина, – вот почему сюда с великою поспешностью стекались близкие и дальние родственники и свойственники. Мы не поняли этого выражения и решили, что под *обжиранием* здесь подразумевают какое-нибудь празднество, так же как мы говорим *обручение*, *обвенчание*, *обзаконивание*, *обкручение*, но нам сообщили, что хозяин трактира, при

жизни великий шутник, великий обжора, великий охотник до лионских пирожков, великий лясоточитель, не вылезавший, подобно руайакскому трактирщику, из-за стола, десять лет подряд беспрестанно лопался от жира, ожирел окончательно и теперь по местному обычаю оканчивает свои дни обжираясь, оттого что ни брюшина, ни кожа, столько лет вспарываемая, не могут уже более прикрывать и придерживать его кишки, и в конце концов они у него вываливаются наружу, как вываливается у бочки днище.

– Добрые люди! – заговорил Панург. – А что ж вы не догадались стянуть ему хорошенько брюхо толстыми ремнями или деревянными, а в случае надобности и железными обручами? Ему тогда не так-то легко было бы вывалить наружу внутренности, и так бы скоро он не обжирнулся.

Не успел Панург это вымолвить, как раздался сильный, оглушительный взрыв, точно могучий дуб раскололся пополам, и тут нам пояснили, что обжирание наступило и что взрыв этот был предсмертным пукотом трактирщика.

По сему обстоятельству мне припомнился досточтимый шательерский аббат, тот самый, который никогда не резвился со своими горничными *nisi in pontificalibus*^[910]; друзья и родные всё приставали к нему, чтобы он бросил на старости лет свое аббатство, но аббат так прямо и объявил: перед тем как лечь, он, мол, ни за что не разоблачится, и последним-де звуком, который издаст его высокопреподобие, будет не простой, но аббатский пук.

Глава XVIII

О том, как наш корабль сел на мель и как мы были спасены путешественниками, ехавшими из Квинты

Выбрав якоря и канаты, мы подставили паруса легкому зефиру. Когда же мы прошли около двадцати двух миль, внезапно закрутился яростный вихрь, однако ж некоторое время мы с помощью булиней и парусов фок-мачты еще кое-как его обходили и выжидали – единственно, впрочем, для того, чтобы не перечить лоцману, который уверял нас, что по причине слабости встречных ветров, по причине той забавной борьбы, которую они ведут между собою, а равно и

потому, что небо ясно и море спокойно, нам хоть и не должно ждать чего-нибудь особенно хорошего, но зато не следует бояться чего-нибудь особенно дурного; в подтверждение этого он почел уместным привести изречение философа, советовавшего держаться и терпеть^[911], то есть выжидать. Вихрь, однако ж, так долго не утихал, что лоцман, уступая настойчивой нашей просьбе, попытался пробиться сквозь него и двигаться все в том же направлении. И точно: подняв паруса на бизани и направив руль прямо по стрелке компаса, он воспользовался внезапно налетевшим яростным шквалом и пробился сквозь круговерть. Но мы попали из огня да в полымя: все равно как если бы мы, избежав Харибды, наткнулись на Сциллу, ибо, пройдя две мили, мы сели на мель, такую же, как в проливе св. Матфея.

Сильный ветер свистал в снастях, все мы в великое впали уныние, и только брат Жан нимало не тужил, напротив: подбадривал и утешал то того, то другого, – он предсказывал, что скоро небо выручит нас, и уверял, что видел над реей Кастора.

– Эх, кабы дал нам Бог очутиться сейчас на суше, – молвил Панург, – и чтобы у каждого из вас, страстных мореплавателей, оказалось по двести тысяч экю! Я бы ради такого случая подоил козла и натолок вам воды в ступе. Послушайте, я даже согласен на всю жизнь остаться холостяком, только устройте так, чтобы я мог сойти на берег, и дайте мне лошадку, а без слуги-то я уж как-нибудь обойдусь. Уход за мной лучше всего бывает тогда, когда у меня нет слуги. Плавт верно заметил, что число наших крестов, то есть огорчений, докук и неурядиц, соответствует числу наших слуг, даже если слуги лишены языка – самого опасного и зловредного их органа, из-за которого для них были придуманы пытки, муки и геенны, а не из-за чего-либо другого, хотя в наше время за пределами нашего отечества доктора прав алогично, то есть неразумно, толкуют это место в самом расширительном смысле.

Тут вплотную к нам приблизился груженный барабанами корабль, среди пассажиров коего я узнал людей почтенных, между прочим Анри Котираля^[912], старинного моего приятеля; на поясе у него висел, как у женщин – четки, большущий ослиный причиндал, в левой руке он держал засаленный, замызганный, старый, грязный колпак какого-нибудь шелудивого, а в правой – здоровенную кочерыжку. Узнав меня, он вскрикнул от радости и сказал:

– А ну, что это у меня? Поглядите (тут он показал на ослиный причиндал), вот настоящая альгамана^[913], докторская шапочка – это наш единственный эликсир, а вот это (он показал на кочерыжку) – это *Lunaria major*^[914]. К вашему возвращению мы добудем философский камень.

– Откуда вы? – спросил я. – Куда путь держите? Что везете? Знаете теперь, что такое море?

– Из Квинты^[915]. В Турень. Алхимию. Как свои пять пальцев.

– А кто это с вами на палубе? – спросил я.

– Певцы, музыканты, поэты, астрологи, рифмоплеты, геоманты, алхимики, часовых дел мастера, – отвечал он, – все они из Квинты и везут с собой оттуда прекрасные, подробные рекомендательные письма.

Не успел он договорить, как Панург в запальчивости и раздражении вскричал:

– Вы же все умеете делать, не исключая хорошей погоды и маленьких детей, так почему же вы не возьмете наш корабль за нос и без промедления не спустите его на воду?

– Я об этом как раз и думал, – отвечал Анри Котираль. – Сей же час, сию же минуту вы будете сняты с мели.

И точно: по его распоряжению выбили дно у семи миллионов пятисот тридцати двух тысяч восьмисот десяти больших барабанов, прорванной стороной повернули барабаны к шканцам и туго-натуго перевязали канатами, нос нашего корабля притянули к их корме и прикрепили к якорным битенгам. Затем одним рывком корабль наш был снят с мели, и все это было проделано с легкостью необычайною и ничего, кроме удовольствия, нам не доставило, ибо стук барабанов, сливаясь с мягким шуршаньем гравия и подбадривающим пением матросов, показался нам не менее приятным для слуха, чем музыка вращающихся в небе светил, которую Платон будто бы слышал ночами во сне.

Не желая оставаться у них в долгу, мы поделились с ними колбасами, насыпали им в барабаны сосисок и скатили к ним на палубу шестьдесят две бочки вина, но тут на их корабль совершили внезапное нападение два громадных физетера и вылили на него столько воды, сколько не наберется в реке Вьенне от Шинона до Сомюра, и эта вода залила им все барабаны, замочила им все рей и

просочилась через воротники в штаны. Панург, глядя на это, пришел в восторг неопиcуемый и так натрудил себе селезенку, что боли у него потом продолжались свыше двух часов.

– Я было хотел угостить их вином, а тут вовремя подспела вода, – сказал он. – Пресной водой они гнушаются, они ею только руки моют. А вот эта прелестная соленая водичка послужит им бурою, селитрою, аммиачною солью в кухне Гебера.^[916]

Нам не представилось возможности еще с ними побеседовать, ибо первый порыв ветра тотчас же отнял у нас свободу управления рулем, и тогда лоцман упросил нас всецело положиться на него, с тем чтобы самим кутить без всякой помехи, если же мы, дескать, хотим благополучно добраться до королевства Квинты, то нам надлежит обходить вихрь и плыть по течению.

Глава XIX

О том, как мы прибыли в королевство Квинтэссенции, именуемое Энтелехией

На протяжении полусуток мы благоразумно обходили вихрь и только на третий день, заметив, что воздух сделался прозрачнее, благополучно вошли в гавань Матеотехнию, неподалеку от дворца Квинтэссенции. В гавани нам бросилось в глаза, что арсенал охраняет великое множество лучников и ратников. Сперва мы было струхнули, да и было отчего, – они отобрали у нас оружие и дерзко с нами заговорили:

– Откуда, молодцы, путь держите?

– Из Турени, братцы, – отвечал Панург. – Следственно, мы из Франции, и нас снедает желание поклониться госпоже Квинтэссенции и посетить достославное королевство Энтелехию.

– Как вы сказали? – переспросили они. – Вы говорите Энтелехия или же Эндехия?^[917]

– Братцы, голубчики! – сказал Панург. – Мы люди простые, дурашливые, уж вы не осудите грубый язык наш, зато сердца у нас чистые и бесхитростные.

– Мы неспроста задали вопрос, знаете ли вы, какая между этими двумя словами разница, – продолжали они. – Из Турени у нас

перебывало много народу – все как на подбор славные увальни, и слово это они выговаривали правильно, а вот из других краев к нам приезжали гордецы, надутые, как шотландцы, и не успеют, бывало, приехать, сейчас же давай с нами препираться, ну да разве им что внушишь? Шиш! У вас у всех там столько свободного времени, что вы не знаете, куда его девать, и тратите вы его на то, чтобы говорить, спорить и писать всякий вздор о нашей госпоже королеве. Цицерон не нашел ничего лучшего, как отвлечься ради этого от своего *Государства*, и Диоген Лаэртский туда же, и Феодор Газа, и Аргиропуло, и Виссарион, и Полициано, и Бюде, и Ласкарис, и все эти чертовы пустоголовые мудрецы, коих число было бы не так велико, когда бы к ним уже в наше время не присоединились Скалигер, Биго, Шамбрие, Франсуа Флери^[918] и еще какие-то саврасы без узды. Эх, жабу им в горло и в зев! Ну уж мы их...

– Эге-ге, да он льстит чертям! – пробормотал Панург.

– Вы же сюда прибыли не для того, чтобы защищать их дурачества, у вас и намерений таких нет, а потому мы с вами не будем больше о них говорить. Аристотель, основоположник и образец всякой философии, является крестным отцом нашей госпожи королевы, и он весьма удачно и метко назвал ее Энтелехией. Энтелехия – вот ее настоящее имя. С...ь мы хотели на тех, кто назовет ее иначе. Кто назовет ее иначе, тот попадет пальцем в небо. А вас – милости просим!

Они заключили нас в свои объятия, и это привело нас в восторг. Панург шепнул мне на ухо:

– Ну как, брат, страшновато тебе было во время этой осады?

– Слегка, – отвечал я.

– А мне было страшнее, – признался он, – чем некогда воинам Ефраимовым, когда их убивали и топили галаадитяне за то, что они вместо «шибболет» выговаривали «сибболет». А ведь во всей Босе не найдется такого человека, который целым возом сена сумел бы заткнуть мне задний проход.

Засим военачальник молча и с великими церемониями повел нас во дворец королевы. Пантагрюэль хотел с ним о чем-то поговорить, но военачальник, так и не дотянувшись до его уха, потребовал лестницу или же высокие ходули.

– Баста! – сказал он наконец. – Была бы на то воля нашей королевы, мы бы с вами сравнялись в росте. И так оно и будет, стоит

ей только пожелать.

В первых галереях мы встретили тьму-тьмущую больных, коих расставили по разным местам соответственно многообразию заболеваний: прокаженные толпились совсем отдельно, отравленные – в одном месте, чумные – в другом, с дурной болезнью – в первом ряду и т. п.

Глава XX

О том, как Квинтэссенция лечила болезни музыкой

Во второй галерее военачальник показал нам молодую даму (хотя ей было по малой мере тысяча восемьсот лет), красивую, изящную, пышно одетую, окруженную придворными дамами и кавалерами.

– Сейчас не время с ней говорить, – заметил военачальник, – вы только следите внимательно за всеми ее действиями. У вас там, в ваших королевствах, иные короли фантастическим способом лечат некоторые болезни, как-то: золотуху, падучую, а равно и перемежающуюся лихорадку, – лечат возложением рук, и ничем больше. Наша королева лечит от всех болезней, не прикасаясь к недугующим, а лишь наигрывая им ту или иную, в зависимости от заболевания, песенку.

Тут он показал нам органы, коих звуки творили чудеса. Они поражали необыкновенным своим устройством: трубы, в виде палочек, были из кассии^[919], музыкальный ящик – из бакаутового дерева, пластинки – из ревеня, педали – из турбита, клавиатура – из скаммонии.

Пока мы рассматривали необычайный, доселе не виданный орган, абстракторы, сподизаторы, масситеры, прегусты, табахимы, хахамимы, нееманимы, рабребаны, нирейны, розены, недибимы, неаримы, саганимы, перашимы, хасинимы, саримы, шотримы, аботы, амилимы, ахашдарпнины, мебины, гиборимы^[920] и другие прислужники королевы ввели прокаженных; она сыграла им какую-то песенку – они тотчас же и вполне излечились. Затем были введены отравленные – она сыграла им другую песенку, и болезнь как рукой сняло. То же самое было со слепыми, глухими, немymi и паралитиками. Все это, естественно, привело нас в трепет: мы пали ниц как бы в экстазе и восторге от всепоглощающего созерцания и любования тою целебною

силою, которая у нас на глазах исходила от госпожи королевы, и не в состоянии были вымолвить ни слова. Так мы всё и лежали на полу, пока наконец она не дотронулась до Пантагрюэля красивым букетом белых роз, который держала в руке, не привела нас в чувство и не заставила подняться. Затем она обратилась к нам с шелковыми словами, с такими, с какими, по мнению Парисатиды, надлежало обращаться к сыну Парисатиды – Киру, или, уж во всяком случае, со словами из алой тафты:

– Благодородство, излучаемое циркумференцией^[921] ваших особ, дает мне полное представление о добродетели, сокрытой у вас в душе; ощущая же медоточивую сладость ваших смиренных изъявлений преданности, я легко убеждаюсь в том, что сердца ваши свободны от зловредного и напыщенного суемудрия и вольнодумства, что они впитали в себя редкостные иноземные учения, между тем нравы непросвещенной черни ныне таковы, что к учениям этим можно как угодно тяготеть, да не так-то легко к ним пробиться. Вот почему я, в свое время возвысившаяся над личными пристрастиями, ныне не могу удержаться от пошлых слов: вы мои дорогие, предорогие, распредорогие гости.

– Я человек неученый, – сказал мне на ухо Панург, – отвечайте вы, если хотите.

Я, однако ж, ничего не ответил, не ответил и Пантагрюэль; все мы по-прежнему хранили молчание.

Тогда снова заговорила королева:

– Это ваше безмолвие указывает на то, что вышли вы не только из школы пифагорейской, от коей издревле берет начало постепенно размножившийся род моих пращуров, но что, кроме того, и в Египте, сей колыбели возвышенной философии, назад тому множество лун вы грызли себе ногти и чесали голову пальцем. В пифагорейской школе безмолвие являло собою символ знания, египтяне также возвеличили и обожествили молчание, а первосвященники Гиерополя приносили жертвы великому богу, не произнося ни слова, бесшумно и безмолвно. В намерения мои ни в малой мере не входит выказать по отношению к вам отсутствие признательности, – напротив того, я намерена в наглядной форме эксцентрировать вам мои мысли, хотя бы даже сущность их от меня абстрагировалась.

Окончив эту речь, она обратилась к прислужникам своим с кратким повелением:

– Табахимы, к Панацее!

Как скоро она произнесла эти слова, табахимы обратились к нам с просьбой извинить королеву за то, что она не будет с нами обедать, ибо за обедом она ничего, мол, не ест, кроме некоторых категорий, сехаботов, аменимов, димионов, абстракций, хирхуринов, халоминов, вторичных интенций, харадотов^[922], антитез, метемпсихоз и трансцендентных пролепсисов.

Затем нас отвели в небольшую комнату, обитую тревогами. Одному Богу известно, как славно нас там угостили. Говорят, Юпитер на дубленой шкуре козы, выкормившей его на Крите, той самой шкуре, которая служила ему щитом в битве с титанами (за что он и был прозван Эгиохом), записывает все, что творится на свете. Клянусь честью, друзья мои пьяницы, не то что на одной, а и на восемнадцати козьих шкурах не перечислить тех дивных яств, кушаний и блюд, какие нам подавались, даже если бы мы стали писать такими же маленькими буквами, какими была написана та Гомерова *Илиада*, которую читал Цицерон, уверявший, что ее можно было прикрыть одной ореховой скорлупкой. О себе скажу, что, будь у меня сто языков, сто ртов, железная глотка и будь я сладкоречив, как Платон, мне и четырех книг было бы мало, чтобы описать вам хотя бы одну треть от половины того, чем нас потчевали. Пантагрюэль же мне сказал, что, по его разумению, слова «К Панацее!», с которыми госпожа королева обратилась к табахинам, имеют у них смысл символический и означают пир на весь мир, – так Лукулл, желая как-нибудь особенно угостить друзей своих, хотя бы даже явившихся неожиданно, как это случалось иной раз с Цицероном и Гортензией, говорил: «У Аполлона!»

Глава XXI

О том, как королева проводила время после обеда^[923]

По окончании трапезы один из хахамимов провел нас в залу госпожи королевы, и там мы увидели, как она, по своему обыкновению окруженная принцами и придворными дамами, после

принятия пищи просеивает, провеивает, пропускает и проводит свое время сквозь большое красивое решето из белого и голубого шелка. Затем они, возрождая древность, плясали все вместе

кордакс, калабризм,
эммелию, молосскую,
сициннию, кернофор,
ямбическую, монгас,
персидскую, терманстрию,
фригийскую, флоралию,
никатизм, пирриху^[924],
фракийскую, а равно и многие другие пляски.

Потом, с дозволения королевы, мы осмотрели дворец и увидели там столько нового, чудесного и необычайного, что я еще и сейчас при одном воспоминании об этом прихожу в восторг. Всего более потрясло нас, впрочем, искусство ее придворных: абстракторов, перазонов, недибимов, сподизаторов и других, – они сказали нам напрямик, без утайки, что госпожа королева делает только невозможное и исцеляет только неизлечимых больных, меж тем как они, ее помощники, заняты лечением других болезней.

Я видел, как некий юный перашим справлялся с венерическими заболеваниями, да еще с весьма трудными случаями, вроде руанских: он лишь троекратно касался зубообразного позвонка венериков обломком деревянного башмака.

Я видел, как другой великолепно лечил гидропиков, тимпанистов, асцитиков и гипозаргиков^[925]: девять раз подряд, без всякого перерыва, он ударял их по животу обоюдоострой тенедосской секирой.

Третий мигом вылечивал все виды лихорадки: он привязывал больным к поясу с левой стороны хвост лисицы, по-гречески именуемый *alorex*.

Четвертый лечил зубную боль только тем, что трижды промывал корень больного зуба бузинным уксусом, а затем советовал больному полчаса посушить зуб на солнце.

Пятый лечил все виды подагры, острую, хроническую, наследственную и благоприобретенную: он только заставлял больного закрыть рот и открыть глаза.

Я видел, как шестой в несколько часов вылечил девять почтенных дворян от болезни св. Франциска^[926]: он освободил их от всех долгов и каждому из них повесил на шею веревку, к коей привязана была кошля, вмещающая десять тысяч экю с солнцем.

Седьмой с помощью некоего чудодейственного приспособления выбрасывал в окна дома и таким образом проветривал их.

Восьмой излечивал все виды истощения: малокровие, сухотку, худобу, не прибегая ни к ваннам, ни к молочной диете, ни к припаркам, ни к пластырям, ни к каким-либо другим средствам, а лишь постригая больных сроком на три месяца в монахи. И он уверял нас, что если уж они во иноческом чине не разжируют, значит, и врачебное искусство и сама природа в сем случае бессильны.

Наконец, еще один лекарь был окружен множеством женщин, образовавших два ряда: один ряд составляли девицы белолицы, истинные чаровницы, любезницы, прелестницы, готовые, как мне показалось, ко всем услугам, а другой – старухи, беззубые, с гноющимися глазами, морщинистые, почерневшие, труповидные. Пантагрюэлю пояснили, что лекарь сей переплавляет и омолаживает старух, которые благодаря его искусству превращаются в таких вот девушек, а между тем девушки эти тоже были старухами, но он их как раз сегодня переплавил и полностью восстановил их былую красоту, формы, изящество, рост и телосложение, какими они отличались, когда им было лет по пятнадцать-шестнадцать, – восстановил все, за исключением пяток, пятки же у них становятся не в пример короче, нежели в пору их ранней юности. Вот отчего, омолодившись, они при встречах с мужчинами показывают необычайную покорность и, даром времени не теряя, падают на спину.

Старухи с необычайным благоговением дожидались каждая своей очереди, всё приставали к врачу и твердили, что для естества нет, дескать, горшей муки, когда красота уж не та, а все ж – невтерпех. В практике этот врач недостатка не имел и зарабатывал недурно. Пантагрюэль спросил, не омолаживает ли он путем переплава и стариков; ему ответили, что нет; впрочем, мужчина может омолодиться путем сожительства с переплавленной женщиною, ибо он от нее заразится пятой разновидностью венерической болезни, так называемым облуплением, или, по-гречески, *офиазисом*^[927], при котором люди меняют и волосы и кожу, как меняют ее ежегодно змеи,

и тогда, будто к аравийскому фениксу, к нему возвратится молодость. Вот он, истинный источник юности. Благодаря ему дряхлый старик становится молодым, жизнерадостным, бодрым, как это, если верить Еврипиду, случилось с Иолаем^[928], или, по милости Венеры, с прекрасным Фаоном, которого так любила Сафо, с Тифоном – стараниями Авроры, с Эсоном, который обязан был этим Медее, а также с Ясоном, который, по свидетельству Ферекида и Симонида, был ею переиначен и омоложен, а равно, согласно Эсхилу, и с кормилицами славного Бахуса, и не только с ними самими, но и с их мужьями.

Глава XXII

О том, как прислужники Квинты занимались разными делами, а равно и о том, как госпожа королева утвердила нас в должности абстракторов

Затем я увидел, что многие из упомянутых прислужников оттирают эфиопам дном корзинки только живот, и ничего более, от чего те малое время спустя белеют.

Другие на трех парах лисиц, впряженных в одно ярмо, пахали песчаный берег моря и попусту не теряли ни единого зернышка.

Третьи мыли черепицу и сводили с нее краску.

Четвертые долго толкли в мраморной ступке наждак, который у вас называется пемзой, и таким путем извлекали из него воду и изменяли его состав.

Пятые стригли ослов и получали отменную шерсть.

Шестые собирали с терновника виноград, а с репейника смоквы.

Седьмые доили козла и с великой пользой для хозяйства сливали молоко в решето.

Восьмые мыли ослам голову и после мытья щелок не выбрасывали.

Девятые ловили сетями ветер, а вместе с ветром и преогромных раков.

Я видел, как некий юный сподизатор ловко добывал издохлого осла газы и потом продавал их по пять су за локоть.

Другой гноил сехаботов. Лакомое, должно полагать, блюдо!

Панурга, однако ж, препаскудным образом вырвало при виде некоего ахашдарпнина, гноившего целую лохань человеческой мочи в лошадином навозе, смешанном с изрядным количеством христианского дерьма. Экий невежа! А прислужник нам пояснил, что дистиллированной этою жидкостью он поит королей и великих князей и продлевает им веку на добрую туазу, а то и на целых две.

Иные колом бацали колбасы.

Иные обдирали угрей с хвоста, причем угри поднимали крик только после того, как уже были ободраны, – не в пример угрям меленским.

Иные из ничего творили нечто великое, а великое обращали в ничто.

Иные резали огонь ножом, а воду черпали решетом. Иные мастерили луну из чугуна, а из молока – облака.

Мы видели, как двенадцать прислужников пировали под сенью дерев и пили из красивых и емких сосудов вино четырех сортов, вино холодное, чудесное, на все вкусы, и нам пояснили, что это они, как здесь принято, поднимают погоду и что именно так поднимали в былое время погоду Геркулес совместно с Атлантом.

Иные по одежке протягивали ножки, и это занятие показалось мне ласкающим взор и вместе полезным.

Иные клали зубы на полку и в это время не слишком усердно ходили на двор.

Иные в обширном цветнике старательно измеряли скачки блох, да еще уверяли, что это занятие более чем необходимое для управления королевствами, для ведения войн, для поддержания порядка в государствах, и ссылались в том на Сократа, первого низведшего философию с небес на землю, из праздной забавы превратившего ее в полезное и прибыльное дело и, как удостоверяет квинт-эссенциал Аристофан, половину времени, которое он посвящал науке, употреблявшего на измерение блошинных скачков.

Я видел, как два гиборима, стоя на башне, исполняли обязанности караульных, – нам сказали, что это они охраняют луну от волков.

В углу сада я встретил четырех человек, о чем-то ожесточенно споривших и готовых вцепиться друг дружке в волосы; осведомившись о причине распри, я узнал, что вот уже четыре дня, как они обсуждают три важные сверхфизические проблемы, от решения

коих они ожидали золотых гор. Первая проблема касалась тени невыхолощенного осла; вторая – дыма от фонаря; третья – козьей шерсти: шерсть это или не шерсть. Кроме того, как нам стало известно, они не усматривают ничего невероятного в том, что два противоречивых суждения могут быть истинны по модусу, форме, фигуре, а также во времени. Между тем парижские софисты скорее перейдут в другую веру, чем признают это положение.

Мы все еще внимательно следили за необычайными действиями этих людей, когда, уже при свете ясного Геспера, перед нами предстала госпожа королева со своею доблестной свитой. При ее появлении мы вновь ощутили трепет, и в очах наших померкнул свет. Оцепенение наше не укрылось от взоров королевы, и она тотчас же обратилась к нам:

– Мысль человеческую заставляет блуждать в безднах изумления не верховенство последствий, в тесной связи коих с причинами естественными люди убеждаются воочию благодаря хитроумию искусных мастеров, – нет, их ошеломляет новизна опыта, воздействующая на их чувства, о степени же легкости самого действия люди судить не могут, коль скоро прилежное изучение не сочетается у них с ясностью представлений. Итак, совладайте с собой и отриньте всякий страх, как видно, внушенный вам деяниями кого-либо из прислужников моих. Смотрите, слушайте и созерцайте по своему произволению все, что ни есть в моем доме, и мало-помалу вы освободитесь от ига невежества. Таково мое желание, а дабы вы удостоверились в его искренности, равно как и в уважении к той живой любознательности, какую я читаю у вас в сердцах, ныне я утверждаю вас в должности и звании моих абстракторов. Гебер, мой первый табахим, перед вашим отъездом занесет вас в списки.

Мы молча и почтительно изъявили ей свою признательность и согласились отправлять славную эту должность.

Глава XXIII

О том, как королеве был подан ужин и как она ела

Окончив речь, госпожа королева обратилась к своим придворным и сказала:

– Пищевод, этот всеобщий посол, питающий все наши органы, как низшие, так равно и высшие, докучает нам восполнением того, что было ими утрачено в силу постоянного действия естественной теплоты и первоосновной влаги, утраченное же возмещает он притоком потребной каждому из них пищи. Сподизаторы, хасинимы, нееманимы и перашимы! Вам остается лишь проворно накрыть столы и уставить их всеми дозволенными видами питательных веществ. Что же касается вас, доблестные прегусты, а равно и вас, любезные моему сердцу масситеры, то хитроумие ваше, с усердием и рвением сочетающееся, мне хорошо известно: я еще не успею отдать приказание, а вы уже исполняете свой долг, – вы бодрствуете вечно. Я вам только напоминаю о ваших обязанностях.

Сказавши это, королева с несколькими придворными дамами на некоторое время удалилась – нам было сказано, что она ушла принимать ванну, каковой обычай был распространен у древних не меньше, чем у нас теперь мытье рук. Столы были проворно расставлены и накрыты дорогими скатертями. Порядок трапезы был такой, что госпожа королева не вкушала ничего, кроме небесной амброзии, и ничего не пила, кроме божественного нектара. Зато вельмож, придворных дам, а заодно и нас угостили блюдами изысканными, лакомыми и дорогими, какие самому Апицию^[929] не снились.

К концу трапезы, на случай если голод еще давал бы о себе знать, подали блюдо со всякой всячиной, блюдо такого объема и таких размеров, что его с трудом можно было бы прикрыть тем золотым подносом, который Пифий Вифинский подарил царю Дарию. В эту всякую всячину входило множество различных супов, салатов, фрикасе, рагу, жареная козлятина, говядина жареная, говядина вареная, мясо, жаренное на рашпере, большие куски солонины, копченая ветчина, божественные соленья, пироги, сладкие пирожки, груды фрикаделек по-мавритански, сыры, кремы, желе и разных сортов фрукты. Все это показалось мне отменно вкусным, и все же я ни к чему не притронулся, так как был сыт по горло. Только должен еще добавить, что среди прочего я заметил паштеты, запеченные в тесте, вещь довольно-таки редкостную, и эти запеченные в тесте паштеты находились в горшке. А на дне горшка лежали приготовленные в большом количестве для желающих поиграть кости, карты

обыкновенные, карты для игры в тарок, люэтты^[930], шахматы и тавлеи вместе с чашечками, доверху наполненными эю с изображением солнца.

Наконец любителей весело прокатиться ожидало под блюдом многое множество мулов в дорогих пополах, с бархатными чепраками, а также иноходцев под мужскими и дамскими седлами, Бог его знает, сколько обитых бархатом носилок и несколько феррарских экипажей.

Все это меня, однако ж, не удивило, но я еще никогда не видел, чтобы кто-нибудь так ел, как госпожа королева. Она ничего не жевала, и не потому, чтобы у нее не было хороших, крепких зубов, и не потому, чтобы кушанья, которые ей подавались, не нужно было разжевывать, – просто-напросто таков был ее нрав и обычай. Кушанья сначала пробовали прегусты, потом за них принимались масситеры и преграциозно их разжевывали, глотка же у них была на подкладке из алого атласа с золотыми прожилками и прошивками, а зубы из прекрасной белой слоновой кости, и вот, отлично разжевав такими зубами любое кушанье, они вводили его королеве прямо в желудок через воронку из чистого золота. Еще мы узнали, что испражнялся за нее тоже кто-нибудь другой.

Глава XXIV

О том, как в присутствии королевы был устроен веселый бал-турнир^[931]

По окончании ужина в присутствии госпожи королевы был устроен бал-турнир, достойный не только внимания, но и увековечения. Перед его открытием пол в зале застелили огромным бархатным ковром в виде шахматной доски, то есть разделенным на белые и желтые квадраты шириною и длиною в три локтя каждый. Потом в залу вошли тридцать два юных участника и участницы бала, из коих шестнадцать были одеты в золотую парчу, а именно: восемь юных нимф, убранных так, как древние представляли себе свиту Дианы, король, королева, два башенных стража, два рыцаря и два лучника. В таком же порядке вошли и другие шестнадцать, одетые в парчу серебряную. Расположились они на ковре следующим образом. Короли стали в последних рядах, на четвертых квадратах: золотой

король на белом квадрате, серебряный на желтом; королевы заняли места рядом с королями: золотая на желтом квадрате, серебряная на белом; рядом с королями и королевами в качестве их телохранителей стали лучники; подле лучников – рыцари; подле рыцарей – два стража. Следующий ряд на той и на другой стороне заняли восемь нимф. Между двумя рядами нимф оставалось четыре ряда пустых квадратов.

У каждой партии были свои музыканты в одежде особых цветов: одних вырядили в оранжевый дамасский шелк, других – в белый; их было по восьми на каждой стороне, и играли они на самых разнообразных и презабавных инструментах, достигших отличной сыгранности, необычайно приятных для слуха, менявших по ходу бала тон, темп и такт, чему нельзя было не подивиться, особенно приняв в соображение многообразие движений: ходы, прыжки, скачки, повороты, увертки, ловушки, отступления и внезапные нападения.

Но, по-моему, еще сильнее действовали на воображение сами участники бала: они так быстро улавливали звучание, соответствовавшее их наступлениям и отступлениям, что едва лишь музыканты переходили на другой тон, как они уже занимали надлежащие места – нужды нет, что предшествовавшая фигура танца была совсем иного рода. Правила были здесь таковы: нимфы, занимающие передние ряды и начинающие бой, наступают на неприятеля прямо вперед, с квадрата на квадрат, за исключением первого хода, когда им дозволяется пройти два квадрата; в отличие от остальных фигур нимфы никогда не отступают. Если какой-нибудь из них посчастливится дойти до того ряда, с которого начинал игру король-неприятель, то свой король венчает ее венцом королевы, и с этой минуты она уже двигается как королева, пользуясь всеми ее преимуществами, берут же нимфы своих неприятелей только по диагонали, вкось, и только вперед. Нимфам и никому другому не дозволяется, однако ж, в погоне за неприятелем оставлять своего короля без прикрытия и под ударом. Короли ходят и берут неприятелей вокруг себя во всех направлениях, но переходят лишь на один квадрат – с белого на соседний желтый и наоборот, – за исключением первого хода; в том случае, если их ряд свободен от всех других фигур, кроме стражей, короли имеют право поставить стража на свое место, а сами становятся рядом под защиту стража. Королевы ходят и берут гораздо свободнее, чем все остальные фигуры, то есть всюду, на все лады и по-

всякому: и по прямой линии, как угодно далеко, лишь бы только эта линия не была занята своими, и таким же образом по диагонали своего цвета. Лучники ходят и вперед и назад, и далеко и близко. Цвета своей диагонали они никогда не меняют. Рыцари ходят и берут глаголем: они проходят через один квадрат по прямой линии, даже если он занят своими или же неприятелями, а затем на втором квадрате поворачивают направо или же налево, меняя цвет, и этот их прыжок чрезвычайно опасен для враждебной партии и требует с ее стороны особой бдительности, ибо рыцари никогда не берут врага в лоб. Стражи ходят и берут только по прямой – вправо и влево, вперед и назад, как и короли, но в отличие от королей они могут заходить как угодно далеко, если только линия свободна.

Конечная цель обеих сторон состояла в том, чтобы осадить и запереть короля враждебной партии, лишив его возможности куда бы то ни было ускользнуть. Когда короля запирали, он уже не мог спастись бегством и не получал помощи от своих – тогда бой прекращался, и осажденный король проигрывал. Но чтобы уберечь его от такой напасти, все его соратники и соратницы готовы были жертвовать собой ради него, и под звуки музыки золотые и серебряные на любых полях брали друг друга в плен. Когда кто-нибудь брал в плен неприятеля, то отвешивал ему поклон, слегка похлопывал его по правой руке, удалял с поля и становился на его место. Если же под ударом находился король, то враждебная партия не имела права брать его в плен; было строжайше повелено, чтобы всякий, кто поставит его под удар или же сам на него нападет, низко ему поклонился и предупредил об опасности словами «Храни вас Господь!» – дабы слуги короля могли защитить его и прикрыть или же он сам мог переменить место, если, на его беду, ему ничем больше помочь нельзя. Как бы то ни было, враждебная партия не брала короля в плен, но, опустившись перед ним на левое колено, говорила ему: «Добрый день!» И на этом турнир оканчивался.

Глава XXV

О том, как тридцать два участника бала сражаются

Как скоро обе стороны заняли свои места, музыканты заиграли воинственный и довольно грозный марш, как бы призывавший к атаке.

Тут обе партии встрепенулись и в ожидании той минуты, когда они столкнутся с противником за пределами своего ратного стана, изготовились к бою. Музыканты серебряных внезапно смолкли, продолжали звучать лишь инструменты золотых, из чего мы заключили, что начнут атаку золотые, и так оно и случилось на самом деле, ибо вскоре музыканты заиграли другую мелодию, и тут мы увидели, что нимфа, стоявшая перед королевой, повернулась налево кругом к королю, как бы испрашивая у него дозволения вступить в бой, а затем поклонилась всей своей партии. Далее она с весьма скромным видом переступила два квадрата и сделала реверанс враждебной партии, которую она собиралась атаковать. Тут золотые музыканты стихли, и заиграли серебряные. Не излишним почитаю заметить, что поклонилась нимфа своему королю и всей своей партии в знак того, чтобы и они не бездействовали; те, в свою очередь, повернувшись налево кругом, поклонились ей, за исключением королевы, которая повернулась к своему королю направо, и порядок этот соблюдался всеми участниками: во все продолжение бала и та и другая сторона кланялись именно так.

Под музыку серебряных музыкантов выступила серебряная нимфа, – та, что стояла перед своей королевой, – она грациозно поклонилась своему королю и всей своей партии, а те, подобно золотым, в свою очередь, поклонились ей, но только они поворачивались направо, а королева к своему королю – налево; серебряная нимфа переступила также два квадрата и, сделав реверанс своей противнице, очутилась как раз напротив нее, совсем вплотную, – казалось, обе они вот-вот вступят в бой, однако ж нимфы имеют право бить только вкось. Подруги последовали их примеру; как золотые, так равно и серебряные стали наступать клиньями и сделали вид, что завязывают бой, то есть золотая нимфа, вышедшая на поле первую, ударила по руке нимфу серебряную, стоящую слева наискось от нее, тем самым вывела ее из строя и заняла ее место; немного погодя, однако ж, при новой мелодии ее самое ударил серебряный лучник. Тогда лучника стала теснить еще одна золотая нимфа; тут вышел на поле серебряный рыцарь, а золотая королева стала впереди своего короля.

Вслед за тем серебряный король, опасаясь нападения со стороны золотой королевы, переменял позицию и занял место своего правого

стража, которое, как видно, представлялось ему отлично укрепленным и хорошо защищенным.

Два рыцаря, стоявшие с левой стороны, как золотой, так равно и серебряный, пошли и взяли в плен несколько нимф из вражеского стана, так как те не имели возможности отступить; особенно отличился при этом рыцарь золотой, – в пленении нимф он видел главную свою задачу. Серебряный рыцарь замыслил более важное дело: скрывая истинные свои намерения, он в ряде случаев не брал золотых нимф, а двигался дальше и в конце концов, очутившись прямо перед своими врагами, поклонился золотому королю и сказал: «Храни вас Господь!» Это было как бы предупреждением, что золотым надлежит помочь своему королю, и тут все они содрогнулись, – поспешить на помощь своему королю им ничего не стоило, но, спасая короля, они безвозвратно теряли правого своего стража. Тогда золотой король отступил налево, а серебряный рыцарь взял в плен золотого стража, что явилось великим уроном для золотых. Золотые порешили, однако ж, отомстить и окружили рыцаря, так что он не мог ни бежать, ни вырваться из их рук; он прилагал все усилия, чтобы уйти; его сподвижники пускались на всякие хитрости, чтобы его защитить, и все же в конце концов золотая королева его взяла.

Лишившись одной из главных своих опор, золотые собираются с силами и пытаются во что бы то ни стало отомстить неприятелю; они не выказывают при этом должной осмотрительности, однако ж немалый наносят урон вражескому войску. Серебряные для отвода глаз и в ожидании реванша дарят золотой королеве одну из своих нимф, тем самым создавая для нее ловушку, так что после взятия нимфы лучник чуть было не взял в плен королеву. Золотой рыцарь замышляет захват серебряного короля и королевы и говорит им: «Добрый день!» Их спасает серебряный лучник; лучника берет золотая нимфа, а ее, в свою очередь, берет нимфа серебряная. Бой все жарче и жарче. Устремляются на помощь стражи. Все смешалось в грозной схватке. Энио^[932] пока еще колеблется. Серебряные уже не раз добирались до королевской позиции, но всякий раз их отбрасывали. Вместе с другими совершает великие подвиги и золотая королева: одним ходом она берет серебряного лучника и обходным маневром – стража. Тогда серебряная королева с не меньшей отвагой устремляется вперед и захватывает в плен последнего золотого стража и нескольких нимф.

Долго бьются обе королевы, то стараясь захватить друг друга врасплох, то спасти самих себя и уберечь королей. В конце концов золотая королева берет серебряную, но тут ее самое неожиданно берет в плен серебряный лучник. После этого у золотого короля остаются всего лишь три нимфы, лучник и страж, а у серебряного – три нимфы и правый рыцарь, в связи с чем обе партии ведут теперь сражение осторожнее и не столь стремительно.

Оба короля, как видно, огорчены потерей возлюбленных королев своих, и все их умение и все их старания направлены теперь к тому, чтобы получить новых из числа своих нимф, возвести их в королевское достоинство, вступить с ними в новый брак и полюбить их всем сердцем; они дают им твердое обещание взять их в жены, если только те сумеют дойти до последнего ряда, откуда начинал игру король враждебной партии. Золотые нимфы первыми двигаются вперед, одна из них становится королевой, на нее возлагают корону и облачают в новый наряд.

Серебряные нимфы также выступают вперед, еще один ряд – и одна из них станет королевой, но за ней все время следил страж, и вот она остановилась.

Новая королева по восшествии на престол желает выказать силу, храбрость и воинственность. Она совершает на поле сражения геройские подвиги. Между тем серебряный рыцарь берет золотого стража, охранявшего границу; благодаря этому и у серебряных есть теперь своя королева, и она, вступив на престол, также хочет показать свою доблесть. Бой возгорается с новой силой. Обе стороны пускаются на всевозможные хитрости, предпринимают одну атаку за другой, создают одну угрозу за другой; наконец серебряная королева прокрадывается к позиции золотого короля и говорит: «Храни вас Господь!» Помочь ему может только новая королева. Она, не задумываясь, бросается его спасать. Тогда серебряный рыцарь, до сих пор действовавший во всех направлениях, спешит к своей королеве, и они вдвоем ставят золотого короля в такое ужасное положение, что для своего спасения он принужден пожертвовать своею королевой. Все же ему удастся взять серебряного рыцаря. А золотой лучник и две оставшиеся нимфы изо всех сил стараются защитить своего короля. Однако ж в конце концов их всех берут и выводят из строя, и золотой король остается один. Тут вся партия серебряных низко кланяется ему

и говорит: «Добрый день!» – ибо победа остается за серебряным королем. При этих словах обе партии музыкантов играют нечто вроде победного марша. И кончился первый бал до того весело, такими изящными телодвижениями, исполненными такого благородства и столь очаровательной приятности, что все мы возликовали духом и пришли в восторг, и не без основания казалось нам, будто мы восхищены до крайних пределов блаженства олимпийского неба и вкушаем от наивысших наслаждений.

По окончании первого турнира обе партии вернулись на исходные позиции и снова повели сражение, как и в первый раз, но только музыка играла теперь на полтакта быстрее, да и весь ход сражения был теперь совершенно иной. Так, например, я увидел, что золотая королева, как бы возмущенная поражением своего войска и воодушевляемая звуками музыки, одною из первых вместе с лучником и рыцарем вступила на поле боя и чуть было не захватила серебряного короля прямо на его стоянке, хотя его и защищали офицеры. Видя, однако ж, что замысел ее раскрыт, она врезалась в расположение вражеского войска и сбила столько серебряных нимф и офицеров, что жалость брала на все это смотреть. Можно было подумать, что это новоявленная амазонка Пенфесилея свирепствует в стане греков; избиение это длилось, однако ж, недолго, ибо серебряные, втайне ужасаясь гибели своих людей, но тщательно свою скорбь скрывая, устроили золотой королеве засаду, и странствующий рыцарь при содействии лучника, угрожавшего ей из дальнего угла, взял ее в плен и вывел из строя. Операция была совершена быстро. Вперед золотая королева будет осторожнее, будет держаться поближе к своему королю, так далеко заходить не станет, в случае же надобности выступит в поход с более надежной свитой. Победа, как и в прошлый раз, досталась серебряным.

Так же точно обе партии построились для третьего, и последнего, бала, но только мне показалось, что лица у всех стали еще веселее, а взгляды смелее. Музыка теперь играла – более чем на квинту быстрее – какие-то воинственные мелодии во фригийском ладу, изобретенном некогда Марсием. Все завертелись и вступили в презабавный бой, и бой этот отличался теперь такой стремительностью, что за один такт участники успевали сделать по четыре хода с вышеописанными приличествующими случаю кругообразными поклонами, ходы же

представляли собой прыжки, скачки и балансирование, как при ходьбе по канату, причем все эти движения мгновенно сменялись одно другим. Видя же, как, сделав поклон, они кружились на одной ноге, мы невольно сравнивали их с волчками, которые детвора подгоняет кнутиками и которые так быстро вертятся, что их движение можно принять за состояние покоя, – они представляются застывшими, неподвижными, как бы уснувшими, и если остановить взгляд на какой-нибудь цветовой точке, то она покажется нам не точкой, но непрерывной линией, как верно заметил, трактуя о высоких материях, Николай Кузанский.

Рукоплескания, беспрестанно раздававшиеся и с той и с другой стороны, сливались с возгласами одобрения. Суровый Катон, агеластичный наш праотец Красс, человеконенавистник Тимон Афинский, Гераклит, презиравший смех, это неотъемлемое свойство человеческой природы, и те утратили бы свою степенность при звуках этой подмывающей музыки и при виде юношей, королев и нимф, стремительно и бесконечно разнообразно двигавшихся и передвигавшихся, подпрыгивавших, носившихся, скакавших и кружившихся так ловко, что никто никому не мешал. Чем меньше оставалось бойцов на поле сражения, тем любопытнее было следить за хитростями и подвохами, с помощью коих они друг друга подлавливали, как им подсказывала музыка. Я вам больше скажу: если сверхъестественное это зрелище приводило в смятение наши чувства, поражало наши умы и потрясало все наше существо, то еще сильнее волновали и ужасали наши сердца звуки музыки, и теперь мне уже не казалось невероятным, что Исмений, сидя за одним столом с Александром Великим и разделяя с ним мирную трапезу, подвинул его под влиянием подобных же модуляций вскочить из-за стола и взяться за оружие. В третьем турнире победил золотой король.

Во время танцев королева незаметно исчезла, и больше мы ее не видели. Прислужники Гебера провели нас к нему и во исполнение приказа королевы занесли нас в списки. Засим, достигнув гавани Матеотехнии, мы, дабы не упустить попутного ветра, поспешили сесть на корабль, а иначе мы бы его прождали до конца третьей фазы луны.

Глава XXVI

О том, как мы высадились на острове Годосе^[933], где дороги ходят

Два дня спустя взору нашему представился остров Годос, и там мы увидели вещь достопримечательную. Если верна мысль Аристотеля, утверждавшего, что отличительной особенностью существа одушевленного является способность самопроизвольно двигаться, то дороги на этом острове – существа одушевленные. В самом деле, дороги там ходят, как живые, и есть среди них дороги блуждающие, вроде планет, дороги проходящие, дороги скрещивающиеся, дороги пересекающиеся. Я заметил, что путешественники часто задают местным жителям вопрос: «Куда идет эта дорога? А вон та?» А им отвечают: «К такому-то приходу, к такому-то городу, к такой-то реке». И путники, избрав нужную им дорогу, без особых трудов и усилий прибывают к месту своего назначения, – все равно что у нас сесть в лодку в Лионе и доехать по Роне до Авиньона или же Арля. Всем известно, однако ж, что нет на свете ничего совершенного и нигде нет полного блаженства, а потому и здесь, как мы узнали, существует порода людей, подкарауливающих дороги и трамбуемых мостовые, и бедные дороги боятся их и избегают, как разбойников. Люди эти подкарауливают идущие дороги и ловят их, как волков, арканом или же, как бекасов, сетями. На моих глазах одного из таких людей задержало правосудие за то, что он ошибочно, вопреки здравому смыслу, избрал путь школьника, то есть самый длинный, а другой, наоборот, похвалялся, что избрал путь самый короткий, то есть путь войны, и что благодаря столь удачному выбору он первый достигнул своей цели.

Карпалим по этому поводу заметил Эпистемону, что однажды он видел, как тот мочился у забора, и его, мол, теперь не удивляет, что Эпистемон всегда первый является на утренний прием к доброму Пантагрюэлю, ибо у него, мол, кратчайший и нимало не изъезженный.

Я узнал на этом острове Буржскую большую дорогу, заметил, что ходит она черепашьим шагом, и обратил внимание, как она бросилась бежать, завидев возчиков, – она боялась, что возчики станут топтать ее копытами лошадей и переедут телегами, подобно тому как Туллия

переехала колесницей отца своего^[934], Сервия Туллия, шестого царя римского.

Еще я там признал старую дорогу из Перонны в Сен-Кантен, и она показалась мне с виду вполне благопристойной.

Узнал я там добрую старую Ферратскую дорогу, идущую среди скал и взбирающуюся на гору в виде большущего медведя. Издали взглянув на этот путь, я невольно подумал, что так именно изображают святого Иеронима^[935], если только льва заменить медведем: путь этот такой же точно дряхлый, и такая же у него длинная белая всклокоченная борода – то были ледники; на нем висели крупные, топорной работы, сосновые четки, и он словно бы полз на коленях, но не стоял и отнюдь не лежал, и бил себя в грудь большими острыми камнями. Он вызывал у нас смешанное чувство страха и жалости. Нас отозвал в сторону местный бакалавр и, показав гладкую белую и кое-где застеленную соломой дорогу, сказал:

– Теперь вы уже не станете опровергать мнение Фалеса Милетского, полагавшего, что вода есть начало всего, а также изречение Гомера, утверждавшего, что все берет начало в океане. Вот эта самая дорога вышла из воды и в воду же возвратится: два месяца назад здесь плавали в лодке, а сейчас по ней ездят на телегах.

– Нашли чем удивить! – молвил Пантагрюэль. – В наших краях ежегодно бывает по пятисот подобных превращений, а иногда и еще больше.

Затем, приглядевшись к побежке движущихся этих дорог, он высказал предположение, что Филолай и Аристарх создали свои философские системы не где-либо еще, а именно на этом острове^[936], Селевк же именно здесь пришел к заключению, что на самом деле вращается вокруг своих полюсов земля, а не небо, хотя мы и склонны принимать за истину обратное: ведь, когда мы плывем по Луаре, нам кажется, что деревья на берегу движутся, – между тем они неподвижны, а это нас движет бег лодки.

Возвращаясь на корабли, мы увидели, что неподалеку от берега собираются колесовать трех караульщиков дорог, которые сами попались в ловушку, и что на медленном огне поджаривают одного преизрядного мерзавца, который, трамбуя мостовую, сломал ей ребро; нам пояснили, что это дорога нильских запруд и плотин.

Глава XXVII

О том, как мы прошли Остров деревянных башмаков, а равно и об ордене братьев распевов

Затем мы пристали к Острову деревянных башмаков, которые к разряду изящной обуви никак не относятся; со всем тем король этого острова, Бений Третий, принял нас и обошелся с нами весьма радушно и после выпивки повел осматривать новый монастырь, основанный, учрежденный и построенный им для братьев распевов, – так назвал он этих монахов и тут же пояснил, что на материке проживают смиренные служители и поклонники благосердной Мадонны^[937], *item*^[938] славные и досточтимые братья минореты, бемольщики папских булл, братья минимальные, копченоселедочники, а также братья осьмушечники, а уж короче имени, чем распевы, для монаха и придумать невозможно. Согласно установлениям и обнародованной грамоте Квинты, которая находится с местными жителями в полной гармонии, они были одеты, как кровельщики, с тою, однако же, разницей, что, например, у анжуйских кровельщиков простеганы колени, а у этих животы были с набивкой, – надобно заметить, что набивальщики животов здесь в большой чести. Гульфики они носили в виде туфли, причем у каждого монаха было по два гульфика: один спереди, другой сзади, и гульфичная эта двойственность будто бы долженствовала олицетворять собою некие заветные и страшные тайны. На ногах у них были башмаки, круглые, как водоемы, – в подражание обитателям Песчаного моря^[939]; ко всему прочему бороду они брили, подошвы на их обуви были подбиты гвоздями, а дабы всем было ясно, что к Фортуне они равнодушны, они брили и выщипывали у себя, точно свиную щетину, волосы на затылке, от макушки и до самых лопаток. Спереди же, начиная от височных костей, волосы росли у них безвозбранно. Так они противофортунили, делая вид, что нимало не пекутся о благах земных. А дабы показать полное свое пренебрежение к враждебной Фортуне, они еще носили, только не в руке, как она, а за поясом, наподобие четок, острую бритву, которую они два раза в день и три раза в ночь наостряли и натачивали.

К ногам каждого из них был прикреплен круглый шар, ибо, как известно, таковой шар имеется у Фортуны под ногами. Капюшон

подвязывался у них спереди, а не сзади; таким образом, лиц их не было видно, и они могли сколько угодно смеяться и над самой Фортуной и над теми, кому пофортунило, – точь-в-точь как наши притворные, то бишь придворные, дамы, когда на них так называемая «прячьхарю», или, по-вашему, полумаска, древние же именовали ее «любовью», потому что любовь покрывает множество грехов. Что касается затылка, то он у них был всегда открыт, как у нас лицо, а потому они могли ходить как им вздумается: и животом вперед и задом вперед. Если они шли задом вперед, то можно было подумать, что это их естественная походка: башмаки на них были круглые, на надлежащем месте красовался гульфик, а лицо сзади было гладко и чисто выбрито, и вы видели на нем и два глаза и рот, словно на кокосовом орехе. Когда же они шли животом вперед, всякий подумал бы, что они играют в жмурки. Любо-дорого было на них смотреть!

Образ жизни их был таков: едва лишь ясная утренняя звезда показывалась над землей, они из чувства братской любви надевали друг другу сапоги со шпорами. Так, в сапогах со шпорами, они и спали или, во всяком случае, храпели, нос же у них в это время был оседлан очками.

Мы подивились этому обычаю, но их объяснения удовлетворили нас. Они сослались на то, что Страшный суд застанет людей вкушающими сон и покой. Так вот, желая как можно яснее показать, что им в отличие от баловней Фортуны не страшно перед этим судом предстать, они-де и спят в сапогах со шпорами, готовые вскочить на коня при первом же звуке трубы.

Когда било полдень (обратите внимание, что все их колокола как на часах, так равно и на церквах и в трапезных были устроены по завету Понтано, то есть подбиты наилучшим пухом, а вместо языков у них были привешены лисьи хвосты), – когда било полдень, говорю я, они пробуждались и разувались; кто хотел, тот мочился, кто хотел, тот испражнялся, кто хотел, тот сморкался. По принуждению же, во исполнение строгого устава, все должны были много и долго зевать, – они завтракали зеваем. Сие зрелище показалось мне забавным. Оставив сапоги со шпорами в конюшне, они шли в монастырскую галерею, с крайним тщанием мыли руки и полоскали рот, затем усаживались на длинной скамейке и чистили зубы до тех пор, пока настоятель не подавал им знака свистом в кулак, – тут каждый разевал

пасть как можно шире, и зевали они – когда полчаса, когда больше, а когда меньше, в зависимости от того, какой длины завтрак, по мнению настоятеля, полагался в тот или иной праздник, а после завтрака устраивали торжественное шествие с двумя хоругвями, на одной из которых была великолепно изображена Добродетель, а на другой Фортуна. Один из распевов нес впереди хоругвь с Фортуной; за ним шел другой, держа хоругвь с Добродетелью и кропило, обмокнутое в Меркуриеву воду^[940], которой описание мы находим в Овидиевых *Фастах* (кн. V), и этим своим кропилом он как бы беспрестанно подгонял распева, шедшего впереди и несшего Фортуну.

– Такой порядок противоречит взглядам Цицерона и академиков, – заметил Панург, – ведь они утверждали, что впереди должна идти Добродетель, а Фортуна сзади.

Нам, однако ж, пояснили, что цель распевов – отстегать Фортуну, следственно, они поступают правильно.

Во время шествия они вполголоса и весьма стройно распевали какие-то антифоны, – я этой патленщины не понял; слушая их со вниманием, я, однако ж, заметил, что поют они только ушами. О, какие это чудные напевы, и как гармонично сливались они со звоном колоколов! Тут уж дисгармонии быть не могло. Пантагрюэль сделал по поводу этого шествия удивительно тонкое замечание.

– Вам ясна, вам понятна хитрость распевов? – обратился он к нам. – Во время шествия они вышли в одну церковную дверь, а вошли в другую. Они поостереглись войти туда, откуда вышли. Клянусь честью, это люди хитрые, и не просто хитрые, а хитрющие, хитрецы, хитрюги, и не только хитрящие, но исхитряющиеся и перехитряющие.

– Эта хитрость заимствована из оккультной философии, – заметил брат Жан, – а я в ней ни черта не понимаю.

– Тем-то она и опасна, что в ней ничего понять нельзя, – подхватил Пантагрюэль. – Хитрость понятная, хитрость предвиденная, хитрость разгаданная теряет всякий смысл и перестает быть хитростью, – мы называем ее дурью. Честью клянусь, эти хитрецы искушены во многих других видах хитрости.

По окончании шествия, как после прогулки и полезного упражнения, распевы отправились в трапезную, опустили под столами на колени и легли грудью и животом на фонари. В это время явился упитанный башмачище и предложил им не весьма питательную

закуску: начали они с сыра, а кончили горчицей и латуком, – таков был, по свидетельству Марциала, обычай у древних. Затем все получили по блюдечку горчицы – это они должны были оставить себе на после обеда.

Их стол был таков: по воскресеньям они ели колбасу кровяную, колбасу ливерную, сосиски, телятину шпигованную, печенку свиную и перепелов (не считая неизменного сыра, для возбуждения аппетита, и горчицы на десерт). По понедельникам – отменный горох с салом, снабженный обширным комментарием и чтением между строк. По вторникам – изрядное количество благословенного хлеба, лепешек, пирогов, галет и печенья. По средам – деревенские кушанья, а именно: головы бараньи, головы телячьи и головы барсуков, коими здешние края были обильны. По четвергам – супы семи сортов, а в промежутках – неизменная горчица. По пятницам – ничего, кроме рябины, и даже, судя по цвету, не весьма зрелой. По субботам они глодали кости. Должно заметить, что это никак не сказывалось ни на их расположении духа, ни на их здоровье, ибо желудок у них и по субботам действовал превосходно. Пили они антифортунное вино – так назывался у них какой-то местный напиток. Когда они хотели пить или есть, они опускали капюшоны на грудь, и капюшон заменял им салфетку.

После обеда они усердно молились Богу, и непременно нараспев. Прочее время дня они в ожидании Страшного суда употребляли на добрые дела: по воскресеньям тузили друг друга; по понедельникам щелкали друг друга по носу; по вторникам друг друга царапали; по средам морочили друг другу голову; по четвергам ковыряли друг у друга в носу; по пятницам щекотали друг друга; по субботам бичевали друг друга.

Так они жили в монастыре. Если же по распоряжению настоятеля им случалось куда-нибудь отлучиться, то им строго-настрого воспрещалось, под страхом ужаснейшей кары, находясь на море или реке, вкушать или хотя бы даже отведывать рыбу, а на суше – мясо, дабы каждый мог воочию удостовериться, что ни чревоугодие, ни любострастие не имеют над ними власти и что они непоколебимы, как Марпесская скала^[941]. Они и в миру каждое свое действие сопровождали соответствующими и приличествующими случаю антифонами и, как уже было сказано, пели всегда ушами. Когда же

солнце опускалось в океан, они, как и в монастыре, натягивали друг другу сапоги со шпорами и, надев очки, ложились спать. В полночь к ним входил башмак, – тогда они вскакивали и принимались точить и острить бритвы, а по окончании торжественного шествия забирались под столы и вышеописанным способом питались.

Брат Жан Зубодробитель, поглядев на этих забавных братьев распевов и уразумев самую суть их устава, вышел из себя и громко воскликнул:

– Ах вы, бритые крысы, ну как на вас не окрыситься? Вот бы сюда Приапа^[942]: он бы тут, как во время ночных волхвований Канидии, из всех сил трахал, – вы себе петь, а он – как бы это вас всех переп...ть. Я теперь совершенно уверен, что мы находимся на земле антихтонов и антиподов. В Германии сносят монастыри и расстригают монахов, а здесь монастыри строят, потому как здесь все наоборот и все шиворот-навыворот.

Глава XXVIII

О том, как Панург, расспрашивая брата распева, получал от него лаконические ответы

Во все время нашего пребывания на этом острове Панург только и делал, что внимательно изучал физиономии бесподобных этих распевов; наконец, дернув за рукав одного из них, тощего, как копченый черт, он спросил:

– *Frater*^[943] распев, распев, распевчик, где твоя милка?

Распев же ему на это ответил:

– Внизу.

Панург. А много ли у вас их тут?

Распев. Мало.

Панург. А все-таки сколько?

Распев. Двадцать.

Панург. А сколько бы вы хотели?

Распев. Сто.

Панург. Где вы их прячете?

Распев. Там.

Панург. Должно полагать, они разного возраста, а вот какого они роста?

Распев. Высокого.

Панург. Каков у них цвет лица?

Распев. Лилейный.

Панург. Волосы?

Распев. Белокурые.

Панург. А глазки?

Распев. Черные.

Панург. Грудь?

Распев. Округлые.

Панург. Личики?

Распев. Славненькие.

Панург. Бровки?

Распев. Пушистые.

Панург. Прелести?

Распев. Пышные.

Панург. Взгляд?

Распев. Открытый.

Панург. А ноги?

Распев. Гладкие.

Панург. Пятки?

Распев. Короткие.

Панург. А нижняя часть?

Распев. Превосходная.

Панург. Ну, а руки?

Распев. Длинные.

Панург. Что они носят на руках?

Распев. Перчатки.

Панург. А какие у них кольца на пальцах?

Распев. Золотые.

Панург. Во что вы предпочитаете их одевать?

Распев. В сукно.

Панург. А в какое сукно вы их одеваете?

Распев. В новое.

Панург. Какого оно цвета?

Распев. Светло-зеленого.

Панург. А какие у них шляпки?

Распев. Голубые.

Панург. А обувь?

Распев. Коричневая.

Панург. А суконце-то на них какое?

Распев. Добротное.

Панург. А башмачки на них из чего?

Распев. Из кожи.

Панург. А какого сорта?

Распев. Прескверного.

Панург. Какая же у них походка?

Распев. Быстрая.

Панург. Перейдем к кухне, – я разумею кухню ваших милашек. Давайте не спеша обследуем все до мельчайших подробностей. Что у них на кухне?

Распев. Огонь.

Панург. Что его поддерживает?

Распев. Дрова.

Панург. Какие же именно?

Распев. Сухие.

Панург. Какое дерево вы предпочитаете?

Распев. Тисовое.

Панург. А хворост и щепки?

Распев. Ольховые.

Панург. Чем вы отапливаете комнаты?

Распев. Сосной.

Панург. А еще чем?

Распев. Липой.

Панург. Половину про ваших сударушек я уже знаю. Ну, а как вы их кормите?

Распев. Хорошо.

Панург. Что же они едят?

Распев. Хлеб.

Панург. Какой?

Распев. Черный.

Панург. А еще что?

Распев. Мясо.

Панург. Какое же именно?

Распев. Жареное.

Панург. А суп они совсем не едят?

Распев. Совсем.

Панург. А пирожное?

Распев. Вовсю.

Панург. Я тоже. А рыбу они едят?

Распев. Да.

Панург. Какую? И что еще?

Распев. Яйца.

Панург. А какие яйца они любят?

Распев. Вареные.

Панург. Да, но как именно вы их варите?

Распев. Вкрутую.

Панург. И это вся их еда?

Распев. Нет.

Панург. Ну так что же вы им еще даете?

Распев. Говядину.

Панург. А еще что?

Распев. Свинину.

Панург. А еще что?

Распев. Гусынь.

Панург. А сверх того?

Распев. Гусаков.

Панург. *Item?*^[944]

Распев. Петухов.

Панург. А что в виде приправы?

Распев. Соль.

Панург. А на сладкое?

Распев. Сусло.

Панург. А в конце обеда?

Распев. Рис.

Панург. А еще что?

Распев. Молоко.

Панург. А еще что?

Распев. Горошек.

Панург. Какой именно горошек вы имеете в виду?

Распев. Зеленый.

Панург. А с чем горошек?

Распев. С салом.

Панург. А какие фрукты?

Распев. Вкусные.

Панург. То есть?

Распев. Сырые.

Панург. А еще?

Распев. Орехи.

Панург. А как они пьют?

Распев. До дна.

Панург. А что?

Распев. Вино.

Панург. Какое?

Распев. Белое.

Панург. А зимой?

Распев. Полезное.

Панург. А весной?

Распев. Терпкое.

Панург. А летом?

Распев. Холодное.

Панург. А осенью, когда собирают виноград?

Распев. Сладкое.

– Клянусь моей рясой, – вскричал брат Жан, – ну и здоровы ж, должно полагать, эти распевные ваши шлюхи, от такой сладкой и обильной пищи они вам рысью не побегут!

– Простите, я еще не кончил, – сказал Панург.

Панург. Когда и в котором часу они ложатся?

Распев. Ночью.

Панург. А когда встают?

Распев. Днем.

– Такого милого распева я еще в этом году не огуливал! – заметил Панург. – Молю Бога, святого блаженного Распева и святую блаженную непорочную деву Распевию, чтобы они его сделали председателем парижской судебной палаты. Ей-же-ей, друзья мои, то-то славный вышел бы из него сварганиватель дел, ускоритель процессов, прекратитель прений, опустошитель мешков, листатель

бумаг, любитель скорописи! Ну, а теперь обратимся к другим насущным делам и поговорим подробно и спокойно о ваших сестрах милосердия.

Панург. Какой к ним вход?

Распев. Широкий.

Панург. Какова передняя?

Распев. Прохладная.

Панург. А дальше?

Распев. Просторно.

Панург. Да нет, какая там погода?

Распев. Теплая.

Панург. А крыша какая?

Распев. Шерстяная.

Панург. Какого цвета?

Распев. Рыжего.

Панург. А у старух?

Распев. Седая.

Панург. Как они подскакивают?

Распев. Легко.

Панург. Помахивают ли ножками?

Распев. Часто.

Панург. Они у вас резвые?

Распев. Чересчур.

Панург. Каких размеров ваши орудия?

Распев. Крупных.

Панург. Какая у них головка?

Распев. Круглая.

Панург. Какого цвета кончик?

Распев. Темно-красного.

Панург. А когда они сделают свое дело, какие они бывают?

Распев. Спокойные.

Панург. А каковы у вас детородные яички?

Распев. Тяжеловесные.

Панург. Где вы их пристраиваете?

Распев. Близко.

Панург. А когда дело сделано, то что они?

Распев. Умалются.

Панург. Ответьте мне во имя данного вами обета: когда вам припадет охота заняться с девицами, то чем вы их орошаете?

Распев. Соком.

Панург. Что же они вам говорят, когда подставляют тыл?

Распев. Слово.

Панург. Вам-то от них одно удовольствие, ну, а насчет интересного положения они беспокоятся?

Распев. Конечно.

Панург. Детей они вам рожают?

Распев. Никогда.

Панург. В каком виде вы с ними спите?

Распев. В голом.

Панург. Ответьте мне во имя данного вами обета: самое меньшее, сколько раз это у вас обыкновенно бывает в день?

Распев. Шесть.

Панург. А за ночь?

Распев. Десять.

– А, прах его побери, – вставил брат Жан, – этот ерник боится перейти за шестнадцать, он стыдлив.

Панург. А ты бы мог столько, брат Жан? Его, брат, не переплюнешь. И другие столько же?

Распев. Все.

Панург. Кто же у вас самый любвеобильный?

Распев. Я.

Панург. И у вас не бывает осечек?

Распев. Никогда.

Панург. Ничего не понимаю. Если вы накануне опустошите и истощите сперматические ваши сосуды, то что же у вас останется на другой день?

Распев. Еще больше.

Панург. Или я сошел с ума, или они пользуются индийской травой, которую так расхвалил Теофраст. Ну, а если в силу естественного хода вещей или по какой-либо другой причине во время подобных резвостей член ваш несколько уменьшится в размерах, то как вы на это смотрите?

Распев. Печально.

Панург. А что же тогда делают ваши милашки?

Распев. Бунтуют.

Панург. А если вы на целый день выйдете из строя?

Распев. Еще сильнее.

Панург. Чем же вы от них отделяетесь?

Распев. Болтовней.

Панург. А они вам чем платят?

Распев. Дерьмом.

Панург. Да ты что это?

Распев. Пукаю.

Панург. Как?

Распев. Басом.

Панург. Как же вы их наказываете?

Распев. Как свекровь.

Панург. И что же из этого получается?

Распев. Кровь.

Панург. А потом вы все же принимаетесь за прежнее?

Распев. Вновь.

Панург. И что же у вас опять воцаряется?

Распев. Любовь.

Панург. Во имя того же самого обета ответьте мне, когда у вас бывает затишье?

Распев. В августе.

Панург. А самая горячая пора?

Распев. В марте.

Панург. А все остальное время как у вас идет дело?

Распев. Бодро.

Тут Панург рассмеялся и сказал:

– Ах ты, милый распев! Вы заметили, какие у него определенные, краткие и сжатые ответы? Он в высшей степени немногословен. Помоему, он из тех, что одну вишенку на три части делят.

– А вот со своими девками он, чтоб мне пусто было, говорит совсем иначе, – заметил брат Жан, – с ними он очень даже многословен. Ты вот сейчас сказал насчет трех частей вишни, а я клянусь Григорием Богословом, что он из бараньей лопатки сделает не больше двух кусков, а из кварты вина не больше одного глотка. Глядите, какая он дохлятина.

– Эти подлецы чернецы везде одинаково прожорливы, – подхватил Эпистемон. – А нас еще уверяют, будто, кроме собственной жизни, они в сем мире ничего не имеют. Черт подери, а чем же тогда богаче их короли и великие государи?

Глава XXIX

О том, как Эпистемон не одобрил установления Великого поста

– Вы обратили внимание, – продолжал Эпистемон, – что этот паршивый недоносок распев считает март месяцем распутства?

– Да, – отвечал Пантагрюэль, – однако ж на март всегда приходится пост, а пост установлен для изнурения плоти, для умерщвления похоти и для укрощения любовного пыла.

– Теперь вы можете судить, – заметил Эпистемон, – прав ли был тот папа, который впервые установил пост, коль скоро стоптанный этот башмак, именуемый распевом, сам признается, что именно во время поста он с ног до головы бывает замаран скверною блуда, каковое обстоятельство все добрые и сведущие медики объясняют тем, что ни в какое другое время года не поедается столько будящей чувственное влечение пищи, сколько постом, как-то: бобов, гороху, фасоли, турецкого гороху, луку, орехов, устриц, сельдей, солений, рассолов, салатов, составленных из разных возбуждающих растений, то есть дикой горчицы, настурции, эстрагона, кресса, поручейника, рапунцеля, мака, хмеля, фиг, риса, винограда.

– Быть может, вы со мной и не согласитесь, – молвил Пантагрюэль, – я же склонен думать, что добрый папа, установитель Великого поста, дозволил потреблять перечисленные вами кушанья, как способствующие продолжению человеческого рода, именно в ту пору, когда естественное тепло исходит из центра тела, где его задерживали зимние холода, и распространяется по всем членам, точно сок по дереву, а навело меня на эту мысль вот что: в туарских метрических книгах число детей, родившихся в октябре и ноябре, превышает число детей, родившихся в течение остальных десяти месяцев; так вот, если отсчитать столько-то месяцев назад, то выйдет, что октябрьские и ноябрьские дети были сотворены, зачаты и зарожжены постом.

– Я слушаю вас с великим удовольствием, – заговорил брат Жан, – но только приходский священник в Жамбе приписывал такое огромное количество беременностей отнюдь не постной пище, а всем этим горбатым сборщикам-захребетникам, патлатым проповедникам да за... атым исповедникам: пост – это их время, они и давай стращать блудливых мужей, что те, мол, не больше чем в трех туазах от когтей Люциферовых. Напуганные мужья перестают дергать горничных девушек и возвращаются к женам. Вот и все, что я хотел сказать.

– Истолковывайте введение Великого поста, как вам вздумается, каждый волен остаться при своем мнении, – сказал Эпистемон, – но отмене поста (а она близка) воспротивятся все медики, я это знаю, я слышал это от них самих. Без поста их искусство придет в упадок – они лишатся заработка, оттого что не будет больных. Пост порождает всевозможные заболевания, это настоящий рассадник, подлинное гнездилище и средоточие всех недугов. Примите также в соображение, что от поста не только гниет тело, но и беснуется душа. Это такое время, когда черти в лепешку расшибаются, когда ханжи забирают власть, когда у святош не жизнь, а сплошной праздник, самое для них раздолье: всякие там заседания, увещания, отпущения, исповеди, бичевания, анафематствования. Я вовсе не хочу сказать, что аримаспы лучше нас^[945], – это просто к слову пришлось.

– Ну-ка ты, блудодей, обряды соблюдающий и распевающий, – заговорил Панург, – как ты думаешь, кто он такой? Еретик?

Распев. Вполне.

Панург. Сжечь его, что ли?

Распев. Сжечь.

Панург. Как можно скорее?

Распев. Да.

Панург. Без провариванья?

Распев. Без.

Панург. Так как же?

Распев. Живьем.

Панург. Что же с ним станется?

Распев. Помрет.

Панург. Видно, он здорово вам насолил?

Распев. О да!

Панург. За кого вы его почитаете?

Распев. За глупца.

Панург. За глупца или же за сумасшедшего?

Распев. Хуже.

Панург. Во что бы вы хотели его превратить?

Распев. В пепел.

Панург. Вам уже приходилось кого-нибудь жечь?

Распев. Многих.

Панург. Они тоже были еретики?

Распев. Не такие.

Панург. А еще будете кого-нибудь жечь?

Распев. Ого!

Панург. А может, кого-нибудь пощадите?

Распев. Никого.

Панург. Стало быть, всех подряд?

Распев. До одного.

– Не понимаю, что за удовольствие болтать с этим поганым голодранцем монахом, – заметил Эпистемон. – Хорошо, что я давно уже с вами знаком, иначе в моих глазах это сильно бы вам повредило.

– Да что вы, Бог с вами! – воскликнул Панург. – Он произвел на меня столь приятное впечатление, что я с удовольствием отвез бы его к Гаргантюа. Дайте срок, я женюсь, моя жена будет им забавляться.

– Не только забавляться, но и с ним валяться, – ввернул Эпистемон.

– Ну, бедняга Панург, плохо твое дело, – со смехом сказал брат Жан, – будешь ты рогат до самых пят.

Глава XXX

О том, как мы посетили Атласную страну

Довольные тем, что познакомились с новой религией братьев распевов, мы плыли два дня, а на третий день лоцман наш открыл остров, прекраснейший и чудеснейший из всех островов; называется он Остров Фриза^[946], ибо дороги здесь фризовые. На этом острове находится страна Атласная, пользующаяся особой любовью придворных пажей; деревья и травы, здесь произрастающие, никогда не теряют ни цветов, ни листы – они из шелкового штофа и узорчатого бархата. Животные и птицы – ковровые.

Мы увидели здесь множество животных, птиц и деревьев, таких же, как наши, и по внешнему виду, и по величине, и по объему, и по цвету, но только, в отличие от наших, они ничего не ели, совсем не пели и совсем не кусались. Были там и такие, каких мы никогда прежде не видели, в частности несколько слонов разной величины; среди них особое мое внимание обратили на себя шесть самцов и шесть самок, которых показывал в римском театре во времена Германика, племянника римского императора Тиберия, их воспитатель: то были слоны ученые, музыканты, философы, танцоры, плясуны, фокусники, они чинно сидели за столом и молча пили и ели, как святые отцы в трапезной. Морда у них имеет привесок, называемый хоботом, длиной в два локтя, и этим хоботом они набирают воду, чтобы напиться, поднимают с земли финики, сливы, всякого рода пищу, защищаются и бьют им, точно рукой, поднимают людей на воздух, и те, падая, надрываются от хохота. У них большие, очень красивые уши, похожие на ручные веялки. На ногах у них имеются сочленения и суставы, те же, кто утверждает противное, должно полагать, видели слонов только на рисунках. В число их зубов входят два рога – так их называет Юба, а равно и Павсаний говорит, что это рога, а не зубы. Филострат, напротив, стоит на том, что это зубы, но не рога, а по мне все едино, лишь бы вам было ясно, что это настоящая слоновая кость, что длина их достигает трех-четырех локтей и что находятся они на верхней челюсти, а не на нижней. Если же вы поверите тем, кто утверждает обратное, то попадете впросак, хотя бы вы это прочли у Элиана, наипервейшего враля. Именно здесь, а не где-нибудь еще, наблюдал Плиний, как слоны под звон колокольчиков плясали на канате, протянутом над пиршественным столом, и никого из собутыльников при этом не задевали.

Я видел здесь носорога, очень похожего на того, которого мне когда-то показывал Ганс Клерберг^[947], и отличающегося от борова, коего я видел однажды в Лиможе, только тем, что у носорога на морде острый рог длиной в локоть, и вот с этим своим рогом он осмеливается нападать на слона: он ранит его в живот – самую нежную и уязвимую у слона часть тела, и слон, бездыханный, валится наземь.

Я видел здесь тридцать два единорога: это удивительно коварное животное; с виду оно очень похоже на породистую лошадь, но голова у

него как у оленя, ноги как у слона, хвост как у кабана, а на лбу черный острый рог в шесть-семь футов длиной, который у него обыкновенно свисает, как гребень у индюка; когда же единорог вступает в бой или намерен как-либо себе помочь, то рог у него поднимается кверху, негнувшийся и прямой. Я видел, как один из них, окруженный всякого рода дикими зверями, прочищал своим рогом источник. Панург мне по этому поводу сообщил, что его карапуз напоминает рог единорога – отнюдь не длиною, но некоторыми особенностями и свойствами: он в равной мере обладает способностью очищать воду луж и ручьев от грязи и заразы, и, подобно тому как всякие звери смело пили после единорога, так же точно, мол, и после него смело можно действовать, не боясь подцепить шанкр, сифилис, триппер, нарывы, язвы и всякую гадость, ибо если в мефитической яме попадетс я какая-нибудь болячка, то мощный его рог очистит все.

– Когда вы женитесь, мы сделаем соответствующий опыт над вашей женой, – сказал брат Жан. – Должны же мы вас отблагодарить за ваши чрезвычайно полезные советы.

– Отлично, – подхватил Панург, – а у вас в животе тот же час окажется чудодейственная, возносящая прямо к Богу пилюлька, составленная из двадцати двух цезареубийственных кинжальных ударов.

– А нельзя вместо пилюли чашу доброго холодного вина? – спросил брат Жан.

Я видел здесь золотое руно, завоеванное Ясоном. Те же, кто утверждает, что это не руно, а золотое яблоко, ибо слово *mhlon* означает и яблоко и овцу, должно полагать, невнимательно осматривали Атласную страну.

Я видел хамелеона, такого, как его описывает Аристотель и какого мне однажды показал Шарль Маре, знаменитый врач, проживавший в славном городе Лионе, что на реке Роне, и этот хамелеон, равно как и тот, питался одним воздухом.

Я видел трех гидр, таких же точно, каких мне случалось видеть до этого. Они представляли собой семиглавых змей.

Я видел здесь четырнадцать фениксов. Я читал у некоторых авторов, что на целый век приходится всего один феникс; однако ж, по моему скромному мнению, те, кто это утверждает, будь то сам

Лактанций Фирмийский, не видели его нигде, кроме как в Ковровой стране.

Я видел здесь кожу Апулеева золотого осла.

Я видел здесь триста девять пеликанов; шесть тысяч шестнадцать селевкидов – они ходили стройными рядами и поедали кузнечиков, прыгавших в пшенице; кинамолгов, аргатилов, капримильгов, тиннункулов, протонотариев, то бишь онокроталиев с их широченной пастью, стимфалид, гарпий, пантер, доркад, кемад, кинокефалов, сатиров, картазонов, тарандов, зубров, монопов, пегасов, кепов, неад, престеров, керкопитеков, бизонов, музимонов, битуров, офиров^[948], стриг, грифов.

Я видел здесь Средину поста верхом на коне (Средина августа и Средина марта держали ей стремя), оборотней, кентавров, тигров, леопардов, гиен, жирафов, оригов.

Я видел здесь маленькую рыбку прилипалу, по-гречески эхенеис, подле большого корабля, и корабль тот не двигался, хотя находился в открытом море и паруса его были надуты ветром; я совершенно уверен, что то был корабль тирана Периандра^[949], тот самый, который в ветреную погоду был остановлен крохотной рыбешкой. И ни в какой другой, а именно в Атласной стране видел ее Муциан. Брат Жан сообщил нам, что в судах всякую рыбку, и большую и малую, и бедную и богатую, и благородную и худородную, ловят *крючками*.

Я видел здесь сфинксов, шакалов, рысей, кефов – этим передние ноги заменяют руки, а задние ноги служат для того же, для чего ноги служат человеку; крокутов, эалов – величиной с гиппопотама, с хвостом как у слона, с кабаньими челюстями и с подвижными рогами, напоминающими уши осла. Что же касается кукрокутов, то это животные весьма проворные, величиной с мирбалеяского осла; шея, грудь и хвост у них как у льва, ноги как у оленя, рот до ушей, а зубов всего-навсего два: один наверху, другой внизу; говорят они голосом человеческим, но нечленораздельно.

Считается, что никому еще не удавалось видеть балабанных гнезд, а я, честное слово, видел здесь одиннадцать и отлично это запомнил.

Я видел здесь алебарды, которыми можно орудовать только левой рукой, – больше я таких нигде не видал.

Я видел ментихоров, животных весьма своеобразных: туловище у них как у льва, шерсть рыжая, лицо и уши как у человека, а зубов –

целых три ряда, причем они у них сцепляются, как мы сцепляем пальцы; на хвосте у них колючка, и колются они, как скорпионы, а голос у них весьма приятный.

Я видел катоблепов; дикие эти звери ростом малы, но голова у них непомерно огромная, и они с трудом поднимают ее с земли; глаза же у них до того ядовиты, что кто в них ни посмотрит, тот умирает внезапную смертью, точно под взглядом василиска.

Я видел животных двуспинных – мне показалось, что они чрезвычайно резвы, и гузками они трясут живее любой трясогузки.

Я видел молочных раков – таких я еще нигде не видал; они шествовали стройными рядами, и от них трудно было оторвать взгляд.

Глава XXXI

О том, как в Атласной стране мы встретили Наслышку, державшего школу свидетелей

Проехав чуть-чуть дальше по Атласной стране, мы увидели Средиземное море, расступившееся и разверзшееся до самых пучин, так же точно как в пустыне Аравийской расступилось Эритрейское море и дало дорогу иудеям, вышедшим из Египта. Там я опознал Тритона, трубившего в огромную раковину, Главка, Протея, Нерея и множество других богов и морских чудовищ. Еще мы увидели бесчисленное множество разного рода рыб – пляшущих, летающих, порхающих, сражающихся, питающихся, дышащих, рассуждающих, охотящихся, перестреливающих, устраивающих засады, заключающих перемирия, торгующих, играющих и резвящихся.

В ближайшем углу мы увидели Аристотеля с фонарем в руке, – всем своим видом он напоминал отшельника, которого обыкновенно изображают рядом со св. Христофором: он все что-то выслеживал, обдумывал и записывал. Позади него, точно соглядатаи, стояли многие другие философы: Аппиан, Гелиодор, Афиней, Порфирий, Панкрат Аркадский, Нумений, Посидоний, Овидий, Оппиан, Олимпий, Селевк, Леонид, Агафокл, Теофраст, Дамострат, Муциан, Нимфодор, Элиан и еще сотен пять таких же праздных людей, вроде Хризиппа или же Аристарха Солского, который пятьдесят восемь лет только и делал, что наблюдал за жизнью пчел. Среди них я разглядел Пьера Жила^[950], –

держа в руке урильник, он вперил задумчивый взор в урину прелестных этих рыбок.

Пантагрюэль долго осматривал Атласную страну и наконец сказал:

– Я здесь долго питал свое зрение, но это меня не насытило. Желудок мой умирает от голода.

– Давайте питаться, – предложил я, – отведаем вот этих анакамперотов, что висят над нами. Фу, какая дрянь!

Я сорвал несколько миробаланов, свисавших с конца ковра, но так и не смог ни прожевать их, ни проглотить, – кто бы их ни отведал, всякий сказал бы и поклялся, что это крученный шелк, совершенно безвкусный. Можно было подумать, что Элагабал в точности перенял у местных жителей обычай потчевать гостей: он их долго морил голодом и все только обещал выставить им сытное, обильное, царское угощение, а в конце концов предлагал кушанья из воска, из мрамора, из глины, из расшитых тканей и узорчатых скатертей.

Занятые поисками пищи, мы вдруг услышали сильный и нестройный шум, как будто бы женщины колотили белье или же стучала базакльская мельница в Тулузе^[951]. Не долго думая, мы пошли на этот шум и увидели горбатого старикашку, уродливого и безобразного. Звали его *Наслышка*; рот у него был до ушей, во рту болталось семь языков, и каждый язык был рассечен на семь частей; неизвестно, как он ухитрялся, но только говорил он всеми семью языками одновременно о разных вещах и на разных наречиях; на голове и на всем теле у него было столько же ушей, сколько у Аргуса глаз; вдобавок он был слеп, а ноги у него были парализованы.

Вокруг него я увидел великое множество мужчин и женщин, слушавших его со вниманием, и у некоторых из них наружность была явно располагающая, в частности у того, который, держа в руках карту мира, с помощью сжатых афоризмов вкратце растолковывал слушателям, что на ней обозначено, слушатели же в течение нескольких часов становились просвещенными и учеными и пространно, в изысканных выражениях рассуждали о таких необыкновенных вещах, для ознакомления с сотой долей которых не хватило бы человеческой жизни, – и все по памяти; а рассуждали они о египетских пирамидах, о Вавилоне, о троглодитах, о гимантоподах, о

блеммиях^[952], о пигмеях, о каннибалах, о Гиперборейских горах, об эгипанах^[953], обо всех чертях – и все *по наслышке*.

Я увидел там, если не ошибаюсь, Геродота, Плиния, Солина, Бероза, Филострата, Мелу, Страбона и еще кое-кого из древних, затем великого иаковита Альберта, Петра Исповедника, папу Пия II, Вольтерру, благороднейшего Паоло Джовио, Жака Картье, Хайтона Армянского, венецианца Марко Поло, Лодовико Романо, Педро Альвареса^[954] и еще невесть сколько новейших историков, – прячась за ковром, они втихомолку писали прекрасные книги – и все *по наслышке*.

За бархатным ковром, на котором были вышиты листья мяты, рядом с Наслышкой я увидел множество уроженцев Перша и Манса, примерных и еще довольно молодых студентов; когда же мы у них спросили, на каком они факультете, студенты сообщили, что с юных лет они учатся быть свидетелями, что искусство это они постигли в совершенстве и что, возвратившись на родину, они будут жить честным свидетельским трудом, свидетельствуя обо всем на свете в пользу тех, кто им больше даст, – и все *по наслышке*. Думайте о них что хотите, однако ж справедливость требует заметить, что они отломали нам хлеба от своих краях и мы изрядно хлебнули из их бочонков. Засим они нас дружески предупредили, что если мы хотим продвинуться по службе у знатного вельможи, то для этого необходимо всеми способами утаивать истину.

Глава XXXII

О том, как нашему взору открылась Фонарная страна

После того как нас плохо встретили и плохо угостили в Атласной стране, мы плыли целых три дня, а на четвертый раным-рано приблизились к Фонарии. Приближаясь же к ней, мы увидели на море какие-то летучие огоньки. Сперва я было подумал, что это светятся не Фонари, но огнеязыкие рыбы, или же лампыриды, иначе называемые цициндалами: у меня на родине они светятся по вечерам, когда ячмень наливают колос. Лоцман, однако же, объяснил нам, что это сторожевые огни, освещающие вход в гавань и сопровождающие некоторые чужеземные корабли, как, например, корабли добрых кордельеров и

иаковитов, ехавших сюда на поместный собор. Мы было высказали опасение, не предвещает ли это бурю, однако ж лоцман нас разуверил.

Глава XXXIII

О том, как мы высадились в гавани лихнобийцев и вошли в Фонарию

Тем временем мы вошли в гавань Фонарии. Там, на высокой башне, Пантагрюэль узнал Фонарь Ла-Рошели, и Фонарь этот отлично нам посветил. Еще мы увидели Фонарь Фароса, Фонарь Навплия^[955] и Фонарь афинского акрополя, посвященный Палладе. Близ гавани здесь расположено небольшое селение лихнобийцев, которые живут на счет Фонарей (как у нас братья-сластены живут на счет монашек), – все люди добропорядочные и любознательные. Здесь некогда фонаривал сам Демосфен. От гавани и до самого дворца нас провожали три маячных огня, несших в гавани караульную службу, – все трое в высоких албанских шапках, – и мы им поведали конечную цель нашего путешествия и наше намерение выпросить у фонарной королевы Фонарь, дабы он сопровождал нас и освещал нам путь к оракулу Бутылки, маячные же огни на это сказали, что просьба наша легко исполнима, и еще прибавили, что мы пожаловали как раз вовремя и весьма кстати, ибо здесь сейчас происходит поместный собор и нам будет-де из кого выбрать.

Как скоро прибыли мы во дворец, два почетных Фонаря, а именно Фонарь Аристофана и Фонарь Клеанфа^[956], представили нас королеве, и Панург на фонарном языке вкратце изъяснил ей цель нашего путешествия. Королева оказала нам радушный прием и пригласила нас отужинать с нею, – за ужином-де нам легче будет выбрать себе вожатого. Ее приглашение нас чрезвычайно обрадовало, и мы старались за всем наблюдать и все примечать: телодвижения Фонарей, их одеяние, манеру держать себя, а равно и самый чин трапезы.

На королеве было платье из горного хрусталя, демаскированного и усыпанного крупными алмазами. Фонари родовитые были облачены кто в одежду из стразов, кто в одежду из фенгитов, прочие же в одежду роговую, бумажную, клеенчатую. Фонари уличные также были одеты прилично своему званию и древности рода. Среди наиболее сановитых

я, к удивлению своему, заметил один Фонарь из простой глины, похожий на печной горшок, – мне сказали, что это тот самый Фонарь Эпиктета, за который в давнопрошедшие времена давали три тысячи драхм.

С великим вниманием рассматривал я одеяние Марциолова Фонаря Полимикса и с еще большим – Фонаря Икосимикса^[957], который дочь Тисия Канопа некогда посвятила богам. Я хорошо рассмотрел Фонарь Пенсил, некогда взятый из Фив в храм Аполлона Палатинского и впоследствии перенесенный Александром Великим в Киму Эолийскую. Я обратил внимание еще на один Фонарь, примечательный тем, что на голове у него красовался прелестный, алого шелка, хохолок, – мне сказали, что это Бартол, Фонарь права^[958]. Еще мне бросились в глаза два Фонаря, примечательные тем, что к поясам у них были прикреплены клистиры, – мне объяснили, что один из них – большой люминарий, а другой – люминарий малый, аптекарский.^[959]

Когда пришло время ужинать, королева заняла председательское место, а все прочие – соответственно чину своему и званию. В начале ужина всем роздали большие сальные свечи, за исключением королевы, которой вручили толстый и прямой, белого воска, факел с розоватым кончиком; исключение составляли также Фонари родовитые, а равно и Фонарь мирбалеийский, коему была вручена свеча ореховая, и нижнепуатевинский, коему на моих глазах вручили свечу разрисованную, – одному Богу известно, какой они там вкупе с длиннющими своими фитилями производили свет. Исключение составляло также множество молодых Фонарей, находившихся под началом Фонаря взрослого. В отличие от других Фонарей они не светили, но, как мне показалось, одеяние их было цветов довольно нескромных.

После ужина мы удалились на покой. Наутро мы с соизволения королевы выбрали себе в вожатые один из наиболее достойных Фонарей, а затем отбыли.

Глава XXXIV

О том, как мы приблизились к оракулу Бутылки

Доблестный наш Фонарь освещал нам путь и превесело вел нас, и вот наконец мы прибыли на вождеденный остров, где находился оракул Бутылки. Ступив на сушу, Панург лихо скакнул на одной ноге и сказал Пантагрюэлю:

– Сегодня мы обрели то, что стоило нам таких волнений и хлопот.

Засим он с отменною учтивостью поручил себя попечениям Фонаря. Фонарь посоветовал нам не терять надежды и ни в коем случае не пугаться, что бы нашим глазам ни явилось.

По дороге к храму Божественной Бутылки нам надлежало пройти обширный виноградник, засаженный всевозможными лозами, как-то: фалернской, мальвазийской, мускатной, таббийской, бонской, мирвосской, орлеанской, пикардийской, арбуасской, куссийской, анжуйской, гравской, корсиканской, верронской, неракской и другими. Виноградник этот был некогда насажден добрым Бахусом, и такая почилла на нем благодать, что он круглый год был украшен листьями, цветами и плодами, точно апельсинные деревья в Сан-Ремо. Светозарный наш Фонарь велел каждому из нас съесть по три виноградинки, наложить листвы в башмаки и взять в левую руку по зеленой ветке. В конце виноградника мы прошли под античной аркой, на которой красовался трофеей кутилы, премило вылепленный, а именно: один ряд, весьма длинный, составляли фляги, бурдюки, бутылки, склянки, жбаны, бочонки, чаны, кувшины, кружки и античные сосуды, прикрепленные к тенистому навесу; другой ряд составляло изрядное количество чесноку, луку, шалоту, окороков, икры, пирожков, копченых бычьих языков, старого сыру и прочих закусок, перевитых виноградными лозами и чрезвычайно искусно связанных ветвями; третий ряд составляли многообразные виды посуды, как-то: рюмочки на ножках, стаканчики без ножек, бокалы, фиалы, кубки, ковши, сальверны, чаши, чарочки и прочая тому подобная вакхическая артиллерия. На лицевой стороне арки, под зоофором^[960], было начертано следующее двустиише:

Вступающим под эти арки
Фонарь небесполезен яркий*.

– Фонарем мы уже запаслись, – заметил Пантагрюэль. – Такого прекрасного, такого дивного Фонаря, как наш, на всей Фонарной земле не сыщешь.

Сейчас же за аркой открывалась взору прелестная обширная беседка, сплетенная из виноградных лоз, на которых пестрели виноградины пятисот различных цветов и пятисот различных форм, созданных не природою, но искусством земледельческим, а именно – желтые, синие, бурые, голубые, белые, черные, зеленые, лиловые, крапчатые, лапчатые, продолговатые, круглые, треугольные, яйцевидные, коронообразные, головастые, усатые, бородатые. Конец беседки был прикрыт тремя разновидностями античного ярко-зеленого плюща, которые сплошь были усыпаны ягодами. Здесь сиятельнейший Фонарь велел нам надеть себе из этого плюща албанских шапок и прикрыть ими головы, что и было исполнено без дальних размышлений.

– В былое время под таким навесом не осмелился бы пройти ни один верховный жрец Юпитера, – заметил Пантагрюэль.

– Причина тому – мистического свойства, – сказал наш пресветлый Фонарь. – Если бы он здесь прошел, то виноград, сиречь вино, оказался бы у него над головой, и можно было бы подумать, что он находится во власти и в подчинении у вина, а между тем жрецам, а равно и всем лицам, предающимся и посвящающим себя созерцанию божественного, надлежит сохранять спокойствие духа и избегать всяческого расстройств чувств, каковое ни в одной страсти не проявляется с такой силой, как именно в страсти к вину. И вы равным образом, пройдя под этим навесом, не имели бы доступа в храм Божественной Бутылки, когда бы башмаки ваши не были полны виноградных листьев, а это в глазах почтенной жрицы Бакбук послужит наглядным доказательством обратного, диаметрально противоположного, а именно того, что вы презираете вино и попираете его ногами, что вы его поработили.

– Я, на свою беду, человек неученый, – молвил брат Жан, – однако ж в служебнике моем я нашел, что в *Апокалипсисе* описывается одно уму непостижимое видение: женщина, а под ногами у нее луна. Биго мне это так объяснил, что помянутая женщина – особой породы и создана не как все прочие женщины: у них ведь, наоборот, луна над головой, вследствие чего мозг у них лунатический, и по сему

обстоятельству ваши слова, любезнейший мой господин Фонарь, не вызывают у меня никаких сомнений.

Глава XXXV

О том, как мы спустились под землю, дабы войти в храм Бутылки, и почему Шинон – первый город в мире

По оштукатуренному сводчатому переходу, расписанному снаружи фресками топорной работы, изображавшими пляску женщин и сатиров, которые сопровождают старика Силена, сидящего на осле и заливающегося хохотом, мы спустились под землю.

Тут я сказал Пантагрюэлю:

– Этот вход приводит мне на память разрисованный погребок первого города в мире: живопись там точь-в-точь такая же и тоже совсем новенькая.

– А где это? – спросил Пантагрюэль. – Что вы называете первым городом в мире?

– Шинон, он же Каинон, в Турени, – отвечал я.

– Я знаю Шинон, – сказал Пантагрюэль, – и разрисованный погребок знаю; мне там не раз случалось пить холодное вино, и я нимало не сомневаюсь, что Шинон город древний, – это удостоверяет его герб:

Шинон, Шинон, Шинон, Шинон!

Хоть мал, но всюду славен он. [\[961\]](#)

Его старинной кладки стены

Глядят с холма на воды Вьенны*.

Но почему же он первый в мире? Где об этом сказано? Какие у вас на сей предмет соображения?

– Я нашел в Священном писании, что первым градостроителем был Каин, – отвечал я. – Следственно, нет ничего невероятного в том, что первый построенный им город он назвал в свою честь – Каинон, а потом уже в подражание ему и все прочие основатели и воздвигатели городов начали давать им свои имена: Афина (греческое имя Минервы) – Афинам, Александр – Александрии, Константин –

Константинополю, Помпей – Помпейополю Киликийскому, Адриан – Адрианополю, а также Ханаан – хананеянам, Саба – сабеям, Ассур – ассирийцам, и таково же происхождение Птолемаиды, Кесарии, Тибериополя и Геродия Иудейского.

Мы все еще вели этот разговор, когда навстречу нам вышел большой флакон (наш Фонарь назвал его – дракон), губернатор Божественной Бутылки, в сопровождении храмовой стражи, сплошь состоявшей из французских пузырьков. Удостоверившись, что в руках у нас, как уже было сказано, тирсы и что мы увенчаны плющом, а также узнав наш достоименный Фонарь, он беспрепятственно нас пропустил и велел провести к принцессе Бакбук – придворной даме Бутылки и верховной жрице при всех ее священнодействиях, что и было исполнено.

Глава XXXVI

О том, как мы спустились по тетрадическим ступеням, и об испуге Панурга

Затем мы спустились на один марш мраморной лестницы под землю – за ним оказалась площадка; далее, повернув налево, мы спустились еще на два марша – за ними оказалась еще одна площадка; потом еще на три марша, только в противоположную сторону – опять площадка; еще на четыре марша, и опять площадка.

Наконец Панург спросил:

– Здесь?

– Сколько маршей вы насчитали? – спросил наш светозарный Фонарь.

– Один, потом два, потом три, потом четыре, – отвечал Пантагрюэль.

– Сколько же всего? – спросил Фонарь.

– Десять, – отвечал Пантагрюэль.

– То, что у вас получилось, умножьте на пифагорейскую тетраду, – сказал Фонарь.

– Это будет десять, двадцать, тридцать, сорок, – отвечал Пантагрюэль.

– Итого? – спросил Фонарь.

– Сто, – отвечал Пантагрюэль.

– Прибавьте к этому первый куб, то есть восемь, – сказал Фонарь, – когда кончится роковое это число, мы дойдем до двери храма. В сущности говоря, это и есть самая настоящая психогония Платона^[962], превознесенная академиками, но только дурно ими понятая: половина ее состоит из единицы, двух следующих простых чисел, двух чисел квадратных и двух кубических.

Во время спуска по этим числовым ступеням под землю нам оченьгодились, во-первых, ноги, ибо без них нам пришлось бы уподобиться бочкам, скатывающимся в погребок, а во-вторых, наш пресветлый Фонарь, ибо никаким другим источником света мы не располагали, как будто дело происходило в пещере св. Патрика в Гибернии^[963] или же во рву Трофония^[964] в Беотии.

Когда же мы спустились примерно на семьдесят восемь маршей, Панург, обратясь к лучезарному Фонарю, воскликнул:

– Чудодейственный наш предводитель, скрепя сердце прошу вас: вернемтесь назад! Клянусь бычьей смертью, я умираю от дикого страха. Лучше уж я никогда не женюсь. У вас и так было из-за меня немало хлопот и неприятностей; Господь воздаст вам за это в Судный день, да и я не останусь в долгу, как скоро выйду из троглодитовой этой пещеры. Вернемтесь, ну пожалуйста! Я сильно подозреваю, что это мыс Тенар, где спускаются в ад, – мне уже слышится лай Цербера. Прислушайтесь: или у меня звенит в ушах, но, по-моему, это он лает. Я не испытываю к нему ни малейшей приязни, ибо самая страшная зубная боль – ничто в сравнении с укусом собаки, хватающей вас за ногу. Если же мы в Трофониевом рву, то лемуры и гномы съедят нас живьем, как некогда за неимением жратвы съели они одного из алебардчиков Деметрия. Брат Жан, ты здесь? Будь добр, толстопузик, не отходи от меня, я умираю от страха. Твой меч при тебе? Ведь я не захватил с собой ни оружия, ни доспехов. Вернемтесь!

– Я тут, я тут, не бойся, – сказал брат Жан, – я держу тебя за шиворот, восемнадцать чертей не вырвут тебя из моих рук – нужды нет, что я безоружен. Когда доблестное сердце вступает в союз с доблестною дланью, то за оружием дело не станет: в случае чего оно с неба упадет, вроде того как на полях Кро, неподалеку от Марианских рвов, в Провансе когда-то давно в помощь Геркулесу выпал дождь камней (они и сейчас еще там лежат), а то иначе ему нечем было бы драться с детьми Нептуна. А все-таки куда это мы спускаемся: в лимб

малых ребят (ей-богу, они нас тут обкакают) или в преисподнюю, ко всем чертям? Крест истинный, я им сейчас шею наkostenю, – ведь у меня в башмаках виноградные листья! Ох, и лихо же я им всыплю! Но что же это такое? И где же черти? Я боюсь только их рогов. Впрочем, идея рогов, которые будет носить женатый Панург, явится мне надежной защитой. Я уже увижу его в пророческом моем озарении, этого второго Актеона, рогача рогатого, рогозадого.

– Берегись, *frater!* – сказал Панург. – Как начнут женить подряд всех монахов, так тебя, пожалуй, женят на перемежающейся лихорадке. Дай мне только целым и невредимым выбраться из этого подземелья, уж я тебя с нею спарю, единственно для того, чтобы ты стал круторогом, рогопуком. А то ведь, ежели разобраться, лихорадка – шлюха так себе, неважная. Если память мне не изменяет, Цапцарап тебе уже сватал ее, но ты обозвал его за это еретиком.

Здесь блистающий наш Фонарь, прервав беседу, заметил, что место сие подобает чтить прекращением разговоров и прикусением языков, а кроме того, твердо пообещал, что коль скоро в башмаках у нас виноградные листья, то мы не уйдем отсюда, не услышав слова Божественной Бутылки.

– Ну так вперед! – вскричал Панург. – Мы сейчас всех чертей перебодаем! Двум смертям не бывать. Я, во всяком случае, берег свою жизнь для боя. Ломи, ломи, прокладывай дорогу! Храбрости мне не занимать. Правда, сердце у меня колотится, но это от холода и от спертого воздуха, а не от страха и не от лихорадки. Ломи, ломи, иди, бди, смерди, – недаром я зовусь Гильом Бесстрашный!

Глава XXXVII

**О том, как двери храма^[965] сами собой чудесным образом
отворились**

Там, где лестница кончалась, высился изящный яшмовый портал, отличавшийся строгой соразмерностью частей, выполненный в дорическом стиле и вкусе; на лицевой его стороне ионическими буквами чистейшего золота было написано следующее изречение: *eu oinē alhqeia*, что значит: *истина в вине*. Тяжелые дверные створки были, должно полагать, из коринфской бронзы с миниатюрными

лепными украшениями, весьма искусно, как того требовала скульптура, покрытыми эмалью, причем обе створки были настолько плотно пригнаны и прилажены одна к другой, что не требовалось ни засова, ни замка, ни какого-либо другого запора, – на них висел только индийский алмаз величиною с египетский боб; алмаз тот был вставлен в золотой ободок с двумя острыми кончиками и представлял собою прямоугольный шестигранник, увешанный со всех сторон пучками чеснока.

Тут доблестный наш Фонарь принес нам свои извинения и сопровождать нас далее отказался; теперь нам-де надлежит руководствоваться наставлениями верховной жрицы Бакбук, ибо вход в храм ему воспрещен по причинам, о которых простым смертным лучше не знать. На всякий случай он посоветовал нам не терять головы, ничего не пугаться и не ужасаться, а выведет, мол, нас отсюда тоже верховная жрица. Сняв алмаз, висевший на месте соединения двух створок, он положил его в серебряную коробочку, нарочно для этой цели подвешенную с правой стороны, а затем вытащил из-под порога шнур алого шелка длиною в полторы туазы, на котором висел чеснок, прикрепил шнур к двум золотым кольцам, нарочно для этой цели подвешенным с обоих боков, и отошел в сторону.

Внезапно створки, никем не приведенные в движение, сами собой растворились – без скрипа и без того сильного сотрясения, с каким обыкновенно отворяются медные двери, тяжеловесные и неподатливые, но с мягким, приятным для слуха рокотом, отдававшимся под сводами храма, и Пантагрюэль сейчас догадался, каково происхождение этого звука, ибо между створками и порогом он разглядел два маленьких цилиндра, которые, по мере того как створки подвигались к стене, с рокотом, ласкающим слух, двигались по твердому офиту, гладкому и отполированному постоянным скольжением створок.

Меня очень удивило, что створки растворились сами, без всякого на них давления. Дабы постигнуть чрезвычайное это обстоятельство, я, как скоро мы все вошли в храм, долго не отводил взгляда от створок и стены, ибо мне не терпелось узнать, какую силою и при помощи какого орудия они отворились, и я уже склонен был думать, что это наш любезный Фонарь приложил к тому месту, где они сходились, траву, именуемую эфиопис, которая отмыкает всякие запоры, как вдруг

заметил на смыке, во внутреннем пазу, тонкую стальную пластинку, оправленную в коринфскую бронзу.

Еще я заметил две плиты из индийского магнита, широкие, в полладони толщиной, голубого цвета, гладко отполированные; во всю свою толщину они были вделаны в стену храма, там, где в нее упирались настежь распахнутые двери.

Таким образом, благодаря притягательной силе магнита стальные пластинки по необычайному, таинственному велению природы приходили в движение; створки, однако ж, подчинялись ему и тоже начинали двигаться только после того, как бывал удален алмаз, ибо соседство алмаза приостанавливает и пресекает естественное воздействие магнита на сталь, а кроме того, требовалось удаление и двух пучков чеснока, которые наш веселый Фонарь снял и прикрепил к шнуру, ибо чеснок убивает магнит, лишает его силы притяжения.

На одной из помянутых плит, а именно на правой, старинными латинскими буквами был превосходно высечен шестистопный ямб:

Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.

Покорного судьбы ведут, сопротивляющегося тащат.

А на левой плите прописными буквами было красиво высечено следующее изречение:

PROS TELOS AUTWN PANTA KINEITAI

все движется к своей цели

Глава XXXVIII

Об изумительной мозаике, коей был украшен пол храма

Прочитав эти надписи, я обнял взором великолепный храм, а затем впился глазами в восхитительный узор на полу – узор, с коим по справедливости никакое другое произведение искусства, где-либо в подлунном мире существующее или же существовавшее, не может идти в сравнение, будь то пол храма Фортуны в Пренесте времен Суллы, будь то греческий храм Асарот, воздвигнутый Со-зистратом в

Пергаме. Узор этот представлял собою мозаику из обточенных полированных четырехугольных камешков естественной окраски: тут была красная яшма с тешившими взор крапинками, офит, порфир, ликофталм, испещренный золотыми искорками, крохотными, точно атомы, агат, там и сям отливавший неяркими отблесками молочно-белого цвета, очень светлый халцедон, зеленая яшма с красными и желтыми прожилками, и все эти камешки были выложены по диагонали.

В портике пол представлял собою мозаику, сложенную из камешков естественной окраски, соответствовавшей тому, что изображалось, и мозаика эта производила такое впечатление, как будто кто-то разбросал по полу охапку виноградных ветвей, разбросал на первый взгляд как попало, ибо тут их насыпали словно бы гуще, а там поменьше. Впрочем, необыкновенной этой листвы везде было много, и в полусвете неожиданно появлялись то улитки, ползущие по лозам, то ящерицы, мелькающие среди листьев, здесь проступали гроздья еще не вполне зрелого винограда, а там – совсем уже спелого, и все это было составлено и сложено в высшей степени искусным и хитроумным художником и легко могло бы, подобно живописи Зевксида Гераклеяского^[966], ввести в заблуждение скворцов и прочих малых птичек; нас, во всяком случае, эта мозаика обманула ловко, ибо в тех местах, где художник особенно щедро набросал ветвей, мы, боясь зацепиться, высоко поднимали ноги, словно под нами была неровная, каменистая почва. Затем я обвел глазами своды и стены храма: они были инкрустированы мрамором и порфиром, сплошь, от одного конца до другого, украшены столь же чудесной мозаикой, а налево от входа начиналось необычайно изящное изображение битвы, в которой добрый Бахус одолел индийцев^[967], и изображена была она так.

Глава XXXIX

О том, как на мозаичных стенах храма изображена была битва, в которой Бахус одолел индийцев

Вначале были изображены города, села, замки, крепости, поля и леса, объятые пламенем пожара. Изображены были также пришедшие в неистовство растрепанные женщины, в ярости рвавшие на куски

живых телят, баранов и овец и питавшиеся их сырым мясом. Это должно было обозначать, что Бахус, вторгшись в Индию, предал все огню и мечу.

Со всем тем индийцы, преисполнившись к нему презрением, порешили сопротивления ему не оказывать, ибо через лазутчиков им стало доподлинно известно, что войско его не насчитывает ни единого ратника – оно состоит из старика, опустившегося и вечно пьяного, из юных поселян, совершенно голых, непрерывно скачущих и пляшущих, с рогами и хвостами как у козлят, и из бесчисленного множества пьяных баб. Словом, индийцы положили вторжению их не препятствовать и вооруженного сопротивления им не оказывать, ибо победа над такими людьми служит-де не к славе, но к посрамлению, и не к чести и возвышению, но к стыду и позору. Пользуясь презрением индийцев, Бахус неуклонно двигался дальше, все предавал огню (должно заметить, что огонь и молния – это его фамильное оружие: перед самым появлением Бахуса на свет Юпитер приветствовал его молнией, а его мать Семелу вместе со всем ее домом сжег и спалил огонь) и заливал страну кровью, ибо таково его свойство: в мирное время он прибавляет крови, а во время войны вычерпывает. Примером могут служить поля на острове Самосе, так называемые *Панема*, что значит *пропитанные кровью*: на этих самых полях Бахус настиг амазонок, бежавших от эфесян, и всех их умертвил при помощи кровопусканий, так что все эти поля были сплошь залиты и обогрены кровью. Теперь вы поймете лучше самого Аристотеля, который толкует об этом в своих *Проблемах*, почему в былые времена в таком ходу была поговорка: «Во время войны мяты не сажают и не едят». Дело состоит вот в чем: на войне бойцы бьют друг друга немилосердно, и вот если раненый в этот день держал в руках или же ел мяту, то унять ему кровь невозможно, разве с превеликим трудом.

Далее мозаика изображала, как Бахус совершал свой поход; он восседал на роскошной колеснице, влекомой тремя парами молодых леопардов в одной упряжке; лицо у него было как у ребенка – знак того, что добрые пьяницы никогда не стареют, розовое, как у херувима, и без единого волоска на подбородке; на лбу у него росли острые рожки; сверху красовались венки из виноградных гроздьев и листьев и алая митра; обут он был в золоченые полусапожки.

Около него не было ни одного воина мужеского пола; всю его охрану и все его войско составляли бассариды, эванты, эвгиады, эдониды, триетериды, огигии, мималлоны, менады, фиады и вакхиды, женщины разгульные, бешеные, неистовые, опоясанные живыми змеями и драконами, с распущенными волосами, в которые были вплетены виноградные ветви, одетые в олени и козьи шкуры, с секирами, тирсами, дротиками и алебардами в руках; легкими же своими щитами, звеневшими и гудевшими при малейшем прикосновении, они пользовались в случае надобности как бубнами и тимпанами. Число их достигало семидесяти девяти тысяч двухсот двадцати семи.

Авангард находился под началом у Силеня, к которому Бахус питал доверие безграничное и в чьей доблести, великодушии, храбрости и благоразумии он не раз имел случай удостовериться. Это был низенький старикашка, весь трясущийся, сторбленный, обрюзгший, толстопузый, с большими ушами торчком, с крючковатым орлиным носом, с густыми насупленными бровями; ехал он на невыголощенном осле; в руке он держал жезл, который нужен был ему для опоры, а также для того, чтобы, в случае если ему придется спешиться, изящно наносить удары; на нем было женское платье желтого цвета. Свиту его составляли юные поселяне, рогатые, как козлята, и свирепые, как львы, совершенно голые, без умолку певшие песни и плясавшие непристойные пляски; то были титиры и сатиры. Число их достигало восьмидесяти пяти тысяч ста тридцати трех.

Аррьергард находился под началом у Пана, страшного чудища с козлиными ногами, шерстистыми ляжками, с прямыми, глядевшими в небо рогами на лбу. Чудище то было краснорожее, бородатое, духом смелое, стойкое, неустрашимое, нравом вспыльчивое; в левой руке он держал флейту, в правой изогнутую палку; рать его состояла тоже из сатиров, гемипанов, эгипанов, сильванов, фавнов, фатуев, лемуров, ларов^[968], леших и домовых, число коих доходило до семидесяти восьми тысяч ста четырнадцати. Все они выкрикивали одно и то же слово: *Эвое!*

Глава XL

О том, как мозаика изображала нападение и наскок

доброто Бахуса на индийцев

Далее были изображены нападение и наскок доброго Бахуса на индийцев. Мне бросилось в глаза, что предводитель авангарда Силен обливался потом и нахлестывал своего осла; осел устрашающе разевал пасть, отмахивался, отлягивался, изо всех сил отстреливался, словно под хвост к нему забрался овод.

Сатиры – капитаны, сержанты и капралы – играли на пастушьих рожках походный марш и стремительно крутились перед войском, подпрыгивая по-козлиному, подскакивая, припукивая, привзбрыкивая, приплясывая и подогревая в ратниках боевой пыл. Все кричали *Эвое!* Менады первые с дикими воплями и ужасающим звоном тимпанов и щитов напали на индийцев; на рисунке отчетливо было видно, как от этого звона сотрясался небесный свод, – после этого вас уже не должно удивлять искусство Апеллеса, Аристиды Фиванского и других, живописавших гром, зарницы, молнию, ветер, слова, нравы и чувства.

Далее было показано, что ратный стан индийцев оповещен о том, как Бахус опустошает их страну. Индийцы выслали вперед слонов с башнями на спине, в которых размещалась несметная сила воинов, однако ж слоны, ошавев от панического страха, какой на них навели ужасным своим звоном вакханки, повернули назад, прямо на своих, и прошли по двигавшемуся за ними войску. Тут вы могли видеть Силену, вонзавшего пятки в бока своему ослу, по старинке колотившего врагов палкой по чему ни попало, гарцевавшего на осле, который с разинутой пастью, как бы ревя, гнался за слонами, и этот воинственный его рев, не менее яростный, чем тот, который в былые времена, в пору вакханалий, пробудил нимфу Лотиду, когда Приап, преисполненный приапизма, возжелал ее спящую с приятностью приапизировать, послужил сигналом к атаке.

Там же вы могли видеть Пана, прыгавшего на кривых своих ножках вокруг менад и возбуждавшего в них воинственный дух. Далее вы могли видеть, как юный сатир вел в плен семнадцать царей, как вакханка, опутав змеями сорок два вражеских военачальника, тащила их за собой, как маленький фавн нес двенадцать знамен, отбитых у неприятеля, а добряк Бахус, в полной безопасности, разъезжал взад и вперед на колеснице, смеялся, веселился, пил за здоровье всех и

каждого. И наконец, символически были изображены победный трофей и триумф доброго Бахуса.

Триумфальная его колесница была вся увита плющом, найденным и нарваным на горе Мере, – растением редкостным, особенно в Индии, а, как известно, редкостность повышает цену любого предмета. В этом подражал впоследствии Бахусу Александр Великий во время своего индийского триумфа. Колесницу Бахуса влекли слоны в одной упряжке. В этом ему впоследствии подражал Помпей Великий, с победой возвращавшийся из Африки в Рим. На колеснице восседал доблестный Бахус и пил из кубка вино. В этом ему впоследствии подражал Гай Марий после победы над кимврами близ Э в Провансе. Воины Бахуса все до одного были увенчаны плющом; плющом были перевиты их тирсы, щиты и тимпаны. Силенов осел и тот был им накрыт, как попоною.

Справа и слева от колесницы шли пленные индийские цари, закованные в толстые золотые цепи; вся Бахусова рать, исполненная несказанной радости и ликования, двигалась необычайно торжественно, несла бесчисленные трофеи, феркулы^[969], богатую добычу и все вокруг оглашала пением деревенских песен, эпиникиев^[970] и дифирамбов. В самом конце был изображен Египет с Нилом, с крокодилами, керкопитеками, ибисами, обезьянами, трохилами^[971], ихневмонами, гиппопотамами и прочими животными, которые там водятся, а Бахус в тех краях всюду возил с собой двух быков в знак того, что до его прибытия в Египте понятия не имели ни о быке, ни о корове; на одном из них золотыми буквами было написано: *Апис*, а на другом: *Озирис*.

Глава XLI

О том, какой чудесной лампой был освещен храм^[972]

Прежде чем приступить к описанию Бутылки, я ознакомлю вас с устройством чудесной лампы, которая по всему храму разливала свой свет, до того яркий, что, хотя храм был подземный, в нем было светло, как в полдень, когда землю освещает ясное, ничем не затуманенное солнце.

К середине свода было прикреплено чистого золота кольцо, толщиной в кулак, а к кольцу были привязаны три весьма искусно сделанные цепи почти такой же толщины, и на этих цепях, образовывавших треугольник, висела круглая высокопробного золота пластина, коей диаметр равнялся не менее чем двум локтям и половине ладони. В этой пластине были высверлены четыре ямки, или же углубления, и в каждое из них плотно вставлен полый шар, выдолбленный внутри и открытый сверху, то есть нечто вроде лампочки, коей окружность равнялась приблизительно двум ладоням, и все эти лампочки были из драгоценных камней: одна из аметиста, другая из ливийского карбункула, третья из опала, четвертая из топаза. Во все эти лампочки была налита водка, пятикратно пропущенная через змеевик, неистощимая, как масло, которое Каллимах в афинском акрополе некогда налил в золотой светильник Паллады^[973], фитили же в лампах были сделаны частично из горного льна, как в давнопрошедшие времена в храме Юпитера-Аммона, что засвидетельствовал Клеомброт, философ весьма любознательный, частично из льна карпазийского, а эти две разновидности льна огонь не столько пожирает, сколько обновляет.

Примерно двумя с половиною футами ниже все три цепи, образовывавшие новый треугольник, были продеты в три ушка большой круглой лампы чистейшего хрусталя, имевшей полтора локтя в диаметре и с отверстием сверху размером ладони в две; в середину этого отверстия была вставлена такого же хрусталя ваза в виде тыквы или урильника, – она доставала до самого дна большой лампы и была наполнена таким количеством водки, что пламя фитиля из горного льна находилось как раз в середине большой лампы. Благодаря этому создавалось впечатление, что все сферическое тело этой лампы горит и пылает, ибо огонь находился в ее центре, в средней ее точке.

Остановить на ней пристальный, сосредоточенный взгляд было так же немислимо, как нельзя остановить его на солнце, – этому препятствовали и необычайная прозрачность материала, и самое устройство этого изобретения, коего светопроницаемость объяснялась тем, что разноцветные отблески четырех малых ламп, – а зажигать отблески свойственно драгоценным камням, – падали сверху вниз на большую, сияние же этих четырех ламп, мерцающее и неверное, проникало во все уголки храма. Когда же рассеянный этот свет падал

на гладкую поверхность мрамора, коим облицован был храм внутри, то возникали такие цвета, какие являет нам радуга в небе, когда ясное солнце касается дождевых туч.

Это было удивительное изобретение, но еще более подивился я работе скульптора, который ухитрился вырезать на поверхности хрустальной лампы ожесточенную и забавную драку голых ребятишек верхом на деревянных лошадках, с игрушечными копьецами и щитами, старательно сложенными из перевитых ветвями кистей винограда, причем все движения и усилия ребят искусство столь удачно воспроизвело, что природа, пожалуй, так бы и не сумела, а благодаря отливавшему всеми цветами радуги, ласкавшему взор свету, который пропускала через себя резьба, фигурки детей казались не вырезанными, но рельефными, во всяком случае, чем-то вроде арабесок, вылепленных из цельного материала.

Глава XLII

О том, как верховная жрица Бакбук показала нам внутри храма диковинный фонтан

Меж тем как мы восторгались волшебным храмом и достопамятною лампою, перед нами, окруженная своею свитою, с веселым и смеющимся лицом предстала почтенная жрица Бакбук и, удостоверившись, что все у нас в вышеописанном надлежащем порядке, без всяких разговоров провела нас в среднюю часть храма, где под упомянутую лампою бил прекрасный, диковинный фонтан из такого драгоценного материала и такой тонкой работы, что ничего более редкостного и волшебного и во сне не снилось Дедалу. Лимб, плинт и нижняя часть, высотой в три ладони с лишком, семиугольной формы, были из чистейшего, сверкающего алебастра, снаружи разделенного на равные части стилобатами, арулетами, желобками и дорическими бороздками. Внутри он был безукоризненно кругл. Из средней точки каждого краеугольного камня выступала пузатая колонна, напоминавшая цоколь из слоновой кости или же балясину (у современных архитекторов это называется *portri*), и таких колонн было всего семь, по числу углов. Длина колонн, от основания и до архитрава, равнялась без малого семи ладоням и совершенно точно

соответствовала диаметру, проходившему внутри через центр окружности.

Расположены были колонны таким образом, что когда мы из-за какой-нибудь одной смотрели на те, что стояли напротив, то, каков бы ни был ее объем, пирамидальный конус нашего угла зрения упирался в упомянутый центр.

Первая колонна, а именно та, что явилась нашему взору, как скоро мы вошли в храм, была из небесно-голубого сапфира.

Вторая – из гиацинта (на ней в разных местах были начертаны греческие буквы А и Ι) – в точности воспроизводила окраску того цветка, в который была превращена кровь разгневанного Аякса.^[974]

Третья – из анахитского алмаза – блистала и сверкала, как молния.

Четвертая – из рубина-баласа, рубина мужского^[975], близкого к аметисту, игравшего и переливавшегося, как аметист, пурпурно-лиловым огнем.

Пятая – из смарагда, который был прекраснее в пятьсот раз, нежели смарагд Сераписа в египетском лабиринте, и отличался гораздо большей яркостью и более сильным блеском, нежели те, что были вставлены в глаза мраморному льву, лежавшему близ гробницы царя Гермия.^[976]

Шестая – из агата, который был веселее и богаче пятнами и оттенками, нежели тот, которым так дорожил Пирр, царь эпирский.

Седьмая – из прозрачного селенита, белого, как берилл, отливавшего гиметским медом, а внутри нее виднелась луна таких же точно очертаний и так же двигавшаяся, как на небе: то полная, то затемненная, то прибывающая, то ущербная.

Древние халдеи и маги устанавливали между вышеперечисленными камнями и семью небесными планетами тесную связь. И вот, чтобы связь эта всем и каждому была понятна, на первой, сапфировой, колонне над капителью находилось сделанное из драгоценного очищенного свинца изображение Сатурна, стоявшего совершенно прямо с косою в руках и с журавлем у ног, журавлем золотым, искусно покрытым эмалью, цвет коей в точности соответствовал представлению о расцветке Сатурновой птицы.

На второй, гиацинтовой, колонне с левой стороны стоял Юпитер из Юпитерова олова и держал на груди орла, золотого и покрытого эмалью – в подражание естественной его расцветке.

На третьей стоял Феб из чистого золота и в правой руке держал белого петуха.

На четвертой – Марс из коринфской бронзы, со львом у ног.

На пятой – Венера с голубем у ног, отлитая из бронзы, напоминающей ту, что Аристонида избрал для статуи Атаманта, – сочетание белого и красного цветов понадобилось Аристониду, дабы передать чувство стыда, охватившее Атаманта^[977], когда он взирал на сына своего Леарха, который, падая, разбился насмерть.

На шестой – Меркурий из застывшей, неподвижной, но податливой ртути, с аистом у ног.

На седьмой – серебряная Луна с борзой собакой у ног.

Изваяния эти были чуть выше одной трети каждой колонны и столь безупречно выполнены по чертежам математиков, что даже Канон Поликлета^[978], о котором говорили, что он искусством творил искусство, едва ли выдержал бы сравнение с ними.

Основание колонн, капители, архитравы, зоофоры и карнизы были фригийской работы, массивные, из более чистого и высокопробного золота, нежели то, которое несут Лез под Монпелье, Ганг в Индии, По в Италии, Гебр во Франции, Тахо в Испании и Пактол в Лидии. Арки между колоннами были из того же камня, что и ближайšie к ним колонны; сапфировая арка примыкала к гиацинтовой колонне, гиацинтовая к алмазной и т. д. Над арками и капителями с внутренней стороны был воздвигнут купол, служивший для фонтана кровлей; начинался он за рядом планет в форме семиугольника и постепенно принимал сферическую форму, и хрусталь его был совершенно чист, прозрачен и гладок, целостен и однороден во всех своих частях, без прожилок, затемнений, затвердений и волоконца, – самому Ксенократу не приходилось видеть ничего подобного. На поверхности купола виднелись расположенные в строгом порядке изящнейшие, мастерски выполненные фигурки и буквы: двенадцать знаков Зодиака, двенадцать месяцев с их особенностями, оба солнцестояния, оба равноденствия, линии эклиптики и наиболее значительные неподвижные звезды вокруг Южного полюса и других мест, и все это было отмечено печатью столь высокого искусства и отличалось такой выразительностью, что подобную работу я готов был приписать царю Нехепсу или же древнему математику Петозирису.

На верхушке купола, соответствовавшей центру фонтана, находились три волчкообразные, лучшей воды, жемчужины одинаковой формы, вместе образовывавшие цветок лилии величиною больше ладони. Из чашечки цветка выступал карбункул величиною со страусово яйцо в форме семигранника (природа любит это число), карбункул дивный, изумительный; подняв на него глаза, мы чуть было не ослепли, ибо ни солнечный свет, ни молния не превосходили его яркостью и силой блеска. И, вне всякого сомнения, пред ним померкла бы пантарба^[979] индийского мага Иархаса, как в час полуденный меркнут пред солнцем звезды. А беспристрастные ценители, уж верно, признали бы, что вышеописанные фонари и лампы затмевают все диковины и богатства, какие таят в своих недрах Азия, Африка и Европа, вместе взятые.

Пусть-ка теперь египетская царица Клеопатра похвалится двумя жемчужинами, висевшими у нее в ушах, из которых одну, оцененную в сто тысяч сестерций, – подарок триумвира Антония, – она, растворив в уксусе, проглотила.

Пусть Лоллия Паулина гордится своим переливчатым платьем, усыпанным изумрудами и жемчужинами и приводившим в восторг все население Рима – города, который считался подвалом и складочным местом для победоносных разбойников всего мира.

Вода текла и выливалась из трех труб, или же каналов, сделанных из настоящих жемчужин и утвержденных на трех вышеописанных равносторонних краеугольных камнях, и каналы эти образовывали двойную улиткообразную спираль. Осмотрев их, мы перевели глаза на другое, но тут Бакбук велела нам прислушаться к плеску воды, и мы услышали звук на редкость приятный, правда слегка глуховатый и прерывистый, доносившийся как бы издалека, откуда-то из-под земли, но он доставлял нам большее удовольствие, чем если б то был звук внятный и не приглушенный, – одним словом, наш дух, через окна наших глаз впивая в себя красоту вышеописанных предметов, в равной мере услаждал себя тем, что через уши вливал в себя эту гармонию.

Наконец Бакбук обратилась к нам с такою речью:

– Ваши философы отрицают, что движение может производиться силою одних лишь фигур, – послушайте, однако ж, что я вам скажу, и вы уверитесь в обратном. Посредством вот этой двойной улиткоподобной фигуры, находящейся во взаимодействии с

пятеричной системой клапанов в каждом внутреннем изгибе (точь-в-точь как полая вена в том месте, где она впадает в правый желудочек сердца), приходит в движение священный этот фонтан и порождает гармонию, которая доплескивается даже до ваших морей.

Затем она велела принести кубки, чаши, золотые, серебряные, хрустальные и фарфоровые бокалы и любезно предложила нам испить влаги, струившейся из фонтана, мы же с великою радостью согласились. Я должен прямо вам сказать, что мы не из породы воробьев, которые начинают есть только после того, как их похлопают по хвосту, или телят, которые также принимаются за еду и питье только после того, как их взлупят. Кто нас вежливо попросит выпить, тем мы никогда не отказываем. Засим Бакбук спросила, как нам это понравилось. Мы же ответили ей, что это отличная холодная ключевая вода, более прозрачная и серебристая, чем вода Аргиронда в Этолии, Пеня в Фессалии, Аксия в Македонии и Кидна в Киликии, который знойным летом показался Александру Македонскому таким прекрасным, чистым и прохладным, что блаженство погрузиться в эти волны взяло в нем верх над страхом перед болезнью, которою могло для него кончиться мимолетное это наслаждение.

– Ах! – воскликнула Бакбук. – Вот что значит не следить за собой и не постигать тех движений, которые производят мускулы языка, когда жидкость стекает вниз, но не в легкие, через дыхательное горло, как полагали славный Платон, Плутарх, Макробий и другие, а через пищевод в желудок. Неужели, чужестранцы, глотки у вас оштукатурены, вымощены и вылужены, как некогда у Пифилла^[980], иначе называемого Тефтом, и вы не смогли распробовать и угадать, каков на вкус божественный этот напиток? Принесите мои скребки, – вы знаете какие, – молвила она, обратясь к своим прислужницам, – им необходимо поскрести, поскоблить и почистить нёбо.

Засим были принесены прекрасные, большие, веселившие взор окорока, прекрасные, большие, веселившие взор копченые бычьи языки, прекрасные, доброкачественнейшие соленья, мозговая колбаса, икра, доброкачественнейшие, прекрасные сосиски из дичи и всякие прочие глоткоочистители. В соответствии с распоряжением Бакбук мы ели до тех пор, пока не почувствовали, что желудки наши изрядно прочищены и что довольно-таки мучительно дает о себе знать жажда. Тогда Бакбук сказала:

– Некогда один ученый и доблестный иудейский вождь, ведя по пустыне свой народ, изнывавший от голода, вызвал с небес манну, и воображение голодных людей придало ей такой же точно вкус, какой прежде имела для них мясная пища. Вот и вы теперь, попробовав чудесного этого напитка, найдете в нем вкус того вина, которое вы себе вообразите. Итак, напрягите воображение и пейте.

Мы так и сделали. В то же мгновенье Панург воскликнул:

– Ей-богу, это бонское вино! Пусть меня сцапают сто шесть чертей, но такого вкусного вина я еще никогда не пил. Чтобы как можно дольше его смаковать, недурно было бы иметь шею длиной в три локтя – именно о такой мечтал Филоксен, – или шею журавлиную – такую желал иметь Мелантий.

– Честное фонарное слово, это вино гравское, забористое, игристое, – сказал брат Жан. – Бога ради, голубушка, откройте мне способ его приготовления.

– А по-моему, это мирвосское, – объявил Пантагрюэль, – прежде чем пить, я представил себе именно его. Одно плохо: уж очень оно холодное, холоднее льда, холоднее воды Нонакриса и Дирки, холоднее воды Кантопории Коринфской, замораживавшей желудок и все пищеварительные органы тем, кто ее пил.

– Пейте еще, и еще, и еще, – молвила Бакбук. – И, каждый раз воображая что-нибудь новое, вы найдете, что напиток обладает именно тем вкусом, какой вы задумали. Вперед не говорите, что для Бога есть что-нибудь невозможное.

– А мы и не говорим, – возразил я, – мы стоим на том, что Бог всемогущ.

Глава XLIII

О том, как именно Бакбук вырядила Панурга, чтобы он услышал слово Бутылки

После того как все эти речи и возлияния были окончены, Бакбук спросила:

– Кто из вас желает услышать слово Божественной Бутылки?

– Я, – отвечал Панург, – ваша покорная вороночка.

– Друг мой, – сказала она, – я дам вам только одно наставление: когда подойдете к оракулу, старайтесь слушать его одним ухом.

– В наших краях вино бывает одноухое, – вставил брат Жан.

Затем Бакбук надела на Панурга накидку, красивую белую шапочку, нацепила ему Гиппократов рукав^[981], на конце которого вместо кисточки красовались три булабочки, вместо перчаток выдала ему два старинных гульфика, опоясала его тремя связанными вместе вольнками, трижды вымыла ему лицо водой из упомянутого фонтана, бросила прямо в лицо горсть муки, воткнула три петушьих пера с правой стороны Гиппократова рукава и заставила Панурга девять раз обойти вокруг фонтана, сделать три легких прыжка и семь раз коснуться задом пола, а сама в это время творила какие-то заклинания на этрусском языке и что-то вычитывала из ритуальной книги, которую нес перед ней один из ее мистагогов.^[982]

Словом сказать, я полагаю, что ни Нума Помпилий, второй царь римский, ни жители этрусского города Церы, ни святой вождь иудейский не прибегали к стольким церемониям, сколько мне довелось видеть в тот день, равно как мемфисские жрецы Аписа в Египте, эвбейцы из Рамнунта Рамнузийского, жрецы Юпитера-Аммона и жрецы Феронии^[983] не совершали стольких священнодействий, сколько мне пришлось наблюдать там.

Вырядив Панурга таким образом, Бакбук увела его от нас направо, через золотую дверь, за пределы храма, в круглую часовню, сложенную из прозрачных, отражающих свет камней, благодаря совершенной прозрачности коих солнечный свет, пробиваясь сквозь пролом в скале, прикрывавшей главный храм, свободно, целыми потоками вливался в эту часовню, лишенную окон и каких бы то ни было других отверстий, так что казалось, будто он возникал там же, внутри, а не притекал извне. Построена была часовня так же изумительно красиво, как священный храм в Равенне или в Египте, на острове Хемнии. Полагаю нелишним заметить, что построена была круглая эта часовня на редкость симметрично, и поперечник ее равнялся высоте стен.

Посреди часовни находился фонтан из лучшего алебаstra, семигранной формы, необычайно тонкой работы, снабженный особой системой клапанов, и наполнен он был водою, такую прозрачною, какою эта стихия, верно, была лишь в первозданном своем состоянии, а в воду была наполовину погружена Бутылка, облаченная в прекрасный чистый хрусталь и имевшая овальную форму; вот только

края выступали у нее чуть-чуть заметнее, чем это позволяет означенная форма.

Глава XLIV

О том, как верховная жрица Бакбук подвела Панурга к Божественной Бутылке

Тут доблестная жрица Бакбук велела Панургу пасть на колени и поцеловать край фонтана, а затем встать и проплясать вокруг него три ифимба. После этого она приказала Панургу сесть между двух заранее приготовленных стульев, прямо на пол. Потом развернула ритуальную свою книгу и, нашептывая ему слова на левое ухо, заставила пропеть нижеследующую песню виноградарей:

О Бутылка,
Чтимый всюду
Кладезь знанья!
Чутко, пылко
Ждать я буду
Прорицанья.
Ты ж, издав звучанье,
Мне судьбу открой.
Идя на Индию войной,
В напиток твой благословенный
Влил Бахус дивною рукой
Всю мудрость нашей жизни бренной.
От века чужды этой влаге пенной
Фальшь и притворство, плутни и обманы.
Вкусив впервые этот сок бесценный,
Свалился навзничь Ной, восторгом пьяный.
Пускай ответ, тобою данный,
Излечит все мои страданья,
Я к чудотворному сосуду
Взываю с дрожью в каждой жилке:
О Бутылка,
Чтимый всюду
Кладезь знанья!

Чутко, пылко
Ждать я буду
Прорицанья*.

Когда песня была спета, Бакбук что-то бросила в фонтан, и вода внезапно забурлила, как в большом бургейльском котле в праздник жезлов. Панург молча слушал одним ухом, Бакбук по-прежнему стояла рядом с ним на коленях, и вдруг в священной Бутылке послышался шум, как от пчел, народившихся из тела молодого бычка, убитого и разделанного по способу, изобретенному Аристеем^[984], или же от стрелы, выпущенной из арбалета, или же от нежданно хлынувшего летнего ливня. И тогда послышалось слово: *Тринк*.

– Истинный Бог, она разбилась или уж по меньшей мере треснула! – вскричал Панург. – Так в наших краях разговаривают хрустальные бутылки, когда лопаются от огня.

При этих словах Бакбук встала с колен и, ласковым движением взяв Панурга под руку, сказала:

– Друг мой! Возблагодарите Небо – это ваш прямой долг: ведь вы сразу услышали слово Божественной Бутылки, да еще такое веселое, такое мудрое, такое определенное слово, какого я от нее не слыхала за все время службы у пресвятого ее оракула. Встаньте, мы с вами сейчас пойдем и раскроем соответствующую главу, в глоссах которой истолковано это прекрасное слово.

– Ради Бога, я себе не враг! – воскликнул Панург. – Скажите, где же эта книга? Укажите мне, где же эта глава? Давайте скорей посмотрим веселую эту глоссу.

Глава XLV

О том, как Бакбук истолковала слово Бутылки

Бакбук бросила что-то в фонтан, от чего кипение воды внезапно прекратилось, а затем отвела Панурга в главный храм, в середине которого бил животворный родник. Там она вытащила толстую книгу в серебряном переплете размером в полдюйма или же в четвертую книгу *Сентенций* и, опустив ее в фонтан, сказала:

– Ваши философы, проповедники, ученые кормят вас хорошими словами через уши, мы же вводим наши наставления непосредственно через рот. Вот почему я не говорю: «Прочтите эту главу, просмотрите эту глоссу», а говорю: «Отведайте этой главы, скушайте отменную эту глоссу». Некогда один древний иудейский пророк съел целую книгу^[985] и стал ученым до зубов – вы же, когда выпьете эту книгу, станете ученым до самой печени. Ну, разожмите челюсть!

Как скоро Панург разинул пасть, Бакбук взяла серебряную свою книгу; мы думали, что это и в самом деле книга, так как по виду она напоминала служебник, однако ж то был служебник, предназначенный для утоления жажды, то была самая настоящая бутылка фалернского вина, и Бакбук велела Панургу осушить ее единым духом.

– Изрядная глава, поразительно верная глосса! – воскликнул Панург. – И это все, что хотела сказать преблагословенная Бутылка?

– Все, – отвечала Бакбук, – ибо слово *тринк*, коим руководствуются все оракулы, известно и понятно всем народам, и означает оно: *Пей!* Вы там у себя утверждаете, что слово *сак* на всех языках звучит одинаково и все народы с полным правом и основанием его употребляют. В самом деле, Эзоп в одной из своих притч говорит, что все люди рождаются с мешком на спине, что жребий смертных – терпеть лишения и жить подаванием. Во всем подлунном мире нет такого могущественного царя, который мог бы обойтись без другого человека; нет такого гордого бедняка, который мог бы обойтись без богача, будь то сам философ Гиппий, который умел делать все. Труднее, однако ж, обойтись без напитка, нежели без мешка. Мы здесь придерживаемся того мнения, что не способность смеяться, а способность пить составляет отличительное свойство человека, и не просто пить, пить все подряд – этак умеют и животные, – нет, я разумею доброе холодное вино. Заметьте, друзья: вино нам дано, чтобы мы становились как боги, оно обладает самыми убедительными доводами и наиболее совершенным пророческим даром. Ваши академики, доказывая, что слово *вино*, по-гречески *οἶνος*, происходит от *vis*, что значит – сила, могущество, только подтверждают мою мысль, ибо вину дарована власть наполнять душу истиной, знанием и любомудрием. Если вы обратили внимание на то, что ионическими буквами начертано на дверях храма, то вам должно быть ясно, что

истина сокрыта в вине. Божественная Бутылка вас к нему и отсылает, а уж вы теперь сами удостоверьтесь, насколько она права.

– Лучше этой досточтимой жрицы не скажешь, – заметил Пантагрюэль. – Ведь и я сказал вам то же самое, когда вы впервые со мной об этом заговорили. Ну что же, *тринк!* Что подсказывает вам сердце, вакхическим охваченное восторгом?

– Тринкнем, – молвил Панург. —

О добрый Бахус! В честь твою
Я, тринкнув, чарку разопью.
Ха-ха, хо-хо, недолог срок,
И снова будет тверд, как рог,
Привесок нерадивый мой!
Теперь я верю всей душой,
Что, воротясь в наш край опять,
Отцом смогу я тотчас стать,
Что мне женитьба суждена,
Что попадетсЯ мне жена,
С которой буду я охоч
В любовный бой вступать всю ночь.
Предвижу я, что распашу
Не раз мой сад и орошу
Его обильно, ибо я
Примером стану вам, мужья.
Я буду лучшим из мужей.
Хвала тебе, о Гименей!
Супружеству хвала и честь!
Брат Жан! Готов теперь принесть
Я клятву всем, кто пожелает,
Что сей оракул обладает
Непогрешимо вещим даром*.

Глава XLVI

О том, как Панург и другие, исполненные поэтического вдохновения, заговорили в рифму

– Ты что, одурел или на тебя порчу навели? – спросил брат Жан. –
Глядите, глядите, да у него изо рта пена! Слышите, слышите, как он
рифмоплетствует? Право, он бесноватый. Глаза под лоб закатил, ни
дать ни взять дохлая коза. Не лучше ли ему удалиться? Покакать где-
нибудь в укромном месте? Поесть собачьей травы, чтобы очистить
желудок? А не то по монастырскому обычаю засунуть в рот руку по
локоть на предмет облегчения селезенки? А может, вышибить клин
клином?

Тут в речь брата Жана вклинился Пантагрюэль:

– Лишь уступая Бахусовым чарам,
Лишь отуманив мозг хмельным угаром,
Он сделался завзятым рифмачом:
Ведь если тот,
Кто в свой живот,
Как воду, льет
Вино ковшом,
Поет, орет,
Танцует, врет
И чушь плетет
О том о сем,
То за столом
Он языком
Других забьет.
Но помня, что он полн душевным жаром,
И почитая винопийцу в нем,
Над ним смеяться счел бы я грехом*.

– Как! И вы тоже заговорили в рифму? – воскликнул брат Жан. –
Крест истинный, мы все захмелели. Посмотрел бы на нас теперь
Гаргантюа! Ей-богу, не знаю, начать мне тоже подбирать рифмы или
нет. Я человек темный, но ведь нас всех сейчас так и тянет на рифму!
Клянусь Иоанном Предтечей, рифмач из меня выйдет не хуже всякого
другого, ручаюсь. А уж коли не угожу, так не обессудьте.

Господь! Простую воду
Вином ты делал встарь.
Дай, чтоб мой зад народу
Мог заменить фонарь*.

После него снова заговорил Панург:

– Треножник Пифии самой,
Столь чтимой греческой землей,
Вовеки не давал ответа
Мудрей, чем прорицанье это.
Сдается мне: не в Дельфах он,
А здесь в часовне водружен.
Когда б Плутарх, подобно нам,
Явился тринкнуть в этот храм,
Он всех побил бы в древнем споре
О том, зачем, как рыбы в море,
Оракул в Дельфах стал безгласен.
Такой вопрос любому ясен:
Треножник вещей навсегда
Из Дельф перенесен сюда.
Он тут стоит, он тут вещает.
Ведь Афиней нам сообщает,
Что всем, кто бил пред ним поклоны,
Треножник жрицы Аполлона
Бутыль с вином напоминал.
Ей-богу, правду я сказал!
Истолковать грядущий рок
Еще никто верней не мог,
Чем звук Божественной Бутылки.
Брат Жан! Поверь, я жажду пылко,
Чтоб ты, пока еще мы тут,
Просить не посчитал за труд
У трисмегистовской Бутылки,
Чтоб нам слова ее открыли,
Не нужно ль и тебя женить.

А чтоб ее не раздражить
Бесцеремонностью такую,
Посыпь скорей фонтан мукою*.

На это брат Жан в сердцах ему ответил:

– Святого Бенуа туфлею
Клянусь, что подтвердит любой,
Кому знаком характер мой,
Что будет мне сто крат милей,
Простившись с рясою моею,
Расстригою бездомным стать,
Чем дать себя жене взнуздать.
Жениться? Сделаться рабом?!
Свободу заменить ярмом?!
С одной и той же спать всегда?!
Но я же не смогу тогда
Ни Александра, ни Помпея
Затмить отвагою своею!
Мне брак страшнее, чем кончина!*

Тут Панург распахнул накидку и все свое мистическое облачение
и так ответил брату Жану:

– Так знай, нечистая скотина,
Что ты пойдешь в огонь геенны,
А я, как камень драгоценный,
По смерти заблещу в раю,
Откуда я на плешь твою,
Распутник, буду испражняться,
Но ты послушай: может стать,
Что, будучи рукой Господней
Низвергнут в пламя преисподней,
Приглянешься ты Прозерпине
И с позволения богини
Уйдешь с ней в темный уголок,

Где б оседлать ее ты мог.
Ужель тогда, признайся нам,
По лучшим адским кабакам
Тобой на поиски вина
Не будет послан сатана
И фляжку ты не выпьешь махом
В честь той, что так добра к монахам?*

– Пошел ты к черту, старый дурак! – сказал брат Жан. – Не стану я больше рифмовать – от рифмоплетства у меня язык заплетается. Поговорим-ка лучше о том, как нам здесь всех отблагодарить.

Глава XLVII

О том, как, простившись с Бакбук, мы покинули оракул Бутылки

– Ни о какой благодарности не может быть и речи, – сказала Бакбук, – если вы останетесь довольны, это уже будет для нас награда. Здесь, под землей, в областях околоцентральных, мы полагаем высшее благо не в том, чтобы брать и принимать, а в том, чтобы оделять и давать, и мы почитаем себя блаженными не тогда, когда мы много берем и принимаем от других, как, по всей вероятности, предписывают ваши секты, а тогда, когда мы многим одеваем других и много им даем. Я прошу вас об одном: запишите имена ваши и название вашей страны вот здесь, в ритуальной книге.

С этими словами она раскрыла большую красивую книгу, и в этой книге под нашу диктовку один из мистагогов Бакбук, делая вид, что пишет, золотым стилем провел несколько линий, однако ж никаких письмен после этого не выступило.

Тогда она наполнила три меха необыкновенной своей водой и, передав их нам из рук в руки, молвила:

– Идите, друзья мои, и да хранит вас та интеллектуальная сфера, центр которой везде, а окружность нигде, и которую мы называем Богом; когда же вы возвратитесь к себе, то засвидетельствуйте, что под землю таятся сокровища несметные и дива дивные. Ведь недаром Церера, которую чтит весь свет за то, что она открыла искусство

земледелия, обучила ему людей и благодаря изобретению хлебных злаков избавила род человеческий от такой грубой пищи, как желуди, недаром она так сокрушалась, когда ее дочь увезли в подземные наши области: она, разумеется, предвидела, что под землю дочь ее обнаружит больше благ и всяких превосходных вещей, нежели она сама сотворила наверху.

Во что превратилось у вас искусство вызывать молнию и низводить с неба огонь, некогда изобретенное мудрым Прометеем? Вы его, уж верно, утратили; на вашем полушарии оно исчезло, меж тем как здесь, под землей, оно по-прежнему применяется. Напрасно вы изумляетесь при виде того, как молния и эфирный огонь сжигают и испепеляют ваши города, – вам невдомек, от кого, через кого и откуда исходит это потрясение, на ваш взгляд ужасное, нам же, однако, привычное и даже полезное. Философы ваши ропщут, что все уже описано древними, а им-де нечего теперь открывать, но это явное заблуждение. Все, что является вашему взору на небе и что вы называете феноменами, все, что вам напоказ выставляет земная поверхность, все, что таят в себе моря и реки, несравнимо с тем, что содержат в себе недра земли.

Вот почему имя подземного владыки почти на всех языках обозначается словом, указывающим на богатство. Когда придут к концу и увенчаются успехом труды и усилия найти Вседержителя-Бога, которого некогда египтяне называли сокровенным, утаенным, скрытым и, этими именами именуя его, молили объявиться и показаться им, то Бог, снизойдя к мольбам людей, расширит их знания и о себе самом и о своих творениях, а в руководители даст добрый фонарь, ибо все философы и древние мудрецы, дабы благополучно и беспечально пройти путь к богопознанию и к мудрости, почли необходимым, чтобы вожатаем их был Бог, а спутником – человек.

Так, персиянин Зороастр, создавая таинственную свою философию, взял себе в спутники Аримаспа; египтянин Гермес Трисмегист избрал Эскулапа; фракиец Орфей – Мусея; троянец Аглаофем – Пифагора; афинянин Платон сначала избрал Диона из Сиракуз Сицилийских, а когда тот умер – Ксенократа; Аполлоний – Дамида. И вот когда ваши философы, ведомые Богом и сопровождаемые каким-либо светлым фонарем, всецело отдадутся тщательным изысканиям и исследованиям, как то сродно человеку

(эти-то свойства и имеют в виду Геродот и Гомер, когда называют людей *альфестами*, то есть *изыскателями* и *изобретателями*), то они постигнут, насколько прав был мудрец Фалес, который на вопрос египетского царя Амазиса, что на свете разумнее всего, ответил «Время», ибо только время открывало и будет открывать все сокровенное, и вот почему древние называли Сатурна, то есть Время, отцом Истины, Истину же – дочерью Времени. И, таким образом, философы поймут, что все их знания, равно как знания их предшественников, составляют лишь ничтожнейшую часть того, что есть и чего они еще не знают. Из этих трех мехов, что я вам сейчас вручаю, вы почерпнете разумение и познание, ибо недаром говорится пословица: «По когтям узнают льва». По мере разжижения налитой в них воды, которое происходит под действием теплоты небесных тел и жара соленого моря, а также естественного превращения элементов, там образуется в высшей степени здоровый воздух, и это будет для вас светлый, тихий, благодатный ветер, ибо ветер есть не что иное, как волнующийся и кольшущийся воздух. С помощью этого ветра вы прямой дорогой, если только не захотите где-нибудь остановиться, доберетесь до гавани Олонн, что в Тальмондуа; вот только вы не забывайте надувать паруса через это золотое поддувало, приделанное к мехам в виде флейты, – тогда ветра хватит вам до конца неспешного вашего путешествия, приятного и безопасного, от бурь огражденного. Бури вы не бойтесь и не думайте, что она возникает и происходит от ветра, – напротив, сам ветер происходит от бури, поднимающейся со дна моря. Не думайте также, что дождь – следствие слабости сдерживающих сил неба и тяжести нависающих туч; дождь вызывают подземные области, равно как под воздействием небесных тел он не приметно возносится снизу вверх, – это засвидетельствовано царственным пророком, который пел и вещал о том, что бездна бездну призывает. Из трех мехов два наполнены водой, о которой я вам уже говорила, а третий извлечен из колодца индийских мудрецов, именуемого бочкой браминов.

Сверх того, вы удостоверитесь, что корабли ваши в достаточной мере снабжены всем, что еще может вам пригодиться и понадобится на возвратном пути. Пока вы здесь пребывали, я распорядилась все привести в надлежащий порядок. Итак, друзья мои, с легким сердцем пускайтесь в путь, отвезите это письмо королю вашему Гаргантюа и

поклонитесь ему от нас, а также всем принцам и всем состоящим при его славном дворе.

С этими словами верховная жрица вручила нам свернутую и запечатанную грамоту; мы изъявили ей глубочайшую свою признательность, а затем она провела нас в смежную с храмом прозрачную часовню и предложила задавать ей сколько угодно вопросов, хотя бы они составили гору вдвое выше Олимпа. Когда же мы прошли край, полный всяких утех, край приветный, с такой же умеренной температурой воздуха, как в Темпах Фессалийских, с более здоровым климатом, нежели в той части Египта, что обращена к Ливии, более обильный водой и более цветущий, нежели Темискира, более плодородный, нежели та часть горы Тавр, что обращена к Аквилону, нежели остров Гиперборей на море Иудейском и нежели Калигия, что на горе Каспии, такой же благоуханный, мирный и уютный, как Турень, то увидели наконец в гавани свои корабли.

*Конец пятой книги героических деяний и речений
доблестного Пантагрюэля*

notes

Примечания

Бахтин М.М. Творчество Ф. Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. – М., 1965.

Стихотворные переводы, отмеченные звездочкой, выполнены Ю. Корнеевым.

...сравнил его, между прочим, с силенами. – Сравнение древнегреческого философа с этими мифологическими существами (силен – человек с лошадиным хвостом, ушами и копытами) нередко встречается у гуманистов. В данном случае Рабле скорее всего опирался на одну из глав составленного Эразмом Роттердамским (1469—1536) обширного сборника пословиц и поговорок «Адагии», вышедшего в 1515 г. (глава именуется «Силены Алкивиада»). Рабле и далее будет не раз обращаться к «Адагиям».

...потешные заглавия некоторых книг моего сочинения... – Кроме «Гаргантюа» и «Пантагрюэля», а также, возможно, «Феспента», все остальные упомянутые здесь названия вымышленны.

5

С комментариями (*лат.*).

А случилось ли вам видеть собаку, нашедшую мозговую кость? – Уподобление содержания книги костному мозгу встречалось у алхимиков. Тем самым Рабле призывает к аллегорической интерпретации книги; однако ближе к финалу пролога он фактически опровергает подобный подход.

7

О государстве (*лат.*).

8

О природных силах (*лат.*).

9

О назначении частей тела (*лат.*).

Гераклид Понтийский (IV в. до н. э.) – греческий философ, астроном и грамматик. *Евстафий* (XII в.) – архиепископ Фессалоникийский.

Корнут, Луций Анней (I в.) – греческий философ-стоик, автор трактата «О происхождении богов».

Полициано, Аньоло (1454—1494) – итальянский гуманист, поэт и филолог, автор «Сказания об Орфее».

...Овидий в своих «Метаморфозах»... – В средние века в книге Овидия обнаруживали тайный эзотерический смысл. Скорее всего здесь содержится аллюзия на популярного во времена Рабле «Морализированного Овидия», где к тексту римского писателя прилагался обширный комментарий, доказывавший предвосхищение Овидием Нового завета.

Энний, Квинт (239—169 до н. э.) – римский поэт.

...отсылаю к великой *Пантагрюэльской хронике*. – Имеется в виду вторая часть романа, опубликованная раньше первой.

...сошлюсь... на Флакка... – цитата из «Поэтического искусства» римского поэта Квинта Горация Флакка (65—8 до н. э.).

Здесь пьют (*лат.*).

...кoemy нac нaучил Аристотель... – мистификация; ничего подобного греческий философ не писал.

Стихотворение «*Целительные безделки*» относится к чрезвычайно популярному в XVI в. жанру. Это «загадки», пространные иносказания вокруг зашифрованного предмета. Финальная часть «Целительных безделок» принадлежит перу французского поэта Меллена де Сен-Желе (1491—1558); общий смысл стихотворения остается неясным.

Грангузье — от фр. grand gosier – большая глотка.

...но не болонские... – Болонья (Ломбардия) истари считалась центром по производству колбас.

Гаргамелла — от лангедок. gargamello — глотка.

Авл Геллий (II в.) – римский писатель. Имеется в виду его компендиум разнообразных познаний в двадцати книгах под названием «Аттические ночи». Оттуда же позаимствована большая часть перечня «древних пантагрюэлистов». В дальнейшем Рабле чрезвычайно часто черпает из этого источника.

«О пице» (лат.).

«Комедия о ларчике» (лат.).

«О дне рождения» (лат.).

«О прир(оде) животных» (*лат.*).

Матери долгие десять... *(лат.)*.

(Дигесты), О своих и закон(ных), з(акон) «Не оставившему завещания» (лат.).

Новеллы, О восстановл (ении в правах) и о той, что родит на
одиннадцатом месяце (*лат.*).

Галл, (Дигесты), О детях и посмерт(ных наследниках) и (Дигесты), О состоянии людей, з(акон) «На седьмом (месяце)»(*лат*).

...у Гаргамеллы кишка выпала третьего февраля... – У беременных подобное действительно возможно при диарее.

Сине, Сейи, Ларош-Клермо, Вогодри, Кудре-Монпансье, Ведский брод – населенные пункты близ Шинона, в большинстве из которых семья Рабле имела владения.

Лишение уже предполагает обладание (*лат.*).

Чаще к вину прибегай – и будешь вития отменный (*лат.*). – цитата из «Послания к Пизонам» Горация.

Как жених (*лат.*).

Подобно земле безводной (*лат.*).

Не забывай, с кем дело имеешь; лей на двоих; «bus» из употребления вышло (лат.).

bus» из употребления вышло... – Имеется в виду допущенная говорящим ошибка в употреблении латинской формы (duos вместо duobus).

Мелнда – открытый Васко да Гамой в 1498 г. город на восточном побережье Африки, который считался благословенным краем.

Пряатель, выпьем! (*баск.*)

Жажду (*лат.*).

Анже Манский – Иероним Анже, епископ Манский, автор книги «О причинах» (1515).

Слеза Христова (*лат.*) – мускат с таким названием изготавливают в Италии, близ Везувия.

Отсюда – сюда! (*лат.*)

Природа не терпит пустоты (*лат.*).

Будем пить по-бретонски! – Считалось, что бретонцы мастера по этой части.

Одним словом, получилось как у черта... – Речь идет о распространенной в средние века легенде: присутствовавший при родах черт записывал речи рожениц; когда же места на пергаменте не осталось, он попытался растянуть его зубами, но разбил себе голову о столб.

Глупый верит всякому слову (*лат.*).

Любовь всему верит (*лат.*).

Скоттисты – ученики шотландского богослова XIII в. францисканца Иоанна Дунса Скотта. Рабле воспринимал его идеи весьма критично.

...как убедительно доказал Оккам... – Уильям Оккам, известный философ-номиналист XIV в., оппонент Дунса Скотта, никакого магистра Шаровара не комментировал.

«Описуемое» (лат.).

«О камнях» (лат.).

В книге последней *(лат.)*.

...как утверждают Орфей... и Плиний в книге последней... – Имеется в виду последняя, XXXVII, книга монументального труда Плиния Старшего «Естественная история» (I в.). На самом деле ни Плиний, ни тем более мифический певец Орфей ничего подобного не утверждали.

Шпага у него была не валенсийская, а кинжал – не сарагосский...
– Валенсия и Сарагоса славились своими оружейниками.

...непередаваемый перелив красок – подобное сочетание действительно было в моде. То же относится и к перьям на шляпе.

...изобразившая человека с двумя головами... – В представлении Платона первый человек – Андрогин – был двуполым существом сферической формы, с которым в учениях некоторых гностиков отождествлялся Адам. Алхимиками он воспринимался как символ единства магических сил обоих полов. Ср. Послание апостола Павла к Галатам, 3:28.

Любовь не ищет своей выгоды (гр.).

...двадцать пять тысяч шестьдесят три золотые марки... –
Марка соответствует приблизительно 250 г. Таким образом, цепь,
которую носил на шее Гаргантюа, была поистине пудовой – более 16
кг.

Царь Нехенс. – Об этом фараоне VII в. до н. э. древние источники говорят как о прорицателе и астрологе.

...предписание сенлуанских каббалистов. – Сен-Луан – городок на реке Вьенне неподалеку от Шинона. Там находилось аббатство, с настоятелем которого Рабле находился в натянутых отношениях. Вера в упырей и вурдалаков, конечно же, не являлась прерогативой «сенлуанских каббалистов».

...его почтенного поверенного Алькофрибаса. – Речь идет о самом Рабле.

...аугсбургские Фуггеры... – знаменитая династия банкиров.

...белый цвет означает веру, а голубой – стойкость. – Подобное толкование цветов вполне соответствует цветовой символике средних веков.

«*Геральдика цветов*» – книга, написанная около 1458 г. Сисилем, герольдом короля Альфонса V Арагонского.

...запятнали и бросили тень на доброе имя некоторых целомудренных матрон... – Носивший цвета своей дамы влюбленный рисковал ее скомпрометировать.

Гор-Аполлон – грамматист, чьи труды часто переиздавались в XVI в. Имеется в виду его «Иероглифика», переведенная в 1543 г. Жаном Мартеном.

«*Любовные сновидения*» («Гипнэротомехия Полифила», далее – «Полифил») – эзотерический роман Франческо Колонны, впервые опубликованный в 1499 г.

Право народов (*лат.*).

...книга *Лоренцо Валлы*... – Имеется в виду сочинение итальянского гуманиста под названием «Против Бартола к Кандиду Децембру» (опубл. в 1517). *Бартол* – юрист XIV в., в одном из своих сочинений действительно затрагивавший проблему цвета.

...у нее не осталось во рту ни единого зуба... – сюжет из «Похвалы Глупости» Эразма Роттердамского (гл. XXXI).

Милый свет! (*лат.*)

Город Альба-Лонга действительно был основан сыном Энея Асканием в том месте, где он заметил белую свинью («Энеида», III, 388—393).

«О жертвоприношении и магии» (лат.).

Galli (*лат.*) — петухи и галлы.

«О назначении частей (тела)» (лат.).

«О мето(де лечения)» (лат.).

«О пораженных местах» (*лат.*).

«О симптомах и причинах» (*лат.*).

«Тускул(анские) беседы» (*лат.*).

«О силах сердца» (лат.).

«Проблемах» (*лат.*).

...из крыльев мирбале́йской ветряной мельницы. – Мирбале – поместье близ Пуатье. В главе XX «Третьей книги» вновь говорится о мирбале́йских ветряках.

Бамет – монастырь францисканцев неподалеку от Анжера, где, по-видимому, Рабле начинал учебу.

Канарийцы. – В средние века было распространено представление о волшебной стране Канарии (отсюда, возможно, Канарские острова).

Тубал Олоферн. – Тубал по-древнееврейски – «беспорядок»; Олоферн – имя не только царя Навуходоносора, убитого Юдифью, но также и известного астролога XV в.

...прочел с ним Доната, Фацет, Теодоле и Параболы... – Перечисляются книги, составлявшие основу школьного преподавания в средние века. Авл Донат – известный римский грамматик (IV в.).

«О способах обозначения» (*лат.*).

«О способах обозначения» не есть наука (*лат.*).

«О способах обозначения» – средневековый учебник логики. Вслед за этим Рабле перечисляет и другие средневековые учебники. *Гугуций* – Гугуций Пизанский, епископ Феррарский (XIII в.), автор латинского этимологического словаря «Книга о происхождении слов»; *Греческий язык Эберара* Бетюнского – еще одно пособие, на сей раз по греческому (XII в.); *Доктринал* («Наставление для юнцов») Александра де Вильдье (XIII в.), неоднократно переиздававшийся в XVI в.; *Части речи* («О восьми частях речи») – грамматика; *Quid est* («Что есть») – учебник в форме катехизиса. Что же касается *Supplementum* («Дополнений»), то сочинений с таким названием было множество. *De moribus in mensa servandis* («О том, как должно вести себя за столом») – учебник светскости Сульпиция Веруламского (XV в.). *De quatuor virtutibus cardinalibus* («О четырех основных добродетелях») – нравоучительный трактат не Сенеки, а Мартина де Брага; такой же характер носит книга Якобо Пассаванти «Зерцало истинного покаяния» (XIV в.). *Dormi secure* («Покойся в мире») – собрание псалмов.

Эвдемон – счастливый (гр.).

...напоминавшим слог доброго старого Гракха, Цицерона или же Эмилия... – Цицерон высоко оценивал ораторское мастерство Тиберия Гракха (162—133 до н. э.), римского аристократа, ставшего народным трибуном, и полководца Луция Эмилия (228—160 до н. э.).

...нализался, как англичанин... – В «Адагиях» Эразм Роттердамский цитирует пословицу: «Там satur est quam anglus» («Он пьян, как англичанин»).

...на ногах у нее были пальцы, как у лошади Юлия Цезаря... – Об этом рассказывается в «Естественной истории» Плиния (VIII, 42).

Столп св. Марса – руины римской башни в одном километре от Сен-Мара (близ Шинона).

Тено, Жан – автор «Путешествия в заморские страны» (ок. 1520). Он сообщает, что эти знаменитые бараны на самом деле были не сирийского, а суданского происхождения.

Понократ – сильный, неутомимый (гр.).

Полусапожки – их в то время носили под сапогами. В Шиноне работала семья сапожников по фамилии *Бабен*.

...хороший проповедник. – В оригинале – «хороший проповедник-евангелист»; Рабле противопоставляет «торговцев реликвиями» реформатам, отдавая предпочтение последним.

Голова Господня! (*гасконск.*); страсти Господни, стыда в тебе нет (*нем.*); голова Христова (*ит.*).

«О благоговении, в изобилии питаемом» (*лат.*).

Ветчинный командор. – Командор ордена св. Антония в городе Бург-ан-Бресс Антуан дю Сэ был также поэтом и в одном из своих посланий назвал себя «ветчинником».

За и против (*лат.*).

...причесавшись под Юлия Цезаря... – Цезарь был лыс.

...святой водицей из погреба... – так Рабле иносказательно именует вино.

Филотомий – любитель разрезать (гр.).

Добрый день (*искаж. лат.*). *Mna dies* – вместо *bona dies* – добрый день. Магистр говорит скороговоркой и искажает слова.

Добрый день, и вам также (*искаж. лат.*).

...кагорским лондонцам и брийским бордосцам... – Имеются в виду деревушки Лондр в провинции Кагор и Бордо в провинции Клэ.

Господин мой (*лат.*).

И человек мудрый ею не погнушается! (*лат.*)

Воздайте кесарево кесарю, а Богу Богово. Вот где зарыта собака
(лат.).

В храмине, черт побери, милосердия мы славно подзаправимся. Я заколол свинку, найдется у меня и доброе винцо (*средневековая латынь* – испорченная, так называемая «кухонная» или нарочито искажаемая, макароническая. – *Примеч. пер.*).

Бога ради, отдайте нам наши колокола (*средневек. лат.*).

Проповеди Удины, лишь бы только (*средневек. лат.*). – Речь идет о Леонардо Маттеи Удинском, известном проповеднике конца XV в.

Вам нужны отпущения? Ей-же-ей, вы их получите, и к тому же безвозмездно (*средневек. лат.*).

Господин, околородетельствуй нас! (*средневек. лат.*)

Достояние города (*лат*).

Каковой уподоблен был скотам неразумным и сравнился с ними, смотри псалом, не знаю какой (*лат.*).

Это Ахилл на славу (*средневек. лат.*). Ахилл – так на школьном жаргоне именовался сильный аргумент.

Я рассуждаю следующим образом: всякий колокол колокольный, на колокольне колоколюющийся, колоколя колоколительно, колоколение вызывает у колоколюющихся колоколюственное. В Париже имеются колокола. Что и требовалось доказать (*средневеков. лат.*).

123

По третьему модусу первой фигуры (*лат.*).

Название этого модуса. – *Примеч. пер.*

Во имя Отца и Сына и Святого Духа аминь! *(лат.)*

Его же царствию не будет конца, аминь! (*лат.*).

Но, однако же, поелику, без сомнения, клянусь Поллуксом, коль скоро, во всяком случае, Бог свидетель (*лат.*).

Понтанус – итальянский философ, историк и поэт Джованни Понтано (1429—1503), писавший на латыни. В своем диалоге «Харон» он действительно упоминает о колоколах, однако Рабле имеет в виду в данном случае «Корабль дураков» (1494) Себастьяна Бранта (1458—1521).

Прощайте и хлопайте. Я, Калепино, проверку окончил (*лат.*).
Прощайте и хлопайте – формула, которой обычно оканчивалась римская комедия. *Калепино*, Амброзио – автор известного во времена Рабле четырехязычного словаря.

...наподобие подъемного и опускаемого моста... – Имеются в виду штаны со специальным, легко отстегивающимся сзади лоскутом.

...швейцарский ли... – На костюме швейцарцев было множество аксессуаров.

По модусу и фигуре (*лат.*).

Малые логикалии! Сукно к чему приложимо?
– Бессистемно и к разным лицам (*лат.*)

Каким образом приложимо, но к чему (*лат.*).

К моим голням (*лат.*).

Я сам, подобно тому как субстанция несет акциденцию (*лат.*).

Бескорыстно (*лат.*).

Все рожденное обречено гибели (*лат.*).

Нищета – подруга тяжбы. – Согласно Плинию, это изречение мудреца Хилона было начертано на стене храма Аполлона в Дельфах.

Бьерский лес находился в районе Фонтенбло. В XVI в. леса еще служили пастбищами.

Напрасно вы до света встаете (*лат.*). – Ср. «Напрасно вы рано встаете...» (Псалтирь, 126:2). Этот стих традиционно цитируется в ироничном плане.

...причесывался альменовским гребнем... – Имеется в виду Жак Альмен, теолог начала XVI в.

Врач-еврей – Бонне Латский – медик и астролог, прибывший в Рим из Прованса.

Откуда стихи (*лат.*).

...грудю четок св. Клавдия... – Неточность в переводе: имеется в виду город Сен-Клод в кантоне Юра, где изготавливали отличные деревянные четки.

...по выражению одного комика... – Приведена цитата из «Евнуха» (161 до н. э.) римского комедиографа Публия Теренция (195—159 до н. э.).

Игры Гаргантюа. – В списке игр (в оригинале их 217) есть определенная логика: вначале идут карточные игры (до «онеров»), затем настольные (от шахмат до «бабу»), игры на свежем воздухе, в том числе спортивные, загадки и пр. *Тарок* в эпоху Рабле еще не был распространен во Франции (игра возникла в Италии в XV в.).

Первый, второй (*лат.*).

Сеньор дю Фу – скорее всего Жак дю Фу, королевский стольник.
Остальные имена в списке – также реальные лица, знатные дворяне.

Деревянные евангелия – доски для игры в кости или шашки, которые раскрывались подобно книгам.

Анагност — чтец (гр.).

Там наставник повторял с ним прочитанное... – Знать имела обыкновение ходить в «кабинеты задумчивости» в сопровождении слуг.

Тунстал, Кутберт (1476—1559) – епископ Лондонский, затем Даремский, автор трактата по арифметике, опубликованного во Франции в 1529 г.

...переплывал Сену... как Юлий Цезарь, держа в зубах плащ. – Так у Плутарха в его жизнеописании Цезаря.

Стентор – персонаж «Илиады» Гомера, обладавший громоподобным голосом.

Леоник – италијански гуманист Никколо Леонико Томео, автор трактата об игре в кости.

Ласкарис, Иоанн (ок. 1445—1534) – греческий эрудит и философ, библиотекарь Лоренцо Медичи (1449—1492).

«*Рустик*» – написанная в подражание «*Георгикам*» Вергилия латинская поэма Полициано (см. примеч. к с. 25), которая имела большой успех в XVI в.

«О сельском хозяйстве» (лат.).

Марке. – Жена Гоше де Сент-Марта, прототипа Пикрохола (см. примеч. к с. 87), именовалась Мари Марке. Ее отец, Мишель Марке, был конюшим, сеньором Бедуэрским, а с 1489 г. – королевским секретарем.

Пикрохол – от гр. «пикрос» – горький и «холе» – желчь.

Капитолий. – Замок Лерне возвышался над деревней, отсюда ироническое сопоставление его с Капитолийским холмом – одним из семи холмов, на которых стоит Рим.

Созывая членов капитула на капитул (*лат.*).

Противу вражеских козней (*лат.*).

Во славу мира (*лат.*).

Натиск врагов (*лат.*).

167

Даруй мне питие! (*лат.*)

Апофтегма – изречение (гр.).

Святой Фома Английский – Томас Беккет, архиепископ
Кентерберийский (ок. 1115—1170).

Святая Варвара — покровительница артиллерии. *Святой Георгий* (Победоносец) – один из самых популярных христианских святых, покровитель всадников.

Плащаница кадуинская. – Эта очень почитаемая реликвия хранилась в аббатстве Кадуэн (или Кадуин, Дордонь), которым владел Жоффруа д'Эстиссак – первый покровитель Рабле.

Каюсь! Помилуй! В руки (твои предаю дух мой)! *(лат.)*

...велел своему лакею-баску... – В те времена баски считались быстроногими.

Ты столь прилежно учишься... – Письмо написано на «латинизированном» французском языке, который так ценили гуманисты.

Ульрих Галле. – Среди родственников Антуана Рабле-старшего мы встречаем адвоката Галле, который отстаивал в суде интересы луарских торговцев против Гоше де Сент-Марта

Изабелла – город, основанный Христофором Колумбом на острове Гаити в 1493 г.

Филипп – греческая монета с изображением македонского царя Филиппа II, начавшего чеканку золотых монет. В XVI в. так называли любую золотую монету.

. *Сивиллин* (точнее – Севильский) *пролив* – ныне пролив Гибралтар.

Барбаросса (Рыжая Борода) – прозвище Хайр-эд-Дина, алжирского султана, знаменитого корсара XVI в.

...бывшие родосцы... – В 1530 г. по распоряжению императора «Священной Римской империи» Карла V (1500—1558) на острове Мальта обосновались рыцари ордена святого Иоанна (госпитальеры), изгнанные с острова Родос в 1522 г. После этого орден иоаннитов стал именоваться Мальтийским.

Лорето – город в Италии, где, по преданию, находился дом Богородицы, перенесенный туда ангелами из Назарета.

Торопись не спеша (*лат.*).

Песчаное море (лат. *Sabulosus pontus*) – так древние именовали Балтийское море.

Морольф – персонаж «Диалогов Соломона и Морольфа», популярных в XV в.

Почтовые лошади стали использоваться во времена правления Людовика XI (1423—1483), начиная с 1474 г.

. ...*семьдесят четыре мюида и три буасо...* – Мюид (мюи) и буасо – старинные меры сыпучих тел; данный объем соответствует 1332 гектолитрам 39 литрам.

Питьевое золото (*лат.*), считалось в древней медицине панацеей.

...это из Лафе-Монжо. – Речь идет о марке вина, высоко ценившейся в XVI в.

Сельское ополчение – своего рода деревенская милиция; было упразднено Людовиком XII (1462—1515). Особой воинственностью не отличалось.

Святы́й Бо́же! (гр.).

От врага лукавого избави нас, Господи! (*лат.*)

...воспользовавшись указанием Элиана... – Имеется в виду труд Клавдия Элиана (ок. 175 – ок. 235) «О природе животных» (XVI, 25), где упоминается способ дрессировки, которым владели Диомед и Улисс.

Дополнения Дополнений к «Хроникам» (*лат.*). — Возможно, речь идет о книге с таким названием, выпущенной в 1503 г. Филиппом Бергамским.

Канна – мера длины, равная 1,98 м.

Коллеж Монтегю находился в Париже на площади Св. Женевьевы. Славился своей грязью и драконовскими условиями проживания; дети голодали.

...братии Невинноубиенных младенцев... – Имеются в виду нищие с парижского кладбища Невинных.

Настоятель Тюрпенейского аббатства – Филипп Юро де Шeverни, аббат Тюрпенейский (ум. 1539).

Сан-Себастьян (Сан-Себастьян) – город в Испании, известное место паломничества.

...величиною с ситойскую бочку... – В аббатстве Сито в Бургундии возник орден цистерцианцев; бочка, о которой говорит Рабле, вмещала около 80 000 л.

...предсказано в одном из псалмов Давида... – Здесь Рабле высмеивает привычку церковников по любому поводу обращаться к Священному писанию. Имеется в виду псалом 123.

Когда б восстали на нас люди, то живых они поглотили бы нас
(лат.).

Когда б возгорелась ярость их на нас, воды потопили бы нас
(лат.).

203

Поток перешла душа наша (*лат.*).

Перешла бы душа наша воды бурные (*лат.*).

Благословен Господь, который не дал нас в добычу зубам их.
Душа наша спасена, как птица из сети ловцов (*лат.*).

206

Сеть расторгнута (*лат.*).

И мы вызволены. Опора наша... *(лат.)*

В уставе ордена (*лат.*).

Во-первых (*лат.*).

210

Во-вторых (*лат.*).

...я бы выхолостил всех, кто бежал из-под Павии! – Разгром французских войск итальянцами при Павии 24 февраля 1525 г. больно ударил по патриотическим чувствам французов.

Пустил росток корень Иессеев (*лат.*).

Великие духовные лица не бывают великими учеными (*средневек. лат.*).

Трутней ленивых народ от ульев без жалости гонит (*лат.*). – цитата из «Георгик» Вергилия (IV, 168). Перевод С. Аверинцева.

«Отче наш» *(лат.)*.

«Богородице, Дево, радуйся» (*лат.*).

...каштаны из Этросского леса... – Кантон Сент-Эрмин (Вандея), где находился упомянутый лес, славился своими каштанами.

Почему? Потому что (*лат.*).

По носу узнаешь, как «К Тебе вздымаю я» (*лат.*). – первые слова псалма 122, которые брат Жан использует в непристойном смысле.

220

Еще (*лат.*).

221

Блажен, кому (отпущены беззакония) (*лат.*). – начало псалма 31.

...Я прибегну к моему рвотному. – Речь идет о фляжке с вином в виде тревника.

223

Краткая молитва достигает небес, долгое питье опорожняет чаши
(лат.).

Приидите, выпьем (*лат.*). — шутливая переделка молитвы «Venite adoremus» («Приидите, поклонимся»).

О чуждых любовному пылу и подвергшихся злomu воздействию колдовства (*лат.*). – название одного из разделов «Декреталий», свода постановлений римских пап.

...на этого висящего Авессалома! – Авессалом, сын царя Давида, восстал против отца. Во время происходившей в лесу битвы зацепился кудрями за ветви дуба и повис в воздухе.

О презрении к миру и бегстве соблазнов его (*лат.*).

Монах: Видишь в келье чернеца? Он не стоит и яйца. Повстречай его в пути: Сразу стоит десяти. *средневек. лат.*). – Перевод С. Аверинцева.

В свое время на своем месте (*лат.*).

Григорианская вода – вода, освященная по обряду, введенному папой Григорием Великим (VI в.).

Овод Юноны. – Зевс превратил одну из своих возлюбленных, аргосскую царевну Ио, в корову; его обезумевшая от ревности супруга Гера (у римлян – Юнона) напустила на Ио чудовищного овода.

Вейовис — так Эразм Роттердамский, вслед за Авлом Геллием (см. примеч. к с. 32) именует творящих зло богов («Похвала глупости», гл. XLVI).

Аббат Траншлион – Антуан де Траншлион, аббат Сен-Жну и Вернюса. Известен был тем, что промотал все монастырское добро.

...шестьдесят две тысячи золотых... – В оригинале: saluz – золотая монета с изображением Девы Марии, введенная в обращение английскими королями Генрихом V и Генрихом VI во время оккупации Парижа. Речь идет об огромной сумме.

...отличную вьеннскую шпагу. – Город Вьенн с XII в. славился своими шпагами.

...весившие семьсот две тысячи марок... – около 175 000 кг.

237

Экю стоило несколько меньше, чем *saluz*.

Бесе, Марше-Вье... и прочих смежных владений... – Большинство перечисленных здесь населенных пунктов находились близ Шинона.

Тут они бывают злее чертей, а чуть застоятся, так и бабы с ними сладят... – цитата из «Истории Рима» (X, 28, 4) Тита Ливия, которая воспроизведена у Никколо Макиавелли (1469—1527) в его реляции «Положение дел во Франции» (ок. 1513).

Фронтист – мыслитель (гр.).

241

Себаст – почтенный (гр.).

242

Тольмер – отважный (гр.).

Речь, с которой Гаргантюа обратился к побежденным... – пародия на излюбленный гуманистами жанр (ср. письмо Грангузье; «Первая книга», гл. XXIX).

Битва при Сент-Обен-дю-Кормье – сражение бретонских и французских войск в 1488 г. Победу одержали французы под командованием Ла Тремуя.

Партене – крепость, которая была разрушена в 1487 г. по приказу Карла VIII.

Эспаньольские варвары. – Христофор Колумб назвал остров Гаити Эспаньолой. Экспедиция гаитян на французское побережье – чистая выдумка, равно как и набег царя *Альфарбала* на *Они*.

В отличие от других королей и императоров, которые именуют себя католиками... – Намек на императора «Священной Римской империи» Карла V, почти год державшего в плену французского короля Франциска I. Французский монарх был освобожден на унижительных для короны условиях.

Аньельское ущелье находилось в Приморских Альпах, близ местечка Аньелло. Здесь французские пехотинцы совершили переход в 1515 г. *Вирская долина* – в Кальвадосе, *Логроньо* – на границе Испании и Наваррского королевства.

...какого не видывал свет со времен царя Артаксеркса... – см. Книгу Есфири, 1:9.

250

Телемская обитель – от гр. «телема» – желание.

Бургейльское и Сен-Флорентийское аббатства – самые богатые и знаменитые в Анжу.

Далее (*лат.*).

Здание это было стократ пышнее Бониве, Шамбора и Шантильи... – Перечислены знаменитые и красивейшие замки, которые строились или перестраивались в начале XVI в.

254

Туаза — старинная мера длины, равная 1,95 м.

Идите мимо, лицемер, юрод... – Прежде всего Рабле запрещает вход в аббатство горе-святошам, затем судейским, ростовщикам, скупцам, ревнивцам и венерическим больным. Выстраивается своеобразная ироническая параллель дантовскому Аду.

Если жемчужины теряли... природную свою белизну... – Этот рецепт упоминал в одном из своих трудов Аверроэс (Ибн Рушд, 1126—1198) – арабский философ, последователь Аристотеля.

Пророческая загадка. – Автором ее является поэт Меллен де Сен-Желе (см. примеч. к с. 29); вошла в посмертный сборник его произведений (1574), с 1534 г. циркулировала в рукописи.

Мерлин — легендарный волшебник, герой цикла романов о короле Артуре. Именно так друзья прозвали Меллена де Сен-Желе.

Гюг Салель (1504—1553) – французский поэт, переводчик «Илиады».

...нежели Ракле в «Институциях». – Имеется в виду профессор права Рэмбер Ракле. «Институции» – кодекс римского права, составленный в VI в. по инициативе византийского императора Юстиниана.

Житие св. Маргариты. – Считалось, что эта книга успокаивала боли рожениц. Именно поэтому из всех народных книг она чаще всего переиздавалась.

Феспент... Матабрюна... – Здесь перечислены как вымышленные, так и очень известные произведения XV—XVI вв. Джон *Мандевиль* – автор нашумевшей, но недостоверной книги о заморском мореплавании.

Свидетельствуем о том, что видели (*лат.*) – Перифраз из Откровения Иоанна Богослова (1:2).

...на днях же я получил у него позволение... – Рабле действительно совершил поездку в Шинон в сентябре – октябре 1532 г.

...если считать по способу древних друидов... – О летоисчислении друидов пишет Юлий Цезарь в «Записках о галльской войне» (VI, 18).

Всемогущее чрево (*лат.*) – пародия на «Символ веры»: Patrem omnipotentem – Всемогущий Отче.

...и от них произошел Эзоп... – Эзоп был низкого роста. В XVI в. популярно было его жизнеописание, составленное греческим гуманистом Максимом Планудом.

От них ведут свое происхождение Назон и Овидий... – Это одно и то же лицо (Публий Овидий Назон, 43 до н. э. – 18 н. э.).

Да не вспомнишь (ты) (*лат.*). – начало молитвы «Да не вспомнишь ты прегрешения наши».

А от них – Пантагрюэль... – В списке великанов персонажи, выдуманные Рабле (Шальброт, Сараброт и Фариброт), соседствуют с упомянутыми в Библии, мифологии и легендах, а также в рыцарских романах («Фьерабрас»). Здесь налицо пародирование библейской генеалогии, хотя было бы ошибкой говорить на этом основании о «безбожии» автора.

Моргант (Морганте) – персонаж комического эпоса итальянца Луиджи Пульчи «Большой Морганте» (1488).

Мерлин Коккай – псевдоним известного итальянского писателя Теофило Фоленго (1491—1544).

...громадный Бернский бык... – В ходе битвы при Мариньяно (1515), когда французы разгромили швейцарцев, толстяк швейцарец по имени Понтимер, трубач, сумел вывести из строя несколько пушек неприятеля, но в конце концов был убит.

...как *Икароменипп с Юпитером*... – Древнегреческий писатель-сатирик Лукиан (120—190) в диалоге «Икароменипп» рассказывает историю философа Мениппа, который взлетел в небеса, подобно Икару, и вступил в беседу с Зевсом (Юпитером).

...дочь короля амавротов... – В «Утопии» английского гуманиста Томаса Мора (1478—1535) Амавротом именуется город (от гр. «труднодоступный взору»).

Млечный путь (*лат.*).

...о каковом дожде Сенека... упоминает в четвертой книге... – Римский писатель Луций Анней Сенека (ок. 4 до н. э. – 65 н. э.) пишет об этом не в четвертой, а в третьей книге «Исследований о природе», посвященных различным метеорологическим явлениям.

«Исследований о природе» (*лат.*).

Дай, (Господи, разрешение) поклясться! (*лат.*)

...вроде тех, какие делают в Тене для перевозки соли в Лион... – В городе Тене, на реке Рона, находился склад соли, которую перевозили на кораблях в Вьенн и Лион.

«Франсуаза». – Строительство «Франсуазы» – самого крупного корабля во Франции той эпохи было завершено в 1527 г., а первая – неудачная – попытка спустить его на воду была предпринята лишь в 1533 г.

Николай Лира (ум. 1340) – богослов-францисканец, профессор Парижского университета, автор первого полного комментария к Библии.

И Ога, царя Васанского (*лат.*). – см. Псалтирь, 134:11.

284

Семь квадратных ампанов – более 1, 5 кв. м.

...Пантагрюэль поехал учиться в Пуатье... – В Пуатье находился один из крупнейших во Франции университетов (как и в Бордо, Тулузе, Орлеане).

Жофруа де Люзиньян (Жоффруа де Лузиньян) – феодал первой половины XIII в., отличавшийся жестокостью; изо рта у него торчал зуб. Считался сыном феи Мелузины (см. примеч. к с. 563).

...приветствовали ученого Тирако... – Приятель Рабле, юрист Андре Тирако (1488—1558), организовал в Майезе гуманистический кружок.

Майезе – аббатство, настоятелем которого был Жоффруа д'Эстиссак (см. примеч. к с. 92).

Художникам и поэтам (*лат.*). – известная цитата из «Науки поэзии» Горация.

...эти самые студенты живьем поджаривают своих профессоров... – В 1532 г. был сожжен на костре профессор права Тулузского университета Жан де Кагор, заподозренный в ереси.

. *Авиньон* – этот город в Провансе с 1309 по 1377 г. был папской резиденцией, а затем продолжал оставаться во владении Святого престола вплоть до Великой французской революции.

«Пандекты» – пользовавшийся большой популярностью в средние века компендиум римского права. Самый знаменитый толкователь «Пандектов» – Аккурсий. Гуманисты воспринимали подобные комментарии весьма критично.

Из альмаматеринской, достославной и достохвальной академии... – Во времена Рабле в университетах говорили по-латыни. Школяры охотно пользовались франко-латинским жаргоном.

Пиндар – греческий поэт (522 или 518—446 до н. э.). Во Франции времен Рабле он еще не переводился, но выражение «пиндаризировать» (говорить на выпрненем, помпезном языке) было широко распространено.

...он умер Роландовой смертью... – Считалось, что легендарный паладин Карла Великого Роланд погиб от жажды в Ронсевальском ущелье.

«Об архитектуре» (*лат.*).

«О строительном искусстве» (*лат.*).

«О механизмах» (*лат.*). – Книги об архитектуре римского зодчего *Витрувия* (I в. до н. э.) и итальянского гуманиста *Леона Батисты Альберти* (XV в.) были знамениты во времена Рабле. Среди трудов греческого ученого *Герона Александрийского* нет трактата «О механизмах».

Семь свободных наук – грамматика, логика, риторика, арифметика, геометрия, музыка и астрономия.

...бродяги на кладбище Невинноубиенных младенцев... – Бродяги имели обыкновение вскрывать могилы и пировать на костях.

Библиотека св. Виктора – одна из богатейших библиотек в Париже.

...список коих мы прилагаем... – В перечень входят главным образом вымышленные книги, иногда пародирующие названия реальных. Встречаются и подлинные заглавия – например, трактат богослова Жана Жерсона «*О возможности смещения папы церковью*» (нач. XV в.).

Во-первых: «Жердь спасения», «Гульфик права», «Туфли Декретов», «Гранат пороков» (*средневек. лат.*).

Мамотре, «О павианах и обезьянах», с комментариями д'Орбо;
«Постановление Парижского университета касательно кокетства
гулящих бабенок» (*средневек. лат.*).

«Искусство благопристойно пукать в обществе» магистра
Ортуина (*средневек. лат.*).

306

Или (*лат.*).

«Муравейник искусств»; «Об употреблении бульонов и о достоинствах перепоя» Сильвестра Приерийского, иаковита (средневек. лат.).

«Школьная сапожная щетка»; Тартаре, «О способе каканья»
(средневек. лат.).

«О различиях между супами» (средневек. лат.).

«О разгрызании свиного сала, в трех книгах», сочинение
достопочтенного брата Любэна, духовного отца провинции Болтании;
«О вкушении козлятины с артишоками в папские месяцы вопреки
запрещению церкви», сочинение Пасквина, мраморного доктора
(*средневеков. лат.*).

311

Майорис, «О способе приготовления кровяной колбасы»
(средневек. лат.).

«О превосходных качествах требухи» (*среднеvek. лат.*).

Прославленнейший доктор обоих прав, мэтр Пилло Грабежи, «О прорехах на вздоре, в Аккурсиевой глоссе собранном, Обзор наисветояснозарнейший»; «Хитрости вольного стрелка» (*средневеков. лат.*).

Вольный солдат, «О военном искусстве», с рисунками Тево; «О пользе и выгоде свежевания жеребцов и кобыл», сочинение доктора богословия де Кебекю (*средневек. лат.*).

Ростокостоямбеданесса, доктор богословия, «Об употреблении горчицы после еды, в четырнадцати книгах», с апробацией мэтра Вориллона (*лат.*).

«Хитроумнейший вопрос о том, может ли Химера, в пустом пространстве жужжащая, поглотить вторичные интенции; обсуждался на Констанцском соборе в течение десяти недель» (*средневек. лат.*).

«Пачкотня» Скота (*средневек. лат.*).

«Об устранении шпор, в одиннадцати десятикнижиях» мэтра Альберика де Розата; «О постое гарнизонов в волосах, в трех книгах» того же автора (*средневек. лат.*).

Марфорио, бакалавр, в Риме покоящийся, «О том, как должно чистить и пачкать кардинальских мулов» (*средневек. лат.*).

Начинающееся словами «Сильв Мошонк» и проблеянное Сномнаяву, доктором богословия; Бударэн, епископ, «О доходах от эмульгенций, в девяти девятикнижиях, с папской привилегией сроком на три года, не более» (*среднезек. лат.*).

Доктор теологии Оближи, «О вылавливании канонических часов, в сорока книгах»; «Кувыркальня для братии» неизвестного автора (средневек. лат.).

«Итальянская лень», сочинение магистра (*средневек. лат.*).

Р. Луллий, «О дурачествах князей»; «Влагалище лицемерия», сочинение мэтра Якоба Гохштратена, еретикомера (*средневек. лат.*).

«О винных запасах у кандидатов в доктора теологии и у тех, кто уже получил означенную степень, в восьми книгах, до крайности пикантных» (*средневек. лат.*).

«Способы очистки кухонных дымоходов» мэтра Экка (*средневек. лат.*).

«Софистические
«Извознизразбезчрезвокругдаоколосуждения
(средневек. лат.).

забавы»,
испражняющихся»

Увалениус, «О жизни и достоинствах щеголей»; «Душеполезные наставления сорбоннской докторской шапочки», сочинение мэтра Лупольда (*средневек. лат.*).

«Поджигательские речи кельнских докторов против Рейхлина»
(средневек. лат.).

«Круговращения слуг при игре в лапту» брата Шароступа
(средневек. лат.)

«О возможности смещения папы церковью» (*среднеvek. лат.*).

Иоанн Дитебродий, «Об ужасах отлучения от церкви, книжечка без головы»; «Способность вызывать дьяволов и дьяволиц» мэтра Гингольфа (*средневек. лат.*).

Доктор херувический, «О происхождении ханжей и обычных лицемеров, в семи книгах» (средневек. лат.).

«Итог ангелический» (*лат.*) – сочинение Фомы Аквинского.

Портнягиус, «Против некоего лица, назвавшего автора плутом, а также о том, что плуты не осуждены церковью»; «Испражняльня медицинская» (средневек. лат.).

«Клисторные поля», сочинение С. Ш. (*лат.*).

Юстиниан, «Об искоренении святош»; «Антидотарий для души»;
Мерлин Коккай, «Об отечестве дьяволов» (*средневек. лат.*).

...достигнуть своего рода бессмертия... – Здесь, как и в других местах письма, Рабле следует трактату Эразма Роттердамского «Воспитание христианского государя».

...тогда уже прекратится деторождение... – Фома Аквинский полагал, что в конце мира наступит состояние вселенской гармонии и стабильности, когда люди достигнут совершенства и Всевышнему уже не будет необходимости продолжать род человеческий.

...я умру не всецело... – аллюзия на строки Горация, известные русскому читателю в переложении А.С. Пушкина («Нет, весь я не умру...», стихотворение «Памятник»). Рабле, не в пример Горацию, усматривает бессмертие не в славе поэта, а в продолжении рода, следуя тому же Эразму Роттердамскому.

«Этические сочинения» (лат.).

Панург — хитрец, ловкач (гр.).

Молодой господин! Да ниспошлет вам Бог счастья и удачи! Узнайте же прежде всего, милый молодой господин, что то, о чем вы меня спрашиваете, печально и достойно жалости; я мог бы поведать об этом много такого, что вам было бы тяжело слушать, а мне рассказывать, хотя поэты и ораторы прошлого и утверждали в изречениях своих и афоризмах, будто воспоминания о былых бедах и нищете доставляют большую отраду (*нем.*).

Аль барильдим готфано... – Эту тарабарщину попытался расшифровать французский исследователь Э. Понс. По его мнению, Панург просит Пантагрюэля накормить его мясом, в противном же случае угрожает содомизировать его.

Синьор мой! Ведомо вам, к примеру, что волынка никогда не поет с пустым брюхом; так же точно и я не сумею рассказать вам о своих странствиях, прежде чем не получит обычного подкрепления бедное мое брюхо, по мнению коего, мои руки и зубы перестали выполнять свое обычное дело и вовсе исчезли (*ит.*).

Милорд, если вы столь же сильны разумом, как от природы велики ростом, вы должны почувствовать ко мне сострадание, ибо природа создала всех нас равными, но судьба одних вознесла, других же унизила. Однако добродетель всегда в загоне, а люди добродетельные в пренебрежении: ведь только испустив последний вздох, человек делается хорош (*искаж. шотландск.*).

Великий господин, на всякую напасть – свое лекарство; соблюдать приличия – вот что трудно! Умоляю вас, прикажите распорядиться насчет меня; мне нужно только одно: велите накормить меня досыта. А уж потом расспрашивайте сколько влезет, хоть за двоих: останетесь довольны, если Богу будет угодно (*баск.*).

Господин, все языки, на которых я говорю, – христианские. Но мне кажется, что, не произнеси я даже ни единого слова, все же лохмотья мои достаточно красноречиво поведали бы вам о моих нуждах. Будьте же милосердны и дайте мне что-нибудь для подкрепления сил (*голл.*).

Сеньор, я устал от этих бесконечных разговоров. Поэтому я умоляю ваше превосходительство принять в рассуждение наставления евангельские, ибо они побуждают ваше превосходительство поступать в соответствии с велениями совести. А если помянутых наставлений недостаточно, чтобы подвигнуть ваше превосходительство к милосердию, я умоляю вас принять в рассуждение милосердие естественное, на голос коего вы откликнетесь, я уверен, не менее живо, чем на голос разума. И тут я умолкаю (*исп.*).

Господин, даже в том случае, если бы я, словно малые дети и тварь бессловесная, не говорил ни на одном языке, все же моя одежда и моя худоба ясно показали бы вам, в чем я нуждаюсь – в еде и питье. Сжальтесь же надо мною и прикажите дать мне какое-нибудь средство для укрощения ярости моего неистово лающего желудка, подобно тому как ставят перед Цербером миску с супом. А вы да проживете долго и счастливо (*датск.*).

Мир тебе, господин мой! Если хочешь сделать добро слуге твоему, дай мне сейчас же хлеба, ибо сказано: «Ссужает Господу в долг тот, кто милосерд к бедняку» *(еврейск.)*.

Владыко мой, лучший из владык, почему ты меня не накормишь? Ты же видишь, что я, несчастный, умираю с голоду, между тем несколько мне не сострадаешь и задаешь вопросы, к делу совсем не относящиеся. А ведь толкователи и комментаторы единодушно утверждают, что в тех случаях, когда все само по себе ясно, слова и рассуждения излишни. Слова необходимы лишь для того, чтобы осветить дело, о котором идет речь, если оно недостаточно очевидно (гр.).

Агону донт уссис... – Здесь, по Э. Понсу, «на языке Утопии» Панург упрекает Пантагрюэля за то, что тот не отвечает на его просьбы, а продолжает есть.

Уже столько раз, заклиная вас всем святым, всеми богами и богинями, я взывал к вам, умоляя, если сохранилась в вас хоть капля благочестия, прийти на помощь моей нужде, но ничего не добился своими воплями и сетованиями. Пусть же, пусть, о мужи нечестивые, уйду я вашим попустительством туда, куда

Судьбы зовут меня злые,

и не докучайте мне больше вашими пустыми расспросами, памятуя о той древней поговорке, которая утверждает: у голодного брюха не ищи уха (*лат.*).

Ахат — один из персонажей «Энеиды» Вергилия, близкий друг Энея.

...со времени злополучного похода на Митилену. – В 1502 г. французы безуспешно осаждали город Митилену на острове Лесбос, в то время принадлежавшем Турции.

...так же точно, как лучшему греческому оратору Демосфену... –
Слава Демосфена (384—322 г. до н. э.) как мастера политического красноречия вплоть до XVII в. была непрекаемой.

Ясон – падуанский юрист Джазоне Майно (1485—1519).

Дю Дуэ – Бриен Вале, сеньор дю Дуэ (ум. 1544), советник парламента в Бордо.

«О происхождении права» (*лат.*).

360

Антитус – в средние века нарицательное имя ученого педанта.

361

Блаженны обремененные, ибо они споткнулись (*средневек. лат.*).

«Радуйся» и «Внемли нам» (*лат.*).

363

Тот с моста не спускался, кто в воду упасть догадался (*лат.*).

364

Сущности (*лат.*).

365

Деяния *(лат.)*.

366

И прочее (*лат.*).

367

Выживая лягушек (*средневек. лат.*).

368

Сударь, пей, пей! (*искаж. нем.*)

369

В таком случае, милостивые государи, что за права у слабейших?
(лат.)

370

Из их собственных уст (*лат.*).

371

Единогласно (*лат.*).

Отныне, а равно и впредь (*лат.*).

«Катон», «Брат», «Галл», «Пять футов», «Вино», «Если господин», «Мать», «Добрая жена», «Если кто-либо», «Помпоний», «Поместия», «Покупатель», «Претор», «Продавец» (*лат.*).

...и еще тринадцать юбилейных годов не случится... – Католическая Церковь регулярно устраивала «отпускной» год, когда папа отпускал благочестивым христианам все их грехи. Начиная с 1475 г. такой год устраивается каждые 25 лет.

Страшный суд не наступит и через тридцать семь юбилейных годов... – Здесь имеется в виду «юбилейный» год у иудеев, который отмечался каждые пятьдесят лет (см. Левит, 25:8—17). В этом году не полагалось сеять и собирать урожай, довольствуясь дарами природы.

...предсказания же Николая Кузанского окажутся ложными. – Этот немецкий философ (1401—1464) полагал, что конец света произойдет в 34-м юбилейном году после Рождества Христова.

...я бы уж вместе с Эмпедоклом вознесся превыше лунной сферы!
– Согласно легенде, греческий мыслитель Эмпедокл (ок. 495—435 до н. э.) погиб, бросившись в кратер вулкана Этна на острове Сицилия; на самом деле он умер на Пелопоннесе. Лукиан по этому поводу едко замечал, что душа философа, поддерживаемая вулканическими газами, взлетела прямо на Луну.

...об этом прямо говорит философ Ямвлих... – Греческий мыслитель-неоплатоник Ямвлих (ок. 280 – ок. 330) по поводу чертей – любителей сала, разумеется, ничего не писал.

«Об искривленных и уродливых, в защиту докторов богословия»
(средневек. лат.).

Святой Боже, святой Бессмертный! (гр.)

Но где же прошлогодний снег? – цитата из «Баллады о дамах былых времен» французского поэта Франсуа Вийона (1431 – после 1463).

Фоли-Гобелен — загородное увеселительное заведение близ Парижа.

...главные женские приманки здесь дешевле камней. –
Строительные планы Панурга отсылают к представлениям об
Андрогине (см. примеч. к с. 45).

384

Брат Любен (*лат.*).

«О попойках нищих» (*лат.*).

386

А где вы их возьмете? (*искаж. лат.*)

«*А в сущности, чудеснейший из смертных*» – строка из «Послания королю по случаю того, что автора обчистили» (1531) поэта Клемана Маро (1496—1544).

Боже, ниспошли (нам мир свой) (*лат.*).

В Большом зале суда... – Речь идет о знаменитом зале королевского дворца длиной около 70 м и шириной более 16 м, где устраивали различные празднества; сгорел в 1618 г.

390

Брат (*лат.*).

391

Идите, обедня окончена (*лат.*).

Де Аллиако — Пьер д'Альи (1350—1425), философ и богослов.
«Предположения» — одна из частей схоластической логики.

Де Аллиако... «Предположениях» (лат.).

«*Это фламандские вышивки или же из Эно?*» – В то время еще не изготавливались кружева, зато славились валансьенская (из Эно) и фландрская вышивки.

...пальцы у него были гибкие, как у Минервы или же у Арахны... – Согласно мифу, Арахна столь ловко пряла, что Минерва, побуждаемая завистью, превратила ее в паука.

396

Благодарю Тебя, Господь (*лат.*).

397

«Сторицей воздастся тебе» (*лат.*).

«Ты возлюбишь Господа» и «Возлюби» (*лат.*).

399

«Сторицей воздай себе» (*лат.*).

400

Об этом (*лат.*).

...отдельные места из «Сентенций». – Речь идет о «Четырех книгах сентенций» схоласта XII в. Петра Ломбардского, своего рода энциклопедии богословия.

Таумаст — восхитительный (гр.).

Пико делла Мирандола – итальянский мыслитель-неоплатоник (1463—1494), в 1486 г. предложивший всем ученым оспорить 900 его тезисов на публичном диспуте. Но разумеется, не «только знаками».

Подворье Кюни. – Ныне в этом парижском особняке, некогда принадлежавшем Кюнийскому аббатству, находится Музей средневекового искусства.

Пантагрюэль был крайне возбужден и всю ночь просидел над... –
Далее следует список, где реально существующие книги (Беды, Плотина, Прокла, Артемидора, Анаксагора) соседствуют с вымышленными (Инария, Гиппонакта).

«О числах и знаках» (лат.).

«О вещах, изложению не поддающихся» (*лат.*).

«О магии» (лат.).

«Об истолковании снов» (гр.).

«О знаках» (гр.).

«О невыразимом» (гр.).

412

«О вещах, кои следует обходить молчанием» (гр.).

413

До рубежа безмолвия (*средневек. лат.*).

. ...сущий *черт из Вовера*. – Замок Вовер начиная с XIII в. был прибежищем всякого сброда и считался гнездом нечистой силы.

Надобно вам знать, что у Панурга на конце длинного гульфика красовалась кисточка... – Здесь столь важный для Рабле элемент костюма приобретает эзотерический смысл: «гульфиком» алхимики именовали цилиндрическую часть дистилляционной реторты. Цвета, о которых далее идет речь, символизируют все царства природы и небеса, апельсин – символ солнца.

внутри образовалось как бы колечко... – Знак, изображенный Панургом, также имеет эзотерический смысл: колечко (древнееврейская буква «мем») – символ активизированной первоматерии; указательный палец правой руки («шин») – тайный огонь.

417

И вот перед вами больше, нежели Соломон (*лат.*). – см. Евангелие от Матфея, 12:42.

Не бывает ученик выше учителя своего (*лат.*). – см. Евангелие от Матфея, 10:24.

Как жаждущая земля (*лат.*) – см. Псалтирь, 142:6.

...в виде... любовных сетей... – Шелковые шнурки были связаны таким образом, что получались красивый рисунок или имя их владелицы.

Гобелен – династия знаменитых парижских ремесленников и купцов, прославившихся прежде всего своими настенными коврами. Великолепные свойства применяемых ими красок связывались с высоким качеством воды протекавшего рядом с фабрикой ручья (фактически – сточной канавы) Бьевр. Эта легенда продержалась до XVII в., несмотря на то что ручей к тому времени стал зловонным. Что же касается применения мочи в красильном деле, то это отнюдь не выдумка Рабле.

...как некогда были унесены Енох и Илия... – О вознесении патриарха Еноха и пророка Илии см. Бытие (5:18—24) и Четвертую книгу Царств (2:11). В более поздних изданиях Рабле заменил библейских Еноха и Илию на Ожье и Артура – персонажей рыцарских романов.

Милиарий, стадий, парсанг – римская, греческая и персидская меры длины.

Вот откуда в Бретани, в Ландах, в Германии... такие длинные мили. – Бретонская, ландская и прусская мили соответствовали примерно 5 км.

...на тот случай, если письмо написано раствором нашатыря. –
Рецепт симпатических чернил взят из книги Иоганна Тритемия
«Стеганография» (1518).

...здесь кроется та самая хитрость, о которой говорится у Авла Геллия. – Спартанцы, обмотав папирусной лентой палку, писали сверху вниз на этом «цилиндре». Адресат наматывал ленту на точно такую же палку и таким образом мог прочесть письмо.

«О буквах, кои разобрать невозможно» (гр.).

«О буквах, не поддающихся прочтению» (лат.).

«Для чего Ты меня оставил?» – слова Иисуса на кресте, обращенные к Богу-Отцу (Евангелие от Матфея, 27:46).

...и остановились в королевстве Мелиндском. – Здесь сначала описывается подлинный маршрут, по которому испанские корабли ходили в Индию, затем идут вымышленные названия.

Королевство Ахория. – Ахорийцами Томас Мор называл жителей Утопии.

...я веду свое происхождение от Синона. – Этот персонаж фигурирует во II книге «Энеиды» Вергилия.

Амазонка Камилла – см. «Энеиду», VII, 808—809.

434

Кто может ухватить, пусть хватает (*лат.*).

...он назвал их пигмеями... – На картах XVI в. царство пигмеев размещалось напротив Японии. В древности же считалось, что пигмеи живут у истоков Нила или в Индии.

436

Иди со мной (*лат.*).

...подобно тому как Эней вынес отца своего Анхиза... – Отец римского героя был наказан Юпитером за то, что похвалялся своей связью с Венерой; по одной из версий, громовержец наслал на Анхиза паралич.

...предания Турпина, сказания о чудесах святителя Николая и сказки Аиста. – Знаменитая хроника Турпина «Жизнь Карла Великого и Роланда», о которой идет речь, действительно описывает вымышленные события. «Сказания о чудесах» были популярным народным чтением. «Сказками Аиста» обобщенно именовались в то время любые волшебные сказки.

...равнялось по величине большому колоколу Собора Парижской Богоматери... – Этот колокол, отлитый в 1378 г., весил 12, 5 тонны.

...каковую твою кару испытал на себе стан Сennaхериба! – см. Четвертую книгу царств, 19:35—36.

...как в Бурже растаяла на солнце большая Масляная башня св. Стефана. – Башню, которую упоминает Рабле, построили на средства, полученные от продажи диспенсаций (разрешений есть масло в пост). На самом деле обрушилась не эта башня, а более древняя, на месте которой она была возведена.

Ксеркс торгует на улице горчицей... – В этом списке персонажи античной и средневековой литературы, то есть лица вымышленные, соединены с реальными.

Кайет и *Трибуле* – шуты французских королей Людовика XII и Франциска I.

...у стены, на которой был намалеван антонов огонь. – Антонов огонь изображали на стенах больниц, где содержались больные гангреной.

Казалось, что вернулись времена Сатурна... – то есть золотой век.

...когда те, выйдя из Египта, переходили через Чермное море. – В Библии (Исход, 12—13) ничего не говорится об этом «отменном порядке». Чермное море – Красное море.

447

Алмироды – соленые (гр.).

Асфараг – горло (гр.). Эпизод может быть навеян «Правдивой историей» (I, 32 и далее) Лукиана

В Котре, в Лимонсе... – перечислены реально существующие термальные источники.

Мефита — римская богиня, олицетворявшая подземные серные испарения.

Болота Камарины находились на Сицилии («Энеида», III, 700).

Зловонное Сорбонское озеро. – Здесь использована излюбленная школярами шутовская этимология: слово «Сорбонна» рассматривалось ими как производное от названия этого озера (действительно упомянутого Страбоном в шестнадцатой книге «Географии»).

...одну из этих медных пулю вы и сейчас можете видеть... –
Купол орлеанского Собора Св. Креста, медный позолоченный шар десяти метров в диаметре, был разрушен протестантами в 1568 г.

Простите меня (*искаж. ит.*).

И те, что себя выдают за Куриев, на самом деле – вакханты (*лат.*).
– цитата из «Сатир» (II, 3) римского поэта-сатирика Ювенала (60—127).

456

Мидас – фригийский царь, которого Вакх (Дионис) наделил способностью превращать в золото все, к чему тот прикасался.

...о чем так мечтал император Антонин... – Римский император Марк Аврелий Антонин (Каракалла) (186—217) имел огромную тайную полицию.

Когда Филипп... задумал осадить и разорить Коринф... – Сюжет заимствован из диалога Лукиана «Как следует писать историю», переведенного в XVI в. Гийомом Бюде.

«Застольным беседам» (греч.).

...четвертая книга сентенций пантагрюэлических... – Здесь обыгрывается название книги Петра Ломбардского (см. примеч. к с. 230).

Черный двугорбый верблюд – так называемый бактрианский верблюд, который был распространен в Центральной и Восточной Азии.

Таков был напиток в чаше Тантала... – У индийских мудрецов можно было увидеть статую Тантала с кубком в руке. По мере того как из него пили, он наполнялся вновь. Тантал хотел таким образом разделить с людьми нектар бессмертия.

Бутылка Пандоры упоминается у древнегреческого поэта Гесиода (VIII—VII вв. до н. э.) в поэме «Труды и дни» (ст. 96 и далее). В других источниках – «ящик Пандоры».

По примеру Луцилия, который прямо объявил, что пишет только для тарентцев и консентинцев... – По Цицерону, римский поэт-сатирик Гай Луцилий (180—102 до н. э.), опасаясь критики, утверждал, что пишет только для провинциалов.

. ...если только не подвирает де Лира. – См. примеч. к с. 177.
Имеется в виду его комментарий к Исходу, 1:7.

...Озирис, великий царь египетский... – Согласно древнегреческому писателю и историку Плутарху (45—127), некто Памилес, житель Фив, однажды услышал из храма Юпитера глас, повелевший ему возвестить о рождении великого царя Озириса.

...Гесиод в своей «Иерархии»... – Древнегреческий поэт говорит о «благостных демонах» в поэме «Труды и дни» (ст. 122), а вовсе не в «Теогонии», которую Рабле именует «Иерархией».

Фрасибул – афинский военачальник V в. до н. э., глава демократической партии.

...саксонцы по-прежнему бунтовали... – Возможно, намек на восстание фламандцев 1539 г.

...которых, словно Одиссея, судьба забросила на скалу хорошего аппетита... – см. «Одиссею» (V, 475 и далее).

471

...я, как второй Милон... – Имеется в виду Милон Кротонский, знаменитый атлет античности, который погиб, пытаясь разжать две половинки рассеченного надвое дуба.

Во времена давнопрошедшие в Галлии... на похоронах и погребении хозяев и господ сжигали живьем их рабов... – Об этом повествует Юлий Цезарь в «Записках о галльской войне» (VI, 19).

Разве они не молились с утра до ночи своему главному богу Меркурию и отцу золота Диту... – Здесь смешаны римский и галльский пантеоны. Римляне идентифицировали кельтского бога Тевтата с Меркурием, а Дита, бога богатства, – с Плутоном.

. *Сомюрская мистерия страстей Христовых* была поставлена в городе Сомюр в августе 1534 г. и имела большой успех.

...описанная Гесиодом гора героических добродетелей... – см. Гесиод, «Труды и дни», ст. 289—290.

...я смотрел на долги... как на связующую нить между небесами и землей... – Соединение неба и земли – аллюзия на представления итальянского гуманиста, врача и философа Марсилио Фичино (1433—1499).

...семьдесят восьмой мир Петрона... – Петрон Гимерский (VI в. до н. э.), пифагореец, полагал, будто вселенная состоит из 183 миров.

Между стихиями прекратится всякое общение, прекратится их... превращение... – В оригинале symbolisation и transmutation (фр.) – отчасти схоластические, отчасти алхимические термины. Остановка трансмутаций ведет к образованию чудовищ. Об этом Фичино пишет в своих комментариях к «Пиру» Платона.

Люди станут волками в образе человеческом... – Перифраз знаменитой латинской сентенции «Человек человеку волк» (она приводится и у Эразма Роттердамского в «Адагиях»).

Лиқаон. – Юпитер превратил его в волка за нарушение обычая гостеприимства (Овидий, «Метаморфозы», I, ст. 209—243).

Я словно бы отсюда слышу их музыку, столь же явственно, как некогда Платон. – Платон в «Государстве» (X, 617) действительно упоминает о гармонии сфер, но он никогда не утверждал, что слышал ее, в отличие, например, от Фичино

482

То есть (*лат.*).

Кровь – обиталище души. – Это древнее представление (Эмпедокл, Вергилий, Плиний) поддерживалось Платоном, но отрицалось древнегреческим врачом Галеном (II в.).

484

Любая пища, кроме хлеба и вина (*лат.*).

...в правом желудочке она еще улучшается... – По Галену, сердце имеет двойное назначение: в правом желудочке оно готовит горячую кровь, чтоб питать легкие, в левом – порождает жизненный дух.

Философ тианский — Аполлоний Тианский, пифагореец, маг, загадочная личность; жил приблизительно в I в. н. э. Флавий Филострат в книге IV «Жизни Аполлония Тианского» (III в.) повествует о том, как Аполлоний положил конец эпидемии чумы в Эфесе, забросав камнями нищего, который оказался демоном. Под камнями обнаружили труп огромной, исходившей пеной собаки.

487

Мумия – здесь: субстанция, извлекаемая из набальзамированных тел и использовавшаяся в медицинских целях в качестве наркотического средства.

...велел, по еврейскому обычаю, проткнуть себе правое ухо... –
Мода на подвески, причем только в одном ухе, появилась при Валуа (XVI в.).

...не больше, чем стоила свадьба одной гирканской тигрицы... – Гирканией именовалась область на южном побережье Каспийского моря. О «гирканских чащах» говорится в «Энеиде» (IV, 367).

Каждый поступает, как ему подсказывает здравый смысл... – фраза из Послания апостола Павла к Римлянам, 14:5. Евангелисты прибегали к ней в обоснование своих представлений о христианской свободе.

Жан Буржуа – известный францисканский проповедник XV в., которого называли «францисканец в очках».

...голова существует для глаз. – Дискуссии о назначении головы были популярны в XVI в. Другая точка зрения заключалась в том, что голова «существует для мозга».

...самый главный воинский доспех – это гульфик? – Здесь вышучиваются представления Галена о роли тестикул, которые, с его точки зрения, важнее сердца, ибо, кроме всего прочего, являются источником тепла и энергии.

494

«О семени» *(лат.)*.

...благодаря которым Девкалион и Пирра восстановили род человеческий... – Девкалион, сын Прометея, и его жена Пирра, которых Зевс пощадил во время Всемирного потопа за их праведную жизнь, заново создали род человеческий, бросая за спину камни, которые тут же превращались в людей.

496

«Об искоренении святош» (*лат.*).

497

Высшее благо в штанах и гульфиках (*средневек. лат.*).

Узрев, что муж ее собрался в бой... – анонимное стихотворение, опубликованное в сборнике «Цветы французской поэзии» (1534).

Глава IX. – В этой главе усматривается влияние одного из «Разговоров запросто» (под названием «Эхо») Эразма Роттердамского. Но есть и более почтенная традиция, так называемая «рикошетная песня» средних веков.

500

Горе одинокому (*лат.*).

Мудрец сказал... – неточная цитата из Книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова, 36:27.

...о гаданиях по Гомеру и Вергилию... – Этот способ прорицания воспринимался Рабле вполне серьезно.

...которые искушают отшельников в пустынях Фиваиды... – В пещерах Фиваид (Верхний Египет) укрывались первые христианские отшельники.

Я послезавтра, коль не задержусь... – Здесь и далее Рабле приводит версифицированные переводы античных текстов.

«О сновидениях» (гр.).

Тому примером служит Брут... – На самом деле Марк Юний Брут не пал в Фарсальской битве (48 до н. э.), а покончил с собой, потерпев поражение в битве при Филиппах (42 до н. э.).

Гордиан Младший. – После гибели у Карфагена римского императора Гордиана (238) его сын Марк Антоний распоряжением римского Сената на несколько месяцев был провозглашен императором.

Пьер Ами — францисканец, приятель Рабле из монастыря в Фотене-ле-Конт (Вандея), был лишен, как и Рабле, греческих книг и вынужден был укрываться у бенедиктинцев Сен-Мемена, близ Орлеана.

Богомерзкую книгу... – Имеется в виду «Книга судеб» Лоренцо Спирито из Перуджи; переведена на французский язык в 1528 г.

В Ахайе, близ Буры... – Здесь задавали вопросы оракулу, метая кости (Корнелий Агриппа, «Об оккультной философии»).

511

Герионов оракул – знаменитый прорицатель, живший близ Падуи.

Число мне нравится... – Пифагорейцы считали шестнадцать счастливым числом. Агриппа в упомянутой книге указывал, что таково и число ветхозаветных пророков, и евангелистов Нового Завета.

Первый раз вы промахнетесь, и это вам будет зачтено за пятнадцать... – В традиционной французской игре в мяч (жедепом) каждый промах давал противнику преимущество в пятнадцать очков.

Пощупайте-ка пульс, вот здесь, на левой руке. – Гален и Авиценна полагали, что состояние больного лучше определять по левой руке, поскольку она находится ближе к сердцу.

Он недостоин с богом пировать... – Глава начинается с чрезвычайно двусмысленной цитаты из Вергилия («Буколики», IV, 63). К ней было написано множество различных комментариев, причем некоторые авторы усматривали в этих строках пророчество.

...пожар на кораблях Аякса Оилида... – см. «Энеиду», I, 39—41.

...его поила молоком коза Амалфея... – Изложено по «Мифологической библиотеке» (I, ст. 1, 7) эллинистического филолога и хронолога Аполлодора (ок. 180—119 до н. э.).

Я ему не простофиля Амфитрион... – Здесь начинается реестр мужей и отцов, обманутых Юпитером.

Сатирик вполне прав... – см. римский поэт Ювенал (ок. 60—127), «Сатиры», VI, 209—210.

«З(акон) посл(едний), к(анон)» «О зак(онах)» (*лат.*).

521

(Дигесты), О меньш(их), з(акон) «Претор говорит», § посл(едний)
(лат.).

Хороший... античный и аутентичный (способ), а именно сны. – Рассуждения о снах навеяны комментарием французского филолога, критика и поэта Жюль Сезара Скалигера (1484—1558) к книге Гиппократов «О сновидениях» (1539), а также «Оккультной философией» Агриппы и теориями Фичино.

523

Двусмысленный (гр.).

Синесий – епископ Синесий Сиренский (V в.), философ-неоплатоник; оставил трактат о сновидениях, которым пользовался Агриппа.

525

Герофил – врач IV в. до н. э., на которого нередко ссылается Гален.

Кв. Калабрийский – поэт Квинт из Смирны, чьи произведения были обнаружены в 1450 г. в Калабрии и опубликованы в начале следующего столетия.

...согласно учению *Гермеса Трисмегиста*... – Легендарный Гермес Трисмегист («Трижды величайший») считался автором множества эзотерических трудов, в том числе знаменитой «Изумрудной скрижали».

...ученейшим французом *Вилланованусом*... – Речь идет о Симоне де Вильнев, известном гуманисте (умер в 1530 г. в Падуе).

Y_M (зр.).

530

УМ (лат.).

Не ешьте за ужином... вообще ничего мясного... – Здесь говорится о пищевых запретах, характерных для гуманистов.

Окажись я в лаконском храме Ино... – По древнегреческому писателю Павсанию (II в.), Ино, дочь Кадма и Гармонии, превратилась в морское божество («Описание Греции»).

Фульгенций *Планциад* – автор «Мифологического свода» VI в., представляющего собой аллегорическое истолкование «Энеиды».

Эти слова когда-то дорого обошлись сыновьям Иакова... – см. Бытие, 37, 42.

535

Аминь, аминь, да будет так, да будет так – в отличие от папы
(искаж. лат.).

Metalepsis (Металепсис) – риторический термин (гр.).

Турн — мифический царь («Энеида», VII).

Фабий Пиктор — римский историк III в. до н. э., составитель наиболее древних «Анналов».

539

Подарки врагов – не подарки (*гр.*).

Сам мэтр Муш... – см. «Вторую книгу», гл. XVI.

541

От обедни – к столу (*лат.*).

...по примеру Сивиллы, накормившей Цербера... – Сивилла, сопровождавшая Энея в царство мертвых, бросила лепешку трехглавому псу Церберу («Энеида», VI, 417—423).

Эзоп в своих «Притчах»... – Этот сюжет, изложенный также в «Адагиях» Эразма Роттердамского, пользовался в XVI в. большой популярностью.

...это какая-нибудь Канидия или Сагана... – Имеются в виду две колдуньи, упоминаемые в первой сатире Горация.

545

Фессалия – область на северо-востоке Греции, считавшаяся древними страной колдуний.

546

Сикль — древнееврейская монета.

...старушка Ауруния и мамаша Велледа... – Римский историк Корнелий Тацит (ок. 58 – ок. 117) упоминает этих прорицательниц в восьмой главе очерка «Германия».

Гераклит, великий скоттист и туманный философ... – Игра слов: «скоттист» – ученик Дунса Скота (см. примеч. к с. 42) и «Темный» (по-гречески: «Скотейнос») – прозвище Гераклита.

549

(Не хуже) стряпухи старой (*гр.*).

бесский жабий камень. – Бесс находится недалеко от Лодена; жабьим камнем именуется пестрый агат.

Сивиллина пещера – см. «Энеиду», VI, 10.

«...Он восстановил древнюю мегарскую палинтокию и Демокритов палингенез»? – По свидетельству Плутарха, граждане древнегреческого города Мегары приняли специальное постановление о возврате долгов. *Палингенез* (возрождение) – термин не только Демокрита, но и принадлежит алхимической традиции.

...как о том свидетельствуют Проперций, Тибулл, хитроумный философ Порфирий, Евстафий в своих комментариях к Гомерово́й «Илиаде»... – Проперций Секст и Тибулл Альбий – римские поэты I в. до н. э., Порфирий (ок. 233 – ок. 300) – греческий философ-неоплатоник, Евстафий (XII в.) – византийский историк и комментатор Гомера.

З(акон) пер(вый), «О слов(есных) обязат(ельствах») (*лат.*).

...у одного сведущего и изящного писателя я вычитал... – Имеется в виду «Диалог о танце» Лукиана. Но имя Тиридата там не упомянуто, так что источником здесь скорее всего является «Естественная история» Плиния Старшего (24—79) или жизнеописание Нерона, выполненное Светонием (ок. 70 – ок. 140).

«...как это случилось с Дафаном и Авироном»... – см. Числа, 16.

557

Старик пророчествует, как сивилла (гр.).

Гийом дю Белле (Дю Белле) – вице-король Пьемонта. Рабле был домашним врачом Дю Белле и присутствовал при его кончине 9 января 1543 г.

Ихтиофагия — название одного из «Разговоров запросто» Эразма Роттердамского, где подвергаются осмеянию монахи.

Вы скажете, что он в состоянии поэтического исступления? –
Аллюзия на платоновскую теорию искусства.

...еретик клавельный... – игра слов: *clavele* (фр.) – «обшарпанный»; имеется в виду также часовщик Клавель, который в начале Реформации был сожжен на костре вместе с женой.

Театинцы — монашеский орден, основанный в итальянском городе Теате.

563

Радуйся, звезда над морем (*лат.*).

«Помилуй мя»... «тельцов» (*лат.*).

Пикатрис — название трактата по магии XIII в., популярного во времена Рабле.

566

Джованни Джакомо Тривульци (1448—1518) – миланец, маршал Франции.

...забавный обет испанца Мигеля де Ориса... – Этот рыцарь из Арагона дал обет носить на себе лишь часть доспехов до той поры, пока какой-нибудь английский рыцарь не согласится сразиться с ним.

568

Ламии – вампиры с головой женщины и ослиными копытами, якобы питавшиеся детской кровью.

Гер Трунна — Корнелий Агриппа из Кельна (1485—1535), автор трактата «Об оккультной философии», а также панегирика во славу женщин «О благородстве и превосходстве женского пола». Возможно, здесь имеет место контаминация его имени с именем Тритемия

570

Перед вами настоящий Ол из Марциаловой эпиграммы... – см. Марциал (ок. 40 – ок. 104) «Эпиграммы», VII, X.

571

Ниций спесивец (*гр.*).

Полипрагмон (гр., букв.: любопытный надоеда) – персонаж, упоминаемый у Плутарха («О любопытстве»).

Гермолай Варвар — итальянский гуманист и поэт Эрмолао Барбаро (1453—1493); «советовался» с демонами по поводу трудных мест доктрины Аристотеля и якобы получил от них ответ.

Пиромантия... скиомантия. – Здесь перечислены различные виды гадания.

575

Плодитесь, все живые, и множитесь (*лат.*). – Здесь соединены две библейские цитаты. См. Исход, 1:22 и Псалтирь, 113:26.

576

Патак – мелкая монета.

577

Когда придет (Господь) судить землю (*лат.*).

...звон котлов Юпитера Додонского. – Вокруг святилища Юпитера в Додоне были развешены бронзовые сосуды, которые соприкасались друг с другом и звенели.

...английская маркиза Винчестерская... – По мнению некоторых комментаторов, епископ Винчестерский владел в Лондоне домом терпимости, поэтому так часто именовали куртизанок.

Цензор Катон — Марк Порций Катон Старший (234—149 до н. э.), римский государственный деятель, непримиримый враг Карфагена. В 184 г. до н. э. был избран цензором и за проявленную при этом строгость получил прозвище Цензор.

581

Стало быть (*лат.*).

Носи кольцо Ганса Карвеля, великого ювелира царя Мелиндского...
– Этот персонаж уже упоминался в «Первой книге» (VIII). Его прототип – Гильом Карвель – был студентом медицинского факультета университета в Монпелье.

...от богословов отца Гиппофадея... – Видимо, здесь содержится намек на Фаддея – апостола, отстаивавшего «истинную веру» от еретиков. Возможна аллюзия на протестантов Г. Лефевра д'Этапля или И. Меланхтона. Прототип *магистра Рондibiliса* – медик и известный ученый Гийом Ронделе, приятель Рабле.

Пифагорейская тетрада. – Пифагорейцы считали четверку священным числом.

Труйоган (Trouillogan) – вероятно, «круговорот» (фр.).

«Неразрешимые проблемы» (*лат.*). — Аллюзия на трактат известного французского богослова, приверженца традиции Оккама, Пьера д'Альи (1350—1425).

...с той мудрой женой, которая описана у Соломона? – см. Книгу Притчей Соломоновых, 31:10—31.

по мнению лампсакийцев... – Лампсак – город в Малой Азии, известный в древности как один из главных центров культа Приапа.

589

Герakлова лилия (*лат.*).

590

Непорочная, чистая (*лат.*).

591

«О воздухе, воде и местности» (*лат.*).

592

«О семени» *(лат.)*.

Претиды, мималлониды, фиады – различные наименования вакханок.

...у одного известного автора... – Имеется в виду Эзоп, на которого ссылается в книге «Утешение женам» Плутарх.

В то время... когда Юпитер наводил порядок в своем олимпийском доме... – цитата из «Утешения женам».

Дентевиль, епископ Осерский – действительное историческое лицо – Франсуа де Дентвиль (Дентевиль, ум. 1530).

...с нашими старинными друзьями, Антуаном Сапорта... – Здесь перечислены соученики Рабле по университету в Монпелье.

Кал, и моча, и мокрота – врачам то нажива без счета. В этом – соль ремесла; о прочем не к месту заботы (*лат.*). — Перевод С. Аверинцева.

599

Нам в чинах красоваться, а вам – дерьмом объедаться (*лат.*). –
Перевод С. Аверинцева.

600

«Об осмотре чрева» (*лат.*).

...все это гораздо яснее выражено в послании апостола Павла... –
см. Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла, 7:29.

Философ эффективный и пирронический – то есть скептик, приверженец идей греческого философа Пиррона (ок. 360—270 до н. э.).

...говорила о своих жалобах Дидона. – Страдания Дидоны после отбытия Энея описаны в IV книге «Энеиды».

Френ – грудобрюшная преграда (гр.), по мнению древних, служившая вместилищем разума.

605

Фронтистерий — место для медитации.

Фатуальный — от лат. «*fatuus*» – «божественный», а также «глупый». Фатуус – одно из имен римского бога полей и лесов Фавна.

...Панормита в своем толковании, Барбацій в комментарии к «Пандектам» и совсем недавно Ясон в своих «Советах»... – Рабле упоминает трех итальянских юристов XV – начала XVI в.: Никола Тедеско по прозвищу Палермитано (здесь: Панормита), Барбацио и Джазоне Майно

Бонадиес — греческое божество.

Отм(ечены) Архид(иаконом), Д(истинкция) LXXXVI, к(анон)
«Столько...» (лат.).

...о чем прямо говорится в... – Здесь и далее буквой «f» обозначены «Дигесты», буквой «l» – Закон (имеется в виду «Кодекс Юстиниана»).

(Дигесты), О воен(ном) деле, з(акон) «Кто с одним...»; (Дигесты), О нор(мах) пр(ава), з(акон) «Почти...»; (Дигесты), Об(эдий)ском эд(икте) «По всему...»; (Дигесты), О пер(еносе) меж(евых столбов), з(акон) «Божественный Адриан»; разъяс(нение) Люд(овика) Ри(мского) к з(акону) «Если только...»; (Дигесты), Рас(торжение) бр(ака) (*лат.*).

612

З(акон) «Величайшая ошибка...»; К(одекс), «О дет(ях), обойд(енных)...» (*лат.*).

613

Игральная кость судебных решений (*лат.*).

Люди новых времен любят краткость (*лат.*).

615

Когда законные права сторон не ясны, следует поддерживать ответчика, но не истца (*лат.*).

616

Для обозрения (*лат.*)

617

Сопоставление противоположностей делает различие еще более очевидным (*лат.*).

В деле сомнительном часть меньшую должно избрать (*лат.*). –
Перевод С. Аверинцева.

619

Тот, кто явился раньше, пользуется законным преимуществом
(лат.).

620

При изменении формы меняется существо дела (*лат.*).

621

Ибо явления побочные следуют природе основного (*лат.*).

622

Был великим практиком (*лат.*).

Переменяй иногда серьезный труд развлеченьем (*лат.*). — Перевод С. Аверинцева. — В «Дигестах», входивших в «Кодекс Юстиниана», содержался совет студентам третьего года обучения: один день в неделю посвящать памяти римского юриста Эмилия Папиниана (150—212).

624

Деньгам все повинуется (*лат.*).

625

Здесь за(метьте себе) (*лат.*).

...господин Тильман Пике... – На медицинском факультете университета в Монпелье начиная с XV в. трудилась династия Пике.

627

Говоря решительно (*лат.*).

Слаще потеть за работой, что начал своею охотой (*лат.*) —
Перевод С. Аверинцева.

629

Что для болезней лекарства, то для дел судебные решения (*лат.*).

630

Как гласит глосса:

К этому сроку пригожа становится, зрея для ложа, Дева (*лат.*). –
Перевод С. Аверинцева.

Правоведа Брокадия (*лат.*). — Имеется в виду «Brogadium juris» — сборник юридических правил, название которого Рабле иронически переименовывает.

Латеранский собор — проходил в Латеранском дворце в Риме в 1512—1517 гг.

Прагматическая санкция была выпущена в 1438 г. и провозглашала приоритет церковных соборов над решениями папы. Отменена в 1516 г. на Латеранском соборе.

Часто повадки юнца следуют нравам отца,
Дочь же во всем повторять будет родимую мать (*лат.*). — Перевод
С. Аверинцева.

635

Из сего правила изымаются дети, прижитые монашкой от монаха
(*средневек. лат.*).

636

Деятельным людям приходят на помощь законы (*лат.*).

637

З(акон) «Погонщик мулов»; глосса к словам «почуял запах» – что означает «приложился носом к заду» (*лат.*).

638

Бежать (*лат.*).

Заставляет старушку нужда (*лат.*). — Перевод С. Аверинцева.

640

Всем дано говорить, но мудро мыслить – немногим (*лат.*). —
Перевод
С. Аверинцева.

641

Надлежит (*лат.*).

С боя добытая радость таит особливую сладость (*лат.*). —
Перевод С. Аверинцева.

Если лишился ты *де*, – друг, ты лишился и *нег* (*лат.*). – Перевод С. Аверинцева.

Я ненави́деть начну, а если любить – то неволей (*лат.*). – Перевод С. Шервинского. – цитата из «Любовных элегий» Овидия (III, 11, 35).

Существованием вещь обязана форме (*лат.*). — Перевод С. Аверинцева.

Хоть и ничтожен почин, да славным исходом увенчан (*лат.*). —
Перевод С. Аверинцева.

647

Взору явит облаченье – какое у сердца влеченье (*лат.*). — Перевод
С. Аверинцева.

648

Здесь за(метьте себе) (*лат.*).

Блаженнее дающий, нежели принимающий (*лат.*)... — неточная библейская цитата. См. Деяния святых апостолов, 20:35.

650

Стоит дарителя рвенье Юпитерова изволенья (*лат.*). – Перевод С. Аверинцева.

«Дар», «подарок», «даренье» – вот милые папе реченья (*лат.*). –
Перевод С. Аверинцева.

В глоссе к слову «Рим»:

Рим одних обирает, а кто не дает – попирает,

Тех, кого не дерзает ограбить, злобой терзает,

Тех, кто дает, – лобзает (*лат.*). — Перевод С. Аверинцева.

653

Лучше в ладонях синица, чем в небе большая птица (*лат.*). —
Перевод С. Аверинцева.

654

Если в забросе труды, подступает жестокая бедность (*лат.*). –
Перевод С. Аверинцева.

Тяжбами расцветают законы.

Тяжбами крепнет право (*лат.*). — Перевод С. Аверинцева.

656

Там, где малость не впрок, множество может помочь (*лат.*). —
Перевод С. Аверинцева.

657

На месте преступления (*лат.*).

Добрый наш старец Гомер иногда засыпает (*лат.*). – Перевод М. Дмитриева. – см. Гораций, «Наука поэзии», 359.

659

Деньги – это вторая кровь (*лат.*).

660

Деньги – это жизнь для человека и самый надежный поручитель в случае необходимости (*лат.*).

Клянусь бычьей головой, ребята, чтоб вам допиться до зеленого змия, раз уж пропали мои двадцать четыре коровки, давайте тогда играть на тумаки, оплеухи и подзатыльники. Кто желает со мной перевестаться в честном бою? (*гасконск.*). «Коровки» – монеты.

Гасконец бахвалится, что готов биться с любым из нас, но он норовит что-нибудь стащить, так что, милые наши жены, берегите вещи (*нем.*).

663

Денег лишившись, рыдают и льют неподдельные слезы (*лат.*). –
Перевод С. Аверинцева. – см. Ювенал, «Сатиры», XIII, 134.

Клянусь головой святого Арно! Кто ты такой, чего ты меня будишь? У, чтоб тебе напиться вдрызг! Ах, святой Север, покровитель Гасконии, я так сладко спал, а этот задира не дает мне покою (*гасконск.*).

665

Эх ты, бедняга! Да я со свежими силами так намну тебе бока!..
Лучше поди-ка тоже отдохни, а тогда и лезь в драку (*гасконск.*).

666

Джованни Андреа – итальянский юрист XV в.

667

В тишине и покое душа обретает мудрость (*лат.*).

Трибониан — юрист VI в., по приказу Юстиниана I составивший «Пандекты» (см. примеч. к с. 180).

...недаром Катон высказал в свое время пожелание и подал совет мостить капканами судебный двор. – Возможно, цитата из «Естественной истории» Плиния, где говорится о том, что Катон предлагал вымостить Форум остроконечными булыжниками.

670

Мусафи (араб.) – комментатор Корана.

Аполлон Кинфий ущипнул его за ухо. – Имеются в виду стихи 2—5 из VI буколики Вергилия:

Стал воспевать я царей и бои, но щипнул меня Кинфий
За ухо, проговорив: «Пастуху полагается, Титир,
Тучных овец пасти и петь негромкие песни!»
(Перевод С. Шервинского).

Морософ (гр., букв.: «безумный мудрец») – термин, встречающийся у Лукиана, а также у Эразма Роттердамского в «Похвале Глупости» по отношению к безумцам, старающимся сойти за мудрецов.

Я буду вашим Ахатом, Дамидом... – Ахат – см. примеч. к с. 200.
Дамид – имя одного из учеников Аполлония Тианского (см. примеч. к с. 311).

674

Ксеноман — влюбленный во все заграничное (гр.).

Страна Фонария. – Это имеющее непристойные аллюзии название навеяно «Страной фонарей» в анонимной книге «Ученик Пантагрюэля» (1537), а также мифическим «Лампоградом» из «Правдивой истории» Лукиана (1, 29).

676

Такие же услуги, какие Сивилла оказала Энею, когда тот сошел в Елисейские поля... – см. «Энеида», VI, 36 и далее.

677

Пастофоры — египетские жрецы, которым поручалось нести во время священных процессий статуи богов в капеллах храма.

Симмисты — жрецы, принимавшие участие в мистериях.

...сколько некогда вывел из Саламина Аякс... – см. Гомер, «Илиада», II, 557—558. Таким образом, флот Пантагрюэля состоял из двенадцати судов.

Пантагрюэлион. – Скорее всего имеется в виду пенька. Ее апология в главе L навеяна Плинием. Существует целый ряд символических прочтений пантагрюэлиона, включая и философский камень.

...по имени моих Гиерских островов... – В первых изданиях «Третьей книги» на титульном листе значилось: «Сочинение Франсуа Рабле, доктора медицины, монаха с Гиерских островов». Речь идет о трех островках в Средиземном море близ устья Роны.

Пинтий — существительное, образованное Рабле скорее всего от греческого глагола со значением «пить».

683

Питис — сосна (гр.).

684

...чеснок для магнита... – По утверждению Плутарха, натертый чесноком магнит теряет свои свойства.

685

...сень тиса для спящих под нею... – Древние полагали, что спавший в тени тиса вскоре умрет.

686

Икаров пс — созвездие Большого Пса.

Ориева сына Оксила и его сестры Гамадрии... – Оксил был отцом восьми гамадriad (нимф деревьев), но Рабле превращает некоторых из них в мужчин.

688

Изиаки – жрецы богини Изиды; носили льняные одежды.

...громадные оркады, просторные таламеги, могучие галлионы, хилиандры и мириандры... – различные типы судов.

690

Тапробана – древнее название острова Цейлон.

691

Фебол — остров в Красном море.

Как это сделала Артемизия... – Этот эпизод изложен по Авлу Геллию, однако деталь, касающаяся вина, придумана Рабле.

693

Асбест – нестгораемый (гр.).

694

«О темпераментах» (*лат.*).

695

Лиственница (*лат.*).

696

Караки – суда португальского образца.

Кардинал Шатильонский – Оде де Колиньи (1517—1571), сын Луизы Монморанси, потомок знаменитого коннетабля; книгоиздатель, покровитель французского поэта Пьера де Ронсара (1542—1585).

В (комментариях) к VI (книге) «Эпидемий» (лат.).

...с физиономией мрачной... катоновской... – то есть суровой, как у Катона Цензора (см. примеч. к с. 379).

Комментарии к VI (книге) «Эпидемий», кн. IV (*лат.*).

701

Агеласты – несмеющиеся (гр.).

...наиболее сведущий и добросовестный чтец во всем нашем королевстве... – Пьер дю Шатель, епископ Маконский; симпатизировал гуманистам.

703

Отвращающий зло, защитник от бед (гр.) — одно из прозвищ Геракла.

Кн. II «О назначении частей (тела)»; кн. II «О различиях в биении пульса», гл. III, и там же, кн. III, гл. II, и кн. «О впечатлениях» (*лат.*).

705

«О сохранении здор(овья)» (*лат.*).

706

Один из сынов пророков израильских... – сюжет из басни Эзопа «Дровосек и Гермес».

...прошение шерифа мароккского. – Имеется в виду Мохамед-эль-Шейх, в 1549 г. сделавший Марокко независимым государством; в 1551 г. был разгромлен турками.

Мы рассмотрели дело Пармы... – Карл V (см. примеч. к с. 103) и Генрих II конфликтовали по поводу этого итальянского города. Альянс Генриха II с Октавио Фарнезе, герцогом Пармским, позволил решить судьбу города.

709

Пропаций, никудышный (*старонем.*).

...порабощенный маленьким скрюченным человечком. – Речь идет об императоре Карле V, страдавшем подагрой, астмой и геморроем.

...о восстановлении... старинных свобод. – Имеется в виду подписанный в январе 1552 г. в Шамборе договор Генриха II с немецкими курфюрстами.

Рамус (Пьер де Ла Раме) – известный французский мыслитель XVI в., противник аристотелизма.

Прокрида – супруга Кефала, потомка Девкалиона (см. примеч. к с. 319); была случайно убита мужем во время охоты.

...Жокин де Пре... Жаке Берхем... – В этом перечне упоминаются музыканты конца XV – начала XVI в.

...сочетание белого цвета с алым – это эмблема наших благородных путешественников... – Здесь и далее множество деталей четвертой и пятой книг романа говорят о том, что путешествие Пантагрюэля представляет собой инобытие алхимического поиска, именуемого Великим Деланием. Бутыль – это амфора в храме Диониса, который в Греции считался покровителем алхимии. Белое и красное – две стадии Великого Делания (*rubedo* и *albedo*). Путешествие в целом происходит по алхимическому «морю философов» в рамках так называемого «влажного пути» алхимиков. Корабли Пантагрюэля плывут к полюсу, ибо там пребывает «истинный огонь», сердце Меркурия. Подробнее см.: Головин Е. Франсуа Рабле: алхимический вояж к Дионису // Литературное обозрение. 1994. № 3—4.

...Когда вышел Израиль из Египта... – Эту цитату из псалма Давида (см. Псалтирь, 113:1) Рабле приводит во французском переводе поэта Клемана Маро (1496—1544), который был подвергнут критике со стороны Сорбонны.

717

Медамоти – нигде (гр.).

718

Филофан – тот, кто хочет быть увиденным (гр.).

719

Филотеамон – жадный до зрелищ (гр.)

Шарль Шармуа, придворный живописец короля Мегиста... – живописец-маньерист родом из Орлеана, работал в замках Фонтенбло и в Сен-Мор-де Фоссе. Мегист – величайший (гр.); имеется в виду Франциск I.

721

Гелоны – скифское племя, обитавшее в низовьях Днепра.

722

Таранд – животное, напоминающее северного оленя, описанное Плинием Старшим и Элианом

723

Той – животное, напоминающее шакала.

724

Лицаон – скорее всего гепард.

725

Гозал — голубь (др. — евр.).

Маликорн – возможно, аллюзия на конюшего Генриха II сеньора де Маликорна.

*...в конце июля сего года там надлежит быть собору всех
фонарей.* – Намек на открытие шестой сессии Тридентского собора
(она намечалась на 29 июля 1546 г., но не состоялась).

728

Гиборим – забияки (др. – евр.).

729

Охабе – мой друг (др. – евр.).

...мои бараны происходят от того, который перенес Фрикса и Геллу через море, именуемое Геллеспонт. – Речь идет о барашке, чье руно стало золотым, когда он был принесен в жертву Марсу. Фрикс и его сестра Гелла бежали на нем в Колхиду, спасаясь от преследований их злобной мачехи Ино.

731

Клирик или школяр? (*лат.*)

732

Да... в самом деле (*лат.*).

733

Из их мочи квинтэссенцики получают наилучшую селитру. –
Здесь Рабле открыто упоминает алхимическую процедуру.

...болезнь святого Евтропия Сентского... – Считалось, что этот святой излечивал водянку.

735

Испанская провинция Турдетания. – Сведения почерпнуты из Страбона, причем Рабле нарочито искажает правильное написание – в оригинале это Tuditanie (Тудитания).

736

«Об исто(рии) живот(ного мира)» (*лат.*).

Оливье Майар – проповедник XV в., доминиканец.

...построить каждому из них на самой вершине горы Сени кенотаф... – Аллюзия на реально существовавшую часовню на этой горе в Альпах. Туда помещали тела умерших от обморожения путников, которых не удалось захоронить.

...как постеснялись беглецы-грюйерцы после сражения при Серизоле... – Имеются в виду швейцарские наемники, воевавшие на стороне Карла V (см. примеч. к с. 103). Сражение при Серизоле произошло 11 апреля 1544 г.; граф Энгиенский одержал верх над императорским войском.

740

В моих руках отмщение (*лат.*).

...походили на красных пуатевинцев... – Писатель Ж. Буше в «Аквитанских анналах» (1524) указывал, что пуатевинцы произошли от скифов, которые красили лицо в красный цвет.

742

Энназин – безносый (от фр. enase).

743

Шели – мир (др. – евр.).

744

Блаженны непорочные в пути (*лат.*).

Филиппо Строцци (1488—1538) – сводный дядя Екатерины Медичи (1519—1589), владелец знаменитого зверинца.

Бретон Вилландри – Жан Бретон, сеньор де Вилландри (ум. 1542), друг кардинала Жана дю Белле. Он мог встречаться с герцогом де Гизом в 1536—1537 гг. в ходе военных действий на территории Пикардии.

...герцог Феррарский при поддержке французов храбро защищался... – Герцог Альфонсо д'Эсте остался верен французам во времена Камбрейской лиги, с 1510 г. сражался в их рядах, защищал Феррару и способствовал победе при Равенне в 1512 г.

...и у осанного креста... – Речь идет о так называемом Буасельерском кресте близ Ниора, около которого в Вербное воскресенье пели «Осанну».

Сеньор де ла Рош-Розе – Жан Шатенье, сеньор ЛарошРозе, во время битвы при Павии получил травму ноги. Возможно, дальний родственник Рабле.

...пир лапифов, описанный самосатским философом. – Имеется в виду диалог Лукиана «Пир, или Лапифы», где рассказывается о свадебном пире, закончившемся потасовкой.

...нежели встарь тулузское золото или же Сеев конь... – Сведения почерпнуты из Авла Геллия (см. примеч. к с. 32) и Эразма Роттердамского. Речь идет о злом роке, сопровождающем владельцев тех или иных предметов.

...остров Тоху, остров Боху... – от др. – евр. *tohou oibohou* – «бесплодная, необработанная» (земля). Бытие, 1: 2.

753

Бренгнарийль – старофр., букв.: носолом.

«Метафизика» – буквально: «(Сочинение), следующее за учением о природе» (*гр.*).

...Боккаччо рассказывает об одном человеке, который скоропостижно скончался от того, что поковырял в зубе стебельком шалфея... – см. «Декамерон», День Четвертый, новелла 7. Но все-таки итальянский писатель уточняет, что всему виной был яд жабы.

756

Мехлот – уничтожение (др. – евр.)

Белима – каббалистический термин, скорее всего почерпнутый из трактата Й. Рейхлина «О каббалистическом искусстве»; букв.: «то, что находится за пределами невыразимого».

...острова Эвиг и Эниг, из-за которых некогда вышла ошибка с ландграфом Гессенским. – Аллюзия на договор Карла V с ландграфом Гессенским 1547 г., где произошла подмена выражения «ohne ewige Gefdngnis» – «без вечного заключения» (нем.) на «ohne einige Gefdngnis» – «без какого бы то ни было заключения». В результате ландграф сам угодил в тюрьму.

...девять судов, груженных монахами... – Ниже следует список монашеских орденов, в том числе и образованных во времена Рабле. Именно в XVI в. появились иезуиты (основатель ордена – Игнатий Лойола), капуцины (обособившаяся часть ордена францисканцев) и театинцы (основатель – И. Краффе). Орден амедейцев был основан Амедео Савойским в XV в.

Кесильский собор (от др. – евр. «кессил» – безумный) – Тридентский собор (см. примеч. к с. 488).

761

...две тысячи ангелтиков... – Имеется в виду монета с изображением святого Михаила.

Категида, тиэлла, лелап, престер – термины, относящиеся к морской буре из трактата Аристотеля «О вселенной».

763

Прости, Господи! (*лат.*)

764

Каюсь! (*лат.*)

Прозерпина выступала в средневековых мистериях как прародительница дьяволов.

766

Кабирьы – финикийские божества, покровители мореплавателей. Греки сближали их с Диоскурами.

Я отдам вам все мое Рагу и всю мою огромную улитню... – Имеется в виду имение Рагу, которое Панург получил в дар от Пантагрюэля (см. «Вторую книгу», гл. XXXII), не принесшее ему богатства, поскольку прибыль от продажи майских жуков и улиток была «неопределенной» (см. «Третью книгу», гл. II).

768

Ариовист — вождь племени свевов, правивший в Галлии в I в. до н. э., а затем изгнанный Юлием Цезарем.

...памятник... не уступающий тому... который Дидона поставила супругу... – Дидона такого памятника не сооружала.

Жермен де Бри – гуманист, теолог, друг Эразма Роттердамского. В 1513 г. сочинил поэму во славу капитана Эрве Примогге, который предпочел остаться на охваченном пожаром судне, нежели попасть в плен к англичанам.

Арион – греческий поэт и певец (VII—VI вв. до н. э.). Согласно легенде, когда он возвращался на корабле из Таранта в Коринф с богатыми сокровищами, моряки ограбили его и собирались убить; Арион взял кифару и бросился в море. Но дельфин, зачарованный его пением, помог ему добраться до берега.

Блажен муж, который не ходит (на совет нечестивых)... (*лат.*). – начальные строки первого псалма, помещенные в шутовской контекст. Под «рвотным» подразумевается требник.

773

Буря, свирепю ярьсь, всколебала островерхую гору (*лат.*).

774

Келевм – команда, которой подбадривали моряков (первоначально – гребцов, чтобы они не сбивались с ритма).

775

Укалегон – имя одного из стариков-тroyанцев («Илиада», III, 150—152).

*Недаром Гомер утверждал, что гибель на море...
противоестественна... – см. «Одиссею», V, 312.*

...я основываюсь непосредственно на Священном писании. – Эта окрашенная в протестантские тона фраза добавлена во втором издании «Четвертой книги».

778

Ганнибал разгромил римлян около *Тразименского озера* в 217 г. до н. э.

Марк Порций Катон Младший, или Утический (95—46 до н. э.) – приверженец стоицизма; слова, которые приводит Рабле, были им произнесены во время знаменитого выступления в сенате против Цезаря в 63 г. до н. э.

Гильом Бесстрашный – скорее всего главный герой эпического цикла о Гильоме Оранжском (Вильгельме Оранском, XI—XII вв.).

781

Непромокаемый (гр.).

782

Опасность миновала – святой в дураках (*ит.*).

783

Макреоны – долгожители (гр.).

Макробий – название эфиопского племени. Плиний также отмечает, что этим именем называют индейцев-долгожителей.

785

«О пределах (добра и зла)» (*лат.*).

786

«О кротости» (*лат.*).

Марциан Капелла – римский юрист и писатель V в., автор девятитомного сочинения «Свадьба Филологии и Меркурия».

Пан, великий бог, умер. – Известный сюжет из труда Плутарха «Об упадке оракулов». Его часто цитировали гуманисты, усматривая в нем предсказание христианского Откровения.

Постник – возможно, император Карл V, осужденный папой за переговоры с протестантами; другая интерпретация образа – персонификация поста. Особая актуальность темы умерщвления плоти во время поста связана с решениями Тридентского собора.

...обжигателя золы... – Речь идет о «Зольной (пепельной) среде» – первой среде первой недели Великого поста, когда в католических храмах священник благословляет золу.

791

Каково (будет наше) правовое положение (*лат.*).

Я вам сейчас расскажу то, что мне довелось вычитать в древних притчах... – Излагаемый ниже сюжет не назовешь древним: он почерпнут у итальянца Челио Кальканьини, чьи произведения были опубликованы в Базеле (1544).

...бесноватых путербеев... – Имеется в виду Габриэль де Пюи-Эрбо, по-латыни – Путербус, монах из аббатства Фонтевро, выступавший с резкими нападками на Рабле.

Физитер – термин, позаимствованный у Плиния (гр., букв.: «выдувальщик»). На карте знаменитого средневекового мореплавателя Олафа Великого отмечено чудище «Пистрис, или же Физитер», якобы жившее на Фаррерских островах.

795

Гобрия – один из семи заговорщиков, которые в VI в. до н. э. убили правившего в Персии самозванца и провозгласили царем Дария.

796

Никандр из Колофона – эллинистический поэт, автор дидактической поэмы о противоядиях от укусов змей и пауков.

Колбасы — приверженцы Реформации.

798

Антонин Каракалла – Подобно Александру Македонскому, пытался завоевать Парфянское царство.

Регулиана воины избрали императором... основываясь на значении его имени. – «Региллус» по-латыни – «царский».

...гиганты эти наполовину были колбасами, или, верней, змеями. – Сближение змей с колбасами продиктовано фонетической близостью: *anguis* – змея (лат.) и *andouille* – колбаса (фр.); это употребление имеет и сексуальные коннотации.

...Приап, великий соблазнитель, совращавший женщин в парадизах... – У греков Приап считался богом плодородия, покровителем садов; «парадейсос» (гр.) первоначально означало «сад», но на языке Библии стало означать «Рай».

Мелюзина (Мелузина) – в средневековых легендах – фея, полуженщина-полузмея. Из якобы построенных ею замков наиболее известен Лузиньянский.

Эрихтоний – сын Гефеста, обладавший змеиным хвостом. Вергилий в «Георгиках» (III, 113) приписывает ему изобретение экипажа.

Навузардан — начальник телохранителей, слуга царя Вавилонского, т. е. Навуходоносора (Четвертая книга Царств, 25:8). В средневековой литературе это имя встречается в значении «повар».

...сделана была эта свинка по образцу свиньи лариольской... – В «Хрониках» Фруассара (XV в.) есть упоминание о таком снаряде, куда влезала добрая сотня вооруженных солдат и который мог разбрасывать каменные ядра.

806

Лукуллов мрамор — черный мрамор, который из Египта везли в Рим; перевозку организовывал богач Лукулл.

Королева Гусиная Лапка – персонаж французских легенд и в то же время ругательство тулузского происхождения.

Нифлесет. – Имя королевы Колбас происходит от древнееврейского «мужской член».

809

Рух — ветер (др. – евр.)

Славный лекарь Скуррон... – Жан Скирон; покровительствовал Рабле на медицинском факультете в Монпелье (ум. 1556).

811

«О ветрах» (*лат.*).

Остров папефигов – то есть сторонников Реформации.

На тех же примерно условиях, какие император Фридрих Барбаросса некогда предъявил миланцам. – Имеется в виду поведение Барбароссы в 1162 г. по отношению к побежденным миланцам.

814

Вот она, фигура (*ит.*).

...над которой, как над храмом св. Петра в Риме, не было даже кровли. – Аллюзия на затянувшееся строительство главной римской базилики: оно началось в 1506 г., а завершилось лишь в 1626 г.

...последние три года на острове свирепствовала страшная чума... – С этой болезнью часто сравнивали распространение лютеранских идей.

С нами святые Экстраваганты! – В церковной латыни «экстравагантный» означало «не включенный в церковные каноны».

Гоменац — мужлан (прованс.). Карикатура на папу Юлия III, известного своей чувственностью и склонностью к чревоугодию.

819

Познай самого себя (гр.).

820

Ты еси (зр.).

821

Тестон – серебряная монета, равная десяти су.

...Гийотов кабачок в Амьене. – Об этом известном заведении говорит в своем дневнике (гл. XI) Мишель Монтень (1533—1592).

О серафическая Книга шестая... О херувимические Климентины... О ангелические Экстраваганты! – Здесь обыгрывается представление о иерархии ангелов.

Шотландский ученый-декреталист – вероятно, Роберт Айрлэнд, прибывший во Францию в 1492 г. и на протяжении шестидесяти лет преподававший право в Пуатье.

«Проклятия достоин», «О многом», «Если весьма многие», «О поступающих в пользу папы годовых доходах», «Если бы не были», «Когда к монастырю», «Что чтить», «Распоряжение» (*лат.*).

826

Саррабовиты – египетские жрецы, отличавшиеся крайней разнузданностью.

827

Это груши особенные... – Речь идет об очень распространенном сорте груш; считалось, что в Турени их привил святой Мартин.

828

Если дать не хочешь, так одолжи, сделай милость (*лат.*).

Пантагрюэль в открытом море услышал... оттаявшие слова. – Этот эпизод имеет несколько источников (Г. Постель, Челио Кальканьини, народные присловья). В «Придворном» (1528) Бальдасарре Кастильоне приводится рассказ о сходном случае, произошедшем в России.

...как предлагал Брут во время битвы при Фарсале... – На самом деле Брут предлагал бежать не «на четвереньках», а «при помощи рук», то есть покончить с собой.

831

Петроний – Петрон Гимерский

...сражение между аримаспами и нефелибатами. – Аллюзия на сражение Аримаспейцев с Гриффонами, описанное у Геродота. Аримаспы – буквально «одноглазые», от скифского «арима» (один) и «спу» (небо). Нефелибаты – «шествующие по облакам» (гр.).

Гастер — от греческого «живот», а также «аппетит», «голод».

...магистра наук и искусств. – Магистром искусств Эразм Роттердамский именуется Глупость («Похвала Глупости»).

Базельский собор (1431—1437) был созван папой Евгением IV в Базеле, а затем перенесен в Феррару и наконец во Флоренцию.

Энгастримифы – чревоугодники (гр.); *гастролатры* – не вполне ясное греческое слово, возможно, «чревоугодники». Ср. Послание апостола Павла к Римлянам (16:18): «Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву».

837

Эвриклеяне – потомки Эврикла, прорицателя и чревовещателя древности.

...они только, по слову Гесиода, даром бременили землю... – На самом деле это цитата из Гомера («Илиада», XVIII, 104).

Как и что именно приносят в жертву гастролатры чревомогущему своему богу. – Этот эпизод считается сатирой на Святую Мессу и Евхаристию (последнее в связи с решениями Тридентского собора приобрело особую актуальность). Меню гастролатров скопировано со сметы расходов на обед Екатерины Медичи (19 июня 1549 г. в епископстве Парижа). Торжественный вынос блюд – пародия на церковную процессию.

...как у дракона св. Климента в Меце. – В дни церковных праздников по улицам Меца носили изображение дракона – в память о том драконе, которого святой Климент изгнал из города и утопил в реке Сейль.

841

...варенье из миробалана... – Миробалан – благовоный желудь
(гр.).

842

Снова (*лат.*).

843

То есть (*лат.*).

Элагабал (Гелиогабал, 204—222) – римский император с 218 г. Верховный жрец храма Солнца в Сирии, он затем ввел этот культ в Риме. Принуждал сенат к непомерно дорогим жертвоприношениям.

Филиберт Делорм (1505? – 1570?) – известный французский архитектор, работал в Италии и Франции. Строил замок Сен-Мор-де-Фоссе для кардинала Жана дю Белле в 1541—1544 гг., а в 1547 г. руководил строительством Лувра.

...оставил далеко позади оксидраков... – неточная цитата из «Жизни Аполлония Тианского». Не оксидраки – воинственная индийская народность, а их соседи побеждали противника с помощью магии.

Фронтон. – Скорее всего Рабле путает римского оратора и юриста Марка Корнелия Фронтонна (воспитателя императора Марка Аврелия) с другим Фронтоном, автором учебника по военной стратегии.

848

Ханеф — лицемер (др. — евр.).

849

Петозирис (Петосирис) – египетский жрец, упоминаемый у Плиния; полагал, что при соблюдении особого режима человек может прожить до 124 лет.

Следственно, моя слюна... не представляет опасности для... — Список ядовитых животных, перечисленных в алфавитном порядке, составлен по образцу средневековых bestiариев. Источники Рабле — сочинения античных и средневековых авторов, учебники и «Канон» Авиценны (980—1037). В списке доминируют змеи, но есть и ядовитые насекомые, а также мифические животные: *алхатраф* (морской дракон), *катоблен* (антилопа из Южной Азии, чей взгляд считался смертоносным).

Аристофан – византийский грамматик (ок. 257—180 до н. э.), глава Александрийской библиотеки. Составил жизнеописание Еврипида.

Так же точно «поднимали погоду» Атлант и Геркулес. – Этот мифологический эпизод изложен у Лукиана («Харон», IV). Геракл помог Атланту держать небесный свод.

Эзопова корзинка. – В жизнеописании Эзопа, сделанном Максимосом Планудом (1260—1310), есть эпизод о том, как, путешествуя со своим учителем, Эзоп вызвался нести тяжелую корзину с едой, вес которой, к счастью, с каждым днем уменьшался.

854

Ганабим – воры (др. – евр.).

855

Понерополь – город злодеев (гр.).

856

Консьержери – знаменитая парижская тюрьма, где сидел, в частности, поэт Клеман Маро (1469—1544), увековечивший ее в своих стихах.

857

Салоед — в оригинале: ronge-lard; так обычно говорят о крысах.

...Конский остров у берегов Шотландии... – В 1548 г. Конский остров напротив Эдинбурга (Инчкейт) был отвоеван у англичан Андре де Монталамбером, сеньором д'Эссе, которого Генрих II отправил на помощь шотландцам.

859

С самого Рима никак на двор сходить не могу. Сделай милость, возьми-ка в руки вот эти вилы да испугай меня (*ит.*).

860

Если ты не примешься за дело по-другому, у тебя ничего не выйдет. А ну-ка не ленись да посмелее пускай вилы в ход (*ит.*).

861

Дано в Шамбери (*лат.*).

862

Благодарю тебя, государь мой. Если бы не твой тумак, пришлось бы мне разориться на клистир (*ит.*).

863

И еще раз (*лат.*).

Ведь я парижский шалопай! – Последние стихи, написанные Франсуа Вийоном, перед тем как взойти на виселицу.

865

Бейте в литавры! *(еврейск.)*

866

Гер Тейфель (Herr Teufel) – господин Дьявол (нем.).

867

Юрлюберли — от англ. hurly-burly – переполох.

868

Разновидности безумия бесконечны (*лат.*).

869

Случаи же настоящего безумия (*лат.*).

870

Философ с золотой ляжкой. – По Лукиану и Диогену Лаэртскому, одно бедро у Пифагора было золотое.

871

Крылышко вредно, гузка сомнительна, шейка полезна, но без шкурки (*лат.*).

...среди них та, у коей в жилах течет кровь французской королевской семьи... – Имеется в виду королева Маргарита Наваррская (1492—1549), автор наиболее известной из новеллистических книг французского Возрождения – «Гептамерон».

873

Остров Звонкий. – Название прозрачно ассоциируется с колокольным звоном. Аллегория Рима.

874

Трифa – наслаждение (гр.).

875

Аорист – в греческом, древнерусском и некоторых других языках – время, обозначающее действие, законченное в прошлом.

876

Эдитус – сторож при храме, пономарь (лат.)

877

Ситицины – музыканты на похоронах. Упоминаются у Авла Геллия

878

Стимфалиды – в греческой мифологии хищные птицы, пожиравшие людей; с ними расправился Геракл.

879

...величайшее из всех бедствий... – Имеется в виду Великая схизма, церковный раскол 1378—1414 гг.

...птички, у которых оперение цвета копченых сельдей... – монахи-францисканцы.

Робер Вальбренг – скорее всего некий Роберваль, сопровождавший известного путешественника Жака Картье в его путешествиях в Канаду (1541—1542) и ставший там генерал-лейтенантом.

Лабеон Антистий — римский юрист I в.

883

Асафии – собравшиеся вместе (др. – евр.).

Знак этот был... цвета разного... – Имеются в виду различные монашеские ордена: белый цвет креста у Мальтийского ордена, зеленый – у ордена св. Лазаря, красный – св. Иакова (в Испании), фиолетовый – того же святого, но в Португалии; голубой – св. Антония.

885

Алипы — у римлян рабы, натиравшие посетителей бань благовониями.

886

Алькионы – зимородки.

...некоторых областей в царстве Аквилона... – то есть в тех северных странах, где дует Аквилон; аллюзия на Германию и Англию.

...бога войны приковал Вулкан... – В «Одиссее» (VIII, 267—366) есть вставная новелла, повествующая о том, как Гефест (Вулкан) поймал в сети свою неверную жену Афродиту и ее возлюбленного Ареса – бога войны.

889

Не ревность, но милосердие! (*лат.*)

890

Плутонов шлем делал невидимым того, кто его надевал («Илиада», V, 844—845).

...*Гигесово кольцо на когтях...* – Пастух Гигес владел искусством становиться невидимым при помощи волшебного кольца, что позволило ему в конце концов стать царем (Платон, «Государство», II, 354; Геродот, «История», I, 8—13).

...хамелеон на груди... – По Демокриту и Плинию, левая лапа хамелеона, сожженная в печи, использовалась для изготовления чудодейственного снадобья, с помощью которого можно было стать невидимым.

...мы заметили старого зеленоголового епископа... – Головной убор епископов был зеленого цвета.

Онокроталии — пеликаны; ср. Пролог ко «Второй книге», где они олицетворяют апостольских протонотариев.

895

Строфады – небольшие острова в Эгейском море, которые считались местом пребывания гарпий.

Полотенце Вероники — плат, которым святая Вероника отерла пот с лица идущего на Голгофу Иисуса.

Леда. – Та же легенда в несколько ином варианте изложена в главе VI «Первой книги».

898

Пушистые Коты – намек на судейских. Название связано с меховой опушкой на их мантиях.

Секстэссенция («шестая сущность»). – У алхимиков «квинтэссенция» («пятая сущность») – высшая степень анализа.

...изображение старухи в очках... – гротескная трансформация традиционной иконографии богини правосудия Немезиды: вместо завязанных глаз – очки, вместо острого меча – пустые кривые ножны.

901

...для человека в новых штанах и коротком камзоле скамья ваша будет чересчур низка. – Камзол (пурпуэн) привязывался к штанам (шоссам). Новые облегающие шоссы при посадке задирались вверх.

Какая-то блондинка, без мужчины... – Построенная в форме эпиграммы загадка Цапцарапа имеет алхимический смысл, она связана с отделением от серебра сульфурической черноты и выходом из «черной стадии» Великого Делания

...будь у меня дома сфинкс, вот как у Верреса... – Римский оратор Квинтилиан (ок. 35 – ок. 100) в своем труде «Наставление оратору» упоминает о процессе наместника Сицилии в 73—71 гг. до н. э. Верреса, где с обвинительной речью выступил Цицерон. Гортензий, защитник подсудимого, заявил, что подзащитный не понимает загадочных вопросов обвинителя. Цицерон на это заметил, что тот может прибегнуть к помощи своего домашнего сфинкса (сделанного из бронзы и очень дорогого).

Академический лес – роща близ Афин, где собирались ученики Платона.

...пусть бы Юпитер часика два провел у них... – В греческой мифологии дочь Кадма и Гармонии, Семела, просит Зевса (у римлян отождествляемого с Юпитером), чтобы тот явился перед ней во всем своем божественном величии. Тот исполняет ее желание, возникает среди молний и испепеляет Семелу. Затем Зевс изымает из тела Семелы плод и выносит из огня, заключив его в собственное бедро.

...ближе, чем Кальпа отстоит от Абилы. – Имеются в виду Геркулесовы столбы – две скалы, разделенные проливом Гибралтар.

907

Апедевты – невежды. Остров апедевтов – счетная палата.

...приводит людей на эшафот. – Намек на дело Жана Понше, военного казначея, который был повешен, а добро его конфисковано (1535).

Десятинный саженец — налог, который духовенство платило королю.

910

Если не было на нем священнического облачения (*лат.*).

911

...изречение философа, советовавшего держаться и терпеть... –
Речь идет о философе-стоике Эпиктете (ок. 50 – ок. 130).

912

Анри Котираль – он же гер Триппа

913

Альгамана – амальгама, сплав ртути с каким-либо другим металлом.

Большой лунник (*лат.*) — растение из семейства крестоцветных. — *Примеч. пер.*

915

Квинта – сокр. от «квинтэссенция» и одновременно музыкальный термин.

Гебер — Джабир ибн Хайан, арабский алхимик конца VIII – начала IX в. Выражение «кухня Гебера» (в значении «алхимия») принадлежит Корнелию Агриппе

...Энтелехия или же Энделехия? – Разграничение этих двух философских понятий являлось предметом обсуждения уже в античности. Лукиан считал, что разница между ними чисто орфографическая.

Феодор Газа... Франсуа Флери... – Перечень включает известных ученых эпохи Ренессанса. *Феодор Газа* – византийский гуманист XV в., переводчик Аристотеля на латынь. *Аргиропуло* – Иоанн Аргиропулос, профессор греческого языка и философии в Падуе, Флоренции и Риме (XV в.). Иоанн *Виссарион* – гуманист XV в., кардинал, а затем патриарх Константинопольский. *Полицано* – см. примеч. к с. 25. Гийом *Бюде* (1508—1550) – французский гуманист, которому Рабле был многим обязан, но упоминает здесь о нем впервые. *Ласкарис* – см. примеч. к с. 84; учил греческому языку Бюде. *Скалигер* – аристотелик XVI в., автор «Поэтики». *Франсуа Флери* (Флоридус) – итальянский грамматист и юрист XVI в., переводчик «Одиссеи» на латынь.

...трубы... были из кассии... – Здесь и далее речь идет о слабительных средствах.

...абстракторы... гиборимы... – Абстрактор – извлекатель (фр.); «Извлекателем квинтэссенции» именует себя Рабле. Далее следует перечень разнообразных определений, которые использовали по отношению к себе раввины («повара», «мудрецы», «князья», «учителя», «доктора» и проч.).

921

Циркумференция – окружность.

...кроме некоторых категорий, схаботов... харадотов... – Большинство перечисленных здесь терминов – философские определения на древнееврейском языке, а также термины схоластической риторики.

О том, как королева проводила время во время обеда. – Глава
заключает в себе аллюзию на один из алхимических процессов –
сублимацию.

...кордаск... пирриха... – старинные танцы, в том числе малопристойный кордаск. Пирриха – воинственный танец спартанцев.

925

Гидропики... гипозаргики... – больные водянкой.

926

Болезнь св. Франциска – нищета.

927

Оφιαзис — змея (гр.).

...как это... случилось с Иолаем... – Иолай – престарелый племянник Геракла, которому боги вернули молодость на один день (Еврипид, «Гераклиды», ст. 844—863).

929

Апиций – известный римский гурман I в. Его именем назывались различные блюда.

930

Люэты — разновидность карт, занесенная во Францию испанцами.

Веселый бал-турнир. – Этот эпизод навеян «Полифилом» Ф. Колонны (см. примеч. к с. 47). Однако версия Рабле ближе не к переводу Ж. Мартена (1546), а к итальянскому оригиналу. Во времена Рабле, когда стали играть в шахматы по новым правилам (они касались передвижения по доске королевы), было принято обсуждать аллегорическое значение и происхождение игры.

932

Энио – римская богиня войны.

933

Γοδος – дорога (гр.).

...Туллия переехала колесницей отца своего... – Этот случай описан в «Истории Рима» Тита Ливия (I, 48).

935

...так... изображают святого Иеронима... – Аллюзия на традиционное изображение ручного льва рядом с переводящим Библию на латинский язык Иеронимом.

...Филолай и Аристарх создали свои философские системы... именно на этом острове... – Филолай из Кротона (V в. до н. э.), Аристарх из Самоса (III в. до н. э.), Селевк из Селевкии (I в. до н. э.) высказали гипотезу о вращении земли вокруг солнца. Позже ее поддержал Коперник.

937

...служители и поклонники благосердной Мадонны... – орден сервитов, основанный в XIII в. во Флоренции.

938

А также *(лат.)*.

939

Песчаное море – здесь: область на Аравийском полуострове.

Меркуриева вода. – Кропильную воду в Риме черпали из фонтана Меркурия.

...они непоколебимы, как *Марпесская скала*. – Марпес – гора на острове Парос, где добывался знаменитый паросский мрамор. Ср. «Энеида», VI, 471.

Вот бы сюда Приапа... – сюжет из «Сатир» Горация (I, 8): колдуньи Канидия и Сагана волхвовали прямо у ног деревянной статуи бога Приапа, которая в конце концов треснула, испугав колдуний.

943

Брат (*лат.*).

944

А еще? (*лат.*)

Я вовсе не хочу сказать, что аримасы лучше нас... – Возможно, имеются в виду северные народы, принявшие реформу и не соблюдавшие поста (ср. «Четвертая книга», гл. LVI).

Остров Фриза. – Образ навеян «Истинной историей» Лукиана.
Под «фризой» понимается ткань из курчавой шерсти.

Ганс Клерберг — купец из Нюрнберга, открывший дело в Лионе; за свое великодушие получил прозвище «добрый немец». Возведен в дворянство Франциском I.

. *Селевкиды... офирь...* – мифологические животные, частично упоминавшиеся в «Четвертой книге».

Периандр — коринфский тиран (VI в. до н. э.). Позднеантичная традиция причисляла его к Семи мудрецам.

Аппиан... Пьер Жиль... – В этом перечне доминируют древние поэты (*Гелиодор, Афинея, Овидий, Леонид Тарентский* и др.) и философы (*Порфирий, Посидоний, Теофраст* и др.); представлены также математик *Селевк* (см. примеч. к с. 706), естествоиспытатель *Аристарх* (*Аристоммах*), историк *Аппиан*. В отличие от них *Пьер Жиль* – современник *Рабле*, путешественник и натуралист, автор трактата о рыбах.

Базакльская мельница в Тулузе. – На реке Гаронна близ Тулузы с XII в. стояла мельница, производившая большой шум.

952

Блеммии – сказочное племя. По Плинию, они были безголовыми и лицо у них находилось на груди.

Эгипаны — то же, что сатиры.

Геродот... Педро Альварес... – перечень географов, историков, философов и путешественников, вначале древних, а затем современников Рабле. *Педро Альварес* Кабрал (ум. 1526) – знаменитый португальский мореплаватель, первооткрыватель Бразилии.

Фонарь Навплия. – Навплий, царь острова Эвбея, негодуя, что сына его Паламеда греки осудили на смерть, зажег огни над скалами своего острова. Введенные в заблуждение таким «маяком», греки потерпели кораблекрушение.

...Фонарь Аристофана и Фонарь Клеанфа... – Речь идет о грамматике Аристофане (см. примеч. к с. 628) и афинском стоике Клеанфе (III в. до н. э.), чье трудолюбие вошло в поговорку. Об усердных ученых говорили, что они трудятся при свете лампы Аристофана или Клеанфа.

...Фонаря Полимикса... Фонаря Икосимикса... – Имеются в виду лампы со многими фитилями (гр.: полимикс) и с двадцатью фитилями (гр.: икосимикс). Ср. Марциал, «Эпиграммы», XIV, 41.

Фонарь права. – Бартола (см. примеч. к с. 49) действительно именовали «светочем гражданского права».

959

...большой люминарий... люминарий малый, аптекарский... – две известные фармакопеи конца XV в.

960

Зоофор – фриз с изображением животных, в том числе в виде знаков зодиака. Описание подобного фриза встречается в «Полифиле»

961

Хоть мал, но всюду славен он. – Этот девиз действительно был запечатлен на гербе Шинона.

...это и есть самая настоящая психогония Платона... – Имеется в виду история сотворения «души мира», изложенная у Платона («Тимей») и его комментатора М. Фичино

Пещера св. Патрика в Гибернии считалась одним из входов в чистилище. Гиберния – древнее название Ирландии.

Ров Трофония – подземная пещера, откуда пророчествовал оракул (ср. «Третья книга», гл. XXIV).

О том, как двери храма... – Эта глава соединяет мотивы самораскрывающихся дверей, встречающиеся в «Полифиле» и в рыцарских романах.

Зевксид Гераклеийский – греческий живописец V—IV вв. до н. э., ученик Аполлодора, славившийся жизнеподобием своих картин. Упоминается также в «Четвертой книге», гл. XVII.

...Бахус одолел индийцев. – Здесь почти буквально воспроизводится фрагмент из диалога Лукиана «Дионис».

Сатиры... лары... – отчасти названия лесных божеств, отчасти выдуманные самим Рабле слова.

969

Феркулы – носилки, на которых несли участников триумфальных шествий.

970

Эпиникий — победная песнь (гр.).

971

Керкопитеки, трохилы – птички, которые выклеывают остатки пищи между зубами у крокодила; *ихневмоны* – крысы, которые грызут ему брюхо (по Плинию).

. *О том, какой чудесной лампой был освещен храм. – Этот позаимствованный из «Полифила» мотив имеет алхимический смысл: благодаря лампе на стены здания проецировались цвета Великого Делания.*

...как масло, которое Каллимах... налил в золотой светильник Паллады... – Павсаний в описании Греции сообщает, что этот светильник мог гореть целый год без всякой подпитки.

...кровь разгневанного Аякса. – Здесь объединены два мифологических сюжета, связанных с превращением героя в цветок. 1) Гиацинт, прекрасный юноша, любимец Аполлона, был им убит по недоразумению; кровь Гиацинта дала жизнь растению, которое носит его имя. 2) Герой Троянской войны Аякс, которому не удалось заполучить доспехи Ахилла, охваченный безумием, бросился на меч; кровь его также дала жизнь гиацинту.

...рубина мужского... – Считалось, что «мужские» драгоценные камни сверкают сильнее «женских».

976

Гробница царя Гермия, по Плинию, находилась на Кипре.

...чувство стыда, охватившее Атаманта... – Лearch был убит своим отцом Атамантом, когда тот находился в приступе безумия (Овидий, «Метаморфозы», IV, ст. 512—519).

«Канон» Поликлета. – Речь идет о труде, который до нас не дошел. Зато принципы этого древнегреческого скульптора (2-я пол. V в. до н. э.) были воплощены в его статуе «Дорифор» («Копьеносец»).

979

Пантарба – ослепительно сверкающий красный драгоценный камень, описанный в «Жизни Аполлония Тианского»

Пифилл. – По Афинию, знаменитый дегустатор Пифилл, или Тефт (гр., букв.: лизун) смазывал язык особой мазью, а во время еды удалял ее.

Гиппократов рукав. – Ошибка в переводе. В оригинале «chausse d'irosras» – фильтр для вина (ср. в гл. III «Книги пятой»: «мешочки для фильтрования красного вина»).

Мистагог — священник, приобщавший паству к таинствам.

Ферония. – У римлян был широко распространен культ этой богини источников и рощ, которая к тому же считалась покровительницей вольноотпущенников.

...по способу, изобретенному Аристеем... – Чтобы наказать Аристея за смерть Эвридики (ее укусила змея, когда она стремилась избавиться от его домогательств), нимфы убили его пчел. Тогда он по совету матери оставил в лесу туши бычков и телок, и на девятый день из них вылетели пчелы (древние считали, что пчелы самозарождаются из разлагающейся плоти телят). Этот сюжет изложен в «Георгиках» Вергилия (IV, 317—358).

...один древний иудейский пророк съел целую книгу... – Имеется в виду пророк Иезекииль (Книга пророка Иезекииля, 3:2).